

РУССКІЙ АРХИВЪ ВЫХОДИТЬ ШЕСТЬ РАЗЪ ВЪ ГОДЪ.  
(Москва, Сидовая, 175).

# РУССКІЙ АРХИВЪ

ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ.

1882

3.

Стр.	Стр.
1. Переписка графа Н. И. Панина съ графомъ П. А. Румянцовымъ 1771—1771. (Первая Турецкая война при Екатерине) . . . . .	5
2. Бумаги протоіерея Петра Алексѣева . . . . .	68
3. Потемкинскій храмъ Большаго Вознесенія въ Москвѣ . . . . .	91
4. Василий Васильевичъ Варгинъ. Статьи В. И. Лясковскаго, съ портретами . . . . .	97
5. Письма воспоминаній баронессы М. А. Бодо . . . . .	128
6. Процессъ королевины ожерелья . . . . .	130
7. Переписка М. П. Лазарева съ И. И. Раевскимъ въ 1838 году . . . . .	133
8. П. П. Скобелевъ о гдѣсныхъ низшихъ бѣлыхъ солдатамъ . . . . .	144
9. Записка князя В. А. Черкаскаго о Русскихъ финансахъ 1876 . . . . .	147
10. Письмо митрополита Филарета къ его родителю о построеніи храма Христу Спасителю въ Москвѣ . . . . .	153
11. Записка къ имѣющимъ в. князя Константина Павловича. Ки. А. Б. А. Р. . . . .	154
12. Письма стихотвореній во время Крымской войны. Русь и Западъ . . . . .	155
13. Переписка Кристины съ княжной Туркестановой. 1813 года . . . . .	

Прилагается портретъ В. В. Варгина.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (М. Ктисовъ).  
на Страстномъ бульварѣ.

1882.

Въ Конторѣ Русскаго Архива (Москва, Ермолаевская Садовая,  
домъ 175-й) продаются

## СОЧИНЕНІЯ А. С. ХОМЯКОВА.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.

**Томъ первый:** статьи политическаго содержанія.

**Томъ второй:** статьи богословскаго содержанія, полный безъ пропусковъ текстъ съ предисловіемъ Ю. Ѳ. Самарина и съ гравированнымъ портретомъ автора. **Томъ третій** (Записки о всемірной исторіи) печатается.

Цѣна каждому тому ТРИ рубля съ пересылкою.

**Стихотворенія А. С. Хомякова.** Новое изданіе. Ц. 30 к.

### ВЫШЛА XXVI КНИГА АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА, БУМАГИ РАЗНАГО СОДЕРЖАНІЯ.

Цѣна 3 рубля.

**Русскій Архивъ** 1874 года (два большихъ тома съ гравированными портретами князя Одоевскаго и поэта Тютчева) продается по 6 рублей, съ пересылкою по 7 рублей.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры четырехъ годовыхъ изданій (1877—1880) **Русскаго Архива** (каждый годъ по три книги) можно получать по ПЯТИ рублей за годъ (съ пересылкою по ШЕСТИ рублей).

### ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ.

1877 годъ.

КНИГА ПЕРВАЯ 1877. Записки Г. С. Ин-скаго.	Разказы объ адмиралѣ Лазаревѣ.
Біографія канцлера князя Безбородки.	Н. И. Второвъ, біографическая статья М. Ѳ. Де-Пуле.
Бумаги контръ-адмирала Истомина.	Самаринъ-ополченецъ, воспоминанія В. Д. Давыдова.
Взятіе Карса въ 1828 году. Изъ Записокъ И. И. Муравьева-Карскаго.	Историческіе разказы, анекдоты и мелочи Толычовой.
Очерки и воспоминанія князя П. А. Вяземскаго.	КНИГА ТРЕТЬЯ 1877. Записки Французскаго короля Людовика XVIII-го объ его жизни въ Россіи.
Старая Записная Книжка. Его же.	Записки декабриста И. И. Филленберга.
Записки оберъ-камергера графа Рибоньера	Депеши князя Алексѣя Борисовича Куркина изъ Парижа въ 1810 году.
КНИГА ВТОРАЯ 1877. Записки графа Гордта о Россіи при Елизаветѣ Петровнѣ и Петрѣ III-мъ.	Записки М. А. Дмитриева-Мамонова.
Записки графа А. И. Рибоньера (царствованія Александра и Николая Павловичей).	Записки о Турецкой войнѣ 1828 и 1829 г.
Авдотья Петровна Елагина, біографическій очеркъ.	В. М. Еропкина и И. Г. Поливанова.





*Портрет Владимира Важишвили. Х. в. Москва.*

*Владимир Важишвили*



# РУССКІЙ АРХИВЪ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ.

1882.

2.

Русскій Архивъ издается шестью выпусками въ годъ. Каждые два выпуска составляютъ отдѣльную книгу съ особымъ счетомъ страницъ и съ азбучнымъ указателемъ.

# РУССКІЙ АРХИВЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ

Петромъ Бартеновымъ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ.

1882.

КНИГА ВТОРАЯ.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (М. Катковъ),  
на Страстномъ бульварѣ.

1882.

Перепечатка статей и историческихъ бумагъ изъ Русскаго Архива, какъ въ цѣломъ составѣ, такъ и въ отрывкахъ, не допускается безъ предварительнаго соглашенія съ издателемъ.

## ПЕРЕПИСКА ГРАФА Н. И. ПАНИНА СЪ ГРАФОМЪ П. А. РУМЯНЦОВЫМЪ \*).

1771—1774.

1.

Графъ Панинъ графу Румянцову.

Препровождая симъ письмомъ вручителя, ставлю я себѣ за долгъ донести вашему сіятельству, что онъ сынъ Шведскаго на послѣднемъ сеймѣ Французскою факціею отрѣшеннаго сенатора барона Функа, которой есть одинъ изъ главныхъ шефовъ въ Швеціи благонамѣренной партіи. Ея Императорское Величество соизволила на принятіе молодого Функа капитаномъ, сверхъ обыкновеннаго порядка, не смотря на то, что онъ еще очень молодъ и нигдѣ не служилъ, съ одной стороны для того, чтобъ показать высочайшее свое благоволеніе отцу его сенатору за то одно въ отечествѣ своемъ гоненіе и утѣсненіе понесшему, что онъ къ системѣ Россійской прямодушно привязанъ былъ; а съ другой, для обязанія и ободренія благонамѣренныхъ Шведовъ перспективою снисканія себѣ въ нашей службѣ счастья и достойной мзды за ихъ въ Швеціи патріотическія поведенія. По симъ обѣимъ причинамъ можете ваше сіятельство сами собственною вашею прозорливостію познать и опредѣлить, что въ принятіи барона Функа не персона его уважаема была, но политической видъ дѣлъ и службы Ея Императорскаго Величества. Онъ съ своей стороны просилъ меня о исходатайствованіи ему отъ вашего сіятельства той для него ласкательной милости и чести, чтобъ сначала быть при свитѣ вашей, какъ для познанія языка и свойства самой службы, такъ и паче, чтобъ имѣть случай ближе видѣть и удивляться великимъ вашимъ дѣламъ.

С.-Петербургъ, 17 Января 1771.

---

\*) См. Русскій Архивъ, первую книгу сего года. Къ сожалѣнію, переписка эта сохранилась не вполне. Панинскія письма печатаются съ черновыхъ подлинниковъ. П. Б.

## 2.

## Графъ Панинъ графу Румянцову.

Не упустилъ бы я и въ настоящемъ случаѣ, по письму вашему отъ 1-го Декабря, въ пользу Полтавскихъ купцовъ Богдановича и Демчана, сдѣлать скорое исполненіе, еслибъ оное въ существѣ своемъ отъ меня одного и моего одного распоряженія зависило. Вашему сіятельству неизвѣстно, можетъ быть, что собираемый съ деревень Польскихъ мятежниковъ чрезъ господина генераль-поручика Веймарна доходъ и контрибуціи входятъ въ военную казну Ея Императорскаго Величества и употребляются отъ оной по даннымъ отсюда точнымъ повелѣніямъ въ облегченіе обыкновеннаго воинскаго содержанія. Такимъ образомъ, есть ли нынѣ доставить удовлетвореніе объясненнымъ купцамъ изъ деревень возмутителей и грабителей ихъ, надобно по самому свойству учиненныхъ съ тѣми деревнями распоряженій нашихъ, чтобъ оное (какъ и справедливо) удѣлено было изъ поборовъ военной казны; но прежде нежели я здѣсь въ разсужденіи сей послѣдней ходатайство мое употребить и съ какимъ либо представленіемъ ко всемподобивѣйшей Государынѣ въ пользу обиженныхъ явиться могу, требуетъ порядокъ службы, да и правосудіе строгое, чтобъ просители основали и утвердили состояніе просьбы своей достовѣрными доказательствами, какъ въ дѣйствительности произведеннаго надъ ними двоекратнаго грабежа, такъ и въ количествѣ точной суммы понесенныхъ ими убытковъ: ибо инако требованіе, до 80 т. рублей простирающееся, по однимъ только представленіямъ самихъ челобитчиковъ, можетъ легко возбудить сумнѣніе и недовѣрку къ нимъ.

Въ С.-Петербургѣ, 22 Января 1773 г.

## 3.

## Графъ Панинъ графу Румянцову.

Гвардіи офицеръ графъ Головинъ, сынъ графа Николая Александровича, ѣдетъ служить волонтеромъ въ армію вашимъ сіятельствомъ предводительствуемую. Сколько для дружбы моей къ его отцу, столько и для собственныхъ его добрыхъ качествъ, имѣю честь рекомендовать его вашему сіятельству. Всякую оказанную вами ему милость, почту я себѣ собственно за одолженіе и въ нѣкоторое возмездіе той совершенной преданности и истиннаго высокопочитанія, съ коими и проч.

Въ С.-Петербургѣ, 22 Февраля 1771 г.

## 4.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Оставшіеся здѣсь Волошкаго княжества депутатъ митрополитъ Григорій и бояринъ Кантакузенъ отпущены въ свое отечество. Первый принялъ здѣсь на руки отвѣтную Ея Императорскаго Величества грамоту на имя всего Волошкаго народа. Она, кажется, должна весьма послужить къ его ободренію. Сколь сія депутація служила къ угодности Ея Императорскаго Величества, столь и она имѣетъ причину прославлять монаршія щедроты и то милосердіе, съ коимъ принято было засвидѣтельствованіе ся общенароднаго усердія. Прилагая для извѣстія вашего копію съ помянутой отвѣтной грамоты и препоручая обоимъ ихъ въ покровительство ваше, какъ людей во все свое здѣсь пребываніе съ добрымъ поведеніемъ обращавшихся, имѣю честь быть и пр.

Въ С.-Петербургѣ, 23 Февраля 1771 г.

## 5.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Личное ваше, милостивый мой другъ, проніцаніе открываетъ вамъ, конечно, въ полной мѣрѣ, что политическія предположенія, мѣры и поступки министра во всѣхъ почти случаяхъ, а особливо важныхъ, подвергаются и въ зависимости бываютъ отъ разнѣстныхъ и многообразныхъ понятій, если не сказать еще предразсудковъ, и неправильныхъ иногда по онимъ заключеній. Въ таковыхъ обстоятельствахъ первое министра попеченіе долженствуетъ быть отвращать оныя, и по крайней мѣрѣ удерживать на степени самаго нерѣшительнаго опредѣленія, дабы между тѣмъ выиграть время, которое всему точную цѣну безъ ошибки уже иногда лучше устанавливать можетъ. Вотъ прямые резоны наружной моей предъ вами несправности; я вѣрю ихъ съ совершенною надеждою вашей ко мнѣ испытанной дружбѣ и собственному вашему цѣломудрію, увѣряя напередъ, что откровенность моя къ онимъ предѣловъ не знающая и не сносящая, какъ въ семъ случаѣ, такъ и во всемъ томъ, что я здѣсь вамъ по дѣламъ сообщить хочу, останется навсегда между нами одними погребенною.

Въ семъ удостовѣреніи ставлю я себѣ въ крайнее удовольствіе донести вашему сіятельству, что въ самое то время, когда здѣсь за благо признано было учинить чрезъ посредство ваше нѣкоторое начало къ мирной негодіаціи, и Порты Отоманская, съ своей стороны, равную мысль возымѣла, отозвавшись прямо письмами каймакана своего къ первенствующимъ министрамъ Вѣнскаго и Берлинскаго дворовъ,

съ формальнымъ истребованіемъ общей ихъ медіаціи къ прекращенію войны, мы были о семъ ея поступкѣ немедленно въ дружеской и союзнической откровенности увѣдомлены отъ короля Прусскаго, которой напротиву потребоваль сообщенія ему здѣшнихъ мнѣній, чтобъ по онымъ Портѣ отвѣтъ составить.

Ея Императорское Величество, имѣя отъ дружбы короля Английскаго дѣйствительныя одолженія въ разсужденіи морскихъ нашихъ экспедицій, изволила разсудить, что непристойно будетъ исключить сего государя отъ медіаціи, къ которой онъ себя неоднократно представляль, а напротиву того чрезъ требованіе отъ Порты допущенія его къ оной вмѣстѣ съ Вѣнскимъ и Берлинскимъ дворами, подвергнуться неудобству равнаго съ Турецкой стороны требованія въ разсужденіи Версальскаго. По сему основанію, которое въ изъясненіи нашемъ именно означено было, съ тѣмъ, чтобъ оно и до свѣдѣнія Вѣнскаго двора дошло, отвѣтствовано было его Прусскому величеству, что Государыня Императрица, вмѣсто формальной медіаціи его и Вѣнскаго дворовъ, желаетъ только и требуетъ однихъ добрыхъ офицій, кои въ существѣ равную пользу приносить могутъ, но въ наружности не имѣютъ одинаковыхъ съ нею неудобствъ. Порты, не обождавши еще нашего изъясненія на первые ея отзвы, сдѣлала, между тѣмъ, сама собою новой и явной поступокъ чрезъ врученіе министрамъ Вѣнскаго и Берлинскаго дворовъ меморіяла, съ такою декларациею, что она никакой другой медіаціи, кромѣ испрошенной уже ею, не приметъ, а съ оною готова вступить въ дѣйствительную негоціацію въ самомъ ли Цареградѣ, чрезъ посредство резидента г. Обрѣзкова или же на собираемомъ нарочномъ конгрессѣ, къ которому однакожь съ другими министрами именно желала употребленія сего самаго резидента, обѣщая освободить и отпустить его, сколь скоро Россія на предложеніе ея совершенно согласится.

На семъ пунктѣ остановилась теперь негоціація, которой чрезъ познаніе мыслей Порты, по содержанию нашего о медіаціи изъясненія, скоро въ большій свѣтъ на ту или другую сторону придти долженствуетъ; а между тѣмъ, здѣсь по многимъ разсужденіямъ, съ начала опредѣлено было заранѣе поставить на мѣрѣ какъ самыя основанія въ пользу свою будущаго трактованія, такъ и подробныя по онымъ въ свое время требуемыя кондиціи, соображая возможность одержанія ихъ съ повсемѣстнымъ положеніемъ оружія нашего и пріобрѣтенными уже успѣхами онаго. Сія основанія опредѣлены въ слѣдующихъ трехъ статьяхъ: 1) Чтобъ уменьшить Портѣ способности къ атакованію впредъ Россіи; 2) чтобъ доставить себѣ справедливое удовлетвореніе за убытки войны; 3) чтобъ освободить отъ порабощенія торговлю и непосредственную связь между подданными обѣихъ имперій.



Въ слѣдствіе первой статьи, опредѣлено было требовать и неотмѣнно домогаться: 1) уступки въ нашу сторону Кабарды Большой и Малой; 2) оставленія границъ отъ Кабарды чрезъ Кубанскія степи до Азовскаго уѣзда на прежнемъ ихъ основаніи; 3) уступки себѣ города Азова съ уѣздомъ его; 4) признанія со стороны Порты всѣхъ въ Крымскомъ полуостровѣ и внѣ онаго обитающихъ Татарскихъ ордъ и родовъ вольнымъ и независимымъ народомъ и оставленія ему къ полной собственности и владѣніи всѣхъ имъ донинѣ обладаемыхъ земель; 5) уступки Грузинскимъ владѣтелямъ взятыхъ Россійскимъ оружіемъ въ тамошней сторонѣ мѣстъ, яко они имъ издревле принадлежали и однимъ насильствомъ въ послѣднія времена похищены были, съ выговореніемъ какъ Грузинцамъ, такъ и всѣмъ другимъ въ войнѣ участіе принявшимъ христіанамъ генеральной амнистіи и протчаго впредь покровительства церквамъ христіанскимъ въ областяхъ Порты.

Подъ второю статью требованіе наше имѣеть состоять въ замѣнѣ и награжденіи военныхъ нашихъ убытковъ до 25 милліоновъ рублей, въ секвестрѣ на 25 лѣтъ обохъ княжествъ Молдавскаго и Волошскаго подъ гарантіею Вѣнскаго и Берлинскаго дворовъ, съ обязательствомъ отъ насъ оставить ихъ чрезъ все то время при прежнемъ образѣ правленія и податяхъ, или же, при совершенной отъ Турковъ претительности на таковой секвестрѣ, въ объявленіи отъ Порты оныхъ княжествъ во всей обширности ихъ земель, съ которыми они пришли подъ власть ея, вольными, независимыми и совершенно свободными, равномерно подъ ручательствомъ же Вѣнскаго и Берлинскаго дворовъ.

Третьею статью опредѣлено было требовать свободной на обѣ стороны торговли и кораблеплаванія по Черному морю купно съ уступкою одного въ Архипелагѣ острова, гдѣ нѣтъ Турецкаго селенія, для пристанища купечеству и учрежденія тамъ магазиновъ, съ такимъ изъясненіемъ, что сколь скоро Порта согласится на такую уступку, хотя и до возстановленія еще мира, эскадры наши немедленно туда отойдутъ и оставяютъ всякое съ морской стороны дальнѣйшее непріятельство.

Все сіе сообщено было въ дружеской и союзнической откровенности королю Прусскому, съ тѣмъ чтобъ онъ велѣлъ министру своему въ Константинополь готовить мало по малу къ склонности и диспозиціи министерства Отоманскаго, не открываясь ему во всемъ пространствѣ требованій нашихъ иначе, какъ впредь съ согласія нашего по степенямъ усматриваемой въ Туркахъ податливости.

Когда все сіе его Прусскому величеству въ подробности сообщено было, въ тоже время разсуждено изъясниться объ отклоненіи медіаціи непосредственнымъ образомъ и къ Вѣнскому двору, дабы чрезъ то съ одной стороны познать истинныя его мнѣнія, а съ другой

и не удалить его совершенно отъ содѣйствованія, когда оное по обстоятельствамъ нужнымъ и полезнымъ учиниться возможно.

Князь Кауницъ отвѣтствовалъ на откровенное сообщеніе князя Дмитрія Михайловича Голицына собственнымъ именемъ императора и императрицы-королевы, что ихъ величества охотно отступаютъ отъ медіаціи и нынѣ же стануть стараться о скорѣйшемъ освобожденіи г. Обрѣзкова, оставляя впрочемъ изъясниться о употребленіи добрыхъ своихъ офицій до времени дѣйствительнаго имъ сообщенія частныхъ нашихъ кондицій, а между тѣмъ, приѣмля съ удовольствіемъ предъявленныя отъ насъ основанія оныхъ въ слѣдующей силѣ:

Что Всемилостивѣйшая Государыня приѣмлетъ за непремѣнное правило не желать никакого распространенія областей своихъ.

Что устроить она кондиціи свои не на побѣдахъ.

Что паче будетъ оныя относить къ единому разсудительному удовлетворенію своихъ для войны убытковъ, къ праву челоуѣчества, къ безопасности границъ имперіи и къ утверженію мира.

Что Ея Императорское Величество требовать будетъ токмо справедливаго и сходственнаго столько же съ интересами Австрійскаго дома, сколько собственнаго своего государства.

И что, напоследокъ, какъ скоро послѣдуетъ предшествующее всему удовлетвореніе возвращеніемъ г. Обрѣзкова, и не умедлитъ уже она предложить кондиціи мира сходственныя съ духомъ безкорыстія и умѣренности, ожидаемыхъ отъ великія души ея и отъ высокихъ ея знаній.

Черезъ нѣсколько дней по полученіи сего Вѣнскаго изъясненія прибылъ сюда весьма нечаянно графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ. Всѣмъ, возвращенія мира и тишины истинно желающимъ, должно сердечно радоваться, что приѣздъ его послужилъ къ точному уже и рѣшительному размѣренію по вѣроятной возможности и опредѣленію по оной мирныхъ кондицій въ томъ образѣ, въ которомъ они за ультиматъ уже служить имѣютъ, гдѣ и какъ бы уже ни пошла негоціація, не взирая на перемѣнные обороты времени.

Въ новомъ положеніи приняты слѣдующія перемѣны и уступки противъ прежде назначенныхъ кондицій, кои я вашему сіятельству выше сего подробно описалъ.

1) Обѣ Кабарды позволяется оставить за баріеръ по силѣ прежняго трактата, есть ли сія съ нашей стороны уступка можетъ замѣнить и облегчить другія отъ Турковъ важнѣйшія, съ выговореніемъ, однакожь, для Россіи права и свободы заводить въ сосѣдствѣ Кабардинцевъ на собственныхъ своихъ земляхъ такіе селенія и города, какіе она по обстоятельствамъ и для выгоды своей за полезно признаетъ.

2) Выговореніе свободы и независимости Татарскому народу ограничено, при невозможности удержать ихъ въ полной мѣрѣ, на тѣ только орды и роды, кои дѣйствительно уже отложились отъ власти Турецкой или отложатся еще въ теченіе нынѣшней кампаніи.

3) Въ требуемомъ нами удовлетвореніи за убытки отъ войны, есть ли Порта не согласится ни на секвестръ, ни на освобожденіе княжествъ Молдавскаго и Волошскаго, по представляемому отъ насъ альтернативу, положено третьею степенью требовать и удовольствоваться наличными деньгами, буде она, сверхъ всякаго разсудительнаго чаянія, возмется и обѣщаетъ заплатить вдругъ или въ одинъ годъ, на три срока, до 25 милліоновъ рублей съ достаточными въ томъ надежностями.

4) По ближайшимъ на мѣстѣ здѣсь изъясненіямъ съ графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ положено, въ случаѣ крайней невозможности, отступить отъ требованія одного въ Архипелагѣ острова, а довольствоваться только совершенною на Черномъ морѣ свободою торговли и кораблеплаванія, хотя уже одного купечественнаго, есть ли Порта противъ военнаго непреодолимо возстанетъ.

Съ симъ ультиматомъ и полною по оному мочью поѣхалъ обратно отсюда графъ Алексѣй Григорьевичъ, имѣя высочайшее повелѣніе употребить съ своей стороны всѣ удобные и пристойныя способы и мѣры къ непосредственному отверстію тамъ въ близости мирной негодности.

Какъ сынъ отечества и какъ министръ, въ славѣ и пользѣ его сугубо участвующій, желаю я, чтобъ сіе покушеніе произвело хорошее дѣйствіе или же, чтобъ, по крайней мѣрѣ, другимъ каналомъ, когда сей не удастся, достигли мы, какъ можно скорѣе, драгоценнаго мира, дабы тѣмъ увѣнчать славу Ея Императорскаго Величества и славу оружія Россійскаго, въ которомъ ваше сіятельство мудрымъ своимъ предводительствомъ и жертвованіемъ собственной персоны имѣете толь великое и знаменитое навсегда участіе.

За симъ остается мнѣ объяснить еще вашему сіятельству настоящее положеніе дворовъ Вѣнскаго и Берлинскаго, какъ между собою, такъ и относительно къ намъ. Пожалуйте, милостивый государь мой, не подавайте вѣры разглашаемому о соединеніи ихъ слуху. Они не имѣютъ, конечно, никакого основанія, и сѣмъ оба двора находятся между собою въ томъ самомъ положеніи, въ которомъ они и прежде были свойственно естественному ихъ другъ противъ друга соперничеству съ тою только разницею, что они оба по видамъ и интересамъ своимъ настоящаго времени равно желаютъ скорѣйшаго прекращенія войны

нашей, а потому равно же и согласились между собою о употребленіи къ тому своей медиации.

Правда Вѣнскій дворъ собираетъ въ Венгріи довольно знатный корпусъ войскъ своихъ; но сіе по видимому еще не долженствуетъ насъ столько тревожить, чтобъ уже и заключительно поставлять, что Вѣнскій дворъ рѣшился въ сторону противу насъ; а напротивъ, можно полагать, что вооруженія его не имѣютъ другаго предмета, кромѣ заботы, которую произвели толь великіе успѣхи наши противу непріятеля на берегахъ Дуная и въ такой близости отъ границъ Венгерскихъ. Австрійскій домъ не можетъ, конечно, безъ зависти и покойно смотрѣть на то, чтобъ Россія чрезъ покореніе себѣ княжествъ Молдавскаго и Волошскаго сдѣлалась непосредственнымъ ему сосѣдомъ, или же чтобъ Порты Оттоманская въ Европѣ вовсе опровергнута была; потому что съ нѣкотораго времени и ее стали считать державою въ общемъ Европейскомъ равновѣсіи не меньше другихъ нужною. Онъ, по симъ двумъ побужденіямъ встревожась возможностью обоихъ казусовъ или одного изъ нихъ, а наипаче заразясь мнѣніемъ будто мы на нихъ дѣйствительно и цѣлимъ чрезъ такое великое распространение военныхъ нашихъ предпріятій, разсудилъ за нужно для собственной своей осторожности поставить себя въ почтительную позитуру, дабы въ случаѣ крайней нужды употребить вооруженную медиацию. Теперь, напротивъ того, отъ насъ самихъ извѣстился и увѣрился онъ объ умѣренности нашихъ видовъ и истинномъ желаніи видѣть скорое окончаніе войны, чего одного онъ внутренно и желаетъ; слѣдовательно же и можно разсудительнымъ образомъ надѣяться, что онъ при всѣхъ своихъ оказательствахъ останется затѣмъ и далѣе въ неподвижности и тишинѣ, такъ наипаче, что имѣетъ еще намѣреніе воспользоваться нынѣшними обстоятельствами на счетъ Польши и присвоить себѣ отъ оной по древнимъ притязаніямъ Венгерскаго королевства нѣкоторую къ оному прилегшую и довольно выгодную часть земли, которая и занята уже Австрійскими войсками, съ начала подъ предлогомъ учрежденія кордона противу морской язвы.

Король Прусскій находится съ нами въ точныхъ и формальныхъ обязательствахъ относительныхъ къ Польскимъ дѣламъ и настоящей нашей войнѣ, которыя имъ въ самое теченіе ея возобновлены. По симъ его обязательствамъ можемъ мы, что до Польши касается, быть совершенно безопасными противу всѣхъ тѣхъ державъ, кои въ тамошнихъ дѣлахъ явное и непосредственное участіе оружіемъ принять похотѣли бы. Вѣнскій дворъ, конечно, не безъизвѣстенъ о силѣ и разумѣ сихъ нашихъ обязательствъ, а по той причинѣ и не захочетъ всемѣрно, изъ доброй воли, подвергнуть себя новой тягостной войнѣ.

Сверхъ того, по мѣрѣ, какъ войска его въ Польшѣ распространятся, и король Прусскій подвигаетъ тамъ впередъ свои, безъ сомнѣнія въ равномъ намѣреніи воспользоваться временемъ и по примѣру Австрійцевъ присвоить себѣ нѣкоторую часть Польскихъ земель.

Изъ такого сихъ обоихъ дворовъ намѣренія и положенія можетъ произрасти со временемъ для Ея Императорскаго Величества славная роль арбитры между ими, которыя могутъ и намъ не меньшую подать свободу и удобность сдѣлать полезное границамъ нашимъ уравненіе и окружность со стороны Польши.

Все сіе между тѣмъ не иное что есть, какъ одни политическія по вѣроятностямъ размѣренныя предумотрѣнія и догадки, кои я не иному кому вѣряю, какъ другу и милостивцу, о которомъ увѣренъ, что онъ ихъ для себя одного сохранить, равно какъ и все выше сего въ безпредѣльной откровенности сказанное, почитая оную слѣдствіемъ персональной моей къ нему преданности и совершеннаго взаимства за собственную его дружбу, которую я толь высоко почитаю и всегда почитать буду.

Отвѣтное письмо господаря Волошскаго къ тестю его написано очень хорошо и потому будетъ въ Царьградъ, при первомъ случаѣ, отправлено. Въ С.-Петербургѣ, 9 Апрѣля 1771 г.

## 6.

## Графъ Панинъ Графу Румянцову.

Датской службы волонтеръ г. полковникъ Мольтке будетъ имѣть честь вручить сіе письмо вашему сіятельству. Онъ сродственникъ фамиліи намъ благонамѣренной, которая весьма теперъ въ Даніи притѣсняема по развращеннымъ тамошнимъ обстоятельствамъ. Въ началѣ прошлагодней кампаніи служилъ онъ съ частію Датскихъ волонтеровъ во второй нашей арміи съ похвалою и, будучи раненъ въ руку, отпущенъ былъ въ свой домъ для излѣченія болѣзни. Въ отечествѣ своемъ не нашелъ онъ никакого себѣ вспоможенія, ибо всѣ носящіе имя Мольтке въ крайнемъ тамо гоненіи, и для того пріѣхалъ онъ сюда опять, желая посвятить остатокъ жизни службѣ всемилостивѣйшей нашей Государынѣ. При отправленіи его къ арміи вашимъ сіятельствомъ предводительствуемой, не могу я оставить, чтобъ не препроводить его рекомендаціею моею, покорно прося васъ, милостиваго государя моего, какъ для политическаго уваженія въ разсужденіи его благонамѣренныхъ сродниковъ, такъ и для собственныхъ его достоинствъ, содержать его въ милости и покровительствѣ вашемъ, подавая ему возможные случаи къ оказанію его ревности къ службѣ.

С.-Петербургъ, 5 (16) Іюня 1771.

**Рескриптъ на имя графа Румянцева.**

На реляцію вашу, отъ 6 дня Іюня подъ № 33, мы не хотимъ оставить чтобъ вамъ не сказать, сколь чувствительно мы раздѣляемъ съ вами оскорбленіе ваше собственное и всего нашего храбраго войска вами предводительствуемаго. Оказанный отъ командировъ Журжинскаго гарнизона примѣръ трусости есть первый и, конечно, несвойственный такому войску, въ которомъ подъ мужественнымъ всегда предводительствомъ храбрость, такъ сказать, вкоренилась существеннымъ его качествомъ; а посему мы всемилостивѣйше апробуемъ ту благоразумную строгость, которую вы въ самое первое время учинить приказали заключеніемъ въ оковы недостойнаго маіора Гензеля съ его совѣтниками, и повелѣваемъ вамъ по вашему собственному намъ представленію какъ съ симъ презрительнымъ штабъ-офицеромъ, такъ и съ его соучастниками поступить по силѣ нашихъ законовъ со всею военною строгостію въ удовлетвореніе чести и достоинства всего нашего побѣдоноснаго воинства. Данъ въ С.-Петербургѣ, Іюня дня 1771 г.

## 7.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Долговременное молчаніе мое происходило отъ такой причины, о которой ваше сіятельство съ истиннымъ сожалѣніемъ услышать изволите. Его Высочество тому уже пятая недѣля какъ лежитъ въ постелѣ отъ пружестойкой лихорадки съ молочницею. Первая, Богу благодареніе, кончилась, а послѣдняя и понынѣ продолжается. Всѣ критическіе дни уже прошли, и опасность миновалась, такъ что мы надѣемся на милосердное Божеское Провидѣніе о совершенномъ исцѣленіи Его Высочества въ скоромъ уже времени. Но представьте, милостивый государь мой, то лютое состояніе, въ которомъ я былъ, и позвольте мнѣ ласкаться, что ваше сіятельство изволите такое въ ономъ принять участіе, какова моя къ вамъ совершенная преданность.

Упражняясь всеминутно въ стараніяхъ и хожденіи за больнымъ, отъ коихъ столь много зависитъ совершенное его выздоровленіе, не имѣю я времени ни о чемъ болѣе увѣдомлять ваше сіятельство, какъ токмо о полученіи почтеннѣйшаго письма вашего, отъ 21 Іюня. Принеся должную благодарность за все то, что вы, полезнаго сдѣлать изволили для племянника моего князя Репнина, почитаю все оное неложнымъ опытомъ ко мнѣ благосклонности вашей. Худое состояніе его здоровья сколь много меня ни огорчаетъ, но я остаюсь увѣреннымъ, что неприятность его положенія облегчена будетъ по вашей къ нему милости.

На сихъ дняхъ приведены сюда лошади, отъ васъ присланныя, въ очень хорошемъ состояніи. Его Высочество не можетъ за болѣзнію написать къ вамъ своего благодаренія, что однако сдѣлать не оставитъ по выздоровленіи своемъ; а я, съ моей стороны, покорнѣйше ваше сіятельство благодарю за ту, которая вами для меня назначена.

Въ С.-Петербургѣ, 15-го Іюля 1771.

## 8.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

С.-Петербургъ, 9-го Августа 1771.

По дошедшимъ ко мнѣ письмамъ отъ Алексѣя Михайловича Обрѣзкова изъ Землина, имѣю я причину думать, что онъ возьметъ путь свой оттуда чрезъ Трансильванію на Яссы. Я писалъ нынѣ къ нему, по соизволенію Ея Императорскаго Величества, чтобъ онъ, если дѣйствительно изберетъ сію дорогу, благовременно увѣдомилъ о томъ ваше сіятельство, вслѣдствіе чего и я, по равномѣрному повелѣнію Всемиловитѣйшей Государыни, долженъ чрезъ сіе просить васъ приказать, съ своей стороны, на случай дѣйствительнаго проѣзда г. Обрѣзкова чрезъ Молдавію, устроить заранѣе всѣ нужныя мѣры къ безопасному и выгоднѣйшему препровожденію въ пути сего достойнаго и заслуженнаго министра съ фамиліею его и свитою; также и снабдить его на проѣздъ въ случаѣ отъ него требованія достаточнымъ числомъ денегъ изъ чрезвычайной суммы.

## 9.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Отправлено 30 Сентября 1771 г., съ особеннымъ курьеромъ.

Ваше с. представить себѣ можете, сколь много и непрерывно упражняли меня старанія необходимо нужныя при выздоровленіи Его Высочества Государя Цесаревича. Я признаюсь вамъ, что сіе обстоятельство, толь долгое время меня отягчавшее, отняло мое здоровье до того, что едва нахожу я въ себѣ довольно силы къ исполненію обыкновеннаго долга моего при продолжающемся выздоровленіи Его Высочества.

Мнѣ остается увѣдомить васъ, что присланныя сюда отъ васъ лошади приведены въ изрядномъ состояніи. Новотроицкаго кирасирскаго полку капраль Алексѣй Кузьминъ, который ихъ привелъ, отдалъ мнѣ реестръ лошадямъ, включенный здѣсь въ оригиналъ. Изъ онаго не могъ я узнать destinatiи сихъ лошадей кромѣ той, которая прислана ко мнѣ отъ племянника моего князя Репнина. Я покорно ваше сіятельство прошу дать мнѣ знать, для кого онѣ назначены; а между тѣмъ отдалъ я ихъ

на конюшню, гдѣ за ними прилежно смотрѣть будутъ, и останутся онѣ до полученія мною на сіе отвѣта отъ вашего сіятельства. Помянутый капралъ и съ нимъ трое карабинеровъ объявили мнѣ, что они сюда присланы и вами назначены для полученія отставки; я, объ ономъ справясь съ Военною Коллегіею, отослать ихъ туда не умедлю.

## 10.

## Графъ Панинъ графу Румянцову.

Когда я началъ упражняться новымъ къ вашему сіятельству отъ правленіемъ, касательно до перемирія, въ то время подоспѣла сюда чрезъ Пруссаго въ Константинополь министра Цегелина пріятная вѣсть о новой отъ Порты податливости къ миру предварительнымъ ея соглашеніемъ на формированіе конгресса безъ содѣйствія и соучастія Вѣнскаго двора. Сіе обстоятельство, произведя нѣкоторую остановку въ начатой мною работѣ, доставляетъ мнѣ, напротивъ, удовольствіе сдѣлать къ вамъ, милостивый государь мой, настоящую экспедицію и сообщить вамъ, для лучшаго познанія всего дѣла, самый результатъ высочайшихъ Ея Императорскаго Величества резолюцій, кои вы найдете здѣсь въ приложенной копіи съ депеши Пруссаго у насъ посланника графа Сольмса къ Константинопольскому его товаришу. Откровенность моя къ вашему сіятельству не дозволяетъ себѣ никакихъ предѣловъ, и такъ я почелъ за долгъ себѣ лучше представить вамъ всю картину въ истинныхъ ея краскахъ и тѣняхъ, нежели недостаточнымъ образомъ изобразить одно ея начертаніе, ласкаясь, впрочемъ, несомнѣнною надеждою, что ваше сіятельство все мною здѣсь сообщаемое единственно для себя въ крайнемъ и непроницаемомъ секретѣ сохранитъ изволите.

Вручитель сего письма подъ именемъ и съ паспортомъ королевскаго Пруссаго курьера имѣетъ съ собою оригинальную графа Сольмса депешу къ г. Цегелину въ Константинополь, которую разсуждено здѣсь отправить туда кратчайшимъ путемъ, для выигранія толь драгоценнаго времени. Я долженъ потому просить ваше сіятельство, по высочайшему Ея Императорскаго Величества соизволенію, чтобъ вы тотчасъ по пріѣздѣ его къ вамъ изволили пристойнымъ, но ближайшимъ средствомъ отозваться къ верховному визирю, или кто по отбытіи его отъ арміи непріятельской имѣетъ надъ оною главную команду, коимъ образомъ присланъ къ вамъ отъ находящагося здѣсь королевскаго Пруссаго министра графа Сольмса собственный его и собственнымъ его пашпортомъ снабденный курьеръ съ депешами къ г-ну Цегелину, министру его Пруссаго величества въ Константинополь, съ такою просьбою, чтобъ его прямою дорогою отправить въ Царьградъ, истребовавъ напередъ позволенія и всей нужной безопасности; что вы о



причинѣ отправленія его не болѣе знать изволите какъ только, что оное касается до вышнихъ и важнѣйшихъ интересовъ обѣихъ воюющихъ державъ и что вы посему, извѣщая его, верховнаго визиря, или командующаго на его мѣстѣ, требуете благопріязненно назначенія времени и мѣста на другомъ берегу Дуная рѣки, когда и гдѣ помянутаго Прусскаго курьера отдать на руки Турецкія, дабы вы его въ определенное мѣсто и на уреченное время съ своимъ конвоемъ прислать и Туркамъ съ рукъ на руки отдать могли.

Сколь скоро на сей вашъ отзывъ послѣдуетъ съ Турецкой стороны желаемый отвѣтъ, то и изволите ваше сіятельство приказать отправить въ надлежащее мѣсто курьера, коему здѣсь на дорогу до Константинополя дано четыреста червонныхъ.

Даруй Боже, чтобъ сіе хорошее начало возымѣло скорый и счастливый успѣхъ къ увѣнчанію славы любезнаго отечества и оружія его, коей ваше сіятельство мудрымъ предводительствомъ толь много способствовали и способствуютъ.

Въ С.-Петербургѣ, 20 Декабря 1771 г.

11.

#### Графъ Панинъ графу Румянцову.

Почтенное и откровенностію наполненное письмо вашего сіятельства, отъ 5-го прошедшаго мѣсяца, произвело во мнѣ столько же признательнѣйшей благодарности, сколько конечно и поражаетъ оно меня наиболѣе чувствительнѣйшею прискорбностію о разстройствѣ здравія вашего. Ей, ей, милостивый мой другъ, безъ малѣйшаго ласкательства и пристрастія, но по истинному моему душевному удостовѣренію, скажу вамъ чистосердечно, что я совершенно уже отчаюся наконецъ видѣть непрерыванну и сохраненну ту столь туго натянутую отечества моего струну, съ которою соединены всѣ наши дѣла, естли вы оставите нынѣ настоящую вашу службу.

Я никогда имѣть не хотѣлъ, и теперь истинно не имѣю, предѣла моей къ вамъ искренности и довѣренности; а по сему я не могу скрыть предъ вашимъ сіятельствомъ моего сердечнаго прискорбнаго удостовѣренія, что встрѣчающіяся столь вамъ часто справедливыя неудовольствія, а можетъ быть и самыя изъ тогожъ происходяція помѣшательства вапимъ патриотическимъ намѣреніямъ и дѣламъ, могли знатно прибавить поврежденія здоровью вашему, которое столь много и однихъ трудовъ и суровости разныхъ погодъ несомнѣнно претерпѣть долженствовало. Но и въ томъ истинномъ удостовѣреніи, мой милостивый другъ, я остался, что естлибъ вы въ теченіе вашихъ столь великихъ и славныхъ кампаній могли рѣшиться хотя единожды здѣсь

побывать, то бы конечно отвратили многія неудовольствія и исправили бы то, чего въ ваше отсутствіе никакъ исправлять было невозможно. Простите мнѣ сіе мое признаніе: искренная моя къ вамъ преданность извѣстна изъ моихъ словъ.

Когда политическая зависть и злоба возрасли до такой степени, что и совершенное безкорыстіе и самые сентименты христіанскіе преворены въ подвигъ новой войны противъ нашего отечества, то можетъ ли истинное благоразуміе тогда что другое совѣтывать, какъ, при главнѣйшемъ стараніи обнадежиться будущимъ себя обезпечиваніемъ и непосредственною пользою, искать отвратить сколько возможно ближайшую причину къ новой войнѣ, и приближаться къ скорѣйшему пресѣченію настоящей? По симъ правиламъ здѣсь признано отторженіе Татаръ отъ Турокъ прочною преградою и раздѣленіемъ непосредственнаго сосѣдства съ Портою Отоманскою, приобрѣтеніе чрезъ то способнѣйшаго и свободнаго мореплаванія по Черному морю, знатною пользою для распространенія нашей коммерціи и, наконецъ, возвращеніе завоеванныхъ двухъ княжествъ, яко отнятіе у Вѣнскаго двора единственнаго предлога имѣющаго видъ непосредственнаго интереса его къ недопущенію къ себѣ новаго сосѣдства. Правда, нельзя заранѣе удостовѣриться, чтобъ сей послѣдній пунктъ дѣйствительно насъ спасти могъ отъ новой войны; однакожь и то не безъ основанія полагать можно, что по послѣдней мѣрѣ приблизить онъ насъ скорѣе прекратить настоящую и тѣмъ развяжетъ больше руки противъ ненавидящаго насъ Вѣнскаго двора дѣйствовать соединенно съ нашимъ союзникомъ.

Ваше сіятельство примѣчать изволите обѣты наши тѣмъ двумъ княжествамъ; но, судя по истинѣ, возможно ли сказать, что они исполняли и нынѣ исполняютъ по совершенной своей возможности все то, что для избавленія своего отъ вѣчнаго Турецкаго ига они дѣлать должныствовали бы? А посему не довольно ли имъ будетъ благодаренія съ нашей стороны, когда мы выговоримъ въ трактатѣ для нихъ возстановленіе прежнихъ ихъ правъ и преимуществъ, съ которыми они пришли въ Турецкое подданство и оное утвердимъ разными гарантіями? Тѣ же частныя лица, кои особо намъ чрезъ всю войну услуги показывали, могутъ быть исключены и переселены съ своимъ имуществомъ и достоинствомъ въ наши области.

Позвольте, милостивый мой другъ, вамъ здѣсь акредитовать особенно и въ конфиденцію г. Симолина. Я къ нему имѣю полную довѣренность, и онъ знаетъ всѣ мои мысли и расположенія; а потому я ему и поручилъ всѣ оныя вамъ открыть, когда вы ему сей доступъ

къ себѣ дозволите и дальнѣйшихъ объясненій и извѣстій по нашимъ дѣламъ отъ него словесно потребуете.

Въ заключеніе покорно прошу, милостивый мой другъ, чтобъ сіе письмо осталось навсегда для всѣхъ другихъ безгласно, такъ какъ и естли вы что по милости и дружбѣ вашей ко мнѣ на оное въ отвѣтъ сказать изволите, то бы особенно написано было, не вмѣшая къ матеріи письма къ предьявленію другимъ чего принадлежащаго.

## 12.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Вѣнскій дворъ, или справедливѣе сказать принцъ Кауницъ конечно не допуститъ насъ прежде въ непосредственный разговоръ съ нашимъ непріателемъ, пока самъ не опредѣлитъ всѣхъ нашихъ кондичій. По сей причинѣ мы и показали Вѣнскому двору лучшую и скорѣйшую выгодность постановить перемиріе чрезъ главнокомандующихъ арміями, а въ тоже время рекомендовано отъ насъ Прусскому въ Царьградѣ резидующему министру, особенно по своей коннекціи, представить тамошнему верховному министру Османъ-эфендію, яко челоуѣку къ намъ издавна благонамѣренному, чтобъ онъ воспользовался представляющимся ему случаемъ негоціаціи объ удержаніи оружія для собственнаго его спознанія въ точности нашихъ намѣреній и образа мыслей въ разсужденіи настоящей войны, которые онъ можетъ быть найдеть инаковыми нежели ихъ представляетъ нынѣ Вѣнскій дворъ, и для того бѣ онъ, Османъ-эфендій, постарался, чтобъ ему надежная креатура была отправлена комиссаромъ для постановленія того перемирія.

Я теперь, съ моей стороны, всѣ силы устремляю для скорѣйшаго отправленія къ вашему сіятельству такого челоуѣка, который бы съ пользою отъ васъ и подъ вашими повелѣніями употребленъ быть могъ къ сему двойному предмету негоціаціи. Господинъ Симолинъ, пріѣхавшій сюда на сихъ дняхъ, по дозволенію на время отъ министерскаго своего поста изъ Регенсбурга, назначается къ тому отъ Ея Императорскаго Величества. Я не оставлю его снабдить всѣми нужными свѣдѣніями и наставленіями о свойствахъ дѣлъ и интересовъ нашихъ относительно до Порты такимъ образомъ, чтобъ онъ былъ въ состояніи вамъ представить достаточное объясненіе, по которому бѣ вы тогда его въ руководство ваше принять изволили, и онъ бы при сѣздѣ комиссаровъ, естли оный мѣсто имѣть будетъ, негоцируя объ одномъ, могъ внушать и обращать примѣчаніе и желаніе къ другому.

Въ С.-Петербургѣ, 8 Февраля 1772 г.

## 13.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Я никогда не былъ еще въ такомъ положеніи, чтобъ опредѣлить своими мыслями, что есть вѣрнѣе изъ сей объекціи: легче ли завоевать землю, или удержать оную? Но теперь, вникнувши, чрезъ откровеніе ваше, въ неизвѣстную мнѣ доселѣ связь, вижу, что для послѣдняго способа только найти можетъ великое благоразуміе мужей искусившихся въ политикѣ.

Разсужденія вашего сіятельства о утвержденіи независимости Крыму отдаляютъ всякое сомнѣніе, чтобъ сей народъ не чувствовалъ благодвореній отъ руки нашей и не былъ бы навсегда привязанъ возведшимъ его на сію степень. Но коль сіе, такъ и то, милостивый мой графъ, заслуживаетъ вѣроятность, что симъ самымъ тотъ удѣлъ претворится уже въ объектъ разнствующей отъ представляемаго имъ нынѣ, къ которому Турки совсѣмъ другое обратятъ уваженіе: ибо прошедшія событія довольно примѣровъ показываютъ, что малѣйшія страны, восшедши къ той силѣ, что собою стоятъ могли, ширились и возрастали къ ослабленію другихъ по слѣдствіямъ изъ того неминуемымъ.

Простите, милостивый государь мой, безконечной моей къ вамъ преданности, что я смѣло и въ самой простотѣ слова изъясняю мои мысли, входя паче другихъ предположеній въ относящееся къ симъ землямъ, гдѣ войски мнѣ вѣрныя находятся. Если нашими для нихъ увѣреніями и всѣмъ ихъ спасеніемъ принуждены мы пожертвовать упорству двора, воспящающаго пользамъ челоуколюбія и Христіанства противъ варваровъ и невѣрныхъ: то, по долгу службы и изъ партикулярной моей привязанности къ вашему сіятельству, не могу я не открыть вамъ, что сіе постановленіе должно быть наискрытнѣе трактовано, дабы непріатели наши завременно не обвѣстили злѣйшей участи симъ народамъ, которые сколь ревностно сначала войны прилѣпились къ нашей сторонѣ, столь ненависть и отчаяніе вооружить противъ насъ ихъ могутъ мщеніемъ, когда познаютъ предаваемыхъ себя въ область и паки мучительскую. Я на испытанныхъ уже доводахъ основываю опасеніе, или и осторожность мою.

Съ начала прошедшаго лѣта пронесся слухъ здѣсь, по внушеніямъ нашихъ недоброжелателей, что сіи княженія опять мы отдадимъ Туркамъ. Ваше сіятельство видѣли въ тогдашнихъ моихъ ко двору донесеніяхъ, что уныніе и ужасъ народа, отъ тѣхъ вѣстей происшедшіе, заставляли меня смотрѣть на ихъ расположеніе неиндифферентнымъ окомъ. Покушенія, что предпринимали Турки въ Валахіи, были вѣрно изъ сей надежды попытками узырѣть по своимъ тайнымъ побужденіямъ

народъ отъ насъ отвращенный. Нашлись, напоследокъ, ихъ и письма къ первѣйшимъ чиновникамъ земли, обѣщающія имъ великія выгоды и знаменующія сихъ къ тому предательную уже готовность.

Теперь, какъ Вѣнскій дворъ, показывающій явное недоброжелательство дѣламъ нашимъ, исключается отъ посредства мирной нашей съ Турками негодіаціи, то легко станется, что Турки, приводя оный къ большому противъ насъ воспаленію и облегчая тѣмъ свое положеніе, не сдѣлають предъ нимъ тайны изъ всѣхъ договоровъ, въ которые принуждены вступить съ нами. А потому не меньше быть можетъ, что Цесарцы заранѣе постараются вложить въ сердца здѣшнихъ жителей (посредствомъ многихъ знатныхъ чиновъ сихъ земель, пребывающихъ въ ихъ границахъ) всякую ненависть и отвращеніе противъ насъ, какъ отходящихъ отъ обѣщаннаго имъ заступленія, указавъ имъ прямую дорогу, ведущую къ полезному на будущее время, а напротивъ гибельную опасность, сопряженную съ отверженіемъ оной. Я видѣлъ уже, какъ выше сказалъ, въ прошедшемъ годѣ, сколь общую мысль повергало въ колеблемость проникшее сюда о семъ предвареніе; и потому мнится мнѣ, что сіе обстоятельство неудобно произвести по себѣ здѣсь вредныя для насъ слѣдствія въ такомъ наипаче случаѣ, когда бы съ Турками предприемлемыя негодіаціи и примиреніе наше не возымѣли желаемого конца. А хотя бы въ семъ послѣднемъ и полный успѣхъ мы получили, но какъ я уже отъ долгаго времени изнемогаю болѣзненными припадками, которые, истощивъ мое здоровье, часъ отъ часу умножаютъ необходимость принести просьбы о увольненіи моемъ ко излѣченію: то я твердо полагаюсь на дознанныя ваши къ себѣ благодѣянія, что вы не оставите меня здѣсь быть зрителемъ послѣднихъ событій по заключеннымъ договорамъ. Ибо ваше сіятельство сами можете представить, коль непріятно было бы для меня, по чувствамъ человѣчества, видѣть народъ огорчевающійся своими бѣдствіями, для коего обезпеченія (въ недостаткѣ сильнѣйшихъ средствъ) я долженъ былъ словесно и письменно частыя увѣренія издавать о всегдашней оному защитѣ отъ оружія Россійскаго противу невѣрныхъ, слѣдственно и даль тѣмъ право положить теперь укорины на мою честность и клятвы. Я прошу вашего сіятельства, какъ моего благодѣтеля, не обязать меня дожидаться здѣсь той поры, которая съ собою принести должна для сердца моего сію прискорбность.

Въ окончаніи увѣрить я могу ваше сіятельство, что все преданное мнѣ чрезъ искреннюю откровенность вашу не выйдетъ никогда изъ подлежащей у меня тайны.

5 Января 1772 года. Изъ главной квартиры, города Яссы.

## 14.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Препровождаю симъ къ вашему сіятельству г. маіора Люиза, подпавшаго жребію, рѣдко несомвѣстному службѣ военной, то-есть, что, отличаясь онъ отмѣнными достоинствами въ семъ ремеслѣ и превосходнымъ усердіемъ къ оному, получилъ при осадѣ Браиловской тяжелую рану, которую при дѣйствиіи страдательномъ сущимъ увѣчемъ почитать надобно. Но не одна сія бѣда составляетъ его несчастіе, а увеличиваютъ оное еще больше, обстоятельства его матери, вдовствующей госпожи адмиральши, которая въ бѣдности своей не имѣетъ дневнаго пропитанія и живетъ доселѣ снабженіями отъ сына, который при таковыхъ же недостаткахъ удѣлялъ къ тому нѣчто изъ малаго своего жалованья.

Въ сей послѣдней нуждѣ указалъ онъ мнѣ самъ въ помощника ваше сіятельство, а за тѣмъ охотнѣе приѣмлю объ немъ ходатайство, что неизчетные примѣры добродѣяній вашихъ вселяютъ во всякаго надежду на толь извѣстное челоуѣколюбіе ваше.

Съ моей стороны я могу сказать, что ваше сіятельство могли видѣть, сколь поздно мнѣ доставалось оканчивать кампаніи, и сколь рано дѣлалъ я имъ отверстіе. И такъ краткость времени, остававшагося отъ полевыхъ дѣйствій, занимала мой трудъ и мысли къ приготовленію вскорѣ къ вновь наступающимъ. Изволите не меньше сего знать, что чины, и даже привязанные къ неразлучной и совмѣстной со мною службѣ, удалялись, когда хотѣли отсюда, сваливая на мой трудъ и дѣла ихъ званія. Я работалъ за всѣхъ и безотлучно и замѣнялъ единымъ своимъ попеченіемъ ихъ выгоды и отдохновенія, не говоря о томъ ни слова прежде, какъ уже почувствовалъ въ тѣлѣ своемъ до того ослабленіе, что боюсь подъ бременемъ симъ поникнуть.

Я давалъ нѣкоторымъ при отъѣздѣ комиссію представить о сущихъ нуждахъ войска; я и писалъ, представляя ближайшіе способы, какъ недостатки въ потребномъ наградить. Мои доклады не удостоены уваженія.

14 Генваря 1772 г.

Въ Яссахъ.

## 15.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Въ С.-Петербургѣ, 26 Генваря 1772 г.

Господинъ полковникъ Языковъ, выпущенный изъ гвардіи, отправляется въ армію вашимъ сіятельствомъ предводительствуемую. Я имѣлъ случай узнать его достоинства при порученной ему комиссіи въ Грузіи, которую онъ исполнилъ съ отличнымъ раченіемъ и съ изъявленіемъ

емъ ревностнаго своего къ службѣ усердія; сверхъ же того извѣстенъ мнѣ и характеръ его души, честностію наполненной.

16.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

При самомъ отправленіи къ вашему сіятельству г. Симолина, явленіе на нашемъ политическомъ театрѣ столь скоро и столь рѣшительно совсѣмъ перемѣнилось, что я и самъ не могъ безъ удивленія то увидѣть, хотя въ поведеніи дѣлъ моихъ еще не отчаявался совсѣмъ достигнуть до сего оборота, и онѣя сообразовалъ сей надеждѣ. Словомъ, милостивый мой другъ, на сихъ дняхъ Вѣнскій дворъ рѣшился на соединеніе съ нами и съ королемъ Прусскимъ, и вступаетъ въ дѣлежъ Польши съ оправданіемъ справедливости и умѣренности нашихъ послѣднихъ кондицій къ миру съ Турками. Спѣша теперь тѣмъ болѣе по сей новой причинѣ отправленіемъ къ вамъ г. Симолина, и будучи преисполненъ новыми мыслями и ихъ соображеніемъ, не имѣю я времени ни возможности распространить вамъ здѣсь обстоятельства сего новаго происшествія. Г. Симолинъ все самъ видѣлъ и самъ читалъ. Онъ не преминетъ словесно донести вашему сіятельству всего онаго; а вы, милостивый государь мой, изъ того узнать изволите, что Вѣнскій дворъ уже далъ свои повелѣнія своему интернунціусу въ Константинополь объ общемъ съ тамошнимъ Прусскимъ министромъ домогательствѣ, чтобъ Порты немедленно поступила на перемиріе и на соглашеніе о конгрессѣ, съ предписаніемъ тому интернунцію, чтобъ онъ по усмотрѣнію надобности прямо увѣдомилъ ваше сіятельство о распоряженіи мѣръ къ тому.

17.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Сердечнымъ поздравленіемъ долженъ я начать мой отвѣтъ вашему сіятельству на два ваши всепочтеннѣйшія отъ 1 и 5 Февраля. Вы можете лучше то представить въ своихъ мысляхъ, по удостовѣренію о глубокой моей къ вамъ преданности, нежели я словами изобразить, сколько я обрадованъ обороту дѣлъ противныхъ толь благонадежному притязанію силою великаго разума воздвигнутому, которое удивитъ и злобу и зависть, и зараженныхъ худою надеждою о нашихъ пользахъ. Уступить по справедливости должны вамъ славу, сколько мы ни знаемъ ревнительныхъ патріотовъ и искуснѣйшихъ политиковъ; ибо къ пользѣ и чести нашего отечества, милостивый мой другъ представляетъ въ особѣ своей свѣтило, коего блистательнаго сіянія въ обоихъ видахъ не затмятъ будущіе вѣки. Я дѣлаю сердцу моему насиліе, прекращая рѣчь,

и возлагая на время справедливость моихъ мнѣній, которыхъ изъясненіемъ не расширяю въ удовлетвореніе извѣстной мнѣ вашей умѣренности, въ принятіи похвалъ дарованіямъ вашимъ принадлежащихъ.

Что до меня собственно, то никогда во мнѣ не упала надежда, чтобъ мой милостивый графъ не принялъ участія въ обстоятельствахъ, гдѣ его помощь, такъ сказать, доселѣ спасаетъ и просвѣщаетъ меня. Я вижу, исполняясь истиннаго удовольствія, въ письмѣ вашемъ, сколь справедливо было и есть мое въ томъ упованіе. Милость и дружбу, что вы мнѣ оказываете въ безпредѣльной откровенности, и своимъ соболѣзнованіемъ объ упадкѣ моего здоровья, безъ ласкательства скажу, оживляютъ мои душевныя и тѣлесныя чувства. Обыкши не различать вашихъ совѣтовъ отъ наставленій благоразумнаго руководителя, предаюся я и теперь полнымъ образомъ вашей волѣ, не думая о истощеніи своихъ силъ, не обѣщающихъ мнѣ инаго, кромѣ сокращенія вѣка, ежели къ тому убѣждаете пользою общею.

Партикулярныя мои неудовольства, которыя ваше сіятельство узнаете сами, вѣрите, милостивый графъ, что я къ нимъ до того терпѣлся, что уже и не ставлю ихъ въ большую себѣ чувствительность. Теченіе лѣтъ и службы моей не скрыто отъ знанія вашего, и я въ томъ твердо могу положиться на удостовѣреніе собственное ваше, больше ли пріятнаго или труднаго и прискорбнаго, доставалось всегда на мою долю?

Если бъ отъ меня зависѣло къ вамъ пріѣхать, я бы тѣмъ охотно воспользовался, но не вмѣшиваю къ сему ничего болѣе. Извинялись, что не нашли никогда случая говорить о состояніи арміи, а вмѣсто того дѣлаются піонерные баталіоны для арміи, которая ввѣрена моему попеченію, и выдаютъ вновь штаты генераль-квартирмейстерскіе. Представьте, милостивый мой другъ, сіе ли есть раченіе о пользѣ войскъ, или только ни къ чему пенужная прихоть? Если я говорю о полезномъ, и по лучшему испытанію, противъ того не только дѣломъ, ниже словомъ не отвѣчаютъ; но ежели другой, трогая деликатность военнаго начальства, вымыслить что-нибудь для моей части, то исполняется, какъ самонужнѣйшее. Я боюсь сдѣлать безконечнымъ мой разговоръ и отнять у васъ время толь нужное для верховной пользы. Богу слава, что струны вашего изобрѣтенія дадутъ скоро всему конецъ и что мнѣ не останется ни досаждать другимъ противъ своей воли, ниже терпѣть самому тоже.

3 Марта 1772 г.

Изъ Яссы.



## 18.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Наконецъ, по долгомъ ожиданіи, возвратился 9-го сего мѣсяца ко мнѣ, въ Яссы, извѣстный нашъ курьеръ, посылаемый въ Царьградъ. Черезъ него я получилъ отъ гг. Тугута и Цегелина письма, а таково-жъ и прямо отъ верховнаго визиря Мегметъ-Мосунъ-оглу съ его чего-даремъ, нарочно ко мнѣ посланнымъ. Я, списавъ всѣ оныя, приобщилъ къ нынѣшней моей о томъ къ Ея Императорскому Величеству реляціи.

Я въ своей запискѣ сдѣлалъ пристойное внушеніе о тѣхъ кондиціяхъ, которыя мнѣ въ рескриптѣ, отъ 3-го Генваря, предписаны для заключенія перемирія, коего о срокѣ до 1 Юня, я не имѣлъ никакого сомнѣнія согласиться; ибо, и по собственному благопризнанію отъ Ея Императорскаго Величества, продолженіе сего времени вмѣняется къ пользѣ для дѣлъ нашихъ. Изъ всѣхъ артикуловъ, предлагаемыхъ съ нашей стороны, я думаю, наитруднѣйшими покажутся Туркамъ сіи два: чтобъ имъ пресѣчь безъ изъятія всякое сообщеніе на судахъ въ Черномъ морѣ къ берегамъ нашимъ, и оставить безъ прикосновенія, на томъ боку Дуная, мѣста, изъ коихъ отъ нашихъ войскъ были они выбиты. Согласясь на первое, надобно будетъ имъ прекратить свою коммуникацію съ крѣпостью Очаковскою, лежащею на нашемъ берегу; во второмъ натурально представится имъ, что, съ утвержденіемъ нашихъ постовъ на сопотивномъ берегу, стѣснены станутъ ихъ выгоды, а распространится, напротивъ, толь близко опасность.

Я прошу прислать мнѣ изъ архива формуляры, служащіе въ образецъ, какъ трактовать подлежитъ на письмѣ сію матерію во всѣхъ ея раздѣленіяхъ; ибо не хочу я утаить предъ вашимъ сіятельствомъ, что сіе превосходитъ собственные мои ресурсы, и безъ г. Симолина въ подобныхъ изворотахъ довольно надсадилъ бы я свою и безъ того большую голову.

Я принужденъ цѣлые три дня продержать курьера здѣсь, не отправляя моей экспедиціи ни къ вамъ, ни за Дунай, потому что переводчикъ Турецкаго языка, котораго мнѣ оставилъ г. Обрѣзковъ, разбирая сколь можно прилежнѣе визирское письмо, не могъ мнѣ ясно истолковать полное содержаніе онаго, по недовольной способности въ понятіи всѣхъ терминовъ Турецкаго стила. Я больше доходя самъ по извѣстной мнѣ матеріи до вразумленія онаго, наклонялъ уже и мои изъясненія по тѣмъ мыслямъ въ своемъ отвѣтномъ письмѣ къ визирю. Ради сего разсудилъ я, сверхъ перѣвода здѣшняго, приложить тутъ сіе оригинальное визирское письмо, котораго прямой разумъ ваше сіятельство чрезъ своихъ искуснѣйшихъ переводчиковъ лучше узнаете.

Полученныя два письма отъ г. Цегелина къ графу Сольмсу и Алексію Михайловичу Обрѣзкову я здѣсь включаю. Я надѣюсь, что сей министръ даетъ тутъ знать особливо о предположеніяхъ для конгресса. Городъ Букарештъ, избираемый къ тому, предъ Измаиломъ подлинно больше будетъ выгоднымъ, и я не знаю, кому показался Измаиль удобнѣйшимъ, гдѣ не только нѣтъ строенія къ вмѣщенію такого съѣзда, но ни прута лѣса для отопленія обывателямъ; поелику вся та степная страна между Прута и Дуная совершенно пуста, и выгодъ къ прожитію въ тамошнихъ городахъ отнюдь не подасть; но какъ и Букарештъ въ своемъ краю есть одно только мѣсто, гдѣ войска подъ крышкою стоятъ, и всѣ запасы наши хранены быть могутъ: такъ ежели конгрессъ продолжится до осени, то мнѣ трудно будетъ прибрать средство, гдѣ бы тогда военнымъ людямъ держаться.

Марта 13-го дня 1772.

Изъ Яссы.

19.

Графъ Румянцовъ графу Панину.

Къ знакамъ прямой дружбы я причитаю сдѣланныя примѣчанія отъ вашего сіятельства въ мою предосторожность во всепочтеннѣйшемъ вашемъ отъ 21-го Марта, по увѣдомленію вами партикулярнымъ образомъ, якобы я отъ поставокъ въ армію пропитанія уволилъ деревни фамилій Потоцкихъ и Мнишковъ. Я и то удовольство тутъ же для себя воображаю, что ваше сіятельство, конечно, не всю вѣру додали такому увѣдомителю, когда не разсудили объявить мнѣ лица его, котораго клевета неожиданно до самой деликатности противъ меня идетъ.

Экспликація сей матеріи, по которой отвѣчать никогда я себя не приготавливалъ, могла бы быть пространною, а я не осмѣливаюсь тѣмъ милостивца моего обременять, и сокращаю мое увѣдомленіе въ семь единомъ.

Мнишка деревни облегчены по требованію о томъ ко мнѣ отъ нашего бывшаго посла князя Волконскаго, который рекомендовалъ для него сію выгоду, предобъявляя, что онъ будетъ шефомъ нашей партіи въ коронѣ. Считается ли онъ или Потоцкій за людей подозрительныхъ въ размноженіи Польскихъ замѣшательствъ, я ни отъ кого о семъ не знаю; а напротивъ, со стороны моего въ семь краю командованія, во все время, я не примѣтилъ ничего такого отъ Потоцкаго, воеводы Кіевскаго, чтѣ бъ явило слѣды его для нашихъ войскъ недоброхотства. Войски наши въ его деревняхъ всегда стояли и теперь стоятъ. Давалъ и даетъ и нынѣ онъ безъ послабленія всѣ для арміи нужныя поставки съ своихъ мѣстностей, которыя подвергнулись чрезъ то больше нежели другихъ его братьи крайнему раззоренію. Изъ уваженія къ сему по-

слѣдному, я только одну его деревню, а не цѣлыя имѣнія, и то ту, въ которой онъ самъ живетъ, уволилъ отъ поставокъ провіантскихъ.

Если бы я удобенъ былъ ходить слѣдами нашихъ Польскихъ партизановъ, то бы давно уже сдѣлалъ его конфедератомъ; ибо не можно сомнѣваться, чтобъ не изобиловалъ онъ серебромъ и золотомъ. Но я не считалъ, чтобъ власть, свойственная возложенному на меня званію, была стѣсняема до того, чтобъ я не могъ безъ предосужденія толь малаго угожденія сдѣлать персонамъ знаменитымъ въ своей землѣ, въ томъ единомъ намѣреніи, что, истощивши сію часть Польши безпрестанными поставками провіантскими на армію до самой крайности, средствомъ сего возможнаго снисхожденія обязывать ихъ, чтобъ собою къ успокоенію приводили они и другихъ терпящихъ, кои имъ привержены.

Я отдаю вашему правосудію опредѣлить, можно ли къ сему моему поступку приложить виды особливости распространяемой на всѣ фамиліи вышеписанныхъ домовъ? Впрочемъ, я порукою себя не даю ни за какого Поляка, а увѣренъ въ томъ несомнительно, что ваше сіятельство, зная меня отъ дѣтскихъ лѣтъ, не видѣли доводовъ противныхъ, нежели какъ я себя разумѣю соблюдающимъ во всякомъ случаѣ непреткновенно мое званіе и далекимъ отъ того, чтобъ поступить на что-либо изъ недостойнаго пристрастія. И для того прошу я ваше сіятельство заступитъ меня и предъ другими, до коихъ безъ сомнѣнія клеветуницѣй возьметъ прибѣжище, когда уже обноситъ меня предъ вашимъ сіятельствомъ, котораго ношу я толь извѣстныя милости.

13-го Апрѣля 1772 г.

Изъ Яссы.

20.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

На другой день, какъ я имѣлъ честь получить всепочтенѣйшее вашего сіятельства, отъ 8-го Іюня, господинъ Симолинъ безъ замедленія отправился отсюда. Въ особѣ его имѣлъ я для себя помощника искуснаго и рачительнаго въ томъ дѣлѣ, которое удостоили ваше сіятельство своей апробаціи. Я никогда не престану чувствовать, сколь милость моего благодѣтеля была велика въ облегченіи меня отъ труда, чрезъ посредство человека толь отмѣнныхъ способностей.

Послѣ того, что я перенесъ и что еще встрѣчается, признаюсь, милостивый государь, что ничего я больше не желаю какъ видѣть конецъ здѣшнимъ дѣламъ и чтобъ послѣдствіемъ таковымъ могъ я возымѣть удовольствіе персонально изъявить мои чувства другу и милостивцу, котораго добросердечіе и благодѣнія ко мнѣ ни съ чѣмъ я не могу сравнить, развѣ съ собственною моею признательностію. Я напередъ себя обнадеживаю воспользоваться тогда вашею помощію въ

полученій выгодъ, относящихся къ отдохновенію, которое нужно для человѣка всю жизнь проводившаго въ подвигахъ истощающихъ силы душевныя и тѣлесныя.

22 Іюня 1772 года, Яссы.

21.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Бывъ облегчаемъ въ дѣлахъ Турецкихъ трудомъ теперешнихъ нашихъ полномочныхъ, имѣю однакожъ я новую и непрестанную для себя въ войнѣ заботу, въ которой необходимость принуждаетъ меня утрудять ваше сіятельство. Въ соотвѣтствіе высочайшему повелѣнію я, елико можно, старался отклонить Австрійцевъ отъ занятія Бѣльскаго повѣта и угла Красной Русіи съ округомъ Львовскимъ; но однакожъ они въ полномъ маршѣ находятся распространить свой кордонъ и за сіи мѣста. Мою переписку съ графомъ Гадикомъ и его объясненіе, которыя мѣста обнять онъ имѣетъ повелѣніе отъ своего двора, я представляю при нынѣшней моей реляціи и прошу вашего сіятельства спомоществовать скорѣйшему послѣдованію на сіе резолюціи.

Въ видѣ той къ вамъ преданности, которая сердцемъ и перомъ моимъ водить, и въ упованіи взаимно на дружбу и милость вашего сіятельства, осмѣливаюсь у васъ просить для себя откровенія, въ какомъ расположеніи теперь или впредъ будетъ Вѣнскій дворъ, и беретъ ли онъ участіе во всѣхъ дѣлахъ съ нами, или только въ одномъ подѣлѣ Польши?

8 Іюля 1772 года, въ Яссахъ.

22.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Теперешнее мое отправленіе къ Ея Императорскому Величеству содержитъ отзывъ визиря верховнаго, присланный чрезъ Ахметъ-эфендія, бывшаго секретаремъ у Абазы-паши, въ коемъ онъ соглашаетъ меня на продолженіе еще перемирія, по минованіи 10-го числа Сентября, дая знать чрезъ сего посланнаго, что онъ уже приказалъ отъ своей стороны пашамъ о содержаніи ихъ войскъ въ спокойномъ положеніи. И я благопризналъ дать визирю взаимное соглашеніе въ разсужденіи перемирія по изъясненному въ моей реляціи резонамъ.

Ваше сіятельство, читая визирское письмо, конечно приведены будете къ удивленію, нашедъ въ немъ превеликій хаосъ; ибо тутъ представится поклепъ на пословъ, надменность и униженіе, податливость и высокоумѣрность и прочая, что обыкновенно взаимствуютъ они при всякомъ случаѣ отъ своего буйства.

9 Сентября 1772 г., изъ Яссы.

Р. S. Письмо, гдѣ клеветь визирь на меня въ исканіи 3-хъ мѣсячнаго продолженія перемирія, писано было именемъ моимъ отъ конгресса, дабы внесены быть могли по лучшему свѣдѣнію всѣ обстоятельства и причины, поданныя отъ стороны Турецкихъ полномочныхъ къ разрыву конгресса. Ваше сіятельство примѣтите, что приложенія писаны не лучшими писцами; но я съ трудомъ могъ и тѣхъ сыскать, а моя канцелярія вся больна, такъ какъ и весь мой домъ; а потому заключить можете, что и я не въ лучшемъ состояніи со стороны дѣлъ, выгодъ и здоровья.

23.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Подноситель сего, Датской службы г. подполковникъ Штрикеръ, служившій въ здѣшной арміи волонтеромъ, по предьявленному имъ мнѣ отзыву отъ своего двора въ его отечество, получилъ отъ меня отпускъ въ С.-Петербургъ, и при отъѣздѣ отсюда пожелалъ быти отъ меня рекомендованъ вашему сіятельству. Я, имѣвши отъ всѣхъ командировъ, подъ начальствомъ коихъ онъ служилъ, похвальныя о немъ одобренія, не меньше же зная и самъ о ревностной и усердной его службѣ, не могъ отректись, чтобъ не препроводить его симъ къ вашему сіятельству, всепокорно прося о явленіи и ему, подобно прочимъ его соземцамъ, милостиваго вашего покровительства.

17 Сентября 1772 г., изъ Яссы.

24.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Духъ вашъ прямо патріотическій является во всѣхъ дѣлахъ и намѣреніяхъ вашихъ, польза и цѣлость отечества нашего есть предлогъ всѣхъ вашихъ заботъ и упражненій. А потому и не остается мнѣ ни малѣйшаго сомнѣнія, чтобъ вы не содѣйствовали всѣми вашими силами въ прекращеніи сей войны съ Турками, которая не страшна и не тягостна подлинно, какъ многіе ее воображали, по свойствамъ и силѣ непріятели, но по неразрывно съ оною совокупленнымъ болѣзнямъ прямо пагубна. Неложность сего заключенія испытали мы, къ несчастью нашему, когда моровая язва достигла въ самое сердце отчизны нашей и тамъ толикой вредъ причинила. Она, такъ сказать, вогнѣдзясь здѣсь, въ лежащихъ позади Польскихъ мѣстахъ, ядъ свой отрыгать и наки начала. Бывшая въ Фокшанахъ команда, заразившись оною, и понинѣ ее претерпѣваетъ, а наибольшее мнѣ смущеніе наносить, Боже отврати, чтобъ она далѣе не распространилась и не коснулась вновь предѣловъ нашихъ. Другія приличивыя болѣзни и

особливо странныхъ родовъ лихорадки, сдѣлались, при истощеніи нашихъ силъ, яко слѣдствія неминуемыя долговременнаго здѣсь пребыванія, такъ общими и всемѣстными, что едва ли кто изъ генераловъ и полковниковъ не приведенъ въ сущее и крайнѣйшее изнеможеніе, страдая долговременно самыми мучительными припадками. Изъ сего ваше сіятельство можете судить о числѣ больныхъ офицеровъ и рядовыхъ и что всеъ предпринимаемыя къ выгодѣ и леченію способы безсильны отвратить, чтобъ мы не теряли великаго количества людей умирающими. Въ самыхъ врачахъ мы терпимъ толикой недостатокъ, что къ осмотру и пользованію болящихъ не достааетъ почти силъ ихъ, поелику большая часть ихъ тѣмъ же самымъ немощамъ жизнию своею пожертвовали. Я, не хотя слѣдовать прежней войны полководцамъ, чтобъ начинать тутъ гдѣ кончить, а кончить гдѣ начинать кампаніи, искалъ захватить въ свои руки Дунай и крѣпости по берегамъ его и Чернаго моря лежащія, дабы, отгнавъ оттуда непріятеля, пресѣчь удобнѣе толь вредное съ нимъ сообщеніе. Поданные случаи самимъ непріятелемъ оказывали удобность поставить и на противоположномъ берегу твердую ногу; но многихъ ради обстоятельствъ, а особливо для вышеобъявленныхъ я долженъ былъ уклоняться отъ сихъ авантажей. Прискорбныя сіи обстоятельства конечно подвигаютъ на жалость и соболезнованіе пѣжное, сострадательное сердце Ея Императорскаго Величества. Изъ сей предосторожности я часто умѣриваю свои доношенія; но, можетъ быть, сія умѣренность не подастъ ли причины къ такъ великимъ съ отвагою предпріятіямъ, которыя особливо съ настоящимъ нашимъ положеніемъ несходны. Тебѣ, мой милостивый графъ, какъ безпристрастному судѣ и милостивцу моему, открываю наичистосердечнѣйшимъ образомъ внутреннее и наружное мое состояніе.

22 Сентября 1772 г., Яссы.

25.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Почтеннѣйшее и дружеское письмо вашего сіятельства отъ 9-го нынѣшняго мѣсяца, я имѣлъ честь исправно получить. Сколь много обрадовало насъ содержаніе депешей вашихъ ко двору отъ того же числа, оное вы легко себѣ вообразить могли, особливо получа предъидущій отпавленный къ вамъ рескриптъ; ибо въ ономъ предписано было вашему сіятельству учинить такой поступокъ къ возобновленію негодіаціи, каковымъ предупредилъ васъ нынѣ самъ верховный визирь. Краткость времени не позволяетъ теперь снабдить ваше сіятельство формальною высочайшею резолюціею, въ разсужденіи сего новаго явленія, съ симъ курьеромъ отправляемымъ отъ меня къ Алексѣю

Михайловичу Обрѣзкову. Оное ваше сіятельство непременно получить изволите съ особеннымъ курьеромъ, который на сихъ же дняхъ къ вамъ отправленъ будетъ; а между тѣмъ, я поставлю за долгъ званія моего и совершенной къ вамъ преданности предварительно снабдить ваше сіятельство, что Ея Императорское Величество съ особливимъ благоволеніемъ и апробаціею взирать изволитъ на все учиненное вами по сему новому происшествію, равно какъ и на тотъ образъ, которымъ изъявили вы верховному визирю взаимное желаніе ваше о возобновленіи негоціаціи. Алексѣй Михайловичъ будетъ имѣть честь предложить вашему сіятельству для прочтенія всю сего дня отправленную къ нему экспедицію. Почему и слѣдуетъ, что предложенный вашимъ сіятельствомъ срокъ перемирія до 20 Октября не только апробованъ будетъ, но и дадутся вамъ свободныя руки продолжить оный и далѣе по вашему благоразсужденію, смотря на успѣхъ теченія негоціаціи. Равномѣрно предоставится съ полною довѣренностію благоразумію вашему избраніе формы и сѣзда для мирныхъ договоровъ, въ чемъ конечно Алексѣй Михайловичъ, яко уполномоченная уже особа, будетъ вамъ достаточнымъ совѣтникомъ и инструментомъ въ производствѣ и совершеніи возобновляемой негоціаціи. Приближая миръ и тѣмъ самымъ обезпечивая насъ отъ всякаго важнаго устремленія Турецкихъ силъ, весьма бы много обезпечили вы насъ и въ разсужденіи аспектовъ съ Шведской стороны, естлибъ безъ потерянія времени отправили ко второй арміи тѣ четыре полка, о коихъ къ вашему сіятельству уже писано. Пожалуйте, милостивый государь мой, примите все сіе въ уваженіе, и благоразуміемъ, вамъ толико свойственнымъ, учредите ваши военныя мѣры такимъ образомъ, чтобъ ваши и здѣшняя сторона пребыли въ возможной безопасности.

Въ С.-Петербургѣ, 24 Сентября 1772 г.

26.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Вчера нечаянно и не безъ удивленія получилъ я портретъ его величества короля Прусскаго, осыпанный брилліантами, препровожденный письмомъ графа Сольмса, и особливо что не чрезъ руки милостиваго моего графа, но съ курьеромъ Военной Коллегіи отъ графа Захара Григорьевича. Не знатокъ я въ добротѣ камней, почему и не нахожу себя въ состояніи описать онаго качество въ разсужденіи цѣны; но драгоцѣненъ и лестенъ для меня сей знакъ милости его величества, тѣмъ паче, что пріобрѣли оный службы мои, удостоенныя высочайшаго всемилостивѣйшей нашей Государыни благоволенія. Я прошу всепокор-

но вашего сіятельства здѣсь вложенное о томъ мое всеподданнѣйшее письмо поднести Ея Императорскому Величеству.

Съ отправленія послѣдняго курьера отъ 22 Сентября не произошло здѣсь ничто новое, кромѣ что по полученнымъ мною извѣстіямъ Австрійскій г. генераль графъ Гадикъ въ части Польши, доставшейся имъ, учреждаетъ свои тамъ порядки и предосторожности, дѣлаетъ шестинедѣльные карантинны и проч. Ваше сіятельство можете заключить, колико стѣсняють меня сіи обстоятельства въ моихъ и безъ того нуждахъ, и потому Покуцію, которую онъ мнѣ съ подобными же мѣроположеніями оставляетъ, я, удаляясь разныхъ непріятныхъ случаевъ и не по лучшимъ тамъ запасамъ, намѣренъ также съ моей стороны оставить.

26 Сентября 1772 г., изъ деревни Корнешти.

27.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Позвольте мнѣ ваше сіятельство препоручить въ Вашу особливую милость вручителя сего, г. маіора Фонъ-Визина, которому желать всякаго добра я сугубую имѣю обязанность, разъ съ стороны службы, какъ достойному офицеру, другое, по старому моему знакомству съ ихъ домомъ. Для меня отличнымъ удовольствіемъ будетъ, если ваше сіятельство, по врожденной своей склонности на помощь людямъ достойнымъ, взыщите его какимъ-либо благодѣяніемъ.

5 Декабря 1772 г., изъ Яссы.

28.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Его величество король Польскій прислалъ г. генераль-маіору князю Щербатову орденъ свой Св. Станислава, на принятіе и возложеніе котораго, не имѣя онъ отъ высочайшаго двора позволенія, ко мнѣ отозвался. Я осмѣливаюсь сообщить о томъ и просить всепокорно исходатайствовать ему оное тѣмъ болѣе что къ настоящему утружденію васъ убѣждаюсь я со стороны усердной службы и достоинства помянутаго князя Щербатова, трудящагося по ввѣренному ему департаменту съ особливою прилежностію и похвальными своими распоряженіями снискавшаго себѣ въ томъ краѣ уваженіе и общее удовольствіе.

5 Декабря 1772 г., изъ Яссы.

29.

**Графъ Панинъ графу Румянцову.**

Смутность дѣлъ политическихъ была причиною, что я донынѣ, при всей моей къ вашему сіятельству безпредѣльной откровенности, не могъ



служить вамъ донесеніями моими по онымъ послѣ письма моего, отъ 9-го Апрѣля, тѣмъ больше, что тутъ болѣзнь Великому Князю случившаяся сдѣлала на немалое время крайнюю диверсію и остановку. Съ того времени хотя и начинается сей хаосъ приходитъ въ большее просвѣщеніе, но далеко еще отъ того, чтобъ достигнуть зрѣлости. Не престаеъ еще плаваніе наше по неизмѣримому пространству водъ разными вѣтрами обуреваемыхъ, и издалека только видны становятся берега мира и успокоенія. Съ стороны самага непріятели нашего есть осязательная склонность къ прекращенію пламени военнаго; но, напротивъ того, встрѣчается ей препона со стороны политики Вѣнскаго двора, или лучше сказать, высокомѣрнаго его министра князя Кауница. Онъ не только самъ заразился, но и предуспѣлъ еще дворъ свой предубѣдить завистію и недоброжелательствомъ противу толь знаменитыхъ и повсемѣстныхъ успѣховъ оружія нашего. Въ таковомъ расположеніи мыслей, не трудно ему было какъ императрицу-королеву привести на отверженіе перваго нашего плана примиренія, такъ и самую Порту ободрить перспективою вынужденія отъ насъ лучшихъ для нея кондицій, увѣряя ея точнымъ образомъ, что Австрійскій домъ по собственнымъ своимъ интересамъ не допуститъ никогда до того, чтобъ княжества Молдавское и Волошское Россіи уступлены были, и что оный въ случаѣ крайности составитъ изъ того собственное свое дѣло. На сихъ конечно основаніяхъ учрежденъ былъ первый намъ Вѣнскаго двора отзывъ на наше ему откровенное сообщеніе. Для преподанія вашему сіятельству, какъ моему другу и какъ главному въ дѣлахъ правителю военной части прямаго и полнаго совѣта въ самомъ существѣ всѣхъ нашихъ изъясненій съ Вѣнскимъ дворомъ, и до какой они степени нынѣ дошли, считаю я за долгъ себѣ сообщить вамъ по слѣдующему здѣсь реестру всѣ до сей матеріи касающіяся бумаги, съ испрошеніемъ у васъ на оныя непроницаемой тайны. Ваше сіятельство усмотрите изъ сихъ бумагъ собственною вашею прозорливостію, что злоба и высокомѣріе князя Кауница привели насъ напоследокъ въ необходимость избирать между двумя альтернативами или слѣпаго и безмолвнаго повиновенія прихотямъ его съ жертвованіемъ всѣхъ нашихъ толь дорогою цѣною купленныхъ пріобрѣтеній, или же мужественнаго бодрствованія и ополченія противу оныхъ съ новымъ размѣромъ тѣхъ политическихъ уваженій, коихъ отъ насъ не страсть, а существительный уже интересъ Австрійскаго дома требовать могли, дабы его инако оными и въ самомъ дѣлѣ не приневолить къ безвременному соучаствованію въ войнѣ. Мнѣніе, представленное мною Совѣту на семъ послѣднемъ началѣ, удостоилось высочайшей Ея Императорскаго Величества апробаціи, почему и сдѣлано отъ меня согласно съ онымъ по-

слѣднее мое въ Вѣну отправленіе тѣмъ больше, что предъидуше оному и самъ князь Кауницъ поумягчилъ диктаторскій свой тонъ, увиди между тѣмъ какъ собственную нашу твердость, такъ и дѣйствительное вооруженіе союзника нашего короля Прусскаго, съ которымъ мы теперъ находимся въ дѣйствительной негоціаціи о новомъ по времени и обстоятельствамъ больше свойственномъ и приличествующемъ союзномъ трактатѣ. Остается за тѣмъ обождать новыхъ резолюцій Вѣнскаго двора. Я не отчаяваюсь еще, что онѣ будутъ не столь грозны, какъ прежнія и что князь Кауницъ, поставляя себѣ предъ государями своими въ важную заслугу отступленіе наше отъ требованія на княжество Молдавское и Волошское, предпочтетъ напоследокъ неизвѣстностямъ сильной и опасной войны въ собственныхъ Цесарскихъ областяхъ, безъ всякаго уже почти законнаго предлога, покойное и надежное приобрѣтеніе захваченныхъ Австрійскими войсками Польскихъ земель и приумноженіе оныхъ другими кстати кусками, соображаясь въ томъ примѣру нашему и короля Прусскаго; ибо Ея Императорское Величество соглашается съ симъ государемъ сдѣлать на счетъ Польши нѣкоторыя взаимнымъ государствамъ нужныя и полезныя окруженія, давая чрезъ то самое безразсуднымъ Полякамъ чувствовать плоды неблагодарности и неистовства ихъ.

Между тѣмъ можетъ легко статься, что Порта по содержанію врученной здѣсь князю Лобковичу записки адресуется вскорѣ къ вашему сіятельству съ предложеніемъ о перемиріи. Я не имѣю нужды входить здѣсь о томъ въ какія либо подробности; ибо вы, милостивый государь мой, получите о семъ особый рескриптъ съ достаточнымъ на всѣ случаи наставленіемъ.

Въ С.-Петербургѣ, 16 Декабря 1772 г.

30.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Алексѣй Михайловичъ увѣдомляетъ меня о сдѣланномъ имъ отзывѣ къ вашему сіятельству, касающемся до снабженія меня позволеніемъ на возобновленіе въ надобномъ случаѣ перемирія. Мнѣ кажется, что я оное имѣю по силѣ высочайшаго именнаго Ея Императорскаго Величества рескрипта, Сентября отъ 28-го, ишедшаго 1772 года, гдѣ мнѣ повелѣно съ совѣтомъ его постановлять перемиріе, смотря по теченію и степенямъ негоціаціи. Кромѣ изъясняемыхъ имъ физическихъ неудобствъ, настоятъ здѣсь другія бѣдшія отъ ослабѣнія арміи въ людяхъ, и что и рекруты, на которыхъ только по одному слуху, а не дѣлу, счетъ вести можно, къ тому времени доставлены быть не могутъ, знатная часть ихъ въ пути умалится, а и прибывшіе умножатъ только

число больныхъ. Я потому прошу всепокорнѣйше ваше сіятельство почтить меня дружескимъ и благосклоннымъ завременно увѣдомленіемъ, какъ о продолженіи перемирія, такъ болѣе что для войскъ здѣсь и въ Крыму нынѣ въ довольномъ числѣ находящихся по нынѣшнему дѣль состоянію предполагается? Единственно ли обереженіе завоеванія, или и произведеніе какихъ-либо дальнихъ намѣреній и поисковъ, а особливо на судахъ тамъ и здѣсь сооружающихся? Такожъ полки, изъ арміи мнѣ ввѣренной во вторую отдѣленные, въ границахъ нашихъ стоящіе тамъ ли и останутся, либо же къ первымъ обращены будутъ? На такое обезпокоеніе вопросами ваше сіятельство побуждаюсь я со стороны усердія моего къ службѣ Ея Императорскаго Величества толь наипаче, что въ настоящемъ положеніи дѣль весьма нужно есть сохранить связь всѣхъ сихъ частей и обратить все стремленіе къ главнѣйшимъ и важнѣйшимъ пунктамъ, дабы ежели не успѣхи уже распространить въ новыхъ предпріятіяхъ, такъ по крайней мѣрѣ обнадѣжить и утвердить для себя совершенную безопасность; въ чемъ главную трудность противопоставляетъ послѣднее отдѣленіе полковъ, ежели они по представленіямъ моимъ возвращены или удержаны быть не могутъ.

8 Января 1773 г., изъ Яссы.

## 31.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Не скрою предъ вашимъ сіятельствомъ смущенія моего, что я по сіе время не удостоенъ отвѣтомъ на письма мои къ вамъ, отъ 26-го Сентября и 27-го Ноября, изъ коихъ въ первомъ вложено было и всеподданѣйшее мое къ Ея Императорскому Величеству, о присланномъ мнѣ отъ его королевскаго величества короля Прусскаго портретъ. Григорій Александровичъ Потемкинъ увѣрялъ меня, что нѣтъ обыкновенія испрашивать позволенія на принятіе такого знака. Я хотя и много вѣрю свѣдѣнію его въ дворскихъ обрядахъ, но какъ при полученіи сего портрета случившійся у меня Алексѣй Михайловичъ подалъ мнѣ совѣтъ о томъ ко двору отозваться; къ тому же, соблюдая достодолжное къ Монархинѣ своей благоговѣніе, не смѣю принять и употребить надлежащимъ образомъ знака сего: то и остаюсь въ ожиданіи благосклонной вашей отвѣди. Въ запасъ, однакожь, прилагаю здѣсь письмо мое къ министру и благодареніе къ королю, оставляя на милостивое благопризнаніе вашего сіятельства, отдать ли оныя или же удержать до рѣшенія?

Господинъ генераль-маіоръ баронъ Игельстромъ прислалъ ко мнѣ всеподданѣйшее его письмо къ Ея Императорскому Величеству, которое для поднесенія препроводилъ и къ графу Захару Григорьевичу,

5\*

считая то заблагопристойно въ разсужденіи дирекціи его военными дѣлами. Зная же признательность г-на Игельштрома къ милостямъ и благоволенію, коими онъ взысканъ былъ отъ вашего сіятельства, не меньше же и по несомнѣнной надеждѣ на дружбу и благосклонность вашу ко мнѣ, приношу вамъ, милостивый государь мой, всепокорнѣйшее мое прошеніе, чтобъ онъ воспользовался благодѣтельнымъ вашимъ пособіемъ и предстательствомъ къ снисканію себѣ воздаянія имъ заслуженнаго. По истинѣ, мой милостивый графъ, нельзя ему не болѣзновать, видя сотоварищей своихъ, и именно: гг. Кашкина, Ржевскаго и Кречетникова, украшенныхъ тѣмъ знакомъ, котораго онъ еще не имѣетъ, хотя служба его не только ихъ не меньше была, но и тѣмъ еще отличалась, что когда другіе ради поправленія здоровья своего, удаляясь отъ мѣстъ сихъ, пользовались выгодами, онъ напротивъ, предпочитая рвеніе свое, оставался тамъ, гдѣ по труднѣйшимъ обстоятельствамъ вяцшую пользу бытностью своею принести могъ.

18 Января 1773 г., въ Яссы.

Р. С. Я имѣлъ честь, отъ 5-го Декабря, прошедшаго года, принести вашему сіятельству мою просьбу, по таковой же мнѣ учиненной отъ графа Ходкевича, старосты Жмудскаго, въ искательствѣ, чтобъ его сынъ Вацлавъ принять былъ въ нашу службу въ конный полкъ лейбъ-гвардіи. Повторяемые часто отъ него отзывы влекутъ меня къ припоминовенію вашему сіятельству сего дѣла. Я не имѣю къ тому инаго побужденія кромѣ давняго моего знакомства съ симъ Полякомъ, и о его поведеніи другаго ничего не знаю, какъ что по его собственному отзыву, когда въ Литвѣ поднималъ возмущенія Огинскій, далъ я въ его домъ залогу, наказавъ секретно офицеру за поведеніемъ его надсматривать, но ни къ каковымъ примѣчательнымъ подозрѣніямъ не подалъ онъ ни виду, ни причины, а является всегда добронамѣреннымъ нашей сторонѣ.

Вверху рукою императрицы Екатерины II-й написано: „въ гвардію не возьму Поляка“.

### 32.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Вы найдете въ настоящемъ донесеніи посольскомъ равныя просьбы отъ жителей тамошнихъ и въ томъ же самомъ видѣ, какъ я уже въ предыдущихъ моихъ имѣлъ честь представить вашему сіятельству, коимъ образомъ митрополитъ Молдавскій въ лицѣ всѣхъ своихъ согражданъ вручилъ мнѣ общія прошенія, которыя я ко двору представилъ.

Изъ дня въ день ужасъ и смятеніе возрастаютъ въ ихъ сердцахъ отъ разсѣянія удостовѣреній, что подпадаютъ и паки они подъ область невѣрныхъ. Я старался заградить всякую дорогу къ таковымъ разглашеніямъ; но можно ли въ томъ успѣть въ настоящемъ нашемъ положеніи, когда посредствомъ смежной границы Цесарской есть къ тому путь отверстый, и когда въ самой свитѣ посольской находится много людей разнородныхъ, которые по единовѣрью съ нами употребляются, какъ удобнѣйшее орудіе поселить страхъ и отчаяніе въ обывателей здѣшняго края?

Излію я предъ вашимъ сіятельствомъ чувства мои сердечныя, или лучше сказать горестныя. Причина сказанная отъ васъ, почему толь долго не имѣлъ я рѣшенія о портретѣ, присланномъ мнѣ отъ короля Прусскаго, успокоила меня съ той стороны, что я долженъ былъ думать, что симъ учинилъ неприличное утружденіе, или же письмо о томъ мое не дошло къ рукамъ вашимъ, въ какомъ случаѣ не простиительно бѣ было мое молчаніе; но послѣднимъ побуждалось во мнѣ тѣмъ живѣе скорбное воображеніе моихъ обстоятельствъ, находясь уже въ подобномъ несчастіи, что Ея Величеству не учинилъ донесенія или отвѣта на письмо ея, въ чемъ я никакъ не нахожу себя повиннымъ, а развѣ вверженъ въ то случаѣ мнѣ неизвѣстнымъ, отъ времени благополучнаго окончанія предпослѣдней кампаніи. Вотъ, милостивый государь, отверстое сердце предъ вами друга и преданнаго слуги вашего, и не труднымъ ли найдете держать струны тонкія всегда натянутыми и безъ поврежденія тому челоуку, который, кромѣ изнеможенія уже болѣзными тѣла, страждетъ больше еще иногда душевною горестью?

## 33.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Употребляю я стараніе, чтобъ полки, отъ арміи отшедшіе, своимъ движеніемъ не выявили предъ непріателемъ прямого своего обороту; но и увѣренъ остаюся на ваше слово и на ваше обѣщаніе, что ослабленіе отъ того учинившееся арміи возвращеніемъ ли оныхъ назадъ, или другими средствами отдалено быть имѣетъ. Ваше сіятельство достаточно судить можете, сколько ослабленные и безъ того войска могутъ быть теперъ скудны чрезъ такое отдѣленіе.

Я долженствую исполнить коль можно скорѣе примѣчаніе вашего сіятельства о полковникѣ Гишпанскомъ, находящемся здѣсь волонтеромъ. Одинъ пріѣздъ его въ армію не ко времени давалъ мнѣ уже причину подозрѣвать его тутъ бытность и дѣлать потому ближайшее наблюденіе на его поступки. По скромному, однакожь, своему поведенію не оказалъ онъ еще никакихъ къ тому явныхъ признаковъ. Я

любопытствовалъ видѣть корреспонденцію къ нему Польскую; но въ ней ничего не бываетъ кромѣ извѣстій входящихъ въ публичныя изданія. Теперь онъ находится въ Букарештахъ, и я писалъ уже къ Алексѣю Михайловичу, чтобъ онъ его поскорѣе оттуда отбоярилъ; а тамъ я приму мѣры искать прицѣпки въ сходство предположеннаго отъ вашего сіятельства наблюденія, чтобъ его сжить съ рукъ, хотя и трудно мнѣ найти къ тому такой предлогъ, который бы закрывалъ предъ нимъ, по крайней мѣрѣ, мою приватную остуду, за которую небрегу уже я о нареканіи на меня. Трудно, ваше сіятельство, удержатъ предосторожности отъ подобныхъ сему чужестранцевъ прїѣзжихъ и находящихся въ нашей службѣ. Изъ Датчанъ подполковникъ Редеръ покусился недавно, во время праздничное, когда одинъ писарь оставался въ моей военной канцеляріи, обольщать его, чтобъ далъ ему репортъ о числѣ арміи. Ухищреніе сіе тотчасъ открылось безъ всякой ему въ томъ удачи, и онъ себя въ непозволенномъ извинялъ предомною тѣмъ единымъ, что хотѣлъ представить въ своей землѣ прямой доводъ, съ какимъ малымъ числомъ мы здѣсь воюемъ, для возвышенія своего въ томъ участвованія.

22 Января 1778 г., изъ Яссы.

## 34.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Спѣшу при семъ доставить вашему сіятельству экстрактъ письма ко мнѣ отъ Алексѣя Михайловича и обѣми руками хватаюсь за слова и обнадеживанія ваши, на которыя въ письмѣ своемъ, отъ 10 Января, дали вы мнѣ полное право, чтобъ основывать въ исполненіи оныхъ мою надежду: «что если миръ не совершится, въ такомъ случаѣ силъ и инфлюенцій вашихъ столько стать можетъ, чтобъ отъемлемыя у меня войска возвратить или инако наградить».

Алексѣй Михайловичъ пишетъ ко мнѣ сіе, получа уже послѣдній высочайшій рескриптъ, рѣшительный, на его ко двору донесенія. Онъ тутъ вѣситъ пользу и неудобства въ разсужденіи разрыва и продолженія перемирія. Его резоны безъ сомнѣнія имѣютъ свою цѣну, но еще въ нихъ не все сказано. Надобно возрѣть, колікое пространство земли я обнимаю весьма умѣренными теперь силами; что по уменьшенію настоящему оныхъ, при воспріятіи и паки оружія, нелегко защитить свои завоеванія; колыми жъ паче предстали бы совершенныя неудобства, если перенести оружіе за сіи предѣлы, чтобъ учинить сильный ударъ непріятелю и мечемъ добиваться миру. Рѣшившись прервать перемиріе, надобно заранѣе и въ самую суровую погоду вывести армію на Дунай; но чего сіе стоитъ будетъ, когда во всѣхъ полкахъ

двѣ трети людей едва получаютъ поправленіе своихъ силъ при нынѣшнемъ покойномъ пребываніи въ квартирахъ, бывъ одержимы тяжчайшими болѣзнями, необычайно приключившимися въ прошедшую кампанію! Рекрутъ еще вѣтъ и въ Кіевѣ, и по увѣдомленіямъ генераль-поручика Сиверса, по убыли случающейся, не достанетъ числа ассигнованнаго на полное укомплектованіе арміи. Кромѣ сего, ваше сіятельство сами представить можете, что, не давъ симъ новымъ людямъ и приводимымъ не въ свою пору нѣкотораго здѣсь отдохновенія, жертвою бѣ они могли быть единой гибели, поелику къ подвигамъ военнымъ надобна сила. Не не мѣсто же здѣсь сказать, что успѣхи счастливыя, возвысившіе славу оружія Ея Императорскаго Величества въ нынѣшнюю войну, возбудили многихъ видимо и въ тайнѣ завистовать нашему преуспѣянію. Министры въ Царьградѣ обоихъ союзныхъ дворовъ въ разсужденіи нашей пользы могли бы давно изъявить содѣятельность своихъ способствованій; но изъ недовѣрствія ихъ другъ къ другу, о которомъ уже Прусскій неоднократно отзывается, видно, что они въ этомъ дѣлѣ столько неравномысленны, сколько между собою не согласуются ихъ натуральные интересы.

Сіе прошедши своимъ воображеніемъ, обратите, милостивый государь, и на меня ваше примѣчаніе въ разсужденіи главнаго пункта, что Алексѣй Михайловичъ требуетъ моей резолюціи о прекращеніи или продолженіи перемирія. Обстоятельство сіе толь нѣжно и по себѣ важно, что я не осмѣливаюсь собою поступить на рѣшеніе вопроса, предложеннаго мнѣ о томъ отъ Алексѣя Михайловича, а прибѣгаю къ вашему сіятельству, считая въ особѣ вашей истиннаго себѣ благодѣтеля, и заклинаю васъ святостію дружбы и персональнымъ усердіемъ къ пользѣ отечества дать мнѣ наискорѣе наставленіе, къ чему въ семь пунктѣ преклониться, то-есть войну или удержаніе оной для достиженія своихъ пользъ предъизбрать за лучшее. Ваше сіятельство, держа въ рукахъ связь общихъ дѣлъ, имѣете полную удобность проникнуть существо и слѣдствія оныхъ, и по мѣрѣ того преподать правила намъ. Я не сомнѣваюсь, чтобъ кто-нибудь, кольми паче ваше сіятельство, въ иномъ видѣ разумѣли все мое къ вамъ прибѣжище, какъ только что я оное пріемлю по всегдашнему моему раченію о пользѣ и славѣ ввѣреннаго мнѣ оружія.

Поспѣшите снабдить меня толь скоро полною вашею резолюціею, сколь нетерпѣливо я оной стану ожидать, при сокращеніи уже времени, котораго однакожь еще станетъ, чтобъ получить вашъ отвѣтъ. Я ношу имя главнаго въ войскѣ, и-хотя мои постановленія относятся въ подлежащихъ случаяхъ на всѣ части, но я въ самомъ дѣлѣ не больше частнаго командира; а всякъ свой образъ имѣеть судить вещи

и свое положеніе: потому я и не отваживаюсь войти въ рѣшеніе дѣла ко всѣмъ частямъ войскъ относящагося. Послѣднія предписанія Алексѣю Михайловичу, я вижу, постановлены прежде полученія шестой на десять конференціи и за нею послѣдующихъ, которыя покажутъ, что мы не совсѣмъ близки къ миру.

Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ прислалъ свои депеши ко двору, которыя вслѣдъ за симъ отправляетъ Алексѣй Михайловичъ. Въ нихъ онъ изъясняется, что сдѣланное послами перемиріе у насъ на сухомъ пути предосудительно для расширенія имъ морскихъ успѣховъ, и опасность воображаетъ увидѣть Турковъ по выгодамъ перемирія въ лучшихъ силахъ противу себя вооруженными. Я не имѣю причины, не зная тамошняго положенія обѣихъ сторонъ, входить въ его разсужденія; я знаю, что флотъ Турецкій, о коего вооруженіи извѣстія гласили, обращенъ большею частію въ Черное море; и сколь Порты важнымъ считаетъ съ сей стороны наше воображаемое ею ополченіе, то можно видѣть изъ словъ и убѣжденій, произнесенныхъ посломъ Турецкимъ въ конференціяхъ. Да, я думаю, что Турки укрѣпленіемъ Дарданеллъ довольно себя обезпечили, имѣвъ причину то исполнить по воображенію слѣдствій отъ разбитія ихъ флота при Чесмѣ.

Я еще усугубляю моему милостивцу наипокорнѣйшую просьбу о доставленіи мнѣ, елико можете скорѣе, вашихъ наставленій въ разсужденіи выше вамъ донесеннаго; а къ Алексѣю Михайловичу я отвѣчала, чтобъ онъ продолжалъ до самаго истеченія перемирія не подавать видовъ Портѣ о прерваніи онаго, дабы внезапностію и усыпленіемъ войскъ Турецкихъ намъ воспользоваться; а инако, завременно грозя имъ военными дѣйствіями, возбудили бы мы сами ихъ воспріимать сопротивныя мѣры.

26 Января, 1773 г., изъ Яссы.

35.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

При доставленіи сейчасъ полученныхъ депешей отъ Алексѣя Михайловича, я имѣю удовольствіе изъяснить вашему сіятельству наидолжнѣйшее благодареніе за послѣднее ваше письмо, съ которымъ вмѣстѣ я получилъ высочайшій рескриптъ, дозволяющій взятые шесть полковъ употребить мнѣ при здѣшней арміи по востребованію въ томъ надобности. Я тутъ вижу старанія моего благодѣтеля подкрѣплять пользу службы, и нахожу въ томъ же приватное для себя одолженіе.

Исполнять я буду по высочайшему предписанію, что касается до расположенія сихъ полковъ въ Польшѣ на настоящее время; долженъ, однакожь, предварить ваше сіятельство, что границы Польскія отнюдь



не такъ близки, какъ можетъ быть кажутся, отъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ должно будетъ здѣшной арміи открывать военныя дѣйствія и гдѣ потребно для того, чтобы уже войска были готовы; ибо ваше сіятельство изъ предъидущихъ и теперешняго донесеній Алексѣя Михайловича видѣть соизволите, коль недалеко уже отъ меня та надобность, чтобъ и сіи и прочіе полки воспріяли оружіе по прежнему противъ непріятели, упорствующаго въ мирѣ. Готоваясь на сіе, отпишу я къ Алексѣю Михайловичу, чтобъ всячески онъ извѣдалъ истинныя склонности Порты въ разсужденіи перемирія, о которомъ въ 24-й конференціи настоялъ толь прилежно Турецкій посоль, дабы потому къ внезапному дѣйствию принять предварительно мѣры.

Когда ни побѣды наши, ни завоеванія, ниже умѣренныя требованія для удовлетворенія не имѣють столько содѣятельности въ непріятели, чтобъ обозрѣть онъ могъ злость и коварство недоброжелателей нашихъ, руководствовавшихъ и руководствующихъ на гибель его собственную; когда сіи поджигатели независимость Крымцовъ и удержаніе двухъ въ томъ полуостровѣ крѣпостей, повидимому, истолковали Портѣ въ цѣну разрушенія ея имперіи, и превыше всякаго возможнаго за то удовлетворенія, и когда еще сіи самыя народы, получившіе пощаду жизни и возводимые къ совершенному ихъ блаженству, оказываютъ свою колеблемость въ приверженности къ намъ (что открываютъ получаемыя изъ Крыма увѣдомленія): то остается, милостивый государь, вашему только политическому оружію растерзать тѣ сѣти, которыя въ войнѣ двухъ державъ удобно могутъ распространять другія, имѣющія теперь свободныя руки, и довести, чтобъ ихъ собственная забота упражняла больше, нежели бы воспрепятствовать могли выйти намъ со славою изъ положенія, которое всѣми силами продлить они для насъ пекутся.

29 Января 1773 г., изъ Яссы.

36.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Не медля ни минуты, препровождаю къ вашему сіятельству посольскую депешу, которой содержаніе надежду и сомнѣніе равно почти движеть въ воображеніи мирнаго дѣла. Найдете вы, милостивый государь, въ изъясненіяхъ Алексѣя Михайловича, что онъ мою отповѣдь къ нему о продолженіи перемирія расположилъ по единому своему благоизобрѣтенію, а совсѣмъ разнственню смыслу въ моихъ о томъ выраженіяхъ, которыя я имѣлъ честь въ копіи представить вашему сіятельству, подъ № 8. Я долженъ думать, что графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ, въ посылаемыхъ туть отъ него депешахъ, также какъ

и въ письмѣ своемъ къ послу, описываетъ свое сожалѣніе на заключенное здѣсь перемиріе, которое воспрещаетъ ему въ моряхъ дѣйствовать при совершенной флота готовности къ военнымъ предпріятіямъ. Кому же больше, какъ не вашему сіятельству извѣстно, что не военные резоны, но чаемые успѣхи мирной негодіаціи, заставляли всегда дѣлать и возобновлять здѣсь перемиріе и продолжать теченіе онаго; а я находился въ семъ пунктѣ исполнителемъ только предписаній, которыя за благо признаны на лучшую пользу и никогда о томъ представленій моихъ иначе не чинилъ со стороны военной части, какъ только сходясь симъ предположеніямъ. Я же и не въ равномъ положеніи нахожусь съ графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ, ибо корабли не тотъ имѣютъ путь, что сухопутныя войска, коихъ удержаніе своихъ завоеваній пространныхъ, и съ тѣмъ сопряженная слава оружія, раздѣляютъ на разные пункты и обременяютъ сильнымъ утомленіемъ.

Мой жребій есть и будетъ наибольшимъ изъ самыхъ *критическихъ*, если бы конгрессъ прервался, поелику полки отшедшіе къ сроку поспѣть не могутъ. Рекруты и прочія нужнѣйшія снабженія еще не бывали въ армію, и скоро ихъ ожидать нельзя; потому что и въ Кіевѣ еще нѣтъ оныхъ. Да и въ такое время, когда армія обыкновенно поправить должна свои недостатки, воспослѣдуетъ отверстіе будущей кампаніи, которой теченіе собственнымъ благоразсужденіемъ можете ваше сіятельство изъ сего предвидѣть, великимъ подвергнетъ трудностямъ мною предводимыя войска. Не упадутъ, однакожь, и въ такомъ случаѣ ни ревность во мнѣ, ни усердіе мое къ службѣ, коими я всегда руководствуюсь, ниже упованіе получать милостивыя вашего сіятельства наставленія на всякое время. Но вопреки сего, и во удовлетвореніе общихъ желаній, да ниспошлетъ благодать Всевышній содѣйствующую трудамъ нашего старика, который своими ультиматами, кажется, поколебалъ буйное упорство; а между тѣмъ, я остаюсь въ ожиданіи отъ васъ повелѣній, къ которымъ всегда имѣю прибѣжище.

12 Февраля 1773 г., изъ Яссы.

На полѣ этого письма, противъ словъ: «Мой жребій, ваше сіятельство, есть...» рукою императрицы Екатерины II-й написана слѣдующая резолюція: «NB. Критическихъ обстоятельствъ я не понимаю; ибо противу фельдмаршала стоящая армія съ визиремъ ему страшна быть не можетъ, ибо ея сила и готовность извѣстны. И неужели что къ нему всего позднѣе доставлено будетъ, нежели Турецкая армія соберется; предыдущія кампаніи ему опытами доказали; всегда на все жалобы были, и все всегда ко времени доходило».

## 37.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Я обновилъ сей годъ не къ лучшимъ въ моемъ здоровьѣ перемѣнамъ, хотя отмѣна въ климатъ тоже производитъ и въ нашемъ тѣлѣ; но могу еще больше я приписать жестокіе мнѣ болѣзненные припадки, которыми страдаю, послѣднему кварталу моего вѣка, въ коемъ уже нахожусь. Однакожь и при всемъ такомъ моемъ изнеможеніи коль видѣлъ я дѣла въ кризисѣ со стороны мирной негоціаціи, то и предпріялъ было чтобъ объѣхать мнѣ самому весь Дунайскій берегъ, дабы опредѣлить по собственному осмотру размѣрныя силы нашихъ дѣйствія на ту сторону рѣки, сколько подъ собственнымъ моимъ предводительствомъ, такъ въ случаѣ ежели бы мнѣ самому того обстоятельства или же настоящее ослабленіе арміи учинить воспятити, употребить къ тому пристойное отдѣленіе войскъ, а буде бы и того сдѣлать невозможно, то по крайней мѣрѣ виды, знаменующіе таковое распоряженіе довести до такой степени, чтобы послужить оныя могли къ убѣжденію непріятели къ желаемому примиренію. И ради сего подвигалъ уже я къ Дунайскому берегу своихъ генераловъ съ ихъ командами, а на мѣрѣ то положи, только мнѣ оставалось сѣсть въ коляску, къ чему уже я и собрался было на сегодняшний день, но по предварительному моему о томъ увѣдомленію Алексѣя Михайловича, онъ ко мнѣ пишетъ не совѣтуя сію ѣзду предпринимать разъ потому, что по дорогѣ мнѣ почти нельзя миновать города Букарешта, а тамъ будучи, не подвергнуть себя формалитетамъ церемональнымъ съ посломъ Турецкимъ въ разсужденіи возвращенія ему визиты (что онъ признаетъ за несходственное моему настоящему званію); другое, полагаетъ по извѣстному ему образу мыслей Турокъ, что какъ покажусь я на Дунаѣ, сіе можетъ вперить въ нихъ воображенія, противныя пользамъ настоящихъ дѣлъ, яко явное оказательство нашего предпріятія къ брани.

Нужды я бы не имѣлъ уважать на ихъ о томъ мысли, если бы за вѣрно знать было можно, что война опять возобновится; но ваше сіятельство изъ послѣдней конференціи сами увидите, что рейсъ-эффенди въ употребленныхъ выраженіяхъ на похвалу нашему послу, едва не совершенно изъясняетъ, что чаеть скоро оконченнымъ увидѣть свое дѣло, яко располагаемое и гласимое судьбами Вышняго. Изъ чего и по отзыву ко мнѣ въ вышеписанномъ Алексѣя Михайловича, я причину имѣю думать, что можетъ-быть нашъ любезный старикъ больше уже предвидитъ событіе блаженныхъ пользъ, нежели еще говорить о томъ, дабы въ свое время исполненіемъ уже точнымъ, яко наипрѣятнѣйшимъ, сюрпризомъ насъ обрадовать. Я прошу принять сіе въ видѣ простой

моей догадки, а отнюдь не заключеніемъ чего-либо вѣрнаго, или мнѣ точно извѣстнаго. Впрочемъ, ваше сіятельство и безъ моего объясненія сами найдете меня теперь въ такомъ положеніи, что въ распоряженіяхъ военныхъ дѣлъ не могу я не сообразоваться теченію политическихъ.

19 Февраля 1773 г., изъ Яссы.

39.

### Графъ Румянцовъ графу Панину.

При письмѣ, здѣсь включенномъ въ переводѣ, верховный Турецкій визирь прислалъ находящимся у насъ плѣннымъ сераскиръ-пашамъ Емину и Ибраиму письма, и при оныхъ Турецкими червонцами каждому изъ нихъ по 1500 левковъ, что на наши деньги учинить по 900 рублей, да сверхъ того находящемуся при Бендерскомъ сераскирѣ бывшему въ Бендерахъ тефтердарю Хулюсь-Али-эффенди 91 Турецкихъ червонцевъ, на нашъ счетъ 150 рублей и 15 копѣекъ. Я сіи деньги, яко всѣ въ Турецкихъ червонцахъ состояція, которыя въ Россіи не могутъ имѣть своего курса, и изъ коихъ тысяча присланныя для нашей цѣною по рублю по восьмидесяти копѣекъ, а тефтердарю девяносто одинъ по рублю по шестидесяти по пяти копѣекъ (всѣ же составляютъ нашею монетою 1950 рублей и 15 копѣекъ) велѣлъ внести здѣсь для расходовъ въ экстраординарную сумму, а потому и прошу вашего сіятельства вмѣсто оныхъ реченнымъ плѣннымъ пашамъ и тефтердарю Али-эффендію приказать выдать тамъ, гдѣ они находятся, вышеисчисленную сумму, равно какъ и приложенные при семъ пять писемъ имъ же доставить.

19 Февраля 1773 г.

Изъ Яссы.

39.

### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Въ препровождаемой при семъ депешѣ Алексѣя Михайловича соизволите найти, ваше сіятельство, что послы оба во все сіе время заняты только однимъ ожиданіемъ султанской резолюціи. Нѣтъ прямыхъ видовъ, которые бы удостовѣрить могли, что ожидаемое рѣшеніе будетъ въ благопоспѣшествованіе мирнаго дѣла, такъ равно, какъ и о разрывѣ онаго. Но въ томъ и другомъ ничего нѣтъ больше вѣрнаго, какъ сомнѣніе или неизвѣстность; а сіе и дѣлаетъ мнѣ предовольныя заботы. Я осмѣлился моею всеподданнѣйшею донести теперь Ея Императорскому Величеству о настоящихъ обстоятельствахъ, и коль увѣренъ я, что вы оную въ своихъ рукахъ имѣть будете, то и не предпринимаю я здѣсь повторять тѣже мои изъясненія, а прошу только и

наипокорѣе ваше сіятельство споспѣшествовать милостивымъ вашимъ предстательствомъ, чтобъ я удостоился получить высочайшія повелѣнія, наипотребнѣйшія мнѣ въ настоящемъ положеніи.

26 Февраля 1773 г., изъ Яссы.

40.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Ногоціація еще стситъ въ ожиданіи отвѣта отъ Порты на взнесенныя отъ посла ея представленія, и съ тѣмъ посланный племянникъ посольскій считаетъ, что уже возвратился въ Шумлу къ верховному визирю. Нашъ осторожный старикъ, проницая сквозь все притворство въ сердце своего товарища, постигаетъ въ его поступкахъ виды льстящія надежду увидѣть преклонность Порты на совершеніе дѣла блаженнаго. Я однакожь отозвался къ нему въ разсужденіи сего умедленія отъ Порты рѣшительною резолюціею въ послѣднихъ дняхъ перемирія, подозрѣвая ухищренія ея, что можетъ быть равныя отговорки въ проздѣ своихъ курьеровъ поставитъ, какъ и о посланномъ племянникѣ своемъ говоритъ рейсъ-эфенди, что десять дней ѣхаль онъ въ Царьградъ, дабы въ такомъ случаѣ, когда въ неполученіи резолюціи, по истеченіи срока перемирія, должны возобновиться военныя дѣйствія, можно было имъ въ нашу сторону обратить вину разрыва конгресса. Но все сіе до части военной уже не принадлежитъ, и я свой мѣры съ стороны оружія къ произведенію приготавливаю; не могу однакожь скрыть предъ вашимъ сіятельствомъ по побужденію безпредѣльной моей откровенности, что въ настоящемъ кризѣ дѣль, когда должно съ концемъ перемирія повсюду вдругъ обнажить мечъ, труденъ мнѣ несказанно сей изворотъ, сколь во время продолжающейся еще здѣсь суровой зимней погоды, такъ и по тѣмъ самымъ препятствіямъ о которыхъ повторивъ нѣсколько разъ мои описанія здѣсь уже объ нихъ умалчиваю, а въ отвращеніе того, я прошу только Бога, по любви къ отечеству и по искреннему моему къ вамъ усердію, чтобъ Его многомогущій Промыслъ споспѣшествовалъ во благое въ мирномъ дѣлѣ и увѣнчалъ славою безсмертною труды ваши, которыми оное оживляется.

Вчера чрезъ руки Австрійскаго генерала, здѣсь находящагося, получилъ я изъ Вѣны отъ князя Дмитрія Михайловича письмо къ Алексѣю Михайловичу, въ которомъ сообщилъ онъ ему списки изъ повелѣній, посланныхъ своимъ путемъ отъ Вѣнскаго двора министру ихъ Тугуту, дабы онъ старался преклонить Порту къ принятію нашихъ ультиматовъ. Не сомнѣваюся, что ваше сіятельство непосредственно о семъ извѣстны чрезъ свой каналъ, такъ какъ сіи повелѣнія послѣ-

довали по увѣдомленіямъ изъ С.-Петербурга дошедшимъ, и я только во увѣдомленіе здѣсь ихъ полученія доношу вамъ, отправивъ оныя въ ту же минуту въ Букарештъ къ послу.

4 Марта 1773 г., Яссы.

Р. S. Англійскіе волонтеры, гг. Ензликъ и Еліотъ, которыхъ вашему сіятельству угодно было мнѣ рекомендовать, пожелали отправиться въ Константинополь. Я съ Алексѣемъ Михайловичемъ согласился на то въ удовольствіе любопытства ихъ; и вслѣдствіе того 13-го Ноября въ препровожденіи чегодаря, отъ Турецкаго посла имъ даннаго, съ рекомендаціею къ верховному визирю отъѣхали.

Р. S. Часто бываетъ, что гдѣ мы что либо къ достовѣрнѣйшему и лучшему сдѣлать полагаемъ, тамъ противное ожиданію нашему случается. Я теперь въ такомъ положеніи: при отъѣздѣ отсюда въ С.-Петербургъ маіора Тира, считая его быть скорымъ курьеромъ, поручилъ я сему письмо мое къ вашему сіятельству съ приложеніемъ моего всеподданнѣйшаго къ Ея Императорскому Величеству о все милостивѣйшемъ соизволеніи на принятіе и употребленіе присланнаго мнѣ отъ его величества короля Прусскаго портрета, и въ ожиданіи отповѣди не отвѣтствовалъ господину графу Сольмсу, а теперь увѣдомился, что оный Тиръ находится въ карантинѣ. Въ семъ случаѣ всепокорнѣйше прошу ваше сіятельство пристойнымъ образомъ между разговоромъ молвить графу Сольмсу, чтобъ молчаніе мое не причтено было мнѣ въ небреженіе, потому что я счелъ за долгъ ожидать высочайшаго Ея Величества соизволенія.

41.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Вмѣсто успѣховъ по теченію мирной негоціаціи, въ которыхъ мы не могли еще совершенно отчаяваться даже до послѣднихъ дней перемирія, открылось теперь съ концемъ онаго, что Порта больше лукавствовала, нежели движима была чистосердечными склонностями къ заключенію мира.

Противъ 6-го числа въ ночи пріѣхалъ къ рейсъ-эфендію ожидаемый изъ Царьграда курьеръ. На другой, на третій и въ четвертой день по пріѣздѣ его, имѣли послы конференціи. Первые двѣ прошли въ преніяхъ бесплодныхъ и въ предложеніяхъ съ стороны Турецкаго посла такихъ, которыя больше къ разрушенію, нежели къ концу доброму сближали дѣло; а въ третій изъяснился уже рейсъ-эфендій о полученіи точной резолюціи отъ Порты, что оная никоимъ образомъ на наши главные артикулы согласиться не можетъ.

Хотя Алексѣй Михайловичъ не умедлитъ донести ко двору во всѣхъ подробностяхъ сіи обстоятельства; но теперь какъ занимають все время его упражненія въ толь неожиданномъ происшествіи, то и почелъ я за долгъ, въ единое предувѣдомленіе вашему сіятельству, препроводить симъ копію посольскаго ко мнѣ письма, въ которой соизволите пространнѣе увидѣть, что конгрессъ Букарештской туже неудачу имѣеть, какъ и первый Фокшанской, а только путь еще не пресѣкается къ подобнымъ сношеніямъ на долъшее время. Безъ сомнѣнія Турки виды коварныя имѣють во основаніе своему упорству. Руководство другихъ, и собственная ихъ мечта дѣйствуютъ въ семъ случаѣ паче всего ими дознаннаго въ дѣйствіяхъ военныхъ. Судя по извѣстной алчности нынѣшняго султана къ злату, и когда поступаетъ онъ въ удовлетвореніе двадцать одинъ милліонъ рублей, то по сему одному можно заключить, коль въ высокую цѣну ставить Порта вольность Татарскую, уступку Еникаоля и Керчи и прочее отъ насъ требуемое. Г. Зегелинь пишеть къ Алексѣю Михайловичу, съ разговоромъ держанныхъ имъ въ Царьградѣ съ рейсъ-эфендіемъ, что духовныя чины Порты, будучи въ совѣтъ, по пункту уступленія намъ двухъ городовъ въ Крыму, объявили, что лучше хотять они всѣ слѣдовать за султаномъ на войну и лить кровь до послѣдней капли, нежели согласиться на сіе. Сей министръ Прусскій даеть тутъ же знать, что по поводу своихъ изъясненій рейсъ-эфендій прибавилъ и то, что ежели бы полномочныя послы на конгрессѣ не согласились о мирѣ, то Порта хочеть отдать сіе дѣло на медиацию союзныхъ державъ, и будетъ довольна ихъ въ томъ разборомъ и опредѣленіемъ.

Не думаю, чтобъ поступить могла Порта толь смѣло на сію резолюцію, безъ точнаго удостовѣренія, что она симъ посредствомъ ничего не проиграеть.

Изъ малаго моего участія, которымъ я привязанъ къ дѣламъ министеріальнымъ, по ихъ здѣсь теченію, могу вообразить, милостивый мой графъ, полное бремя, которое во всемъ пространствѣ своемъ приходитъ нынѣ на трудъ вашъ единый. Укрѣпи Богъ ваши къ тому силы; а мы въ цѣлой надеждѣ остаемся, что отъ искусства и благоразумія вашего исчезнетъ бесплодная мечта, которою уповань нашъ непріятель, и союзники наши будутъ доведены въ лучшее сопряженіе, нежели каковы ихъ настоящія для насъ услуги.

11 Марта 1773 г., изъ Яссы.

42.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Счастіе, отъ дѣтства мною играющее, и въ настоящей вѣка моего преклонности поставляетъ меня на стезю многотрудныхъ предметовъ и

къ такому времени, когда бы мнѣ, стѣня отъ припадковъ, искать удалиться отъ всего и жить послѣдній часъ жизни въ тишинѣ и безмолвіи надлежало; въ чемъ я себя и обиадеживать по обстоятельствамъ великую имѣлъ причину, а особливо по увѣренію моего милостиваго графа на отзвы мои о томъ, что къ пренесенію сего служенія надобно краткое время. Въ сихъ обстоятельствахъ позвольте мнѣ, ваше сіятельство, имѣть право ожидать пользоваться вашими наставленіями, и особливо зная, что мысли ваши основаны на истинномъ усердіи къ службѣ Ея Императорскаго Величества, любви къ отечеству и исканіи пользы его, и лаская себя взаимно, что вы не отречетесь вездѣ дать за меня ручательство, ежели не въ способности, то, по крайней мѣрѣ, въ готовности моей.

Не обезпокоивая васъ продолженіемъ сего моего отзвы, и будучи два дня въ постелѣ, не находя себя и въ силахъ распространять оный, но въ разсужденіи содержанія представляемыхъ отъ меня настоящихъ обстоятельствъ, ссылаяся на мои всеподданнѣйшія реляціи и письмо, собираю, съ непремѣннымъ высокопочитаніемъ и неограниченною преданностію пребывая и пр.

25 Марта 1773 г., изъ Яссы.

## 43.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Алексѣй Михайловичъ неудобствомъ проѣзда въ пути, ради глубокихъ снѣговъ и стужи, случившихся въ сей сторонѣ паче всякаго чаянія, взялъ праздникъ Пасхи въ Букарештахъ. Онъ полагаетъ выѣхать оттуда 4-го сего мѣсяца и возьметъ свой путь въ Романъ, а тамъ будучи, хочетъ испытать, въ томъ ли городѣ, или въ Сочавѣ пребываніе свое учредить выгодище для него найдется. Черезъ его руки полученныя пять Турецкихъ писемъ, для доставленія плѣннымъ пашамъ, симъ провождаю.

Ваше сіятельство въ нынѣшнемъ моемъ ко двору донесеніи найдете, что естественныя препятства и собственные наши недостатки не престають и по сію пору затруднять наше стараніе о достиженіи высочайше предназначеннаго предмета. Я возлагаю больше надежды на искусство и силы свойственныя вашему духу, что оными сотрены будутъ прежде коварства завиствующихъ, безъ коихъ Турки бы не ополчались, нежели мы съ сими послѣдними дойти можемъ до конца брани, чрезъ силу меча и чрезъ токи крови.

6 Апрѣля 1773 г., изъ Яссы.



## 44.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Приобрѣтенныя въ прошедшихъ кампаніяхъ надъ непріателемъ поверхности и по онымъ утвержденное въ сихъ мѣстахъ наше положеніе достигли, но мнѣнію моему, той мѣры, что уже не покажется громкимъ всякое вновь здѣсь приобретіе. А напротивъ сіе самое состояніе, подающее намъ всѣ выгоды предъ непріателемъ, поставяетъ меня въ трудность немалую отваживать на удачу всю свою пользу предпріятіемъ, которое вывести насъ можетъ изъ онаго. Имѣя, однакожь, попеченіе непрестанное о службѣ Государю и Отечеству моему, стараюсь все превозмочь; но и тутъ, къ несчастію, встрѣчаю непреодолимое препятство отъ самой природы, что суровство воздушное, здѣсь продолжающееся и не попускающее произрасти полевому корму, не дозволило еще арміи предпріять доселѣ никакого движенія, ниже собраться вмѣстѣ войскамъ.

Я слышу, что у васъ пребываютъ еще въ надеждѣ видѣть вскорѣ миръ сдѣланнымъ.

Казалось и мнѣ прежде, доколѣ послы, такъ сказать, между собою маневрировали политическими уловками и выжимали другъ въ другъ весь сокъ претительности, что надежда къ тому настояла; но теперь, коль послы развѣхались, а Турки бой отърываютъ образомъ наступательнымъ: то уже намъ здѣсь думать не осталось, чтобъ они въ семъ случаѣ руководствовались миролюбивыми мыслями. Слышу и еще, милостивый мой другъ, что въ Санктъ-Петербургѣ изъ моихъ искреннихъ доброжелателей есть и такіе, что сличаютъ мои жалобы на болѣзни съ моимъ упражненіемъ, что я выѣзжаю иногда на охоту, хотя и не столь часто, какъ имъ знать доходить. Ваше сіятельство знаете много охотниковъ изъ страсти, но знаете же и такихъ, которыхъ поневолѣ высылаютъ доктора въ поле, лѣча припадки движеніемъ. Въ сихъ послѣднихъ числѣхъ я вѣрно нахожусь и весьма близокъ къ тѣмъ людямъ, которые наканувѣ, такъ сказать, дороги въ вѣчность еще ѣздили на прогулку. Впрочемъ, есть ли тотъ же духъ и тѣже силы потребны бы были предводителю арміи, каковы могутъ охотника дѣлать способнымъ гонять зайцевъ, то бы много у насъ нашлось воителей въ вышней степени. Прошу вашего сіятельства, въ случаѣ расширенія сей не первой уже на меня клеветы, заступитъ своимъ благодѣтельскимъ словомъ и подать лучшее удостовѣреніе о моемъ усердіи и попечительности въ своемъ званіи, которыми я только движусь, вступя, кромѣ случившихся припадковъ, въ вѣкъ сущаго уже ослабѣнія по человѣческой жизни.

13 Апрѣля 1773. Изъ Яссы.

Ц, 4.

РУССКІЙ АРХИВЪ 1882.

45.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Изъ Баната Краіовскаго получилъ я увѣдомленіе, что сего Мая 15-го императоръ Римской былъ самъ на границѣ тамошней и расширилъ оную противъ прежняго къ Краіовской землѣ на семь верстъ съ половиною, гдѣ и выставлены двѣ таблицы подъ гербомъ Австрійскимъ. Не зная обстоятельствъ, къ коимъ отнести должно сей поступокъ, прошу всепокорно вашего сіятельства наставить меня, за что сіе принять и какъ поступить, естли бы что подобное и въ другихъ владѣемыхъ нами земляхъ открылось.

Мая 30 дня 1773.

Лагерь при рѣкѣ Яломицѣ, близъ устья оной.

46.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

На сихъ дняхъ имѣлъ я удовольствие принять племянника вашего сіятельства, князя Гавріила Петровича Гагарина, а чрезъ него и письмо ваше отъ 10-го Апрѣля. Сколько еще краткое время дозволило мнѣ увѣриться, то уже я, милостивый государь мой, въ семъ молодомъ человѣкѣ почитаю хорошіе таланты, сколько ему природные, такъ и приобрѣтенные. Кто вамъ принадлежитъ родствомъ, я къ тому всегда привязанъ буду усердіемъ по обязательствамъ искренней моей къ вамъ дружбы. Гдѣ можно мнѣ было, я не оставлялъ возводить пользы и старшаго его брата князя Ивана Петровича, который здѣсь служитъ и отличаетъ себя ко всякой похвалѣ; равноѣрно подамъ я и сему препорученному мнѣ отъ васъ достойному офицеру всякую мою услугу, во вспоможеніе его ревности къ службѣ, чтобъ ознаменитъ цѣну оныя и своихъ способностей нашелъ онъ желаемый случай.

17 Мая 1773 года.

Въ Фогшанахъ.

47.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Изъ донесенія моего теперешняго узнаете ваше сіятельство неприятое, а для меня весьма прискорбное приключеніе въ одномъ дѣйствіи, произведенномъ на непріятеля за рѣкою Дунаемъ княземъ Петромъ Васильевичемъ Репнинымъ, по предположеніямъ графа Ивана

Петровича Салтыкова, гдѣ онъ изъявилъ предостойно свою храбрость, спасая своихъ подчиненныхъ отъ превосходно усилившагося непріятеля, и продолжалъ самъ съ послѣдними людьми на берегу оборону отступившаго деташамента на судахъ, но достался плѣннымъ въ руки Турковъ, получа въ томъ сраженіи три раны. Непріятель не прежде его и съ нимъ бывшихъ на судяѣ плѣнилъ, какъ повреда оное до того, что править имъ не могли. Наша тутъ утрата въ людяхъ ничего бы не значила, еслибъ къ оной не присовокуплялась персона князя Репнина, которой, въ разсужденіи своей породы и персональныхъ его достоинствъ, въ чувствительное меня приводитъ сожалѣніе о семъ несчастіи. Я теперь къ верховному визирю отпишу, ссылаясь на доброе содержаніе у насъ ихъ плѣнныхъ, чтобъ онъ и съ своей стороны во взаимство показалъ все то для князя Петра Васильевича. Со стороны привязанности моимъ наискреннѣйшимъ усердіемъ къ обоимъ братьямъ, и разсуждая какъ пораженъ будетъ сею вѣстью князь Николай Васильевичъ, прошу потому вашего сіятельства съ лучшими предвареніями, къ успокоенію духа, препроводить оную какъ къ нему, такъ и другимъ ихъ фамиліи.

Съ другой стороны съ особливимъ удовольствіемъ имѣю честь донести, что князь Гавріилъ Петровичъ скоро по пріѣздѣ своемъ искалъ быть употребленъ въ дѣйствіяхъ и, посланъ будучи въ деташаментъ генерала Вейсмана, привезъ ко мнѣ радостную вѣдомость о побѣдѣ, а о себѣ свидѣтельство, что онъ при семъ случаѣ отличилъ себя и усердіемъ и храбростію, и произведенъ въ преміеръ-маіоры.

30 Мая 1773 года.

Изъ лагеря на рѣкѣ Яломяцѣ, бливъ устья оной.

48.

#### Графъ Румянцовъ графу Панину.

Послѣднее письмо, отъ 18 Іюня, въ которомъ новые знаки довѣренности вашей ощущаю, обязываетъ меня принести вашему сіятельству наичувствительнѣйшее благодареніе.

Превыше есть всякаго изъясненія радость и удовольство во мнѣ, которыхъ вы, милостивый государь мой, исполнили меня первымъ увѣдомленіемъ о словоположеніи для бракосочетанія Его Императорскаго Высочества. Я, пользуясь дозволеніемъ вашимъ, прилагаю здѣсь для поднесенія мое поздравительное; но израженія въ ономъ къ тому недостаточны, чтобъ представить полнымъ образомъ мои чувства, которыя вливаеть, по случаю сего спасительнаго дѣянія, приверженность моя

4\*

къ особѣ царевой и усердіе о благѣ Отчества. Алексѣю Михайловичу сообщилъ я все, по вашему начертанію.

Пространныя и часто отъ меня повторяемыя представленія къ двору о дѣлахъ здѣшнихъ, какъ я ихъ вижу и сужу, скучны и непріятны могутъ быть во многомъ; но мнѣ не остается иного, какъ говорить всю правду. Съ самаго начала войны видѣлъ я, сколько зависть и личная ко мнѣ ненависть дѣлали мнѣ разныя препинанія. Я, скрѣпясь противъ того, устремлялся только, чтобъ дѣлать долгъ и приобрѣтать пользу общую, въ чаяніи, что когда-нибудь постыдятся ищущіе мнѣ злая. При всемъ томъ вели и довели меня до такого состоянія, что по совѣсти и чести говорю вашему сіятельству, какъ искреннему моему другу и усердному патриоту, что никакъ несоразмѣрно количество нашихъ силъ съ тѣми дѣяніями, которыя для здѣшней арміи предполагаются. Какъ же мнѣ не говорить о безсиліи? И какъ я могу умолчать, что рекрутъ давать отказались, а полки ведемъ противъ непріятеля не всѣ и половину людей имѣющіе противъ комплекта? Да чѣмъ я могу ободрить на дѣла трудныя и моихъ подчиненныхъ? Развѣ примѣромъ моимъ собственно? Но въ предпріятіи выше силъ не всякъ себя обнадежить успѣхомъ, а когда каждый ссылается и первымъ препятствіемъ ставить малочисліе войскъ и силу непріятеля, то что во убѣжденіе я могу тутъ сказать? Мужество и твердость духа упадаютъ также, когда нѣтъ усилія, а ослабѣніе настаетъ отъ дня въ день. При томъ же слабѣетъ ихъ ко мнѣ надежда, когда мои заступленія не пользуются имъ; ибо въ раздаваемыхъ награжденіяхъ и чинопроизводствѣ не видятъ отличія брань ведущіе съ непріателемъ предъ домашними.

Многое, и весьма многое, я оставляю безъ изъясненія, не будучи въ состояніи всего описать; а о себѣ только донесу вашему сіятельству, что я кромѣ сихъ душевныхъ утѣсненій ослабѣлъ въ здоровьи до того, что Бога прошу подкрѣпить меня только на докончаніе сей кампаніи, а тамъ оставляя другимъ лестный путь славы, себѣ просить буду увольненія для уединенія на послѣдніе дни моей жизни. Ваше сіятельство сами представить можете, сколь мало тогда надобно человѣку отщетенному отъ всѣхъ суетъ міра.

О князѣ Петрѣ Васильевичѣ я, вслѣдствіе предувѣдомленія моего вашему сіятельству, писалъ ко визирю, но, не имѣя отъ него отвѣта (ибо по дѣйствіямъ нашимъ за Дунаемъ, конечно, не до того ему было) послалъ теперь другое письмо съ моимъ нарочнымъ, препровождая письма разныхъ Турковъ у насъ въ плѣну находящихся, которыя изъ канцеляріи вашего сіятельства сюда присланы, и возобновилъ и цаки мою просьбу о князѣ Репнинѣ, какъ соизволите увидѣть изъ копій

обоихъ моихъ о немъ писемъ здѣсь приложенныхъ. Я не умедлю до-нести вашему сіятельству, каковъ будетъ отвѣтъ визирской, коего я съ часу на часъ дожидаюсь.

Іюня 8-го дня 1773 г.

Изъ лагеря при деревнѣ Жигалеѣ.

49.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Сдѣлавъ теперь съ войсками переправу за рѣку Дунай, разумѣя по рескрипту отъ 28 Февраля, что предпріятіе сіе на нынѣшнюю кампанію положено за непремѣнное, поелику на всѣ мои представленія относительно къ сему пункту не удостоился я получить резолюціи, вступаю я, ваше сіятельство, превзойдя, такъ сказать, мой малой талантъ, въ сей великой подвигъ. Изъ настоящей депеши ко двору соизволите увидѣть, чрезъ какіе способы и въ какихъ силахъ я сіе предпріемлю. Непритель отъ насъ не удаленъ, и повторныя дѣйствія на большой корпусъ его Силистрекской откроютъ намъ достовѣрнѣе его положеніе, о чемъ и предоставляю въ свое время доносить, а теперь спѣша отправленіемъ увѣдомленія о моей переправѣ, надѣюсь, впрочемъ, что ваше сіятельство, какъ другъ и мой милостивецъ, въ семъ деликатномъ положеніи не оставите меня безъ подаенія часто благодѣтельскихъ совѣтовъ, спомоществуя оными достигнуть исполненія намѣреній всемилостивѣйшей нашей Государыни, къ чему весь трудъ и усердіе, не взирая ни на что, я нынѣ устремилъ.

14 Іюня 1773 года.

Изъ лагеря въ Болгаріи, въ 7 верстахъ отъ Силистріи.

50.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Съ полнымъ военнымъ звукомъ переходилъ я Дунай въ оба пути и, одолѣвши необычныя трудности, не потаю предъ вашимъ сіятельствомъ, какъ моимъ милостивцемъ, что я хотя зналъ, сколь на жестокую пробу меня выставляютъ, воображеніе, однакожь, не постигало еще всего того, что встрѣтилось зрѣнію и подвигамъ въ той землѣ, имѣющей на Турецкомъ языкѣ свойственное себѣ названіе «лѣсъ разбойничій». Въ семъ разѣ Богъ помогъ намъ предиспѣніями довести непріятеля до того, что онъ не смѣлъ наступать по слѣдамъ нашимъ. О коль трудно, ваше сіятельство, исполнять по чужимъ планамъ! Я завидую

счастливой въ тѣхъ людяхъ способности, кои соображать легко могутъ и дѣла головоломныя; но моя доля, то что ослиная, носить всегда тягость, подѣ которою приходится упасть. Ежели бы предположители операций сами посмотрѣли Задунайскія мѣста, гдѣ, такъ сказать, сама натура противится образу нашего вооруженія, что ни пѣшему, ни конному строю нѣтъ пути, и гдѣ отъ самихъ жителей шайки разбойничія могутъ останавливать цѣлую армію, признали бы они сами, что дѣйствія, ими предназначаемыя, великихъ силъ требуютъ. Не утруждаю ваше сіятельство повтореніемъ здѣсь описаній о всѣхъ тѣхъ успѣхахъ, которые одержали мы въ сію экспедицію за Дунаемъ (соизволите о томъ найти въ депешѣ моей ко двору), а упомяну только въ дружескую конфиденцію, что если непріатели (персонально мои) больше надо мною не успѣли, то подался полной случай общимъ врагамъ видѣть здѣсь по поводу сего важнаго предпріятія наши силы, въ которыхъ должно было себя обнажить, сколь ни умѣлъ я понынѣ оныя скрывать.

Я увѣренъ въ милости вашего сіятельства, что будете по мнѣ заступникомъ, такъ какъ всѣ здѣсь свидѣтели, что я все сдѣлалъ за Дунаемъ, что только поднять можетъ человѣчество, а большее ежели осталось, то, конечно, для славы другому, котораго я, усердствуя пользѣ Отчества, охотно хочу видѣть на своемъ мѣстѣ.

Іюня 30 1778 г.  
Изъ лагеря при деревнѣ Жигалеѣ.

Р. С. Вложеннымъ у сего моимъ къ Евдокиму Алексѣевичу Щербинину, я обвѣщаю кончину его сына отъ раны смертной, который былъ здѣсь волонтеромъ. Прошу вашего сіятельства вручить ему оное, съ потребнымъ на такой случай предвареніемъ.

51.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Ваше сіятельство имѣете по сию пору послѣднія мои донесенія и о самомъ окончаніи нашей Задунайской экспедиціи, а я не сомнѣваюсь, что зависть противъ меня, никогда не усыпающая, тутъ еще больше поищетъ своего насыщенія. Я перенесъ уже пробу жестокою, чтобъ удовлетворить только легкому воображенію воиновъ спекулятивныхъ; теперь же остается противъ ихъ возраженій или затыкать уши, или сказать: приди, виждь и сдѣлай лучше. Кто знаетъ положеніе сопротивнаго берега, кто судить можетъ, каково оставить спину свою, сообщеніе и переправу чрезъ широкую рѣку во власть непріателю, тотъ

не можетъ говорить, что излишна была наша попытка на городъ Силистрію. Она была необходима и долженствовала быть самою первою, потому что, не низвергнувъ сего поста, отъ коего непріятель всякой нашъ шагъ впередъ возслѣдовать могъ, руки при томъ имѣя свободныя истребить все позади насъ, даже и переѣхать посредствомъ судовъ, бывшихъ при Силистріи, на нашъ берегъ, нельзя было ничего вдаль на той сторонѣ предпринимать; но когда они всю пользу полагаютъ въ разбитіи полевыхъ войскъ, то сіе исполнено съ полнымъ успѣхомъ. Пусть скажутъ, что больше можно сдѣлать съ тринадцатю тысячами войска въ такой сторонѣ, гдѣ нѣтъ пути, а камней претыканія и на совершенное паденіе весьма довольно? Я изъяснилъ всѣ неудобства, ежели изъяснить можно превосходящее всякое изъясненіе, въ моихъ донесеніяхъ, и не смѣю уже пополненіемъ утруждать болѣе ваше сіятельство.

На послѣднее мое письмо о князѣ Петрѣ Васильевичѣ Репнинѣ отвѣтное визирское, въ Итальянскомъ переводѣ, къ сему присоединяю. Изъ онаго узнаете, ваше сіятельство, образъ ихъ мыслей. Посланный мой маіоръ Каспаровъ въ Силистріи принятъ благосклонно и проведенъ до Шумлы. Но верстъ за пять не доѣзжая до того мѣста, выѣхавшіе переводчикъ Караджа и другой чиновный изъ свиты визирской остановили его, извиняясь, что визирь ради настоящихъ военныхъ резоновъ не можетъ принять его въ своемъ лагерѣ и, отобравъ у него письмо, привезли ему на завтра въ тоже мѣсто сіе отвѣтное. При врученіи онаго переводчикъ отъ лица визирскаго говоренныя имъ слова, для донесенія мнѣ, просилъ записать маіора Каспарова, о чемъ сдѣланную записку тутъ сообщаю. Недопущеніе моего посланнаго въ лагерь подтверждаетъ достовѣрность тѣхъ самыхъ извѣстій, которыя мы имѣли за Дунаемъ, что визирь всѣ войска отъ себя отдѣля противъ насъ и на убережъ, держится самъ на легкѣ въ Шумлѣ, въ каковомъ положеніи не хотѣлъ онъ себя показать предъ нашимъ офицеромъ.

Маіоръ Каспаровъ слышалъ тамъ, что князь Петрѣ Васильевичъ отъ ранъ уже излѣчился и при вступленіи нашихъ войскъ на противный берегъ отвезенъ въ Царьградъ съ прочими офицерами, купно съ нимъ взятыми. Рейсъ-эффенди и всѣ чины, бывшіе на Букарештскомъ конгрессѣ, находятся при визирѣ. Алексѣю Михайловичу я сообщилъ напоминовеніе ваше объ немъ припискою своеручною въ послѣднемъ письмѣ.

17 числа Іюля 1773 г.

Лагерь при рѣкѣ Яломицѣ, у деревни Малерсу.

Р. S. Весьма я хотя и знаю, что и г. фельдмаршалъ \*) также желалъ скорѣе окончить бесполезную войну и чтобъ возставить между двумя державами благоденствіе и покой таковымъ образомъ, чтобъ памятно то было вѣчно потомкамъ нашимъ, но оставивъ оное не рѣша, можно-ль въ такое короткое время съ обѣихъ сторонъ невинно столько пролить крови, и кому за оную отвѣчать должно будетъ предъ Богомъ! Съ начала жь знакомства съ фельдмаршаломъ я часто имѣлъ дружескую переписку, но и то, вижу, прекращается; а я, съ моей стороны, желаю и всегда радуюсь, когда получаю письма и освѣдомляюсь о его здоровьи.

52.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Узнавъ изъ партикулярныхъ увѣдомленій о пожалованіи вашему сіятельству первой степени въ чинахъ и имѣній недвижимыхъ съ денежными пенсіями, обрадовался я сердечно, представляя въ душѣ своей, что сіе воздаяніе получаете ваше сіятельство отъ щедротъ монаршихъ, подобно какъ трудникъ собираетъ свои плоды, достигнувши полной жатвы: ибо сему уподобить я могу труды и удовольствие ваше и общее видѣть своего государя достигнувшаго въ возрастѣ лѣтъ и воспитаній совершенства.

14 Октября 1778 г. Въ Фокшанахъ.

53.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Ваше сіятельство прежде меня, я надѣюсь, свѣдомы, что по предстательству Французскаго министра князь Петръ Васильевичъ Репнинъ получилъ себѣ свободу. Я отъ него имѣлъ два письма, чтобъ позволить ему прямо ѣхать въ С.-Петербургъ, чему согласуя я къ нему уже писалъ. Услуга Французская въ семь разъ мнѣ кажется являетъ ихъ расположеніе, чтобъ какъ въ худомъ были, такъ и въ доброе вмѣшаться. Но чрезъ кого бы то ни было, да даровалъ бы только Богъ конецъ войнѣ! Ваше сіятельство съ нѣкотораго времени рѣдко мои отзвы имѣете. Представьте мои обстоятельства купно съ жестокимъ недугомъ, во гробъ уже гонящимъ, и найдите въ оныхъ мое въ томъ справедливое извиненіе.

С. Коряшты.

20 Декабря 1778 г.

\*) Князь Голицынъ. П. Б.



Р. S. Я хотѣлъ здѣсь открыться вашему сіятельству о моемъ весьма печальномъ состояніи. И кому же я могу говорить о семъ съ большею довѣренностію, какъ не вамъ, моему милостивцу и другу? Чрезъ долговременныя и жестокия болѣзни лишился я всего здоровья, а не меньше того сражаютъ и духъ разныя и сильныя скорби сердцу. Я бы хотѣлъ искать пользы въ теплос время у водъ цѣлительныхъ; но и на сію дорогу не достанетъ ни здоровья, ни денегъ, а если помышляю и о усдиненіи, какъ ближайшемъ средствѣ, то и оное не знаю, гдѣ найтись: ибо, радѣя весь вѣкъ о службѣ, не радѣлъ я о домовствѣ и не имѣю еще и теперъ своего жилища дому. Вотъ обстоятельства столь тѣсныя, что прибѣгаю къ вашему дружескому совѣту, не могуци самъ себѣ ничего присовѣтывать.

54.

**Графъ Румянцовъ графу Панину.**

Въ пунктѣ дому, что я его не имѣю, была предъ вами моя откровенность. Я дополню оную здѣсь чистосердечнымъ изъясненіемъ, что все имѣнія, дома и деревни едвали приносятъ больше какъ мысленную забаву, въ коей я проводилъ вѣкъ мой нечувствительно и, лишившись такъ сказать всякаго въ утѣхахъ соучастія, долженъ уже радѣть не о новыхъ стяжаніяхъ, но о вещественной пользѣ, чтобъ упокоить и тѣло, и духъ въ томъ достояніи, которое уже имѣю.

При отпращиваніи сыновъ моихъ въ чужіе края, до когожь больше и лучше прибѣгнуть могу, въ видѣ отца и просителя, какъ не къ вашему сіятельству, яко моему и имъ уже благодѣтелю? Совершите, милостивый государь мой, въ семъ разѣ довольно мнѣ извѣстное ваше усердіе на ихъ пользу, чтобъ они съ покровительства вашего снабжены были рекомендаціями къ нашимъ министрамъ о нужномъ тамъ имъ, гдѣ будутъ, во всякомъ случаѣ вспоможеніи; словомъ, отверзите имъ путь и подайте, какъ лучше знаете, способы получить науку и всякое полезное приобрѣтеніе.

Ничего я имъ больше не внушалъ, какъ чтобъ они знали себя на всю жизнь благодарными за благодѣянія ваши, которыя носимъ безъ отплаты и которыя, переходя въ родъ, должны вливать и вѣчную привязанность къ вашей фамиліи, чтобъ они и теперъ и по мнѣ наслѣдили тоже почтеніе и безпредѣльную преданность къ особѣ вашей, въ которой отецъ ихъ имѣетъ друга и благодѣтеля.

Корнешты.

14 Февраля 1774 г.

55.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Не хочу я изъясняться, сколь признаніе во мнѣ дѣйствуетъ къ вашему усердію по случаю полномочія даннаго мнѣ отъ Ея Императорскаго Величества на возобновленіе мирныхъ договоровъ. Вѣрьте, что никто больше и благодарнѣе не ощущаетъ плодовъ вашего благоволенія какъ я, съ теченіемъ цѣлаго вѣка моего въ нихъ удостовѣрившійся.

Ваше сіятельство относите надежду на добрыя услуги друзей нашихъ, чтобъ они возбудили непріятеля на миролюбіе; но тѣмъ не меньше (говорю въ конфиденцію) подозрѣвать я могу прямыя ихъ хотѣнія, что они свои виды въ семъ дѣлѣ больше соблюдаютъ нежели раченіе убѣдить непріятеля принять наши предложенія, наипаче о Явикольтъ и Керчи, такъ равно какъ и о мореплаваніи неограниченномъ. Всеконечно, вопервыхъ, встрѣтится мнѣ во всемъ пространномъ существѣ упорливая претительность непріятеля въ соглашеніи его на сіи пункты, которой, если въ немъ не превозмогли трудъ и искусство весьма благоумныхъ людей, то сколь мало надежды мнѣ есть льститься успѣхомъ лучшимъ чрезъ способности къ тому весьма во мнѣ скудныя! Единое и цѣлое упованіе предоставляю я себѣ на общаваемую мнѣ помощь отъ вашего сіятельства, и если бы Всевышній благословилъ сіе дѣло желаемымъ концомъ, то въ ономъ я только именемъ возьму участіе; а вся слава и польза должны быть присвоены вашему сіятельству, яко строителю онаго и наставнику споспѣшествовавшему. Въ такомъ чистосердечномъ расположеніи я ожидать въ свое время буду вашихъ наставленій, сколько ваше сіятельство, объемля своимъ вниманіемъ полную связь вещей и равновѣсіе державъ, къ которому стремится политика вообще, прозорливѣе судить можете нужду и пользу Отечества нашего въ прекращеніи войны, которою заняты наши руки и въ продолженіи коей находятъ способы недоброжелатели беспокоить насъ не съ одной стороны.

5 Марта 1774 г.

Въ Яссахъ.

56.

## Графъ Панинъ графу Румянцову.

Изъ настоящей экспедиціи усмотрите ваше сіятельство, конечно, съ толикимъ же оскорбленіемъ, съ каковымъ я здѣсь извѣстился, что князь Василій Михайловичъ Долгорукой, слѣдуя безразсудно скоропостижному и безразсудному же предписанію Военной Коллегіи, нагоро-

дѣль намъ множество бѣдъ и хлопотъ даже до потрясенія самаго мира, который вами съ толикою славою пріобрѣтенъ, и который въ настоящихъ Отечества нашего критическихъ обстоятельствахъ толико ему нуженъ и толико драгоцененъ. Въ безпредѣльной моей къ вашему сіятельству откровенности, скажу я вамъ, милостивый мой другъ, что сердце мое обливается кровію, видя теперь дѣйствіе и плодъ сей сугубой безразсудности, могущей весьма легко, при всемъ вопреки соединенномъ и ревностнѣйшемъ стараніи нашемъ, обратиться въ наивящее государственное зло. Донинѣ много благодѣтельствовалъ намъ Промыслъ Всемогущаго, видимо о Россіи пекущійся; но какъ всему есть предѣлъ, то и начинаю уже я опасаться, чтобъ благодѣтельность онаго, наконецъ, втунѣ истощена не была. Охотно жертвую я теперь послѣдними моими моральными и физическими силами службѣ Отечества, дабы воспособствовать поправленію разрушенной безуміемъ части дѣла; а жертвую оными, колико могъ я предупредить въ подвигѣ моемъ, открыть то вашему сіятельству отправленный нынѣ къ вамъ высочайшій рескриптъ. Богомъ, Отечествомъ и собственною вашею славою заклинаю я тебя, милостивый мой другъ, чтобъ ты не упадалъ въ бодрствованіи твоёмъ и въ возложенномъ на тебя толь трудномъ бремени исправленія чужихъ погрѣшностей. Всѣмъ, что свято есть, обещаю я раздѣлять здѣсь всѣ ваши заботы и облегчать оныя по крайней моей возможности. Другъ мой князь Николай Васильевичъ Репнинъ, какъ недавный всему самовидецъ, можетъ вашему сіятельству живѣе на словахъ изобразить, нежели я сими строками описать въ состояніи, колико уже я работать долженствовалъ для извлеченія тѣхъ способовъ, кои прежде сего концентрировали въ руководство ваше всю связь поправленія; но сіе не будетъ меня нисколько оставлять и впредь тоже до самой крайности чинить. Ссылаясь на его свидѣтельство, какъ въ сей части, такъ и въ тѣхъ душевныхъ сентиментахъ, коими я вамъ, милостивый государь мой, до безконечности преданъ, заключаю я сіе письмо въ чувствительнѣйшей горести о происшедшемъ, отправляемое дружескою и всеприлежнѣйшею просьбою, чтобъ ты, мой другъ, ополчаясь великимъ твоимъ духомъ, потщился ими же вѣси стезями возстановить поврежденныя дѣла въ положеніе сносное и непостыдное, дабы намъ и миръ сохранить, и не остаться предъ свѣтомъ въ посмѣяніи и въ поруганіи. Сама судьба опредѣляетъ вамъ достигнуть сего верха славы новыми трудами и новыми подвигами къ вящему посрамленію тѣхъ, кои безразсудностию своею суть виновники толь предосудительнаго и бѣдственнаго разстройства въ дѣлахъ. Но тутъ духъ мой сугубо страдаетъ, напоминая ту жестокою болѣзнь, кою вы одержимы были. Боже милосердный, услыши моленія мои и возврати тебѣ, мой другъ, здоровье твое въ цѣлости; оно

теперь необходимо нужно для охраненія Отечества, чего я усердѣйше желая, общаю уже себѣ скоро познать и совершенное возстановленіе тѣлесныхъ вашихъ силъ.

Въ С.-Петербургѣ, 15 Сентября 1774.

Отправлено съ курьеромъ.

Р. С. Будучи въ крайней безъизвѣстности о слѣдствіяхъ, которыя невѣжество и безуміе князя Долгорукова могли произвести въ дѣлахъ Крымскаго полуострова, слѣдовательно же и не въ состояніи опредѣлить собою, до коего степени распространилось уже развращеніе ихъ, и какія бы вопреки пособія могли съ вящею пользою употреблены быть, принужденъ я теперь до времени заниматься и мечтать одними гаданіями, кои, въ удостовѣреніи о вашей ко мнѣ искренней дружбѣ, хочу здѣсь сообщить вашему сіятельству, прося тебя, милостивый мой другъ, чтобъ ты ихъ принялъ въ зрѣлое разсужденіе и, по результату собственнаго твоего проніцанія, употребилъ въ дѣло, есть ли они тебѣ покажутся достойными сего. Прежде всего положу я то основаніе, которое во всей точности слова полагаю для Отечества необходимо нужнымъ, при настоящемъ его внутреннемъ и пагубномъ неустройствѣ, то есть сохраненіе мира и упрежденіе, по крайней возможности, всякаго повода къ поднятію вновь оружія, только бы тутъ сколько ни есть остаться предъ свѣтомъ безъ посмѣянія и безъ чувствительнаго оскорбленія въ достоинствѣ двора нашего. При такомъ основаніи считаю я уже Крымъ дерзкою безразсудностію совсѣмъ потеряннымъ, предполагая, что Турки сего полуострова не изпразднятъ; что правленіе тамошнее, обывнувъ раболѣпствовать игу Турецкой власти, захочетъ и впредъ отъ оной по прежнему совершенно зависимымъ быть, и что напоследокъ возведенной нами ханъ сверженъ уже, а на его мѣсто опредѣленъ новый, отъ Порты въ семь достоинствѣ присланный, ханъ. Сколько все сіе ни огорчительно, но въ существѣ долженствуетъ уступать внутренней нуждѣ, естли только, какъ выше сказано, можетъ въ публикѣ сбережена быть нѣкоторая наружная благопристойность. Когда сіе же такъ, то и мнится мнѣ, чтобъ съ нашей стороны испытать всевозможное у находящихся на Кубани Нагайскихъ ордъ для раздѣленія ихъ съ Крымомъ и постановленія въ независимости отъ онаго особливою областію, подъ управленіемъ преданнаго намъ калги-султана, чего ради и надобно будетъ, чтобъ оныя орды, съ своей стороны, учинили какой либо формальный поступокъ въ опроверженіе Крымскаго предательства. Для учиненія таковой попытки пишу я нынѣ къ Евдокиму Алексѣвичу Щербинину, которому теперь по отъздѣ князя Долгорукова производство Татарскихъ дѣлъ одному уже ввѣрено,

отсылая его однакожь во всякомъ случаѣ къ вашему сіятельству, какъ главному руководителю и центру всѣхъ политическихъ и военныхъ дѣлъ, для истребованія ближайшихъ по обстоятельствамъ наставленій. Но при семъ случаѣ ставлю я себѣ въ пріятный долгъ засвидѣтельствовать вашему сіятельству, по сущей справедливости и изъ собственного моего довольнаго и долговременнаго испытанія, что Евдокимъ Алексѣевичъ есть человѣкъ качествъ отличныхъ, имѣющій отъ природы достаточное просвѣщеніе, пылающій къ службѣ истинною ревностію, а особливо вамъ, милостивый государь мой, душевнымъ и совершеннымъ почтеніемъ преданной. Я могу вамъ въ сей части и во всемъ вышесказанномъ смѣло за него ручаться, и смѣло же увѣрить здѣсь, что ваме сіятельство, удостоивая Евдокима Алексѣевича вашею довѣренностію, будете въ немъ взаимно находить человѣка къ дѣлу отлично способнаго и весьма готоваго къ исполненію вашихъ приказаній, слѣдовательно же и къ приобрѣтенію себѣ вашей персональной дружбы и милости, въ кои я его симъ наилучше и препоручаю. Онъ до сихъ поръ въ производствѣ политическихъ съ Татарами дѣлъ истощалъ охотно все свое усердіе; но отъ другаго въ нихъ участвовавшаго командира былъ весьма дурно встрѣченъ и даже здѣсь обнесень, хотя онъ, съ своей стороны, и показалъ достаточно всю неправость онаго.

Въ С.-Петербургѣ, 15-го Сентября 1774 г.

57.

Графъ Панинъ графу Румянцову.

Препровождая симъ отправляемые къ вашему сіятельству высочайшіе рескрипты, хочу я, по обыкновенной нашей откровенности, присовокупить здѣсь къ преподаннымъ вамъ наставленіямъ о хитромъ Австрійскомъ поступкѣ, въ разсужденіи княжествъ Молдавскаго и Волошскаго, собственныя мои дружескія разсужденія. Я признаюсь вамъ, что явленіе Вѣнскаго двора меня не тревожитъ, только бы удалось намъ чрезъ благоразумное ваше посредство вывести Порту Оттоманскую изъ всякаго сомнѣнія о нашемъ участіи въ ономъ; а напротивъ того, больше дѣлаетъ мнѣ удовольствія, предвѣщая вѣроятнѣйшимъ образомъ, что Турки сугубо теперь признають прямую цѣну, какъ нашего мира, такъ и Австрійской дружбы, на которую они при началіи нашей войны толь много считали. Не будетъ намъ причины сожалѣть, еслии бь Порты Оттоманская восчувствовала несправедливость Австрійскаго для нея толь оскорбительнаго поступка до того, чтобъ противу Вѣнскаго двора подняла оружіе. Бывъ въ войнѣ, не

трудно бы ей было приготовить и поставить къ будущему году многочисленную армію, которая бы Австрійцевъ, при всѣхъ ихъ нынѣшнихъ военныхъ оказательствахъ и при всемъ наружномъ геройствѣ императора Римскаго, застала, конечно, неисправныхъ и неготовыхъ, слѣдовательно же и могла бы одержать знатные аванжаи, прежде нежели бы они опамятоваться могли. Желательно для интересовъ нашихъ такое Вѣнскому двору поученіе за его скаредное въ разсужденіи насъ поведеніе и за его нынѣшнюю хищность. Время откроетъ теперь, будутъ ли Турки умѣть пользоваться настоящимъ для нихъ выгоднымъ моментомъ.

О возвращеніи сюда князя Николая Васильевича, поколику оное съ собственною вашего сіятельства удобностію быть можетъ, принося здѣсь мою просьбу, увѣряю я васъ, милостиваго моего друга, что присутствіе его здѣсь необходимо нужно и для учиненія всѣхъ нужныхъ къ будущему его посольству приготовленій; ибо оныя по торжественности и огромности своей не могутъ безъ него надлежащимъ образомъ производимы быть.

Въ С.-Петербургѣ, 8 Октября 1774 г.

58.

Графъ Румянцовъ графу Панину.

Окончился и другой уже мѣсяць въ моихъ болѣзненныхъ страданіяхъ, лишающихъ меня силъ встать съ постели. Въ разсужденіи дѣлъ на мнѣ лежащихъ, я самъ себя преодолеваю, чтобъ шли оныя съ потребнымъ успѣхомъ. Сколько состояніе мое, впрочемъ не удаляющее меня отъ гроба, позволить, я не упущу все то употребить что мнѣ можно, подая вспоможеніе для дѣлъ Крымскихъ, о которыхъ послѣднія извѣстія отъ князя Василя Михайловича и удостовѣренія визирскія представляютъ ихъ въ другомъ видѣ, нежели каковы наносили прежде безпокойство. Ваше сіятельство соизволите дальнѣйшія подробности усмотрѣть въ моемъ настоящемъ ко двору донесеніи о положеніи, въ коемъ я по сей день нахожусь съ стороны обстоятельствъ заключеннаго мира и со стороны моей переписки съ визиремъ.

Фокшаны.

10 Октября 1774.

59.

Графъ Румянцовъ графу Панину.

Входъ и расположеніе Цесарскихъ войскъ въ Молдавію на сіе время двояко разумѣваемы быть могутъ, что или силою оружія поло-

жилъ дворъ Вѣнской удержатъ за собою часть сей земли, либо думать выторговать оную у Порты обѣщаніемъ ей старательства къ перемѣнѣ артикуловъ нашего съ нею мира, и сему послѣднему, по моему слабому воображенію, кажется здѣшняя ихъ позиція отвѣчаетъ, по скольку даетъ виды къ затрудненію и нашихъ оборотовъ. Ваше сіятельство имѣете каналы скорѣе и достовѣрнѣе свѣдать о точныхъ намѣреніяхъ реченнаго двора, съ коими предпріялъ онъ расширить въ сей части свои предѣлы, и я прошу, потому, вашими откровеніями, сколько дѣло сіе явнѣе становиться будетъ, впредь меня удостоить.

Здѣсь я включаю письмо къ графу Сольмсу отъ Цегелина, а сего послѣдняго изворотъ чудной увидите во всемъ пространствѣ изъ его собственнаго письма, присоединеннаго къ реляціи.

26 Октября 1774 года.

Въ Молдавскомъ мѣстечкѣ Барлетнѣ.

60.

Графъ Панинъ графу Румянцову.

Съ крайнимъ оскорбленіемъ сердца моего долженъ я сообщить здѣсь вашему сіятельству продолженіе депешей князя Василя Михайловича. Вы изволите усмотрѣть изъ оныхъ съ подробностію всѣ тѣ рыночныя вѣсти, коими онъ руководствуется и коими отъ часу больше приходитъ въ затрудненіе и недоумѣніе. Также откроютъ они, что онъ къ усугубленію общей нашей заботы не изволилъ воспользоваться даннымъ ему позволеніемъ возвратиться въ Отечество, чего прежде самъ усильно просилъ, а вмѣсто того, по усердію или свойственнѣе сказать по своенравію своему, рѣшился остаться при остаткахъ своей толь безразсудно разрушенной арміи. Хотя теперь, повидимому, и испорчено уже мирное дѣло почти въ конецъ княземъ Василемъ Михайловичемъ, но я признаюсь вамъ, что отъ недоразумѣнія и упрямства его опасуюсь еще бѣльшаго зла, а по крайней уже мѣрѣ того ничѣмъ инымъ не замѣняемаго неудобства, что дѣла, доколѣ онъ пребудетъ въ управленіи и распоряженіи тамошней стороны, не могутъ отнюдь возвращены быть на прежній или сколько ни есть непостыдный путь. Гаданіе мое, въ коемъ однакожъ искренно желаю я ошибиться, основывается на учиненномъ къ нему отзывѣ отъ командовавшаго въ Крыму Турецкаго паши; ибо оный сказалъ ему безъ обиняковъ, что Порта отлагаетъ распоряженіе и разводъ взаимныхъ границъ до будущихъ на обѣ стороны посольствъ. Когда же разумный и прозорливый нашъ полководецъ изъ сего не понимаетъ, что Турки Кинбурна на опредѣленный въ трактатѣ срокъ намъ отдать не хотятъ, а вслѣдствіе того и не при-

нимаетъ самъ собою никакихъ мѣръ къ сохраненію до времени въ Крымскомъ полуостровѣ твердой ноги, для показанія Порта, что мы въ прихотливыхъ ея требованіяхъ уступать не намѣрены, да и не въ такомъ еще состояніи оружія, чтобъ уступать долженствовали: то и не имѣю ли я причины опасаться, что онъ можетъ намъ нагородить множество новыхъ и неразвязныхъ бѣдъ и проказъ? Мнѣ и то уже иногда въ мысли приходитъ, что Татары, коимъ онъ въ необходимости пребыванія войскъ нашихъ въ ихъ области (до времени совершеннаго всѣхъ мирныхъ артикуловъ исполненія) съ пристойностію отвѣтствовать не умѣетъ, бывъ Турками поджигаемы и наущаемы, предуспѣютъ его или захватить въ свои руки по примѣру резидента Веселицкаго, или же позорнѣйшимъ образомъ совсѣмъ изъ Крыма вытолкать и выбить, а тѣмъ самымъ и привести себя въ полную свободу подвергнуться вновь начальству Оттоманскому, не только безъ всякой отъ насъ помѣхи, но паче съ жертвованіемъ оставленныхъ въ Керчи и Ениколѣ малочисленныхъ гарнизоновъ, да и съ потеряніемъ сихъ обѣихъ толь важныхъ для переду мѣстъ.

Вы знаете довольно и предовольно, съ какою я донынѣ деликатностію дѣйствовать принужденъ былъ противу предубѣжденія въ пользу князя Долгорукова, толь многими опытами уже извѣданнаго, дабы здѣшнія резолюціи довести до того, чтобы Крымскія дѣла присвоены были мудрой вашей дирекціи. Вѣрьте, милостивый мой другъ, что уже всѣ мои силы и пособія истощаемы были; да и теперь хотѣлъ бы я ими охотно еще до послѣдней возможности жертвовать, естлибъ въ безъизвѣстїи, въ коей по глухимъ и тупымъ донесеніямъ сего чуднаго воина погруженъ, могъ только усматривать хотя малый свѣтъ къ соображенію нашихъ мѣръ. Но вы конечно сами отдадите мнѣ полную справедливость, прочтя оныя, что разсудительнымъ образомъ ни къ чему и никакъ приступить не можно.

Въ семъ критическомъ положеніи вновь прибѣгаю я къ вашему сіятельству и заклинаю васъ всѣмъ, что свято есть, вступить въ дѣла Крымской стороны. Вы имѣете теперь къ тому, по послѣднимъ высочайшимъ рескриптамъ, неоспоримое право, когда всѣ тамошнія дѣла и войска отданы въ ваше повелѣніе. За великое уже почель бы я, естлибъ вы изобрѣли способъ возвратить сюда князя Василія Михайловича, интересуя ли его честолюбіе въ разсужденіи толь малаго числа остающихся въ сборѣ войскъ изъ второй арміи, при каковомъ чловѣку высшую команду имѣвшему непристойно уже быть, или же инако обращая его скоропостижную чувствительность къ принатію собою резолюціи на таковое удаленіе, дабы не быть въ совершенной подчиненности, слѣдовательно же и нуждѣ получать все свое руководство не



отъ двора уже непосредственно. Черезъ одержаніе сего пункта тѣмъ или другимъ образомъ буду уже я въ томъ спокоенъ, что преемникомъ его, который будетъ непосредственно подъ вашими наставленіями, не будутъ дѣла больше порчены и развращаемы, а можетъ быть и удастся еще намъ, безъ того князя, привести ихъ на гораздо лучшую стезю, чему отчасти и скорое къ находящимся на Кубанской сторонѣ ордамъ прибытіе Евдокима Алексѣевича Щербинина воспособствовать можетъ. Ваше сіятельство, получая его увѣдомленія, получите уже и болѣе свѣта къ распоряженію рѣшительныхъ вашихъ мѣръ. Затруднительность ихъ воображаю я себѣ въ совершенномъ ихъ пространствѣ; но тѣмъ вѣще обнадеживаю васъ моего друга, что бремя оныхъ съ вами всячески дѣлать хочу и буду. Теперь по моему разсужденію главный вопросъ въ томъ предстоить, что дѣлать, когда Турки Кинбурна на срокъ не отдадутъ, какъ въ томъ навѣрное уже теперь они и обнажились, какъ по отзыву Гаджи-Али-паши къ князю Долгорукову, такъ и по другому вамъ извѣстному ихъ политическому поступку въ разсужденіи короля Прусскаго.

Внутреннее наше положеніе не дозволяетъ, чтобъ неустойку Порты въ семь случаевъ поставить тотчасъ за самое мира нарушеніе, каковымъ она и въ существѣ своемъ не есть; но, съ другой стороны, возбравяетъ и достоинство двора уступить ей въ сей ея попыткѣ. Я не сомнѣваюсь, что ваше сіятельство найдете довольно пособій въ собственномъ вашемъ благоразуміи, чтобъ найтись въ семь кризисъ, а особливо, когда и самый мирный трактатъ полагаетъ залогомъ Кинбурна крѣпости Бендерскую и Хотинскую. Мнѣ потому кажется (примѣчая и паки, что я говорю, не какъ министръ, а какъ душевный вашего сіятельства другъ и какъ человекъ на мѣстѣ вашемъ то для себя избирающій), что довольно будетъ, выводя армию изъ уступленныхъ Портѣ земель и располагая ее по близости границъ, съ одной стороны занять обѣ тѣ крѣпости сильными и достаточными гарнизонами, а съ другой поставить внутри Крымскаго полуострова твердую ногу, или, по крайней мѣрѣ, занять Ениколь и Керчу уже не такимъ отрядомъ, каковъ сдѣланъ княземъ Васиіемъ Михайловичемъ, но оставить тамъ подъ именованіемъ гарнизоновъ такой корпусъ и съ такимъ командиромъ, чтобъ всѣмъ Татарамъ вообще могъ импонировать, спомоществуя ему, если только возможно для зимняго снабженія мелкою нашею флотиліею изъ Таганрога или изъ Азова. Такимъ образомъ будутъ достаточно охранены и безопасность полученія въ наши руки со временемъ Кинбурна, и непремѣнность намѣренія нашего въ сохраненіи мира, также и въ непреданіи Татаръ собственному ихъ буйству и легкомыслію.

## 61.

## Графъ Румянцовъ графу Панину.

Отъѣздомъ князь Василья Михайловича, доселѣ вамъ извѣстнымъ, рѣшились главные артикулы, на которые долженъ былъ я вамъ моимъ отвѣтомъ. Съ того времени какъ я имѣю честь въ моемъ положеніи пользоваться вашими совѣтами и руководствомъ непрерывно мнѣ благодарѣтельствуящимъ, видѣли ваше сіятельство, какъ я льщу себя, съ какимъ я усердіемъ повиновался онымъ, и что сообщаемыя мысли ваши были мнѣ всегда лучшимъ правиломъ къ выполненію моей должности. Храня на вѣкъ таковое душевное во мнѣ расположеніе, подвергнулъ бы я себя охотно новому бремени, которое возлагается на меня препорученіемъ дѣль Татарскихъ и командованія второю арміею; но ставлю свидѣтелями всѣхъ меня видящихъ и клянусь вамъ совѣстію моею и всѣмъ что свято, что ослабленныя мои силы чрезъ болѣзнь, въ конецъ разорившую строеніе моего тѣла, не дѣлають меня способнымъ удовлетворить пространной должности начальствующаго въ томъ краю, весьма отъ меня удаленномъ. Признаюсь чистосердечно, что всегдашняя забота и о здѣшнихъ дѣлахъ причинствуетъ съ своей стороны предовольно медленіе въ моемъ выздоровленіи; да и при всемъ томъ еще я во всегдашней опасности нахожусь, чтобъ не упустить чего либо изъ моей должности и на здѣшнее мѣсто. Помощникъ мнѣ былъ одинъ князь Николай Васильевичъ; но и онъ съ 23-го числа Ноября отсюда чрезъ Варшаву поѣхалъ къ вамъ, ради споспѣшествованія посольскаго отправленія. Отъ сихъ прямыхъ неудобствъ, свойственныхъ моей немощи, произошло предъ симъ мое представленіе къ Ея Императорскому Величеству, чтобы ввѣрить командованіе второй арміи больше меня настоящее положеніе оной и тамошнія дѣла знающему: ибо я, милостивый государь, и доселѣ не вѣдаю, кто тамъ изъ генералъ-поручиковъ остается; а Евдокимъ Алексѣевичъ Щербининъ, распоряжающій также частью войскъ, пишетъ ко мнѣ, что тамъ надобенъ командиръ, по неимѣнію теперь онаго и по большому нестроенію. Я не повторяю здѣсь содержаніе его описанія о Татарахъ, надѣясь, что онъ вамъ о томъ же что и мнѣ даетъ знать прямо.

Я на всякой часъ ожидаю курьера изъ Царьграда съ рѣшительнымъ отвѣтомъ, что касается до отправленія ратификаціи на трактатъ безъ всякой въ немъ перемѣны; а между тѣмъ препровождаю письмо отъ г. Цегелина къ графу Сольмсу и депешу на имя ваше отъ бояръ Молдавскихъ, да ихъ же ко мнѣ письмо о вступленіи Австрійскихъ войскъ, предавъ сіе послѣднее на употребленіе по собственному вашему сіятельству разсмотрѣнію.

Р. S. Изъ Германштата г. Прейсъ, Австрійскій генераль, далъ мнѣ знать, что тамъ умре иностранной коллегіи переводчикъ Шокуровъ, отпущенный Алексѣемъ Михайловичемъ г. Обрѣзковымъ къ водамъ по болѣзни, которою онъ былъ одержимъ.

8 Декабря 1774 года.

С. Корнешты.

62.

Графъ Панинъ графу Румянцову.

Непостижимъ и ничѣмъ оправданъ быть не можетъ поступокъ Вѣнскаго двора въ самовластномъ его захваченіи. Экстрактъ Кауницова письма покажетъ вашему сіятельству тотъ удивительный оборотъ, который вымыслилъ сей министръ къ покрытію онаго, не помяшляя о томъ, что когда здѣсь негоціація шла о раздѣлѣ, за старья претевзіи, Польскихъ провинцій, онъ тогда самъ требовалъ положить и принять за основаніе (какъ то дѣйствительно и учинено было взаимными и собственно отъ самихъ государей подписанными деклараціями), дабы всѣ три части не пространствомъ земли, но существомъ выгодъ своихъ равновѣсны были; почему нынѣ всякое распространіе одной части предъ другою собственно въ себѣ нарушаетъ уже выпепомянутое основаніе самаго раздѣла Польскихъ провинцій, слѣдовательно же и даетъ другимъ двумъ дворамъ неоспариваемое право или равнымъ образомъ расширить свои части по собственной своей удобности, или же требовать, чтобъ Вѣнскій дворъ оставилъ присвоиваемое себѣ на счетъ Покуціи распространіе. Не смотря на сіе, мы намѣрены, однакожь, оставаясь до времени въ молчаніи, обождать прежде всего, какія Порты Оттоманская съ своей стороны приметъ мѣры для возвращенія себѣ похищеннаго, которое теперь повидимому начало уже ее трогать. Для насъ довольно и того на первый случай, чтобы вниманіе ея къ сему пункту, непримѣтнымъ образомъ и не компрометируя себя, вѣще и вѣще обращать.

Въ С.-Петербургѣ, 23 Декабря 1774 г.

## ИЗЪ БУМАГЪ ПРОТОІЕРЕЯ ПЕТРА АЛЕКСѢВА.

---

Въ 1880 года, уже по отпечатаніи въ Русскомъ Архивѣ (кн. II) статьи *Петръ Алексѣевъ, протоіерей Московскаго Архангельскаго Собора*, случай доставилъ мнѣ возможность пересмотрѣть уцѣлѣвшія для потомства черновыя бумаги протоіерея Алексѣева, составляющія весьма цѣнный матеріалъ, какъ для его біографіи, такъ и вообще для характеристики его времени. Бумаги эти переплетены въ довольно объемистую книгу, перенумерованную по страницамъ, четвертая часть которыхъ, къ сожалѣнію, попорчена временемъ. Книга имѣетъ видъ домашняго журнала, куда вносились документы различнаго содержанія: письма къ разнымъ лицамъ съ различными просьбами и доносами, замѣтки, выписки изъ историческихъ сочиненій и т. п. Писаны они различнымъ почеркомъ, но поправки и приписки въ нихъ несомнѣнно принадлежать рукѣ самаго Алексѣева. Последнее обстоятельство особенно интересно: слѣдя за вычеркиваніями и прибавленіями отдѣльныхъ словъ и цѣльныхъ фразъ, представляется возможнымъ слѣдить и за самымъ, такъ сказать, процессомъ мысли отца протоіерея. Въ дополненіе къ очерку личности Петра Алексѣева, считаемъ не лишнимъ изъ вновь открывшихся матеріаловъ сообщить *нѣкоторыя*, именно тѣ, которые находимъ *возможнымъ* предать тишенію; остальные же надо предоставить времени. Хотя помѣщаемые ниже документы даютъ обильный матеріалъ для полной и вѣрнѣйшей дорисовки личности протоіерея Алексѣева; но мы не пользуемся этой возможностью по тому же соображенію, по которому старикъ Крыловъ отказался пояснить одну изъ своихъ басенъ. Впрочемъ документы настолько краснорѣчивы сами по себѣ, что вѣроятно читатели обойдутся въ этомъ случаѣ и безъ посторонней помощи; мы же съ своей стороны ограничиваемся только необходимыми примѣчаніями.

*А. Корсаковъ.*

С. Капустино, Серпуховскаго уѣзда.

## 1.

**Письмо къ духовнику Ея Императорскаго Величества Федору Дубянскому отъ Архангельскаго Собора (1763).**

Препровождаемъ дни наши въ уныніи превеликомъ... <sup>1)</sup> воздыханіе тяжкосердечное. Обстоятельство нынѣшняго времени возбуждаетъ оныя непрестанно произносить, при томъ и воображать въ мысляхъ нашихъ завидную бытность антецессоровъ нашихъ при соборѣхъ прежде находившихся, которые столь чувствительныхъ не терпѣли нападеній, но изжили вѣкъ свой немятежной безъ отиѣны, пользуясь только высочайшею милостію, во всякомъ довольствѣ, и сколько онымъ удивляемся, называя по справедливости счастливыми, столько горестно оплакиваемъ злой жребій нашъ, нынѣ приключившійся. Тревожатъ духъ нашъ непріятныя эхи, или паче, аки острымъ копіемъ пронзаютъ слухи, что вотчины, издревле къ Собору въ вѣчное поминование пожалованныя, имѣютъ быть отобранны неукоснительно; а вмѣсто того воспослѣдуетъ жалованье, но весьма малое и съ деревенскими указными оброками далеко несходное. Ежели жъ въ прибавокъ положить рѣдко случающіяся при Архангельскомъ Соборѣ акциденціи, то объ нихъ смѣло сказать должно, что никакого уваженія не достойны, ибо никакого не дѣлаютъ приращенія своею скудостію. Единъ только большой Успенскій Соборъ, oprичъ владѣнія деревень опредѣленныхъ, преизобилуетъ большими доходами другими, получая оныя отъ молебновъ непрестанно разнымъ чудотворнымъ образамъ пѣваемыхъ, отъ прикладывающихся къ святымъ мощамъ въ Соборѣ почивающимъ, отъ акаѳистовъ въ годъ нанимаемыхъ, отъ требующихъ Ризу Спасителю по домамъ, отъ освященія церквей, отъ вѣчныхъ памятей, многую прибыль приносящихъ, отъ трикратнаго о праздникахъ славленья: ибо священнослужителей Успенскаго Собора всѣ безъ изыятія духовныя персоны, по древнему узаконенію, и свѣтскія (за честь первепствующія церкви), благоохотно принимаютъ и отъ имѣній своихъ награждаютъ. Мы же, не имѣя громкихъ церковныхъ доходовъ, да и къ тому жъ и недостаточное жалованье изъ коллегіи, деньгами выдаваемое, принуждены будемъ продавать домишки наши безвременно за безцѣнокъ, слѣдовательно нанимать съ посмѣяніемъ невыгодный уголъ для прожитія съ домашними. Обаче въ такое время, единственно для насъ трудное, когда нѣсть намъ творяй благостыню, нѣсть до единого, и въ такихъ печальныхъ обстоятельствахъ, крайнею бѣдностію угрожающихъ, не даетъ намъ вовсе еще изнемогать добрая надежда, но велитъ прибѣгнуть къ вашему высокопреподобію, которою одобрены, какъ прежде словесно, такъ и нынѣ сими строками покорнѣйше просимъ по природному своему великодушію принять охотное на себя опекунство, приложить радѣ-

<sup>1)</sup> Бездѣ, гдѣ поставлены точки, онѣ означаютъ неразобранныя слова.

тельное стараніе для насъ и послѣ насъ слѣдующихъ богомольцевъ, не допустить до крайней бѣдности, но отвратить оную ими же вѣсте способы и далече отъ насъ своимъ многомочнымъ ходатайствомъ прогнать находящую мрачную тму горестей, неспосныхъ и вѣчныхъ стенаній, за которую милость безприкладную, изъ глубины золь свободившую, вѣчно молить Бога о здравіи вашего высокопреподобія со всею нашею церковію домашнею должностію обязуемся, да милосердый милосердыхъ любящій Господь сторично наградить во первыхъ на земли временными, продолжая жизнь при всякихъ вождѣлѣбныхъ по намѣренію успѣхахъ, а потомъ удостоить на небеси непремѣннаго со избранными своими блаженства онаго, еже око не видѣ, и ухо не слыша, и на сердце чловѣку не въздоша, яже уготова Богъ любящимъ Его. При окончаніи сихъ строкъ не черниломъ, но слезами начертанныхъ, нескончаемой милости съ глубочайшимъ почтеніемъ всего себя препоручаю. 1763 года, Декабря 11 дня.

Читатели знаютъ, что протоіерею Дубенскому Екатерина была много обязана, будучи еще великою княгинею, и Алексѣевъ зналъ, къ кому обратиться.

## 2.

**Святѣйшаго Правительствующаго Синода Конторы члену, преосвященному Самуилу, епископу Крутицкому**

*Покорнѣйшій репортъ*

Московского Архангельскаго Собора протоіерея Петра Алексѣева.

По порученной мнѣ отъ вашего преосвященства должности сего Генваря 9 числа извѣстныхъ злодѣевъ, Пугачова съ товарищи, осужденныхъ на смерть, увѣщевалъ я именованный, приводивъ въ истинное признаніе и раскаяніе, кои, кромѣ Перфильева, съ сокрушеніемъ сердечнымъ покаялися въ своихъ согрѣшеніяхъ предъ Богомъ, по таинству христіанскому, и властію пастырскою вашего преосвященства чрезъ меня недостойнаго разрѣшены отъ церковной анаѣмы; 10 числа, то-есть въ Субботу, святыхъ Христовыхъ таинъ сподоблены Казанскаго собора протопопомъ Θεодоромъ и на мѣсто казни отправлены при ученыхъ священникахъ; а Перфильевъ, по расколнической своей закоснѣлости, не восхотѣлъ исповѣдываться и принять божественнаго причастія, о чемъ вашему преосвященству симъ покорнѣйше репортую.

Самуилъ, епископъ Крутицкій, старшій членъ Московской Синодальной Конторы, въ вѣдѣніи которой, послѣ смерти архіепископа Амвросія, находилась Московская епархія. Въ Январѣ 1775 г. архіепископъ Московскимъ назначенъ Платонъ, который и прибылъ въ Москву 27 Января, спустя 17 дней послѣ казни Пугачова.

## 3.

## Письмо къ цесаревичу Павлу.

Пресвѣтлѣйшій государь цесаревичъ и великій князь,  
милостивый государь.

Имѣю долгъ приносить Вашему Императорскому Высочеству на алтарѣ сердечномъ вѣчную жертву хваленія и благодаренія за оказанныя послѣднему вашему рабу, а моему сыну Θεодору Алексѣеву, съ прочими Россіянами обучавшемуся въ университетѣ свѣтлѣйшаго герцога Виртембергъ-Штутгардскаго, милости и щедроты.

Ваше Высочество, будучи въ объятіяхъ многоразличныхъ веселостей, для вашего прибытія великолѣбно изготовленныхъ, притомъ имѣя высокіе странствованію своему предметы, удостоили милостиваго возрѣнія Россійское юношество, въ Штутгардѣ находящееся, благоволили съ ними вообще и порознь разговаривать о ихъ школьныхъ упражненіяхъ благосклонно, жаловали ихъ неоднократно къ рукѣ, такожь допустили облобызать десницу Ея Императорскаго Высочества, вселюбезнѣйшія вашае супруги, не погнушались выслушать каждаго изъ нихъ экзамены, по особливому вашему повелѣнію производимые, а тѣмъ самымъ ободрили ихъ вѣще простирасть къ достиженію наукъ совершенства.

Во всѣхъ сихъ вашихъ милостяхъ имѣлъ участіе сынъ мой, котораго при томъ Ваше Высочество пожаловали и деньгами, какъ изъ письма его видно. Сверхъ того изволили обо мнѣ нижайшемъ учинить милостивый отзывъ, превосходящій мѣру моего состоянія. Сіе доказываетъ, что обыкновенно отъ благаго сокровища сердца вашего не иному чему исходитъ, какъ доброду, и что слава имени вашего чрезъ снисхожденіе такого рода не только не умалится, но паче и паче возвысится. Особливо, если представить мысленнымъ очамъ отмѣнную ту и въ высшей степени попечительность вашу о тѣхъ же Россійскихъ юношахъ, по которой они узнали въ особѣ вашей, кромѣ милостивѣйшаго государя, и отца чадолюбивѣйшаго, когда вы, свѣдавъ о долговременномъ ихъ лишеніи спасительныхъ таинствъ, повелѣли имъ надлежащимъ образомъ приготовляться къ сподобленію оныхъ и для того первоначально въ семь градѣ разставить невиданную доселѣ церковь Грекороссійскаго вѣроисповѣданія, въ которой благоговѣнно причащались оные отроки священнѣйшія евхаристіи въ присутствіи Вашихъ Императорскихъ Высочествъ и самолично были поздравляемы отъ васъ съ полученіемъ толь драгоценнѣйшаго дара. Въ семь случаѣ Ваше Высочество, сверхъ примѣра государей земныхъ, поступили съ сынами Россійскими; даже исторія великаго вашего прадѣда Петра Перваго Императора о путешествіи его въ чужіе краи такого обстоятельства не представляетъ. Коль скоро дошелъ слухъ о семъ проис-

шестьи до родителейъ ученическихъ (въ коемъ числѣ и мое недостоинство), тотчасъ привелъ ихъ въ нѣкоторый родъ восторга столь пріятнѣйшаго, что они не въ состояніи были изъяснить на словахъ своей чрезвычайной радости, а только вмѣсто неслестныхъ оной толкователей употреблены были ими слезы, но слезы легче всѣхъ утѣхъ чувственныхъ сладостнѣйшія. Ибо они уповаютъ дѣтей своихъ по возвращеніи въ отечество увидѣть не только ученѣйшихъ, но и въ благочестіи отеческомъ непоколебимыхъ, слѣдовательно годныхъ къ услугамъ Государю и государству Россійскому, что предвозвѣщаетъ для будущихъ родовъ истинное благоденствіе.

Въ такомъ разумѣ забыть я долженъ издержки, на содержаніе сыновнее въ чужихъ краяхъ употребляемая, сколько они для меня, имѣющаго другихъ дѣтей, ни отяготельны становятся, и доказать свѣту чудесность текущаго вѣка, что въ премудрое царствованія великія Екатерины и священники, вмѣсто того, чтобъ откупать по прежнему дѣтей своихъ отъ здѣшнихъ семинарій, начали тщиться о лучшемъ ихъ воспитаніи и для того посылать въ иностранныя училища, дабы просвѣщеніемъ и добронравіемъ, яко и собственнымъ ихъ благородствомъ духа, вознаградить недостатокъ тѣлеснаго, отъ крови предковъ зависящаго. Всенекорнѣйшій слуга и богомолецъ Петръ протоіерей Архангельскій.

Таково письмо отправлено мною къ Его Императорскому Высочеству чрезъ генерала Н. И. Салтыкова 1783 года.

Павелъ Петровичъ съ Великою Княгинею былъ въ Штутгартѣ въ Сентябрѣ 1782 г. на обратномъ пути въ Россію. Письмо Алексѣева отчасти пополняетъ тѣ свѣдѣнія, которыя имѣемъ о заграничномъ путешествіи графа и графини Сѣверныхъ: о пребываніи ихъ въ Венеціи (Русск. Арх. 1873 стр. 1968—1976) и въ Австрійскихъ Нидерландахъ (Русск. Арх. 1876 г. № 5, стр. 45). Молодые люди, слушавшіе курсъ въ Штутгартскомъ университетѣ, были вѣроятно ученики духовныхъ семинарій, о посылкѣ которыхъ за границу состоялось высочайшее повелѣніе еще въ 1765 году (Ист. Россіи Соловьева, т. XXVI, 318). Какъ видно, повелѣніе это не было единовременнымъ распоряженіемъ, но выполнялось и послѣ 1765 г.

Въ концѣ того же 1783 г. Алексѣевъ ходатайствовалъ у кн. Потемкина объ увольненіи сына своего, гвардіи сержанта Ѳедора Алексѣева, къ гражданскимъ дѣламъ *съ награжденіемъ капитанскаго чина*; „ибо (писалъ отецъ) воинской службѣ ему продолжать неудобно за домашними моими обстоятельствами, да и пріобрѣтенныя имъ въ чужихъ краяхъ четырехлѣтними трудами науки учинили его способнѣе къ штатскому званію“. По исповѣдной росписи 1799 г. сынъ Алексѣева, Ѳедоръ, 36 лѣтъ, въ должности ассесора Гражданской Палаты, показанъ при немъ, при отцѣ. (Сборн. Имп. Ак. Наукъ, т. XI, стр. 291).



## 4.

## Письмо къ Государынѣ.

Всемиловѣйшая Государыня!

Я имѣю долгъ принести Вашему Императорскому Величеству всеподданническое благодареніе за оказанную милость мнѣ, послѣдному изъ священнослужителей, пожалованіемъ сего спасительнаго знаменія Креста Господня. Сердце мое теперь объято такою чрезвычайною радостію, которой истолковать языкъ мой уже не въ состояніи. Итакъ, Всеавгустѣйшая Монархиня, благоволи принять душевную жертву, яко достойную Помазаницы Божіей, паче витѣйственнаго краснорѣчія. Сія жертва приносится не отъ меня единого, но отъ всего бѣлаго священства; ибо оно, слыша изливаемая въ благословенное ваше царствованіе на нѣкоторыхъ изъ своей собратии милости высокомонаршія, воспрянетъ отъ сна унынія и порабоженія, восприметъ духъ ободренія и похвальнаго соревнованія; каждый изъ ученыхъ пресвитеровъ будетъ тщиться проходить свое званіе добропорядочнѣе, просвѣщать умы молодыхъ людей истиннымъ благочестіемъ, образовать сердца ихъ къ христіанскому благонравію, а чрезъ то доставлять обществу полезныхъ членовъ, какъ и Тебѣ, Матери Отечества, вѣрноподданныхъ чадъ, дабы удостоиться Вашего Императорскаго благоволенія.

Сія рѣчь приготовлена, но не читана за скорымъ отъѣздомъ Ея Императорскаго Величества изъ села Всесвятскаго, Юля 4 числа 1787 года.

Припомнимъ, что въ этомъ году Императрица прислала Платону для возложенія на Алексѣева золотой наперсный крестъ на черной лентѣ.

## 5.

Къ Александру Васильевичу Храповицкому. 3 Сентября 1789 г.

Имѣется у Московскаго митрополита Французская книга, содержащая въ себѣ пріятельскую о разныхъ матеріяхъ переписку господина Волтера съ нѣкоторою особою, которая подписывалася его фавориткою. Преосвященный всякому рассказываетъ, что подъ именемъ фаворитки разумѣется Ея Императорское Величество, и многіе, изъ той книги вырывая пункты, толкуютъ сообразно своимъ намѣреніямъ; а какъ большая часть людей господина Волтера почитаютъ здѣсь не только еретикомъ, но и безбожникомъ, то чтобы не пало нареканія и на ту персону, которая съ нимъ дружески переписывалася, и не вышло бы изъ того каковыхъ-либо непріязненныхъ толковъ, а паче не заставилъ бы митрополитъ перевести оную книгу на нашъ языкъ (отъ чего Боже сохрани), такъ какъ письмо іеромонаха Моисея Латинское о взятѣ Очакова и прочихъ тамошнихъ обстоятельствахъ увидѣла Москва его жъ стараніемъ не къ стати переведенное.

Хотя знающіе Французскій языкъ стараются какъ возможно промыслить такую книгу изъ любопытства, по внушеніямъ архіерейскимъ, но они не столько опасны, какъ Русскіе безразсудные читатели. Мнѣ 27 числа сего мѣсяца \*) пересказывалъ одинъ архимандритъ слышанное изъ устъ его преосвященства между прочимъ о древнемъ въ Россіи обыкновеніи цѣловать свящеиническую руку, что яко-бы господинъ Волтеръ совѣтовалъ своей фавориткѣ, дабы она по законодательной власти запретила то руки цѣлованіе съ присовокупленіемъ къ тому шуточныхъ изъясненій, на что будто и отвѣтъ ея воспослѣдовалъ; а можетъ - быть имѣются въ тѣхъ перепискахъ и важныя матеріи.

Таковыя разглашенія по моему слабому проницанію ничего добраго не предвозвѣщаютъ; для того я и не преминулъ о семъ извѣстить вашему превосходительству, не смѣя писать прямо на имя Ея Императорскаго Величества, яко обремененной многими въ настоящей войнѣ дѣлами и по другимъ резонамъ. Вы, государь мой, знаете время, когда доложить всемилостивѣйшей Монархинѣ; а если сіе письмо явится неудостоено вниманія, покорнѣйше прошу, безъ огласки, меня предостеречь въ томъ на будущее время, дабы я положилъ храненіе устомъ моимъ и рукъ съ перомъ, но по преданности вѣрно-подданической во всю жизнь мою дѣятельной. Впрочемъ съ истиннымъ почитаніемъ пребуду и пр.

Извѣтъ Алексѣва на митрополита Платона былъ „доложенъ“ Императрицѣ и „явился удостоеннымъ вниманія“, ибо 17 Сентября, ровно черезъ двѣ недѣли, какъ письмо было написано, Екатерина писала по этому поводу къ Храповицкому: „Вы можете отвѣтствовать святителю, что менѣе всего ожидать надлежало благотворительной рукъ отъ святительской особы, осыпанной, отличенной и возведенной щедростію и щедротами, безразсудный толкъ извѣстной переписки, которой одно злобой наполненное сердце лишь можетъ дать кривое толкованіе; понеже сама собою та переписка весьма невинна и въ такое время, когда тотъ осмидесятилѣтній старикъ старался своими, по всей Европѣ жадно читаемыми, сочиненіями прославить Россію, унижить враговъ ея и удержать дѣятельную вражду своихъ соотчичей, кои тогда старались распространить повсюду извѣстную злобу противу дѣлъ нашего Отечества, въ чемъ и предуспѣлъ. Въ такомъ виду и намѣреніи письма, писанныя къ безбожнику, кажется, не нанесли вреда ни Церкви, ни Отечеству“. (Письма Екатерины II къ А. В. Храповицкому. Русск. Арх. 1872 г., стр. 2090). Черезъ недѣлю послѣ письма къ Храповицкому, именно 25 Сентября, Екатерина писала Московскому главнокомандующему Еропкину: „По доходящимъ сюда слухамъ, что на Москвѣ хотятъ переводить новое изданіе Бомарше всѣхъ сочиненій Волтера, въ 69 томахъ состоящее, прикажите Управѣ Благочинія и оберъ-полицейстеру наблюдать, чтобы таковое изданіе отнюдь не было печатаемо ни въ одной типографіи безъ цензуры и апробаціи преосвященнаго митрополита Московскаго“ (Русск. Арх. 1872 г., 329). Очевидно, что поводомъ къ этому письму было опасеніе Алексѣва: „а паче не заставлялъ бы митрополитъ перевести оную книгу на нашъ языкъ—отъ чего сохрани Боже“.

Упоминаемый въ письмѣ Алексѣва іеромонахъ Моисей былъ Моисей Гумилевскій, впоследствии епископъ Θεодосійскій и Маріупольскій, викарій Екатеринославской епархіи.

\*) Августа?

Онъ обучался въ Московской Духовной Академіи, гдѣ по окончаніи философскаго курса былъ учителемъ Еврейскаго и Греческаго языковъ и Поэзій, потомъ, по постриженіи въ монашество, Реторикъ, проповѣдникъ и игуменъ Знаменскаго монастыря; въ 1785 г. назначенъ преподавателемъ Философіи и преемникомъ Академіи. Въ началѣ 1788 г., слѣд. въ тотъ самый годъ, какъ былъ взятъ Очаковъ (6 Декабря 1788 г.), кн. Потемкинъ потребовалъ его въ Молдавскую армію и назначилъ оберъ-іеромонахомъ арміи (Слов. митр. Евгенія Ч. II, стр. 439—440). Два письма его изъ-подъ Очакова, обратившія на себя вниманіе Алексѣева, неизвѣстны еще въ печати; впрочемъ, можно догадываться, что Моисей сообщалъ о жестокостяхъ, грабежѣ и насиліи, которымъ предавалось наше войско по взятіи Очакова (См. Дѣянія кн. Г. А. Потемкина-Таврическаго, соч. гр. Самойлова, Русск. Арх. 1867 г., 1255).

## 6.

## Къ Александру Васильевичу Храповицкому

За благосклонное вашего превосходительства письмо, отъ 18 текущаго мѣсяца отправленное, нижайше благодарствую, и что по оному на меня возложено исправить потщуся пристойнымъ образомъ чрезъ фаворитовъ святительской особы, а моихъ пріятелей; ибо изъясненія ваши суть неоспоримы для всякаго, кромѣ предубѣжденнаго злобой сердца. Копію со втораго Моисеева по взятіи Очакова письма при семъ представляю вашему превосходительству на благоразсужденіе: согласно ли оно съ публичными вѣдомостями; а съ перваго письма еще не досталъ. Сентября 27 дня 1789 года.

Рѣчь идетъ, кажется, о томъ, чтобы какъ-нибудь, или, какъ говорится подъ рукою, дать знать Платону о вышеприведенномъ замѣчаніи Екатерины. Если же эта догадка невѣрна, то надо предположить, что протоіерей Алексѣевъ, кромѣ прямой своей обязанности священнослужителя и законоучителя юношества, отправлялъ еще службу по особымъ порученіямъ, посылавшимся ему изъ Петербурга.

## 7.

## Примѣчаніе о Синодальной Канторѣ.

Московская Святѣйшаго Синода Кантора имѣетъ немалое вліяніе въ дѣла церковныя по главнымъ здѣшнимъ соборамъ, по ставропигіальнымъ монастырямъ и по консисторіямъ другихъ епархій; но правосудіе ея зависитъ теперь отъ одного члена синодальнаго, то-есть, митрополита Московскаго: ибо другой членъ оныя есть родной братъ митрополиту. Господинъ прокуроръ, сказываютъ, долженъ ему; секретарь изъ семинарскихъ учителей доведетъ до штатскаго чину по милости его же преосвященства, протоколистъ родной его племянникъ. И такъ, за недопущеніемъ третьяго безпристрастнаго члена, почти диктаторская власть находится у одного здѣшняго священноначальника; чего напредъ сего не бывало по такой Канторѣ, которая, хотя подъ указомъ Синода состоитъ, имѣетъ сношеніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ Московскими

Правительствующаго Сената департаментами. Между тѣмъ подчиненныя оной Конторѣ мѣста подъ игомъ архіерейскаго своеправія стонуть. Толь знатное судебное мѣсто достойно монаршаго воззрѣнія, если не уничтоженія.

Сентября 27 числа 1789 года.

Отправлено къ А. В. Храповицкому.

## 8.

1790 года Юля 31 дня приходскій священникъ Н. С. сказывалъ мнѣ, что когда онъ слушалъ въ Московской Академіи Богословію, въ то время открылося Дружеское Общество и что набраны съ дозволенія и согласія полнаго академическаго директора преосвященнаго Московскаго 10 человекъ студентовъ здѣшнихъ и до 50 человекъ изъ другихъ епархій семинаристовъ, которые слушали лекцію сперва въ университетѣ у профессора Шварца, яко главнаго мартинистовъ учителя и ихъ пастыря, а потомъ купленъ былъ особый домъ господина Несвицкаго, что въ приходѣ Еввла на Мясницкой, и тамъ Шварцъ преподавалъ странное свое ученіе вышепоказаннымъ семинаристамъ до самаго того времени, какъ съ ума сошелъ и умеръ, которому славное было погребеніе въ подмосковномъ селѣ князя Трубецкаго. Между тѣмъ семинаристы, вмѣсто платья и кушанья, требовали отъ Дружескаго Общества деньгами, и имъ выдано на каждаго по сту рублевъ годоваго жалованья.

Изъ сихъ Шварцовыхъ учениковъ нѣкоторые здѣсь въ Москвѣ произошли въ чинъ священства, какъ-то у Іоанна Воина и у Николая на Берсенева за Москвою-рѣкою, и въ другихъ епархіяхъ уповательно то же; и такъ ученіе мартинистовъ распространится по всей Россіи.

## 9.

Мартинисты любятъ придавать своимъ книгамъ пышныя названія, какъ Бруссонъ Клавдій издалъ сочиненіе подъ титуломъ: „Христіанскія разсужденія о возстановленіи таинственнаго *Іерусалима*“.

## 10.

Когда въ Москвѣ былъ главнокомандующимъ графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышовъ, въ то время торжественно открылося Общество Дружеское въ домъ господина Татищева, что у Красныхъ воротъ, куда въ вечеру, по зажженіи иллюминаціи, собралоса на улицу множество народа и, видя прозрачныя картины странными гіероглифами изображенныя, дѣлали на то свои тол-

кованія и по большей части въ худую сторону заключенія,—вопросалъ одинъ друго— „что это дѣлается?“ а сей отвѣчалъ: „фармазоновъ хотятъ перекрещивать“. Дерзость ихъ дошла бы до того, чтобъ каменя полетѣли въ окончины того дома, если бы воинская команда не разогнала мятущейся черни, что свѣдавъ преосвященный Московскій, не поѣхалъ въ то собраніе, хотя и далъ слово присутствовать (NB справиться съ описаніемъ онаго торжества, въ типографіи у Новикова напечатаннымъ \*). Потомъ набраны изъ здѣшней и изъ разныхъ епархій семинаристы до 50 человекъ, кои, съ дозволенія и согласія полнаго директора, то есть, архіерея Московскаго, обучалися въ..... \*\*) академіи на коштѣ господина Новикова и его компаніи, между тѣмъ ходили на особливую лекцію къ профессору Шварцу, яко мартинистскому учителю. Продолжалось сіе семинаристовъ содержаніе въ академіи до того времени, какъ отказано господину Новикову отъ университетской типографіи; а подозрительныя книги, по Ея Императ. Величеству указу, забраны въ Синодальную Контору, изъ лавки Новикова и изъ другихъ лавокъ отъ него же для продажи розданныя. Нынѣ изъ вышеписанныхъ семинаристовъ, слушавшихъ поученія Шварцовы, нѣкоторые имѣются священниками при церквахъ приходскихъ въ Москвѣ; ихъ проповѣди слушать собираются люди, подозрѣваемые въ мартиниствѣ. И такъ сіе ученіе часъ отъ часу распространяется не только здѣсь, но и въ другихъ епархіяхъ. Они, кромѣ публичныхъ проповѣдей, имѣютъ много случаевъ внушать свое ученіе прихожанамъ (во время исповѣди и домашнихъ разглагольствій), а есть, сказываютъ, въ семь обществъ нѣсколько людей и знатныхъ.

Господинъ Новиковъ, будучи содержателемъ университетской типографіи, издалъ многія книги, къ мистерской т. е. къ таинственной Богословіи принадлежащія, кои въ реестрѣ продажныхъ книгъ значилися; но сверхъ того реэстра тутъ, можетъ быть, такія книги, у которыхъ заглавныхъ листовъ нѣтъ, почему и нельзя знать, гдѣ они печатаны, кѣмъ сочинены и кѣмъ ценсорованы; а въ нихъ заключалось ученіе съ догматическою православною Богословіею не во всемъ согласное, а индѣ естественное чловѣка состояніе въ полности такъ далеко распространено, что невмѣстимо, кажется, въ монархическомъ правленіи. Нынѣ хотя господинъ Новиковъ не содержитъ уже прямо подъ своимъ именемъ типографіи, но подъ чужими именами уповательно продолжается печатаніе сокровенныхъ книгъ въ частныхъ типографіяхъ, чего пресѣчь инаково не можно, какъ 1) имѣть списокъ всеѣмъ частнымъ типографіямъ въ Москвѣ и губерніи Московской находящимся съ показаніемъ содержателя каждой и мѣста, гдѣ печатаются книги; 2) учредить честнаго и искуснаго чловѣка ревизоромъ, дабы онъ безъ всякихъ предварительныхъ огласокъ част-

\*) Вездѣ, гдѣ поставлены скобки, у Алексѣева зачеркнуто.

\*\*) Слово не разобрано.

ныя всѣ въ Москвѣ типографіи осматривалъ по разнымъ временамъ, чтобъ невзначай могъ застать печатаемые листы въ станахъ и, потребовавъ оригинала каждой въ тисненіи находящейся книги, освидѣтельствовалъ—ценсорованъ ли оный и къмъ; 3) ежели явится оригиналъ безъ цензуры или книга изъ числа запрещенныхъ, то, приглася частнаго пристава или квартальнаго надзирателя, запечатать оную типографію при хозяинѣ или его повѣренномъ и вскорѣ подозрительные листы съ неапробованнымъ оригиналомъ представить главнокомандующему; 4) тоже чинить и съ лавками, въ коихъ продаются здѣсь книги. Ревизоръ, печаянно пришедъ къ лавкѣ (якобы для покупки книгъ), прикажетъ купцу выставить всѣ книги па прилавокъ, откуда по одной книгѣ пересмотря, ценсорованныя и незапрещенныя отдаетъ купцу обратно для поставленія по прежнему на полки, а ежели найдутся безъ цензуры и запрещенныя книги, то, покладя въ коробъ, представить къ главному начальнику; а дабы лавочники не отговаривались невѣдѣніемъ, то дать имъ знать съ подписками, заблаговременно, какихъ книгъ именно не держать къ лавкахъ; 5) къ цензурѣ гражданскихъ книгъ опредѣлить благоразумныхъ людей, не такъ какъ прежде, снабдивъ ихъ надлежащею инструкціею, дабы они порочныхъ оригиналовъ не пропускали къ печатацію, а хорошіе бы у себя долговременно не удерживали, о сумнительныхъ докладывали бы господину оберъ-полицеймейстеру или кому приказано будетъ; 6) слышно, что купцы тѣ книги, когда опасаются здѣсь держать въ лавкахъ, развозятъ по ярманкамъ и тамъ продаютъ дорогою цѣною любопытнымъ читателямъ и тѣмъ распространяютъ недозволенное ученіе, о чемъ не благоволено ли будетъ отсюда сообщить въ губернскаго правленія тѣхъ намѣстничествъ, секретно, гдѣ ярманки бывають, дабы ревизовали книги по вышереченному безъ всякой попорочки торгующимъ ими; 7) такое полезное правительства учрежденіе не противно именному Ея Императорскаго Величества указу о заведеніи вольныхъ частными людьми типографій: ибо въ немъ предписано, чтобъ къ печати назначенныя книги приносить въ Управу Благочинія для освидѣтельствованія оригиналовъ. И такъ, безъ цензуры печатающій книги, самъ содержатель типографіи нарушаетъ предписаніе высочайшаго повелѣнія.

Сіе историческое извѣстіе переписано и отдано 13 Августа Лагониному для доставленія М. П. Колычеву.

## 11.

19 Августа 1790 года зять П. А. \*), при своемъ зятѣ А. В., сказывалъ у меня въ домѣ, что у господина Новикова въ домѣ, что на Чистомъ прудѣ, въ приходѣ Гавріила Архангела, въ переулкѣ, печатаются книги по-

\*) Петръ Андреевичъ—фамилія неизвѣстна.

таенно и какъ мастеровые сами не знаютъ, какія печатаютъ книги, а только похваляются щедростью Новикова, то и общалъ чрезъ одного тамошняго тередорщика доставить мнѣ нѣсколько листовъ и ежели изъ нихъ примѣчено будетъ что-нибудь на мартинистскія сочиненія похожее, то и дать знать о семъ М. П. Колычеву, а того тередорщика снабдить милостію государскою, дабы онъ постарался открыть нѣсколько о производствѣ мартинистскаго книгопечатанія, ибо заглавнаго листа.....

Послѣдніе пять номеровъ изъ бумагъ Алексѣева показываютъ, что онъ уже съ 1790 года началъ, какъ говорится, подъ рукою дѣлать дознанія о мартинистахъ, выслѣживать ихъ и вести о нихъ переговоры съ Московскимъ прокуроромъ М. П. Колычевымъ. М. Лонгиновъ въ статьѣ своей „Новиковъ и Шварцъ“ (Русск. Вѣстн. 1857 г. Окт., кн. I) сказавъ о прекращеніи въ 1791 г. дѣйствій Типографической Компаніи, говоритъ: „Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Чѣмъ успѣлъ въ это время Новиковъ навлечь на себя новыя преслѣдованія, до сихъ поръ еще не объяснено. Но извѣстно, что въ Апрѣлѣ 1792 г. онъ былъ арестованъ воинскою силою въ подмосковной своей деревнѣ Авдотинѣ“ (стр. 572). Теперь, кажется, можно сказать утвердительно, что арестъ Новикова былъ подготовленъ усердіемъ протоіерея Алексѣева.

## 12.

Надобно избрать изъ бѣлаго духовенства искусныхъ людей и посылать ихъ по два человѣка въ епархіи для надзиранія и развѣданія, тамъ все ли происходитъ порядочно и по силѣ Духовнаго Регламента, нѣтъ ли какихъ злоупотребленій по консисторіямъ etc., снабдивъ такихъ надзирателей надлежащими инструкціями отъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, такъ какъ въ войскѣ бываетъ инспекторъ.

## 13.

## Письмо къ Платону.

Высокопреосвященнѣйшій владыко,

Милостивѣйшій отецъ архипастырь!

Я всегда дѣяніями располагаюсь къ сохраненію и ко умноженію чести вашего высокопреосвященства и никогда не мыслилъ начинать что-либо противу оной, какъ по долгу моего подчиненія, такъ наипаче имѣя особенное мое почтеніе къ высокимъ вашего высокопреосвященства душевнымъ дарованіямъ и отличнымъ достоинствамъ. Уповаю за таковое мое къ вашему высокопреосвященству истинное и нелицемѣрное расположеніе носить на себѣ ваше архипастырское благоволеніе, яко мзду, достойную того дѣланія моего. Но видя изъ нѣкоторыхъ обстоятельствъ вашего высокопреосвященства ко мнѣ неблаговоленіе, чувствую прискорбіе въ душѣ моей, особливо при преклоняю-

щихся уже лѣтахъ моихъ къ старости и недоумѣваю, что не оскорбилъ ли я каковымъ-либо, хотя неумышленнымъ образомъ, святительскую вашу особу; и ежели таковымъ вижу, то всепокорнѣйше ваше высокопреосвященство прошу меня отечески простить и удостоить вашего милостиваго благоволенія, яко да и я и со всѣми буду прославлять великодушіе... вашего высокопреосвященства и потщусь отличную любовь мою къ особѣ вашей показать отъ дѣлъ моихъ: ибо по ученію умершаго за враговъ своихъ на крестѣ Господа, тотъ больше возлюбитъ тя, ему же вѣще оставиши. Таковаго вашего архипастырскаго прощенія прося, съ достоюльнымъ почитаніемъ и отличнымъ усердіемъ навсегда вашего высокопреосвященства милостиваго архипастыря нижайшій послушникъ

П. П. А.

Таково подано преосвященному Сентября 19 числа 1790 года.

#### 14.

1790 года Сентября 19 числа былъ я у преосвященнаго митрополита на подворьѣ Троицкомъ и, по присовѣтованію секретаря консисторскаго Ивана П. Виноградова, смирилъ себя передъ нимъ и просилъ прощенія, въ чемъ согрѣшилъ. Потомъ подалъ ему сочиненное имъ же Виноградовымъ письмо слѣдующее, по титулѣ: „Я всегда дѣяніями располагаюсь къ сохраненію и умноженію чести вашего высокопреосвященства“ и проч. (см. копію). Митрополитъ, прочеть, сказалъ: „Хорошо, только устоишь ли въ словѣ?“ Говорено было и о катехизаторствѣ университетскомъ. Онъ утверждалъ, что сдѣлаеть онъ іеромонаха катехизаторомъ, дабы онъ въ воскресные и праздничные дни служилъ обѣдни, проповѣди сказывалъ и катехизисъ толковалъ въ самой церкви. А мнѣ-де до классовъ университетскихъ и дѣла нѣтъ, на сколько бы они ни раздѣлялися. А какъ въ университетскую церковь по праздничнымъ днямъ имѣють ходить въ церковь точію университетскіе казенные студенты и ученики и они только и будутъ слушать катехизисъ, а своекоштные ученики, таже и изъ казенныхъ, которые студенты живутъ внѣ университетскаго дому, не собираются въ тѣ дни въ университетъ: и такъ въ классахъ катехизисъ должно преподавать по прежнему.

#### 15.

##### Вопросъ:

Надобно ли мнѣ просить архіерея, чтобъ позволилъ быть при освященіи церкви университетской? *Надобно*, потому что сей мой докладъ будетъ угоденъ *его преосвященству*. И, можетъ, онъ этого и дожидается отъ меня. Въ



случаѣ же отказа архіерейскаго, я не буду имѣть зазрѣнія совѣсти, что не сдѣлалъ учтивства ему.

Притомъ, на вопрошеніе университетскихъ начальниковъ, для чего я не былъ при томъ, готовую буду имѣть отговорку, что я докладывалъ о томъ архіерею заблаговременно, но онъ бытъ мнѣ не позволилъ при освященіи церкви. *Не надобно* докладывать о семъ митрополиту, для того, чтобъ не привести его на гнѣвъ. Ну какъ скажетъ мнѣ вопреки: а зачѣмъ тебѣ бытъ при освященіи той церкви, къ которой ты по чину не принадлежишь? То чтобъ и мнѣ не разгорячиться. Я же и безъ доклада могу присутствовать, яко зритель при ономъ дѣйстви и яко членъ университета. Архіерей не можетъ меня изъ алтаря выслать, также и изъ директорской комнаты. Притомъ, чтобъ и не подать ему случая къ насмѣянію надо мною: онъ-де желалъ бытъ при освященіи церкви, но я-де ему отказалъ вовсе при томъ бытъ. А затѣмъ мнѣ уже и въ рясахъ стоять будетъ обзорно, да и опасно, дабы не выгналъ онъ меня изъ алтаря срамно.

Освященіе новоустроенной университетской церкви происходило 5 Апрѣля 1791 года; освящалъ митрополитъ Платонъ, при чемъ онъ сказалъ слово: *О важности и силѣ освященія храма.* Для отправленія богослуженія въ университетской церкви былъ опредѣленъ іеромонахъ Викторъ, родной братъ уже тогда свившаго себѣ гнѣздо въ Московскомъ учебномъ вѣдомствѣ А. А. Прокоповича-Антонскаго. П. Б.

## 16.

## Но Льву Александровичу Нарышкину.

При усерднѣйшемъ моемъ поздравленіи съ текущимъ Воскресенія Христова праздникомъ, смѣю покорнѣйше просить о нижеслѣдующемъ. Одна дѣвушка, вышедшая недавно изъ монастыря, сирота, ни отца ни матери не имѣющая, но мнѣ по братѣ родномъ племянница, Софья Ивановна, на время преклонившая главу у господина унтерштаймейстера Федора Петровича Ремезова, лишается способа къ доставленію ей въ Москву ко мнѣ въ домъ, для того прибѣгаетъ къ вашему высокопревосходительству, дабы, по сродному вамъ челоуѣколюбію и сиротамъ призрачнѣю, сотворили съ нею отеческую милость, приказавъ отправить ее при случившейся оказіи изъ Петербурга сюда съ женоутомъ вашей команды мужемъ, которому бы я съ благодарностію заплатилъ все то, чтѣ въ пути на нее будетъ издержано. Черезъ сіе вы принесете немало-важную жертву Отцу сиротъ Богу, во мнѣ же умножите то неограниченное къ особѣ вашей высокопочитаніе, съ коимъ навсегда пребуду.... Апрѣля 14 дня 1791 года.

Л. А. Нарышкинъ (1733—1799) оберъ-штаймейстеръ двора Императрицы.

## 17.

**Къ синодальному оберъ-прокурору А. И. Мусину-Пушкину.**

Услышалъ я изъ дому Николая Никитича Демидова о достохвальномъ вашемъ къ рѣдкимъ рукописямъ любопытствѣ, а паче во уваженіе вашей особы, здравомыслящей о таковыхъ предметахъ, представляю вашему превосходительству чрезъ той же домъ двѣ книги, рукою одного умнаго и достовѣрнаго челоуѣка писанныя, какъ видно съ тѣмъ, дабы оныя дошли до свѣдѣнія Св. Правительствующаго Синода, для пользы церкви нашей православной. Онѣ руководствуютъ священнослужителей изъ Россіи въ Пекинъ посылаемыхъ къ житію тамъ исправному и спокойному. Чрезъ сіе облегчилъ я свою совѣсть, что доставилъ ихъ любезнопочитаемому отъ всѣхъ господину оберъ-прокурору, котораго я нѣкогда видѣлъ въ домѣ N N и порадовался, что изъ свѣтскихъ людей есть еще особы, занимающіяся не суесловіемъ, но полезными для слышавшихъ бесѣдами. Что касается до моихъ рукописей, онѣ, признаюся, количествомъ и качествомъ суть многочисленны и готовлены для покойнаго сына моего духовнаго свѣтлѣйшаго князя Григорья Александровича Потемкина-Таврическаго съ обнадеженіемъ достойнаго за труды награжденія и защиты у престола Величества. А какъ Богу угодно стало взять его къ себѣ, то я не нахожу теперь подобнаго ему охотника до анекдотовъ такова рода и принужденъ буду, въ случаѣ моего преставленія, уничтожить ихъ всеконечно.

(Если жъ угодно вашему превосходительству вѣдать, какія у меня рукописи хранятся, то съ позволенія вашего могу сообщить вамъ краткій реэстръ онымъ, будучи увѣренъ о честности души вашей и свойственной вамъ скромности, могущей соблюсти письмо сіе отъ призора очей мнѣ недоброхотныхъ).

Моихъ же рукописей количество, чрезъ 40 лѣтъ собираемыхъ, накопилось до многочисленности и естли вашему превосходительству благоугодно явится сіе мое приношеніе, то съ позволенія вашего осмѣлюся сообщить вамъ краткій реэстръ онымъ, будучи увѣренъ о честности души вашей, могущей соблюсти ихъ отъ призора очей мнѣ недоброхотныхъ.

Таково послано 15 Апрѣля.

А. И. Мусинъ-Пушкинъ (1744—1817) впоследствии извѣстный графъ, любитель и собиратель Русскихъ историческихъ рукописей.

## 18.

**Къ нему же.**

Извините меня, вашего почитателя, въ ненолученіи отправленныхъ вашему превосходительству двухъ Малороссійскаго письма книгъ о Россіянахъ, посылаемыхъ въ Пекинъ; ихъ бы надобно было переслать къ вамъ изъ дому Н. Н. Демидова въ Пятокъ, т.-е. 16 числа на тяжелой почтѣ; но въ тотъ же день,

незнаемо для чего, опоздали ихъ отправить на почту изъ конторы г. Демидова, а завтрашняго числа уповаю, что оныя непременно отправятся, и дабы не оказаться мнѣ на первой случай лживцемъ предъ вами, для того симъ предварительно увѣдомляю.

Отъ 19 Апрѣля  
1792.

## 19.

## Къ нему же.

Позвольте мнѣ дождаться отъ вашего превосходительства того извѣстія, какъ дойдутъ до васъ тѣ двѣ рукописныя... книги, которыя отъ меня отправлены чрезъ контору госп. Демидова, когда и какъ отъ васъ будутъ приняты. Онѣ, мнѣ кажется, прямо относятся къ благоразсмотрѣнію Св. Правительствующаго Синода, котораго вы достопочтенный оберъ-прокуроръ, но особливому предержащей власти избранію, опредѣленный въ сіе званіе изъ истинныхъ патріотовъ нашего Отечества. О отысканіи требуемыхъ вами лѣтописей *Іоакимовой* и *Симоновой* стараться не премину. Надобно ихъ сперва пошарить въ Синодальной и Типографской библіотекахъ, не по каталогу книжному, по особливымъ образомъ; ибо тутъ кроется нѣкоторой секретъ, не всѣмъ людямъ извѣстный, а послѣ у частныхъ рукъ пущать пощупать можно дозволенными средствами. Притомъ, да вѣдомо вамъ будетъ, что наша Россійская, особливо Еллиногреческая библіотека по древности и рѣдкости рукописныхъ книгъ въ Европѣ знаменитая, блюстителя имѣеть несоразмѣрнаго своей важности. Подъ симъ много доразумѣвается!

## 20.

## Къ нему же, 10 Мая 1792 г.

Въ удовольствіе достохвальнаго вашего желанія прискалъ я лѣтописецъ старинной на 118 тетрадахъ въ листъ, писанной древнимъ почеркомъ и въ переплетѣ исправномъ; но не могу имя ему нареци, чьего онъ творенія, ибо начальнаго и самыхъ послѣднихъ листовъ не имѣется. За него просили сперва дорого, а напоследокъ согласились отдать за 50 рублей. Я заплатилъ деньги съ тѣмъ, что если вамъ угоденъ будетъ, переслать къ вашему превосходительству, въ противномъ случаѣ у меня навсегда ему остаться. Притомъ услышавъ я отъ одного архимандрита, что вы ищете уложеніе, подъ именемъ Стоглава состоящее, удивился, потому что вы имѣете при канцеляріи Св. Синода катологи книгъ Синодальной и Типографской библіотекъ, а не требуете надобную вамъ книгу изъ мѣстъ, отъ дирекціи вашей зависящихъ. Естли госп. Новиковъ вышарилъ въ оныхъ библіотекахъ всѣ любопытные

манускрипты за бездѣльную плату и составилъ изъ нихъ Древнюю Россійскую Библіотеку для своей прибыли \*), коими наче вы имѣете неоспоримое право требовать отсюда, что вамъ угодно, для общественной пользы. Когда Синода бывший оберъ-секретарь Леванидовъ дозволенными средствами накопилъ столько рукописныхъ книгъ, что, по кончинѣ его, на три тысячи рублей продано, какъ несравнительно больше способовъ господину оберъ-прокурору пользоваться симъ сокровищемъ? Жалко, что оно находится въ рукахъ у блюстителей, несоотвѣтствующихъ важности книгъ, тамъ хранящихся. Нѣкогда, по моей рекомендаціи, свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ Потемкинъ поручилъ одному изъ университетскихъ профессоровъ Матею разсмотрѣть Еллиногреческія книги, въ библіотекѣ Синодальной имѣющіяся. Онъ, разсмотрѣвъ нѣсколько изъ нихъ, сдѣлалъ печатной каталогъ съ своими примѣчаніями, признаваяся предъ людьми знающими сію литературу, что онъ бывалъ во многихъ Европейскихъ книгохранилищахъ, но нигдѣ не видалъ толь древнихъ и рѣдкихъ книгъ, какія въ нашей библіотекѣ. Двѣнадцать древнихъ Россійскихъ лѣтописей брано въ университетъ и оттуда возвращено въ Синодальную библіотеку, изъ коихъ самыя лучшія, сказываютъ, пропали! И если не употреблено будетъ впредъ надлежащей осторожности, то всѣ нарочитыя книги уничтожатся, или заглавные листы ихъ точію останутся съ надписями въ сходственность каталога.... Если въ соблюденіи такой завидной библіотеки не употреблено будетъ впредъ надлежащей осторожности, то всѣ нарочитыя книги выбудутъ въ чужія руки, или по крайней мѣрѣ заглавные листы ихъ точію останутся съ надписями въ сходственность каталога, а матерія въ нихъ совсѣмъ другія. Въ старину бы это сочли за чудо, но нынѣ намъ стыдно на Патерикахъ утверждаться. Я слышалъ, что 12 древнихъ Россійскихъ лѣтописей по указу не въ давнихъ годахъ браны были въ университетъ и оттуда возвращены въ Синодальную библіотеку, однако изъ нихъ самая лучшая, сказываютъ, между рукъ исчезла. Впрочемъ, благодаря за благосклонное ваше ко мнѣ отъ 27 Апрѣля писаніе и милостивое обѣщаніе, пребуду съ достожднымъ почитаніемъ etc.

Послано сіе письмо съ Алексашкою и дано ему 15 коп.

## 21.

### Къ нему же.

За присланную отъ вашего превосходительства драгоценную по содержанію и переплету книгу, подъ названіемъ *Русской Правды* состоящую, при

---

\*) Было написано „для своего корыстолюбія“, но потомъ зачеркнуто и замѣнено словами „для своей прибыли“.

благопріятнѣйшемъ для меня вашемъ письмѣ, приношу вамъ, милостивый государь, низайшую благодарность. Іоакимовой и Симона Рязанскаго лѣтописи я не могъ достать, а сообщенный мнѣ изъ Рязани отъ частнаго человѣка списокъ архіереямъ Рязанскимъ, не имѣеть и иманъ сихъ, кромѣ нынѣшняго Симона преосвященнаго. Здѣшняя старушка Москва, не знаемо съ чего, назначаетъ меня членомъ Синодальной Конторы; ежели на сіе что-нибудь походить въ С.-Петербургѣ и потребна обо мнѣ личная рекомендація, въ такомъ случаѣ приемию смѣлость представить вашему превосходительству, вмѣсто послужнаго списка, особую краткую записку, которая естли не теперь такъ на будущее время годится. Члены же Св. Синода мнѣ знакомы, особливо отецъ духовникъ мнѣ милостивецъ (не надобно ли будетъ употребить къ каждому изъ нихъ въ разсужденіе ихъ какого либо отзыва?) Но на все сіе буду ожидать вашего наставленія.

Маія 31 числа 1792 г. съ Алексашкою на почту.

## 22.

## Къ нему же.

Благосклонное вашего превосходительства писаніе и при немъ драгоценный гостинецъ, то-есть печатную великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха Духовную, сего Сентября 19 дня, чрезъ госп. прокурора Синодальной Конторы Луку Ивановича Сечкарева \*) исправно получилъ, за что приношу мою покорнѣйшую благодарность вашему превосходительству.

Въ удовольствіе вашего достохвальнаго любопытства представляю при семъ того же Мономаха, но въ вѣнцѣ уже царскомъ, портретъ и копію съ подписи на дверцахъ царскаго мѣста, въ соборномъ Успенскомъ храмѣ имѣющагося, съ нѣкоторыми своими примѣчаніями. Счастливымъ я себя почту, ежели сія бумага явится благоугодна вашему превосходительству, а тѣмъ самымъ поощренъ буду къ ревностнѣйшему отысканію подобныхъ сей древностей Россійскихъ. Признаюся, что, списывая сію съ дверцевъ надпись, не тщился я о точности тамошнихъ рѣченій, какъ-то: Володимеръ, Русія, свѣтъ вмѣсто совѣтъ и прочая, а переложилъ ихъ по нынѣшнему выговору. Но какъ дверцы оныя хотя и отняты отъ императорскаго мѣста, однако не за печатью заповѣдною состоятъ, то и можно нынѣ съ нихъ точъ въ точъ списать, естли понадобится.

Мнѣ совѣстно, что за письменные листки получаю отъ васъ печатныя книги; для того на будущей почтѣ переищу къ вамъ книжку, хотя непечатную, однако рѣдкую.

\*) См. о немъ Русск. Арх. 1871 г. стр. 72 въ примѣчаніи.

## 23.

Къ нему же.

Хотя я не упражнялся точно въ сочиненіи Россійской исторіи, однако немалое число припасовъ имѣю къ составленію церковной, начиная отъ времени вел. кн. Владимира, просвѣтившаго Россію св. крещеніемъ по сіе число. Изъ тѣхъ припасовъ копію съ грамоты царя Дмитрія Ивановича (т. е. Лжедмитрія или Гришки Отрепьева), писанной по латынѣ и чрезъ іезуита отравленной къ папѣ Римскому Павлу V въ 1605 году, а мною пѣкогда переведенной на Россійскій языкъ по просьбѣ покойнаго князя М. М. Щербатова, на первый случай представляю вашему превосходительству съ почтеніемъ, на обоихъ языкахъ для того, чтобъ показать искуснымъ людямъ—не опустили ли чего переводчикъ изъ подлинника той грамоты и въ сходственность ли мысли авторовой преложилъ ее на свое нарѣчіе. Принесшій Латинскую ту грамоту тогда ко мнѣ майоръ Павловъ сказывалъ, что когда Государь Цесаревичъ и Великій Князь Павелъ Петровичъ были въ Римѣ и попросилъ у папы Пія VI списковъ съ тѣхъ изъ Ватиканской бібліотеки писемъ, которыя напередъ сего изъ Россіи въ Римъ пересланы, папа изъ учтивости подарилъ Его Высочеству подлинныя, въ томъ числѣ и сію грамоту. По прибытіи же изъ чужихъ краевъ Государь Цесаревичъ поднесъ оныя писанія Августѣйшей своей Матери, а Ея Императорское Величество изволила прислать означенную грамоту къ кн. Щербатову, яко сочинителю Россійской исторіи, который по латынѣ самъ не зналъ, а другіе здѣшніе духовные яко бы не въ состояніи перевести той грамоты, штилемъ езуитскимъ писанной. О вѣроятности сказуемаго можетъ засвидѣтельствовать онъ, повѣствователь, госп. Павловъ. О прочихъ анекдотахъ, у меня хранимыхъ, по полученіи отъ вашего превосходительства на сіе отвѣта, не премину увѣдомить, исключая нѣсколько до Императора Петра Великаго касательныхъ, которые госп. Голиковъ недавно у меня выпросилъ и уповательно вмѣстилъ въ своемъ сочиненіи.

Сентября 1 дня  
1793 г.

## 24.

Сентября 19 дня получилъ я чрезъ прокурора Луку Ивановича Сечкарева отъ Синодальнаго оберъ-прокурора А. И. Муслина-Пушкина благодарительное письмо за пересылку грамоты Лжедмитрія къ папѣ Римскому. Онъ проситъ меня о доставленіи ему старинныхъ писаній, причемъ прислалъ мнѣ въ гостинецъ печатную Духовную Вел. Кн. Владимира Мономаха. 22 Сентября послалъ я къ его превосходительству при письмѣ своемъ сочиненіе о вѣнцѣ царскомъ Мономаховѣ и подпись съ дверцевъ царскаго мѣста, что въ боль-

шомъ Успенскомъ Соборѣ и общалъ ему переслать книгу рукописную *Краткое Московское Описаніе*.

## 25.

Къ А. И. Мусину-Пушкину.

Какъ обѣщанное равно есть должному, то не преминулъ я представить при семъ вашему превосходительству рукописную въ дещь книгу, состоящую подъ названіемъ таковымъ: „Краткое и новѣйшее изъ лучшихъ писателей Московское, то есть Россійское, время, земель и гражданскихъ чиновъ описаніе; притомъ же многія при нынѣшнихъ временахъ приключившіяся обстоятельства и къ вѣдомости потребныя и къ читанію пріятныя назначенія купно приобщены суть. Въ Нуринбергѣ обрѣтается у Ягана Гоэмана, художественными вещами и книгами куплю дѣющаго, 1687 года“.

Сія книга показалася старинною не по своему изданію, но по нѣкоторымъ веществамъ о древностяхъ Россійскихъ гласящимъ, для того вашему превосходительству она и сообщается съ тѣмъ условіемъ: ежели явится на что-либо потребна, оставить ее у себя навсегда, въ противномъ же случаѣ обратно переслать.

## 26.

Господину высокопочтенному императорскаго Московскаго университета куратору, Ивану Ивановичу Шувалову.

Онаго-жъ университета отъ кахетизатора, Петра Алексѣева покорнѣйшій докладъ.

Нахожусь я именованный въ показанной должности при обоихъ гимназіяхъ онаго университета съ 1759 года, доселѣ, трудясь по силѣ своей въ преподаваніи здѣшнему юношеству катехизическаго ученія православной Россійской церкви съ полученіемъ жалованья по 200 рублей. А какъ нынѣ означеннаго 200 рублеваго жалованья къ содержанію моему, въ разсужденіи умножившейся во всѣхъ необходимо-нужныхъ вещахъ дороговизны и другихъ моихъ домашнихъ обстоятельствъ недостаточно, того ради покорнѣйше прошу ваше высокопревосходительство, яко главнаго господина куратора, отъ котораго единственно зависитъ мое по университету состояніе 34 года, дабы благоволено было прибавить мнѣ къ прежнему жалованью сколько заблаго-разсудится. Число учениковъ, мною утвержденныхъ въ истинѣ благочестія, простирается до нѣсколько тысячъ, изъ которыхъ, кромѣ многихъ, въ знатныя государственныя чины происшедшихъ, удостоился я видѣть и генералъ-фельдмаршала свѣтлѣйшаго князя Григорія Александровича Потемкина-Таврическаго.

## 27.

## Къ оберъ-прокурору синодскому.

Увидя на письмѣ достохвальное вашего превосходительства желаніе объ открытіи Россійскихъ древностей, кои имѣются въ большихъ Четьихъ-Миней, тщаніемъ и издивеніемъ преосвященнаго митрополита Всероссийскаго Макарія сочиненныхъ и въ бібліотекѣ большаго Успенскаго Собора хранящихся, изъ какихъ имянно источниковъ вычерпалъ сей священный мужъ вещества къ составленію толь великолѣннаго зданія потребныя, возрадовался духъ мой о благосостояніи нашей православныя церкви, что достопочитаемая ея сокровища, 240 лѣтъ подъ спудомъ бывшія, въ благословенное царствованіе Беливія Екатерины, чрезъ ваше посредство, къ пользѣ общественной открываются. Дай Боже, чтобъ успѣшно и исправно соотвѣтствовало было со стороны исполнителей повелѣнія. Но я, будучи издавна охотникъ писаніямъ сего рода, не утерпѣлъ, чтобъ не открыться вамъ въ разсужденіи Четьихъ-Миней Макарьевскихъ. Они у меня на рукахъ были 9 лѣтъ, въ бытность мою ключаремъ во ономъ Соборѣ съ 1762 года Іюня съ 28 числа, пріятнѣйшаго ко вседневному воспоминанію дня \*). Смѣю сказать не хвастовски, что изъ нынѣшняго Россійскаго духовенства никто кромѣ меня съ сими книгами не имѣлъ толь близкаго знакомства, во увѣреніе чего прилагаю при семъ, вмѣсто содержанія оныхъ, копію съ предисловія на мѣсяць Ноябрь, каковая напередъ сего доставлена была ученику и сыну моему духовному князю Григорію Александровичу Потемкину-Таврическому, а ежели угодно будетъ вамъ и напишется особыи указъ, то не премину по надлежащему удовлетворить и прочимъ вашимъ требованіямъ, до Четьихъ-Миней Макарьевскихъ касающимся.

Таково письмо отправлено на почту и копія съ предисловія Макарьевскихъ Четьихъ Миней 9 числа Генваря 1794 года.

## 28.

Наша православная Греко-россійская церковь жалости достойна; ибо 1) она не имѣетъ порядочной церковной исторіи, которую каждое изъ христіанскихъ исповѣданій имѣетъ. У насъ называютъ церковною исторіею Бароніеву, но она есть толико сокращеніе Бароніевой церковной исторіи, езуитомъ Спаргою сдѣланное; да и самъ Бароніи былъ невольникъ папы Римскаго: то можно ли ожидать отъ него справедливой и неподозрительной церковной исторіи? Правда, что у насъ еще Четьи-Миней и Прологи имѣются, но латынѣ имену-

\*) День восшествія на престолъ Екатерины Великой.



емые *legenda*, но въ нихъ находятъ здравомыслящіе люди столько нелѣпостей, сколько дней въ году считается.

Отъ 2 Марта 1794 года.

## 29.

**Къ оберъ-прокурору А. И. Мусину-Пушкину. Отъ 2 Марта 1794 г.**

Услышавъ я, что нѣкоторые пастыри церковные, единъ отъ другаго перенимая, оставляютъ словесныя овцы и бѣгутъ въ обители праздности подъ видомъ обѣщанія, чтобъ самихъ себя пасти, содрогнувся душею, разсуждая, коль вредно есть для церкви святой такое устройство, коликое Св. Синоду чинится отъ сихъ мнимыхъ обѣщальниковъ затрудненіе, а иче всего коликое Ея Императорскому Величеству частыми объ нихъ докладами безпокойство и огорченіе: не успѣютъ одного посвятить въ архіереи, а другой, недавно посвященный, отказывается отъ епархіи и не радить о овцахъ. При семъ размышленіи вспомнилъ я анекдотъ предшественника вашего, изустно мнѣ нѣкогда переданный, котораго, можетъ быть, не случилось вамъ ни отъ кого слышать; для того оный препоручаю вашей скромности на бумагѣ, зная, что душа ваша неспособна предать немощаго въ руки сильныхъ лицъ.

## 30.

17 Марта 1794 года сказывалъ Павелъ епископъ Нижегородскій и Алатырскій, что Ея Императорское Величество изволить сама сочинять исторію Россійской церкви. По той причинѣ желаетъ знать, изъ какихъ источниковъ черпалъ Макарій митрополитъ Россійскій припасы, составляющіе большія его Четьи-Миней.

## 31.

**Къ синодальному оберъ-прокурору:**

Просяя меня С.-Петербуржскій купецъ Иванъ Петровъ сынъ Глазуновъ, чтобъ я ему уступилъ книгу моего сочиненія подъ названіемъ „Словарь ересей и расколовъ“, за двѣсти рублей и 10 экземпляровъ, ежели испросить онъ позволеніе отъ Св. Правительствующаго Синода о напечатаніи той книги. Я ему ту рукописную книгу повѣрилъ со взятіемъ съ него Глазунова росписки своеручной; но опасаяся, дабы онъ не списалъ съ нея копію, а подлинную хотя мнѣ и возвратить, но она останется втунѣ, ибо я съ него денегъ за трудъ мой не получилъ. Того ради ваше превосходительство покорно прошу, дабы, получа ту книгу отъ купца Глазунова и исходатайствовавъ о напечатаніи ея

отъ Св. Правительствующаго Синода позволеніе, приказали напечатать въ своей типографіи, употребя выручку за нее денегъ въ вашу пользу; а я доволенъ тѣмъ буду, что не всеу трудился и имѣлъ счастье почтить ваше превосходительство знакомъ посильной моей благодарности за ваши ко мнѣ снисхожденія. Притомъ на замѣчаніе ваше представляю, что преосвященный Новгородской несогласенъ былъ 779 года о обнаруженіи сея книги; но его преосвящество не видалъ предисловія къ ней послѣ приложеннаго и подведенія подъ общій съ еретиками алфавитъ нашихъ раскольниковъ.

## 32.

1795 года Ноября 21 дня протопопъ Успенской служилъ обѣдню при Серапіонѣ преосвященномъ, а на молебень благодарный, съ общимъ собраніемъ отправляемый, о выздоровленіи Ея Императорскаго Величества отъ осы, не изволилъ выйти изъ алтаря. А послѣ молебна при отсутствіи литургіи наки явился у престола съ прочими сослужащими.

Благодарственный молебень о благополучномъ исходѣ привитія осы въ 1768 г Императрицѣ и Наслѣднику совершался ежегодно. Успенскій протопопъ Александръ Левшинъ, родной братъ Платона, къ молебну почему-то не вышелъ. Обстоятельство это не пріятно подѣйствовало на вѣрнопопданническія чувства Алексѣева, и онъ счелъ долгомъ на всякій случай записать это у себя для памяти.

## ХРАМЪ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ ВЪ МОСКВѢ.

(Изъ бумагъ графа А. Н. Самойлова).

Беликолѣпный храмъ, такъ называемый „Большаго Вознесенія, за Никитскими воротами“ въ Москвѣ, въ нынѣшнемъ видѣ своемъ есть памятникъ благочестія князя Г. А. Потемкина-Таврическаго. Онъ воздвигнутъ, по его мысли и желанію, наслѣдниками его, уже въ царствованіе Александра Павловича. Сначала князь Потемкинъ думалъ перестроить находившуюся на этомъ мѣстѣ старинную церковь (воздвигнутую въ концѣ ХУІІ вѣка царицею Натальею Кириловной) и для того ѣздилъ подробно осматривать съ митрополитомъ Платономъ и „архитекторомъ полковникомъ Баженовымъ“, какъ церковь, такъ и вообще мѣстоположеніе, „съ произвожденіемъ при той церкви звона, чего ради великое стеченіе было народа; но, по разрытіи фундамента, оказалась неспособна къ прочности.“

Бумаги, касающіяся построенія этой церкви, сохранились у графа А. А. Бобринскаго (который, по матери своей, графинѣ Софьѣ Александровнѣ, дочери графа Самойлова, приходится правнукомъ сестры князя Потемкина, Марьи Александровны Самойловой). Съ позволенія графа Бобринскаго приводимъ изъ этихъ бумагъ нижеслѣдующее извлеченіе.

Князю Потемкину дороги были и этотъ храмъ, и вся эта мѣстность: тутъ протекли первые годы его жизни. Оказывается, что здѣсь погребены сестры свѣтлѣйшаго князя: подъ престоломъ Марья Александровна Самойлова, а подъ жертвенникомъ Пелагея Александровна Высоцкая и дѣвица Надежда Александровна; въ самой же церкви и близъ оной — другіе предки и родственники Потемкина. Въ этомъ приходѣ нѣктода жила его мать, вдова подполковника Дарья Васильевна, которая, разбогатѣвъ, въ той же мѣстности за Никитскими воротами, въ земляномъ городѣ, рядомъ съ церковью Большаго Вознесенія, купила себѣ у д. т. совѣтника камергера князя Сергѣя Васильевича Гагарина большой дворъ съ хорами. Сохранившаяся купчая состоялась 7 Октя-

бря 1774 года, т.-е. когда Потемкинъ былъ президентомъ Военной Коллегіи и, кажется, уже въ неоглашенномъ бракѣ съ Государыней.

Въ началѣ 1792 года, мѣсяца черезъ три по кончинѣ князя Потемкина, дѣятельный священникъ Вознесенской церкви отправился въ Петербургъ и повезъ съ собою слѣдующее письмо митрополита Платона къ графу А. Н. Самойлову.

\*

**Письмо митрополита Платона къ графу А. Н. Самойлову:**

Письмоподателя сего, священника Вознесенскаго Антипа рекомендую въ благосклонность и милость вашего превосходительства, да содѣйствуете его желанію, котораго совершеніемъ исполнится благое намѣреніе покойнаго свѣтлѣйшаго князя, и вамъ, думаю небезъизвѣстное.

А при томъ прошу ваше превосходительство и мою принять просьбу. Небезъизвѣстно, также думаю, вамъ, что покойнымъ княземъ, по силѣ высочайшей воли, взято изъ Чудова монастыря немало ризничныхъ драгоценныхъ вещей, на передѣланіе облачений въ архіерейскую Московскую ризницу, коимъ вещамъ имѣются описи, во взятіи коихъ есть росписки собственной руки князя; но оныя вещи, ни сами по себѣ ни передѣланныя, ко мнѣ не возвращены. Я имѣю все уваженіе къ достославной памяти покойнаго князя и благодѣтеля моего; но принуждаемый порядками тѣхъ вещей отыскивать, дабы самаго себя какому отвѣту не подвергнуть, прошу ваше превосходительство одолжить меня тѣмъ, чтобъ или меня извѣститъ, гдѣ мнѣ и какъ вещи отыскать можно, или дать совѣтъ, какъ къ сему отысканію приступить. Я слышу отъ нѣкоторыхъ, что оныя вещи цѣлы; но правда ли то, и гдѣ онѣ и у кого, узнать не могу. Мнѣ родитель вашъ былъ другомъ. Да такимъ же смѣю почестъ и благословеннаго сына его, къ коему пребуду всегда съ моимъ почтеніемъ и пр. 1792 года Февраля 26 д. Москва».

\*

Замыслы Потемкина бывали широки и затѣйливы. Онъ думалъ всю эту мѣстность обстроить зданіями, которыя бы напоминали о немъ потомству. Принадлежности храма должны были занимать большое пространство отъ улицы Бронной до Никитскаго бульвара, захватывая и бульваръ. Изъ этихъ замысловъ только часть приведена къ исполненію, благодаря настойчивости мѣстнаго священника. Князь Потемкинъ писалъ митрополиту Платону, еще 28 Марта 1781 года:

**Письмо князя Потемкина къ митрополиту Платону.**

«Преосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій мой архипастырѣ. Ревностнаго Вознесенскаго священника Антипа Матвѣева (ваше преосвященство объ немъ извѣстны) рекомендую, который такового храма, гдѣ я отъ младенчества моего позналъ Сотворшаго, доведенъ Всевышняго Промысломъ на самый сей постъ, за что должность требуетъ посвятить мое къ нему усердіе: вмѣсто нынѣшняго воздвигнуть храмъ новой, великолѣпный, служащій монументомъ имени моему. Испрашивая на предпріятіе перваго намѣренія моего вашихъ архипастырскихъ молитвъ, съ душевною преданностію и пр. Въ знакъ же увольненія священника, въ Чудовской новой домъ \*) вашему преосвященству два стола мраморныхъ съ нимъ препровождаю.

\*

Прошло много лѣтъ. По кончинѣ матери своей (1784) князь Потемкинъ бывалъ въ Москвѣ лишь на короткое время. Онъ такъ и умеръ, не успѣвъ приступить къ постройкѣ храма, хотя кирпичу и щебню заготовлено было во множествѣ.

Черезъ годъ по кончинѣ князя, священникъ Антипа Матвѣевъ обратился въ Московскому гражданскому губернатору Лопухину съ нижеслѣдующимъ заявленіемъ:

**Письмо священника Антипы Матвѣева въ П. В. Лопухину.**

Покойный его свѣтлость князь Г. А. Потемкинъ-Таврической имѣлъ первое обѣщаніе построить великолѣпный храмъ въ Москвѣ во имя Вознесенія Господня что на Царицынѣ улицѣ, за Никитскими вороты, на что и отдалъ къ распространенію бывшее подъ домомъ собственное обширное мѣсто, смежное съ погостомъ и съ приготовленнымъ на сіе матеріаломъ, состоящимъ въ кирпичѣ (архитекторомъ полковникомъ Баженовымъ сдѣлана модель въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей), препоручая на то сумму въ довѣренность мнѣ, также и мѣсто, кое и понынѣ состоитъ въ смотрѣніи моемъ. И во время строенія прикосновенныя двѣ приходскія церкви упраздня (Воскресенія въ Бронной и Федора Студита) присоединить къ новопостроенной и именовать соборомъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку, дабы въ оной, во время прибытія Ея Импера-

---

\*) Нынѣшній малый Кремлевскій дворецъ, гдѣ до 1812 года жилали Московскіе архипастыри, и надъ крыльцомъ котораго нѣкогда красовалась начальныя буквы имени Платона.

торскаго Величества, полковымъ чинить присягу, вѣнчать браки, исповѣдывать и святыхъ таинъ приобщать, гдѣ въ 1775 году и исправлялось. И за ветхостію старый полковой дворъ, которой состоитъ не въ дальнемъ разстояніи, въ опасности. Въмѣсто его близъ церкви построить съ принадлежностями, для священнослужителей жилыхъ два корпуса, а къ Никитскимъ воротамъ двухъэтажный корпусъ, въ коемъ бы были лавки, харчевни и прочія выгоды. Съ оныхъ собираемыми доходами возобновлять поправки и украшенія церковныя, на содержаніе причетниковъ, и нѣсколько бѣдныхъ людей при семъ храмѣ въ жительствѣ бы имѣлось, на что и отъ родительницы его свѣтлости въ письменномъ завѣщаніи изъ Московскаго дома \*) по продажѣ выдать часть назначено, но оной не получено.

Отъ его свѣтлости подано самимъ имъ, бывши мнѣ въ Санктпетербургѣ, изъ Запорожской самолучшей ризницы десять уборовъ, чрезъ что самое и обнадеживалъ меня довершить отличнымъ счастіемъ, о чемъ могутъ засвидѣтельствовать почтенныя особы, слышавшія отъ его свѣтлости изустно. Но за пресѣченіемъ жизни храмъ не сооруженъ; да и мой жребій ожидаетъ благодѣтеля. А свита его свѣтлости, да и собственные его люди, высочайшею Ея Императорскаго Величества милостію пожалованы и награждены.

Возмите сей трудъ, о храмѣ Господнемъ попеченіе; ибо ваше высокопревосходительство отъ высочайшей власти избранная особа ко удовольствію всѣхъ справедливыхъ дѣлъ исполнителемъ, — построить завѣщанный его свѣтлостію храмъ и въ немъ вмѣстить два предѣла, святыхъ Григорія и Дарія, его свѣтлости и родительницы его ангеловъ. И церкви хотя уже не соборной быть, а приходской, съ принадлежностями, чѣмъ и содержаться, по примѣрной смѣтѣ архитектурской потребно суммы не менѣе 180 тысячъ рублей. Благоволено бы было изъ общей оную препроводить въ Московской Воспитательный Домъ въ Сохранную Каану. И состоящее въ Москвѣ Преображенское полковое къ опасности наклоненное каменное строеніе, въ разсужденіи близости къ церкви, исходатайствовать къ покупкѣ. Оному мѣсту и каковыя есть строенія въ натурѣ планъ отъ его свѣтлости препорученъ былъ сдѣлать господину Петру Никитичу Кожину; со онаго прилагаю копію. При такомъ же храмѣ, какъ я преданъ былъ его свѣтлости 22 года и носилъ милости его, по примѣру прочихъ не льщу себя интересомъ, а за величайшее счастье въ жизни моей почитаю, если бы удостоенному быть монаршаго благоволенія. Октября дня 1792 года.

\*

\*) Мать Потемкина жила въ своемъ домѣ, близъ Пречистенки, въ Антиповскомъ переулкѣ, нынѣ А. П. Бахметевой. Домъ этотъ соединили деревяннымъ переходомъ съ домомъ князя С. М. Голицына, гдѣ Екатерина съ Потемкинымъ провела 1775-й годъ. П. Б.

Изъ сохранившагося дѣла видно, что изъ наслѣдниковъ князя Потемкина братья Высоцкіе въ 1795 г. дали священнику Антипѣ довѣренность на построение церкви и выдали ему для того капиталъ. Архитекторомъ былъ приглашенъ славный Казаковъ, строившій зданіе нынѣшняго Окружнаго Суда въ Кремлѣ и Голицынскую больницу. Сколько намъ извѣстно, церковь dokonчена уже послѣ Французовъ. Отъ прежней, построенной царицею Натальею Кириловной въ 1685 году, осталась нынѣ только прекрасная, прорѣзная колокольня.

\*

Надо надѣяться, что со временемъ, когда примутся за благоустройство Москвы, величавый храмъ Вознесенія Господня будетъ освобожденъ отъ заслоняющихъ его построекъ, окружится садомъ и явится на достойной его площади. Нынѣ извѣстенъ онъ у Москвичей, между прочимъ, драгоценными вѣнцами, которые и теперь берутся на богатые свадьбы. Въ одномъ изъ этихъ вѣнцовъ изображеніе св. Григорія, въ другомъ великомученицы Екатерины: имена Потемкина и Государыни Екатерины Алексѣевны.

15 Февраля 1793 года объ этихъ вѣнцахъ тотъ же священникъ Антипа Матвѣевъ подалъ объявленіе въ „Коммиссію раздѣла имѣній князя Потемкина-Таврическаго“. Тутъ сказано:

Его свѣтлости было желаніе въ оной церкви имѣть вѣнчальные вѣнцы сребренные, съ камнями разныхъ сортовъ, съ зеленою финифтью, лавровыхъ и миртусовыхъ листовъ, отдѣлкою нынѣшняго вкуса, на что по приказанію его свѣтлости изъ церковной суммы покупали алмазы, яхонты, серебро, бурмицкой жемчугъ. На финифти написаны восемь образовъ и его свѣтлостью, по апробованной модели, начаты дѣлать. За недостаткомъ же каменьева сѣ дѣло остановлено, на кое его свѣтлость изволилъ обѣщать дополнить камнями и отдѣлкою. Но я намѣренъ отправиться въ Москву, до востребованія обратнаго; означенныя же вещи, кои коштуютъ до двухъ тысячъ рублей, оставляю въ Санктпетербургѣ золотыхъ дѣлъ у мастера Якова Давыдова сына Дюваля. Да и при томъ у него же Дюваля находятся отъ его свѣтлости данныя на церковныя украшенія вещи, бриліантовыя, алмазныя, яхонты, изумруды и серебро, кои мною и засвидѣтельствованы. Не благоволятъ ли ихъ высокопревосходительства господна наслѣдника Александра Николаевичъ \*) и Василій Васильевичъ \*\*), какъ они имѣютъ усердное рас-

\*) Самойловъ.

\*\*\*) Энгельгардъ, женатый на Марѣ Александровнѣ Потемкиной, отецъ графини Браницкой, княгини В. В. Голицыной, княгини Т. В. Юсуповой, графини Е. В. Скавронской (Литва) Н. В. Шенцелевой. П. Б.

положеніе къ построенію вновь оной церкви, изъ оныхъ дядюшкиныхъ вещей, коихъ будетъ довольно, дядюшкины вѣнцы отдѣлкою во окончаніе привести? А его превосходительство Николай Петровичъ Высоцкой изъ сихъ вещей принадлежащую ему часть положить согласенъ, да и въ свое попеченіе сіе дѣло пріемлетъ. По отдѣлкѣ вѣнцовъ доходами отъ нихъ церковь можетъ удовлетворяться по его свѣтлости и всей фамиліи содержаніемъ для поминовенія особой ранней литургіи».

\*

Такимъ образомъ эти вѣнцы служатъ напоминаніемъ о брагѣ князя Потемкина. Племянникъ его, графъ Самойловъ, читалъ апостолъ при совершеніи этого таинства (въ Петербургѣ, въ церкви Самсонія на Выборской сторонѣ). Но объ этомъ послѣ.

\*

Здѣсь кстати замѣтить, что помѣщенный въ Русскомъ Архивѣ 1881 года *Канонъ Спасителю*, сочиненіе князя Потемкина, оказался напечатаннымъ еще въ прошломъ столѣтіи (судя по буквамъ). Рѣдчайшій экземпляръ его, безъ означенія года и мѣста печати, любезно сообщенъ намъ изъ Варшавы княземъ Н. Н. Голицынымъ. П. Б.



## В. В. ВАРГИНЪ.

---

Въ Серпуховѣ, на самомъ краю города, въ слободѣ, принадлежавшей нѣкогда Владычному монастырю, стоитъ старый каменный домъ въ два жилья съ высокой, двухъярусной тесовой крышею, давно почернѣвшей отъ времени. Домъ этотъ сразу бросается въ глаза какъ своей величиною, такъ и своимъ стародавнимъ, не-нонѣшнимъ видомъ: такихъ древностей ужъ немного остается на Руси.

Во второй половинѣ прошедшаго столѣтія въ этомъ домѣ жилъ монастырскій крестьянинъ Василій Алексѣевичъ съ женой и четырьмя сыновьями: Сергѣемъ, Василюмъ, Иваномъ и Григоріемъ. Семья ихъ была, по ихъ званію, богатая. Василій Алексѣевичъ служилъ прежде прикащикомъ у тогдашняго перваго Серпуховскаго богача Кишкина; потомъ, накопивъ кое-какія деньжонки, самъ сталъ приторговывать. Жили они по старинному. Жена Василю Алексѣевича и невѣстки, подъ ея надзоромъ, кромѣ заботъ по хозяйству, занимались постоянно рукодѣльемъ: вязали теплыя рукавицы, варежки или *варги*. Вѣроятно онѣ работали ихъ на продажу, въ большомъ количествѣ: отъ того за всѣмъ семействомъ и утвердилось прозвище Варгиныхъ. Одинъ изъ младшихъ внуковъ Василю Алексѣевича, отъ котораго я слышалъ разсказъ объ этомъ, еще помнилъ, какъ его мать и тетки сидѣли за вязаньемъ варежь. Впослѣдствіи потомки Василю Алексѣевича выкинули букву *ь* и стали писаться Варгиными.

Но не однѣми рукавицами промышляла семья Василю Алексѣевича: годъ отъ году дѣла его расширялись. Прежній хозяинъ, Кишкинъ, не оставлялъ своего бывшаго прикащика. «Бывало»—разсказывалъ впослѣдствіи третій сынъ его, Иванъ Васильевичъ, своимъ дѣтямъ—«нужно ѣхать за товаромъ въ Москву или куда нибудь, а денегъ дома мало; вотъ тятенька и пойдетъ къ Кишкину: дескать, не оставьте своей милостью, выручите; Кишкинъ и велитъ ему насыпать возъ мѣдныхъ

денегъ, въ займы; тятенька поклонится, поблагодарить и пойдетъ съ возомъ домой».

Торговля дѣла Василя Алексѣевича Варьгина были сложныя; каждый изъ сыновей состоялъ по одной какой нибудь части. Старшій, Сергѣй Васильевичъ, былъ страстный пчеловодъ; у него былъ большой пчельникъ, и жилъ онъ постоянно дома, пуская медъ и воскъ въ продажу. Третій сынъ, Иванъ Васильевичъ, ѣздилъ, какъ тогда говорилось въ Серпуховѣ, «за Москву»—т. е. въ Ярославль и Кострому, и тамъ скупалъ полдтна. Съ этими полотнами отправляли втораго брата, Василя Васильевича, на Донъ, гдѣ онъ сбывалъ свой товаръ и въ замѣнъ его покупалъ рыбу, съ которою и возвращался въ Москву. Въ то время былъ еще живъ знаменитый Воронежскій архіерей, святитель Тихонъ. Василій Васильевичъ, пользовавшійся за свой прямой и честный характеръ особеннымъ его расположеніемъ, всякій разъ, возвращаясь съ Дона, заѣзжалъ къ нему въ Задонскъ и привозилъ ему на поклонъ зернистую икру, которую владыка очень любилъ. Не разъ святитель выѣзжалъ даже къ нему на встрѣчу. На Дону Василій Васильевичъ былъ такъ извѣстенъ своею правдивостью, что казаки постоянно выбирали его третьимъ судьей въ своихъ спорахъ, и часто рѣшеніе такихъ споровъ откладывалось до его приѣзда. И въ семействѣ о немъ сохранилось воспоминаніе, какъ о человѣкѣ необыкновенно-добродушномъ и кроткомъ.—Младшій сынъ Василя Алексѣевича, Григорій, подобно старшему Сергѣю, жилъ постоянно при отцѣ; собственно о немъ ничего не извѣстно. Когда дѣла Варьгиныхъ приняли значительные размѣры, двое старшихъ братьевъ выписались въ купцы: Василій Васильевичъ записался Серпуховскимъ купцомъ, Сергѣй Васильевичъ почему-то—Тарусскимъ; но самъ старикъ и два его младшіе сына до самой смерти оставались экономическими крестьянами. Связь Варьгиныхъ съ Владычнимъ монастыремъ еще долго сохранялась по преданію. И впоследствии, перебравшись уже изъ слободы въ самый городъ Серпуховъ, они продолжали праздновать храмовой монастырскій праздникъ Введеніе. Праздникъ этотъ справлялся очень торжественно. Всѣ члены семьи собирались въ этотъ день дома: нѣкоторые приѣзжали за сотни верстъ. Тоже было на Пасху. Пировали цѣлыхъ три дня; въ первый день еще всѣ гости сидѣли на лавкахъ, въ остальные же два дня ужъ многіе лежали и подъ лавками. Въ ѣдѣ не отставали отъ питья: за обѣдомъ подавалось невѣроятное количество блюдъ, и рѣдкое блюдо пропускатось къмъ нибудь изъ гостей.

Такъ жили Варьгины до первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія. Старикъ Василій Алексѣевичъ умеръ; сыновья его продолжали вести дѣла сообща. И сами они были ужъ не молоды, и у нихъ были взрослые

дѣти. Между этими-то внуками Василя Алексѣевича и нашелся одинъ, который далъ новое направленіе Варгинскимъ дѣламъ и въ короткій срокъ расширилъ ихъ до небывалыхъ размѣровъ. Это былъ старшій сынъ второго брата, Василя Васильевича, тоже Василій Васильевичъ-второй, какъ звался онъ въ отличіе отъ отца.

Василій Васильевичъ Варгинъ 2-й родился 13-го Января 1791 года. Росъ онъ вмѣстѣ съ своими двоюродными братьями и сверстниками, Иваномъ Сергѣевичемъ и Андреемъ Ивановичемъ, и съ ними же вмѣстѣ учился грамотѣ у приходскаго дьячка. Никакихъ книгъ, кромѣ духовныхъ, въ домѣ не было, и вотъ мальчикъ, одаренный отъ природы любознательностью и живымъ воображеніемъ, принялся съ жадностью читать эти книги. Особенное вліяніе имѣли на него житія святыхъ подвижниковъ; мало-по-малу въ немъ родилось желаніе послѣдовать ихъ примѣру. Мысль эта крѣпла по мѣрѣ того, какъ онъ приходилъ въ возрастъ; наконецъ, онъ рѣшился отречься отъ міра и посвятить себя иноческимъ трудамъ. Онъ обратился за совѣтомъ къ игумену Пѣсношскаго монастыря (Дмитровскаго уѣзда), Марку; но тотъ, видя въ молодомъ человѣкѣ необыкновенныя способности и, можетъ быть, боясь, чтобы онъ, когда первое увлеченіе пройдетъ, не сталъ раскаиваться въ сдѣланномъ шагѣ, уговорилъ его оставить свое намѣреніе, сказавъ при этомъ, что служить Богу и дѣлать добро ближнимъ можно и въ мірѣ. Молодой Варгинъ послѣдовалъ совѣту игумена и, чтобы никогда не забывать его словъ, повѣсилъ въ своей комнатѣ его портретъ. Но наклонности, запавшія въ его душу въ ранней молодости, оставили въ ней слѣды на всю жизнь: Василій Васильевичъ навсегда остался неженатымъ и впослѣдствіи, на вершинѣ богатства и счастья, самъ лично велъ всегда скромный, почти подвижническій образъ жизни.

Такъ странно началось житейское поприще этого человѣка, котораго судьба назначала вовсе не къ монашескимъ занятіямъ.

Возвратившись къ мірскимъ помысламъ, Василій Васильевичъ принялся усердно помогать отцу и дядямъ. Смышленный, расторопный молодой человѣкъ скоро сталъ душою дѣла. Когда нужно было исполнить какое-нибудь трудное порученіе—посылали Василя Васильевича. Онъ сталъ часто бывать въ Москвѣ; въ одну изъ такихъ поѣздокъ ему представился случай испытать свои силы на новомъ дѣлѣ, какого до тѣхъ поръ Варгины не дѣлывали.

Около этого времени въ Москвѣ былъ образованъ комитетъ для заготовленія вещей на армію. Московскіе знакомые Василя Васильевича стали ему совѣтовать взять на себя поставку въ казну холста; у Варгиныхъ какъ разъ въ это время была на готовѣ большая партія холстовъ. Только что назначенный генералъ - кригсъ - комисаръ графъ

Татищевъ, которому семнадцатилѣтній Варгинъ былъ представленъ и очень понравился, сталъ съ своей стороны убѣждать его принять подрядъ, обнадеживая его своимъ содѣйствіемъ и монаршимъ благоволеніемъ. Василій Васильевичъ посовѣтовался съ родными и, получивъ ихъ согласіе, принялъ поставку на свое имя, но конечно на общія средства семейства, вѣрившаго ему во всемъ, не смотря на молодость. Это было въ 1808 году.

Такъ начались Варгинскіе подряды. Условія, при которыхъ эти подряды брались, были не совсѣмъ обыкновенны. Сильное разстройство нашихъ финансовъ заставляло Военное Министерство всѣми силами стараться удержать прежнія подрядныя цѣны; между тѣмъ рыночныя цѣны на всѣ произведенія промышленности быстро поднимались, и бороться съ этимъ повышеніемъ не было никакой возможности. Въ виду этого графу Татищеву было высочайшими рескриптами предоставлено право не стѣсняться прежде утвержденными цѣнами и заключать договоры съ торговцами по вольнымъ цѣнамъ, не представляя этихъ договоровъ никуда на утвержденіе. Съ Варгинымъ дѣло сдѣлалось еще проще: онъ не потребовалъ вовсе никакого формальнаго договора, пожившись прямо на слово графа.

При этомъ онъ принималъ поставку по такимъ цѣнамъ, какія, по словамъ Татищева, «были предложены комитетомъ и имъ графомъ Татищевымъ, и на какія никто изъ прочихъ поставщиковъ, лучшихъ промышленниковъ и чиновниковъ, опытнѣйшихъ въ дѣлахъ торговли, не могъ согласиться». Все это самъ Татищевъ описываетъ въ подробной запискѣ, представленной имъ уже двадцать лѣтъ спустя въ оправданіе Варгина; подлинныя слова этой записки мы будемъ часто приводить въ послѣдующемъ изложеніи.

Начавъ съ небольшого сравнительно подряда, Варгинъ быстро расширилъ свои дѣла и скоро сосредоточилъ въ своихъ рукахъ всѣ казенные подряды.

Наступилъ тысяча восемь сотъ двѣнадцатый годъ; народъ и государство должны были напрячь всѣ силы для страшной борьбы. Понадобилась усиленная заготовка вещей на нѣсколько армій, а между тѣмъ торговля и промышленность почти совершенно остановились. Тутъ-то и проявились необычайная энергія и распорядительность Василя Васильевича. «Одни только усердныя дѣйствія Варгина на пользу казны», говоритъ въ упомянутой запискѣ своей гр. Татищевъ, «и дали мнѣ возможность преодолѣть всѣ трудности въ заготовленіи вещей съ 1808 по 1815 годъ и, что всего важнѣе, заготовить ихъ по прежнимъ цѣнамъ, какія только нужда самой казны и истощеніе способовъ государственныхъ могли назначить. Варгинъ дѣйствовалъ, какъ граж-

данинъ, раздѣляющій душевно общее несчастье, хотя могъ бы тогда потребовать двойную цѣну, и принуждены были бы платить даже еще дороже, лишь бы не оставить войска безъ вещей. Но воспользоваться барышами во время государственнаго замѣшательства Варгинъ почиталъ дѣломъ недостойнымъ и несогласнымъ съ его чувствами: напротивъ, онъ выполнялъ поставки, сколько извѣстно, съ пожертвованіемъ своего капитала. Подвигъ Варгина не обвиняясь должно отнести къ существеннымъ пожертвованіямъ, наравнѣ со всѣми другими пожертвованіями вѣрныхъ, истинною любовью къ отечеству одушевленныхъ, гражданъ, приносившихъ свою жизнь и избытокъ своего достоянія въ его защиту и благо; ибо при всеобщемъ разстройствѣ и возвышеніи цѣнъ на всѣ произведенія торговли, никто другой не могъ и не хотѣлъ вызваться на поставку въ Коммиссаріатъ вещей по цѣнамъ утвержденнымъ правительствомъ. Сравненіе цѣнъ, тогда назначавшихся, съ обыкновенными биржевыми цѣнами, откроетъ очевидно, что казна въ сіи смутные годы пріобрѣла отъ трудовъ и усердія Варгина многіе милліоны, и это послужило пособіемъ при чрезвычайномъ формированіи съ 1812 по 1814 годъ резервныхъ войскъ, число которыхъ превышало 650.000 человекъ; а для нихъ и суммы отъ Министерства Финансовъ нисколько не было потребовано».

Къ этой картинѣ, набросанной современникомъ и участникомъ событій, прибавлять нечего—кромѣ развѣ того, что Варгину, въ самую трудную пору отечественной войны, едва минулъ 21 годъ.

Когда война кончилась, ему была пожалована золотая медаль, осыпанная бриліантами, съ надписью: «за усердіе».

Людямъ, незнакомымъ близко съ ходомъ дѣлъ Варгина, поставки его казались какимъ-то чудомъ: не хотѣли вѣрить, чтобы одинъ человекъ, при общемъ разстройствѣ промышленности и торговли, могъ успѣвать ставить вещи на всю армію по такимъ низкимъ цѣнамъ и при этомъ не разориться, а еще составить своему семейству огромное состояніе. Разгадка этой тайны лежитъ въ особенныхъ средствахъ, какія употреблялъ Варгинъ. Ближайшимъ изъ этихъ средствъ было заведеніе собственныхъ фабрикъ и мастерскихъ. У Варгиныхъ были свои полотняныя фабрики, свои кожевенные заводы, киверная фабрика и закройня въ Москвѣ. Приготовляя значительную часть требуемыхъ вещей въ собственныхъ заведеніяхъ, Варгинъ имѣлъ возможность оказывать постоянное вліяніе на цѣны и противодействовать ихъ повышенію. Но, разумѣется, своихъ заводовъ было далеко недостаточно. Поэтому вещи закупались вездѣ, гдѣ только было возможно. Повѣренные Варгина постоянно разъѣзжали всюду, дѣлая закупки и заказы; его конторы густо сѣтью охватывали всѣ промышленные округа Россіи. Главнѣйшія изъ нихъ находились въ Казани, Вяткѣ, Костромѣ, Вологдѣ и

Угличѣ. Довѣріе къ его имени было такъ велико, что онъ не имѣлъ нужды давать векселей: всѣ дѣла велись по однимъ запискамъ и сче-тамъ. Промышленникамъ и торговцамъ было, разумѣется, удобнѣе имѣть дѣло съ повѣреннымъ Варгина, который пріѣзжалъ къ нимъ на мѣсто и кончалъ дѣло быстро и безъ всякихъ формальностей, нежели возиться съ комисаріатскими чиновниками, тянувшими дѣло и бравшими взятки. Поэтому-то всѣ мелкіе и крупныя продавцы, имѣвшіе дѣла съ казною, постепенно стали вести ихъ чрезъ Варгина, который такимъ образомъ и сосредоточилъ въ своихъ рукахъ всѣ казенныя подряды. Широта дѣла и была главною причиною его необыкновеннаго успѣха: производя свои обороты въ такихъ огромныхъ размѣрахъ, Варгинъ могъ получать барыши тамъ, гдѣ всякій обыкновенный поставщикъ неминуемо бы разорился.

Состояніе Варгиныхъ по прежнему считалось общимъ, принадлежащимъ всему семейству, хотя оно и было увеличено, благодаря главнымъ образомъ трудамъ одного изъ членовъ семьи. Нѣсколько позднѣе описываемаго времени, именно въ 1820 году, когда Варгинымъ, по случаю смерти одного изъ стариковъ, пришлось сосчитаться, состояніе ихъ цѣнилось въ 18 милліоновъ. Главная часть его, разумѣется, обращалась въ дѣлѣ; остатки же употреблялись на покупку домовъ въ Москвѣ. Варгинымъ принадлежали дома: на Лубянкѣ, на Тверской, два на Ильинкѣ (почти вся лѣвая сторона отъ Ильинскихъ воротъ до Биржи), два на Пятницкой и т. д.; всѣхъ, кажется, было одиннадцать. Кромѣ того Василій Васильевичъ задумалъ построить въ Москвѣ что-то въ родѣ Палэ-Рояля или гостиннаго двора въ Европейскомъ вкусѣ. Для этого на огромномъ пустырьѣ между Петровкой, Китайскимъ и Неглиннымъ проѣздами онъ заложилъ фундаментъ, стоившій ему болѣе полумилліона рублей. Однако мысль объ этой постройкѣ пришлось почему-то оставить, хотя подвалы и цоколь были уже готовы; всѣ эти постройки были выведены изъ бѣлаго камня. На одной части фундамента Варгинъ выстроилъ Малый Театръ, который и отдавалъ Министерству Двора въ наймы. Другую частью воспользовался впослѣдствіи Эйхлеръ для постройки своего дома (противъ Большаго Театра по Петровкѣ); остальная же часть, если не ошибаемся, и теперъ лежитъ въ землѣ подъ мостовою театральною площадью.

Жилъ Василій Васильевичъ въ домѣ на Пятницкой (нынѣ г. Барановой). Здѣсь сосредоточивалось управленіе всѣми дѣлами; здѣсь постоянно толпились комисіонеры, прикащики и всевозможный людъ, чаявшій наживы отъ богатаго поставщика. Все это ѣло, пило и, разумѣется, тащило, что могло. Каждый день у Варгиныхъ обѣдало до сотни народу: можно себя представить, какая это была постоянная суматоха.

Но не всѣ гости этого дома были люди, прикосновенные къ Варгинскимъ дѣламъ, или дармоѣды, пользовавшіеся случаемъ вкусно поѣсть и попить: умный хозяинъ любилъ общество другаго рода. Выучившись Русской грамотѣ на мѣдныя деньги, Василій Васильевичъ постояннымъ чтеніемъ и бесѣдами съ образованными людьми старался пополнить недостатокъ первоначальнаго образованія. Насколько онъ достигъ этого, можно судить по сильному и выразительному слогу, который онъ себѣ выработалъ. Нѣкоторыя его замѣтки и выдержки изъ его писемъ мы будемъ имѣть случай приводить ниже; писалъ онъ хотя и съ ошибками, но все же довольно правильно, не очень четкимъ, но твердымъ, размашистымъ почеркомъ. Сохранилась его библіотека (въ значительной мѣрѣ впрочемъ расхищенная): тутъ было все, что только выходило въ Россіи достойнаго вниманія. И всѣ эти книги не были пустымъ украшеніемъ кабинета богача, заведеннымъ изъ тще-славія: нѣтъ, большинство ихъ онъ самъ прочиталъ. Особенно любилъ онъ книги историческія; онъ основательно зналъ Русскую исторію и любилъ о ней бесѣду.

Василій Васильевичъ былъ знакомъ и друженъ со многими выдающимися людьми своего времени, между прочимъ съ А. П. Ермоловымъ, барономъ В. Ѡ. Штейнгейлемъ, Мерзляковымъ, С. Н. Глинкой; два послѣдніе были его постоянными собесѣдниками. Говорили, что онъ былъ масономъ; но въ масонскихъ спискахъ его имени, кажется, нѣтъ. Онъ былъ очень набоженъ, но въ церковь ходилъ рѣдко, предпочитая молиться дома. Наружность Василія Васильевича была очень своеобразна. Онъ былъ средняго росту. Лицо его, съ небольшою бородкой и прекрасными голубыми глазами, дышало умомъ и рѣшимостью. Платье онъ носилъ Русское: высокіе сапоги, поддѣвку, чуйку и большую шляпу съ широкими полями; ѣздилъ лѣтомъ на дрожкахъ, зимой въ саняхъ, подъ старость въ маленькой каретѣ—но всегда въ одну лошадь. Впослѣдствіи, его за костюмъ звали въ Москвѣ «раскольникъ-пмъ попомъ», хотя онъ никогда не былъ раскольникомъ.

Согласно съ обычаями, господствовавшими въ тогдашней купеческой средѣ, Василій Васильевичъ, какъ уполномоченный распорядитель семейныхъ дѣлъ, держалъ себя совершеннымъ хозяиномъ. Его младшіе братья, родные и двоюродные, жившіе большею частью при немъ или разъѣзжавшіе по дѣламъ, были, разумѣется, вполне въ его волѣ. Отецъ и двое дядей Василія Васильевича съ остальными сыновьями (младшій братъ умеръ рано) жили въ Серпуховѣ и мало входили въ дѣла. Впрочемъ, Василій Васильевичъ, пріѣзжая въ Серпуховъ, держалъ себя вполне почтительнымъ сыномъ и племянникомъ. Жили старики по простотѣ, совершенно по старинному. Домъ ихъ былъ полною чашею, но

особенной роскоши въ немъ не было. Василию Васильевичу, который, живя самъ просто, любилъ видѣть вокругъ себя блескъ, захотѣлось наконецъ блеснуть и въ Серпуховѣ. Разъ, въ Серпуховскомъ Варгинскомъ домѣ собирались праздновать Введенье. Яствъ и питей наготовили, разумѣется, въ волю; накрыли огромные столы, за которые, вернувшись отъ обѣдни, должны были сѣсть хозяева и множество гостей. Убранство тѣхъ столовъ не блистало роскошью: и посуда-то была вся оловянная. Когда все было готово, и гости начали уже сходиться, вошелъ Василій Васильевичъ. Подойдя къ одному изъ столовъ, онъ дернулъ скатерть: ножи, тарелки, стаканы съ громомъ полетѣли на полъ. Сейчас же были принесены заранѣе приготовленные хрусталь, дорогой фарфоръ, серебро—и на столахъ, передъ изумленными взорами Серпуховскихъ жителей, появилась великолѣпная сервировка.... Разсказъ этотъ живо характеризуетъ время и общество; не забудемъ, каковъ былъ въ другихъ отношеніяхъ этотъ человѣкъ, не могшій отказать себѣ въ удовольствіи «удивить» добродушныхъ Серпуховичей своимъ Саксонскимъ фарфоромъ. Впрочемъ Варгинъ, не смотря на свой необыкновенный умъ и значительную начитанность, былъ типомъ Русскаго купца стараго закала, со всѣми его достоинствами и недостатками—кромѣ развѣ одного: онъ во всю жизнь отличался умѣренностью въ пицѣ и питьѣ.

Возвратимся къ торговымъ оборотамъ Варгиныхъ. Составивъ своему семейству въ короткій срокъ огромное состояніе при самыхъ неблагоприятныхъ внѣшнихъ условіяхъ, Василій Васильевичъ могъ, казалось бы, разсчитывать, что съ прекращеніемъ войны дѣла его пойдутъ еще лучше. Такъ бы оно вѣроятно и было, еслибъ у Варгина не было одного постояннаго и крайне опаснаго врага. Врагъ тотъ былъ—само комисаріатское вѣдомство, которое къ нему, повидимому, такъ благоволило. Беспорядки и злоупотребленія этого вѣдомства вошли въ пословицу; но едва ли на чемъ другомъ эти злоупотребленія отразились такъ ярко, какъ именно на Варгинскихъ дѣлахъ. Вѣчная неисправность въ уплатѣ денегъ, постоянное и всеобщее воровство чиновниковъ тормозили все дѣло, и только необычайная ловкость и энергія Варгина могли преодолевать всѣ эти препятствія. Но понятно, какъ эта постоянная мелкая борьба должна была ему надоѣдать. Мало-по-малу, онъ приходилъ къ убѣжденію, что придется оставить поприще, на которомъ онъ такъ много сдѣлалъ.

Наконецъ война кончилась, и Варгинъ хотѣлъ было прекратить свои дѣла съ казною. Но когда въ 1815 году, во время продолжительной отлучки графа Татищева изъ Петербурга, въ Комисаріатскомъ Департаментѣ назначены были торги, то всѣ явившіеся къ нимъ постав-



щики значительно подняли цѣны. Тогда управлявшій Военнымъ Министерствомъ князь Горчаковъ обратился снова къ Варгину, убѣждая его принять на себя поставку необходимыхъ для арміи вещей. Варгинъ согласился, и когда ему были объявлены цѣны, которыхъ требовали другіе подрядчики, онъ сбавилъ съ тѣхъ цѣнъ 2.300.000 рублей. Всѣ подряды того года, суммою болѣе чѣмъ на 20 милл. руб., были утверждены за нимъ безъ залога и безъ контракта.

Заподряженные вещи были уже въ значительной мѣрѣ заготовлены, когда состоялись перемѣны въ обмундированіи войскъ, дѣлавшія нѣкоторыя изъ этихъ вещей неподходящими подѣ новые образцы, а другія вовсе ненужными. Графъ Татищевъ, возвратившись въ Петербургъ, потребовалъ отъ Варгина, чтобъ онъ, для соблюденія казеннаго интереса, согласился отказаться отъ поставки нитяныхъ и гарусныхъ вещей, а крестьянскія сукна замѣнить сукнами лучшей доброты, безъ прибавки противъ условленныхъ цѣнъ. Варгинъ согласился и на это. По признанію графа Татищева, эта услуга казнѣ стоила ему миллионъ рублей.

Затѣмъ, во всѣ слѣдующіе годы, Варгинъ постоянно старался уклониться отъ подрядовъ, и постоянно само правительство заставляло его брать ихъ, такъ какъ всѣ другіе поставщики постоянно поднимали цѣны. Въ 1816 году онъ сбавилъ съ тѣхъ цѣнъ 2.850.000 р., въ годовой поставкѣ, и на этихъ условіяхъ исполнялъ подряды въ продолженіе четырехъ лѣтъ, такъ что за все это время доставилъ казнѣ выгоды 11.400.000 р. Это засвидѣтельствовано въ аттестатѣ, выданномъ Варгину комитетомъ, который на это время былъ учрежденъ въ Москвѣ для завѣдыванія подрядами. По тѣмъ же цѣнамъ заготовлены были вещи и на 1821 годъ.

При торгахъ на 1822 годъ подрядчики требовали набавки 3.000.000 рублей, и только участіе Варгина въ подрядахъ (всѣхъ поставокъ онъ уже не захотѣлъ взять на себя) удержало цѣны на прежнемъ уровнѣ и избавило казну отъ лишняго расхода, что и одобрено журналомъ Комитета Министровъ, высочайше утвержденнымъ 15 Февраля 1821 года. Подобнымъ же образомъ, при заключеніи подрядовъ на 1823 годъ, Варгинъ сохранилъ казнѣ 3.500.000 рублей (Журналъ Комит. Министровъ, высоч. утв. 6 Мая 1822 года).

Такимъ образомъ Варгинъ продолжалъ неумоимо работать; но уже съ 1822 года дѣла его пошатнулись. Ближайшихъ причинъ этому было много. При выступленіи войскъ въ походъ въ Италію, отъ Варгина потребовали выполненія поставокъ прежде сроковъ, назначенныхъ въ контрактахъ; это заставило его покупать вещи по высшимъ цѣнамъ, отъ чего онъ понесъ большіе убытки. Кромѣ того, въ продолже-

ніе двухъ зимъ стояла распутица, затруднявшая подвозъ вещей; Варгину приходилось платить за провозъ вдвое дороже того, что ему самому платила казна. Въ Польскихъ губерніяхъ, гдѣ заготовлялись холсты, Варгина заподозрили въ тайномъ привозѣ холстовъ изъ-за границы и, безъ всякаго слѣдствія, осеквестровали его залоговъ болѣе чѣмъ на полмилліона рублей. Въ тоже время, совершенно неожиданно для него, былъ прекращенъ ему кредитъ въ Комерческомъ Банкѣ, простиравшійся до 1.300.000 рублей; Варгинъ принужденъ былъ немедленно выбрать изъ оборота такую значительную сумму. Притомъ такое прекращеніе кредита произвело сильное впечатлѣніе въ торговомъ мірѣ: тѣ самые промышленники, которые прежде вѣрили одному слову Варгина, потеряли теперь довѣріе къ самымъ его векселямъ; владѣльцы этихъ векселей поспѣшили предъявить ихъ ко взысканію. Въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, Варгинъ обратился къ правительству съ просьбою о возстановленіи его кредита, подорваннаго ни на чемъ не основаннымъ распоряженіемъ Банка. Но никакого особаго распоряженія по его просьбѣ не было сдѣлано, и Варгину предоставили самому выпутываться изъ затрудненія.

На первый взглядъ кажется очень страннымъ, откуда взялось такое недоброжелательство разныхъ начальствъ къ человѣку, сдѣлавшему такъ много на пользу казны. Объясненія надобно искать, кажется, прежде всего въ недовольствѣ и зависти, возбужденныхъ дѣятельностью Варгина. Много было людей, которымъ дѣятельность эта мѣшала наживаться на счетъ казны; разумѣется, люди эти не дремали и пускали въ ходъ всѣ средства, чтобы подставить ему ногу и повредить его дѣламъ. На это намекаетъ и самъ Василій Васильевичъ въ запискѣ своей, поданной 5-го Октября 1822 г. товарищу министра финансовъ Рибоьеру. Указавъ на то, что уклоненіе его отъ подрядовъ этого года сразу подняло цѣны болѣе чѣмъ на три милліона (объ этомъ было разсказано выше), онъ кончаетъ словами: «Я ограничусь однимъ признаніемъ въ томъ, что мнѣ извѣстно весьма, съ какою нетерпѣливостію ожидаютъ многіе совершеннаго моего разоренія, чтобы на развалинахъ моихъ начать сооруженіе своихъ зданій, на счетъ казеннаго богатства».

Къ проискамъ враговъ присоединились семейныя дѣла. Въ 1820 году умеръ дядя Варгина Иванъ Васильевичъ, и оставшіяся послѣ него дѣти потребовали раздѣла; имъ пришлось выдѣлить два милліона, что также не могло не произвести замѣшательства въ дѣлахъ.

Но всѣ перечисленныя затрудненія и неприятели, по собственному признанію Варгина не могли бы имѣть кореннаго и долговременнаго вліянія на его дѣла, если бы Комисаріатъ въ свое время

платилъ ему деньги. Но платежъ всегда замедляли и приводили въ недостаточномъ количествѣ. Въмѣстѣ съ тѣмъ комисариатскіе чиновники доходили иногда до величайшей наглости: подъ предлогомъ неисправности Варгина, на его счетъ, вопреки контрактамъ, покупались съ большою передачею вещи, «коихъ не только въ невыставкѣ за Варгинимъ не было, но даже и обязаннымъ ихъ поставить онъ не состоялъ». Всякіе браки и недостатки, происходившіе часто отъ недобросовѣстности самихъ чиновниковъ, относились ими на счетъ Варгина. Въ значительной мѣрѣ это дѣлалось съ его вѣдома, о чемъ мы будемъ имѣть случай говорить ниже; но «смѣлость чиновниковъ», по словамъ Варгина, «до того была велика, что они предъявляли требованія свои гласно, въ видѣ форменныхъ претензій на Варгина, наполняя ихъ такими предметами, кои не могли быть допущены». Наконецъ, терпѣніе Варгина истощилось, и онъ сталъ требовать отъ комисариатскаго начальства прекращенія такихъ явныхъ злоупотребленій; но жалоба его не имѣла успѣха. Тогда Варгинъ формально объявилъ Комисариату, что онъ намѣренъ покончить дѣла свои съ нимъ, причемъ требовалъ, чтобы всѣ упущенія, произведенныя чиновниками, были отнесены прямо на ихъ отвѣтственность. Въ отвѣтъ на это было сдѣлано распоряженіе, чтобъ вся отвѣтственность, впредь до полного окончанія дѣлъ, оставалась на залогахъ Варгина, а Московская комисія препроводила къ нему расчетъ, по которому всѣ упомянутыя упущенія—суммою на 1.638.000 р. относились на его счетъ, и ему повелѣвалось принять мѣры къ уплатѣ этой суммы, которую ему, въ видѣ милости, разсрочили на 4 года безъ процентовъ. Съ этими распоряженіями такъ торопились, что даже не дали Варгину времени сдѣлать возраженіе на расчетъ комисіи. Однако онъ заявилъ, что еслибы, слѣдуя принятымъ въ цѣломъ свѣтѣ правиламъ, сосчитать проценты на всѣ тѣ суммы, которыхъ уплата ему въ разное время была просрочена казною, то вышло бы, что казна должна ему въ сущности гораздо болѣе этихъ 1.600.000. Но это заявленіе, конечно, и осталось заявленіемъ.

Между тѣмъ пришло время торговъ на 1824 годъ. На двукратный вызовъ Комисариата никто не явился—и вотъ снова обратились къ Варгину. Неутомимый поставщикъ согласился принять участіе въ подрядахъ, и еще въ неполной годовой поставкѣ сберечь казнѣ 1.100.000 р.; за это ему позволили представить залогомъ не на третью часть, а только на пятую. На слѣдующій 1825 годъ опять никто не явился на торги, и опять убѣдили Варгина взять подряды. При этомъ онъ самъ просилъ разсроченную ему на четыре года недоимку въ 1.638.000 р. принять въ одинъ годъ. Но вмѣсто того чтобы оцѣнить такую предупредительность, Комисариатъ продолжалъ обременять Варгина

отвѣтственностью за чиновниковъ, которая росла въ ужасающихъ размѣрахъ: вмѣсто упомянутыхъ 1.638 000 р.; Комисаріатъ въ 1825 году насчитывалъ на Варгина уже 4.765.000 р. Варгинъ жаловался въ Петербургъ, требовалъ суда и слѣдствія—отвѣта не было.

Завѣдываніе подрядами на 1826 годъ было раздѣлено между Комисаріатомъ и особымъ комитетомъ отъ Министерства Финансовъ. Къ торгамъ въ Комисаріатъ, по обыкновению, никто не явился, а въ комитетъ поставщики страшно набавляли цѣны. «Столь невыгодное положеніе дѣлъ», читаемъ въ запискѣ графа Татищева, «заставило обратиться къ изысканію другихъ средствъ въ поставкѣ вещей, Комисаріату потребныхъ».... «Средства сіи», лаконически замѣчаетъ графъ Татищевъ—«остановились на Варгинѣ». Онъ принялъ всѣ подряды на 1826 годъ 20-ю процентами дешевле цѣнъ объявленныхъ другими, что составило сбереженіе въ 1.800.000 р. При поставкѣ на слѣдующій 1827 годъ, Варгинъ, по словамъ графа Татищева, доставилъ казнѣ такую же или еще ббльшую выгоду. Это былъ послѣдній его подрядъ.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, заимствованнымъ нами изъ записки графа Татищева, приведемъ ея окончаніе, изъ котораго видна между прочимъ одна сторона дѣйствій Варгина, о которой мы лишь вскользь упомянули выше.

«По различнымъ случаямъ, преимущественно въ кампанію 1812 г., когда настояла безотлагательная надобность въ вещахъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ невозможна была строгая сортировка, равно отъ поврежденія во время слѣдованія въ пути и отъ того, что полковые приѣмщики не берутъ вещей не потому, что бы они были недоброкачественны, а потому, что видятъ ихъ неподходящими подъ образцы, коихъ придерживаются въ буквальномъ смыслѣ, оказались въ комисаріатскихъ магазинахъ у однихъ комисіонеровъ браки, а у другихъ вовсе недостатки. Исправить это можно было двумя способами: 1) описать причины накопившихся браковъ и, обративъ вещи въ негодный сортъ, продать ихъ за ничто съ аукціоннаго торга; 2) отдать подъ судъ комисіонеровъ, побуждаемыхъ въ дѣйствіяхъ своихъ всегда сохраненіемъ казенной пользы. Я видѣлъ, что оба сіи пути не предохраняютъ казны отъ убытковъ, и убѣдилъ Варгина, по мѣрѣ поставки его, перемѣнить часть вещей, пришедшихъ въ негодность, и пополнить недоимки. Онъ согласился и при поставкѣ, напримѣръ, на 100.000 р., ставилъ вещей на 120.000 р., а деньги получалъ по контракту только 100.000. Пополненіе сіе кончилось бы совершенно съ предстоявшею принятою имъ поставкою по сроку 1827 года, и тогда негодныхъ вещей нисколько уже въ Комисаріатъ не оставалось бы. Надобно за-

мѣтять, что перемѣна всѣхъ этихъ браковъ и пополненіе недостатковъ, въ продолженіе 20 лѣтъ, составятъ не менѣе 10 милліоновъ рублей».

Итакъ, ко всѣмъ перечисленнымъ выше сбереженіямъ, которыя доставилъ Варгинъ казнѣ, нужно еще прибавить около 10 милліоновъ, въ сущности просто подаренныхъ имъ государству. Въ исчисленіе графа Татищева конечно, не входитъ большая часть приведенныхъ выше чудовищныхъ начетовъ, которые сдѣлалъ на Варгина Комисаріатъ въ послѣдніе годы; въ этихъ начетахъ главную роль играло уже не «сохраненіе казенной пользы», а просто всеобщее и беззастѣнчивое воровство. Продолжаемъ выписывать слова графа Татищева.

«Многіе видѣли это пополненіе», говоритъ онъ «и, не зная средствъ Варгина, приписывали возможность столь трудной операціи выгоды цѣны, по которымъ производилъ онъ поставки. Разрѣшаю сомнѣніе это тѣмъ, что Варгинъ, при распространеніи дѣйствій своихъ поставкою въ Комисаріатъ вещей, тотчасъ, для прочныхъ основаній своей промышленности, обратилъ важный капиталъ на устройство полотняныхъ фабрикъ, кожевенныхъ заводовъ, закройни и потомъ киверной фабрики; сверхъ того приобрѣлъ покупкою каменные дома, служащіе обезпеченіемъ поставокъ, и тѣмъ предупреждалъ необходимость изыскивать залоговъ за непомѣрные проценты у постороннихъ людей. При такихъ-то важныхъ пособіяхъ Варгинъ имѣлъ возможность совершать для пользы казны предпріятія, о которыхъ другой не могъ бы и помыслить; ибо иначе противно здравому разсудку, чтобы поставщики позволили ему одному дѣйствовать въ продолженіе столькихъ лѣтъ и на столь видимомъ и обольстительномъ поприщѣ, если бы сами находили хотя малѣйшія выгоды въ поставкѣ вещей по тѣмъ низкимъ цѣнамъ, какія всегда принималъ онъ во времена неблагопріятныхъ и смутныхъ. Объясненіе это разсѣкаетъ Гордіевъ узелъ, показывая, что средства, какихъ другіе не имѣютъ, давали Варгину возможность дѣлать величайшія пожертвованія, и что заслуги его достойны воззрѣнія правительства, какъ рѣдкаго безкорыстіемъ поставщика, преисполненнаго рвенія къ казенной пользѣ, который въ продолженіе 20 лѣтъ поставилъ въ Комисаріатъ вещей на нѣсколько сотъ милліоновъ рублей и долженъ былъ воспользоваться барышемъ, по мудрымъ законамъ Петра Великаго, слишкомъ въ 30 милліоновъ. Послѣднія событія въ дѣлахъ Варгина показали, напротивъ, что, за удовлетвореніемъ кредиторовъ своихъ, онъ останется ни съ чѣмъ. Вотъ доказательство безкорыстія Варгина, который часто по одному слову начальства приносилъ казнѣ величайшія жертвы, на какія склонялъ я его священнымъ именемъ Государя Императора, побуждавшаго меня къ тому своими рескриптами, съ увѣреніемъ, что заслуги его никогда не будутъ забыты правительствомъ».

Записку свою графъ Татищевъ кончаетъ слѣдующими словами: «При началѣ вступленія моего въ обязанности генераль-кригсъ-комисара, войски получали обмундированіе не иначе, какъ по прошествіи сроковъ спустя годъ, а я успѣлъ составить запасовъ на 14 милліоновъ рублей, и уничтожить медленность довольствія, которое теперь оканчивается въ первую треть года, вещами, въ качествѣ и добротѣ какихъ прежде не бывало, не смотря на то, что Комисаріатъ, по заготовленію вещей для такового довольствія, впередъ суммъ не получаетъ, и не смотря даже на продолжительный и несвоевременный платежъ денегъ Варгину за поставленные имъ вещи, производившійся по большей части не вполне и не въ достаточномъ количествѣ, по несвоевременномъ и недостаточномъ асигнованіи суммъ отъ Министерства Финансовъ».

Приведенную записку графъ Татищевъ составилъ уже находясь не у дѣлъ: въ 1827 году онъ былъ уволенъ отъ должности военнаго министра, вмѣстѣ съ генераль-кригсъ-комисаромъ Путятою \*). Записка эта была имъ отправлена къ Варгину 3-го Сентября 1828 года при слѣдующемъ письмѣ:

«Вы просите свидѣтельства моего о поставкахъ для арміи вещей, произведенныхъ вами съ 1808 по 1827 годъ, и о вашемъ усердіи къ пользамъ казны. Къ удовлетворенію желанія вашего, вмѣсто изъясненія похвалъ примѣрнымъ дѣйствіямъ вашимъ, достойнымъ подражанія, я препровождаю къ вамъ записку о заслугахъ вашихъ по Комисаріату, сообразно тому, какъ я представлялъ о семъ на благоусмотрѣніе высшаго начальства. Записка сія основана на актахъ, въ Военномъ Министерствѣ имѣющихся; слѣдовательно она есть лучшее свидѣтельство, какое бы я только могъ избрѣсть, руководствуясь отличнымъ уваженіемъ моимъ къ вашему безкорыстію, какъ двадцатилѣтній свидѣтель вашихъ дѣйствій по Комисаріату».

На мѣсто графа Татищева былъ назначенъ Чернышовъ. Съ этимъ назначеніемъ исчезла для Варгина послѣдняя надежда на справедливое окончаніе его дѣлъ. Новый министръ желалъ очернить и перестроить все, чтѣ было при его предшественникѣ; естественно потому, что главная ненависть его обратилась на Варгина. Знаменитый поставщикъ сдѣлался предметомъ явной вражды и гоненія со стороны министерства, объявившаго ему открытую войну. Силы были неравныя, и въ исходѣ борьбы не могло уже быть сомнѣнія.

---

\*) Отцомъ дорогаго намъ и всему Русскому образованному обществу Николая Васильевича Путяты. П. Б.

Комисаріатскій Департаментъ вывелъ счетъ, что за Варгинимъ остается еще невыставленныхъ вещей на 8.000.000 р. (за которыя, впрочемъ, слѣдовало выдать ему деньги); третнихъ денегъ выдано ему 1.600.000, и кромѣ того онъ долженъ выставить на 900.000 р. вещей вмѣсто забракованныхъ у чиновниковъ. Слѣдовательно прямаго долга на немъ считается 2.500.000 р.

По высочайшему повелѣнію въ Москвѣ была учреждена комисія, подъ предсѣдательствомъ генералъ-лейтенанта Волкова, для завѣдыванія подрядами на 1828 г. и для особаго надзора по дѣлу съ Варгинимъ. Военное Министерство, обвиняя Варгина въ томъ, что онъ производилъ прежде поставки безъ контрактовъ и залоговъ (что, какъ мы видѣли, дѣлалось, но съ разрѣшенія высшей власти)—требовало, чтобъ онъ исполнилъ всѣ лежащія на немъ обязательства къ 1-му Ноября 1827 года. Приказаніе это было объявлено Варгину 7-го Октября; слѣдовательно онъ долженъ былъ въ 23 дня поставить вещей на 8 мм., заплатить 1.600.000 деньгами и представить еще безденежно вещей на 900.000. Въ случаѣ неисполненія приказа, Варгину грозили продажою его залоговъ для возмѣщенія прямаго долга въ 2,500,000 р. Варгинъ отвѣчалъ, что условія его съ казною вовсе не обязываютъ его выставить вещи въ такой невозможно-скорый срокъ, и что самый расчетъ, сдѣланный Комисаріатомъ, невѣренъ, а именно: вещей не выставлено не на 8, а на 6 милліоновъ, третнихъ денегъ слѣдуетъ удержать не 1.600.000, а 2.387.000, вещей перемѣнить не на 900.000, а на 1.313.000. Эти цифры показываютъ намъ, насколько можно было довѣрять Комисаріатскимъ вычисленіямъ; но мы уже видѣли, что при каждомъ новомъ расчетѣ, который дѣлалъ Комисаріатъ предполагаемымъ долгамъ Варгина, сумма этихъ долговъ выходила иная, и разница доходила до нѣсколькихъ милліоновъ.

Представляя свой отвѣтъ комисіи, Варгинъ писалъ, что «при крайнемъ стѣсненіи дѣлъ его, при дѣйствіяхъ, глубоко оскорбляющихъ его ревностное усердіе и его справедливость, ему ничего не остается болѣе сказать; но его намѣренія, поступки и дѣла столько утверждены, столь много ознаменованы подвигами чести и усердія къ отечеству, столь постоянны, что говорятъ сами за себя предъ цѣлымъ свѣтомъ и не имѣютъ нужды въ опроверженіи сплетеній, злонамѣреніемъ и невѣдѣніемъ производимыхъ, ибо онъ всѣмъ и за всѣхъ жертвовалъ. Смѣло и открыто можетъ онъ приписать себѣ ту честь, что ни одинъ изъ знатнѣйшихъ подрядчиковъ и откупщиковъ—при всѣхъ наградахъ, ими отъ правительствъ полученныхъ, при всемъ богатствѣ, которое пріобрѣли они отъ дѣлъ своихъ съ казною—не доставилъ ей выгоды и пользы»

болѣе, чѣмъ Варгинъ». Комисія позволила ему обратиться съ прошеніемъ къ Государю, что онъ и сдѣлалъ 12-го Октября. Во всеподданнѣйшемъ докладѣ своемъ онъ проситъ «не милосердія, какъ виновный, но суда и справедливости» т. е. безпристрастнаго разслѣдованія его дѣлъ съ казною, причемъ напоминаетъ, что разореніе его повлечетъ за собою разореніе множества людей, связанныхъ съ его дѣлами.

Въ отвѣтъ на эту просьбу, Варгину отложили срокъ поставки на 4 мѣсяца, т. е. до Марта 1828 года, но на страшно-тяжелыхъ условіяхъ: онъ долженъ былъ получать деньгами только за половину выставляемыхъ вещей, а остальная половина удерживалась въ зачетъ его долга; въ случаѣ неисправности, грозили опять продажей залоговъ. По окончаніи всей поставки, Варгину позволялось представить объясненія и оправданія, единственно до поставокъ 1826 и 1827 гг. относящіяся. Комисія, сличивъ эти объясненія съ подлинными дѣлами, должна была представить въ министерство свое заключеніе, «не касаясь въ ономъ до всѣхъ прочихъ оконченныхъ уже Варгинимъ поставокъ». Послѣднія слова очень любопытны: они показываютъ, какъ боялось министерство всякаго напоминанія о прежней дѣятельности Варгина.

На вторичную просьбу Варгина ему нѣсколько облегчили тяжесть условій—именно, позволили поставить къ 1 Марта лишь необходимыя для продовольствія войскъ вещи, а остальную поставку разсрочили до 1 Юля; далѣе, позволили получать не 50, а 75 к. за рубль; наконецъ, выдали ему, подъ новые залого, около 170.000 р. «Варгинъ» (это его собственныя слова), «ожилъ и съ сею малою суммою быстро двинулъ поставку. Казалось, что всякое преслѣдованіе противъ него прекратилось. Онъ видѣлъ благоразумную строгость, ограждался безпристрастіемъ въ приѣмѣ, былъ освобожденъ отъ всѣхъ притязаній; мрачныя предчувствія его разсѣвались, общественное довѣріе къ нему возстановилось. Но это были послѣднія радостныя минуты его дѣятельности». Снисхожденіе сдѣлано было только для виду; а подъ рукою продолжалось постоянное, хотя тайное, преслѣдованіе.

Впрочемъ, министерство не считало даже нужнымъ скрывать своихъ намѣреній. Въ предписаніи отъ 19-го Ноября 1827 года прямо говорилось, что «правительству необходимо, даже съ большими пожертвованіями, стараться избавить себя отъ этого монополиста». Комисія должна была стараться довести Варгина до признанія, что онъ заодно съ комисаріатскими чиновниками обиралъ казну, производя всѣ свои операціи на казенныя деньги. Поводомъ къ такому обвиненію служило постоянное условіе всѣхъ Варгинскихъ подрядовъ, чтобъ комисіонеры командировались съ деньгами для приѣма вещей на мѣстахъ заготовленія.



Генералъ Волковъ, которому его начальство приказывало добиваться отъ Варгина признанія въ несуществующихъ злоупотребленіяхъ, счелъ своимъ долгомъ представить дѣло въ истинномъ видѣ.

Въ докладѣ своемъ, поданномъ въ Ноябрь 1827 года, онъ говоритъ о постоянномъ и несомнѣнномъ безкорыстїи Варгина и отрицаетъ всякую возможность подозрѣвать его участіе въ злоупотребленіяхъ комисаріатскихъ чиновниковъ; требовать же отъ Варгина прямого доноса на тѣхъ чиновниковъ Волковъ считаетъ неприличнымъ, ибо Варгинъ «въ теченіе 20 лѣтъ имѣлъ дѣло съ Комисаріатомъ, и ни на кого доносителемъ не былъ». Далѣе въ докладѣ говорится, что «кто беретъ подряды дешевле и для казны выгодиѣе противъ другихъ, тотъ вреднымъ для нея монополистомъ быть не можетъ». «Конечно», продолжаетъ Волковъ, «разорить Варгина не долго; но прїобрѣтетъ ли выгоду казна, когда лишитъ его состоянія и доставитъ возможность пользоваться другимъ поставщикамъ, державшимся всегда высшихъ цѣнъ? Впрочемъ, цѣны на сапоги и холсты, въ рукахъ нынѣ вызвавшихся поставщиковъ, понизиться не могутъ и не дойдутъ до прошлогоднихъ цѣнъ, потому что комиссія приглашала всѣхъ ихъ, съ подписками, ставить вещи по цѣнамъ Варгинымъ объявленнымъ, но всѣ они отъ того рѣшительно отказались. Пусть тотъ, кто утверждаетъ, что цѣны должны быть ниже прошлогоднихъ, прїѣдетъ сюда и откроетъ способы къ пониженію, или же назоветъ лицъ, которыя на такое пониженіе согласны: комиссія то и другое приметъ съ охотою и признательностью... Словомъ, доселѣ мы ничего другаго въ прочихъ поставщикахъ не видали, кромѣ зависти и злобы на Варгина за то, что онъ препятствуетъ имъ пользоваться высокими цѣнами, и опытъ будущихъ торговъ на 1828 годъ покажетъ лучше всего, ту ли степень усердія имѣютъ прочіе подрядчики, каковую въ теченіе 20 лѣтъ постоянно оказывалъ Варгинъ». Волковъ кончаетъ свой докладъ увѣреніемъ, что онъ «описалъ со всею искренностію и чистосердечіемъ свои мысли и чувства, языкомъ самой истины, по чувству совѣсти и данной присяги, будучи готовъ подтвердить все это и у Престола».

Слова генерала Волкова не только не представляли преувеличенія, а еще были далеко ниже дѣйствительности. Положеніе комисіи было въ самомъ дѣлѣ крайне затруднительно. Съ одной стороны, министерство хотѣло непременно устроить новые подряды помимо Варгина; съ другой, всѣ поставщики сильно набавляли цѣны. Враги Варгина сдѣлали все возможное, чтобы на дѣлѣ доказать его ненужность и даже вредъ для казны. Поставщикамъ давались льготы, дѣлались уступки въ качествѣ товаровъ. Чиновникамъ министерства усердно помогали многіе изъ своей братїи-купцовъ. Московскій городской го-

лова Куманинъ простеръ свое усердіе до того, что приплачивалъ сверхъ подрядныхъ цѣнъ свои деньги тѣмъ, кто соглашался брать подряды... Но все было напрасно: подряды не ладились. Между тѣмъ Варгинъ быстро велъ свою поставку, и дѣла его представляли разительную противоположность съ разладомъ, господствовавшимъ въ комисіи: въ одинъ мѣсяць, съ 12 Декабря 1827 по 12 Января 1828 года, онъ поставилъ болѣе 550.000 паръ сапогъ, 6.000.000 аршинъ холста и разныхъ полотень, на сумму до трехъ милліоновъ рублей. Члены комисіи были изумлены, получивъ отъ генераль-кригсъ-комисара извѣщеніе, что «вещи получаютъ отъ Варгина не только успѣшно, но даже посѣпно», а это было нелишнее, такъ какъ войска выступали въ Турецкій походъ. Но еще болѣе изумились въ комисіи, получивъ въ министерской бумагѣ отъ 27-го Декабря строгій выговоръ за то, что «комисія ни о чемъ другомъ не увѣдомляетъ министерство, кромѣ исправности Варгина»...

Въ 1827 году, по особому высочайшему повелѣнію, были произведены двѣ ревизіи по всему комисариатскому вѣдомству: по обѣимъ оказалось, что всѣ вещи, поставленныя Варгинимъ, вполне сходны съ образцами, всѣ суммы цѣлы, и нигдѣ ни въ чемъ нѣтъ недостачи. Мало того: по счетамъ предполагалось наличныхъ вещей на 14 милліоновъ рублей, а по ревизіи ихъ оказалось слишкомъ на 25 милліоновъ.

Но такіе очевидные факты не убѣдили министерства, которое уже напередъ обрекло Варгина на погибель. На похвальные отзывы о немъ комисіи министерство отвѣчало этой послѣдней съ предписаніемъ «употребить всѣ средства къ увѣренію промышленниковъ и торговцевъ въ томъ, что вліяніе и сила Варгина уже не продолжаются». Въ томъ же духѣ писали изъ министерства и самому Варгину. Честный и прямодушный Волковъ, видя такую явную несправедливость и не будучи въ состояніи ей противоудѣйствовать, не захотѣлъ долѣе быть невольнымъ ея участникомъ: онъ потребовалъ увольненія отъ комисіи и былъ уволенъ.

На его мѣсто явился генераль-адъютантъ Стрекаловъ, послушное орудіе военнаго министра. Съ его назначеніемъ, дѣло пошло спорѣе. Онъ началъ съ того, что въ донесеніи своемъ министерству подтвердилъ всѣ тѣ нареканія на Варгина, которыя его предшественникъ съ такою твердостью опровергалъ. Затѣмъ враги Варгина избрали новый образъ дѣйствій, исполнителемъ котораго вызвался быть чиновникъ, состоявшій при Стрекаловѣ, нѣкій Погодинъ \*). Этотъ господинъ 19-го Января

---

\*) Василій Васильевичъ, не имѣвшій ничего общаго съ достопамятнымъ историкомъ того же имени. Онъ дослужился до большихъ чиновъ, дѣйствуя въ Варшавѣ. П. В.

1828 года черезъ фельдъегеря вытребовалъ Варгина къ себѣ и объявилъ ему, что онъ, Погодинъ, присланъ въ Москву для окончанія дѣла Варгина, и что выдача Варгину денегъ приостановлена впредь до окончанія предполагаемыхъ торговъ.

Изумленный Варгинъ просилъ объяснить ему причину такого неожиданнаго распоряженія. Ему отвѣчали, что правительство хочетъ поставить его въ невозможность дѣйствовать съ прежнимъ успѣхомъ; что, приостанавливая его дѣла, надѣются разубѣдить другихъ поставщиковъ въ его всемогущество и тѣмъ побудить ихъ взять подряды. Варгинъ возразилъ, что, не получая денегъ, онъ не можетъ окончить уже начатую поставку къ назначенному самимъ правительствомъ сроку. «Да въ Петербургѣ вовсе и не хотятъ, чтобы вы кончили поставку», уже безъ обиняковъ объяснилъ Погодинъ. «Что же мнѣ дѣлать съ заготовленными уже вещами?» — «Продайте ихъ намъ, подъ чужими именами». Такая неслыханная наглость вывела Варгина изъ себя, и онъ взволнованнымъ голосомъ сказалъ, что требовать отъ него такого поступка въ высшей степени несправедливо». «Справедливо или нѣтъ», отвѣчалъ Погодинъ, «но вы должны повиноваться, такъ какъ этого хочетъ правительство. Знайте, что военный министръ гр. Чернышевъ и генераль-крюгсъ-комисаръ Линденъ ваши явные враги». Послѣ такого категорическаго заявленія нечего было ждать пощады. Оставалось одно средство—обратиться снова съ прошеніемъ на высочайшее имя. Варгинъ такъ и сдѣлалъ, и въ прошеніи своемъ отъ 23-го Января подробно изложилъ весь приведенный выше разговоръ свой съ Погодинымъ, прося о правосудіи и о разрѣшеніи вновь выдать ему денегъ для продолженія поставки. Но бумага эта пошла черезъ руки Чернышова, а конечно не въ его расчетахъ было представить Государю дѣло въ истинномъ свѣтѣ; поэтому никакого отвѣта на просьбу Варгина не послѣдовало. Въ третьемъ своемъ всепод. прошеніи отъ 25 Февр. Варгинъ пишетъ, что комисія неожиданно, безъ объясненій, выдала ему задержанныя деньги, какъ прежде безъ объясненій прекратила ихъ выдачу; но что теперь уже поздно: цѣлый мѣсяць пропалъ даромъ, и невозможно кончить поставку въ недѣлю. Поэтому Варгинъ просилъ употребить послѣднее средство: всѣ еще невыставленныя вещи приобрести на счетъ его залоговъ, и этимъ спасти хотя бы честь его, если уже рѣшено лишить его и все его семейство состоянія, нажитаго столѣтними честными трудами.

Эта просьба, вѣроятно, дошла по назначенію; потому что генераль Стрекаловъ получилъ отъ начальника главнаго штаба графа Дибича, по высочайшей волѣ, предписаніе внушить Варгину, что правительство никогда не имѣло въ виду ни стѣснять, ни разорять его; но

что, напротивъ того, оно готово оказать ему всѣ законныя пособія и покровительство. Но, объявляя Варгину о таковыхъ милостивыхъ намѣреніяхъ правительства, Стрекаловъ потребовалъ отъ него точнаго объясненія тѣхъ способовъ, коими онъ думаетъ окончить свои дѣла безъ разоренія для себя и своего семейства, и безъ ущерба для своихъ кредиторовъ и казны. Варгинъ отвѣчалъ, что это его дѣло, а отъ правительства онъ требуетъ только суда и правды. «Этимъ вы ничего не выиграете», возразилъ ему Стрекаловъ. Съ этимъ они и разстались. Тогда стали, черезъ знакомыхъ, внушать Варгину, что онъ своимъ упорствомъ губитъ себя, свое семейство, кредиторовъ своихъ и Комисаріатъ; что лучшее, что ему остается—отдаться вполнѣ на волю генерала Стрекалова. Варгинъ оставался непреклоненъ. Стали убѣждать остальныхъ членовъ семейства, но они тоже стояли на томъ, чтобы требовать слѣдствія. Наконецъ успѣли напугать старика, отца Варгина, и онъ сталъ требовать отъ сына, чтобы тотъ исполнилъ волю начальства и сдѣлалъ бы все, что прикажетъ Стрекаловъ.... Предоставимъ продолжать рассказъ самому Василию Васильевичу.

«Если бы Варгинъ остался твердъ въ своемъ намѣреніи, нѣтъ сомнѣнія—судъ открылъ бы правду. Нельзя извинить его ни коварными ухищреніями Погодина, ни тѣмъ, что онъ не могъ подозрѣвать замысла столь отдаленнаго и пагубнаго; нельзя извинить слезами, просьбами родныхъ, умолявшихъ его не губить себя и цѣлаго семейства; нельзя извинить и безнадежностью положенія, въ какомъ видѣлъ себя Варгинъ. Ничѣмъ нельзя извинить его! Только ужасною расплатою за свою неосторожность и довѣрчивость искупилъ Варгинъ оказанную имъ на сей разъ слабость. Да, онъ явился слабъ, стѣсненный принужденіемъ, и невольно предался волѣ тѣхъ, которые вели его на гибель. Подъ диктовку Погодина, съ увѣреніями, что только этого одного желаетъ правительство и немедленно исполнить его просьбу, Варгинъ написалъ прошеніе, въ которомъ, сознавая невозможность докончить поставку такъ, какъ комисія отъ него требовала, просилъ разсрочить ее снова на восемь мѣсяцевъ; и какъ опредѣленное по высочайшему повелѣнію удержаніе 25 к. съ рубля стало для него невозможнымъ, то осмѣливался испрашивать объ отмѣнѣ онаго, на тотъ конецъ, дабы хотя сколько возможно имѣлъ онъ средства удовлетворить по частямъ своихъ кредиторовъ; и повелѣнную выдачу отъ 300 до 400 т. р. на производство поставки подъ новые залоговъ продолжать. За вещи на перемѣну забракованныхъ, при приѣмѣ ихъ въ магазины комисіи, выдавать Варгину деньги по существующимъ цѣнамъ, съ удержаніемъ по 25 к. съ рубля въ пополненіе; въ разсужденіи денежной недоимки, какая по окончательному разсчету съ нимъ, Варгинымъ, по Комисаріату ока-

жется, позволить заплатить въ казну въ продолженіе 10 лѣтъ) (но вопросъ: оставался ли бы Варгинъ должнымъ казнѣ, по окончательномъ съ нимъ расчетѣ, или казна ему, не разрѣшенъ ничѣмъ, ни тогда, ни послѣ того; ибо расчета, какъ ни домогался Варгинъ, съ нимъ не было сдѣлано).

Генераль Стрекаловъ немедленно изготовился къ отъѣзду въ Петербургъ и даже два дня ожидалъ, пока Погодинъ выправлялъ и потомъ переписывали прошеніе Варгина на бѣло. Марта 19 дня 1828 г. оно было подано г. Стрекалову, и Варгинъ сказалъ ему притомъ: «теперь судьба моя въ вашихъ рукахъ!» Эти предвѣщательныя слова скоро исполнились.

Дѣйствительно, теперь министерство имѣло полную возможность погубить Варгина: онъ уже не требовалъ суда, а винился, просилъ пощады. Оставалось соответственнымъ образомъ истолковать его прошеніе. Стрекаловъ повезъ его въ Петербургъ, а 8-го Апрѣля послѣдовалъ высочайшій указъ, въ которомъ говорилось, что «по изысканіямъ генерала Стрекалова и собственному сознанію Варгина является, что онъ Варгинъ не имѣетъ ни средствъ, ни кредита, дѣйствуетъ на казенныя деньги и, не смотря на всѣ извороты и дарованныя ему льготы, есть человекъ ненадежный и несостоятельный; вслѣдствіе чего всѣ дѣла съ нимъ немедленно прекратить». Непоставленныя Варгинымъ вещи, на 3.467.000 р., велѣно съ него истребовать, а долгъ въ 3.248.000 р. обратить прямо на залоги Варгина, которые повелѣвалось продать; а если затѣмъ останется недоимка, взыскать ее съ бывшихъ чиновниковъ Комисаріата. Подробнаго расчета Варгину конечно не сообщили. Все недвижимое имѣніе Варгиныхъ было описано и отдано въ опеку. Многочисленное семейство было обречено на нищету и лишенія. Но и это еще было не все.

Никакихъ просьбъ отъ самаго Варгина уже не принимали. Прошеніе, поданное сообща всѣми его кредиторами, въ которомъ они умоляли пощадить его и ихъ, не имѣло успѣха. Черезъ нѣсколько времени отецъ и дядя Варгина, находившіеся въ это время съ нимъ въ Москвѣ, подали прошеніе Государю. Изъ него мы приводимъ нѣсколько выдержекъ. Изложивъ вкратцѣ ходъ дѣлъ, старики Варгины продолжаютъ: «Все семейство Варгиныхъ, изъ 50 человекъ состоящее, служившее своею честною промышленностью добрымъ и справедливымъ царямъ своимъ, остается безъ пропитанія; двадцатилѣтніе усердные труды и имѣніе, общими усиліями благостыжанное, все предается въ безъизвѣстную жертву; всѣ выгоды, для казны сдѣданныя, министрами царей и царями засвидѣтельствованныя, забыты; святое слово, справедливость и самая неприкосновенность вѣрноподданнаго Его Величества, званіе гражданина, уважаемаго своимъ сословіемъ, все—страдаетъ»....

«По старинѣ, нами исповѣдуемой и для насъ любезной, мы стыдимся сказать Государю своему, что служили ему и Отечеству; какъ Русскіе, заслугъ своихъ не высчитываемъ, присягу помнимъ и готовы терпѣть, что по высочайшему повелѣнію намъ предназначено. Но, Государь—судять люди, милуетъ Богъ: разсуди судъ своихъ довѣренныхъ и благодѣтельствуи какъ отецъ своимъ чадамъ....»

«Окончаніе дѣлъ Варгина и продажа залоговъ зависятъ отъ изволенія Вашего Императорскаго Величества, не дожидаясь того, чтобы насъ уже выгнали изъ дома, въ Москвѣ съ семействомъ нами занимаемаго, и не опредѣлили никакого, по законамъ установленнаго, содержанія; такъ что другой годъ томясь въ бездѣйствіи и неизвѣстности судьбы своей, мы съ прискорбіемъ чувствуемъ, что насъ не судятъ, а томятъ. Бѣдность же семейства нашего простирается до того, что мы не имѣемъ ничего къ своему содержанію. Государь! Суди и наказуй; но за что же томить?...»

«Мы умоляемъ В. В. о снисхожденіи къ нашей 80-ти лѣтней старости и пр. Нѣтъ уже нужды намъ въ этомъ свѣтѣ для себя лично; но мы оставляемъ многочисленное семейство, котораго укоризны и жалобы проникнуть и сквозь доску гробовую. Мы не хотимъ, чтобы семейство наше или оскорбило дурнымъ дѣломъ наслѣдственное имя, или страдало неповинно, или чтобы высказано было недостойно повиннымъ. Мы не хотимъ быть таковыми предъ лицомъ Отечества и царей, которымъ служили въ продолженіе шести поколѣній вѣрно и честно...»

«Государь!»—такъ кончается прошеніе—«тѣмъ, которые въ продолженіе 1812—1815 годовъ умѣли, въ самыхъ крайнихъ обстоятельствахъ, дѣйствовать на пользу государства, не откажи по крайней мѣрѣ въ милости, для слабаго великой, а для сильнаго малой, чтобы имѣніе ихъ не было пожертвовано столь темно и безотчетно!»

И эта просьба осталась безъ отвѣта. Между тѣмъ Василію Васильевичу предстояло новое испытаніе: 3-го Января 1830 года онъ неожиданно былъ взятъ подъ стражу, увезенъ въ Петербургъ и вмѣстѣ съ В. И. Путьтой заключенъ въ Алексѣевскій равелинъ Петропавловской крѣпости. Старушка мать Варгина умерла съ горя черезъ 10 дней послѣ разлуки съ сыномъ; черезъ три мѣсяца за нею послѣдовалъ отецъ... \*)

Заключеніе Варгина продолжалось тринадцать мѣсяцевъ. Въ теченіе этого времени, его нѣсколько разъ вызывали въ слѣдственную комисію, которая старалась добиться отъ него признанія въ томъ, что онъ помогалъ воровству чиновниковъ и былъ даже одною пустою формою поставщика, когда производство дѣлъ распоряжалось самими

\*) Въ казематѣ было темно и сыро, и водилось множество крысъ. Въ первую же ночь Путьта долженъ былъ спастись отъ нихъ, влѣзавъ съ ногами на столъ и такъ провѣлъ нѣсколько ночей.

чиновниками». Всѣ увѣренія Варгина въ своей невинности были безуспѣшны. Выпущенный наконецъ изъ крѣпости, онъ былъ отправленъ въ Выборгъ, гдѣ навѣрно умеръ бы съ голоду подъ открытымъ небомъ, если бы сострадательные Финляндцы не давали ему средствъ для пропитанія. Въ такомъ же положеніи находилось и все остальное семейство. Выгнанные изъ своего дома на Пятницкой Варгины жили гдѣ-то въ Зубовѣ и питались однимъ картофелемъ... Только въ Мартѣ 1832 года велѣно было отпускать имъ небольшое содержаніе изъ доходовъ. Въ Іюнь 1832 года В. В. Варгину позволили жить въ Серпуховѣ.

Между тѣмъ, все недвижимое имѣніе, которое одно только и оставалось послѣ погрома ихъ дѣлъ, было назначено къ продажѣ. Но такъ какъ, подъ управленіемъ опеки, дома быстро приходили въ упадокъ, то само начальство вскорѣ увидало, что продажей домовъ казна не достигнетъ цѣли, а частные кредиторы вовсе ничего не получаютъ. Поэтому, послѣ безконечной переписки и обсужденій въ разныхъ совѣтахъ и комисіяхъ, въ 1835 году велѣно было опеку съ имѣнія Варгина снять и, оставя все имѣніе подъ запрещеніемъ, передать его въ полное распоряженіе Варгина, съ тѣмъ, чтобы онъ ежегодно платилъ въ казну 100.000 въ погашеніе казеннаго на немъ долга; изъ остальнаго же дохода, за вычетомъ необходимыхъ расходовъ и 5000 р. на содержаніе себя съ семействомъ—уплачивалъ частные долги.

Для наблюденія за дѣйствіями Варгина были назначены два депутата: отъ казны инженеръ-подполковникъ Любенковъ, а отъ частныхъ кредиторовъ выбранъ извѣстный мебельщикъ Пикъ. Когда депутаты вмѣстѣ съ Варгинымъ осмотрѣли все имѣніе, они нашли его въ совершенномъ разстройствѣ: ибо «крыши съ давняго времени не были окрашены, отъ чего во многихъ мѣстахъ желѣзо проржавѣло и сдѣлалась до того течь, что немалая часть балокъ, накатовъ и половъ погнили, рамы и колоды въ большомъ количествѣ отъ сырости развалились, двери и перегородки довольно много опустились, печи почти всѣ расстрескались, штукатурка во многихъ мѣстахъ обвалилась, а нѣкоторыя строенія совершенно разрушились». Таковы были слѣдствія шести-лѣтняго опекунскаго управленія.

Депутаты рѣшили составить формальныя описи всѣхъ домовъ. Но прежде чѣмъ описи эти были кончены, велѣно было взять въ казну Малый Театръ, стоившій Варгину болѣе милліона, со всею находившеюся въ немъ движимостью—мебелью, зеркалами, бронзой, машинами и пр., съ принадлежащею къ этому театру пустопорожнюю землю и упомянутымъ выше фундаментомъ—все за 375.000 р. Сумму эту велѣно заплатить Военному Министерству изъ государственнаго казначейства въ продолженіе 10 лѣтъ, а Варгину 10 же лѣтъ сбавлять по

20.000 изъ ежегоднаго взноса въ казну, такъ какъ театръ давалъ 20.000 рублей годоваго дохода. Такимъ образомъ самый домъ былъ взятъ у Варгина почти даромъ.

Принявъ въ свое управленіе оставшіеся дома, Василій Васильевичъ быстро сталъ приводить ихъ въ порядокъ. Безъ капитала, безъ всякой посторонней помощи, онъ успѣлъ въ короткое время значительно увеличить доходность имѣнія, исправно уплачивалъ ежегодный взносъ въ казну и постепенно удовлетворялъ частныхъ кредиторовъ.

Между тѣмъ, окончательнаго разсчета дѣламъ его съ казною все еще не было сдѣлано, хотя переписка объ этомъ дѣлѣ шла постоянно между разными правительственными инстанціями. Мы не будемъ слѣдить за ходомъ этого безконечнаго дѣла. Замѣтимъ только, что государственный контроль въ 1842 году заявилъ, что Варгину дѣйствительно не были уплачены изъ казны многія суммы, такъ что если принять въ разсчетъ всѣ считаемыя на Варгинѣ долги, въ окончательномъ выводѣ онъ все-таки ничего не долженъ казнѣ, а напротивъ казна должна ему болѣе 1,500.000 р. Военный министръ, къ которому поступило это заявленіе контроля, продержалъ его пять лѣтъ—и потомъ отвѣчалъ, что, по силѣ высочайшаго повелѣнія, никакого разсчета съ Варгинымъ допускать не велѣно. Такой отвѣтъ былъ очевидно уловкою, такъ какъ ни въ одномъ изъ высочайшихъ повелѣній о Варгинѣ такого запрещенія сдѣлано не было. Къ несчастію, уловка эта удалась, и Варгинъ продолжалъ уплачивать небывалый долгъ.

8-го Іюня 1848 года контроль увѣдомилъ Варгина, что ревизія его оставлена безъ дѣйствія. Получивъ это извѣщеніе, Варгинъ, по его словамъ, рѣшился терпѣть и нести тяжелый крестъ, не вступая въ неровную для него борьбу.

Наступило новое царствованіе. Въ Январѣ 1856 г. Варгинъ подалъ всеподданнѣйшее прошеніе, въ которомъ напоминалъ о заключеніи государственнаго контроля и просилъ объ окончательномъ рѣшеніи своего дѣла. Это рѣшеніе послѣдовало въ 1858 году. Запрещеніе съ имѣнія Варгина было снято, а всѣ обоюдные долги велѣно было скинуть со счетовъ. Такимъ образомъ Варгинъ за то, что ему простили мнимый долгъ въ 1.140.000 р. асс. (эта сумма оставалась еще не выплаченною казнѣ), долгъ, самую казною признанный никогда не существовавшимъ, съ своей стороны принужденъ былъ простить казнѣ уже взысканныя съ него 2.130.000 р. асс., которые по всѣмъ правамъ подлежали возврату, да еще 1.250.000 р. асс. которые по позднѣйшему разсчету государственнаго контроля была ему въ сущности должна казна; а всего 3.380.000 р. асс. Варгина обязали подпискою не искать на казнѣ должныхъ ему денегъ. Но и это рѣшеніе было благодареніемъ:



Варгинымъ наконецъ возвращалось ихъ состояніе—хотя далеко не прежнее, но все же свободное отъ всякихъ казенныхъ долговъ и запрещеній. Оставалось покончить съ частными долгами и привести въ порядокъ то, что осталось цѣло. Главному виновнику всѣхъ Варгинскихъ дѣлъ не пришлось дожить до этого счастливаго дня.

Въ Петербургѣ больше всѣхъ хлопоталъ за Варгиныхъ старинный другъ ихъ семейства, князь Александръ Аркадіевичъ Суворовъ, и прежде всегда съ рѣдкимъ безстрашіемъ старавшійся защитить ихъ отъ гоненій Военнаго Министерства.

Въ послѣдніе годы жизни Василя Васильевича, характеръ его очень измѣнился. Рѣзкій переходъ отъ богатства и почета къ нищетѣ и страданіямъ сдѣлалъ его мрачнымъ и раздражительнымъ, а прежнее безстрашіе замѣнилось робостью человѣка, привыкшаго ежеминутно ждать новой несправедливости, новаго гоненія. Жестокій ударъ сломилъ эту желѣзную волю. Притомъ годъ, проведенный въ казематѣ Петропавловской крѣпости, совершенно разстроилъ его здоровье. Чтобы дать понятіе о тогдашнемъ расположеніи его духа, приводимъ выдержку изъ письма его, писаннаго въ 1847 году къ его повѣренному въ Петербургѣ.

«Наши дѣловые люди бьютъ и плакать не велятъ; и какъ-то примете вы эти побои, а мнѣ отъ нихъ куда тяжело, и доктора даже не найду, какъ бы облегчить себя отъ этихъ побой. Неужели вы скажете: пріѣзжай къ намъ, мы облегчимъ побои. Но что будетъ тогда, когда облегченія-то у васъ не получишь, а побои-то усилятся? Смерть! Пора, пора убираться съ этого страшнаго и непостояннаго свѣта; видно я зажился, мѣшаю жить другимъ, надо дать просторъ. Зачѣмъ быть въ тягость всѣмъ? Лучше избрать для себя долю быть обиженнымъ, чѣмъ обижать другихъ. Посмотрите-ка, какъ у васъ смотрятъ на обиду, мнѣ дѣлаемую, и чего еще мнѣ ожидать? Вы скажете: бить челомъ. Помилосердите, я уже истощился въ этомъ, и чело мое измѣнилось, и странно, что этого не примѣчаютъ; хорошо бы мнѣ себя показать вамъ на этотъ разъ: вы бы изумились! Послалъ къ вамъ гонца, а утѣшенія нѣтъ, какъ нѣтъ. Боже, спаси и помилуй меня грѣшнаго; кажется, и Онъ отступается отъ меня; да будетъ воля Его».

«Хотѣли, чтобъ я платилъ долги, не имѣя состоянія. Я сдѣлалъ это. Теперь требуютъ отъ меня чего-то сверхъестественнаго, несовмѣснаго съ силами человѣческими, и на это смотрятъ равнодушно. Сдѣлайте милость, научите, что мнѣ дѣлать. Я ничего не пишу Дмитрію; да что и писать мнѣ ему? Ты передай ему что нужно, ожидать буду отъ тебя, мой милый другъ, сколько возможно поспѣшнаго увѣдомленія».

Варгинъ простилъ бы правительству, что оно его раззорило, но не могъ простить полнаго невниманія къ его прежнимъ заслугамъ. Его глубоко оскорбило, что, при открытіи Бородинскаго памятника, не вспомнили о немъ. Когда, въ 1858 году, его повѣренный пріѣхалъ къ нему съ извѣстіемъ объ окончаніи дѣла, Василій Васильевичъ сидѣлъ въ небольшой столовой своей квартиры на Лубянкѣ. Услыхавъ, что правительство прощаетъ ему всѣ долги, старикъ Варгинъ заплакалъ; сѣдая голова его упала на грудь, и онъ съ горечью сказалъ: «Не имъ меня прощать—у меня надо бы имъ просить прощенія». Нужно, замѣтить, что въ Москвѣ его очень уважали, хотя онъ мало съ кѣмъ знался и жилъ дикаремъ. Всѣ считали его жертвою несправедливаго гоненія.

Обремененный казенными и частными взысканіями, постоянно нуждаясь въ каждой копѣйкѣ, Василій Васильевичъ бился какъ рыба объ ледъ, стараясь поднять доходность своихъ домовъ. Лишенный возможности болѣе широкой дѣятельности, онъ отдался страсти къ постройкамъ; болѣе всего возился онъ съ своимъ Тверскимъ домомъ, въ которомъ завелъ меблированныя квартиры. Полнаго окончанія Варгинскихъ дѣлъ, т. е. уплаты всѣхъ частныхъ долговъ, ему не удалось дожидаться: онъ умеръ вскорѣ послѣ окончанія дѣла съ казною, 9 Января 1859 г. и погребенъ въ Донскомъ монастырѣ. Окончательный расчетъ произошелъ уже при его наслѣдникахъ, причемъ отъ долговременныхъ процессовъ и усердія добрыхъ людей сохранилась лишь небольшая сравнительно часть Варгинскаго состоянія.

\*

Болѣе полувѣка прошло со времени неутомимой дѣятельности и незаслуженныхъ страданій Василя Васильевича Варгина. Много войнъ вела съ тѣхъ поръ Россія, много перебывало у насъ разныхъ поставщиковъ— и немногіе изъ нихъ свободны отъ нареканій въ присвоеніи казеннаго достоянія. Поэтому не лишнимъ является вызвать въ память потомства честный образъ этого поставщика-гражданина, жертвовавшего всѣмъ на пользу Отечества, этого купца, имя котораго на равнѣ съ именами, прославленными въ бою, неразрывно связано со славнѣйшею изъ нашихъ войнъ. Конечно, и система военнаго хозяйства, и положеніе промышленности съ тѣхъ поръ во многомъ измѣнились; но можно, кажется, безъ преувеличенія сказать, что ни до Варгина, ни послѣ него дѣло казенныхъ подрядовъ не ставилось на такія широкія основанія, на какія поставилъ и на которыхъ въ продолженіе 20 лѣтъ держалъ это дѣло Варгинъ.

Валерій Лясковскій.

Москва 1882.

## ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ БАРОНЕССЫ М. А. БОДЕ.

Въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, т.-е. съ прибытіемъ въ этотъ \*) край графа (впослѣдствіи князя) М. С. Воронцова, Крымъ началъ входить въ моду. Одни за другими пріѣзжали путешественники знакомиться съ краемъ, какъ бы вновь открытымъ; ихъ принимали, угощали усердно, наперерывъ приглашали купить имѣніе, поселиться. Всякому хотѣлось приобрести образованныхъ сосѣдей; но общества-то именно и недоставало въ то время въ Крыму, населенномъ Татарами, Греками, Армянами. Немногіе однако увлекались красотами Тавриды до того, чтобы поселиться въ ней; большею частію пріѣзжали, любовались и уѣзжали!.. Много, много перебывало у насъ путешественниковъ интересныхъ, знаменитыхъ впослѣдствіи: Норовъ, Грибоѣдовъ, А. Н. Муравьевъ и многіе другіе.

Въ то время пріѣхала въ Крымъ замѣчательная компанія, исключительно дамская; по крайней мѣрѣ дамы были въ ней главными лицами, а мужчины играли весьма второстепенныя роли. Эту компанію составляли слѣдующія особы:

1) Княгиня Анна Сергѣевна Голицына, рожденная Всеволожская \*\*). Она разошлась съ мужемъ своимъ тотчасъ же по совершеніи брачнаго обряда; выходя изъ церкви, она подала ему портфель и сказала: «вотъ половина моего приданого, а я княгиня Голицына и теперь все кончено между нами!» Эта характеристическая черта довольно ясно обрисовываетъ женщину. Въ Крымъ она пріѣхала уже старухою, лѣтъ шестидесяти, и поражала всѣхъ своимъ мужественнымъ видомъ и повелительными манерами. Она купила имѣніе и поселилась на южномъ берегу Крыма; ходила въ длинномъ сюртукѣ и суконныхъ панталонахъ, съ плетью

---

\*) Новороссійскій.

\*\*) Супруга князя Ивана Александровича, извѣстнаго подъ именемъ Jean de Paris адъютанта при в. кн. Константиѣ Павловичѣ. Княгиня род. въ Окт. 1774, скончалась въ Симферополѣ 11 Января 1838 г.

въ рукахъ, которою собственноручно расправлялась съ своими подвластными и даже окрестными Татарами. Не только они, но исправники, засѣдатели и проч. трепетали передъ деспотическою старухою. Она играла въ Крыму роль леди Стенгопъ; ѣздила верхомъ по мужски, подписывалась въ письмахъ: *La Vieille des Monts*, что остряки переводили *La Vieille Démon*; можетъ быть, послѣднее было также лично, какъ и первое.

2) Баронесса Крюднеръ, сочинительница «Валеріи», знаменитая своею красотою, своимъ мистицизмомъ, своими воззваніями къ народамъ, своимъ вліяніемъ на императора Александра Перваго, который любилъ проводить вечера въ мирной бесѣдѣ съ нею, въ стѣнахъ покореннаго Парижа.... Съ нею была цѣлая свита Нѣмецкихъ и Швейцарскихъ семействъ — все мистики, духовидцы, ясновидцы; всѣ они толковали Апокалипсисъ, пророчествовали. Все это такъ живо занимало мое дѣтское воображеніе! Но восторженныя Германскія мечты не принялись на Крымской почвѣ: баронесса Крюднеръ скоро умерла въ Карасубазарѣ, и экзальтированные мистики сдѣлались добрыми колонистами, землевладѣльцами, винодѣльцами; прозелитовъ въ Крыму не нашлось, и они остались людьми обыкновенными.

3) Дочь баронессы Крюднеръ, баронесса Юлія Беркгеймъ, со своимъ мужемъ. Онъ и она были молоды и очень хороши собою — блонкуры, нѣжныя, высокіе, стройныя, настоящій типъ Лифляндской красоты. Эта чета возбуждала много любопытства и молвы. Говорятъ, что они женились по страсти. Черезъ годъ или два послѣ свадьбы баронъ долженъ былъ ѣхать за границу на нѣсколько мѣсяцевъ. Въ это время княг. А. С. Голицына познакомилась съ молодою женщиною, подружилась, совершенно овладѣла ею, и баронъ, по возвращеніи, нашелъ жену свою въ домѣ княгини въ полной ея зависимости и рабѣнномъ повиненіи. Съ тѣхъ поръ молодая баронесса уже не возвращалась въ домъ своего мужа и видалась съ нимъ только при свидѣтеляхъ. Онъ страстно любилъ жену свою, вездѣ слѣдилъ за нею, былъ счастливъ ея взглядомъ, ея ласковымъ словомъ; и она была съ нимъ дружелюбна и привѣтлива, но ни болѣе. Онъ ненавидѣлъ княгиню, нѣсколько разъ пытался исторгнуть изъ рукъ ея жену свою, хотѣлъ даже похитить ее во время прогулки; но все это какъ-то не удавалось: княгиня зорко сторожила свою жертву, съ которою впрочемъ всегда была угодлива и ласкова. Никто не могъ понять этой связи, потому что баронесса была женщина добрая и нѣжная и любила своего мужа. Что привязало ее къ суровой женщинѣ, которая смягчалась только для нея, что заставляло такъ твердо и упорно отвергать любовь и молебны нѣкогда любимаго человѣка?... Одному Богу извѣстно.

Нѣсколько лѣтъ спустя, баронъ опасно занемогъ. Баронесса поспѣшила къ нему, но съ княгинею. Умирающій отвѣчалъ, что желаетъ проститься съ женою, но не хочетъ видѣть княгини. Безчувственная деспотка не позволила женѣ войти безъ себя къ умирающему мужу, увезла ее немедленно, и баронъ умеръ одинокій, на рукахъ камердинера. Баронесса Юлія надѣла трауръ, распорядилась на похоронахъ, и потомъ снова возвратилась къ княгинѣ, при которой и оставалась неотлучно до самой ея смерти. Укоряла ли она себя за свое жестокосердіе, жалѣла ли въ глубинѣ сердца о погибшемъ?... Она никогда ни передъ кѣмъ не выдала себя ни словомъ, ни дѣйствіемъ. Общество единогласно ее осуждало.

4) Самая замѣчательная женщина изъ всей этой компаніи, по своему прошедшему, была графиня де-Гаше (de Gachet), рожденная Валуа, въ первомъ замужествѣ графиня де ла Моттъ (de la Motte), героиня извѣстной исторіи «Ожерелья королевы».

Я была еще очень молоденькой дѣвочкой, когда вся эта компанія пріѣзжала къ моимъ родителямъ, но я живо помню всѣхъ ихъ: и сухую, грозную княгиню Голицыну, и нѣжную блондинку баронессу Беркгеймъ, но болѣе всѣхъ графиню де-Гаше. Всю ея замѣчательную исторію узнала я гораздо позже; не знаю отчего, она тогда поразила меня; но я какъ теперь вижу старушку средняго роста, довольно стройную, въ сѣромъ суконномъ рединготѣ. Сѣдые волосы ея были прикрыты чернымъ бархатнымъ беретомъ съ перьями; лице, нельзя сказать кроткое, но умное и пріятное, украшалось живыми блестящими глазами. Она говорила бойко и увлекательно-изящнымъ Французскимъ языкомъ. Съ родителями моими она была чрезвычайно любезна, съ своими спутницами насмѣшлива и рѣзка, а съ нѣсколькими бѣдными Французами своей свиты, которые работѣпно прислуживали ей, повелительна и надменна безъ всякой деликатности. Многіе перешептывались объ ея странностяхъ, намекали, что въ судьбѣ ея есть что-то таинственное. Она это знала и молчала, не отрицая и не подтверждая догадокъ; иногда даже любила возбуждать ихъ, будто нарочною обмолвкой съ людьми образованными, а легковѣрныхъ и простыхъ мѣстныхъ жителей нарочно сама запутывала таинственными намеками. О графѣ Каліостро, о разныхъ личностяхъ двора Людовика XVI говорила она какъ о людяхъ своего знакомаго кружка, и долго каждый разговоръ ея переходилъ изъ устъ въ уста и служилъ темою для догадокъ и толкованій.

Она желала купить въ м. Старомъ Крыму садъ, принадлежавшій отцу моему. Это было жилище весьма приличное такой таинственной особѣ. Онъ принадлежалъ нѣкогда Крымскимъ ханамъ, и въ немъ были

развалины Монетнаго Двора, подземелье, котораго передняя часть служила намъ погребомъ, остальная же была завалена большими камнями, и народное преданіе говорило, что тамъ ханекій Арапъ сторожить сокровища. Въ развалинахъ мы находили старыя монеты, кувшины. Вообще утверждали, что въ подземельѣ зарытъ кладъ; но жители не позволяли искать его, вслѣдствіе какого-то повѣрья, что съ его открытіемъ сопряжено большое несчастіе для города. Отецъ мой дѣлалъ однако попытку отвалить камень; объ этомъ какъ-то узнали, сбѣжался народъ, садъ окружили, съ крикомъ требовали прекращенія работъ; камни полетѣли въ работающихъ—насилу могли усмирить суевѣрное народонаселеніе. Отецъ мой хотѣлъ было возобновить попытку ночью; но тутъ уже свои люди отказались работать: суевѣрный страхъ мнимаго стража Арапа сковалъ всѣ руки. Въ этомъ саду было много фруктовъ, абрикосовъ, сливъ, орѣховъ—чудесныя старыя деревья; никогда въ послѣдствіи, въ самыхъ богатыхъ садахъ, не видала я такого множества и такихъ великолѣпныхъ бѣлыхъ розъ какъ въ нашемъ Старо-Крымскомъ саду; много связано съ этимъ садомъ лучшихъ моихъ дѣтскихъ воспоминаній! Отецъ мой купилъ этотъ садъ въ совершенно одичаломъ состояніи; для жилья была Татарская мазанка; онъ самъ построилъ съ возможнымъ въ то время комфортомъ домикъ, въ которомъ и помѣщалось все наше семейство.

Отецъ мой просилъ за этотъ садъ три тысячи рублей, графиня же давала двѣ съ половиною; но отецъ не хотѣлъ уступить, потому что надѣялся продать его выгодно кому-нибудь изъ множества иностранцевъ, наѣхавшихъ тогда въ Крымъ. Между тѣмъ въ тоже время онъ купилъ землю въ Судагѣ и началъ разводить виноградникъ; на устройство новаго имѣнія понадобились деньги, и онъ написалъ графинѣ, что уступаетъ за предложенную ею цѣну; тогда она отступилась и стала давать только двѣ тысячи. Посердившись за такую недобросовѣстность мѣсяца три-четыре, отецъ мой согласился; тогда графиня предложила полторы тысячи, между тѣмъ жила по сосѣдству нашего сада въ землянкѣ и отбивала всѣхъ покупателей, говоря, что сама покупаетъ или даже купила его. Эта исторія продолжалась съ годъ. Въ одно прекрасное утро, проснувшись, мы очень удивились, увидя на дворѣ нѣсколько подводъ съ поклажею. Посланный подалъ отцу моему письмо отъ графини; она писала отцу, что очень больна и предчувствуетъ близкую кончину, что на смертномъ одрѣ раскаявается въ томъ, что причинила ему значительный убытокъ, не допустивъ его продать съ выгодною свое имѣніе, просить его простить ее и принять въ знакъ дружбы и вознагражденія нѣсколько вещей на память. Это

были: красивый туалетъ для моей матери, Италіянская гитара для меня и прекрасная библіотека для отца.

Не зная какъ понять этотъ странный поступокъ и боясь обидѣть графиню отказомъ, отецъ мой послалъ ей ящикъ лучшихъ винъ, цѣною равняющійся ея подаркамъ, для подкрѣпленія ея силъ и здоровья, и просилъ, по выздоровленіи, снова взять обратно свои подарки. Она выздоровѣла, но не хотѣла слышать о возвращеніи вещей, и мы остались въ дружескихъ отношеніяхъ. Отецъ мой, въ поѣздкахъ своихъ въ Θεодосію, всегда заѣзжалъ къ графинѣ, много и долго бесѣдовалъ съ нею и всегда былъ очарованъ ея разговорами, полными наблюдательности, знанія свѣта и нечуждыми нѣкоторой таинственности. Она любила моего отца; онъ былъ, подобно ей, эмигрантъ и хотя былъ гораздо моложе ея и менѣе знакомъ съ событіями страшной эпохи, которая застигнула его еще ребенкомъ, но могъ понимать ее; у нихъ были общія воспоминанія, общая родина, общія бѣдствія.

Однажды отецъ мой получилъ отъ графини письмо, въ которомъ она писала, что раздумала селиться въ Старомъ Крыму, а желаетъ переѣхать въ Судакъ, чтобы быть нашею сосѣдкою; что наше семейство ей очень понравилось и она рада будетъ дѣлать свое время съ образованными людьми, а что полудикіе Армяне Стараго Крыма ей опротивѣли; обѣщала сообщить ему много полезнаго и интереснаго, помогать матери моей въ хозяйствѣ и образовать меня для свѣта, въ который нѣкогда придется мнѣ вступить; поручала отцу моему нанять ей домикъ съ садомъ и прочее. Но цѣна, назначенная ею, была такъ мала, а условія квартиры такъ несообразны съ нею, что найти что нибудь подобное было невозможно. Между тѣмъ, отецъ мой чрезвычайно ею заинтересовался. Онъ вздумалъ построить въ своемъ имѣніи домикъ по сообщенному графиней плану и предложить ей жить въ немъ безвозмездно; онъ надѣялся, что свѣдѣнія, полученныя отъ нея, общество бывалой и прекрасно образованной женщины, польза, которую я могла извлечь изъ этого близкаго знакомства, вознаграждать его за издержки. Онъ сообщилъ планъ свой моей матери; ей онъ также понравился: образованные люди были тогда въ Крыму такою рѣдкостью, что ихъ ловили на перерывѣ, за нихъ ссорились.

Графиня приняла предложеніе отца съ восхищеніемъ, и немедленно было приступлено къ постройкѣ домика. Это было въ концѣ осени, а къ веснѣ онъ приходилъ уже къ окончанію. Въ Апрѣлѣ къ отцу моему прискакалъ нарочный съ извѣстіемъ, что графиня очень больна и желаетъ его видѣть; онъ немедленно отправился, но уже не засталъ ее въ живыхъ. Она оставила завѣщаніе, которымъ назначала отца своимъ душеприкащикомъ. Служившая ей старая Армянка сказала только, что,

почувствовала себя худо, графиня провела всю ночь разбирая и бросая въ огонь свои бумаги; запретила трогать свое тѣло, а велѣла похоронить себя, какъ была; говорила, что тѣло ея потребуютъ и увезутъ, что много будетъ споровъ и раздоровъ при ея погребеніи. Эти предсказанія однако не оправдались: по опредѣленію ратуши, Русскій православный и Армянскій Аріанскій священники, за неимѣніемъ католическаго, согласно похоронили графиню, а надгробный камень не тронуть донинѣ. Служившая ей Армянка мало могла удовлетворить общему любопытству: покойница рѣдко допускала ее къ себѣ, одѣвалась всегда сама и употребляла ее лишь для черной работы и на кухни; только, омывая ее послѣ кончины, Армянка замѣтила на спинѣ ея два пятна, очевидно выжженные желѣзомъ. Это подтверждало догадки, потому что графиня Ламоттъ, какъ извѣстно, была осуждена на заклеяніе и сколько ни билась въ рукахъ палача, но приняла позорное клеймо, хотя и невинно.

Едва успѣлъ дойти въ Петербургъ до правительства слухъ о кончинѣ графини, какъ прискакалъ отъ графа Бенкендорфа курьеръ съ требованіемъ ея запертаго ларчика, который былъ немедленно отправленъ въ Петербургъ, и въ то время губернаторъ сказалъ отцу моему, что имѣлъ порученіе наблюдать за этою женщиною и что она точно была графиня Ламоттъ-Валуа, укрывшаяся въ Россіи; имя де-Гаше она получила, кажется, отъ эмигранта, за котораго вышла гдѣ-то въ Италіи или Англій, и которое послужило ей впоследствии щитомъ и покровительствомъ. Долго жила она въ Петербургѣ подъ этимъ именемъ, въ 1812 году приняла даже Русское подданство, и никто не подозрѣвалъ ея настоящаго, столь извѣстнаго, имени.

Въ числѣ Петербургскихъ знакомыхъ графини была Англичанка М-ме Бирчъ, также не подозрѣвавшая ея печальной знаменитости, но принимавшая въ ней участіе просто какъ въ одной изъ жертвъ революціи, принужденной добывать себѣ пропитаніе трудами рукъ своихъ. Возвратясь однажды отъ графини де-Гаше, м-ме Бирчъ узнаеть, что императрица Елисавета Алексѣевна присылала за нею; она на другой же день отправилась къ Императрицѣ съ извиненіемъ, что не была дома.

„Où étiez vous donc?“ спросила Императрица.

— „Chez la comtesse de Gachet.“

„Qu'est ce que la comtesse de Gachet?“

М-ме Бирчъ отвѣчаетъ, что это Французская эмигрантка и старается заинтересовать Императрицу разсказомъ о ея затруднительномъ положеніи. Во время этого разговора входитъ императоръ Александръ; имя графини де-Гаше вырываетъ у него восклицаніе: «Она здѣсь?! А



«сколько разъ меня о ней спрашивали, и я всегда отвѣчалъ, что ея «нѣтъ въ Россіи. Гдѣ она? Почему вы ее знаете?» М-мъ Бирчь принуждена повторить Государю все, что знаетъ.—«Я желаю видѣть ее», говоритъ Государь. «Привезите ее завтра сюда». М-мъ Бирчь отправляется къ графинѣ съ этимъ извѣстіемъ. «„Qu'avez - vous fait?! Vous m'avez perdu!» съ отчаяніемъ восклицаетъ графиня. «Зачѣмъ вы говорили обо мнѣ Государю? Тайна составляла мое спасеніе; теперь онъ выдастъ меня врагамъ моимъ, и я погибла!» Но все отчаяніе было бесполезно: должно было повиноваться.

На слѣдующій день, въ назначенный часъ, обѣ онѣ были въ покояхъ императрицы Елисаветы Алексѣевны. Государю доложили обѣ нихъ. Онъ подошелъ къ графинѣ: «Вы не та, къ мнѣ называетесь; скажите мнѣ ваше настоящее имя— *votre nom de fille!*»

— Я должна сказать его, но открою только Вамъ, Государь, и безъ свидѣтелей.

Государь сдѣлалъ знакъ. Императрица и м-мъ Бирчь вышли. Государь остался съ графиней болѣе получаса, и она возвратилась успокоенная и очарованная его благосклонностію. «Онъ обѣщалъ мнѣ тайну и защиту», вотъ все, что она сказала м-ме Бирчь, отъ которой я знаю эти подробности. Вскорѣ послѣ того графиня отправилась въ Крымъ.

Деньги, оказавшіяся послѣ кончины таинственной графини и вырученныя отъ продажи ея имущества, были, по завѣщанію ея, отправлены во Францію, въ городъ Туръ, какому-то г. Лафонтену; отецъ мой, по этому случаю, былъ съ нимъ въ перепискѣ, но онъ въ уклончивыхъ отвѣтахъ своихъ ни разу не далъ догадаться, зналъ ли настоящее имя графини, которую просто называлъ своею почтенною родственницею. Отецъ мой купилъ съ аукціона большую часть вещей графини; но напрасно обыскивали мы всѣ шкапулки и потайные ящики, перелистывали всѣ книги: ни одинъ лоскутокъ бумаги, случайно забытый, не измѣнилъ глубоко-скрытой тайнѣ. Императоръ Александръ, графъ Бенкендорфъ, губернаторъ Нарышкинъ, тѣ, которымъ она была извѣстна, теперь уже въ могилѣ; остались еще немногіе: князь Воронцовъ, отецъ мой, м-мъ Бирчь. И они сойдутъ въ нее и унесутъ тайну съ собою.

Участь этой женщины покрыта непроницаемою завѣсою; она исчезла, какъ исчезло знаменитое, искусительное ожерелье, причина ея паденія, одна изъ причинъ смерти несчастной королевы Маріи-Антуанеты. Писатели долго будутъ говорить о Жаннѣ Валуа, и никто не догадается искать на безвѣстномъ кладбищѣ Старо-Крымской церкви ея одинокой могилы!

Баронесса де Бодэ.

## ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНІЙ БАРОНЕССЫ БОДЕ.

Напомнимъ читателю про знаменитое дѣло объ ожерельѣ, возникшее благодаря женщинѣ, которая изображена въ „Воспоминаніяхъ баронессы Бодѣ“

Австрійская принцесса, Марія Антуанета, была одной изъ главныхъ причинъ несправедливости Французовъ къ Версальскому двору, которая повела къ революціи 1789 года. Уронило королевскую власть не столько господство фаворитокъ при Людовикѣ XV-мъ, какъ вліяніе Маріи Антуанеты и знаменитое *дѣло объ ожерельѣ королевы* (l'affaire du collier de la reine).

Честолюбивая Марія Терезія воспитывала свою дочь для власти и вліянія, преждевременно ее (какъ сказали бы теперь) „развивала“, заставляя учиться всякимъ наукамъ и потомъ (съ абатомъ Вермонтомъ) посвящая во все отношенія Версаля, гдѣ Эльзасо-лотарингскія фамиліи болѣе дорожили выгодами Австрійскими, нежели благомъ Франціи. Союзъ съ Австріею былъ погубителенъ для Французскаго королевства. L'Autriche triche (Австрія передергиваетъ карты), говорятъ и теперь Французы.

Маріи Антуанетѣ не исполнилось 15-ти лѣтъ какъ она стала супругой дофина (1770). Она нашла въ мужѣ не руководителя, а слабохарактернаго и способнаго болѣе къ слесарному искусству, нежели къ государственнымъ занятіямъ полу-мужчину. Сперва она дѣйствовала довольно осторожно, но по смерти Людовика XV (1774), подчинивъ окончательно мужа своему вліянію, она начала пренебрегать обычаями Французскаго двора и обижала Французовъ высокомеріемъ. Но Нѣмки не прочь веселиться.

Армяда молодая.

Къ веселью, лишности знакъ первый подавая,  
Не вѣдала, чему судьбой обречена,  
Рѣзвилась, вѣтренымъ дворомъ окружена.

Все что было лучшаго во Франціи сѣвшило расточать свои силы въ Парижъ и Версали. Страна бѣднѣла, цѣлыя области ея обращались въ пустыни; богатый домъ въ Парижѣ или какой нибудь загородной павильонъ превращалъ своею стоимостью большія пространства сельской Франціи, и не было часу въ теченіи сутокъ, когда бы прекращалось движеніе между столицею и Версадемъ. Всякіе способы наживы считались позволительными, такъ какъ дороговизна стала непомерная, а перемѣнить образъ жизни не доставало воли...

Около 1784 г. придворные ювелиры представили королевѣ бриліантовое ожерелье рѣдкой красоты, цѣною почти въ два милліона ливровъ. Это было посреди всеобщихъ воплей о растрояствѣ финансовъ, послѣ обнародованія Неккеромъ бюджета (*compte-rendu*), и король рѣшился отказать въ покупкѣ ожерелья, отозвавшись, что на эти деньги можно построить цѣлый корабль.

Придворнымъ епископомъ (*le grand aumônier de France*) былъ въ то время кардиналъ Роганъ, нѣкогда посланникъ въ Вѣнѣ, не одобрявшій брачнаго союза съ Австріей. Марія Антуанета не прощала ему этого. Но онъ хотѣлъ во первыхъ сдѣлаться министромъ, а во вторыхъ, духовное званіе не помѣшало ему влюбиться въ королеву. Помощницей въ его намѣреніяхъ явилась графиня Деламотъ (р. 1756), женщина развратная, но отцу своему, Сень-Рени, протеходившая отъ одного изъ незаконныхъ сыновей короля Генриха II-го Валуа, и на этомъ основаніи съумѣвшая выхлопотать себѣ пенсію отъ Людовика XVI-го, которую она и получала черезъ „милостыне-раздавателя“ Рогана. Вкравшись въ довѣренность сластолюбиваго кардинала, она убѣдила его въ мнимой своей близости къ королевѣ.

Въ то время въ Страсбургѣ (гдѣ Роганъ былъ также епископомъ) явился Калиостро, знаменитый алхимикъ и масонъ; жители, за его благотворительность, принимали его восторженно, и кардиналъ Роганъ имѣлъ слабость и суевѣріе просить у него сначала предсказаній объ успѣхѣ своей страсти къ королевѣ, а потомъ и содѣйствія не только естественнаго, но и сверхъестественнаго.

Вмѣстѣ возвратились они въ Парижъ. Кардиналъ познакомилъ авантюриста съ графиней Деламотъ, которая задумала воспользоваться для себя желаніемъ королевы имѣть дорогое ожерелье. Она увѣрила Рогана, что ожерелье будетъ желаннымъ подаркомъ, за которымъ послѣдуетъ взаимность. Была прислана дѣвица (Олива), похожая станомъ на королеву, и вечеромъ въ Версальскомъ саду Роганъ былъ обманутъ: мнимая королева оказала ему вниманіе.

Ювелирамъ графиня Деламотъ сказала, что королева покупаетъ ожерелье тайно отъ короля, и предъявила подложное предписаніе объ уплатѣ денегъ съ разсрочкою: нашелся господинъ, который умѣлъ отлично подписываться подъ руку королевы. Кардиналъ сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія. Графиня взялась доставить королевѣ ожерелье, и вмѣсто того продала бриліанты въ Англию. Между тѣмъ дни текли своимъ чередомъ, въ чаду увеселеній. Ювелиры, не получивъ денегъ по первому сроку, бросились въ Версаль. Королевѣ ничего не оставалось дѣлать, какъ пожаловаться королю. Надо вспомнить, что власть короля была страшная, а король только и думалъ, чтобы его оставили въ покоѣ и не вынуждали примѣнять эту власть.

Послѣ ужина, (за которымъ Калиостро вызывалъ тѣнь Генриха IV-го) кардиналъ прибылъ въ Версаль, гдѣ онъ долженъ былъ служить обѣдню. Въ полномъ облаченіи его арестовали и привели въ кабинетъ къ королю; тутъ же находилась

королева и первый министр баронъ Бретейль. Сохранился разговоръ или, вѣрнѣе, допросъ этотъ. Кардиналь поздно увидѣлъ, до чего онъ былъ обманутъ.

Но король, вмѣсто того, чтобы потушить дѣло, возымѣлъ несчастную мысль придать ему наибольшую гласность. Кардиналь прямо изъ кабинета былъ отвезенъ (капитаномъ гвардіи, герцогомъ Вильруа) въ Бастилію. успѣвъ однако поручить своему челоуѣку снасти нѣкоторыя бумаги.

Король приказалъ парламенту, какъ высшему судебному учрежденію, строжайше разслѣдовать дѣло и наказать виновныхъ. Арестованная графиня Деламоть заперлась во всемъ, указывая только на волшебника Калиостро, который поэтому и былъ тоже схваченъ.

Никто въ Парижѣ и во Франціи не вѣрилъ, чтобы королева была тутъ, какъ говорится, непричемъ: слишкомъ не любили ея и называли *cette autre chienne* (эта другая собака, эта Австріячка). Враги королевской власти, зная твердый характеръ Маріи Антуанеты, обрадовались случаю набросить тѣнь на ея честное имя. Дѣло вышло похожее на нашъ процессъ Вѣры Засулячъ: судебныя пренія клонились не столько къ обличенію преступниковъ, какъ служили поводомъ къ разнымъ оскорбительнымъ для власти памскамъ. Разбирательство долго длилось, но дѣлу ожерелья возникла цѣлая литература, и по всей Франціи разсѣвались подозрѣнія противъ Маріи-Антуанеты. Парламентъ оправдалъ Регана и подставную дѣвицу Олива. Калиостро былъ только изгнанъ. Но графиня Деламоть, какъ преступница явная, подверглась публичному наказанію плетью и клейменію; а такъ какъ она вырывалась у палачей, кусала ихъ зубами, вертѣлась, то клеймо у плеча вышло неясвенно и было повторено. Общественный развратъ донелъ до того, что она внушала къ себѣ состраданіе: начальница исправительной тюрьмы сама дала ей средства бѣжать. Въ ея біографіяхъ значится, будто она умерла въ Англіи въ 1791 г., бросившись изъ окошка послѣ ночной оргіи. Теперь оказывается, что дни свои кончила она у насъ въ Крыму.

Витель въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ упоминаетъ о томъ и говоритъ, что графиня не снимала лосиной фуфайки. Известно, что Русское гостепріимство не знаетъ предѣловъ. Если бы не графъ С. Р. Воронцовъ, то Англичанамъ удалось бы выхлопотать дозволеніе нашего правительства съсылать преступниковъ къ намъ въ Крымъ вмѣсто мыса Доброй Надежды (Архивъ Князя Воронцова, кн. IX и X), благо оно поближе.

Не даромъ Екатерина, вскорѣ по кончинѣ князя Потемкина, не смотря на свое пристрастіе къ нему, выразилась про население, допущенное имъ въ южную Россію: *C'est un tas de cavailles!* (Записки Храповицкаго).

## ПЕРЕПИСКА М. П. ЛАЗАРЕВА СЪ Н. Н. РАЕВСКИМЪ.

1838 года.

(Сообщена сыномъ Н. Н. Раевского, Михаиломъ Николаевичемъ Раевскимъ).

1.

### Раевскій Лазареву.

Здѣсь пронесся слухъ радостный для меня и для всего отряда о намѣреніи вашего превосходительства прибыть лично съ дѣйствующею эскадрою. Грустно было бы мнѣ разстаться съ лестною надеждою состоять подъ вашимъ начальствомъ, но и неувѣренность неприятна. Принимаю смѣлость писать вашему превосходительству, прося покорнѣйше почтить меня увѣдомленіемъ, справедливо ли это извѣстіе. Я не могу забыть вниманія, которое вы оказали мнѣ при свиданіи нашемъ въ Алупкѣ и исполненъ за него благодарности. Я почту себя счастливымъ, если мое усердіе и моя служба подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ вашего превосходительства оправдаютъ благосклонность, которой вы меня тогда удостоили.

Тавань, 1838 г. 30 Марта.

2.

### Лазаревъ Раевскому.

Николаевъ, 5 Апрѣля 1838 г.

Письмо вашего превосходительства отъ 30 Марта я имѣлъ особенное удовольствіе получить и благодарю васъ за лестное для меня желаніе ваше находиться подъ моимъ начальствомъ; но это слишкомъ много, — начальникомъ вашимъ я не буду, а постараюсь быть ревност-

нѣйшимъ вашимъ сотрудникомъ и содѣйствовать вамъ всѣми имѣющимися у меня средствами къ выполнению возложенныхъ на васъ порученій. Съ эскадрою я надѣюсь прибыть въ Керченскіи проливъ около 25-го сего мѣсяца, а можетъ быть день или два ранѣе, — и тогда я буду имѣть удовольствіе познакомиться съ вами покороче и переговорить о предстоящихъ дѣйствіяхъ нашихъ поподробнѣе.

## 3.

## Раевскій Лазареву.

При семъ имѣю честь препроводить къ вашему превосходительству журналъ нашихъ военныхъ дѣйствій. Я въ немъ представляю нѣсколько лицъ, чтобъ они немедленно получили награжденія; но объ нихъ должно вторично упомянуть въ общемъ представленіи. Читая журналъ, сухопутники заключаютъ, что я большой морякъ, моряки — что я большой сухопутникъ, фронтовики — что я большой воинъ, воины — что я большой фронтовикъ. Я надѣюсь, что благосклонное начальство повѣритъ всѣмъ этимъ достоинствамъ вдругъ. По существующимъ безпорядкамъ въ канцеляріяхъ Владимира Алексѣевича Корнилова и Ефима Васильевича Путятина, мнѣ не доставлены списки гардемариновъ и артиллерійскихъ юнкеровъ; не смотря на сіе, я дѣлаю о нихъ представленіе, предоставляя Владимиру Алексѣевичу написать ихъ имена. По неимѣнію писарей я вынужденъ покорнѣйше просить ваше превосходительство сообщить графу Михаилу Семеновичу копию журнала и проекта прибрежныхъ поселеній; по той же самой причинѣ я вынужденъ просить, краснѣя, о пересылкѣ копии журнала Аннѣ Михайловнѣ Бороздиной \*) въ Симферополь. У насъ все благополучно, не смотря на ежедневныя перестрѣлки. Я очищаю дѣсь на версту вокругъ предположеннаго укрѣпленія. Сегодня однакожъ смертельно раненъ одинъ офицеръ и четыре рядовыхъ. Я приказалъ рыть колодези и отыскалъ воду, и посему крѣпость можетъ быть построена на томъ возвышеніи, которое вы полагали удобнѣйшимъ.

Позвольте мнѣ окончить мое письмо, изъявляя вамъ еще разъ всю мою признательность и глубокое уваженіе, которое вы во мнѣ вселили. Вы изъ малаго числа людей, которымъ лестно изъявлять сіи чувства.

18 Мая 1838.

Лагерь при рѣкѣ Туапсѣ.

\*) Впоследствии супругъ Н. Н. Раевского.

## 4.

## Лазаревъ Раевскому.

Николаевъ, 31 Мая 1838 г.

Нисьмо ваше отъ 18-го съ журналомъ военныхъ дѣйствій и проектомъ о селеніи прибрежныхъ казаковъ я имѣлъ удовольствіе получить и совершенно согласенъ съ мнѣніями тѣхъ, которые отдають вамъ справедливость въ томъ, что вы и сухопутникъ, и морякъ, и воинъ, и фронтовикъ. Изъ представленнаго вами журнала военный министръ иначе и заключить не долженъ. Представленія ваши о нашихъ морякахъ я еще не посылаю, потому что о заслуживающихъ представленія къ знакамъ военного ордена нижнихъ чинахъ я не имѣю еще донесенія отъ Путятина, къ которому давно однакожь отправилъ курьера: безъ него, какъ очевидца, трудно назначить. Но я располагаю помѣстить въ присланный вами списочекъ однихъ нижнихъ чиновъ, которымъ военные знаки получить гораздо лестнѣе, нежели гардемаринамъ. Гардемарины же вы представили довольно, и именно всѣхъ тѣхъ, которые были въ десантъ при васъ и которые чрезъ ловкость свою обходиться съ пистолетами едва васъ самихъ не подстрѣлили!

По желанію вашему, копію съ журнала и проекта Михаилу Семеновичу я послалъ, а равно отправилъ копію съ перваго и Аннѣ Михайловнѣ Бороздиной въ Симферополь. Графъ живетъ въ Алупкѣ, но я его не видалъ, ибо торопился домой, чтобъ еще застать известное вамъ ожиданіе мое, въ чемъ и успѣлъ: три дня по прибытіи моемъ семейство наше умножилось дочерью, и все кончилось благополучно.

Очень радъ слышать, что вы отыскали воду на томъ холмѣ, гдѣ предполагаете строить укрѣпленіе. Надобно надѣяться, что, послѣ очищенія лѣса на версту вокругъ предполагаемаго укрѣпленія, перестрѣлки кончатся. Оставя насъ почтою 15 числа, я поутру на другой день былъ въ Сочѣ и видѣлся съ Симборскимъ. Онъ показывалъ мнѣ презабавный отвѣтъ Черкесъ на посланное отъ него къ нимъ воззваніе,—отвѣтъ впрочемъ писанный някъмъ болѣе, какъ Веллемъ, въ духѣ Англичанъ. Вѣроятно вы его увидите. Воззваніе же отъ Симборскаго есть то самое, копію котораго я читалъ у васъ. Объ отнятій орудія я его не спрашивалъ; да и не ловко было мнѣ тронуть его за чувствительную струну. Впрочемъ въ лагерѣ я нашелъ по всѣмъ частямъ величайшій порядокъ; люди смотрять хорошо, но ваши лучше. Укрѣпленіе строится на той самой высотѣ, гдѣ орудіе было отнято, и можно сказать неприступное со всѣхъ сторонъ, а мѣстоположеніе вообще выгоднѣе, нежели въ Туапсѣ, не говоря уже о глубокой рѣчкѣ,

протекающей подлѣ, въ которой при входѣ 5-ть футъ глубины, слѣдовательно казакія лодки могутъ стоять въ оной совершенно укрывшись отъ морскаго волненія.

Вотъ все, что могу сказать вамъ новаго. Царская фамилія почти вся за границую. Князь Меншиковъ отправился съ Наслѣдникомъ въ Стокгольмъ, а потому и представленія наши, я думаю, залежатся до возвращенія князя.

## 5.

## Раевскій Лазареву.

Окажите родительское состраданіе, отеческую помощь, взойдите въ бѣдственное мое положеніе. Вотъ въ чемъ дѣло: у меня нѣтъ ни одного пуда каменнаго угля, а съ меня требуетъ начальство, чтобы я имѣлъ 25000 пудовъ въ Геленджикъ. Вы знаете уже, какъ я топлю военныя суда; если вы не выслушаете моей просьбы, то проститесь съ вашими линейными кораблями: при первомъ десантѣ, всѣхъ на берегъ вытащу. Ради Бога приищите намъ средство доставить къ концу Августа вышеупомянутые 25 т. пудовъ, иначе я пропадѣ. Вы меня разъ спасли солиноной, спасите въ другой углемъ.

17 Іюля 1838 г.

Г. Тамань.

## 6.

## Лазаревъ Раевскому.

Николаевъ, 22 Іюля 1838 г.

Съ особеннымъ удовольствіемъ поздравляю васъ, любезный Николай Николаевичъ, съ новыми успѣхами на Черкесскомъ берегу и выполненіемъ въ точности даннаго вами слова Черкесамъ въ Туапсѣ. Занятіе Шапсуга случилось ровно чрезъ мѣсяцъ и еще удачнѣе перваго. Послѣ бѣдствій, случившихся съ судами нашими въ Туапсѣ и Сочѣ и неудачнаго дѣла при прикрытіи спасавшихся экипажей съ фрегата и корвета, я воображаю, какъ Государь будетъ доволенъ полученіемъ извѣстія о взятіи Шапсуга. Снятіе съ мели парохода «Язонъ» и тендера «Лучъ» также немало его порадуетъ. Хорошо, еслибъ поскорѣе дали «Колхиду» для отвода «Язона» въ Севастополь; въ противномъ случаѣ на открытыхъ этихъ рейдахъ легко можетъ случиться вторично подобное же происшествіе.

Пріятно бы было прочесть журналъ военныхъ вашихъ дѣйствій при Шапсугѣ и въ особенности услышать отъ васъ, довольны ли вы



остались содѣйствіемъ нашихъ. Все ли они выполнили, что отъ нихъ ожидали?

Книги ваши of the Dorian Race я, наконецъ, прочиталъ и признаюсь, что немалого труда стоило: такая сухая матерія! Хотя я увѣренъ, что вамъ читать ихъ будетъ некогда, но не менѣе того не хочется упустить случая и возвращаю ихъ.

Сдѣлайте одолженіе, скажите, отыскано-ли тѣло прапорщика Хитрово, убитаго и похороненнаго, какъ говорятъ, въ Михайловскомъ укрѣпленіи? Меня безпрестанно о немъ бомбардируютъ изъ Петербурга. Ежели еще нѣтъ, то позвольте просить васъ сдѣлать мнѣ одолженіе приказать назначить тѣхъ самыхъ людей, которіе хоронили его и которые были уже назначены для слѣдованія туда на «Θемистоклъ»; но съ крушеніемъ этого брига вѣроятно все измѣнилось. Я приказалъ отрядному начальнику возобновить къ вамъ объ этомъ просьбу....

Графа Михаила Семеновича я видѣлъ 28-го прешедшаго мѣсяца въ Алупкѣ, и онъ очень доволенъ былъ моими разказами о вашихъ успѣхахъ и дѣйствіяхъ. Теперь онъ осматриваетъ свои губерніи, въ будущемъ мѣсяцѣ или Сентябрѣ отправляется за границу, и по словамъ его не менѣе какъ на годъ.

P. S. Votre cher neveu Корниловъ est avancé \*), какъ равно и Путятинъ во 2-й рангъ, и кажется, что успѣхъ этому производству можно приписать тому, что я послалъ ваше представленіе прямо князю Меншикову, я же съ своей стороны только похвалилъ ихъ. Теперь пора бы, кажется, сказать, спасибо и командирамъ кораблей; потому что въ прошедшемъ году, при занятіи мыса Адлера, дѣла было гораздо менѣе, а к.-адмиралъ Юрьевъ, будучи тогда еще капитаномъ 1-го ранга, по представленію барона Розена, получилъ Станислава 2-й степени. Я не говорю, чтобы оно стоило большихъ наградъ; но ежели Юрьеву дали Станислава, то наши остальные послѣ двухкратныхъ дѣйствій заслуживаютъ по крайней мѣрѣ Высочайшаго благоволенія.

Будьте здоровы и дайте услышать, что Черкесы произносятъ имя ваше со страхомъ и трепетомъ и трусятъ васъ еще болѣе, нежели Вельяминова.

---

\*) Надобно полагать, что это условная шутка, такъ какъ Корниловъ не родня нашему семейству. *Примѣчаніе М. Н. Раевского.*

## 7.

## Раевскій Лазареву.

Съ чувствомъ совершенной признательности возвращаю вамъ пароходъ «Громоносець»; не смотря на ваши опасенія, я благополучно объѣхалъ на немъ всѣ восточные берега Чернаго моря. Я симъ весьма обязанъ г. лейтенанту Соколовскому, который, не смотря на всѣ трудности котловъ, всякій день возобновляющіяся, молодцомъ меня повсюду возилъ. Если я не потонулъ, то ему обязанъ. Вторая крѣпость будетъ готова къ 20 Августа; я надѣюсь, что мое предположеніе будетъ принято, и на мѣсто Геленджикской линіи мнѣ позволить занять Сунджукскую бухту, откуда я возвращусь сухимъ путемъ въ Анапу. Пріѣзжайте сами къ намъ для третьяго десанта, мы васъ примемъ какъ отца и начальника; привозите съ собою Степана Петровича, Корнилова, Путьягина, Метлина и Панфилова. Чтò вамъ за веселье подписывать бумаги въ Николаевѣ! Это-ли обязанность моряка?

19 Июля 1838 года.

Пароходъ „Колхида“. На Керченскомъ рейдѣ.

## 8.

## Лазаревъ Раевскому.

Николаевъ, 8 Августа 1838.

Вы видите, любезный Николай Николаевичъ, что я старался выкупить васъ изъ бѣды (какъ вы говорите), сколько могъ. По полученіи письма вашего о необходимости имѣть до 25 т. каменнаго угля въ Геленджикѣ, я въ тотъ же день послалъ курьера въ Таганрогъ съ предписаніемъ комиссіонеру принять всѣ возможные мѣры къ немедленному отправленію угля въ Геленджикъ, буде еще не отправленъ. Чтò по этому сдѣлано, я увѣдомляю васъ официально и, кажется, что недостатка въ углѣ не будетъ, тѣмъ болѣе, что и пароходовъ у васъ къ несчастію остался только одинъ. До слезъ жаль прекраснаго «Изона»! Но унывать не должно. Надобно теперь же заказать вмѣсто него другой, ежели не столь же большой, то по крайней мѣрѣ въ 100 сажъ, т. е. всѣхъ заказать три, съ тѣмъ, чтобъ они были здѣсь не позже Мая будущаго года. Судовъ въ Одессѣ (разрѣшенныхъ купить) не отыскалось; по крайней мѣрѣ нѣтъ теперь такихъ, какія намъ нужны, а потому я писалъ къ князю Меншикову и просилъ доложить Государю, чтобы дозволено было купить тѣ шесть судовъ чрезъ генеральнаго консула нашего въ Англіи Беннгаузена, съ тѣмъ чтобы они съ раннею весною привезли вамъ столько же грузовъ каменнаго угля. Въ Англіи

можно избрать ихъ изъ нѣсколькихъ тысячъ и, вѣроятно, обойдутся дешевле, нежели здѣсь въ Одессѣ.

Вы меня совершенно съ толку сбили занятіемъ вашимъ Суджукъ-Кале! Эскадра будетъ готова къ 12-му числу; но, не получивъ того пакета, который вы довѣряете мнѣ распечатать и который содержать долженъ разрѣшеніе на представленіе Е. Ал. Головина къ военному министру, эскадру выслать нельзя; потому, главное, что ежели согласія на то не воспослѣдуетъ, то для перевоза войскъ изъ Шапсуга въ Геленджикъ достаточно будетъ однихъ фрегатовъ, которые и выполнять это въ два рейса, а корабли оставимъ, какъ потому что толпиться имъ въ Геленджикъ по невмѣстительности порта неудобно, такъ и потому, что это составитъ большія издержки на провизію. Но на всякій случай одолжите меня увѣдомленіемъ, какъ можно поскорѣе, сколько вы полагаете будетъ у васъ войска, которое понадобится поднять изъ Шапсуга, ежели Государь разрѣшитъ вамъ занять Суджукъ.

Транспортъ вамъ отдаю послѣдній, по имени «Кубань», который по малому углубленію своему можетъ проходить въ Тамань; только не знаю, успѣетъ ли онъ ко времени. Онъ теперь грузить пушки въ Таганрогъ и долженъ напередъ перевести ихъ въ Севастополь, послѣ чего уже отправится къ вамъ. Поберегите его; онъ новенькій, съ иглопочки! Ежели хотите, чтобъ «Колхида» прослужила вамъ вѣрою и правдою въ будущемъ году, то, по окончаніи военныхъ дѣйствій съ моря, непременно надобно прислать ее на зимовку въ Николаевъ и дать ей хорошенько поправиться. Теперь же она получила исправленія по скорости, но служить можетъ.

Съ какимъ чувствомъ благодарности говорятъ о васъ наши shipwrecked mariners Метлинъ и Панфиловъ! Позвольте и мнѣ къ нимъ присоединиться и вмѣстѣ съ ними поблагодарить васъ за то участіе, которое вы въ нихъ приняли и за пріемъ, который они получили отъ офицеровъ въ лагерѣ. Они нахвалиться не могутъ.

Отвѣтъ я могъ бы получить отъ васъ очень скоро, ежели вздумаете отправить оный на «Колхидѣ» въ Керчь, а оттуда по эстафетѣ въ Николаевъ.

## 9.

## Раевскій Лазареву.

Если къ полученію сего письма вы имѣете извѣстіе о Высочайшемъ разрѣшеніи дѣлать десантъ въ Цемесѣ, то прїѣзжайте къ намъ съ линейными кораблями, которые бы могли поднять насъ въ одинъ рейсъ по прилагаемой при семъ вѣдомости. Я о семъ васъ безпokoю, дабы не терять драгоцѣнное время для построенія крѣпости, къ которому нельзя приступить, пока остальные войска не придутъ вторымъ рейсомъ. Если Высочайшее разрѣшеніе вамъ не получено, то присылайте къ намъ скорѣе фрегаты, которые насъ перевезутъ въ два рейса изъ Шансуга въ Геленджикъ. Въ семъ послѣднемъ я буду ожидать отвѣта военнаго министра. Если мнѣ приказано занять Цемесѣ, то я сухимъ путемъ пройду изъ Геленджика въ Александрійское укрѣпленіе, на Суджукской бухтѣ, оттуда до Цемеса 16 верстъ сухимъ путемъ, но по совершенно непроходимой дорогѣ чрезъ *Османли-юріе*. По сему неблагоугодно ли вамъ будетъ оставить мнѣ въ Суджукской бухтѣ четыре фрегата, которые бы меня перевезли изъ Александрійскаго укрѣпленія къ Цемесу? Но въ семъ послѣднемъ предположеніи мнѣ необходимъ еще пароходъ, и ради Бога пришлите мнѣ «Сѣверную Звѣзду», которую, по окончаніи высадки, я немедленно возвращу.

Почтеннѣйшій отецъ командиръ, дай Богъ вамъ здравіе и маіорскій чинъ за каменный уголь и за *Кубань*. Чтобъ доказать вамъ мою благодарность, отправляю вамъ три тѣла Хитрово, а ежели пожелаете, найду и дюжину.

Вы знаете, что я не лгунъ и не сылетникъ; но слѣдующее обстоятельство я долженъ вамъ сказать: Степанъ Петровичъ Хруцовъ увѣряетъ, что вы отъ моря отвыкли; Владимиръ Алексѣевичъ Корниловъ, что вы моря боитесь; Ефимъ Васильевичъ Пугачинъ, что я лучше морякъ, чѣмъ вы; Николай Федоровичъ Метлинь, что вы съ люгеромъ не управитесь; Александръ Ивановичъ Панфиловъ, что онъ не поручилъ бы вамъ Азовской лодки. Но что хуже всего, почтенный отецъ и начальникъ мой, это письмо ко мнѣ адмирала Кодрингтона, который мнѣ объявилъ, что онъ по сіе время считалъ васъ изъ первыхъ моряковъ въ Европѣ, но что до него дошли слухи, будто вы боитесь въ Николаевѣ чрезъ Бугъ перѣхаты. Я ему отвѣчалъ, что вы непремѣнно къ намъ будете въ Шансугъ. Не заставляйте меня лгать предъ адмираломъ Кодрингтономъ.

Марцеллинъ Матвѣевичъ Ольшевскій и весь отрядъ свидѣтельству ютъ вамъ глубочайшее почтеніе.

17 Августа 1838 г. Г. Керчь.

## 10.

## Лазаревъ Раевскому.

Николаевъ, 21-го Августа 1838 г.

Письмо ваше изъ Керчи отъ 17 сего мѣсяца я имѣлъ удовольствіе получить сегодня, и часа черезъ два и тотъ завѣтный пакетъ на ваше имя отъ военнаго министра, съ такимъ нетерпѣніемъ мною ожиданный, который (вообразите себѣ) посланъ былъ по тяжелой почтѣ и находился въ дорогѣ 21 день! По желанію вашему я его распечаталъ и къ сожалѣнію моему не нашелъ въ немъ того рѣшительнаго отвѣта, котораго вы ожидали; да, кажется, и невозможно было ожидать его такъ скоро, судя по словамъ проѣзжавшаго здѣсь адъютанта генерала Головина, Муравьева. Не менѣе того, усмотрѣвъ изъ предписанія военнаго министра, что вамъ должно перейти въ Геленджикъ и тамъ ожидать дальнѣйшихъ повелѣній, я завтра же утромъ отправляю къ вамъ «Сѣверную Звѣзду» съ тѣмъ предписаніемъ военнаго министра (мною прочитаннымъ). Командиръ этого парохода обязанъ только зайти на нѣсколько часовъ въ Севастополь для передачи бумагъ командиру того порта и пополненія издержаннаго угля, а потомъ слѣдовать въ Шапсугъ, явиться къ вамъ и остаться въ вашихъ распоряженіяхъ (какъ вы и обѣщали) до окончанія только высадки.

Не такъ дѣлается, какъ бы хотѣлось! Вы получили отвѣтъ неудовлетворительный; эскадра, отправленная къ 1-му Августа въ Сочу для перевоза войскъ г. м. Симборскаго въ Сухумъ, еще не возвратилась; тамъ находятся три фрегата, слѣдовательно, оставшихся въ Севастополь фрегатомъ для васъ недостаточно, и невольнымъ образомъ надобно прибавить два корабля. Въ такомъ случаѣ къ вамъ явятся два корабля и два фрегата; но ежели къ тому времени «Сѣверная Звѣзда» прибудетъ въ Севастополь, эскадра отъ Сочи возвратится, то корабли уже останутся, а вы получите 5 фрегатомъ. Я надѣюсь, что и тѣ и другіе перевезутъ васъ въ Геленджикъ въ два рейса, а равно подвезутъ къ вамъ и оставшихся въ Туапсѣ.

Ежели вы вздумаете пугнуть Черкесъ берегомъ изъ Геленджика къ Александровскому укрѣпленію, то фрегаты перейдутъ въ Суджукскую бухту и будутъ васъ тамъ дожидаться для перевоза въ Цемесъ, и планъ этотъ, кажется мнѣ, изъ всѣхъ лучшій. На самой срединѣ Суджукской бухты открыта въ недавнемъ времени новая мель, которую большимъ судамъ, каковы и даже фрегаты, надобно обходить съ особливою осторожностію, потому что на ней только 18 футъ воды. Весьма естатіи находка эта случилась; въ противномъ разѣ можно бы было

подвергнуть суда опасности! Но я надѣюсь, что покуда вы пойдете берегомъ, фарватеры по ту и по другую сторону балки будутъ промѣрены, и васъ перевезутъ къ Цемесу безопасно.

Очень благодаренъ вамъ, любезнѣйшій Николай Николаевичъ, за обѣщаніе дюжины тѣлъ Хитрово, какъ равно и за сообщеніе извѣстій отъ пріятеля вашего адмирала Кодрингтона. Вы не повѣрите, съ какою бы радостію (еслибъ только можно было) бросилъ я проклятыя здѣсь бумаги, которыя меня съ ума сводятъ, и явился бы къ вамъ провести хотя нѣсколько дней въ дѣятельномъ удовольствіи. Для меня это было бы праздникомъ, я васъ увѣряю!

Очень радъ слышать, что Марцеллинъ Матвѣевичъ въ здоровьи своемъ поправился; прошу васъ сказать ему отъ меня поклонъ и всѣмъ нашимъ удалцамъ, которые вспомнятъ.

Р. S. Врядъ ли я не похвасталъ вамъ на счетъ транспорта «Кубань». Воюсь, что онъ не успѣетъ; но ежели я и въ самомъ дѣлѣ васъ обманулъ, то какъ экспедиція Симборскаго окончена, то у васъ будетъ транспортъ довольно, а именно: «Чапманъ», «Ахиолло» и «Слонъ».

Такъ какъ рейдъ при Александровскомъ укрѣпленіи совершенно открытъ при юго-западныхъ вѣтрахъ, надѣлавшихъ столько шума въ Туапсѣ и Сочѣ, то я полагаю эскадрѣ безопаснѣе и лучше будетъ стать пройдя ту балку, о которой я упоминалъ въ Суджукской бухтѣ. а войска на оную перевезти изъ укрѣпленія помощію пароходовъ, какъ дѣлали въ Керченскомъ проливѣ; разстояніе же будетъ тоже; а какъ переходъ отъ якорнаго мѣста до Цемеса будетъ не болѣе 4-хъ милл. то на эскадру можно будетъ посадить до 4000 вдругъ, несмотря на тѣсноту, а остальныхъ перевезти вслѣдъ затѣмъ. Отъ души желаю вамъ прежняго успѣха.

## 11.

## Лазаревъ Раевскому.

Получено 5 Сентября 1838 г.

Севастополь, 1-го Сентября 1838 г.

Вы такъ напугали меня, любезнѣйшій Николай Николаевичъ, письмомъ пріятеля вашего адмирала Кодрингтона, что я рѣшился все бросить и бѣжать къ вамъ сломя голову! Завтра-же съ разсвѣтомъ снимаюсь съ якоря съ кораблями и фрегатами, чтобъ поднять васъ и всѣхъ удалцовъ вашихъ вдругъ и перевезти васъ пзъ Шапсуга въ Цемесъ. Надѣюсь, что ежели приближающіеся равнодепственные вѣтры не препятствуютъ, го дѣло это исполнится какъ нельзя лучше; только

прикажете заблаговременно все приготовить къ нашему прибытію, т. е. чтобы войска для амбаркированія были расписаны по судамъ согласно прежнему порядку. Караблей къ вамъ придетъ три: «Силистрія», «Махмудъ» и «Екатерина II-я». Фрегатомъ пять: «Агатополь», «Эносъ», «Бургасъ», «Браиловъ» и «Тепедосъ», и присоединится можетъ быть еще и «Штандартъ». Распечатавъ официальную депешу къ вамъ отъ графа Чернышова, усмотрѣлъ я, что она адресована къ генералъ - лейтенанту Раевскому и сейчасъ же приказалъ подать Шампанскаго, чтобы выпить за здоровье многоуважаемаго мною Николая Николаевича. Отъ души поздравляю васъ, и дай Богъ болѣе и болѣе! Въ надеждѣ скоро лично васъ увидѣть, болѣе писать не буду и заключу письмо мое, пожелавъ вамъ всѣхъ благъ земныхъ и небесныхъ. Только оправдайте меня предъ почтеннѣйшимъ Кодрингтономъ, а не то право въ другой разъ къ вамъ не прѣйду.

P. S. «Кубань» къ вамъ опоздаетъ. На сихъ дняхъ только пришелъ и полонъ огромнаго калибра пушекъ. Выгружается со всевозможною поспѣшностію, но все ко времени не поспѣетъ. Какъ нибудь перебежеся и безъ него, а время конечно терять не должно.

## 12.

## Раевскій Лазареву.

Лагерь при Цемесѣ, 1888 года 19 Сентября.

Я, слава Богу, живъ и здоровъ, чего и вамъ желаю, и надѣюсь, что и вы таковыя же. У насъ скверная погода, проливные и холодные дожди; дай Богъ отсюда убраться къ 1 Ноября. Горцы не мирятся и не дерутся. Вы прочтите въ военномъ журналѣ, почтеннѣйшій мой отецъ-командиръ, торжественное изъявленіе общей нашей къ вамъ признательности. Сей же журналъ заключаетъ всѣ наши новости, кромѣ того, что я васъ отъ души люблю и почитаю, что впрочемъ не новость и даже не секретъ.

Скоро ли попаду къ вамъ въ Николаевъ на отдыхъ? Не знаю, что я вамъ пишу; потому что промокъ и замерзъ, но такъ какъ вы привыкли къ моему вздору, то и за сей новый не прогнѣваетесь.

## ПРИКАЗЪ И. Н. СКОБЕЛЕВА И ЕГО ОТВѢТЪ НА ЗАПРОСЪ ГЕНЕРАЛА ША- ЛАШНИКОВА.

*Приказъ по резервной пѣхотѣ.*

Г. Нижній-Новгородъ. Сентября 12-го 1840 года. № 35.

Осматривая арестантовъ, на главной гауптвахтѣ здѣсь и въ Пензѣ содержащихся, нашель я, что всѣ судимые за кражу и въ подозрѣннн смертоубійства крайне огорчены: тяжкое горе разительно отражается на лицѣ каждаго изъ нихъ, и каждый очевидно отягченъ или раскаяніемъ или дѣйствительно, по словамъ ихъ, невиннымъ оклеветаніемъ.

Напротивъ того, всѣ дезертиры глядятъ весело, бодро, покойно, съ улыбкою, и гнусная, поправшая вѣру душа клятвопреступныхъ измѣнниковъ ликуеть какъ бы на пиру. Чтобы соблазну этому дать приличное исправленіе, предписываю, отнынѣ впредь, всѣмъ пойманнымъ изъ бѣговъ и содержащимся подъ стражей, во время судопроизводства, еженедѣльно, въ день субботній, давать по 25 лозановъ, въ счетъ тѣхъ ударовъ, которые будутъ имъ опредѣлены при рѣшеніи ихъ участи; въ каковое время неупустительно полученные лозаны вычитать по словицѣ: «долгъ платежомъ красенъ».

Въ ссудѣ этой двѣ пользы: преступнику будетъ легче въ рѣшительную минуту, а мнѣ будетъ веселѣе думать, что измѣнвшіе, подъ моимъ начальствомъ, присягѣ—не смѣются. Кто не уважаетъ религіи, не признаетъ въ Царѣ благодѣтеля и отца, а въ родной намъ Россіи нѣжной матери, тому радоваться нечему.

Подлинный подписалъ генераль-лейтенантъ Скобелевъ.



*Начальнику штаба отдельнаго корпуса внутренней стражи 1-му генералъ-лейтенанту Шалашикову.*

Инспектора резервной пѣхоты. Г. Нижній - Новгородъ. Февраля 24 д. 1841 г. № 68.

На отношеніе отъ вашего превосходительства отъ 19 сего Февраля за № 2773, имѣю честь увѣдомить, что приказъ 12 Сентября 1840 года отданъ былъ мною, по расчету страстей, въ различныхъ слабостяхъ людей отражающихся. Природа пестра и своеобразна, всѣ смертные рождаются и образуются не по изданнымъ образцамъ, но по ея непостижимой намъ воли. Посему, чтобы съ успѣхомъ дѣйствовать на нравственность грѣшныхъ (что составляетъ мою обязанность) и съ успѣхомъ производить спасительное вліяніе на ихъ понятія, — по вышесказанному расчету пришлось: одному доброе слово, другому полновѣсная дубина; на умнаго дѣйствуетъ первое, на дурака послѣдняя. Посреди сихъ дѣйствій, чтобы огрочить, такъ сказать, преступныхъ дѣтей отечества, подъ стражей содержащихся, и устрашить въ лѣсу блудящихъ, я отдалъ приказъ безъ различія ко всѣмъ. Дѣйствовалъ онъ только двѣ недѣли, а пользы произвелъ неисчислимыя. Поступокъ мой не согласованъ съ законами, за то и обращенъ былъ къ незаконнымъ, скажу болѣе, къ людямъ варварскимъ, вреднымъ обществу, и по сему извиненъ начальствомъ и Государемъ Императоромъ.

На подлинномъ подписалъ: *Генералъ-лейтенантъ Скобелевъ.*

Сообщилъ А—ъ Л—дъ.

## КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАСКИЙ О РУССКИХ ФИНАНСАХЪ.

---

### 1. Письмо къ министру финансовъ \*).

Спѣшу, въ отвѣтъ на письмо вашего высокопревосходительства отъ сего 14-го Декабря, представить прилагаемую при семъ краткую записку. Не могу не выразить при этомъ, сколько я заранѣе убѣжденъ въ ея недостаточности: человекъ, десять лѣтъ находившемуся не у дѣлъ и привыкшему ограничивать свой кругозоръ тѣсною сферою домашнихъ и ближайшихъ земскихъ интересовъ, слишкомъ трудно судить о столь важномъ предметѣ съ необходимымъ знаніемъ дѣйствительнаго нынѣ положенія финансовъ государства. Тѣмъ не менѣе я счелъ себя не въ правѣ не дать, по мѣрѣ крайняго разумѣнія, послышнаго отвѣта на предложенный вашимъ высокопревосходительствомъ вопросъ.

Примите, милостивый государь, увѣреніе въ томъ искреннемъ уваженіи и совершенной преданности, съ которыми я имѣю честь быть вашего высокопревосходительства и пр.

Москва,  
18-го Декабря 1876 года.

### 2. Записка.

Встрѣчая, послѣ долговременнаго періода мирнаго развитія, грозу военныхъ событій, государства, для покрытія новыхъ расходовъ, обыкновенно прибѣгаютъ и къ мѣрамъ чрезвычайнымъ, почерпая необходимыя средства или во всѣхъ этихъ чрезвычайныхъ ресурсахъ единовременно, или по преимуществу въ тѣхъ изъ нихъ, которые наиболее согласуются съ особеннымъ свойствомъ финансоваго устройства и управления страны. Такимъ образомъ они обыкновенно обращаются:

---

\*) Сличить во 2-й книгѣ Р. Архива сего года, стр. 334. П. Б.

къ возвышенію существующихъ и учрежденію новыхъ налоговъ, къ заключенію новыхъ долгосрочныхъ займовъ, къ расширенію неотвержденнаго долга, dette flottante, или, наконецъ, къ неприкосновенному военному фонду, гдѣ онъ есть.

1) Въ теченіи послѣднихъ ею веденныхъ войнъ, Англія неизмѣнно прибѣгала къ первому изъ указанныхъ способовъ и немедленно возвышала размѣръ подоходнаго налога. Франція, въ Франко-Германскую войну, установила между прочимъ цѣлый рядъ временныхъ налоговъ, изъ коихъ нѣкоторые могли бы найти себѣ извѣстное примѣненіе и у насъ. Наше правительство, въ видахъ обезпеченія себя золотомъ и огражденія вмѣстѣ съ тѣмъ народной промышленности отъ иноземной конкуренціи, уже приняло вполнѣ своевременную мѣру касательно уплаты таможенныхъ пошлинъ золотою монетою. Можно было бы указать еще и нѣкоторые другіе источники новыхъ доходовъ, какъ напримеръ возвышеніе всѣхъ прямыхъ въ Имперіи и Царствѣ Польскомъ налоговъ, не по числу ревизскихъ душъ исчисляемыхъ, соотвѣтственно нынѣ обнаружившемуся упадку ассигнаціоннаго курса. Но письмо г. министра финансовъ ограничиваетъ предложенную имъ задачу изысканіемъ, для веденія войны, средствъ, и *весьма значительныхъ*, поступленіе которыхъ было бы обезпечено въ *скоромъ* времени. Очевидно поэтому, что вопросъ о налогахъ, какъ о средствѣ второстепенномъ и служащемъ лишь къ болѣе медленному пополненію государственной казны, изъемлется изъ обсужденія.

Да будетъ позволено однако выразить надежду, что, при установленіи новыхъ временныхъ налоговъ, устранятся всѣ тѣ мѣры, которыя, не обѣщая немедленныхъ весьма значительныхъ ресурсовъ, могутъ однако въ будущемъ еще болѣе затруднить и безъ того трудное, такъ долго откладывавшееся и такъ настойчиво требуемое общественнымъ мнѣніемъ, коренное преобразованіе системы нашихъ прямыхъ налоговъ.

Заключеніе новыхъ долгосрочныхъ государственныхъ займовъ представляется конечно съ перваго взгляда мѣрою наиболѣе естественною; но примѣненіе ея состоитъ въ полной зависимости отъ возможности ея дѣйствительнаго осуществленія. Министерство Финансовъ вѣроятно уже дѣлало попытки къ подготовленію заграничнаго долгосрочнаго займа. Результаты этихъ попытокъ должны служить лучшимъ мѣриломъ для опредѣленія возможности или невозможности дальнѣйшаго движенія дѣла въ этомъ направленіи.

2) Что касается до долгосрочныхъ займовъ внутреннихъ, то они, по всѣмъ вѣроятіямъ, окажутся въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ

возможными. Но правильное осуществленіе ихъ требуетъ во всякомъ случаѣ соблюденія нѣкоторыхъ условій, а именно:

а). Поколебленный нынѣ внутренній торговый и промышленный рынокъ долженъ прежде всего быть съ полною рѣшительностію поддержанъ и подкрѣпленъ правительствомъ. Въ этихъ видахъ, финансовое управленіе должно-бы, по соглашенію со всѣми достойными довѣрія частными и общественными банками и посредствомъ расширенія кредита, имъ оказываемаго Государственнымъ Банкомъ, принять неотложно-нужныя мѣры къ облегченію ихъ дѣятельности и къ общему пониженію дисконта. Деньги, хотя бы посредствомъ новыхъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ, на означенную цѣль предназначенныхъ, должны оживить тотъ застой, въ которомъ нынѣ находятся всѣ дѣла и безъ прекращенія котораго нельзя ничего ожидать въ будущемъ. Съ другой стороны, съ сокращеніемъ военнаго движенія на нашей сѣти желѣзныхъ дорогъ, Министерствомъ Путей Сообщенія должны быть приняты надлежащія мѣры не только къ возстановленію прежняго торговаго движенія на желѣзныхъ дорогахъ, но главнымъ образомъ къ такъ давно и такъ тщетно ожидаемому его улучшенію, посредствомъ пониженія тарифовъ, устраненія вредныхъ перегрузокъ, введенія обязательной для желѣзныхъ дорогъ срочности доставки грузовъ и, буде необходимо, усиленія подвижнаго состава. Всѣ эти мѣры должны имѣть главнымъ образомъ въ виду возможное облегченіе и усиленіе хлѣбнаго вывоза за границу по желѣзнымъ дорогамъ, безъ чего трудно возстановить прочнымъ образомъ благопріятное настроеніе нашего внутренняго рынка. Особенно же необходимы этѣ мѣры, если Россіи можетъ, хотя самымъ отдаленнымъ образомъ, грозить морская блокада.

б). Совершенно необходимо также немедленно принять мѣры къ возможному сокращенію выпуска закладныхъ листовъ, какъ городскими кредитными учрежденіями, такъ въ особенности земельными банками. Для тѣхъ и другихъ выпусковъ необходимо установить на время войны извѣстный *maximum*, далеко ниже того, который былъ установленъ бывшими сѣздами земельныхъ банковъ, тѣмъ болѣе, что послѣдніе сѣзды не удовольствовались даже тѣмъ весьма высокимъ высшимъ размѣромъ, который былъ назначенъ на первомъ сѣздѣ 1873 года. Если выпускъ закладныхъ листовъ городскихъ кредитныхъ обществъ и земельныхъ банковъ не будетъ положительно и строго ограниченъ, то торговый рынокъ будетъ постоянно находиться подъ грозою чрезмѣрнаго наплыва бумагъ; а правительство, при выпускѣ своихъ внутреннихъ займовъ, всегда найдетъ въ этихъ учрежденіяхъ опаснаго и невыгоднаго конкурента, предлагающаго капиталистамъ болѣе или менѣе вѣрное помѣщеніе за уплату огромныхъ процентовъ.

в). Порядокъ объявленія подписки на внутренніе займы долженъ быть окруженъ всеми возможными предосторожностями. Казалось-бы, что къ ближайшему его обсужденію могли-бы быть предварительно приглашаемы лучшіе представители солиднѣйшихъ изъ банковъ.

3). *Неотвержденный внутренний долг* нашъ заключается главнымъ образомъ въ билетахъ Государственнаго Казначейства и кредитныхъ билетахъ. Выпускъ тѣхъ и другихъ достигъ уже громаднхъ размѣровъ. Излишне было бы распространяться здѣсь объ опасности такого положенія и о причинахъ къ нему приведшихъ, тѣмъ болѣе, что онѣ вѣроятно не могутъ быть вполнѣ оцѣнены человекомъ, не несшимъ на себѣ отвѣтственнаго бремени управленія отечественныхъ финансовъ.

Обращаясь къ билетамъ Государственнаго Казначейства или такъ называемымъ серіямъ, слѣдуетъ замѣтить, что если количество ихъ, нынѣ находящееся въ обращеніи, можетъ подлежать нѣкоторому дальнѣйшему увеличенію, то объ этомъ можно судить съ основательностію главнымъ образомъ по ближайшемъ и точномъ соображеніи размѣра и порядка ихъ прилива въ настоящее уже время въ кассы Казначейства, въ уплату податей. Если приливъ этотъ начался, что частнымъ лицамъ остается неизвѣстнымъ, то тщетно было бы прибѣгать къ дальнѣйшему выпуску серій на старыхъ основаніяхъ.

Затѣмъ, въ случаѣ войны, правительству едва ли окажется возможнымъ избѣгать усиленнаго выпуска новыхъ кредитныхъ билетовъ для чисто-военныхъ цѣлей, сколь ни вреденъ и ни опасенъ подобный выпускъ. Эта бѣдственная операція, къ сожалѣнію, такъ проста, что едва ли нужно относительно ея много распространяться. Необходимо однако упомянуть, что съ каждымъ выпускомъ новыхъ кредитныхъ билетовъ на сумму примѣрно до ста милліоновъ рублей долженъ неизбежно и необходимо слѣдовать внутренней заемъ для возможно-быстраго поглощенія выпущенной новой массы билетовъ. Такіе послѣдовательно объявляемые займы представляются единственно-возможнымъ и существенно-необходимымъ предохранительнымъ средствомъ противъ полнаго обезцѣненія кредитнаго рубля и неизбѣжныхъ послѣдствій этого грознаго явленія.

Постепенное открытіе внутреннихъ займовъ вслѣдъ за усиленнымъ выпускомъ кредитныхъ билетовъ представляется столь необходимымъ, что если бы, паче чаянія, благополучный исходъ простаго внутренняго займа, въ родѣ послѣднихъ - состоявшагося, былъ сомнителенъ, въ такомъ крайнемъ случаѣ оказалось бы, на нашъ взглядъ, менѣе вреднымъ даже допустить новый выигрышный заемъ, чѣмъ мириться съ безграничнымъ выпускомъ кредитныхъ билетовъ безъ постепенна-

го ихъ вслѣдъ за тѣмъ изытія изъ обращенія и сожженія. Между тѣмъ желательно было бы конечно, независимо отъ всѣхъ вышеуказанныхъ формъ воспособленія Государственному Казначейству, указать еще другой какой либо дополнительный видъ кредитной операціи, представляющей сколько нибудь нормальный характеръ. Цѣлю ея должно быть подготовленіе за границею возможно-большаго металлическаго запаса, преимущественно для покрытія расходовъ по уплатѣ процентовъ государственнаго долга, безъ истощенія наличныхъ въ Россіи металлическихъ средствъ, а также для уплаты за границею по тѣмъ заказамъ, которые могутъ быть вызваны потребностями Военнаго Министерства и нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

Недовѣріе, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ отчасти искусственно-возбужденное за границею, лишаетъ по видимому правительство надежды заключить нынѣ значительный внѣшній долгосрочный заемъ. Тѣмъ не менѣе позволительно думать, что не въ равной степени встрѣтились бы препятствія къ заключенію займа *кратко-срочнаго металлическаго*, если бы онъ былъ распределенъ на серіи, если бы по немъ были назначены сравнительно-высокіе проценты и если бы владельцамъ краткосрочныхъ металлическихъ билетовъ Государственнаго Казначейства, независимо отъ уплаты имъ капитала въ металлъ въ опредѣленный непродолжительный срокъ, была бы обезпечена казною еще возможность, даже до истеченія этого окончательнаго срока уплаты, вносить свои билеты въ Государственное Казначейство алрагі, въ уплату по нѣкоторымъ специальнымъ отраслямъ казенныхъ доходовъ, которые такимъ косвеннымъ путемъ послужили бы какъ бы вещественнымъ залогомъ исправнаго исполненія правительствомъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ.

*Сроки* должны быть рассчитаны такимъ образомъ, чтобы: во 1-хъ окончательный срокъ погашенія металлическихъ билетовъ Государственнаго Казначейства могъ наступить не ранѣе, какъ по совершенномъ прекращеніи войны и истеченіи, вслѣдъ за тѣмъ, еще дополнительнаго періода времени, вполне достаточнаго для возстановленія государственнаго кредита за границею и заключенія новаго долгосрочнаго металлическаго займа, предназначаемаго на уплату металлическаго долга краткосрочнаго; во 2-хъ, что касается до срока, по истеченіи котораго могъ бы быть допущенъ взносъ металлическихъ билетовъ Государственнаго Казначейства въ уплату по нѣкоторымъ специальнымъ казеннымъ поступленіямъ, то онъ не долженъ наступить ранѣе совершеннаго окончанія ожидаемой нынѣ войны и истеченія еще нѣкотораго дополнительнаго періода отдохновенія.

По нашему мнѣнію, первый изъ сихъ сроковъ могъ бы быть опредѣленъ шестилѣтній, а второй трехлѣтній.

За тѣмъ слѣдуетъ опредѣлить тѣ *казенныя поступления*, въ счетъ которыхъ можетъ быть допущенъ взносъ металлическихъ билетовъ.

По нашему мнѣнію, казенныя поступления эти могутъ быть двоякого рода: текуція и чрезвычайныя.

Къ первымъ слѣдовало бы отнести уплату таможенныхъ пошлинъ въ замѣнъ уплаты ея золотомъ; ко вторымъ взносы при покупкѣ съ публичныхъ торговъ назначаемыхъ въ продажу казенныхъ имуществъ. Подъ этимъ названіемъ слѣдуетъ разумѣть всѣ безъ изъятія лѣса въ Царствѣ Польскомъ, съ подчиненіемъ ихъ при этомъ необходимымъ условіямъ правильной эксплуатаціи, а равно всѣ оставшіеся еще за казною въ Царствѣ Польскомъ заводы, оброчныя статьи и прочія недвижимыя имущества не-необходимыя для правительственныхъ цѣлей; при чемъ, въ видахъ предупрежденія злонамѣренныхъ разсужденій заграничной печати, было бы полезно приобщить къ нимъ и нѣсколько казенныхъ статей въ Россіи, отчужденіе которыхъ можетъ оказаться или безвреднымъ или даже, быть можетъ, почему либо желательнымъ. Само собою разумѣется, что, въ этихъ видахъ, должно бы быть предварительно обнаружено высочайшее повелѣніе, вмѣняющее Министерству Финансовъ въ обязанность немедленно составить опись всѣхъ тѣхъ имуществъ, которыя подлежали бы на этомъ основаніи отчужденію, распубликовать ее въ возможно-скоромъ времени и открыть самую продажу не далѣе, какъ черезъ три года \*).

Наконецъ, что касается до размѣра *процентовъ* по предлагаемымъ металлическимъ билетамъ Государственного Казначейства, то онъ долженъ быть рассчитанъ такъ, чтобы этѣ билеты могли быть выпускаемы *à pari* по нарицательной ихъ цѣнѣ, за вычетомъ лишь, въ

---

\*) Мѣра эта, облегчая казнѣ въ настоящую минуту добытіе необходимыхъ ей ресурсовъ, представляетъ вѣстѣ съ тѣмъ совершенно-необходимое въ политическомъ отношеніи дополненіе къ тому ряду мѣръ, которыя относительно Привислянскаго края были предпринимаемы съ 1864 года.

Рѣшительное и безповоротное приведеніе ея въ исполненіе обезсилитъ въ значительной мѣрѣ, и при томъ на всегда, всѣ къ сожалѣнію не-невозможныя еще въ будущемъ попытки отторженія Польши, буди то въ видахъ національнаго самостоятельнаго ея возрожденія, либо въ видахъ приобщенія ея, сплона или частями, къ которой нибудь изъ соедѣнныхъ державъ: ибо полное упраздненіе всѣхъ коронныхъ имуществъ Польши лишитъ революцію, въ случаѣ даже временнаго успѣха, важнаго первоначальнаго ресурса, изъ котораго она моглабы многое извлечь, и заставить всѣхъ, кто бы ни захотѣлъ завладѣть этимъ краемъ, довольствоваться одними лишь правильными податными его силами, не рассчитывая ни на какія всегда соблазнительныя, чрезвычайныя мѣстныя средства.

необходимыхъ случаяхъ, банкирской комиссіи и другихъ тому подобныхъ необходимыхъ мелкихъ расходовъ. Уплата по нимъ процентовъ за границу должна быть обеспечена во всѣхъ главнѣйшихъ торговыхъ городахъ Европы. При этомъ нельзя конечно не замѣтить, что для будущности государственнаго кредита менѣе вредно присвоеніе сравнительно-высокаго процента металлическимъ билетамъ Государственнаго Казначейства, выпускаемымъ на короткій срокъ, чѣмъ непомѣрное возвышеніе процентовъ по займу долгосрочному.

Какъ бы то ни было, позволительно надѣяться, что, при совокупности вышеуказанныхъ условій, окажется не-невозможнымъ постепенно размѣщать означенные билеты въ довольно обширныхъ размѣрахъ, если не на всѣхъ Европейскихъ рынкахъ, то по крайней мѣрѣ на нѣкоторыхъ изъ нихъ, издавна наиболѣе Россіи благоприятныхъ, на примѣръ въ Голландіи. Они, быть можетъ, способны сдѣлаться также самостоятельнымъ средствомъ расплаты по разнымъ заграничнымъ казеннымъ заказамъ \*).

4). Наконецъ, военный запасный фондъ, этотъ спеціальнѣйшій рычагъ Прусской администраціи, у насъ повидимому не существуетъ. Тѣмъ не менѣе въ желѣзно-дорожномъ фондѣ и нѣкоторыхъ другихъ спеціальныхъ кассахъ могутъ оказаться нѣкоторые особенные ресурсы, какъ-то: либо выпущенныя, но оставленныя отчасти правительствомъ за собою желѣзно-дорожныя облигаціи, либо спеціальныя капиталы разныхъ вѣдомствъ, либо даже, наконецъ, быть можетъ, неразмѣщенные еще остатки старыхъ займовъ.

Вѣроятно въ настоящую минуту оказалось бы невозможнымъ помѣстить немедленно и окончательно всѣ тѣ изъ означенныхъ бумагъ, которыя могутъ находиться въ полномъ распоряженіи правительства. А если бы это и было возможно, то несомнѣнно однакоже, что правительство едва ли въ правѣ завладѣть самопроизвольно и окончательно распорядиться спеціальными средствами отдѣльныхъ вѣдомствъ, всегда сопряженными съ общественными неотложными потребностями, имъ самимъ признанными. Тѣмъ не менѣе, въ виду чрезвычайныхъ обстоятельствъ и несомнѣнныхъ кредитныхъ затрудненій настоящей минуты, казалось бы позволительнымъ временно позаимствовать хотя нѣкоторые изъ вышеуказанныхъ капиталовъ для полученія отъ заграничныхъ банкировъ, подъ ихъ залогъ и на опредѣленный срокъ, бо-

---

\*) Металлическіе билеты Государственнаго Казначейства проникнуть вѣроятно и въ Берлинъ и въ Парижъ. Во Франціи, какъ слышно, публика, напуганная Турецкими бумагами, охотно нынѣ покупаетъ старыя Русскія бумаги. Но важно было бы, какими либо косвенными и личными мѣрами, побѣдить нерасположеніе дома Ротшильдовъ.



лѣе или менѣе значительной ссуды металломъ. Операція эта могла бы быть произведена примѣнительно къ порядку вышеизложенному для выпуска металлическихъ билетовъ Государственнаго Казначейства. По окончаніи войны, принадлежація спеціальнымъ вѣдомствамъ и заложеныя бумаги подлежатъ конечно немедленному выкупу и непремѣнному возвращенію по принадлежности. При томъ само собою разумѣется, что къ такой крайней мѣрѣ возможно приступить лишь въ случаѣ крайней же необходимости.

### ПИСЬМО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА КЪ ЕГО РОДИТЕЛЮ О ПОСТРОЕНІИ ХРАМА ХРИСТУ СПАСИТЕЛЮ ВЪ МОСКВѢ <sup>1)</sup>.

Ваше высокоблагословеніе! Любезнѣйшій родитель!

Наконецъ посылаю вамъ и Духовную <sup>2)</sup>, хотя, можетъ быть, не нужна уже. Здѣсь она многимъ понравилась: почему и напечатана вторично въ здѣшней Синодальной Типографіи, а сверхъ того и въ журналѣ *Сынъ Отечества*.

Извѣстно вамъ, что Государь Императоръ принялъ намѣреніе создать въ Москвѣ храмъ Христу Спасителю въ память спасенія Отечества отъ нечестиваго врага. Теперь сочиняются планы для сего зданія, и между прочими присланъ сюда одинъ сдѣланный нѣкоторымъ дворяниномъ съ образа храма видѣннаго имъ во снѣ, еще прежде Государева указа о храмѣ Московскомъ. К. А. Н. <sup>3)</sup> неоднократно требовалъ моихъ мыслей о внутреннемъ устроеніи предполагаемаго храма

<sup>1)</sup> Достопамятное письмо это доставлено намъ наследниками покойнаго святителя. Оно писано вслѣдъ за изгнаніемъ непріятеля изъ Россіи. Филаретъ написалъ и благодарственное молебствіе по поводу этого событія. Письмо войдетъ въ составъ особой книги, въ которой собраны будутъ письма митрополита Филарета къ его роднымъ. Читатели знаютъ, что отецъ его былъ Коломенскимъ соборнымъ протоіеремъ. Обращаемъ вниманіе нашихъ храмоздателей на то, что здѣсь сказано объ устроеніи иконостаса. Особенности соборнаго Коломенскаго иконостаса, предъ которыми въ дѣтствѣ своемъ молился Филаретъ, намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстны. Можетъ быть, кто-нибудь изъ читателей Русскаго Архива въ городѣ Коломнѣ одолжитъ насъ разъясненіемъ. П. Б.

<sup>2)</sup> Говорится про завѣщаніе не авдологъ передъ тѣмъ умершаго Московскаго митрополита Платона. П. Б.

<sup>3)</sup> Оберъ-прокуроръ Синода, князь А. Н. Голицынъ. П. Б.

(что да будетъ между нами); и я, между прочимъ, открылъ ему свои мысли о несовершенствѣ иконостасовъ по новѣйшему образу строенія, которые, будучи малы и скудны, противорѣчатъ мысли величія, которую долженъ бы подавать алтарь. Но какъ здѣсь не вижу я ни одного иконостаса, въ которомъ бы съ огромностію соединена была правильность и красота соответствующая вкусу нынѣшняго времени, и который бы могъ объяснить и оправдать мою мысль: то желалъ бы имѣть рисунокъ иконостаса Коломенскаго Собора, буде таковой рисунокъ найдется у васъ готовый. Но если готоваго нѣтъ, то не трудитесь дѣлать: ибо хорошій дорого станетъ, а пехоршій не достигнетъ цѣли. Тѣ, кому нужно сіе, могутъ исполнить сами, если предубѣжденіе въ пользу новаго не стѣснить свободы сужденія.

Ф. 24. 1813.

#### ЗАМѢТКА КЪ ПИСЬМАМЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА.

*Русскій Архивъ* 1882. I. стр. 130. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что буквы *Я. И.* означаютъ не князя Я. И. Лобанова-Ростовскаго, который въ то время былъ генералъ-губернаторомъ въ Малороссіи, а *Якова Ивановича де Санглена* (р. 1776, ум. 1-го Апрѣля 1864). Въ письмѣ № 6 есть даже игра словъ (*Sanguin*), прямо относящаяся къ Санглену.

Сангленъ былъ, въ 1812 г., правителемъ Особенной Канцеляріи Министра Полиціи (Балашова); 22 Марта 1812 (черезъ пять дней послѣ высылки Сперанскаго), онъ пожалованъ орденомъ Св. Анны 2-й степени, потомъ отправленъ былъ, въ званіи оберъ-гевальдигера, въ армію Барклая де Толли.

Кн. А. Л. - Р.

\*

Замѣтка эта сначала появилась было во 2 й книгѣ *Русскаго Архива*; неисповѣдьямая судьба, постигшая статью, которая ей предшествовала, заставили перепечатать въ-сколько листовъ, отчего этой замѣткѣ не оказалось больше мѣста. *Sapienti sat.* П. Б.

## ИЗЪ СТИХОТВОРЕНІЙ ПИСАННЫХЪ ВЪ КРЫМСКУЮ ВОЙНУ.

### I.

#### Русь и Западъ.

Когда въ предѣлы Палестины,  
Неся огня и смерти адъ,  
Свирѣпо вторглись Сарацѣны  
И ворвались въ священный градъ,  
И прахъ страны обѣтованья,  
И храмъ святой, и Гробъ Христовъ  
Тогда достались въ поруганье  
Толпѣ суровыхъ пришлецовъ.

\*

Прошли вѣка со дня плѣненья,  
И къ рубежу священныхъ мѣстъ  
Никто не шелъ на избавленье,  
И только новаго гоненья  
Послалъ имъ Богъ тяжелый крестъ.  
Послалъ на чадъ Христовой вѣры  
Онъ племя новыхъ мусульманъ,  
И мукамъ ихъ не стало мѣры,  
И все низвергъ, попралъ Коранъ.....

\*

Тогда изъ стѣнъ Ерусалима  
Стыдомъ и ужасомъ гонимъ,  
Въ предѣлы царственного Рима  
Явился нѣкій пилигримъ.

Огонь наитія святаго  
 Горѣлъ у странника въ глазахъ,  
 И съ скорбной вѣстью горя злаго,  
 Къ стопамъ намѣстника Петрова  
 Онъ палъ въ стenanьяхъ и слезахъ.

\*

Онъ говорилъ, что зрѣлъ видѣнье,  
 Что съ неба гласъ къ нему сошелъ  
 И возвѣстилъ, что день спасенья  
 Страны Сіонскія пришелъ;  
 Что волю Вышняго Владыки  
 Сей тайный гласъ открылъ предъ нимъ:  
 Да ополчатся всѣ языки  
 И двинуть рать въ Ерусалимъ,

\*

И повелѣлъ, да возвѣстится  
 Его святая воля та  
 Вездѣ, гдѣ гробъ Господень чтится,  
 Гдѣ вѣрятъ въ Господа Христа;  
 Да знаютъ всѣ о поруганьи  
 Обѣтованныя страны  
 И придутъ въ гнѣвъ и содроганье  
 Христовы вѣрные сыны.

\*

И рекъ Апостольскій намѣстникъ,  
 Смущенный вѣстію святой:  
 „Иди жъ ты въ путь, Господень вѣстникъ“.  
 И онъ пошелъ въ путь дальній свой.  
 И шелъ онъ отъ моря до моря,  
 Переходилъ изъ града въ градъ,  
 Всѣмъ возвѣститъ святое горе  
 И ополчить Христовыхъ чадъ.

\*

И слово странника-витіи  
 Отъ снѣжныхъ Альпъ до Пириней,  
 Отъ Рейнскихъ струй до Византіи

Съзвало нищихъ и царей  
 Подвигнуть мечъ за Божье дѣло.  
 И какъ торжественный набатъ  
 Оно надъ міромъ прогремѣло:  
 Все поднялось, все закипѣло,  
 Все шло спасать священный градъ.

\*

И содрогнулись Сарацины  
 Предъ ополченіемъ святымъ,  
 И крестоносцы-паладины  
 Взошли въ святой Ерусалимъ.  
 И что жъ?.....

Для подвига святаго  
 Для цѣлей чистыхъ, неземныхъ  
 Была душа въ нихъ не готова,  
 Не чисто сердце было въ нихъ.

\*

Душъ ихъ было слишкомъ много  
 Стремленій суетныхъ дано,  
 И жить для міра и для Бога  
 Они хотѣли заодно:  
 Чтя древній рыцарскій обычай,  
 Они землей страны святой,  
 Какъ бранной прибыльной добычей,  
 Дѣлились шумно межъ собой.

\*

Но Тотъ, Кто изгналъ дерзновенныхъ,  
 Во храмъ пришедшихъ, торжниковъ,  
 Исторгъ изъ рукъ непосвященныхъ  
 Священный прахъ и Гробъ Христовъ,  
 Закрывъ врата святаго храма  
 Предъ ополченіемъ святымъ,  
 И вновь поборники Ислама  
 Взошли въ святой Ерусалимъ.

\*

И долго, праздные душою,  
Ища добычи и войны,  
Одною силой, просто съ бою  
Вновь овладѣть святой землею  
Пытались Запада сыны.  
Но духъ геройскихъ предпріятій  
Въ нихъ понемногу унялся,  
И роду новому занятій  
Степенный Западъ предался.

\*

Въ чаду текущихъ дѣлъ, привычныхъ,  
Въ пылу промышленныхъ тревогъ,  
Подъ шумъ и громъ машинъ фабричныхъ,  
Подъ свистъ желѣзныхъ тѣхъ дорогъ,  
Въ мірскомъ и суетномъ волненіи,  
Забыли Запада сыны  
О святотатственномъ плѣненіи  
Обѣтованна страны.

\*

Но, чуждый споровъ и волненій,  
И гордыхъ Запада заботъ,  
Вдали, въ святомъ уединеніи,  
Жилъ юный, дѣвственный народъ.  
Сосѣдей распри и печали,  
Мірскихъ утѣхъ и блескъ, и шумъ  
Его души не волновали,  
И долго, долго не смущали  
Его величественныхъ думъ.

\*

Дичился онъ вступить въ ихъ сферу,  
Въ міръ гордыхъ думъ и гордыхъ дѣлъ,  
И только пламенную вѣру  
Себѣ въ смиренный взялъ удѣлъ.  
И съ дѣтской сердца простотою,  
Онъ весь, онъ весь отдался ей,  
Всѣмъ сердцемъ, всей своей душою  
И всею мыслию своей.

\*

И корни всѣ духовной гнили,  
 Все, что нечисто было въ немъ,  
 На лонѣ вѣры, какъ въ горнилѣ,  
 Сожглось божественнымъ огнемъ.  
 Свое предчувствуя призванье,  
 Свой умъ отъ міра отчудя,  
 Хранилъ онъ долгое молчанье,  
 Замкнувшись тихо самъ въ себя.

\*

И думъ своихъ безбрежныхъ въ море  
 Проникъ душой онъ глубоко,  
 И злымъ врагамъ своимъ на горе,  
 Въ своей равнинѣ, на просторѣ,  
 Разросся вольно, широко.  
 Вокругъ него все измѣнялось,  
 Кипѣло, жило и жилось,  
 И жадно жизнью наслаждалось.  
 А онъ въ тиши все росъ, да росъ.

\*

Проросъ слои лѣсовъ дремучихъ,  
 Проросъ Уралъ, проникъ въ Сибирь,  
 И вдругъ избытокъ силъ могучихъ  
 Въ себѣ почувялъ богатырь.  
 Почувялъ онъ, что часъ священный,  
 Часъ славныхъ дѣлъ его насталъ,  
 И вдругъ предъ Западъ изумленный  
 Могучъ и грозенъ онъ предсталъ.

\*

И съ той поры, съ кѣмъ онъ ни спорилъ,  
 Куда во гнѣвъ ни шагнулъ,  
 Вездѣ стопамъ могучимъ вторилъ  
 Побѣдъ и славы грозный гулъ.  
 И въ грозный споръ борьбы неравной  
 Готова Русь опять вступить:  
 Приходить часъ нашъ подвигъ главный,  
 Нашъ высшій подвигъ совершить.

\*

Сей подвигъ славный, подвигъ повый,  
 Самъ Царь внушилъ внезапно намъ:  
 Во славу церкви онъ Христовой  
 Велѣлъ идти въ походъ крестовый  
 Своимъ воинственнымъ сынамъ.  
 И зову царскому внимая,  
 Сознавъ призваніе свое,  
 Подвиглась грозно Русь святая...

\*

Но кто же, за одно съ Стамбуломъ,  
 Вперилъ на насъ взоръ робкій свой;  
 Кто славы Русской новымъ гуломъ  
 Смущенъ, какъ вѣстью роковой?  
 Смутился Западъ утомленный  
 И, вспомнивъ Русскую мятель,  
 Французъ смутился просвѣщенный,  
 Смутился людъ полукрещенный  
 Германскихъ маленькихъ земель.

\*

Ты, Альбіонъ, гроза вселенной,  
 Властитель царственный морей,  
 И ты, тоскою злой терзаемъ,  
 На время гордость усмирилъ,  
 Когда внезапно надъ Дунаемъ  
 Орелъ двуглавый воспарилъ,  
 И флотъ невѣрныхъ при Синопѣ  
 Огнемъ неожиданнымъ запылалъ,  
 И ахнулъ міръ, и по Европѣ  
 Предсмертный трепеть пробѣжалъ.

\*

Твои граждане приуныли  
 И въ сердцахъ съ вѣщею тоской  
 И съ безпокойствомъ устремили  
 Взоръ хитрый и пытливый свой  
 Къ предѣламъ дряхлаго Востока.  
 И страхъ ревнивый ихъ томить,  
 Что слишкомъ быстро и далеко  
 Орелъ двуглавый залетитъ.

\*



И вотъ кричатъ они, что время  
 Пришло отпоръ намъ строгій дать.  
 Что наглыхъ Скивовъ злое племя  
 Пора унять и наказать;  
 Что плѣна, рабства и насилья  
 Готовимъ мы для міра бичъ,  
 И что давно бы надо крылья  
 Орлу двуглавному подстричь.

\*

Что подъ святой личиной брани  
 За угнетенныхъ христіанъ  
 Своихъ земель раздвинуть грани  
 Задумалъ Русскій великанъ,  
 Что интересъ насъ движеть личный,  
 Не чувствъ высокихъ благодать.....  
 Британцы, вы народъ фабричный.  
 Вамъ безкорыстья не понять!

\*

Къ чему жъ такъ громко вы кричите,  
 Что Грековъ вольность, славу, честь  
 Вы вашей грудью отстоите?  
 Кого увѣрить вы хотите,  
 Что совѣсть въ васъ и правда есть?  
 Что нужды вамъ до слезъ народныхъ?  
 Племень униженныхъ нрава  
 Смѣшны для лордовъ благородныхъ.  
 Какъ сказки брошенной слова.

\*

Ужель вы только для холодныхъ  
 Аферъ и счетовъ рождены,  
 Вы ль крестопосцевъ благородныхъ.  
 Свободныхъ рыцарей сыны?  
 Ужель потомки вы Ричарда?  
 Ужель не въ шутку братья вы  
 Того таинственнаго барда.  
 Любимца гордаго молвы.  
 Чья пѣснь, какъ ропотъ отдаленный,

Чей вдохновенный, мощный гласъ,  
 Какъ вихрь промчался надъ вселенной  
 И все смутилъ, и все потрясъ.

\*

Чья пѣснь мила и Руси снѣжной,  
 И знойнымъ Запада странамъ,  
 Чей взоръ горѣлъ любовью нѣжной  
 Ко всѣмъ живущимъ племенамъ;  
 Кто въ жаркомъ сердцѣ упованье  
 Въ соединенье ихъ носилъ,  
 И юной Греціи возстанье  
 Свободной пѣснью огласилъ?

\*

Пѣвецъ измученный, несчастный,  
 Зачѣмъ ты пѣлъ, къ чему ты жилъ?  
 Ты всѣ дары души прекрасной  
 Въ своей отчизнѣ загубилъ!  
 Твоей душѣ высокой, сильной  
 Былъ ненавистенъ, гадокъ, чуждъ  
 Твоей отчизны меркантильной  
 Духъ матерьяльныхъ, грубыхъ нуждъ.

\*

Среди сыновъ своей отчизны  
 Какъ плѣнный узникъ, ты страдалъ,  
 И воплемъ горькой укорины  
 Ихъ слухъ суровый поражалъ.

\*

И чтожъ, на гнѣвъ твой, на страданья  
 Разинувъ съ любопытствомъ ротъ,  
 Безъ слезъ, безъ мукъ, безъ состраданья  
 Глядѣлъ великій твой народъ.  
 И не смягчилъ сердца ты спобсовъ  
 И лордовъ Англии сухой:  
 Какъ на спектакли скачекъ, боксовъ  
 Они на гнѣвъ смотрѣли твой.

\*

Рука ихъ щедро поощряла  
 Странанья гордаго пѣвца  
 И очень дорого давала  
 За стихъ, вонзавшійся, какъ жало,  
 Въ ихъ очерствѣлыя сердца.

\*

Тогда твоей душою нѣжной  
 Духъ вѣчной злобы овладѣлъ,  
 И ты, измученный, мятежный,  
 Покинулъ родины предѣлъ.  
 Ища больной душѣ отрады,  
 Въ тоскѣ ты Западъ обѣжалъ,  
 И землю славную Эллады  
 Своимъ отечествомъ назвалъ.

\*

И вы, свободы пустозвонной  
 И заблужденія сыны,  
 Сыны имперіи картопной,  
 Гражданскихъ распрей и войны;  
 И вы, во славу Магомета  
 Подвигнувъ мечъ свой за Исламъ,  
 Грозитесь насъ смести со свѣта  
 Какъ залежалый старый хламъ.

\*

И ты, искатель приключеній,  
 Ты, грозный Страсбургскій герой,  
 Ахиллъ Булонскихъ походовъ,  
 Грозишь намъ ссорой и войной.  
 Пройдутъ припадки этой дури:  
 Нашъ грозный штыкъ тебя смиритъ.  
 И повторишь въ миниатюрѣ  
 Судьбу героя пирамидъ.  
 Не островъ Эльбу, не Елену,  
 Гдѣ онъ почилъ послѣднимъ спомтъ.  
 Для твоего мы прочимъ плѣну,  
 А просто мирный желтый домъ.

\*

Народъ великій и несчастный!  
 Гражданскихъ смуть еще съ плененъ  
 Игрой ты тѣшиться опасной  
 Судьбой жестокой осужденъ.  
 Для брата жизнь отдать готовый,  
 Свободу гордо ты поешь,  
 Но весь свой вѣкъ влачишь оковы  
 И кровь своихъ собратьевъ льешь!

\*

Да, ты воздвигъ алтарь свободѣ,  
 И былъ алтарь священный тотъ —  
 Хула Творцу, укоръ природѣ:  
 То былъ кровавый эшафотъ.  
 Въ противорѣчїяхъ опасныхъ  
 Въ софизмахъ умъ твой изнемогъ;  
 Ты смыслъ рѣчей простыхъ и ясныхъ.  
 Какъ пошлый слушаешь урокъ.

\*

Но вы, но вы, кому судьбою  
 Данъ осторожный, хладный умъ,  
 Народъ, съ логической душою,  
 Народъ, рожденный лишь для думъ;  
 Ты, разсмотрѣвшій такъ подробно  
 Права народовъ и царей,  
 Распредѣлившій такъ удобно  
 По книгѣ функціи властей.

\*

Идею каждаго народа  
 Такъ акуратно ты постигъ  
 И знаешь ты, что есть свобода.  
 Хоть не на дѣлѣ, а изъ книгъ.  
 Скажи, съ твоимъ ли воспитаньемъ,  
 Съ твоимъ ли сердцемъ и умомъ,  
 Внимать въ испугѣ, съ содроганьемъ  
 Побѣдъ полночныхъ новый громъ?

\*

Не вамъ, Германіи холодной  
 Благоразумные сыны,  
 Понять нашъ подвигъ благородный  
 И ясный смыслъ святой войны!  
 Средь жизни мирной и безстрастной  
 Идите тихо, господа,  
 Стезею скромной, безопасной,  
 Науки, мысли и труда.

\*

Вы чужды намъ: не ваша сфера  
 Свободныхъ чувствъ огонь святой;  
 Святая, пламенная вѣра  
 Не внятна логикѣ сухой.  
 Въ васъ сердце бьется такъ несмѣло,  
 Такъ осторожно, какъ въ цѣпяхъ;  
 Оно какъ будто присмирѣло,  
 Остепенилось, охладѣло  
 Въ философическихъ трудахъ.

\*

Вамъ памятна ль та скорбная година,  
 Тотъ страшный мигъ, когда у вашихъ ногъ  
 Разверзлась вдругъ бездонная пучина  
 Кровавыхъ внутреннихъ тревогъ,  
 И былъ готовъ, во слѣдъ затѣйливомъ Французамъ,  
 Германскій весь народъ, по простотѣ своей,  
 Въ ту бездну ринуться, со всею тяжелымъ грузомъ  
 Граматикъ, древностей и разныхъ словарей.

\*

И ваша честь, и ваши учрежденья,  
 И ваша жизнь была на волоскѣ,  
 И грозныхъ бурь гражданскихъ дуновенья,  
 Смело бы васъ, какъ букву на пескѣ.  
 Не намъ ли вы одолжены спасеньемъ?  
 Не нашъ ли штыкъ смирилъ Венгерскихъ удалцовъ?  
 Зачѣмъ же вы глядите съ опасеньемъ  
 На грозный сборъ полуночныхъ полковъ?

\*

Ученыхъ слава не поблекла  
 Отъ зарева Синопскихъ кораблей:  
 Идите же шажкомъ дорогою своею  
 И прокомментируйте Гомера и Софокла.  
 За что жъ сердиться вамъ, друзья? Вы рождены  
 Не для пустыхъ и гибельныхъ волненій,  
 Не для опасностей и ужасовъ войны,  
 А для однихъ спокойныхъ размышленій.

\*

Германскаго ума вы силой исполинскою  
 Законы творчества добились разгадать,  
 Постигли синтаксисъ запутанный Латинской  
 И Грековъ метрику успѣли возсоздать.  
 Юстиніанова вы духъ постигли Свода  
 И смыслъ патриціевъ съ плебеями борьбы;  
 Но не достигнуть вамъ духъ Русскаго народа,  
 Высокій смыслъ его судьбы.  
 Его надеждъ, стремленій задушевныхъ,  
 Его ума спокойныхъ, тихихъ думъ  
 Его души изгибовъ сокровенныхъ  
 Пойметъ ли вашъ холодный, точный умъ?

\*

Вы Русь окинете ль безъ страха мыслью узкою  
 Отъ Вислы чрезъ Уралъ до устьевъ Иртыша?  
 Откликнется ль на звуки пѣсни Русской  
 Эстетиковъ Нѣмецкая душа?  
 Хоть силою ума весь міръ вы удивили,  
 Хоть описали Римъ многочисленныхъ временъ,  
 И текстъ двѣнадцати таблицъ возстановили;  
 Хоть вами Гай открытъ и объясненъ, —  
 Но никакой Нибуръ, ни Винкельманъ, ни Гете,  
 Ни Шеллингъ самъ на то не намекнетъ,  
 И въ комментаріяхъ ниждѣ вы не прочтете  
 Чѣмъ сердце въ насъ и бьется, и живетъ.

Москва  
 1854, 10-го Февраля.

*(Сообщено Н. П. Поливановымъ изъ бумагъ А. С. Норова).*

**FERDINAND CHRISTIN**

ET

**LA PRINCESSE TOURKESTANOW.**

LETTRES ÉCRITES DE PÉTERSBOURG ET DE MOSCOU.

**1813—1819.**

„Archives Russes“.



**MOSCOU.**

Imprimerie de l'Université Impériale (M. Katkow),

1882.





## P R E F A C E.

PAR M-R LE BARON DE BUDBERG, AMBASSADEUR DE RUSSIE A PARIS.

A deux reprises différentes j'ai rencontré, sans que je l'eusse cherché, le nom d'un certain Ferdinand Christin, Suisse de naissance, et qui, après avoir successivement été au service de la France et de la Russie, a terminé ses jours à Moscou, où il avait passé les 24 dernières années de sa vie. La première fois ce nom s'est présenté à mon attention en 1872. Je publiais une correspondance inédite jusque là de l'impératrice Catherine II avec le général Budberg, ambassadeur de Russie à Stockholm. L'ambassade de ce dernier avait été motivée par le projet d'un mariage du roi Gustave Adolphe IV avec la grande-duchesse Alexandra Pawlowna. Il fut rompu par suite de scrupules religieux qui servaient à masquer des intrigues politiques. Dans cette laborieuse négociation figurait un individu qui, sans être ostensiblement au service de Russie, était cependant employé d'une manière active par l'ambassade et semblait se trouver complètement à la dévotion du gouvernement russe. Il était désigné comme un voyageur suisse du nom de Christin, qui disposait de certaines accointances auprès de la cour de Stockholm.

La seconde fois j'ai rencontré ce nom en 1875. Je dus à une amicale confiance la communication d'une correspondance manuscrite de la princesse Barbe Tourkéstanow, demoiselle d'honneur de l'impératrice Marie Fédorowna, avec ce même Christin établi alors à Moscou, éloigné des affaires, et vivant dans l'intimité de la société la plus distinguée et la plus aristocratique de la Russie. J'ai été vivement impressionné de l'élévation des sentiments et de la profonde connaissance de la situation politique qu'accusaient les lettres de Christin. Cette correspondance très-suivie avec une amie intime se distingue par un extrême abandon de la pensée et par un style dont l'élégante familia-

rité semble exclure tout apprêt qui aurait pu en faire suspecter la sincérité. L'homme qui avait écrit ces lettres et avait ainsi épanché sa pensée, n'avait certainement pas été un homme ordinaire et, mêlé aux affaires politiques, le rôle qu'il y avait joué ne pouvait en aucun cas avoir été banal ni effacé.

Cette vie à peu près ignorée piqua vivement ma curiosité; d'autant plus qu'elle paraissait avoir été pleine d'aventures au milieu des événements politiques les plus émouvants de notre époque.

De consciencieuses investigations faites aux sources officielles, par un ami \*) qui voulut bien me communiquer le résultat de ses recherches, complétèrent les données que j'avais été à même de recueillir, et ainsi se déroula devant moi cette singulière existence, ballottée par les événements politiques et dont les péripéties se rattachent à l'histoire.

Depuis une cinquantaine d'années la triture des affaires diplomatiques a changé de nature. Aujourd'hui, avant d'être soulevée, toute question politique est préalablement préparée dans la presse quotidienne, et c'est au journalisme qu'est réservé le rôle, souvent très-important, de venir en aide à la diplomatie. Telle a été la marche suivie par Cavour, par Napoléon III, par Bismark et par bien d'autres hommes politiques d'une moindre valeur.

Il n'en était pas ainsi au commencement de ce siècle. L'influence du journalisme n'était point ignorée; on l'exploitait quelquefois, mais il était loin d'avoir l'importance qu'il a acquise de nos jours. D'ailleurs la presse n'était pas organisée, et on hésitait généralement à se servir d'un instrument dont l'outillage était incomplet et l'usage souvent même dangereux.

Pour préparer les négociations diplomatiques et pour les étayer au besoin, on se servait d'un élément dont le rôle a considérablement diminué de nos jours. On avait recours aux agents secrets, qui à cette époque encombraient les chancelleries et les cabinets des ministres, qui parfois rendaient d'éminents services, mais qu'on n'hésitait jamais à désavouer lorsque leurs paroles ou leur attitude pouvaient paraître compromettantes. Ce rôle d'agents secrets avait dans la plupart des cas pour principal mobile la cupidité. Les individus qui le remplissaient avaient habituellement derrière eux une existence déclassée ou une ambition à laquelle toutes les portes étaient fermées. Dans ce nombre on rencontrait cependant des hommes honorables et de réelles intelligences, qui se mettaient à la disposition d'un gouvernement pour pouvoir servir

---

\*) Le prince Alexis Lobanow.

un principe. Leur influence dans les affaires, tout en s'exerçant derrière les coulisses, n'en était ni moins importante ni moins directe.

C'est dans cette dernière catégorie d'agents secrets que je crois pouvoir classer Ferdinand Christin, qui forme l'objet de la présente étude et qui, tout en recevant une rémunération du gouvernement russe, ne le servait que parce que sa politique répondait à ses propres convictions.

Christin était né le 11 septembre 1763 à Yverdon, où était établie toute sa famille; à ce qu'il paraît, il avait été élevé en France et à juger d'après ses tendances ultra-catholiques et la vénération enthousiaste qu'il conserva pour la Société de Jésus, je n'hésite pas à croire que son éducation se fit dans un collège des Jésuites. En même temps que ses croyances religieuses, se formèrent ses convictions politiques. Les unes et les autres le poussèrent vers un royalisme exalté et presque farouche qui prit dans son esprit un développement qu'on serait tenté de trouver excessif, si les excès des idées révolutionnaires au milieu desquelles il vivait, n'expliquaient pas suffisamment et ne justifiaient pas, jusqu'à un certain point, des exagérations dans un sens contraire. Ses principes politiques ne transigeaient sur aucune question et n'admettaient que des solutions extrêmes. Il condamnait le libéralisme sous quelque forme qu'il apparût, et se montra aussi sévère pour les concessions libérales de Louis XVI, qu'il le fut plus tard pour les tentatives progressistes de l'empereur Alexandre I.

C'est dans ces dispositions qu'il entra, fort jeune encore, au service de m-r de Calonne, auprès duquel il resta jusqu'au moment où le flot montant de la révolution emporta ce ministère. Cette place auprès de m-r de Calonne le mit en contact d'une part avec les sommités de ce qu'on commençait déjà à désigner par le nom de „parti royaliste“, et d'autre part c'est à cette époque que s'établirent ses relations avec la famille Necker et m-me de Stael, qui a marqué dans son existence et avec laquelle il est resté en correspondance même lorsqu'il était déjà complètement éloigné des affaires. Toutefois il n'acceptait les opinions du parti Necker et de Benjamin Constant qu'avec des réserves. Il ne se résignait pas à transiger avec des théories qui s'écartaient de la monarchie absolue. Du reste, parfaitement sincère dans ses jugements, il ne cherchait pas à nier les erreurs et les fautes des royalistes, et il était d'autant plus sévère pour eux qu'à ses yeux leur cause se confondait avec ses devoirs envers Dieu. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, il déplora avec une extrême vivacité la triste fin du marquis de Favras, non à cause du sort de cet infortuné, mais à cause des coupables défaillances qui l'avaient livré à ses bourreaux. Encore en 1815,

lorsque déjà on se rappelait à peine qui avait été le marquis de Favras, il exprimait la conviction que les malheurs qui frappèrent Louis XVIII et les difficultés qui entouraient la restauration, n'étaient qu'une juste punition du Ciel pour le sentiment de lâcheté auquel avait succombé le comte de Provence en sacrifiant aux fureurs révolutionnaires un individu qui s'était dévoué à sa cause. De même, longtemps après, il ne trouvait pas de mots assez sévères pour condamner les violations de la charte dont s'étaient rendus coupables Charles X et le ministère Polignac. La cause de la royauté était pour lui, surtout au début de sa carrière, une cause sacrée, un article de foi que ne devait profaner aucun expédient indigne ou malhonnête, et dont la force résidait non-seulement dans la pureté des intentions, mais aussi dans des moyens auxquels ses défenseurs avaient recours.

Lorsque en 1789 m-r de Calonne fut exilé en Lorraine, Christin l'y accompagna, et c'est avec lui qu'il vint en 1794 en Russie.

Wiguel, dans ses souvenirs qui en général n'ont aucune valeur historique, prétend tenir de la bouche même de Christin, qu'après la chute de m-r de Calonne, il passa en Angleterre; qu'il entra au service du comte d'Artois; qu'à plusieurs reprises il avait été chargé par celui-ci de commissions auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et qu'enfin ce fut avec ce prince qu'il vint à la cour de Catherine II. Cette fois les affirmations de Wiguel se trouvent confirmées par des données plus authentiques. Différentes indications dans les lettres de Christin, citées plus bas, prouvent qu'il a habité l'Angleterre, qu'en effet il a vécu dans l'intimité des princes émigrés, qui se sont servi de lui pour communiquer avec Louis XVI. Mais de plus, il paraît ne pas avoir été étranger au mouvement de la société de Londres, dont plusieurs détails intimes lui étaient connus, ce qui fait supposer qu'il a vécu quelque temps parmi elle. Ce qui est certain, c'est qu'arrivé à St.-Pétersbourg, il s'y fit remarquer par la pureté de ses convictions monarchiques, d'autant plus appréciées à ce moment, qu'après avoir caressé les idées humanitaires et libérales, et après avoir côtoyé de bien près la révolution, Catherine II en était arrivée à se placer à la tête des souverains qui entreprenaient la tâche de combattre les idées révolutionnaires.

A St.-Pétersbourg il fut présenté à m-r de Markow, qui par son talent de rédaction et par la part qu'il avait prise dans différentes négociations, entre autres dans celle des traités de la Neutralité Armée, avait acquis au ministère des affaires étrangères une position prépondérante qu'il conserva jusqu'à la mort de l'Impératrice.

Les commérages du tems prétendirent que la protection que m-r de Markow accorda à cette époque à Christin, protection qui ne se démentit jamais, avait été en partie obtenue par celui-ci grâce à la bienveillance qui lui témoignait une tragédienne française, m-me Huss, avec laquelle m-r de Markow vivait dans des relations presque maritales et dont il eut une fille Barbe, mariée dans la suite au prince Serge Galitzyne. Ce fut m-r de Markow qui obtint l'autorisation de l'Impératrice de faire inscrire Christin au ministère des affaires étrangères en 1796, et la même année il fut secrètement envoyé à Stockholm, où il se présenta en qualité de voyageur suisse à la cour du duc de Sudermanie, qui gouvernait la Suède pendant la minorité de Gustave IV.

La diplomatie russe poursuivait à ce moment deux négociations simultanées en Suède. Celle de la signature d'un traité d'alliance qui après de longs tiraillements devait mettre fin à l'animosité qu'en toute occasion le cabinet de Stockholm témoignait à la Russie; et celle de la conclusion d'un mariage du jeune roi avec la grande-duchesse Alexandra Pawlowna, petite fille de Catherine II. L'Impératrice attachait une extrême importance à cette union qui avait échoué jusque là contre le mauvais vouloir du duc de Sudermanie et des personnes qui l'entouraient, particulièrement du baron de Reiterholm, qui était son premier ministre.

Christin avait trouvé à Stockholm un compatriote, le chevalier de Surmain, qui donnait des leçons de mathématiques au jeune roi, et c'est par cette voie que l'ambassadeur de Russie, qui se voyait privé de toute communication directe, essaya d'influer sur l'esprit de Gustave IV afin de le disposer en faveur d'une union avec la grande-duchesse de Russie. Une anecdote que raconte Wiguel et d'après laquelle ce fut par la présence d'esprit que Christin obtint une audience secrète du roi, paraît être une invention de Wiguel ou peut-être de Christin lui-même, n'étant confirmée par aucune donnée authentique et manquant absolument de vraisemblance. Au surplus, ses ouvertures n'eurent qu'un médiocre succès et n'exercèrent aucune influence sur le cours de la négociation. Il paraît même que le duc de Sudermanie finit par concevoir des soupçons et que Christin, qui se voyait menacé d'être expédié dans les mines de la Dalécarlie, ne se sentit plus en sûreté dans la position indéfinie qu'il occupait à Stockholm.

Son fidèle protecteur Markow intercèda alors auprès de l'ambassadeur afin de le faire nommer officiellement secrétaire de l'ambassade de Russie à Stockholm, pour protéger sa personne contre les dangers dont il se sentait menacé. Le général Budberg ne crut pas pouvoir condescendre à cette demande, ne trouvant pas convenable qu'un indi-

vidu qui avait joué le rôle d'agent non-avoué obtint une position officielle à l'ambassade. Christin retourna donc à St.-Pétersbourg, où il reprit ses occupations auprès de m-r de Markow, qui dans l'intervalle avait été créé comte de l'empire Romain.

Quelque habituée que fût la Russie aux faveurs capricieuses et aux disgrâces inattendues, elle n'avait pas assisté à des revirements plus subits que ceux qui signalèrent l'avènement au trône de l'empereur Paul I.

Le comte Markow fut compris dans la disgrâce. Il fut exilé dans sa terre de Létitchew en Podolie. Le même sort frappa son protégé Christin, qui fut rayé des rôles du ministère des affaires étrangères et se retira avec une pension de 800 roubles à la campagne auprès de son protecteur, aux intérêts duquel il s'attacha désormais avec toute la constance de dévouement qui était l'un des traits de son caractère.

Ni le comte Markow, ni Christin ne reparurent sur la scène politique pendant tout le cours du règne de l'empereur Paul I, et ce ne fut qu'en 1801 que Markow fut rappelé à Pétersbourg et que Christin fut derechef attaché au ministère des affaires étrangères. C'est de ce moment que commence la partie la plus dramatique de son existence agitée.

L'Europe se trouvait en pleine combustion. De tous les côtés s'amoncelaient les orages politiques qui succédaient presque sans interruption à ceux qui venaient de désoler la plupart des états. C'est dans ces circonstances que le comte Markow fut envoyé comme ambassadeur à Paris afin d'y servir de médiateur entre la France et les gouvernements que menaçaient l'esprit inquiet et la fébrile ambition du premier consul. Les relations de ce dernier avec l'empereur de Russie étaient du reste ostensiblement cordiales et se distinguaient même pas une apparente intimité. Bonaparte avait consenti à accepter l'arbitrage de la Russie dans ses contestations avec l'Angleterre, quoique par l'une de ces singulières restrictions mentales dont il abusait au besoin, il prétendit ensuite qu'il n'avait accepté que l'arbitrage personnel d'Alexandre I, et non celui de ses diplomates.

Le choix du comte Markow pour ce poste délicat n'avait pas été heureux. Habitué à la triture des affaires dans les chancelleries et à ne les envisager que dans leur ensemble, sans se rendre compte de certaines nuances locales et de détails qui souvent en déterminent la marche, il ne comprit ni son rôle dans la diplomatie active, ni le genre de services qu'il aurait pu rendre à son pays. Le comte Markow était un rédacteur de très-grand mérite, mais un fort médiocre diplomate. Sa

personne d'ailleurs n'était pas sympathique au premier consul; elle était d'ailleurs peu faite pour lui plaire.

L'une des premières fautes que commit le comte Markow en se rendant à Paris, fut de se faire attacher Christin, qui avait été trop mêlé aux luttes des partis en France pour ne pas être très-partial dans ses appréciations et fort prévenu contre un gouvernement qui se glorifiait d'être une continuation de la révolution, et était devenu un objet de haine et de mépris pour le parti royaliste.

Par un ordre secret de l'empereur Alexandre, daté de Kamenny-Ostrow le 1 juillet 1801, Christin fut inscrit avec le grade de conseiller de cour au ministère des affaires étrangères et mis à la disposition du comte Markow, auquel il devait fournir des notices secrètes grâce à ses anciennes relations avec plusieurs employés de l'administration française, dans laquelle figuraient plusieurs Suisses entrés au service de France. Ce qui prouve qu'on attachait une certaine importance aux services qu'il pouvait rendre, c'est qu'on lui assigna à cette occasion un traitement relativement considérable pour cette époque. Il obtint 400 ducats pour ses frais de route, et on lui assura 1500 roubles par an avec bonification du change, tout en lui laissant les 800 roubles de pension annuelle qu'il avait conservée après avoir quitté le service de Russie en 1796.

La situation à Paris à ce moment était des plus critiques. Le premier consul se trouvait dans un état de surexcitation croissante; il n'avait eu jusque là que des succès; son ambition et son amour-propre ne connaissaient plus de limites; sa volonté capricieuse n'admettait plus aucune contradiction. Le seul pays qui grâce à sa position géographique et à sa puissante organisation nationale osait ne pas plier devant lui—était l'Angleterre. Il ne comptait plus avec aucune puissance en Europe, il était forcé de compter avec elle, et c'est ce qui l'exaspérait.

Mais à côté de ces agitations de la politique extérieure, venaient se placer d'autres préoccupations qui contribuaient pour le moins autant que les premières à lui faire perdre toute mesure dans ses actions et dans ses paroles et à le pousser de plus en plus aux résolutions les plus arbitraires et les plus extrêmes.

La police n'ignorait pas qu'en Angleterre se préparait un mouvement sérieux des royalistes français, qui étendait ses ramifications au coeur même de la France; que ces menées étaient patronées par le comte d'Artois et les princes français émigrés, dont les adhérents étaient répandus sur tout le continent de l'Europe. La conspiration de George Cadoudal et de Pichegru se préparait dans l'ombre; la police le savait, mais elle ne parvenait pas à saisir les fils de la conspiration. Condam-

née aux tâtonnements, elle se réfugiait dans les violences. De son côté le premier consul se plaisait à confondre avec ostentation les deux objets de sa haine du moment. Il attribuait à l'Angleterre les menées des royalistes, et il affectait de ne voir dans ces derniers que les instruments d'intrigues étrangères dirigées contre la sécurité de la France.

La position de m-r de Markow dans cette fournaise d'agitations et d'intrigues devenait intenable. Ses allures hautaines la compliquaient encore davantage. Souvent il compromettait les intérêts qui lui étaient confiés par l'intempérance de son langage, plaçant ses sympathies et ses antipathies personnelles au-dessus des directions qu'il recevait de St-Pétersbourg, et qui ne cessaient de lui prescrire la plus grande réserve. Lorsque, par exemple, on lui faisait observer que ses paroles étaient en désaccord avec les assurances souvent réitérées de son Souverain, il répondait insolemment: „Je sais bien ce que dit l'Empereur; mais l'Empereur a sa politique, et les Russes ont la leur“. Ce propos imprudent fit le tour des salons de Paris, où le gouvernement avait intérêt à le faire colporter. Bonaparte, qui au commencement, et tant qu'il avait voulu ménager l'empereur Alexandre, avait conservé certaines formes courtoises envers l'ambassadeur de Russie, crut pouvoir de plus en plus s'en affranchir. Il l'accusait de représenter à Paris les intérêts de la politique anglaise bien plus que ceux de son Souverain, et affectait de le soupçonner d'avoir la main dans les menées des conspirateurs royalistes.

L'attention de la police française devait naturellement être dirigée sur tout ce qui se passait à l'ambassade de Russie; les individus qui la composaient, et en particulier Christin, qui paraissait jouer un rôle de confident et de conseiller auprès du comte Markow, étaient l'objet d'une méticuleuse surveillance. La méfiance du gouvernement français était d'autant plus tenue en éveil, que deux autres agents russes, très-ardents royalistes tous les deux, lui avaient été en même temps signalés: l'un à Naples, l'autre à Dresde. Le premier, m-r de Vernègues, était marié à une Russe, la c-sse Tolstoy, et était entré au service de Russie. Il formait à Naples le centre des agitations bourbonniennes, et entretenait en outre avec la cour de Rome des relations secrètes fort hostiles au gouvernement français. Le second, m-r d'Entraigues, était à Dresde et était accusé de servir d'intermédiaire entre l'émigration française qui se trouvait en Allemagne, les princes français et les différentes cours du continent.

Christin reçut des avertissements réitérés de se mettre en garde; parce que, n'étant protégé par aucun titre officiel, la mauvaise humeur du premier consul pouvait impunément s'attaquer à sa personne. Le



comte Markow trouva ces craintes justifiées, et le 1 (13) Janvier 1802 il écrivit à St.-Pétersbourg pour le faire officiellement attacher à l'ambassade.

Pour la seconde fois dans le cours de sa carrière, cette position officielle à laquelle il aspirait et que son protecteur cherchait à lui obtenir, lui échappa. Non-seulement l'empereur Alexandre n'accéda pas à sa prière, mais il ordonna à Christin de quitter Paris où sa présence pouvait susciter des difficultés et même devenir compromettante pour l'ambassade.

Que s'était-il donc passé, et pourquoi l'Empereur se montrait-il tout à coup si sévère pour un individu qui n'avait été placé au service et envoyé à Paris que par ses ordres?

Nous trouvons l'explication de cette énigme dans la correspondance de ce Souverain avec le général La Harpe, son ancien précepteur et le confident de sa pensée la plus intime.

Le général La Harpe et Christin, Suisses tous les deux, appartenaient dans leur pays à deux partis politiques différents. Dans les agitations de la Confédération Helvétique ils se trouvaient dans deux camps hostiles qui ne négligèrent aucune occasion pour se faire le plus de mal possible. Or, dans la correspondance de l'empereur Alexandre avec le général La Harpe, publiée par la Société Historique de St.-Pétersbourg, on remarque une lettre sans date, mais qui d'après son contenu doit être rapportée à cette époque, dans laquelle l'Empereur écrit: „quant à Christin, il se trouve en Suisse; parce que j'ai ordonné „à Markow de le renvoyer de son service, ne voulant avoir rien à faire „avec les intrigants“.

Évidemment, La Harpe était parvenu à indisposer l'Empereur contre cet agent dont il avait utilisé les services et dont l'activité avait été trouvée fort utile jusque là. Du reste, il faut bien le dire, on éprouve quelque surprise en voyant l'empereur Alexandre adresser à Christin ce reproche d'être un intrigant, ses intrigues, si tant il est qu'il s'en soit rendu coupable, ayant eu pour but les intérêts de la Russie et ayant, au surplus, été sanctionnées et dirigées par le gouvernement lui-même.

Les préventions que La Harpe était parvenu à inspirer à l'Empereur contre Christin furent durables. Depuis ce moment le gouvernement russe renonça à l'employer malgré les talents dont il avait fait preuve et malgré la protection que le comte Markow ne cessa de lui accorder.

Se sentant menacé à Paris et s'étant persuadé qu'il ne trouverait de la part de la Russie qu'une protection fort tiède et dans tous les

cas insuffisante, il se rendit au commencement de l'année 1802 auprès de sa famille à Yverdon. Il y resta jusqu'en 1803 à l'écart des agitations politiques, tout en cultivant cependant ses anciennes relations avec les royalistes français et avec le cénacle de Copet où m-me de Stael tenait une cour composée des éléments hostiles au pouvoir du premier consul. D'Yverdon il fit de nombreuses courses à Genève, et ce fut dans l'une de ces excursions que le 25 juillet 1803 il fut mandé chez le préfet du département du Léman qui lui signifia que d'ordre du grand juge, ministre de la justice, il le constituait prisonnier comme agent anglais, prévenu de manœuvres contre la sûreté de l'état. Christin fut conduit en prison, mais dès le surlendemain il obtint l'autorisation de rentrer chez lui. Pour la forme, plutôt que pour le surveiller, un gendarme fut placé dans son antichambre. Cet état d'arrestation à domicile se prolongea pendant trois semaines. On devint du reste de moins en moins sévère. Il se promenait librement à Genève et dans les environs. Plusieurs fois ses promenades l'avaient entraîné même au de là des frontières françaises, et ses amis le pressèrent d'en profiter pour se dérober par la fuite aux dangers qui pouvaient le menacer dans l'avenir. Il résista à ces conseils et, persuadé qu'on ne pourrait produire contre lui aucune accusation sérieuse, il continua à rentrer tranquillement dans son domicile attendant que des ordres de Paris vinssent constater son innocence. Son argent et ses papiers avaient été saisis lors de son arrestation. L'argent lui fut restitué bientôt après, mais toute sa correspondance avait été envoyée à Paris pour y être soumise à une enquête.

Après trois semaines d'attente arriva la réponse de Paris. Elle fut cependant toute différente de ce qu'avait espéré Christin. Elle renfermait d'abord un blâme formel de la condescendance dont le préfet avait usé à l'égard d'un personnage dangereux, accusé d'un crime politique; en outre, elle ordonnait de renforcer la surveillance exercée contre le prisonnier, et enfin elle contenait l'ordre de le transporter à Paris pour lui faire subir un interrogatoire.

Arrivé à Paris, Christin y jouit d'abord d'une liberté presque complète. Il demeurait à l'Hôtel des Colonnes, circulait librement dans la ville sans être ostensiblement surveillé et allait voir ses amis. Ceux-ci ne se fiaient guère à cette apparente mansuétude de la police et le pressaient de prendre la fuite. Christin s'y refusa obstinément, convaincu qu'on ne pourrait produire aucune preuve contre lui, qu'il parviendrait donc facilement à confondre les calomnies et à dévoiler dans la procédure même les turpitudes d'un gouvernement qu'il détestait avec un véritable acharnement.

Le 29 août 1803 il fut mandé chez le grand juge qui lui fit subir un interrogatoire de pure forme qui ne dura pas plus de 10 minutes. Il dut déclarer son nom, son état, sa demeure, en un mot, on ne lui posa que les questions les plus ordinaires qui généralement ne sont que l'entrée en matière de toute enquête. Quoique ses réponses fussent entièrement satisfaisantes, il fut immédiatement enfermé au Temple et tenu au secret pendant 18 jours. Dans l'intervalle la nouvelle de cette arrestation était parvenue à m-r d'Oubril qui remplissait à Paris les fonctions de chargé d'affaires de Russie pendant l'absence du comte Markow parti pour les eaux de Barège. En même temps cette nouvelle se répandit à St. Pétersbourg, d'où le comte Alexandre Woronzow, chancelier de l'Empire et gérant le ministère des affaires étrangères, prescrivit le 16 septembre 1803 à m-r d'Oubril „de suivre cette „affaire, en évitant toutefois de se compromettre».

Cet ordre se croisa en route avec le rapport de m-r d'Oubril, qui dès le 5 (17) août avait déjà adressé une note à m-r de Talleyrand pour lui demander des explications au sujet de l'arrestation de Christin et pour obtenir son élargissement. Le comte Markow fut également informé de ce qui venait de se passer, et il avait cru devoir appuyer la demande du chargé d'affaires de Russie par une lettre à m-r de Talleyrand dans laquelle il réclamait énergiquement la mise en liberté de ce «conseiller de cour et pensionnaire de l'Empereur de Russie».

L'intervention intempestive du comte Markow fut fatale à Christin. Le 26 septembre le grand juge donna l'ordre de l'enfermer dans le donjon de la Tour où on le traita comme le plus dangereux criminel, sans cependant lui avoir fait subir aucun interrogatoire. Lui-même a raconté depuis, qu'on ne cessait de l'entourer de pièges pour obtenir de lui des aveux qui eussent été compromettants pour le gouvernement russe. On ne se lassait pas de lui insinuer que le dernier l'abandonnait et que surtout m-r de Markow le trahissait par l'indifférence qu'il témoignait à son sort.

Christin se montra d'une fidélité inébranlable. On eut alors recours à l'intimidation. Lui ayant permis de prendre l'air une heure chaque matin sur les créneaux de la Tour, on lui adjoignit comme camarades de promenade deux officiers Vendéens, Picot et le Bourgeois, tous les deux au service du comte d'Artois, envoyés en France pour préparer l'expédition de George Cadoudal et tous les deux fort compromis par les preuves qu'on était parvenu à réunir contre eux. Pendant dix jours consécutifs il les vit ainsi tous les matins, et une certaine intimité ne tarda pas à s'établir entre eux. Le onzième jour le gardien de la Tour leur proposa de dîner ensemble. Ils acceptèrent avec joie. Vers la fin

du repas le même gardien entra brusquement dans la prison et leur adressa les paroles suivantes: «Messieurs, je suis bien fâché de vous dire que dès aujourd'hui vous ne comptez plus sur la terre; il faut mourir». Qu'on juge de l'horrible stupéfaction produite par ces paroles. Puis, après avoir pendant quelques instants joui de la terreur générale, il ajouta en s'adressant à Christin: «pour cette fois-ci, monsieur, cela ne vous regarde pas; je n'emmène que m-r Picot et m-r le Bourgeois que les gendarmes attendent pour les fusiller». On s'empare de ces deux malheureux qu'on traîna devant la commission militaire permanente qui, séance tenante, les condamna à mort. Le même soir ils furent fusillés.

Le gardien revint tranquillement auprès de Christin et lui déclara que s'il ne s'empressait d'écrire au ministre et de dire franchement tout ce qui serait propre à le sauver, un sort pareil l'attendait infailliblement.

Dans la nuit du 28 au 29 février 1804 Christin fut transféré à S-te Pélagie. On le jeta dans un cachot humide et obscure et on ne lui accorda qu'une botte de paille pour se coucher. Ce ne fut que plusieurs jours plus tard qu'il obtint la permission de louer un lit. Il tomba dangereusement malade, ce qui n'empêcha pas de le tenir au secret et d'user envers lui des plus grandes rigueurs. Le secret fut levé le 29 juin. Le 26 juillet il fut ramené au Temple, puis le 21 septembre on l'enferma pour la troisième fois au cachot où il resta jusqu'en janvier 1805.

Chose curieuse et bien caractéristique, pendant tout ce tems il ne subit aucun interrogatoire; les mauvais traitements qu'on lui infligeait n'avaient donc pas pour origine la marche d'une instruction ou d'une procédure quelconque, fut-elle même vicieuse, mais étaient simplement inspirés par les capricieux tâtonnements de la justice.

C'est pendant sa détention et pendant qu'on le traînait de prison en prison que s'accomplissait la série d'actes arbitraires et inouïs dont George Cadoudal, Pichegru, le duc d'Enghien et Moreau furent les plus illustres victimes et qui eurent pour résultat la proclamation de l'Empire.

Le premier consul se porta aux plus grandes violences. En pleine réception aux Tuileries il avait brutalement apostrophé le comte Markow en insinuant contre la Russie l'accusation que ses agents avaient la main dans les conspirations contre sa personne. «Croit-on donc, avait-il dit, que nous sommes assez tombés en quenouille pour supporter les affronts de la Russie».

Le crime d'Ettenheim fut suivi de l'enlèvement de m-r de Vernégues à Rome. Puis, lorsqu'à Paris on sentit l'effet déplorable que produisaient en Europe ces incessantes violations du droit des gens, on favorisa son évasion, et ce fut à l'intervention de Vernégues auprès du pape Pie VII et aux instances de celui-ci que Christin fut redevable de recouvrer sa liberté.

En sortant de prison il eut l'ordre de quitter le territoire français en 15 jours. Il en passa encore 8 à Paris; puis il se rendit à Yverdon pour se reposer pendant quelques semaines des tribulations et des angoisses par lesquelles il avait passé. La proximité de la frontière française lui parut cependant dangereuse. Il se hâta de s'en éloigner et passant par Carlsruhe, Stuttgardt et Munic, il se rendit à Vienne où il se présenta le 11 (23) février au comte Razoumowsky, ambassadeur de Russie. Il se rendit à Letitcheff, et c'est ainsi qu'il rentra dans sa patrie d'adoption qu'il ne quitta plus depuis cette époque.

Au mois de mai de la même année il se rendit à St.-Pétersbourg, persuadé que les souffrances qu'il avait endurées pour la cause de la Russie et la fidélité dont il n'avait cessé de donner des preuves au milieu des circonstances les plus cruelles, lui assureraient un accueil distingué.

L'empereur Alexandre avait cependant gardé trop de préventions contre lui pour tenir compte de ses services. D'ailleurs sa personne était devenue compromettante, parce que son arrestation avait fait trop de bruit. Christin ne trouva à St.-Pétersbourg que des déceptions. Après cinq mois il partit pour Polotzk profondément blessé du peu d'intérêt qu'éveillaient ses malheurs et ses souffrances dans les sphères gouvernementales de la Russie.

En 1813 nous le trouvons établi à Moscou dans la maison du comte Markow à la Nikitskaja, jouissant d'une pension du gouvernement et ayant en outre acquis une petite propriété qui suffisait à sa modeste existence et qu'il échangea, à ce qu'il paraît, contre une maison à Moscou après la mort du c-te Markow (le 29 janvier 1827). Depuis cette époque sa vie fut celle d'un naufragé qui, ayant gagné un port de refuge, après avoir affronté les tempêtes, juge le passé en philosophe et puise dans ses souvenirs la mesure de ses appréciations des hommes et des choses. Il ne fit aucune tentative pour rentrer dans les affaires, s'entoura d'amis, prenait vivement à coeur tout ce qui touchait aux intérêts de sa nouvelle patrie et ne témoigna aucune aigreur contre ceux, qu'à juste titre, il aurait pu accuser d'ingratitude.

Dans la solitude où l'avaient placé les événements, son existence était partagée entre deux intérêts principaux: sa nombreuse correspon-

dance qui occupait la plus grande partie de son tems, et sa liaison avec la comtesse de Broglie, établie à Moscou où elle possédait plusieurs maisons qui avaient été brûlées en 1812, puis reconstruites peu de tems après.

La comtesse de Broglie, fort connue dans la société de Moscou d'alors, était née m-me de Levaschew et avait été mariée au prince Troubetzkoy. Après la mort de ce dernier, elle avait épousé un comte de Broglie, émigré français, réfugié en Russie où son genre de vie donna lieu à de sévères critiques. On l'accusait, peut-être à tort, d'avoir fait de son salon un tripot de jeu, très-fréquenté par la jeune noblesse russe et auquel la beauté de sa femme assurait de nombreux visiteurs. Quant à la comtesse de Broglie, il ne paraît pas qu'elle ait favorisé ces honteuses manoeuvres. Il semble, au contraire, que ses relations avec Christin existaient déjà à cette époque et qu'elles se distinguaient par la constance d'une affection mutuelle. Les dernières années de sa vie il eut cependant beaucoup à souffrir de ses rapports avec une femme qui était devenue très-malade et qui de plus paraît avoir été fort capricieuse.

C'est à la comtesse de Broglie que Christin légua en mourant tous ses papiers ainsi que la majeure partie de sa volumineuse correspondance. Il l'institua également légataire de sa modique fortune. Malheureusement la comtesse de Broglie ne comprit pas l'importance que ce dépôt pouvait avoir pour l'histoire. Elle brûla impitoyablement tous ces papiers parmi lesquels se trouvaient des souvenirs qu'il avait commencé à consigner dans des mémoires et dont il fait mention dans un recueil de ses lettres qui, grâce à une disposition qu'il avait prise quatre ans avant sa mort, a été conservé.

Ce recueil représente l'autre intérêt qui avait orné une partie de sa vie.

Il avait rencontré vers l'année 1813 à Moscou, la princesse Barbe Tourkéstanow, demoiselle d'honneur à la cour de Russie et attachée ensuite à l'impératrice Marie Fédorowna, mère de l'empereur Alexandre I. Dès les premiers jours de leur connaissance Christin avait conçu pour la princesse Barbe une sincère et solide amitié, toute différente du reste des sentiments qui l'attachaient à la comtesse de Broglie. La princesse Tourkéstanow possédait un esprit supérieur, rehaussé par une instruction sérieuse, un caractère charmant, une nature enthousiaste et quelque peu fantasque à laquelle l'origine asiatique de sa famille donnait tout le charme de la femme orientale. Elle était pleine d'imagination et s'intéressa vivement à cet homme qui était une épave des bouleversements politiques de son époque. Elle aimait à épancher en-

vers lui les aveux des agitations de sa propre existence, qui, sous des dehors brillants, ne cachait qu'imparfaitement les amertumes inséparables d'une vie à la cour.

Presque tous les jours la princesse Tourkestanow et Christin consignaient dans des lettres leurs impressions les plus intimes, leurs réflexions politiques et religieuses et toutes les choses qui intéressaient le monde dans lequel ils vivaient. A cette époque les communications postales entre St.-Pétersbourg et Moscou n'étaient pas aussi fréquentes ni aussi faciles qu'elles le sont aujourd'hui. Ces lettres renfermaient donc souvent les notes de plusieurs jours réunis, écrites au fur et à mesure que se produisaient les pensées. Grâce à ce mode de correspondance suivie, ce recueil trace un tableau complet et extrêmement attrayant de la société russe contemporaine.

En 1819 la princesse Tourkestanow mourut d'une manière tragique. Pendant plusieurs années elle brilla à la cour. Le charme de sa conversation fut très apprécié par l'empereur Alexandre, qui lui faisait de fréquentes visites et lui témoignait un intérêt particulier. Quoiqu'elle eût plus de quarante ans, elle était non-seulement très bien conservée, mais sa beauté, tout en changeant de caractère, n'en était pas moins séduisante. Depuis quelques années elle avait été fort courtisée par le prince Woldemar G-ne, plus jeune qu'elle et fort connu par la légèreté de sa conduite. On a prétendu que la princesse Tourkestanow fut victime d'un odieux pari qu'avait fait le prince G-ne, qui abusa d'elle grâce à la trahison d'une femme de chambre et qu'elle mourut en donnant le jour à une fille que recueillit la princesse G-ne, qui voulut ainsi réparer généreusement les torts de son mari. Une version qui déjà alors circulait dans le public, et qui est confirmée par des données authentiques citées plus bas, affirmait que peu de jours après la naissance de sa fille, elle prit du poison et mourut dans d'atroces souffrances. Cette fille qui porta le nom de G-ne, fut mariée à m-r de NéL...w.

Christin fut inconsolable de la mort de la princesse Barbe. Une large moitié de l'intérêt de sa vie s'évanouissait, et il n'était plus dans l'âge où de pareilles pertes se remplissent par d'autres affections. Pour repasser les souvenirs de cette douce intimité, qui pendant des années avait occupé une partie de son tems et orné sa solitude, il entreprit de copier toutes les lettres qu'il avait reçues de la princesse Tourkestanow et celles qu'il lui avait adressées. Avant sa mort il légua ce recueil ainsi que le journal d'un voyage qu'elle avait fait en Allemagne avec l'impératrice Marie en 1818, à la comtesse Sophie Samoilow, mariée au comte Alexis Bobrinsky, qui avait été fort liée avec la prin-

cesse Barbe et qui, en même tems qu'elle, avait été demoiselle d'honneur de l'Impératrice.

L'élévation d'esprit et de coeur qui distinguait la c-sse Sophie Bobrinsky était aux yeux de Christin une raison déterminante pour lui léguer ce dépôt dont les événements avaient fait une chronique du tems tracée par l'amitié. Les circonstances l'avaient d'ailleurs rapproché de cette famille. La c-sse Sophie et son mari avaient su apprécier les quaillités aimables de Christin. Pleins de bonté tous les deux, ils lui avaient témoigné une sympathie à laquelle il répondait par un sentiment de profonde reconnaissance. Lorsque en 1830 et 1831, l'insurrection de Pologne, l'apparition du choléra et les bouleversements politiques de l'Europe semblaient se partager la tâche d'ébranler l'édifice de l'Empire de Russie, le comte et la comtesse Bobrinsky étaient établis à la campagne où le comte Alexis posait les fondements d'une nouvelle industrie qui popularisa son nom en Russie et devint pour son pays une nouvelle source de richesse. Christin se trouvait à Moscou. De là il tenait la comtesse Sophie au courant de tous les bruits qui circulaient dans la ville, des événements qui s'y passaient, et il ajoutait sur les actualités politiques des appréciations qu'autorisaient sa vieille expérience et les tribulations de sa jeunesse. Quelque différente que soit cette correspondance de celle qu'il avait naguère cultivée avec la p-sse Tourkestanow et quoiqu'elle ne lui ressemblât ni pour la forme, ni pour l'abandon de la pensée, ni même pour la variété des sujets qu'elle embrasse, elle n'en acquiert pas moins un intérêt réel, grâce à la régularité avec laquelle Christin s'était imposé la tâche de consigner tout ce qui arrivait à sa connaissance. Sur bien des questions ses opinions s'étaient modifiées. L'état politique de l'Europe avait changé, des préoccupations d'un autre genre agitaient les esprits et des aspirations nouvelles se faisaient valoir. Christin ne fut pas à l'abri de ces influences. Ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut, le principe de la monarchie absolue dans la défense duquel s'était consumée sa jeunesse ne lui apparaissait plus comme une panacée qui pût guérir tous les maux des sociétés humaines. Il ne se réconciliait cependant pas avec le régime de Louis Philippe. Ce souverain bourgeois que l'origine de son pouvoir condamnait fatalement à être le courtisan de la populace, ne répondait pas à son idée de la royauté. Et pourtant, puisque les événements l'avaient placé sur le trône, il voulait qu'il fût respecté par tous, et la lettre suivante du 26 février 1831 expose dans quelles conditions il admettait une restauration bourbonienne:



«Je suis honteux pour Charles X de le voir retomber encore dans ces sourdes intrigues qui font plus de mal que de bien à sa cause. Soulever des prêtres, s'associer avec les anarchistes pour renverser le trône de Louis Philippe et livrer la France à toutes les horreurs d'une désorganisation qui durerait peut-être autant que celle de 1793 et produirait autant de crimes et de malheurs! Ces malheureux princes n'ont-ils pas assez conduit de sujets fidèles à l'échafaud? La machine infernale, la conspiration de George Cadoudal, les menées de Pichegru, tout cela était dirigé par eux du fond de leur retraite, et tout cela a fini par le supplice de leurs agents, tandis que les braves Vendéens, se battant pour Dieu et pour le roi, restaient abandonnés sans pouvoir jamais obtenir que le comte d'Artois, alors dans la force de l'âge et ses fils déjà grands garçons, vissent appuyer de leur présence cette valeureuse armée qui a vu périr tant de nobles victimes sous le plomb des révolutionnaires. Les La Rochejaquelein, les Cathelineau, les Charette, les Stoffet, les Frotté sont autant de morts qui témoignent de la fidélité des sujets et de la faiblesse morale de leurs maîtres. S'il y avait un Henri IV dans cette famille et serait à présent à Bordeaux ou à Toulouse arborant son drapeau blanc et appelant à son aide tous les nombreux amis de la légitimité, en 15 jours il aurait une armée avec laquelle il défendrait ses droits, parviendrait à reconquérir son héritage ou mourrait avec gloire. Mais intriguer du fond de Holyrood, cela sent l'absence de toute grandeur d'âme et de tout sentiment vraiment noble et royal».

Dans une lettre antérieure il fait un retour sur son passé et répond à la comtesse Sophie qui l'avait engagé à profiter de ses loisirs pour écrire des mémoires.

«Des mémoires, dites-vous! Eh bon Dieu, on en est inondé! Malgré cela je crois que j'aurais aussi des choses curieuses et intéressantes à dire. Tant que les Bourbons ont régné, cela n'aurait pas été permis; à présent qu'ils sont dans l'infortune, il y aurait de la lâcheté à publier ce que j'ai su et ce que j'ai vu d'eux pendant les premières années de l'émigration; j'ai passé cette époque dans leur intimité intérieure, dévoué à leur cause qu'alors je croyais si belle et pour laquelle j'ai plus d'une fois exposé ma vie dans des voyages à Paris aux moments les plus périlleux, pour les faire communiquer sûrement avec Louis XVI, ce qui m'a mis au fait de bien des particularités dont je pourrais seul rendre compte avec vérité. Mais je les servais, je les aimais; ce n'est qu'à la longue que j'ai pu me détacher d'une cause qu'ils ont pris plaisir à gâter, quoique, dès le moment où je fus admis à prendre part à leurs affaires, je remarquasse mille choses

«qui me choquaient, parce qu'elles blessaient les sentiments moraux dans desquels j'avais été élevé. Je remarquais bien vite que, chez Louis XVIII surtout, fausseté voulait dire prudence, et que bonne foi était un mot vide de sens. J'ai vu qu'on pouvait cajoler, caresser jusqu'à la dernière minute l'homme dont on avait décidé la perte ou tout au moins l'éloignement. J'appris qu'on pouvait inventer des crimes qui n'avaient jamais eu lieu, pour faire éloigner un ministre qui gêne chez une puissance étrangère. J'appris que diviser pour régner était une maxime qu'on appliquait dans sa propre maison et parmi les serviteurs les plus dévoués. J'appris bien d'autres choses encore, qui, je crois, existent à toutes les cours et qui rendent l'existence d'un homme obscur bien précieuse pour ceux qui connaissent les princes et qui savent tout ce que l'ambition de les approcher coûte de peines et de sacrifices».

Les événements journaliers auxquels il assistait du fond de sa retraite et dont quelques amis fidèles lui apportaient les échos, lui fournissaient matière aux réflexions les plus judicieuses dans lesquelles son excellent esprit se complaisait à trouver des principes généraux. La politique extérieure, aussi bien que les terreurs insensées que l'apparition du choléra inspirait aux autorités moscovites; les défaillances et les fautes des organes du gouvernement, les désastreux tâtonnements de la campagne de Pologne, toutes les erreurs et les faiblesses de son époque, dictaient à sa plume des pages qui se distinguaient par l'élégance du style, par la rectitude des opinions et par la chaleur des sentiments.

Christin avait conservé pour la p-sse Tourkestanow un pieux souvenir qui ne se démentit pas jusqu'à sa mort. En 1833, ayant été fort malade, sentant ses forces décroître et croyant sa fin prochaine, il écrivit à la comtesse Bobrinsky la lettre suivante datée du 7 juin:

«Vous savez que j'ai soutenu pendant près de sept ans une correspondance très suivie avec votre compagne de voyage en Allemagne. Je crois vous avoir dit aussi qu'après la mort de cette excellente amie, toutes ses lettres me furent renvoyées et que, pour avoir une occupation manuelle pendant de longs accès de goutte, je m'étais amusé à copier par ordre de date toute cette correspondance, laquelle forme 5 volumes in quarto. Or, l'époque étant arrivée pour moi où tout homme sensé doit mettre le dernier ordre à ses affaires, j'avais pris la résolution de brûler toutes ces écritures; mais, voulant me donner le plaisir de revivre quelques moments dans le passé, ce qui est la seule jouissance des vieillards isolés comme moi, je me suis mis à redire cette correspondance d'un bout à l'autre. Vous avouerez-vous qu'à

«mesure que j'avançais dans cette lecture, j'éprouvais des regrets de la livrer aux flammes. Cette collection renferme, au milieu de beaucoup de puérités, des lettres qui me semblent mériter d'être conservées, tant sous le rapport anecdotique que sous celui des réflexions que les circonstances faisaient naître. Je conviens qu'il y a peut-être de la vanité dans ce jugement, car c'est dans mes propres lettres surtout que je trouve l'exposé des principes salutaires pour tous les tems et de nature à être lus et appréciés dans l'avenir comme à présent, principalement dans ce qui a rapport aux deux dernières années de la correspondance».

«J'ai donc envie qu'elle soit conservée, et comme après moi elle tomberait peut-être entre les mains de la police, qui se fourre partout, j'ai le plus grand désir de la déposer entre les mains d'un ami sûr, dès à présent et pour toujours. Cet ami, madame la comtesse, ne peut être que vous si vous voulez bien y consentir. Vous savez tout ce que peuvent s'écrire dans l'intimité deux amis ayant les mêmes connaissances dans la société et demeurant habituellement dans deux capitales différentes. La plus extrême franchise règne dans toutes ces lettres sur des personnes dont la plupart sont encore vivantes, et par conséquent il serait impossible d'en permettre la lecture aux curieux indiscrets. Vous êtes en vérité la seule personne citée avec éloge sans aucun mélange de critique, ce qui rend ce dépôt dans vos mains exempt de tout inconvénient. De plus, vous êtes de toutes les personnes que je connais celle qui réunit le plus de prudence à une parfaite solidité d'esprit et de jugement, et par conséquent vous saurez mieux que qui que ce soit, ce qui doit être fait de ce dépôt dès à présent ou par la suite, et si vous y consentez je le mets à votre entière disposition pour le détruire ou pour le conserver.»

Peu de mois avant sa mort, le 5 juillet 1837 il écrivait à la comtesse Sophie sa dernière lettre empreinte des plus mélancoliques pressentiments. Approchant du terme de sa carrière terrestre, le souvenir d'une amie qui était morte depuis 18 ans lui revint et lui inspira les lignes suivantes qui, en même tems qu'elles soulèvent le voile qui planait sur la cause de la fin prématurée de la princesse Tourkestanow, prouve et la constance de l'affection qu'il lui avait vouée.

«Il y avait chez elle comme chez les hauts personnages au milieu desquels le sort l'avait jetée, tout ce qu'il fallait pour que son esprit si distingué lui créât une position spéciale, honorable et assurée pour la vie. Une fatale faiblesse a bouleversé tout cela et un orgueil (assez naturel au reste) l'a empêchée de recourir au seul remède qui eût pu lui con-

«server encore une situation élevée. M-r le Grand \*) aurait été flatté  
 «d'une confiance entière et sans réserve et aurait su pourvoir aux moy-  
 «ens d'étouffer à jamais ce fatal secret. Mais elle n'a pu se résoudre  
 «à descendre du piédestal où les principes professés d'une haute vertu  
 «et d'une entière pureté de moeurs l'avaient placée. Elle n'a pris con-  
 «seil de personne; elle avait un ami auprès d'elle, elle en avait un  
 «autre en moi qui n'aurait rien épargné pour lui être utile si elle avait  
 «pu prendre sur elle de leur avouer qu'elle n'était qu'une femme. Vous  
 «me demandez qui m'a appris la cause de cette mort? C'est une an-  
 «cienne amie dont elle n'était plus aimée, une amie qui avait com-  
 «mencé par être protectrice et qui avait fini par sentir qu'au besoin  
 «elle ne pourrait plus être que protégée. Ces changements-là ne se  
 «pardonnent pas. Aussi la mort de notre chère princesse ne causa nul  
 «chagrin dans ce quartier-là, et sa chute, révélée plus tard, y causa  
 «presque de la joie. Cette découverte fut occasionnée par l'embarras  
 «du médecin d'abord, puis par la réclamation du père qui, ne reculant  
 «pas devant les preuves positives qu'on exigeait de lui par rapport à  
 «ses droits, envoya les lettres originales de la pauvre mourante. Ne  
 «trouvez-vous pas que ces choses-là, loin d'aigrir contre les faiblesses  
 «humaines, inspirent au contraire une tendre pitié pour ceux qui y suc-  
 «combent? Cela me fait cet effet-là en me prouvant que nous ne som-  
 «mes tous que de fragiles créatures sans droits pour condamner chez  
 «les autres ce que nous ferons peut-être demain; car qui pourrait avoir  
 «assez de confiance en soi-même pour dire: je ne faillirai pas?»

Christin mourut à Moscou le 18 décembre 1837 et fut enterré au  
 cimetière catholique allemand, où un monument érigé par une ancienne  
 et fidèle amitié orne sa tombe et trace en peu de mots le cours de sa  
 carrière.

Novembre 1875.

---

\*) C'est ainsi que dans leurs lettres la p-sse Tourkestanow et Christin désignaient  
 l'empereur Alexandre.

I.

Pétersbourg, le 10 juillet 1813.

Je viens vous assurer, monsieur, que vous avez pour votre compte une grande part au chagrin que j'ai eu de quitter Moscou. Je remercie beaucoup madame de Noiseville de m'avoir procuré votre connoissance; assurément ce sera une de celles que je me plairai à cultiver, quelque part que je sois, et j'aime à croire que la distance où nous sommes l'un de l'autre ne vous empêchera pas de penser quelquefois à moi et de me donner de vos nouvelles, qui me feront toujours un bien grand plaisir.

J'ai voyagé en véritable courrier; j'ai été nuit et jour. Tout le monde se plaignait et se plaint encore des chemins; je ne les ai pas trouvés si mauvais à beaucoup près; d'ailleurs avons-nous des chaussées pour nous permettre ces murmures? A mon avis cette route de Moscou à Pétersbourg est encore la plus supportable, du moins peut-on mettre pied à terre quelque part. La ville est déserte, et mon château m'a fait l'effet d'un donjon: je n'y ai pas rencontré un chat en débarquant. J'ai monté mes 113 marches avec peine, et en rentrant dans ma chambre je n'ai pas éprouvé la moitié du plaisir que j'avois autrefois en y arrivant (ne dites pas cela chez ma tante). Enfin je ne compte pas demeurer dans cette solitude, et je me transporterai à Kamenny Ostroff dans 4 ou 5 jours; ce sera chez la princesse Youssouloff, que vous ne connoissez peut-être pas, une personne d'un grand mérite et qui a beaucoup d'amitié pour moi. La princesse Boris est venue me voir le lendemain de mon arrivée. Elle est toute seule en ville; ses filles sont déjà à Mourino; hier j'ai passé à mon tour la journée chez elle, ce soir je verrai la comtesse Strogonoff. On est ici passablement ignorant sur les nouvelles de l'armée; la gazette de Berlin parle d'une prolongation d'armistice jusqu'en septembre; c'est comme un avant-propos qu'on a soin de jeter dans le public pour le préparer. Vous et moi nous l'étions,

il me semble, du moment que nous eûmes lu les fameux articles. D'un autre côté madame de Litta écrit de Czarskoécélo à la princesse Yous-souppoff sa soeur, qu'on a reçu la nouvelle d'une triple alliance contractée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie pour une guerre offensive et défensive. M-s Balachoff, Bubna et Stein ont signé pour les trois cours. Vous qui avez plus d'esprit que moi, peut-être saurez-vous à quoi cela va nous mener! Ma chère p-sse Boris, qui aime les illusions, s'amuse à faire le dénombrement de nos forces, et moi à tout cela je me bouche les oreilles. Lorsque je me rappelle que l'année passée il n'y avait pas une seule table de boston où je n'aye vu faire l'addition de nos troupes, qu'on disait monter à six cent mille hommes, et qu'après cela nous nous sommes toujours vu attaqués par des forces supérieures, cela me fait supposer, ou que jamais nous n'avons eu autant qu'on le disait, ou que les Français avaient des soldats par millions. Partant de là, vous imaginez combien l'arithmétique de la p-sse Galitzine me rassure peu.

Je ferai aujourd'hui une coquetterie à m-r de Markoff en lui renvoyant ses livres: je veux lui écrire pour lui demander des nouvelles de sa santé.

## II.

Moscou, le 21 juillet 1813.

Quelle aimable et obligeante attention, princesse, que celle de m'apprendre votre heureuse arrivée. Ma tristesse fut extrême le jour de votre départ de ne pouvoir aller prendre congé de vous. Elle redoubla quand je sus que mon billet d'adieu était arrivé un moment trop tard; je maudis la Pologne et les Polonais qui font du mal partout, en masse et individuellement: au milieu des courses que madame Potocka me faisait faire, je m'occupais de votre voyage et je faisais mille voeux pour vous, voeux qui, quoique vagues faute de savoir positivement sur quoi les porter, n'en étaient pas moins vifs, ardents et sincères. Jugez si je me trouve flatté d'apprendre que j'ai eu quelque part aussi à votre souvenir et que vous me permettrez de vous entretenir quelquefois des regrets que votre départ laisse à tous ceux qui ont l'avantage de vous connaître et de vous apprécier. Vous connaître peut n'être que l'effet d'un hasard heureux; mais vous bien juger est la preuve certaine d'un esprit éclairé et d'un goût sûr et délicat. Vous voyez que je sais dans l'occasion me faire à moi-même un compli-

ment. Ne me croyez pour cela ni vain, ni présomptueux; la force de la vérité l'emporte cette fois-ci sur la modestie qui m'est naturelle.

M-elle Bridal m'a dit comment vous aviez passé côte à côte avec m-r de Ribeaupierre sans vous en apercevoir; voilà ce que c'est que d'aller jour et nuit en vrai courrier de cabinet au lieu de garder l'allure un peu plus lente d'une *demoiselle d'honneur*. Je comprends que vos 113 marches et ce vaste château désert vous aient donné l'envie d'aller à Kamenny Ostroff et à Mourino; seule dans ces mansardes, vous eussiez été comme une colombe fourvoyée et je félicite les princesses Youssouloff et Galitzine de ce que les circonstances et la saison vous amènent auprès d'elles pour quelque tems. Je n'ai point l'honneur de connaître la princesse Youssouloff si ce n'est de vue et pour lui avoir parlé une ou deux fois; mais je connais parfaitement tout son mérite; il y a longtemps que m-me de Noiseville m'en entretient en toute occasion et m-me de Noiseville est assurément un excellent juge.

Je ne sais plus que penser de l'armistice ni de ce que dit à ce sujet la gazette de Berlin. Si l'alliance autrichienne est sûre comme chacun le croit, je ne vois pas ce qu'on attend pour reprendre les hostilités et frapper un grand coup qui serve d'écho à la victoire de Wellington. Cette victoire doit embarrasser Napoléon s'il est encore vivant, ou déconcerter celui qui le représente caché sous l'énorme chapeau dont *l'Invalide* nous amuse et nous berce. Ce silence absolu du quartier-général ne peut pas toujours durer: nous devons toucher au moment d'un éclaircissement quelconque. Je l'attends avec plus d'impatience que jamais, mais, Dieu mercy, avec moins de crainte que ci-devant; car cette alliance d'Autriche et cette victoire d'Espagne font bon gré mal gré renaître l'espérance dans mon coeur. Je ne crois pas aux six cent mille hommes des armées alliées, mais j'en rabats beaucoup aussi des quatre cent mille qu'on prête à l'ennemi. Je crains un peu le talent qu'il a de se présenter en masse, et notre habitude de disséminer nos forces sur une ligne trop étendue. Les gens de l'art prétendent que cette ancienne routine autrichienne et russe a fait tout le secret des succès inouïs de nos ennemis depuis 20 ans. Si avant Lutzen nous eussions réuni toutes nos forces, la Saxe serait encore à nous. Il est vrai que Hambourg n'eût pas été libéré momentanément, mais les derniers résultats de la guerre eussent affranchi, non-seulement les villes Anséatiques, mais encore toute l'Allemagne. Au reste, je raisonne de tout cela en ignorant et sur la foi d'autres; mais ce qu'on m'a persuadé à cet égard semble s'accorder avec le bon sens que je prends pour guide autant que je peux, partout où les lumières me manquent.

Il me tarde d'apprendre le succès de la coquetterie que vous avez jetée en avant pour m-r de Markoff; il est fort aimable malgré ses 67 ans, et j'aime à croire qu'en dépit des glaces de l'âge, il aura répondu galamment à si douce et gentille avance. Mais ce dont je suis certain, c'est que tout son esprit et ses profondes connoissances en politique ne lui feront pas pénétrer le secret de cette prévenance, et je parie qu'il la prend sur le compte de ses beaux yeux, tout malades qu'ils sont, plutôt que de deviner qu'on en veut à son Bourdaloue. Je voudrais que vous eussiez toute sa bibliothèque et que sa fille eût une amie comme vous, princesse. Le sort de cette jeune personne m'intéresse beaucoup, et si elle avait le malheur de perdre son père avant d'être mariée, elle serait exposée à des peines et des dangers de plus d'un genre.... C'est alors qu'elle auroit besoin de protecteurs contre les ennemis envieux de sa fortune, et d'amis sûrs pour diriger son inexpérience.

J'en étois là, et voici la poste qui m'apporte quatre lignes de m-r de Markoff, qui me mande que pour la 3-ème fois la fièvre l'a repris, et qui ajoute: „La princesse Tourkestanoff d'abord après son arrivée «m'a écrit un fort aimable billet; je lui ai répondu, mais je n'ai pas „pu la voir à cause de ma fièvre“. Voilà une sottise maladie qui s'obstine on ne peut plus mal à propos. Il ajoute un peu plus bas: „On «espère à présent de plus belle, que les Autrichiens seront plutôt avec «nous que contre nous». Cette espérance-là n'est pas un traité signé cependant, et j'aime mieux la version de madame de Litta, pourvu toutefois qu'elle soit véritable.

### III.

St.-Pétersbourg, 26 juillet 1813.

Je suis établie à Kamennoy Ostroff à une fort jolie campagne, chez une personne qui a infiniment d'amitié pour moi et dont le genre de vie convient parfaitement à mon humeur habituelle, qui n'est pas autrement gaie depuis bien du tems, et que j'ai été dans la nécessité de travailler presque sans relâche pendant tout mon séjour à Moscou pour ne pas donner matière à penser aux personnes avec lesquelles je me trouvais, et que j'étois censée venir distraire par ma présence; mais ici, ce motif n'existant pas, je me gêne beaucoup moins. La princesse Youssouppoff, à l'exception de la princesse Boris, ne voit guères de monde, et d'ailleurs étant d'une facilité extrême à vivre, elle me laisse



exactement maîtresse de mon tems et de mes actions. J'en profite pour aller souvent me promener toute seule, ou pour rester des 3 et 4 heures dans ma chambre sans y voir entrer un chat, et faire des lectures bien sèches, bien arides, parce que ce sont les seules qui me conviennent. J'ai reçu un grand nombre d'invitations; mad. Gourieff, qui est logée tout vis-à-vis de nous, m'a beaucoup engagé à passer les soirées chez elle; la princesse Dolgorouky aussi. J'ai eu bien soin de leur parler de ma maussaderie, pour qu'elles me laissent de côté; cependant j'irai chez la première, pour les beaux yeux (l'ont-ils jamais été) de m-r de Markoff. Je vous ai déjà dit que je lui avois fait une coquetterie en lui écrivant pour avoir des nouvelles de sa santé; il n'est pas resté en arrière, et m'a répondu par un très-joli billet; il se plaint d'être toujours souffrant, mais j'entends dire qu'il fait des folies de jeune homme; il sort quand il devrait se tenir tranquille et puis mange des fraises et du fruit qu'on lui défend: voilà du moins ce que m'en a conté mad. Gourieff. A propos, aller chez lui me devient absolument impossible, car la princesse Boris n'y va pas du tout; tout se bornera donc à une rencontre.

Si vous voulez des nouvelles, je vous renverrai au *Fils de la Patrie*, à *l'Invalide*, à la gazette de Kosadavleff; passé cela, il n'y en a pas plus que sur la main. Il est arrivé un courrier du 12, qui ne dit rien; on fait mine de traiter de la paix, l'armistice va jusqu'au 10 août nouveau style.

#### IV.

Moscou, le 4 août 1818.

Je suis bien aise que vous alliez chez mad. Gourieff, car je désire fort que son fils épouse la jeune Markoff, et sûrement vous n'y serez pas contraire. Je vous avoue que j'ai été souvent bien peiné, en entendant la comtesse Tolstoy exprimer devant ce jeune homme toute l'horreur qu'une alliance de ce genre lui inspire. Elle ne faisait nulle application à la vérité, mais ses généralités étaient bien propres à repousser les premières vellétés, car elle alloit jusqu'à dire qu'elle aimeroit mieux voir mourir son fils que de le voir faire un semblable mariage. Il y a de l'exagération de mère à ce propos, tout au moins inutile à exprimer. Au reste, le c-te Markoff n'a pas la plus légère idée de cette opinion; je la lui ai soigneusement cachée, parce qu'il fait d'ailleurs de la comtesse Tolstoy tout le cas que ses grandes qualités

méritent, et qu'il désire par dessus tout d'en faire une protectrice à son enfant. Je l'aurois donc trop affligé, et affligé en pure perte, en lui faisant connoître ce petit écart de l'orgueil des Galitzine. J'appelle cela un écart, parce qu'après tout l'irrégularité de naissance a été corrigée autant que les loix peuvent le faire, et que cette jeune personne peut avoir des qualités essentielles qui effacent tout souvenir, et qui, jointes à sa fortune, soient capables de faire le bonheur d'un honnête homme comme l'est le jeune Gourieff. Ne pensez-vous pas comme moi? Faut-il qu'une irrégularité que les loix et l'éducation ont couvertes de leur voile, bannisse de la société une jeune personne bonne et intéressante sous tous les rapports? N'avons-nous pas vu un prince G-ne épouser une *Babet* sans nom, fille du comte Serge Roumanzoff et nullement légitimée? Votre bon esprit, votre jugement sain et solide saisira l'occasion de dire ce qu'il faut pour concilier les esprits et pour servir d'antidote à ce que la jalousie de beaucoup de mères ne manque pas de semer pour écarter une rivale de leurs filles (tout ceci entre nous). Si vous connoissiez comme moi tout ce que m-r de Markoff a de tendresse paternelle dans le coeur, vous partageriez le désir extrême que j'ai de seconder un sentiment si naturel et si bien placé.

Voici une lettre du 28 juillet, du c-te Markoff, qui me paroît croire que tout est décidément à la guerre. Dieu le veuille! Napoléon, dit-on, casse les porcelaines de m-r de Marcolini quand il reçoit des nouvelles d'Espagne. Quelqu'un qui a lu le Courrier de Londres (que depuis vous je ne vois plus) assure que Joseph a dû, pour sauver sa vie, abandonner sa voiture chargée de ses trésors et de ses portefeuilles et monter le cheval d'un de ses gardes pour échapper au galop! Avez-vous lu cela? Reçoit-on à Pétersbourg ce Courrier de Londres? Ne pourriez-vous pas le voler pour moi? Je ne suis point scrupuleux pour les gazettes: elles sont par leur nature *une propriété publique*. Elles sont à mon esprit ce que les pâturages communs sont à nos bêtes de somme, et quand on me les retranche, je me trouve comme ces chevaux auxquels on lie inhumainement les pieds de devant et qu'on laisse errer sur un grand chemin aride, où il maudit les entraves qui l'empêchent de sauter le fossé pour paître en plein champ.

## V.

St.-Pétersbourg, le 31 juillet 1813.

Je regrette Moscou, et très vivement. Je crois que je me suis trop pressée de la quitter, j'en ai rapporté une certaine disposition d'esprit et de coeur qui ne me rend pas très-propre à être dans la société avec un certain agrément; aussi depuis que je suis à Kamenny Ostroff, c'est à dire dans le grand monde, je ne me suis laissée aller qu'une seule fois à passer la soirée cher mad. Gourieff; j'y ai retrouvé les mêmes personnes, les mêmes propos, le tout passablement ennuyeux. J'aurois désiré qu'on y fit moins les aimables et qu'on y fût moins gai. Si cela vous paraît bizarre, passez-le-moi, mais je vous dis que mon intérieur ne répond pas du tout à ce que j'ai retrouvé dans la société. Celle de la princesse Voldemar, qui est logée chez sa fille Strogonoff, me convient davantage, vu qu'on y est plus à l'unisson de mon humeur.

La grande affaire qui occupe et attire l'attention générale en ce moment, c'est la nouvelle de l'arrivée de Moreau au quartier-général, chose qui ne fait ni chaud ni froid; car je ne l'envisage pas comme importante: il me paraît que c'est une petite intrigallerie du prince royal de Suède, ou, comme le prétend mad. de Noiseville, que madame Moreau se sera ennuyée en Amérique. Il me sembleroit extraordinaire qu'il pût avoir quelque commandement, et il suffit bien que Bernadotte ait des Russes sous ses ordres sans qu'un autre vienne encore s'en mêler. Les émigrés qui vont d'espérance en espérance depuis 23 ans, me soutenoient hier que cette apparition de Moreau feroit un très-grand effet sur l'armée française, qu'on déserteroit etc. etc. Je pris la liberté de leur observer qu'à peine restoit-il des soldats dans cette armée qui connussent le nom de Moreau, et que la fusillade étant toujours à l'ordre du jour chez Buonaparte, c'étoit un grand remède à la désertion. Au reste s'amuser à disputer avec ces messieurs, c'est tirer sa poudre aux moineaux. On dit les hostilités recommencées et l'Autriche entièrement pour nous; mais rien n'est encore officiel. Cependant d'ici à 8 jours nous verrons beaucoup plus clair, et en mon particulier je frémis des chances que nous avons encore à courir. Napoléon a 350 mille hommes contre nous, et en auroit eu davantage, s'il n'eût fait repasser le Rhin à un corps d'armée pour occuper les provinces méridionales de France que les Anglo-Espagnols menacent très sérieusement. Plaise au Ciel qu'ils y entrent: cela pourra servir

d'heureux commencement pour nous autres. Enfin on ne peut pas se dissimuler que c'est une lutte à mort que nous avons en perspective.

Je n'ai aperçu m-r de Markoff qu'en voiture: il y a quelques jours que nous nous sommes rencontrés, reconnus et croisés. J'ai été deux jours de suite en ville à son intention; il avait promis à la princesse Boris d'y venir passer la soirée et n'en a rien fait. Un quatorze de dames m'arrache son coeur, et je suis bien certaine que j'ai plus à craindre de ces rivales-là, que je n'aurois eu peut-être un jour des attraits de madame Hus: tant il y a qu'il joue du matin au soir chez Popoff et chez une madame Karadyguine, bonne amie de celui-ci. Sa fièvre l'a quitté, je le tiens de mad. Gourieff, et comme vous aimez m-lle de Markoff, je vous dirai qu'elle a beaucoup plu à cette dame. Elle la trouve jolie, bonne enfant; mais la manière dont elle s'est expliquée sur le compte de la mère, me ferait croire qu'on y penserait à deux fois avant de contracter une alliance. Si cette femme avait à coeur le bonheur de sa fille, comme elle s'empresseroit de la quitter! Ce sacrifice seroit une oeuvre bien méritoire devant Dieu et devant les hommes; mais elle me semble incapable d'un pareil procédé, et voilà comment elle empoisonne l'existence de cet enfant. A quoi pense l'abbé Maquart? C'eut été de son devoir de la travailler là-dessus.

## VI.

Moscou, le 11 aoust 1813.

Je ne crois pas l'arrivée de Moreau tout-à-fait insignifiante pour la bonne cause; l'armée française, qui ne le connaît plus, l'aime encore par tradition comme un chef qui ménageait et aimait le soldat; les officiers et les généraux le connaissent, et son exemple peut avoir de l'influence sur eux. Souvent les hommes ne sont retenus que par l'opinion; celle qui rend infâme tout transfuge est bien propre à arrêter les plus mécontents; mais quand on se joindra à Moreau, à celui des chefs que l'armée a le plus chéri, ou se croira suffisamment autorisé à une démarche qui, sans cet exemple, eût paru impossible. J'ajoute à cela que les conseils d'un homme aussi habile dans son métier ne peuvent qu'être utiles, si l'amour-propre national ne les étouffe pas ou ne les fait pas échouer.

Au nom de Dieu, donnez-moi des nouvelles de l'Autriche. Puis-je faire alliance dans mon coeur avec François II, où faut-il que je le déteste? Quel beau rôle il peut jouer! Le laissera-t-il échapper!...

## VII.

St.-Pétersbourg, le 8 août 1813.

J'ai enfin vu m-r de Markoff. Nous avons passé une soirée chez mad. Gourieff, et il s'est montré parfaitement aimable pour moi. Il me semble même qu'en sa faveur j'ai été très fêtée dans la maison. Vous savez qu'il y a des personnes qui se règlent sur l'opinion des autres; or, ici c'est un peu le cas. Au reste, cela m'est bien égal: si l'on me reçoit toujours aussi bien, je retournerai plus souvent dans la maison et je me donnerai le plaisir de causer de tems en tems avec votre vieux, qui malgré ses 67 ans fait des frais quand la fantaisie lui en prend. Je suis réellement fâché qu'il ne soit pas employé, car cette tête là en vaut bien une autre au moins. Je serois curieuse de savoir ce qu'il vous dit de Moreau et ce qu'il pense de cette arrivée; pour moi, le sang me bout quand je vois se réjouir de ce qu'un étranger dont la carrière sembloit être finie, puisse être regardé par des Russes comme un libérateur pour la Russie. Il faut que j'aye prodigieusement d'orgueil, car à la lettre cela m'a fait mal. Au reste, je suis encore fort portée à croire que cette arrivée ne fera ni chaud ni froid. Hem! Qu'en dites-vous? On nous assure que Balachoff est parti pour Constantinople où il y a quelque peu de rumeur; ce sera un plat de la façon de Bonaparte, qui pendant les deux mois d'armistice se sera amusé à travailler ses gens-là contre nous et peut-être contre l'Autriche, qui est bien décidément pour nous. Si ces Turcs ne voulaient pas se tenir tranquilles, cela ne laisserait pas que de donner du fil à retordre. Depuis le courrier du 22 rien n'est venu à notre connaissance; mais le moment est intéressant, il faut en convenir. Dans tout cela je ne sais plus ce que deviennent mes princesses avec leur comtesse. Où vont-elles? Que font-elles? Ostermann a-t-il de nouveau un commandement, je n'en sais pas une syllabe; mais je lis dans la gazette qu'on lui nomme des aides-de-camp. Donnez-moi quelque nouvelle de Tolstoy; n'avez-vous pas eu des lettres de Gillet? Sauriez-vous me dire aussi pour quoi et par qui le fils de mad. de Staël a été expédié dans l'autre monde?

## VIII.

Moscou, le 18 août 1813.

Je vous parlerais bien de Moreau si je ne croyais l'avoir fait déjà dans ma dernière épître. Il me semble que vous prenez son arrivée comme trop particulière à la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est en danger, c'est l'Europe entière; ce n'est pas la Russie que Moreau servira, c'est la cause européenne, où tout Européen a le droit de concourir de tous ses moyens. C'est ainsi que j'envisage la chose en grand; et si Moreau s'adresse à l'empereur Alexandre pour offrir ses services, c'est qu'il est à la tête de la coalition générale, ou prête à devenir générale. Ensuite, vous croyez facilement que la France et les armées françaises renferment des milliers de mécontents, qui ne sont retenus que par la force de l'opinion qui déclare infâme tout transfuge, opinion que l'exemple de Moreau est bien propre à détruire ou à affaiblir. Tel général ou tel officier qui aura rongé son frein pendant dix ans par cette espèce de respect humain qui le retient sous les drapeaux du tyran de sa patrie, se croira suffisamment autorisé en marchant sur les traces de l'homme que la France et l'armée ont le plus aimé et respecté. De plus, à supposer que l'on arrive au Rhin, comme la déclaration tardive de l'Autriche pourrait le faire espérer, quel ascendant n'aura pas Moreau sur les frontières de France? Croyez-vous que le peuple ne le verrait pas entrer avec plus de confiance qu'un étranger quelconque? Croyez-vous impossible que les François, fatigués de l'oppression d'un conquérant qui leur ôte tout repos, ne se rallient à Moreau et ne lui disent: *gouvernez nous!* L'autorité de Bonaparte ne tient peut-être dans ce moment qu'à l'embarras où l'on seroit de le remplacer! Non, chère princesse, je ne pense pas que l'acquisition de cet homme soit insignifiante; il est vrai que les choses peuvent tourner de manière à ce quelle ne produise rien; mais elles pourraient aussi prendre telle direction d'après laquelle sa présence et son appui seraient de la plus grande importance.

Je n'ai aucune nouvelle de Gillet ni de Narychkine. Madame Tolstoy me mande que son mari doit avoir passé la frontière et rejoint Beningsen. On assure que la déclaration de l'Autriche a renouvelé les hostilités.

## IX.

St.-Pétersbourg, le 16 août 1813.

Le jeune Woronzow, dernier arrivé de l'armée, sort d'ici. Ce qu'il conte sur nos armées est merveilleux! La bonne tenue à part, l'esprit est véritablement parfait. Chaque Prussien, dit-il, est un héros. Le roi y va de cœur et d'âme; absolument il est certain que pour lui et son pays il n'est plus de rémission; c'est le va-tout: il est souverain ou il ne l'est plus. Les Autrichiens font aussi très-bonne contenance, et leur armée est superbe. Le nombre des forces alliées se monte à 500 mille hommes, sans compter nos réserves et les leurs. *Le Scélérat* est en force aussi, mais si on peut se référer aux calculs humains, il semble que les chances sont pour nous, car l'histoire de l'Espagne apporte une bien grande diversion. Il est à croire qu'il y a de la rumeur en France, puisque Marie Louise ne retourne plus à Paris, mais s'en va à Bruxelles, et dans tous ces voyages pas plus question du roi de Rome, que s'il n'était pas au monde. Où est-il? En savez-vous quelque chose?

Chaque moment va devenir intéressant; le premier courrier ne nous apprendra encore que l'entrevue des souverains alliés, mais le second nous apportera certainement la nouvelle d'une affaire. Qu'il est à souhaiter que le commencement surtout nous soit favorable! Le c-te Woronzow m'a conté la bataille de Lutzen; elle a été telle que nous l'avions jugée à nous deux à Moscou, et les cloches ont sonné à peu près pour une perte. M-r de Wittgenstein fit une faute en découvrant le flanc droit; mais la présence continuelle de l'Empereur, qui affrontait absolument bombes et boulets, lui avait brouillé l'esprit. Je désire de toute mon âme que pareille chose ne se revoie plus et que l'Empereur se dispense de faire preuve d'un courage dont on a déjà été témoin. En pareil cas cela devient un peu affaire de vanité, et pour le bien général je crois qu'on peut en faire le sacrifice. Ne le jugez-vous pas ainsi?

Entre toutes les choses que Worontzow a contées, je ne puis vous dissimuler avoir eu du dépit de la joye universelle que cause l'arrivée de Moreau; on aura beau me dorer cette pilule: j'en sentirai toujours le mauvais goût. Je ne comprends pas comment on s'arrange pour passer si vite d'une jactance sans exemple à une humilité si ridicule! Être réduit à considérer Moreau commé le sauveur de trois monarchies me semble si singulier que jamais je ne le concevrai.

## X.

St.-Pétersbourg, le 28 aoust 1813.

Écoutez bien, monsieur! Le dernier courrier en date du 13, arrivé aujourd'hui du quartier-général de Nedlitz, à 3 verstes de Dresde, apporte la nouvelle que m-r de Wittgenstein a chassé les François de leur camp fortifié de Pirna, leur ayant fait beaucoup de prisonniers et pris 3 canons. Koudachew, le gendre du feu maréchal Koutouzow, s'est fort distingué et a enlevé une aigle. On a pris des drapeaux dont un, polonais, a été apporté par ce même courrier. Bernadotte a envoyé le vicomte de Noailles au quartier-général de l'Empereur, avec la relation et les détails de ces victoires remportées les 21, 22 et 23. Les François sont en pleine retraite sur tous les points et paraissent se replier de l'autre côté de l'Elbe. Nos cosaques et notre cavalerie légère sont en poursuite en différents partis, et on en attend de grands résultats en prisonniers, artillerie, bagages etc. etc. Beningsen est arrivé avec son armée sur Krossen et marche aussi en avant. Des corps de la grande armée russe-austro-prussienne ont occupé fort heureusement et sans opposition les fortes positions et les défilés de Khemnitz en Saxe, et nos avant-gardes se trouvent déjà à Leipzig. On dit même que le général autrichien comte Neiperg y est entré. Des lettres particulières de Riga annoncent que les alliés ont derechef occupé Hambourg. Le comte de Walmoden, qui avait été obligé de se replier dans le pays de Meklembourg, ayant été renforcé de tous côtés, a repris l'offensive et se porte en avant. Bonaparte va remplacer la recette étrangère qu'il n'a plus, par des confiscations et par l'introduction d'un papier-monnaie. Voilà ce qui doit influer en bien sur nos finances.



## XI.

Moscou, le 28 août 1813.

Faites-moi la grâce de me dire tout ce que vous savez d'un m-r de Sacken qui fait accoucher sa femme à coups de pistolet; cette histoire court ici de cent façons, et mad. Tolstoï, parente de la pauvre victime, m'en demande les détails, que j'ignore. Il n'est pas possible que cette brutalité conjugale n'ait fait quelque bruit à Pétersbourg. Quelles en ont été les suites pour le bourreau et pour sa victime?

Je crains le silence en tems de guerre, j'aime qu'on dise où on en est. On assure que le Moniteur n'a pas soufflé le mot de l'affaire de Vittoria; ce silence en double la valeur, car personne n'ignorera le fond de la chose, et chacun en exagèrera les conséquences au gré de sa peur ou de sa haine pour le tyran. Je n'ai pas l'âme vindicative, mais je ne peux m'empêcher d'être bien aise que quelque province françoise connoisse par expérience les angoisses où nous étions il y a une année; cela leur fera voir l'agrément d'être sous la férule *de leur doux maître*.

Marie Louise, régente de l'Empire, quittant Paris pour Bruxelles, et sa majesté le roi de Rome restant on ne sait où caché, sous ses langes, me font un bien que je sais mieux sentir qu'exprimer. Les Brabançons ont toujours aimé les princesses d'Autriche, et c'est probablement pourquoi on leur confie celle-ci.

Ne voilà t-il pas Jomini, le fameux tacticien Jomini qui suit l'exemple de Moreau! Je vous dis que ce Moreau donne un démenti à l'opinion que Bonaparte cherche à renforcer sur les transfuges. Aucun Français ne se croira infâme en faisant ce que Moreau a cru pouvoir et devoir faire. Il est vrai que Jomini est Suisse, mais il n'en vaut que mieux (à mon avis). Serait-il vrai que Lubeck est repris et que les Danois nous donnent leurs 25 mille soldats? Il viennent un peu tard, mais c'est le cas de dire: *mieux vaut tard que jamais*.

## XII.

St.-Pétersbourg, le 8 septembre 1813.

La mort de Moreau est annoncée, les regrets qu'on lui donne sont généraux; on se récrie sur la singularité de sa destinée, qui le fait rester tant d'années en Amérique tranquille au sein de sa famille, et qui ensuite l'en fait sortir pour venir chercher ce terrible boulet presque au moment qu'il débarque et trouver un tombeau à Pétersbourg où on va l'amener pour l'enterrer. Pour moi, dans tout cela je ne fais qu'une réflexion. Jusques à quand l'esprit humain sera-t-il présomptueux! Jusques à quand s'amusera-t-il à former des plans, à s'arranger un avenir, à bâtir sur le sable! Enfin jusques à quand vivra-t-il toujours de lui et point de Dieu? Cet évènement ne vient-il pas le confondre? Il me semble que la Providence est visiblement déterminée à nous humilier.... Ah, vous avez cru que c'est le prince Koutouzow qui vous sauverait; eh bien, c'est que vous ne l'aurez pas. Ah, vous croyez dans votre fol orgueil que c'est Moreau; eh bien, point du tout: Je vais l'enlever, pour vous prouver que tout votre esprit, toute votre prévoyance n'est que misère.

En attendant, Blucher fait très-bien de son côté; on assure que l'armée qu'il avait contre lui, forte de 80 mille hommes, est réduite à 35 mille. On lui a envoyé le St.-André. L'empereur d'Autriche a prié le nôtre d'accepter l'ordre de Marie-Thérèse première classe. Il a également donné la seconde classe du même ordre à m-r de Witgenstein, au comte Ostermann, à Knorring et à un autre dont j'ai oublié le nom. Tous ces cordons donnés de part et d'autre et, plus que cela, les lettres qu'on reçoit de ce pays-là confirment que l'harmonie la plus parfaite règne dans les armées combinées. Le comte Ostermann se porte bien, il a soutenu l'opération qu'on lui a faite avec le plus grand courage, et Willié assure que dans quelques semaines il sera en état de reprendre le service, et c'est à quoi je l'attends le jour qu'on y pensera le moins. C'est lui qui commandait les gardes à cette affaire du 17. Ces 4 régiments, pendant plus de 12 heures, ont soutenu à eux seuls un combat contre 42 mille hommes et véritablement se sont couverts de gloire. Ostermann animait tout par son exemple. Se portant dans les endroits qui lui paraissaient les plus dangereux, il y commandait dans le plus grand ordre, et tous les officiers ont fait merveille. Lorsque le boulet lui a emporté le bras, le baron Rosen, chef du régiment de Préobrajensky, a commandé à sa place. J'ai eu ce matin

la liste des tués et blessés; il y en a passablement, mais la majeure partie blessés. Ефимовичъ, le beau frère de Rounitch, l'est très-grièvement; on doute qu'il puisse vivre. André Galitzine l'est aussi, mais fort légèrement. Tous ceux qui ont pu être transportés l'ont été à Prague. Je rends grâces au Ciel de ce que plusieurs jeunes gens auxquels je m'intéresse ont échappé. Chaque courrier qui arrive donne des transes mortelles: on veut avoir des nouvelles et on frémit d'en demander. Ce matin quelqu'un venant de la ville prétend qu'on parle d'une autre affaire encore qu'a eue m-r de Wittgenstein.

Permettez-moi, monsieur, de vous renvoyer à ma tante pour l'histoire de Sacken. Je la lui ai contée de point en point; sauvez-moi la répétition et sachez que la jeune dame se porte à merveille à l'heure où je vous parle. Ce mari-là est un fou tout uniment, et on croit que la tête lui a tourné depuis longtems.

### XIII.

Moscou. le 8 VII-bre 1813.

C'est un pauvre boiteux qui vous écrit, chère princesse, et pour dire la vérité c'est un pauvre goutteux qui depuis avant-hier ne boit ni ne mange. Vous direz qu'on n'a pas la goutte dans la fleur de l'âge; mais c'est que ma fleur à moi aura jeudi prochain. 11 du mois, précisément 50 ans. Si je pouvais me cacher cette vérité-là, je vous en ferais un grand secret; mais puisqu'il faut que je le sache et que j'en digère l'amertume, je veux vous ouvrir mon coeur sur cela comme sur tout le reste. J'ai donc mon petit demi-siècle avec tous ses agréments: tête chauve, front chargé de rides, pied enflé et douloureux.... je vous fais grâce des etc. etc. que je pourrais mettre en ligne de compte. Toutes ces infirmités-là peuvent bien changer l'extérieur, mais je m'aperçois avec reconnoissance qu'elles n'attaquent que l'écorce et qu'elles me laissent un coeur tendre et aimant, qui défie les plus jeunes; or, cette faculté d'aimer, de s'attacher, étant la source et le fond du bonheur, je me console des accessoires que l'âge peut m'enlever.

Je savais très-bien que vous étiez en coquetterie avec le c-te de Marcow, il me l'a mandé fort plaisamment; il me disait que vous l'attaquez ouvertement, mais que par malheur pour lui *il se sent en fonds pour vous résister*. Je lui ai répondu par la dernière poste: „Je suis charmé que vous voyez la princesse Turkestanow et je voudrais que

vous la vissiez souvent: *elle est de vos amis*; elle a l'esprit solide et un caractère sûr; je voudrais que vous essayassiez de son bon jugement en passant quelque fois du badinage au sérieux; elle pourrait vous éclaircir bien des choses obscures pour vous, car on lui a parlé assez ouvertement sur ce qui fait l'objet de toutes vos affections". Si ce ne sont pas les mots précis de ma phrase, c'en est absolument le sens; mais ma lettre partie, j'ai pensé qu'il vous fera probablement des questions auxquelles vous ne comprendrez pas grand'chose, si je ne vous préviens (entre nous) qu'il a eu lieu de croire que les Gouriew désiraient l'alliance et qu'à ce moment il croit voir qu'on n'y mord plus. Il m'en a écrit assez naturellement, et je n'ai pu lui répondre que vaguement par la poste. Si donc il cherche à être éclairci par vous, chère princesse, parlez-lui franchement de l'obstacle qui se présente, en ménageant cependant son amitié pour m-me Hus et le caractère de cette femme, qui par ses bonnes qualités mériterait, je vous assure, une place fort au-dessus de sa sphère. Si vous voyez que son coeur s'ouvre un peu, dites-lui que je vous ai écrit à ce sujet, et pour peu qu'il désire savoir ce que je vous en ai dit, lisez-lui ma lettre du 11 août sur ce qui a rapport à sa fille: c'est le moyen de lui inspirer toute confiance, car sa carrière diplomatique l'a rendu très-défiant, et j'ai toujours déjoué cette défiance par la plus extrême franchise. Il sera flatté qu'on s'occupe de lui dans un sens aussi noble et aussi désintéressé, et vous vous ferez de lui un ami solide auquel je suis sûr que vous serez extrêmement utile. Son coeur est une place qu'il faut forcer, car il n'a pas le bonheur de croire à la générosité; il imagine difficilement qu'on puisse aimer quelque chose sans intérêt, et il faut quelquefois le servir malgré lui. Mais quand on est parvenu à l'intéresser, on lui trouve l'esprit fort aimable et le coeur très-reconnaissant. C'est donc une action bonne et honnête que je vous propose: saisissez l'occasion de la faire, si, comme je le crois, elle se présente tout naturellement. Quand vous connaîtrez bien celui à qui vous aurez rendu service, vous verrez qu'il en est digne, en dépit d'un certain orgueil qui le fait d'abord résister à cet entraînement du coeur que le coeur seul apprécie.

Les bonnes nouvelles de la guerre me font un bien que je ne puis exprimer.... Le sang humain cessera donc de couler, nous reverrons des jours heureux et tranquilles. Ce qu'on m'a dit du manifeste de l'Autriche me donne la plus grande envie de le lire: il est dans le meilleur esprit.

Je reviens au comte Marcow. Je pense que tout ce que je viens d'écrire à son sujet pourrait fort bien ne vous point convenir, et j'espère, dans ce cas, que vous ne vous gênez pas. J'ai dû vous expliquer

la raison pour laquelle il vous fera peut-être quelques questions; s'il ne vous convient pas d'y répondre, vous saurez bien détourner le sujet par quelque défaite qui ne le désobligerà pas. Au reste, n'ayez jamais l'air d'être au fait sur son espoir trompé; si vous le voyez venir, ce sera de lui que vous aurez l'air d'apprendre ce sur quoi il désire un éclaircissement. Pas un mot de tout ceci chez la princesse Boris. Mon Dieu, avec quelle confiance je vous parle! Pourquoi ne vous connais-je pas depuis 4 ou 5 ans? je ne pourrais pas vous en aimer davantage, mais je serais plus autorisé à avoir le coeur sur la main. Non pas qu'après quelques mois de connaissance seulement je dois vous paraître d'une bonhomie, d'une naïveté prodigieusement helvétiques.... On a beau faire, on ne perd jamais entièrement le goût du terroir.

#### XIV.

Moscou, le 18 VII-bre 1813.

Vos réflexions sur la mort de Moreau sont très-judicieuses et très-chrétiennes; mais tant qu'il plaira à la Providence de cacher aux hommes le secret de Ses voies, il faudra bien que les hommes mettent en usage les moyens humains. Nous devons donc espérer en Koutouzow, en Moreau, comme nous espérons encore après leur mort dans la réunion des pouvoirs, qui peut-être se diviseront avant d'avoir atteint le but qui les rassemble. Moïse tendit ses bras élevés vers le Ciel pendant une journée entière pour implorer Son secours; mais pendant toute cette journée le peuple d'Israël se battait avec le plus grand courage, et ce courage, croyez-moi, ne nuisait pas aux prières du chef.

J'ai eu grand soin de faire part à la comtesse Tolstoï des bonnes nouvelles de m-r Ostermann. Cet homme est étonnant: il ressemble à un spectre ambulante; il a l'air de n'avoir qu'un souffle de vie, et ce souffle en fait un lion sur le champ de bataille: on a beau le couper, le tailler, il n'en est que mieux portant et plus disposé à recommencer. Voilà un genre d'hommes bien précieux dans les circonstances actuelles.

Un courrier parti le 5 VII-bre de l'armée m'a dit ce matin que Napoléon est à Paris, que notre Empereur est à Dresde, que les Français ont été battus à 30 milles de Vienne, qu'ils se retirent sur tous les points et que nous avançons. Je serais au comble de la joye, si je pouvais croire à tout cela; mais comme le courrier a vu le c-te Ros-

toptchine et que ce gouverneur n'annonce aucune de ces nouvelles, je les tiens à peu près pour apochryphes. J'attends la poste avec impatience. Que peut faire Napoléon à Paris? Lui donnera-t-on les derniers restes de la France? En tout cas ce ne sera encore qu'une jeunesse indisciplinée, une armée sans cavalerie et contre laquelle nous continuerons à avoir beau jeu, ce me semble.

Le prince Youssoupow m'a fait lire la lettre du jeune Potemkine à sa mère; cette lettre m'a fait grand plaisir par la simplicité et la modestie de ce récit de bataille, où il a figuré pendant 12 heures: tant de jeunes gens se seraient vantés, cités, mis en avant.... mais on dirait que celui-ci a regardé le tout comme d'une loge; cela est beau et rare! J'ai trouvé ce récit si bien fait dans sa simplicité que je l'ai copié pour l'envoyer à m-me Tolstoï; j'aime mieux ce genre de relation que celles qu'on fait dans les bulletins.

J'ai une lettre de Gillet; il est avec le c-le Tolstoï sur les frontières de Silésie dans un lieu nommé Sokolniki; je ne sais ce que c'est. On assure ici que le général Beningsen est mort. Tous ces généraux ne tiennent à rien; ce que j'en ai vu mourir en Russie depuis 15 ans est incroyable; je les commence à Roumanzow et Souvorow; il est vrai qu'il n'en meurt pas souvent de cet acabit-là. Vivez longtems, quoique vous ne soyez pas générale! Vivez mille ans, comme disent les Espagnols!

## XV.

Pétersbourg, le 18 VII-bre 1813.

Vous êtes goutteux, vous êtes souffrant, tout cela est fort désagréable; cependant permettez, monsieur, qu'avant de vous plaindre, je vous gronde et de la bonne façon. Vous n'avez pas 50 ans, cela n'est pas vrai, vous en avez 15: car vous venez de vous conduire comme on le ferait à cet âge, où on est quelquefois pressé de parler. Quel besoin, s'il vous plaît, de faire savoir à m-r de Marcow tout ce que je vous ai écrit de ma conversation avec m-me Gouriew? Pourquoi conter des choses que je crois n'écrire qu'à vous seul? Connaissant l'intérêt que vous prenez à la jeune personne, vous ayant entendu parler du projet qu'on avait de la marier dans la famille Gouriew, je vous ai dit tout simplement qu'il me semblait que la chose ne serait pas si facile, puisque m-me Gouriew était à peu près de l'avis de m-me

Tolstoï sur l'article de cette mère si gênante. En me tenant ce propos m-me Gouriew ne me faisait pas une confidence, il est vrai; je n'étais pas tenue à le taire, mais qui sait pourtant si elle ne serait pas fâchée que je vous en eusse parlé? En transmettant ce propos à m-r de Marcow, vous l'autorisez ou pour mieux dire vous l'engagez à me faire des questions, et pourquoi faire? Pour me mettre dans le cas de compromettre m-me Gouriew; car c'est cela. Vous aurez beau tourner la chose, j'aurais toujours l'air de faire un commérage, un tripot, et je n'en suis nullement curieuse. Je suis tentée de croire que vous me supposez véritablement une adoration pour votre vieux, mais point du tout: je l'aime comme on aime toutes les personnes agréables dans la société, et jamais il ne me tombera sous le sens de m'en faire *un ami*. Je suis toujours enchantée de rendre service, mais encore cela ne vait-il pas jusqu'au point de me mêler de choses qui ne me regardent en aucune manière et dont je suis sûre de me tirer très-gauchement. Quelle nécessité avez-vous de me jeter à travers un mariage qui peut se faire sans moi ou qui ne se fera pas, sans qu'également j'y sois pour quelque chose? Convenez que tout ce que vous avez imaginé est fort déplacé, que vous avez eu tort d'écrire à m-r de Marcow et que j'ai raison de vous gronder.

Je ne suis plus à la campagne: avant-hier nous quittâmes Kamennoi Ostrow; mon appartement au château, n'étant pas encore entièrement réparé, m'a fait venir chez la princesse Boris qui, toute bonne et aimable, m'a donné des chambres charmantes au rez-de-chaussée; j'y suis établie très-commodément et très-chaudement; mais je n'y pourrai pas rester longtemps, car l'Impératrice Élisabeth est rentrée aujourd'hui en ville, et pour cette raison il faut que chacun se rende à son poste. Vers le 4 ou le 5 VIII-bre je monterai dans ma mansarde. Je ne puis vous rendre toutes les choses obligeantes que m'a dites la princesse Youssouloff au moment de nous séparer: j'en ai eu le coeur tout gros. Elle a été parfaite pour moi tout le tems que je suis restée à la campagne, et si vous la connaissiez, vous sauriez combien on doit lui tenir compte de ce qui s'appelle une attention, car elle est d'une froideur glacée. Nous avons été deux ans à nous voir sans nous dire une parole, j'allais même jusqu'à l'éviter: tant elle me paraissait peu agréable. Le mariage de sa fille avec mon cousin Ri-beaupierre nous a rapprochées, et depuis ce moment nous avons fait connaissance. Au reste je ne sais à quel charme cela tient, mais j'ai observé que depuis mon retour de Moscou plusieurs personnes ont redoublé de bonté pour moi. Je trouve à tout ce que je vois une aménité étonnante.

Il est doux d'être un peu aimée, mais combien cela nuit au salut! On doit être continuellement en garde pour ne pas se laisser trop aller à cette douceur. Pour peu qu'on s'y livre, on risque bien de n'aimer qu'en chair et en os, et point en esprit. Moi surtout! Ah, comme je me sens aimer la chair! Et comme je voudrais ne pas l'aimer! Croyez-vous que j'y parviens un jour? Au reste, ayant la parfaite certitude que je ne me damne pas en vous aimant, je vous prie de croire que je le fais malgré votre étourderie de 15 ans. Bonjour et sans rancune.

J'ai envoyé à m-me Tolstoï une lettre de mes soeurs, dont j'ai eu des nouvelles tout récemment; elles sont à Prague. M-me Ostermann ignore qu'il manque un bras à son mari; elle est tout heureuse de le savoir en vie depuis cette terrible affaire. Le c-te lui a écrit un mot le lendemain de son opération, mais en même tems il a envoyé son aide-camp à mes soeurs pour leur dire la vérité, en les exhortant de la cacher à la comtesse jusqu'au tems où lui-même viendra les joindre.

## XVI.

St.-Pétersbourg, le 28 VII-bre 1813.

Tout ce que vous dites sur Vandamme est charmant. J'aime surtout: il a parlé au Vandamme, comme qui diroit au Hottentot, au Nègre etc. J'ai porté tout cela à mad. Strogonow, parce que je savois le plaisir qu'elle en aurait. Nous avons donc lu cette lettre ensemble, et puis elle a voulu que je la relise encore chez la p-sse Woldemar, qui en a été également fort charmée. Toutes ces lectures m'ont fourni l'occasion de parler de celui qui écrivait, et bien sûrement vous avez été en bonnes mains pour toute cette soirée. Quand j'aime quelqu'un, je voudrois tant que certaines personnes dont je fais cas l'aimassent aussi, et c'est à cette intention que je parlois beaucoup de vous à ces dames, qui assurément pour leur part ont infiniment de mérite. Je suis fâchée souvent que vous ne soyez pas à Pétersbourg, autant pour moi que pour vous-même; il me semble qu'on ne vous rend pas assez de justice à Moscou, et qu'on ne vous y prend pas à votre valeur. Ce n'est pas qu'il n'y ait de bonnes gens dans ce pays-là, ce n'est pas qu'on n'y ait pas de jugement; mais je leur refuse *une certaine finesse de goût*. Comprenez-vous? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais encore une fois ils n'ont pas le goût fin. Je suis tentée de croire que je



me suis mal expliquée sur tout ce qui regardait Moreau. Je ne prétends pas qu'on reste les bras croisés à attendre les effets de la Providence, mais je voulais vous faire entendre que l'esprit humain, beaucoup trop présomptueux, se plaît à établir certains plans comme ne pouvant manquer, parce qu'il les a prévus et arrangés. Je désirerois qu'on ne se reposât pas avec tant de certitude sur cet esprit, qu'on subordonnât le tout à la volonté et au pouvoir du Très-Haut. Si c'étoit la pensée dominante, on ne s'ennorgueilliroit d'aucun succès et on ne se décourageroit pas d'un revers. La citation que vous me faites de Moïse est très-bonne; mais, faut-il vous l'avouer, je crois que les bras élevés étoient justement ce qui rendait les Israélites courageux et victorieux.

Le corps de Moreau est arrivé, on l'a déposé à Czarskoé Célo dans une église catholique, on travaille dans celle d'ici à un catafalque dont s'occupe Guarenghi; quand cela sera fini, on l'amènera, il y aura un grand service, une grande musique. Le père Rosavin, Jésuite, se charge de l'oraison funèbre; il est érudit, il est fort éloquent, nous entendrons ce qu'il dira. Si je vais à la cérémonie, ce ne sera que pour l'oraison funèbre. Je pense que Moreau sera enterré vis-à-vis le roi de Pologne, car je ne sais pas où on le mettroit ailleurs. Le colonel Rapatel, son aide-de-camp, est arrivé avec le corps; il étoit fort attaché à sa personne, il l'avait suivi dans toutes ses campagnes, l'a accompagné en Amérique, enfin ne l'a jamais quitté; ses regrets sont très-vifs, et tout ce qu'il dit sur la perte qu'il vient de faire, est d'un homme sensible. L'Empereur l'a fait son aide-de-camp à lui.

Nos affaires vont bien, le prince-royal de Suède avance à grands pas; ce m-r Rapatel en parle avec extase. Il dit qu'il est également tranquille sur le compte de Blucher; il paraît moins compter sur Schwartzemberg. On assure bien positivement que Napoléon abandonne Dresde et se porte en arrière; on a ici des lettres très-fraîches de l'armée de Beningsen, qui pour ainsi dire donne la main à Blucher; le c-te Tolstoï doit se porter sur l'Oder. D'un autre côté nous avons la nouvelle qu'on a occupé Trieste, que la Bavière se range sous nos drapeaux et que le Wurtemberg donne le même espoir. C'est à peu près toute l'Allemagne; il semble en vérité que la chose ne peut pas manquer, humainement parlant.— Je ne suis pas encore dans mes mansardes, c'est après demain, 1-er VIII-bre, que je ferai l'escalade. Une fois que j'y serai établie, je vous promets de vous envoyer la carte de mes allées et venues. Vous dites bien que je n'irai plus promener, parce que la seule idée de faire quatre cent marches en ôte toute envie. Je me bornerai au jardin de l'Hermitage, qui est fermé de tous côtés et que j'ap-

pelle le jardin des Odalisques; aussi bien je n'ai besoin que d'exercice, et quant au monde, j'irai le trouver le soir. La p-sse Boris a repris ses vendredis et ses lundis; le premier jour il n'est venu qu'une vingtaine de personnes, j'ai fait une partie de tric-trac avec le duc de Polignac et j'ai été me coucher à minuit. Si vous saviez combien une nombreuse société m'excède! C'est à un tel point que je ne trouve pas de terme assez fort pour vous le rendre; pas le moindre désir d'y faire quelques frais, de chercher à plaire, à parler; enfin c'est une petite croix pour moi que la nécessité d'y assister. Ah! S'il plaisait à Dieu de me tirer de tout cela!

## XVII.

Moscou, le 9 VIII-bre 1813.

Je vous trouve si bonne et si aimable que je voudrais être jugé par vous avec pleine connaissance de cause, et je suis quelquefois tenté de reprendre pour vous seule un travail qui était très-avancé et qui a péri dans le sac de Moscou, soit par le feu, soit par le pillage. C'était une relation suivie des circonstances assez singulières dans lesquelles je me suis trouvé depuis mon entrée dans le monde. Je n'ai conservé que le premier cahier, parce que c'était le seul mis au net et qu'il s'est trouvé dans mes portefeuilles; l'énorme brouillon, laissé dans une malle d'effets enterrés, a péri, comme je vous l'ai dit. Cette relation pourrait n'être pas sans intérêt, abstraction faite de ce qui me regarde, vu les événements dont j'ai été témoin. Cependant je ne l'ai lue à qui que ce soit et je n'ai même dit à personne sans exception qu'elle existait. J'aurais envie aujourd'hui que vous la lussiez; mais *recomposer* est bien dur et bien fastidieux. Encouragez-moi si vous le jugez à propos, et j'y ferai des efforts. Au moyen de cette lecture vous me connaîtrez comme je me connais moi-même, et vous saurez sur la révolution et sur plusieurs événements publics des anecdotes intéressantes et parfaitement inconnues.

Ce que vous me mandez des armées me comble de joye; mais je suis bien sur Schwartzemberg de l'avis de Rapatel, c'est à dire que je crois que les Autrichiens ne permettront pas qu'on achève Napoléon, et que dès qu'ils le verront réduit au point qui convient à leur politique, ils feront avec lui une paix avantageuse pour eux, sans s'embar-

rasser des autres. Mon plus ferme espoir est dans le caractère de Bonaparte, qui ne voudra entendre à aucun accommodement dès qu'il faudra céder un pouce de ses précédentes conquêtes.

Vous voilà donc rétablie dans votre haut domicile; madame votre tante m'a dit qu'on vous y a arrangé un appartement délicieux et que vous êtes l'enfant gâté de m-r de Litta. Je le trouve fort heureux d'avoir la facilité de vous obliger.

C'est un bonheur d'être bien logé, et j'en jouis en plein; car j'ai un des jolis appartements de Moscou, bien propre, très-bien meublé et entretenu avec beaucoup de soin. Aussi je vous prie de croire que les dames viennent me voir, et qu'une légère incommodité qui me retient chez moi m'a amené mad. Labkow et quelques autres femmes à dîner avant-hier. Je crois bien, entre nous, que c'est l'ennui qui se déguise en charité; mais je suis poli et je ne fais pas semblant de le reconnoître.

Nous avons à Moscou une beauté nouvelle dont on fait quelque bruit, c'est la jeune épouse de m-r Valouyew le fils; elle est Livonienne, très-fraîche, très-haute en couleur, de beaux yeux, un doux langage et beaucoup de naïveté; mais elle s'ennuye ici, parce qu'elle n'aime pas la grande-patience, ni la *tricoterie* non plus, dit-elle. Quel seroit, je vous prie, le genre de vie que vous choisiriez si vous étiez la maîtresse de vous faire un sort à volonté, puisqu'une société de 20 personnes et un tric-trac avec le bon vieux duc de Polignac vous semblent trop tumultueux? Vous êtes si bien faite pour la société que c'est un vrai meurtre de chercher à la priver de vous. La solitude, la lecture, le recueillement, font bien selon moi le bonheur de la journée: mais le soir pendant deux ou trois heures un peu de société fait du bien en renouvelant les idées, en égayant l'esprit et en le maintenant dans une disposition nécessaire au commerce de la vie.

## XVIII.

St.-Pétersbourg, le 6 VIII-bre 1813.

Pourquoi votre esprit a-t-il voulu prescrire de certaines limites au sentiment que je vous porte? Il ne fallait pas le faire travailler à cela, et tout uniment vous bien persuader que je vous aime beaucoup et de la bonne manière. Ne jouez donc pas sur les mots, monsieur, et ne me forcez pas à vous expliquer ce qu'il vous plaira de tourner dans un sens opposé au mien; je ne saurai jamais vous bien répondre par la simple raison que je n'ai pas autant d'esprit que vous, et j'écrierois des volumes que je suis sûre qu'en deux mots vous me battriez toujours. Dans cette lettre du 29 que je viens de recevoir à l'instant, vous revenez encore sur le sujet qui vous a attiré ma gronderie. En vérité, il ne m'étoit guères possible de vous entendre autrement que je ne vous ai compris; la crainte que j'ai eu tout d'un coup d'être questionnée par m-r de Marcow et la certitude que j'avois de lui répondre gauchement, m'a peut-être donné de l'humeur plus qu'il ne convenait et, naturellement franche, j'ai eu le besoin de vous dire comment j'avois pris la chose. Si j'ai eu un peu trop d'humeur, daignez me le pardonner, et fessons de tout cela comme de *non advenu*. Vous êtes bien bon d'avoir pris l'alarme pour une petite incommodité qui n'a duré que quelques heures: je me porte à merveille et je suis installée dans mes mansardes qui, par parenthèse, sont très-jolies.

Mon appartement, composé de trois pièces, grâce à un parquet neuf, à une cheminée arrangée, à une draperie nouvellement teinte et à un meuble de casimir vert retourné, a pris un air de fraîcheur qui charme tous les yeux; ceux de mes compagnes surtout le voyent avec une véritable envie. L'extrême propreté qui y règne, un certain ordre dans tous mes effets, tous cela le présente sous un charmant aspect. Je me suis arrangée un certain petit coin dans lequel j'ai établi un Voltaire bien commode avec une petite table vis-à-vis, et une étagère à côté où sont posés mes livres; c'est quelque chose de très-confortable, comme disent les Anglois. Je passe toutes mes matinées dans ce coin et pour peu que vous voulussiez m'y chercher, vous seriez sûr de m'y trouver.

J'ai renoncé aux promenades: c'est fini, il n'est pas possible de grimper ces terribles escaliers à plusieurs reprises; il faut se borner aux galeries de l'Hermitage. De plus, voici l'emploi bien exact de toute une semaine. Je dîne le lundi chez moi avec une petite soupe, une

côtelette, des oeufs et un petit verre de vin de Porto; ensuite je m'occupe à écrire à peu près toute la journée; le soir, c'est à dire à 9 heures, je vais chez la p-sse Boris. Mardi, il n'y a rien d'arrêté pour le dîner: je puis l'aller chercher dans quelque maison où je ne vais pas souvent; le soir je rentre chez moi. Mercredi je dîne chez la c-se Strogonow et soupe chez sa mère. Jeudi, dîner chez la p-sse Youssou-poff et la soirée chez mad. Gouriew. Vendredi dîner chez la p-sse Boris, et comme c'est encore un jour où elle reçoit du monde à souper, je l'esquive et rentre dans mon coin. Samedi je dîne chez la c-sse Litta, j'y joue au boston, et le soir je vais chez la p-sse Woldemar. Dimanche encore dîner chez la p-sse Boris et le soir chez mad. Gouriew. Vous voyez qu'il y a deux jours dans la semaine pour les personnes que j'aime à voir de préférence, c'est à dire pour ma bonne p-sse Boris, pour la c-sse Strogonow et pour la maison Gouriew; la maison, entendez-vous bien: car ce n'est pas tant pour madame elle-même que pour quelques bonnes âmes que j'y rencontre.

La matinée de Pétersbourg n'est pas celle de Moscou: on sort à 4 heures pour aller dîner, de sorte que qui se lève à 8 heures, comme je le fais, trouve suffisamment de tems pour lire, pour méditer, entendre l'office, s'instruire, satisfaire sa curiosité et broder au feston. Lorsqu'on a la bonté de me venir voir, j'en suis bien aise; si on ne vient pas, point de prétention.

Hier chez mad. Gouriew on disoit que le roi de Saxe, en quittant Dresde, avait été enveloppé par un détachement des armées combinées et conduit avec toute sa famille près de Khemnitz. Est-ce vrai? N'est ce pas vrai? C'est ce que je n'entreprendrai pas de vous assurer. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que de ce roi de Saxe on ne prendrait que la personne, car il est de fait que Bonaparte s'est emparé de son trésor; il s'est fait donner jusqu'à la dot de la princesse Augusta et s'est contenté d'inscrire le tout sur le grand livre. Dolgorouky le mande de Vienne à sa mère. J'imagine qui c'est de l'argent perdu ou tout au moins bien hasardé.

On a enterré Moreau il y a quelques jours; je ne suis pas allée à la cérémonie. On critique beaucoup l'oraison funèbre, mais ce pauvre révérend avait si peu d'envie de la faire et étoit si certain de manquer, qu'il s'attendoit à cette critique. C'est un homme d'esprit que le père Rozavin, mais je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas réussi, car le sujet étoit difficile à traiter. Le colonel Rapatel est venu me voir; il pleure, il dit des choses très-touchantes sur son attachement pour Moreau, mais en même tems des choses très-singulières sur ce qui se fait aux armées. Il paraît qu'il ne prévoit pas une fin prompte à tout cela.

## XIX.

St.-Pétersbourg, le 20 VIII-bre 1813.

Ce n'est plus le lundi que je reste à la maison, c'est mardi; ce changement est venu, parce que j'ai accepté une charge dans la société des Dames de Charité, je suis aide de mad. de Novossiltzow (née Orlov); comme elle se trouve avoir deux quartiers de pauvres assez éloignés, elle m'en a donné un. Ces courses doivent se faire le lundi et mon rapport présenté le même jour à mad. Novossiltzow, qui le porte à son tour chaque mercredi au conseil. Je me suis arrangée de façon à avoir la voiture de mad. Novossiltzow, qui m'a priée de venir dîner chez elle ces jours de courses. Elle est bonne personne, elle ne voit pas beaucoup de monde, elle loge aux Jésuites à cause de son fils et ne reçoit que quelques révérends avec des gens de même calibre, m-r de Maistre par exemple. J'y vais donc aujourd'hui, et le soir je rentrerai chez moi pour finir ma poste.

J'ai été hier chez m-r de Marcow que j'avais su un peu malade. Le comte M. avait dit chez mad Gouriew qu'il étoit au lit, nous y sommes bien vite allées. Il nous a reçues à merveille, il étoit à peu près deux heures, à peine sortoit-il de son lit. Ce n'étoit qu'un petit rhume, je lui ai trouvé d'ailleurs bon visage et surtout beaucoup d'amabilité; il a été charmant, s'est bien moqué de moi, m'a comparée à Ambroise de Laméla, mais le tout de manière à ne produire d'autre effet que le rire. J'ai demandé à voir sa fille, qui est arrivée tout de suite; je lui ai fait beaucoup d'amitiés, et le père m'en a su gré. Il a fini par nous inviter à dîner chez lui soit pour demain, soit pour mercredi. Il engage la société de mad. Gouriew. Dans tout cela je ne sais ce qu'il fera de mad. Hus, qui n'a pas paru hier et qui ne paroît plus chaque fois que mad. Gouriew y vient. Je vous parlerai de ce dîner quand il aura eu lieu, mais je vous dirai à présent comme toujours que j'aime beaucoup votre vieux et que je souhaite de tout mon coeur qu'il puisse croire en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, qu'il est encore philosophe!

## XX.

Moscou, le 30 VIII-bre 1813.

Vous êtes donc bien dégoûtée de la société, princesse. Cela est affreux; c'est se complaire dans l'ingratitude, car ce dégoût est un mal que la société ne vous rendra jamais; c'est moi qui vous le dis avec connaissance de cause, en vous conjurant de vous laisser un peu aller à aimer qui vous aime. Je ne prends point le parti du grand monde tumultueux, où sous le rapport du coeur on est à peu près comme dans la solitude; mais bien de ces petits rassemblements d'amis ou de connaissances intimes avec lesquelles on cause librement le soir pendant une heure ou deux, à la suite d'une journée occupé et solitaire; c'est là où l'esprit se détend, où la gaieté se ranime, où les idées se renouvellent par la communication d'autres idées. Peut-être vos sorties à l'heure du dîner nuisent-elles au goût que vous auriez pour la société si elle ne commençait pour vous qu'à 9 heures du soir, peut-être alors deviendrait-elle un besoin et par conséquent un plaisir, selon l'adage:

Il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins.

Quand vous seriez demeurée toute une journée avec vous-même, avec vos livres et dans un grand silence, vous verriez que l'heure vous rapellerait à la fin du jour vers quelques amis. Vous êtes faite pour cela, vous avez beau dire, et c'est combattre la belle nature que de prétendre le contraire!

Quant à la civilisation, pour laquelle *vous n'êtes pas trop*, c'est encore un blasphème, une hérésie dont il faut vous confesser plus tôt que plus tard. Pensez donc que sans cette civilisation nous ne jouirions point de votre esprit et vous ne jouiriez pas de celui de tant d'hommes illustres et célèbres, dont les ouvrages font vos délices et les nôtres. Croyez-vous que Bossuet, Fénelon, Racine et les beaux génies du 17-me siècle eussent produit leurs chef-d'oeuvres s'ils ne fussent nés précisément à l'époque de la plus haute civilisation? Car elle a fort rétrogradé depuis eux, et nous nous en ressentons. Vous faut-il des preuves parlantes? Jetez les yeux sur les classes de la société, chez qui le défaut de l'éducation nuit à la civilisation: vous y rencontrerez sans doute des coeurs honnêtes et quelquefois de l'esprit naturel, mais combien cet esprit est retréci par les petits intérêts sur lesquels il se traîne; quelle masse d'idées dont nous avons le bonheur d'être en possession et qui ne seront jamais à leur portée et n'élèveront jamais leurs âmes

à une certaine hauteur! Mais si je comprends bien votre lettre, c'est précisément ce nombre d'idées qui vous embarrasse et c'est cette di-sette que vous enviez aux autres classes.... A cela je n'ai rien à répondre, sinon que les grandes richesses en tout genre blasent ceux qui en sont en possession. Oseriez-vous bien vous plaindre sérieusement de ce qui fait votre plus beau titre aux yeux de tous les gens de goût; je veux dire ces idées fines et lumineuses autant qu'abondantes et faciles qui vous distinguent éminemment! Ah, croyez moi: appréciez mieux vos talents, rendez grâce à la nature des dons que vous en avez reçus; ils sont rares et précieux; rendez grâce à l'éducation du vernis brillant et poli qu'elle a passé par-dessus tout cela, et jouissez de vous-même avec la satisfaction qu'on éprouve nécessairement lorsqu'on sent qu'on est apprécié et jugé comme on mérite de l'être. Tout le monde n'obtient pas cette justice; il faut rencontrer juste sa place pour jouir de cet avantage; il faut que les lieux et les circonstances cadrent et s'accordent, et cela est fort rare. Cependant il me semble que tant qu'on a la conscience d'être mal jugé, il doit manquer quelque chose au contentement intérieur, parce que l'injustice blesse toujours un peu, quelque dénué qu'on soit d'amour-propre et de vanité.

Vous voilà donc dame de charité; je suis sûr que cela vous sied à ravir. Je n'ai jamais lu le prospectus de cet établissement; quand il parut, cela me frappa d'une manière désagréable sous le rapport d'une imitation parisienne; mais je crois que j'ai eu tort, car pourvu que le bien se fasse, qu'importe où on en a pris l'idée?

La comtesse Tolstoï va se trouver dans des transes mortelles en lisant les bulletins où elle apprendra à quel point l'armée de Bening-sen a pris part à la grande bataille de Leipzik. Je lui écrivis avant-hier de façon à lui faire croire que c'est après cette bataille que le c-te Strogonow avait vu Alexis. Je disois: le quartier-général est à Leipzik, on en a déjà des lettres, et à propos des lettres du quartier-général il faut que je m'empresse de vous dire de la part de la p-sse Tourkestanow que le c-te Strogonow a vu Alexis et l'a trouvé très-gentil et qu'il en écrit beaucoup de bien à sa femme. Elle va me demander des explications précises et me gronder de n'avoir pas su les dates bien juste; mais pendant tout cela, la vérité arrivera, elle aura des lettres de son mari et n'aura, j'espère, aucun larme à verser. Je tremble en pensant au nombre de victimes qu'on va avoir à pleurer. Nous attendons d'une heure à l'autre les lettres du 24, qui pourront nous apprendre bien des choses, car nous touchons à la catastrophe, et chaque courrier peut nous apporter la fin du Monstre. Vandamme a cru d'abord qu'on lui en imposait sur nos victoires, mais en lisant la liste



des 24 généraux tués ou pris à Leipzick, il a dit que si tout cela est vrai, il ne doute point que Bonaparte ne se donne un coup de pistolet avant de regagner le Rhin. Puisse Vandamme être prophète! Les scélérats doivent se connoître et se deviner, et le propos de notre prisonnier m'a fait plaisir.

Il me tarde de savoir des nouvelles du dîner que vous avez fait chez le c-te Marcow. Mad. Hus s'y sera-t-elle trouvée? Je suis ravi que vous goûtiez la petite; quant au père, il a un excellent fond, de grandes qualités qui attachent à la longue, parce qu'en acquérant de l'expérience, on apprend qu'elles sont rares. Ce n'est pas que je n'aye eu à me plaindre de lui sous quelques rapports; mais il le sent et le répare en toute occasion avec suite et méthode, sans en jamais parler. Vous verrez tout cela si jamais j'arrive à rétablir le fatras que j'ai sotttement laissé brûler; j'y veux travailler, mais cela sera long, car j'ai eu 20 ans de vie active, et dans quelle époque! Enfin je veux vaincre ma paresse, quelque chère qu'elle me soit.

Avez-vous vu sur la gazette que les princes françois ont assisté au service que mad. Moreau a fait célébrer à Londres pour son mari? Cette circonstance m'a fait plaisir comme une victoire. En reviendrait-on enfin aux principes véritables et fondamentaux, les seuls qui peuvent ramener une paix solide, parce qu'elle serait fondée sur la justice? Si les rois de la terre veulent régner en paix, il faut qu'ils cessent de consacrer l'usurpation et qu'ils saisissent le premier moment où ils recouvrent le libre exercice de leur puissance et de leur volonté, pour prouver que la force des choses a pu seule les obliger momentanément à abandonner la maison de Bourbon. Louis XVIII est aussi légitimement roi de France que Frédéric est roi de Prusse, et l'on ne peut sentir la nécessité de soutenir ce dernier sur son trône sans remonter à la cause qui a pensé le renverser. Si la sainte ligue des rois s'était formée en 1792 pour Louis Seize, la guerre se fût bornée à la France et n'aurait point ravagé l'Europe entière pendant 20 ans. On a perdu de vue le principe, et tout a croulé. Il a fallu la lassitude et le désespoir *des peuples* pour ramener les souverains sur le vrai chemin; cette vérité est bien remarquable et sera relevée dans l'histoire comme un des faits les plus extraordinaires dont le monde ait été témoin.

Voici la poste, avec la confirmation des superbes nouvelles qui assurent la liberté de l'Europe et du monde. Je regarde Bonaparte comme perdu sans ressource, et je suis trop pénétré de bonheur pour pouvoir me réjouir; il me semble que je fais un beau rêve. D'ailleurs au milieu de ce bonheur j'éprouve à votre sujet, chère princesse, une certaine inquiétude fondée sur la crainte que la visite que vous a faite

le c-te Marcow ne vous ait causé de l'embarras. Voici ce qu'il m'écrit à ce sujet le 24; je copie mot à mot: „J'ai été voir hier la p-esse Tur-  
 „kestanow chez elle, et l'ayant trouvée toute seule j'ai causé avec elle  
 „à loisir sur le sujet que vous m'avez indiqué dans une de vos lettres  
 „précédentes. Nous sommes encore bien éloignés entre toutes les par-  
 „ties intéressées à aborder la question que vous entendez. Quelque  
 „pressé que je sois vu mon âge, je ne crois pas qu'il soit sage de rien  
 „précipiter dans une occurrence qui peut tant influencer sur le bien-être  
 „de quelqu'un qui m'intéresse autant que celle dont il s'agit. Cette p-sse  
 „Turkestanow est vraiment telle que vous la dépeignez, et on ne saurait  
 „la voir et la connoître sans l'aimer et sans prendre confiance en elle“.

## XXI.

Moscou, le 5 IX-bre 1813.

La victoire nous rend généreux tout-à-fait. Ce Vandamme que nous avons traité d'abord comme un brigand, est devenu tout-à-coup un homme fort aimable, qu'on voit, qu'on reçoit, qu'on invite et qu'on fête. Il n'est plus question que de ce qu'il a dit chez monsieur un tel, et le lendemain chez monsieur un autre; il parle comme un livre, mange comme un affamé et fait tous les plaisirs de nos bons Moscovites. J'ai été invité à dîner avec lui, j'ai refusé; et je vous avoue que je ne me sens pas le coeur aussi tendre que ceux qui pardonnent avec tant de facilité tous les maux et les désastres causés par cette horde maudite de Dieu, dont Vandamme fait partie. Que ferois-je près d'un tel homme? L'écouter vanter les exploits de son maître et garder le silence me seroit impossible; lui dire que ce maître et ceux qui le servent sont des gueux à pendre, seroit de ma part une lâcheté vis-à-vis d'un prisonnier qui ne peut pas répondre ou se venger. Il faut donc l'éviter, et c'est ce que je ferai soigneusement. Cependant j'écrivais hier à la comtesse Tolstoï que si à son retour elle lui donne à dîner, je serai de la partie; croyez-vous qu'il y ait grande apparence que je le voye là?

Jedy, 6 IX-bre.

J'ai soutenu hier au soir une grande thèse contre Vandamme avec des gens qui me blâment de me singulariser en refusant de le voir. Savez-vous, me disoit un richard que vous devinerez peut-être, qu'il a un demi-million de rente. Il en auroit bien davantage, ai-je répliqué, si on l'eût laissé faire en Russie ce qu'il a fait ailleurs; il n'a cette fortune qu'au moyen du crime et aux dépens des honnêtes gens, et cela le rend mille fois plus odieux à mes yeux. Удивительной человекъ, est tout ce qu'on m'a répondu en levant les épaules. Peut-on croire que la fortune d'un brigand en impose! Parce qu'un brigand a été heureux, en est-il moins un brigand? Pougatchew eût été fort riche aussi si on n'eût réussi à le prendre. Réellement la morale de certaines gens est pitoyable; elle seroit révoltante dans la bouche d'hommes sensés et de poids, mais ici ce n'est pas le cas. J'ai de l'humeur, vous en êtes cause, et vous étiez au fond de ma diatribe contre Vandamme sans vous en douter.

## XXII.

St.-Pétersbourg, le 4 IX-bre 1813.

Je ne sais si mad. de Noiseville vous aura parlé de la sortie de St.-Cyr de Dresde. Tolstoï a dit-on eu le tort de le laisser échapper quand il aurait pu l'en empêcher.

La gazette de Berlin fournit seule quelqu'aliment à la curiosité. La dernière nous donne la position des armées et prétend que Bonaparte est parti pour Paris et que c'est sur la demande du Sénat. Je n'en crois rien, et une lettre interceptée sur laquelle on s'appuye pourroit bien être une ruse du Coquin. Au reste je parie qu'il se fera donner jusqu'au dernier homme et au dernier écu et continuera son diable de train. Les gazettes anglaises disent que Wellington a forcé les lignes de Soult et pénétré sur le territoire français à la tête de cent et dix mille hommes; mais jusqu'ou a-t-il avancé? Voilà ce qu'on ne dit pas.

## XXIII.

Moscou, le 13 IX-bre 1813.

Les Anglais en France sont une grande nouvelle; cette entrée a eu lieu 14 jours avant Leipzik, et il est clair que Napoléon en étoit instruit le jour de sa déroute; je croirois assez aux troubles qui ont engagé le Sénat à le rappeler. Cette sottise Marie-Louise a péroré comme une cruche en présence de ce Sénat avili et vendu au tyran; mais que feront les 280 mille enfans qu'on lui sacrifie, si les alliés demeurent unis et qu'il n'y ait ni paix ni trêve partielle? Ils ne feront rien, soyez en sûre; il faut dans chaque corps un fond de vieux soldats, et cela manquera à la nouvelle armée; et puis voyons un peu comment on lèvera cette nouvelle conscription? Cette opération se fera-t-elle sans difficultés, sans troubles, sans révolte? Et les révoltés auront un appui à l'armée anglaise ou sur le Rhin, où les alliés seront incessamment. Il me semble que la situation des choses doit inspirer beaucoup de confiance. Les Anglais peuvent répandre force proclamations dans la France et ouvrir les yeux de ces millions de victimes dévouées! Nous verrons très-incessamment quelque chose de nouveau se développer à la confusion de Bonaparte, cela me paroît immanquable.

## XXIV.

Moscou, le 16 IX-bre 1813.

J'ai été hier et aujourd'hui dans de grands dîners qui m'ont fatigué. On les donne au prince Bariatinsky, qui nous a amené une assez jolie femme laquelle paraît douce, aimable et de fort bonne société. Pour lui que je n'avais pas vu depuis 18 ans, j'ai eu de la peine à le reconnoître, et comme je voyois que cela étoit réciproque, j'étois tenté de lui dire ce vers de Piron:

La Parque à la sourdine a diablement filé.

Mais à quoi bon rappeler aux gens qu'ils ont été plus jeunes et plus beaux qu'ils ne sont à présent? Il faut être pour les autres comme on est pour soi-même, se croire à 50 ans ce qu'on étoit à 30 et ne faire semblant de rien. Au vrai, le p-ce Bariatinsky a l'air du beau Cléon. Il passera l'hiver ici; sa femme est Allemande et nièce du c-te Wittgenstein.

Tout Moscou est ce soir au spectacle Pozniakow; je vous avois dit que j'irais aussi, mais je n'en ai plus l'envie, je n'ai plus besoin de me distraire, je reste chez moi ce soir, et je prends un bain pour réprimer cette fièvre d'ortie qui revient sans cesse; quand on a l'esprit content, on sent le désir de se porter tout-à-fait bien; voilà pourquoi je me baigne pendant qu'on chante l'Arbre de Diane à l'autre bout de la rue.

On nous parle d'une nouvelle victoire de Blucher, dont le bulletin est attendu par la poste de ce soir; mais le triomphe de la bonne cause est bien moins dans les victoires que dans les restitutions qu'on fait aux souverains légitimes dépossédés de leurs états par la violence. Le Hanovre et la Hesse rendus à leurs princes annoncent la fin de cette funeste guerre. Si les Anglais et les Autrichiens, en s'emparant en 1793 de Toulon et de Valenciennes, eussent proclamé Louis XVII au lieu de Georges III et de Léopold II, peut-être la France dès ce moment-là eût-elle aidé les souverains coalisés à rétablir les Bourbons; mais on étoit bien éloigné alors d'en être revenu aux principes; il a fallu 20 ans de malheurs toujours croissants pour ramener les esprits au point d'où l'on étoit parti en commençant à s'égarer.

## XXV.

St.-Petersbourg, le 10 IX-bre 1818.

Dernièrement, comme j'accompagnais l'Impératrice Élisabeth à la promenade, nous passâmes devant la maison du comte Marcow, et à cette occasion j'eus la possibilité de glisser un mot sur la petite et de lui en dire du bien. L'Impératrice me demanda si elle étoit jolie, quelle étoit sa figure etc. etc.? Je répondis à tout d'une manière avantageuse pour l'enfant; ensuite nous parlâmes de la mère et je dis que je ne l'avais jamais vue. Je n'ai rien dit de tout cela au comte, tout bonnement parce que je l'ai oublié; mais un jour je me propose de lui en faire part comme d'une chose fort simple au reste, mais qui pourra lui faire plaisir, à ce que je suppose.

Tout ce que je vous ai mandé sur le comte Tolstoï est tombé à plat. St.-Cyr est revenu à Dresde justement, parce qu'il n'a pu se faire jour. Le jeune Gouriew écrit à ses parents que les troupes postées autour de la ville ont empêché cette sortie, qu'il a été contraint de revenir sur ses pas, qu'il est cerné et qu'on va faire le blocus de Dresde.

Nous avons eu un courrier du 20 qui apprend que notre quartier-général étoit ce jour-là à Meininguen, et hier la gazette de Berlin l'annonce déjà à Francfort. Quelques cosaques ont passé le Rhin et semé l'effroi. Le général Wrede s'est battu trois jours pour entrer à Francfort; Platow est venu à son secours, l'ennemi a été obligé de céder et la ville a été occupée. Lord Wellington est fort content des habitants du midy de la France; on en a eu le rapport à Londres. et m-r Bardaxi le conte à tout le monde. Enfin tout va bien, à ce qu'il paraît, et il semble qu'on peut se flatter de toucher à la fin de cette guerre terrible. J'ai reçu des nouvelles de mes soeurs de Vienne, elles me mandent la brillante réception qu'on y a faite au comte Ostermann. Le jour même de son arrivée il a eu la visite de l'archiduc Charles, ensuite celle de tous les autres princes. Le lendemain au Prater on se pressoit pour le voir, on le montrait au doigt, et on disoit tout haut: c'est ce comte Ostermann qui avec la garde impériale russe a sauvé la Bohême à Culm. Quelques jours après, il fut au spectacle, et dès qu'il parut dans sa loge, il fut applaudi pendant plus de dix minutes au point que la pièce ne pouvait pas continuer. Bref on lui a prodigué les témoignages les plus marquants de la considération qu'on lui accorde. Vous sentez combien cela le rend heureux, et comme il est consolé de se trouver sans bras. Il passera l'hiver à Vienne, et mes soeurs aussi.

## XXVI.

Moscou, le 20 IX-bre 1813.

On écrit d'Allemagne au prince Bariatinsky que le comte Ostermann y est regardé comme un second Léonidas. Il est très-positivement le sauveur de la Bohême, il l'est par une action héroïque, et la conséquence de cette journée est une chose incalculable: car si les débouchés de la Bohême eussent été occupés par l'ennemi, la bataille dans laquelle Vandamme fut pris et défait le lendemain n'aurait pas eu lieu ou auroit eu un succès tout différent. Ce point de Culm paraissait si important à Bonaparte qu'il est venu trois fois en personne l'attaquer après coup. Ceux qui prétendent diminuer le mérite d'Ostermann se rejettent sur la force de sa position locale; mais en a-t-il moins soutenu pendant 12 heures, à la tête de 8 mille hommes seulement, tout l'effort d'un ennemi cinq fois plus nombreux que lui? Pense-t-on que cela eût été possible en rase campagne, où l'ennemi eût

la facilité de manoeuvrer et de l'entourer? Il y a des jaloux et des envieux partout, mais dans des circonstances comme celle-ci combien la bassesse de ces vices en redouble la honte! J'aimais beaucoup Touchkoff, et cependant je ne l'ai presque point regretté quand j'ai su que pour nuire au p-cc Bagration il avait été une des causes des malheurs de Borodino. Je suis charmé que les médisances sur le comte Tolstoï soient tombées d'elles-mêmes par la rentrée de St.-Cyr.; mais comme vous êtes une femme qui n'entendez pas plus que moi aux opérations militaires, je vais vous adresser une question qui paraîtrait peut-être ridicule aux gens de l'art, mais qui me semble toute simple aux yeux du bon sens. Pourquoi, après que St.-Cyr est sorti de Dresde, Tolstoï n'y est-il pas entré, pour lui en fermer les portes en cas d'un retour que les dispositions militaires devaient lui faire prévoir on supposer? On aurait occupé la ville, et l'on se serait battu sous ses murs quand St.-Cyr serait revenu. Peut-être cette question est elle saugrenue, mais elle se présente tout naturellement.

J'ai lu une pièce fort curieuse arrivée d'Allemagne, et qu'on n'imprimera sûrement dans aucune de nos gazettes; c'est une épouvantable et virulente diatribe de Bonaparte contre le prince royal de Suède, dans laquelle il rappelle l'origine et la vie de Bernadotte depuis son entrée au service jusqu'à ce jour. Il y a une vingtaine de points posés en questions, qui sont de la dernière force. N'est-ce pas ce même Bernadotte qui dans telle et telle circonstance a fait.... je ne m'aviserais pas de vous dire quoi: il est notre fidèle allié, et dans cette qualité il faut le respecter; mais cette pièce est d'une belle force et ne laisse pas de renfermer de sanglantes vérités. Au reste, le ton indécent avec lequel elle est écrite prouve bien l'origine de tous ces Bonapartes et compagnie.

Nous touchons à un dénouement quelconque qui sera du plus grand intérêt; je crois très-fort que la France se refusera à soutenir Bonaparte; il n'a plus cette vieille armée qui donnoit le ton aux jeunes militaires; les conscrits demeureront attachés à leurs familles et en conserveront les sentiments dès qu'ils ne seront plus éblouis par ce prestige de gloire dont on leur fascinait les yeux pour leur faire oublier le toit paternel.

Il devient si évident qu'un conscrit est une victime dévouée à l'ambition du tyran sans profit pour la patrie, qu'enfin il faut croire que les François suivront l'exemple des Allemands et se détourneront contre l'oppresser de leur pays. Cela me paroît d'autant plus devoir être ainsi qu'on ne peut raisonnablement rien espérer de bon en France

d'un nouvel effort national. Les gens sensés comprendront cette extrémité et agiront en conséquence, ce qui perdra Bonaparte et ramènera les Bourbons. Si cette *restauration* a lieu, j'illuminerai l'hôtel Marcow avec splendeur, dussé-je faire comme le comte Kamensky à Orel à l'occasion de la victoire de Leipzig: ne trouvant pas assez de lampions à acheter, il s'est avisé de faire emplette de 1500 pots de pommade où l'on a fourré du coton pour faire mèche, en sorte que l'illumination a été à la fleur d'orange, au réséda, à la vanille etc. etc. Cela n'est-il pas magnifique?

## XXVII.

St-Pétersbourg, le 17 IX-bre 1813.

Je vous parlois dernièrement de la triste disposition dans laquelle je me trouvais; elle dure encore un peu, mais c'est moins fort; je ne puis vous cacher qu'une bonne messe entendue chez le prince Galitzine du Synode, Mercredi dernier, et une heure de conversation avec lui m'ont remontée. Si j'avois la possibilité de le voir plus souvent, mon abattement se dissiperoit plus tôt; mais il ne vient pas chez moi, et pour le voir, il me faut toujours l'aller chercher dans une société où j'ai quelquefois le désagrément de ne pas le rencontrer. Il est souvent bien dur de ne vivre qu'avec soi; c'est pourtant la situation dans laquelle je me suis mise, un peu par système, beaucoup par circonstance. Je me regarde absolument comme étant au nombre de ces coeurs dont parle Châteaubriand, condamnés à un veuvage éternel, à une viduité morale, et cela avec le sentiment interne d'avoir au plus haut degré la faculté d'aimer et même avec ardeur. Gardez-vous toutefois de me plaindre; gardez-vous surtout de m'attendrir là-dessus: vous me feriez du mal.

Je trouve votre conduite à l'égard de Vandamme très-bonne et très-belle; je suis fâchée de voir combien nos Russes pensent différemment. L'exemple d'un gouverneur, en pareil cas, ne peut ni ne doit influer; car il a peut-être ses raisons pour se conduire comme il le fait, les autres n'en peuvent avoir aucune. Ce n'est pas sur les cendres de Moscou qu'on doit fêter Vandamme; le voir est un mal, l'inviter est une horreur. J'ai été si contente de tout ce que vous me dites à ce sujet, que le soir, me trouvant chez la princesse Woldemar, j'y ai fait la lecture de votre lettre, à elle et à la c-sse Strogonow. Toutes les



deux en ont été dans l'admiration et exactement de mon avis sur les Moscovites.

Depuis hier on parle ici de la reddition de Dresde, mais sur de simples *on dit*, rien d'officiel n'est encore arrivé; on croit également que Danzig doit se rendre sous peu de tems. Nous supposons Bonaparte à Paris, et chacun attend la nouvelle de la réception qui lui sera faite. Le dernier courrier étoit du 22, d'une petite ville près de Francfort. Czernichow a passé le Rhin à la tête de quatre mille cosaques et a semé des proclamations dont on attend un bon effet.

Le petit Strogonow écrit à sa mère que la Suisse s'est déclarée pour les alliés; mais on l'a dit si souvent qu'on ne peut pas se fier à cette nouvelle. A propos de la Suisse, nous avons ici un m-r Galatin, originaire de ce pays-là, mais domicilié en Amérique avec le droit d'indigénat. Lui et m-r Bayard sont députés des États-Unis près de notre cour. Je les vois chez la princesse Boris; m-r Galatin a de l'esprit, des connoissances, mais son habit d'une espèce de satin noir, sa manière de le porter et quelques phrases que je lui ai entendu débiter, me le font regarder comme un membre de l'Assemblée des Notables qui eut lieu en France en 1787; je parierois presque d'avoir vu la figure et le costume de m-r Galatin dans les gravures que nous avons de la dite assemblée. Est-ce que mad. de Noiseville ne vous en parle pas? Le dernier Vendredy a été si terriblement nombreux chez la princesse Boris qu'en entrant dans son salon j'ai été toute *hébétée*; c'est au point qu'au lieu de dire bonjour, j'ai tourné les talons et suis partie sans pouvoir dire qui j'ai vu. Ah mon Dieu, quelle figure j'eusse fait si je m'étois avisée de rester.

## XXVIII.

St.-Pétersbourg, le 20 IX-bre 1813.

J'ai passé avant-hier la soirée avec m-r de Marcow, c'étoit chez mad. Gouriew, il n'y eut pas de boston, et bongré malgré il fut obligé de fournir à la conversation; je l'entrepris sur l'article qui me touche le plus et je lui soutins qu'il falloit croire en Jésus-Christ ou ne pas se dire chrétien. Il me fit des objections absurdes, mais cependant point de plaisanteries. Hélas! Il ne m'appartient pas à moi de le convertir, mais je désire ardemment qu'il puisse être touché de la vérité, parce que je me suis prise à l'aimer très-sincèrement et que je lui désire certaines consolations qu'il ne peut avoir dans ce monde avec sa manière de penser. Je ne puis vous dissimuler qu'il m'a demandé si jamais nous avons traité ce chapitre vous et moi, et si j'étois contente *de votre foy à vous?* Il m'a paru qu'en me faisant cette question, il voulait me dire que vous abondiez dans son sens; mais je lui ai répondu que je ne vous avois pas parlé et que nous ne traiterons le dit chapitre qu'alors que nous nous reverrons.

L'ordre de mes dîners est un peu dérangé; le Mercredi de mad. Strogonow est devenu trop nombreux, trop fatigant: j'y ai renoncé, me bornant à la voir le soir que je vais chez sa mère. La maison Gouriew me plaît beaucoup, on y a l'air de m'aimer, j'y rencontre des personnes qui me conviennent. Galitzine y étoit avant-hier à ma grande satisfaction. La princesse Boris est très-inquiète de la fièvre de Tatiana, qui paraît avoir changé de caractère; je commence à m'alarmer aussi à cause d'évacuations trop fortes et de certaines transpirations qui reviennent souvent; j'ai peur d'une fièvre lente. Cette Tatiana est des filles de la princesse Boris celle que j'aime le mieux, elle est charmante sous tous les rapports.

## XXIX.

St.-Pétersbourg, le 24 IX-bre 1813.

Vous m'avez fait la leçon sur l'imagination et le danger qu'il y a à s'en laisser maîtriser. Eh bien, j'aurais presque envie de vous la renvoyer, cette leçon, parce que à votre tour vous en avez besoin. Convenez que l'imagination est un funeste présent que nous fait la nature; voyez comme elle nous donne souvent plus de mauvais que de bons moments. Ah, je vous assure que je n'en fais pas plus de cas que de la civilisation. Croyez-moi, calmez la vôtre; moi, je tâche de tuer la mienne.

La dernière fois que je vous écrivis, j'avois de grandes inquiétudes sur Tatiana, on m'assure que sa fièvre n'est point dangereuse, et je veux bien le croire; mais tant que je ne la verrai pas debout et dans le salon de sa mère, je ne serai pas tout-à-fait rassurée. Son âge m'effraye extrêmement, et elle est si délicate! Depuis que vous ne l'avez vue, elle est prodigieusement embellie. J'estime la princesse Galitzine bien heureuse d'avoir auprès de ses filles une personne comme madame de Noiseville; elle connoît leur naturel à merveille et travaille sur toutes les trois de manière à les rendre heureuses. Si la princesse Kourakine avait eu le bonheur de passer par ses mains, elle ne seroit pas ce qu'elle est. Dans son éducation on a suivi une toute autre marche.... C'est bien à celle-ci qu'on a monté la tête; on en a fait une savante, une barbouilleuse de vers. Elle a eu l'esprit de traduire Horace et n'a pas celui de rendre heureux son mari.

J'ai eu des lettres de Vienne il y a quelques jours; mes soeurs me disent qu'Ostermann est très-souffrant de son bras et que les médecins le garderont longtems dans un climat plus doux que celui de la Russie. Sa femme est aussi malade, et mes princesses m'ont tout l'air de s'amuser médiocrement; cependant elles trouvent le séjour de Vienne charmant. Je ne puis pas vous cacher qu'elles m'apprennent d'assez mauvaises choses de notre milice de Nijnei, qui me pèse sur le coeur avec armes et bagages. Elle a bien mal débuté, les pauvres *мыжикъ* ont été repoussés jusque Péterswald; je suppose que c'est au moment où St.-Cyr a voulu sortir et qu'ils auront voulu l'en empêcher, on en a tué beaucoup. Titow est resté à Töplitz et n'a pas voulu faire le siège de Dresde, mais enfin cette ville a capitulé. Ne contez rien de tout ceci, je vous en conjure, pas même chez mes parents. Tout ce qui regarde Tolstoï m'intéresse trop pour que je puisse parler de ses re-

vers; je voudrais tant qu'il se tirât bien d'affaire, et lorsque je vois un si mauvais début, cela me fâche, et j'ai bien soin de le taire.

Soyez tranquille sur les fleurs de ma chambre, je n'en ai pas en hyver; lorsque je vous disois que j'en avois de jolies, j'entendois parler du printemps; pour le moment je n'ai que quelques arbrisseaux.

Comment cette fièvre d'ortie ne veut-elle jamais vous quitter? Pourquoi vous baignez-vous quand vous l'avez? Cela convient-il? Je ne l'ai jamais ouï dire.

### XXX.

Moscou, le 27 IX-bre 1813.

Vous me défendez de vous plaindre sur ce qui fait le sujet de vos peines secrètes; il est impossible que je vous obéisse; comment voulez-vous que je vous sache souffrante et que je n'y prenne nulle part! Par malheur je ne peux point vous consoler, parce que j'ignore le sujet de la peine et que je craindrais d'irriter le mal au lieu de l'apaiser, si je cherchais à sonder la playe. Je vous avoue que je ne comprends point ce que veut dire Châteaubriand par des coeurs condamnés à un veuvage éternel et à une viduité morale. Cela ne peut regarder qu'une femme qui passerait du séjour de la civilisation où elle aurait été élevée, parmi une peuplade de sauvages grossiers dont aucun ne pourrait l'apprécier ni lui inspirer un sentiment quelconque; alors ce veuvage du coeur aurait eu sens, et ce coeur, s'il était naturellement tendre et aimant, serait fort à plaindre. Mais lorsqu'on a le bonheur d'être parmi les siens, entouré d'amis véritables, prêts à partager vos peines et vos plaisirs, comment peut-on éprouver ce *vide moral* dont vous souffrez sans permettre qu'on vous plaigne? C'est ce qui passe ma conception. Livrez-vous à la tendre amitié: elle est un don de la Providence, qui ne veut point qu'on s'en prive. Ouvrez votre coeur à un ami et puisez dans le sien les consolations dont vous pouvez manquer dans la solitude: vous vous en trouverez sûrement bien. *Dieu seul* suffit pour calmer les remords d'une conscience agitée, et ce n'est pas votre cas; mais pour remplir un coeur honnête, aimant et tendre, croyez-moi, il faut *Dieu et les hommes*. C'est un tribut qu'il faut payer à la faible humanité. Sainte Thérèse seule a pu concevoir pour J. C. cette espèce d'amour qui tient lieu de tout; mais savez-vous qu'elle a attendu cette tendresse pendant 22 ans d'une sécheresse de coeur qui la rendait fort malheureuse, et quand enfin les visions l'ont

dédommée de ces longues souffrances en remplissant tout son coeur, il n'est pas bien prouvé que sa tête fût saine. Ne croyez pas que je prêche ici contre la foy. Rien ne nous oblige à croire aux miracles sur le témoignage de quelques religieuses espagnoles exaltées par *St.-Jean de la Croix* et par deux ou trois confesseurs qui on vu ou cru voir ce qu'ils attestent au procès de canonisation. J'ai lu tout cela avec le plus grand désir de me persuader; mais j'ai fini par en revenir à l'Évangile et à sa morale, qui recommande de s'aimer les uns les autres, de s'aider, et qui ne prescrit nulle part l'isolement. Comme je vous écris fort en courant, chère princesse, peut-être dis-je très-mal ce que je voulais dire. Mon intention est bonne. Je suis charmé de vous voir de la dévotion, elle est le fond du bonheur présent et à venir; mais je crains l'exaltation de la tête, parce que j'en connais le danger. Ne vous laissez pas emporter trop loin, afin que vous n'ayez point à reculer. Étant forcée de vivre dans le monde, réglez-vous sur ses usages, ou tout au plus modifiez-les; mais ne les abandonnez point tout-à-fait. Vous voyez que je ne cherche pas à vous attendrir, car j'ai presque le ton grondeur; c'est une tendre amitié qui me dicte tout cela, prenez le bien ainsi, si même vous croyez devoir rejeter ma morale.

## XXXI.

Moscou, le 1-er X-bre 1818.

Je suis persuadé que vous perdez vos peines et vos soins à convertir m-r de Marcow; mais je vous réponds que vous l'avez mal compris à mon sujet et qu'il a voulu vous dire le contraire de ce qu'il a paru exprimer. Il sait très-bien que j'ai de la foi, et même que cette foi est ferme; nous avons eu jadis beaucoup de discussions à ce sujet, sans que cela menât à rien de part ni d'autre. Mais, vous le dirai-je, si cette foi a jamais couru quelque risque, c'est à la suite de l'exaltation que certaines personnes avaient trouvé le secret d'établir dans ma tête et même par moments dans mon coeur. J'espérais tout de la religion, j'en attendais des consolations et même des *satisfactions et des joyes sensibles* dont mon âme avait besoin; je croyais quelquefois les obtenir, je me montais l'imagination au plus haut degré, et quand j'en étais là, j'éprouvais une agitation physique proportionnée à l'ébranlement moral, et malgré mes fermes propos, mes ardentes prières et le secours des amis qui me dirigeaient, je finissais par quelque lourde faute, qui me ramenait à terre en me prouvant que je n'étais qu'un homme

faible auquel il ne fallait qu'une occasion adroitement présentée pour le faire succomber. J'étais au désespoir; mais une chose m'étonnait infiniment: c'était l'indulgence complète de mes directeurs, qui traitaient de pécadilles ces rechutes et prétendaient qu'elles devaient être attribuées au diable et non pas à moi, m'assurant que je devais recommencer sur nouveaux frais, ce que je ne manquais pas de faire jusqu'à une nouvelle chute. Je vous avoue que ce fond inépuisable d'indulgence me porta à réfléchir, et je finis par me dire qu'on voulait faire de moi une espèce de sectaire dévoué, sans que je connusse bien le but de cette volonté; mais que, puisqu'au milieu de tant de pratiques de dévotion qui me fatiguaient la tête, on me permettait d'être aussi pécheur que mes mauvaises inclinations l'exigeaient de ma faiblesse, je pouvais en sûreté de conscience en revenir à la religion pure et simple et m'en tenir à ce qu'ordonne l'Évangile et à ce que prescrit l'Église, sans aller chercher une perfection idéale qui ne me rendait point parfait. Je vous crois, plus ou moins, sous le même charme où j'étais alors (aux chutes près, du moins de la nature des miennes), et vous verrez par la suite le peu de succès de certains efforts et de certaines tentatives. A présent vous ne me croirez sûrement point, mais je vous attends dans quelques années. Défiez-vous des gens qui, au nom du salut de la vie à venir, veulent tout diriger dans celle-ci. Faisons bien et laissons faire les autres. Toutefois respectons et tâchons d'imiter ceux qui joignent l'exemple au précepte; car pour ceux qui prêchent une morale sévère en caressant une vie commode, je n'en fais nul cas.

Parlez-moi, je vous en prie, plus en détail du prince Galitzine que vous avez nommé deux fois dans vos lettres. Qu'a donc son entretien de si édifiant et de si consolant que vous le recherchez avec tant de soin? Sa place au Synode en a-t-elle fait un saint? Ce seroit là une véritable grâce d'état. Je voudrois bien qu'il réussît à réunir les deux Églises, et surtout, par manière de préliminaire, à éclairer vos prêtres, et en faire des modèles à suivre pour leurs ouailles, ce qui est bien rare, à ce que je vois ici, surtout depuis que l'incendie de Moscou les a ruinés. Il n'ont pas le désintéressement apostolique, je vous assure.

Vous fuyez donc ces grandes soirées; j'ai pensé à vous avant-hier chez madame Abraham Pouchkine; tous les restes de Moscou étoient réunis dans son salon par invitation; 10 tables de boston, un macao de 17 femmes sans un seul homme. Il n'est resté à souper que 30 personnes, 27 femmes et 3 hommes, dont j'étois le plus *frais*. Cela étoit d'une gaieté à s'avaler la langue. Telle est cette pauvre ville de Moscou pendant que tous nos guerriers sont sur le Rhin!

Je suis fâché de ce qu'on vous mande de la milice de Nijnei; plus fâché encore de ce que Titow soit resté à Töplitz pour ne pas aller au siège de Dresde, car cela me prouve de la mésintelligence. N'ayez pas peur que je parle de tout cela à qui que ce soit; je ne me laisse pas même aborder là-dessus, et je réponds aux elabaudeurs qui s'évertuent sur les articles de la capitulation, que ce n'est pas de loin qu'on peut juger les opérations d'un général qui a probablement des ordres supérieurs. Cependant au fond je suis un peu de leur avis; cette capitulation m'a choqué vivement. Voici ce que je crois voir; vous me direz si cela rencontre vos idées. Tolstoï étoit fort mécontent de se voir à l'arrière-garde; il a eu un vrai chagrin que Moscou ait été prise sans lui, il se flattoit d'en être le libérateur, et pourtant son armée n'a été en état de marcher que trois grands mois après l'évacuation de cette ville. Dès lors son rôle le dégoûtoit, car il avait envie de faire parler de lui. Tout ce qui s'est passé depuis a dû augmenter ce dégoût: tant de succès obtenus par de jeunes gens ses cadets en grade et en âge, tant de récompenses et d'avancements, tandis qu'il étoit dans l'ombre, et toujours dans l'ombre, auront aigri son humeur et celle de Mouraview, qui est son faiseur. Enfin, on lui donne une opération à diriger qui peut le remettre sur le tapis; mais cette opération pourra être fort longue, St.-Cyr pourra tenir comme Rapp à Danzig, l'impatience s'en mêle, on veut voir son nom sur la gazette. Mouraview, passablement brouillon et intrigant, souffle sur ce feu, et l'on fait à St.-Cyr des propositions qui ne peuvent être refusées, puisqu'elles le reportent en France, mais qui enfin livrent Dresde entre nos mains et font parler de Tolstoï. Peut-être tout cela n'a pas le moindre fondement et ne gît que dans mon imagination; mais c'est ainsi que je crois connaître Tolstoï et Mouraview.

Je voudrais bien pouvoir accompagner mad. de Noiseville quand elle va passer les soirées chez vous. Ah mon Dieu, oui; c'est impossible que je fasse une course d'hiver à Pétersbourg; j'ai bien tout calculé: cela me coûteroit 1500 roubles pour le moins, et cela me dérangeroit. Il y a un mois que je fus fort tenté d'aller manger à Pétersbourg quelques dessétines de bois que je venois de vendre dans ma petite подъ-московна; mais la raison crioit à mes oreilles: tu as 50 ans, si tu manges tes fonds, tu mourras dans le besoin (chose que j'ai en horreur). J'ai cédé à la triste raison et j'ai acheté 9 bons laboureurs dont j'ai augmenté mon village, qui m'en donnera plus de revenus l'année prochaine. Deucalion fesoit des hommes avec des pierres, et moi j'en fais avec du bois; ce bois ne me donnoit rien, mes 9 hommes avec leur 11 femmes me feront des enfans, du foin, de l'avoine, et

l'année prochaine je répèterai la même opération, et mon village, qui est à présent de 35 paysans, sera de 45, et ainsi de suite, car j'ai beaucoup de terroir et peu de bras. Vous me direz: à quoi bon tous ces soins, vous êtes vieux et seul. Mais je vous répondrai que c'est précisément parce que je suis vieux et maladif, que je veux avoir une petite indépendance assurée pour ma caducité; cela m'aidera à supporter les maux qui viennent à la suite des années; je ne mourrai pas à charge aux autres; j'aurai quelques petites choses à laisser après moi, ce qui est la plus douce consolation de la mort: car le coeur veut se survivre, je le sens bien.

## XXXII.

St. Pétersbourg, le 1-er X-bre 1813.

Mon Dieu, que vous vous trompez quand vous croyez Bonaparte perdu sans ressources! Comme tout ce que vous me dites à ce sujet dans votre dernière lettre sent le baron de Milleville! Où allez-vous chercher ces Bourbons qui n'intéressent personne? Tout cela sont des rêves creux. Bonaparte, quoique refusé pour une levée en masse, se fait encore donner 300 mille conscrits et vient de décréter un nouvel impôt sur les capitaux; le 30 pour cent, dit-on. Enfin il paroît vouloir tenter de nouveaux efforts, mais il est assez vraisemblable qu'ils seront inutiles; car à tout prendre il ne fera bouger que ces seuls conscrits, tous le reste l'abandonne. On a ici la nouvelle de l'insurrection de toute la Hollande et celle de l'évacuation des François d'une grande partie de ce pays-là. L'ancien gouvernement y est rétabli, le général Bulow a occupé Amsterdam, on y a proclamé le prince d'Orange stathouder et on l'a fait chercher; plusieurs forteresses se sont rendues de manière que de ce côté-là tout va bien. Vos Suisses se sont neutralisés, mais on vient de leur envoyer m-r de Lebzelter pour leur signifier qu'on ne veut pas de ces demi-mesures, qu'on leur demande un oui ou un non, ce qui fait supposer qu'ils se réuniront aussi à la bonne cause. Quand cela aura lieu, j'imagine que c'est par là qu'on entrera en France, parce que c'est la frontière la plus ouverte, il me semble même que jusqu'à Besançon il n'y a aucune forteresse. On dit que le Corse n'est plus à Paris, où il n'a fait que se montrer, et qu'il est de nouveau retourné à Metz.

La capitulation de Dresde est faite, mais les articles sont changés; St.-Cyr et toute la garnison demeurent prisonniers de guerre et sont envoyés en Bohême. Le petit Boutourline écrit à ses parents de Dresde



même. Personne ne parle plus de mon pauvre Tolstoï, au moins en ma présence; ma liaison avec sa femme est si connue, les relations que j'ai avec l'un et l'autre depuis dix ans sont si prouvées, qu'on me doit un peu de ménagement. Il est probable que la comtesse ignorera toujours ce qui s'est passé; d'ailleurs m-r de Kleinau, général autrichien, ayant signé avant Tolstoï, le blâme pourroit retomber sur lui seul. Je vous avoue que tout cela m'a cependant fait beaucoup de peine; je m'en suis soulagé le coeur dernièrement avec m-r de Marcow, et il m'a paru qu'il ne lui jetoit pas tout-à-fait la pierre.

Depuis que j'ai recommencé à sortir, je vais chaque jour chez la princesse Boris; l'état de sa fille m'inquiétoit jusqu'à hier que je l'ai trouvé mieux. J'ai eu des lettres de Vienne très-fraîches; mes voyageuses sont à Baden pour quelques jours. Ostermann est fort souffrant; il paroît que ni lui, ni sa femme, ni ma soeur Sophie ne se soucient pas beaucoup de se produire dans le monde. Catherine est la seule qui se soit lancée; elle me dit avoir été à une soirée chez la c-sse Protassow et puis chez la princesse Bagration. Il me paroît qu'on s'amuse beaucoup dans ce pays-là et tout différemment qu'ici. Ce n'est pas que la vielle princesse Wiazemsky ne fasse jouer la comédie chez elle, et que le prince Kourakine n'ait des mardys et des samedys très-nombreux; mais tout cela n'est pas fort séduisant.

### XXXIII.

Moscou, le 8 X-bre 1813.

Je crois plus que jamais que, malgré les 300 mille conscrits, Bonaparte touche à sa ruine, si même on lui accorde une paix qui le laisse maître de la France: car ce sera une France ruinée. Les maréchaux dépouillés de leurs apanages ne lui pardonneront jamais ces dernières guerres. M-r de Lacépède même n'a plus l'air de parler au maître du monde, et ce maître du monde répondant de dessus son trône ressemble à un enfant qui chante pour déguiser sa peur. Tout cela ne va pas mal. Le tiers des capitaux dont on prétend qu'il veut s'emparer est une opération impossible et dont le seul projet lui aliénera l'esprit des riches; et le pauvre, qui donne son dernier fils de 15 ans, fait hautement des voeux pour la fin d'un état de chose aussi tyrannique. Tous les esprits seront bientôt d'accord là-dessus, et l'opinion générale voulant un changement, on ne pourra l'exécuter avec calme et sans effusion de sang qu'au moyen des souverains légitimes qu'on rapellera, surtout s'ils

5\*

sont soutenus par les puissances belligérantes. J'en conclus que les Bourbons remonteront sur leur bête, et vous verrez si je me trompe.

Mais laissons—là Bonaparte. Pendant qu'il perd ses conquêtes, vous augmentez les vôtres de jour en jour, chère princesse, et vous en avez fait une dont vous vous doutez sans doute, mais que vous ne voulez pas me dire. Je la sais à merveille, et en voici la preuve, que je copie mot à mot dans une lettre de votre nouvel esclave, datée du 2 décembre. « Cette bonne et aimable princesse Turkestanow, dans une seconde visite que je lui ai faite, m'a confié en plein tout ce qu'elle vous a mandé à mon sujet. J'ai bien ri de ses vœux en ma faveur; mais je ne lui en sais pas moins gré, comme une nouvelle marque de l'intérêt que j'ai eu le bonheur de lui inspirer. Je ne saurais mieux vous donner la mesure du cas que j'en fais qu'en vous disant *que j'aurais bien voulu qu'elle fût la mère de ma fille. J'aurais été la voir beaucoup plus souvent sans l'incommodité de son logement. Il y a de quoi devenir asthmatique pour le reste de ses jours en y grim pant souvent; j'en ai été tout essoufflé la dernière fois que j'ai monté son escalier* ».

Comment trouvez-vous cette déclaration et ces vœux *rétrogradés*, dont me voici confident? Pour moi, toute jalousie à part, je lui en sais le meilleur gré du monde et je lui réponds que plutôt à Dieu qu'il en eût été ainsi.

Je n'envoie plus les gazettes à la comtesse Tolstoï à cause de ce malheureux changement de capitulation dans lequel cependant Kleinau est seul blâmé. Elle le lira dans les papiers russes et ignorera ce qu'on a dit.

Je vais dîner moi quarantième chez un nouveau restaurateur qui vient de s'établir au Pont des Maréchaux; c'est le prince George Dolgorouky qui est son protecteur et qui arrange ce dîner mêlé d'hommes et de femmes, à 10 roubles par tête; on dit que cela doit être délicieux, nous verrons. On se bâte les dimanches à la porte de m-r Pozniakow pour voir son opéra, qu'on dit bon et que je trouve détestable sans prévention, mais je me tais; car je passerois pour dénigrer Moscou où il est convenu que tout doit être excellent depuis qu'elle a passé par le feu. J'ai fait une erronerie épouvantable: j'ai loué la maison du comte Marcow pour le club de la noblesse sans stipuler aucune assurance en cas de feu, parce qu'il falloit la louer comme cela ou pas du tout. J'avois consulté le maître de la maison sur cette clause, sa réponse a tardé, et j'ai conclu la veille du jour où son refus est arrivé. Je viens de lui déduire mes raisons que je crois bonnes et valables; parlez-lui un peu de cela pour voir ce qu'il pense de ma témérité; mais priez Dieu surtout pour que la maison ne brûle pas: car il est certain que

chargé de cette responsabilité je me brûlerois avec plutôt que d'y survivre.

La Hollande est tout-à-fait aimable, et j'espère que sa soeur l'Helvétie ne lui cèdera en rien; l'une avec son Océan, l'autre avec ses Alpes, forment un joli petit appui pour les opérations militaires.

#### XXXIV.

St.-Pétersbourg, le 9 X-bre 1818.

Quant à ce que vous dites de S-te Thérèse, je n'ai malheureusement rien de commun avec elle! J'ai lu son histoire cet été à la campagne, j'ai vu comme l'amour de Dieu lui est venu après de longues années d'aridité et de sècheresse. Il me semble cependant que si on pouvait me dire bien positivement que pareil amour me viendrait un jour, je me soumettrais de tout mon coeur à 22 ans d'ennui. C'est une belle résolution, vous voyez, mais elle n'est pas constante chez moi, parce que je suis bien misérable. Au nom du Ciel ne vous imaginez donc pas que je passe ma vie prosternée au pied du Crucifix, ne me supposez pas davantage en oraisons de deux heures, ainsi que l'a conté le petit Duloup, enfin ne faites pas de moi ce que je ne suis pas. Ne croyez pas que je sois fâchée contre vous; je rends justice au motif qui vous a porté à m'écrire comme vous l'avez fait; je vois clairement que tout cela vient d'un coeur plein d'affection; mais malgré cela, gardez-vous de m'attendrir sur moi-même, car vous me feriez du mal.

Le jour de ma fête j'ai reçu quelques petits présents, mais un entre autres qui m'a procuré une surprise très-agréable. J'ai dans ma chambre de toilette une petite cloison, derrière laquelle j'ai posé mes images et où je vais prier. Les images étaient simplement sur une table avec mes livres de piété. Ce matin-là en y entrant à mon ordinaire je demeurai interdite: au lieu de ma table j'aperçus deux rayons en acajou sur lesquels se trouvaient mes images, aux deux côtés de ces rayons sont adaptées deux petites armoires pour les livres; au-dessous un prie-Dieu des plus élégants, fait en manière de bureau; on peut y poser un livre et y lire, on peut y écrire, car on trouve une écritoire d'un côté et de l'autre une planche pour mettre des bougies; au pied du prie-Dieu un tabouret en maroquin pour s'agenouiller. J'ai été enchantée de tout cela et je tiens ce cadeau de m-r Swistounow, que je vois beaucoup chez

la princesse Boris, qui est un très-bon homme et qui a un peu deviné la tournure de mon esprit. Vous pensez bien que je lui ai fait mille remerciements; il m'a conté comment il s'était arrangé avec mes femmes pour faire faire tout l'ouvrage et ensuite le placer.

## XXXV.

Moscou, le 15 X-bre 1813.

J'ai été fort malade la semaine dernière, cependant je suis allé à l'assemblée de la noblesse le 12; le bal était joli, j'ai éprouvé un vrai plaisir à voir que Moscou offrait encore un simulacre de lui-même. Cette musique, ces chants, ces fanfares quand à souper on a bu debout la santé de l'Empereur, tout cela m'a causé une émotion agréable. Je n'étais pas le seul ému: car la vieille madame Arkharow, en portant cette santé, a fait le signe de croix, et ses larmes coulaient. Pour moi j'aurais voulu l'embrasser, parce que je voyais que nous étions à l'unisson par le coeur.

Croyez-vous toujours que les Bourbons ne reviendront pas en France? Pour moi je regarde comme certain qu'ils touchent à leur réinstallation; parce que je ne vois absolument aucun moyen de finir avec ce coquin de Bonaparte par aucun espèce de paix, et qu'enfin la guerre ne peut pas toujours durer, même pour les Français, qui vont en sentir et en supporter presque tout le fardeau.

## XXXVI.

St.-Pétersbourg, le 14 X-bre 1813.

Le prince Galitzine est un homme admirable; je ne sais pas si vous l'avez beaucoup connu autrefois, mais il était bien différent de ce qu'il est à présent. Tout entier au monde et à tous les vices qu'on y trouve, il en a été véritablement l'esclave; depuis deux ans il a réformé son genre de vie du tout au tout, et à l'heure qu'il est rien n'est plus réglé que sa conduite. Il n'est ni morose, ni austère, ni intolérant; il censure peu, mais il exhorte avec douceur et encourage beaucoup à bien faire. D'ailleurs il ne parle sur certains sujets qu'avec gens qui l'entendent, et c'est sous ce rapport-là que j'aime à le rencontrer lors qu'il m'arrive des moments de tristesse, des souvenirs pénibles, un découragement intérieur, ce besoin de m'échapper en plaintes, comme

je le disais dans ma dernière lettre; il devine à ma contenance à peu près ce qui m'arrive et me donne quelques paroles de consolation. Il ne me renvoie pas à *des amis*, il m'adresse à Celui Qui ne peut jamais manquer et Qui restera toujours, quand les autres peuvent m'abandonner. Voilà donc comment est fait Galitzine, et voilà pourquoi je serais charmée de le voir plus souvent.

Le sentiment d'amitié que me porte m-r de Marcow, bien différent de celui dont je viens de parler, ne laisse pourtant pas que de me faire plaisir, et tout ce que vous avez la complaisance de me transcrire de sa lettre me pénètre de reconnaissance. Il est très-aimable pour moi: quelque part qu'il me trouve, il vient me chercher; dernièrement à travers toute la cour rassemblée il est venu me dire bonjour; depuis cette matinée qu'il passa chez moi et qu'il me parla le coeur sur la main, je lui ai reconnu quelque chose de bon qui m'a inspiré pour lui un véritable intérêt. Je crois que je n'eusse pas été fâchée de l'épouser, si l'envie lui en avait pris il y a quelques années; je n'en aurois pas été amoureuse, mais je suis sûre que je l'aurois aimé de tout mon coeur et qu'il se serait trouvé heureux de m'avoir pour femme par le soin que j'aurois eu de faire son bonheur. Nous nous sommes vus avant-hier soir chez mad. Gouriew et nous avons parlé de vous. Je crois qu'il sera bien aise que vous ayez loué sa maison pour l'assemblée de la noblesse, mais je vous plains sincèrement d'avoir sur la conscience cette responsabilité du feu, et si vous croyez qu'on peut prier pour qu'une maison ne brûle pas, je vous promets une oraison de plus à cet effet. Je vous remercie d'avoir été chez ma tante le jour de ma fête, elle me l'écrit et m'en parle avec une certaine satisfaction; je vous dis que cette bonne personne m'aime autant qu'il est possible d'aimer, elle me considère absolument comme son enfant, et rien ne lui fait plus de plaisir que de voir qu'on a quelque amitié pour moi. Elle est fâchée que vous n'avez pas dîné chez elle ce jour-là; mais où donc avez-vous été, à quelle fête? Car mad. de Noiseville m'a positivement dit que c'était à une fête où l'on jouait la comédie. Je n'envie ni cette comédie, ni celle de Pozniakow, ni le souper de mad. Abraham Pouchkine; tout cela m'eût ennuyé à crever, et il n'y aurait eu que l'esprit de mortification qui eût pu me faire aller à un souper de 37 femmes; il me semble même que votre *fraîcheur* ne m'eût pas consolé de cette soirée. J'en aurais mieux senti le prix dans la rue du commerce.—Je crois Tatiana en pleine convalescence; elle n'a plus de fièvre et ne se plaint que d'une extrême faiblesse; elle se fatigue d'être au lit, d'être dans son fauteuil, de manger, de boire, enfin de tout; mais cela est assez simple après six semaines de maladie; les méde-

cins sont fort contents de la marche actuelle, tout en annonçant que la convalescence sera longue. J'y souscris des deux mains pourvu que Dieu nous fasse la grâce de la revoir un jour bien portante. Mad. de Noiseville vint hier passer la soirée chez-moi; nous avons beaucoup parlé de sa fille qui, je le crains bien, sera tôt ou tard aveugle, depuis sa dernière couche: le seul oeil quelle avait de bon commence à se troubler. Cet état cruel et en général tout l'avenir de cette jeune femme inquiète sa mère; une lettre qu'elle a reçue dernièrement d'elle et de Prescott l'a fait beaucoup pleurer; hier donc nous en avons reparlé, et elle a de nouveau été fort attendrie. Je voudrais qu'on pût la faire venir en Russie: elle serait au moins avec sa mère, et avec des personnes qu'elle connaît plus que toutes celles qu'elle voit à Paris; mais le moyen de la tirer de là à présent!

Oui, en vérité il m'eût été bien agréable de vous avoir en tiers chez moi, vous devez en être bien assuré; cependant je trouve très-raisonnable que vous ayez résisté à ce petit mouvement de venir manger vos dessétines de bois à Pétersbourg. C'est très-bien fait d'avoir acheté 9 hommes; mais comment se trouve-t-il qu'avec ces 9 hommes vous ayez aussi onze femmes? Il y a de la polygamie ici, ou je me trompe fort. Je vous prie, monsieur, de me calmer sur ces deux femelles de trop qui me troublent l'esprit. Vous me dites si positivement qu'elles vous feront des enfans qu'il est au moins permis de s'alarmer sur leur compte.—N'avez-vous pas été très-surpris du départ de l'Impératrice? Nous l'avons tous été ici, et en même tems très-charmés de l'invitation que lui a faite l'Empereur. Elle nous quitte le 20 et ne prend qu'une très-petite suite, je pense que ce sera un voyage de six mois. Mais quel bonheur pour elle de se retrouver avec tous les siens et dans un pays quelle a quitté depuis 21 ans, et quel bonheur plus grand encore si ce voyage rapprochait deux êtres si bien faits pour s'aimer! Adieu, vous serez content de cette lettre, elle est passablement longue. Portez-vous bien et croyez à toute mon amitié. Tout ce que vous dites de Tolstoï me paraît très-vraisemblable. Sa femme pourra, j'espère, ignorer tout ce qu'on a débité à son sujet. Je ne vous dis rien sur le passage du Rhin: madame de Noiseville vous en parle fort au long; il y a une proclamation qui nous semble un peu singulière, et je voudrais bien savoir de quelle plume elle est sortie.

## XXXVII.

Moscou, le 25 X-bre 1813.

Je suis ravi du voyage de l'Impératrice, il me paraît comme le gage du bonheur futur de la Russie. Quant à la proclamation, je vous répèterai à peu près ce que j'en ai écrit à mad. de Noiseville. Au premier coup d'oeil elle n'est point satisfaisante pour ceux qui, comme moi, désirent avec une sorte de passion le retour des Bourbons, et qui croient que ce retour peut seul finir à jamais la cruelle guerre qui afflige et accable l'Europe depuis 20 ans. Mais en y réfléchissant plus mûrement, je crois voir dans cette proclamation un moyen d'arriver au but par un chemin détourné, mais sûr. On est en force sur le Rhin, et le moment est venu de capter la nation française pour prévenir tout enthousiasme national qui pourrait nous être funeste; en conséquence on fait à Bonaparte des conditions de paix très honorables pour la France, quoiqu'absolument inadmissibles pour lui personnellement: sera-ce après avoir sacrifié d'innombrables armées et des trésors incalculables pour bloquer l'Angleterre et mettre ses frères sur des trônes, qu'il signera le dépouillement de ces mêmes frères et la liberté de la Hollande, qui ouvre 20 ports au commerce anglais? S'il avait cette faiblesse, ne tomberait-il pas dans le mépris public. Tiendrait-il sur un trône usurpé quand sa personne serait entachée d'ignominie et que ses sujets auraient à rougir de lui; quand les archives de la France et celles de l'Europe entière seraient des monuments éternels de sa honte, et quand le Moniteur, son journal officiel, deviendrait pour lui une satire plus sanglante que toutes celles que ses ennemis pourraient faire; quand toutes ses idées vastes, si exaltées, ses grandes conceptions si vantées, ne seraient plus aux yeux du monde que de ridicules fanfaronnades? Non, il est clair qu'il ne peut accepter cette paix, et qu'en la refusant tout l'odieux de la guerre dont le théâtre va se porter en France, retombera sur lui. Cette proclamation répondra aux cris et aux plaintes des Français. On vous offre la paix, on laisse la France indépendante et plus puissante qu'elle ne le fut jamais sous ses rois; votre chef seul refuse des conditions aussi avantageuses: ne vous en prenez qu'à lui des maux que vous souffrez et présentez-lui vos réclamations comme au seul auteur de vos souffrances. Il me semble que ce raisonnement frappera la France entière et qu'il établira une division entre les gouvernants et les gouvernés bien plus sûrement que ne pourrait le faire toute déclaration des puissances qui prétendraient

s'immiscer dans le gouvernement du pays et qui présenteraient un roi, qui tout légitime qu'il est servira cependant de point de ralliement autour de Bonaparte à tout le parti jacobin et à tous les acquéreurs de biens nationaux, ce qui fait la majeure partie des Français. Il faut éviter de fournir à Bonaparte des prétextes qui lui servent à se montrer encore à la nation comme le seul homme qui puisse la tirer de l'embarras présent; il faut le décréditer auprès de ses peuples, et de la division qui naîtra il faudra saisir les évènements pour en venir enfin au vrai but qui, j'aime à le croire, est aux yeux de toutes les puissances Louis XVIII. Si je me trompe dans ma manière d'envisager la chose, alors je conviens que la proclamation est très peu satisfaisante; mais, je le répète, chacun sait que cette paix est inacceptable et que les usurpations précédentes de Bonaparte font de cette guerre-ci une guerre à mort entre les rois légitimes et lui. J'écris si fort à la hâte que je ne sais si je me fais comprendre, mais votre sagacité corrigera ce que j'aurai mal rédigé.

### XXXVIII.

St.-Petersbourg, le 22 X-bre 1813.

Je viens de faire mes courses, il y a 23 degrés de froid, un vent insupportable; on m'a conduite aux extrémités de la ville, j'ai barboté dans la neige et je suis transie; malgré cela, je vais vous dire un mot pour ne pas vous causer le petit chagrin de n'avoir pas de mes nouvelles un jour que vous en attendez. Mad. de Noiseville m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez eu un mouvement de fièvre, que vous avez passé une nuit blanche; j'en ai été peinée, je voudrais que cela fût passé bien vite et que vous vous portassiez toujours à merveille. N'oubliez pas que vous êtes la fleur des pois à Moscou, soutenez donc votre réputation et ne soyez pas cacochyme. Si vous avez les froids que nous ressentons ici, je vous plains; je déteste ces fatales gelées et j'aime encore mieux le vilain tems humide; je ne puis pas vous rendre l'horreur des 113 marches par le tems qu'il fait, c'est à devenir folle lorsqu'il les faut descendre et remonter deux ou trois fois le jour: on pourrait en pleurer. Mais le moyen de s'épargner cette besogne! Il faut presque de nécessité aller chercher son dîner, souvent faire une seconde toilette pour sortir le soir. Enfin on a beau penser et repenser: il faut descendre, il faut monter, et je le fais. C'est surtout pendant ces froids cruels qu'il serait doux et agréable d'avoir à



l'Hermitage un autre voisin que Labensky, qui viendrait prendre une tasse de thé sur les 8 heures du soir et faire perdre toute idée et toute envie de voir de la société autre que celle de ce voisin. Mais les choses ne s'arrangent pas comme nous le voudrions, et il est à peu près certain que de vous à moi il existera toujours une distance bien plus longue que celle de quelques corridors et escaliers.

Je pense que la comtesse Tolstoï sera déjà à Moscou, j'en suis charmée et pour elle et pour ses enfans, qui perdent leur tems à la campagne, n'ayant pour toute [ressource que Семьъ Ивановичъ. Les études et les talents doivent en souffrir prodigieusement. Quant à la comtesse, je suis sûr qu'elle n'en peut plus aussi, et je serai fort aise de la savoir arrivée, car du moins elle entendra parler de ce qui se fait dans le monde. Son mari est allé bloquer Magdebourg, je le sais de mad. Gouriew, qui a reçu des nouvelles de son fils. Celui-ci se désespère qu'on ne les employe qu'à ce blocus, il a l'air d'en avoir une certaine honte; mais je trouve qu'il a tort: un militaire doit faire ce qu'on lui commande, sans murmurer. Le général Kleinau va partir pour l'Italie, et je ne sais pas trop ce qui arrive, au reste, de la milice de Nijnei; personne ne nomme ni Mouromzow, ni Titow. Je doute cependant que celui-ci revienne, et il me semble que ce qu'on en dit est un fagot; toutefois je suis portée à croire à quelque petit mécontentement, car enfin il n'a pas été au siège de Dresde et est demeuré à Töplitz sous prétexte de maladie; il a écrit de là à ma soeur, qui à son tour l'a fort engagé à venir les joindre à Vienne. Je vous confesse que cet armement de Nijnei et la manière dont il a été fait m'ont donné bien du désagrément, j'aurois donné tout au monde pour n'y pas voir le nom de Tolstoï, et il m'eût été mille fois plus agréable de le savoir tout uniement à la tête d'un corps comme le commun des martyrs, que chef de toute cette soi-disante innombrable milice qui cependant s'est trouvée réduite à peu de chose. Enfin il est clair que la fortune ne sourit plus à cet homme-là et que depuis 5 ou 6 ans toute sa carrière a été bouleversée. Ostermann est revenu à Vienne, il a pris les bains de Baden pendant trois semaines, mes soeurs m'écrivent que cela lui a fait du bien. Les Ostermann ne savent encore s'il leur sera possible d'aller en Italie, ou s'ils devront rester à Vienne pour recommencer les bains au printemps prochain; mais de cette alternative je conclus que je ne reverrai mes princesses que dans une année. Je vous ai dit que mon intention avait été de venir sur la fin de l'hyver à Moscou, et le départ de l'Impératrice Élisabeth m'y avait presque déterminée; car je me trouvais libre de mes faits et gestes. Mais nous venons de recevoir l'ordre de l'Impératrice-mère de faire le service chez elle, tant pour

les promenades que pour les soirées qu'elle compte reprendre. Il me semble que ce serait lui manquer que de demander à partir dans ce moment, de sorte que je remets mon projet à l'été, ou même plus tôt s'il se présentait une bonne occasion. Dieu y pourvoira, je l'espère.

## XXXIX.

St.-Petersbourg, le 30 X-bre 1813.

La gazette de Berlin nous apporte la prise de Torgau et de Berg-soom; cela va à merveille en Hollande, on marche sur Anvers. Les Autrichiens avaient un petit brin négocié pendant ce tems-là; mais ces négociations qu'ils aiment à la rage n'ont rien produit. Bonaparte tout battu qu'il est n'acquiesce à rien, et voilà qu'on va recommencer, cela devient curieux et intéressant; quelle guerre cela va-t-il être! La nation française s'opposera t-elle aux alliés? Cela me semble fort incertain. On organisa en France cette nouvelle levée, et rien ne remue jusqu'à présent. L'autorité de Napoleon est encore dans toute sa force; il vient, dit-on, de reléguer à Vincennes quatre sénateurs qui osaient parler, et cette mesure a fait taire les autres, et les a rendu plus souples que jamais. Dieu seul sait ce qui arrivera, mais en attendant je suis prête à parier que pour toute l'année 1814 il ne sera pas plus question d'un Bourbon que de moi, pour le trône de France; il n'y a que vous, m-r de Milleville, et m-r Dubourg (un des prisonniers de mad. de Noiseville) qui y croyez; personne de plus, je vous assure. A propos de m-r Dubourg, il vient souvent chez la princesse Boris, il est assez agréable, très-intéressant à entendre sur la guerre de la Vendée; il a un peu la crânerie des Bretons, mais avec tout cela il pourrait bien finir par me déplaire. Il s'est avisé l'autre jour de me faire un compliment sur mon pied, qui m'a paru sôt et déplacé.

## 1878 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ** 1878. Воспоминанія приида Евгения Виртембергскаго о послѣднихъ дняхъ Павловскаго царствованія и о событіи четырнадцатаго Декабря 1825 г. Политическія записки и письма графа Ф. В. Ростопчина.  
Записки Марьи Сергѣевны Мухановой о временахъ Екатерины Второй, Павла, Александра и Николая Павловичей.  
Записки П. В. Ваталина, доктора К. К. Зейдлица и В. А. Еронкина.  
Приключенія Лифляндца въ Петербургѣ.  
Письма императрицы Елисаветы Петровны, Екатерины Второй, или Александра Перваго, князя Суворова и проч.  
**КНИГА ВТОРАЯ** 1878. Хивинскій и Акъ-Мечетскій походы графа В. А. Перовскаго, по его письмамъ.  
Бумаги С. П. Швырева.

Воспоминанія генералъ-адъютанта С. П. Шилова.  
Приключенія Лифляндца въ Петербургѣ.  
Воспоминанія о князѣ В. А. Черкасскомъ.  
Письма А. С. Хомякова къ Гильфердингу.  
Записка В. А. Жуковскаго объ Англійской политикѣ.  
Похожденія монаха Палладія Лаврова.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ** 1878. Письма Екатерины Великой къ барону Гримму, 1774—1796.  
Исторія приобрѣтенія Амура и дипломатическія сношенія съ Китаемъ. Статья П. В. Шумахера (по новымъ документамъ).  
Письма А. С. Пушкина къ С. А. Соболевскому.  
Графъ Моценго. Разсказъ графа С. Р. Воронцова.  
Бумаги графа П. И. Панина.  
Записки Саввы Текели.

## 1879 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ** 1879. Петръ Первый, соч. М. И. Погодина.  
Разсказъ графа П. И. Панина объ Екатерининскомъ востребіи.  
Биографія гр. С. Р. Воронцова съ его портретомъ.  
Письма Хомякова къ графинѣ Блаудовой.  
**КНИГА ВТОРАЯ** 1879. Наши сношенія съ Китаемъ.—Биографія Зорича съ его портретомъ.  
Исторія Инцкаго войска.

Письма князя Вяземскаго къ Пушкину и Булгакову.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ** 1879. Памятныя Записки Ильинскаго, Андреева и Бельчугина.—Бумаги графа Румянцева-Задунайскаго, князя Потемкина и графа Перовскаго.—Уединенный Пошехонецъ.  
Воспоминанія графини Блаудовой.— Письма Хомякова къ Кошелеву и Самарину, съ портретомъ Хомякова.

## 1880 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ.** Путевыя Записки Стрѣйса. — Павелъ Полуботокъ. — Перенесеніе Екатерины съ Юсифомъ. — Кавказскія воспоминанія Венкова. Воспоминанія Московскаго кадета.

**КНИГА ВТОРАЯ.** Петръ Алексѣевъ.— Записки Эйлера.— Записки и бумаги Пушкина.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ.** Дидеротъ и Екатерина — Исторія крестьянства, ст. князя Черкаскаго. — Книгиня Дашкова и ея подлинныя Записки. — Новая глава „Капитанской Дочки“.

## 1881 годъ.

КНИГА 8 Р. СЪ ПЕРВ. 9 Р.

**КНИГА ПЕРВАЯ.** Русскій паломникъ Барскій.—Воспоминанія Н. И. Шенига.—Александръ Полежаевъ. Бумаги А. С. Пушкина. Со связкамъ.  
**КНИГА ВТОРАЯ.** Воспоминанія графа М. В. Толстаго.—Подыновское дѣло, А. М. Жемчужникова. Письма Грибодова къ Ахвердо-

воу.—Бумаги А. С. Пушкина.—Воспоминанія барона Ф. Ф. Торновъ.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ.** Биографія графа А. П. Шувалова.—Воспоминанія А. С. Норова о 1812 годѣ.—Воспоминанія А. П. Бутенева.—Воспоминанія графа М. В. Толстаго.—Бумаги А. С. Пушкина.

Каждая книга имѣетъ особый азбучный указатель.

# РУССКІЙ АРХИВЪ

ИЗДАЕТСЯ

въ 1882 году

ШЕСТЬЮ КНИЖКАМИ, ВЫХОДЯЩИМИ ПО МѢРѢ ОТПЕЧАТАНІЯ

ЦѢНА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ

РУССКАГО АРХИВА

(ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ)

девять рублей

съ пересылкою.

АДРЕСЪ: Москва, Ермолаевская Садовая, домъ 175-й.

Въ Петербургѣ: книжные магазины „Новаго Времени“ и И. И. Глазунова на Большой Садовой,

Цена каждой книжки 1882 года въ отдѣльной продажѣ 2 рубли,

**РУССКІЙ АРХИВЪ** 1881 года, въ шести книгахъ съ приложеніемъ двухъ книгъ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“, со снимками и большою гравюрою, продается по 8 рублей (съ пересылкою по 9 рублей). Приложенная къ этому году Русскаго Архива большая гравюра съ портретомъ Екатерины Великой раздается подписчикамъ Русскаго Архива въ Москвѣ, въ Конторѣ Русскаго Архива (Ермолаевская Садовая, 175), въ Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“, на Невскомъ Проспектѣ.

РУССКІЙ АРХИВЪ ВЫХОДИТЬ ШЕСТЬ РАЗЪ ВЪ ГОДЪ.  
(Москва. Ермолаевская Садовая, 175).

# РУССКІЙ АРХИВЪ

ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ.

1882

4.

	Стр.		Стр.
1. Въ Исторіи двѣнадцатаго года:		4. „Сѣверная Пчела“. Историко-литератур-	
а) Дѣшеи графа Лористона и Блю-		ной очерки П. П. Каратыгина.....	241
ма о ссылахъ Сперанскаго.....	166	5. Къ статьѣ о В. В. Варгницъ, М. М. Мол-	
б) Письмо Н. М. Лонгинова къ гра-		чанова.....	304
фу С. Р. Воронцову въ Лондонъ отъ		6. Письмо А. С. Пушкина къ Н. А. Яко-	
13 Сентября 1812 о внутреннихъ и		влеву.....	309
военныхъ дѣлахъ.....	177	7. Стихи, приписанные А. С. Пушкину.	
в) Французы въ Москвѣ по разска-		про графиню Бродю и Кристина.....	310
зу аббата Сюрюга, съ предисловіемъ		8. И. П. Горбачевскій.....	311
В. Стратонова.....	191	9. Эпитафія Петру Третьему графа А. С.	
2. Переписка М. П. Лазарева съ няземъ		Мусина Пушкина.....	312
А. С. Мейшиновымъ. 1845 — 1847		10. Патриархъ Филаретъ Никитичъ Романовъ.....	313
годы.....	205	11. Переписка Кристина съ княжкой Турье-	
3. Эпизодъ изъ крѣпостнаго права. Е. М.		становой. 1814 и 1815 годы.	
Деларю.....	281		

При сей книжкѣ разосланъ большой гравированный портретъ  
Филарета Никитича Романова.

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи (М. Катковъ).  
на Страстномъ бульварѣ.

1882.

Въ Контортъ Русскаго Архива (Москва, Ермоленевская Садовая,  
домъ 175-й) продается

## СОЧИНЕНІЯ А. С. ХОМЯКОВА.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ.

**Томъ первый:** статьи политическаго содержанія.

**Томъ второй:** статьи богословскаго содержанія, полный безъ пропусковъ текстъ съ предисловіемъ *Ю. Ө. Самарина* и съ гравированнымъ портретомъ автора. **Томъ третій** (Записки о всемірной исторіи) печатается и на дняхъ выйдетъ въ свѣтъ.

Цѣна каждому тому ТРИ рубля съ пересылкою.

**Стихотворенія А. С. Хомякова.** Новое изданіе. Ц. 30 к.

### ВЫШЛА XXVI КНИГА АРХИВА КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА, БУМАГИ РАЗНАГО СОДЕРЖАНІЯ.

Цѣна 3 рубля.

**Русскій Архивъ** 1874 года (два большихъ тома съ гравированными портретами князя Одоевскаго и поэта Тютчева) продается по 6 рублей, съ пересылкою по 7 рублей.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры четырехъ годовыхъ изданій (1877—1880) **Русскаго Архива** (каждый годъ по три книги) можно получать по ПЯТИ рублей за годъ (съ пересылкою по ШЕСТИ рублей).

### ГЛАВНѢЙШІЯ СТАТЬИ.

1877 годъ.

- |   |   |
|---|---|
| КНИГА ПЕРВАЯ 1877. Записки Г. С. Вишневскаго.   | Разказы объ адмиралѣ Лазаревѣ.  |
| Біографія вице-адмирала князя Безбородки.   | И. И. Второвъ, біографическія статьи М. Ө. Де-Пуле.                                       |
| Бумаги контръ-адмирала Нестина.   | Самаринъ-ополченецъ, воспоминанія В. Д. Давыдова.   |
| Взятіе Карса въ 1828 году. Изъ Записокъ Н. И. Муравьева-Карскаго.                       | Историческіе разказы, анекдоты и мелочи Толычовой.  |
| Очерки и воспоминанія князя П. А. Вяземскаго.   | КНИГА ТРЕТЬЯ 1877. Записки Французскаго короля Людовика XVIII-го объ его жизни въ Россіи. |
| Старая Записная Книжка. Его же.   | Записки декабриста П. П. Фаленберга.  |
| Записки оберъ-камергера графа Рибоньера   | Денши князя Алексея Борисовича Куркина изъ Парижа въ 1810 году.                           |
| КНИГА ВТОРАЯ 1877. Записки графа Гордта о Россіи при Елизаветѣ Петровнѣ и Петрѣ III-мъ. | Записки М. А. Дмитриева-Мамонова.   |
| Записки графа А. И. Рибоньера (царствованія Александра и Николая Павловичей).           | Записки о Турецкой войнѣ 1828 и 1829 г.   |
| Авдотья Петровна Елагина, біографическій очеркъ.  | В. М. Еропкина и И. Г. Мозиланова.  |

## КЪ ИСТОРИИ ДВѢНАДЦАТАГО ГОДА.

---

Есть событія, которыя нельзя довольно изучать и къ которымъ непрестанно обращается взоръ историка, потому что въ нихъ сосредоточена жизнь многихъ поколѣній, а ихъ вліяніе простирается на многіе вѣка. Таковъ въ нашей и во всемірной исторіи вѣчно-памятный *двѣнадцатый годъ*. Объ его исторіи, Михайловскаго-Данилевскаго и (недавно скончавшагося) Богдановича, равно какъ позднѣйшій и несравненно лучшій, но къ сожалѣнію неконченный трудъ покойнаго А. Н. Попова, далеко не исчерпываютъ собою всего содержанія тогдашней жизни. Отыскиваются новыя показанія, устанавливаются новыя точки зрѣнія, и обращено больше вниманія на связь внутренняго состоянія тогдашней Россіи съ великимъ Европейскимъ нашествіемъ.

Въ семь послѣднемъ отношеніи имѣютъ особенное значеніе Сперанскій и его внезапная ссылка. Почтенная книга графа М. А. Корфа о Сперанскомъ, вышедшая въ 1861 г., нынѣ должна подвергнуться полной переработкѣ, и мы утверждаемъ это не въ упрекъ автору, который долженъ былъ подчиниться извѣстнымъ условіямъ и въ наше время конечно писалъ бы иначе, съ большею полнотою и съ меньшими умолчаніями. Онъ не могъ сдѣлать безпристрастную оцѣнку обоихъ дѣйствующихъ лицъ, такъ какъ превосходный трудъ свой составилъ въ то время, когда еще жива была дочь Сперанскаго, а разрѣшеніе его обнародовать получилъ отъ Государя, дѣтство котораго протекло подъ обаяніемъ Александра Павловича и который болѣе держался государственныхъ началъ своего дяди, нежели родителя. Павловское царствованіе, въ которое преимущественно сложились характеры и Александра Павловича, и Сперанскаго, въ то время, какъ писалъ графъ Корфъ, еще составляло предметъ какой-то опасливости въ нашей печати: объ этихъ ужасахъ говорили полупшепотомъ.

Будущій біографъ Сперанскаго остановится дольше на его происхожденіи, на суровой школѣ съ неумолимыми отцами-ректораами и префектами и затѣмъ на службѣ его въ царствованіе Павла, при всѣхъ ежегодно смѣнявшихся гер-

Ц, 11. РУССКІЙ АРХИВЪ 1882.

нераль-прокурорахъ. Стоя близко у дѣлъ, можетъ быть лучше всѣхъ зная тогдашніе порядки высшаго управленія и въ тоже почти вовсе не зная настоящей Россіи, Сперанскій долженъ былъ исполниться ненавистью къ произволу, и сталъ искать отрады въ отвлеченныхъ началахъ и въ гибельномъ космополитствѣ. Въ тоже время будущій историкъ Александра Павловича прежде всего укажетъ на то, что его воспитывали для царствованія помимо отца, что Екатерина только по причинѣ своей внезапной кончины не успѣла объявить его своимъ наслѣдникомъ и короновать, и что Павловское время служить существеннѣйшимъ объясненіемъ всему послѣдующему двадцатипятилѣтію.

Мы уже имѣли случай указывать, что какъ скоро надвинулась гроза 1812 года и пришлось дѣйствовать, а не *узаконять только*, Сперанскій у кормила правленія сдѣлался невозможенъ. Удаленіе его было государственною необходимостью. Онъ сталъ безъ вины виноватъ, такъ какъ не могъ передѣлать своей природы и уже вполне сложившагося характера. Государь и не считалъ его въ этомъ смыслѣ измѣнникомъ. Другое дѣло личныя его отношенія къ Александру Павловичу, требующія особливаго, тщательнаго разбора. Тутъ происходила необыкновенно-тонкая, психологическая игра, и слѣдить за ея ходомъ очень поучительно. Въ другомъ мѣстѣ мы надѣемся привести нѣсколько новыхъ свѣдѣній и соображеній объ этихъ отношеніяхъ между гениальнымъ семинаристомъ, презиравшимъ свою народность, и самодержцемъ-либераломъ, который, бывало, вставалъ и кланялся слугѣ принимая отъ него стаканъ воды, и у котораго въ войскахъ постоянно процвѣтала такъ называемая „зеленая роща“. Здѣсь ограничимся замѣчаніемъ, что извѣстное выраженіе Сперанскаго „сушій прельститель“ можетъ быть отнесено и къ нему самому. По словамъ Д. А. Столыпина, въ 1822 году, когда Сперанскій возвратился изъ Сибири и сдѣлался членомъ Государственнаго Совѣта, Н. С. Мордвиновъ (дѣдъ Д. А. Столыпина) прямо спросилъ Государя, какъ же, наконецъ, обращаться съ Сперанскимъ и что объ немъ думать? „Онъ не былъ государственнымъ измѣнникомъ“, отвѣчалъ Государь: „онъ измѣнялъ только мнѣ лично“.

Эти многознаменательныя слова должны будутъ лечь въ основу будущаго изслѣдованія о Сперанскомъ.

Читатели оцѣнятъ сами нижеслѣдующія новонайденныя показанія и свидѣтельства о необыкновенномъ человѣкѣ и о грозномъ времени Европейскаго нашествія на Русскую землю.

П. Б.



## I.

### ДИПЛОМАТИЧЕСКІЯ ДЕПЕШИ О ССЫЛКѢ СПЕРАНСКАГО <sup>1)</sup>).

#### 1.

М-г le c-te de Lauriston au duc de Bassano.

S.-Pétersbourg, le 1 avril 1812.

М-г Spéransky, secrétaire d'état et de l'Empire et m-г Magnitsky, employé dans la chancellerie de ce dernier, ont été arrêtés, dimanche 29 mars. Ces arrestations ont été faites à minuit, par le ministre de la police lui-même. Ils ont été transférés, le premier, dit-on, à Nijui-Nowgorod, le second à Vologda. On ignore jusqu'à présent dans le public la cause de cette mesure.

Signé: Le c-te de Lauriston.

*Спб., 1 Апрелья 1812. Графъ Лористонъ герцогу Бассано.* Государственный и имперскій секретарь Сперанскій и чиновникъ его канцеляріи Магницкій арестованы, Воскресенье, 29 Марта <sup>2)</sup>). Аресты эти произведены въ полночь самимъ министромъ полици. Арестованные увезены: первый, говорятъ, въ Нижній Новгородъ, второй—въ Вологду. Въ публикѣ до сихъ поръ неизвѣстна причина этой мѣры.

#### 2.

М-г le c-te de Lauriston au duc de Bassano.

S.-Pétersbourg, le 4 avril 1812.

L'on continue à garder le silence sur l'arrestation de m-rs Spéransky et Magnitsky. Ce silence donne lieu à mille conjectures; l'on a

---

<sup>1)</sup> Выписаны въ Парижѣ, изъ подлинныхъ дѣлъ тамошняго государственнаго архива, и любезно сообщены въ Р. Архивъ княгиней Е. Э. Трубецкою. П. Б.

<sup>2)</sup> Т.-е. по новому стилю. П. Б.

voulu en attribuer la cause à une influence étrangère. Les uns supposaient une complicité avec l'Angleterre, les autres avec la France, et pour prouver cette dernière assertion, on répand, dans le commerce surtout, que m-r de Longuerue, mon aide-de-camp, que j'ai expédié trois jours avant l'arrestation de m-r Spéransky, a été arrêté à Dorpat et qu'on a trouvé sur lui les plans de campagne de l'armée russe.

On sait à présent que m-r Woyékow est parti pour commander une brigade aux environs de Moscou.

Signé: le c-te de Lauriston.

*Спб., 4 Апрелья 1812. Лористонъ герцогу Бассано.* Продолжаютъ хранить молчаніе относительно арестованія Сперанскаго и Магницкаго. Молчаніе это даетъ поводъ къ множеству предположеній. Хотѣли искать причины въ иностранномъ вліяніи. Одни предполагали сообщничество съ Англією, другіе съ Франціей, и въ доказательство сего послѣдняго распущенъ слухъ, особенно въ торговомъ мірѣ, что адъютантъ мой Лонгрю, котораго я отправилъ за три дни до ареста Сперанскаго, задержанъ въ Дерптѣ и что у него найдены военные планы Русской арміи. Теперь стало извѣстно, что Воейковъ отправился командовать бригадою въ окрестности Москвы.

### 3.

M-r Blome, m-tre danois, à m-r Rosenkranz, m-tre d'état.

St-Pétersbourg, le 26 mars (7 avril) 1812.

La curiosité du public n'a pas été satisfaite au sujet de la cause de l'exil de m-rs Spéransky et Magnitsky. On commence cependant à supposer avec plus de fondement que son crime porte plutôt sur l'intérieur que sur la coupable intelligence au dehors. Il a été établi un comité secret, composé du prince Lapoukhine, du prince Galitzine, du Synode, et de m-r Moltchanow, pour l'inventaire des papiers saisis en cette occasion; mais on m'a voulu assurer qu'on n'y a pas fait de grandes découvertes à la charge des accusés, soit qu'une prévoyance les a mis en garde contre de pareilles preuves, ou que, pressentant depuis quelques jours la possibilité d'une prochaine disgrâce, ils aient eu la précaution d'écarter à tems des témoins de ce genre. M-r Spéransky a été le principal auteur de la dernière organisation du conseil impérial. Il s'y était ménagé une place moins importante pour la forme que de fait. L'influence dont son emploi lui garantissait l'exercice, en lui faisant tenir le principal rôle dans toutes les délibérations,

le rendait, revêtu surtout, comme il l'était, d'une extrême confiance de son maître, plus ou moins l'arbitre de toutes les décisions de cette assemblée. Il traînait, suspendait, arrêtaît ou précipitait et reproduisait sous d'autres formes les objets en discussion, suivant que la tournure que celle-ci prenait était à son gré ou non, sans paraître en évidence sur la scène. Il maniait avec beaucoup d'adresse derrière le rideau les ressorts qu'il avait gardés à sa disposition, et le ministre en place qui différait de son opinion et de son sentiment, combattait avec un désavantage décidé un homme nanti de moyens aussi supérieurs. L'esprit qui régnait dans tout ce qui sortait de son atelier trahissait les principes des philosophes modernes. Il tendait, entre autres, à limiter et à circonscrire l'autorité absolue du gouvernement. Le terrain, trop peu préparé encore à la culture des fruits républicains, a offert le phénomène d'autant plus extraordinaire qu'ici les dispositions du public sont contraires aux efforts du souverain à se dépouiller d'une grande partie de son pouvoir, tandis que partout ailleurs cette tendance aux réformes se manifeste dans un sens entièrement opposé. Je crois pouvoir prédire que le nouveau conseil d'état, maintenant privé de sa cheville ouvrière, ne tardera pas à redevenir dans son ancienne nullité.

*Спб., 26 Марта (7 Апрелья) 1812. Датскій министръ Бломъ государственному министру Розенкранцу\**). Любопытство публики относительно того, за что сосланы Сперанскій и Магницкій неудовлетворено. Однако съ ббльшею вѣроятностью начинаютъ предполагать, что вина ихъ скорѣе касается внутреннихъ дѣлъ, а не преступныхъ внѣшнихъ сношеній. Учрежденъ секретный комитетъ изъ князя Лопухина, князя Голицына (Синодальнаго) и Молчанова, для разбора задержанныхъ при этомъ случаѣ бумагъ; но меня увѣряли, будто ничего особенно важнаго въ отягченіе обвиненныхъ не найдено въ этихъ бумагахъ, такъ какъ они люди предусмотрительные и осторожные и, съ нѣкотораго времени предчувствуя возможность скорой опалы, поспѣшили сбыть отъ себя подобнаго рода свидѣтельства. Сперанскій былъ главнымъ дѣятелемъ въ послѣднемъ образованіи Государственнаго Совѣта. Въ немъ приспособилъ онъ себѣ мѣсто важное не столько по внѣшности, какъ по сущности, предоставлявшее ему непрекаемую возможность имѣть главный голосъ во всѣхъ совѣщаніяхъ. Пользуясь, сверхъ того, отѣннымъ довѣріемъ Государя, онъ болѣе или менѣе произвольно, распоряжался всѣми опредѣленіями этого Совѣта. Самъ онъ какъ будто не появлялся на сценѣ, а между тѣмъ волочилъ, задерживалъ, останавливалъ или же ускорялъ и воспроизво-

\*) Датское правительство по тогдашнему своему подчиненію Наполеону пересылало въ Парижъ списки съ донесеній своихъ уполномоченныхъ при чужихъ дворахъ.

дѣлъ подѣ другимъ видомъ дѣла, подлежащія обсужденію, смотря по тому какой оборотъ они принимали, удобный ему или неблагопріятный. Оставаясь позади занавѣса и держа въ своемъ распоряженіи пружины, онъ дѣйствовалъ ими съ большою ловкостью, такъ что министръ, несогласный съ нимъ во мнѣніи и чуждавшійся его направленія, непремѣнно проигрывалъ въ борьбѣ съ этимъ человѣкомъ, вооруженнымъ столь превосходными средствами. Направленіе, господствовавшее во всемъ чтò сходило съ его рабочаго стола, проникнуто началами новыхъ философовъ. Онъ, между прочимъ, стремился стѣснить и опредѣлить неограниченную власть правительства. Но почва слишкомъ мало подготовлена, чтобы возвращать на ней плоды республиканскіе. Произошло явленіе чрезвычайное: публика противится усиліямъ Государя, желающаго лишиться значительной доли своей власти; тогда какъ вездѣ въ другихъ странахъ это стремленіе къ преобразованіямъ обнаруживается совершенно въ противоположномъ направленіи. Мнѣ кажется, можно предсказать, что новый Государственный Совѣтъ, нынѣ лишенный главнаго дѣльца своего, скоро сдѣлается по прежнему ничего не значущимъ.

## 4.

M-r Blome, m-tre danois, à m-r Rosenkranz, m-tre d'état.

St.-Pétersbourg, le 29 mars (10 avril) 1812.

On suit l'instruction secrète du procès de m-r Spéransky avec soin et vivacité; mais un voile impénétrable couvre les travaux du comité établi à cet effet. Une désorganisation complète et préméditée de la forme du gouvernement actuel semble, d'après l'opinion la plus accréditée, être le crime principal dont il s'est rendu coupable. Il est en attendant difficile de déterminer d'après cela l'étendue des trahisons qu'il avait dirigées. On remarque de tems en tems les mesures les plus opposées aux arrestations qui continuent d'avoir lieu. Le conseiller d'état Beck, un des principaux employés au bureau du déchiffrement dans le département des affaires étrangères, a été mis hors de sa place. M. Gervais, du même département, a été renvoyé de sa place et doit, à ce qu'on ajoute, à l'indulgence du chancelier de n'avoir pas perdu sa liberté.

*Спб., 29 Марта (10 Апрелья) 1812. Датскій министръ Бломъ государственному министру Розенкранцу.* Заботливо и живо слѣдятъ за секретнымъ комитетомъ по дѣлу Сперанскаго; но работы его покрыты непроницаемою тайною. По мнѣнію, наиболѣе вѣроятному, главное преступленіе, въ которомъ онъ повиненъ, состоитъ въ предумышленномъ и полномъ разстройствѣ существующаго образа правленія. Однакоже покажѣтъ трудно сказать, какъ велика его измѣна. Отъ времени до времени принимаются

мѣры, вполне противоположныя продолжающимся арестамъ. Статскій совѣтникъ Бекъ, одинъ изъ главныхъ чиновниковъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ по части цифирнаго ключа, устраненъ отъ должности. Жерве, того же вѣдомства, уволенъ и если не задержанъ, то, говорятъ, единственно по снисходительности канцлера.

## 5.

M-r le c-te de Lauriston au duc de Bassano.

St. Pétersbourg, le 18 avril 1812.

L'affaire de m-r Spéransky occupe toujours beaucoup les esprits, mais jusqu'ici on ignore encore le motif de son exil. Par un effet des circonstances, l'opinion la plus répandue dans le premier moment était celle d'une intelligence secrète avec le gouvernement français. Il avait, disait-on, communiqué le plan de campagne et formé le projet de faire manquer les approvisionnements de l'armée. D'autres personnes pensaient qu'il servait au contraire d'instrument aux Anglais pour porter la Russie à provoquer la guerre, et même pour renverser du trône un souverain qu'ils regardent comme trop faible et trop porté pour les Français. D'autres enfin disaient que m-r Spéransky était le chef d'une secte d'Illuminés et que ses projets tendaient, sous prétexte de réforme, à bouleverser entièrement l'Empire. On prétendait que déjà en Sibérie, province qui peut aisément se détacher de la Russie, les esprits étaient disposés à un changement de gouvernement.

Aujourd'hui les bruits de connivence avec un pays étranger sont en grande partie tombés; on paraît s'arrêter à l'idée qu'il s'agissait de quelque projet relatif aux affaires intérieures de la Russie, qui aura été représenté comme dangereux et contraire à la sûreté de l'état. On sait qu'à l'exception peut-être de m-r de Kotschoubey, tout ce qui entoure l'Empereur, soit ministres, soit grands seigneurs, étaient ennemis de m-r Spéransky, et il n'est pas douteux qu'on ait mis en jeu depuis longtems toutes sortes d'intrigues pour lui faire perdre la confiance de son maître. Quelques-uns croient que la grande-duchesse Catherine n'est pas étrangère à cet événement. Il est cependant difficile de croire que l'Empereur, dont la modération est si grande, ait pu se résoudre sans des preuves convaincantes à un acte de rigueur sans exemple sous son règne, envers un homme qu'il avait lui-même élevé si haut, qui possédait toute sa confiance et qu'il regardait comme le seul de son

Empire qui fût en état par ses lumières et ses talens de le seconder dans les efforts qu'il fait pour achever de civiliser la nation russe.

On a dit aussi que le principal crime de m-r Spéransky consistait dans des propos indiscrets qu'il avait tenus sur l'Empereur, blâmant son peu de caractère et d'énergie, qui le faisait hésiter dans l'exécution de mesures qu'il avait lui-même approuvées. Mais il est à croire que dans ce cas l'Empereur se serait borné à l'éloigner du ministère sans un éclat qui a dû nécessairement causer beaucoup d'inquiétude dans un moment où l'approche d'une guerre formidable agite déjà tous les esprits.

On est donc réduit à de simples conjectures; en attendant on s'occupe de tous les détails de l'arrestation de ce ministre; on cherche à se rappeler les moindres circonstances qui ont pu faire présager sa chute. Quelques personnes prétendent que déjà depuis quelque tems l'Empereur paraissait se refroidir à son égard et n'avait plus le même empressement à travailler avec lui. On aurait pu l'attribuer à l'accusation de vénalité que lui avait faite l'année dernière m-r Gouriew en plein conseil, si l'on ne savait que l'Empereur fait peu d'attention aux inculpations de ce genre et si de plus on n'avait pas vu m-r Spéransky honoré depuis d'une grande marque de faveur, en recevant l'ordre de S-t Alexandre.

On dit que le soir même où il a été arrêté, l'Empereur s'est entretenu plus de deux heures avec lui, et on prétend avoir remarqué que m-r Spéransky en sortant du cabinet de S. M. avait l'air troublé; qu'il s'est essuyé le front et les yeux. On en conclut que l'Empereur a eu une explication avec lui et que m-r Spéransky pouvait déjà prévoir quel serait son sort. En sortant du palais, il ne s'est pas rendu directement chez lui, mais chez m-r Magnitsky, qui déjà était parti sous l'escorte d'un officier de police. En arrivant chez lui, m-r Spéransky y a trouvé le général Balachow occupé à mettre les scellés sur ses papiers. Il n'a pas voulu éveiller sa fille et une de ses parentes qui logeait chez lui, et après avoir fait quelques préparatifs il est monté en voiture.

M-r Magnitsky a la réputation d'un homme d'esprit; il professe les mêmes idées philosophiques que m-r Spéransky, mais son intégrité est aussi suspecte que celle de ce ministre. Il a commencé sa carrière par être attaché à la légation de m-r de Markow à Paris. Il est ensuite entré au ministère de l'intérieur, d'où m-r Spéransky l'a tiré en dernier lieu, pour le placer sous ses ordres avec le titre de secrétaire d'état.

M-r Gervais, premier commis des affaires étrangères, a reçu sa démission ainsi que deux autres personnes des bureaux du c-te Rouman-

zow, m-rs Sievers et Beck. Ce dernier a même été quelques jours à la forteresse, mais on assure qu'il est relâché. On ignore si ces changemens sont une suite de l'affaire de m-r Spéransky, ou s'ils ont quelque autre motif. Le prince Koslowsky, qui a été chargé d'affaires de Russie en Sardaigne, vient d'avoir la place de m-r Gervais.

On avait pensé que le gouvernement publierait quelque chose relativement à cette affaire; mais on assure que l'Empereur a dit qu'on ne saurait point de quoi m-r Spéransky était coupable.

Signé: le c-te de Lauriston.

*Спб., 13 Апрѣля 1812. Графъ Лористонъ герцогу Бассано.* Дѣло Сперанскаго все еще сильно занимаетъ головы; но до сихъ поръ неизвѣстно, изъ-за чего онъ сосланъ. По вліянію обстоятельствъ, первое время наиболѣе говорили, что онъ находился въ тайномъ соглашеніи съ Французскимъ правительствомъ. Ходилъ слухъ, что онъ сообщилъ планъ войны и имѣлъ намѣреніе устроить такъ, чтобы войско нуждалось въ пропитаніи. Другіе думали, что, напротивъ, онъ служилъ орудіемъ для Англичанъ, у которыхъ цѣль склонить Россію къ объявленію войны и даже свергнуть съ престола Государя, почитаемаго ими за слишкомъ слабаго и слишкомъ благосклоннаго къ Французамъ. Наконецъ, нѣкоторые говорили, что Сперанскій стоялъ во главѣ секты Иллюминатовъ и что намѣреніе его было, подъ предлогомъ преобразованій, разрушить весь порядокъ въ Имперіи. Утверждали, что даже и въ Сибири, которая легко можетъ отпасть отъ Россіи, имѣются люди, желающіе перемѣны правленія. Нынѣ слухи о сообщничествѣ съ чужими странами значительно упали. Кажется, останавливаются болѣе на мысли, что дѣло шло о какой-то внутренней мѣрѣ, которая представлена вредною для государственной безопасности. Извѣстно, что, за исключеніемъ, можетъ быть, Кочубея, все чтò окружаетъ Императора, министры, вельможи, были врагами Сперанскаго, и нѣтъ сомнѣнія, что они издавна прибѣгали ко всякаго рода проискамъ, чтобы лишить его государева довѣрія. Нѣкоторые думаютъ, что великая княгиня Екатерина причастна этому событію. Однако трудно повѣрить, чтобы Императоръ, при его великой сдержанности, рѣшился безъ убѣдительныхъ доказательствъ употребить столь сильную и непримѣрную въ его царствованіе мѣру противъ человѣка, котораго онъ самъ такъ высоко поставилъ, который пользовался полнымъ его довѣріемъ и котораго во всей Имперіи своей онъ почиталъ единственно способнымъ, знаніями и дарованіями, содѣйствовать ему въ его усиліяхъ довершить огражданствованіе Русскаго народа.

Говорили также, что главная вина Сперанскаго состояла въ нескромныхъ отзывахъ про Императора, котораго онъ осуждалъ за недостатокъ характера и твердой воли, мѣшавшій ему настаивать на проведеніе мѣръ, имъ

самимъ одобренныхъ. Но кажется, что въ этомъ случаѣ Императоръ могъ бы просто устранить его отъ государственныхъ дѣлъ, не производя огласки, которая естественно произвела сильную тревогу въ такое время, когда всѣ головы озабочены близостью страшной войны.

И такъ приходится прибѣгать только къ догадкамъ. Между тѣмъ занимаются всеми подробностями ареста; стараются вспомнить малѣйшія обстоятельства, которые могли предвѣщать паденіе этого министра. Нѣкоторые лица увѣряютъ, что уже съ нѣкотораго времени было замѣтно охлажденіе къ нему Императора, который не такъ охотно какъ прежде допускалъ его работать съ собою. Это можно бы поставить въ связь съ обвиненіемъ въ продажности Сперанскаго, которое, въ полномъ засѣданіи Совѣта, заявилъ прошедшаго года Гурьевъ; но Императоръ мало обращаетъ вниманіи на подобнаго рода навѣты, и вдобавокъ Сперанскій съ тѣхъ поръ успѣлъ получить новый знакъ милости—Александровскій орденъ.

Говорятъ, что въ самый вечеръ ареста Императоръ слишкомъ два часа съ нимъ бесѣдовалъ, и утверждаютъ, что Сперанскій съ видомъ смущеннымъ вышелъ изъ кабинета его величества, утирая себѣ лобъ и глаза. Изъ этого заключаютъ, что Императоръ имѣлъ съ нимъ объясненіе и что Сперанскій могъ предузнать, какая постигнетъ его участь. По выходѣ изъ дворца, онъ отправился не прямо домой, а къ Магницкому, который уже былъ увезенъ полицейскимъ офицеромъ. У себя дома Сперанскій нашелъ генерала Балашова, занимавшагося опечатаніемъ его бумагъ. Онъ не захотѣлъ будить дочь и жившую у него родственницу и, сдѣлавъ нѣсколько распоряженій, сѣлъ въ повозку.

Магницкій слыветъ за человѣка умнаго; онъ держится тѣхъ же философскихъ мыслей что и Сперанскій; но его честность равнымъ образомъ подозрительна, какъ и этого министра. Онъ началъ свое служебное поприще, будучи причисленъ къ носольтву Маркова въ Парижѣ. Потомъ онъ поступилъ въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, откуда недавно перешелъ его Сперанскій подъ свое начальство съ званіемъ государственнаго секретаря.

Жерве, первый чиновникъ иностранныхъ дѣлъ, уволенъ, равно какъ два другія лица изъ вѣдомства графа Румянцова, Сиверсъ и Бекъ. Сей послѣдній даже содержался нѣсколько дней въ крѣпости; но увѣряютъ, что его выпустили. Неизвѣстно, произведены ли эти перемѣны вслѣдствіе дѣла Сперанскаго, или по другому поводу. Мѣсто Жерве занято княземъ Козловскимъ, который былъ Русскимъ повѣреннымъ въ Сардиніи.

Полагали, что правительство что либо обнародуетъ по этому дѣлу; но Императоръ, какъ увѣряютъ, отозвался, что виновность Сперанскаго не будетъ разяснена.



## II.

### ПИСЬМО Н. М. ЛОНГИНОВА ВЪ ЛОНДОНЪ КЪ ГРАФУ С. Р. ВОРОНЦОВУ <sup>1)</sup>.

С.-Петербургъ, 13 Сентября 1812.

Кавалеръ Безерра <sup>2)</sup> отправляясь отсель завтра, пользуюсь симъ случаемъ, чтобы отвѣчать вашему сіятельству на вопросъ вашъ о происшествіяхъ въ арміи, гдѣ вы справедливо заключаете, что не безъ интригъ было сначала и до нынѣ, къ несчастію и вреду нашему. Письмо сіе назначая для васъ единственно, или для немногихъ, коимъ ваше сіятельство сообщить заблагоразсудите, я почитаю за лучшее писать оное по-русски, дабы любопытное око иностранцевъ не могло проникнуть содержаніе онаго.

Коль скоро правительство составлено изъ частей несогласныхъ между собою, нельзя ожидать, чтобы оное могло поддерживать себя иначе какъ интригами; а сіи распространяясь повсюду, наполняютъ всѣ мѣста, зависяція отъ онаго. Такимъ образомъ стѣбитъ только упомянуть имена министровъ нашихъ, чтобы все понять и всѣхъ оцѣнить какъ должно.

Графъ Румянцовъ одинъ, можно сказать, наибольше имѣлъ вліянія на всѣ мѣры правительства. Если не купленъ Франціею, то изъ единственной въ своемъ родѣ глупости и неспособности; всегда такъ дѣйствовалъ какъ бы на жалованьи у Бонапарте, до того, что если бывали когда минуты добраго расположенія Государя къ доброму дѣлу, то оное не иначе исполнялось какъ мимо его. При всемъ томъ онъ во-

---

<sup>1)</sup> Извлечено изъ XXIII-й книги Архива Князя Воронцова, на которую обращаемъ особенное вниманіе читателей, какъ на исполненную новыхъ показаній. Н. М. Лонгиновъ въ это время служилъ секретаремъ при императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Отправляя письмо къ своему благодѣтелю, онъ не могъ еще знать, что Сперанскій (15 Сент. 1812) увезенъ на жительство изъ Нижняго въ Пермь, по рескрипту Государя на имя графа П. А. Толстаго: „отправить *сею вреднаго челоювка* подъ карауломъ въ Пермь, съ предписаніемъ губернатору имѣть его подъ тѣснымъ присмотромъ и отвѣчать за всѣ его шаги и поведеніе“. П. Б.

<sup>2)</sup> Бразильскій посланникъ, возвращавшій домой изъ Россіи. П. Б.

образилъ и заставилъ многихъ о себѣ думать, что онъ Макиавель, хотя голова его нимало не похожа на сего умнаго софиста въ политикѣ. Описывать больше Румянцова было бы излишне; а довольно сказать, что онъ до начала сей войны вѣрилъ словамъ и обѣщаніямъ Бонапарте болѣе чѣмъ Евангелію, о которомъ и понятія не имѣетъ, какъ и о вѣрѣ и о обязанностяхъ христіанина.

Козодавлевъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, есть его креатура, подлѣйшій изъ подлецовъ, знающій порядокъ и теченіе обыкновенныхъ дѣлъ и ничего никогда не значившій, кромѣ, провозглашая правила Румянцова въ своей газетѣ <sup>3)</sup>, много препятствовалъ сближенію Россіи съ Англією и постоянно показывалъ себя врагомъ послѣдней. Сей глупой, впрочемъ, педаантъ никакого никогда вліянія, даже понятія о политической системѣ нашей, если то можно назвать системою, не имѣлъ. Князь Куракинъ <sup>4)</sup> его вывелъ въ люди, и когда просилъ себѣ въ товарищи по внутреннимъ дѣламъ, Государь самъ сказалъ ему, что онъ согрѣшаетъ змѣю за пазухой; однакоже по вторичной его просьбѣ не отказалъ ему въ семъ выборѣ.

Барклай, выведенный изъ ничтожества Аракчеевымъ, который думалъ имѣть управлять какъ секретаремъ, когда вся армія возненавидѣла его самага, показалъ однакоже характеръ, коего Аракчеевъ не ожидалъ, и съ самага начала взялъ всю власть и могущество, которыя Аракчеевъ думалъ себѣ одному навсегда присвоить, но ошибся, присвоивъ ихъ мѣсту, а не себѣ, и Барклай ни на шагъ не уступилъ ему, когда вступилъ въ министерство. Я почитаю, сколько могу судить, что Барклай есть честный, тяжелый Нѣмецъ съ характеромъ и познаніями, кои однакожъ недостаточны для министра. При томъ, не имѣя ни связей, ни могущихъ друзей, онъ одинъ стоялъ противъ всѣхъ бурь, пока наконецъ О. . . . . и Сперанскій, какъ утверждаютъ, приняли его въ покровительство.

Траверсе, по сходству положенія своего съ Барклаемъ, нашель въ немъ одномъ, можно сказать, товарища и друга; но въ дѣлахъ никогда ничего не значилъ.

Гурьевъ, человекъ съ хорошими правилами и довольно честный, но пренеспособный къ мѣсту и дѣламъ, поддерживаемый Толстымъ <sup>5)</sup>, Голицынымъ и другими придворными, часто боролся съ Сперанскимъ, но устоялъ, не имѣя почти никакихъ сношеній съ прочими товарищами своими, и въ дѣлахъ кромѣ своей части, никогда голоса не имѣлъ.

<sup>3)</sup> Сѣверной Почтѣ. П. Б.

<sup>4)</sup> Князь Алексѣй Борисовичъ. П. Б.

<sup>5)</sup> Оберъ-гофмаршалъ графъ Николай Александровичъ Толстой. П. Б.

Разумовскій, начальникъ и покровитель Московскихъ мартинистовъ, зарывшись въ ботанику и метафизику, былъ и есть находкою для всѣхъ педантовъ, подъ именемъ ученыхъ, кои все могли дѣлать, лишь бы не нарушали его лѣнности и покоя, и вездѣ въ ученыхъ обществахъ ввели правила такія, кои въ одной Франціи покровительствуемы. Стѣбитъ назвать Московскій и Дерптскій университеты, чтобы изобразить Гёттингенскій, гдѣ не знаютъ ни Бога, ни закона. Сперанскій глубоко проникнулъ и для достиженія своей цѣли разсудилъ, что надобно революцію начать съ образованія юношества безъ разбора, по своимъ правиламъ, въ предсужденіе дворянству и заслугамъ предковъ. Ему надобно было не Завадовскаго, а того, кто-бы ему не мѣшалъ. Разумовскій выполнилъ сію цѣль, въ прочихъ дѣлахъ не участвуя.

Дмитріевъ, піита, человекъ прямой и честный, немного мартинистъ, шелъ своею дорогою, не входя въ большія связи, кромѣ съ стариннымъ пріятелемъ Балашевымъ и съ Разумовскимъ; съ прочими онъ мало знался и дѣлалъ одни свои дѣла.

Министерство такъ составленное не могло почти дѣйствовать. Для него надобна была душа; нашлась она въ Сперанскомъ, къ несчастію Россіи. Креатура Кочубей, самъ Кочубей, вывезшій изъ Парижа знаменитый планъ Совѣта, правительства, всеобщаго преобразованія, сталъ у него секретаремъ и исполнителемъ; самъ Румянцовъ, при всей гордости своей, былъ у ногъ его. Онъ преобразовалъ правительство, воспитаніе, армію, финансы. Сенатъ остановилъ его, тогда какъ разрушеніе онаго было начертано, и Великій Творецъ онаго забыть. Образование Сената продолжалось въ Совѣтѣ нѣсколько мѣсяцевъ; въ послѣднемъ засѣданіи по сему предмету, недостойнаго отца Николая Ив. Салтыкова предостойный сынъ Александръ Николаевичъ имѣлъ духъ подписать журналъ такъ: «остаюсь при своемъ мнѣніи, а журналъ подписываю по волѣ Его В—ва, изъявленной мнѣ чрезъ государственнаго секретаря». Нѣсколько другихъ было противъ разрушенія стараго зданія Сената; почему Государь остановился, хотя большинство и было на сторонѣ Сперанскаго, и совершеніе сего дѣла отложено, пока политическія сношенія наши заставили обратить въ другую сторону вниманіе. Сперанскій и тутъ сталъ душою; онъ создалъ для себя такое мѣсто, что мимо его ничто не могло и не должно было пройти. Румянцовъ, Барклай, даже Ольденбургская фамилія имѣли въ немъ нужду. Кочубей гордился, что вывелъ на сцену толь великаго мужа и думалъ, что онъ, посредствомъ Сперанскаго, все дѣлаетъ и все вѣдаетъ. Какъ онъ ошибся, когда, послѣ случившагося съ нимъ катастрофа, увидѣлъ, что у Сперанскаго никто кромѣ Магницкаго не былъ въ секретѣ и еще нѣсколькихъ нисшихъ его креатуръ и что онъ былъ не что иное

какъ глупый и сильный покровитель цѣлой шайки измѣнниковъ и предателей.

До сихъ поръ неизвѣстно завѣрно, въ чемъ состояла вина сихъ ссылочныхъ; но вообще вѣроятнѣе почитается слѣдующее обстоятельство. Когда война была рѣшена и планъ оной окончательно принять, всѣ мѣры распорядены и докладъ военнаго министра утвержденъ, вдругъ бумаги сіи пропали изъ портфеля военнаго министра, который обыкновенно хранился у полковника Воейкова, флигель-адъютанта и управлявшаго канцеляріею военнаго министра. На вопросъ его, куда дѣвались бумаги? Воейковъ отвѣчалъ: не знаю. Барклай тотчасъ возвратился къ Государю, не оставилъ ли ихъ у него въ кабинетѣ; ихъ не нашли. По возвращеніи, Воейковъ говорить, что онъ отдалъ ихъ списать статск. сов. Болховскому, который былъ секретаремъ комиссіи составленія военнаго уложения; отъ сего перешли онѣ къ Магницкому и Сперанскому, такъ что съ трудомъ отыскали сіи бумаги, кои почитались величайшею тайною, извѣстною только Его Величеству, Барклаю и Воейкову. Въ допросѣ Болховскій и Воейковъ отвѣчали на вопросъ, для чего нужна была копія, что Сперанскій ея потребовалъ, и что они сочли нужнымъ ему въ томъ повиноваться, а спросить позволенія не имѣли времени, или не почли нужнымъ. Для чего могли быть нужны Сперанскому и Магницкому сіи военныя распоряженія, была вещь подозрительная и, по опечатаніи ихъ бумагъ, особливо послѣдняго, подозрѣнія сіи оказались основательными. Въ то же время оказалось, что Сперанскій велъ переписку въ шифрахъ, кои требовалъ по произволению отъ д. ст. сов. Бека, въ Иностранной Коллегіи, мимо гр. Румянцова, и чрезъ посредство экспедитора канцеляріи послѣдняго Жерве <sup>6)</sup>. Какъ сей, такъ и Бекъ показали, что государственный секретарь, имѣя право объявлять иманные указы, они не могли ему отказать въ шифрахъ, тѣмъ болѣе, что онъ именно не велѣлъ имъ спрашивать о томъ канцлера. Однимъ словомъ, нѣтъ сомнѣнія, что Лористонъ имѣлъ сіи бумаги и даже успѣлъ отправить въ Парижъ, такъ

---

<sup>6)</sup> Изъ Вильны, отъ 19 Апрѣля 1812 года, слѣд. черезъ мѣсяць по удаленіи Сперанскаго, Государь счелъ нужнымъ послать своему воспитателю Н. И. Салтыкову слѣдующую выписку изъ письма, которое онъ получилъ отъ Сперанскаго: „Между бумагами въ одномъ изъ трехъ пакетовъ находящихся Ваше Императорское Величество изволите найти расшифрованныя перлюстраціи. Они были мнѣ доставляемы по временамъ отъ Бека. Въ семь поступкѣ сознаю себя виновнымъ и, не ища оправданій, предаюся милосердію Вашего Величества“. Вѣроятно, Государю въ Вильну посылались изъ Петербурга донесенія о разборѣ бумагъ, забранныхъ Балашовымъ въ ночь 17 Марта 1812. Въ своемъ Пермскомъ оправдательномъ письмѣ къ Государю, писанномъ въ началѣ 1813 года, когда Александръ находился за границею, Сперанскій уже не придаетъ значенія этому нарушенію государственной тайны, и даже объявляетъ Бека въ глазахъ Государя. П. Б.

какъ, наканунѣ ссылки виновныхъ, отправленъ былъ адъютантъ его, который даже стрѣлялъ по нашему фельдъегерѣ, который его объѣхалъ близъ Риги, совсѣмъ по особенному порученію, а не для поимки его. Всѣ назначенія и распоряженія по арміямъ были уже сдѣланы, и всѣ мѣста наполнены людьми преданными симъ измѣнникамъ, по большей части, такъ какъ вся власть и люди въ ихъ рукахъ были: ибо Сперанскій былъ все въ Имперіи, такъ какъ Магницкій, военный законодатель, съ Воейковымъ и Болховскимъ дѣлали все что ни заблагоразсудили по военному департаменту. Люди сіи почти всѣ остались при мѣстахъ въ арміи. Можно ли чего хорошаго отъ нихъ ожидать? Недавно графъ Михайло Семеновичъ <sup>1)</sup> поймалъ одного въ семь родѣ, который былъ при начальникѣ генер. штаба 2-й арміи, по имени маркизъ Делезеръ, который часто отлучался и любилъ ѣздить на аванпосты и парламентаромъ. Графъ М. С. приказалъ слѣдовать за нимъ и, когда оказалось, что онъ совсѣмъ не былъ тамъ гдѣ сказалъ, подозрѣнія сдѣлались основательными, и онъ принужденъ былъ сказать о томъ начальнику его графу С. При, который по допросѣ и отправилъ его къ графу Растопчину, гдѣ подозрѣнія дознаны справедливыми. Послѣ сего неудивительно, что въ бумагахъ Себастьяни нашли распоряженія и планъ движеній 2-й арміи. Сей Лезеръ былъ корпуснымъ адъютантомъ у Дохторова, но нашелъ выгодиѣе быть при источникѣ всѣхъ военныхъ дѣйствій, и успѣлъ. Можно было предвидѣть, что Сперанскій и ему подобные не однимъ Лезеромъ армію наградили; но у насъ никогда ничто не додѣлывается: довольствовались сослать главныхъ, а прочихъ безъ вниманія оставили. Воейкову еще дана бригада въ дѣйствующей арміи, гдѣ онъ и теперь находится. Почему онъ меньше другихъ виновенъ? Не знаю. Впрочемъ можно ли почестъ наказаніемъ и ссылкой тѣхъ, коихъ предать смертой казни было-бы мало? Сперанскій въ Нижнемъ Новгородѣ чуть не былъ закиданъ камнями <sup>2)</sup> и послѣ не сталъ показываться; а Магницкій въ Вологдѣ громогласно вездѣ проповѣдывалъ вольность, что и побудило его услать далѣе <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Воронцовъ. П. Б.

<sup>2)</sup> Это не вѣрно: въ Сентябрѣ 1812 года Магницкій былъ еще въ Вологдѣ, гдѣ и признавался князю П. А. Вяземскому въ томъ, что онъ со Сперанскимъ замышляли ограничить самодержавіе. П. Б.

<sup>3)</sup> Болѣе того: Московскіе купцы, отправляясь въ Нижній на ярмарку, намѣревались умертвить Сперанскаго (книга Корфа, II, 56). Сперанскій не обнаружилъ никакого сочувствія къ общему народному возбужденію по поводу непріятельскаго нашествія. Письма его того времени обличаютъ полное равнодушіе къ судьбѣ отечества. Въ то время какъ Карамзинъ, будучи старше его годами, обремененный семействомъ и великимъ трудомъ, готовился принять участіе въ сраженіи подъ Москвою и выѣхалъ изъ нея только тогда, когда рѣшено было не защищать Москвы, Сперанскій въ Нижнемъ пользовался

Чтобы докончить исторію сихъ людей, скажу: Сперанскій есть сынъ одного дьячка, воспитывался въ здѣшней Семинаріи и потомъ училъ Русской грамотѣ побочныхъ дѣтей князя Александра Б. Куракина, который и помѣстилъ его въ службу. Будучи надворнымъ совѣтникомъ, онъ поступилъ къ графу Кочубею въ министерство внутреннее и пошелъ въ чины и знать, имѣя способности и даръ хорошо писать. Кочубей и Сперанскій были два педанта, кои ничего не сдѣлали кромѣ вѣчныхъ образованій и преобразованій, такъ что въ пословицу вошло подѣ именемъ *образованія* и *соображенія* разумѣть ихъ двоихъ. Самое пустое незначащее мѣсто, вновь учреждаемое, получало томы *наставлений*, *правилъ* и *предписаній*, кои и до исполненія никогда не могли дойти. Сперанскій женился послѣ на дочери одной Англичанки, бывшей при дворѣ нянькою; имѣетъ дочь, и теща у него живетъ и внучку воспитываетъ, а жена умерла. Онъ былъ въ Эрфуртскомъ вояжѣ, гдѣ отмѣнно былъ обласканъ Бонапартиемъ; видно, что Коленкуръ его хорошо описалъ. Часто видѣли сего посла верхомъ у Сперанскаго по утрамъ, тогда какъ онъ еще не былъ государственнымъ секретаремъ. Зачѣмъ и почему, никто не любопытствовалъ узнать; а цѣлой городъ про то зналъ. Человѣкъ сей прошелъ всѣ департаменты правительства, былъ у Лопухина и Новосильцова по министерству юстиціи и былъ извѣстный взяточникъ. Полагаютъ, что имѣніе его неисчетно, и кромѣ деревень онъ имѣетъ 11 каменныхъ домовъ здѣсь и множество капиталовъ; но навѣрно никто того не знаетъ, и большая часть домовъ, говорятъ, куплены на имя Злобина, купца, коего сынъ ему своякъ и имѣ въ службѣ получилъ чины, мѣста и жалованье, кромѣ того что отецъ по торговлѣ и процессамъ своимъ имѣлъ въ Сперанскомъ подпору и защиту, а въ спекуляціяхъ товарища.

Магницкій изъ самыхъ бѣдныхъ дворянъ. Отецъ его почти милостынею питался въ Москвѣ, пока сынъ доставилъ ему мѣсто, чинъ, ленту, пенсію и жалованье. Началъ онъ служить въ Иностранной Коллегіи, былъ въ Парижѣ при Морковѣ, откуда почти былъ высланъ. Пѣта, повѣса, игрокъ и довольно пылкаго ума. По возвращеніи сюда онъ написалъ письмо покойному графу Александру Романовичу, который правила и мысли его нашель толь непристойными и дурными, что приказалъ его изъ коллегіи исключить. Кочубей, протекторъ всей сволочи, и его къ себѣ прибралъ въ Министерство Внутр. Дѣлъ и довелъ его до статсъ-секретаря съ чиномъ дѣйств. ст. сов. и лентою,

---

ярмаркою, чтобы вымѣнивать ассигнаціи на золотую монету и добывалъ „добрыхъ Голландскихъ червонцевъ, хотя бы и по 13 р. 50 к.“, дабы беречь ихъ „въ изголовьи“ своей дочери. (Письма къ Масальскому, Спб. 1862, стр. 26). За обѣдомъ у архіерея (6 Августа) онъ не стѣсняясь проповѣдывалъ о вѣротерпимости Наполеона. П. Б.

въ 30 лѣтъ отъ роду. Женился онъ на какой-то Француженкѣ изъ модной лавки, братьевъ и родню ея вывелъ въ люди и въ мѣста и, ничего не имѣя кромѣ жалованья, содержалъ пышно всю сію семью и самъ жилъ какъ Лукуллъ; никто даже не спросилъ, чѣмъ и какъ?—О прочихъ зачѣмъ упоминать? Свой своего ищеть.

Описавъ такимъ образомъ корень всего зла, можно удобнѣе приступить къ отраслямъ, кои не меньше имѣли вліянія на нашу армію. Нѣкто Фуль, который принятъ изъ Прусской въ нашу службу генералъ - маіоромъ, былъ творцомъ нашего плана войны. Человѣкъ сей имѣеть большія математическія свѣдѣнія, но есть не иное какъ Нѣмецкой педантъ и совершенно имѣеть видъ пошлаго дурака. Онъ самый начерталъ планъ Іенской баталіи и разрушенія Пруссіи. Барклай и О. фамилія покровительствовали его какъ Нѣмца, Сперанскій какъ человека нужнаго, или по крайней мѣрѣ ни въ чемъ ему не мѣшающаго. Многіе не безъ причины почитаютъ его шпиономъ и измѣнникомъ. Кто и какъ его сюда выписалъ, неизвѣстно, только онъ послѣ Тильзита здѣсь очутился. О планѣ его и говорить нѣтъ нужды: онъ былъ слишкомъ видѣнъ по всѣмъ происшествіямъ войны. Барклай исполнитель онаго, Нѣмецъ въ душѣ, привлекшій ненависть всѣхъ Русскихъ генераловъ, у коихъ онъ былъ недавно въ командѣ, соединяющій гордость съ грубостью, положилъ за правило никого не видѣть и не допускать. Все его общество состояло изъ нѣкоего Веймарскаго барона Фольцогена, адъютанта Левенштерна и другаго, Нѣмца же. На всѣхъ ихъ были большія подозрѣнія, особливо на перваго, который неизвѣстно какъ и зачѣмъ при немъ очутился, не будучи даже въ нашей службѣ. Въ главной квартирѣ кромѣ Нѣмецкаго языка и слова не слышно. Солдаты главнокомандующаго не видѣли и не знали кромѣ въ дѣлѣ противъ непріятеля, гдѣ онъ всегда оказывалъ много храбрости и присутствія духа; но все чтó касалось до распоряженій прежде и послѣ дѣла, при непрерывномъ отступленіи послѣ успѣховъ, казалось непонятнымъ, а о движеніяхъ непріятеля не иначе узнавали, какъ когда оныя были уже произведены въ дѣйство, тогда какъ наши казались ему извѣстными. До Смоленска винить Барклая нельзя (онъ исполнялъ предписанный планъ); но послѣ Смоленска, когда предписано ему дѣйствовать наступательно и онъ имѣлъ къ тому способы, одержавъ значущій успѣхъ, отразивъ непріятеля, оправдать его трудно, тѣмъ болѣе что большая часть генераловъ доказали ему возможность удерживать позицію, которая одна могла закрыть Москву. Многіе поставляютъ его на одной доскѣ съ Сперанскимъ, но несправедливо, кажется; а вѣроятно, что послѣдній въ выборѣ семъ участвовалъ...

Князь Багратионъ, хотя и неучъ, но опытный воинъ и всѣми любимъ въ арміи, повиновался, но весьма неохотно, Барклаю, который его моложе, хотя и министръ. Впрочемъ онъ долгъ свой исполнилъ и соединился съ нимъ, не смотря на всѣ препятствія и трудности. Послѣ Смоленска онъ писалъ Государю, что онъ готовъ повиноваться кому угодно, даже и Барклаю, но что сей командовать не способенъ, и всѣ солдаты ропщутъ. Изнурили ихъ напрасно, половину растеряли для того, чтобы Москву и знатную часть Россіи раззорить, тогда какъ свѣжими еще войсками въ началѣ можно было непріятеля остановить. Государь самъ былъ свидѣтелемъ, когда, въ бытность его въ Видзахъ, корпусъ гр. Шувалова (нынѣ графа Остермана-Толстаго) почти громко закричалъ: измѣна! По рапорту о семь графа Шувалова, его смѣнили и планъ по старому продолжали исполнять, пока нашли, что не по нашему, а по своему плану непріятель дѣйствуетъ. Въ Дриссѣ узнали, что непріятель устремился на Смоленскъ; въ военномъ совѣтѣ положено туда итти. Государь потерялъ голову и узналъ, что война не есть его ремесло, но все не переставалъ во все входить... Графъ Аракчеевъ уговорилъ его ѣхать въ Багратионову армію съ собою. Лишь коляски тронулись съ мѣста, онъ велѣлъ ѣхать въ Смоленскъ, а не въ Витебскъ и объявилъ ему, что ему должно ѣхать въ Смоленскъ и Москву, учредить новыя силы, а что въ арміи присутствіе его не только вредно, но даже опасно. Говорятъ, что Аракчеевъ взялся быть исполнителемъ общаго желанія всѣхъ генераловъ. Маркизь Паулучи, Піемонтець и человѣкъ съ большими свѣдѣніями, при Государѣ въ военномъ совѣтѣ, на предложеніе Фуля ретироваться снова, сказалъ, что тотъ, кто похоронилъ Пруссію и ея армію въ Іенѣ, не можетъ быть какъ измѣнникъ или глупецъ, и готовить подобный жребій Россіи. Государь приказалъ ему выдти, и отступленіе продолжалось. Вотъ и до Москвы дошло. О. поддерживая Фуля и его мнѣніе, даже изьяснялись на счетъ нашихъ Русскихъ генераловъ весьма нехорошо. Ненависть въ войскѣ до того возросла, что еслибы Государь не уѣхалъ, неизвѣстно, чѣмъ все сіе кончилось бы.

Вся публика кричала Кутузова послать. Кутузовъ былъ здѣсь и трактованъ какъ всякой офицеръ, не смотря на прошлую кампанію и на миръ съ Турками, о коихъ даже и слова не сказано ему по приѣздѣ Государя, пока наконецъ онъ самъ не сталъ требовать объясненія, дурно ли хорошо ли онъ сдѣлалъ, и что онъ желаетъ знать мнѣніе Государя. Тутъ и сторговались съ нимъ выбрать княжескій титулъ или женѣ портретъ! Наконецъ, когда дѣло зашло и за Смоленскъ—нечего дѣ-



латъ: надобно послать Кутузова поправить то, что уже близко къ разрушенію.

Увы! Москва не спасена, не смотря на 26 Августа, стоившее намъ до 30,000 героевъ. Богъ знаетъ что впередъ случится. Никогда не слыхано, чтобы судьба всей арміи и цѣлой Имперіи ввѣрялась человѣку хорошо командовавшему бригадою или дивизіею, и который нетерпимъ подчиненными, ненавистенъ солдатамъ. Если Россія устоитъ послѣ толь ужаснаго испытанія достоинствъ главнокомандующаго, то одному Провидѣнію и своему народу тѣмъ обязаны будемъ. Поляки были уже въ нашихъ границахъ, а Румянцовъ увѣрялъ, что войны не будетъ, быть не можетъ, что то были какіе ни есть сумасбродныя головы (*têtes égarées*) Поляковъ, коихъ голодъ или пьянство заставили войти въ наши предѣлы. Генералы почти не имѣли предписаній, полагаясь на увѣренія Румянцова, и когда Баговуту рапортовали, что Французы переходятъ у Ковно Нѣманъ, онъ не повѣрилъ какъ получа вторичный рапортъ.—Иностранцы Армфельтъ и Паулучи, бывшіе съ Государемъ, говорили какъ Русскіе; жаль, что Русскихъ не ставятъ въ такое мѣсто, гдѣ говорить должно за себя—все Нѣмцы! Слава Богу, что случился тутъ Аракчеевъ, лично злодѣй большей части генераловъ и Гатчинской тиранъ войскамъ, но патріотъ извѣстный, преданный Отечеству и Государю: безъ его рѣшимости и присутствія духа, чего должно бы ожидать? Онъ же совѣтовалъ отозвать великаго князя и О. . . . . повѣсу, которые снова просились въ армію, но ихъ не пустили. Они тамъ только нужны, гдѣ нужно все разстроить; обоихъ можно бы для сего Французамъ уступить. Ваше сіятельство увидите со временемъ, чего будетъ намъ стоять сія... Далекое уже и теперь они власть свою простираютъ; не вижу, гдѣ останутся, особливо съ извѣстнымъ нравомъ и надменностію видовъ великой княгини. Герцогъ Виртембергскій \*), находясь въ арміи съ тѣхъ поръ какъ Витебскъ нами оставленъ, напротивъ, оказалъ много пользы, пособій и даже познаній, съ твердостью и присутствіемъ духа. Послѣ отступленія изъ Смоленска, если бы онъ не навелъ двухъ мостовъ чрезъ болото, о чемъ Барклай не думалъ, можетъ быть вся армія бы пропала.

Ваше сіятельство еще до получения сего узнаете о вступленіи Французовъ въ Москву. Сіе случилось вслѣдствіе военнаго совѣта, который былъ созванъ и въ коемъ Бениксенъ и Коновницынъ, генералъ-лейтенантъ, предлагали защищать Москву; прочіе всѣ были оставить оную, въ томъ числѣ и князь Кутузовъ, несмотря на то, что при отъѣздѣ

---

\*) Евгений, племянникъ императрицы Маріи Феодоровны. П. Б.

отсюда и по прибытіи въ армію онъ объявилъ, что непріятель не иначе вступить въ сію древнюю столицу, какъ по его мертвому трупу. Видно, были важныя причины, кои заставили отступить и не произвести въ дѣйство первоначальнаго плана защищать ее какъ Сарагоссу. Если то справедливо, что сначала Кутузовъ отступилъ 15 верстъ по Рязанской и Тульской дорогѣ, а теперь опять лѣвымъ крыломъ занялъ Можайскъ, то можетъ случиться, что непріятель обойденъ и долженъ выйти, чтобы открыть себѣ путь; ибо Нижегородская, Ярославская, Костромская, Владимирская и другія милиціи могутъ ему попрепятствовать идти далѣе со всѣми силами, особливо имѣя въ тылу цѣлую армію, недавно сражавшуюся съ успѣхомъ подъ Можайскомъ и усиленную корпусомъ вновь сформированныхъ войскъ подъ командою князя Лобанова и милиціями. Съ другой стороны корпусъ отдѣльный бар. Винценгерода находится около Клина до 28,000 человекъ, прикрывая Ярославскую и Тверскую дороги и посылая отряды на Волоколамскъ. Многія письма, кои я самъ видѣлъ, полагаютъ, что дѣла наши чрезъ отдачу Москвы много выиграли; но кромѣ того, что почти невозможно преградить совершенно путь арміи до 200,000 простирающейся, зло (морально судя) потери столицы есть пятно для чести народной и можетъ произвести въ народѣ печальныя слѣдствія, если духъ начнетъ упадать и жаръ остынетъ. Чтобы предупредить сія пагубныя послѣдствія, надобно немедленно дѣйствовать наступательно. Надѣюсь, что князь Кутузовъ сего не упуститъ; но съ 4-го числа извѣстій отъ него нѣтъ. Вооруженный Московскій народъ, который графомъ Растопчинымъ удивительно былъ электризованъ, подъ именемъ клича, вышелъ съ нимъ въ числѣ 63,000 человекъ и соединился съ арміею, унеся съ собою запасовъ сколько возможно; прочіе всѣ истреблены или вывезены заблаговременно, такъ какъ и наши раненыя и больныя, коихъ было до 11,000 человекъ. Всѣ войска, регулярныя и нерегулярныя, кои должны быть нынѣ съ Кутузовымъ, полагаютъ въ 225,000 человекъ. Тормасовъ и Чичаговъ получили повелѣнія дѣйствовать немедленно на Смоленскъ.

Все сіе, если не замѣшкается, будетъ имѣть важныя слѣдствія; но если станутъ долго откладывать, можетъ быть только для будущаго полезно, такъ какъ Шведская высадка и занятіе Мадрита Веллингтономъ. Намъ же теперь настоятъ нужда въ дѣйствіяхъ немедленныхъ, каковыхъ спасеніе Россіи и Европы требуетъ... Вездѣ того вся Польша и цѣлый свѣтъ на насъ возстанутъ; въ Польшѣ и самыя преданныя намъ покинутъ насъ и возмутъ его сторону. Въ два мѣсяца будетъ противу насъ 100,000 войска, которое доселѣ не существовало. И теперь уже говорятъ, что Бонапарте Поляковъ и нашихъ, оставшихся назади, больныхъ и усталыхъ, поставилъ у себя десятими въ войскахъ; что же бу-

детъ послѣ? Барклай винятъ наиболѣе, что цѣлая армія донинѣ въ бездѣйствии и отдаленности оставлена. Въ самомъ дѣлѣ, выключая Тормасова армію, дѣйствующую противъ Австрійцевъ и Саксонцевъ, резервъ его до 30,000 оставленъ въ Житомирѣ безъ всякаго движенія и пользы, такъ какъ и резервный корпусъ подъ командою Эртеля до 25.000 въ Черниговѣ и Мозырѣ, Бобруйскій гарнизонъ 26 баталіоновъ и корпусъ 15.000, бывший въ Крыму и Одессѣ, которому давно бы слѣдовало придти.

Безъ сомнѣнія, не будучи военнымъ, трудно судить о сихъ распоряженіяхъ; но коль скоро солдаты вслухъ кричать, что Барклай съ Сперанскимъ въ измѣнѣ, кажется и оправдать его во всемъ трудно. Еслибы сначала дали команду Кутузову или посовѣтывались съ нимъ, и Москва была бы цѣла, и дѣла шли бы иначе; но предубѣжденія противу его съ Австрійской кампаніи, гдѣ онъ впрочемъ нимало не виновенъ, доселѣ остались непреклонными, даже когда Отечество стало на краю гибели. Государь даже и не начиналъ говорить съ нимъ про войну. Кутузовъ почелъ обязанностію говорить о томъ и доказалъ, что планъ былъ самый необдуманный и войска были расположены не по военнымъ правиламъ и болѣе похоже на кордонъ противу чумы. Хотя и поздно, принялись за него; но по крайней мѣрѣ надежда остается, что Отечество не погибнетъ и что почтенный сей старикъ можетъ спасти и поправить дѣла. Чтѣ до Москвы, знающіе положеніе мѣстъ и войскъ доказали, что, отдавши Смоленскъ, ее удерживать было бы безразсудно.

Съ часу на часъ ожидаемъ теперь о случившемся въ арміи съ 4-го числа извѣстій; они должны быть важны и рѣшительны. Одно къ утѣшенію намъ остается, что Государь и не думаетъ о мирѣ и рѣшился никакихъ предложеній не принимать, хотя бы дѣло дошло до Казани и Архангельска. Вчера Императрица, говоря о слухахъ разсѣваемыхъ злонамѣренными людьми на счетъ мира, именно мнѣ поручила, если о томъ будетъ рѣчь при мнѣ, противурѣчить и позволила даже на нее ссылаться. Не меньше тому доказательствомъ и то служить, что съ полученія вѣстей о занятіи Москвы укладка архивовъ и пр. продолжается во всѣхъ департаментахъ правительства и другихъ казенныхъ мѣстахъ. Кажется, сіе совершенно напрасно: ибо нельзя думать, чтобы непріятель рѣшился сюда идти; развѣ несчастіе довело бы насъ потерять всю армію безъ остатку, чего при помощи Бога случиться не должно и не можетъ. Также объявленное вчера назначеніе Татищева посланникомъ къ Гишпанской юнтѣ и барона Строгонова въ Швецію не меньше можно почестъ доказательствами, что миръ съ Бонапарте теперь больше еще отдаленъ, чѣмъ при вступленіи его въ на-

ши предѣлы. Румянцовъ долженъ быть въ отчаяніи; но я давно уже сказалъ, что онъ на все готовъ, лишь бы остаться при мѣстѣ, изъ котораго иначе не выдетъ, какъ тогда, когда со стыдомъ его онаго выгонять. Теперь онъ одного изъ находящихся въ его канцеляріи, князя Козловскаго, посылаетъ гласить по городу, что публика кричитъ противу Румянцова, и что Государь не долженъ уступить и позволить духу революціи и факцій повелѣвать правительству и его мѣрамъ; что если теперь уступить, то чрезъ 3 мѣсяца народные вопли станутъ требовать перемены всякаго другаго министра, а потомъ и до Государя дѣло можетъ дойти; что въ Россіи не должно быть (и несогласно съ ея правительствомъ) народному духу или гласу, тогда какъ Отечество одному сему духу обязано своимъ спасеніемъ. Таковы мысли Румянцова, коими онъ поддерживать себя хочетъ и вѣроятно надѣется утратить Государя. Въ Або, когда Бернадотъ коснулся нашей политики и способности Румянцова, говорятъ, Государь назвалъ его своимъ другомъ (*ami*), на что Бернадотъ отвѣчалъ, что онъ и не станетъ болѣе касаться до такого предмета, который относится до собственныхъ чувствій Государя. Назначеніе Татищева и Строгонова служить однакожь невольно великимъ знакомъ сихъ чувствій, ибо оно есть отъ выбора Государя, и Румянцовъ въ вѣкъ ихъ не назначилъ бы никуда. Между тѣмъ мы вездѣ и во всемъ опоздали по крайней мѣрѣ 6 мѣсяцевъ: въ мирѣ съ Турціею, въ мирѣ съ Англіею, въ союзѣ съ Швеціею, въ высадкѣ Шведскихъ войскъ, однимъ словомъ во всѣхъ сношеніяхъ нашихъ. Если планъ Румянцова былъ, чтобъ вездѣ опоздать и при взятіи Москвы миръ заключить, какой ни есть: онъ успѣлъ въ предположеніяхъ, но ошибся въ послѣдствіи. Умышленно ли онъ дѣйствовалъ или отъ глупости, заключеніе одно, что онъ измѣнникъ и врагъ Отечеству, за каковаго и всѣ его почитаютъ. При отъѣздѣ Государя въ армію, во время молебствія въ Казанской церкви, всѣ взоры на него обращены были, и только не доставало зачинщика, чтобы онъ былъ растерзанъ народомъ. Много можно бы еще примѣчаній сдѣлать, но ваше сіятельство сами изъ сего сдѣлаете всѣ прочія заключенія.—Отъ графа Михаила Семеновича, по причинѣ прерваннаго сообщенія между Москвою и сей столицы, писемъ нѣтъ. Есмь на вѣкъ преданный Л.

Р. S. Я забылъ упомянуть, что генералъ Бениксенъ находился въ арміи во все время при Государѣ, или что называлось *при особѣ Ею Величества*. Сіе новое званіе сдѣлано для него, Аракчеева, Армфельта, Чичагова, въ которое и Зубовъ попалъ въ Вильнѣ уже. Это былъ родъ военнаго совѣта, котораго не слушались, и спрашивали только въ крайности и безъ намѣренія слѣдовать мнѣнію его. Бениксенъ игралъ ролю, которая, я думаю, удивляла его и совѣмъ не была при-

ятною. Вообще странно совѣтоваться въ исполненіи плана съ тѣми людьми, кои въ составленіи онаго не участвовали. По отъѣздѣ Государя изъ арміи повелѣно Барклаю и Багратиону во всемъ совѣтоваться съ Бениксеномъ и дѣйствовать *съ его согласіемъ*, но не *по его приказаніямъ*, то есть онъ былъ родъ дядьки безъ всякой власти. Бенигсентъ, не смотря на болѣзнь свою, выполнилъ сіе желаніе, остался въ арміи, хотя ни тотъ ни другой изъ главнокомандующихъ его не спрашивали. Послѣ Смоленскихъ несчастій, Государь предлагалъ ему главное начальство, отъ чего онъ отказался по двумъ причинамъ, кои дѣлають ему честь: первое, что онъ не въ силахъ ни физически, ни морально принять на себя толь великое бремя, зная, что есть человѣкъ способнѣе его; второе, что для Русскихъ войскъ надобно Русскаго начальника, особливо въ такое время, когда нужно ихъ одушевить и ободрить. Кутузовъ, по мнѣнію его, соединялъ всѣ таковыя качества, съ извѣстными его способностями, почему и объявилъ, что онъ охотно подъ нимъ служить будетъ. Пока сіе происходило, роптаніе въ войскахъ до того усилилось, что онъ почелъ нужнымъ и благопристойнымъ удалиться въ Вязьму; а при отступленіи изъ Дорогобужа войска почти взбунтовались и громогласно требовали Бениксена. Сіе побудило его оставить въ Вязьмѣ экипажи и поскорѣе далѣе удалиться. Князь Кутузовъ нашелъ его близъ Торжка, и такимъ образомъ оба сіи генералы и старинные друзья возвратились въ армію и нашли ее уже въ Гжати. Бенигсентъ теперь есть первый по главнокомандующемъ и генераль-квартирмейстеръ всѣхъ дѣйствующихъ армій. Здѣсь Нѣмцы кричали за Палена; но къ чести Бениксена онъ былъ пружиною, что Русскимъ Русскаго дали начальника, хотя самъ Нѣмецъ. Теперь Нѣмцы опять вопятъ Палена, съ тѣхъ какъ поръ Москва потеряна. Но, испытывая генераловъ какъ Барклая, можно и армію, и Имперію потерять сразу: ибо Палень кромѣ бригады вѣкъ ничѣмъ ни командовалъ, а что до головы его, которую такъ славятъ, то не всякая голова способная къ революціи можетъ управлять армію противъ Бонапарта. — Что я не ошибся, полагая потерю нашу въ вѣчныхъ отступленіяхъ, видно будетъ изъ того, что Барклаева армія состояла изъ 135,000 человѣкъ и Багратионова изъ 65,000, а въ Дорогобужѣ сочлось обоихъ вмѣстѣ 84,000 человѣкъ. Гдѣ прочіе дѣвались? Безъ сумнѣнія ни убиты, ни всѣ въ плѣнъ взяты, а растеряны по дорогѣ больными, ранеными, усталыми, кои къ нимъ не возвратились. Непрiятель столько же терялъ, но всѣ къ нему возвращались, такъ какъ онъ шелъ впередъ, а мы отступали. Не лучше ли было пожертвовать половиною сей потерянной арміи въ дѣлѣ, когда она была полна и дышала мщеніемъ и жаромъ сразиться съ непріателемъ? Если бы корпусъ Милорадовича, вновь сформированный,

и Московская милиція не подошли къ Можайску, то не было съ чѣмъ сраженія дать непріятелю, который имѣлъ 160,000 по крайней мѣрѣ, и весьма вѣроятно, что вся армія наша была бы истреблена, не выдавъ даже Москвы. Вотъ въ какомъ положеніи были дѣла. Славу Богу, что надежда не потеряна къ поправленію. Кутузовъ, Строгоновъ, самъ Бениксенъ, хотя и былъ противнаго мнѣнія, пишутъ, что отдачею Москвы ничего не потеряно; напротивъ, Строгоновъ говорить, что непріятель отъ сего обмана долженъ понести такую потерю, какой онъ не воображаетъ. Дай Богъ! Отперли ворота; коли удастся запереть, сомнѣнія нѣтъ, что ему худо будетъ. Но я не вещественнаго, а моральнаго зла боюсь, какъ выше упомянулъ.

Кочубей былъ въ арміи, никто не знаетъ зачѣмъ, и почти все время прожилъ въ Великихъ Лукахъ и Торопцѣ, въ преимомъ обществѣ канцлера и свиты ихъ обоихъ, составленной изъ людей имъ подобныхъ. Кочубей, будучи членъ совѣта и только, не касаясь ни до какой части правленія, въ немъ надобности тамъ не было. Онъ самъ напросился, и Государь не могъ отказать ему въ его настоятельной просьбѣ. Онъ думалъ чрезъ то утушить народный крикъ противу себя по исторіи Сперанскаго, котораго даже послѣ защищать и оправдывать хотѣлъ. Но ничто не обмоетъ сего пятна. Человѣкъ ничтожный въ характерѣ, пустой въ дѣлахъ, надменный въ видахъ, игрушка измѣнниковъ и негодяевъ, онъ впалъ въ такое презрѣніе, что вся публика отъ него отступилась, и Государь не можетъ безъ стыда видѣть его и вспомнить, что онъ могъ имѣть на него вліяніе. Одна умная женщина сдѣлала сравненіе, что онъ и Румянцовъ, оба сидятъ въ лужѣ, съ тою разницею, что послѣдній радъ и доволенъ вѣкъ тамъ сидѣть, а Кочубей и радъ бы выйдти, но силъ не достаетъ и долженъ по неволѣ тамъ остаться.

Я могъ во многомъ ошибиться, но описалъ все, что знаю.

### III.

1812 годъ.

#### ФРАНЦУЗЫ ВЪ МОСКВѢ ПО РАЗСКАЗУ АББАТА СЮРЮГА.

---

Продолжительное пребываніе великой арміи въ Москвѣ имѣло, безъ сомнѣнія, роковое значеніе для исхода предпринятой Наполеономъ войны. Выходъ почти всего городского населенія и пожаръ Москвы, начавшійся съ перваго же дня появленія въ ней иностранныхъ войскъ и продолжавшійся безъ перерыва до той поры, пока не положилъ ему предѣла проливной дождь (утромъ 6-го Сентября), въ тоже время никѣмъ не сдержанный грабежъ въ церквахъ, домахъ и въ разныхъ складахъ, все это неминуемо должно было произвести недостатокъ въ квартирахъ, одеждѣ, провизіи и фуражѣ и повести къ упадку дисциплины во враждебной намъ арміи. Кутузову явно облегчалась возможность выдти изъ неравнаго боя побѣдителемъ. Такимъ образомъ, оставленіе столицы ея жителями и сожженіе ея представляются великимъ дѣломъ въ государственной жизни Русскаго народа.

Не смотря на всю важность для насъ занятія Москвы Французскою арміею, мы мало имѣемъ свѣдѣній о томъ, что дѣлалось въ этой столицѣ во время пребыванія въ ней Наполеона. Русское образованное общество выѣхало изъ Москвы, а потому никто изъ лицъ, принадлежавшихъ къ этому обществу, не могъ оставить намъ записокъ о случившемся; время, наступившее за выходомъ Наполеона изъ Москвы, было не такое, чтобы можно было, по горячимъ еще слѣдамъ, собрать свѣдѣнія; остается довольствоваться тѣми данными, которыя сообщили намъ иностранцы, оставшіеся въ городѣ по выходѣ изъ него Русскаго населенія. Одинъ изъ такихъ разсказовъ, принадлежащій перу эмигранта шевалье д'Изарна, помѣщенъ въ Русскомъ Архивѣ за 1869 годъ. Имѣются еще письма о Московскомъ пожарѣ, адресованныя къ аббату Буве аббатомъ Сюрюгомъ, который былъ тогда священникомъ

Французской церкви въ Москвѣ, на Малой Лубянкѣ. По рѣдкости этой книжки нужно желать, чтобы она была вновь перепечатана. Эти письма Сюрюга къ аббату Буве мнѣ неизвѣстны; но мнѣ извѣстно письмо того же лица и о томъ же предметѣ къ аббату Николу, жившему въ описываемое время въ Одессѣ. Это письмо Сюрюга написано спустя мѣсяць по выступленіи его соотечественниковъ изъ Москвы и помѣщено въ сочиненіи Фраппаца (Frappaz): «*Vie de l'abbé Nicolle*». Такъ какъ книга эта составляетъ въ настоящее время библиографическую рѣдкость, то я считаю излишнимъ привести здѣсь переводъ упомянутаго письма, интереснаго во многихъ отношеніяхъ. Въ немъ, между прочимъ, есть свѣдѣнія и о самомъ авторѣ письма, которыя могутъ служить дополненіемъ къ тому, что сообщено о немъ въ 6-мъ примѣчаніи къ запискѣ шевалье д'Иварна, напечатанной въ Русскомъ Архивѣ, а также въ воспоминаніяхъ г-жи Фюзи, бывшей актрисы во Французской труппѣ въ Москвѣ во время пребыванія въ ней Наполеона, появившихся по-русски въ Историческомъ Вѣстникѣ 1881 года.

Уроженецъ Кламеси, Нievрскаго департамента, аббатъ Сюрюгъ, по всей вѣроятности, получилъ воспитаніе въ знаменитомъ въ то время Институтѣ Св. Варвары, судя по тому, что онъ былъ въ числѣ наставниковъ этого заведенія; а извѣстно, что составъ воспитателей института пополнялся преимущественно изъ его же питомцевъ. Уже въ то время онъ вступилъ въ дружескія отношенія къ аббату Николу, который также былъ сперва ученикомъ, а потомъ наставникомъ въ названномъ институтѣ. Въ послѣдніе дни своего пребыванія во Франціи Сюрюгъ былъ принципаломъ въ Тулузской королевской коллегіи. Когда указъ Учредительнаго Собранія 27 Ноября 1790 года потребовалъ отъ священниковъ присяги на вѣрность уложенію о гражданскомъ устройствѣ духовенства и когда этотъ указъ, въ связи съ прежними декретами о церковной десятинѣ и конфискаціи церковныхъ имуществъ, поднялъ бурю со стороны духовенства и возбудилъ фанатизмъ католическихъ крестьянъ, грозившій опасностью новому порядку вещей во Франціи, тогда Національное Законодательное Собраніе указами 29 Ноября 1791 и 26 Апрѣля 1792 г. высказало полную рѣшимость на принятіе крайнихъ мѣръ противъ неприсягнувшихъ священниковъ. Въ виду такихъ мѣръ, аббатъ Сюрюгъ, какъ отказавшійся отъ присяги, принужденъ былъ вмѣстѣ съ другими священниками эмигрировать изъ своего отечества. Въ то время Екатерина II-я открыла убѣжище въ Россіи изгнанникамъ изъ Франціи и оказывала имъ самое радушное гостепрѣимство. Тогда-то Французскіе эмигранты изъ лучшихъ дворянскихъ фамилій и изъ среды высшаго духовенства стали распространяться по всей Россіи; но главное ихъ сосредоточіе составляли



Петербургъ и Москва. Тогда и поселился въ семь послѣднемъ городѣ и аббатъ Сюрюгъ въ качествѣ старшаго священника Французской церкви Св. Людовика въ Москвѣ и каноника Пильтенскаго коллегіала въ Виленскомъ округѣ <sup>4)</sup>). Съ этого времени дружба его къ аббату Николю, такому же эмигранту, должна была получить еще болѣе прочныя основы.

Аббатъ Сюрюгъ былъ человѣкъ съ большимъ умомъ и притомъ отличался скромностью и милосердіемъ къ ближнимъ; за послѣднія свои качества онъ пользовался общимъ уваженіемъ и довѣріемъ не только у иностранцевъ, проживавшихъ въ Москвѣ, но и у Русскихъ. Такое же довѣріе оказывалъ аббату и графъ Ростопчинъ, который, какъ видно изъ приведеннаго здѣсь письма, былъ даже съ нимъ въ перепискѣ по поводу тогдашнихъ событій. По занятіи Французами Москвы, Сюрюгъ не оставилъ своего мѣста и продолжалъ исполнять пастырскія обязанности по требованію тогдашнихъ обстоятельствъ еще съ болѣею энергіею. Его знаніемъ города и мѣстныхъ условій хотѣли воспользоваться полководцы Наполеона и съ этою цѣлію три раза приглашали его къ себѣ. Чтò было существеннымъ предметомъ ихъ бесѣдъ, неизвѣстно, такъ какъ Сюрюгъ въ письмѣ своемъ къ аббату Николю осторожно обходитъ этотъ щекотливый вопросъ. Впрочемъ, мы съ болѣею или меньшею вѣроятностью можемъ догадываться о предметѣ переговоровъ. Наполеонъ, оставаясь съ арміею въ сожженной и разграбленной Москвѣ, тщетно выжидалъ со стороны Россіи предложеній о мирѣ. Чтобы скорѣе добиться отъ Русскаго правительства желаемого, онъ сталъ придумывать средства, съ помощью которыхъ можно было бы произвести запутанность внутри государства. Съ этою цѣлію Наполеонъ попеременно прибѣгалъ къ различнаго рода затѣямъ, то къ освобожденію крестьянъ, то къ присканію какого нибудь самозванца, то къ возбужденію инородцевъ обѣщаніемъ имъ независимости. Для осуществленія этихъ плановъ обращались за совѣтомъ къ иностранцамъ, остававшимся въ Москвѣ и преимущественно къ Французскимъ эмигрантамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что объ этихъ предметахъ должны были совѣщаться и съ аббатомъ Сюрюгомъ. По крайней мѣрѣ, въ запискахъ шевалье д'Изарна (на стр. 1430-й Русскаго Архива 1869 г.) говорится слѣдующее: «Начали старательно разыскивать всевозможныя свѣдѣнія о Пугачевскомъ бунтѣ; особенно желали добыть одно изъ его

---

<sup>4)</sup> Въ Москвѣ аббатъ Сюрюгъ жилъ сначала учителемъ у графа Мусина-Пушкина на Разгуляѣ, въ его большемъ домѣ (нынѣ вторая мужская гимназія). Имъ устроены на стѣнѣ этого дома солнечныя часы, сохранившіеся до сихъ поръ. (Слышано отъ дочери графа Мусина-Пушкина, княгини Е. А. Оболенской). П. Б.

послѣднихъ воззваній, гдѣ разсчитывали найти указанія о той фамилии или фамиліяхъ, которыя можно было бы возвести на престолъ. Въ этихъ розыскахъ обращались за совѣтомъ къ кому попало; обращались даже къ одному эмигранту, котораго подъ разными предлогами вызывали къ одной знатной особѣ; онъ съ перваго слова прямо объявилъ себя эмигрантомъ. — «Этимъ не хвастаются и не обвиняютъ себя», отвѣчали ему.

Если мы сравнимъ этотъ разсказъ съ тѣмъ, который приведенъ въ письмѣ Сюрюга, то едва ли ошибемся, сказавъ, что эмигрантъ, о которомъ говорить шевалье, былъ никто иной, какъ аббатъ Сюрюгъ, а упомянутая знатная особа — маршалъ Мортъе, генераль-губернаторъ Москвы.

Г-жа Фюзи въ воспоминаніяхъ своихъ сообщаетъ, будто бы Наполеонъ пожелалъ видѣть аббата Сюрюга и при этомъ старался уговорить его къ возврату во Францію. Это совершенно невѣрно. Самъ Сюрюгъ утвердительно говоритъ въ письмѣ своемъ къ Николу, что императора онъ не видѣлъ ни разу, хотя, впрочемъ, такого рода предложеніе дѣйствительно было дѣлано ему, но не Наполеономъ, а маршаломъ Мортъе.

Средства, которыми Наполеонъ замышлялъ произвести въ Россіи внутреннія затрудненія, чтобы заставить императора Александра I-го начать переговоры о мирѣ, оказались неудачными. Между тѣмъ великая армія находилась въ самомъ отчаянномъ положеніи, и медлить болѣе было невозможно. Пришлось самому сдѣлать попытку переговоровъ. Для этой цѣли генераль Лористонъ два раза являлся подъ различными предлогами въ Русскій станъ, но тамъ о мирѣ и не помышляли. Тогда Наполеонъ рѣшился на роковое, но неизбежное отступленіе, оставивъ въ Москвѣ большое количество раненыхъ и больныхъ. При скученности ихъ въ немногихъ больницахъ, при недостаткѣ присмотра и сносной пищи, между ранеными скоро стала свирѣпствовать тифозная горячка. Въ такихъ обстоятельствахъ аббатъ Сюрюгъ употребилъ всю энергію и всѣ средства, чтобы облегчить участь злосчастныхъ своихъ соотечественниковъ; его постоянно видѣли въ средѣ больныхъ утѣшителемъ и помогающимъ, чѣмъ было возможно. Этотъ самоотверженный образъ дѣйствій аббата былъ причиной, что и онъ сталъ жертвой эпидеміи: 21 Ноября 1812 года (по н. ст.) онъ скончался на 60 году отъ рожденія <sup>2</sup>).

---

<sup>2</sup>) Въ 6-мъ примѣчаніи къ запискѣ шевалье д'Изарна указано 21-е Декабря днемъ смерти Сюрюга.

Другой эмигрантъ, къ которому адресовано было письмо Сюрюга-долгое время игралъ въ Россіи видную роль на педагогическомъ поприщѣ. Сообщаю о немъ краткія свѣдѣнія.

Доминикъ Карлъ *Николь* родился 4 Апрѣля 1758 года (н. ст.) въ деревнѣ Повилль, вблизи Руана. Воспитаніе свое получилъ онъ сперва въ Руанской коллегіи, а потомъ въ Институтѣ Св. Варвары. Счастливыя способности и прилежаніе доставили Николу должность наставника въ томъ же институтѣ. Революціонная буря коснулась и этого заведенія. Послѣ отказа со стороны наставниковъ принять присягу на вѣрность народу, закону, королю и конституціи, институтъ былъ разграбленъ, а его личный составъ разогнанъ. Вскорѣ аббать Николь, преслѣдуемый бѣдностью и представителями Національнаго Законодательнаго Собранія, принужденъ былъ оставить отечество. Получивъ мѣсто воспитателя при сынѣ Французскаго посла въ Константинополь графа Шуазеля-Гуфье, онъ вмѣстѣ съ своимъ питомцемъ совершилъ путешествіе по Италіи и Греціи, что еще болѣе обогатило его умъ познаніями классическаго міра.

Между тѣмъ въ концѣ 1792 года въ Парижѣ состоялся обвинительный декретъ противъ посланника при Оттоманскомъ дворѣ за его секретную переписку съ братьями заключеннаго короля. Чтобы избѣжать эшафота, графъ Шуазель эмигрировалъ въ началѣ 1793 года въ Россію со всѣмъ семействомъ, а также съ аббатомъ Николемъ. Съ этого времени начинается педагогическая дѣятельность аббата въ Россіи. Въ 1794 году уже былъ основанъ имъ въ Петербургѣ пансіонъ для дѣтей знатныхъ Русскихъ фамилій. Это было у насъ первое учебное заведеніе подобнаго рода, такъ какъ до того времени дѣти аристократическихъ семействъ получали исключительно домашнее воспитаніе. Преподавателями въ пансіонѣ Никола были аббаты-эмигранты, вышедшіе изъ того же Института Св. Варвары. Съ первыхъ же дней своего учрежденія это заведеніе пріобрѣло къ себѣ довѣріе въ высшихъ сферахъ общества и стало даже пользоваться покровительствомъ императрицы Маріи Ѳеодоровны. Черезъ 11 лѣтъ Николь передалъ свой пансіонъ аббату Макару, а самъ поселился на югѣ Россіи въ качествѣ визитатора Римско-католическихъ церквей; но и здѣсь онъ не оставилъ прежней педагогической дѣятельности. Въ Одессѣ онъ нашелъ два частныхъ института, мужской и женскій, основанные герцогомъ Ришелье, по просьбѣ котораго онъ принялъ на себя трудъ наблюденія за учебно-воспитательною частію въ обоихъ заведеніяхъ. Тогда же у него родилась мысль соединить съ мужскимъ институтомъ существовавшую въ Одессѣ коммерческую гимназію, которая со времени своего основанія не пользовалась милостью Ришелье. Такимъ-то

образомъ, стараніями аббата Николая, получилъ свое начало въ 1817 году Ришельевскій лицей, первымъ директоромъ котораго былъ тотъ же аббатъ. Служебныя столкновения съ попечителемъ Харьковскаго учебнаго округа, которому былъ подчиненъ лицей; враждебныя отношенія къ аббату законоучителя лица архимандрита Теофила, происки и мотовство котораго до сихъ поръ памятны въ Одессѣ; наконецъ, нерасположеніе къ директору министра князя Голицына за несочувствіе аббата къ учрежденному между воспитанниками лица Библейскому Обществу, все это побудило Николая отказаться въ 1820 году отъ занимаемой имъ должности и переѣхать въ Парижъ, куда его призывалъ Ришелье и гдѣ его заботами былъ возстановленъ Институтъ Св. Варвары. Аббатъ Николь умеръ 2 Сентября 1835 года (н. ст.), на 78 году отъ роду.

Г. Екатеринодаръ.

В. Стратоновъ.

Письмо аббата Сюрюга, настоятеля Московской Римско-Католической церкви, къ своему другу аббату Николю, отъ 10 Ноября 1812 года.

(Переводъ съ французскаго).

Мой дорогой и достойный другъ! Сегодня ровно мѣсяцъ какъ мы возвратились подъ наше прежнее правленіе; и такъ какъ почта на дняхъ возстановлена, то я пользуюсь первою свободною минутою, чтобы увѣдомить васъ о томъ, что я живъ. Сколько предметовъ, о которыхъ я желалъ бы вамъ рассказать, но... *Quando omnia licent, etiam post omnia expediunt.* Ахъ, добрый другъ,

....*Fuimus Trojani, fuit Pium, et ingens  
Gloria Moscoviae!*

Москвы уже нѣтъ! Обширный очагъ пепла на мѣстѣ этого прекраснаго города. Нѣсколько строеній, пощаженныхъ пламенемъ, виднѣются кое-гдѣ и свидѣтельствуютъ о его прежнемъ величій; да высокіе Кремлевскіе соборы указываютъ еще мѣсто древней столицы Россіи.

Въ ночь съ 1-го на 2-е Сентября Русская армія, объявившая, что она будетъ защищать городъ даже и въ такомъ случаѣ, еслибы пришлось сражаться въ стѣнахъ его, оставила Москву, вышедши чрезъ Владимирскую заставу. За шумомъ беспорядочнаго выхода арміи наступила тишина, соединенная съ ужасомъ. Москва стала какою-то обширною пустынею, предоставленная самой себѣ, безъ полиціи и безъ всякой власти, такъ что всѣ пребывавшіе въ городѣ, какъ граждане,

такъ и иностранцы, съ нетерпѣніемъ и страхомъ измѣряли промежутокъ времени между выходомъ одной арміи и вступленіемъ другой.

2-го Сентября, въ 5-мъ часу вечера, послышался, наконецъ, звукъ трубъ. Французскій авангардъ идетъ впереди, и войска слѣдуютъ одни за другими, направляясь въ различные кварталы. Къ вечеру отрядъ новой императорской гвардіи занялъ постъ на Кузнецкомъ Мосту. Изъ этой гвардіи отдѣлились пять человекъ для охраненія церкви Св. Людовика. Въ тотъ же вечеръ въ Гостиномъ дворѣ, около Биржи, показывается огонь. Магазины, наполненные складами масла и сала, дѣлаются неугасимымъ очагомъ. Цѣлую ночь пламя производило такіа опустошенія <sup>3)</sup>, что на слѣдующій день, когда огонь распространился, прибѣгли къ рѣшительнымъ мѣрамъ, чтобы остановить его гибельное дѣйствіе. Ищутъ заливныхъ трубъ, но нигдѣ ихъ не находятъ: полиція, удаляясь изъ города, увезла ихъ съ собой. Наполеонъ, проведши первую ночь у Смоленской заставы, поутру прибылъ въ городъ и расположился въ Кремлевскомъ дворцѣ <sup>4)</sup>; онъ, казалось, очень былъ удивленъ такимъ значительнымъ пожаромъ. Но удивленіе его усилилось, когда онъ узналъ, что нѣтъ никакихъ средствъ остановить огонь. Тогда начался грабежъ,—бичъ болѣе страшный, нежели пожаръ. Народъ выламываетъ двери и входы въ подвалы, которымъ угрожаетъ пламя, какъ будто для того, чтобы спасти находившіеся тамъ товары: сахаръ, чай, сукно, мѣха, галантерейныя вещи, и все это подвергается разграбленію. Солдаты, бывшіе сначала спокойными зрителями, становятся дѣйствующими лицами, и грабежъ достигаетъ такихъ размѣровъ, что ничему нѣтъ пощады. Французъ и Русскій, иностранецъ и соотечественникъ принимали въ этомъ грабежѣ участіе, заслуживающее глубокаго сожалѣнія. Все было безпощадно обобрано, и что пощажено пламенемъ, то не могло избѣгнуть рукъ грабителей, которыхъ жадность и безстыдство были таковы, что не одинъ домовладѣлецъ сожалѣлъ о томъ, зачѣмъ онъ не погребенъ подъ пепломъ своего дома со всѣмъ своимъ имуществомъ.

3-го числа поутру лавокъ уже не было; осталось только нѣсколько Русскихъ книжныхъ магазиновъ, смежныхъ съ зданіемъ полиціи.

<sup>3)</sup> По словамъ шевалье д'Изарна, въ эту ночь вспыхнулъ пожаръ сперва на Солянкѣ (улицѣ рыбныхъ лавокъ) возлѣ воротъ Воспитательнаго Дома, а потомъ и въ городѣ (части Китай-города, гдѣ находится Гостиный дворъ); въ особенности огонь былъ силенъ въ домахъ по правую сторону улицы, идущей за каменнымъ Лузскимъ мостомъ.

<sup>4)</sup> Изъ разсказа д'Изарна видно, что Наполеонъ вступилъ въ Кремль во Вторникъ (3 Сентября) въ 2 часа дня, а по словамъ Сегюра это случилось ночью; такимъ образомъ показаніе Сюрюга ближе подходитъ къ словамъ Сегюра.

4-го числа къ вечеру поднялся вѣтеръ со всею яростью урагана <sup>5)</sup>. Нѣсколько загорѣвшихся домовъ по ту сторону двухъ рѣчекъ Яузы и Московки вдругъ стали при помощи вѣтра волканомъ, обхватившимъ всѣ кварталы; между тѣмъ какъ съ другой стороны Арбатъ, Пречистенка, Моховая и Тверская представляли самое плачевное зрѣлище. Вездѣ попадались на встрѣчу одни только несчастные, съ узлами на плечахъ, спасавшіе отъ пламени кое-какіе жалкіе остатки своего имущества; они были обираемы злодѣями, которые оказались безжалостнѣе огня.

5-го числа огненное море наполнило всю атмосферу Москвы; волны пламени, гонимыя вѣтромъ и походившія на волны морскія во время сильной бури, охватили въ своемъ вихрѣ Стрѣтенку, Мѣщанскую, Трубу, Мясницкую, Красные Ворота, лѣсной базаръ, Старую и Новую Басманную и всю Нѣмецкую Слободу. Это былъ огненный потопъ. Нужно было самому видѣть это зрѣлище, чтобы составить себѣ о немъ понятіе. Мои собратья по церкви Св. Апостоловъ лишились своихъ зимнихъ и лѣтнихъ церквей, своихъ священническихъ облачений и приходскихъ метрическихъ книгъ, а нѣкоторые даже и священныхъ сосудовъ: все сдѣлалось добычею пламени. Жители этого квартала, гонимые съ одного мѣста на другое, принуждены были удалиться на наше кладбище, внѣ города. Лица этихъ несчастныхъ выражали ужасъ и отчаяніе; блуждая среди могилъ, освѣщенныхъ отблескомъ пламени, они были похожи на привидѣнія, вышедшія изъ гробовъ. Большое число ихъ было привѣтливо принято Неаполитанскимъ королемъ, который выдалъ имъ вспомошествованіе; другіе же пріютились въ госпиталяхъ, до которыхъ еще не добрался огонь.

Съ другой стороны и въ теченіе той же ночи добычею огня была улица Покровка. Изъ лавокъ, смежныхъ съ Кузнецкимъ Мостомъ, уже образовался обширный очагъ. Вѣтеръ былъ такъ силенъ, что разносилъ огненные облака по всѣмъ направленіямъ и угрожалъ низринуть въ ту же бездну и охватить тою же бурей все, что было видно съ этого Моста. Всѣ жители этого квартала, а также всѣ тѣ, которые пріютились въ оградѣ церкви Св. Людовика, видя себя такимъ образомъ подъ огненнымъ сводомъ, котораго одной искры достаточно было для превращенія ихъ въ пепель, съ узлами въ рукахъ, готовые съ покорностью судьбѣ принести послѣднюю жертву, явились ко мнѣ и

---

<sup>5)</sup> Д'Изарнъ рассказываетъ, что этотъ ураганъ, способствовавшій истребленію Москвы, начался въ Среду (4 Сентября), утромъ, около 9 часовъ; мы полагаемъ, что позваніе Сюрюга болѣе вѣрно и что въ запискѣ д'Изарна описка, тѣмъ болѣе, что нѣсколько выше къ означенному времени онъ пріурочиваетъ другой пожаръ на Покровкѣ.

слезно просили у меня предсмертнаго отпущенія грѣховъ (in extremis); но я, возбуждая въ нихъ бодрость и наставляя возложить упованіе на Бога, объявилъ имъ, что хочу пойти и лично убѣдиться въ опасности. Взявъ съ собою двухъ солдатъ (такъ какъ выходить одному было небезопасно), я пошелъ на Кузнецкій Мостъ среди искръ и пламеняющихъ головень, которыя разбрасывались ураганомъ. Я считалъ себя уже совершенно погибшимъ на этомъ мѣстѣ, какъ вдругъ отрядъ гвардіи, занимавшій здѣсь постъ, является съ добытыми ведрами, поливаетъ кровлю перваго дома, расположеннаго у самого Моста и своею дѣятельностью предупреждаетъ воспламенѣніе. Крыши сосѣднихъ домовъ падаютъ, и огненному вихрю не достааетъ добычи: такъ уцѣлѣлъ во всемъ городѣ только этотъ единственный кварталъ. Онъ заключаетъ въ себѣ: улицу Кузнецкаго Моста, двѣ Лубянки, Почту, Банкъ, Мясницкую, Чистые Пруды и часть Покровки, что между Мясницкимъ бульваромъ и лавками. Итакъ, благодаря лишь явному чуду благости Божіей, сохранена была наша дорогая церковь Св. Людовика со всѣмъ въ ней находившимся. Съ другой стороны она также предохранена была отъ грабежа, по милости неустрашимой данной ей стражи. Какую благодарность должны мы воздать Богу за Его двойное благодѣяніе!

Наконецъ, небо покрылось облаками, а къ тремъ часамъ утра вѣтеръ утихъ, и проливной дождь погасилъ остатки пожара. Въ теченіе слѣдующихъ двухъ дней огонь обнаруживался еще во многихъ мѣстахъ, но онъ ограничился истребленіемъ только нѣсколькихъ частныхъ домовъ.

Наполеонъ, который на третій день оставилъ было Кремль и переселился въ старый Петровскій дворецъ, находящійся въ пяти верстахъ отъ города, возвратился въ Кремль <sup>6)</sup>. Онъ отдалъ приказъ открыть пріюты для погорѣвшихъ, обѣщалъ распорядиться раздачею раціоновъ убогимъ, приказалъ подать себѣ отчетъ о состояніи госпиталей и о числѣ больныхъ; но сколько несчастныхъ погибло и сколько было такихъ, которые, оставшись безъ врача и лѣкарствъ, еще боролись со смертію! Воспитательный Домъ былъ сбереженъ. Наполеонъ отправился туда, поблагодарилъ управляющаго Тутолмина какъ за его усердіе, такъ и за то, что онъ остался на своемъ мѣстѣ, и приказалъ ему представить рапортъ. Прочитавъ его, Наполеонъ повелѣлъ немедленно отправить его чрезъ курьера къ Императрицѣ-матери.

---

<sup>6)</sup> По д'Изарну, Наполеонъ возвратился въ Москву въ Пятницу (6-го Сентября).

Осталось не болѣе пятой доли Москвы; большая часть лавокъ мучныхъ, водочныхъ, винныхъ была или истреблена огнемъ, или разграблена, а потому мало представлялось надежды на возможность добыть жизненныхъ припасовъ; однако Наполеонъ составлялъ планъ зимовки въ Москвѣ, какъ будто бы желая уничтожить непріятеля своимъ пребываніемъ въ погорѣвшемъ городѣ. Онъ собралъ остатки оставшейся здѣсь странствующей труппы, съ тѣмъ, чтобы устроить императорскій театръ; приказывалъ давать концерты, и въ тоже время формальные приказы передавали его волю о немедленной организации городского управленія и полиціи. Эти два учрежденія, подъ наблюденіемъ Лессепа, представляли собою лишь тѣнь установленной власти. Главнымъ предметомъ ихъ занятій было поддержаніе порядка и продовольствіе города; но имъ не удавалось ни то, ни другое.

По истеченіи восьми дней грабежъ продолжался въ такихъ же размѣрахъ, какъ и въ самомъ началѣ; ничто не было пощажено: ни стыдливость робкаго пола, ни сѣдина старости. Церкви, оставленныя своими настоятелями, были превращены въ караульни. Служители, поставленные на стражу Израиля, скрылись или бѣжали. Съ самаго начала я объявилъ, что ничто не вырветъ меня изъ среды моей паствы, что угрожающія ей бѣдствія служатъ для меня побудительною причиною быть вѣрнымъ ей, дабы оказать ей единственную дѣйствительную помощь, какая остается для несчастныхъ, подвергшихся столькимъ ужасамъ. Казалось, удивлены были тѣмъ, что они называли моимъ мужествомъ, а между тѣмъ ничто не должно представляться болѣе естественнымъ тому, кто понимаетъ служеніе пастырское.

Для грабителей была опредѣлена смертная казнь. Преступленіе наказывалось, но грабежъ не могъ быть прекращенъ; дерзость солдатъ доходила до того, что они не рѣдко осмѣливались поднимать оружіе на своихъ начальниковъ, изъ коихъ многіе сдѣлались жертвою этого своеволія. Допущенное въ мучныхъ и винныхъ магазинахъ расхищеніе неизбѣжно должно было произвести голодъ, и онъ далъ почувствовать себя ужаснымъ образомъ. Картофель и капуста стали единственнымъ пропитаніемъ для жителей Москвы. Солдатъ еще имѣлъ немного мяса, которое онъ доставалъ для себя, похищая изъ сосѣднихъ деревень домашній скотъ и, только разчитывая на его великодушіе, можно было добыть себѣ какого нибудь пропитанія. Такое управленіе не могло долго держаться. Безпорядокъ въ войскахъ, неповиновеніе солдатъ, слабость установленныхъ властей, ежедневно возрастающій голодъ, недостатокъ фуража для кавалеріи, невозможность запастись провизіею, всего этого было достаточно, чтобы заставить Наполеона удалиться изъ земли, которая пожирала своихъ жителей.



Посланъ парламентарь <sup>1)</sup> съ новыми предложеніями, но эта попытка оказалась безуспѣшною. Нужно было рѣшиться на отступленіе. Снарядили послѣдніе поѣзды съ больными; изготовили ассигнаціи для тѣхъ, которые пожелали слѣдовать за арміей; опредѣлили вспоможеніе мѣдною монетою пострадавшимъ отъ пожара, хотя невозможность перевозки подобной монеты дѣлала это пособіе призрачнымъ. Данъ былъ приказъ снять крестъ съ колокольни Ивана Великаго и послать во Францію, какъ памятникъ побѣды.

Тогда пробили сигналъ для окончательнаго выступленія, и вечеромъ войска начали выходить. Маршаль Мортъе, назначенный генераль-губернаторомъ Москвы, по отъѣздѣ Наполеона, перенесъ свою резиденцію и канцелярію въ Кремль. Черезъ два дня отрядъ казаковъ въѣхалъ чрезъ Тверскую заставу, но былъ отраженъ. Послѣдніе обозы съ больными и провизіею оставили городъ. Въ Четвергъ, 10-го числа, около часу пополудни, появились на Тверской два Русскихъ офицера и объявили себя переговорщиками. Дежурный на посту офицеръ остановилъ ихъ и приказалъ отвести подъ конвоемъ къ маршалу Мортъе, который объявилъ ихъ плѣнниками на томъ основаніи, что они не дали о себѣ знать ни посредствомъ трубы, ни чрезъ субалтернъ-офицера, какъ это вездѣ требуется законами войны. Это были начальникъ казаковъ генераль-лейтенантъ Винценгероде и гусарскій эскадронный командиръ Левъ Нарышкинъ.

Въ семь часовъ вечера арьергардъ началъ выступать изъ Кремля, а въ одинадцать часовъ все было свободно. Ожидали какого-нибудь несчастнаго событія. Въ самомъ дѣлѣ, въ два часа утра послышался страшный взрывъ, а за нимъ послѣдовало всеобщее сотрясеніе: это обрушился и превратился въ развалины арсеналь, подъ который подведена была мина. Вскорѣ за тѣмъ послѣдовали еще четыре взрыва и возвѣстили паденіе нѣсколькихъ башенъ Кремля.

Уходя изъ Москвы, Французы оставили на великодушіе Русскаго правительства двѣ тысячи больныхъ, которыхъ не могли отпавить съ обозами. Когда армія удалилась, имъ тотчасъ было объявлено, что они военноплѣнные. Многіе изъ нихъ, уже выздоравливавшіе, взяли свое оружіе и считали долгомъ слѣдовать за арміею, но были перебиты крестьянами.

11-го Октября на мѣсто Французскихъ войскъ являются казаки и развѣдываютъ, что еще осталось грабить. Забрались и въ ограду нашей убогой церкви. Къ ея настоятелю приходили нѣсколько разъ,

---

<sup>1)</sup> Генераль Лористонъ.

взяли у него часть серебряной посуды, которая была на столѣ, сукно, вино, рыбу, овощи... Я считалъ себя весьма счастливымъ, что только этимъ отдѣлался и что не подвергся ни малѣйшему насилію; другіе же лишились своихъ кошельковъ. Вообще, грабежъ начали Московская чернь и жители сосѣднихъ деревень; они руководили солдатами при открытіи секретныхъ складовъ, они же вводили козаковъ въ дома для довершенія грабежа. Я не видѣлъ людей неблагодарнѣе и преступнѣе этой толпы.

Вотъ общее понятіе о томъ, что происходило въ Москвѣ во время пребыванія въ ней Французовъ, съ 2-го Сентября по 10-е Октября включительно.

Теперь привожу данныя, касающіяся лично меня. На другой же день я былъ позванъ къ мѣстному коменданту, графу Мишо, дивизионному генералу, который выказалъ большое вниманіе ко мнѣ, говорилъ мнѣ объ уваженіи, которымъ я пользуюсь въ странѣ, и о довѣрїи, которое онъ имѣетъ ко мнѣ, давая при этомъ мнѣ понять, что я могу быть имъ весьма полезенъ. Я отвѣчалъ на это, что я весьма признателенъ г. коменданту за то радушіе, какое онъ высказалъ мнѣ, но что, находясь въ Москвѣ потому только, что долгъ меня привязываетъ къ моему мѣсту, я рѣшился ни подъ какимъ видомъ не выходить изъ круга, начертаннаго мнѣ этимъ долгомъ; что къ такому рѣшенію меня обязываетъ какъ то, что я всецѣло занятъ своими обязанностями, такъ и то, что, какое бы ни было участіе мое въ занятіяхъ современными дѣлами, оно непременно ослабило бы безопасность и средства къ жизни большей части моихъ отсутствующихъ прихожанъ; что, наконецъ, я прошу коменданта позволить мнѣ совершенно замкнуться въ предѣлахъ моего служенія. Генералъ не прогнѣвался на меня за такую откровенность.

Нѣсколько времени спустя, я позванъ былъ къ генералъ-губернатору маршалу Мортъе, который заговорилъ на тотъ же ладъ, какъ и комендантъ графъ Мишо. Онъ только прибавилъ слѣдующіе вопросы: «Откуда вы?» — Изъ Кламеси, Нievрскаго департамента. — «Какъ васъ зовутъ?» — Аббатъ Сюрюгъ. — «Къ какому обществу вы принадлежите?» — Къ Парижскому университету. — «Какую должность занимали вы?» — Я былъ однимъ изъ начальствующихъ въ коллегіи Св. Варвары, а въ послѣднее время принципаломъ Тулузской королевской коллегіи.

При этомъ маршалъ позвалъ своего секретаря и приказалъ ему записать всѣ мои отвѣты. Потомъ онъ прибавилъ: «Какимъ образомъ вы проживаете здѣсь? Какъ вы оставили Францію?» — Я оставилъ Францію двадцать одинъ годъ тому назадъ вслѣдствіе требованія при-

сяги отъ лицъ, занимавшихъ общественныя должности.—«А, понимаю, господинъ аббать—эмигрантъ?»—Нѣтъ, господинъ маршалъ, я ссыль-ный.—«Впрочемъ, вдругъ прибавилъ онъ, ссылка и эмиграція теперь такіе предметы, которыми не обвиняютъ и не оправдываютъ себя. Какъ же вы можете прозябать здѣсь?»—Прозябать! О, господинъ маршалъ, это прозябаніе чрезвычайно дѣятельное. — «Почему же вы не возвратились во Францію? Вамъ съ руки занимать иныя мѣста, а не приходъ?»—Господинъ маршалъ, религіозные принципы, удалившіе меня изъ Франціи, все еще удерживаютъ меня здѣсь; впрочемъ я вижу ясно то небольшое добро, которое я дѣлаю, будучи только приходскимъ священникомъ въ Москвѣ, и не совсѣмъ предвижу то добро, которое я могъ бы сдѣлать, будучи во Франціи болѣе чѣмъ приходскимъ священникомъ.

За симъ мнѣ сдѣлали обычный поклонъ, и я простился съ его превосходительствомъ.

На третьей недѣлѣ я былъ позванъ къ графу Матвѣю Дюма, генераль-интенданту арміи. Я къ нему отправился только послѣ третьяго призыва. Производя обыскъ въ загородномъ домѣ графа Ростопчина, нашли тамъ одно изъ моихъ писемъ, которое было отвѣтомъ на письмо графа относительно теперешней войны. «Господинъ настоятель, сказалъ онъ мнѣ, мы уважаемъ мѣры благоразумія и осмотрительности, принятыя вами относительно правительства, благосклонно пріютившаго васъ и покровительствующаго вамъ, но вы были въ перепискѣ съ графомъ Ростопчинимъ. Чтò это за человѣкъ?» — Графъ Ростопчинъ былъ благосклоненъ ко мнѣ даже въ то время, когда еще онъ не былъ генераль-губернаторомъ; я могу только хвалиться тѣмъ пріемомъ, которымъ всегда пользовался у него. Чтò касается его личности, то онъ слыветъ за человѣка съ очень умною головою; онъ располагаетъ большими средствами и по должности, и по своему общественному положенію; какъ частное лицо, онъ очень любезенъ.—«Однако, господинъ настоятель, еслибы мы захотѣли судить по тому, чтò мы видимъ?....»—Графъ, это мѣра военная, которая ему показала вѣрнымъ средствомъ къ удаленію непріятели изъ страны.—«А это какія книги? Чтò это за пособія для воспитанія дѣтей, найденныя въ отдаленныхъ покояхъ дома?»—Графъ Ростопчинъ имѣетъ дѣтей: его старшій сынъ состоитъ теперь на службѣ; сверхъ того, онъ имѣетъ трехъ дочерей—шести, двѣнадцати и четырнадцати лѣтъ; графиня, мать ихъ, женщина весьма добродѣтельная, занимается воспитаніемъ ихъ.—«Это вполне уважительно.»

Послѣ этихъ словъ я съ нимъ простился, и тѣмъ окончились наши сношенія.

Наполеона я не видѣлъ. Маршалъ Мортъе приглашалъ меня къ себѣ на обѣдъ, но я не могъ воспользоваться этимъ приглашеніемъ.

Многіе молодые офицеры старинныхъ Французскихъ фамилій приходили ко мнѣ освѣдомляться относительно Сень-При <sup>8)</sup>, барона де-Дамъ <sup>9)</sup>.... Нѣкто г. Жюмильякъ, своякъ вашего герцога <sup>10)</sup>, долго бесѣдовалъ со мною о немъ и освѣдомлялся о его достаткахъ; я отвѣчалъ ему, что онъ имѣетъ очень хорошее состояніе, какого только можетъ желать знатный человѣкъ, и что онъ пользуется уваженіемъ своихъ подчиненныхъ и благосклоннымъ довѣріемъ Государя....

Прощайте на вѣки!

---

<sup>8)</sup> Эмигрантъ графъ Карлъ Францовичъ Сень-При былъ Херсонскимъ гражданскимъ губернаторомъ.

<sup>9)</sup> Рожеръ де-Дамъ служилъ въ Русской арміи и, между прочимъ, участвовалъ при взятіи Измаила. О немъ можно найти свѣдѣнія въ Запискахъ князя де-Линя.

<sup>10)</sup> Рѣчь, безъ сомнѣнія, здѣсь идетъ объ извѣстномъ у насъ герцогѣ Эммануилѣ Осиповичѣ де-Ришелье.

ПЕРЕПИСКА М. П. ЛАЗАРЕВА СЪ КНЯЗЕМЪ А. С. МЕНШИКОВЫМЪ \*).

1845 годъ.

1.

Николаевъ, 13-го Января 1845.

Лазаревъ князю Меншикову.

Узнавъ случайно, что ваша свѣтлость намѣрены сдѣлать нѣкоторыя измѣненія и улучшенія по части пушечной экзерциціи и вообще по морской артиллеріи на флотѣ, я имѣю честь представить при семъ для любопытства вашего извлеченія, сдѣланныя по порученію моему капитаномъ 1-го ранга Корниловымъ изъ всего того, что на корабль *Excellent* и вообще въ Англійскомъ флотѣ введено по этой части. Они мною пересмотрѣны, и позволяю себѣ думать, что многое въ нихъ получить одобреніе ваше. Обязанности артиллерійскаго офицера на военномъ суднѣ взяты слово въ слово изъ *последняго* регламента ихъ подъ заглавіемъ «*Naval Regulation and Instructions relating to Her Majesty's Service at Sea*», который удалось мнѣ получить случайно.

Письмо вашей свѣтлости отъ 9-го Декабря, посланное съ капитанъ-лейтенантомъ Заринымъ, я получилъ и, согласно приказанія вашего на счетъ предполагаемаго посѣщенія Генераль-Адмирала и Государя, ожидаю прибытія Краббе. Рубка на пароходѣ «Громоносецъ» поставлена, а для плаванія Генераль-Адмирала по Архипелагу и пр. не угодно ли будетъ вашей свѣтлости избрать пароходъ «Бессарабію» и въ такомъ случаѣ назначить командиромъ онаго капитана 2-го ранга Истомина, который во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ бывалъ неоднократно? Фре-

---

\*) См. первую книгу Р. Архива сего года, стр. 297—332.

гать же для Генералъ-Адмирала я полагаю бы назначить «Флору» подъ начальствомъ капитана 1-го ранга Юхарина, состоящій въ весьма удовлетворительномъ военномъ порядкѣ.

Разбитые въ дорогѣ термометры получены, исправлены и, согласно назначенію вашему, будутъ ожидать прибытія вашей свѣтлости.

## 2.

## Князь Меншиковъ Лазареву.

С.-Петербургъ, 5 Апрѣля 1845.

По тупости зрѣнія, любезный Михаилъ Петровичъ, чужую употребляю въ семь писемъ руку, въ чемъ и извиняюсь.

Посылаю къ вамъ Краббе съ официальнымъ увѣдомленіемъ о путешествіи, которое предпринять долженъ Генералъ-Адмиралъ въ Константинополь и Архипелагъ. Поручаю также Краббе словесно объяснить вамъ нѣкоторыя подробности, до сего предмета относящіяся.

Изъ официальной бумаги моей вы усмотрите, что Великій Князь съ парохода на корветъ пересядетъ по прибытіи въ Константинополь; но такъ какъ это могло бы послужить предлогомъ другимъ иностраннымъ принцамъ требовать для себя на военномъ суднѣ права проходить чрезъ Дарданеллы, то вѣроятно присовѣтуютъ Его Высочеству пересѣсть на корветъ уже по выходѣ изъ Дарданеллъ, гдѣ корветъ можетъ его ожидать.

Ежели нѣтъ особенной надобности въ перемѣнѣ корвета «Менелай» другимъ, то, кажется, безъ неудобства можетъ остаться тотъ, который находится въ распоряженіи нашей миссіи. Во всякомъ случаѣ я просилъ бы васъ оставить адъютанта моего Апраксина на томъ суднѣ, на которомъ будетъ плавать Его Высочество...

Маршрутъ Генералъ-Адмирала у сего прилагаю; но маршрутъ сей можетъ измѣниться въ частностяхъ, о чемъ вѣроятно вамъ сообщитъ генералъ Литке, который войдетъ съ вами въ особенное соглашеніе по предметамъ, до сего путешествія относящимся.

Имѣйте въ виду, что, по возвращеніи въ Черное море, во время плаванія на фрегатѣ, Государю угодно, чтобы Генералъ-Адмиралъ крейсировалъ нѣкоторое время съ Черноморскимъ флотомъ и что адмиралъ Литке желалъ бы имѣть при фрегатѣ еще одно или два судна меньшаго ранга.

Весьма бы желательно также, чтобы команда сего фрегата была приспособлена съ живостію производить артиллерійское ученіе.

Государь прибудеть въ Николаевъ предъ назначеннымъ въ Елисаветградъ смотромъ, т. е. въ первыхъ числахъ Сентября или въ послѣднихъ числахъ Августа.

Его Величество полагаетъ провести въ Николаевъ одинъ только день и два дня въ Севастополѣ и возвратиться опять въ Николаевъ для слѣдованія въ Елисаветградъ.

У Поповой Балки на Купеческой пристани нужно будетъ все расположить такъ, чтобы съ оной можно было прямо сѣсть на пароходъ безъ переѣзда на катеръ и чтобы пароходъ могъ закрѣпиться обращеннымъ носомъ по теченію.

Съ Государемъ вѣроятно находиться будутъ: Наслѣдникъ, принцъ Эмилій Гессенскій и князь Варшавскій, и сверхъ того лица, обыкновенно свиту Государя составляющія; слѣдовательно будетъ очень тѣсно. Въ подобныхъ случаяхъ Государь беретъ Наслѣдника къ себѣ въ рубку. Можно ли въ ней устроить запасный рундукъ?

Для помѣщенія прислуги и второстепенныхъ лицъ свиты и на всякій случай нужно имѣть другой пароходъ для сопровожденія того, на которомъ находится будетъ Его Величество.

Въ Севастополѣ Государь изъявилъ желаніе на берегу не жить, а остаться на пароходѣ у пристани. Объ устройствѣ сей пристани я поручилъ Кумани сообщить вамъ тѣ данныя, которыя казались мнѣ для вашего свѣдѣнія нужными. Удобнѣйшее же для сего мѣсто я полагалъ бы избрать въ самомъ Адмиралтействѣ, близъ Графской пристани, сдѣлавъ со стороны сей пристани въ стѣнѣ Адмиралтейства калитку для сообщенія съ площадью.

Желательно имѣть на пароходѣ 14-ти весельный катеръ, но можно ограничиться и 12-ти весельнымъ. Мѣсто же для рулевого должно быть съ подушками и достаточнаго пространства для сидѣнія Государю.

Въ Николаевѣ и Севастополѣ нужно будетъ одѣть гребцовъ государевыхъ въ рубахи присвоенной имъ формы, т. е. синія съ бѣлымъ.

Имѣйте въ виду, что у Очакова потребоваться можетъ катеръ для съѣзда въ Кинбурнъ.

Прикажите обратить особенное вниманіе на чистоту опросныхъ судовъ отъ брантвахты, карантинныхъ и на приличный видъ офицеровъ, которые на нихъ находятся будутъ.

При отплытіи изъ Николаева вѣроятно захватится ночь. Весьма бы желательно имѣть огни, дабы не стоять на якорѣ.

Рундукъ въ рубкѣ Государя долженъ быть не короче шести съ половиною футовъ, а ежели можно, то нѣсколькими дюймами и длиннѣе. Тюфякъ и подушка сафьянные непремѣнно.

Во время крейсера эскадръ прикажите продѣлать примѣрное сраженіе и тѣ движенія, которыхъ вы сами были (ежели не ошибаюсь) свидѣтелемъ въ присутствіи Государя у Гогланда.

На рейдѣ Государь конечно пожелаетъ видѣть артиллерійское ученье и въ этихъ случаяхъ приказываетъ иногда отдавать паруса и убирать; слѣдовательно для чистоты свастей выдергивать не должно.

Обратите вниманіе на перемѣну марселей подъ парусами.

Прикажите въ Штурманскомъ Училищѣ въ особенности заняться выправкою учениковъ.

Не лишнее было бы Хитрову на короткое время прибыть сюда взглянуть на фронтную часть учебнаго экипажа.

О приготовленіи списочковъ и росписаній сказано Кумани, который чрезъ два дни отъѣзжаетъ.

О распоряженіяхъ, какія вы принять полагаете, сообщите мнѣ съ возвращеніемъ Краббе.

«Премного благодаренъ за доставленіе Англинскаго артиллерійскаго ученья и Regulations; бумаги эти мнѣ будутъ очень полезны не теперь, но когда у насъ вывѣтрится появившійся по сей части дѣлецъ».

### 3.

#### Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 12-го Апрѣля 1845.

Вмѣстѣ съ симъ представляется на благоусмотрѣніе вашей свѣтлости составленный вновь фасадъ, по которому предполагается съ возможно - меньшими издержками возобновить прежнее заведеніе офицерской библіотеки въ Севастополѣ. Все, что только можно было придумать къ сокращенію расходовъ, кажется мнѣ, изъ виду не упущено. Стѣны главнаго зданія оказываются довольно сохранившимися, и потому большая часть ихъ остается; верхній этажъ уничтожается совсѣмъ, какъ потому, что стѣны онаго въ разныхъ мѣстахъ дали трещины, такъ и потому, что входъ на него былъ крайне неудобенъ; при томъ же онъ такъ былъ слабъ, что при сильномъ вѣтрѣ замѣтно было, что существовать долго не могъ. Можетъ быть, это происходило и отъ того, что стѣны нижняго зданія не были достаточной толщины, чтобы имѣть на себѣ третій этажъ. Теперь, какъ ваша свѣтлость усмотрѣть изволите, предполагается на среднемъ зданіи имѣть парапетъ, на которомъ сохранившіяся отъ пожара мраморныя статуи могутъ быть весьма удобно поставлены; внутри, или лучше сказать, сзади парапета будетъ небольшая терраса, съ которой можно будетъ имѣть



прекрасный видъ въ море, подобно тому, какъ имѣли оный съ балкона третьяго этажа. Но чтобы не лишиться комнаты для чтенія, которая занимала почти весь третій этажъ и притомъ дать еще болѣе помѣщенія книжнымъ шкафамъ, которыхъ по опыту оказывалось недостаточно, признано необходимымъ увеличить крылья зданія еще на одно окно съ каждаго конца, т. е. еще на столько же, сколько они были. Мѣстность для увеличенія крыльевъ дозволяетъ, и по соображенію оказывается, что оно не сопряжено съ большими издержками, но въ отношеніи къ удобству и помѣстительности составитъ весьма важное улучшение. Парапетъ на среднемъ зданіи предпочтенъ противъ фронтона потому, что при послѣднемъ невозможно бы было имѣть террасы. Клапанъ же прибавленъ къ чертежу фасада для того, что портики, на немъ означенные надъ окнами, болѣе соотвѣтствуютъ съ парапетомъ главнаго зданія, нежели прежде бывшіе, которые отвѣчали прежней архитектурѣ зданія. Мнѣ кажется, что и барельефъ, показанный на клапанѣ, занимающій пространство надъ обоими окнами, будетъ приличнѣе, нежели одинъ маленькій между окнами. Впрочемъ все это мы представляемъ благоусмотрѣнію вашей свѣтлости и съ твердою надеждою на покровительство ваше съ нетерпѣніемъ будемъ ожидать вашего разрѣшенія и ходатайства о возведеніи полезнаго этого зданія.

Изъ письма вашей свѣтлости отъ 9-го прошедшаго Декабря я видѣлъ намѣреніе ваше прислать сюда Краббе со всѣми вопросами и свѣдѣніями до посѣщенія высочайшихъ особъ относящимися, что было бы крайне полезно для предупрежденія и отвращенія многихъ недоразумѣній. Но между тѣмъ я получилъ три письма отъ находящагося въ Петербургѣ полковника Кумани, въ которыхъ онъ извѣщаетъ меня, что ваша свѣтлость въ разговорѣ съ нимъ изволили изъявить желаніе, чтобы вблизи Екатерининской пристани въ Севастополѣ поставлено было судно съ каютою на верху, къ которому пароходъ могъ бы приставать вплотъ, не бросая якоря. Судно для сего въ Николаевѣ построено и имѣетъ на верху двѣ каюты съ проходомъ между ними посрединѣ, подобно тѣмъ судамъ, какія видѣлъ я для той надобности въ Невѣ; каюты внутри  $10\frac{1}{2}$  квадратныя, высота же ихъ  $7\frac{1}{2}$  футъ. Если прикажете, то каюты въ длину могутъ быть увеличены до 13 футъ; но тогда проходъ между каютами будетъ не болѣе семи футъ. Длина самаго судна по палубѣ 62 фута, ширина 20 футъ; въ грузу оно сидитъ три фута, а сверхъ воды 7 футъ. Оно довольно хорошо смотритъ и посредствомъ парохода можетъ быть отправлено въ Севастополь; но прежде нежели приступить къ такому отправленію я считаю нужнымъ представить вашей свѣтлости планъ мѣстности около Екатерининской пристани и промѣръ глубины подлѣ оной въ футахъ.

Изъ этой послѣдней вы усмотрите, что мелководіе вблизи пристани едва ли дозволить выполнить предположеніе вашей свѣтлости съ тѣми удобствами, которыя для схода Государя съ парохода на пристань и обратно вамъ имѣть угодно.

## 4.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 24-го Апрѣля 1845.

Капитанъ-лейтенантъ Краббе сюда прибылъ и доставилъ мнѣ какъ повелѣнія вашей свѣтлости, такъ и письмо отъ 5-го числа сего мѣсяца, на которое, какъ равно и на нѣкоторыя подробности, мнѣ имъ переданныя, симъ имѣю честь отвѣтствовать съ посланнымъ нарочно адъютантомъ моимъ, лейтенантомъ Крюгеромъ, котораго я принужденъ послать потому, что Краббе въ 500 верстахъ отсюда (въ Прилукахъ) такъ несчастливо былъ опрокинутъ, что ушибся весьма серьезно и никакимъ образомъ не въ состояніи теперь предпринять обратный путь, покуда въ силахъ не поправится и боль въ ребрахъ не уменьшится. Онъ въ Прилукахъ пустилъ кровь и пролежалъ семь дней въ постели, а здѣсь, немедленно по прибытіи, ему ставили пиявки и дѣлали ванны. Докторъ Алеманъ совѣтуетъ ему непременно переждать нѣкоторое время.

Позвольте отвѣчать вашей свѣтлости по порядку вопросовъ вашихъ.

Для плаванія Его Высочества по Архипелагу нѣтъ никакой надобности перемѣнять корветъ «Менелай» другимъ, если онъ можетъ только придти изъ Греціи въ Босфоръ въ время, т. е. къ 1-му Юля; почему и посылаю я теперь же повелѣніе командиру корвета «Менелай», капитанъ-лейтенанту Кислинскому, возвратиться изъ Пирея (гдѣ онъ находится) въ Босфоръ; буде же господствующіе тамъ NO-ные вѣтры и противное теченіе задержатъ его въ Дарданелахъ, то немедленно увѣдомилъ бы меня о прибытіи своемъ туда чрезъ миссію нашу въ Константинополь. Но ежели не получу я извѣстія о прибытіи «Менелая» въ Дарданеллы къ назначенному времени, въ такомъ случаѣ пойдетъ въ Босфоръ корветъ «Андромаха» (капитанъ-лейтенантъ Варницкій 2-й) подъ предлогомъ смѣны корвета «Менелай».

Изъ маршрута Его Высочества по Архипелагу видно, что онъ не намѣренъ посѣщать мѣста, принадлежащія Греціи, а избраны только такія, которыя принадлежатъ Турецкому правительству; и если тутъ есть какая нибудь дипломатическая цѣль, то удобнѣе бы, мнѣ кажется,

было приказать корвету ожидать Его Высочества въ Смирнѣ, куда онъ изволилъ бы прибыть изъ Константинополя на томъ же пароходѣ «Бессарабія». Нельзя также не замѣтить, что время, опредѣленное въ маршрутѣ отъ 22-го Іюня по 15-е Іюля (всего 23 дня) такъ коротко для посѣщенія всѣхъ тѣхъ мѣстъ, которыя въ томъ же маршрутѣ означены и особенно острова Родоса, нѣсколькихъ пунктовъ по берегамъ Малой Азіи и обойти островъ Кандію, что удобнѣе бы было употребить на посѣщеніе всѣхъ этихъ мѣстъ тотъ же пароходъ, и тогда, если бы нѣсколько дней еще и осталось, то провести ихъ въ крейсертвѣ на корветѣ въ Архипелагѣ же. Возвращеніе чрезъ Дарданеллы и Босфоръ въ Одессу лучше бы было тоже на пароходѣ, ибо въ противномъ случаѣ на корветѣ можно простоять въ Дарданеллахъ неопредѣленное время, какъ то и случается часто съ судами всѣхъ націй.

Адъютантъ вашей свѣтлости Апраксинъ, согласно желанію вашему, остается на томъ суднѣ, на которомъ имѣть будетъ плаваніе Его Высочество, о чемъ и сдѣлано уже надлежащее распоряженіе.

Во время плаванія Генераль-Адмирала на фрегатѣ «Флора», мелкихъ судовъ назначено можетъ быть и болѣе нежели сколько нужно; но изъ нихъ можно оставить столько, сколько Его Высочеству будетъ угодно.

Команда фрегата «Флора» производитъ артиллерійское ученіе съ надлежащею живостію, и можно быть увѣрену, что Генераль-Адмиралъ останется имъ доволенъ.

Если Государю Императору угодно провести въ Николаевѣ одинъ только день, то нельзя не пожелать, чтобы Его Величество успѣлъ отправиться на пароходѣ не позже какъ въ полдень или много что въ одинъ часъ пополудни; въ противномъ случаѣ весьма трудно будетъ проходить Очаковскій фарватеръ, не смотря и на фонари, которые приготовлены будутъ по мѣрѣ возможности.

На Купеческой пристани у Поповой Балки все будетъ устроено согласно желанію вашей свѣтлости, и хотя глубина близъ оной не болѣе 11-ти футь, но сдѣлано распоряженіе продолжить пристань еще на 10 сажень, такъ что глубина будетъ до 15-ти футь; но проѣздъ туда мимо кузницы и боенъ несовсѣмъ благовиденъ. Приняты будутъ однакоже мѣры, чтобы по возможности все было чисто.

Для всѣхъ особъ, имѣющихъ сопутствовать Государю, о которыхъ ваша свѣтлость упоминать изволите, каютъ на пароходѣ «Громоносецъ» будетъ достаточно. Въ рубкѣ запасный рундукъ есть. Для васъ же изготовлена будетъ особая каюта, впереди общей каютъ-компаніи и, соединивъ двѣ въ одну, она будетъ и просторна, и удобна.

Для помѣщенія прислуги и второстепенныхъ лицъ свиты Его Величества другой пароходъ будетъ; рубку на него приказано тоже из-готовить.

Кумани еще не пріѣхалъ, но я постараюсь устроить пристань въ Севастополѣ согласно желанію вашему, и если недостаточно будетъ одного понтона между пароходомъ и берегомъ, то ничего другаго не остается какъ, кромѣ понтона съ каютами, поставить еще двѣ или три баржи и сдѣлать черезъ нихъ помость.

12-ти весельный катеръ для парохода приготовленъ будетъ, какъ равно и мѣста для рулеваго въ кормовой части съ подушками.

Гребцы государевы какъ въ Николаевѣ, такъ и Севастополѣ одѣты будутъ согласно присвоенной имъ формѣ, т. е. въ синихъ фланелевыхъ рубашкахъ съ бѣлыми рукавами; кромѣ того будутъ и полотняныя.

Въ Очаковѣ, на случай съѣзда Государя въ Кинбурнъ, катеръ будетъ готовъ, и гребцы одѣты какъ должно.

На чистоту брантвахтенныхъ гребныхъ судовъ и приличный видъ офицеровъ, долженствующихъ прибыть для опроса, обращено будетъ должное вниманіе.

Тюфякъ въ рубкѣ Государя сдѣланъ сафьянный длиною нѣсколькими дюймами болѣе семи футовъ.

Во время крейсераства эскадръ примѣрныя сраженія производятся будутъ. Что же касается до тѣхъ движеній, которыя были при мнѣ въ присутствіи Государя у Гогланда, то (сколько помню я) было только одно, когда изъ линіи баталіи составились двѣ эскадры и приказано было одной изъ нихъ атаковать арьергардъ другой. Маневръ этотъ и многіе другіе будутъ повторены.

Ежели Государю угодно будетъ сдѣлать артилерійское ученіе и тогда же отдавать или убирать паруса, то препятствій къ этому не будетъ, какъ равно и на перемѣну марселей подъ парусами обращено будетъ должное вниманіе, чтобы дѣлалось скоро и безъ шума.

Выправкою учениковъ въ штурманской ротѣ хотя и занимаются, но предписано отъ меня обратить на эту часть самое строгое вниманіе.

Капитанъ 2-го ранга Хитрово готовъ пріѣхать въ Петербургъ; но здоровье его еще такъ слабо послѣ бывшей у него болѣзни, что не безопасно бы было отправить его на перекладной телѣжкѣ, на которой ѣхать онъ намѣренъ; а потому если онъ долго еще въ здоровьи своемъ не укрѣпится, я полагаю ограничиться посылкою изъ 2-го учебнаго экипажа одного изъ штабъ-офицеровъ, котораго онъ

самъ выбереть и который получить отъ него всѣ нужныя наставленія.

Если угодно будетъ вашей свѣтлости приказать еще что-либо относительно приѣма здѣсь Государя Императора, то Крюгеръ передастъ мнѣ ваши приказанія въ совершенной точности, какъ равно можетъ сообщить вамъ всѣ свѣдѣнія, какія имѣтъ вамъ заблагоразсудится на счетъ Босфора, Архипелага и восточнаго берега Чернаго моря, отъ котораго онъ недавно только возвратился. Онъ молодой офицеръ, весьма толковый и съ достаточными обо всемъ понятіями, скромень и исполнителень.

## 5.

## Князь Меншиковъ Лазареву.

С.-Петербургъ, 8 Мая 1845.

Крюгеръ вручилъ мнѣ какъ письмо ваше, почтенный Михаилъ Петровичъ, такъ и планы, которые вы поручили ему мнѣ доставить; я тороплюсь отправить его сегодня, дабы онъ, до приѣзда Великаго Князя, чрезъ три дня отъѣзжающаго, могъ прибыть къ вамъ благо- временно и доставить письмо отъ Э. П. Литке. Послѣднее предположеніе сего адмирала и послѣднее повелѣніе, данное ему Государемъ, мнѣ неизвѣстно: я былъ сильно болѣнъ, ни у кого быть не могъ и никого не видалъ нѣсколько дней. Но ежели есть какія нибудь измѣненія, то они конечно содержатся въ вышеупомянутомъ письмѣ.

Относительно будущаго путешествія Государя въ Черное море и приуготовительныхъ къ тому мѣръ, я передалъ Крюгеру то, что казалось мнѣ еще нужнымъ довести до вашего свѣдѣнія и потому здѣсь повторять не буду.

Путятинъ женился въ Англіи на дѣвицѣ Ноульсъ (Knowles); теперь онъ отправился во Францію съ открытымъ разрѣшеніемъ Французскаго морскаго министра осмотрѣть всѣ военные порты, послѣ чего воротится къ Сентябрю мѣсяцу въ С.-Петербургъ съ супругою.

Фасадъ офицерской библіотеки въ Севастополѣ Государь утвердилъ тотъ, который показанъ на клаяпанѣ, но статуи на фронтонахъ не одобряетъ.

Предположеніе Уптона о отдѣленіи рвомъ отъ батареи Павловскаго мыска, долженствующаго къ ней примкнуть новаго каменнаго магазина и о перемѣнѣ направленія проектированной тамъ оборонительной казармы Государь Императоръ одобрилъ, предоставля мѣстному усмотрѣнію дать сей казармѣ еще и другое, на планѣ прибавлен-

ное, направленіе. Вы получите о семъ отдѣльное официальное извѣщеніе, которое сообщаю также и военному министру.

Примите, почтенный Михайло Петровичъ, увѣреніе всей дружбы вамъ преданнаго.

Военный министръ подвергся непріятностямъ за долгое неотвѣтствіе на сенатскіе указы, показанные въ отчетныхъ вѣдомостяхъ, полученныхъ Государемъ. Теперь очередь до насъ доходить, и таковая сенатская вѣдомость наполнена указами, ожидающими отвѣтовъ отъ Морскаго Министерства, которое не получаетъ ихъ отъ Черноморскаго вѣдомства. Дайте толчекъ экспедиціямъ, и постояннымъ, и временнымъ или временной (ибо, кажется, одна): ибо въ противномъ случаѣ подвергнемся непріятностямъ, которыя всегда издаются серіями, какъ долговые билеты Государственнаго Казначейства.

Князь Меншиковъ.

#### П Р И Л О Ж Е Н І Е.

копия съ отношенія г. генераль-адъютанта, вице-адмирала Литке къ г. главному командиру Черноморскаго флота и портовъ, отъ 8-го Мая 1845 года, за № 122-мъ.

Почтеннѣйшее отношеніе вашего высокопревосходительства отъ 24-го Апрѣля за № 17.207, чрезъ адъютанта вашего, г. лейтенанта Кригера, я имѣлъ честь получить. Къ свѣдѣніямъ, содержащимся въ двухъ послѣднихъ моихъ отношеніяхъ и къ тому, что г-нъ Кригеръ словесно передать, я тѣмъ менѣе могу нынѣ что-либо прибавить, что предусмотрительностію вашею и безъ того уже все предуготовлено и устроено, и къ тому же я надѣюсь отъ сего числа чрезъ 16 дней лично увидѣться съ вашимъ высокопревосходительствомъ, и тогда, при личномъ объясненіи, все окончательно можетъ быть опредѣлено.

Объ одномъ только обстоятельствѣ считаю я обязанностию нынѣ вторично и еще положительнѣе упомянуть, именно: что Его Высочеству рѣшительно воспрещено принимать какаго бы то ни было роду почести, лицу ли Великаго Князя или званію Генераль-Адмирала принадлежащія. По сему Его Высочество не изволитъ принимать ни почетныхъ карауловъ, ни ординарцовъ, ни рапортовъ, ни представлений, ни даже обѣдовъ или баловъ. Великій Князь самъ явится въ команду главнаго начальника Черноморскаго флота, какъ лейтенантъ, прибывшій на службу въ этомъ флотѣ. Ваше высокопревосходительство конечно изволите отдать соотвѣтственныя тому приказанія и частнымъ начальникамъ.

Въ нетерпѣливомъ ожиданіи увидѣть, наконецъ, на четвертомъ десятилѣтіи моей службы, южныя наши моря и знаменитый флотъ ими господствующій, приношу вашему высокопревосходительству увѣренія въ неизмѣнномъ уваженіи и преданности, съ которыми я имѣю честь быть и проч.

## 6.

**Лазаревъ князю Меншикову.**

Николаевъ, 15 Мая 1845.

При проѣздѣ чрезъ Николаевъ на Кавказъ графа Михаила Семеновича Воронцова, онъ изъявилъ желаніе имѣть тамъ флотскаго штабъ-офицера для сношеній по морской части и распоряженій относительно выгрузки и нагрузки какъ въ Каспій, такъ и на восточныхъ берегахъ Чернаго моря всякаго рода продовольствій и потребностей; а какъ я зналъ желаніе капитанъ-лейтенанта Истомина 2-го познакомиться съ Кавказомъ, то я и объявилъ графу Воронцову, что если онъ получитъ на откомандированіе морскаго штабъ-офицера къ нему согласіе вашей свѣтлости, то я могу рекомендовать ему весьма хорошаго и притомъ объявившаго на то собственное свое желаніе. Графъ отвѣчалъ на это, что онъ будетъ писать къ вашей свѣтлости по прибытіи въ Тифлисъ и просить о назначеніи Истомина. Если вашей свѣтлости угодно будетъ согласиться на удовлетвореніе желанія графа Воронцова, то, не смотря на то, что капитанъ-лейтенантъ Истоминъ 2-й командуетъ фрегатомъ «Кагуль», въ откомандированіи его на нѣкоторое время препятствія не предвидится, и я буду ожидать вашего приказанія.

Капитанъ-лейтенантъ Краббе конечно донесъ уже вашей свѣтлости о сдѣланныхъ распоряженіяхъ къ устройству пристани, къ которой долженъ будетъ приставать пароходъ Его Величества; но я не лишнимъ считаю повторить здѣсь то, что и ему я говорилъ, а именно, что пароходу невозможно будетъ приставать къ понтону съ расхода, подобно тому какъ это дѣлается въ Невѣ, но что необходимо будетъ бросить якорь и потомъ уже съ готовыми для того концами притянуть пароходъ къ пристани.

## 7.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

С.-Петербургъ, 27 Мая 1845.

На письмо ваше отъ 15-го Мая поспѣшаю, любезный Михаилъ Петровичъ, отвѣтствовать, что, получивъ отъ графа Воронцова офи-

ціальное увѣдомленіе, что вы на назначеніе къ нему по особымъ порученіямъ Истомина 2-го согласны, я входилъ о семъ съ представленіемъ, и высочайшимъ приказомъ, состоявшимся въ Кіевѣ 22-го сего Мая, состоялось и сіе назначеніе.

Великій князь вѣроятно уже прибылъ къ вамъ. Что съ г.-а. Литке положите на мѣрѣ, сообщите мнѣ для свѣдѣнія на случай могущаго быть здѣсь о семъ вопроса.

Прилагаю правила для движенія гребныхъ эскадръ. Программа начертана была Государемъ и для изданія пополнена гр. Гейденомъ, подъ руководствомъ котораго изучаются симъ правиламъ 48 канонерскихъ лодокъ на Кронштадскомъ плёсѣ. Планы окончательно еще не отиснуты.

Всегда вамъ преданный князь Меншиковъ.

## 8.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

С.-Петербургъ, 18 Іюня 1845, № 6242-й.

Спѣшу извѣстить ваше высокопревосходительство, что порядокъ предположеннаго путешествія Его Императорскаго Величества вѣроятно измѣнится. Государь Императоръ изволитъ быть въ Елисаветградѣ прежде нежели въ Николаевѣ, куда изволитъ прибыть уже изъ Елисаветграда. Изъ Николаева Его Величество отправится въ Севастополь на пароходѣ; а изъ Севастополя, водою же, въ Херсонъ, не останавливаясь въ Николаевѣ.

Такъ какъ большому пароходу, вѣроятно, до Херсона дойти будетъ невозможно, то нужно будетъ приготовить другой, меньшій пароходъ, на который Государь Императоръ могъ бы пересѣсть, гдѣ будетъ удобнѣе, и потому я желалъ бы знать, какой именно изъ меньшихъ пароходовъ вы, милостивый государь, полагали бы назначить для переѣзда Его Императорскаго Величества до Херсона, и въ какомъ пунктѣ пароходъ сей долженъ будетъ встрѣтить Его Величество на пути изъ Севастополя?

## 9.

**Лазаревъ князю Меншикову.**

Николаевъ, 26 Іюня 1845.

Коллежскій совѣтникъ Гвоздевъ доставилъ мнѣ письмо вашей свѣтлости отъ 17-го Мая по возвращеніи моемъ съ флота; онъ про-



былъ у насъ дней шесть и отправился попытаться лѣченіемъ Кавказскими водами. Я нашелъ его (противъ того, какъ видѣлъ прежде) много перемѣнившимся. Письмо вашей свѣтлости отъ 27-го Мая съ приложеніемъ правилъ для движенія гребныхъ эскадръ я имѣлъ честь получить въ тоже время.

Въ бытность мою въ Севастополѣ я имѣлъ случай увидѣться и познакомиться съ лейтенантомъ Греческой службы Кумелосомъ (роднымъ братомъ жены капитана 1-го ранга Вергопуло), прибывшимъ въ Крымъ для раздѣла какого-то имѣнія. Онъ служилъ волонтеромъ (мичманомъ) отъ Греческаго правительства на Англійскомъ флотѣ въ продолженіе пяти лѣтъ и находился въ Китайской экспедиціи у адмирала Паркера на кораблѣ «Блеггеймъ». Разказы его о событіяхъ въ Китаѣ вообще весьма занимательны; но всего болѣе я любопытствовалъ узнать о существующихъ нынѣ на Англійскомъ флотѣ военныхъ сигналахъ, книги коихъ ежедневно почти бываютъ въ рукахъ мичмановъ и содержаніе коихъ не можетъ не быть имъ извѣстно. Распространившіеся же слухи, что будто бы вновь изданные графомъ Гейденомъ сигналы совершенно тѣже или лучше сказать имѣютъ тоже основаніе, на которомъ составлены Англійскіе военные сигналы, были причиною, что я входилъ въ самыя мелкія подробности. Изъ распросовъ моихъ оказалось, что военные сигналы на Англійскомъ флотѣ суть тѣже, которые были и въ мою бытность на ономъ съ 1803 по 1808 годъ, и ничего близкаго не имѣютъ съ сигналами графа Гейдена. Въ разное время было много перемѣнъ, но по усиленнымъ настояніямъ многихъ адмираловъ обратились опять къ тѣмъ, которые существовали въ самое блестящее время Британскаго флота.

На дняхъ сообщено отъ дежурнаго генерала высочайшее соизволеніе, чтобы резервные четыре баталіона, занимавшіе доселѣ въ Севастополѣ караулы, перевести въ концѣ Августа моремъ въ Одессу. Для занятія карауловъ нужно не менѣе 3.000 человекъ, и съ этою почтою я обращаюсь къ вашей свѣтлости съ офиціальнымъ вопросомъ: будутъ ли назначены вмѣсто ихъ какія-либо другія войска или предполагается занять караулы флотскими экипажами? Если такъ, то исполнить высочайшее желаніе — видѣть въ соединеніи обѣ дивизіи при проходѣ Государя на пароходѣ отъ Николаева до Севастополя, невозможно, и необходимо будетъ одну изъ дивизій заранѣе ввести въ гавань. Сдѣлайте милость, ваша свѣтлость, разрѣшите этотъ вопросъ. Но всего лучше было бы, еслибъ ваша свѣтлость исходатайствовали назначеніе на это время для занятія въ Севастополѣ карауловъ другихъ войскъ, дабы Его Величество могъ видѣть весь Черноморскій флотъ вмѣстѣ. Это такъ рѣдко случается!

## 10.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Исполняя приказаніе вашей свѣтлости, изъясненное въ письмѣ ко мнѣ вашемъ, отъ 18-го минувшаго Іюня № 6242-й, честь имѣю доложить, что, для перевѣзда Государя Императора чрезъ Днѣпровскія гирла до Херсона, я распорядился изготавить желѣзный пароходъ «Инкерманъ», какъ весьма удобный для этого назначенія, по малому углубленію своему.

Пароходъ сей долженъ будетъ въ свое время ожидать Государя Императора въ Днѣпровскомъ Лиманѣ, на высотѣ глубокой пристани, въ разстояніи около трехъ миль отъ устья гирль рѣки Днѣпра, на глубинѣ 17 футъ, какъ пунктъ, гдѣ, по мнѣнію моему, всего удобнѣе было бы Его Величеству пересѣсть съ парохода «Громоносець» на «Инкерманъ».

## П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Великій Князь возвратится изъ Константинополя въ Одессу на пароходъ «Бессарабія» около 20-го Іюля.

Исполняя карантинное очищеніе, Его Высочество пересядетъ тутъ на фрегатъ «Флору» и отправится въ крейсерство, которое продолжится около трехъ недѣль. Въ продолженіе сего крейсерства фрегатъ «Флора» оплыветъ берега Чернаго моря и будетъ находиться, по возможности, долѣе при крейсирующихъ въ морѣ дивизіяхъ.

Фрегатъ «Флору» предполагается оставить около 12 Августа въ Феодосіи, чтобы перейти на пароходъ для переплытія Азовскаго моря, и потомъ на другой для достиженія Ростова.

Здѣсь будутъ уже ожидать Великаго Князя экипажи, которые доставятся туда изъ Николаева нарочно присланнымъ фельдъ-егеремъ, и здѣсь начнется сухопутное путешествіе по побережью Азовскому и потомъ по Крыму.

Въ первыхъ числахъ Сентября Великій Князь возвратится въ Севастополь и поступитъ снова на фрегатъ «Флору» для встрѣчи Государя Императора при флотѣ.

Подлинно подписалъ генераль-адъютантъ Литке.

№ 165. 3 Іюня 1845 года.

1846.

1.

Князь Меншиковъ Лазареву.

С.-Петербургъ, 5-го Января 1846.

Отвѣтствую, любезный Михайла Петровичъ, на письма ваши отъ 20-го и 27-го Ноября минувшаго года.

Планы транспортовъ: «Ріонъ», «Соча», «Сухумъ-Кале» и «Алупка» мною получены; но съ ними не досланы оставленные мною въ Николаевѣ планы *вребныхъ судовъ* и *шлюпъ-балокъ* Ріона. Одолжите меня присылкою сихъ чертежей.

О деньгахъ на возобновленіе офицерской библіотеки вы уже имѣете увѣдомленіе и съ симъ вмѣстѣ получите такое же о картѣ Севастопольскаго рейда, противъ которой протестовало инженерное вѣдомство.

Смѣта на 1846 годъ очень туго сходитъ со стипендія Министерства Финансовъ, и о пароходѣ въ 400 силъ нельзя въ настоящее время и думать, ибо займы въ банкахъ на экстра-ординарные расходы невозможны. Иностранные вкладчики, движимые горячкою желѣзныхъ дорогъ въ Англіи и Франціи, берутъ обратно свои капиталы, и вотъ уже нѣсколько недѣль сряду переводится по миллиону рублей серебромъ въ недѣлю за границу.

Государь изволилъ мнѣ отозваться съ похвалою объ Истоминѣ и о офицерахъ «Бессарабіи», хотя первоначально не былъ доволенъ командою, которая не была расписана по орудіямъ и у которой мундиры не были пригнаты; но все это сгладилось въ теченіи Палермскаго пребыванія и перехода въ Неаполь, и окончательный результатъ хорошъ.

Когда перепечатается книжка о употребленіи буквы ѣ, подарите мнѣ 12 экземпляровъ.

Случайно попались мнѣ Англинскіе конверты на коленкоровой подкладкѣ; посылаю вамъ двѣ штуки для образца.

Прошу васъ засвидѣтельствовать Катеринѣ Тимофеевнѣ мое почтеніе и поздравить ее съ новымъ годомъ.

Прощайте.

Князь Меншиковъ.

## 2.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 11 Февраля 1846.

Имѣю честь отвѣтствовать на письмо ваше отъ 5-го Генваря съ препровожденіемъ и требуемыхъ вами чертежей гребныхъ судовъ и шлюпъ-балокъ транспорта Ріона, которые сдѣлалъ вновь, ибо тѣхъ, которые вы изволили оставить здѣсь, не отыскано.

Первая треть суммы на возобновленіе офицерской библіотеки получена; но какъ ваша свѣтлость легко можете представить себѣ, что съ столь малою суммою довольно трудно распорядиться, чтобы работы начались по возобновленію этого зданія успѣшно, то нельзя ли будетъ получить и вторую третью часть теперь же вмѣсто конца года, а послѣднюю въ началѣ будущаго? Тогда постройка весьма бы быстро впередъ подвинулась. Для министра же финансовъ едва ли то можетъ составить какое либо существенное неудобство.

Разрѣшеніе о картѣ Севастопольскаго рейда тоже получено; но трудно будетъ возвратитъ всѣ тѣ экземпляры, которые въ разныя руки уже розданы для уничтоженія ни нихъ безтолковаго Сѣвернаго укрѣпленія, которое вѣроятно и безъ того въ непродолжительномъ времени приказано будетъ срыть, какъ устроенное безъ всякой цѣли; впрочемъ приняты самыя строгія мѣры къ выполнению вашего предписанія.

Очень жаль, что Черноморскій флотъ долженъ лишиться приобрѣтенія парохода въ 400 силъ, какъ потому, что пароходами мы очень бѣдны, такъ и потому, что желательно бы было имѣть хотя одинъ сильный пароходъ со всѣми послѣдними усовершенствованіями Архимедова винта. Можетъ быть, ваша свѣтлость еще придумаете какое нибудь средство къ пополненію этого недостатка нашего? А сберечь пароходъ на продолжительное время я съумѣю.

Очень пріятно слышать, что Государь остался доволенъ пароходомъ «Бессарабією», который вѣроятно останется еще въ Средиземномъ морѣ до Мая мѣсяца. По послѣднимъ извѣстіямъ изъ Палермо в.-адм. Литке перенесъ флагъ свой съ «Ингерманланда» на «Бессарабію», а корабль и корветъ «Варшавскій» отправились въ Мальту. Корветъ «Менелай» прибылъ въ Палермо только 10-го Генваря, послѣ сильной борьбы съ крѣпкими западными вѣтрами; 16-го Декабря онъ отъ чрезвычайно крѣпкаго вѣтра принужденъ былъ спуститься въ Наваринъ, гдѣ вѣроятно бросилъ якорь свой на одно изъ затонувшихъ Турецкихъ судовъ; ибо при поднятіи онаго повредилъ шпиль и для исправленія долженъ былъ зайти въ Мальту. Теперь при Императрицѣ

находятся въ Палермо только два парохода: «Камчатка» и «Бессарабія», и корветъ «Менелай», въ совершенной исправности.

Книжка объ употребленіи буквы ъ кончается печатаніемъ, медленно по окончаніи Лоціи Средиземнаго моря, которая отпечатается въ этомъ мѣсяцѣ, и желаемое вами число экземпляровъ будетъ доставлено тогда же.

Конверты на коленкоровой подкладкѣ я получилъ, но подобныхъ сдѣлать не можемъ; а очень хороши.

## 3.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 10-го Мая 1846.

Съ послѣднею почтою я имѣлъ честь представить на благоусмотрѣніе ваше средства, коими полагалъ бы возможнымъ пріобрѣсть пароходъ въ 400 силъ. Если вашей свѣтлости угодно будетъ согласиться на мое представленіе, то позвольте просить не ограничивать непремѣннымъ устройствомъ Архимедова винта вмѣсто колесъ; ибо, какъ бы ни желательно ввести въ употребленіе винтъ, но, прочитавъ въ 685 номерѣ United-Service-Gazette невыгодное мнѣніе о немъ, основанное на опытахъ, невольнымъ образомъ заставляеть меня не довѣрять преимуществу винта противу колесъ впредь до болѣе прочныхъ усовершенствованій по этой части, а дозволить предварительно собрать въ Англіи всѣ свѣдѣнія и потомъ уже рѣшиться на то или на другое. Если ваша свѣтлость разрѣшите на отправленіе для заказа парохода Корнилова, то онъ исполнить это порученіе добросовѣстно и съ полнымъ познаніемъ дѣла.

Работы по новому адмиралтейству остановились по неассигнованіи суммъ, и это чрезвычайно жаль; ибо я всячески полагалъ, что въ теченіи этого года можно будетъ соединить доковыя набережныя съ тѣми, которыя начаты уже по обѣимъ сторонамъ Корабельной бухты, а къ имѣющимся пяти провіантскимъ магазинамъ прибавить еще два и тѣмъ сократить значительныя издержки на наемъ въ городѣ негодныхъ домовъ подъ провіантъ. Позвольте надѣяться, ваша свѣтлость, что по крайней мѣрѣ въ будущемъ году дозволено будетъ продолжать работы по новому адмиралтейству. Остановка эта сильно обезкуражила насъ.

Домъ, въ которомъ мы живемъ (единственное деревянное строеніе въ Николаевѣ) приходитъ въ такую вѣтхость, что въ весьма скоромъ времени должно будетъ оставить его: онъ совершенно сгнилъ; да и не-

мудрено, ибо прошло уже 55 лѣтъ, какъ онъ построенъ. Въ немъ такъ дѣлается холодно, что, не смотря на необыкновенно теплую прошедшую зиму, мы не знали какъ укрыться отъ холода: вѣтръ продуваетъ сквозь стѣны и подвергаетъ насъ сильнымъ простудамъ, отъ которыхъ и сами бываемъ больны, и въ недавнемъ времени потеряли сына. Рано или поздно, а новый домъ для главнаго командира здѣсь необходимъ, хотя и не столь большой, какъ въ Кронштатѣ. Я прошу позволенія вашей свѣтлости войти объ этомъ съ формальнымъ представленіемъ.

## 4.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

Москва, 4 Ноября 1846.

Проѣздомъ чрезъ Москву, Корниловъ отыскалъ меня въ деревнѣ и доставилъ письмо ваше, почтенный Михайла Петровичъ, съ препровожденіемъ телескопа-трости, за которую приношу вамъ чувствительнѣйшую благодарность. Эта палочка доставила мнѣ и пользу, и удовольствие въ моихъ деревенскихъ странствованіяхъ.

О флотѣ ничего сказать вамъ не умѣю, ибо не получаю подробныхъ изъ Петербурга свѣдѣній; знаю только, что были невзгоды довольно непріятныя.

Я провелъ лѣто и осень довольно дурно: лишь стало общее здоровье поправляться отъ сельской жизни и спокойствія, заболѣли глаза, потомъ ноги послѣдствіемъ Варнскихъ ранъ, и теперь имѣю еще на лѣвой ногѣ язву, препятствующую свободному движенію и употребленію сапогъ. Въ этомъ положеніи отправляюсь сегодня въ Петербургъ; но буду ли въ этомъ положеніи въ состояніи ходить съ докладомъ къ Государю? Не знаю.

1847.

1.

Лазаревъ князю Меншикову.

4-го Февраля 1847.

На письмо ваше отъ 29-го Декабря ничего обстоятельнаго отвѣчать еще не могу, потому что испытаніе тѣхъ и другихъ банниковъ продолжается по причинѣ холодовъ не совсѣмъ успѣшно. Началось съ того, что втащили 18-ти фунтовую пушку въ мастерскую, гдѣ лѣтомъ обдѣлывался такелажъ по артиллерійской части. Когда пробовали кусочками холста, напитанными растворомъ селитры и кусками фитиля посланными въ самое дно канала, то преимущество шерстянаго банника противъ щетиннаго было незначительно; но когда оставляли зажженную свѣчу, укрѣпленную на дощечкѣ, въ самомъ днѣ канала, то при заткнутомъ запалѣ, не досылая банника до свѣчи на разстояніи одного фута, при дѣйствіи щетинномъ, свѣча всякій разъ продолжала горѣть, а при шерстяномъ каждый разъ гасла, и не оставалось ни малѣйшей искры на свѣтильнѣ. Этотъ опытъ говоритъ въ пользу шерстяныхъ банниковъ. Но нужно будетъ сдѣлать еще испытанія на батарее, какъ при боевыхъ выстрѣлахъ, такъ и учебныхъ, и тогда я донесу обо всемъ вашей свѣтлости, какъ приказываете вы, полуофициально.

Съ симъ вмѣстѣ я представляю на благоуваженіе вашей свѣтлости о возвращеніи кор.-инженеру Александрову издержанныя имъ изъ своей собственности деньги на приобрѣтеніе имъ по порученію отъ меня разныхъ чертежей и моделей, о чемъ и прошу покорнѣйше при удобномъ случаѣ доложить Государю, какъ равно испросить разрѣшеніе на приобрѣтеніе подобныхъ вещей и на будущее время, съ уплатою за нихъ изъ экономическаго капитала. Я позволяю себѣ думать, что дѣло это не должно было съ тою ясностію, какой оно требовало. Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ приобрѣтенныя познанія офицеромъ, посылаемымъ за границу на казенный счетъ, принадлежать правительству; но посудите, ваша свѣтлость, кто же въ Англіи начертитъ чертежъ корабля или одолжитъ таковой для счерченія даромъ, или сдѣлаетъ модель какой нибудь части корабля или машины безденежно? Иностранцы, и въ особенности Англичане, слишкомъ любятъ деньги, чтобы выказывать подобное безкорыстіе. На подобные расходы испрашивалось отъ меня разрѣшеніе чрезъ вашу свѣтлость и прежде, и никогда отказа не было; благосклонныя разрѣшенія эти были поводомъ

къ обогащенію познаній корабельныхъ инженеровъ нашихъ въ кораблестроеніи, въ которомъ нельзя не сознаться, что до сего времени было много недостатковъ.

Очень жаль, ваша свѣтлость, если мысль о возведеніи примѣрнаго въ Севастополѣ адмиралтейства состарѣтся и получить бездѣйственность. Покуда есть еще дѣятельность и сильное желаніе къ усовершенствованіямъ, хорошо бы шагать впередъ. Я не о себѣ говорю, ибо безъ вашего участія и воли Государя я ни одного шага впередъ сдѣлать не могу; да и теперь въ Севастополѣ ничего бы еще не было. Но не могу не сказать и не увѣрять себя, что устройство тамъ адмиралтейства на срытой горѣ, возвышавшейся болѣе 100 футовъ, навсегда останется однимъ изъ лучшихъ и замѣтнѣйшихъ памятниковъ настоящаго царствованія. Это скажутъ тѣ, которые будутъ жить послѣ насъ.

## 2.

Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 15-го Февраля 1847.

Срокъ, назначенный вашею свѣтлостію къ представленію смѣты на будущій 1848 годъ, такъ былъ коротокъ, что, получивъ теперь всѣ нужныя свѣдѣнія изъ Севастополя по комитетамъ сухихъ доковъ и новаго адмиралтейства, я вынужденъ отправить ихъ съ возвращающимся изъ отпуска мичманомъ 1-го учебнаго экипажа Григорашемъ, котораго для скорѣйшей ѣзды снабдилъ курьерскою подорожною. Надѣюсь, что онъ будетъ въ Петербургѣ къ 24-му.

Къ общему всѣхъ сожалѣнію здѣсь мы потеряли капитана 1-го ранга Хитрово, умершаго отъ чахотки, офицера особенно замѣчательнаго по честности и неутомимому усердію къ службѣ. У него осталась въ Петербургѣ сестра, которая, по слухамъ до меня дошедшимъ, такая же достойная, какъ онъ былъ самъ, и по бѣдности принуждена наниматься гувернанткою. Представлять о пенсіи ей, какъ совершенное изъятіе изъ существующихъ правилъ, я не смѣю; но еслибы ваша свѣтлость удостоили ее своимъ участіемъ къ исходатайствованію ей хотя половиннаго пенсіона брата, по бывшимъ уже неоднократнымъ примѣрамъ за примѣрную службу братьевъ, то вы отерли бы ея слезы.

Ваша свѣтлость задали намъ такую задачу, что я не знаю, какъ и приступить къ этому дѣлу; я разумѣю Сулинскія гирла. Я началъ переписку съ Федоровымъ, но по сіе время никакого еще толку нѣтъ. Я зналъ и прежде, что они безъ насъ не обойдутся. Но не менѣе того оно сопряжено съ большими затрудненіями и отвѣтственностію, потому



что тамъ у нихъ рѣшительно ничего нѣтъ: ни судовъ къ перегрузкѣ, ни къ спасенію терпящихъ бѣдствія. Ѳедоровъ много писалъ и разглашалъ о заведенномъ имъ порядкѣ въ Сулинѣ, но подтверждается по словица, что громки бубны за горами. Я былъ въ Сулинскихъ гирлахъ два раза и утвердительно могу сказать, что все, что только тамъ построено, похоже болѣе на Цыганскій таборъ, нежели на Европейское селеніе; фарватеръ по сіе время прочищался выдуманными Воруновымъ граблями, на что онъ употребилъ, кажется, до 20.000 р. сер.; но какъ все это дѣлалось безъ толку и понятія о дѣлѣ, то ничего изъ этого и не вышло. Тутъ необходима землечерпательная машина и при ней пароходъ, который, въ случаѣ сдѣлавшагося снаружи вѣтра или зыби, могъ бы ввести ее опять въ рѣку: иначе судно съ машиною можетъ быть сорвано съ якорей и потерпѣть крушеніе. Теперь я ничего еще не могу сказать вашей свѣтлости на счетъ устройствъ, которые понадобятся въ Сулинѣ; но предвижу, что съ Бессарабскимъ начальствомъ могутъ происходить по временамъ большія непріятности. Они безъ участія морскаго начальства заключили конвенцію съ Австрійскимъ правительствомъ и перепутали все дѣло. Ѳедоровъ за *скорое построеніе маяка* получилъ Австрійскую ленту черезъ плечо, и наконецъ дальнѣйшія заботы съ себя сбросили. Теперь намъ приходится работать для нихъ и прикрывать противозаконныя ихъ дѣла.

Позвольте просить вашу свѣтлость о назначеніи командира 2-го учебнаго экипажа вмѣсто умершаго Хитрова и если можно, то въ такомъ же родѣ, какъ былъ послѣдній. Здѣсь способнаго для этого офицера я въ виду никого не имѣю.

## 3.

Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 26 Февраля 1847.

У меня давно лежала на душѣ просьба къ вашей свѣтлости, которую до сего времени никакъ не рѣшался объявить вамъ. Я хотѣлъ просить вашу свѣтлость о дозволеніи вступить въ службу прежнему товарищу моему Дохтурову, который съ 1804 по 1826 годъ служилъ во флотѣ, всегда былъ отличнымъ морскимъ офицеромъ и командовалъ нѣкогда бригамою «Фениксомъ», на которомъ и я служилъ у него подъ командою, а наконецъ и Р. Америк. Компаніи судномъ «Кутузовымъ» во время плаванія къ колоніямъ и вокругъ свѣта. Я его знаю какъ честнѣйшаго, благороднѣйшаго и самаго безкорыстнаго человѣка и увѣренъ, что всякій другой, кто только знаетъ его, отнесется объ немъ

не иначе; но онъ виновать тѣмъ, что, послушавъ совѣтовъ Моллера (онъ женатъ на дочери Ф. В-ча) и Николая Назаровича Муравьева, которые общали ему въ гражданской службѣ Богъ знаетъ какія выгоды, оставилъ морскую службу, къ которой онъ готовился съ малолѣтства и былъ на Англійскомъ флотѣ волонтеромъ. Предавшись совѣтамъ и покровительству Н. Н. Муравьева, имѣвшему тогда нѣкоторую значительность, Дохтуровъ въ 1828 году первоначально перешелъ въ жандармы; въ 1837 году, находясь въ Кіевѣ, ему удалось сдѣлать что-то такое угодное Государю Императору, за что приглашенъ былъ Его Величествомъ къ обѣду; а въ 1839 году произведенъ былъ не въ очередь въ дѣйствительные статскіе совѣтники, и приказано было причислить его къ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ для назначенія въ губернаторы. Съ переменною нынѣшняго министерства онъ нѣкоторое время оставался безъ всякихъ особенныхъ порученій, а прошедшей весною, по случаю высочайшаго повелѣнія, чтобы всѣхъ незанимающихъ особыхъ должностей уволить, и онъ въ числѣ многихъ былъ уволенъ, чрезъ что, лишась содержанія, лишился, можно сказать, и пропитанія съ больною женою и девятью человѣками дѣтей! Между тѣмъ онъ здоровъ и физически, и морально, желаетъ служить и по мнѣнію моему, излагаемому здѣсь совершенно безпристрастно, онъ съ пользою могъ бы занять въ Николаевѣ мѣсто члена общаго присутствія интендантства, гдѣ не рѣдко, по незнанію морскаго дѣла, встрѣчаются мнѣнія весьма странныя и несогласныя съ здравымъ сужденіемъ о морскомъ дѣлѣ. Если вашей свѣтлости угодно будетъ принять участіе въ крайности положенія добросовѣстнаго этого офицера, бывшаго нѣкогда морскимъ и служившаго съ честію, то вы облагодѣтельствовали бы и его, и меня, какъ ходатая о старомъ своемъ сослуживцѣ. Въ такомъ разѣ, если ваша свѣтлость соблаговолите извѣстить меня о благосклонномъ принятіи моего предложенія, то я написалъ бы ему, чтобы онъ явился къ вамъ или подалъ бы формальное прошеніе. Впрочемъ, если ваша свѣтлость найдете это неудобноисполнимымъ, то мнѣ ничего другаго не остается, какъ просить извиненія въ неумѣстномъ моемъ ходатайствѣ.

## 4.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

Петербургъ, 8-го Іюня 1847.

Флигель-адъютантъ Моллеръ вручить вамъ сіе письмо, почтенный Михайло Петровичъ. Предметъ его послышки—изслѣдованіе происшествія разбитія дозора въ Севастополѣ выбѣжавшими изъ казармы матросами.

Государь такъ этимъ событіемъ недоволенъ, какъ недовольнымъ я давно не видывалъ его. Онъ видитъ тоже отсутствіе порядка и дисциплины, которое подало поводъ къ возмущенію 1830 года и что особенное обратило вниманіе въ семь взглядъ на происшествіе, это участіе людей трехъ разныхъ экипажей, безучастіе и слѣдовательно отсутствіе дежурныхъ при командахъ, оставленныхъ безъ надзора и вольныхъ на всякое покушеніе. Оправданій никакихъ представить я не могъ, ибо никакихъ данныхъ не имѣю по морскому управленію.

Для опыта мы сдѣлали на Александровскомъ заводѣ желѣзный бомбическій станокъ; по наружности очень хорошъ, но тяжелъ, безъ платформы вѣситъ 60 пудъ, а въ станкѣ Американскаго дуба 46 пудъ также безъ платформы.

Шанць изобрѣлъ банникъ съ металлическимъ стержнемъ и, кажется, изобрѣлъ удачно.

При семь для любопытства два конверта Аглинскаго изобрѣтенія, которые запечатываются ударомъ молотка, производящаго заклепку двухъ металлическихъ цилиндровъ.

## 5.

## Лазаревъ князю Меншикову.

Николаевъ, 20-го Іюня 1847.

Флигель-адъютантъ Моллеръ доставилъ мнѣ письмо вашей свѣтлости отъ 8-го сего Іюня, и къ сожалѣнію я усмотрѣлъ изъ него наведенное безпокойство Государю Императору донесеніемъ полковника Толубѣева о случившемся происшествіи въ Севастополь 13-го Апрѣля. Я не понимаю, какая цѣль этихъ людей гнѣвать Государя неизслѣдованными донесеніями, которыя впослѣдствіи всегда почти оказываются преувеличенными, что, я надѣюсь, окажется и нынѣ. Еслибы Толубѣевъ донесъ предварительно объ этомъ происшествіи дивизионному своему начальнику, который былъ на лицо, то дѣло вышло бы совсѣмъ другое: ибо генералъ Соболевскій умѣлъ бы отличить буйство отъ простой неумышленной драки. Теперь оказывается, что ссора эта произошла вовсе не въ питейномъ домѣ, изъ котораго бывшіе тамъ восемь человекъ матросовъ вышли по первому приказанію жандарма; что матросы выбѣжали изъ казармъ на улицу на крикъ «карауль», и тутъ ничего нѣтъ удивительнаго, что они принадлежали разнымъ экипажамъ; да и кто же не выбѣжитъ на таковой крикъ? А крикъ этотъ произвелъ матросъ, возвращавшійся въ казарму, котораго обходъ, признавъ за праздно-шатающагося, началъ брать для отвода въ поли-

цію. Полицейскаго чиновника при обходѣ не было, безъ котораго ему ходить не слѣдовало. Въ этомъ конечно болѣе всѣхъ виновата полиція, какъ равно и въ томъ, что питейный домъ открытъ былъ въ столь позднее время. Но иногда и самый обходъ (разумѣется, когда онъ безъ офицера) старается обойтись безъ полицейскаго чиновника; ибо, за дозволеніе питейнымъ домамъ оставаться открытыми послѣ опредѣленнаго времени, этихъ обходныхъ нерѣдко подчиваютъ въ нихъ водкою. Какъ бы то ни было, но видно, что выбѣжавшіе матросы на крикъ «караулъ» старались освободить взятаго обходомъ ихъ товарища, и тутъ хотя произошла драка, но далеко не столь ожесточенная, какъ описалъ ее полковой командиръ. Что касается до взгляда на это происшествіе какъ похожаго на возмущеніе, бывшее въ 1830 году, то я долженъ сказать, что тутъ нѣтъ ни малѣйшей тѣни къ подобному ожиданію, и покуда все продолжится такъ, какъ оно идетъ теперь, то ничего подобнаго ожидать нельзя, и за спокойствіе въ Севастополѣ я ручаюсь головой, по крайней мѣрѣ за нижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства, потому что каждый изъ нихъ доволенъ собою, и это видѣть можно по веселому взгляду на инспекторскихъ смотрахъ. Мнѣ очень жаль, что военный министръ узналъ объ этомъ происшествіи прежде вашей свѣтлости; но это потому, что ни я, ни дивизионный начальникъ не располагали доносить о немъ, какъ о дѣлѣ въ глазахъ нашихъ совершенно ничтожномъ и заслуживающемъ только наказанія нѣсколькихъ человѣкъ розгами. На будущее же время этого не будетъ, и я не премину доносить вашей свѣтлости о всякомъ серьезномъ происшествіи немедленно.

Благодарю покорно вашу свѣтлость за патентованные конверты, запечатываемые ударомъ молотка: выдумка прекрасная, потому что распечатать конвертъ, не разорвавъ его, невозможно. Но намъ здѣсь такихъ не сдѣлать!

Банникъ, изобрѣтенный Шанцомъ, заслуживаетъ любопытства; относительно же употребляемыхъ въ Англіи, то въ недавнемъ времени я получилъ окончательное увѣдомленіе отъ Корнилова, что не только на флотѣ, но на крѣпостной и въ полевой артиллеріяхъ, банники употребляются постоянно шерстяные, а щетинныхъ вовсе не дѣлаютъ и признаютъ ихъ опасными.

## 6.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

Петергофъ, 22 Іюня 1847.

Предположеніе ваше о обложеніи 475 р. родителей Черноморскихъ гардемаринъ затруднительно въ исполненіи по недостаточному вообще

состоянію сихъ родителей; принять же издержку сію на казенный счетъ, если потребуется особенное ассигнованіе сверхъ нормальной смѣты, невозможно; но ежели вы предвидите способы сіе исполнить собственными средствами, то войдите съ представленіемъ. При семъ можетъ быть признаете удобнымъ отнести часть издержекъ, какъ на примѣръ обмундированіе, на собственный счетъ гардемаринъ при казенной для единообразія постройкѣ?

Я просилъ дозволенія у Государя отправить роднаго племянника, моего 4-го экипажа мичмана князя Гагарина, въ Черноморскій флотъ для обстрѣлянія въ Абхазской экспедиціи. Онъ изрядный морской офицеръ и ходилъ въ дальній вояжъ съ Шанцомъ, но не слыхалъ еще свиста пуль, что нужно для окончательнаго воспитанія. Будьте къ нему милостивы.

Я страдалъ вновь сильнымъ припадкомъ и былъ три дня въ опасности; начинаю теперь выѣзжать, но слабъ и вынужденъ необходимостью ѣхать на воды за границу съ открытіемъ навигаціи; въ первыхъ числахъ Іюля полагаю возвратиться въ Петербургъ.

Состязанія съ Англическимъ министерствомъ о Виксенѣ не приведены еще къ концу; кажется, что дѣло обойдется; но вѣрнаго ничего сказать по сіе время нельзя. По нѣкоторымъ соображеніямъ полагаютъ, что Англичане домогаться будутъ у Порты права крейсировать въ Черномъ морѣ для покровительства своей торговли, и если цѣль сія достигнется ими, то я не сомнѣваюсь, что вамъ дано будетъ повелѣніе противу нихъ дѣйствовать. Сообразите все могущіе представиться случаи и будьте къ онымъ приготовлены. Прощайте, будьте здоровы.

## 7.

**Князь Меншиковъ Лазареву.**

Петергофъ, 28-го Августа 1847.

Податель сего, любезный Михаилъ Петровичъ, лейтенантъ князь Барятинской. Онъ стремится быть хорошимъ практическимъ морскимъ офицеромъ и желаетъ провести зиму въ крейсерствѣ у Абхазскихъ береговъ. Полагаю, что вы согласитесь на исполненіе этого ревностнаго порыва, ежели нѣтъ особенныхъ къ тому препятствій.

Государь обращаетъ теперь особенное вниманіе на артиллерійскую часть и въ числѣ разныхъ предметовъ къ сему относящихся требуетъ тщательной стдѣлки станковъ, наипаче оговокъ по лекаламъ,

штамповкою и обточкою; но мастерскія наши такъ несовершенны, что я не знаю какъ достигъ до сего, не имѣя притомъ ни одного техническаго помощника.

Епанчинъ во время крейсерства въ Нѣмецкомъ морѣ имѣлъ много цынготныхъ и недостатокъ прѣсной воды; болѣе двухмѣсячной порціи корабли наши взять не могутъ. Причины еще не изслѣдоваль и желалъ бы знать какое количество воды можетъ помѣщаться на вашихъ корабляхъ и какъ бы вы полагали Балтійскія суда въ этомъ отношеніи улучшить?

Государь уѣзжаетъ изъ Петербурга 2-го Сентября; я отправляюсь также въ Москву, но къ 1-му Октября возвращусь къ своему мѣсту.

Остаюсь вамъ преданный

Князь Меншиковъ.

## ЭПИЗОДЪ ИЗЪ КРѢПОСТНАГО ПРАВА.

„Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“.

Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права наши дѣти и внуки рождаются безъ врожденныхъ понятій «крѣпостничества», самое названіе крѣпостнаго права переходитъ къ нимъ по преданію, и они получаютъ о немъ лишь смутное понятіе... Къ несчастію, намъ не выпала эта завидная доля; напротивъ, намъ приходилось быть зрителями многихъ возмутительныхъ сценъ, происходившихъ на основаніи всѣми признававшагося «права». Удивительно, что сцены эти или коробили насъ только минутно и вскорѣ забывались, или даже и не вызывали въ насъ никакого симптома нравственной неловкости и безслѣдно изглаживались изъ нашей памяти, какъ будто бы и не происходили никогда; а между тѣмъ въ тоже время мы возмущались подобными же сценами, не происходившими на нашихъ глазахъ, а только доносившимися къ намъ по слухамъ. Кого, напримѣръ, не возмущалъ торгъ Неграми, кто не протестовалъ противъ рабства, кого не потрясали до глубины души возмутительные эпизоды изъ «Хижины Дяди Тома»? Въ настоящее время трудно согласить всѣ противорѣчія въ нашей прошедшей жизни, въ нашихъ прошедшихъ понятіяхъ. Они объясняются неумѣніемъ воспользоваться правилами евангельскаго ученія; мы безотчетно повторяли правила этого ученія, но не примѣняли, не примѣривали его къ нашей собственной ежедневной жизни. Мы учили дѣтей нашихъ: «не судите, чтобъ не быть судимыми», а осуждали другихъ и въ тоже время не оглядывались вокругъ себя, не видали «бревна» въ нашемъ глазу, а преувеличивали всякую «соломенку» въ глазъ ближняго.

Къ счастью, время это прошло. Тѣмъ не менѣе оно не должно быть забыто потомствомъ. Мы должны знать не одиѣ только хорошія стороны нашей прошедшей жизни; намъ необходимо знать и всѣ мрачныя картины этого прошедшаго. Исторія не должна умалчивать ни

одного явленія, характеризующаго извѣстную эпоху, а потому и всякій эпизодъ изъ темнаго времени нашей жизни, особенно если онъ описанъ очевидцами или, по крайней мѣрѣ, современниками, не можетъ не имѣть своего значенія съ точки зрѣнія бытописателя. На этомъ основаній и нашъ эпизодъ долженъ имѣть свое мѣсто на страницахъ будущей «исторіи крѣпостнаго права въ Россіи», тѣмъ болѣе, что въ немъ описывается одна изъ самыхъ возмутительныхъ картинъ этого варварскаго «права», едва ли уступающая, въ этомъ отношеніи, возмутительности тѣхъ картинъ, которыя происходили въ плантаціяхъ рабовладѣльческихъ штатовъ Сѣверной Америки. За истинность нашего эпизода мы ручаемся, такъ какъ случайно имѣли подъ руками подлинныя бумаги.

Нашъ рассказъ относится къ недавно прошедшему времени. Происшествія, излагаемая здѣсь, происходили въ концѣ сороковыхъ и началѣ пятидесятихъ годовъ этого столѣтія. Въ это время, въ Сумскомъ уѣздѣ, Харьковской губерніи, жила въ селѣ своемъ Ильмахъ (177 ревизскихъ душъ), помѣщица Наталья Васильевна Свирская. Не думаемъ, чтобы помѣщица эта, дикая и мало образованная, грезила когда нибудь попасть на страницы исторіи; тѣмъ менѣе приходила ей въ голову возможность современныхъ реформъ—уничтоженія крѣпостнаго права и введенія гласнаго суда; ей даже не могла прійти въ голову мысль, чтобы кто-нибудь дерзнулъ вмѣшаться въ ея дѣла, осудить её за то, что она признавала своимъ приращеннымъ правомъ.... И вотъ, въ 1853 году надъ нею начинается слѣдствіе, продолжавшееся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, слѣдствіе, поднятое по доносу ея неоспоримой собственности, ея крѣпостныхъ, которые не могли долѣе терпѣть безнаказаннаго варварства своей барыни. Возникло громадное дѣло, изъ котораго мы и почерпаемъ нѣкоторыя самыя яркія показанія для нашего очерка.

Крѣпостные г-жи Свирской обвинили ее передъ судомъ въ дурномъ обращеніи съ людьми. Обвиненія эти состояли въ нижеслѣдующемъ.

Дворовая дѣвка Матрена Лопаѣнкова показала, что ее, вмѣстѣ съ другою дѣвкой Ивановою, барыня посылала, въ одномъ платьѣ, не смотря ни на какую погоду, за водой къ колодцу, находившемуся въ двухъ верстахъ отъ барскаго дома; если же вода ей казалась принесенною не изъ означеннаго колодца, она заставляла ихъ пить эту воду съ мыломъ; кромѣ того, заставляла ѣсть протухлыя яйца, пить собственную мочу, ѣсть калъ; заставляла мальчика Ваньку, прозваннаго ею *генераломъ*, бить Матрену. Далѣе она показала, что барыня отбираетъ у женщинъ по восьми куръ и по четыре яйца, а если та-



ковыхъ не окажется, то забираетъ все имущество и подвергаетъ провинившихся всевозможнымъ пыткамъ; такъ напримѣръ, мать Матрены умерла отъ ранъ, нанесенныхъ ей этими пытками и растравленныхъ исправникомъ, подвергшимъ несчастную новому сѣченію за непокорность, по просьбѣ (вѣроятно усиленной приличнымъ вознагражденіемъ) помѣщицы. Поля у крестьянъ отобраны, а на барщину ихъ выгоняютъ по пяти дней въ недѣлю. Бабамъ выдается по три фунта прядева и требуется съ нихъ три мотка и 10 пасомъ. Варварство этой госпожи распространялось и на самое питаніе: такъ, всѣмъ дворовымъ людямъ варили борщъ безъ соли, а вмѣсто втораго кушанья давали гнилую тыкву (гарбузъ) или ягоды бузины; мясо же, да и то червивое, выдавалось имъ только по праздникамъ. Вареніе пици производилось сразу на цѣлую недѣлю; сверхъ того выдавали по одному куску хлѣба въ день, разрѣзывая одинъ небольшой хлѣбъ на шесть частей. Во дворѣ барскаго дома содержалась волчиха, которую барыня прозвала *своей родной сестрой* (не можемъ, съ своей стороны, не согласиться съ такимъ родственнымъ сближеніемъ), и за него однажды подвергла сѣченію крестьянина Давида Стебаенка, побившаго волчиху. Ее барыня употребляла, какъ одну изъ пытокъ для провинившихся; такъ, однажды, волчиха чуть было не разорвала крестьянку Акулину, и только вмѣшательство мѣстнаго священника спасло несчастную. Другая пытка состояла въ битьѣ арапникомъ до ранъ, сажаньи голышомъ на ледъ или снѣгъ, или въ катаньи по льду и по снѣгу безъ всякой одежды, при чемъ исполнителями пытокъ служили упомянутый *Ванька-генералъ* и *дѣвица Настурція*, а иногда и самъ исправникъ, обыкновенно производившій свои экзекуціи въ ночное время. Всѣмъ этимъ пыткамъ подвергалась неоднократно несчастная дѣвочка Сиклетія (какъ значится въ дѣлѣ), вскорѣ впрочемъ умершая и подавшая этимъ самымъ главный поводъ къ началу слѣдствія. Смерть этой несчастной произошла какъ вообще отъ послѣдствій варварскаго съ нею обращенія въ теченіе всей ея жизни, такъ и отъ новой, изобрѣтенной барынею пытки, состоявшей въ томъ, что ее заставляли глотать куски стекла разбитаго ею графина, послѣ чего, въ видѣ награды за послушаніе, она получила отъ барыни гречневую паляницу. Доля этой несчастной вполне достойна состраданія. Если всѣмъ людямъ г-жи Свирской вообще приходилось скверно, то ей едва ли не пришлось горше всѣхъ. Эта 12-лѣтняя мученица подверглась всевозможнымъ пыткамъ, которая въ состояніи была измыслить изобрѣтательная голова Натальи Васильевны, питавшей къ ней, по неизвѣстной и непонятной причинѣ, какую-то необъяснимую ненависть. Ее не только подвергала она истязанію арапникомъ и другимъ пыткамъ, но кромѣ того привязывала во время

холода на дворѣ и обливала холодной водою, которую должна была приносить старуха Морозова \*), сажала голую на ледъ и приказывала Ванькѣ тащить за ноги, заставляла ее ѣсть бумагу, стекло, кирпичъ, кости и калъ, лизать мочу.... Понятно, что при такомъ обращеніи не разъ приходила въ голову несчастной жертвѣ мысль о самоубійствѣ; не разъ дѣлала она попытки повѣситься, но всякій разъ заставляла ее расплохъ барыня и смѣялась надъ нею, говоря: «Смотрите, какъ прекрасно наша *котышечка* (прозвище, данное барыней) повѣсилась!» До послѣдней минуты ея жизни бѣдной дѣвочкѣ не давали даже лечь и привязывали стоя; въ такомъ положеніи она и умерла. Когда мѣстный священникъ отказался хоронить ее, какъ умершую неестественною смертью, то Свирская закричала на него: «Пошолъ вонъ! Вѣрно съ пьяныхъ глазъ ничего не видишь!» За тѣмъ подкупленный докторъ объявилъ, что она умерла *отъ водяной*, и тогда ее похоронили. Смерть Сиклетіи подѣйствовала какъ на крестьянъ, такъ и на самую барыню: для всѣхъ она была равно неожиданна. При всемъ своемъ варварствѣ, Наталья Васильевна невольно содрогнулась и не разъ повторяла со вздохомъ, когда начали распространяться слухи о «волѣ», что это должно быть такія страдальцы, какъ Сиклетія, вымолили ее у Бога.

Понятно, что при такой жизни нерѣдко случались побѣги; но участь бѣжавшихъ была незавидна: едва ли удавалось немногимъ бѣжать безслѣдно, такъ какъ сами мѣстныя власти, подкупленные Натальей Васильевной, дѣйствовали всегда въ ея пользу: пойманныхъ бѣглецовъ приводили къ барынѣ, которая подвергала ихъ сѣченію и за тѣмъ, закованныхъ, привязывала во дворѣ. Всѣ пытки производились всегда на глазахъ самой барыни, сидѣвшей здѣсь же на стулѣ и слѣдившей за ходомъ операцій.

Что касается до частной жизни Свирской, то, изъ показаній Матрены мы узнаемъ, что она имѣла любовника, съ которымъ спала на одной кровати, съ мужемъ же обращалась весьма дурно и даже не говорила.

Всѣ эти показанія подтвердила и другая свидѣтельница Наталья Шиповаленкова, присовокупивъ, что и она неоднократно подвергалась барынинымъ пыткамъ: бывала бита до крови арапникомъ Ванькою, по повелѣнію барыни ѣла калъ, какъ собственный, такъ и приносимый Ванькою изъ отхожаго мѣста, и все это за то, что не могла выпрять заданнаго ей урока. Сходныя показанія дали и другія свидѣтельницы. Фіона Смолянская, кромѣ пиятъ помоевъ и лизанія вся-

---

\*) См. ниже.

кихъ нечистотъ, подверглась еще особому наказанію: ея не выпускали изъ двѣичьей на дворъ иначе, какъ на привязи; когда же она подвергалась пыткамъ побоевъ, то въ этой операціи принимали участіе, кромѣ барыни, вооруженной арапникомъ, ея любовникъ, расправлявшійся кулаками, и неизмѣнный палачъ Ванька-генераль. Марѳа Бирченкова показала, что мужъ ея (по занятію дамскій портной) отравился, не будучи въ состояніи терпѣть жестокаго обращенія съ нимъ барыни; сама же она неоднократно подвергалась сѣченію арапникомъ и розгами, битью по щекамъ, вслѣдствіе чего однажды пролежала восемь недѣль въ постели, истекая кровью отъ нанесенныхъ ранъ. Также свидѣтельница донесла и объ обыкновеніи барыни надѣлять крестьянъ гнилыми плодами, требуя, чтобы къ вечеру ей было представлено за каждое ведро отъ 50 до 80 коп.; въ противномъ случаѣ у провинившейся отбиралась за каждое ведро корова, свинья или овца \*). Старуха Морозова (60 лѣтъ) подверглась, при свидѣтеляхъ, сѣченію арапникомъ и розгами; исполнителемъ этой операціи былъ тотъ же Ванька-генераль. Кромѣ того барыня заставляла ее ежедневно, не смотря на старость, приносить по двадцати ведеръ воды изъ пруда, въ теченіе цѣлой зимы; мы видѣли выше, для чего предназначалась эта вода. Дѣвица Дарья Погуляева, по собственному показанію и свидѣтельству другихъ лицъ, была искутана волкомъ, при чемъ барыня была ее по губамъ за то, что она кричала отъ боли; потомъ она подверглась новому истязанію за то, что изъ ранъ, нанесенныхъ ей волкомъ, текла кровь. Крестьянка Плугатыренкова подтвердила справедливость показаній Марѳы Бирченковой; ей самой пришлось продать корову, чтобы уплатить барынѣ за гнилой картофель и прогорклое масло. У другой женщины, служившей огородницей, барыня отобрала корову и свинью за неурожай огурцовъ. Наконецъ, и самъ Ванька-генераль, этотъ знаменитый 16-лѣтній палачъ г-жи Свирской, призванный въ свидѣтели, подтвердилъ справедливость вышеприведенныхъ показаній, прибавивъ, что самъ онъ, за свою практику, до такой степени пристрастился къ своей должности, что постоянно клеветалъ барынѣ на кого нибудь, чтобъ имѣть случай удовлетворить своей кровожадной страсти.

---

\*) Обыкновеніе это, впрочемъ, существовало и у другихъ пановъ и даже послѣ манифеста объ освобожденіи крестьянъ. Такъ, года три тому назадъ, мы случайно узнали, что проживавшій въ городѣ Харьковѣ помѣщикъ П. К. С—въ заставлялъ нанятыхъ имъ людей продавать плохія произведенія своей деревни за весьма высокую цѣну, а за неудавшійся провинившіеся подвергались вычету изъ жалованья.

Таковы были показанія собственныхъ крѣпостныхъ г-жи Свирской, подтвержденныя и крестьянами сосѣднихъ имѣній. Изъ показаній этихъ послѣднихъ особенно замѣчательно показаніе Арины Харченко-вой, рассказавшей, что у ней спасалась отъ барыни избитая и окровавленная дѣвка Любченкова, которой барыня приказывала ѣсть отрѣзанную ей до половины косу, а за невозможность исполненія такого приказанія, морила голодомъ или давала сухарь и требовала, чтобы она проглотила его цѣликомъ. Другія показанія сосѣднихъ крестьянъ подтвердили справедливость всего вышесказаннаго, а потому, во избѣжаніе повтореній, мы не станемъ выписывать ихъ.

Перейдемъ теперь къ фактамъ, обнаружившимся при слѣдствіи. Чиновникъ, производившій это слѣдствіе, нашелъ людей, дѣйствительно искусанныхъ волкомъ; изъ нихъ у Дарьи Погуляевой оказалось 16 ранъ на правой рукѣ, 12 — на лѣвой и двѣ на правомъ боку, итого 30 ранъ. Тоже подтвердилъ и городской врачъ, который, кромѣ того, освидѣтельствовалъ пищу, выдаваемую дворнѣ, и призналъ ее негодность. При освидѣтельствованіи трупа Сиклетіи, на немъ оказались — на брюхѣ сине-багровыя пятна, на спинѣ три небольшія раны, на задней ляжкѣ лѣвой ноги синія пятна, вокругъ праваго глаза сине-багровый знакъ и волосы на головѣ мѣстами выщипанные.

Послѣ обнаружившихся фактовъ, Наталья Васильевнѣ дано было тринадцать вопросительныхъ пунктовъ, составленныхъ на основаніи слѣдствія и показаній свидѣтелей. Отвѣты на эти пункты, какъ и надо было ожидать, были отрицательные и при томъ проникнутые духомъ христіанскаго смиренія и благочестія. «Заставлять горничную пить «воду съ мыломъ», пишетъ она, «ни съ чѣмъ не сообразно и противно *«чувствамъ моимъ и правиламъ.* Заставлять ѣсть бумагу и пр. и пр., «все это можетъ дѣлать извергъ, подобный взводящему на меня такія «преступленія, а что Сиклетія дѣйствительно ѣла кости и стекло, то я «была свидѣтельница и при этомъ *содрогнулась,* а ея не заставляла. «Что она будто умерла отъ побоевъ, это опровергается уже тѣмъ, что «за два мѣсяца до смерти своей она, по причинѣ цынготной болѣзни, «образовавшейся у нея ранами на ногахъ и гниlostью десенъ, была «мною удалена въ людскую избу. Передъ смертью я позвала ее къ «себѣ и, увидѣвъ знаки на лицѣ, спросила: — Чтò это у тебя? Она «отвѣчала: «Меня всѣ бьютъ». Арапника у меня и въ домѣ нѣтъ; «наказываю крестьянъ розгами не свыше 10 — 12 ударовъ». Далѣе опять повторяется, что заставлятъ ѣсть всякія нечистоты и гнилую пищу «это можетъ дѣлать злодѣй, а не человѣкъ; а мнѣ, *будучи въ «души христіанкой,* не только подобные поступки *не свойственны,* но *«и слышатъ объ нихъ и отвратительно и ужасно.* На прочіе пункты

г-жа Свирская или отвѣчала отрицательно, или вовсе умалчивала; въ заключеніе она представляетъ самыя рѣшительныя доказательства своей невинности: упоминаетъ о томъ, что она ѣздитъ къ святымъ мѣстамъ, что мѣсяцъ или два жила въ Харьковѣ, гдѣ лѣчилась у доктора К.; что она, бѣдная, *терпитъ неудовольствія* отъ крестьянъ, что даже *ушилась* было продать имѣніе, но, *изъ любви къ мужу*, который просилъ ее не дѣлать этого, такъ какъ онъ *не имѣетъ силъ* разстаться съ садомъ, насаженнымъ его собственными руками, не продала.

Почти тоже говоритъ и мужъ г-жи Свирской въ своихъ отвѣтныхъ пунктахъ. Такъ, о Секлетіи говорится, что она потому и умерла безъ покаянія, что «много *жретъ*, все что ни попадется». Далѣе онъ жалуется на *горькія слезы* своей жены, упоминаетъ и о послѣднемъ фактѣ, на счетъ сада, насажденнаго *почти собственноручно*. Вообще, отвѣты эти сильно отзываются вліяніемъ супруги; слѣдственное же дѣло обнаружило, что мужъ, будучи дворянскимъ предводителемъ, почти не бывалъ въ деревнѣ, а жилъ по большей части въ уѣздномъ городѣ, если же и пріѣзжалъ домой, то за тѣмъ, чтобы участвовать въ экзекуціяхъ своей супруги надъ крестьянами, при которыхъ, впрочемъ, самъ никогда не присутствовалъ, а отсылалъ провинившихся на конюшню.

Но показанія мужа, находившагося подъ башмакомъ свирѣпой супруги, еще не такъ удивительны, какъ свидѣтельства лицъ постороннихъ, въ томъ числѣ и помѣщиковъ-сосѣдей. Какими побужденіями руководствовались они въ своихъ показаніяхъ, для насъ совершенно непонятно; тѣмъ не менѣе всѣ они написаны въ защиту г-жи Свирской. Приводимъ здѣсь эти любопытныя свидѣтельства.

Начнемъ сначала съ лицъ, приближенныхъ къ г-жѣ Свирской, каковы: свободный художникъ Иванъ Игнатьевичъ, проживавшій въ домѣ Натальи Васильевны болѣе 12 лѣтъ, священникъ, женатый на ея воспитанницѣ \*) и сама эта воспитанница. Первый, между прочимъ, говоритъ въ своихъ показаніяхъ, что «Сиклетія *показывала силу своихъ зубовъ и сама ѣла кости, стекло* и пр. На это госпожа смотрѣла съ ужасомъ, да и могла ли она веселиться этимъ зрѣлищемъ, когда огорченія, ей причиняемая послушаніемъ людей, заставляли ее рыдать ежедневно, чему я былъ очевидцемъ? О калѣ и мочѣ я никогда *и не слышалъ* (?) «Умершая Сиклетія», продолжаетъ онъ, «никогда и не наказывалась, за всѣмъ тѣмъ, что она постоянно воровала что нибудь изъ сѣстныхъ лакомствъ.... Не жестокое, а слишкомъ слабое обращеніе съ людьми послужило поводомъ къ покушенію на жизнь госпо-

\*) Не надо смѣшивать этого священника съ тѣмъ, который отказывался хоронить Сиклетію и который былъ приходскимъ священникомъ въ имѣніи г-жи Свирской.

«жи <sup>1)</sup>. Налоговъ и прочаго я не замѣтилъ, потому что былъ занятъ «своимъ *любимымъ искусствомъ*». Священникъ, между прочимъ, замѣчаетъ, что г-жа Свирская съ *ужасомъ* рассказывала ему, какъ дѣвочка Судьяна (т. е. Сиклетія) глотала стекло, кости и другія твердыя тѣла, попавшія ей въ руки; рассказывала, какъ она ночевала въ печкѣ и обожгла ноги и спину. Передъ причащеніемъ она съѣла кусокъ мяса, а потому и не могла быть причащена. Тутъ же прибавляется, что дѣвочка эта «*была больна голодною смертію и потому тогда только не ѣла, когда спала*. Помѣщица», говоритъ священникъ, «не только не «обременяетъ своихъ крестьянъ, но еще *благодѣтельствуетъ* имъ. Въ «подтверженіе чего, помѣщица, въ присутствіи моемъ, портному Бирчиченкову заплатила 50 к. ас. за бутылку квасу; дѣвку Дарью <sup>2)</sup> даруетъ постоянно чѣмъ нибудь и, въ присутствіи моемъ, за хорошо «вымытое бѣлье, подарила ситцу на юбку; дѣвочкѣ Настурціи <sup>3)</sup>, усердной къ услугамъ, посылаетъ пищу отъ собственнаго стола». Наконецъ жена священника, воспитанница Свирской, говоритъ, что «заставляютъ пить воду съ мыломъ или ѣсть стекло, кости, пометъ, смотрѣть «на повѣсившуюся и смѣяться и, *еще болѣе, въ случаѣ непокорности употреблять право силънаго*, смотрѣть на человѣка, связаннаго «веревкою для извѣстной цѣли,—дѣло изувѣра, безбожника, человѣка «безъ чувствъ, безъ души, лишеннаго здраваго смысла, безчеловѣчнаго. Но такихъ недостатковъ я не замѣтила въ характерѣ г-жи Свирской. Она милосердна къ бѣднымъ, снисходительна къ обидѣвшимъ ее; «получивъ *религіозное направленіе*, жертвуетъ прихожимъ бѣднымъ; «домъ ея—домъ пріюта несчастныхъ; совершаетъ путешествія къ «святымъ мѣстамъ и въ прошедшемъ году посѣщала два монастыря— «Глинскую и Петропавловскую пустыни; дѣлаетъ пожертвованія на «церковь. Изъ всего этого открывается, что вышеизложенныя жестокости *несообразны съ духомъ* г-жи Свирской. Ни одно приказаніе, ни «*одинъ советъ*, ни одна просьба помѣщицы», заключаетъ воспитанница, удивленная добродѣтелями своей воспитательницы, «не были въ точности и безъ огорченій выполняемы со стороны крестьянъ. Нѣтъ въ «экономіи человѣка, которому можно бы довѣрить хоть что-либо; все «они, не говоря уже объ усердіи, непокорны, грубы, сплетники, ненавистники, и большая изъ нихъ половина—воры. Вслѣдствіе такихъ «обстоятельствъ, помѣщица принуждена сама, собственными руками,

<sup>1)</sup> Въ чемъ обвинялись нѣкоторые крестьяне.

<sup>2)</sup> Искусанную волкомъ.

<sup>3)</sup> Катавшей, вмѣстѣ съ Ванькой, умершую Сиклетію по льду.

«готовить для себя и для другихъ пирогъ и бѣлый хлѣбъ (!!)). На за-просъ, зачѣмъ она учила Дарью, какъ и что говорить слѣдователю о ранахъ, нанесенныхъ ей волкомъ, она отвѣчала: «Я нѣсколько разъ «просила Дарью оставить меня въ покоѣ и наконецъ сказала: что зна-«ешь, то и говори! закрыла глаза и болѣе не видала ее»...

Но всѣ эти показанія ничто, въ сравненіи съ отвѣтами помѣщи-ковъ Сумскаго уѣзда, сосѣдей Свирской. Отвѣты ихъ на вопросъ, съ какой стороны извѣстна имъ помѣщица Свирская, носятъ на себѣ ха-рактеръ желанія не участвовать въ дѣлѣ, «моя-моль хата съ краю, ничего не знаю», и при томъ отпечатокъ такой оригинальности въ приѣмахъ, что мы приводимъ ихъ здѣсь цѣликомъ, съ дипломатической точностью.

1) «По учиненіи сей присяги имѣю объяснить, что я около 12 лѣтъ какъ не былъ въ домъ Свирской, и мнѣ по сему случаю вовсе ничего неизвѣстно; но какъ имѣю не въ дальнемъ разстояніи свою собственность, то не разъ случалось, что во время жизни отца ея крестьяне ея какъ у меня, такъ и у другихъ сосѣдей воровали лѣсъ».

2) «Имѣю честь, милостивый государь, симъ объяснить вамъ, что, находясь отъ г-жи Свирской въ неблизкомъ разстояніи, я не могъ имѣть никакихъ свѣдѣній объ образѣ жизни и *обхожденіи* ея съ крестьянами и потому я не могу ничего показать, и слуховъ на счетъ этого до меня никакихъ не доходило».

3) «По долгу присяги имѣю честь объяснить, что помѣщица, какъ ближняя моя сосѣдка, отъ ней никакихъ послѣдствій дурныхъ обра-щеній съ людьми не было, да и слуха не было, чтобы она обращалась строго съ своими крестьянами; въ отношеніи налоговъ я тоже не знаю».

4) «Имѣю честь объяснить в. в., что помѣщица С. какъ обхо-дится съ своими людьми, мнѣ неизвѣстно и слуховъ въ отношеніи об-хожденія ея съ ними я ни отъ кого не слышалъ, что и показываю по долгу принятой мною присяги, въ томъ и подписуюсь».

5) «Свирскую знаю, но какъ обходится съ крестьянами, не знаю. Что же касается до частныхъ слуховъ, которые происходили о про-тивузаконномъ намѣреніи крестьянъ ея, рѣшившихся накормить ее ядомъ, то я слышалъ, но дѣйствительно ли это крестьянами произве-дено, также не знаю».

6) «Прописанную въ семь помѣщицу знаю. Что же касается до ея обхожденія съ людьми и жестокости, а также обремененія разными налогами, я ничего не слышалъ, кромѣ того, что дошли слухи, что крестьяне намѣревались отравить ее. Но за что и какъ не знаю; что показываю по долгу присяги».

Не смотря на заступничество сосѣднихъ дворянъ и другихъ свидѣтелей, а также мѣстныхъ властей, г-жа Свирская была обвинена въ жестокомъ обращеніи съ людьми и приговорена къ трехлѣтнему тюремному заключенію. Носились слухи, что она и умерла въ острогѣ.

Евгеній Деларю.

1869. 13 Іюля.

Малая Даниловка.



## С Ъ В Е Р Н А Я П Ч Е Л А .

1825—1859.

Въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ въ нашихъ журналахъ и историческихъ изданіяхъ было напечатано много статей, разсказовъ, воспоминаній, относящихся до отечественной журналистики и бывшихъ ея дѣятелей. Разоблаченіе закулисныхъ тайнъ нашей повременной печати возбуждаетъ любопытство читателей: исторія газетъ и журналовъ тѣсно связана съ общественнымъ бытомъ и умственнымъ развитіемъ, и біографія журналиста составляетъ цѣнный вкладъ въ самую исторію. Издатели газетъ и журналовъ временъ давно минувшихъ суть представители своей эпохи, фонографы общественнаго мнѣнія, или его камертоны, подававшіе извѣстную ноту соотвѣтственно настроенію жизни. Таковы были нѣкогда «Русскій Вѣстникъ» и «Сынъ Отечества»; такова была и «Сѣверная Пчела» въ тридцатилѣтній періодъ цвѣтущаго своего состоянія съ 1825 по 1855 годъ. Основанная въ послѣдній годъ царствованія Александра I, Сѣверная Пчела въ теченіи первыхъ мѣсяцевъ печаталась съ траурною рамкою; ею же, по случаю кончины императора Николая Павловича, она окаймилась и въ 1855 году: трауромъ начала она, трауромъ и кончила. Послѣднія пять лѣтъ изданія этой газеты были періодомъ видимаго ея упадка... Отставъ отъ стараго настроенія, бѣдная Пчела не пристала къ новому, и слабое ея жужжанье было заглушено роємъ новыхъ періодическихъ изданій: появились «Весельчаки», «Искры», «Осы», «Занозы», «Гудки» и т. п. Молодое поколѣніе, глумясь надъ старымъ, съ особенною яростію устремилось на представительницу отсталыхъ мнѣній, шовинизма, консерватизма и восторженныхъ похвалъ прежней администраціи. Въ лицѣ Н. И. Греча еще читли учителя Русской грамоты трехъ поколѣній; и какъ ни зубасты были юные литераторы, однако-жъ сознавались, что вести борьбу съ Гречемъ не такъ-то легко: старъ, а еще больно колется! За то Булгаринъ, уже сошедшій съ земнаго поприща, сдѣлался «притчею во языцѣхъ»; имя его въ литературномъ мірѣ стали употреблять въ замѣну браннаго слова, въ смыслѣ нарицательномъ или, правильнѣе, порицательномъ.

«Бѣдный Іорикъ» нашей отечественной журналистики, козелъ отпущенія всѣхъ безобразій общественнаго и литературнаго строя за

тридцатилѣтній періодъ! О недостаткахъ личнаго характера Булгарина нечего распространяться; но строгая справедливость требуетъ напомнить, что ихъ развитію способствовали тѣ условія, въ которыя онъ былъ поставленъ, какъ издатель и какъ человѣкъ. Во многихъ случаяхъ, неблаговидными поступками Булгарина руководило чувство самосохраненія. Могло-ли быть у Съверной Пчелы иное направленіе, кромѣ указаннаго цензурою Красовскихъ и Фрейганговъ и угрожающимъ перстомъ Л. В. Дубельта? Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ о передовыхъ, руководящихъ статьяхъ и о политическихъ обзорѣніяхъ издатели не дерзали и грезить; упоминая о коронованныхъ особахъ Западной Европы, они были обязаны пропечатывать ихъ полный титулъ, да и не иначе какъ съ прописными буквами; о какомъ-нибудь герцогъ Фридрихъ ХСІХ Шварцбургъ-Зондерсгаузенскомъ необходимо было отзваться съ подобающимъ уваженіемъ. Попробуй кто-нибудь написать (до печати и не допустили-бы!), что въ высокаторжественный день случилась неблагопріятная погода—надъ нимъ разразилась-бы такая буря, что и упаси Господи! Въ началѣ сороковыхъ годовъ, какъ намъ только *нынѣ* извѣстно, военныя дѣйствія на Кавказѣ были не совсѣмъ удачны; о гибели Вельяминовскаго и Михайловскаго укрѣпленій говорили шопотомъ, съ боязливою оглядкою; но писать о ней значило-бы самому угодить на Кавказъ, а не то, куда и подальше. Въ Турецкую и Польскую кампаніи пропорція убитыми и ранеными въ самыхъ кровопролитныхъ дѣлахъ была опредѣлена такъ: непріятелей убито 1000, ранено 2000, съ нашей стороны убито 50, ранено 100 <sup>1)</sup>. Опечатки съ увеличеніемъ цифры допускались лишь въ показаніяхъ потерь непріятеля; но попробуй, какая-нибудь газета обмолвиться, да показать число нашихъ убитыхъ въ 500 человѣкъ, вмѣсто узаконенныхъ 50. Изъ за этого нуля самъ издатель и его газета обратилась-бы въ пули! Траурныя рамки, окаймлявшія Пчелу въ первый и послѣдній годъ ея изданія, могли символически знаменовать тѣ желѣзныя рамки, въ которыя была поставлена наша печать за пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ <sup>2)</sup>.

Булгаринъ, въ свое время, былъ чистѣйшимъ типомъ редактора-издателя, какимъ тогда слѣдовало быть. Н. И. Гречъ умѣлъ поставить себя нѣсколько иначе, чему много способствовали его частыя и продолжительныя отлучки за границу и то уваженіе, которымъ онъ пользовался, какъ писатель и какъ человѣкъ. Тѣмъ непонятнѣе ихъ тридцати-девятилѣтняя дружба, которою такъ хвалился Булгаринъ...

Когда «Сынъ Отечества» Греча, соединился съ «Съвернымъ Архивомъ» Булгарина, кто-то удачно примѣнилъ къ нимъ стихъ Грибоѣдова: «И какъ васъ Богъ не въ пору вмѣстѣ сведетъ!»

<sup>1)</sup> Справедливость требуетъ вспомнить и про Французскія, въ особенности Наполеоновскія, оглашенія военныхъ дѣлъ. П. Б.

<sup>2)</sup> По этому поводу припоминается разсказъ покойнаго Ю. В. Толстаго. Онъ былъ съ Синодальнымъ докладомъ въ Царскомъ Селѣ. Государь Александръ Николаевичъ удостоилъ его приглашеніемъ къ своему обѣду. За столомъ, въ присутствіи немногихъ, зашла рѣчь о Русскихъ газетахъ, и Государь сталъ вспоминать про былое время, когда онъ съ великимъ княземъ Михайломъ Павловичемъ принуждены были довольствоваться чтеніемъ Съверной Пчелы и Journal de Francfort, газеты, издававшейся на Русскія же деньги. „А теперь!“ прибавилъ Государь не безъ нѣкотораго самоудовольствія. Это было въ 1870 году. П. Б.

Судя по отзывамъ лицъ близко знававшихъ Булгарина, по его сочиненіямъ, дружескимъ письмамъ и официальнымъ бумагамъ, выходящимъ изъ подъ его пера, характеръ Ѳаддея Венедиктовича представлялъ пеструю смѣсь Фамусова, Молчалина, Скалозуба, Загорѣцаго и Репетилова.

Булгаринъ въ теченіе тридцати четырехъ лѣтъ изданія Сѣверной Пчелы, безспорно, снискалъ себѣ незавидную знаменитость; но, въ виду глумленій, которыми его понынѣ осыпають, иногда невольно хочется сказать: да неужели большинство журналистовъ нашего времени «рыцари безъ страха и безъ упрека?» Неужели Булгарины—личности немыслимыя въ современной журналистикѣ? Разоблачая литературныя тайны былыхъ временъ, надѣмся, что и современныя наши литературныя тайны будутъ разоблачены нашими внуками. «Пчела» отжила свой вѣкъ, редакторы ея давно въ могилѣ; исторія литературныхъ насѣкомыхъ нашего времени еще впереди. Что-то о нихъ скажутъ будущіе историки отечественной журналистики!

## I.

Изъ Воспоминаній покойнаго Греча <sup>3)</sup> намъ извѣстно, что съ семнадцати лѣтъ (1804) онъ посвятилъ себя педагогической дѣятельности, преподавая Русскую грамматику въ пансіонѣ Брискорна и другихъ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Первые его литературные опыты появились въ «Журналѣ для пользы и удовольствія» и въ «Журналѣ Россійской словесности» Брусилова. Въ 1806 году Гречъ издалъ, переведенный имъ съ Нѣмецкаго, памфлетъ Пальма, разстрѣленнаго Наполеономъ: «Германія въ глубокомъ униженіи своемъ» и «Нѣкоторыя мысли о современныхъ происшествіяхъ» Шредера. Оба перевода обратили на себя вниманіе и отчасти способствовали служебнымъ успѣхамъ переводчика. Поступивъ въ 1806 году въ цензурный комитетъ, Гречъ занималъ въ немъ должность секретаря до 1815 года. Служба не отвлекала его ни отъ педагогическихъ, ни отъ литературныхъ занятій. При необыкновенномъ трудолюбіи онъ писалъ оригинальныя и переводныя статьи чрезвычайно быстро, гладкимъ, чистымъ языкомъ, преобразовывая старинный складъ рѣчи Екатерининскихъ временъ на болѣе удобопонятный. Литературный его талантъ, само собою разумѣется, развивался и совершенствовался; но, достойно вниманія, что до самой кончины Николай Ивановичъ полагалъ разницу между языкомъ разговорнымъ и книжнымъ. Разговоръ Греча, всегда живой, остроумный, увлекательный, не походилъ на его печатное слово. Какъ человѣкъ, онъ былъ одаренъ глубокимъ чувствомъ и неподдѣльнымъ юморомъ;

<sup>3)</sup> Русскій Архивъ 1873 г. стр. 225—341.

какъ писатель, бывалъ за-частую черствъ, холоденъ... Но, какая плодovitость и какое разнообразіе! Съ 1808 по 1819 годъ, кромѣ многихъ журнальныхъ статей, онъ перевелъ: романъ «Леонтину» Коцебу (М. 1808 г. 4 части), комедію «Фараонову дочь» его-же (Спб. 1809), Новое Всеобщее Землеописаніе—Гаспари (Спб. 1809 г.); издалъ: таблицу Русскихъ склоненій (Спб. 1808), Опытъ о Русскихъ спряженіяхъ (Спб. 1811), Избранныя мѣста изъ Русскихъ сочиненій и переводовъ (Спб. 1812), Ланкастерскія школы, Отрывокъ изъ путевыхъ записокъ (Спб. 1818), Руководство къ взаимному обученію (Спб. 1819), Учебную книгу Россійской словесности (Спб. 1819—1822. 4 части). Былъ редакторомъ и сотрудникомъ въ журналахъ: Геній Времени съ Ѳ. Шредеромъ и И. Делакура съ Юня 1807 г. по 16 Сентября 1809 (3 части); Журналъ новѣйшихъ путешествій, съ Ѳ. Шредеромъ съ Октября 1809 по Октябрь 1810 (4 части), Европейскомъ Музеѣ на 1810 г. 32 №№. Въ 1812 году Гречъ основалъ «Сынъ Отечества», единственнымъ издателемъ котораго былъ по 1828 годъ. Въ 1817 году онъ первый разъ ѣздилъ за границу, и возвратившись, по распоряженію графа Аракчеева, въ 1818 году былъ прикомандированъ къ комиссіи составленія учебныхъ пособій кантонистамъ поселенныхъ войскъ, учредилъ общество образованія училищъ по методу взаимнаго обученія, составивъ для того таблицы и руководства. Ланкастерскую методу, изученную имъ за границею, Гречъ въ 1819 году ввелъ въ С.-Петербургскомъ и Гатчинскомъ воспитательныхъ домахъ, учредилъ училища для нижнихъ чиновъ гвардейскаго корпуса и былъ назначенъ ихъ директоромъ. Изъ этого послужнаго списка явствуетъ, что въ 1820 году Николай Ивановичъ былъ человѣкъ замѣтный, пользовавшійся благосклонностью высшихъ властей, извѣстностью въ просвѣщенной публикѣ и славою превосходнаго педагога и опытнаго литератора. Прибавимъ къ этому, что съ 1817 года Гречъ былъ членомъ Вольнаго Общества Любителей Россійской Словесности и другихъ Русскихъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ; наконецъ, съ 1816 года онъ числится членомъ Петербургской масонской ложи «Астреи».

Посмотримъ, чѣмъ былъ его будущій соиздатель Булгаринъ?

Уроженецъ одной изъ западныхъ губерній, онъ узрѣлъ свѣтъ Божій двумя годами поздиѣ Греча, 24 Юня 1789 года, и въ честь Костюшки нарѣченъ во святомъ крещеніи Ѳаддемъ. Отецъ его былъ ярый республиканецъ, сосланный въ Сибирь за убіеніе въ 1794 году Русскаго генерала Воронова, и прощенный императоромъ Павломъ. Ѳаддей былъ отданъ матерью въ Петербургскій Сухопутный Шляхетный Корпусъ, учился хорошо и по выпускному экзамену могъ попасть въ Генеральный Штабъ или въ артиллерію; но цесаревичъ Константинъ Павловичъ пожелалъ его принять въ свой уланскій полкъ. Состоя въ немъ, Булгаринъ дѣлалъ походы 1805, 1806 и 1807 годовъ. Трудно составить вѣрное понятіе о службѣ Ѳаддея Венедиктовича. Читая его «Воспоминанія», можно подуматъ, что онъ былъ изъ первыхъ удалцевъ, а по отзываютъ сослуживцевъ онъ являлся чуть-ли не «послѣднимъ въ пристунахъ и первымъ въ ретирадахъ».

Изъ двухъ біографій Булгарина, написанныхъ Н. И. Гречемъ <sup>4)</sup>, не знаемъ, которая правдивѣе. Въ первой изъ нихъ сказано:

«Съ полкомъ своимъ онъ былъ въ походахъ 1805, 1806 и 1807 годовъ, и, хотя впослѣдствіи, рассказывалъ мнѣ о своихъ геройскихъ подвигахъ, но по словамъ тогдашнихъ его сослуживцевъ, между прочимъ генерала Иосселиана, храбрость не была въ числѣ его добродѣтелей: частенько, когда наклеывалось сраженіе, онъ старался быть дежурнымъ по конюшнѣ. Однако онъ былъ сильно раненъ въ животъ при Фридландѣ и лежалъ нѣсколько недѣль въ Кенигсбергскомъ лазаретѣ.—Въ Финляндіи служилъ онъ до окончанія войны и потомъ стоялъ съ своимъ полкомъ въ Ревелѣ. Во время этой войны удалось ему сдѣлать доброе дѣло. Извѣстно, что самыми рьяными и злыми врагами Русскихъ были въ то время Финскіе пасторы: они истребляли наши отряды, перехватывали переписку, отбивали обозы и оружіе; словомъ, дѣйствовали, какъ партизаны. Особенно одинъ сельскій пасторъ отличался проворствомъ и удалствомъ: схватилъ нѣсколько Русскихъ офицеровъ и выдалъ Шведамъ, укрывавшимся въ его домѣ. Начальникъ дѣйствовавшая въ этой странѣ Русскаго отряда послалъ въ домъ пастора отрядъ драгунъ (уланъ?) подъ командою офицера, и этотъ офицеръ былъ Булгаринъ. Онъ сдѣлалъ быстрый набѣгъ на село и окружилъ церковный домъ. Жена пастора укрыла своего мужа. Булгаринъ, замѣтивъ, гдѣ спрятался несчастный, объявилъ, что возьметъ его силою. Жена и дѣти бросились къ ногамъ его и умоляли о пощадѣ. Булгаринъ сжалился, прикинулся, будто не видитъ искомаго, оставилъ домъ и село, и явился къ начальнику съ донесеніемъ: не нашель! Командиръ побранилъ его за оплошность; но, можетъ быть, самъ былъ радъ, что освободился отъ необходимости казнить человѣка, который полагалъ, что дѣйствуетъ по закону и по долгу. Это происшествіе сдѣлалось извѣстнымъ въ Финляндіи и въ Швеціи. По заключеніи мира явилась въ Стокгольмѣ гравюра съ изображеніемъ этого случая и съ надписью: «Великодушіе Русскаго офицера». Въ бытность Булгарина въ Швеціи (въ 1838 году) пригласилъ его къ обѣду одинъ почтенный и богатый человѣкъ. Гостей было множество. Булгаринъ, сѣвши за столъ, увидѣлъ предъ собою гравированную картину. Всѣ пили съ восторгомъ за его здоровье».

Въ другомъ біографическомъ очеркѣ <sup>5)</sup> написанномъ для Французскаго писателя Ферри де Пиньи находимъ иное.

«Началась ужасная борьба Россіи съ Наполеономъ въ 1805 году. Армія требовала офицеровъ, и изъ корпусовъ должно было выпускать по успѣхамъ въ наукахъ, не взирая на лѣта. Булгаринъ назначенъ былъ въ гвардію; но его высочеству цесаревичу угодно было выбрать его, въ числѣ пяти человѣкъ, въ уланскій полкъ своего имени. Булгарину было тогда около 17-ти лѣтъ отъ роду; онъ всю жизнь сожалѣ-

<sup>4)</sup> Русская Старина, 1871 г., Ноябрь, стр. 485, 487 и 516—517. В. В. Крестовскій, въ своей „Исторіи Ямбургскаго уланскаго полка“, приводитъ формуляръ Булгарина.

<sup>5)</sup> Кромѣ Французскихъ періодическихъ изданій, біографія Булгарина была напечатана въ Англійскомъ Foreign quarterly Review и въ Нѣмецкомъ Der Gesellschafter (1831. 142-s Band, Montag, den 5 September, 708).

еть о раннемъ вступленіи въ свѣтъ, гдѣ онъ не нашель ни наставника, ни путеводителя для руководствованія и укрощенія пылкаго его характера, часто вовлекавшаго его въ непріятности. Страсть къ чтенію и школа несчастій довершили образованіе Булгарина. Въ то время награжденія орденами были очень рѣдки. Булгаринъ за храбрость подъ Фридландомъ награжденъ орденомъ св. Анны 3 класса, будучи корнетомъ. Тогда даже ротмистры и маіоры не получали болѣе. Цѣлый уланскій полкъ помнитъ, какъ молодой корнетъ отнялъ лошадь у Француза, когда у него убили его собственную пистолетнымъ выстрѣломъ въ тѣсную сѣчь; какъ онъ прискакалъ въ эскадронъ безъ шапки, съ казацкою пикою, оставляя послѣднимъ въ ретирадѣ и какъ былъ въ охотникахъ. Булгарину суждено было не слѣзая съ коня въ военное время. Возвратясь въ Петербургъ, онъ тотчасъ пошелъ въ походъ въ Финляндію и доходилъ съ корпусомъ графа Каменскаго въ авангардѣ до самаго Торнео, находясь во всѣхъ сраженіяхъ. Въ зимнюю кампанію, когда, въ 25-ть градусовъ морозу, надлежало ночевать на снѣгу, онъ чуть не лишился зрѣнія, и слабость глазъ осталась по нынѣ ему воспоминаніемъ сей кампаніи».

Что же это за противорѣчіе въ біографіи одного и того-же лица, написанной однимъ и тѣмъ-же авторомъ? воскликнетъ читатель.

Въ томъ-то и дѣло, что первая біографія доподлинно написана *Н. И. Гречемъ* въ шестидесятыхъ, а подъ второю, написанною около 1830 года *самимъ Ѳ. В. Булгаринымъ*, Гречъ позволилъ ему только подписать свое имя. Какъ же не узнать Булгарина по хвастливому тону и простодушному самохваленію! У насъ въ рукахъ былъ черновой набросокъ біографическаго очерка, писаннаго для г. Ферри де Пиньи: это автографъ Ѳаддея Венедиктовича. Онъ законченъ словами: *NB. Теперь что угодно!* Поэтому, да мимо идетъ отъ памяти Н. И. Греча упрекъ въ двуязычій; а воинскіе подвиги Ѳаддея Венедиктовича все-же остаются подъ большимъ подозрѣніемъ.

О своемъ переходѣ въ Наполеоновскія войска Булгаринъ въ упомянутой автобіографіи говоритъ слѣдующее <sup>6)</sup>:

«Возвратясь снова въ Петербургъ, онъ (я) по нѣкоторымъ обстоятельствамъ долженъ былъ оставить уланскій полкъ и вышелъ въ армію, а потомъ былъ принужденъ оставить вовсе службу (это было въ 1810 году). Полкъ, въ которомъ онъ (я) тогда находился, стоялъ въ Венденѣ. Булгаринъ пріѣхалъ въ Ригу, не сдѣлавъ никакого плана для своей жизни. Отца его уже не было на свѣтѣ; имѣніе матери было въ разстройствѣ отъ несправедливаго процесса. Что дѣлать! У Булгарина въ карманѣ было только 8 червонцевъ, и съ симъ-то запасомъ онъ рѣшился ѣхать за границу. Товарищи Булгарина, не зная предприимчивости его характера, думали, что онъ шутитъ; но онъ (я) на другой день нашель попутчика <sup>7)</sup> и отправился въ Варшаву. Вообще отличительная черта характера Булгарина есть рѣшительность и быстрое

<sup>6)</sup> Съ повѣствованіемъ Булгарина мы сопоставляемъ въ выносахъ выдержки изъ его біографіи дѣйствительно написанной Н. И. Гречемъ.

<sup>7)</sup> Это былъ Французскій графъ *Кенсоннэ* (Quinsonnat).

исполненіе предпринятаго намѣренія. Сказано и сдѣлано у него (меня) одно и тоже. Трудности остаются назади. Въ Варшавѣ Булгаринъ, познакомившись съ старыми офицерами Французской службы и плѣнясь ихъ разказами, вздумалъ попробовать счастья подъ знаменами Наполеона. вмѣстѣ съ своими соотчичами онъ отправился въ Испанію <sup>8)</sup>, служилъ въ нѣсколькихъ полкахъ и кончилъ въ шеволежерахъ (chevaux-légers), былъ почти во всѣхъ генеральныхъ сраженіяхъ, не считая малыхъ дѣлъ, до 1814 года 2 Февраля, въ которомъ взятъ въ плѣнъ Прусскимъ партизаномъ Коломбомъ и сперва посланъ въ Голландію, а оттуда въ Померанію въ городъ Старгардъ. Объ этой эпохѣ жизни Булгарина мнѣ немногого извѣстно, хотя онъ называетъ этотъ періодъ своимъ университетскимъ курсомъ опытности. Знаю только, что онъ возвратился въ Польшу капитаномъ, бывъ послѣ своего плѣна снова во Франціи, и въ 1816 году пріѣхалъ въ Петербургъ <sup>9)</sup>. Зиму 1819 года онъ провелъ въ Вильнѣ, гдѣ сталъ печатать въ журналахъ свои стихи и прозу на Польскомъ языкѣ и снискалъ одобреніе многихъ отличныхъ литераторовъ. Возвратясь снова въ Петербургъ, онъ сперва чуждался Русской литературы и знакомства съ литераторами, но, наконецъ, познакомившись со мною (Н. И. Гречемъ), сталъ писать порусски и сначала съ 1820 г. помѣщалъ статьи въ издаваемомъ мною журналѣ „Сынъ Отечества“ и въ журналѣ: „Соревнователь Просвѣщенія“...

Достигнувъ времени перваго знакомства будущихъ издателей Сѣверной Пчелы, приводимъ разсказъ Н. И. Греча.

«Въ началѣ Февраля (именно 5-го числа) 1820 года, явился у меня въ кабинетѣ человекъ лѣтъ тридцати, тучный, широко-плечій, толстоносый, губанъ, порядочно одѣтый — и заговорилъ со мною пофранцузски:—Excusez, monsieur, si je vous dérange....

Замѣтивъ съ перваго слова, что ему трудно говорить пофранцузски, я прервалъ его рѣчь вопросомъ:—Говорите-ли вы порусски?—Говорю-съ. Я Полякъ.—Итакъ, къ чему говорить пофранцузски? Скажите мнѣ, пожалуйста, чтѣ вамъ угодно?

Тогда объявилъ онъ мнѣ, что пришелъ по просьбѣ одного Французскаго литератора г. де Сенъ - Мора, человека необыкновенно умнаго, ученаго и благороднаго, который намѣренъ читать лекціи о Французской литературѣ.

— Да какой онъ партія? спросилъ я.—Кажется отъявленный роялистъ? Точно: самый ревностный приверженецъ законной династии.—Какъ же онъ можетъ быть умнымъ человекомъ? сказалъ я. Умный легитимистъ въ нынѣшнее время не поѣдетъ изъ Франціи, чтобъ искать хлѣба за границею. Видно, онъ олухъ и не знаетъ чтѣ дѣлать, или такъ уменъ, что видитъ близкое паденіе своей партіи. Вообще, въ нынѣшней Франціи—умъ, знанія, дарованія на лѣвой сторонѣ.

<sup>8)</sup> Прибылъ въ Варшаву и вступилъ въ одинъ сформированный Французами уланскій полкъ рядовымъ. Въ 1812 году находился онъ въ корпусѣ маршала Удино. Н. Г.

<sup>9)</sup> Плѣнныхъ размѣняли, Полякамъ объявили полную амнистію. Булгаринъ побѣжалъ къ матери и возобновилъ знакомство съ своими родственниками. Дядя его Павелъ Булгаринъ поручилъ ему вести процессъ съ графомъ Тышкевичемъ и Парчевскимъ. Процессъ производился въ Сенатѣ, и новый ходатай отправился въ Петербургъ. Н. Г.

Мой собесѣдникъ захохоталъ весело.

— Такъ, вотъ вы какой! А я думалъ, что вы ревнитель Бурбоновъ и монархическаго начала.—Мы разговорились и познакомились. Это былъ Ѳаддей Булгаринъ.

Черезъ восемнадцать лѣтъ Булгаринъ, припоминая первое свое свиданіе съ Гречемъ, писалъ <sup>10)</sup>:

«Я познакомился съ Н. И. Гречемъ 5 Февраля 1820 года. Постороннее дѣло привело меня въ его кабинетъ. Мы сами до сихъ поръ не знаемъ и не постигаемъ, какъ это случилось, что при первомъ свиданіи мы пришли другъ другу по плечу и по сердцу, что просидѣли нѣсколько часовъ, въ жару разговора стали говорить другъ другу *ты* и расстались искренними друзьями! Въ первое наше свиданіе мы, такъ сказать, проэкзаменовали другъ друга въ нашемъ образѣ мыслей, въ нашихъ понятіяхъ о различныхъ предметахъ, и результатъ этой взаимной исповѣди былъ тотъ, что мы обнялись и сдѣлались неразлучными»...

## II.

Первый-же годъ знакомства Булгарина съ Гречемъ былъ ознаменованъ печальнымъ событіемъ, которое совершенно безвинно повредило Гречу въ мнѣніи правительства. Изъ всѣхъ полковъ лейбъ-гвардіи ни въ одномъ благая мысль обученія грамотѣ солдатъ не была принята такъ сочувственно, какъ въ Семеновскомъ. Полковой командиръ Потемкинъ, умный, добрый, благороднѣйшій человѣкъ, обожаемый солдатами, и все общество офицеровъ, не нарушая дисциплины, поставили Семеновскій полкъ на высокую степень нравственнаго развитія, радѣя о просвѣщеніи солдатъ всей душою. Эти добрыя отношенія офицеровъ къ подчиненнымъ не могли нравиться высшему начальству. Отдаливъ Потемкина отъ командованія полкомъ, высшая власть назначила на его мѣсто полковника Шварца, ученика Аракчеевской школы, не умѣвшего иначе говорить съ солдатами, какъ «родственными» терминами, съ приправою палокъ и зуботычинъ <sup>11)</sup>. Въ короткое время Шварць успѣлъ возбудить крайнее негодованіе въ офицерахъ и ненависть въ солдатахъ. Озлобленіе возрастало съ каждымъ днемъ и выразилось, наконецъ, 17 Октября 1820 года, возмущеніемъ всего полка. Солдаты, виновные съ точки зрѣнія дисциплины и субординаціи, по суду совѣсти и здраваго смысла, были совершенно правы. Государь, раздраженный свѣдѣніями о тайныхъ обществахъ западной Европы, подозрѣвая связь между ними и Россією, предугадывая можетъ быть существованіе заговора будущихъ Декабристовъ,—отнесся къ Семеновской исторіи съ несвойственною ему строгостію: весь полкъ былъ раскасированъ, солдаты разосланы по крѣпостямъ и арестантскимъ ротамъ. Аракчеевъ и его клеветы рѣшили, что «ученье есть чума, уче-

<sup>10)</sup> Ѳ. Булгаринъ. Къ портрету Н. И. Греча, стр. 18.

<sup>11)</sup> Знаменитый Шварць былъ изъ Евреевъ (Арх. Кн. Воронцова, кн. XXIII). П. Б.



ность вотъ причина», что всему виною грамотность. Поэтому и директоръ солдатскихъ школъ не чуждъ Семеновской исторіи. «Боюсь грѣшить», отозвался Александръ Павловичъ, «но думаю, что дѣло не обошлось безъ участія Греча!».—Солдатскія школы были закрыты, а Гречъ уволенъ отъ должности ихъ директора (или инспектора).

«Я посылаю вамъ бумагу относительно устраненія Греча отъ мѣста (писалъ князь Васильчиковъ кн. П. М. Волконскому 9 Ноября 1820 г.); мнѣ кажется, что мы очень хорошо можемъ обойтись безъ этой личности, которая пока еще не сдѣлала никакого зла, но которая могла-бы его сдѣлать»... <sup>42)</sup>

Съ этого времени высшее правительство, видимо охладѣвъ къ честнымъ трудамъ въ святомъ дѣлѣ народнаго образованія, смотрѣло на Греча неблагосклонно. Но за эту опалу онъ былъ вознагражденъ живѣйшимъ сочувствіемъ Русскихъ такъ называемыхъ либераловъ, представителями которыхъ были братья *Бестужевы*, *Рылеевъ*, *Батенковъ*, *Н. И. Тургеневъ*. Булгаринъ, при этой перемѣнѣ счастья своего друга, сумѣлъ, оставаясь ему вѣрнымъ, не навлечь на себя подозрѣній въ какой либо соприкосновенности къ Семеновской исторіи. Тутъ много помогли его врожденные душевные свойства: вкрадчивость, льстивость, умѣнье приноровиться къ любому характеру.

Н. И. Гречъ говорить о немъ:

«Булгаринъ былъ въ то время отнюдь не тѣмъ, чѣмъ онъ сдѣлался впоследствии: былъ малый умный, веселый, гостепріимный, способный къ дружбѣ и искавшій дружбы людей порядочныхъ. Между тѣмъ, по національной природѣ своей, онъ не пренебрегалъ знакомствомъ и милостію людей знатныхъ и особенно сильныхъ, умѣлъ сойтись и съ гнуснымъ Магницкимъ, и съ сумасброднымъ Руничемъ, и съ глупымъ Кавелинымъ; познакомился съ лицами, окружавшими Аракчеева, пролѣзъ и къ нему самому. До 1823 года онъ литературою занимался мало, посвящая все свое время, всю свою дѣятельность веденію своего процесса. И мнѣ кажется, что занятія этимъ процессомъ, сопряженные съ уловками и продѣлками, которыя не всегда оправдываются законами чести и долга, имѣли вредное вліяніе на развитіе его понятій и характера. Для достиженія своей цѣли онъ употреблялъ всевозможныя средства: съ утра до вечера таскался по сенаторскимъ и оберъ-прокурорскимъ переднимъ, навѣщалъ секретарей и стряпчихъ, кормилъ и подкупалъ ихъ, привозилъ игрушки и лакомства ихъ дѣтямъ, подарки женамъ и любовницамъ. Польская натура нашла въ этихъ маневрахъ обильную пищу своей низкопоклонности, лести, хвастовству и хлѣбосольству съ опредѣленною цѣлью. Эти подвиги, оправдываемые свойствомъ его занятій, произвели въ его умѣ смѣшанную теорію правилъ войны, сутяжничества и литературы. Потерявъ возможность продолжать съ успѣхомъ военную службу, онъ пошелъ въ стряпчіе; видя, что можно пріобрѣсть литературою извѣстность, а съ нею и состояніе, онъ, наконецъ, взялся за нее, руководствуясь на каждомъ изъ сихъ поприщъ

<sup>42)</sup> См. Русская Старина 1871 г. Декабрь, стр. 656—657.

правилами достигнуть цѣли жизни, т. е. удовлетворенія тщеславія и любостыжанія. Эта теорія не мѣшала ему притомъ быть человѣкомъ незлымъ, добрымъ, сострадательнымъ, благотворительнымъ и, въ минуту порыва, готовымъ на пожертвованіе. Онъ почиталъ и уважалъ добрыя стороны въ людяхъ, даже тѣхъ, которыхъ самъ не имѣлъ...<sup>43)</sup>

Что Булгаринъ, посвящая себя литературѣ, имѣлъ въ виду лишь тщеславіе и любостыжаніе, въ этомъ нельзя усомниться при пересмотрѣ каталога многочисленныхъ его сочиненій. Съ удивительною смѣлостью Фаддей Венедиктовичъ писалъ обо всемъ, нисколько не затрудняясь, достаточно ли онъ знакомъ съ предметомъ, за который берется? Булгарину, писавшему съ плеча, были по плечу: исторія, военныя науки, сельское хозяйство, изящныя искусства, музыка, технологія, политическая экономія, финансы... Словомъ сказать, гораздо труднѣе рѣшить, чего онъ не зналъ, нежели перечислить всѣ его познанія. Чутко прислушиваясь и зорко присматриваясь къ потребностямъ минуты, къ вопросамъ дня, Булгаринъ не медлилъ отвѣтами. Намъ возразятъ, что эта многосторонность знаній въ издателѣ ежедневной газеты—достоинство. Не споримъ, достоинство громадное, если онъ дѣйствительно энциклопедически образованъ и если не совсѣмъ основательно, то, по крайней мѣрѣ, хоть наглядно знакомъ съ предметами, о которыхъ пишетъ. Но возможенъ-ли человѣкъ съ умомъ многообъемнымъ, съ образованіемъ всестороннимъ? Гении подобные Пико де Мирандолю или Александру Гумбольдту рождаются вѣками. Издатель газеты—гений всеобъемлющій есть идеалъ, миѳъ, явленіе небывалое. Поэтому-то въ чужихъ краяхъ редакціи періодическихъ изданій всегда находятся въ рукахъ нѣсколькихъ лицъ, завѣдывающихъ каждое своею частью. У насъ же, въ особенности въ «Съверной Пчелѣ», число сотрудниковъ постоянныхъ рѣдко доходило до десятка: сотрудники-специалисты потребовали-бы слишкомъ обременительнаго для газеты содержанія, да пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ ихъ невозможно было-бы и достать у насъ ни за какія деньги... Хватаясь за все въ своей газетѣ, отвѣчая на каждый насущный вопросъ, хотя бы онъ касался астрономіи или Санскритской грамматики, Булгаринъ дѣлалъ частыя и непростительныя промахи; ему указывали на нихъ люди знающіе; онъ огрызался и грубіянилъ, или отшучивался.

Единственнымъ и несомнѣннымъ его талантомъ была наблюдательность, приправленная юморомъ и, до извѣстной степени, легкостью слога. Титулъ «перваго Русскаго фельетониста» неотъемлемо останется за Булгаринымъ. Въ своихъ фельетонахъ (разумѣется въ тѣхъ, въ которыхъ онъ не рекомендуетъ пирожниковъ, трактирщиковъ, кондитеровъ и т. п., да не дѣлаетъ легонькихъ инсинуацій) онъ былъ всегда забавнымъ, остроумнымъ собесѣдникомъ, доставляя читателю на четверть часа развлеченіе отъ скуки.

Еще въ бытность свою въ кадетскомъ корпусѣ Булгаринъ ученическими сочиненіями и переводами обратилъ на себя вниманіе учителя Русскаго языка—Лантинга. Нѣмецъ училъ Поляка Русскому языку...

<sup>43)</sup> Русская Старина 1871. г. Ноябрь, стр.492—493.

немножко странно и плохая порука за успѣхи; однако-же Ѳаддей Венедиктовичъ, въ юности, писалъ сатирическіе стихи, которые заучивались наизусть его товарищами. Въ уланскомъ полку его высочества цесаревича Булгаринъ строчилъ сатиры на командировъ, даже осмѣливался (каковъ либераль!) упоминать въ нихъ и о самомъ Константинѣ Павловичѣ. Гречъ въ біографіи Булгарина приводитъ первые три стиха сатиры:

Трепещеть Стрѣльна вся, повсюду ужась, страхъ...  
 Неужели землетрясенье?  
 Нѣтъ! нѣтъ! Великій князь ведетъ насъ на ученье!

Не будучи знакомы съ Польскимъ языкомъ, не можемъ судить о достоинствахъ статей Булгарина въ Варшавскихъ газетахъ и объ его «Свисткѣ», о которомъ впоследствии упоминали его Русскіе противники. Какъ на первые литературные опыты Булгарина въ Русской словесности, Н. И. Гречъ указываетъ на «Оды Горация», переведенныя Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ съ комментаріями Ежевскаго и другихъ критиковъ.

«Самъ онъ», говоритъ Гречъ, «зналъ полатыни очень плохо; просто сказать, зналъ этотъ языкъ, какъ какая нибудь Польшка, пощающая католическую церковь. Ему помогъ одинъ мой родственникъ, и книжка вышла изрядная. Ежевскій и нѣкоторые другіе латинисты жаловались на заимствованія ихъ замѣчаній; но Булгаринъ оправдался тѣмъ, что упомянулъ объ этихъ заимствованіяхъ въ своемъ предисловіи. Въ то время втерся онъ къ Магницкому и Руничу и старался при ихъ помощи ввести эту книгу въ училища; но обѣщанія ихъ ограничились словами: книга не раскупалась, и Булгаринъ рѣшился пожертвовать ею въ пользу училищъ.»

Слѣдовательно, дебютъ на издательскомъ поприщѣ былъ неудаченъ. Пришлось испытать силы на другомъ. Тогда Карамзинъ знакомилъ Россію съ ея исторіею. Люди серьезные съ уваженіемъ отнеслись къ трудамъ исторіографа; полуграмотное большинство, даже барыни и барышни читали его исторію съ обязательнымъ вниманіемъ; о ней говорили даже въ великосвѣтскихъ гостиныхъ, въ которыхъ до тѣхъ поръ толковали лишь «о тюрлюрю атласномъ» да о «баржевыхъ эшарпахъ». Мода на исторію подала Булгарину мысль издавать журналъ, посвященный Русско-славянской исторіи, и Ѳаддей Венедиктовичъ, въ 1822 году, основалъ свой «Съверный Архивъ».

«Онъ печаталъ въ немъ статьи интересныя (говоритъ Гречъ,) но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ; коверкалъ имена собственныя, смѣшивалъ событія и, еслибъ издавалъ теперь, то не избѣжалъ-бы обличеній и насмѣшекъ; но въ тѣ блаженныя времена, когда *печатный листъ казался намъ святымъ*, и не то сходило съ рукъ. Желая придать сухому журналу болѣе интереса для читающей публики, Булгаринъ вздумалъ издавать при немъ особыя листки, подъ заглавіемъ «Волшебный Фонарь» и тутъ попалъ на свою колею. Небольшія, вообще сатирическія картины нравовъ и историческіе очерки понравились публикѣ и поощрили

его усердіе. Онъ занялся легкою литературою и оставилъ ученую <sup>14)</sup>, для которой не имѣлъ ни основательныхъ познаній, ни особеннаго дарованія. Я помогаль ему усердно, особенно сглаживая слогъ, который отзывался полонизмами и галлицизмами».

Но полонизмомъ отозвалось и самое выступленіе Булгарина въ роли Русскаго историка. «Въ Маѣ 1823 года (продолжаетъ Гречъ) происходило публичное чтеніе Общества Соревнователей Просвѣщенія и Благотворительности. По болѣзни президента, Ѳ. Н. Глинки, предсѣдательствовалъ я, какъ вице-президентъ. Читаны были отрывки изъ біографіи Фонъ-Визина, князя Вяземскаго, стихи В. И. Туманскаго и т. п. и, между прочимъ, отрывки изъ біографіи Марины Мнишекъ. Статья была слабая, плохо написанная: онъ не читаль ея, а мямлиль, и паденіе ея было совершенное. Это разсердило Булгарина и отвадило на нѣсколько лѣтъ отъ Русской исторіи, которую онъ-было считаль игрушкою».

Не великая бѣда, что Булгаринъ сорвался на Русской исторіи, вопреки пословицъ смѣлому удача... Возмутительно тѣ, что Ѳаддей, въ первый же годъ изданія Съвернаго Архива, войдя въ сношеніе съ ярыми Литвинами: Казиміромъ Контрымомъ (1772—1836), Іохимомъ Лелевелемъ (1786—1861) и Іосифомъ Сенковскимъ, впоследствии знаменитымъ барономъ Брамбеусомъ (1800—1858), составилъ съ ними цѣлый заговоръ къ ниспроверженію авторитета Н. М. Карамзина какъ Русскаго историка!!! <sup>15)</sup>. Не можемъ не привести нѣсколькихъ характеристическихъ выдержекъ изъ писемъ этихъ литературныхъ повстанцевъ, предпославъ имъ только замѣтку, что Булгаринъ за годъ передъ тѣмъ пресмыкался передъ Карамзинымъ, точно также какъ и предъ всѣми нашими именитыми учеными и литераторами того времени. Контрымъ—благодѣтель и покровитель Сенковскаго; Лелевель—знаменитость революціи 1830—1831 г.г.; Сенковскій... но кто-же не знаетъ, что за человекъ былъ баронъ Брамбеусъ! <sup>16)</sup>.

*Изъ писемъ Булгарина.* Отъ 15 Октября 1822 г., «Вся партія въ министерствѣ, которая называется dominante (главенствующая), весьма сочувственно смотритъ на выставленіе ошибокъ человека, ставящаго себя выше всѣхъ писателей, называющаго и Тацита и Ѳукидида глупцами, а Грековъ и Римлянъ—дикими людьми» <sup>17)</sup>. Отъ 22 Октября. «Смѣю просить уважаемаго земляка объ одной милости, т.-е. не подарить гордому исторіографу ни малѣйшей ошибки въ историческихъ фактахъ. Здѣшняя публика по преимуществу обращаетъ вниманіе на это и жадно ловитъ ошибки человека, котораго приверженцы почитаютъ непогрѣшимымъ, какъ католики папу <sup>18)</sup>... Имя ваше сдѣлается славнымъ въ Россіи <sup>19)</sup>, будутъ говорить: это тотъ Лелевель, который писалъ кри-

<sup>14)</sup> То-есть и на литературномъ поприщѣ, какъ во Французской военной службѣ онъ перешелъ въ „шеволежеры“.

<sup>15)</sup> См. Русская Старина 1873 г. Августъ и Сентябрь т. XXII, стр. 633—656, т. XXIII, стр. 75—98.

<sup>16)</sup> О немъ составлена нами особая статья.

<sup>17)</sup> Гдѣ и когда эти пошлости были высказаны Карамзинымъ?

<sup>18)</sup> Это наша то публика *ловила ошибки* Карамзина?!

<sup>19)</sup> Оно и прославилось въ 1830 году до такой степени, что Лелевель эмигрировалъ въ чужіе края, чтобы подѣлиться съ ними своею славою.

тику на Карамзина». Отъ 8 Декабря: «Имя ваше переходитъ изъ устъ въ уста у самыхъ высокопоставленныхъ лицъ, какъ Голицынъ, Сперанскій, Оленинъ и др. Нѣсколько фанатическихъ карамзинистовъ морщатся, хотя и они отдають вамъ справедливость. Карамзинъ молчитъ, ибо нечего сказать <sup>20)</sup>); я, для уврачеванія его раны, печатаю глупѣйшую похвалу ему, а потомъ разобью эти глупости, чтобы очистить отъ пятна мой журналъ». Отъ 13 Февраля 1823: «Становлюсь передъ вами на колѣна (падаю до ногъ?) и извиняюсь, что не писалъ. Нашъ семейный процессъ уже въ докладѣ. Здѣсь Воейковъ, издатель «Инвалида» и туфля Карамзина, хвастаетъ, что онъ велѣлъ Лобойкѣ настращать васъ. Клянусь честью, что это правда!... Ожидаю вашего подробнаго разбора и надѣюсь, что вы перестанете хвалить Карамзина, въ которомъ я ничего не вижу, кромѣ трескучихъ фразъ».

Булгарину вторилъ своими льстивыми письмами Сенковскій, ласкавшій предъ Контрымомъ и Лелеведемъ. Можетъ быть, мы слишкомъ серьезно смотримъ на поступокъ Булгарина; но изъ самыхъ фразъ его писемъ, изъ задорныхъ, нелѣпныхъ отзывовъ о Карамзинѣ, не очевидно-ли, что въ этой подпольной интригѣ была злонамѣренная мысль унижить гордость Россіи въ лицѣ ея исторіографа? Булгарины, Контрымы, Лелевели и Сенковскіе—критики Карамзина! Сколько чести для нихъ и какое безчестіе для него....

Запятнавъ страницы «Сѣвернаго Архива» статьями Лелевеля, Булгаринъ, конечно, уронилъ себя во мнѣніи именитыхъ, истинно-Русскихъ писателей того времени. Его отношенія къ нашему литературному міру заслуживаютъ упоминанія.

Предъ знаменитостями, каковы были: Карамзинъ, Жуковскій, Гнѣдичъ, Крыловъ, князь Шаховской, кн. Вяземскій, Булгаринъ, разумѣется, благоговѣлъ и преклонялся, тѣмъ ниже, чѣмъ язвительнѣе отзывался о нихъ заочно. Сердце его лежало болѣе къ кругу тогдашней литературной молодежи, относившейся враждебно къ представителямъ стараго поколѣнія: вопервыхъ, какъ къ послѣдователямъ классицизма, а во вторыхъ какъ къ консерваторамъ, защитникамъ принциповъ «временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма». Подружась съ Гречемъ, Булгаринъ неизбѣжно долженъ былъ подружиться съ соиздателемъ «Сына Отечества» Воейковымъ; наконецъ, сблизиться съ пріятелями Греча: Бестужевыми, Рыгѣевымъ, Кюхельбекеромъ, Батенковымъ, Грибоѣдовымъ. Разгадка пріязни автора «Горя отъ ума» къ Булгарину заключается въ умѣни, которымъ сей послѣдній обладалъ, въ умѣни льстить и воскурять еиміанъ всякому самолюбію вообще, авторскому въ особенности, самолюбіе же Грибоѣдова равнялось его высокому дарованію: одно было вѣрнѣйшимъ мѣриломъ другаго. Восхищаясь гениальностью Грибоѣдова, Ѳаддей Венедиктовичъ тѣшилъ его самолюбіе, жертвовалъ ему своимъ собственнымъ, терпѣливо переносилъ капризы и блюзгливныя вспышки своего «друга», служивалъ и угождалъ ему, какъ самый преданный дядька избалованному барчуку - питомцу. Это была привязанность собаки къ хозяину. Грибоѣдовъ цѣнилъ ее и любилъ

<sup>20)</sup> Сколько подлой лести и безсовѣтной лжи!

добраго своего «барбоса». Но позднѣйшее потомство не должно забыть, что Грибоѣдовъ «Горе» свое поручилъ Булгарину, что сему послѣднему мы одолжены сохраненіемъ вѣрнѣйшей рукописи «Горя отъ ума» и ея распространенію по Россіи. Тотъ-же Ѳаддей, дрожа отъ страха быть притянутымъ къ отвѣту за знакомство свое съ Декабристами, нашелъ возможность сохранить до нашихъ временъ стихотворенія Рылѣева въ подлинномъ спискѣ ихъ несчастнаго автора. Умѣнье-ли Булгарина прилаживаться къ характеру своихъ знакомыхъ, или его свободомысліе въ молодыхъ годахъ—неизвѣстно, но Декабристы его любили, охотно посѣщали его домъ до и послѣ женитьбы Булгарина (свадьба его была лѣтомъ 1825 года). Подчасъ Александръ Бестужевъ и Рылѣевъ любили подтрунить надъ Булгаринимъ, въ полоткрыта говорили при немъ о завѣтныхъ своихъ замыслахъ, не дѣлали его своимъ сообщникомъ, но вѣрили ему, какъ честному человѣку, и не обманулись въ немъ: Булгаринъ не опозорилъ себя доносомъ на своихъ пріятелей. Никогда не доносилъ онъ и на племянника своего, декабриста Искрицаго... Но объ этомъ рѣчь впереди.

Упомянувъ о женитьбѣ Булгарина, мы, въ нашемъ разказѣ, забѣжали за годъ впередъ; но волей-неволей, для полноты очерка домашняго быта Ѳаддея Венедиктовича упомянемъ здѣсь объ одной личности, игравшей въ его закулисной жизни непоследнюю роль. Эта личность была самозванная тетушка жены Булгарина, прославившаяся въ роли домашней Мегеры подъ именемъ «танты», женщина далеко не глупая, но злая, строптивая, злоязычная, ядовитая. Эта «танта», уроженка Риги или Ревеля, прежде была, какъ говорятъ... какъ бы выразиться поучтивѣе? На Русскомъ языкѣ нѣтъ для означенія этой профессіи инаго слова кромѣ общеупотребительнаго, но нехорошаго; Французская *entremetteuse*, Итальянская *guffiana*, все какъ-то деликатнѣе. Но неблаговидное прошедшее «танты» не препятствовало ей, попавъ въ родственницы къ Булгарину, пользоваться расположеніемъ его знакомыхъ; Декабристы ласкали ее, о ней въ письмахъ своихъ къ Булгарину и его женѣ упоминалъ и Грибоѣдовъ. Ѳаддей крѣпко побаивался «танты» и былъ, какъ говорится, у нея подъ башмакомъ. Въ большинствѣ случаевъ совѣты этой «гнусной, злой бабы», какъ называетъ ее Гречъ въ біографіи Булгарина, много ему вредили въ домашнихъ и даже литературныхъ дѣлахъ.

Черезъ три года послѣ Семеновской исторіи надъ Николаемъ Ивановичемъ Гречемъ стряслась новая бѣда, неожиданно и негадано.

Тогда мистицизмъ былъ въ Петербургѣ въ такой-же модѣ, какъ нынѣ отчасти сродный ему спиритизмъ. Напускное юродство мистицизма, распространенное въ высшихъ классахъ общества, проникло въ средній классъ и въ литературный міръ. Іезуиты, незадолго передъ тѣмъ изгнанные изъ Россіи, надѣялись прорыть себѣ лазейку чрезъ обоюго пола мистиковъ или, пожалуй, мистификаторовъ, морочившихъ нашу знать, для которой и «Отче Нашъ» на Французскомъ языкѣ былъ какъ-то понятнѣе и внушительнѣе, нежели на Славянскомъ. Дѣды наши, также точно увлекались заѣзжими проповѣдниками мистицизма, какъ внуки Американскими медіумами и Англійскими раскольниками. — Въ

1823 году прибыли въ Петербургъ два католическіе патера: Линдль и Госнеръ и въ самое короткое время привлекли своими проповѣдями великое множество православныхъ слушателей, первый въ Мальтійскую церковь Пажескаго корпуса, второй—въ церковь Св. Екатерины на Невскомъ. Окружавшіе ихъ православные и протестанскіе слушатели, по словамъ Греча, «выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колѣна»<sup>21)</sup>. Это было-бы, конечно, извинительно слабонервнымъ или слабоумнымъ барынямъ; но посѣтителеми католическихъ церквей были: Магницкій, Руничъ, Кавелинъ, Поповъ, Сѣровъ, князь Ливень, Пезаровіусъ, Адеркасъ, Шубертъ, Фонъ Поль, Брискорнъ—люди умные, ученые, заслуженные. Госнеръ написалъ на Нѣмецкомъ языкѣ толкованіа на Новый Завѣтъ, дозволенные къ напечатанію; инженерный генералъ-маіоръ Брискорнъ вздумалъ перевести ихъ на Русскій языкъ и поручилъ переводъ чиновнику Трескинскому и бывшему профессору Казанскаго университета Яковкину. Когда рукопись принесли въ типографію Н. И. Греча для напечатанія, двоюродный его братъ, Павелъ Христіановичъ Безакъ нашелъ переводъ до того бессмысленнымъ, что попросилъ Николая Ивановича взять на себя трудъ его исправить; Гречь согласился. Между тѣмъ, осенью 1823 года Брискорнъ умеръ, окончаніе перевода взялъ на себя В. М. Поповъ и перевелъ нѣсколько главъ. Въ началѣ 1824 года Магницкій, задумавшій повредить князю А. Н. Голицыну въ мнѣніи Государя, сочинилъ доносъ, будто-бы князь врагъ Православія, дозволяетъ къ печатанію книги, колеблющія самыя основы Христіанства, какова именно книга Госнера, печатаемая въ типографіи Греча. Выкрывъ чрезъ хитрыхъ шпионовъ два листка печатаемой книги, Магницкій передалъ ихъ Аракчееву; Аракчеевъ—Шишкову, который, судя по нимъ, произнесъ окончательный приговоръ надъ всею книгою. 29 Апрѣля, архимандритъ Фотій донесъ императору Александру I: «Гречь первый злодѣй съ сей стороны, да Тимковскій (цензоръ). Да еще и тайное печатаніе у нихъ бываетъ». Не смотря на дозволеніе къ печати книги Госнера, давнее цензоромъ Бируковымъ, не смотря на явную неподсудность Греча, какъ содержателя типографіи, онъ, вмѣстѣ съ переводчиками книги, былъ отданъ подъ судъ, длившійся четыре года и окончившійся полнѣйшимъ оправданіемъ Николая Ивановича...

Устраненный отъ службы по Министерству Народнаго Просвѣщенія, не принятый на службу по Министерству Финансовъ, Гречь, весной 1824 года находился въ весьма критическихъ обстоятельствахъ, тѣмъ болѣе, что и Сынъ Отечества «шелъ вяло», по его собственному сознанію<sup>22)</sup> Тогда задумалъ онъ издавать вмѣстѣ съ Булгаринымъ выходящую трижды въ недѣлю политическую и литературную газету.

Таково происхожденіе «Сѣверной Пчелы».

Лѣто и осень 1824 года будущіе издатели новой газеты посвятили предварительнымъ смѣтамъ, соображеніямъ и хлопотамъ, неразлуч-

<sup>21)</sup> Русскій Архивъ 1869 г., стр. 1403—1413.

<sup>22)</sup> Русскій Архивъ 1869 г., стр. 1413.

нымъ съ подобнаго рода предпріятіями. Булгаринъ высказалъ при этомъ много сноровки, сообразительности, настойчивости, и—говоря по справедливости, былъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ исходатайствованіи дозволенія у министра Шишкова на изданіе Сѣверной Пчелы. Какими путями, черезъ кого именно онъ дѣйствовалъ <sup>23)</sup>, въ отвѣтахъ на эти вопросы существуетъ много противорѣчій.. Во всякомъ случаѣ, Булгаринъ могъ дѣйствовать смѣлѣе и самостоятельнѣе Греча, такъ какъ противу сего послѣдняго были крайне ожесточены многія административныя лица, которыя едва-ли дозволили бы ему одному, тѣмъ болѣе находившемуся подъ судомъ, издавать газету.

### III.

Занимаясь заготовленіемъ матеріаловъ и наборомъ сотрудниковъ для изданія «Сѣверной Пчелы», Булгаринъ нашелъ время составить и выпустить въ свѣтъ на 1825 годъ, театральнй альманахъ: «Русская Талія». Судя по примѣчанію въ предисловіи, что обѣщанныя для приложенія къ альманаху ноты не могли быть приложены, вслѣдствіе ихъ порчи при наводненіи 7-го Ноября, очевидно, что изданіе приготавлялось съ осени 1824 года. Какъ библиографическая рѣдкость, этотъ альманахъ заслуживаетъ подробнаго разбора. Форматъ его малая восьмушка; число страницъ IX + 443. «Руская Талія» на фронтисписѣ отпечатано Славянскими буквами <sup>24)</sup>, что крайне не пристало книгѣ посвященной театру; внизу—видъ Большаго Театра. Полное заглавіе: «Русская Талія. Подарокъ любителямъ и любительницамъ отечественнаго театра на 1825 годъ. Издалъ Ѳаддей Булгаринъ».

1) Предисловіе и заимѣтка о пяти портретахъ, приложенныхъ къ альманаху: кн. А. А. Шаховскаго, К. С. Семеновой, В. А. Каратыгина, А. И. Истоминой (гравир. Іорданъ) и К. А. Телешевой (грав. Гейтманъ). Послѣдняя причислена къ первокласснымъ артистамъ во первыхъ, за свою миловидность, во вторыхъ за близкое родство съ княземъ Шаховскимъ, въ третьихъ за благосклонность, которою ее удостоивалъ графъ М. А. Милорадовичъ.

2) Историческій взглядъ на Русскій театръ до начала XIX столѣтія (Н. И. Греча); тутъ біографіи: Волкова, Дмитревскаго, Крутицкаго, Плавильщикова и Яковлева.

3) Отрывокъ изъ трагедіи: „Венцеславъ“ (А. А. Жандра).

4) Изъ комедіи „Школа Женщинъ“ (Н. И. Хмьльницкаго).

5) Нѣчто о театральной музыкѣ (кн. А. А. Шаховскаго).

6) Изъ трагедіи „Марія Стюартъ“ (Н. Ф. Павлова).

7) Изъ трилогіи: „Керимъ Гирей“ (кн. А. А. Шаховскаго).

8) Изъ комедіи: „Благородный театръ“ (М. Н. Загоскина).

9) Путешествіе изъ райка въ ложу 1-го яруса (Ѳ. Буларина).

10) Изъ трагедіи: „Андромаха“ (П. А. Катенина).

11) Изъ комедіи „Нерѣшительный, или семь пятницъ на недѣлѣ“ (Н. И. Хмьльницкаго).

12) Изъ волшебной трилогіи „Финя“ (кн. А. А. Шаховскаго).

13) Философическій взглядъ за кулисы (Ѳ. Буларина).

<sup>23)</sup> Старикъ Шишкову въ это время уже вскружила голову Полька Нарбутъ, позднѣе его супруга. П. Б.

<sup>24)</sup> Знали, чѣмъ угодить министру просвѣщенія. П. Б.



- 14) Изъ трагедіи Жуи: „Сила“ (П. А. Корсакова).
- 15) Изъ комедіи А. С. Грибоедова: „Горе отъ ума“ (Дѣйствіе I, явленіе 7—10 и дѣйствіе III—все; разумѣтся съ пропусками).
- 16) Изъ пародіи: „Греческія бредни, или Ифигенія въ Тавридѣ“ (кн. А. А. Шаховскаго и Н. И. Хмѣльницкаго).
- 17) Междудѣйствіе, или разговоръ въ театрѣ о драматическомъ искусствѣ (А. О.).
- 18) Изъ трагедіи „Владимиръ Мономахъ“ (Висковатова).
- 19) Изъ комедіи: „Тетушка, или она не такъ глупа“ (кн. А. А. Шаховскаго).
- 20) Изъ трагедіи „Меропа“ (С. Н. Марина).
- 21) Изъ водевиля: „Ворожея, или танцы духовъ“ (кн. А. А. Шаховскаго).
- 22) Куплеты изъ водевиля: „Суженаго конемъ не объѣдешь“ (Н. И. Хмѣльницкаго).
- 23) Театральные анекдоты и афоризмы.
- 24) Списокъ артистовъ и артистокъ С.-Петербургскихъ театровъ.

Въ первый годъ «Сѣверная Пчела» издавалась въ форматѣ печатнаго полулиста, съ изображеніемъ улья на заголовкѣ. Выходила три раза въ недѣлю. Цензоромъ ея былъ А. И. Красовскій. Каждый номеръ состоялъ изъ рубрикъ: внутреннихъ и заграничныхъ извѣстій, нравоописательныхъ разсказовъ, бібліографіи, модъ и смѣси. Въ теченіе перваго полугодія особенно замѣчательными статьями были: Бульжнникъ и Алмазь, И. А. Крылова (№ 1), Палей—К. О. Рылѣва (№ 2), Свинья подъ дубомъ, И. А. Крылова (№ 5), Къ Ч—ву А. П. (Пушкина) (№ 12), «Вѣръ Николаевнѣ Столыпиной», К. О. Рылѣва (№ 57). Рецензіи: I главы «Евгенія Онѣгина» (№ 23); «Войнаровскаго» (статья Булгарина, № 32). Осыпая автора восторженными похвалами, приводя отрывки изъ его поэмы, рецензентъ, между прочимъ, говоритъ: «Эта поэма—чистая струя, въ которой отсвѣчивается душа благородная, возвышенная, исполненная любви къ родинѣ и человѣчеству». Точно также съ большимъ сочувствіемъ рецензентъ отзывается о «Думахъ» К. О. Рылѣва (изданы въ 1825 г. въ Москвѣ VIII†172 стр. въ 8. д. л.) (№ 37); объ Альманахѣ «Полярная Звѣзда» (№ 40) и о «Чернецѣ» И. И. Козлова (№ 47); за то жестоко нападаетъ на «Мнемозину» кн. В. О. Одоевскаго и В. К. Кюхельбекера (№ 127): эта статья была причиною разрыва сего послѣдняго съ Булгаринимъ. Въ отдѣлѣ внутреннихъ извѣстій чаще всякихъ другихъ встрѣчаются разсказы о подвигахъ человѣколюбія и о выданныхъ за нихъ наградахъ, обыкновенно медаляхъ «за спасеніе человѣчества» и деньгами—500 р. асс. Тогда жизнь человѣческая была не такъ дешева, какъ теперь. Придворныя извѣстія отличаются краткостью; лично объ императорѣ Александрѣ Павловичѣ почти нѣтъ никакихъ сообщеній. Въ № 69 любопытно высочайшее повелѣніе отъ 27 Мая 1825 года о сооруженіи памятника Димитрію Донскому. Изъ извѣстій заграничныхъ напечатаны: Замѣтка о холерѣ (№ 7), о Греческой войнѣ, о смерти лорда Байрона, о процессѣ изверга Папавуана <sup>25)</sup> (№№ 28 и 29). Некрологи разныхъ чиновныхъ особъ отличаются восторженными восхваленіями ихъ памяти. Если-бы не полемическія статьи съ нападками на Воейкова и Полеваго, «Сѣверную Пчелу», въ первый годъ изданія, можно было бы назвать вторымъ «Благонамѣреннымъ» или «Другомъ Дѣтей». Вниматель-

<sup>25)</sup> Онъ убивалъ дѣтей ради удовольствія. Ему отрубили голову.

ность къ публикѣ была примѣрная. Возвѣщая на 4 Августа о скачкахъ на Волковомъ полѣ и о пари графа Орлова за казацкихъ лошадей противу Англійскихъ, редакция, по ошибкѣ, вмѣсто 5 часовъ *утра*, напечатала 5 *по полудни*: поправка была немедленно разослана въ особомъ приравленіи, даже не на другой день скачекъ, а дня за три. Похвально!

Вслѣдъ за рецензіей «Мнемосины» въ № 132 была напечатана полемическая статья, направленная на редактора «Московского Телеграфа» Н. А. Полеваго. Онъ, какъ извѣстно, ознакомился съ Французскимъ языкомъ самоучкою и въ своихъ переводахъ дѣлалъ ошибки не позволительныя гимназисту младшаго класса. Въ одной статьѣ цвѣтъ gris-roussiette (пыльно-сѣрый) онъ перевелъ: «грипусе»; les sires de Bar—«владѣльцы, или властители Барскіе». Собственное имя: Gui—вышло у него—«Гюй - эю - Буссиколь». Отстрѣливаясь отъ справедливыхъ нападокъ «Пчелы», Полевой предложилъ ей, вмѣсто заглавной виньетки, взять «созвѣздіе Рака». Редакторы подъ этою виньеткою наполнили цѣлый столбецъ поправками ошибокъ Полеваго въ его переводахъ съ Французскаго языка. Нѣкоторые поправки обнаруживаютъ придиричливость, за то другія—совершенное невѣжество переводчика - самоучки; таковы: j'irai—я иду; la vaisselle, утварь, посуда (у Полеваго—бѣлье), plus de deux cents—двѣсти, Guienne—Гвиана, вмѣсто: Гюйеннь, или Гюйенна (область Франціи). «Пчела», исправляя эту ошибку, замѣняетъ ее словомъ: Гиенна, т. е. дѣлаетъ сама грубѣйшую ошибку!. Fugitif у Полеваго—злодѣй, prudent—благочестивый, brun-noir—темно-черный (!), cent—пять. Статья подписана: «Этьеннь, Грипусе, Сиры Барскіе и Гюй-эю-Буссиколь».

Въ № 133, по поводу представленія балета «Сатана со всѣмъ приборомъ», играннаго въ бенефисъ танцовщицъ Телешовой и Азаревичевой, напечатаны слѣдующіе стихи:

Всѣ ждуть... полны партеръ и ложа,  
На сцену наведенъ лорнетъ.  
Открылась завѣсь: блистательный балетъ,  
Рисуются легки, и ловки, и пригожи (?)  
Плѣвняютъ взоръ... Игра—ума полна  
И, сердцу говорятъ искусствомъ обладая,  
Плѣняетъ зрителя *Сердитая Жена*  
И миловидная *Башмачница Младал!*

«Жена» и «Башмачница» — главные роли въ балетѣ, которыя исполнялись бенефициантками.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ (съ Сентября по Ноябрь) въ «Съверной Пчелѣ» тянулся рассказъ Булгарина: «Путешествіе хладнокровнаго по гостиннымъ». Въ «Смѣси», замѣнявшей фельетонъ, совѣты публикѣ посѣтить звѣринецъ, косморамы Лексы и Галлобека, представленія скорохода. Въ разныхъ извѣстіяхъ: воспоминаніе о наводненіи 7-го Ноября 1824 года, о кометѣ (съ успокоительною замѣткою, что она отнюдь не можетъ столкнуться съ земнымъ шаромъ), о Кавказѣ, о новой дорогѣ въ Симферополь, о стеклянной кровати, предназначенной въ по-

дарокъ Персидскому шаху; нѣсколько пустынькихъ переводныхъ статей... Внутреннія и политическія извѣстія перепечатывались изъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и изъ „Journal de St.-Petersbourg“. Онѣ становятся любопытны съ первыхъ чиселъ Ноября.

№ 135. С.-Петербургъ 9 Ноября. Изъ Таганрога пишутъ: Его Величество Государь Императоръ, возвратясь изъ Азова, чрезъ Ростовъ и Нахичевань 15 Октября, изволилъ отправиться 20 числа въ Крымъ, откуда возвратился сюда, въ Таганрогъ 5 Ноября. Ея Величество Государыня Императрица Елисавета Алексѣевна пользуется вождѣннымъ здравіемъ.

— 3-го Ноября: Его Высочество Государь Великій Князь Михаилъ Павловичъ изволилъ отправиться отсюда (изъ С.-Петербурга) въ Варшаву. 11-го Ноября (изъ-за границы): Его Императорское Высочество Цесаревичъ Великій Князь Константинъ Павловичъ проѣхалъ чрезъ Бреславль. Его Высочество безостановочно изволилъ продолжать путешествіе свое въ Варшаву.

*Четвергъ 19 Ноября* (№ 139). Большая часть нумера занята отчетомъ глазной лечебницы. Подъ рубрикою «театры» означенъ бенифисъ актрисы Ежовой: комедія Аристофанъ и водевилъ — Дворецъ Правды.

№ 142. Сообщение изъ Новочеркасска о встрѣчѣ Государя Императора и объ его пребываніи въ этомъ городѣ, 14 Октября.

№ 143. Суббота, 28 Ноября (въ траурной рамкѣ по всѣмъ странамъ) С.-Петербургъ 27 Ноября:

Неисповѣдимый въ судьбахъ Своихъ Промыслъ Всевышняго посѣтилъ Россійскую Имперію горестію, коей никакими словами выразить невозможно. Прибывшій 27-го сего Ноября изъ Таганрога курьеръ привезъ печальную вѣсть о кончинѣ Его Величества Государя Императора Александра Павловича. При первомъ извѣстїи о семъ неожиданномъ несчастїи Августѣйшіе Члены Императорскаго Дома, Государственный Совѣтъ и Министры собрались во дворецъ, гдѣ Его Высочество Великій Князь Николай Павловичъ сначала, а за нимъ и всѣ собравшіеся чиновники, принесли присягу въ вѣрности Его Императорскому Величеству Государю Императору *Константину Первому*.

Вторникъ 1-го Декабря (№ 144) передовая статья о кончинѣ императора Александра I. Извѣстіе о состоянїи здоровья императрицы Марїи Ѳеодоровны. Послѣдовательный бюллетень о началѣ и ходѣ болѣзни покойнаго императора, съ 17-го Ноября.

*Особое прибавленіе къ № 145.* „3 Декабря, 10 часовъ утра, Ея Императорское Величество Государыня Императрица Марїа Ѳеодоровна изволила почивать въ прошедшую ночь хорошо и чувствуетъ себя лучше вчерашняго дня. Ея Величество Государыня Императрица обрадована возвращеніемъ изъ Варшавы Его Высочества Государя Великаго Князя Михаила Павловича, который, слѣдуя влеченію нѣжнаго сыновняго сердца, поспѣшилъ къ ней немедленно по полученїи извѣстія о кончинѣ блаженной памяти Императора Александра Павловича. Его Величество Государь Императоръ Константинъ Павловичъ находится, благодаря Всевышнему, въ вождѣленномъ здравїи“.

## IV.

Отъ великаго до смѣшнаго—одинъ шагъ! Кровавое событіе и редакція Съверной Пчелы; рѣшеніе судьбы Русскаго царства, междуусобіе, боевая пальба, кавалерійская атака въ центрѣ столицы, и Булгаринъ! Чтò могло быть общаго между ними? Общаго ничего не было и не могло быть; но «Декабристы» были дружны съ Гречемъ и Булгаринымъ и почти ежедневно бывали у нихъ. Кюхельбекеръ все лѣто 1825 года гостилъ на дачѣ у Греча. Не посвящая въ свои тайны редакторовъ Съверной Пчелы, Декабристы не скрывали отъ нихъ своего либеральнаго образа мыслей; еще лѣтомъ Рылѣевъ, шутя, говорилъ Булгарину:

— Если случится бунтъ, мы тебѣ на твоей Съверной Пчелѣ отрубимъ голову!

И этотъ бунтъ вспыхнулъ, можетъ быть неожиданно для самихъ Декабристовъ; вспыхнулъ, какъ подкопъ, въ который преждевременно упала искра. Въ страшномъ взрывѣ погибли сами минеры.

Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, нельзя не убѣдиться, что при подобной соприкосновенности къ вожакамъ бунта могъ-бы не на шутку струсить и не одинъ Булгаринъ.

Гречь, жившій тогда на углу Исаакіевской площади и Новоисаакіевской улицы въ домѣ Бремме, утромъ 14 Декабря отправился въ сенатскую книжную лавку за манифестомъ, въ сопровожденіи Булгарина.

«Еслибъ я зналъ», сказалъ Гречу Ѳаддей Венедиктовичъ, «что ты умѣешь хранить тайну, то сообщилъ-бы тебѣ секретъ»...

— «Не хочу знать твоихъ глупыхъ секретовъ!» отвѣчалъ Николай Ивановичъ.

— «Ну, ну, не сердись! Скажу тебѣ, что Александръ Бестужевъ бѣжитъ въ эту ночь.

— «Такъ, вотъ твой секретъ!» возразилъ Гречь. «Чтò тутъ дивнаго? Бестужевъ, адъютантъ герцога Виртембергскаго, конечно нагрубилъ или сдѣлалъ какую-либо непріятность великому князю (Николаю Павловичу) и теперь струсилъ. Скажи пожалуйста, кто тебѣ открылъ это?»

— «Танта!» отвѣчалъ смутившійся Булгаринъ и прервалъ разговоръ.

По возвращеніи домой, Гречь въ кругу своей семьи сталъ читать манифестъ. Кромѣ домашнихъ при этомъ присутствовали: Булгаринъ, племянникъ его Демьянъ Александровичъ Искрицкій и маклеръ Толченновъ. Вдругъ въ передней раздался звонокъ, и въ комнату вошелъ В. К. Кюхельбекеръ, разстроенный, со взглядомъ театральнаго бандита.

— «Чтò вы читаете?» спросилъ онъ Греча по-французски, «кажется манифестъ?»

— «Да, манифестъ», отвѣчалъ Николай Ивановичъ. «Слушайте»...

При остановкѣ на какомъ-то пунктѣ Кюхельбекеръ спросилъ: «А позвольте узнать, отъ котораго числа отречение Константина Павловича?»

— Я и не видалъ.. Посмотримъ: отъ 26-го Ноября... Отъ 26-го? Хорошо, прощайте!

Булгаринъ, «съ которымъ онъ тогда былъ на ножахъ», сказалъ, подавая ему руку: Здравствуйте Вильгельмъ Карловичъ!—Здравствуйте и прощайте! сказалъ Кюхельбекеръ и ринулся изъ комнаты. Это было часу въ двѣнадцатомъ утра. Въ сумерки, послѣ ружейнаго бѣглаго огня, на Исаакіевской площади прогрехотали пушечные карачные выстрѣлы, возвѣстившіе жителямъ столицы окончаніе мятежа, а съ нимъ спасеніе царскаго дома и Россіи. Когда водворилась тишина, Булгаринъ поспѣшилъ домой (на Офицерскую, въ домъ Струговщикова).

Въ первомъ часу ночи у дверей квартиры Греча раздался громкій звонокъ. Поспѣшили отворить: вошелъ полиціимейстеръ Чихачевъ «сопровождаемый отрядомъ Санта-Германдада», квартальными, жандармами <sup>26)</sup> драгунами и т. п. Не извиняясь передъ хозяиномъ, Чихачевъ подалъ ему бумагу, въ которой было написано: «Гдѣ живетъ Кюхельбекеръ? Гдѣ живетъ Каховскій?» и еще нѣсколько фамилій съ вопросами объ ихъ адресахъ. Гречъ сказалъ адреса. «Знаете-ли, кто написалъ это? Самъ Государь!» замѣтилъ Чихачевъ. — «Хорошо пишеть», отвѣчалъ Николай Ивановичъ. Чихачевъ со своею свитою удалился.

Позднимъ вечеромъ былъ и у Булгарина неожиданный посѣтитель, но совершенно въ другомъ родѣ. Въ попыткахъ, встревоженный, дрожа всѣмъ тѣломъ, къ нему вбѣжалъ сотрудникъ С. Пчелы Орестъ Михайловичъ Сомовъ.—«Фаддей, отецъ родной, спаси!» кричалъ онъ, едва переводя духъ. «Я замѣченъ въ сегодняшней исторіи.. меня разыскиваютъ».—Булгаринъ заметался во всѣ стороны: и Сомова ему было жаль, да и обыска-то онъ побаивался. Разрѣшеніе пословицы: волки сыты и овцы цѣлы—немыслимо въ буквальномъ смыслѣ и крайне затруднительно въ переносахъ. Сначала Фаддей Венедиктовичъ хотѣлъ спрятать «Сомыча» въ шкафъ; потомъ одумался, помогъ ему переодѣться и, вручивъ двѣсти рублей денегъ, совѣтовалъ бѣжать изъ Петербурга. Сомовъ ушелъ, горячо благодаря своего избавителя...

«На другой день послѣ Петербургской вспышки (разсказываетъ Н. И. Гречъ), написалъ я записку о причинахъ этого возмущенія и, между прочимъ, сказалъ, что тому способствовало удаленіе многихъ способныхъ людей и въ томъ числѣ Максима Яковлевича Фоня Фока <sup>27)</sup>. Я подалъ эту бумагу новому военному генералъ-губернатору П. В. Кутузову для поднесенія Государю; но такъ какъ въ то время для се-

<sup>26)</sup> Николаю Ивановичу измѣняетъ память: учрежденіе жандармскаго корпуса отнесено къ 1826 году.

<sup>27)</sup> Максимъ Яковлевичъ Фоня Фокъ († 1831), дружный съ Н. И. Гречемъ, оказывалъ ему особенное покровительство. По отзывамъ лицъ знававшихъ Фоня Фока онъ былъ, дѣйствительно, доброй и благородной души человѣкъ, оказывавшій немало благодареніи лицамъ, обращающимся къ нему съ просьбами, по мѣсту его служенія.

кретныхъ дѣлъ составлено было III Отдѣленіе Собственной Е. И. В.—ва Канцеляріи <sup>28)</sup>, то онъ препроводилъ туда и эту бумагу. Такимъ образомъ она попала въ руки Фонъ-Фоку, который узналъ изъ нея мою дружбу и уваженіе къ нему, бывшему тогда въ немилости и всѣми оставленному. Это сблизило насъ еще болѣе и доставило мнѣ случай дѣлать при посредствѣ Фонъ-Фока много добра и еще болѣе предупредить зла. Булгаринъ побаивался его, помня за собою многіе грѣшки, впрочемъ неважные и происходившіе отъ дерзости смѣшанной съ трусостью. На третій день (16 Декабря) приходитъ ко мнѣ Булгаринъ и рассказываетъ, что Искрицкій объявилъ ему, что наканунѣ мятежа онъ былъ у Рылѣва, видѣлъ нѣкоторыхъ офицеровъ и другихъ, но въ разговорахъ и сужденіяхъ ихъ не участвовалъ. Булгаринъ прибавилъ, что это объявленіе его сконфузило, потому что у него, можетъ быть спросять, знаетъ-ли онъ о присутствіи Искрицкаго у Рылѣва: чтѣ дѣлать въ этомъ случаѣ? Я отвѣчалъ: «Если спросять, то отвѣчай правду; а пока не спрашиваютъ, молчи». Въ то время Булгаринъ былъ въ страшной тревогѣ и всячески старался допроситься, чтѣ происходитъ въ Слѣдственной Коммиссіи, кто и чтѣ отвѣчаетъ и т. п. Между тѣмъ, въ отсутствіи Булгарина къ нему за какой-то книгой зашелъ младшій Искрицкій, Александръ — юнкеръ артиллерійскаго училища. Говоря съ женою Булгарина, онъ, по старой памяти, назвалъ ее Леночкой (Lenchen), какъ звалъ до свадьбы. Танта за это наговорила ему дерзостей; онъ отвѣчалъ ей тѣмъ-же и уѣхалъ. Разобиженная танта пожаловалась Булгарину, а Ѳаддей Венедиктовичъ сгоряча написалъ къ старшему Искрицкому письмо, наполненное самою площадною бранью на его отца и мать. Искрицкій пришелъ къ дядѣ и въ присутствіи Владислава Максимовича Княжевича далъ ему пощечину. Булгаринъ отвѣчалъ тѣмъ-же; кончилось тѣмъ, что дядя съ племянникомъ передрались, а Ѳаддей Венедиктовичъ на другой-же день, *въ синихъ очкахъ* (чтобы скрыть фонари подъ глазами) поспѣшилъ къ Гречу.

— Бѣда мнѣ! Я побилъ вчера Демьяна и теперь вижу, что я погибъ... Онъ донесетъ, что я зналъ о присутствіи его въ собраніи Рылѣва! Гречъ старался утѣшить его, но Ѳаддей Венедиктовичъ былъ неутѣшенъ <sup>29)</sup>.

Часа черезъ четыре Гречъ, заѣхавъ къ Булгарину, къ крайнему его ужасу, объявилъ, что онъ ѣдетъ къ оберъ-полицеймейстеру А. С. Шульгину, присылавшему за нимъ жандарма. Цѣль этого приглашенія, какъ оказалось, заключалась въ очной ставкѣ Греча съ какимъ-то праздношатавшимся юношей, въ которомъ полиція заподозрила Кюхельбекера,

<sup>28)</sup> Здѣсь авторъ „Записокъ“ не совсемъ ясно выразился. Можно подумать, что данная имъ бумага была препровождена въ Третье Отдѣленіе тогда же; между тѣмъ она пролежала въ канцеляріи военнаго генералъ-губернатора около году и передана была во вновь учрежденное III-е Отдѣленіе Канцеляріи Его Имп. Величества, осенью 1826 года. Точно также не видно изъ разсказа Н. И. Греча, было-ли обращено на его до ладную записку вниманіе высшей правительственной власти. Известно, что при жизни Николая Ивановича ходило очень много преувеличенныхъ слуховъ и у насъ, и въ чужихъ краяхъ, объ особенномъ покровительствѣ оказываемомъ ему III Отдѣленіемъ.

<sup>29)</sup> См. „Русская Старина“, 1871. Ноябрь. Томъ IV, стр. 511.

скрывшагося изъ Петербурга. Николай Ивановичъ, отвергая всякое сходство арестованнаго съ Кюхельбекеромъ, призналъ въ немъ Протасова, племянника Александры Андреевны Воейковой и просилъ оберъ-полицеймейстера объ его освобожденіи. Булгаринъ ожидалъ ежеминутно обыска, ареста, чуть не смертной казни, и чувствовалъ себя подъ Дамокловымъ мечомъ. Онъ сокрушался, между прочимъ, и объ участи Ореста Сомова, который, къ крайнему удивленію Ѳаддея Венедиктовича, явился къ нему не только спокойный, но веселый и видимо довольный судьбой.

— Спасибо, Ѳаддей, спасибо! сказалъ онъ удивленному Булгарину. Дался-же ты въ обманъ!

— Какъ, что?.. чѣмъ... когда?

— Четвертаго-то дня вечеромъ. Вѣдь я тебя надулъ: никто меня не розыскивалъ, ни отъ кого я не скрывался, а деньжонками твоими попользовался!

— Ахъ ты плутъ! воскликнулъ Булгаринъ, не зная радоваться ему или сердиться. Подавай-же ихъ назадъ!

— И думать не мочи! Чтò взято, то свято; а будешь настаивать, либо взыскивать, такъ и донесу, что ты укрывалъ меня, какъ бѣзглаго заговорщика.

Сомовъ, конечно, не былъ никогда на это способенъ; но перетрусившійся Булгаринъ не претендовалъ на эту пошлую шутку, которая мало дѣлала чести его сотруднику.

Дня черезъ три поуспокоившійся было Ѳаддей Венедиктовичъ встрѣтилъ на улицѣ Андрея Андреевича Ивановскаго, чиновника канцеляріи Слѣдственной Коммиссіи.

— Бѣдный Искрицкій! сказалъ онъ Булгарину: его возьмутъ завтра. Доискались, что онъ былъ наканунѣ 14 числа въ совѣтъ у Рыльева.

Оторопѣвшій Булгаринъ немедленно послалъ къ племяннику записку, умоляя его пріѣхать, и когда Д. А. Искрицкій пришелъ къ нему, дядя сообщилъ племяннику объ угрожающей ему опасности.

— Покорнѣйше васъ благодарю за доносъ! отвѣчалъ тотъ.

Булгаринъ отвергъ это обвиненіе, поклявшися всѣмъ, чтò для него было святаго. На другой-же день, за Искрицкимъ въ чертежную военно-топографическаго депо явился адъютантъ П. В. Кутузова полковникъ Манзей и пригласилъ его въ крѣпость...

— Прощайте! сказалъ Искрицкій своимъ товарищамъ:— *это штука Булгарина!*

На этихъ необдуманыхъ словахъ раздраженнаго и перепуганнаго молодаго человѣка основалась традиціональная, гнусная клевета, будто Булгаринъ донесъ на племянника. На Искрицкаго Булгаринъ не доносилъ: его оговорилъ на допросахъ графъ К—ынъ...<sup>30)</sup>

Кто съ особенною любовью, съ самоуслажденіемъ занимался извѣтами и доносами при розыскахъ правительства о виновникахъ мятежа,

<sup>30)</sup> Этотъ разсказъ мы передаемъ въ томъ видѣ, какъ слышали его изъ устъ Н. И. Греча.

пользуясь ими какъ орудіемъ своей личной ненависти—это былъ знаменитый авторъ «Дома Сумасшедшихъ» Александръ Ѳедоровичъ Воейковъ... За два года до катастрофы 14 Декабря, дружа съ Булгаринимъ, онъ передъ нимъ пресмыкался, подставлялъ свою горбатую спину подъ его палочные удары, когда Булгаринъ пригрозилъ ему отнять у него редакцію «Русскаго Инвалида»; умолялъ Ѳаддея Венедиктовича пощадить его «Сашеньку» и ея дѣтей... Послѣ 14 Декабря Воейковъ гордо поднялъ голову, выросъ, становясь на ходули благонамѣренности и чувствованій истиннаго «Всероссійскаго» вѣрноподаннаго. Желая напакостить Булгарину, этотъ монархическій Маралъ возымѣлъ мысль адски-геніальную, на изобрѣтеніе которой могъ-бы быть находчивъ развѣ лишь закоснѣлый злодѣй, способный на убійство роднаго отца или матери... Но здѣсь нельзя не дать слова покойному Николаю Ивановичу Гречу <sup>31)</sup>:

«У него (Воейкова) хранилась на всякій случай записка, полученная имъ въ 1820 году отъ Булгарина, проигравшаго дѣло свое въ Сенатѣ:—«Все пропало. Я погибъ. Злодѣи меня сгубили. Проклинаю день и часъ, когда я пріѣхалъ въ Россію. Не знаю, чтѣ дѣлать и на чтѣ рѣшиться, чтобы выпутаться изъ моего ужаснаго положенія. *Ѳ. Булгаринъ*». Воейковъ прибавилъ къ этому только число: «15-е Декабря 1825 г.» и представилъ въ полицію. Дѣло вскорѣ объяснилось и не имѣло послѣдствій. Въ концѣ Декабря пришелъ ко мнѣ В. М. Княжевичъ и принесъ письмо, полученное имъ отъ неизвѣстнаго, въ которомъ изъяснялось удивленіе, что при арестованіи бунтовщиковъ и злодѣевъ оставили на волѣ двухъ важнѣйшихъ: Греча и Булгарина. Адресъ былъ написанъ рукою Воейкова, и записка запечатана его печатью <sup>32)</sup>. Я тогда лежалъ больной въ постель, послалъ за Жуковскимъ и, когда онъ пріѣхалъ, отдалъ ему произведеніе его друга и родственника. Жуковскій ужаснулся, поблагодарилъ меня за пощадку и сказалъ, что уймешь негодяя, но, видно, не успѣлъ. Недѣли черезъ двѣ Алексѣй Николаевичъ Оленинъ получилъ письмо изъ Москвы отъ тамошняго военнаго генералъ-губернатора князя Д. В. Голицына о ругательныхъ письмахъ и доносахъ, полученныхъ тамъ многими лицами, между прочимъ, издателемъ «Телеграфа» Н. А. Полевымъ и самимъ Голицынымъ. Князь, приведенный въ негодованіе гнусными навѣтами писемъ, хотѣлъ-было послать ихъ прямо къ Государю, для отысканія и наказанія подлыхъ клеветниковъ; но предварительно спросилъ у Полеваго, не знаетъ-ли онъ, чьею рукою они написаны? Полевой отвѣчалъ, что это, кажется ему, почеркъ руки Петербургскаго литератора Одина. Князь вспомнилъ, что видѣлъ этого литератора у А. Н. Оленина, и полагалъ, что Оленину непріятно будетъ, что опозорятъ знакомаго ему человѣка. Подозрѣвая, можетъ быть, что въ прозвищѣ его сокращено имя отца, какъ въ Бецкомъ, Пнинъ, Румянцовъ и т. п., онъ отправилъ письма

<sup>31)</sup> «Русская Старина» 1874 г. Мартъ, стр. 637—638.

<sup>32)</sup> На ней вырѣзано было: «14 Іюня 1814 года»—день свадьбы Воейкова на Александрѣ Андреевичѣ Протасовой, племянницѣ Жуковскаго.



къ Оленину, для вразумленія молодаго смѣльчака. Въ этихъ письмахъ опять называемы были Гречъ и Булгаринъ заговорщиками и бунтовщиками. Оленинъ, прочитавъ письмо, сказалъ съ досадою: «Какое мнѣ дѣло до Олина? Разъ какъ-то Гидичъ приводилъ его ко мнѣ, а впрочемъ я его не знаю. И что я за полицейскій!» Въ это время вошелъ въ комнату секретарь его, извѣстный археографъ и разборщикъ рукописей, А. Н. Ермолаевъ. Оленинъ далъ ему письмо и сообщилъ о своемъ недоумѣннн. — «Я знаю эту руку», сказалъ Ермолаевъ. «Это рука пьяницы (такого-то), котораго мы выгнали изъ канцелярн». «Отыскать его!» Черезъ часъ привели пьянаго писаря, и онъ объявилъ со слезами, что это, точно, его рука, что онъ написалъ двадцать копнй этого письма, по пяти рублей за каждую, по требованн Воейкова и запечатывалъ ихъ; а адреса надписывалъ уже самъ сочинитель. И тутъ дѣло пошло обычнымъ чередомъ: послали не за оберъ-полицеймейстеромъ, а за Жуковскимъ. Воейкова пожурили вновь и подвели подъ милостивый манифестъ—прекрасныхъ глазъ Александры Андреевны (его жены). Какъ однако ни старался бѣдный Булгаринъ избавиться отъ приглашенн въ Слѣдственную Коммиссн, его попросили туда пожаловать, по поводу его знакомства съ Декабристами вообще и Кюхельбекеромъ въ особенности. Послѣднн, арестованн въ Варшавѣ, показалъ на предварительныхъ допросахъ, что былъ сотрудникомъ и близкимъ знакомымъ Греча и Булгарина. Опросы ихъ были впрочемъ весьма непродолжительны, и оба пользовались совершенною свободою.

Въ Февралѣ 1826 года нарочный фельдъегерь привезъ съ Кавказа Грибоѣдова, заподозрѣннаго въ соучастнн съ заговорщиками 14 Декабря. Онъ провелъ подъ арестомъ въ Главномъ Штабѣ четыре мѣсяца (съ Февраля по Юнн). Во весь этотъ пернодъ времени Булгаринъ размѣнивался съ нимъ записками и исполнялъ разныя порученн невиннаго арестанта, доставляя ему книги, деньги и разныя разности<sup>31)</sup>. Со стороны Ѳаддея Венедиктовича это было своего рода самопожертвованнмъ. До исхода Юнн, т. е. до окончательнаго произнесенн приговора надъ преступниками, душа у Булгарина была не на мѣстѣ. Въ день его рожденн, 24 Юнн, Гречъ шутя напомнилъ Ѳаддею Венедиктовичу ихъ разговоръ, утромъ 14 Декабря, о бѣгствѣ Вестужева... На другой день, 25 Юнн (говорить Гречъ), пришелъ онъ ко мнѣ поутру и, нашедши нѣсколько чужихъ, повелъ меня въ другую комнату и сказалъ дрожащимъ голосомъ, съ умиленнымъ видомъ: «Любезнн Гречъ! Понимаю, что ты, какъ вѣриподданнн Государя, обязанъ доносить ему обо всемъ, что можетъ быть ему полезно. Но мнѣ, какъ старому другу, сдѣлай одолженн, если ты по долгу присяги донесъ о нашемъ разговорѣ Фонъ-Фоку... признайся откровенно, чтобъ я могъ принять мои мѣры». Я не зналъ, смѣяться-ли мнѣ, или сердиться этому глупому навѣту и отвѣчалъ: «Если ты думаешь, что я подлець, то я хочу, чтобъ ты не думалъ того-же о Фонъ-Фокѣ. Требую, чтобъ ты непременно сегодня-же поѣхалъ со мною къ нему, и узналъ, что это за

<sup>31)</sup> Эти записки были напечатаны въ Русской Старинѣ 1874 года, Юнн, стр. 282—286.

человѣкъ». Мы, дѣйствительно, отправились на дачу къ Фоку, и я представилъ ему Булгарина съ слѣдующими словами: «Вотъ Булгаринъ, о которомъ я доносилъ вамъ, что онъ участвуетъ въ заговорѣ Рылѣва и Бестужева!» М. Я. Фонъ-Фокъ принялъ насъ дружески. Булгаринъ разсыпался въ любезностяхъ и остротахъ и понравился, какъ хозяину, такъ и всему его семейству, водворился у него въ домѣ и посѣщалъ его ежедневно; но не доносилъ, а выпрашивалъ и выглядывалъ: не грозитъ-ли какая бѣда ему или Пчелѣ? Онъ былъ представленъ Фонъ-Фокомъ и Бенкендорфу; кланялся, льстилъ и хвалилъ попольски, но никогда не былъ употребляемъ по секретнымъ дѣламъ, и только жаловался на обиды, которыя претерпѣвалъ отъ Воейкова, Краевского и другихъ журналистовъ.

При всѣхъ стараніяхъ Греча примирить семейство Искрицкихъ съ Булгаринымъ и оправдать его въ возведенной на него напраслины и отвратительной клеветѣ, и старикъ Искрицкій, и сыновья его проклинали Ѳаддея Венедиктовича, называя его доносчикомъ и шпиономъ. Эта вражда была непримирима. Но тутъ, при всей неповинности Булгарина, былъ поводъ къ подозрѣнію, были хоть какія нибудь (весьма шаткія) данныя для основанія клеветы. Несравненно негѣше и совершенно неосновательнѣе была другая клевета на Булгарина, пущенная на листкахъ одного Лондонскаго изданія въ 1856 — 1857 гг. «Булгаринъ», сказано тамъ, «не только былъ участникомъ въ заговорѣ Декабристовъ, но даже съ утра роковаго дня приготовилъ въ типографіи, въ полномъ наборѣ, двѣ статьи: одну въ духѣ консервативномъ, въ защиту монархическихъ началъ, съ проклятыями мятежникамъ, другую совершенно противоположную... Онъ выжидалъ, чья возьметъ? Когда мятежники были обращены въ бѣгство, Булгаринъ опрометью бросился въ типографію и приказалъ метрампажу разобрать вторую, революціонную статью... Тотъ, не только не исполнилъ приказанія, но еще пригрозилъ Булгарину, что донесетъ на него, представивъ наборъ и оттискъ съ него въ полицію... Булгаринъ, долго не думая, выхватилъ изъ кармана пистолетъ, выстрѣломъ разможилъ голову метрампажу, рассыпалъ наборъ и самъ поспѣшилъ съ доносомъ, что-де убилъ злодѣя, намѣревавшагося печатать возмутительныя прокламаціи!»

Показывая намъ эту статью, покойный Николай Ивановичъ Гречъ хохоталъ до слезъ.—«Во всю свою жизнь», говорилъ онъ при этомъ, «Ѳаддей убилъ одного только Французскаго кирасира, да и то изъ-за угла, спрятавшись за штенемъ!..»

## V.

«Признаюсь», говоритъ Гречъ въ біографіи Булгарина <sup>34)</sup>, «еслибъ я зналъ, каковъ Булгаринъ дѣйствительно, то-есть какимъ онъ сдѣлался на старости, я ни за что не вошелъ бы съ нимъ въ союзъ. Но эти порывы мнѣ казались простыми вспышками вѣтранныя самолюбія. Я

<sup>34)</sup> Русская Старина 1871 г., томъ IV, Декабрь, стр. 493.

не видѣлъ, что въ этомъ скрывалась только исключительная жадность къ деньгамъ, имѣвшая цѣлью не столько накопленіе богатства, сколько удовлетвореніе тщеславію. Фридрихъ II сказалъ однажды о Полякахъ: «нѣтъ подлости, которой бы ни сдѣлалъ Полякъ, чтобъ добыть сто червонцевъ, которые онъ потомъ выброситъ за окно». Къ тому должно еще прибавить, что человѣкъ можетъ исправиться отъ тѣхъ привычекъ и слабостей, которыя привились къ нему отъ ложнаго воспитанія, отъ дурныхъ обществъ, примѣровъ и т. п.; но врожденныя свойства его, и хорошія, и дурныя, съ годами крѣпнуть и возрастаютъ. Такъ было и съ Булгаринымъ. Въ молодости онъ былъ любезенъ, остеръ, добродушенъ, обходителенъ; эти качества исчезали въ немъ съ каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увеличивалось въ немъ чувство зависти, жадности и своекорыстія, заглушая добрыя его свойства. Я приписываю странности и причуды Булгарина его воспитанію, обстановкѣ и послѣдовавшимъ обстоятельствамъ его жизни; но въ самой основѣ его характера было что-то невольное дикое и звѣрское. Иногда, вдругъ, ни съ чего, или по самому ничтожному поводу, онъ впадалъ въ какое-то изступленіе, сердился, бранился, обижалъ встрѣчнаго и поперечнаго, доходилъ до бѣшенства. Когда, бывало, такое изступленіе овладѣетъ имъ, онъ пуститъ себѣ кровь, ослабнетъ и потомъ войдетъ въ нормальное состояніе. Во время такихъ припадковъ, онъ дѣйствительно казался сумасшедшимъ и бѣшенымъ, и было бы несправедливо винить его за то: это были припадки болѣзни крови, уступавшіе механическимъ средствамъ, т. е. кровопусканію. Когда я убѣдился въ выраженіи недружелюбія, зависти и злобы въ Булгаринѣ, надобно было бы расторгнуть нашу связь; но отъ нея зависѣло благосостояніе моего семейства».

Въ характерѣ Булгарина была та отвратительная черта, что онъ воспламенялся ненавистью и злобою къ лицамъ, къ которымъ Гречъ бывалъ особенно расположенъ; съ ними-то преимущественно Оадей и старался поссорить друга своего, черня ихъ передъ нимъ безъ зазрѣнія совѣсти, не обращая вниманія ни на давность ихъ знакомства, ни на самое родство съ Николаемъ Ивановичемъ.

Первою жертвою ненависти Булгарина былъ Павелъ Христіановичъ Безакъ (род. 28 Сентября 1769 г.). Отецъ его былъ женатъ на родной теткѣ Греча, Аннѣ Ивановнѣ. П. Х. Безакъ, по отзыву Николая Ивановича, былъ человѣкъ тщеславный, не чуждый корыстолюбія, являвшій въ своемъ характерѣ странную смѣсь добра и зла, упрямства и слабости, ума и безразсудства <sup>35</sup>). Типографскія дѣла по журналамъ Греча находились въ вѣдѣніи Безака; онъ же былъ товарищемъ при основаніи собственной типографіи Николая Ивановича. Узы дружбы и родства Греча съ семействомъ Безака въ послѣдствіи скрѣпились замужествомъ дочери перваго, Софіи Николаевны, съ сыномъ Безака, Константиномъ († 1845). Старикъ Павелъ Христіановичъ умеръ въ холеру 1831 года. Старшая его дочь Елисавета († 1842)

<sup>35</sup>) Русскій Архивъ 1873 г. № 3, стр. 286—287.

была замужемъ за близкимъ родственникомъ Греча И. К. Борномъ.... Эти генеалогическія подробности мы приводимъ за тѣмъ, чтобы выяснитъ читателю пріязненныя отношенія между Гречемъ и П. Х. Безакомъ. Надобно было владѣть огромнымъ запасомъ наглости и самоувѣренности, чтобы задаться мыслию рассорить эти семейства; не меньшую долю дерзости надобно было имѣть въ запасѣ, чтобы въ разговорахъ—тѣмъ болѣе въ перепискѣ съ Гречемъ—отзываться о Безакѣ чуть ли не какъ о завязатомъ мошенникѣ. На всѣ эти подвиги у Булгарина хватило и наглости, и самоувѣренности, и дерзости. По поводу типографскихъ безпорядковъ Булгаринъ затѣялъ съ Гречемъ чисто дипломатическую переписку: съ нотами, меморандумами, ультиматумами и т. д. Онъ тѣмъ болѣе кипятился, чѣмъ хладнокровнѣе относились къ его выходкамъ невозмутимый Гречъ. Увѣренія въ любви, дружбѣ, уваженіи были у Булгарина пересыпаны разными циническими выходками, дерзостями и копѣчнымъ торгашествомъ. Кошелекъ бывалъ иногда для Булгарина самымъ чувствительнымъ мѣстомъ.

Недоразумѣнія были устранены, хозяйственные дѣла по изданіямъ вошли въ желанный порядокъ, и примиреніе не замедлило...

Подобно всѣмъ вспыльчивымъ характерамъ, способнымъ, въ минуты бѣшенства, разобидѣть и оскорбить человѣка, а потомъ любезничать, рассыпаться, подличать, Булгаринъ, желая загладить недавнія непріятности, причиненныя Гречу, поднесъ ему въ день рожденія, «поздравительное посланіе», не лишенное остроумія, преисполненное чувствъ, повидимому, самыхъ безкорыстныхъ, а между тѣмъ основанное на арифметическихъ расчетахъ, которыми авторъ старался доказать Гречу, что онъ, доживъ до сороковаго года жизни, жилъ въ сущности только шесть лѣтъ! Хорошо, еслибы только *такъ*, въ вычисленіяхъ величинъ неотъемлемыхъ, которыхъ нельзя ни убавить, ни прибавить, Фаддей Венедиктовичъ *обсчитывалъ* своего друга.

Участвуя, сравнительно съ Булгаринимъ, мало въ Сѣверной Пчелѣ и вообще въ журналахъ, Николай Ивановичъ, въ теченіи первыхъ десяти лѣтъ знакомства съ Булгаринимъ, обогатилъ нашу ученую литературу нѣсколькими капитальными произведеніями. Таковы были: Опытъ исторіи Русской литературы (Спб. 1822 г.); Исторія Русскаго театра (въ «Русской Талии» 1825 г.), Пространная и практическая Русская грамматика (1827 г.), Начальныя основанія Русской грамматики (1828 г.). Въ 1829 году Гречъ основалъ Журналъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и издавалъ его до 1831 года. Окончаніе слѣдственнаго дѣла о книгѣ Госнера (въ 1828 г.), развязавъ Николаю Ивановичу руки, дало возможность правительству убѣдиться въ совершенной благонадежности Греча, который въ 1829 году получилъ чинъ статскаго совѣтника. Вообще его служебное поприще и литературныя занятія продолжались, *ohne Hast, ohne Rast*, какъ говорятъ Нѣмцы. Николай Ивановичъ, избравъ предметомъ ученыхъ своихъ трудовъ Русскій языкъ, одного этого предмета и придерживался, не хватаясь за все, подобно Булгарину.

Изданіе «Сѣверной Пчелы» совпало со временемъ основанія Н. А. Полевымъ «Московскаго Телеграфа». Этого было достаточно, чтобы

Булгаринъ воспылаеть враждою и къ изданію, и къ издателю. «Признаюсь теперь, по прошествіи пятидесяти лѣтъ» (говоритъ Н. И. Гречъ въ біографіи Булгарина), «что я могъ бы въ то время остановить Булгарина, но меня забавляла эта брань; къ тому же я былъ товарищемъ Булгарина и считалъ обязанностью помогать ему въ оборонѣ; да и высокоумный и заносчивый Полевой самъ подавалъ къ тому поводъ.»

Вражда Булгарина съ Полевымъ имѣла характеръ перемежающійся: они сходились и расходились, позорили, громили другъ друга безпощадно, потомъ обоюдно размѣнивались любезностями и похвалами. Изъ всѣхъ литературныхъ враговъ Булгарина Полевой могъ назваться сильнѣйшимъ: онъ умѣлъ полемизировать и находить въ своемъ противникѣ Ахиллесову пятку... Измайловъ безобразно ругался, тратя на свою руготню болѣе грязи, нежели жолчи; Воейковъ вмѣстѣ съ язвительными статьями пускалъ въ ходъ извѣты и доносы... Полевой былъ, сравнительно скромнѣе, сдержаннѣе. Въ 1827 году, въ бытность Полевого въ Петербургѣ, Гречъ и Булгаринъ сошлись съ нимъ на обѣдѣ у П. П. Свинына, редактора «Отечественныхъ Записокъ». Съ тѣхъ поръ, по словамъ Греча, Полевой оставался съ нимъ въ дружбѣ, но съ Булгаринымъ «не обходилось безъ вспышекъ» (да еще и какихъ!). Обѣдъ у Свинына подалъ поводъ Воейкову написать на хозяина и на гостей пасквильную статью въ журналъ «Славянинъ».

Появленіе въ томъ же 1827 году романа Булгарина «Иванъ Выжигинъ» снискало автору давно желанную, громкую извѣстность. Обличеніе мошенничествъ мелкихъ чиновниковъ, вѣрность характеровъ, картины схваченныя живьемъ съ природы чрезвычайно нравились публикѣ всѣхъ классовъ общества. Грибоѣдовъ, критикъ придирчивый и скупой на похвалы, писалъ Булгарину изъ Тифлиса (отъ 16 Апрѣля 1827 года): «Первая глава твоей «Сиротки» такъ съ природы списана, что (просто, душа моя) невольно подумаешь, что ты самъ, когда нибудь, валялся съ Кудлашкой. Тѣфу, пропасть! какъ это смѣшно и жалко, а справедливо. Я нѣсколько разъ заставлялъ моего Александра <sup>36)</sup>, когда онъ это читалъ вслухъ своимъ пріятелямъ. Многіе просятъ, чтобы ты непременно продолжалъ и окончилъ эту повѣсть».

«Иванъ Выжигинъ» былъ удостоенъ вниманія великаго князя цесаревича Константина Павловича, который, какъ извѣстно, не особенно любилъ заниматься легкимъ чтеніемъ. Наконецъ, романъ Булгарина удостоился перевода на нѣкоторые иностранные языки—честь выпадавшая на долю лишь первоклассныхъ Русскихъ писателей. Столь блестящіе успѣхи, лстя авторскому самолюбію Булгарина, способствовали совершенному обезпеченію его въ домашнемъ быту и пріобрѣтенію прекраснаго имѣнія, Карлова, близъ Дерпта.

На святой недѣлѣ 1828 года, Булгаринъ готовился издать три тома своихъ сочиненій «съ портретомъ автора». По этому поводу онъ написалъ къ Н. А. Полевому, письмо <sup>37)</sup>, изъ котораго приводимъ выдержку: «Сегодня вечеромъ (19 Февраля 1828 г.) получилъ я 2 №

<sup>36)</sup> Молочнаго брата и камердинера Грибоѣдова, убитаго въ одинъ день съ нимъ.

<sup>37)</sup> Оно было напечатано въ Русской Старинѣ 1871 года, Декабрь, стр. 678—680.

«Телеграфа» на 1828 годъ и при немъ вырѣзки изъ другой книжки, гдѣ находится рецензія моихъ сочиненій. Хотя вы меня погладили какъ мачиха, то есть противъ шерсти, но благородный тонъ критики и хладнокровіе, съ которыми вы царапнули меня, внушаетъ мнѣ полное къ вамъ уваженіе. Вы ошиблись въ главномъ, полагая, что я на- читался Жуи и Адиссона. Клянусь вамъ честью и всеѣмъ святымъ, что до сихъ поръ не имѣлъ духу прочесть этихъ господъ, какъ слѣдуетъ; а если это придетъ мнѣ въ голову, то справляюсь по заглавіямъ, но было-ли о томъ писано, и пробѣгаю статью, чтобъ не встрѣтиться въ мысляхъ и изложеніи, чтобъ добрые люди не подумали, что я подражаю. Это такъ вѣрно, какъ то, что вы первый журналистъ Московскій. Даже вы говорите, что я не готовилъ себя въ литераторы. Кто же готовилъ себя въ Россіи? Тѣ, которые протухли на университетскихъ скамьяхъ именно никуда не годятся, и жаль, что вамъ неизвѣстно, что я слушаль лекціи въ Геттингенѣ, въ Вильнѣ и въ Страсбургѣ. Но это вовсе не нужно даже, чтобы быть наблюдателемъ нравовъ, и въ этомъ случаѣ даже *скоротисанье* не вредно. Вы не можете опредѣлить: кто я таковъ въ литературѣ? Вель-летристъ и только.»—«Вѣрьте, что самое жестокое сужденіе на мой счетъ никогда не разсердитъ меня, если въ немъ видна *добросовѣстность*. Вы знаете меня нѣсколько, т.-е. знаете *наружность* души моей, которая слишкомъ пламенна и не умѣетъ скрывать своихъ порывовъ. Это, конечно, порокъ, но все-таки почище притворства. Бѣдная наша словесность! Совершенный упадокъ всего! Еслибъ не писалъ Пушкинъ—бѣда! Три томика моихъ сочиненій выйдутъ на Святой,—и простите самолюбію—съ портретомъ. Думая оставить литературное поприще и удалиться на покой (?!!), я рѣшился на это. Браните! Въ предисловіе я хлестнулъ всѣхъ моихъ безмозглыхъ критиковъ, но въ Пчелѣ оговорюсь, что это до васъ не касается, а въ предисловіи именъ нѣтъ, ни въ хорошемъ, ни въ дурномъ смыслѣ».

14 Марта 1828 года Булгаринъ имѣлъ честь встрѣтить Грибоѣдова, прибывшаго въ послѣдній разъ изъ Персіи въ Петербургъ съ Туркманчайскимъ договоромъ. До обратнаго своего отъѣзда, подъ ножи изверговъ, Грибоѣдовъ посѣщалъ семейство Булгарина; въ письмѣ своемъ (на Нѣмецкомъ языкѣ) къ его женѣ Еленѣ Ивановнѣ, Грибоѣдовъ говоритъ, какъ бы въ предчувствіи бѣдственной своей участи: «Простите! Прощаюсь съ вами и ѣду года на три, на десять лѣтъ, можетъ быть навсегда! О, Боже мой, неужели тамъ долженъ я провести всю мою жизнь, въ странѣ столь чуждой моимъ чувствамъ, мыслямъ... Грибоѣдовъ писалъ это 5 Юня, а черезъ недѣлю былъ уже въ Москвѣ и 24 Юля писалъ Булгарину изъ бивака при Казанчѣ на Турецкой границѣ. Послѣднее его письмо къ Булгарину написано въ исходѣ Ноября изъ Тавриза. Кромѣ писемъ, авторъ «Горя отъ ума» сообщалъ Съверной Пчелѣ извѣстія о подвигахъ нашихъ войскъ въ Азіатской Турціи согласно реляціямъ Паскевича, но тѣмъ не менѣе драгоцѣнныя, какъ написанныя перомъ Грибоѣдова. Послѣ мученической его кончины, мать и сестра Александра Сергѣевича едва не затѣяли съ Булгаринымъ процесса, подозрѣвая съ его стороны утайку денегъ покойнаго и какія-то плутни... Въ этихъ подозрѣніяхъ было столько-же неоснова-

тельности, сколько и неблагодарности. Въ отношеніяхъ своихъ къ Грибоедову Булгаринъ былъ внѣ упрека, что, конечно, дѣлаетъ честь его памяти.

За то въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ лицамъ, къ писателямъ и къ сотрудникамъ своимъ Булгаринъ часто забывалъ простыя правила вѣжливости. Гречъ придерживался съ самаго основанія Пчелы постоянно однихъ и тѣхъ-же сотрудниковъ (таковы были: Н. И. Юханцевъ, Н. Я. Фонъ-Фокъ, Е. К. Рашетъ, П. И. Безакъ и А. Н. Очкинъ). «Со всѣми», говоритъ онъ, разстался я дружелюбно и остался въ добрыхъ съ ними сношеніяхъ. Булгаринъ бралъ и отставлялъ, привлекалъ и выгонялъ своихъ сотрудниковъ непрерывно и обыкновенно оканчивалъ дѣло съ ними громкимъ разрывомъ, сопровождавшимся непримиримою враждою. Онъ трактовалъ ихъ, какъ Польскій магнатъ трактуетъ служащихъ ему шляхтичей: то пируетъ, кутитъ, кохается съ ними, то обижаетъ ихъ словесно и письменно, какъ наемниковъ, питающихся отъ крохъ его трапезы». Такъ въ исходѣ 1829 года Ѳаддей Венедиктовичъ ни за что, ни про что прогналъ трудолюбиваго и весьма полезнаго для Пчелы Сомова; прогналъ, какъ лакея и тѣмъ лишилъ его куска хлѣба. Сомовъ предложилъ свое сотрудничество барону Дельвигу, принимавшему изданіе «Литературной Газеты». Дельвигъ съ удовольствіемъ согласился на предложеніе Сомова. Булгаринъ, встрѣтаясь съ нимъ на Невскомъ Проспектѣ, спросилъ—правда-ли, что онъ «присталъ» (точно собака!) къ Дельвигу?—«Правда», отвѣчалъ Сомовъ,—«и вы будете меня ругать?»—«Держись!» Булгаринъ, возвратясь домой, тотчасъ же написалъ статью на объявленіе объ изданіи Литературной Газеты, и разругалъ ее еще до выхода перваго номера... Этого мало: узнавъ, что однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ Дельвига будетъ Пушкинъ, Булгаринъ осмѣлился оскорбить его какъ человѣка, намекнувъ въ фельтонѣ Сѣверной Пчелы (1830 года № 30) на его яко бы раболѣпство предъ вельможами, на черствость сердца, вольнодумство и т. п. Эти извѣты и клеветы относились къ какому-то вымышленному Французскому писателю и были будто бы заимствованы изъ Англійскихъ журналовъ: оговорка избавлявшая лишь отъ цензурныхъ придирокъ, но не отъ негодованія и мщенія оскорбленнаго Пушкина. Въ другомъ фельтонѣ, въ томъ-же году, Булгаринъ позволилъ себѣ глумиться надъ происхожденіемъ Пушкина, замаскировавъ его личность опять вымышленною личностью поэта, Американскаго уроженца, Мулата, потомка Негра, проданнаго какому-то шкиперу «за бутылку рома». Эта грязная выходка была сдѣлана Булгаринымъ въ угоду графу Уварову, который, ненавидя Пушкина, выразился о немъ, что дѣдъ Пушкина, «Арапъ Петра Великаго» былъ купленъ Преобразователемъ за бутылку рома. На эту дерзость Пушкинъ отвѣчалъ стихотвореніемъ «Моя родословная», и статью подъ псевдонимомъ Ѳеофиakta Косичкина, напечатанною въ «Московскомъ Телеграфѣ».

Отваживаясь на полемику съ Пушкинымъ, могъ-ли Булгаринъ щадить писателей второстепенныхъ, особенно если ихъ произведенія, съ удовольствіемъ читаемыя публикою, дѣлали подрывъ его издѣліямъ?

Въ Декабрѣ 1829 года вышелъ «Юрій Милославскій» М. Н. Загоскина и имѣлъ блестящій успѣхъ. «И не удивительно (говорить Н. И. Гречъ): это былъ первый, по времени, истинно-Русскій романъ; безошибочный, несовершенный, наполненный анахронизмами и несообразностями, историческими и грамматическими промахами, но оригинальный, написанный съ какимъ-то милымъ простодушіемъ, точно рассказъ доброй бабушки о былыхъ временахъ. Всѣ восхищались «Юріемъ», прощая его недостатки; досадовалъ и сердился на него одинъ Булгаринъ, отпечатывавшій послѣдніе листы своего «Димитрія Самозванца». Досада внушена ему была не авторскимъ самолюбіемъ, боявшимся превосходства своего соперника въ литературѣ, а боязнію за коммерскій успѣхъ своего новаго произведенія. Вотъ онъ и началъ нападать на Загоскина и на его сочиненія. Самую жестокую статью (№№ 7 и 9 Сѣверной Пчелы 1830 года) написалъ, по усиленной просьбѣ Булгарина, нашъ сотрудникъ А. Н. Очкинъ. Грамматическіе и историческіе промахи замѣтилъ я, многогрѣшный (Н. И. Гречъ). Дѣло обошлось-бы безъ шума, еслибы не вступился за Загоскина Воейковъ: онъ нещадно обругалъ и Булгарина, и всѣхъ его сотрудниковъ, обвинивъ ихъ въ несправедливости и зависти».

Но «Юрій Милославскій» обратилъ на себя вниманіе Государя Николая Павловича, понравился ему и доставилъ автору мѣсто въ дворцовомъ вѣдомствѣ. Перебранка Булгарина съ Воейковымъ прискучила Его Величеству, и онъ чрезъ графа Бенкендорфа приказалъ журналистамъ прекратить полемическую войну. Фонъ-Фокъ, другъ Греча, вмѣсто строгаго запрещенія, очень кротко замѣтилъ Булгарину, чтобы въ перебранкахъ по поводу «Юрія Милославскаго» противники не звали другъ друга по именамъ. Ѳаддей Венедиктовичъ понялъ изъ этого замѣчанія, что не слѣдуетъ называть Загоскина, а Воейкова можно, по прежнему, ругать, сколько душѣ угодно, и тиснулъ (въ 13 № Пчелы 30 Января) жаркую отвѣдь Воейкову. Утро прошло благополучно; въ третьемъ часу Булгаринъ отправился на обѣдъ къ своему хорошему знакомому Прокофьеву. Во время стола нарочный привезъ адресованное на имя Булгарина приглашеніе «пожаловать къ графу Бенкендорфу». «Не крѣпостью-ли пахнетъ?», сказалъ Булгаринъ, вставая изъ стола и, обѣщая скоро возвратиться, уѣхалъ. Бенкендорфа не было дома; Ѳаддею Венедиктовичу дали въ III Отдѣленіи бумагу къ коменданту Башуцкому. Послѣдній отдыхалъ послѣ обѣда, и Булгаринъ до семи часовъ, голодный, прождалъ его пробужденія—и дождался не на радость: Ѳаддея Венедиктовича отравили на гауптвахту, въ Новое Адмиралтейство, а Воейкова посадили въ Старое... Гречъ былъ счастливѣе ихъ обоихъ: онъ пробылъ на дворцовой гауптвахтѣ съ четырехъ часовъ по полудни до девяти вечера. На другой день Бенкендорфъ, призвавъ Греча къ себѣ, весьма любезно утѣшалъ въ постигшей его невзгодѣ, а Николай Ивановичъ ни душой ни тѣломъ не былъ виноватъ въ статьѣ Булгарина. Сей послѣдній, выпущенный изъ - подъ ареста, поспѣшилъ къ Бенкендорфу излить свое огорченіе на то, что онъ обиженъ, обезчещенъ безвинно, что жена его была приведена въ отчаяніе и т. д.



Въ исходѣ Февраля тогоже 1830 года вышелъ изъ печати «Димитрій Самозванецъ», за котораго былъ пожалованъ Булгарину отъ Государя дорогой брилліантовый перстень. Но Ѳаддей Венедиктовичъ не могъ во всю свою жизнь позабыть своего ареста и, въ видѣ мрачнаго тѣменю, подписалъ подъ портретомъ Государя: «30-е Января 1830 года». Арестъ не только не укротилъ его воинственнаго азарта, но какъ будто придалъ ему еще болѣе задору. Достоиню вниманія, что именно лѣтомъ и осенью 1830 года онъ особенно яростно нападалъ на Пушкина, за что Булгарина стоило-бы продержатъ подъ арестомъ подольше чѣмъ за Загоскина.

Въ началѣ Декабря въ Петербургѣ разнеслась вѣсть о возстаніи Польши. На этотъ разъ Булгарину могла грозить таже опасность, которая угрожала послѣ 14 Декабря; но отъ отвѣтственности за близкое знакомство съ Декабристами Ѳаддей Венедиктовичъ счастливо отдѣлался. Теперь, крестникъ Ѳаддея Костюшки, другъ Лелевеля и Контрыма, родственникъ многихъ лицъ причастныхъ, хотя-бы по фамиліямъ, Польскому мятежу, могъ быть призванъ къ отвѣту. Но Булгаринъ въ 1830 году окончательно обрусѣлъ и готовъ былъ отрещиваться отъ родины и отъ родичей—и отрестился! Въ двадцатыхъ годахъ, когда правительство явно симпатизировало Польшѣ, по многимъ причинамъ, Булгаринъ не скрывалъ своего родства съ Польскими магнатами, прицѣпляясь какъ плющъ или хмѣль, къ самымъ коренастымъ родословнымъ деревьямъ Литвы и Польши. Въ тридцатыхъ годахъ онъ готовъ былъ перемѣнить и законную родовую свою фамилію на болѣе Русскую, и конечно перемѣнилъ-бы, еслибъ она оканчивалась на *вичъ* или на *кій*. По счастью Булгаринъ—фамилія общеславянская, по замѣчанію Пушкина; во множественномъ числѣ нельзя только сказать Булгары, или Булгаре—а Булгарины...

Отступничество Ѳаддея Венедиктовича дѣлало, конечно, честь его патриотизму въ отношеніи Россіи, тѣмъ болѣе, что ни въ войскахъ Польскихъ мятежниковъ, ни между ихъ народными трибунами онъ былъ бы ни къ селу, ни къ городу. Но, судя безпристрастно, третья измѣна стоила двухъ первыхъ: въ 1810 году онъ отрекся отъ Россіи, въ 1815 — отъ Франціи, въ 1830 — отъ Польши! Правъ былъ Пушкинъ метнувъ въ него:

„Тройной присягою играя,  
„Полякъ въ двойную цѣль попалъ!“ и т. д.

Но что - же было дѣлать? Редакторъ единственной Русской газеты, Русскій землевладѣлецъ, такъ - ли, иначе - ли Русскій дворянинъ, могъ-ли онъ вторично измѣнить Россіи? Какъ человѣкъ дальновидный, Булгаринъ очень хорошо понималъ, что борьба Польши съ Россіею—борьба пигмея съ исполиномъ: не трудно было отгадать, за кѣмъ останется побѣда.

Незабвенный по своимъ бѣдствіямъ 1831 годъ, въ первый же мѣсяцъ былъ ознаменованъ кончиною двухъ талантливыхъ писателей: барона Дельвига (род. 6 Августа 1798 † 14 Января 1831) и Александра Ефимовича Измайлова (род. 14 Апрѣля 1779 † 16 Января 1831

года). Оба они не любили Булгарина и вели съ нимъ ожесточенную полемику. Измайловъ съ самаго начала литературнаго поприща Ѳаддея Венедиктовича; Дельвигъ—въ послѣдующіе годы. Смерти Дельвига предшествовало и отчасти способствовало неудовольствіе на него правительства и запрещеніе ему быть редакторомъ «Литературной Газеты». На памяти Булгарина до нынѣ тяготѣеть неосновательный упрекъ, будто бы онъ, своими извѣтами Третьему Отдѣленію, содѣйствовалъ несчастію постигнутому Дельвигомъ.

Не пришло еще время, но исторія укажетъ на ту гнусную личность, которая, подъ личиною дружбы съ Пушкинымъ и Дельвигомъ, дѣйствительно, по профессіи, по любви къ искусству, по призванію, занималась доносами и извѣтами на обоихъ поэтовъ. Донынѣ имя этого лица почему-то нельзя произнести во всеуслышаніе; но, повторяемъ, оно будетъ произнесено, и тогда, на ряду съ нимъ, даже имя Булгарина покажется синонимомъ благородства, чести и прямоты!

Въ 1831 году Булгаринъ готовилъ къ изданію своего «Петра Ивановича Выжигина», о которомъ велъ переговоры съ книгопродавцемъ Заикинымъ; но тотъ въ исходѣ Іюня 1831 года умеръ отъ холеры. «Петръ Ивановичъ» оказался гораздо слабѣе своего родителя и не понравился публикѣ.

Лѣто 1831 года, спасаясь отъ холеры, Булгаринъ провелъ въ своемъ Карловѣ. Жестокая эпидемія была однако же милостива къ нашимъ литераторамъ, и въ числѣ ея жертвъ не было ни одного, мало-мальски извѣстнаго писателя. За то изъ семейства Греча умерли отъ холеры: дѣйст. сов. Вюрстъ и Павелъ Христіановичъ Безакъ († 10 Іюля); изъ близкихъ знакомыхъ Василій Григорьевичъ Костенецкій—герой отечественной войны. Но самая тяжкая потеря для Н. И. Греча и для редакціи «Съверной Пчелы» была понесена въ лицѣ Максима Яковлевича Фонъ-Фока: онъ скончался, 27 Августа, впрочемъ не отъ холеры.

Въ исходѣ 1831 года, Пушкинъ, готовясь издавать журналъ, посѣтилъ Николая Ивановича Греча, предлагая ему быть сотрудникомъ<sup>38)</sup> Гречъ отвѣчалъ, что принялъ-бы предложеніе съ величайшимъ удовольствіемъ, но не знаетъ, какъ освободиться отъ своего Польскаго... (крѣпкое слово). Сознаваясь, что это невозможно, Пушкинъ со смѣхомъ прибавилъ: «да нельзя-ли какъ нибудь убить его?» Замѣтимъ, что въ то время между нимъ и Булгаринимъ была жестокая вражда, однако-же великій поэтъ говорилъ о немъ смѣясь. Если бы Булгаринъ былъ виновникомъ «гибели Дельвига», разговоръ Пушкина съ Гречемъ происходилъ бы, конечно, въ иномъ тонѣ<sup>39)</sup>.

Слѣдующіе два года 1832 и 1833 не были ничѣмъ особеннымъ ознаменованы въ жизни Булгарина. Проводя лѣтніе мѣсяцы въ Карловѣ, Ѳаддей Венедиктовичъ занимался собираніемъ матеріаловъ для

<sup>38)</sup> См. Русская Старина 1871 Ноябрь, томъ IV, стр. 501—502.

<sup>39)</sup> Пушкинъ говаривалъ: „Если встрѣчу Булгарина гдѣ-нибудь въ переулкѣ, расклянюсь и даже иной разъ поговорю съ нимъ; на большой улицѣ—у меня не хватаетъ храбрости“. (Слышано отъ А. О. Россета). П. Б.

обширнаго историческаго труда «Россія». Это собраніе было загребаніе жара чужими руками: весь трудъ лежалъ на рукахъ профессора Дерптскаго университета Николая Алексѣевича Иванова, человѣка недостаточнаго, уступившаго авторскія свои права на «Россію» смышленному Ѡаддею Венедиктовичу. Въ его рукахъ, эти цѣнныя матеріалы были тѣмъ же, что глыба превосходнаго мрамора въ рукахъ человѣка неумѣющаго владѣть молотомъ и рѣзцомъ ваятеля. Изданіе оказалось пестрою смѣсью учености и невѣжества, знанія и поверхностнаго педантизма.

Въ 1834 году судьба избавила Ѡаддея Венедиктовича отъ одного изъ опаснѣйшихъ литературныхъ противниковъ—именно: Н. А. Полеваго. Чудо, что враги Булгарина не приписали несчастія постигшаго «Московскій Телеграфъ» тайному доносу Булгарина! Дѣло было въ томъ, что Полевой, по поводу трагедіи Н. В. Кукольника «Рука Всевышняго Отечество спасла», написалъ въ своемъ Телеграфѣ рецензію, которая навлекла на себя неудовольствіе правительства, и по распоряженію высшихъ властей «Телеграфъ» былъ запрещенъ. По этому случаю, кто изъ тогдашнихъ остряковъ (говорять, будто Пушкинъ) написалъ извѣстное четверостишіе:

Рука Всевышняго три чуда совершила:  
Отечество спасла,  
Посту ходъ дала  
И Полеваго погубила!

Въ Апрѣлѣ 1834 года къ Гречу пришелъ издатель-типографикъ Адольфъ Плюшаръ и сообщилъ ему о намѣреніи издавать Энциклопедическій Лексиконъ, предлагая Николаю Ивановичу быть главнымъ редакторомъ. На первый случай Гречъ отказался за недостаткомъ времени, посвященнаго исключительно Сѣверной Пчелѣ. На просьбу Плюшара указать ему на литератора наиболѣе способнаго редактировать Лексиконъ, Николай Ивановичъ указалъ на Сенковскаго. Тотъ согласился; но сотрудники будущаго изданія, узнавъ объ этомъ, отказались участвовать въ изданіи. Плюшаръ вторично пришелъ къ Гречу, умоляя его спасти Лексиконъ. Николай Ивановичъ, избѣгая принятія должности редактора и, вмѣстѣ съ тѣмъ, желая помочь Плюшару, предложилъ ему избрать въ редакторы лицо назначенное самими сотрудниками по большинству голосовъ. Мѣстомъ собранія назначена была просторная зала въ домѣ Греча. Съѣхались сотрудники въ числѣ ста пяти человѣкъ. Николай Ивановичъ былъ выбранъ единогласно въ главные редакторы, Сенковскій—сотрудникомъ по части восточныхъ языковъ и исторіи, имѣя возможность, безъ всякаго стѣсненія, по милому своему обычаю, мистифицировать публику и паясничать передъ нею сколько ему угодно. Помощникомъ Греча, по части военныхъ и математическихъ наукъ избранъ нѣкто Александръ Ѡедоровичъ Ш—нъ, бывшій воспитанникъ Павловскаго кадетскаго корпуса, «пятнадцать разъ кряду прослушавшій полный курсъ наукъ», но по косолапости устранный отъ военной службы и занимавшій въ корпусѣ должность инспектора классовъ, человѣкъ замѣчательный, предъ которымъ

оказывается ничтожествомъ самъ Тредіаковскій, имѣвшій терпѣніе только два раза перевесть исторію Роллена!

Изданіе на первыхъ порахъ шло успѣшно; первые четыре тома вышли въ теченіи 1835 года; въ слѣдующемъ еще два. Сенковскій, завидуя значительному жалованью и доходамъ Греча (до 25.000 р. асс.), рѣшился во что бы то ни стало занять мѣсто редактора. Приврашившись къ ничтожному поводу, онъ разладилъ съ Николаемъ Ивановичемъ, сблизился съ Плюшаромъ и убѣдилъ его, что беретъ быть главнымъ редакторомъ за половину той суммы, которая выплачивается Гречу. Плюшаръ, разумѣется, съ удовольствіемъ согласился, но затруднился тѣмъ, какъ уволить Николая Ивановича. Сенковскій надумилъ Плюшара, какъ лучше повести интригу и самъ дѣятельно принялся за нее: поссорилъ Ш—на съ Гречемъ, вслѣдствіе чего первый отказался отъ сотрудничества; когда-же Николай Ивановичъ объяснился съ нимъ и доказалъ, что Ш—ну на Николая Ивановича наговорили, тотъ согласился продолжать свои работы, но отложилъ ихъ на время по случаю своей поѣздки на Кавказъ. Въ отсутствіи Ш—на, помощникомъ Греча былъ Петръ Александровичъ Корсаковъ. Радѣя о большей своей прибыли за оригинальныя и переводныя статьи, Корсаковъ наполнялъ томы Энциклопедическаго Лексикона всякимъ вздоромъ и бесполезнымъ хламомъ. Пустыя статьи Корсакова Гречъ браковалъ; Корсаковъ сердился, наконецъ и не на шутку поссорился за отказъ Греча напечатать переводную статью о «18 брюмера», совершенно противную тогдашнимъ цензурнымъ требованіямъ. Замѣчательно, что П. А. Корсаковъ самъ былъ цензоромъ, а въ данномъ случаѣ Н. И. Гречъ оказался, какъ говорятъ Французы, *plus royaliste que le roi*. Забравъ переводную статью Корсакова, Николай Ивановичъ замѣнилъ ее другою, въ четыре строки. Эта предосторожность оказалась тѣмъ болѣе разумною, что въ Сентябрѣ 1836 года, по поводу статьи о фамилии Бонапарте, съ похвалами Лудовику Наполеону (впослѣдствіи императору Наполеону III), Греча призывали къ графу Бенкендорфу и сдѣлали ему выговоръ за неосмотрительность.

Этимъ временемъ возвратился Ш—нъ, мѣсто котораго занималъ Корсаковъ; послѣдній однако-же не только остался, но даже заодно съ Ш—нымъ согласился быть орудіемъ интриги Сенковскаго и Плюшара противъ Греча. Плюшаръ написалъ къ Николаю Ивановичу письмо, въ которомъ, сѣтуя на замедленіе въ изданіи вслѣдствіе того, что Гречъ бракуетъ готовыя статьи, сказалъ, что Корсаковъ и Ш—нъ *приказываютъ* ему напечатать переводную статью о 18 брюмера. Эта умышленная дерзость вывела Николая Ивановича изъ себя: онъ представилъ статью предсѣдателью цензурнаго комитета князю Дондукову-Корсакову съ вопросомъ: можетъ ли подобная статья быть напечатана? Плюшаръ, котораго Гречъ увѣдомилъ объ этомъ, отвѣчалъ ему дерзкимъ письмомъ, называя поступокъ Николая Ивановича «доносомъ». Тогда Гречъ отказался отъ редакціи Лексикона, о чемъ заявилъ въ одномъ изъ номеровъ Съверной Пчелы. Ловкій Сенковскій не тотчасъ же занялъ его мѣсто: главнымъ редакторомъ избрали покуда Ш—на. Предсѣдатель цензурнаго комитета, родной братъ Корсакова, принялъ сторону Сен-

ковскаго. Пригласивъ Греча къ себѣ, онъ, впрочемъ, очень ласково и любезно попросилъ его не полемизировать съ редакціею Энциклопедическаго Лексикона и не печатать въ Сѣверной Пчелѣ списка лицъ, прекратившихъ сотрудничество въ изданіи Плюшара. Гречъ согласился съ тѣмъ, чтобы и противники его ничего не печатали по дѣлу о Лексиконѣ. Князь далъ слово и сдержалъ его: въ журналахъ не было пропущено ни одной статьи противъ Греча. За то «Русскій Инвалидъ» и «С.-Петербургскія Вѣдомости», состоявшіе подъ другою цензурою, съ яростью напали на Греча, въ Декабрѣ 1836 года. Онъ отвѣчалъ имъ въ трехъ послѣднихъ нумерахъ Пчелы, подписавшись псевдонимомъ. Эти нумера были выкрадены сторожами газетной экспедиціи, дабы они не дошли къ иногороднымъ подписчикамъ. То была продѣлка уже самаго Плюшара.

Узнавъ о неприятныхъ столкновеніяхъ Греча съ рыцарями литературной промышленности, Булгаринъ, проживавшій въ Дерптѣ, написалъ къ Николаю Ивановичу нѣжное письмо съ выраженіемъ соболѣзнованія другу и страшныхъ угрозъ врагамъ: «зубы разобью канальѣ», говорилъ Ѳаддей Венедиктовичъ въ этомъ письмѣ о Плюшарѣ. Возвратясь въ Петербургъ въ Декабрѣ, Булгаринъ при первомъ же свиданіи съ Гречемъ объявилъ ему, что разругаетъ и уничтожить его супостатовъ. Подъ вліяніемъ запальчивости Ѳаддей Венедиктовичъ отправился къ Плюшару и пустился было въ объясненіе. Нахаль-издатель поподчивалъ Булгарина вкуснымъ завтракомъ и предложилъ ему купить у Ѳаддея Венедиктовича его «Россію». — «А что вы мнѣ дадите?» спросилъ Булгаринъ. «Сто двадцать пять тысячъ». Авторъ «Россіи» обомлѣлъ и возвратился домой чуть не другомъ Плюшара и вечеромъ того-же дня замолвилъ даже словечко въ его защиту предъ Николаемъ Ивановичемъ. На другой день Плюшаръ и Булгаринъ ударили по рукамъ. По этому случаю А. Ф. Смирдинъ очень остро замѣтилъ: «Полякъ Французу Россію продалъ»... Но эта продажа была крайне невыгодна Ѳаддею Венедиктовичу. Во первыхъ Плюшаръ, за дурные о немъ отзывы Булгарина, понизилъ плату (вмѣсто обѣщанныхъ ста двадцати пяти на сто тринадцать тысячъ), и это-бы куда ни шло; но при расчетѣ въ 1837 году, Плюшаръ, ссылаясь на малое число подписчиковъ внесшихъ деньги, на расходы по печатанію и т. д., уплатилъ Булгарину только *двѣсти рублей*, и дѣло было поставлено такъ, что Булгаринъ, въ чаяніи будущихъ благъ, не могъ прервать своихъ сношеній съ Плюшаромъ.

Покуда изданіе «Россіи» принадлежало Булгарину, Николай Ивановичъ, по дружбѣ къ нему держалъ корректуры, причемъ разумѣется, исправлялъ промахи Ѳаддея Венедиктовича. При переходѣ «Россіи» въ руки Плюшара Гречъ отказался отъ всякаго соучастія, и сочиненіе запестрѣло грубѣйшими ошибками. Французское слово *туре* (типъ) было набрано по-русски: *туре*; наборщика ввела въ сомнѣніе первая буква, такъ какъ большое Французское *t* пишется какъ Русское *г*. Латинскія слова *magister castrorum* (начальникъ лагеря, или стана) были переведены: «начальникъ кастратовъ!» Впрочемъ, какъ мы уже говорили выше, Ѳаддей Венедиктовичъ былъ не силенъ въ Латинскомъ

языкъ и въ цитатахъ, которыми любилъ щегольнуть, путалъ и перевиралъ немилосердно. Такъ выраженіе *conditio sine qua non*, или просто *sine qua non*, онъ постоянно писалъ *si non qua non*, что положительно непереводаемо.

Теперь мы принуждены отступить къ началу 1836 года. Въ Мартѣ мѣсяцѣ вышла первая книга «Современника» А. С. Пушкина. Булгаринъ не отважился на полемику съ этимъ журналомъ, побаиваясь его редактора; но подъ рукою отзывался о немъ неблагосклонно. Пушкинъ готовилъ на Ѳаддея Венедиктовича новыя діатрибы, отъ которыхъ Булгарина спасла только кончина великаго поэта. Въ концѣ втораго тома (стр. 312) отъ редакціи была напечатана слѣдующая замѣтка: «Мы получили также статью г. *Косичкина*. Но, къ сожалѣнію, эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выходъ этой книжки, отлагаемъ ее до слѣдующей».

Въ Пятницу, 27 Ноября 1836 года, на Большомъ театрѣ происходило первое представленіе безсмертной оперы Глинки: «Жизнь за Царя». Успѣхъ былъ громадный, вполне заслуженный; отзывы невѣждъ не могли конечно огорчить нашего незабвеннаго композитора. Первая рецензія въ Сѣверной Пчелѣ (7-го, 15-го и 16-го Декабря, №№ 280, 287, 288) написана княземъ Владиміромъ Ѳедоровичемъ Одоевскимъ; въ ней просвѣщенный меломанъ, отдавая должную справедливость гениальному творцу оперы, сказалъ, между прочимъ: «Глинка открылъ *новый періодъ* и влилъ *новую стихію* въ музыку». Ѳаддею Венедиктовичу не понравилась опера, не могла понравиться и эта восторженная рецензія. 19 и 21 Декабря въ №№ 291 и 292 Сѣверной Пчелы Булгаринъ за полную свою подписью напечаталъ статью: «Мнѣніе о новѣй Русской оперѣ: «Жизнь за Царя», съ эпиграфомъ изъ «Горя отъ ума»: «Зачѣмъ-же мнѣнія чужія только святы?» Въ ней, со всею строгостію человѣка, не имѣющаго ни малѣйшаго понятія о музыкѣ, Ѳаддей Венедиктовичъ пустился разбирать оперу, указывая на ея недостатки: не одобрилъ оркестровку, музыку хоровъ, въ особенности же мотивъ мазурки, хора Поляковъ въ лѣсу: «Устали мы, продрогли мы»... хора, за который Глинку можно поставить на ряду съ величайшими композиторами новѣйшихъ временъ. Этотъ самый національный отпечатокъ въ хорѣ Поляковъ не понравился Булгарину: люди страдаютъ, а мотивъ плясовой; какъ будто у Поляковъ, кромѣ мазурки, другихъ народныхъ мотивовъ нѣтъ? Самою блестящею фразой въ рецензіи должно признать слѣдующую: «въ музыкѣ не можетъ быть никакой *новой стихіи*, и въ ней невозможно открыть ничего новаго. Берите и пользуйтесь».

Враги Булгарина обвиняли его въ трусости; но, читая эту статью, нельзя не усомниться въ этотъ обвиненіи... Надобно обладать большою храбростію, чтобы писать и печатать подобныя вещи.

## VI.

Слѣдя шагъ за шагомъ за успѣхами Булгарина, мы не упомянули объ ученыхъ и литературныхъ трудахъ Греча. Они были немаловажны и въ теченіе семи лѣтъ способствовали упроченію извѣстности Николая Ивановича. Въ 1831 году онъ издалъ свой романъ: «Поѣздка въ Германію», заслужившій единодушное одобреніе публики: не могли не нравиться ей патриархальныя картины семейнаго быта нашихъ «Петербургскихъ Нѣмцевъ»... Одно не хорошо: въ отплату за посвященіе ему Булгаринымъ «Димитрія Самозванца», Николай Ивановичъ посвятилъ Ѳаддею Венедиктовичу свой романъ, и это «посвященіе» единственная слабая въ немъ страница. Въ 1832 г. Гречъ издалъ «Практическіе уроки Русской грамматики»; въ 1834—романъ «Черную Женщину», имѣвшій большой успѣхъ; написалъ и редактировалъ много статей въ первыхъ шести томахъ «Энциклопедическаго Лексикона», издалъ описаніе заграничнаго своего путешествія, подъ заглавіемъ «28 дней за границею, или дѣйствительная поѣздка въ Германію» съ 1835 по 1840 редактировалъ статьи по литературной части въ Военно-Энциклопедическомъ Лексиконѣ, основанномъ Гречемъ вмѣстѣ съ барономъ Зедлеромъ; въ теченіе лѣта и осени 1837 года писалъ въ Сѣверную Пчелу письма изъ путешествія по Англіи, Франціи и Германіи, куда былъ командированъ отъ министра финансовъ, для осмотра тамошнихъ ремесленныхъ и технологическихъ заведеній.

Но годъ столь счастливый для Н. И. Греча, какъ для писателя и должностнаго лица, въ первый же свой мѣсяцъ былъ тяжелъ для его отцовскаго сердца: 24 Января 1837 года скончался младшій его сынъ, Николай Николаевичъ, студентъ Петербургскаго университета. Этотъ молодой человекъ, нѣжно любимый отцомъ, добрый, кроткій, симпатичный, страстный любитель литературы и всѣхъ изящныхъ искусствъ, подавалъ блестящія надежды, общая въ себѣ со временемъ даровитаго писателя, или художника. Это горе въ теченіи нѣсколькихъ дней состарило Николая Ивановича на нѣсколько лѣтъ и имѣло вліяніе на его здоровье. Душею скорбя какъ отецъ, Гречъ на самыхъ похоронахъ сына былъ, какъ Русскій писатель, какъ человекъ пораженъ страшною вѣстью, въ первую минуту, невѣроятною: Пушкинъ стрѣлялся на дуэли и привезенъ домой смертельно раненый! Оплакивая сына, Гречъ не могъ не удѣлить Пушкину теплыхъ, сердечныхъ слезъ, и онѣ были тѣмъ искреннѣе, что были пролиты предъ могилою юноши, подобно Пушкину преждевременно сраженнаго смертью.

О кончинѣ Пушкина сокрушался и Булгаринъ; но его недавнія полемическія распри съ великимъ поэтомъ, гнусныя выходки, которыя онъ себѣ позволялъ на счетъ Пушкина, отнимали отъ этихъ сѣтованій все ихъ значеніе, придавая послѣднимъ видъ поздняго и безплоднаго раскаянія. Впрочемъ Ѳаддей Венедиктовичъ, какъ человекъ осторожный, воздерживался отъ слишкомъ громкихъ сѣтованій. Въ послѣдніе два-три года высшія власти смотрѣли на Пушкина не совсѣмъ благосклонно; графъ Венкендорфъ имъ тяготился, графъ Уваровъ его терпѣть

не могъ; аристократія, за немногими исключеніями, его несправедливо... Редакторъ «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду» А. А. Краевскій подвергся выговору графа Уварова за краткій некрологъ Пушкина въ траурной рамкѣ, напечатанный въ № 5 помянутаго журнала; Лермонтовъ за свои стихи на смерть Пушкина былъ сосланъ на Кавказъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ представительницъ Русской періодической печати Съверной Пчелѣ слѣдовало быть крайне осмотрительною въ ея отзывахъ о Пушкинѣ. Не подвергаться же изъ за него замѣчаніямъ и выговорамъ высшаго начальства! Несравненно съ большимъ сочувствіемъ можно и даже должно было отозваться о кончинѣ его высокопревосходительства Ивана Ивановича Дмитриева (+ 3 Октября 1837 г.), переводчика басенъ Флоріана, Дмитриева, провозглашеннаго льстецами «Россійскимъ Ла-Фонтенемъ». Иванъ Ивановичъ скончался въ чинѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, кавалеромъ ордена св. Владимира 1-го класса; Пушкинъ же былъ лишь камеръ-юнкеромъ и въ чинѣ коллежскаго асессора.

Передъ отъѣздомъ своимъ въ чужія края, Грець препоручилъ завѣдываніе дѣлами редакціи старшему своему сыну, Алексѣю Николаевичу. Этотъ молодой человекъ, превосходно образованный, состоявшій на службѣ при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, до того времени былъ сотрудникомъ редакціи Journal de St-Petersbourg. Любя журнальное дѣло и будучи опытенъ въ немъ, Алексѣй Грець усердно занялся дѣлами Пчелы и велъ ихъ какъ нельзя лучше. Съ своей стороны Булгаринъ, вѣрный своимъ коммерческимъ дѣламъ, прилагалъ неусыпныя заботы о денежныхъ выгодахъ редакціи и велъ переговоры съ Смирдинымъ о передачѣ ему Съверной Пчелы на нѣсколько лѣтъ, съ великою прибылью для обоихъ редакторовъ. Надобно замѣтить, что дѣла Смирдина, разстроенныя изданіямъ «Библіотеки для Чтенія», клонились тогда къ упадку; разныя книгопродавческія аферы, на которыя онъ пускался, были послѣдними усиліями нашего «Фирмена Дидо» къ поддержкѣ своей, нѣкогда блестящей, фирмы. Плюшаръ, издатель «Энциклопедическаго Лексикона», находился наканунѣ банкротства. Вообще 1837 годъ въ лѣтописяхъ нашей журналистики занимаетъ незавидное мѣсто; тѣсно связанная съ нею книжная торговля шла очень вяло; публика замѣтно охладѣвала къ новымъ изданіямъ. Изъ газетъ одна только Съверная Пчела сохраняла за собою преимущество надъ всѣми прочими; главнѣйшее заключалось въ томъ, что она удостоивалась вниманія императора Николая Павловича и ежедневно полагалась на столъ въ его кабинетъ. Этимъ отчасти объясняется и строгость цензуры къ Пчелѣ, и опека надъ нею III-го Отдѣленія, и самый полу-официальный тонъ газеты Греча и Булгарина <sup>40)</sup>.

Въ Сентябрѣ 1837 года Петербургъ ожилъ по случаю прибытія въ нашу «Съверную Пальмиру» знаменитой Тальони. Пчела, будучи эхомъ общественнаго мнѣнія, осыпала знаменитую балерину самыми восторженными хвалами. Дебюты Тальони составили дѣйствительно эпоху въ лѣтописяхъ нашего балета; Тальони была предметомъ восхи-

<sup>40)</sup> Въ Германіи Съверную Пчелу иначе не называли какъ Hofzeitung. П. Б.



щенія всего двора, всей знати, средняго и даже низшаго классовъ общества. Государь Императоръ и члены царской фамиліи не пропустили ни одного представленія; если-бы большой театръ умѣщаль въ своихъ стѣнахъ вдесятеро болѣе зрителей, то и тогда былъ-бы набить биткомъ. Достать билетъ на представленіе Тальони, хотя-бы въ раекъ, было своего рода подвигомъ. Независимо отъ рецензій Петра Медвѣдовскаго (псевдонимъ П. И. Юркевича) о балетахъ Тальони, о нихъ почти въ каждомъ своемъ фельетонѣ упоминалъ и Ѳаддей Венедиктовичъ.

Семнадцатаго Декабря 1837 года въ восьмомъ часу вечера свершилось событіе невѣроятное: пожаръ Зимняго Дворца, бѣдствіе равносильное наводненію 7 Ноября 1824 года, если не для всего города, то, по крайней мѣрѣ, для его державнаго хозяина. Булгаринъ, разумѣется, не замедлилъ по сему поводу выразить въ фельетонѣ свои патріотическія чувствованія. Должно отдать справедливость Ѳаддею Венедиктовичу въ томъ, что онъ дѣйствительно обладалъ искусствомъ писать фельетоны, и въ теченіи двадцати лѣтъ они имѣли громаднѣйшій успѣхъ и массу читателей. Это была забавная легкая болтовня, не лишенная остроумія, особенно если авторъ не вдавался въ ученость или въ перебранки съ литературными противниками. Особенно удавались Ѳаддею Венедиктовичу рекомендаціи разныхъ магазиновъ и промышленныхъ заведеній, также рекламы въ пользу заѣзжихъ фокусниковъ, штукарей, даже второстепенныхъ пѣвцовъ и виртуозовъ. Начинаетъ онъ, на примѣръ, свой фельетонъ сѣтованіями на осеннее ненастье (иногда цензура это позволяла): «вотъ де, на дворѣ холодъ, сырость, слякоть, выйдти на улицу можно только въ случаѣ крайней необходимости, разумѣется не иначе какъ запасшись резиновыми калошами, которыя такъ мастерски выдѣлываются на фабрикѣ Кирштена и такъ сходно продаются въ магазинѣ (тамъ-то). Но однихъ калошъ не достаточно: вооружитесь зонтикомъ, работы Любена или Вебера (адресъ), и облекшись въ шинель, вышедшую изъ мастерской Ольтова (адресъ). Не пугайтесь цѣны: Ольтовъ изъятіе изъ своихъ собратьевъ; это человѣкъ горячо любящій свое искусство, но вмѣстѣ съ тѣмъ и своего ближняго; удовлетворяя требованіямъ моды, онъ щадитъ карманы заказчиковъ и т. д. Но всего лучше въ нынѣшнее ненастье засѣсть дома, въ мягкихъ креслахъ Гамбса или Тура (адресъ), закурить благовонную сигару моего добраго друга Неслинда (адресъ), зажечь лампу Гризара (адресъ) и слушать игру милой жены или дочери на фортепіано фабрики Шредера (адресъ), исправно настроенномъ почтеннымъ моимъ благопріятелемъ Карломъ Богдановичемъ Вурстомъ (адресъ), или читать «Пчелку» вашего покорнѣйшаго слуги» и т. д.

Иногда для разнообразія, фельетонистъ пускался въ рекламы въ духѣ патріотическомъ. «На дняхъ понадобилась мнѣ золоченая рамка для портрета моего друга (имя рекъ), и я совершенно случайно (par hasard) набрелъ на мастерскую Анемподиста Сидоровича Герасимова (адресъ). Хозяинъ, смысленный Русскій человѣкъ, съ бородкой, предложилъ мнѣ на выборъ свои произведенія и, признаюсь, я былъ пораженъ какъ изяществомъ работы, такъ и дешевизною. Рѣзба Герасимова верхъ совершенства! Вкусъ бездна, образцовое произведе-

ніе (chef d'oeuvre)! Похвально, похвально, почтенный Анемподистъ Сидоровичъ; талантъ самобытный, которому можетъ позавидовать любой иностранецъ... Да и у насъ ли на Святой Руси не процвѣтаетъ талантамъ? Какъ Русскій дворянинъ (gentilhomme), радуюсь успѣхамъ соотечественника... и т. д.

Рекламы Булгарина были, конечно, не бесплатныя; ремесленники приносили ему въ даръ если не образцовыя свои произведенія, то хотя ихъ образцы. Но приношенія эти вознаграждались сторичею: ихъ возмѣщали на милѣйшей, довѣрчивой публикѣ. Но про Булгарина должно замѣтить, что онъ былъ чуждъ вымогательствъ, довольствуясь малымъ, а иногда, по добротѣ сердца, печатая рекламы даже безъ вознагражденія, особенно въ пользу промышленниковъ начинающихъ. Мы не защищаемъ взяточничества; но были-ли тогда и существуютъ ли нынѣ, даже въ просвѣщенной Европѣ, фельетонисты не причастныя грѣшку любостыжанія? Знаменитый Жюль-Жаненъ, современный намъ Сарсе—ужели безгрѣшны?

Въ данномъ случаѣ не можемъ не привести словъ Н. И. Греча <sup>41)</sup>:

«Булгарина обвиняли во взяткахъ за статьи; но онъ не бралъ денегъ, а довольствовался небольшою частичкою выхваляемаго товара, или дружескимъ обѣдомъ въ превознесенной новой гостинницѣ, вовсе не считая этого предосудительнымъ; бралъ вознагражденіе, какъ берутъ плату за объявленія печатаемыя въ газетахъ. И я бралъ взятки своего рода: печатая статьи о новопріѣзжихъ знаменитыхъ артистахъ, я приглашалъ ихъ къ себѣ на вечера, и они тѣшили своими талантами меня, мою семью, моихъ пріятелей. Когда въ 1845 году въ Боннѣ, на празднествѣ при открытіи памятника Бетговену, я вошелъ въ гостинницу Zum goldnen Stern, въ общую столовую, бросились ко мнѣ: Листъ, Серве, Сивори, Дулькенъ, Блазъ съ женою и еще нѣкоторые другіе артисты, бывшіе въ Петербургѣ, и потомъ пили за мое здорье. Это изумило Жюль-Жанена, сидѣвшаго за столомъ подлѣ меня.

— Какъ они превозносятъ Русскаго журналиста! сказалъ онъ. Намъ не добиться этой чести!

— Точно такъ, возразилъ Блазъ; въ Парижѣ мы подчиваемъ журналиста, а въ Петербургѣ журналисты насъ угощали!

Вопросъ о взяточничествѣ вообще до времени не разрѣшимъ. Въ исходѣ пятидесятихъ годовъ мы ополчились противъ взяточниковъ и тѣмъ не искоренили, но только измѣнили ихъ характеръ. Помирились на томъ, что взятки литературныя—едва-ли не самыя безгрѣшныя. Лица, «иже во власти суть», донныѣ берутъ взятки; только въ другой болѣе утонченной формѣ. Предложите какому-нибудь дѣльцу-юристу—триста, пятьсотъ, тысячу рублей въ презентъ: онъ обидится; сядьте играть съ нимъ въ карты—«въ поддавки» и спустите ему ту же сумму: онъ спокойно положитъ ее въ карманъ... Est modus in rebus!»

<sup>41)</sup> См. Русская Старина, 1871 года, Ноябрь, томъ IV, стр. 506—507.

## VII.

День 2-го Февраля 1838 года—незабвенный въ лѣтописяхъ отечественной словесности: праздновался пятидесятилѣтній юбилей гениальнаго «дѣдушки», перваго изъ русскихъ писателей, удостоеннаго подобнымъ торжествомъ. Въ числѣ литераторовъ находился, конечно, и Булгаринъ, который тутъ встрѣтился лицомъ къ лицу со всѣми своими журнальными врагами. Для великаго дня, изъ уваженія къ юбиляру, личная вражда была забыта, и Русскіе писатели различныхъ мнѣній и убѣжденій, какъ говорится, «слились въ одну дружную семью»... а на другой день приняли за пренія перебранки: хоть водой разливай!

Въ томъ же 1838 году Н. И. Гречъ издалъ: «Учебную книгу Всеобщей Географіи» и пять томовъ собранія своихъ сочиненій. Ѡаддей Венедиктовичъ, желая заявить современникамъ и потомству о своей неразрывной дружбѣ съ почтеннымъ авторомъ, написалъ статейку къ его портрету, отпечатанную отдѣльною брошюркою (31 стр. въ 16 д. л.) и приложенную къ пятому тому сочиненій Греча. Она помѣчена 1 числомъ Февраля, т.-е. кануномъ Крыловскаго юбилея, что едва-ли было не безъ хитрости со стороны Булгарина. Брошюрка любопытная! Игривая фамильярность тона, самохвальство, рекомендація Пчелы—всѣ эти особенности брошюры обратили вниманіе какъ благодушной публики, такъ и нашего журнальнаго міра.

— До выпуска въ свѣтъ собранія своихъ сочиненій, Н. И. Гречъ принесъ ихъ ко мнѣ и сказалъ: „Ты былъ свидѣтелемъ рожденія всѣхъ этихъ чадъ моихъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ зналъ и до рожденія. Ты охотно слушалъ планы моихъ сочиненій и даже торопилъ меня исполненіемъ. За то вотъ тебѣ первый экземпляръ!“ „Спасибо, другъ!“ Но, по авторской привычкѣ разсмотрѣвъ механизмъ изданія (?), я воскликнулъ: Veto<sup>42)</sup>! Не позволяю выпустить въ свѣтъ!—„Что что значить?“ „А вотъ что: когда издатель твоихъ сочиненій приложилъ къ нимъ твой портретъ, то должно приложить и біографію. „Поми-луй, достаточно-ли это дѣло?“ сказалъ Гречъ, „могу-ли я самъ писать свою біографію?“— „Не ты долженъ писать, а напишу я, другъ твой и товарищъ въ теченіи восемнадцатилѣтней литературной жизни“. „Но что скажутъ люди о біографіи написанной другомъ?“ — „Неужели-жъ ты хочешь, чтобъ біографіи наши писали *враги*? Довольно лжей и клеветъ разсѣяно о насъ по свѣту: пусть-же хоть разъ появится правда. Почти во всѣхъ иностранныхъ энциклопедическихъ и біографическихъ лексиконахъ напечатаны наши біографіи неполныя, или искаженныя; а Московскіе наши пріятели не устыдились даже напечатать на насъ за границею самый гнусный пасквиль, поручивъ редакцію полуграмотному Израильянину<sup>43)</sup>. Это самое возлагаетъ на меня обязанность высказать истину, тѣмъ болѣе, что, составляя исторію Русской литературы, я собралъ всѣ нужные къ твоей біографіи матеріалы. Позволь, братецъ, сдѣлать это! Противники наши могутъ уличить меня, если я скажу неправду. Помни, что тебѣ пятьдесятъ лѣтъ отъ роду, что ты болѣе тридцати лѣтъ трудился въ литературѣ, что ты имѣешь дѣтей, для которыхъ доброе твое имя составляетъ все наслѣдство, что ты имѣешь искреннихъ друзей, которые...“ Гречъ махнулъ рукою и сказалъ: „Дѣлай что хочешь! Ты зачинщикъ, ты и отвѣтчикъ! Подожду нѣсколько дней съ выпускомъ книгъ, но знать не хочу, что ты напишешь. Пиши, печатай—все позволяю, тебѣ въ угодъ!“ Вотъ какъ было дѣло....“

Начавъ ab ovo, Ѡаддей Венедиктовичъ рассказываетъ о предкахъ Греча и, желая польстить другу, говорить, что Стефанъ Баторій при-

<sup>42)</sup> Почему бы не Польское: nie pozwoliam!

<sup>43)</sup> Говорится о книгѣ Кюнига: Litterarische Bilder aus Russland. П. Б.

няль Гречей въ Польское рыцарское сословіе, т.-е. шляхетство. Отъ предковъ онъ переходитъ къ потомку, именно къ Николаю Ивановичу; наконецъ, ко времени ихъ перваго знакомства и къ восемнадцатилѣтней дружбѣ:

Много радостей, но много и горя раздѣлили мы вмѣстѣ; много пережили страшныхъ годинъ, и дружба наша не поблекла ни на одну минуту. Во всякомъ случаѣ одинъ готовъ былъ жертвовать всѣмъ для другаго. Все, что только въ свѣтѣ разстроиваетъ самыя прочныя связи, было брошено судьбою между нами: денежные расчеты<sup>41)</sup>, авторское самолюбіе, сплетни, клеветы, даже опасенія за все существованіе. Все напрасно! Ни одно облачко не затемнило нашей дружбы. Оба пылкіе, мы можемъ сердиться другъ на друга, но не любить другъ друга никакъ не можемъ. Что бы ни случилось, при первомъ свиданіи конецъ *недоразумѣній*; ибо, замѣтите, поводомъ къ неудовольствію между друзьями можетъ быть только *недоразумѣніе*. Вся честь этой, едва-ли не *безпримѣрной дружбы* между литераторами и журналистами, приписываю я Н. И. Гречу. Ему труднѣе было справиться съ уланомъ, который, въ теченіи десяти лѣтъ сряду (отъ 1805 до 1815) жилъ въ пороховомъ дымѣ, нежели мнѣ съ литераторомъ, ратоборствовавшимъ только на бумажномъ поприщѣ.

— Безъ самохвальства, но въ полномъ душевномъ убѣжденіи, скажу, что Сѣверная Пчела не бесполезное изданіе въ Россіи. Не судите по одному листку, а пересмотрите двадцать, тридцать листовъ, цѣлесъ годовое изданіе. Вы найдете тутъ *все*, что только произошло важнаго въ Россіи и за границею, по части современной исторіи, статистики, законодательства и литературы. Въ газетѣ господствуетъ духъ истинно-Русскій, непричастный желѣпымъ, моднымъ теоріямъ, но не чуждый общихъ, Европейскихъ усовершенствованій, приличныхъ устройству нашего отечества, нашимъ нравамъ и обычаямъ.

— Главный его (т.-с. нашъ) недостатокъ есть тотъ, что мы *думаемъ вслухъ* и всѣ вещи называемъ *по имени*. Ни лѣта, ни разсудокъ, ни опытность, ни претерпѣнные нами горести не исправили насъ, и на насъ сбылась пословица: *горбатаго исправить могила*. Мы непрерывно совѣтуемъ другъ другу придерживаться языка и грѣшимъ, такъ сказать, забываясь. Но никогда не жалели мы эпиграммой—чести, правды, заслуги, истиннаго достоинства и таланта; никогда не насмѣхались надъ полезнымъ, высокимъ, благороднымъ! За то не попадайся *ворона въ павыль перьяхъ, лиса въ лвиной шкурѣ, пли волкъ въ пастушескомъ нарядѣ*. Тотчасъ разоблачимъ! Виноваты, извините: такова натура!<sup>42)</sup>

— Пиши и печатай смѣло—Греча всѣ знаетъ! (говорить въ заключеніе Булгаринъ), а твоя статья только для *иногородныхъ*! Съ Богомъ!

Это окончаніе чрезвычайно двусмысленно. Ужъ если по примѣру Ѳаддея Венедиктовича ссылаться на басни, то подобный возгласъ напоминаетъ булыжникъ, которымъ медвѣдь согналъ муху со лба пустытника.

Осыпая похвалами своего друга, Булгаринъ, въ томъ же 1838 г. напомнилъ о себѣ публикѣ, издавъ свою «Поѣздку въ Финляндію». Поклонникамъ Ѳаддея Венедиктовича она понравилась, а его противникамъ дала богатую поживу для колкихъ рецензій. Къ новому 1839 году, наша литературная промышленность заготовила нѣсколько новыхъ изданій, въ подражаніе иностраннымъ, въ особенности Французскимъ. Мѣщанинъ и ловкій аферистъ по части книжной торговли, Иванъ Петровичъ Песоцкій, по образцу Парижскаго — *Magasin théâtral*, затѣялъ издавать журналъ посвященный отечественному театру. Эта счастливая мысль встрѣтила въ публикѣ живѣйшее сочувствіе, и программа журнала названнаго «Репертуаръ Русскаго театра» была, сама по себѣ, крайне заманчива. Булгаринъ, имѣвшій дурную привычку коситься на каждый новый журналъ, удостоилъ изданіе Песоцкаго благосклоннаго

<sup>41)</sup> Изъ писемъ Булгарина оказывается, что именно *денежные расчеты* были всегдашнимъ яблокомъ раздора между редакторами.

отзыва; а рекомендація Ѳаддея Венедиктовича имѣла тогда большой вѣсъ въ глазахъ читающей публики вообще, иногородной—въ особенноти. Злые языки поговаривали, будто Песоцкій поклонами, раболѣпствомъ и всякаго рода приношеніями задобрилъ Булгарина; будто его благосклонный отзывъ о Репертуарѣ обошелся Песоцкому въ ту же цѣну, какъ Смирдину—стихи Пушкина, т.-е. по червонцу за строку; ходили слухи объ угощеніяхъ, обѣдахъ, завтракахъ и т. д., которыми Песоцкій чествовалъ строгаго Аристарха. Все это весьма правдоподобно и вполнѣ гармонировало съ духомъ того времени, когда у насъ повсемѣстно были развиты взяточничество и лихоимство. Нынѣ подобныя «фортелы», конечно, немислимы: современные рецензенты ни за какія деньги, а тѣмъ менѣе за угощенія, душой не покриваютъ. Честь имъ и слава! Они, даже и бранятся тамъ, гдѣ отъ этой брани имъ самимъ нѣтъ никакой прибыли, а похвалой—ни авторамъ, ни издателямъ не приносятъ пользы.

Изданіе Смирдина было позатѣйливѣе. Въ Парижѣ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, изданъ былъ литературный сборникъ: *Les cent et un*, изъ трудовъ современныхъ поэтовъ и прозаиковъ съ ихъ портретами. Набрать сотню Французскихъ литераторовъ не хитрая задача; но набрать сто «Русскихъ литераторовъ» въ исходѣ тридцатыхъ годовъ могъ только Смирдинъ... И набралъ, какъ говоритъ пословица: съ бору да съ сосенки. Изданіе курьозное! Въ первый томъ попали: Пушкинъ и Веревкинъ, Денисъ Давыдовъ и Марковъ, Александръ Бестужевъ и Каменскій, Кукольникъ и Бѣгичевъ, Вельтманъ и Ушаковъ и т. д. О Гоголѣ, князь П. А. Вяземскомъ почтенный издатель позабылъ и даже впоследствии не вспомнилъ! Булгарина, онъ, разумѣется, не дерзнулъ миновать, приобрѣтя отъ него историческій рассказъ: «Побѣда отъ обѣда». Рассказъ нравописательный и нравоучительный съ нижеслѣдующею моралью: чти начальство, угождай ему по мѣрѣ силъ, и благо ти будетъ. Суть разсказа въ томъ, что въ одинъ прекрасный день Потемкинъ, сидя за обѣдомъ, захандрилъ и пожелалъ отвѣдать соленой севрюжины (точно какая барыня въ интересномъ положеніи!). Исторически вѣрно, что у Потемкина бывали такого рода причуды. Чтобы послать за рыбой, къ услугамъ его свѣтлости былъ цѣлый легионъ адъютантовъ, фельдъегерей, курьеровъ, вѣстовыхъ, лакеевъ и т. п. Но въ подрывъ имъ, выискался какой-то чиновникъ, добровольный холопъ, пожелавшій подслужиться свѣтлѣйшему... Съ быстротою молніи онъ сбѣгалъ въ мелочную лавочку и представилъ Потемкину желанную севрюгу. Князь проглотилъ кусочекъ величиной въ орѣхъ, поморщился и, показывая на дно блюда, сказалъ услужливому лакею... или бишь чиновнику: «на этомъ блюдѣ я вижу зарю твоего благополучія!» И точно: севрюга вывела добродѣтельнаго чиновника въ люди: онъ дошелъ «до степеней извѣстныхъ», даже чѣмъ-то угодилъ любовницѣ Потемкина. Въ этомъ разсказѣ Булгаринъ добросовѣстно и чистосердечно передалъ свой взглядъ на служебныя отношенія подчиненнаго къ начальству... Это и значить—«побѣда отъ обѣда». Отрывки изъ этой басни, въ которой дѣйствующими лицами являются и рыба, и люди, и скоты попали даже въ нѣкоторыя христоматіи, составители которыхъ были такъ

же неразборчивы, какъ и Смирдинъ при вербовкѣ Русскихъ литераторовъ въ свою сотню.

Эта «побѣда отъ обѣда» была вмѣстѣ съ тѣмъ предвѣстницею новаго періодическаго изданія Ѳаддея Венедиктовича, желавшаго явить публикѣ новую грань разнообразнаго таланта—свои гастрономическія познанія: отъ соли и дичи литературной Булгаринъ перешелъ къ настоящей кухнѣ и въ 1841 году взялъ подъ свою редакцію хозяйственный еженедѣльникъ: «Экономъ», издаваемый Песоцкимъ. Кухонные рецепты Ѳаддея Венедиктовича доказали грамотной Россіи, что и она имѣетъ своихъ Каремовъ, Вателей и Брилла-Савареновъ. Въ первый годъ изданія «Экономъ» для редактора былъ тоже въ своемъ родѣ «побѣда отъ обѣда», давъ ему порядочный и сытный кусокъ.

Успѣхъ «Репертуара» Песоцкаго вызвалъ подражателя: книгопродавецъ Поляковъ, съ 1840 года, началъ издавать журналъ «Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ театровъ» подъ редакцію Ѳ. А. Кони. Покровительствуя изданію Песоцкаго, Булгаринъ, тѣмъ не менѣе, отнесся благосклонно и къ «Пантеону», давъ ему для напечатанія въ первомъ-же номерѣ свои «Театральныя воспоминанія». Къ осени, разладивъ съ Ѳ. А. Кони, Булгаринъ бранилъ «Пантеонъ» на чемъ свѣтъ стоитъ... Враждуя со всѣми литераторами, Булгаринъ, въ это самое время, примирился и сблизился съ Н. А. Полевымъ. Примиренію много способствовалъ блестящій успѣхъ драмы послѣдняго: «Параша Сибирячка». Желая отблагодарить Булгарина за лестные отзывы о своей «Сибирячкѣ», Полевой посвятилъ ему новую свою драму: «Солдатское сердце». Узы дружбы примиренныхъ враговъ скрѣпились въ началѣ 1841 года тѣмъ, что Н. И. Гречъ припаялъ на себя въ сотовариществѣ съ Н. А. Полевымъ и Н. В. Кукольниковъ редакцію возобновленнаго ими «Русскаго Вѣстника». Дружба Булгарина съ Полевымъ порвалась въ Маѣ мѣсяцѣ, съ отъѣздомъ Греча въ чужіе края; къ осени она превратилась во вражду, едва-ли не сильнѣе прежней. Поводомъ къ разладу послужила какая-то сельско-хозяйственная статья Булгарина (столько намъ помнится, о капустныхъ кочерыжкахъ), на которую Полевой написалъ нѣсколько опроверженій, при чемъ неловко затронулъ щекотливое самолюбіе Ѳаддея Венедиктовича. Будучи старымъ уланомъ и проведя десять лѣтъ въ «пороховомъ дымѣ», Булгаринъ вспыхнулъ, какъ порохъ и, желая доказать Полевому, что онъ можетъ успѣшно соперничать съ нимъ, не только на почвѣ огородной, полемизируя о капустныхъ кочерыжкахъ, но даже и затмить Полеваго на поприщѣ драматургіи, Ѳаддей Венедиктовичъ написалъ двухъ-актную драму: «Шкуна Нюкарлеби». Сюжетомъ для нея послужило бѣгство князя Якова Долгорукаго изъ Шведскаго плѣна на той-же самой шкунѣ, на которой его везли въ Стокгольмъ послѣ несчастной битвы подъ Нарвою. Драма эта была съ куплетами; изъ нихъ для образца приводимъ одинъ.

По всей вселенной (?)  
Мушдиръ военной—  
Силки! Силки!!  
Красны дѣвицы—  
Летать, какъ птицы,  
Въ поляхъ, въ поляхъ!!

Много приѣровъ,  
 Отъ оидеровъ—  
 Бѣда, бѣда!!  
 Прельщать умѣютъ,  
 Въ любви успѣютъ  
 Всегда, всегда!! и т. д.

Въ «Хроникѣ Русскаго театра А. И. Вольфа (СПб. 1877 г. часть I стр. 95) объ этой пьесѣ находимъ слѣдующую замѣтку: «1-го Сентября (1841 г.) въ бенифисѣ Самойлова театръ былъ биткомъ набитъ. Толпа собралась ради ожидаемаго скандала. Слухъ носился, что хотяя торжественно опикать «Шкуну Нюкарлеби» Э. В. Булгарина; однако-же, вслѣдствіе усиленнаго полицейскаго надзора, демонстрація противу Эаддея Венедиктовича не состоялась. Шикать никто не посмѣлъ, и напротивъ того благонамѣренная часть публики безпрепятственно звала автора, и онъ восторжествовалъ. Въ фельетонѣ «Пчелы» Булгаринъ заявилъ, что онъ пьесѣ своей значенія не придаетъ, а успѣхъ приписываетъ только любви публики къ нему, ясно выразившейся громкимъ вызовомъ, не смотря на происки завистниковъ».

### VIII.

Не безъ грустнаго чувства приступаемъ къ эпизоду изъ жизни Эаддея Венедиктовича, о которомъ, въ свое время ходила молва по всему Петербургу... Умолчать о немъ нельзя, рассказать намеками—тоже; приходится сказать печальную правду.

Въ 1843 году «Репертуаръ и Пантеонъ» слиты были въ одинъ журналъ, издаваемый Песоцкимъ, подъ редакціей В. С. Межевича, бывшаго сотрудирика Пчелы. Изданіе шло очень хорошо, благодаря печатанію въ немъ «Парижскихъ Тайнъ» Евгенія Сю, въ переводѣ В. М. Строева, тоже бывшаго «фактотума» Булгарина. Эаддей Венедиктовичъ ко всѣмъ троицъ относился съ пренебреженіемъ бывшаго начальника, величая ихъ, вмѣсто именъ, какими-то кличками: Песоцкаго—«Песцомъ», Межевича—«Межакомъ», а Строева—«Шпитцигеромъ». Всѣ трое, по правдѣ сказать, были многимъ «обязаны Булгарину». Между Песоцкимъ и Эаддеемъ Венедиктовичемъ возникли какія-то «недоразумѣнія» по изданію «Эконома». 7-го Мая 1843 года Булгаринъ встрѣтился съ Песоцкимъ въ книжномъ магазинѣ Ольхина (на Невскомъ, въ домѣ Завѣтнаго, почти противъ Аничкина дворца). Заспорили редакторъ съ издателемъ; слово за слово; громче да громче; наконецъ—хлестко раздалась пощечина, другая... за ними стукъ палокъ и крики: караулъ! продолжавшіеся на Невскомъ проспектѣ! Редакторъ «Эконома» подрался съ его издателемъ. Хромоногій Песоцкій захромалъ пуще прежняго; противникъ его слегъ въ постель и въ теченіе нѣсколькихъ дней ходилъ въ синихъ очкахъ... Лѣтъ двадцать тому назадъ у насъ подобнаго рода неприятность случилась съ двумя редакторами: одинъ потерпѣлъ поражение въ Пассаждѣ, другой—у себя въ палаццо; но ни тотъ, ни другой не выбѣгали на улицу и не кричали: караулъ!.. Все же

доказательство смягченія литературныхъ нравовъ, сравнительно съ временами давно минувшими.

Въ началѣ 1844 года въ нашей книжной промышленности явилось новое свѣтило: г. А. Ивановъ, начавшій свою дѣятельность изданіемъ сочиненій князя В. Ѳ. Одоевскаго и преобразованной въ иллюстрированную «Литературной Газеты», подъ редакцію А. А. Краевскаго. Это была первая попытка издавать Русскую иллюстрацію—и довольно удачная. Сотрудниками «Литературной Газеты» были: В. И. Даль (Казакъ Луганскій), Е. П. Гребенка, князь В. Ѳ. Одоевскій, Н. А. Некрасовъ и вѣкторые другіе. Понятно, что Булгаринъ не могъ отнестись равнодушно къ новому изданію—ополчился на брань и бранился съ настойчивостью достойною лучшей цѣли... Этимъ же временемъ и Кукольникъ, затѣявъ изданіе «Иллюстраціи», набиралъ сотрудниковъ, литераторовъ и художниковъ: еще новый врагъ Булгарину. Ревнуя публику къ каждому періодическому изданію, Ѳаддей Венедиктовичъ желалъ, чтобы она, кромѣ «Сѣверной Пчелы» никакой иной газеты не читала! Желаніе, конечно, понятное, но неисполнимое. Полемика была, такъ сказать, борьбою за существованіе. Необходимо было, для успѣшнѣйшаго соперничества съ новыми періодическими изданіями измыслить усовершенствованія для «Пчелы», разнообразить ея содержаніе, увеличить доходы... Было надъ чѣмъ поломать голову!

Сорокъ лѣтъ тому назадъ покровительство важныхъ особъ было также необходимо въ литературѣ, какъ и на службѣ. Булгаринъ, съ самаго дня пріѣзда своего въ Петербургъ, никогда не прочь былъ отъ протекцій сильныхъ міра сего; теперь онъ нашелъ себѣ покровителей въ Третьемъ Отдѣленіи.

Въ 1844 году Булгаринъ началъ печатать свои «Воспоминанія». Они были его послѣднимъ, крупнымъ литературнымъ предпріятіемъ. Въ нихъ Ѳаддей Венедиктовичъ, вѣрный себѣ самому, хвасталъ непозволительно — собственными подвигами, близкимъ знакомствомъ съ разными важными особами, съ великими людьми своего времени. Въ подтвержденіе истины своихъ словъ онъ дѣлалъ ссылки преимущественно на людей уже давно умершихъ. Какъ историческій матеріалъ, «Воспоминанія» Булгарина не заслуживаютъ ни малѣйшаго довѣрія. Не смотря на покровительство разныхъ чиновныхъ особъ, Булгарину, при печатаніи его «Воспоминаній» довольно часто доставалось отъ цензуры III Отдѣленія и отъ попечителя учебнаго округа. Книгу эту, всего справедливѣе, можно назвать «историческимъ фельетономъ». Первые выпуски имѣли значительный успѣхъ; къ послѣдующимъ публики видимо охладѣла, да и самъ авторъ, изоглавшись до сыта, писалъ какъ будто нехотя. «Воспоминанія» остались недоконченными.



## IX.

1845 годъ, памятный въ лѣтописяхъ отечественной словесности появленіемъ въ свѣтъ «Мертвыхъ Душъ» Гоголя (о которыхъ Булгаринъ отозвался съ крайнимъ пренебреженіемъ) былъ ознаменованъ изданіемъ «Русской Иллюстраціи», предпринятымъ, съ Апрѣля мѣсяца. Предпріятіе Кукольника обѣщало ему немалыя выгоды: публика любила его, какъ писателя; онъ слылъ за знатока изящныхъ искусствъ, — эти данныя казались достаточными поруками за достоинство и изящество (какъ писалъ Кукольникъ) «Русской Иллюстраціи»... Къ несчастію она далеко не удовлетворила ожиданіямъ, оказавшись съ перваго — же номера блѣднымъ снимкомъ Французской Illustration, отъ фронтисписа (съ изображеніемъ Исаакіевскаго моста и Невской набережной) до ребуса на послѣдней страницѣ.

Весну и лѣто Булгаринъ молчалъ; съ осени пошелъ войной на «Иллюстрацію». Кукольникъ въ долгу не оставался, и полемика длилась съ ожесточеніемъ во все продолженіе изданія Иллюстраціи Кукольниковъ, т.-е. до перехода ее въ 1847 году въ руки А. П. Башуцкаго.

Въ началѣ лѣта вышелъ альманахъ Смирдина: «Вчера и Сегодня»; великолѣпно иллюстрированный «Тарантасъ» графа В. А. Соллогуба; послѣдній томъ: «Ста Русскихъ литераторовъ» со статьею Н. И. Греча «Гейдельбергъ» и баснею И. А. Крылова: «Кукушка и Пѣтухъ». Проживая за границею, Николай Ивановичъ присылалъ въ Пчелу свои интересные письма, въ которыхъ однако-же Булгаринъ не находилъ прежнихъ достоинствъ. Съ возрѣніями Греча многіе не соглашались; вызывали его на полемику... Всѣ эти обстоятельства побудили Алексія Николаевича Греча отписать отцу о тѣмъ измѣненіяхъ въ характерѣ писемъ, которыя можно было бы сдѣлать въ угоду недовольнымъ, въ ихъ числѣ и Булгарину. Судя по отвѣту Николая Ивановича, отъ него ожидали въ Парижскихъ письмахъ легонькихъ анекдотцевъ, шутивыхъ рассказовъ, однимъ словомъ мелочей; онъ-же, по большей части, писалъ о вещахъ серьезныхъ.

1845 годъ благополучно канулъ въ вѣчность, унеся за собою нѣсколькихъ ученыхъ и литературныхъ дѣятелей стараго времени; изъ послѣднихъ назовемъ: Н. И. Хмѣльницкаго (8 Сентября), Н. М. Языкова (26 Декабря), изъ артистовъ П. С. Мочалова. Въ началѣ 1846 года, именно 22 Февраля, скончался давнишній противникъ Булгарина, нашъ даровитый Н. А. Полевой... Достоинно вниманія, что на смертномъ одрѣ, въ предчувствіи и сознаніи близкой смерти, Полевой спросилъ у кого-то изъ окружающихъ: «Не сердится-ли на мена Булгаринъ?»

Эти слова были послѣднимъ воспоминаніемъ умирающаго о покидаемомъ на вѣки литературномъ поприщѣ, съ которымъ была такъ тѣсно связана вся жизнь покойнаго труженика. Похороны Полеваго происходили при многочисленномъ стеченіи публики. При выносѣ гроба изъ Богоявленскаго собора Николы Морскаго, Булгаринъ, протискиваясь сквозь толпу, сплился ухватиться за гробовую скобу; П. А. Каратыгинъ, стоявшій тутъ-же, сказалъ ему: «Фаддей Венедиктовичъ, кажет-

ся вы уже довольно *ноносили* покойнаго при жизни! Эта замѣтка (пожалуй и неумѣстная) вызвала невольную улыбку у всѣхъ присутствовавшихъ, и у Булгарина перваго. Такъ рассказывалъ намъ объ этомъ самъ покойный П. А. Каратыгинъ: никогда онъ не позволилъ-бы себѣ оттолкнуть Булгарина отъ гроба, какъ это говоритъ одинъ биографъ Полеваго <sup>45)</sup>. Да и отталкивать Булгарина было не-за что.

Правда, при жизни Полеваго, Ѳаддей Венедиктовичъ довольно его «ноносилъ» (злые языки говорили, будто-бы даже и «доносилъ»), за то послѣ смерти этотъ врагъ оказался едва-ли не лучше многихъ друзей, съ ихъ безплодными сѣтованіями. Послѣ адмирала Петра Ивановича Рикорда, принявшаго самое сердечное, доброе участіе въ судьбѣ осиротѣлой семьи Полеваго, первое мѣсто, какъ ревностному за нее ходатаю, принадлежало Ѳаддею Булгарину. Пользуясь знакомствомъ съ Дубельтомъ, онъ обратился къ нему съ просьбою о ходатайствѣ за обезпеченіе семейства Полеваго монаршею милостію. На другой же день похоронъ Дубельтъ письменно увѣдомилъ Булгарина о назначеніи Государемъ Николаемъ Павловичемъ вдовѣ и дѣтямъ Полеваго 1000 р. сер. ежегодной пенсіи. Объ этой монаршей милости не приказано было печатать въ газетахъ; Булгаринъ позволилъ себѣ о ней лишь легкій намекъ, за который ему была выражена благодарность отъ графа А. Ѳ. Орлова <sup>46)</sup>. На этотъ разъ никто не укорялъ Булгарина за его мнимую близость къ шефу жандармовъ.

Благосклонность графа Орлова къ Булгарину была поколеблена въ томъ-же году по поводу напечатаннаго въ «Сѣверной Пчелѣ» (17-го Декабря) стихотворенія графини Е. П. Ростопчиной, подъ заглавемъ: «Насильный бракъ».

Это стихотвореніе было написано графинею Ростопчиной за границею, именно въ Падуѣ 30 Октября 1845 года; слѣдовательно, почти черезъ годъ попало въ печать. Будь оно напечатано годомъ ранѣе, оно конечно не произвело-бы въ правительственныхъ сферахъ и въ читающей публикѣ того впечатлѣнія, благодаря которому приобрѣло свою печальную извѣстность. Но въ 1846 году волненія въ Краковѣ и его присоединеніе къ Австріи, заговоры въ Польшѣ, раскрытіе которыхъ повлекло за собою казни и ссылки подали поводъ къ истолкованію смысла стихотворенія графини Ростопчиной, можетъ быть и превратно; однакоже за намекъ на отношенія Россіи къ Польшѣ, олицетворенныя въ особахъ барона и его жены, нумера Сѣверной Пчелы были конфискованы; охотники и охотницы до запрещенныхъ стихотвореній посгѣшили запасть списками съ этой баллады. Князь В. Ѳ. Одоевскій написалъ отвѣтъ вѣчно жалуемой баронессѣ въ томъ смыслѣ, что-де никто тебѣ не запрещаетъ болтать на своемъ языкѣ и молиться въ своихъ костелахъ сколько душѣ угодно, только бунтовать не годится... Булгарину былъ сдѣланъ строгій выговоръ за неосмотрительность и недогадливость; въ зломъ умыслѣ его, конечно, нельзя было заподозрить, точно также какъ и графиню Ростопчину въ полонофиль-

<sup>45)</sup> См. Русская Старина, изд. 1871 г., томъ IV, стр. 677.

<sup>46)</sup> См. Русская Старина, изд. 1872 г. Февраль, томъ V, стр. 299.

ствѣ. Ѳаддей Венедиктовичъ, приглашенный къ Л. В. Дубельту, клялся всѣми святыми, православными и католическими, что онъ, «старый солдатъ» и вѣрнопопданный, съ 1831 года не питаетъ къ Польшѣ никакого сочувствія... «Вы сами, ваше превосходительство, очень хорошо знаете», сказалъ Булгаринъ, «что я не полонофилъ!» «Не полонофилъ», отвѣчалъ Дубельтъ, смѣясь, «а простофиля!» Булгаринъ, такъ или иначе оправдался; но графиня Ростопчина навсегда лишилась благосклонности императора Николая Павловича. Ея вины не искупили самыя восторженные патріотическія стихотворенія, написанныя ею впоследствии.

Послѣ этого непріятнаго недоразумѣнія, Ѳаддей Венедиктовичъ сталъ еще осмотрительнѣе прежняго, особенно при печатаніи въ «Пчелѣ» стихотвореній, допуская лишь тѣ, которыя, при совершенной невинности содержанія, не могли заключать ничего подозрительнаго между строками. Впрочемъ цензура, довольно снисходительная въ 1846—1847 годахъ, сдѣлалась неумолимо строгою съ 1848 и продолжала быть таковою до самой кончины императора Николая Павловича.

Съ Января 1847 года началъ выходить новый «Современникъ».

1849 годъ достопамятенъ въ отечественныхъ лѣтописяхъ двумя равносильными бѣдствіями: продолжавшеюся съ лѣта 1848 года холерою и Венгерскою кампанією; 28 Августа въ Варшавѣ, отъ паралитического удара, скончался великій князь Михайлъ Павловичъ... Въ наши газеты, во все продолженіе года, сохраняли мрачный тонъ, бывший отголоскомъ общественнаго настроенія духа. Съверная Пчела, по обыкновенію, была корифеемъ этого хора; вмѣстѣ съ тѣмъ Булгаринъ, вѣрный себѣ самому, изрѣдка перестрѣливался въ своихъ фельетонахъ съ журналистами, не забывая рецензій театральныхъ и рекламъ торговымъ заведеніямъ.

Въ началѣ 1850 года, здоровье Алексѣя Николаевича Греча, главнаго работника Съверной Пчелы, настолько разстроилось, что доктора присовѣтовали ему поѣздку на островъ Мадеру. Алексѣя Николаевича въ этомъ дальнемъ плаваніи сопровождала сестра его отца, Катерина Ивановна. Къ сожалѣнію, доктора не приняли во вниманіе силъ больнаго, или не предусмотрѣли быстрого хода болѣзни: во время дальняго, морскаго путешествія молодой Гречъ видимо угасалъ и въ началѣ Апрѣля скончался въ открытомъ океанѣ, въ нѣсколькихъ сотняхъ миль отъ Мадеры. Тетка желала довести его до цѣли путешествія, чтобы похоронить на твердой землѣ; но капитанъ и прочіе пассажиры на пароходѣ заявили свое неудовольствіе на продолжительное присутствіе между ними мертваго тѣла, хотя бы и въ трюмѣ... Согласились однакоже съ тѣмъ условіемъ, чтобы трупъ былъ на глухо заколоченъ въ бочку и пересыпанъ солью въ предохраненіе порчи. На пароходѣ не нашлось бочки соответствующей длины, и оказалось необходимымъ перерубить трупъ пополамъ. На это Катерина Ивановна не въ силахъ была согласиться и, въ виду необходимости, рѣшилась предать тѣло покойнаго волнамъ океана—замѣняющимъ кладбище для дальнихъ плователей, умирающихъ на пути. Трупъ Алексѣя Николаевича, завернутый въ парусъ, съ тяжелымъ ядромъ привязаннымъ къ ногамъ, былъ поглощенъ пучинами Атлантическаго океана.

Роковая вѣсть о смерти сына глубоко поразила Николая Ивановича и въ нѣсколько дней отняла у него много силы и энергии, которыми онъ вообще отличался, не смотря на свои почтенныя лѣта.

Въ лѣтнюю пору, за отсутствіемъ Булгарина, фельетонами Пчелы завѣдывалъ Л. В. Брандтъ, подписывавшійся тремя буквами: Я. Я. Я. Эти фельетоны отличались бездѣтностью и безсодержательностью. Покойный А. Н. Гречъ не одобрялъ ихъ, а Николай Ивановичъ, лѣтомъ 1850 года, рѣшился уволить Брандта отъ занятій фельетонами. Но они почему-то заслужили одобреніе Булгарина, покровительствовавшаго лѣтнему фельетонисту, и онъ пытался отстоять Бранта. Впрочемъ, замѣтить должно, что Брандтъ былъ не лишень дарованія; онъ написалъ въ 1839—1843 годахъ романы: «Воспоминанія и очерки жизни», «Аристократка» и «Жизнь какъ ова есть», имѣвшіе свой кругъ читателей и читательницъ. Въ литературномъ кругу Брандтъ служилъ предметомъ многихъ шутокъ надъ его притязаніемъ быть похожимъ на одного великаго человѣка нынѣшняго столѣтія и даже причитаться ему въ родню, довольно близкую... При всемъ томъ Брандтъ былъ самъ далеко не знаменитостью, хотя и послужилъ своею особою нѣсколькимъ карикатуристамъ и даже Н. А. Степанову для статуэтки.

## Х.

Прошли года, охлажденіе между редакторами Съверной Пчелы замѣтно усиливалось. Булгаринъ въ своихъ фельетонахъ уже не восхвалялъ болѣе Греча, какъ въ былыя времена; съ своей стороны и Гречъ почти не упоминалъ о своемъ другѣ и товарищѣ. Занятый изданіемъ новыхъ своихъ ученыхъ трудовъ (Учебная Русская грамматика для учащихся и «Задачи Русской учебной грамматики»), онъ изрѣдка удѣлялъ время на какую-нибудь статью для Съверной Пчелы, предоставивъ ей фельетонъ исключительно Булгарину, которому было о чемъ бесѣдовать со своими добрыми и невзыскательными читателями: недавно открытые постоянный (Благовѣщенскій) мостъ черезъ Неву, желѣзная дорога въ Москву, благотворительные праздники и лотереи, карлики въ Пассажѣ, магазинъ Русскихъ издѣлій, новыя папиросныя фабрики, пирожныя и т. п. Объ всемъ рассказывалось въ «Пчелкѣ» съ прежней добродушной словоохотливостью. Въ полемику Булгаринъ вдавался въ случаяхъ крайней необходимости, ведя литературныя войны уже не наступательныя, но оборонительныя... Словомъ сказать, на страницахъ Пчелы была «тишь да гладь, да Божья благодать». Смерть Гоголя (21 Февраля 1852 года) доставила Ѳаддею Венедиктовичу случай заявить печатно о его несочувствіи къ вождю реального направленія нашей словесности; онъ не могъ оцѣнить всей важности незамѣнимой утраты, понесенной Россіею въ лицѣ гениальнаго творца «Мертвыхъ Душъ». Во всю свою жизнь измѣнчивый въ убѣжденіяхъ, Булгаринъ былъ непоколебимъ и постояненъ лишь въ своихъ нападкахъ на писателей «натуральной школы»—и то не въ попадь. Никому изъ современныхъ писателей противниковъ Булгарина не пришло въ голову замѣтить ему, что онъ, ярый противникъ «натуральной школы», самъ того не зная, былъ ея послѣдователемъ въ наиболѣе удачныхъ своихъ произведеніяхъ... Онъ-ли не натура-

листъ въ своихъ нравоописательныхъ очеркахъ (Корнетъ, Салопница, «Наши» и т. п.), въ особенности же въ «Иванъ Выжигинъ»? И кто знаетъ, легко можетъ быть, что если бы Булгаринъ въ своихъ сочиненіяхъ придерживался натуральнаго направленія, то былъ-бы писателемъ замѣчательнымъ и упрочилъ-бы на многія лѣта свою литературную извѣстность.

Нельзя не отмѣтить также любопытнаго, физиологическаго факта: Булгаринъ по мѣрѣ наступленія старости, какъ бы смягчась въ отношеніи литературныхъ своихъ враговъ, ожесточался въ отношеніи къ Н. И. Гречу, изливая на него тѣ запасы жолчи, которыми въ былыя времена оплевывалъ противниковъ и ненавистниковъ. Такъ иной буянь и забіяка, лишенный возможности производить драки и скандалы на улицѣ, дерется со своими домашними.

Гречъ говоритъ въ біографіи Булгарина, что на него находили припадки безотчетнаго бѣшенства, отъ которыхъ онъ избавлялся кровопусканіями <sup>47)</sup>. Почему не допустить, что Ѳаддей Венедиктовичъ во время подобныхъ припадковъ писалъ свои полемическія статьи?

По мѣрѣ того, какъ разгоралась война, разгоралась и въ Булгаринѣ кровь стараго вояки. Статьи его по поводу Англо-французскаго союза отличались самымъ неистовымъ шовинизмомъ. Въ одномъ изъ фельетоновъ, пригрозивъ Наполеону III и лорду Пальмерстону, Булгаринъ воскликнулъ даже: «вотъ вамъ отвѣтъ стараго Русскаго солдата». Въ пылу негодованія на *племянника*, Ѳаддей Венедиктовичъ забылъ, что сорокъ два года тому назадъ былъ «молодымъ солдатомъ» въ рядахъ *дядюшки*! Но патріотическій пылъ въ статьяхъ Пчелы допускался лишь до извѣстнаго градуса: верховная власть находила вполне основательно, что рѣзкій тонъ «Сына Отечества» и «Русскаго Вѣстника» 1812 года былъ-бы неумѣстенъ въ Пчелѣ 1854—1855 годовъ. Впрочемъ и того, что печаталось, было за глаза достаточно. Кромѣ Булгарина, громившаго Англо-французовъ въ своихъ фельетонахъ, а съ нимъ цѣлаго хора патріотическихъ пѣтцовъ—жгучія фанатическія статьи писали въ Пчелѣ: А. Г. Ротчевъ («Правда объ Англіи»), Ѳ. М. Толстой и г. А. Горяиновъ. На сколько первые два автора въ своихъ патріотическихъ памфлетахъ, при всей ихъ горячности, были послѣдовательны и логичны, на столько послѣдній перекладывалъ и хваталъ черезъ край. Г. Горяиновъ на примѣръ убѣждалъ Русскихъ барынь и барышень одѣваться въ сарафаны и обуваться въ коты въ доказательство ихъ любви къ отечеству. Впрочемъ эта мысль понравилась очень многимъ: въ театрахъ, въ собраніяхъ и даже на гуляньяхъ появлялись и барыни, и барышни, наряженныя «кормилицами»...

Празднованіе полулѣтняго юбилея графа Ѳедора Петровича Толстаго (10 Октября 1854 года) подало нѣкоторымъ изъ близкихъ знакомыхъ Николаю Ивановичу Гречу мысль почтить его таковымъ - же празднествомъ, такъ какъ въ исходѣ 1804 года началась его педагогическая дѣятельность, а въ началѣ 1805—и литературная. Лица, взяв-

<sup>47)</sup> См. Русская Старина, 1871 г. Ноябрь, томъ IV, стр. 493--495.

шія на себя устройство празднества и распоряженія о немъ, устранили Булгарина отъ всякаго въ нихъ участія. Этого не случилось бы безъ сомнѣнія, еслибы за послѣдніе два-три года отношенія Ѳаддея Венедиктовича къ Гречу были искренніе и дружелюбнѣе. Несомнѣнно и то, что Булгарину было весьма желательно парадировать на юбилей его тридцатичетырехлѣтняго друга и быть на празднествѣ первымъ лицомъ по юбилярѣ; но, послѣ препирательствъ послѣднихъ лѣтъ, это было-бы вакханаліей лицемѣрія и притворства. Глубоко уязвленный Булгаринъ написалъ очень дерзкое письмо къ І. И. Ростовцову <sup>18)</sup>, въ которомъ съ іезуитскимъ смиреніемъ просилъ дозволить ему присутствовать на праздникѣ, хотя онъ и не состоить «въ генеральскомъ чинѣ»... На эту ехидную выходку Ростовцовъ вѣжливо отвѣчалъ, что о какомъ-либо препятствіи къ тому со стороны распорядителей не можетъ быть и рѣчи. Положеніе Булгарина было, дѣйствительно, крайне двусмысленно: не быть—неловко; быть еще того неловче и для него самаго, и для юбиляра. Однакоже Ѳаддей Венедиктовичъ избралъ послѣднее.

Распорядителями празднества были: адмиралъ Петръ Ивановичъ Рикордъ, генераль-адъютантъ Іаковъ Ивановичъ Ростовцовъ, тайные совѣтники: Александръ Максимовичъ Княжевичъ, Владимиръ Ивановичъ Панаевъ, графъ Ѳеодоръ Петровичъ Толстой. Всѣхъ участниковъ на юбилей было триста семнадцать; въ числѣ особъ, изъявившихъ желаніе почтить Греча своимъ присутствіемъ, находился принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій.

Празднество происходило 27 Декабря 1854 года въ главной залѣ Перваго Кадетскаго Корпуса (нынѣ Павловское Военное Училище), великолѣпно декорированной зеленѣющими лаврами, миртами и цвѣтущими растеніями. Роскошно сервированные обѣденные столы, освѣщенные тысячами свѣчъ, блистали золотомъ, серебромъ, граненымъ хрусталемъ и цвѣтами, во время обѣда гремѣлъ оркестръ Лядова. Гречъ первый послѣ Крылова удостоился столь лестнаго почета. Въ числѣ его гостей были лица всѣхъ сословій и представители нашей тогдашней умственной жизни отъ маститыхъ сверстниковъ юбиляра до юныхъ талантливыхъ писателей (впрочемъ за нѣкоторыми исключеніями). Но отличный обѣдъ куда горекъ и солонъ показался бѣдному Ѳаддею Венедиктовичу! Распорядители поднесли юбиляру великолѣпный серебряно-вызолоченный кубокъ, работы знаменитаго въ то время Сазикова - отца. На крышкѣ ея былъ изображенъ Русскій паренъ читающій книгу; на четырехъ фасахъ, въ перемежку съ головками и арабесками, находились надписи: *Николаю Ивановичу Гречу; 1804 — 1854; Сынъ Отечества; 1812. Русская Грамматика.* Поздравительныя рѣчи и стихотворенія были произнесены А. М. Княжевичемъ, министромъ Народнаго Просвѣщенія А. С. Норовымъ, В. Р. Зотовымъ (стихи), кадетами 1-го Корпуса, Н. А. Арбузовымъ (стихи). Затѣмъ, по единодушному желанію присутствовавшихъ, произнесъ свою рѣчь юбиляръ. Онъ началъ ее по поводу «злобы дня», именно тогдашнихъ военныхъ обстоятельствъ, ука-

<sup>18)</sup> Оно было напечатано въ „Древней и Новой Россіи“ на 1877 годъ.

заніемъ на значеніе Перваго Кадетскаго Корпуса въ отечественной военной исторіи; вспомнилъ объ августѣйшихъ своихъ благодѣтеляхъ: Александрѣ I, императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, великомъ князѣ Михаилѣ Павловичѣ и принцѣ Георгіи Ольденбургскомъ; затѣмъ перешелъ къ эпохѣ своего дѣтства и юности: благословилъ память своихъ родителей, первыхъ наставниковъ, учителей, руководителей и покровителей. Въ длинномъ спискѣ именъ сановниковъ двухъ царствованій какими-то зловѣщими свѣтилами промелькнули имена: Аракчеева, Бенкендорфа, Фонъ-Фока, Тимковскаго и Уварова... Но, напоминая читателямъ, что юбилей происходилъ въ Декабрѣ 1854 года и прибавимъ, что чувство признательности къ кому-бы то ни было никогда не унижаетъ того, кто его сознаетъ. Къ перечню сановниковъ Николай Ивановичъ присоединилъ имя простаго мѣщанина Завѣтнаго, бесплатно отпуская бумагу на печатаніе Сына Отечества... Двадцать шесть лѣтъ тому назадъ подобное сопоставленіе, да еще на парадномъ обѣдѣ, было своего рода вольнодумствомъ! Тѣмъ болѣе чести покойному Гречу. Перейдя къ литераторамъ, уже окончившимъ земное свое поприще, онъ назвалъ: Державина, Дмитріева, Карамзина, Жуковскаго, Крылова, Гнѣдича, Грибоѣдова, Пушкина, Загоскина, Зедделера и Полеваго. О періодическихъ своихъ изданіяхъ Гречъ не сказалъ ни слова!

Послѣ рѣчи юбиляра ему отвѣчали нѣкоторые изъ гостей. Были тутъ разныя особы и лица, праха которыхъ тревожить не видимъ надобности <sup>49)</sup>. Но о Булгаринѣ ни гугу; ни онъ самъ не выговорилъ ни слова!

## XI.

Между бывшими друзьями возникло дѣло изъ-за денежныхъ расчетовъ. Въ началѣ Марта 1855 года Н. И. Гречъ обратился къ посредничеству покойнаго И. П. Липранди. Ему же Булгаринъ 23 Марта написалъ очень пространное письмо, въ которомъ, со всѣмъ искусствомъ опытнаго дѣльца «старыхъ временъ», изложилъ по пунктамъ всѣ свои претензіи на своего давняго товарища.

Это письмо было напечатано въ Русскомъ Архивѣ за 1869 годъ стр. 1553. Оно было предъявлено Гречу, который ограничился слѣдующею замѣткою: «Укрѣпившись нѣсколько въ здоровьѣ, я прочиталъ письмо Ѳ. В. Б. Удивительное сплетеніе лжи и клеветы!» Но подобнаго опроверженія было, конечно, недостаточно; слѣдовало отвѣчать по пунктамъ, на чтѣ потребовалось слишкомъ три недѣли. Опроверженія свои Николай Ивановичъ подтвердилъ нѣсколькими документами: копіями съ договоровъ, расчетовъ и подлинниками писемъ прежнихъ лѣтъ.

<sup>49)</sup> Описаніе юбилея Н. И. Греча, составленное Кс. Полевымъ, съ портретомъ и рисункомъ вазы, было издано особою брошюрою, СПб., 1855. 98 стр. въ 8. д. л.

Наступилъ благословенный 1856 годъ; кровавая восточная война клонилась къ миру, а распря старинныхъ друзей разгоралась и усиливалась день ото дня... Грустный финалъ готовила судьба Булгарину! Добрые люди, умирая, мирятся со злѣйшими своими врагами; а онъ, за три года до смерти, непримиримо разладилъ со стариннымъ и добрымъ другомъ.

При нещадныхъ взаимныхъ обвиненіяхъ, враждующія стороны очерпали изъ временъ давно минувшихъ случаи, дѣла и слова сколько-нибудь клонившіяся къ тому, чтобы выставить другъ друга въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ. Давно минувшія и проценныя обиды, случаи изъ быта семейнаго, письма, хранившіяся въ домашнихъ архивахъ, все всплыло на свѣжую воду—на судъ посредника, и вмѣстѣ съ тѣмъ, на судъ потомства. Тридцати-пятилѣтняя дружба оказалась взаимнымъ самообольщеніемъ, химерой... И причиною вражды были не одни денежные расчеты: насколько бывалъ Булгаринъ алченъ, настолько Гречъ уступчивъ.

Гречъ писалъ: «Ѳаддей Венедиктовичъ говоритъ, что онъ дворянинъ и солдатъ. Не спорю, что онъ Польскій шляхтичъ, но не признаю за нимъ права носить благородное имя Русскаго солдата, вѣрнаго своей присягѣ и знамени. Да и шляхетство не есть еще благородство. Предоставляя ему тѣшиться ходячими въ Польшѣ Латинскими поговорками, скажу только, что, по Русскимъ законамъ, живые поступки влекутъ за собою лишеніе дворянскаго достоинства. На слова его, что онъ другаго, а не меня, заставилъ-бы стрѣляться съ нимъ на смерть, отвѣчаю, что напрасно онъ церемонится. Вызовъ его отправлю я въ ту же минуту къ г. оберъ-полицмейстеру съ просьбою объ охраненіи меня отъ злоумышленнаго нападенія. Впрочемъ, извѣстно, что поединки Ѳ. В. происходятъ безъ употребленія огнестрѣльнаго, или бѣлаго оружія; таковыя имѣлъ онъ: съ графомъ Тышкевичемъ, въ передней сенатора Столыпина, съ племянникомъ своимъ Д. А. Искрицкимъ, въ своей квартирѣ; съ книгопродавцемъ Ольхинымъ на крыльцѣ дома Энгельгардта; съ книгопродавцемъ Лисенковымъ въ его книжной лавкѣ, и—наконецъ знаменитѣйшій изъ всѣхъ—7 Мая 1843 года, въ книжномъ магазинѣ Ольхина съ мѣщаниномъ Песоцкимъ».

Дѣло принимало характеръ формальной тяжбы. Булгаринъ заканчивалъ свою литературную и жизненную карьеру тѣмъ же чѣмъ и началъ, т. е. кляузами, ябедничествомъ и крючкотворствомъ. Третейскій-ли судъ, котораго такъ добивался Н. И. Гречъ, любовное-ли соглашеніе съ Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ—не знаемъ, но въ 1856 году между ними заключенъ былъ новый мирный договоръ, въ формѣ контракта. Считаемъ излишнимъ приводить его по копіи, сохранившейся въ бумагахъ Николая Ивановича. Этотъ договоръ, облеченный въ форму контракта, можетъ быть любопытенъ лишь въ юридическомъ отношеніи. Съ этого времени, Булгаринъ, въ редакціи стушевался и сталъ похожъ на пчелу въ зимнюю пору, или пожалуй на крапиву тронутую морозомъ. О литературномъ значеніи Пчелы не говоримъ, потому что, при появленіи новыхъ лицъ въ составѣ редакціи она ви-



димо измѣнила прежнее свое направленіе... Переданная Н. И. Гречемъ въ другія руки (въ 1860 году), она неминуемо должна была пасть и пала! Если Булгарина — можетъ быть въ видѣ лестнаго ему комплимента—можно было назвать жаломъ Пчелы, то, извѣстно всякому, что пчела, безъ жала, существовать не можетъ.

## XII.

Некрасивый, чтобы не сказать, безобразный съ молодю, Булгаринъ еще дурнѣль по мѣрѣ наступленія возраста и къ пятидесяти годамъ обрюзгъ, растолстѣлъ и сдѣлался какимъ-то Калибаномъ (какъ его въ шутку называлъ Грибоѣдовъ): Коротко остриженные сѣдые волосы, толстый носъ, обвислыя губы, слезащіяся на выкатъ глаза, таковы были отличительныя черты его физіономіи. Не сознавая своей неприглядности, онъ, съ самого начала журнальнаго своего поприща, не прочь былъ распространять свои изображенія въ гравюрахъ и литографіяхъ. Они стали появляться въ началѣ тридцатыхъ годовъ. Укажемъ на фронтисписъ къ «Новоселю» Смирдина (1833 г.) и на крайне - польщенный портретъ Булгарина въ первомъ томѣ сборника «Сто Русскихъ литераторовъ» (1838). По наущенію кого-то изъ ненавистниковъ его, книгопродавецъ Лисенковъ публиковалъ о поступленіи въ продажу портрета знаменитаго Французскаго сыщика Видока (этимъ именемъ Пушкинъ заклеилъ Булгарина), и когда приходили покупатели, Лисенковъ предлагалъ имъ портретъ Ѳаддея Венедиктовича. Эtotъ анекдотъ одно время ходилъ по всему Петербургу. Въ 1852 году Булгаринъ самъ издалъ свой отлично литографированный портретъ со снимкомъ почерка: «Не поминайте лихомъ!» Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ иллюстрированномъ періодическомъ изданіи: «Листокъ для Свѣтскихъ Людей», въ гравюрахъ и литографіяхъ В. Ѳ. Тимма и Неттельгорста довольно часто появлялись портреты Булгарина, въ разныхъ сценкахъ и группахъ, украшавшихъ текстъ. Въ первыхъ двухъ выпускахъ изданія «Очерки Русскихъ нравовъ» (Корнетъ и Салопница) было нѣсколько гравюръ съ изображеніями Булгарина и Греча, очень схоже набросанныхъ бойкимъ карандашомъ Тимма<sup>50</sup>). Въ 1846 году въ «Иллюстраціи» Кукольника время отъ времени появлялись карикатуры на Булгарина—дубоватыя и по идеѣ, и по выполненію. Такъ, напримѣръ, въ ребусѣ: «въ семьѣ не безъ урода» былъ изображенъ Ѳаддей Венедиктовичъ съ чортомъ за плечами. Раза два три онъ попадалъ подъ острый карандашъ Л. Н. Неваховича въ его каррикатурномъ альбомѣ «Ералашъ» (1847 г.); но самую забавною каррикатурою на Булгарина былъ его портретъ въ «Петербургскомъ Сбор-

<sup>50</sup>) Издавались въ 1843—1845 гг. Ольхинымъ; ихъ выпущено было нѣсколько книжекъ, весьма изящныхъ. Помнимъ: „Невскій Пароходъ“ А. Н. Греча, „Находчивое поколѣніе“ Казака Луганскаго, „Преферансъ“, Кукольника и др.

никъ Панаева и Некрасова <sup>51)</sup>, рисованный Н. А. Степановымъ: Булгаринъ въ уланскомъ мундирѣ выплясываетъ мазурку съ хорошенькой дамочкой; подпись, заимствованная изъ его «Воспоминаній», гласитъ: «въ молодости я былъ хорошъ собою, ловко танцевалъ мазурку и нравился женщинамъ!»

Съ 1846 по 1850 годъ Н. А. Степановъ издавалъ цѣлую серію каррикатурныхъ гипсовыхъ статуэтокъ нашихъ тогдашнихъ литературныхъ и артистическихъ знаменитостей. Статуэтка Булгарина, по ея сходству съ оригиналомъ, положительно превзошла всѣ прочія: лицо, фигура, экспрессія были уловлены въ совершенствѣ, особенно въ раскрашенныхъ экземплярахъ! Ѳаддей Венедиктовичъ, до того времени снисходительно относившійся къ своимъ каррикатурамъ, на этотъ разъ обидѣлся: «Ты, Николай Александровичъ», сказалъ онъ Степанову, «придѣлалъ-бы хвостъ, тогда изъ твоей статуэтки вышелъ бы настоящій чортъ!» Въ угоду Булгарину, Степановъ вылѣпилъ другую статуэтку, на пол-головы выше, осанитѣе, красивѣе, и вышло чортъ знаетъ что, только не Булгаринъ. Копіи со статуэтки Степанова явились во множествѣ снимковъ, въ видѣ бутылочныхъ фарфоровыхъ пробокъ и гуттаперчевыхъ куколекъ. Ихъ продавали даже на вербахъ. Наконецъ, есть его изображеніе на знаменитой картинѣ К. П. Брюллова «Осада Пскова». Брюлловъ, другъ и задушевный пріятель Кукольника, въ числѣ эпизодическихъ лицъ своей картины, изобразилъ Поляка, снявшаго съ убитаго Русскаго кафтанъ и натягивающаго его себѣ на плечи: въ этомъ Полякѣ каждый зритель, мало мальски выдавшій и знавшій Булгарина—узнавалъ Ѳаддея Венедиктовича съ перваго взгляду.. Это была пасквиль талантливаго живописца, равносильная пасквилямъ Пушкина, которыми великій поэтъ удостоивалъ Булгарина. Въ «Художественномъ Листкѣ» Тимма, за 1854 годъ изображены оба издателя Съверной Пчелы, Гречъ и Булгаринъ, въ рабочемъ кабинетѣ.

Покойный П. А. Каратыгинъ изобразилъ Булгарина въ первомъ своемъ водевилѣ «Знакомые Незнакомцы» игранномъ въ первый разъ 12 Февраля 1830 года <sup>52)</sup>. Фабулою для водевиля послужила вымышленная встрѣча на станціи журналистовъ Сарказмова (Булгаринъ) и Баклушина (Полевой). Рязанцовъ, игравшій роль перваго, гримировкою и костюмомъ, какъ двѣ капли воды, былъ похожъ на Булгарина. Такъ какъ положеніе этого дѣйствующаго лица въ водевилѣ не заключало въ себѣ ничего обиднаго для обоихъ журналистовъ, они оба отнеслись весьма благосклонно къ начинающему водевилисту: Булгаринъ разцѣловалъ Рязанцова, назвалъ его своимъ двойникомъ, а съ Каратыгинымъ съ того времени познакомился и до самой своей смерти находилъ къ нему въ пріятныхъ отношеніяхъ.

Лѣтъ черезъ десять тотъ-же Каратыгинъ вывелъ Булгарина на сцену въ водевилѣ: «Авось, или сцены въ книжной лавкѣ», подъ именемъ журналиста Барбосова. Эту роль игралъ Сосницкій и загримировался поразительно схожимъ на Булгарина. Достоинно вниманія, что

<sup>51)</sup> Эта книга, вполнѣдствіи изъятая изъ продажи, нынѣ составляетъ рѣдкость.

<sup>52)</sup> См. „Записки П. А. Каратыгина“ СПб. 1880 г., стр. 194—201.

покойный Государь Николай Павловичъ, видя этотъ водевилъ на сценѣ (28 Ноября 1840 года) и оставшись имъ весьма доволенъ, спросилъ автора: «Кого представляетъ Сосницкій?» «Булгарина, ваше величество.» — «Слыхать о немъ слыхалъ», замѣтилъ Государь, «но въ лицо этого господина не знаю».

Въ томъ же 1840 году, покойный О. А. Кони написалъ, для бенефиса В. В. Самойлова, водевилъ: «Петербургскія квартиры». Бенефициантъ въ главной роли Просыпочки изображалъ издателя многаго множества книгъ, Песоцкаго, тогда сильно ухаживавшаго за Булгаринымъ, который въ водевилѣ былъ названъ «Задоринымъ». Театральная цензура запретила къ представлению четвертое дѣйствіе (совершенно вводное), происходящее въ кабинетѣ редактора; но оно было дозволено къ печати и появилось въ полномъ составѣ водевиля въ Пантеонѣ на 1840 годъ (Октябрь).

Какъ бы въ вознагражденіе за этотъ афронтъ, постигшій Булгарина въ напечатанной піесѣ Кони, въ томъ-же 1840 году Н. А. Полевой поставилъ на сцену драму: «Солдатское сердце, или биваки въ Саволакскѣ», въ которой вывелъ, подъ именемъ уланскаго корнета Булгарова, Фаддея Венедиктовича героемъ добродѣтели и великодушія. Сюжетомъ для этой слезливой мелодрамы послужило истинное происшествіе съ Булгаринымъ во время Финляндской кампаніи 1807—1808 годовъ, когда онъ спасъ отъ висѣлицы пастора-партизана (см. выше). Пасторъ былъ замѣненъ фермеромъ, человекомъ высоконравственнымъ и благонамѣреннымъ. Оно вышло не совсѣмъ ловко: фермеръ, по піесѣ, благонамѣренный въ отношеніи Русскихъ, оказывался предателемъ и измѣнникомъ своимъ землякамъ, Финляндцамъ. Но на эту несообразность благодушная публика Александринскаго театра не обратила вниманія: «сердце» Полеваго трогало чувствительныя сердца зрителей, а сердце Булгарина замирало отъ умиленія при воспоминаніи добраго дѣла временъ давно минувшихъ. Эти нѣжности не попрепятствовали, однакоже, ни Полевому, ни Булгарину враждовать не на животъ, а на смерть въ теченіи послѣдующихъ пяти лѣтъ (1841—1846 г.)

Эпиграммы, сатиры и пасквили въ стихахъ и въ прозѣ посыпались на Булгарина съ перваго же года его литературной дѣятельности.

Первое по времени мѣсто принадлежитъ нѣсколькимъ стихотвореніямъ нашего баснописца Александра Ефимовича Имайлова (1779 † 1831). Сатиры Измайлова по ихъ остроутѣ и тонкости напоминали дубовыя кольца повыдерганныя изъ частокола; соль почтеннаго редактора «Благонамѣреннаго» была чистѣйшій бузунъ, а муза его частенько смахивала на полупьяную, засаленную кухарку. Изъ писемъ Измайлова къ «его высокопревосходительству» Ивану Ивановичу Дмитріеву очевидно, что редакторъ «Благонамѣреннаго» точилъ зубы на Булгарина съ самаго начала 1823 года.

Но самымъ ядовитымъ жаломъ язвилъ Воейковъ въ своемъ «Домѣ Сумасшедшихъ». Эту сатиру Воейковъ писалъ и дополнялъ, какъ извѣстно, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Распространяя ея списки между знакомыми, авторъ придерживался правила опускать строфы лич-

но до нихъ касавшіяся. Куплеты на Булгарина и на Греча были написаны никакъ не позже 1826 года.

Тутъ кто? Гречева собака  
Забѣжѣла вмѣстѣ съ нимъ:  
То Булгаринъ-Забѣйка  
Съ рыломъ мосичьимъ своимъ,  
Съ саблей въ петлѣ... „А Французскій  
„Крестъ ужель надѣтъ забылъ?  
„Вѣдь его ты кровью Русской  
„И предательствомъ кунилъ!“

\*

Что-жь онъ дѣлаеть здѣсь? Лаееть,  
Брызгаетъ пѣною съ брылей,  
Мечется, рычитъ, кусаетъ  
И домашнихъ и друзей!  
Но на чемъ онъ сталъ помѣшанъ?  
Совѣсть, умъ свихнули въ немъ:  
Все боится быть повѣшенъ,  
Или высѣченъ кнутомъ.

Не довольствуясь этимъ, Воейковъ, бичуя Полеваго, вторично затрогиваетъ Греча и Булгарина:

Подлѣ какъ рабъ, надутъ какъ баринъ,  
И чтобъ вкратцѣ кончить рѣчь:  
Безкорыстень—какъ Булгаринъ,  
Благородень—такъ какъ Гречъ! <sup>53)</sup>

Далѣе:

Тотъ Воейковъ, что бранился,  
Съ Гречемъ въ подлый бой вступалъ,  
Что съ Булгаринымъ возился  
И себя тѣмъ запятналъ.

Въ 1828 году, по поводу примиренія Греча и Булгарина съ Н. А. Полевымъ, въ журналѣ: «Славянинъ» (часть VI, стр. 72—78 и часть VII, стр. 68—72) были напечатаны двѣ статьи самого издателя Воейкова; первая подъ названіемъ: «Сновидѣніе», вторая: «Прелиминарныя статьи мира». Онѣ любопытны, единственно, по указаніямъ на промахи Булгарина во многихъ его статьяхъ въ періодъ съ 1823 по 1828 годъ. Но изъ промаховъ Булгарина, уловленныхъ его рецензентами, отъ Воейкова до Бѣлинскаго, можно было-бы составить особый сборникъ. Съ сатирами и эпиграммами на Булгарина онъ не имѣлъ-бы ничего общаго. Замѣтимъ, что Булгаринъ, никогда не сознаваясь въ своихъ промахахъ, обыкновенно ссылаясь на оплошность корректора. Въ 1844 году онъ сказалъ въ фельетонѣ Пчелы, что у г-жи Віардо *контралтъ*, подобнаго которому онъ не слыхивалъ. Кто-то изъ журналистовъ печатно замѣтилъ, что это и немудрено, такъ какъ у г-жи Віардо го-

<sup>53)</sup> По словамъ А. О. Россета, Пушкинъ восхищался послѣдними тремя стихами и любилъ повторять ихъ. П. В.

лось—*сопрано*, а не *контральтъ*.—Очень хорошо знаю, отозвался Булгаринъ, но я написалъ *контральтъ*, а дуракъ корректоръ напуталъ!..

Какъ при пушечномъ выстрѣлѣ гложуть ружейные, такъ всѣ другія сатиры и эпиграммы должны были умолкнуть, когда на Булгарина посыпалась молниеносные стихи Пушкина... Самъ Аполлонъ направилъ стрѣлы свои на Пиеона; геній наступилъ пятою на посредственность и тѣмъ удѣлилъ ему частицу безсмертія. Булгаринъ, давно забытый какъ авторъ Димитрія Самозванца и Выжигиныхъ, не умретъ въ эпиграммахъ Пушкина.

Живя въ изгнаніи съ 1820 по 1826 годъ, Пушкинъ зналъ Булгарина лишь по слухамъ, по неблагоклоннымъ отзывамъ своихъ знакомыхъ и по статьямъ, которыми никогда не сочувствовалъ. Не дорожа похвалами Булгарина, великій поэтъ былъ однакоже уязвленъ, какъ Геркулесъ скорпиономъ, когда Булгаринъ вздумалъ съ высоты величія Аристарха критиковать произведенія Пушкина. Стихами, распространявшимися по всей Россіи въ тысячахъ списковъ, эпиграммами печатными, маскируя противника прозрачнымъ псевдонимомъ «Фиглярина», прозаическими статьями подъ псевдонимомъ «Косичкина», пѣвецъ Онягина громилъ Булгарина безпощадно до самой своей кончины...

Не то бѣда, что ты Полякъ:  
Костюшко—Ляхъ, Мицкевичъ—Ляхъ!  
Пожалуй будь себѣ Татаринъ—  
И въ томъ не вижу я стыда:  
Будь Жидъ—и это не бѣда;  
Но то бѣда, что ты—Фигляринъ!

Булгаринъ напечаталъ эти стихи въ соединенномъ журналѣ: «Сынъ Отечества и Сѣверный Архивъ» (1830 г., томъ XI, № 17., стр. 303) съ объясненіемъ: «Въ Москвѣ ходитъ по рукамъ и пришла сюда для раздачи любопытствующимъ эпиграмма одного извѣстнаго поэта. Желая угодить нашимъ противникамъ и читателямъ и сберечь сіе драгоценное произведеніе отъ искаженія при перепискѣ, печатаемъ оное».

Въ 1830 году въ Литературной Газетѣ (№ 53, стр. 136), по поводу хвастливыхъ статей Булгарина о дружбѣ его съ Грибоѣдовымъ, была напечатана слѣдующая эпиграмма безъ подписи автора, но по видимому—*ex ungue leonem*—написанная Пушкинымъ:

Ты цѣлый свѣтъ увѣрить хочешь,  
Что былъ ты съ Чацкимъ всѣхъ дружиѣй..  
Ахъ, ты безстыдникъ, ахъ злодѣй!  
Ты и живыхъ чернишь людей,  
Да и покойниковъ порочишь.

Въ исходѣ Октября 1836 года, за три мѣсяца до своей дуэли, Пушкинъ съ графомъ В. А. Соллогубомъ зашелъ въ магазинъ Смирдина написать какую-то записку Н. В. Кукольникову. Между тѣмъ графъ импровизировалъ вполголоса:

Къ Смирдину когда зайдешь,  
Ничего тамъ не найдешь,  
Ничего ты тамъ не купишь.  
Лишь Сенковского толкнешь.

Пушкинъ съ живостью досказалъ:

Иль въ Булгарина наступишь!

Пересматривая «Московскій Телеграфъ» и почти всѣ періодическія изданія 1830—1840 гг., мы нашли въ нихъ множество статей съ прямыми и косвенными нападками на Булгарина. Но если сопоставить имъ его статьи въ «Пчелѣ», то, въ отношеніи количественномъ, перевѣсъ окажется, конечно, на его сторонѣ. Онъ надъ своими противниками имѣлъ то преимущество, что могъ нападать на нихъ ежедневно; они же на него въ мѣсяць—много въ недѣлю—разъ.

Въ началѣ 1834 года была напечатана въ Москвѣ брошюра: «Подарокъ ученымъ на 1834 годъ: О царѣ Горохѣ» (въ 8 д. л. 35 стр.) Въ ней очень забавно рассказанъ споръ о сказочной личности царя Гороха между учеными и литераторами. Подъ буквами Греческаго алфавита диспутируютъ, ничего не доказывая: М. Т. Каченовскій, Н. И. Надеждинъ, И. И. Давыдовъ, Н. А. Полевой, профессоръ М. Г. Павловъ, О. И. Сенковскій, М. П. Погодинъ, Ѳ. В. Булгаринъ, кн. П. А. Вяземскій и В. Ушаковъ. Рѣчь Булгарина—очень ловкая поддѣлка подъ его отрывистый слогъ, пересыпанный цитатами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрная характеристика измѣнчивости его убѣжденій.

Въ исходѣ тридцатыхъ годовъ, въ Петербургѣ и въ Москвѣ ходила по рукамъ пародія на «Братьевъ Разбойниковъ» Пушкина, въ которой герои поэмы замѣнены были Булгаринымъ и Гречемъ. Булгаринъ, рассказывая о своихъ полемическихъ подвигахъ, заканчивалъ словами:

На Николая Полеваго  
Не поднимается рука!

Беззастѣнчивыя похвалы, которыми, вольно или невольно, осыпали другъ друга Гречъ и Булгаринъ, обратили на себя вниманіе дѣдушки Крылова: въ 1841 году онъ метнулъ въ нихъ остроумною сатирою въ баснѣ «Кукушка и Пѣтухъ».

Князь П. А. Вяземскій напечаталъ въ Москвитинѣ 1845 г. (во 2 й кн.) слѣдующую эпиграмму на Булгарина за полную своею подписью:

Ель усоншимъ льнетъ, какъ червь, Фигляринъ неотвязный!  
Въ живыхъ ни одного онъ друга не найдетъ;  
За то, когда изъ лицъ почетныхъ кто умретъ,  
Клеймить онъ прахъ его своею дружбой грязной и пр.

Въ подражаніе «Осамъ» (les guêpes) остроумнаго Альфонса Карра, Булгаринъ въ 1845 году издалъ небольшую книжицу: «Комары. Рой первый». Ея появленіе вызвало со стороны князя Вяземскаго эпиграмму: *Комаръ и Клопъ*:

Комаръ твой—не комаръ, а развѣ клопъ вонючій и пр.

Если не ошибаемся, еще въ шутовомъ стихотвореніи 1822 года «Да, какъ бы не такъ», князь Вяземскій уязвилъ тогдашняго редактора «Сѣвернаго Архива» слѣдующимъ куплетомъ:

Я зналъ Ѳаддея Полякомъ,  
И Русскимъ я знавалъ Ѳаддея.  
Что-жь онъ, родился двойникомъ,  
Иль у него двойная шея?  
Рѣшишь: будь Русскій, иль Полякъ  
И объяви свою намъ повѣсть...  
Вѣдь у тебя должна-жь быть совѣсть?  
„Да, какъ-бы не такъ!“

Въ 1827 году, въ «Московскомъ Телеграфѣ» (часть XV) князь Вяземскій напечаталъ:

Фигляривъ хочеть слыть хорошимъ журналистомъ,  
Фигляривъ хочеть быть лихимъ кавалеристомъ...  
Не обличу его въ лгань;  
Но на конѣ сидитъ онъ журналистомъ,  
Въ журналѣ рубить смыслъ лихимъ кавалеристомъ  
И выѣзжаетъ на врань!

Вотъ эпиграмма за подписью Н. П. (Николая Филипповича Павлова):

Что ты несешь на мертвыхъ небылицу,  
Такъ нагло лѣзешь къ нимъ въ друзья?  
Пріянь посмертная твоя  
Не запятнаетъ ихъ гробницу!  
Все гѣжь и Пушкинъ и Крыловъ,  
Хоть ѣсть ихъ червь, по волѣ Бога;  
Не лобызай-же мертвецовъ—  
И безъ тебя у нихъ васъ много!

Весною 1846 года, въ самый разгаръ полемическихъ распрей Булгарина съ «Иллюстраціею» и «Финскимъ Вѣстникомъ», вышелъ въ свѣтъ комическій альманахъ: «1-е Апрѣля», изданный Н. А. Некрасовымъ (безъ означенія имени) въ сотовариществѣ съ нѣсколькими молодыми литераторами. Въ этомъ сборникѣ, между прочими статьями, находились слѣдующіе стихи, написанные, какъ полагають многіе, самимъ издателемъ альманаха:

Онъ у насъ восьмое чудо,  
У него завидный нравъ:  
Неподкупенъ какъ Иуда,  
Храбръ и честенъ—какъ Фальстафъ!  
Съ безкорыстностью Жидовской,  
Какъ хавронья милъ и чистъ;  
Даровитъ, какъ Тредьяковскій,  
Столько-жь важенъ и рѣчиствъ.  
Не страшитесь съ нимъ союза,  
Не разладитесь никакъ:  
Онъ, съ Французомъ—за Француза,  
Съ Полякомъ—онъ самъ Полякъ;  
Онъ съ Татариномъ—Татаринъ,  
Онъ съ Евреемъ—самъ Еврей;  
Онъ съ лакеемъ—важный баринъ,  
Съ важнымъ бариномъ—лакей!  
Кто-же онъ? . . . . .

— «Ѳаддей Булгаринъ!» досказывали эти краснорѣчивыя точки. Эту эпиграмму перепечаталъ Кукольникъ въ своей «Иллюстраціи», въ рецензіи альманаха, и привелъ ее такъ близко къ имени Булгарина, что не надобно было и подписи.

Петербургъ.  
25 Октября 1880 года.

Петръ Каратыгинъ.

## КЪ СТАТЬѢ О В. В. ВАРГИНѢ.

---

Въ 3-й книгѣ Русскаго Архива за нынѣшній годъ помѣщена біографія В. В. Варгина, бывшаго, въ царствованіе императора Александра I-го и въ началѣ царствованія императора Николая, главнымъ подрядчикомъ и поставщикомъ Русской арміи.

Въ этой статьѣ изложены бѣдствія и разореніе, претерпѣнныя Варгинимъ, по несправедливымъ дѣйствіямъ военнаго вѣдомства, во главѣ котораго, въ званіи министра, былъ тогда графъ А. И. Чернышевъ. Съ восшествіемъ на престолъ въ Бозѣ почившаго императора Александра II-го бѣдствія Варгина кончились, и все арестованное у него казною многотысячное имущество по высочайшему повелѣнію возвращено ему, а за симъ и всѣ начеты казны на него велѣно снять.

Въ настоящее время я считаю нужнымъ добавить, что таковое высочайшее повелѣніе послѣдовало по положенію Комитета Министровъ, основанному на заключеніи бывшаго тогда министра юстиціи графа Виктора Никитича Панина. Докладчикомъ сего дѣла, въ Министерствѣ Юстиціи былъ я, пишущій сіи строки и занимавшій въ то время должность старшаго юрисконсульта.

Начну съ того, что въ упомянутой статьѣ г. Лясковаго ничего не объяснено о томъ, почему правительство или лучше сказать Военное Министерство, послѣ многихъ своихъ распоряженій, клонившихся къ угнетенію Варгина, вдругъ измѣнило свой взглядъ на его дѣло и пришло къ убѣжденію: простить ему всѣ начеты казны и отдать ему все его имущество.

Вотъ для поясненія этого-то знаменательнаго факта я и берусь за перо и постараюсь изложить то, что, по истеченіи уже четверти вѣка, могло сохраниться въ моей памяти.

Дѣйствительно, въ 1856 году, т.-е. въ началѣ царствованія императора Александра II-го, Варгинъ подалъ на высочайшее имя всепод-



даннѣйшую просьбу, въ коей, со свойственною ему скромностію, излагая свои заслуги по поставкамъ въ армію вещей, въ теченіи минувшихъ войнъ, начиная съ 1808 года, засвидѣтельствоваанныя главнокомандующими, умолялъ государя императора о соблюденіи по отношенію къ нему общаго закона. Законъ этотъ состоялъ въ томъ, чтобы казна, прежде нежели обвинить подрядчика въ неисправности поставокъ, дѣлать на него начеты и производить взысканія, объявила бы ему счетъ принятыхъ отъ него вещей и причитающихся ему по подряду денегъ. По объясненію Варгина правила этого въ отношеніи къ нему не было соблюдено; ибо онъ, по высочайшему именному указу 8 Апрѣля 1828 года, былъ удаленъ отъ подрядовъ, хотя и съ означеніемъ цифры его долга казнѣ, но какимъ образомъ и изъ какихъ суммъ составилаь эта цифра, ему невѣдомо.

Просьба эта по высочайшему повелѣнію была внесена въ Комитетъ Министровъ. Въ то время предсѣдателемъ Комитета Министровъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ военнымъ министромъ, былъ графъ А. И. Чернышевъ. Онъ на ту пору былъ за границей, и Военнымъ Министерствомъ управлялъ Н. О. Сухозанетъ. Министромъ юстиціи былъ графъ Панинъ. Дѣлами же Комитета Министровъ управлялъ Акиной Петровичъ Суковкинъ.

При первоначальномъ разсмотрѣніи дѣла въ Комитетъ Сухозанетъ заявилъ, что дѣло о подрядахъ Варгина покончено именнымъ высочайшимъ указомъ 8 Апрѣля 1828 года, въ коемъ означена и самая цифра долга его казнѣ; что, независимо отъ сего, по распоряженію Военнаго Министерства, по дѣламъ Варгина для расчета его съ казною, было нѣсколько комиссій, но что онѣ, по запутанности самихъ счетовъ и по разнымъ злоупотребленіямъ, не могли прійти къ положительному результату. Посему Сухозанетъ полагалъ всеподданнѣйшую просьбу Варгина, за сдѣланными ему снисхожденіями, оставить безъ уваженія.

Съ своей стороны графъ В. Н. Панинъ утверждалъ, что дѣло о начетахъ казны съ Варгинымъ, по обстоятельствамъ изложеннымъ въ его просьбѣ, нужно подвергнуть новому разсмотрѣнію и что въ составъ его министерства есть нѣсколько опытныхъ лицъ, которымъ онъ и можетъ поручить это дѣло. При этомъ, какъ мнѣ извѣстно, онъ упомянулъ мое имя, какъ старшаго юрисконсульта.

Въ тотъ же самый день, графъ В. Н. Панинъ, возвратясь изъ Комитета Министровъ, объявилъ мнѣ, чрезъ бывшаго тогда директоромъ департамента Министерства Юстиціи М. И. Топильскаго, чтобы я, по поступленіи дѣла Варгина въ министерство, въ особенности занялся этимъ дѣломъ и кончилъ эту работу, по возможности, безъ замедленія.

Въ слѣдъ за симъ въ министерство начали поступать цѣлыя тюки дѣлъ и счетныхъ книгъ, по подрядамъ Варгина, начиная, кажется, съ 1808 года по 1828 годъ.

Вглядываясь въ эти многотомные счета, я не могъ не опечалиться при мысли, что мнѣ одному придется возиться со всѣми этими кипами бумагъ, производившихся по разнымъ комиссаріатскимъ комиссіямъ. Но довѣріе, питаемое лично ко мнѣ графомъ В. Н. Панинымъ, воодушевляло меня, и я бодро принялся за работу.

Само собою разумѣется, что я прежде всего обратилъ вниманіе на именной высочайшій указъ 8 Апрѣля 1828 года, въ которомъ положительно исчислялись цифры долга казнѣ и еще упоминалось о другой цифрѣ долга, кажется, въ 10,000 рублей.

Разсматривая дѣло по сему предмету, я увидѣлъ, что упомянутый высочайшій указъ основанъ всецѣло на письмѣ генераль-адъютанта Стрекалова къ государю императору Николаю, писанномъ изъ Москвы, за нѣсколько дней до изданія сего указа. Въ этомъ письмѣ Стрекаловъ доводилъ до свѣдѣнія государя, что, по собраннымъ имъ свѣдѣніямъ, Варгинъ оказался должнымъ казнѣ известную сумму (*точную цифру* которой не помню), въ числѣ этой цифры заключается особая сумма, кажется, въ 1 м. 313 т., и что сверхъ того Варгинъ состоитъ должнымъ казнѣ (кажется, 1000 рублей). За симъ Стрекаловъ, въ концѣ своего письма, означивъ весь долгъ казнѣ не въ первоначальной суммѣ, но съ *прибавленіемъ* уже 1 м. 313 т. рубл., вмѣсто 1000 рубл. поставилъ 10,000 рубл. сер. Такимъ образомъ генераль Стрекаловъ увеличилъ долгъ Варгина казнѣ на двѣ цифры: одну на 1 м. 313 т. р., а другую на 9.000 р. Ясно, что это были ошибки ариѳметическія, но тѣмъ не менѣе онѣ вошли цѣликомъ и въ именной высочайшій указъ 8 Апрѣля 1828 года.

Открытіе это разрушало всю силу и значеніе высочайшаго указа 8 Апрѣля 1828 года, на которомъ Военное Министерство основывало свои выводы и постоянно отказывало Варгину въ пересмотрѣ его счетовъ.

Далѣе, просматривая дѣло, нельзя было не замѣтить, что хотя цифра Варгинскихъ недоимокъ исчислялась въ указѣ 8 Апрѣля окончательно, а между тѣмъ изъ производствъ присланныхъ въ Министерство Юстиціи было видно, что въ комиссаріатскія комиссіи (кажется, Балтійскую, Динабургскую и Рижскую) отъ имени Варгина, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ изданія означеннаго указа, поступали цѣлыя транспорты военныхъ вещей на многотысячныя суммы. Эти суммы не были приняты во вниманіе при исчисленіи суммъ, слѣдовавшихъ Варгину.

Засимъ, если принять во вниманіе, что во время казеннаго управленія Варгинскими домами и лавками, значительныя суммы поступили въ казну за счетъ его, то въ концѣ концовъ выходило то, что заявилъ государственный контроль про начеты военного вѣдомства на Варгина, т.-е. что не онъ долженъ казнѣ, но что казна должна ему.

Въ подтвержденіе этого заключенія контроля, мною выведены были изъ дѣла самыя очевидныя данныя, не оставлявшія никакого сомнѣнія въ томъ, что расчетъ генерала Стрекалова, заключавшій въ себѣ двѣ ариѳметическія ошибки, изъ коихъ одна въ 1 м. 313 т., а другая въ 9 т., основанъ былъ на невѣрныхъ данныхъ.

Донесеніе Стрекалова Государю Императору было очевидно плодомъ особаго настроенія, основаннаго на взглядѣ графа А. И. Чернышова.

Докладъ мой графу В. Н. Панину былъ весьма обширный и подкрѣплялся неопровержимыми данными.

Графъ Панинъ отнесся къ нему съ полнымъ вниманіемъ и на другой день, по возвращеніи онаго, объявилъ мнѣ письмомъ искреннюю свою признательность за труды по Варгинскому дѣлу. Въ ордерѣ по сему предмету сказано было, что это многосложное *дѣло отлично было мною разработано и отчетливо изложено.*

Къ чести графа Панина нужно замѣтить) что подтверждать и всѣ служившіе при немъ) что, поручивъ кому-либо дѣло для доклада, важное или не важное, онъ никогда не позволялъ себѣ высказывать впередъ свое мнѣніе и тѣмъ стѣснять заключеніе докладывающаго. Напротивъ того, онъ, давая полную свободу докладчику, высказывалъ свое мнѣніе послѣ разсмотрѣнія онаго. Это было общее правило. Такъ было и по дѣлу Варгина.

Утромъ, по возвращеніи доклада, графъ Панинъ, объявляя мнѣ чрезъ М. И. Топильскаго благодарность, сказалъ между прочимъ, что наканунѣ сего дня онъ цѣлый вечеръ и ночь до самаго утра занимался Варгинскимъ дѣломъ и даже не замѣтилъ какъ прошло время и что я своимъ обстоятельнымъ докладомъ лишилъ его удовольствія быть въ тотъ вечеръ въ оперѣ, о чемъ онъ впрочемъ не жалѣеть.

Прежде внесенія своего заключенія въ Комитетъ Министровъ согласно съ моими выводами, графъ Панинъ велѣлъ сообщить оное Н. О. Сухожанету.

Сей послѣдній не замедлилъ отнестись къ графу Панину съ письменнымъ отзывомъ такого содержанія, что цифра 1 м. 313 т., надлежаще показанная въ письмѣ государю императору генераломъ Стрекаловымъ, никогда не вводилась въ расчетъ по комиссаріатскому

вѣдомству и что другая ошибка въ 9 т. есть не болѣе какъ писарская ошибка, которая могла случиться при поспѣшномъ веденіи дѣла.

А. П. Суковкинъ, которому я лично объяснял выводы Министерства Юстиціи по Варгинскому дѣлу, сначала не вѣрилъ моимъ словамъ, но потомъ, убѣдясь въ истинѣ, сказалъ, что при отсутствіи графа Чернышова, бывшаго въ то время за границею, трудно будетъ пустить это дѣло въ ходъ, такъ какъ онъ можетъ подпасть за это дѣло личной отвѣтственности.

Но Господу Богу, кажется, угодно было оказать милосердіе долготерпѣнію Варгина, ибо вскорѣ за симъ получено было извѣстіе, что графъ Чернышовъ умеръ, и такимъ образомъ ничто не препятствовало ходу дѣла Варгина.

Положеніемъ Комитета Министровъ утверждено было заключеніе Министерства Юстиціи; всѣ числившіяся недоимки на Варгинѣ велѣно было снять, имущество его въ арестованныхъ домахъ отдать ему, съ тѣмъ однакожъ, чтобы онъ уже не обращался къ милосердію Государя и считалъ себя вполне удовлетвореннымъ.

Свѣтлѣйшій князь Александръ Аркадѣвичъ Суворовъ, бывавшій почасту въ Министерствѣ Юстиціи за справками, удостоилъ меня лично благодарить за труды по Варгинскому дѣлу, сказавъ, что онъ во всю свою жизнь будетъ лично считать себя обязаннымъ мнѣ, и что онъ радъ будетъ случаю быть мнѣ когда-либо въ чемъ-либо полезнымъ... Мнѣ однакожъ не случилось обращаться къ свѣтлѣйшему ни съ какими просьбами.

Вслѣдъ затѣмъ я получилъ письмо отъ В. В. Варгина съ изъясненіемъ глубокой благодарности за трудъ по его дѣлу. Въ заключеніе онъ просилъ выслать ему мой фотографическій портретъ.

Я не могъ исполнить этого желанія, и вскорѣ до меня дошелъ печальный слухъ о смерти его. Миръ праху его!

Все это я вспомнилъ, читая въ Русскомъ Архивѣ біографію Варгина.

Николай Колмаковъ.

## ПИСЬМО А. С. ПУШКИНА КЪ И. А. ЯКОВЛЕВУ.

---

Любезный Иванъ Алексѣевичъ.

Тяжело мнѣ быть передъ тобою виноватымъ, тяжело и извиняться, тѣмъ болѣе, что знаю твою *delicacy of gentleman*. Ты ѣдешь на дняхъ, а я все еще въ долгу. Должники мои мнѣ не платятъ, и дай Богъ, чтобъ они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проигралъ уже около 20 т. Во всякомъ случаѣ ты первый получишь свои деньги. Надѣюсь еще ихъ заплатить передъ твоимъ отъѣздомъ. Не то позволю вручить ихъ Алексѣю Ивановичу, твоему батюшкѣ; а ты предупреди, сдѣлай милость, что эти 6 т. даны тобою мнѣ въ займы. Въ концѣ Мая и въ началѣ Юня денегъ у меня будетъ кучка, но покамѣстъ я на мели и карабкаюсь.

Весь твой А. П.

Адресъ: Его Высокоблагородію М. Г. Ивану Алексѣевичу Яковлеву.

Подлинникъ этого письма, писаннаго къ извѣстному богачу Яковлеву, находится въ Петербургѣ, у Оскара Ильича Квиста. Года на письмѣ не означено. Оно относится вѣроятно къ 1827—1831 годамъ.

Готовъ бывалъ онъ въ эти дѣта,  
Отъ вечера и до разсвѣта,  
Допрашивать судьбы завѣтъ:  
На дѣво ляжетъ ли валець?

Какъ извѣстно, до женитьбы своей, Пушкинъ страстно предавался карточной игрѣ. П. Б.

---

## СТИХИ ПРИПИСАННЫЕ ПУШКИНУ.

---

Христина (переписка котораго съ княжною Туркестановою печатается теперь въ Русскомъ Архивѣ) находился въ тѣсной дружбѣ съ графиней Анною Петровною Бролю, урожд. Левашовой (въ первомъ бракѣ до 1805 г. за княземъ Александромъ Юрьевичемъ Трубецкимъ). Она жила въ Москвѣ, на Кудринской Садовой, въ большомъ домѣ, нынѣ Добринской, дворъ котораго выходитъ на Георгіевскій переулокъ, гдѣ въ небольшомъ домикѣ помѣщался Христина. Оба они еще памятны многимъ Московскимъ старожиламъ. Пушкинъ, встрѣчавшій графиню Бролю въ Московскомъ обществѣ, и вѣроятно въ домѣ князя П. А. Вяземскаго (супруга котораго была племянницей первому мужу графини), почему-то ей не полюбился. „Косятся дамы на меня“, говоритъ онъ въ Онѣгинѣ.—Кротость Кристина видна по его письмамъ; подруга его была женщина чтò называется правная, и подчиняла его себѣ. Пушкину приписывались слѣдующіе стихи про нихъ:

Меня поносить безъ причинъ  
Христина стараго тиратка.  
Не стыдно-ль вамъ, мадамъ Кристина?  
Какая-жь вы—не христіанка.

---

## И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ.

---

Наше предположеніе о томъ, что Записки объ Обществѣ Соединенныхъ Славянъ (напечатанныя во 2-й тетради Русскаго Архива нынѣшняго года) принадлежать И. И. Горбачевскому, оправдалось. Сочинитель этихъ Записокъ Иванъ Ивановичъ Горбачевскій родился 22-го Сентября 1800, близъ города Нѣжина, умеръ 9-го Января 1869 въ Восточной Сибири, въ Петровскомъ Заводѣ, гдѣ въ царствованіе Александра Николаевича онъ былъ мировымъ посредникомъ, гдѣ его любило мѣстное населеніе и откуда онъ не захотѣлъ возвратиться въ Европейскую Россію. Отецъ его, Иванъ Васильевичъ, служилъ нѣкогда казначеемъ въ губернскомъ городѣ Могилевѣ и умеръ въ Малороссіи, уже послѣ ссылки сына. Дѣдъ И. И. Горбачевского былъ священникомъ, и Горбачевскіе находились въ родствѣ съ знаменитымъ архіепископомъ Георгіемъ Конисскимъ.

На сестрѣ автора Записокъ, Аннѣ Ивановнѣ Горбачевской, женился Илья Ильичъ Квистъ (бывшій директоромъ канцеляріи главноуправляющаго 1-ою арміею князя Сакена), и сынъ ихъ Оскаръ Ильичъ удостоиврилъ меня, сличеніемъ почерка Записокъ объ Обществѣ Соединенныхъ Славянъ съ находящимися у него подлинными письмами его роднаго дяди, что эти Записки дѣйствительно писаны Горбачевскимъ.

Хранящійся у О. И. Квиста портретъ И. И. Горбачевского подтверждаетъ и усиливаетъ дѣйствіе, производимое его Записками: честная простота и умная правдивость видны въ изящныхъ чертахъ этого привлекательнаго лица. Его Записки, по ихъ безпристрастію и спокойному изложенію, составляютъ настоящее пріобрѣтеніе нашей исторической печати, и могутъ быть приравнены развѣ къ Запискамъ Басаргина. Они производятъ впечатлѣніе отрезвляющее и поучительное, какъ для молодыхъ пылкихъ головъ, такъ и для правителей. П. В.

---

### ЭПИТАФІЯ ПЕТРУ ТРЕТЬЕМУ.

---

Въ Копенгагенѣ, въ Королевской библіотекѣ, при гравированномъ портретѣ Петра Третьяго (возбудившаго столько опасеній въ Датчанамъ, съ которыми изъ за своей жалкой Голштиніи онъ начиналъ войну) находятся слѣдующіе стихи:

Sous cette pierre gît ce Pierre,  
Qui très-mal finit sa carrière.  
Il méprisa des siens le sang,  
Les dieux, sa femme et son enfant,  
Ses peuples et leurs saintes loix.  
Il régna peu: six mois.

При этихъ стихахъ означено, что они писаны секретаремъ Русской миссіи въ Гамбургѣ Пушкинымъ. (Épitaphe sur Pierre III de m-r Pouschkin, eines gebohrenen Russen und Secretaire des Russischen Residenten in Hamburg). Это—Алексѣй Семеновичъ Мусинъ-Пушкинъ, позднѣе графъ и нашъ посланникъ въ Швеціи и въ Англии.

Стихи списаны на мѣстѣ и сообщены намъ А. А. Чумиковымъ. П. В.

---



## ФИЛАРЕТЪ НИКИТИЧЪ РОМАНОВЪ.

---

При Русскомъ Архивѣ 1882 года прилагается портретъ патриарха Филарета, родоначальника царствующаго дома Романовыхъ, государя-соправителя сына своего Михаила Ѳеодоровича.

Еслибъ мы стали излагать вполнѣ историческую жизнь этого достопамятнаго лица, то пришлось бы описывать царствованія Грознаго, Ѳеодора, потомъ Годунова, эпоху самозванцевъ и т. д. Мы должны ограничиться краткимъ біографическимъ очеркомъ.

Филаретъ (въ мѣръ Ѳеодоръ) Никитичъ Романовъ былъ родной племянникъ царицы Анастасіи, первой супруги Грознаго. Извѣстія объ его молодости не обильны. Даже точный годъ его рожденія неизвѣстенъ: вѣроятно онъ родился около 1555 г., слѣдовательно молодость его протекла посреди ужасовъ Іоаннова царствованія. Образованіе, по тому времени, получилъ онъ тщательное: жившій въ Москвѣ Англійскій путешественникъ Традескантъ свидѣтельствуетъ, что онъ бесѣдовалъ съ нимъ, въ его домѣ на Знаменкѣ, на Латинскомъ языкѣ. Долго предполагали, что супруга его была изъ роду Шереметевыхъ, но подлинная запись въ Новоспаскомъ монастырѣ ясно доказываетъ, что она была Ксения (послѣ Марѳа) Ивановна Шестова.

При царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ мы встрѣчаемъ Ѳеодора Никитича въ числѣ воеводъ въ походѣ на Крымцевъ, на торжественныхъ приѣмахъ чужестранныхъ пословъ и т. п. Но важно то, что есть извѣстія (у Бусова и въ одномъ хронографѣ), что бездѣтный царъ Ѳеодоръ, будучи на смертномъ одрѣ, вручалъ скипетръ «двоюродному брату своему Ѳеодору Никитичу»; и есть свидѣтельство современника—Голландца, географа Массы, что братья «Никитичи» жили хотя скромно, но держали себя съ царскимъ достоинствомъ и имѣли множество друзей. Этого всего было слишкомъ достаточно, чтобы Годуновъ искалъ погубить ихъ,

и въ Ноябрь 1600 года, по подложному въ угоду ему доносу, Романовы и родственники ихъ были сосланы въ дальніе города. Феодоръ и супруга его были насильно пострижены (съ именами Филарета и Марѣы) и отправлены: онъ въ Сійскій монастырь (подъ Холмогоры), а она въ Заонежье; сынъ же ихъ, пятилѣтній тогда Михаилъ, съ тетками—на Бѣлоозеро.

Прошло четыре года, появился первый самозванецъ, и приставъ Воейковъ доноситъ Борису Годунову на постриженника Сійскаго, что дескать «старецъ Филаретъ живетъ у него не по монастырскому чину; смѣется невѣдомо чему, говорить про птицъ ловчихъ и про собакъ, какъ онъ въ міру жилъ».

Вскорѣ Лжедмитрій дѣйствительно освобождаетъ мнимаго родственника своего и возводитъ въ санъ митрополита Ростовскаго (1605); а новый царь, Василій Шуйскій, поручаетъ ему перенесеніе тѣла Дмитрія Царевича изъ Углича въ Москву (1606).

Когда приверженцы втораго «вора», Поляки, казаки и Переяславцы подступили къ Ростову, то митрополитъ Филаретъ внушаетъ жителямъ, думавшимъ бѣжать, мужество въ сопротивленіи злодѣямъ; но взятый въ плѣнъ (въ концѣ 1608 года) въ самомъ соборномъ храмѣ, онъ привозится въ Тушинскій станъ. Здѣсь, подъ видомъ почестей, онъ долженъ былъ выносить отъ новаго мнимаго родственника строгій надзоръ и потомъ плѣнъ. Филаретъ освободился отъ воровъ и возвратился въ Москву въ Маѣ 1610 года, когда Поляки бѣжали изъ Юсифова-Волоколамскаго монастыря.

Въ Москвѣ, въ тѣсной осадѣ, онъ сначала не совѣтуетъ цѣловать крестъ Владиславу, но, по рѣшенію патриарха Гермогена, бояръ и по желанію Жолкевскаго, ѣдетъ (съ княземъ Голицынымъ и др.) посломъ къ Сигизмунду подъ Смоленскъ просить на царство въ Москву Владислава.

Послѣ долгихъ переговоровъ, ознаменованныхъ со стороны Филарета твердостью и любовью къ отечеству, но оставшихся безплодными, послѣ сожженія Москвы и взятія Смоленска, Поляки окончательно сбросили маску и увезли пословъ (не приминувъ ограбить ихъ) сначала въ Вильну, а потомъ заключили въ Маріенбургскую крѣпость (весна 1611).

И этотъ плѣнъ продолжался цѣлыхъ восемь лѣтъ! Въ самыя дни своего избранія молодой царь Михаилъ и мать его позаботились объ участи и освобожденіи Филарета: въ 1613 же году Земскій Соборъ писалъ Сигизмунду о прекращеніи войны и размѣнѣ плѣнныхъ, но только въ концѣ 1618 г. прекратилась война и заключено было Деулинское перемиріе (на 15 лѣтъ); а размѣнъ послѣдовалъ еще черезъ полгода, а именно 17 Іюня 1619 г., за Вязьмой, на рѣкѣ Полянковѣ.

Встрѣчи на пути маститаго плѣнника, возвысившагося до степени мученика, были торжественны, и первое свиданіе съ сыномъ-царемъ (подъ с. Хорошовомъ у Москвы) трогательно.

Тотчасъ же приступлено къ избранію митрополита Филарета въ санъ патріарха, при участіи прибывшаго въ Россію за милостынею Іерусалимскаго патріарха Теофана. Долго Филареть отказывался «за старостію, озлобленіями многими и пр.»; однако къ концу того же Іюня «поставленіе» состоялось.

«Сдѣлавшись патріархомъ и великимъ государемъ, Филареть былъ твердой опорой для своего юнаго сына, опытнымъ совѣтникомъ и мудрымъ руководителемъ во всемъ. Онъ обуздалъ своеволие бояръ, проявившееся въ первые годы царствованія Михаила Ѳеодоровича, укротилъ «сильниковъ» земли, укрѣпилъ и возвысилъ царскую власть. По современному свидѣтельству Филареть не отличался богословскимъ образованіемъ, такъ какъ не готовился съ молодыхъ лѣтъ на служеніе церкви. Потому неудивительно, если онъ, наравнѣ съ своими современниками, смотрѣлъ на Латинство какъ на злѣйшую изъ ересей... Но онъ дѣйствовалъ по глубокому убѣжденію». Такъ характеризуетъ церковное управленіе Филарета историкъ Русской Церкви, покойный митрополитъ Макарій.

Но не однихъ Поляковъ не любилъ Филареть (ихъ вѣроломство, заносчивость и безпощадность къ Русскому народу онъ слишкомъ хорошо испыталъ на себѣ), а *иноземцевъ вообще*.

Послѣ столькихъ превратностей судьбы, доживъ почти до 80 лѣтъ, патріархъ Филареть скончался 1 Октября 1633 года. Сохранились письма его къ сыну (см. Переписку Рус. Государей, М. 1848 т. I-й), но утратились, или покрайней мѣрѣ не открыты доселѣ, письма его къ родственнику его и достойному другу Ѳеодору Ивановичу Шереметеву, относящіяся къ смутному времени и имѣющія, по отзыву Екатерины II-й, весьма важное значеніе.

«Сей же убо Филареть возрасту и сану былъ средняго, божественныя писанія отчасти разумѣлъ, нравомъ опальчивъ и мнителенъ, а владѣтелемъ таковъ былъ, яко и самому царю бояться его. Боляръ же и всякаго чина церковнаго синклита зѣло смиряше заточеньми необратными и иными наказаньями. Къ духовному же чину милостивъ былъ и несребролюбивъ».

Такъ описанъ Филареть Никитичъ въ одной Степенной Книгѣ (Рукописи Румянц. библ. № 413).

**АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**  
ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ,  
ВО ВТОРОЙ КНИГѢ  
**РУССКАГО АРХИВА**  
1882 года \*).

(ТЕТРАДИ 3 И 4).

Абаза-паша 28.  
Августа принцесса 47.  
Адернасъ 255.  
Азаревичева 258.  
Александра Павловна великая княжна 3, 7.  
Александра Федоровна императрица 220.  
Александровскій 136.  
Александровъ 223.  
Александръ 1-й 5, 8—11, 13, 15, 16, 17, 22, 32, 34, 39, 43, 70, 72, 81, 86, 87, 91—93, 95, 102—104, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 121, 124, 124, 126, 128, 129, 130—135, 138, 140, 142, 153, 153, 156, 163, 167, 168, 173 — 178, 172, 173, 175, 178, 184, 188, 180, 184, 185, 187—190, 190, 191, 198, 199, 194, 204, 207, 212, 213, 214, 216, 218, 229, 223, 231, 235, 248, 249, 255, 257, 259, 295, 304.

Александръ Николаевичъ цесаревичъ 136, императоръ 167, 207, 242, 304.  
Аленсѣва Софья Ив. 81.  
Аленсѣвъ Петръ протоіерей 68—90.  
Аленсѣвъ Федоръ 71, 72.  
Алеманъ 210.  
Амвросій архіепископъ 70.  
Анастасія царица 313  
Ангулемская герцогиня 123, 190—192, 220.  
Ангулемскій герцогъ 95, 98, 188, 191, 193.  
Анна Павловна великая княжна 107.  
Апрансина 147—149, 151, 152, 171, 177, 186.  
Апрансина Наталья 177.  
Апрансинъ 86, 91, 97, 192, 211.  
Апрансинъ Влад. Степ. 223.  
Апрансины 151.  
Аранчеевъ графъ 178, 184, 185, 188, 244, 248, 249, 255, 295.  
Арбузовъ Н. А. 294.

\*) Цифры косого шрифта относятся къ перепискѣ Кристина съ княжною Туркестановой; эта переписка имѣетъ особый счетъ страницъ. П Б.

- Армфельдъ 185, 188.  
 Арсеньева 82, 141.  
 Артуа (д')графъ 6, 9, 13, 19, 92, 93, 98, 99, 102, 209.  
 Архарова 70.  
 Ахмедъ-эфенди 28.  
 \*  
 Баговутъ 185.  
 Багратіонъ княгиня 67.  
 Багратіонъ князь 57, 184, 189.  
 Баженовъ 91, 93.  
 Байковъ 155, 167, 170, 175, 179, 182, 183.  
 Баландри 163.  
 Балашовъ 24, 31, 154, 174, 176, 179, 180, 202.  
 Барданси 56, 124.  
 Барклай-де-Толли 154, 178 — 180, 183—185, 187, 189.  
 Баррасъ 226.  
 Барятинскій князь 54, 56, 80, 164, 229.  
 Бассано герцогъ 169—176.  
 Батенковъ 249, 253.  
 Бахметьева А. П. 94.  
 Бахметьевъ 85, 90, 208, 209.  
 Башуцкій А. П. 272, 289.  
 Баяръ 59.  
 Безакъ Анна Ив. 267.  
 Безакъ Конст. Павл. 267.  
 Безакъ П. И. 271.  
 Безакъ П. Х. 255, 267, 268, 274.  
 Безакъ Софія Никол. 267.  
 Безерра 177.  
 Бекъ 172, 175, 176, 180.  
 Белль 135.  
 Беневентъ 124.  
 Бенигсенъ 32, 34, 40, 43, 50, 104, 185, 188—190.  
 Бенкгаузенъ 138.  
 Бенкендорфъ графъ 128, 129, 174, 178, 266, 272, 279, 295.  
 Бергамаскъ 135.  
 Беркгеймъ баронесса Юлія 124, 125.  
 Бернадотъ 29, 34, 57, 106, 188.  
 Бернонвиль 92.  
 Беррійскій герцогъ 123, 188, 209, 233.  
 Бертранъ 115, 190, 220, 224, 235.  
 Бестужевъ Ал—дръ 254, 260, 265, 266, 285.  
 Бестужевы 249.  
 Бетговень 282.  
 Біанки 196.  
 Биронъ Генріета 146.  
 Бируковъ 255.  
 Бирчъ г-жа 128, 129.  
 Бисмаркъ князь 4.  
 Блазь 282.  
 Блакасъ 218, 220, 232.  
 Бломъ 105, 106, 170—176, 219.  
 Блюхеръ 36, 43, 92, 185, 202, 206, 207, 210, 213, 214.  
 Бобринская графиня Софія Александр. 18—21, 91.  
 Бобринскій графъ Ал—ѣй А. 17, 18, 91.  
 Богдановичъ 6, 167.  
 Боде баронесса М. А. (Воспоминанія) 123—132.  
 Боде баронъ 129.  
 Болховской 180, 181.  
 Боргезе принцесса 229.  
 Бордо 207, 219.  
 Борнъ Елисавет. Никол. 267.  
 Борнъ И. К. 268.  
 Бороздина Анна Мих. 134, 135.  
 Босюетъ 94.  
 Бофремонъ князь 91.  
 Брандтъ Л. В. 292.  
 Браницкая графиня 95, 169.  
 Бретейль баронъ 132.  
 Бридаль 25, 236.  
 Брискорнъ 243, 255.  
 Бріанъ 144, 210.  
 Броліо графиня Анна Петр. 16, 150, 159, 160, 162, 163, 173, 204, 215, 216, 221, 234—236, 310.  
 Броліо князь 135, 143, 150.

- Брусиловъ 243.  
 Брюловъ 298.  
 Бубна 24.  
 Бува 87.  
 Буве аббатъ 191, 192.  
 Будбергъ генералъ 3, 7.  
 Булгаковы 117.  
 Булгаринъ Павелъ 247.  
 Булгаринъ Фед. Венедикт. 241—303.  
 Бутурлинъ 66, 88.  
 Бутягинъ 128.  
 Бѣгичевъ 285.  
 Бѣлинскій 300.  
 Бюловъ генералъ 66.
- \*
- Валуа Жанна 129.  
 Валувевъ 45.  
 Вальполь 157—160, 174, 177, 199, 201, 207, 210, 211.  
 Вандамъ 42, 50—53, 56, 58, 77, 78, 87, 118, 207.  
 Варгинъ Андр. Ив. 99.  
 Варгинъ Вас. Алексѣев. 97, 98.  
 Варгинъ Вас. Вас. 97—122.  
 Варгинъ Вас. Вас. 97—99.  
 Варгинъ В. В. 304—308.  
 Варгинъ Григ. Вас. 97, 98.  
 Варгинъ Ив. Вас. 97, 98—106.  
 Варгинъ Ив. Серг. 99.  
 Варгинъ Серг. Вас. 97, 98.  
 Варламъ 79.  
 Варшавскій князь 207.  
 Васильчиковъ 92, 125, 139, 249.  
 Васильчиковъ А.—й Вас. 223.  
 Веберъ 281.  
 Веймарнъ 6.  
 Веймарскій герцогъ 211.  
 Вейсманъ 51.  
 Веллингтонъ 25, 53, 56, 95, 98, 105, 184, 185, 186, 188, 191, 206, 210, 213.  
 Вельская принцесса 140, 218.  
 Вельтманъ 285.
- Вельяминовъ 137.  
 Вергопуло 217.  
 Веревкинъ 285.  
 Вермонтъ аббатъ 130.  
 Вернегъ 10, 15, 164,  
 Веселицнй 64.  
 Вигель 6, 7.  
 Виксень 229  
 Викторъ іеромонахъ 81.  
 Вилье 36.  
 Вильруа герцогъ 132.  
 Виноградовъ Ив. П. 89.  
 Винценгероде 115, 201.  
 Виртембергскій герцогъ 260.  
 Виртембергъ - Штутгардскій герцогъ 71.  
 Висковатовъ 257.  
 Витгенштейнъ 33, 34, 36, 37, 54, 102.  
 Владиславъ 314.  
 Водрейль 123, 152.  
 Воейкова Александра Андреевна 263, 265.  
 Воейковъ 170, 180, 181, 253, 257, 264—266, 269, 272, 299, 300.  
 Воейковъ приставъ 314.  
 Волкова 148.  
 Волковъ 87, 113, 114, 256.  
 Волконскій князь 26, 191, 192.  
 Волконскій князь П. М. 249.  
 Вольфъ А. И. 287.  
 Вольтеръ 73, 74.  
 Воронцовъ графъ А. Р. 13, 182.  
 Воронцовъ князь М. С. 33, 123, 129, 134, 135, 137, 174, 181, 188, 215.  
 Воронцовъ графъ С. Р. 132, 177—190.  
 Воруновъ 225  
 Вреде 56.  
 Высоцкая Пелагея Александр. 91.  
 Высоцкій Никол. Петр. 96.  
 Вюрстъ К. Б. 274, 281.  
 Вяземская княгиня 67.

Вяземскій князь П. А. 181, 252, 253, 302, 303.

Вязмитиновъ 133, 191—193.

\*

Габріелли кардиналъ 185.

Гагарина княгиня 79, 127, 207, 219.

Гагаринъ князь 157, 229.

Гагаринъ князь Гавр. Петр. 50, 51.

Гагаринъ князь Ив. Петр. 50.

Гагаринъ князь Серг. Вас. 91.

Гагарины князья 170.

Гаджи-Али-паша 65.

Гадинъ графъ 28, 32.

Галатенъ 59.

Гамбсъ 281.

Гаспари 214.

Гаше (де) графиня 125.

Гваренги 43.

Гвоздевъ 216.

Гейденъ графъ 216, 217.

Гензель 14.

Генрихъ II-й 131.

Генригъ IV-й 19, 131, 202, 205, 209, 218.

Георгъ III-й 55.

Гераръ г-жа 144.

Герасимовъ Анемп. Сидор. 281, 282.

Гермогенъ патріархъ 314.

Глазуновъ Ив. Петр. 89.

Глинка С. Н. 103.

Глинна Ѳ. Н. 252, 278.

Гнейзенау 210.

Гнѣдичъ 253, 295.

Гоголь Н. В. 289, 292.

Годуновъ Борясъ 313.

Голиновъ 86.

Голицына княгиня 17.

Голицына княгиня 24, 25.

Голицына княгиня 197, 235.

Голицына княгиня Анна Александр. 23, 24, 26, 27, 30, 38, 41, 44, 47, 59—61, 67, 76, 90, 92, 93, 102, 111, 122, 134, 144, 147, 148, 151, 152,

157, 158, 167, 170, 171, 177, 182, 193, 194, 198, 201, 212, 216, 217, 234—235.

Голицына княгиня Анна Сергѣевна 123—125.

Голицына княгиня Варвара 7.

Голицына княгиня В. В. 95.

Голицына княгиня Нат. Петр. 42, 47, 58.

Голицына княжна Софья Борис. 133, 202, 222, 223.

Голицыны князья 28, 58, 60, 64, 70, 71, 88, 91, 107, 139, 153, 154, 163, 166, 170, 176, 178, 196, 253.

Голицынъ князь Ал—дръ 171.

Голицынъ князь Александръ Николаевичъ 153, 255.

Голицынъ князь Андрей Борис. 37, 102, 103, 111, 152.

Голицынъ князь Борисъ Андреевичъ 83, 84, 85.

Голицынъ князь Владимиръ 17.

Голицынъ князь Дмитр. 91.

Голицынъ князь Дмитрій Владимировичъ. 264.

Голицынъ князь Дмитрій Михайловичъ. 10, 45, 56.

Голицынъ князь Ив. Александров. 123.

Голицынъ князь Михаилъ Андр. 82, 134, 135, 171.

Голицынъ князь Н. Н. 96.

Голицынъ князь Николай Борисовичъ 150, 161, 167, 170, 175, 177, 179—181, 183, 189, 194, 195, 200, 215.

Голицынъ князь С. М. 94.

Голицынъ князь Сергій 7.

Голицынъ князь Сергій Сергѣевичъ 161.

Голицынъ князь Федоръ Сергѣевичъ 128, 130, 148—150, 155, 159, 161, 165, 197, 203.

- Голицынъ князь бояринъ 314.  
 Голицыны князья 161.  
 Головина 164, 190.  
 Головинъ графъ 6.  
 Головинъ 142.  
 Головинъ Е. А. 139, 141.  
 Головинъ графъ Никол. Алексѣев. 6.  
 Горбачевская Анна Ив. 311.  
 Горбачевскій Ив. Вас. 311.  
 Горбачевскій Ив. Ив. 311.  
 Горчаковъ князь 105, 142, 145, 148.  
 Горяиновъ А. 293.  
 Госнеръ 255.  
 Грамонъ 190.  
 Гребенна Е. Н. 288.  
 Гречь Ал—ѣй Никол. 280, 291, 292.  
 Гречь Екатер. Ив. 291.  
 Гречь Никол. Ив. 241 303.  
 Грибоѣдова Елена Ив. 270.  
 Грибоѣдовъ А. С. 123, 253, 254, 257, 265, 269, 270, 295, 297.  
 Григорашъ 224.  
 Григорій митрополитъ 7.  
 Гризаръ 281.  
 Грузинскій князь Е. А. 132.  
 Груши 191, 219, 220.  
 Гудре 211.  
 Гумилевскій Моисей іеромонахъ 73, 75.  
 Гурьева, супруга министра финансовъ. 27, 29, 31, 40, 41, 47, 48, 60, 71, 75, 85, 90, 95, 103, 107, 108, 127, 136, 145, 193—196, 198, 201, 207, 210, 214, 175, 176, 182, 183, 222.  
 Гурьева дѣвица 136, 152.  
 Гурьевъ Ал—дръ 174, 176, 179, 231.  
 Гурьевъ 28, 55, 136, 150, 174, 176, 178, 194, 195, 206, 216, 217.  
 Гурьевы 38, 83, 133, 134.  
 Густавъ IV-й 3, 7.  
 Гюсъ г-жа 7, 30, 48, 51, 134, 170, 172, 175, 182.  
 Даву 185, 218, 219, 235.  
 Давыдова Аглая 157, 169, 190.  
 Давыдовъ 169.  
 Давыдовъ Денисъ 285.  
 Давыдовъ И. И. 302.  
 Дама 135, 191.  
 Дама (де) баронъ 204.  
 Дантрегъ 10.  
 Делакура И. 244.  
 Деламотъ графиня 125—132.  
 Деларю Евгеній 240.  
 Делаферте маркизь 142.  
 Делезеръ маркизь 181.  
 Дельвигъ баронъ 271, 273, 274.  
 Демидовъ 96, 97.  
 Демидовъ Никол. Никит. 82, 83.  
 Демченъ 6.  
 Державинъ 295.  
 Дибичъ графъ 115.  
 Дивовъ 117.  
 Дивовъ Ал—дръ 154.  
 Дизарнъ 191—193, 197—199.  
 Діанъ герцогъ 92.  
 Діанъ графиня 92, 101.  
 Дмитревскій 256.  
 Дмитриевъ Ив. Ив. 197, 295, 299.  
 Дмитрій царевичъ 314.  
 Долгорукая княгиня 27, 86, 201, 207, 208, 211, 218.  
 Долгорукій князь 47, 203, 216.  
 Долгорукій князь Вас. Мих. 58, 60, 62, 66.  
 Долгорукій князь Николай 205, 211, 219.  
 Долгорукій князь Юрій 68.  
 Долгорукій князь Яковъ 286.  
 Дондуковъ - Корсаковъ князь 276, 277.  
 Дохторовъ 181, 225.  
 Друзъ 115.  
 Дубельтъ Л. В. 242, 290, 291.  
 Дубянской Федоръ 69, 70.  
 Дулькенъ 282.  
 Дюбургъ 76, 80, 81.



Дюваль Як Давыд. 95.

Дюлу 69.

Дюма графъ Матв. 203.

Дюмурье 212.

\*

Евгеній Богарне 209.

Евгеній герцогъ Виртембергскій 185.

Ежевскій 251.

Ежова 259.

Екатерина II-я 3, 6, 7, 36, 42, 70, 73—75, 88, 90, 92, 94, 95, 132, 168, 192, 315.

Екатерина Павловна великая княгиня 141, 173.

Елисавета Алексѣевна императрица 41, 55, 72, 73, 75, 82, 84, 91, 96, 100, 125, 128, 129, 130, 136, 141, 152, 157, 160, 164, 177, 178, 187, 190, 196, 216, 224, 232, 259.

Елисавета герцогиня 94.

Епанчинъ 230.

Еропкинь 74.

Ермолаевъ А. Н. 265.

Ермоловъ А. П. 103.

Ефимовичъ 37.

\*

Жандръ А. А. 256.

Жерве 172, 174—176, 180.

Жиле 31, 32, 40.

Жозефина 135, 226.

Жокуръ 232.

Жолневскій 314.

Жомини 35.

Жуковскій В. А. 253, 264, 265, 295.

Жюль-Жаненъ 282.

Жюмильякъ 204.

\*

Завадовскій графъ П. В. 179.

Загоскинъ М. Н. 256, 272, 295.

Загряжскій 79.

Зайкинъ 274.

Заринъ 205.

Засуличъ Вѣра 132.

Зедделеръ 295.

Злобинъ 182.

Зотовъ В. Р. 294.

Зубовъ 188.

\*

Ибраимъ 44.

Ивановскій Андр. Андр. 263.

Ивановъ А. 288.

Ивановъ Никол. Алексѣев. 275.

Игельстромъ баронъ 35, 36.

Измайловъ Ал—дръ Ефим. 269, 273, 274, 299.

Ильинъ 86.

Искриціе 266.

Искрицій Д. А. 254, 260, 262, 263, 296.

Истомина А. И. 256.

Истоминъ В. А. 205, 215, 216, 219.

\*

Іеронимъ Вестфальскій 224, 231.

Іосифъ Бонапартъ 89, 227

Іосселянъ 245.

\*

Навелинъ 249, 255.

Навуръ 4.

Надудаль 9, 13, 14, 19.

Назаковъ 95.

Назеновъ 226.

Напошкинъ 86, 91.

Калибанъ 297.

Калиостро графъ 125, 131, 132.

Калоннъ 5, 6, 81.

Калькрейтъ 206.

Камбасересъ 142, 209.

Каменская 211.

Каменскій графъ, 246, 286.

Канези г-жа 135.

Кантакузенъ 7.

Карадна 55.

Каратыгина 30.

Карамзинъ Н. М. 95 181, 251—253,, 295.

Каратыгинъ В. А. 256.

- Каратыгинъ Петръ Петр. 303.  
 Каратыгинъ П. А. 289, 290, 298.  
 Карлъ II-й 129.  
 Карлъ IV-й 227.  
 Карлъ X-й 6, 19, 94.  
 Карлъ эрцгерцогъ 56, 185.  
 Карно 209, 214, 223.  
 Каспаровъ 55.  
 Кастельрей 86, 100, 221.  
 Катенинъ П. А. 256.  
 Кауницъ князь 10, 19, 33, 34, 67.  
 Каховскій 261.  
 Каченовскій М. Т. 302.  
 Кашнинъ 36.  
 Квистъ Илья Ильичъ 311.  
 Квистъ Оск. Ильичъ 311.  
 Кенсонна графъ 246.  
 Келеръ 144.  
 Кибальчичъ 156.  
 Кирштень 281.  
 Кислинскій 210.  
 Кишкинъ 97.  
 Клейнау 67, 68, 75.  
 Клейстъ 104.  
 Кнорингъ 36.  
 Княжевичъ А. М. 294.  
 Княжевичъ Владисл. Макс. 262, 264.  
 Кобенцль графъ 137.  
 Кодрингтонъ 140, 142.  
 Кожинъ Петръ Никит. 94.  
 Козловскій князь 175, 176, 188.  
 Козловъ И. И. 257.  
 Козодавлевъ 27, 178.  
 Коленнуръ 93, 100, 105, 115, 135, 142, 145, 147, 182, 184, 193, 209, 211, 214.  
 Коллинъ 139.  
 Колмановъ Никол. 308.  
 Колчевъ М. П. 78, 79.  
 Комбъ двѣица 151.  
 Кони О. А. 286, 299.  
 Конисскій Георгій 311.  
 Коновницынъ графъ 185, 263.  
 Константинъ Николаевичъ великій кн. 205, 206, 211, 214, 218, 220.  
 Константинъ Павловичъ вел. князь 123, 125, 127, 154, 244, 251, 259, 261, 269.  
 Констанъ 5.  
 Контрымъ Базимиръ 252, 253, 273.  
 Корниловъ Влад. Алексѣев. 134, 137, 138, 140, 205, 221, 222, 228.  
 Корсакова Марья Ив. 118, 165.  
 Корсаковъ 204.  
 Корсаковъ А. 68.  
 Корсаковъ Петръ Александр. 257, 276.  
 Корфъ графъ М. А. 167.  
 Костенецкій Вас. Григ. 274.  
 Костюшка Фаддей 273.  
 Кочетова 152.  
 Кочубей 147, 173, 179, 182, 190.  
 Краббе 205, 206, 208—210, 215.  
 Краевскій А. А. 206, 280, 288.  
 Красовскій А. И. 242, 257.  
 Крейтонъ 152.  
 Крестовскій В. В. 245.  
 Кречетниковъ 36.  
 Кристинъ Фердинандъ 1—236 (переписка съ княжной Туркестановой), 309.  
 Кромвель 94, 129.  
 Крутицкій Самуилъ епископъ 70, 256.  
 Крыловъ И. А. 68, 253, 257, 283, 294, 295, 302.  
 Крюгеръ 210, 213, 214.  
 Крюднеръ баронеса 118, 124.  
 Кудашевъ 34.  
 Кузьминъ Ал—ѣй 15.  
 Кукольникъ Н. В. 275, 285, 286, 288, 289, 297, 298, 301, 303.  
 Кумани 207—209, 212.  
 Куманинъ 114.  
 Кумелосъ 217.  
 Куракина кн. Елисавет. Борис. 61, 102, 135, 157, 171, 199, 223, 236.  
 Куракинъ князь 67.  
 Куракинъ князь Ал—дръ Б. 152, 157, 182.

Кураинъ князь Ал—ѣй Борис. 178.  
 Кураинъ князь Борисъ 207.  
 Кураины 102, 170.  
 Кутайсовъ графъ 117.  
 Кутузовъ 34, 36, 39, 111, 153. 184—  
 187, 189—191.  
 Кутузовъ П. В. 261, 263.  
 Кюхельбегеръ В. К. 253, 257, 260—  
 263, 265.

\*

Лабедойеръ 220.  
 Лабенскій 75.  
 Лагарпъ 11, 87, 116, 117, 124.  
 Лазарева Екат. Тимоѡ. 219.  
 Лазаревъ М. П. (переписка съ Н. Н. Раевскимъ) 133—143, 205—230. (Переписка съ кн. Меншиковымъ) 205—230.  
 Лаконинъ 78.  
 Лаландъ 109.  
 Ланжеронъ 143, 179.  
 Ланская 171.  
 Лантингъ 250.  
 Ламуссели графъ 145.  
 Ласепедъ 67, 88.  
 Лафайетъ 225.  
 Лафонтенъ 129.  
 Лачиновъ 171.  
 Лебень 281.  
 Лебуржуа 13, 14.  
 Лебцельтернъ 66.  
 Леванидовъ 84.  
 Левашова 16.  
 Левенштернъ 183.  
 Левшинъ Ал—дръ 90.  
 Лейзеръ графъ 144.  
 Лелевель Юхимъ 252, 253, 273.  
 Ленци 216, 217, 231.  
 Ленъ 190.  
 Леонидъ архимандритъ 145.  
 Леопольдъ II-й 55.  
 Лермонтовъ М. Ю. 280.  
 Лессепсъ 200.  
 Ливень князь 255.  
 Линдонъ 115.

Линдль 256.  
 Линь (де) князь 204.  
 Липранди И. П. 295.  
 Лисенко 296, 297.  
 Листъ 282.  
 Литке Ф. П. 206, 213, 216, 218.  
 Литльтонъ Сарра 90.  
 Литта графиня 197, 198, 207, 214.  
 Литта графъ 24, 26, 45, 47, 98, 164.  
 180, 196, 197, 224, 232, 235, 236.  
 Литта кардиналъ 185.  
 Лжедмитрій 313.  
 Лобановъ князь Ал—ѣй 4.  
 Лобановъ-Ростовскій князь Ал—ѣй Бор. 154.  
 Лобановъ - Ростовскій князь Я. И. 154, 186.  
 Лобнова Анна Ив. 45, 78, 234.  
 Лобновичъ князь 34.  
 Лобойна 253.  
 Лонгиновъ М. 79.  
 Лонгиновъ Н. М. 177—190.  
 Лонгрю 170.  
 Лопухинъ П. В. 93.  
 Лопухинъ князь 170, 182.  
 Лористонъ графъ 169—176, 180, 194, 201.  
 Любенковъ 119.  
 Людовикъ XV-й 130.  
 Людовикъ XVI-й 5, 6, 19, 51, 94, 116, 125—132, 155, 212, 229, 230.  
 Людовикъ XVII-й 55, 98, 129, 189.  
 Людовикъ XVIII-й 6, 20, 51, 74, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 102, 112, 114, 116—118, 124, 135, 143, 184, 189, 193, 205, 210, 212, 220, 226, 233, 235.  
 Людовикъ Филиппъ 18, 19.  
 Люизъ 22.  
 Люсьенъ 196, 224, 231.  
 Лядовъ 294.  
 Лясковскій Валерій Никол. 122, 304.

\*

Магниціи 169—176, 179—182, 249, 251, 255.

- Макарій** митр. Моск. 315.  
**Мандональдъ** 210, 214, 220, 236.  
**Маннаръ** аббатъ 30, 179, 183, 195.  
**Манзей** 263.  
**Маре** 115.  
**Маринъ** С. Н. 257.  
**Марія** Антуанета 6, 129—132.  
**Марія** Луиза 33, 35, 54, 103, 116, 129, 135, 142, 167, 209.  
**Марія** Медичи 202.  
**Марія** Терезія 36, 130.  
**Марія** Феодоровна императрица 3, 16, 17, 72, 82, 101, 127, 185, 190, 195, 199, 216, 217, 223, 259, 295.  
**Марколини** 28.  
**Маршанъ** 188.  
**Масальскій** 182.  
**Масса** 313.  
**Массена** 188, 190, 191.  
**Матвѣевъ** Антипъ свящ. 92, 93, 95  
**Матей** 84.  
**Магметъ-Мосунъ-оглу** 25.  
**Мейланъ** г-жа 144, 150, 162.  
**Межевичъ** В. С. 287.  
**Мезонфоръ** 142—144, 205, 214.  
**Ментенонъ** г-жа 100.  
**Меншиковъ** князь 136—138, 205—230.  
**Мерзляковъ** 103.  
**Местръ** графъ 138, 139, 147, 170, 171, 175.  
**Метлинъ** Никол. Федор. 138—140.  
**Милорадовичъ** графъ М. А. 189, 256.  
**Мильвиль** баронъ 66, 76.  
**Мирабо** 225.  
**Міались** 188.  
**Михайловскій-Данилевскій** 167.  
**Михаилъ** Павловичъ вел. князь 242, 259, 291, 295.  
**Михаилъ** Федоровичъ царь 314, 315.  
**Мишо** графъ 202.  
**Мнишенъ** Марина 26, 252.  
**Моденъ** дѣвица 204.  
**Моллеръ** 226, 227.  
**Молчановъ** 170.  
**Мольтке** 13.  
**Моранъ** 210.  
**Мордвиновъ** Н. С. 168.  
**Моркова** 134, 174, 177, 192.  
**Морковъ** графъ 6—11, 13—15, 24, 26—28, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 63, 67, 68, 71, 80, 82, 83, 90, 93, 97, 113, 115, 121, 125, 128, 134, 136, 137, 140, 156, 169, 172, 174—177, 179—181, 182, 192—195, 216, 217, 219, 226, 235, 285.  
**Моро** 14, 29—33, 35, 36, 39, 42, 47, 51, 89, 106.  
**Мортъе** 194, 201, 202, 204.  
**Мочалевъ** П. С. 289.  
**Муравьевъ** 65.  
**Муравьевъ** 141.  
**Муравьевъ** А. Н. 123.  
**Муравьевъ** Никол. Назар. 226.  
**Муромцевъ** 75, 121, 136.  
**Мусинъ** Пушкинъ А. И. 82, 86—89.  
**Мусинъ-Пушкинъ** графъ Ал-ѣй Сем. 312.  
**Мусинъ-Пушкинъ** графъ 193.  
**Мюратъ** 86, 87, 97, 116, 184, 191, 196, 199, 224, 231.  
**Мясоедовъ** 82.  
**Мятлева** 144.  
**Мятлевъ** 167.  

\*

**Надеждинъ** Н. И. 302.  
**Наполеонъ** 1-й 8, 10, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 43—45, 47, 51, 53, 54, 57—59, 66—68, 70, 73, 74, 76, 77, 86—92, 94, 95, 98—103, 105, 107, 108, 110, 113—116, 132, 135, 140, 143, 144, 171, 177, 178, 182, 186, 187, 189, 176, 180—282, 184—188, 190, 191, 193, 198, 199, 204, 191—194, 197, 199, 200, 201, 204, 206, 207, 209—211, 214, 218—220, 222—224, 228—236, 243, 245, 247.  
**Наполеонъ** III-й 4, 276, 293.

Нарбутъ 256.  
 Нарышкинъ 32.  
 Нарышкинъ 129.  
 Нарышкинъ 208.  
 Нарышкинъ Дмитр. Льв. 211.  
 Нарышкинъ Ив. 120.  
 Нарышкинъ Левъ Александр. 81, 201, 214.  
 Нассау-Вейльбургскій принцъ 20.  
 Наталья Кириловна царица 91, 95.  
 Неваховичъ Л. Н. 297.  
 Ней 185, 189.  
 Нейпергъ графъ 34.  
 Некеръ 5.  
 Некрасовъ П. А. 288, 298, 303.  
 Нелидовъ женатый на дочери княжны Туркестановой 17.  
 Несвицкій 76.  
 Неслиндъ 281.  
 Нессельроде графиня 103, 219.  
 Нессельроде графъ 133, 134.  
 Николай I-й 112, 115, 117, 118, 136, 138, 139, 145, 167, 205—208, 210—214, 216—219, 222, 223, 225, 227—230, 259—261, 264, 265, 272, 273, 280, 281, 290, 299, 306, 307.  
 Николь аббатъ 143, 192—196, 236.  
 Ноазевиль г-жа 23, 25, 29, 53, 59, 61, 65, 71—84, 83, 84, 92, 93, 98, 102, 107, 111, 128, 133, 136, 144, 146, 147, 151, 152, 157, 161, 170, 175, 179, 180, 183, 193—195, 201, 215, 217.  
 Ноаль 144, 145, 147, 157, 201, 207, 211, 214, 218, 221, 223, 232, 234.  
 Новиковъ 77—79, 83.  
 Новосильцова Екатер. Владим. 48, 193.  
 Новосильцовъ 182.  
 Ноель 34.  
 Норовъ А. С. 123, 166, 294.

\*

Оберъ 175.  
 Оболенская княгиня Е. А. 193.  
 Обрѣзковъ Ал.—ѣй Мих. 8, 10, 15, 25, 26, 31, 34, 35, 38—41, 43—48, 52, 55, 67.  
 Огинскій 36.  
 Одоевскій князь В. Ф. 257, 278, 288, 290.  
 Оленинъ Ал.—ѣй Никол. 253, 264, 265, 296.  
 Олива 131, 132.  
 Олинъ 264.  
 Ольденбургская фамилія 178, 183, 184.  
 Ольденбургскій принцъ Георгій 295.  
 Ольденбургскій принцъ Петръ Георгиевичъ 294.  
 Ольтовъ 281.  
 Ольхинъ 287, 296, 297.  
 Ольшевскій Марцелинъ Матв. 140, 142.  
 Оранскій принцъ 66, 211, 218.  
 Орлеанскій герцогъ 209, 212, 225.  
 Орловъ графъ Ал.—ѣй Григ. 10, 11, 40—42, 159.  
 Орловъ графъ А. Ф. 290.  
 Орловъ-Денисовъ 232.  
 Орнонъ 87.  
 Османъ-эфенди 19.  
 Остерманъ графиня 105, 139, 184.  
 Остерманъ графъ 36, 39, 42, 56, 61, 67, 75, 83, 99, 103, 111, 116.  
 Остерманъ-Толстой графъ 184.  
 Очкинъ А. Н. 271, 272.  
 \*  
 Павелъ I-й 8, 15, 71, 72, 86, 90, 167, 244.  
 Павелъ еписк. Нижегород. 89.  
 Павловъ 86.  
 Павловъ М. Г. 302.  
 Павловъ Н. Ф. 256, 303.  
 Паскье 232.  
 Палень 189.  
 Пальмерстонъ 293.

**Пальмъ** 188, 243.  
**Панаевъ** 298.  
**Панина графиня С. В.** 194.  
**Панинъ графъ Викторъ Никитичъ** 304, 305, 306, 307, 308.  
**Панинъ графъ Н. И.** 5—67 (переписка съ графомъ П. А. Румянцовымъ).  
**Панинъ графъ** 209.  
**Панфиловъ Ал-дръ Ив.** 138—140.  
**Парнеръ** 217.  
**Парижскій герцогъ** 228.  
**Парчевскій** 247.  
**Паулчи маркизъ** 184, 185.  
**Пезаровиусъ** 255.  
**Перфильевъ** 70.  
**Песоцкій Ив. Петр.** 284—287, 299.  
**Петръ I-й** 71, 86, 109, 205.  
**Петръ III-й** 312.  
**Пій VII-й** 15.  
**Пино** 13, 14.  
**Пинъ** 119.  
**Пишегрю** 9, 14, 19, 89, 106.  
**Плавильщиковъ** 256.  
**Платовъ** 56, 187.  
**Платонъ митрополитъ** 70, 73, 74, 79—81, 90—93, 153.  
**Плюшаръ Адольфъ** 112, 275—277, 280.  
**Погодинъ Вас. Вас.** 114—117.  
**Погодинъ М. П.** 302.  
**Позняновъ** 55, 68, 71, 79.  
**Полевой Ксеноф.** 295.  
**Полевой Н. А.** 257, 258, 264, 268, 269, 275, 286, 289, 290, 295, 298—300, 302.  
**Поливановъ Н. П.** 166.  
**Полиньякъ** 6, 44, 45, 77, 90, 92, 93, 98, 101, 143.  
**Поповъ** 30.  
**Поповъ А. Н.** 167.  
**Поповъ В. М.** 255.  
**Потемкина Дарья Вас.** 91, 94.  
**Потемкина Надежда Александр.** 91.  
**Потемкина Татьяна Борсевна** 60, 61,

71, 90, 117, 133, 144, 146—148, 161, 165, 167, 171, 177, 197, 201, 207, 235.  
**Потемкинъ Ал-дръ** 40, 133, 144, 145, 147, 167, 170, 201, 212, 235.  
**Потемкинъ князь Г. А.** 35, 72, 75, 82, 84, 87, 88, 91—96, 132, 248, 285.  
**Потоцкая** 24.  
**Потоцкіе** 26.  
**Поццо ди Борго** 128, 129, 135, 144, 147.  
**Прадель** 192, 208.  
**Прейсъ** 67.  
**Прокоповичъ-Антонскій А. А.** 81.  
**Прокофьевъ** 272.  
**Протасова графиня** 67, 120.  
**Протасовъ** 263.  
**Пугачовъ** 53, 70, 87, 110.  
**Путята В. И.** 110, 118.  
**Путята Никол. Вас.** 110.  
**Путятинна (рожд. Ноульсъ)** 213.  
**Путятинъ Ефимъ Васильевичъ** 134, 135, 138, 140, 213.  
**Пушкина** 64, 71.  
**Пушкина Елена** 144.  
**Пушкина Наталья Абрам.** 130, 148, 150, 155, 158, 162, 185, 203.  
**Пушкинъ А. С.** 257, 270, 271, 273—275, 278—280, 285, 295, 297, 298, 300—302, 309, 310.  
**Пушкинъ Алексѣй** 91.  
 \*  
**Рагузскій герцогъ** 228.  
**Раевскій Мих. Никол.** 133, 137.  
**Раевскій Н. Н.** (переписка съ М. П. Лазаревымъ) 133—143.  
**Разумовскій графъ** 15, 126, 150, 179, 215.  
**Рапатель** 43, 44, 47, 106.  
**Раппъ** 65.  
**Рашетъ Е. К.** 271.  
**Редеръ** 38.  
**Рейтергольмъ баронъ** 7.  
**Ремезовъ Федоръ Петр.** 81.  
**Рено** 214.

Репнинъ князь Никол. Вас. 14, 15, 51, 52, 59, 62, 66.  
 Репнинъ князь Петръ Вас. 50—51, 52, 55, 56.  
 Ржевскій 36.  
 Рибопьеръ А. П. 25, 41, 106, 152, 157, 161, 198, 200, 203, 207, 211, 215, 223.  
 Ринордъ Петръ Ив. 290, 294.  
 Ришелье герцогъ Эм. Ос. 143, 144, 191, 195, 196, 214, 230, 232, 236.  
 Робеспьеръ 226, 229.  
 Ровереа 198.  
 Роганъ кардиналъ 131, 132.  
 Розавень 47.  
 Розенбранцъ 170—176.  
 Розень баронъ 36, 137, 197.  
 Романовъ Филаретъ Никитичъ, 313.  
 Россетъ А. О. 300.  
 Ростовцовъ I. И. 294.  
 Ростопчина графиня Е. П. 153, 155, 163, 290, 291.  
 Ростопчинъ графъ Ѳ. В. 39, 81, 146, 181, 186, 193, 203, 235.  
 Ротчевъ А. Г. 293.  
 Румянцовъ гр. Н. П. 174, 176—180, 185, 188, 190, 216, 231.  
 Румянцовъ графъ П. А. 40.  
 Румянцовъ графъ П. А. 5—67 (переписка съ графомъ Н. И. Панинымъ).  
 Румянцовъ графъ Сергѣй 28.  
 Руничъ 37, 82, 166, 249, 251, 255.  
 Рыльевъ К. Ѳ. 249, 253, 254, 257, 260, 262, 266.  
 Рязанцовъ 298.

Савари 115, 142, 220, 224, 235.  
 Сазельовъ 206.  
 Сазиковъ 294.  
 Сакенъ 35, 37, 92, 107.  
 Сакенъ, князь 311.  
 Салтыкова графиня Екатер. 127, 167, 205, 219.  
 Салтыковъ 207.

21.

Салтыковъ князь Ал—дръ 160, 179, 180.  
 Салтыковъ графъ Ив. Петр. 51.  
 Салтыковъ Н. И. 72, 179, 180.  
 Салтыковы 146.  
 Самойлова Марья Александр. 91.  
 Самойлова графиня Софья 17.  
 Самойловъ актеръ 287.  
 Самойловъ графъ А. Н. 91, 92, 95, 96.  
 Самойловъ В. В. 299.  
 Сангленъ (де) Як. Ив. 154.  
 Санта-Кросъ княгиня 81.  
 Сарсе 282.  
 Свинынь П. П. 269.  
 Свирская Нат. Вас. 232—240.  
 Свистуновъ 69, 152, 153, 196.  
 Свѣчина С. П. 118, 119, 122, 161, 207, 236.  
 Себастиани 181.  
 Севинье г-жа 118.  
 Семенова К. С. 256.  
 Сенковскій Юсифъ 252, 253, 275, 276, 302.  
 Сень-Винторъ 145.  
 Сень-Мора (де) 247.  
 Сень-При графиня 156.  
 Сень-При 145, 156, 172, 179, 193, 200.  
 Сень-При графъ Карлъ Франц. 204.  
 Сень-При Людвигъ 135.  
 Сень-При Эммануиль 135, 143.  
 Сень-Рени 131.  
 Сень-Сиръ 53, 55, 57, 61, 65, 191, 232.  
 Серве 282.  
 Серра-Напріола герцогъ 110, 131.  
 Сестренцевичъ 171.  
 Сечкаревъ Лука Ив. 85, 86.  
 Сибургъ дѣвица 107, 108.  
 Сиверсъ 39, 175, 176.  
 Сивори 282.  
 Сигизмундъ 314.  
 Симборскій 141, 142.  
 Симолинъ 18, 19, 23, 25, 27.  
 РУССКІЙ АРХИВЪ 1882.

- Скавронская графиня Е. В. (Литта)** 95.  
**Скобелевъ И. Н.** 144, 145.  
**Смирдинъ А. Ф.** 277, 280, 285, 289.  
**Смирнова** 203.  
**Соболевскій** 227.  
**Соколовскій** 138.  
**Соллогубъ графъ В. А.** 301.  
**Сольмсъ графъ** 16, 26, 31, 46, 63, 66.  
**Сомаглія кардиналъ** 185.  
**Сомовъ О. М.** 261, 163, 271.  
**Сосницкій** 298.  
**Сперанскій** 154, 167—176, 177, 253.  
**Спиръ** 216.  
**Сталь г-жа** 12, 31, 139, 140, 226.  
**Степановъ Н. А.** 292, 298.  
**Столыпина Вѣра Никол.** 257.  
**Столыпинъ Д. А.** 168, 296.  
**Стратоновъ В.** 196.  
**Стрекаловъ** 114—117, 306, 307.  
**Строгонова графиня** 23, 29, 42, 47, 58, 60, 111, 160, 161, 173.  
**Строгоновъ графъ** 50, 59, 177, 207.  
**Строгоновъ баронъ** 136, 147, 187, 188, 190, 214.  
**Строевъ В. М.** 287.  
**Суворовъ князь Ал.—дръ Арк.** 121, 308.  
**Суворовъ князь А. В.** 40.  
**Суновкинъ Акинѣ. Петр.** 305, 308.  
**Сультъ** 53, 183.  
**Сухозанетъ Н. О.** 305, 307.  
**Сѣровъ** 255.  
**Сюлли** 202.  
**Сюрмень (де)** 7.  
**Сюрюгъ аббатъ** 191—204.  
**Сюше** 233.  
**Сюз г-жа** 102.  
 \*  
**Талейранъ** 13, 92, 112, 114, 124, 129, 218, 220, 221, 225—228, 230, 232.  
**Тальони** 280, 281.  
**Таракановъ** 78.  
**Тарентская герцогиня** 94.  
**Тарентскій герцогъ** 228.  
**Татищевъ** 79, 100, 104, 105, 108—110, 187, 188.  
**Телешова** 258.  
**Терци** 135.  
**Тимковскій** 255, 295.  
**Тиммъ В. Ф.** 297, 298.  
**Тиръ** 46.  
**Титовъ** 61, 65, 75, 81, 83, 103, 104, 118, 120, 148, 159.  
**Толстая графиня** 10, 27, 32, 35, 39—41, 50, 52, 68, 75.  
**Толстая графиня Евдок. Петр.** 85, 120, 134, 178, 195, 198, 215, 222.  
**Толстая графиня Софія Петр.** 85.  
**Толстая графиня Марья Алексѣевна** 91, 112, 120, 129, 150, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 173, 178, 195, 206, 215, 223.  
**Толстой графъ Ал.—дръ Петр.** 85.  
**Толстой гр. Алексѣй Петр.** 50, 208, 209, 213.  
**Толстой графъ Н. А.** 178, 224.  
**Толстой графъ Петръ Александр.** 31, 40, 43, 53, 57, 61, 65, 67, 72, 83, 85, 103, 105, 112, 119, 120, 134, 135, 155, 156, 158, 171, 174, 177, 178, 196, 208, 209, 213, 216, 222, 234.  
**Толстой Ю. В.** 242.  
**Толстой Ф. М.** 293.  
**Толстой графъ Федоръ Петр.** 293, 294.  
**Толубѣевъ** 227.  
**Толченевъ** 260.  
**Тончи г-жа** 144.  
**Топильскій М. И.** 305, 307.  
**Тормасовъ** 142, 145, 186, 187.  
**Траверсе** 178.  
**Традескантъ** 313.  
**Траць г-жа** 108, 109.  
**Трескинскій** 255.  
**Трубецкая княгиня** 80, 223.  
**Трубецкая княгиня Е. Э.** 169.



Трубецкая княжна Елисавет. 134, 135, 171.

Трубецкой князь 76.

Трубецкой князь В. С. 16, 123, 132, 223.

Трубецкой князь А. Ю. 310.

Тугутъ 25.

Туманскій В. И. 252.

Тургеневъ Н. И. 249.

Туркестанова княжна Варвара 1—236 (переписка съ Фердинанд. Кристиномъ), 77—310.

Туркестанова княжна Екатер. 67, 83, 148, 150, 157, 160, 173, 178, 196, 197, 200.

Туркестанова княжна Софія 67, 158, 174.

Туръ 281.

Тутолмина С. П. 182, 183, 193, 194.

Тутолминъ 199.

Тучковъ 57, 118.

Тышкевичъ графъ 247, 296.

\*

Уайтбретъ 221.

Убри 13.

Уваровъ С. С. 161, 279, 280, 295.

Удино 210, 220, 247.

Ульрихъ 108, 109.

Уптонъ 213.

Услей 199.

Ушановъ В. 285, 302.

\*

Фавра маркизъ 5, 6.

Файо 203, 204, 215.

Фельтръ 188.

Фердинандъ VII-й 124, 228.

Фердинандъ король Сициліи 199.

Феррари 117.

Ферри де Пиньи 245, 246.

Феррье 87.

Филаретъ 88.

Филаретъ митрополитъ Моск. 153.

Филимоновъ 105.

Фольцогенъ баронъ 183.

Фонтанъ 88.

Фонъ-Визинъ 32, 252.

Фонъ-Поль 255.

Фонъ-Фонъ Макс. Яковл. 261, 262, 265, 266, 271, 272, 274, 295.

Фотій архим. 255.

Францискъ II-й 30.

Фрейгангъ 242.

Фридрихъ II-й 267.

Фридрихъ король Пруссій 51.

Фримонъ 196.

Фуль 183, 184.

Функъ баронъ 5.

Фуше 209, 214, 220, 221—229, 234, 236.

Фюзи г-жа 192, 194.

\*

Хитрово 137, 140, 142, 212, 224, 225.

Хмѣльницкій Н. И. 256, 257, 289.

Хованько 83.

Ходкевичъ графъ Вацлавъ 36.

Храповицкій Ал.—дръ Вас. 73, 74, 75, 132.

Хрущовъ Стен. Петр. 138, 140.

Хулюсь-Али-эфенди 44.

\*

Цегелинъ 16, 25, 26, 47, 63, 66.

\*

Чарторыжскій князь Ад. 171.

Черкасскій князь В. А. 146.

Чернышовъ графъ А. И. 304, 305, 307, 308.

Чернышовъ графъ З. Гр. 31, 35, 59, 76, 110, 115.

Чихачевъ 261.

Чичаговъ 186, 188.

\*

Шалашниковъ генералъ 144, 145.

Шанцъ 228, 229.

Шаховская 208.

Шаховской князь А. А. 253, 256, 257.

Шварцербергъ князь 43, 44, 185.

**Шварцъ** 76, 77, 248.  
**Шенинъ Ал—дръ** Федор. 275, 276.  
**Шепелева Н. В.** 95.  
**Шепингъ баронъ** 206, 215.  
**Шереметева** 156, 203.  
**Шереметевъ** Федоръ Ив. 315.  
**Шестова Ксенія Ивановна** 314.  
**Шишковъ** 255, 256.  
**Шокуровъ** 67.  
**Шредеръ Ф.** 243, 244, 281.  
**Штейнгейль баронъ В. Ф.** 103.  
**Штейнъ** 24.  
**Штринеръ** 29.  
**Шуазель-Гуфье графъ** 177, 195.  
**Шубертъ** 255.  
**Шуваловъ графъ** 93, 115, 144, 184, 224, 231, 232.  
**Шуваловъ Ив. Ив.** 87.  
**Шуйскій Василій** 314.  
**Шулеповъ** 177.  
**Шульгинъ А. С.** 262.  
 \*  
**Щербатовъ князь** 32, 86.  
**Щербининъ Евдок. Алексѣевичъ** 54, 60, 61, 65, 66.  
 \*  
**Эверсъ** 130.  
**Элютъ** 46.

**Эмилій принцъ Гессенскій** 207.  
**Эминъ** 44.  
**Энгельгардъ Вас. Вас.** 95.  
**Энгельгардъ Марѳа Александр.** 95.  
**Энгиенскій герцогъ** 14, 89.  
**Энзлинъ** 46.  
**Эпэ аббатъ** 109.  
**Эртель** 187.

\*

**Юрьевъ** 137.  
**Юркевичъ П. И.** 281.  
**Юсупова княгиня** 23, 26, 41, 47, 95, 124, 127, 133, 136, 152, 161, 170, 197, 198, 223.  
**Юсуповъ князь** 40, 80, 126, 144.  
**Юханцевъ Н. И.** 271.  
**Юхаринъ** 206.

\*

**Языковъ Н. М.** 22, 289.  
**Яковлевъ** 255, 256.  
**Яковлевъ А. И.** 309.  
**Яковлевъ И. А.** 309.

\*

**Федоровъ** 224, 225.  
**Федоръ Иоанновичъ царь** 313.  
**Феофанъ патріархъ** 315.  
**Феофилъ архим.** 196.

# СОДЕРЖАНІЕ

## ВТОРОЙ КНИГИ

### РУССКАГО АРХИВА 1882 ГОДА

(ТЕТРАДИ 3 И 4).

	<i>Стр.</i>		<i>Стр.</i>
1. Патріархъ Филаретъ Никитичъ Рома- новъ, съ гравированнымъ боль- шимъ его портретомъ.....	313	10. Переписка М. П. Лазарева съ Н. И. Раевскимъ въ 1838 году.....	133
2. Эпитафія Петру Третьему, сочине- ніе графа А. С. Мусина-Пушкина....	312	11. Переписка М. П. Лазарева съ ния- земъ А. С. Меншиковымъ. 1845— 1847 годы.....	205
3. Переписка графа Н. И. Панина съ графомъ П. А. Румянцовымъ 1771— 1774. (Первая Турецкая война при Екатеринѣ).....	5	12. Переписка Кристина съ нияншой Туристановой. 1813—1815 годы ...	
4. Бумаги протоіерея Петра Алексѣева.	68	13. Изъ воспоминаній баронессы М. А. Бодѣ (графиня Ламоть въ Крыму). . .	128
5. Потемкинскій храмъ Большаго Воз- несенія въ Москвѣ.....	91	14. Процессъ королевина ожерелья... .	130
6. Къ Исторіи двѣнадцатаго года: а) Делеши графа Лористона и Бло- ма о ссылкѣ Сперанскаго.....	166	15. Декабристъ И. И. Горбачевскій... .	311
б) Письмо Н. М. Лонгинова къ гра- фу С. Р. Воронцову въ Лондонъ отъ 13 Сентября 1812 о внутрен- нихъ и военныхъ дѣлахъ.....	177	16. И. Н. Скобелевъ о тѣлесныхъ на- казаніяхъ бѣглымъ солдатамъ....	144
в) Французы въ Москвѣ по раз- сказу аббата Сюрюга, съ предисло- віемъ В. Стратонова.....	191	17. Эпизодъ изъ крѣпостнаго права Е. М. Деларю.....	231
7. Василій Васильевичъ Варгинъ. Статья В. Н. Лясковскаго. съ пор- третомъ Варгина.....	97	18. „Сѣверная Пчела“. Историко-лите- ратурный очеркъ П. П. Наратыгина. . .	241
8. Къ статьѣ о В. В. Варгинѣ. Н. М. Колманова.....	304	19. Письмо А. С. Пушкина къ И. А. Яков- леву.....	309
9. Письмо митрополита Филарета къ его родителю о построеніи храма Христу Спасителю въ Москвѣ (1813). . .	153	20. Стихи, приписанные А. С. Пуш- кину, про графиню Бролио и Кристи- на.....	310
		21. Изъ стихотвореній во время Крым- ской войны. „Русь и Западъ“....	156
		22. Записка ниязя В. А. Чернаснаго о Русскихъ финансахъ 1876.....	147
		23. Замѣтка къ письмамъ в. князя Константина Павловича Ми. А. Б. Л. Р.	154



**FERDINAND CHRISTIN**

ET

**LA PRINCESSE TOURKESTANOW.**

LETTRES ÉCRITES DE PÉTERSBOURG ET DE MOSCOU.

**1813—1819.**

„Archives Russes“.



**MOSCOU.**

Imprimerie de l'Université Impériale (M. Katkōw),  
1882.



## P R E F A C E.

PAR M-R LE BARON DE BUDBERG, AMBASSADEUR DE RUSSIE A PARIS.

A deux reprises différentes j'ai rencontré, sans que je l'eusse cherché, le nom d'un certain Ferdinand Christin, Suisse de naissance, et qui, après avoir successivement été au service de la France et de la Russie, a terminé ses jours à Moscou, où il avait passé les 24 dernières années de sa vie. La première fois ce nom s'est présenté à mon attention en 1872. Je publiais une correspondance inédite jusque là de l'impératrice Catherine II avec le général Budberg, ambassadeur de Russie à Stockholm. L'ambassade de ce dernier avait été motivée par le projet d'un mariage du roi Gustave Adolphe IV avec la grande-duchesse Alexandra Pawlowna. Il fut rompu par suite de scrupules religieux qui servaient à masquer des intrigues politiques. Dans cette laborieuse négociation figurait un individu qui, sans être ostensiblement au service de Russie, était cependant employé d'une manière active par l'ambassade et semblait se trouver complètement à la dévotion du gouvernement russe. Il était désigné comme un voyageur suisse du nom de Christin, qui disposait de certaines accointances auprès de la cour de Stockholm.

La seconde fois j'ai rencontré ce nom en 1875. Je dus à une amicale confidence la communication d'une correspondance manuscrite de la princesse Barbe Tourkéstanow, demoiselle d'honneur de l'impératrice Marie Fédorowna, avec ce même Christin établi alors à Moscou, éloigné des affaires, et vivant dans l'intimité de la société la plus distinguée et la plus aristocratique de la Russie. J'ai été vivement impressionné de l'élévation des sentiments et de la profonde connaissance de la situation politique qu'accusaient les lettres de Christin. Cette correspondance très-suivie avec une amie intime se distingue par un extrême abandon de la pensée et par un style dont l'élégante familia-

rité semble exclure tout apprêt qui aurait pu en faire suspecter la sincérité. L'homme qui avait écrit ces lettres et avait ainsi épanché sa pensée, n'avait certainement pas été un homme ordinaire et, mêlé aux affaires politiques, le rôle qu'il y avait joué ne pouvait en aucun cas avoir été banal ni effacé.

Cette vie à peu près ignorée piqua vivement ma curiosité; d'autant plus qu'elle paraissait avoir été pleine d'aventures au milieu des événements politiques les plus émouvants de notre époque.

De consciencieuses investigations faites aux sources officielles, par un ami \*) qui voulut bien me communiquer le résultat de ses recherches, complétèrent les données que j'avais été à même de recueillir, et ainsi se déroula devant moi cette singulière existence, ballottée par les événements politiques et dont les péripéties se rattachent à l'histoire.

Depuis une cinquantaine d'années la triture des affaires diplomatiques a changé de nature. Aujourd'hui, avant d'être soulevée, toute question politique est préalablement préparée dans la presse quotidienne, et c'est au journalisme qu'est réservé le rôle, souvent très-important, de venir en aide à la diplomatie. Telle a été la marche suivie par Cavour, par Napoléon III, par Bismark et par bien d'autres hommes politiques d'une moindre valeur.

Il n'en était pas ainsi au commencement de ce siècle. L'influence du journalisme n'était point ignorée; on l'exploitait quelquefois, mais il était loin d'avoir l'importance qu'il a acquise de nos jours. D'ailleurs la presse n'était pas organisée, et on hésitait généralement à se servir d'un instrument dont l'outillage était incomplet et l'usage souvent même dangereux.

Pour préparer les négociations diplomatiques et pour les étayer au besoin, on se servait d'un élément dont le rôle a considérablement diminué de nos jours. On avait recours aux agents secrets, qui à cette époque encombraient les chancelleries et les cabinets des ministres, qui parfois rendaient d'éminents services, mais qu'on n'hésitait jamais à désavouer lorsque leurs paroles ou leur attitude pouvaient paraître compromettantes. Ce rôle d'agents secrets avait dans la plupart des cas pour principal mobile la cupidité. Les individus qui le remplissaient avaient habituellement derrière eux une existence déclassée ou une ambition à laquelle toutes les portes étaient fermées. Dans ce nombre on rencontrait cependant des hommes honorables et de réelles intelligences, qui se mettaient à la disposition d'un gouvernement pour pouvoir servir

---

\*) Le prince Alexis Lobanow.



un principe. Leur influence dans les affaires, tout en s'exerçant derrière les coulisses, n'en était ni moins importante ni moins directe.

C'est dans cette dernière catégorie d'agents secrets que je crois pouvoir classer Ferdinand Christin, qui forme l'objet de la présente étude et qui, tout en recevant une rémunération du gouvernement russe, ne le servait que parce que sa politique répondait à ses propres convictions.

Christin était né le 11 septembre 1763 à Yverdun, où était établie toute sa famille; à ce qu'il paraît, il avait été élevé en France et à juger d'après ses tendances ultra-catholiques et la vénération enthousiaste qu'il conserva pour la Société de Jésus, je n'hésite pas à croire que son éducation se fit dans un collège des Jésuites. En même temps que ses croyances religieuses, se formèrent ses convictions politiques. Les unes et les autres le poussèrent vers un royalisme exalté et presque farouche qui prit dans son esprit un développement qu'on serait tenté de trouver excessif, si les excès des idées révolutionnaires au milieu desquelles il vivait, n'expliquaient pas suffisamment et ne justifiaient pas, jusqu'à un certain point, des exagérations dans un sens contraire. Ses principes politiques ne transigeaient sur aucune question et n'admettaient que des solutions extrêmes. Il condamnait le libéralisme sous quelque forme qu'il apparût, et se montra aussi sévère pour les concessions libérales de Louis XVI, qu'il le fut plus tard pour les tentatives progressistes de l'empereur Alexandre I.

C'est dans ces dispositions qu'il entra, fort jeune encore, au service de m-r de Calonne, auprès duquel il resta jusqu'au moment où le flot montant de la révolution emporta ce ministère. Cette place auprès de m-r de Calonne le mit en contact d'une part avec les sommités de ce qu'on commençait déjà à désigner par le nom de „parti royaliste“, et d'autre part c'est à cette époque que s'établirent ses relations avec la famille Necker et m-me de Stael, qui a marqué dans son existence et avec laquelle il est resté en correspondance même lorsqu'il était déjà complètement éloigné des affaires. Toutefois il n'acceptait les opinions du parti Necker et de Benjamin Constant qu'avec des réserves. Il ne se résignait pas à transiger avec des théories qui s'écartaient de la monarchie absolue. Du reste, parfaitement sincère dans ses jugements, il ne cherchait pas à nier les erreurs et les fautes des royalistes, et il était d'autant plus sévère pour eux qu'à ses yeux leur cause se confondait avec ses devoirs envers Dieu. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, il déplora avec une extrême vivacité la triste fin du marquis de Favras, non à cause du sort de cet infortuné, mais à cause des coupables défaillances qui l'avaient livré à ses bourreaux. Encore en 1815,

lorsque déjà on se rappelait à peine qui avait été le marquis de Favras, il exprimait la conviction que les malheurs qui frappèrent Louis XVIII et les difficultés qui entouraient la restauration, n'étaient qu'une juste punition du Ciel pour le sentiment de lâcheté auquel avait succombé le comte de Provence en sacrifiant aux fureurs révolutionnaires un individu qui s'était dévoué à sa cause. De même, longtemps après, il ne trouvait pas de mots assez sévères pour condamner les violations de la charte dont s'étaient rendus coupables Charles X et le ministère Polignac. La cause de la royauté était pour lui, surtout au début de sa carrière, une cause sacrée, un article de foi que ne devait profaner aucun expédient indigne ou malhonnête, et dont la force résidait non-seulement dans la pureté des intentions, mais aussi dans des moyens auxquels ses défenseurs avaient recours.

Lorsque en 1789 m-r de Calonne fut exilé en Lorraine, Christin l'y accompagna, et c'est avec lui qu'il vint en 1794 en Russie.

Wiguel, dans ses souvenirs qui en général n'ont aucune valeur historique, prétend tenir de la bouche même de Christin, qu'après la chute de m-r de Calonne, il passa en Angleterre; qu'il entra au service du comte d'Artois; qu'à plusieurs reprises il avait été chargé par celui-ci de commissions auprès de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et qu'enfin ce fut avec ce prince qu'il vint à la cour de Catherine II. Cette fois les affirmations de Wiguel se trouvent confirmées par des données plus authentiques. Différentes indications dans les lettres de Christin, citées plus bas, prouvent qu'il a habité l'Angleterre, qu'en effet il a vécu dans l'intimité des princes émigrés, qui se sont servi de lui pour communiquer avec Louis XVI. Mais de plus, il paraît ne pas avoir été étranger au mouvement de la société de Londres, dont plusieurs détails intimes lui étaient connus, ce qui fait supposer qu'il a vécu quelque temps parmi elle. Ce qui est certain, c'est qu'arrivé à St.-Pétersbourg, il s'y fit remarquer par la pureté de ses convictions monarchiques, d'autant plus appréciées à ce moment, qu'après avoir caressé les idées humanitaires et libérales, et après avoir côtoyé de bien près la révolution, Catherine II en était arrivée à se placer à la tête des souverains qui entreprenaient la tâche de combattre les idées révolutionnaires.

A St.-Pétersbourg il fut présenté à m-r de Markow, qui par son talent de rédaction et par la part qu'il avait prise dans différentes négociations, entre autres dans celle des traités de la Neutralité Armée, avait acquis au ministère des affaires étrangères une position prépondérante qu'il conserva jusqu'à la mort de l'Impératrice.

Les commérages du tems prétendirent que la protection que m-r de Markow accorda à cette époque à Christin, protection qui ne se démentit jamais, avait été en partie obtenue par celui-ci grâce à la bienveillance qui lui témoignait une tragédienne française, m-me Huss, avec laquelle m-r de Markow vivait dans des relations presque maritales et dont il eut une fille Barbe, mariée dans la suite au prince Serge Galitzyne. Ce fut m-r de Markow qui obtint l'autorisation de l'Impératrice de faire inscrire Christin au ministère des affaires étrangères en 1796, et la même année il fut secrètement envoyé à Stockholm, où il se présenta en qualité de voyageur suisse à la cour du duc de Sudermanie, qui gouvernait la Suède pendant la minorité de Gustave IV.

La diplomatie russe poursuivait à ce moment deux négociations simultanées en Suède. Celle de la signature d'un traité d'alliance qui après de longs tiraillements devait mettre fin à l'animosité qu'en toute occasion le cabinet de Stockholm témoignait à la Russie; et celle de la conclusion d'un mariage du jeune roi avec la grande-duchesse Alexandra Pawlowna, petite fille de Catherine II. L'Impératrice attachait une extrême importance à cette union qui avait échoué jusque là contre le mauvais vouloir du duc de Sudermanie et des personnes qui l'entouraient, particulièrement du baron de Reiterholm, qui était son premier ministre.

Christin avait trouvé à Stockholm un compatriote, le chevalier de Surmain, qui donnait des leçons de mathématiques au jeune roi, et c'est par cette voie que l'ambassadeur de Russie, qui se voyait privé de toute communication directe, essaya d'influer sur l'esprit de Gustave IV afin de le disposer en faveur d'une union avec la grande-duchesse de Russie. Une anecdote que raconte Wiguel et d'après laquelle ce fut par la présence d'esprit que Christin obtint une audience secrète du roi, paraît être une invention de Wiguel ou peut-être de Christin lui-même, n'étant confirmée par aucune donnée authentique et manquant absolument de vraisemblance. Au surplus, ses ouvertures n'eurent qu'un médiocre succès et n'exercèrent aucune influence sur le cours de la négociation. Il paraît même que le duc de Sudermanie finit par concevoir des soupçons et que Christin, qui se voyait menacé d'être expédié dans les mines de la Dalécarlie, ne se sentit plus en sûreté dans la position indéfinie qu'il occupait à Stockholm.

Son fidèle protecteur Markow intercèda alors auprès de l'ambassadeur afin de le faire nommer officiellement secrétaire de l'ambassade de Russie à Stockholm, pour protéger sa personne contre les dangers dont il se sentait menacé. Le général Budberg ne crut pas pouvoir condescendre à cette demande, ne trouvant pas convenable qu'un indi-

vidu qui avait joué le rôle d'agent non-avoué obtint une position officielle à l'ambassade. Christin retourna donc à St.-Pétersbourg, où il reprit ses occupations auprès de m-r de Markow, qui dans l'intervalle avait été créé comte de l'empire Romain.

Quelque habituée que fût la Russie aux faveurs capricieuses et aux disgrâces inattendues, elle n'avait pas assisté à des revirements plus subits que ceux qui signalèrent l'avènement au trône de l'empereur Paul I.

Le comte Markow fut compris dans la disgrâce. Il fut exilé dans sa terre de Létitchew en Podolie. Le même sort frappa son protégé Christin, qui fut rayé des rôles du ministère des affaires étrangères et se retira avec une pension de 800 roubles à la campagne auprès de son protecteur, aux intérêts duquel il s'attacha désormais avec toute la constance de dévouement qui était l'un des traits de son caractère.

Ni le comte Markow, ni Christin ne reparurent sur la scène politique pendant tout le cours du règne de l'empereur Paul I, et ce ne fut qu'en 1801 que Markow fut rappelé à Pétersbourg et que Christin fut derechef attaché au ministère des affaires étrangères. C'est de ce moment que commence la partie la plus dramatique de son existence agitée.

L'Europe se trouvait en pleine combustion. De tous les côtés s'amorcelaient les orages politiques qui succédaient presque sans interruption à ceux qui venaient de désoler la plupart des états. C'est dans ces circonstances que le comte Markow fut envoyé comme ambassadeur à Paris afin d'y servir de médiateur entre la France et les gouvernements que menaçaient l'esprit inquiet et la fébrile ambition du premier consul. Les relations de ce dernier avec l'empereur de Russie étaient du reste ostensiblement cordiales et se distinguaient même pas une apparente intimité. Bonaparte avait consenti à accepter l'arbitrage de la Russie dans ses contestations avec l'Angleterre, quoique par l'une de ces singulières restrictions mentales dont il abusait au besoin, il prétendit ensuite qu'il n'avait accepté que l'arbitrage personnel d'Alexandre I, et non celui de ses diplomates.

Le choix du comte Markow pour ce poste délicat n'avait pas été heureux. Habitué à la triture des affaires dans les chancelleries et à ne les envisager que dans leur ensemble, sans se rendre compte de certaines nuances locales et de détails qui souvent en déterminent la marche, il ne comprit ni son rôle dans la diplomatie active, ni le genre de services qu'il aurait pu rendre à son pays. Le comte Markow était un rédacteur de très-grand mérite, mais un fort médiocre diplomate. Sa

personne d'ailleurs n'était pas sympathique au premier consul; elle était d'ailleurs peu faite pour lui plaire.

L'une des premières fautes que commit le comte Markow en se rendant à Paris, fut de se faire attacher Christin, qui avait été trop mêlé aux luttes des partis en France pour ne pas être très-partial dans ses appréciations et fort prévenu contre un gouvernement qui se glorifiait d'être une continuation de la révolution, et était devenu un objet de haine et de mépris pour le parti royaliste.

Par un ordre secret de l'empereur Alexandre, daté de Kamenny-Ostrow le 1 juillet 1801, Christin fut inscrit avec le grade de conseiller de cour au ministère des affaires étrangères et mis à la disposition du comte Markow, auquel il devait fournir des notices secrètes grâce à ses anciennes relations avec plusieurs employés de l'administration française, dans laquelle figuraient plusieurs Suisses entrés au service de France. Ce qui prouve qu'on attachait une certaine importance aux services qu'il pouvait rendre, c'est qu'on lui assigna à cette occasion un traitement relativement considérable pour cette époque. Il obtint 400 ducats pour ses frais de route, et on lui assura 1500 roubles par an avec bonification du change, tout en lui laissant les 800 roubles de pension annuelle qu'il avait conservée après avoir quitté le service de Russie en 1796.

La situation à Paris à ce moment était des plus critiques. Le premier consul se trouvait dans un état de surexcitation croissante; il n'avait eu jusque là que des succès; son ambition et son amour-propre ne connaissaient plus de limites; sa volonté capricieuse n'admettait plus aucune contradiction. Le seul pays qui grâce à sa position géographique et à sa puissante organisation nationale osait ne pas plier devant lui—était l'Angleterre. Il ne comptait plus avec aucune puissance en Europe, il était forcé de compter avec elle, et c'est ce qui l'exaspérait.

Mais à côté de ces agitations de la politique extérieure, venaient se placer d'autres préoccupations qui contribuaient pour le moins autant que les premières à lui faire perdre toute mesure dans ses actions et dans ses paroles et à le pousser de plus en plus aux résolutions les plus arbitraires et les plus extrêmes.

La police n'ignorait pas qu'en Angleterre se préparait un mouvement sérieux des royalistes français, qui étendait ses ramifications au coeur même de la France; que ces menées étaient patronées par le comte d'Artois et les princes français émigrés, dont les adhérents étaient répandus sur tout le continent de l'Europe. La conspiration de George Cadoudal et de Pichegru se préparait dans l'ombre; la police le savait, mais elle ne parvenait pas à saisir les fils de la conspiration. Condam-

née aux tâtonnements, elle se réfugiait dans les violences. De son côté le premier consul se plaisait à confondre avec ostentation les deux objets de sa haine du moment. Il attribuait à l'Angleterre les menées des royalistes, et il affectait de ne voir dans ces derniers que les instruments d'intrigues étrangères dirigées contre la sécurité de la France.

La position de m-r de Markow dans cette fournaise d'agitations et d'intrigues devenait intenable. Ses allures hautaines la compliquaient encore davantage. Souvent il compromettait les intérêts qui lui étaient confiés par l'intempérance de son langage, plaçant ses sympathies et ses antipathies personnelles au-dessus des directions qu'il recevait de St-Petersbourg, et qui ne cessaient de lui prescrire la plus grande réserve. Lorsque, par exemple, on lui faisait observer que ses paroles étaient en désaccord avec les assurances souvent réitérées de son Souverain, il répondait insolemment: „Je sais bien ce que dit l'Empereur; mais l'Empereur a sa politique, et les Russes ont la leur“. Ce propos imprudent fit le tour des salons de Paris, où le gouvernement avait intérêt à le faire colporter. Bonaparte, qui au commencement, et tant qu'il avait voulu ménager l'empereur Alexandre, avait conservé certaines formes courtoises envers l'ambassadeur de Russie, crut pouvoir de plus en plus s'en affranchir. Il l'accusait de représenter à Paris les intérêts de la politique anglaise bien plus que ceux de son Souverain, et affectait de le soupçonner d'avoir la main dans les menées des conspirateurs royalistes.

L'attention de la police française devait naturellement être dirigée sur tout ce qui se passait à l'ambassade de Russie; les individus qui la composaient, et en particulier Christin, qui paraissait jouer un rôle de confident et de conseiller auprès du comte Markow, étaient l'objet d'une méticuleuse surveillance. La méfiance du gouvernement français était d'autant plus tenue en éveil, que deux autres agents russes, très-ardents royalistes tous les deux, lui avaient été en même temps signalés: l'un à Naples, l'autre à Dresde. Le premier, m-r de Vernègues, était marié à une Russe, la c-sse Tolstoy, et était entré au service de Russie. Il formait à Naples le centre des agitations bourbonniennes, et entretenait en outre avec la cour de Rome des relations secrètes fort hostiles au gouvernement français. Le second, m-r d'Entraigues, était à Dresde et était accusé de servir d'intermédiaire entre l'émigration française qui se trouvait en Allemagne, les princes français et les différentes cours du continent.

Christin reçut des avertissements réitérés de se mettre en garde; parce que, n'étant protégé par aucun titre officiel, la mauvaise humeur du premier consul pouvait impunément s'attaquer à sa personne. Le

comte Markow trouva ces craintes justifiées, et le 1 (13) Janvier 1802 il écrivit à St.-Pétersbourg pour le faire officiellement attacher à l'ambassade.

Pour la seconde fois dans le cours de sa carrière, cette position officielle à laquelle il aspirait et que son protecteur cherchait à lui obtenir, lui échappa. Non-seulement l'empereur Alexandre n'accéda pas à sa prière, mais il ordonna à Christin de quitter Paris où sa présence pouvait susciter des difficultés et même devenir compromettante pour l'ambassade.

Que s'était-il donc passé, et pourquoi l'Empereur se montrait-il tout à coup si sévère pour un individu qui n'avait été placé au service et envoyé à Paris que par ses ordres?

Nous trouvons l'explication de cette énigme dans la correspondance de ce Souverain avec le général La Harpe, son ancien précepteur et le confident de sa pensée la plus intime.

Le général La Harpe et Christin, Suisses tous les deux, appartenaient dans leur pays à deux partis politiques différents. Dans les agitations de la Confédération Helvétique ils se trouvaient dans deux camps hostiles qui ne négligèrent aucune occasion pour se faire le plus de mal possible. Or, dans la correspondance de l'empereur Alexandre avec le général La Harpe, publiée par la Société Historique de St.-Pétersbourg, on remarque une lettre sans date, mais qui d'après son contenu doit être rapportée à cette époque, dans laquelle l'Empereur écrit: „quant à Christin, il se trouve en Suisse; parce que j'ai ordonné „à Markow de le renvoyer de son service, ne voulant avoir rien à faire „avec les intrigants“.

Évidemment, La Harpe était parvenu à indisposer l'Empereur contre cet agent dont il avait utilisé les services et dont l'activité avait été trouvée fort utile jusque là. Du reste, il faut bien le dire, on éprouve quelque surprise en voyant l'empereur Alexandre adresser à Christin ce reproche d'être un intrigant, ses intrigues, si tant il est qu'il s'en soit rendu coupable, ayant eu pour but les intérêts de la Russie et ayant, au surplus, été sanctionnées et dirigées par le gouvernement lui-même.

Les préventions que La Harpe était parvenu à inspirer à l'Empereur contre Christin furent durables. Depuis ce moment le gouvernement russe renonça à l'employer malgré les talents dont il avait fait preuve et malgré la protection que le comte Markow ne cessa de lui accorder.

Se sentant menacé à Paris et s'étant persuadé qu'il ne trouverait de la part de la Russie qu'une protection fort tiède et dans tous les

cas insuffisante, il se rendit au commencement de l'année 1802 auprès de sa famille à Yverdon. Il y resta jusqu'en 1803 à l'écart des agitations politiques, tout en cultivant cependant ses anciennes relations avec les royalistes français et avec le cénacle de Copet où m-me de Stael tenait une cour composée des éléments hostiles au pouvoir du premier consul. D'Yverdon il fit de nombreuses courses à Genève, et ce fut dans l'une de ces excursions que le 25 juillet 1803 il fut mandé chez le préfet du département du Léman qui lui signifia que d'ordre du grand juge, ministre de la justice, il le constituait prisonnier comme agent anglais, prévenu de manœuvres contre la sûreté de l'état. Christin fut conduit en prison, mais dès le surlendemain il obtint l'autorisation de rentrer chez lui. Pour la forme, plutôt que pour le surveiller, un gendarme fut placé dans son antichambre. Cet état d'arrestation à domicile se prolongea pendant trois semaines. On devint du reste de moins en moins sévère. Il se promenait librement à Genève et dans les environs. Plusieurs fois ses promenades l'avaient entraîné même au de là des frontières françaises, et ses amis le pressèrent d'en profiter pour se dérober par la fuite aux dangers qui pouvaient le menacer dans l'avenir. Il résista à ces conseils et, persuadé qu'on ne pourrait produire contre lui aucune accusation sérieuse, il continua à rentrer tranquillement dans son domicile attendant que des ordres de Paris vinssent constater son innocence. Son argent et ses papiers avaient été saisis lors de son arrestation. L'argent lui fut restitué bientôt après, mais toute sa correspondance avait été envoyée à Paris pour y être soumise à une enquête.

Après trois semaines d'attente arriva la réponse de Paris. Elle fut cependant toute différente de ce qu'avait espéré Christin. Elle renfermait d'abord un blâme formel de la condescendance dont le préfet avait usé à l'égard d'un personnage dangereux, accusé d'un crime politique; en outre, elle ordonnait de renforcer la surveillance exercée contre le prisonnier, et enfin elle contenait l'ordre de le transporter à Paris pour lui faire subir un interrogatoire.

Arrivé à Paris, Christin y jouit d'abord d'une liberté presque complète. Il demeurait à l'Hôtel des Colonnes, circulait librement dans la ville sans être ostensiblement surveillé et allait voir ses amis. Ceux-ci ne se fiaient guère à cette apparente mansuétude de la police et le pressaient de prendre la fuite. Christin s'y refusa obstinément, convaincu qu'on ne pourrait produire aucune preuve contre lui, qu'il parviendrait donc facilement à confondre les calomnies et à dévoiler dans la procédure même les turpitudes d'un gouvernement qu'il détestait avec un véritable acharnement.



Le 29 août 1803 il fut mandé chez le grand juge qui lui fit subir un interrogatoire de pure forme qui ne dura pas plus de 10 minutes. Il dut déclarer son nom, son état, sa demeure, en un mot, on ne lui posa que les questions les plus ordinaires qui généralement ne sont que l'entrée en matière de toute enquête. Quoique ses réponses fussent entièrement satisfaisantes, il fut immédiatement enfermé au Temple et tenu au secret pendant 18 jours. Dans l'intervalle la nouvelle de cette arrestation était parvenue à m-r d'Oubril qui remplissait à Paris les fonctions de chargé d'affaires de Russie pendant l'absence du comte Markow parti pour les eaux de Barège. En même tems cette nouvelle se répandit à St. Pétersbourg, d'où le comte Alexandre Woronzow, chancelier de l'Empire et gérant le ministère des affaires étrangères, prescrivit le 16 septembre 1803 à m-r d'Oubril „de suivre cette „affaire, en évitant toutefois de se compromettre».

Cet ordre se croisa en route avec le rapport de m-r d'Oubril, qui dès le 5 (17) août avait déjà adressé une note à m-r de Talleyrand pour lui demander des explications au sujet de l'arrestation de Christin et pour obtenir son élargissement. Le comte Markow fut également informé de ce qui venait de se passer, et il avait cru devoir appuyer la demande du chargé d'affaires de Russie par une lettre à m-r de Talleyrand dans laquelle il réclamait énergiquement la mise en liberté de ce «conseiller de cour et pensionnaire de l'Empereur de Russie».

L'intervention intempestive du comte Markow fut fatale à Christin. Le 26 septembre le grand juge donna l'ordre de l'enfermer dans le donjon de la Tour où on le traita comme le plus dangereux criminel, sans cependant lui avoir fait subir aucun interrogatoire. Lui-même a raconté depuis, qu'on ne cessait de l'entourer de pièges pour obtenir de lui des aveux qui eussent été compromettants pour le gouvernement russe. On ne se lassait pas de lui insinuer que le dernier l'abandonnait et que surtout m-r de Markow le trahissait par l'indifférence qu'il témoignait à son sort.

Christin se montra d'une fidélité inébranlable. On eut alors recours à l'intimidation. Lui ayant permis de prendre l'air une heure chaque matin sur les créneaux de la Tour, on lui adjoignit comme camarades de promenade deux officiers Vendéens, Picot et le Bourgeois, tous les deux au service du comte d'Artois, envoyés en France pour préparer l'expédition de George Cadoudal et tous les deux fort compromis par les preuves qu'on était parvenu à réunir contre eux. Pendant dix jours consécutifs il les vit ainsi tous les matins, et une certaine intimité ne tarda pas à s'établir entre eux. Le onzième jour le gardien de la Tour leur proposa de dîner ensemble. Ils acceptèrent avec joie. Vers la fin

du repas le même gardien entra brusquement dans la prison et leur adressa les paroles suivantes: «Messieurs, je suis bien fâché de vous <dire que dès aujourd'hui vous ne comptez plus sur la terre; il faut <mourir». Qu'on juge de l'horrible stupéfaction produite par ces paroles. Puis, après avoir pendant quelques instants joui de la terreur générale, il ajouta en s'adressant à Christin: «pour cette fois-ci, monsieur, cela <ne vous regarde pas; je n'emmène que m-r Picot et m-r le Bour-geois que les gendarmes attendent pour les fusiller». On s'empare de ces deux malheureux qu'on traîna devant la commission militaire permanente qui, séance tenante, les condamna à mort. Le même soir ils furent fusillés.

Le gardien revint tranquillement auprès de Christin et lui déclara que s'il ne s'empressait d'écrire au ministre et de dire franchement tout ce qui serait propre à le sauver, un sort pareil l'attendait infailliblement.

Dans la nuit du 28 au 29 février 1804 Christin fut transféré à S-te Pélagie. On le jeta dans un cachot humide et obscure et on ne lui accorda qu'une botte de paille pour se coucher. Ce ne fut que plusieurs jours plus tard qu'il obtint la permission de louer un lit. Il tomba dangereusement malade, ce qui n'empêcha pas de le tenir au secret et d'user envers lui des plus grandes rigueurs. Le secret fut levé le 29 juin. Le 26 juillet il fut ramené au Temple, puis le 21 septembre on l'enferma pour la troisième fois au cachot où il resta jusqu'en janvier 1805.

Chose curieuse et bien caractéristique, pendant tout ce tems il ne subit aucun interrogatoire; les mauvais traitements qu'on lui infligeait n'avaient donc pas pour origine la marche d'une instruction ou d'une procédure quelconque, fut-elle même vicieuse, mais étaient simplement inspirés par les capricieux tâtonnements de la justice.

C'est pendant sa détention et pendant qu'on le traînait de prison en prison que s'accomplissait la série d'actes arbitraires et inouïs dont George Cadoudal, Pichegru, le duc d'Enghien et Moreau furent les plus illustres victimes et qui eurent pour résultat la proclamation de l'Empire.

Le premier consul se porta aux plus grandes violences. En pleine réception aux Tuileries il avait brutalement apostrophé le comte Markow en insinuant contre la Russie l'accusation que ses agents avaient la main dans les conspirations contre sa personne. «Croit-on donc, <avait-il dit, que nous sommes assez tombés en quenouille pour supporter les affronts de la Russie».

Le crime d'Ettenheim fut suivi de l'enlèvement de m-r de Vernégues à Rome. Puis, lorsqu'à Paris on sentit l'effet déplorable que produisaient en Europe ces incessantes violations du droit des gens, on favorisa son évasion, et ce fut à l'intervention de Vernégues auprès du pape Pie VII et aux instances de celui-ci que Christin fut redevable de recouvrer sa liberté.

En sortant de prison il eut l'ordre de quitter le territoire français en 15 jours. Il en passa encore 8 à Paris; puis il se rendit à Yverdon pour se reposer pendant quelques semaines des tribulations et des angoisses par lesquelles il avait passé. La proximité de la frontière française lui parut cependant dangereuse. Il se hâta de s'en éloigner et passant par Carlsruhe, Stuttgart et Munich, il se rendit à Vienne où il se présenta le 11 (23) février au comte Razoumowsky, ambassadeur de Russie. Il se rendit à Letitcheff, et c'est ainsi qu'il rentra dans sa patrie d'adoption qu'il ne quitta plus depuis cette époque.

Au mois de mai de la même année il se rendit à St.-Pétersbourg, persuadé que les souffrances qu'il avait endurées pour la cause de la Russie et la fidélité dont il n'avait cessé de donner des preuves au milieu des circonstances les plus cruelles, lui assureraient un accueil distingué.

L'empereur Alexandre avait cependant gardé trop de préventions contre lui pour tenir compte de ses services. D'ailleurs sa personne était devenue compromettante, parce que son arrestation avait fait trop de bruit. Christin ne trouva à St.-Pétersbourg que des déceptions. Après cinq mois il partit pour Polotzk profondément blessé du peu d'intérêt qu'éveillaient ses malheurs et ses souffrances dans les sphères gouvernementales de la Russie.

En 1813 nous le trouvons établi à Moscou dans la maison du comte Markow à la Nikitskaja, jouissant d'une pension du gouvernement et ayant en outre acquis une petite propriété qui suffisait à sa modeste existence et qu'il échangea, à ce qu'il paraît, contre une maison à Moscou après la mort de ce comte Markow (le 29 janvier 1827). Depuis cette époque sa vie fut celle d'un naufragé qui, ayant gagné un port de refuge, après avoir affronté les tempêtes, juge le passé en philosophe et puise dans ses souvenirs la mesure de ses appréciations des hommes et des choses. Il ne fit aucune tentative pour rentrer dans les affaires, s'entoura d'amis, prenait vivement à coeur tout ce qui touchait aux intérêts de sa nouvelle patrie et ne témoigna aucune aigreur contre ceux, qu'à juste titre, il aurait pu accuser d'ingratitude.

Dans la solitude où l'avaient placé les événements, son existence était partagée entre deux intérêts principaux: sa nombreuse correspon-

dance qui occupait la plus grande partie de son tems, et sa liaison avec la comtesse de Broglie, établie à Moscou où elle possédait plusieurs maisons qui avaient été brûlées en 1812, puis reconstruites peu de tems après.

La comtesse de Broglie, fort connue dans la société de Moscou d'alors, était née m-me de Levaschew et avait été mariée au prince Troubetzkoy. Après la mort de ce dernier, elle avait épousé un comte de Broglie, émigré français, réfugié en Russie où son genre de vie donna lieu à de sévères critiques. On l'accusait, peut-être à tort, d'avoir fait de son salon un tripot de jeu, très-fréquenté par la jeune noblesse russe et auquel la beauté de sa femme assurait de nombreux visiteurs. Quant à la comtesse de Broglie, il ne paraît pas qu'elle ait favorisé ces honteuses manoeuvres. Il semble, au contraire, que ses relations avec Christin existaient déjà à cette époque et qu'elles se distinguaient par la constance d'une affection mutuelle. Les dernières années de sa vie il eut cependant beaucoup à souffrir de ses rapports avec une femme qui était devenue très-malade et qui de plus paraît avoir été fort capricieuse.

C'est à la comtesse de Broglie que Christin légua en mourant tous ses papiers ainsi que la majeure partie de sa volumineuse correspondance. Il l'institua également légataire de sa modique fortune. Malheureusement la comtesse de Broglie ne comprit pas l'importance que ce dépôt pouvait avoir pour l'histoire. Elle brûla impitoyablement tous ces papiers parmi lesquels se trouvaient des souvenirs qu'il avait commencé à consigner dans des mémoires et dont il fait mention dans un recueil de ses lettres qui, grâce à une disposition qu'il avait prise quatre ans avant sa mort, a été conservé.

Ce recueil représente l'autre intérêt qui avait orné une partie de sa vie.

Il avait rencontré vers l'année 1813 à Moscou, la princesse Barbe Tourkéstanow, demoiselle d'honneur à la cour de Russie et attachée ensuite à l'impératrice Marie Fédorowna, mère de l'empereur Alexandre I. Dès les premiers jours de leur connaissance Christin avait conçu pour la princesse Barbe une sincère et solide amitié, toute différente du reste des sentiments qui l'attachaient à la comtesse de Broglie. La princesse Tourkéstanow possédait un esprit supérieur, rehaussé par une instruction sérieuse, un caractère charmant, une nature enthousiaste et quelque peu fantasque à laquelle l'origine asiatique de sa famille donnait tout le charme de la femme orientale. Elle était pleine d'imagination et s'intéressa vivement à cet homme qui était une épave des bouleversements politiques de son époque. Elle aimait à épancher en-

vers lui les aveux des agitations de sa propre existence, qui, sous des dehors brillants, ne cachait qu'imparfaitement les amertumes inséparables d'une vie à la cour.

Presque tous les jours la princesse Tourkestanow et Christin consignaient dans des lettres leurs impressions les plus intimes, leurs réflexions politiques et religieuses et toutes les choses qui intéressaient le monde dans lequel ils vivaient. A cette époque les communications postales entre St.-Pétersbourg et Moscou n'étaient pas aussi fréquentes ni aussi faciles qu'elles le sont aujourd'hui. Ces lettres renfermaient donc souvent les notes de plusieurs jours réunis, écrites au fur et à mesure que se produisaient les pensées. Grâce à ce mode de correspondance suivie, ce recueil trace un tableau complet et extrêmement attrayant de la société russe contemporaine.

En 1819 la princesse Tourkestanow mourut d'une manière tragique. Pendant plusieurs années elle brilla à la cour. Le charme de sa conversation fut très apprécié par l'empereur Alexandre, qui lui faisait de fréquentes visites et lui témoignait un intérêt particulier. Quoiqu'elle eût plus de quarante ans, elle était non-seulement très bien conservée, mais sa beauté, tout en changeant de caractère, n'en était pas moins séduisante. Depuis quelques années elle avait été fort courtisée par le prince Woldemar G-ne, plus jeune qu'elle et fort connu par la légèreté de sa conduite. On a prétendu que la princesse Tourkestanow fut victime d'un odieux pari qu'avait fait le prince G-ne, qui abusa d'elle grâce à la trahison d'une femme de chambre et qu'elle mourut en donnant le jour à une fille que recueillit la princesse G-ne, qui voulut ainsi réparer généreusement les torts de son mari. Une version qui déjà alors circulait dans le public, et qui est confirmée par des données authentiques citées plus bas, affirmait que peu de jours après la naissance de sa fille, elle prit du poison et mourut dans d'atroces souffrances. Cette fille qui porta le nom de G-ne, fut mariée à m-r de NéI...w.

Christin fut inconsolable de la mort de la princesse Barbe. Une large moitié de l'intérêt de sa vie s'évanouissait, et il n'était plus dans l'âge où de pareilles pertes se remplissent par d'autres affections. Pour repasser les souvenirs de cette douce intimité, qui pendant des années avait occupé une partie de son tems et orné sa solitude, il entreprit de copier toutes les lettres qu'il avait reçues de la princesse Tourkestanow et celles qu'il lui avait adressées. Avant sa mort il légua ce recueil ainsi que le journal d'un voyage qu'elle avait fait en Allemagne avec l'impératrice Marie en 1818, à la comtesse Sophie Samoïlow, mariée au comte Alexis Bobrinsky, qui avait été fort liée avec la prin-

cesse Barbe et qui, en même tems qu'elle, avait été demoiselle d'honneur de l'Impératrice.

L'élévation d'esprit et de coeur qui distinguait la c-sse Sophie Bobrinsky était aux yeux de Christin une raison déterminante pour lui léguer ce dépôt dont les événements avaient fait une chronique du tems tracée par l'amitié. Les circonstances l'avaient d'ailleurs rapproché de cette famille. La c-sse Sophie et son mari avaient su apprécier les quaillités aimables de Christin. Pleins de bonté tous les deux, ils lui avaient témoigné une sympathie à laquelle il répondait par un sentiment de profonde reconnaissance. Lorsque en 1830 et 1831, l'insurrection de Pologne, l'apparition du choléra et les bouleversements politiques de l'Europe semblaient se partager la tâche d'ébranler l'édifice de l'Empire de Russie, le comte et la comtesse Bobrinsky étaient établis à la campagne où le comte Alexis posait les fondements d'une nouvelle industrie qui popularisa son nom en Russie et devint pour son pays une nouvelle source de richesse. Christin se trouvait à Moscou. De là il tenait la comtesse Sophie au courant de tous les bruits qui circulaient dans la ville, des événements qui s'y passaient, et il ajoutait sur les actualités politiques des appréciations qu'autorisaient sa vieille expérience et les tribulations de sa jeunesse. Quelque différente que soit cette correspondance de celle qu'il avait naguère cultivée avec la p-sse Tourkestanow et quoiqu'elle ne lui ressemblât ni pour la forme, ni pour l'abandon de la pensée, ni même pour la variété des sujets qu'elle embrasse, elle n'en acquiert pas moins un intérêt réel, grâce à la régularité avec laquelle Christin s'était imposé la tâche de consigner tout ce qui arrivait à sa connaissance. Sur bien des questions ses opinions s'étaient modifiées. L'état politique de l'Europe avait changé, des préoccupations d'un autre genre agitaient les esprits et des aspirations nouvelles se faisaient valoir. Christin ne fut pas à l'abri de ces influences. Ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut, le priucipe de la monarchie absolue dans la défense duquel s'était consumée sa jeunesse ne lui apparaissait plus comme une panacée qui pût guérir tous les maux des sociétés humaines. Il ne se réconciliait cependant pas avec le régime de Louis Philippe. Ce souverain bourgeois que l'origine de son pouvoir condamnait fatalement à être le courtisan de la populace, ne répondait pas à son idée de la royauté. Et pourtant, puisque les événements l'avaient placé sur le trône, il voulait qu'il fût respecté par tous, et la lettre suivante du 26 février 1831 expose dans quelles conditions il admettait une restauration bourbo-nienne:

«Je suis honteux pour Charles X de le voir retomber encore dans ces sourdes intrigues qui font plus de mal que de bien à sa cause. Soulever des prêtres, s'associer avec les anarchistes pour renverser le trône de Louis Philippe et livrer la France à toutes les horreurs d'une désorganisation qui durerait peut-être autant que celle de 1793 et produirait autant de crimes et de malheurs! Ces malheureux princes n'ont-ils pas assez conduit de sujets fidèles à l'échafaud? La machine infernale, la conspiration de George Cadoudal, les menées de Pichegru, tout cela était dirigé par eux du fond de leur retraite, et tout cela a fini par le supplice de leurs agents, tandis que les braves Vendéens, se battant pour Dieu et pour le roi, restaient abandonnés sans pouvoir jamais obtenir que le comte d'Artois, alors dans la force de l'âge et ses fils déjà grands garçons, vinsent appuyer de leur présence cette valeureuse armée qui a vu périr tant de nobles victimes sous le plomb des révolutionnaires. Les La Rochejaquelein, les Cathelineau, les Charette, les Stoffet, les Frotté sont autant de morts qui témoignent de la fidélité des sujets et de la faiblesse morale de leurs maîtres. S'il y avait un Henri IV dans cette famille et serait à présent à Bordeaux ou à Toulouse arborant son drapeau blanc et appelant à son aide tous les nombreux amis de la légitimité, en 15 jours il aurait une armée avec laquelle il défendrait ses droits, parviendrait à reconquérir son héritage ou mourrait avec gloire. Mais intriguer du fond de Holyrood, cela sent l'absence de toute grandeur d'âme et de tout sentiment vraiment noble et royal.»

Dans une lettre antérieure il fait un retour sur son passé et répond à la comtesse Sophie qui l'avait engagé à profiter de ses loisirs pour écrire des mémoires.

«Des mémoires, dites-vous! Eh bon Dieu, on en est inondé! Malgré cela je crois que j'aurais aussi des choses curieuses et intéressantes à dire. Tant que les Bourbons ont régné, cela n'aurait pas été permis; à présent qu'ils sont dans l'infortune, il y aurait de la lâcheté à publier ce que j'ai su et ce que j'ai vu d'eux pendant les premières années de l'émigration; j'ai passé cette époque dans leur intimité intérieure, dévoué à leur cause qu'alors je croyais si belle et pour laquelle j'ai plus d'une fois exposé ma vie dans des voyages à Paris aux moments les plus périlleux, pour les faire communiquer sûrement avec Louis XVI, ce qui m'a mis au fait de bien des particularités dont je pourrais seul rendre compte avec vérité. Mais je les servais, je les aimais; ce n'est qu'à la longue que j'ai pu me détacher d'une cause qu'ils ont pris plaisir à gâter, quoique, dès le moment où je fus admis à prendre part à leurs affaires, je remarquasse mille choses

«qui me choquaient, parce qu'elles blessaient les sentiments moraux dans desquels j'avais été élevé. Je remarquais bien vite que, chez Louis XVIII surtout, fausseté voulait dire prudence, et que bonne foi était un mot vide de sens. J'ai vu qu'on pouvait cajoler, caresser jusqu'à la dernière minute l'homme dont on avait décidé la perte ou tout au moins l'éloignement. J'appris qu'on pouvait inventer des crimes qui n'avaient jamais eu lieu, pour faire éloigner un ministre qui gêne chez une puissance étrangère. J'appris que diviser pour régner était une maxime qu'on appliquait dans sa propre maison et parmi les serviteurs les plus dévoués. J'appris bien d'autres choses encore, qui, je crois, existent à toutes les cours et qui rendent l'existence d'un homme obscur bien précieuse pour ceux qui connaissent les princes et qui savent tout ce que l'ambition de les approcher coûte de peines et de sacrifices».

Les événements journaliers auxquels il assistait du fond de sa retraite et dont quelques amis fidèles lui apportaient les échos, lui fournissaient matière aux réflexions les plus judicieuses dans lesquelles son excellent esprit se complaisait à trouver des principes généraux. La politique extérieure, aussi bien que les terreurs insensées que l'apparition du choléra inspirait aux autorités moscovites; les défaillances et les fautes des organes du gouvernement, les désastreux tâtonnements de la campagne de Pologne, toutes les erreurs et les faiblesses de son époque, dictaient à sa plume des pages qui se distinguaient par l'élégance du style, par la rectitude des opinions et par la chaleur des sentiments.

Christin avait conservé pour la p-sse Tourkestanow un pieux souvenir qui ne se démentit pas jusqu'à sa mort. En 1833, ayant été fort malade, sentant ses forces décroître et croyant sa fin prochaine, il écrivit à la comtesse Bobrinsky la lettre suivante datée du 7 juin:

«Vous savez que j'ai soutenu pendant près de sept ans une correspondance très suivie avec votre compagne de voyage en Allemagne. Je crois vous avoir dit aussi qu'après la mort de cette excellente amie, toutes ses lettres me furent renvoyées et que, pour avoir une occupation manuelle pendant de longs accès de goutte, je m'étais amusé à copier par ordre de date toute cette correspondance, laquelle forme 5 volumes in quarto. Or, l'époque étant arrivée pour moi où tout homme sensé doit mettre le dernier ordre à ses affaires, j'avais pris la résolution de brûler toutes ces écritures; mais, voulant me donner le plaisir de revivre quelques moments dans le passé, ce qui est la seule jouissance des vieillards isolés comme moi, je me suis mis à relire cette correspondance d'un bout à l'autre. Vous avouerez-je qu'à



«mesure que j'avancais dans cette lecture, j'éprouvais des regrets de la livrer aux flammes. Cette collection renferme, au milieu de beaucoup de puérités, des lettres qui me semblent mériter d'être conservées, tant sous le rapport anecdotique que sous celui des réflexions que les circonstances faisaient naître. Je conviens qu'il y a peut-être de la vanité dans ce jugement, car c'est dans mes propres lettres surtout que je trouve l'exposé des principes salutaires pour tous les tems et de nature à être lus et appréciés dans l'avenir comme à présent, principalement dans ce qui a rapport aux deux dernières années de la correspondance».

«J'ai donc envie qu'elle soit conservée, et comme après moi elle tomberait peut-être entre les mains de la police, qui se fourre partout, j'ai le plus grand désir de la déposer entre les mains d'un ami sûr, dès à présent et pour toujours. Cet ami, madame la comtesse, ne peut être que vous si vous voulez bien y consentir. Vous savez tout ce que peuvent s'écrire dans l'intimité deux amis ayant les mêmes connaissances dans la société et demeurant habituellement dans deux capitales différentes. La plus extrême franchise règne dans toutes ces lettres sur des personnes dont la plupart sont encore vivantes, et par conséquent il serait impossible d'en permettre la lecture aux curieux indiscrets. Vous êtes en vérité la seule personne citée avec éloge sans aucun mélange de critique, ce qui rend ce dépôt dans vos mains exempt de tout inconvénient. De plus, vous êtes de toutes les personnes que je connais celle qui réunit le plus de prudence à une parfaite solidité d'esprit et de jugement, et par conséquent vous saurez mieux que qui que ce soit, ce qui doit être fait de ce dépôt dès à présent ou par la suite, et si vous y consentez je le mets à votre entière disposition pour le détruire ou pour le conserver.»

Peu de mois avant sa mort, le 5 juillet 1837 il écrivait à la comtesse Sophie sa dernière lettre empreinte des plus mélancoliques pressentiments. Approchant du terme de sa carrière terrestre, le souvenir d'une amie qui était morte depuis 18 ans lui revint et lui inspira les lignes suivantes qui, en même tems qu'elles soulèvent le voile qui planait sur la cause de la fin prématurée de la princesse Tourkestanow, prouve et la constance de l'affection qu'il lui avait vouée.

«Il y avait chez elle comme chez les hauts personnages au milieu desquels le sort l'avait jetée, tout ce qu'il fallait pour que son esprit si distingué lui créât une position spéciale, honorable et assurée pour la vie. Une fatale faiblesse a bouleversé tout cela et un orgueil (assez naturel au reste) l'a empêchée de recourir au seul remède qui eût pu lui con-

«server encore une situation élevée. M-r le Grand \*) aurait été flatté d'une confiance entière et sans réserve et aurait su pourvoir aux moyens d'étouffer à jamais ce fatal secret. Mais elle n'a pu se résoudre à descendre du piédestal où les principes professés d'une haute vertu et d'une entière pureté de moeurs l'avaient placée. Elle n'a pris conseil de personne; elle avait un ami auprès d'elle, elle en avait un autre en moi qui n'aurait rien épargné pour lui être utile si elle avait pu prendre sur elle de leur avouer qu'elle n'était qu'une femme. Vous me demandez qui m'a appris la cause de cette mort? C'est une ancienne amie dont elle n'était plus aimée, une amie qui avait commencé par être protectrice et qui avait fini par sentir qu'au besoin elle ne pourrait plus être que protégée. Ces changements-là ne se pardonnent pas. Aussi la mort de notre chère princesse ne causa nul chagrin dans ce quartier-là, et sa chute, révélée plus tard, y causa presque de la joie. Cette découverte fut occasionnée par l'embarras du médecin d'abord, puis par la réclamation du père qui, ne reculant pas devant les preuves positives qu'on exigeait de lui par rapport à ses droits, envoya les lettres originales de la pauvre mourante. Ne trouvez-vous pas que ces choses-là, loin d'aigrir contre les faiblesses humaines, inspirent au contraire une tendre pitié pour ceux qui y succombent? Cela me fait cet effet-là en me prouvant que nous ne sommes tous que de fragiles créatures sans droits pour condamner chez les autres ce que nous ferons peut-être demain; car qui pourrait avoir assez de confiance en soi-même pour dire: je ne faillirai pas?»

Christin mourut à Moscou le 18 décembre 1837 et fut enterré au cimetière catholique allemand, où un monument érigé par une ancienne et fidèle amitié orne sa tombe et trace en peu de mots le cours de sa carrière.

Novembre 1875.

---

\*) C'est ainsi que dans leurs lettres la p-sse Tourkestanow et Christin désignaient l'empereur Alexandre.

I.

Pétersbourg, le 10 juillet 1818.

Je viens vous assurer, monsieur, que vous avez pour votre compte une grande part au chagrin que j'ai eu de quitter Moscou. Je remercie beaucoup madame de Noiseville de m'avoir procuré votre connoissance; assurément ce sera une de celles que je me plairai à cultiver, quelque part que je sois, et j'aime à croire que la distance où nous sommes l'un de l'autre ne vous empêchera pas de penser quelquefois à moi et de me donner de vos nouvelles, qui me feront toujours un bien grand plaisir.

J'ai voyagé en véritable courrier; j'ai été nuit et jour. Tout le monde se plaignait et se plaint encore des chemins; je ne les ai pas trouvés si mauvais à beaucoup près; d'ailleurs avons-nous des chaussées pour nous permettre ces murmures? A mon avis cette route de Moscou à Pétersbourg est encore la plus supportable, du moins peut-on mettre pied à terre quelque part. La ville est déserte, et mon château m'a fait l'effet d'un donjon: je n'y ai pas rencontré un chat en débarquant. J'ai monté mes 113 marches avec peine, et en rentrant dans ma chambre je n'ai pas éprouvé la moitié du plaisir que j'avois autrefois en y arrivant (ne dites pas cela chez ma tante). Enfin je ne compte pas demeurer dans cette solitude, et je me transporterai à Kamenny Ostroff dans 4 ou 5 jours; ce sera chez la princesse Youssouloff, que vous ne connoissez peut-être pas, une personne d'un grand mérite et qui a beaucoup d'amitié pour moi. La princesse Boris est venue me voir le lendemain de mon arrivée. Elle est toute seule en ville; ses filles sont déjà à Mourino; hier j'ai passé à mon tour la journée chez elle, ce soir je verrai la comtesse Strogonoff. On est ici passablement ignorant sur les nouvelles de l'armée; la gazette de Berlin parle d'une prolongation d'armistice jusqu'en septembre; c'est comme un avant-propos qu'on a soin de jeter dans le public pour le préparer. Vous et moi nous l'étions,

il me semble, du moment que nous eûmes lu les fameux articles. D'un autre côté madame de Litta écrit de Czarskoécélo à la princesse Yousoupoff sa soeur, qu'on a reçu la nouvelle d'une triple alliance contractée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie pour une guerre offensive et défensive. M-s Balachoff, Bubna et Stein ont signé pour les trois cours. Vous qui avez plus d'esprit que moi, peut-être saurez-vous à quoi cela va nous mener! Ma chère p-sse Boris, qui aime les illusions, s'amuse à faire le dénombrement de nos forces, et moi à tout cela je me bouche les oreilles. Lorsque je me rappelle que l'année passée il n'y avait pas une seule table de boston où je n'aye vu faire l'addition de nos troupes, qu'on disait monter à six cent mille hommes, et qu'après cela nous nous sommes toujours vu attaqués par des forces supérieures, cela me fait supposer, ou que jamais nous n'avons eu autant qu'on le disait, ou que les Français avaient des soldats par millions. Partant de là, vous imaginez combien l'arithmétique de la p-sse Galitzine me rassure peu.

Je ferai aujourd'hui une coquetterie à m-r de Markoff en lui renvoyant ses livres: je veux lui écrire pour lui demander des nouvelles de sa santé.

## II.

Moscou, le 21 juillet 1813.

Quelle aimable et obligeante attention, princesse, que celle de m'apprendre votre heureuse arrivée. Ma tristesse fut extrême le jour de votre départ de ne pouvoir aller prendre congé de vous. Elle redoubla quand je sus que mon billet d'adieu était arrivé un moment trop tard; je maudis la Pologne et les Polonais qui font du mal partout, en masse et individuellement: au milieu des courses que madame Potocka me faisait faire, je m'occupais de votre voyage et je faisais mille voeux pour vous, voeux qui, quoique vagues faute de savoir positivement sur quoi les porter, n'en étaient pas moins vifs, ardents et sincères. Jugez si je me trouve flatté d'apprendre que j'ai eu quelque part aussi à votre souvenir et que vous me permettrez de vous entretenir quelquefois des regrets que votre départ laisse à tous ceux qui ont l'avantage de vous connaître et de vous apprécier. Vous connaître peut n'être que l'effet d'un hasard heureux; mais vous bien juger est la preuve certaine d'un esprit éclairé et d'un goût sûr et délicat. Vous voyez que je sais dans l'occasion me faire à moi-même un compli-

ment. Ne me croyez pour cela ni vain, ni présomptueux; la force de la vérité l'emporte cette fois-ci sur la modestie qui m'est naturelle.

M-elle Bridal m'a dit comment vous aviez passé côte à côte avec m-r de Ribeaupierre sans vous en apercevoir; voilà ce que c'est que d'aller jour et nuit en vrai courrier de cabinet au lieu de garder l'allure un peu plus lente d'une *demoiselle d'honneur*. Je comprends que vos 113 marches et ce vaste château désert vous aient donné l'envie d'aller à Kamenny Ostroff et à Mourino; seule dans ces mansardes, vous eussiez été comme une colombe fourvoyée et je félicite les princesses Youssouppoff et Galitzine de ce que les circonstances et la saison vous amènent auprès d'elles pour quelque tems. Je n'ai point l'honneur de connaître la princesse Youssouppoff si ce n'est de vue et pour lui avoir parlé une ou deux fois; mais je connais parfaitement tout son mérite; il y a longtems que m-me de Noiseville m'en entretient en toute occasion et m-me de Noiseville est assurément un excellent juge.

Je ne sais plus que penser de l'armistice ni de ce que dit à ce sujet la gazette de Berlin. Si l'alliance autrichienne est sûre comme chacun le croit, je ne vois pas ce qu'on attend pour reprendre les hostilités et frapper un grand coup qui serve d'écho à la victoire de Wellington. Cette victoire doit embarrasser Napoléon s'il est encore vivant, ou déconcerter celui qui le représente caché sous l'énorme chapeau dont *l'Invalide* nous amuse et nous berce. Ce silence absolu du quartier-général ne peut pas toujours durer: nous devons toucher au moment d'un éclaircissement quelconque. Je l'attends avec plus d'impatience que jamais, mais, Dieu mercy, avec moins de crainte que ci-devant; car cette alliance d'Autriche et cette victoire d'Espagne font bon gré mal gré renaître l'espérance dans mon coeur. Je ne crois pas aux six cent mille hommes des armées alliées, mais j'en rabats beaucoup aussi des quatre cent mille qu'on prête à l'ennemi. Je crains un peu le talent qu'il a de se présenter en masse, et notre habitude de disséminer nos forces sur une ligne trop étendue. Les gens de l'art prétendent que cette ancienne routine autrichienne et russe a fait tout le secret des succès inouïs de nos ennemis depuis 20 ans. Si avant Lutzen nous eussions réuni toutes nos forces, la Saxe serait encore à nous. Il est vrai que Hambourg n'eût pas été libéré momentanément, mais les derniers résultats de la guerre eussent affranchi, non-seulement les villes Anséatiques, mais encore toute l'Allemagne. Au reste, je raisonne de tout cela en ignorant et sur la foi d'autres; mais ce qu'on m'a persuadé à cet égard semble s'accorder avec le bon sens que je prends pour guide autant que je peux, partout où les lumières me manquent.

Il me tarde d'apprendre le succès de la coquetterie que vous avez jetée en avant pour m-r de Markoff; il est fort aimable malgré ses 67 ans, et j'aime à croire qu'en dépit des glaces de l'âge, il aura répondu galamment à si douce et gentille avance. Mais ce dont je suis certain, c'est que tout son esprit et ses profondes connoissances en politique ne lui feront pas pénétrer le secret de cette prévenance, et je parie qu'il la prend sur le compte de ses beaux yeux, tout malades qu'ils sont, plutôt que de deviner qu'on en veut à son Bourdaloue. Je voudrais que vous eussiez toute sa bibliothèque et que sa fille eût une amie comme vous, princesse. Le sort de cette jeune personne m'intéresse beaucoup, et si elle avait le malheur de perdre son père avant d'être mariée, elle serait exposée à des peines et des dangers de plus d'un genre.... C'est alors qu'elle auroit besoin de protecteurs contre les ennemis envieux de sa fortune, et d'amis sûrs pour diriger son inexpérience.

J'en étois là, et voici la poste qui m'apporte quatre lignes de m-r de Markoff, qui me mande que pour la 3-ème fois la fièvre l'a repris, et qui ajoute: „La princesse Tourkestanoff d'abord après son arrivée «m'a écrit un fort aimable billet; je lui ai répondu, mais je n'ai pas „pu la voir à cause de ma fièvre“. Voilà une sottise maladie qui s'obstine on ne peut plus mal à propos. Il ajoute un peu plus bas: „On «espère à présent de plus belle, que les Autrichiens seront plutôt avec «nous que contre nous». Cette espérance-là n'est pas un traité signé cependant, et j'aime mieux la version de madame de Litta, pourvu toutefois qu'elle soit véritable.

### III.

St.-Pétersbourg, 26 juillet 1813.

Je suis établie à Kamenny Ostroff à une fort jolie campagne, chez une personne qui a infiniment d'amitié pour moi et dont le genre de vie convient parfaitement à mon humeur habituelle, qui n'est pas autrement gaie depuis bien du tems, et que j'ai été dans la nécessité de travailler presque sans relâche pendant tout mon séjour à Moscou pour ne pas donner matière à penser aux personnes avec lesquelles je me trouvais, et que j'étois censée venir distraire par ma présence; mais ici, ce motif n'existant pas, je me gêne beaucoup moins. La princesse Youssouloff, à l'exception de la princesse Boris, ne voit guères de monde, et d'ailleurs étant d'une facilité extrême à vivre, elle me laisse

exactement maîtresse de mon tems et de mes actions. J'en profite pour aller souvent me promener toute seule, ou pour rester des 3 et 4 heures dans ma chambre sans y voir entrer un chat, et faire des lectures bien sèches, bien arides, parce que ce sont les seules qui me conviennent. J'ai reçu un grand nombre d'invitations; mad. Gourieff, qui est logée tout vis-à-vis de nous, m'a beaucoup engagé à passer les soirées chez elle; la princesse Dolgorouky aussi. J'ai eu bien soin de leur parler de ma maussaderie, pour qu'elles me laissent de côté; cependant j'irai chez la première, pour les beaux yeux (l'ont-ils jamais été) de m-r de Markoff. Je vous ai déjà dit que je lui avois fait une coquetterie en lui écrivant pour avoir des nouvelles de sa santé; il n'est pas resté en arrière, et m'a répondu par un très-joli billet; il se plaint d'être toujours souffrant, mais j'entends dire qu'il fait des folies de jeune homme; il sort quand il devrait se tenir tranquille et puis mange des fraises et du fruit qu'on lui défend: voilà du moins ce que m'en a conté mad. Gourieff. A propos, aller chez lui me devient absolument impossible, car la princesse Boris n'y va pas du tout; tout se bornera donc à une rencontre.

Si vous voulez des nouvelles, je vous renverrai au *Fils de la Patrie*, à *l'Invalide*, à la gazette de Kosadavleff; passé cela, il n'y en a pas plus que sur la main. Il est arrivé un courrier du 12, qui ne dit rien; on fait mine de traiter de la paix, l'armistice va jusqu'au 10 août nouveau style.

#### IV.

Moscou, le 4 août 1818.

Je suis bien aise que vous alliez chez mad. Gourieff, car je désire fort que son fils épouse la jeune Markoff, et sûrement vous n'y serez pas contraire. Je vous avoue que j'ai été souvent bien peiné, en entendant la comtesse Tolstoy exprimer devant ce jeune homme toute l'horreur qu'une alliance de ce genre lui inspire. Elle ne faisait nulle application à la vérité, mais ses généralités étaient bien propres à repousser les premières vellétés, car elle alloit jusqu'à dire qu'elle aimeroit mieux voir mourir son fils que de le voir faire un semblable mariage. Il y a de l'exagération de mère à ce propos, tout au moins inutile à exprimer. Au reste, le c-te Markoff n'a pas la plus légère idée de cette opinion; je la lui ai soigneusement cachée, parce qu'il fait d'ailleurs de la comtesse Tolstoy tout le cas que ses grandes qualités

méritent, et qu'il désire par dessus tout d'en faire une protectrice à son enfant. Je l'aurois donc trop affligé, et affligé en pure perte, en lui faisant connoître ce petit écart de l'orgueil des Galitzine. J'appelle cela un écart, parce qu'après tout l'irrégularité de naissance a été corrigée autant que les loix peuvent le faire, et que cette jeune personne peut avoir des qualités essentielles qui effacent tout souvenir, et qui, jointes à sa fortune, soient capables de faire le bonheur d'un honnête homme comme l'est le jeune Gourieff. Ne pensez-vous pas comme moi? Faut-il qu'une irrégularité que les loix et l'éducation ont couvertes de leur voile, bannisse de la société une jeune personne bonne et intéressante sous tous les rapports? N'avons-nous pas vu un prince G-ne épouser une *Babet* sans nom, fille du comte Serge Roumanzoff et nullement légitimée? Votre bon esprit, votre jugement sain et solide saisira l'occasion de dire ce qu'il faut pour concilier les esprits et pour servir d'antidote à ce que la jalousie de beaucoup de mères ne manque pas de semer pour écarter une rivale de leurs filles (tout ceci entre nous). Si vous connoissiez comme moi tout ce que m-r de Markoff a de tendresse paternelle dans le coeur, vous partageriez le désir extrême que j'ai de seconder un sentiment si naturel et si bien placé.

Voici une lettre du 28 juillet, du c-te Markoff, qui me paroît croire que tout est décidé à la guerre. Dieu le veuille! Napoléon, dit-on, casse les porcelaines de m-r de Marcolini quand il reçoit des nouvelles d'Espagne. Quelqu'un qui a lu le Courrier de Londres (que depuis vous je ne vois plus) assure que Joseph a dû, pour sauver sa vie, abandonner sa voiture chargée de ses trésors et de ses portefeuilles et monter le cheval d'un de ses gardes pour échapper au galop! Avez-vous lu cela? Reçoit-on à Pétersbourg ce Courrier de Londres? Ne pourriez-vous pas le voler pour moi? Je ne suis point scrupuleux pour les gazettes: elles sont par leur nature *une propriété publique*. Elles sont à mon esprit ce que les pâturages communs sont à nos bêtes de somme, et quand on me les retranche, je me trouve comme ces chevaux auxquels on lie inhumainement les pieds de devant et qu'on laisse errer sur un grand chemin aride, où il maudit les entraves qui l'empêchent de sauter le fossé pour paître en plein champ.



## V.

St.-Pétersbourg, le 31 juillet 1813.

Je regrette Moscou, et très vivement. Je crois que je me suis trop pressée de la quitter, j'en ai rapporté une certaine disposition d'esprit et de coeur qui ne me rend pas très-propre à être dans la société avec un certain agrément; aussi depuis que je suis à Kamennoy Ostroff, c'est à dire dans le grand monde, je ne me suis laissée aller qu'une seule fois à passer la soirée cher mad. Gourieff; j'y ai retrouvé les mêmes personnes, les mêmes propos, le tout passablement ennuyeux. J'aurois désiré qu'on y fit moins les aimables et qu'on y fût moins gai. Si cela vous paraît bizarre, passez-le-moi, mais je vous dis que mon intérieur ne répond pas du tout à ce que j'ai retrouvé dans la société. Celle de la princesse Voldemar, qui est logée chez sa fille Strogonoff, me convient davantage, vu qu'on y est plus à l'unisson de mon humeur.

La grande affaire qui occupe et attire l'attention générale en ce moment, c'est la nouvelle de l'arrivée de Moreau au quartier-général, chose qui ne fait ni chaud ni froid; car je ne l'envisage pas comme importante: il me paraît que c'est une petite intrigaillerie du prince royal de Suède, ou, comme le prétend mad. de Noiseville, que madame Moreau se sera ennuyée en Amérique. Il me sembleroit extraordinaire qu'il pût avoir quelque commandement, et il suffit bien que Bernadotte ait des Russes sous ses ordres sans qu'un autre vienne encore s'en mêler. Les émigrés qui vont d'espérance en espérance depuis 23 ans, me soutenoient hier que cette apparition de Moreau feroit un très-grand effet sur l'armée françoise, qu'on déserteroit etc. etc. Je pris la liberté de leur observer qu'à peine restoit-il des soldats dans cette armée qui connussent le nom de Moreau, et que la fusillade étant toujours à l'ordre du jour chez Buonaparte, c'étoit un grand remède à la désertion. Au reste s'amuser à disputer avec ces messieurs, c'est tirer sa poudre aux moineaux. On dit les hostilités recommencées et l'Autriche entièrement pour nous; mais rien n'est encore officiel. Cependant d'ici à 8 jours nous verrons beaucoup plus clair, et en mon particulier je frémis des chances que nous avons encore à courir. Napoléon a 350 mille hommes contre nous, et en auroit eu davantage, s'il n'eût fait repasser le Rhin à un corps d'armée pour occuper les provinces méridionales de France que les Anglo-Espagnols menacent très sérieusement. Plaise au Ciel qu'ils y entrent: cela pourra servir

d'heureux commencement pour nous autres. Enfin on ne peut pas se dissimuler que c'est une lutte à mort que nous avons en perspective.

Je n'ai aperçu m-r de Markoff qu'en voiture: il y a quelques jours que nous nous sommes rencontrés, reconnus et croisés. J'ai été deux jours de suite en ville à son intention; il avait promis à la princesse Boris d'y venir passer la soirée et n'en a rien fait. Un quatorze de dames m'arrache son coeur, et je suis bien certaine que j'ai plus à craindre de ces rivales-là, que je n'aurois eu peut-être un jour des attraits de madame Hus: tant il y a qu'il joue du matin au soir chez Popoff et chez une madame Karadyguine, bonne amie de celui-ci. Sa fièvre l'a quitté, je le tiens de mad. Gourieff, et comme vous aimez m-lle de Markoff, je vous dirai qu'elle a beaucoup plu à cette dame. Elle la trouve jolie, bonne enfant; mais la manière dont elle s'est expliquée sur le compte de la mère, me ferait croire qu'on y penserait à deux fois avant de contracter une alliance. Si cette femme avait à coeur le bonheur de sa fille, comme elle s'empreseroit de la quitter! Ce sacrifice seroit une oeuvre bien méritoire devant Dieu et devant les hommes; mais elle me semble incapable d'un pareil procédé, et voilà comment elle empoisonne l'existence de cet enfant. A quoi pense l'abbé Maquart? C'eut été de son devoir de la travailler là-dessus.

## VI.

Moscou, le 11 aoust 1813.

Je ne crois pas l'arrivée de Moreau tout-à-fait insignifiante pour la bonne cause; l'armée française, qui ne le connaît plus, l'aime encore par tradition comme un chef qui ménageait et aimait le soldat; les officiers et les généraux le connaissent, et son exemple peut avoir de l'influence sur eux. Souvent les hommes ne sont retenus que par l'opinion; celle qui rend infâme tout transfuge est bien propre à arrêter les plus mécontents; mais quand on se joindra à Moreau, à celui des chefs que l'armée a le plus chéri, ou se croira suffisamment autorisé à une démarche qui, sans cet exemple, eût paru impossible. J'ajoute à cela que les conseils d'un homme aussi habile dans son métier ne peuvent qu'être utiles, si l'amour-propre national ne les étouffe pas ou ne les fait pas échouer.

Au nom de Dieu, donnez-moi des nouvelles de l'Autriche. Puis-je faire alliance dans mon coeur avec François II, où faut-il que je le déteste? Quel beau rôle il peut jouer! Le laissera-t-il échapper!....

## VII.

St.-Pétersbourg, le 8 aoust 1813.

J'ai enfin vu m-r de Markoff. Nous avons passé une soirée chez mad. Gourieff, et il s'est montré parfaitement aimable pour moi. Il me semble même qu'en sa faveur j'ai été très fêtée dans la maison. Vous savez qu'il y a des personnes qui se règlent sur l'opinion des autres; or, ici c'est un peu le cas. Au reste, cela m'est bien égal: si l'on me reçoit toujours aussi bien, je retournerai plus souvent dans la maison et je me donnerai le plaisir de causer de tems en tems avec votre vieux, qui malgré ses 67 ans fait des frais quand la fantaisie lui en prend. Je suis réellement fâché qu'il ne soit pas employé, car cette tête là en vaut bien une autre au moins. Je serois curieuse de savoir ce qu'il vous dit de Moreau et ce qu'il pense de cette arrivée; pour moi, le sang me bout quand je vois se réjouir de ce qu'un étranger dont la carrière sembloit être finie, puisse être regardé par des Russes comme un libérateur pour la Russie. Il faut que j'aye prodigieusement d'orgueil, car à la lettre cela m'a fait mal. Au reste, je suis encore fort portée à croire que cette arrivée ne fera ni chaud ni froid. Hem! Qu'en dites-vous? On nous assure que Balachoff est parti pour Constantinople où il y a quelque peu de rumeur; ce sera un plat de la façon de Bonaparte, qui pendant les deux mois d'armistice se sera amusé à travailler ses gens-là contre nous et peut-être contre l'Autriche, qui est bien décidément pour nous. Si ces Turcs ne voulaient pas se tenir tranquilles, cela ne laisserait pas que de donner du fil à retordre. Depuis le courrier du 22 rien n'est venu à notre connaissance; mais le moment est intéressant, il faut en convenir. Dans tout cela je ne sais plus ce que deviennent mes princesses avec leur comtesse. Où vont-elles? Que font-elles? Ostermann a-t-il de nouveau un commandement, je n'en sais pas une syllabe; mais je lis dans la gazette qu'on lui nomme des aides-de-camp. Donnez-moi quelque nouvelle de Tolstoy; n'avez-vous pas eu des lettres de Gillet? Sauriez-vous me dire aussi pour quoi et par qui le fils de mad. de Staël a été expédié dans l'autre monde?

## VIII.

Moscou, le 18 aoust 1813.

Je vous parlerais bien de Moreau si je ne croyais l'avoir fait déjà dans ma dernière épître. Il me semble que vous prenez son arrivée comme trop particulière à la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est en danger, c'est l'Europe entière; ce n'est pas la Russie que Moreau servira, c'est la cause européenne, où tout Européen a le droit de concourir de tous ses moyens. C'est ainsi que j'envisage la chose en grand; et si Moreau s'adresse à l'empereur Alexandre pour offrir ses services, c'est qu'il est à la tête de la coalition générale, ou prête à devenir générale. Ensuite, vous croyez facilement que la France et les armées françaises renferment des milliers de mécontents, qui ne sont retenus que par la force de l'opinion qui déclare infâme tout transfuge, opinion que l'exemple de Moreau est bien propre à détruire ou à affaiblir. Tel général ou tel officier qui aura rongé son frein pendant dix ans par cette espèce de respect humain qui le retient sous les drapeaux du tyran de sa patrie, se croira suffisamment autorisé en marchant sur les traces de l'homme que la France et l'armée ont le plus aimé et respecté. De plus, à supposer que l'on arrive au Rhin, comme la déclaration tardive de l'Autriche pourrait le faire espérer, quel ascendant n'aura pas Moreau sur les frontières de France? Croyez-vous que le peuple ne le verrait pas entrer avec plus de confiance qu'un étranger quelconque? Croyez-vous impossible que les François, fatigués de l'oppression d'un conquérant qui leur ôte tout repos, ne se rallient à Moreau et ne lui disent: *gouvernez nous!* L'autorité de Bonaparte ne tient peut-être dans ce moment qu'à l'embarras où l'on seroit de le remplacer! Non, chère princesse, je ne pense pas que l'acquisition de cet homme soit insignifiante; il est vrai que les choses peuvent tourner de manière à ce quelle ne produise rien; mais elles pourraient aussi prendre telle direction d'après laquelle sa présence et son appui seraient de la plus grande importance.

Je n'ai aucune nouvelle de Gillet ni de Narychkine. Madame Tolstoy me mande que son mari doit avoir passé la frontière et rejoint Beningsen. On assure que la déclaration de l'Autriche a renouvelé les hostilités.

## IX.

St.-Pétersbourg, le 16 août 1813.

Le jeune Woronzow, dernier arrivé de l'armée, sort d'ici. Ce qu'il conte sur nos armées est merveilleux! La bonne tenue à part, l'esprit est véritablement parfait. Chaque Prussien, dit-il, est un héros. Le roi y va de coeur et d'âme; absolument il est certain que pour lui et son pays il n'est plus de rémission; c'est le va-tout: il est souverain ou il ne l'est plus. Les Autrichiens font aussi très-bonne contenance, et leur armée est superbe. Le nombre des forces alliées se monte à 500 mille hommes, sans compter nos réserves et les leurs. *Le Scélérat* est en force aussi, mais si on peut se référer aux calculs humains, il semble que les chances sont pour nous, car l'histoire de l'Espagne apporte une bien grande diversion. Il est à croire qu'il y a de la rumeur en France, puisque Marie Louise ne retourne plus à Paris, mais s'en va à Bruxelles, et dans tous ces voyages pas plus question du roi de Rome, que s'il n'était pas au monde. Où est-il? En savez-vous quelque chose?

Chaque moment va devenir intéressant; le premier courrier ne nous apprendra encore que l'entrevue des souverains alliés, mais le second nous apportera certainement la nouvelle d'une affaire. Qu'il est à souhaiter que le commencement surtout nous soit favorable! Le c-te Woronzow m'a conté la bataille de Lutzen; elle a été telle que nous l'avions jugée à nous deux à Moscou, et les cloches ont sonné à peu près pour une perte. M-r de Wittgenstein fit une faute en découvrant le flanc droit; mais la présence continuelle de l'Empereur, qui affrontait absolument bombes et boulets, lui avait brouillé l'esprit. Je désire de toute mon âme que pareille chose ne se revoie plus et que l'Empereur se dispense de faire preuve d'un courage dont on a déjà été témoin. En pareil cas cela devient un peu affaire de vanité, et pour le bien général je crois qu'on peut en faire le sacrifice. Ne le jugez-vous pas ainsi?

Entre toutes les choses que Worontzow a contées, je ne puis vous dissimuler avoir eu du dépit de la joye universelle que cause l'arrivée de Moreau; on aura beau me dorer cette pilule: j'en sentirai toujours le mauvais goût. Je ne comprends pas comment on s'arrange pour passer si vite d'une jactance sans exemple à une humilité si ridicule! Être réduit à considérer Moreau comme le sauveur de trois monarchies me semble si singulier que jamais je ne le concevrai.

## X.

St.-Pétersbourg, le 28 aoust 1813.

Écoutez bien, monsieur! Le dernier courrier en date du 13, arrivé aujourd'hui du quartier-général de Nedlitz, à 3 verstes de Dresde, apporte la nouvelle que m-r de Wittgenstein a chassé les François de leur camp fortifié de Pirna, leur ayant fait beaucoup de prisonniers et pris 3 canons. Koudachew, le gendre du feu maréchal Koutouzow, s'est fort distingué et a enlevé une aigle. On a pris des drapeaux dont un, polonais, a été apporté par ce même courrier. Bernadotte a envoyé le vicomte de Noailles au quartier-général de l'Empereur, avec la relation et les détails de ces victoires remportées les 21, 22 et 23. Les François sont en pleine retraite sur tous les points et paraissent se replier de l'autre côté de l'Elbe. Nos cosaques et notre cavalerie légère sont en poursuite en différents partis, et on en attend de grands résultats en prisonniers, artillerie, bagages etc. etc. Beningsen est arrivé avec son armée sur Krossen et marche aussi en avant. Des corps de la grande armée russe-austro-prussienne ont occupé fort heureusement et sans opposition les fortes positions et les défilés de Khemnitz en Saxe, et nos avant-gardes se trouvent déjà à Leipzig. On dit même que le général autrichien comte Neiperg y est entré. Des lettres particulières de Riga annoncent que les alliés ont derechef occupé Hambourg. Le comte de Walmoden, qui avait été obligé de se replier dans le pays de Meklembourg, ayant été renforcé de tous côtés, a repris l'offensive et se porte en avant. Bonaparte va remplacer la recette étrangère qu'il n'a plus, par des confiscations et par l'introduction d'un papier-monnaie. Voilà ce qui doit influer en bien sur nos finances.

## XI.

Moscou, le 28 août 1813.

Faites-moi la grâce de me dire tout ce que vous savez d'un m-r le Sacken qui fait accoucher sa femme à coups de pistolet; cette histoire court ici de cent façons, et mad. Tolstoï, parente de la pauvre victime, n'en demande les détails, que j'ignore. Il n'est pas possible que cette brutalité conjugale n'ait fait quelque bruit à Pétersbourg. Quelles en ont été les suites pour le bourreau et pour sa victime?

Je crains le silence en tems de guerre, j'aime qu'on dise où on en est. On assure que le Moniteur n'a pas soufflé le mot de l'affaire de la Vittoria; ce silence en double la valeur, car personne n'ignorera le fond de la chose, et chacun en exagèrera les conséquences au gré de sa peur ou de sa haine pour le tyran. Je n'ai pas l'âme vindicative, mais je ne peux m'empêcher d'être bien aise que quelque province française connoisse par expérience les angoisses où nous étions il y a une année; cela leur fera voir l'agrément d'être sous la férule de leur doux maître.

Marie Louise, régente de l'Empire, quittant Paris pour Bruxelles, et sa majesté le roi de Rome restant on ne sait où caché, sous ses langes, me font un bien que je sais mieux sentir qu'exprimer. Les Brabançons ont toujours aimé les princesses d'Autriche, et c'est probablement pourquoi on leur confie celle-ci.

Ne voilà t-il pas Jomini, le fameux tacticien Jomini qui suit l'exemple de Moreau! Je vous dis que ce Moreau donne un démenti à l'opinion que Bonaparte cherche à renforcer sur les transfuges. Aucun Français ne se croira infâme en faisant ce que Moreau a cru pouvoir et devoir faire. Il est vrai que Jomini est Suisse, mais il n'en vaut que mieux (à mon avis). Serait-il vrai que Lubeck est repris et que les Danois nous donnent leurs 25 mille soldats? Il viennent un peu tard, mais c'est le cas de dire: *mieux vaut tard que jamais.*

## XII.

St.-Pétersbourg, le 8 septembre 1813.

La mort de Moreau est annoncée, les regrets qu'on lui donne sont généraux; on se récrie sur la singularité de sa destinée, qui le fait rester tant d'années en Amérique tranquille au sein de sa famille, et qui ensuite l'en fait sortir pour venir chercher ce terrible boulet presque au moment qu'il débarque et trouver un tombeau à Pétersbourg où on va l'amener pour l'enterrer. Pour moi, dans tout cela je ne fais qu'une réflexion. Jusques à quand l'esprit humain sera-t-il présomptueux! Jusques à quand s'amusera-t-il à former des plans, à s'arranger un avenir, à bâtir sur le sable! Enfin jusques à quand vivra-t-il toujours de lui et point de Dieu? Cet évènement ne vient-il pas le confondre? Il me semble que la Providence est visiblement déterminée à nous humilier... Ah, vous avez cru que c'est le prince Koutouzow qui vous sauverait; eh bien, c'est que vous ne l'aurez pas. Ah, vous croyez dans votre fol orgueil que c'est Moreau; eh bien, point du tout: Je vais l'enlever, pour vous prouver que tout votre esprit, toute votre prévoyance n'est que misère.

En attendant, Blucher fait très-bien de son côté; on assure que l'armée qu'il avait contre lui, forte de 80 mille hommes, est réduite à 35 mille. On lui a envoyé le St.-André. L'empereur d'Autriche a prié le nôtre d'accepter l'ordre de Marie-Thérèse première classe. Il a également donné la seconde classe du même ordre à m-r de Witgenstein, au comte Ostermann, à Knorring et à un autre dont j'ai oublié le nom. Tous ces cordons donnés de part et d'autre et, plus que cela, les lettres qu'on reçoit de ce pays-là confirment que l'harmonie la plus parfaite règne dans les armées combinées. Le comte Ostermann se porte bien, il a soutenu l'opération qu'on lui a faite avec le plus grand courage, et Willié assure que dans quelques semaines il sera en état de reprendre le service, et c'est à quoi je l'attends le jour qu'on y pensera le moins. C'est lui qui commandait les gardes à cette affaire du 17. Ces 4 régiments, pendant plus de 12 heures, ont soutenu à eux seuls un combat contre 42 mille hommes et véritablement se sont couverts de gloire. Ostermann animait tout par son exemple. Se portant dans les endroits qui lui paraissaient les plus dangereux, il y commandait dans le plus grand ordre, et tous les officiers ont fait merveille. Lorsque le boulet lui a emporté le bras, le baron Rosen, chef du régiment de Préobrajensky, a commandé à sa place. J'ai eu ce matin



la liste des tués et blessés; il y en a passablement, mais la majeure partie blessés. Ефимовичъ, le beau frère de Rounitch, l'est très-grièvement; on doute qu'il puisse vivre. André Galitzine l'est aussi, mais fort légèrement. Tous ceux qui ont pu être transportés l'ont été à Prague. Je rends grâces au Ciel de ce que plusieurs jeunes gens auxquels je m'intéresse ont échappé. Chaque courrier qui arrive donne des trances mortelles: on veut avoir des nouvelles et on frémit d'en demander. Ce matin quelqu'un venant de la ville prétend qu'on parle d'une autre affaire encore qu'a eue m-r de Wittgenstein.

Permettez-moi, monsieur, de vous renvoyer à ma tante pour l'histoire de Sacken. Je la lui ai contée de point en point; sauvez-moi la répétition et sachez que la jeune dame se porte à merveille à l'heure où je vous parle. Ce mari-là est un fou tout uniment, et on croit que la tête lui a tourné depuis longtems.

### XIII.

Moscou, le 8 VII-bre 1818.

C'est un pauvre boiteux qui vous écrit, chère princesse, et pour dire la vérité c'est un pauvre goutteux qui depuis avant-hier ne boit ni ne mange. Vous direz qu'on n'a pas la goutte dans la fleur de l'âge; mais c'est que ma fleur à moi aura jeudi prochain. 11 du mois, précisément 50 ans. Si je pouvais me cacher cette vérité-là, je vous en ferais un grand secret; mais puisqu'il faut que je le sache et que j'en digère l'amertume, je veux vous ouvrir mon coeur sur cela comme sur tout le reste. J'ai donc mon petit demi-siècle avec tous ses agréments: tête chauve, front chargé de rides, pied enflé et douloureux.... je vous fais grâce des etc. etc. que je pourrais mettre en ligne de compte. Toutes ces infirmités-là peuvent bien changer l'extérieur, mais je m'aperçois avec reconnaissance qu'elles n'attaquent que l'écorce et qu'elles me laissent un coeur tendre et aimant, qui défie les plus jeunes; or, cette faculté d'aimer, de s'attacher, étant la source et le fond du bonheur, je me console des accessoires que l'âge peut m'enlever.

Je savais très-bien que vous étiez en coquetterie avec le c-te de Marcow, il me l'a mandé fort plaisamment; il me disait que vous l'attaquiez ouvertement, mais que par malheur pour lui *il se sent en fonds pour vous résister*. Je lui ai répondu par la dernière poste: „Je suis charmé que vous voyez la princesse Turkestanow et je voudrais que

vous la vissiez souvent: *elle est de vos amies*; elle a l'esprit solide et un caractère sûr; je voudrais que vous essayassiez de son bon jugement en passant quelque fois du badinage au sérieux; elle pourrait vous éclaircir bien des choses obscures pour vous, car on lui a parlé assez ouvertement sur ce qui fait l'objet de toutes vos affections<sup>4</sup>. Si ce ne sont pas les mots précis de ma phrase, c'en est absolument le sens; mais ma lettre partie, j'ai pensé qu'il vous fera probablement des questions auxquelles vous ne comprendrez pas grand'chose, si je ne vous préviens (entre nous) qu'il a eu lieu de croire que les Gouriew désiraient l'alliance et qu'à ce moment il croit voir qu'on n'y mord plus. Il m'en a écrit assez naturellement, et je n'ai pu lui répondre que vaguement par la poste. Si donc il cherche à être éclairci par vous, chère princesse, parlez-lui franchement de l'obstacle qui se présente, en ménageant cependant son amitié pour m-me Hus et le caractère de cette femme, qui par ses bonnes qualités mériterait, je vous assure, une place fort au-dessus de sa sphère. Si vous voyez que son coeur s'ouvre un peu, dites-lui que je vous ai écrit à ce sujet, et pour peu qu'il désire savoir ce que je vous en ai dit, lisez-lui ma lettre du 11 août sur ce qui a rapport à sa fille: c'est le moyen de lui inspirer toute confiance, car sa carrière diplomatique l'a rendu très-défiant, et j'ai toujours déjoué cette défiance par la plus extrême franchise. Il sera flatté qu'on s'occupe de lui dans un sens aussi noble et aussi désintéressé, et vous vous ferez de lui un ami solide auquel je suis sûr que vous serez extrêmement utile. Son coeur est une place qu'il faut forcer, car il n'a pas le bonheur de croire à la générosité; il imagine difficilement qu'on puisse aimer quelque chose sans intérêt, et il faut quelquefois le servir malgré lui. Mais quand on est parvenu à l'intéresser, on lui trouve l'esprit fort aimable et le coeur très-reconnaissant. C'est donc une action bonne et honnête que je vous propose: saisissez l'occasion de la faire, si, comme je le crois, elle se présente tout naturellement. Quand vous connaîtrez bien celui à qui vous aurez rendu service, vous verrez qu'il en est digne, en dépit d'un certain orgueil qui le fait d'abord résister à cet entraînement du coeur que le coeur seul apprécie.

Les bonnes nouvelles de la guerre me font un bien que je ne puis exprimer... Le sang humain cessera donc de couler, nous reverrons des jours heureux et tranquilles. Ce qu'on m'a dit du manifeste de l'Autriche me donne la plus grande envie de le lire: il est dans le meilleur esprit.

Je reviens au comte Marcow. Je pense que tout ce que je viens d'écrire à son sujet pourrait fort bien ne vous point convenir, et j'espère, dans ce cas, que vous ne vous gênez pas. J'ai dû vous expliquer

la raison pour laquelle il vous fera peut-être quelques questions; s'il ne vous convient pas d'y répondre, vous saurez bien détourner le sujet par quelque défaite qui ne le désobligera pas. Au reste, n'ayez jamais l'air d'être au fait sur son espoir trompé; si vous le voyez venir, ce sera de lui que vous aurez l'air d'apprendre ce sur quoi il désire un éclaircissement. Pas un mot de tout ceci chez la princesse Boris. Mon Dieu, avec quelle confiance je vous parle! Pourquoi ne vous connais-je pas depuis 4 ou 5 ans? je ne pourrais pas vous en aimer davantage, mais je serais plus autorisé à avoir le coeur sur la main. Non pas qu'après quelques mois de connaissance seulement je dois vous paraître d'une bonhomie, d'une naïveté prodigieusement helvétiques.... On a beau faire, on ne perd jamais entièrement le goût du terroir.

#### XIV.

Moscou, le 18 VII-bre 1813.

Vos réflexions sur la mort de Moreau sont très-judicieuses et très-chrétiennes; mais tant qu'il plaira à la Providence de cacher aux hommes le secret de Ses voies, il faudra bien que les hommes mettent en usage les moyens humains. Nous devons donc espérer en Koutouzow, en Moreau, comme nous espérons encore après leur mort dans la réunion des pouvoirs, qui peut-être se diviseront avant d'avoir atteint le but qui les rassemble. Moïse tendit ses bras élevés vers le Ciel pendant une journée entière pour implorer Son secours; mais pendant toute cette journée le peuple d'Israël se battait avec le plus grand courage, et ce courage, croyez-moi, ne nuisait pas aux prières du chef.

J'ai eu grand soin de faire part à la comtesse Tolstoï des bonnes nouvelles de m-r Ostermann. Cet homme est étonnant: il ressemble à un spectre ambulante; il a l'air de n'avoir qu'un souffle de vie, et ce souffle en fait un lion sur le champ de bataille: on a beau le couper, le tailler, il n'en est que mieux portant et plus disposé à recommencer. Voilà un genre d'hommes bien précieux dans les circonstances actuelles.

Un courrier parti le 5 VII-bre de l'armée m'a dit ce matin que Napoléon est à Paris, que notre Empereur est à Dresde, que les Français ont été battus à 30 milles de Vienne, qu'ils se retirent sur tous les points et que nous avançons. Je serais au comble de la joye, si je pouvais croire à tout cela; mais comme le courrier a vu le c-te Ros-

toptchine et que ce gouverneur n'annonce aucune de ces nouvelles, je les tiens à peu près pour apochryphes. J'attends la poste avec impatience. Que peut faire Napoléon à Paris? Lui donnera-t-on les derniers restes de la France? En tout cas ce ne sera encore qu'une jeunesse indisciplinée, une armée sans cavalerie et contre laquelle nous continuerons à avoir beau jeu, ce me semble.

Le prince Youssoupow m'a fait lire la lettre du jeune Potemkine à sa mère; cette lettre m'a fait grand plaisir par la simplicité et la modestie de ce récit de bataille, où il a figuré pendant 12 heures: tant de jeunes gens se seraient vantés, cités, mis en avant... mais on dirait que celui-ci a regardé le tout comme d'une loge; cela est beau et rare! J'ai trouvé ce récit si bien fait dans sa simplicité que je l'ai copié pour l'envoyer à m-me Tolstoï; j'aime mieux ce genre de relation que celles qu'on fait dans les bulletins.

J'ai une lettre de Gillet; il est avec le c-te Tolstoï sur les frontières de Silésie dans un lieu nommé Sokolniki; je ne sais ce que c'est. On assure ici que le général Beningsen est mort. Tous ces généraux ne tiennent à rien; ce que j'en ai vu mourir en Russie depuis 15 ans est incroyable; je les commence à Roumanzow et Souvorow; il est vrai qu'il n'en meurt pas souvent de cet acabit-là. Vivez longtemps, quoique vous ne soyez pas générale! Vivez mille ans, comme disent les Espagnols!

## XV.

Pétersbourg, le 18 VII-bre 1813.

Vous êtes goutteux, vous êtes souffrant, tout cela est fort désagréable; cependant permettez, monsieur, qu'avant de vous plaindre, je vous gronde et de la bonne façon. Vous n'avez pas 50 ans, cela n'est pas vrai, vous en avez 15: car vous venez de vous conduire comme on le ferait à cet âge, où on est quelquefois pressé de parler. Quel besoin, s'il vous plaît, de faire savoir à m-r de Marcow tout ce que je vous ai écrit de ma conversation avec m-me Gouriew? Pourquoi conter des choses que je crois n'écrire qu'à vous seul? Connaissant l'intérêt que vous prenez à la jeune personne, vous ayant entendu parler du projet qu'on avait de la marier dans la famille Gouriew, je vous ai dit tout simplement qu'il me semblait que la chose ne serait pas si facile, puisque m-me Gouriew était à peu près de l'avis de m-me

Tolstoï sur l'article de cette mère si gênante. En me tenant ce propos m-me Gouriew ne me faisait pas une confidence, il est vrai; je n'étais pas tenue à le taire, mais qui sait pourtant si elle ne serait pas fâchée que je vous en eusse parlé? En transmettant ce propos à m-r de Marcow, vous l'autorisez ou pour mieux dire vous l'engagez à me faire des questions, et pourquoi faire? Pour me mettre dans le cas de compromettre m-me Gouriew; car c'est cela. Vous aurez beau tourner la chose, j'aurais toujours l'air de faire un commérage, un tripot, et je n'en suis nullement curieuse. Je suis tentée de croire que vous me supposez véritablement une adoration pour votre vieux, mais point du tout: je l'aime comme on aime toutes les personnes agréables dans la société, et jamais il ne me tombera sous le sens de m'en faire *un ami*. Je suis toujours enchantée de rendre service, mais encore cela ne vait-il pas jusqu'au point de me mêler de choses qui ne me regardent en aucune manière et dont je suis sûre de me tirer très-gauchement. Quelle nécessité avez-vous de me jeter à travers un mariage qui peut se faire sans moi ou qui ne se fera pas, sans qu'également j'y sois pour quelque chose? Convenez que tout ce que vous avez imaginé est fort déplacé, que vous avez eu tort d'écrire à m-r de Marcow et que j'ai raison de vous gronder.

Je ne suis plus à la campagne: avant-hier nous quittâmes Kammenoi Ostrow; mon appartement au château, n'étant pas encore entièrement réparé, m'a fait venir chez la princesse Boris qui, toute bonne et aimable, m'a donné des chambres charmantes au rez-de-chaussée; j'y suis établie très-commodément et très-chaudement; mais je n'y pourrai pas rester longtemps, car l'Impératrice Élisabeth est rentrée aujourd'hui en ville, et pour cette raison il faut que chacun se rende à son poste. Vers le 4 ou le 5 VIII-bre je monterai dans ma mansarde. Je ne puis vous rendre toutes les choses obligeantes que m'a dites la princesse Youssouloff au moment de nous séparer: j'en ai eu le coeur tout gros. Elle a été parfaite pour moi tout le tems que je suis restée à la campagne, et si vous la connaissiez, vous sauriez combien on doit lui tenir compte de ce qui s'appelle une attention, car elle est d'une froideur glacée. Nous avons été deux ans à nous voir sans nous dire une parole, j'allais même jusqu'à l'éviter: tant elle me paraissait peu agréable. Le mariage de sa fille avec mon cousin Ri-beaupierre nous a rapprochés, et depuis ce moment nous avons fait connaissance. Au reste je ne sais à quel charme cela tient, mais j'ai observé que depuis mon retour de Moscou plusieurs personnes ont redoublé de bonté pour moi. Je trouve à tout ce que je vois une aménité étonnante.

Il est doux d'être un peu aimée, mais combien cela nuit au salut! On doit être continuellement en garde pour ne pas se laisser trop aller à cette douceur. Pour peu qu'on s'y livre, on risque bien de n'aimer qu'en chair et en os, et point en esprit. Moi surtout! Ah, comme je me sens aimer la chair! Et comme je voudrais ne pas l'aimer! Croyez-vous que j'y parviens un jour? Au reste, ayant la parfaite certitude que je ne me damne pas en vous aimant, je vous prie de croire que je le fais malgré votre étourderie de 15 ans. Bonjour et sans rancune.

J'ai envoyé à m-me Tolstoï une lettre de mes soeurs, dont j'ai eu des nouvelles tout récemment; elles sont à Prague. M-me Ostermann ignore qu'il manque un bras à son mari; elle est tout heureuse de le savoir en vie depuis cette terrible affaire. Le c-te lui a écrit un mot le lendemain de son opération, mais en même tems il a envoyé son aide-de-camp à mes soeurs pour leur dire la vérité, en les exhortant de la sacher à la comtesse jusqu'au tems où lui-même viendra les joindre.

## XVI.

St.-Pétersbourg, le 28 VII-bre 1813.

Tout ce que vous dites sur Vandamme est charmant. J'aime surtout: il a parlé au Vandamme, comme qui diroit au Hottentot, au Nègre etc. J'ai porté tout cela à mad. Strogonow, parce que je savois le plaisir qu'elle en aurait. Nous avons donc lu cette lettre ensemble, et puis elle a voulu que je la relise encore chez la p-sse Woldemar, qui en a été également fort charmée. Toutes ces lectures m'ont fourni l'occasion de parler de celui qui écrivait, et bien sûrement vous avez été en bonnes mains pour toute cette soirée. Quand j'aime quelqu'un, je voudrois tant que certaines personnes dont je fais cas l'aimassent aussi, et c'est à cette intention que je parlois beaucoup de vous à ces dames, qui assurément pour leur part ont infiniment de mérite. Je suis fâchée souvent que vous ne soyez pas à Pétersbourg, autant pour moi que pour vous-même; il me semble qu'on ne vous rend pas assez de justice à Moscou, et qu'on ne vous y prend pas à votre valeur. Ce n'est pas qu'il n'y ait de bonnes gens dans ce pays-là, ce n'est pas qu'on n'y ait pas de jugement; mais je leur refuse *une certaine finesse de goût*. Comprenez-vous? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais encore une fois ils n'ont pas le goût fin. Je suis tentée de croire que je

me suis mal expliquée sur tout ce qui regardait Moreau. Je ne prétends pas qu'on reste les bras croisés à attendre les effets de la Providence, mais je voulais vous faire entendre que l'esprit humain, beaucoup trop présomptueux, se plaît à établir certains plans comme ne pouvant manquer, parce qu'il les a prévus et arrangés. Je désirerois qu'on ne se reposât pas avec tant de certitude sur cet esprit, qu'on subordonnât le tout à la volonté et au pouvoir du Très-Haut. Si c'étoit la pensée dominante, on ne s'ennorgueilliroit d'aucun succès et on ne se décourageroit pas d'un revers. La citation que vous me faites de Moïse est très-bonne; mais, faut-il vous l'avouer, je crois que les bras élevés étoient justement ce qui rendait les Israélites courageux et victorieux.

Le corps de Moreau est arrivé, on l'a déposé à Czarskoé Célo dans une église catholique. on travaille dans celle d'ici à un catafalque dont s'occupe Guarenghi; quand cela sera fini, on l'amènera, il y aura un grand service, une grande musique. Le père Rosavin, Jésuite, se charge de l'oraison funèbre; il est érudit, il est fort éloquent, nous entendrons ce qu'il dira. Si je vais à la cérémonie, ce ne sera que pour l'oraison funèbre. Je pense que Moreau sera enterré vis-à-vis le roi de Pologne, car je ne sais pas où on le mettroit ailleurs. Le colonel Rapatel, son aide-de-camp, est arrivé avec le corps; il étoit fort attaché à sa personne, il l'avait suivi dans toutes ses campagnes, l'a accompagné en Amérique, enfin ne l'a jamais quitté; ses regrets sont très-vifs, et tout ce qu'il dit sur la perte qu'il vient de faire, est d'un homme sensible. L'Empereur l'a fait son aide-de-camp à lui.

Nos affaires vont bien, le prince-royal de Suède avance à grands pas; ce m-r Rapatel en parle avec extase. Il dit qu'il est également tranquille sur le compte de Blucher; il paraît moins compter sur Schwartzemberg. On assure bien positivement que Napoléon abandonne Dresde et se porte en arrière; on a ici des lettres très-fraîches de l'armée de Beningsen, qui pour ainsi dire donne la main à Blucher; le c-te Tolstoï doit se porter sur l'Oder. D'un autre côté nous avons la nouvelle qu'on a occupé Trieste, que la Bavière se range sous nos drapeaux et que le Wurtemberg donne le même espoir. C'est à peu près toute l'Allemagne; il semble en vérité que la chose ne peut pas manquer, humainement parlant. — Je ne suis pas encore dans mes mansardes, c'est après demain, 1-er VIII-bre, que je ferai l'escalade. Une fois que j'y serai établie, je vous promets de vous envoyer la carte de mes allées et venues. Vous dites bien que je n'irai plus promener, parce que la seule idée de faire quatre cent marches en ôte toute envie. Je me bornerai au jardin de l'Hermitage, qui est fermé de tous côtés et que j'ap-

pelle le jardin des Odalisques; aussi bien je n'ai besoin que d'exercice, et quant au monde, j'irai le trouver le soir. La p-sse Boris-a repris ses vendredis et ses lundis; le premier jour il n'est venu qu'une vingtaine de personnes, j'ai fait une partie de tric-trac avec le duc de Polignac et j'ai été me coucher à minuit. Si vous saviez combien une nombreuse société m'excède! C'est à un tel point que je ne trouve pas de terme assez fort pour vous le rendre; pas le moindre désir d'y faire quelques frais, de chercher à plaire, à parler; enfin c'est une petite croix pour moi que la nécessité d'y assister. Ah! S'il plaisait à Dieu de me tirer de tout cela!

## XVII.

Moscou, le 9 VIII-bre 1813.

Je vous trouve si bonne et si aimable que je voudrais être jugé par vous avec pleine connaissance de cause, et je suis quelquefois tenté de reprendre pour vous seule un travail qui était très-avancé et qui a péri dans le sac de Moscou, soit par le feu, soit par le pillage. C'était une relation suivie des circonstances assez singulières dans lesquelles je me suis trouvé depuis mon entrée dans le monde. Je n'ai conservé que le premier cahier, parce que c'était le seul mis au net et qu'il s'est trouvé dans mes portefeuilles; l'énorme brouillon, laissé dans une malle d'effets enterrés, a péri, comme je vous l'ai dit. Cette relation pourrait n'être pas sans intérêt, abstraction faite de ce qui me regarde, vu les évènements dont j'ai été témoin. Cependant je ne l'ai lue à qui que ce soit et je n'ai même dit à personne sans exception qu'elle existait. J'aurais envie aujourd'hui que vous la lussiez; mais *recomposer* est bien dur et bien fastidieux. Encouragez-moi si vous le jugez à propos, et j'y ferai des efforts. Au moyen de cette lecture vous me connaîtrez comme je me connais moi-même, et vous saurez sur la révolution et sur plusieurs évènements publics des anecdotes intéressantes et parfaitement inconnues.

Ce que vous me mandez des armées me comble de joye; mais je suis bien sur Schwartzemberg de l'avis de Rapatèl, c'est à dire que je crois que les Autrichiens ne permettront pas qu'on achève Napoléon, et que dès qu'ils le verront réduit au point qui convient à leur politique, ils feront avec lui une paix avantageuse pour eux, sans s'embar-



rasser des autres. Mon plus ferme espoir est dans le caractère de Bonaparte, qui ne voudra entendre à aucun accommodement dès qu'il faudra céder un pouce de ses précédentes conquêtes.

Vous voilà donc rétablie dans votre haut domicile; madame votre tante m'a dit qu'on vous y a arrangé un appartement délicieux et que vous êtes l'enfant gâté de m-r de Litta. Je le trouve fort heureux d'avoir la facilité de vous obliger.

C'est un bonheur d'être bien logé, et j'en jouis en plein; car j'ai un des jolis appartements de Moscou, bien propre, très-bien meublé et entretenu avec beaucoup de soin. Aussi je vous prie de croire que les dames viennent me voir, et qu'une légère incommodité qui me retient chez moi m'a amené mad. Labkow et quelques autres femmes à dîner avant-hier. Je crois bien, entre nous, que c'est l'ennui qui se déguise en charité; mais je suis poli et je ne fais pas semblant de le reconnoître.

Nous avons à Moscou une beauté nouvelle dont on fait quelque bruit, c'est la jeune épouse de m-r Valouyew le fils; elle est Livonienne, très-fraîche, très-haute en couleur, de beaux yeux, un doux langage et beaucoup de naïveté; mais elle s'ennuye ici, parce qu'elle n'aime pas la grande-patience, ni la *tricoterie* non plus, dit-elle. Quel seroit, je vous prie, le genre de vie que vous choisiriez si vous étiez la maîtresse de vous faire un sort à volonté, puisqu'une société de 20 personnes et un tric-trac avec le bon vieux duc de Polignac vous semblent trop tumultueux? Vous êtes si bien faite pour la société que c'est un vrai meurtre de chercher à la priver de vous. La solitude, la lecture, le recueillement, font bien selon moi le bonheur de la journée; mais le soir pendant deux ou trois heures un peu de société fait du bien en renouvelant les idées, en égayant l'esprit et en le maintenant dans une disposition nécessaire au commerce de la vie.

## XVIII.

St.-Pétersbourg, le 6 VIII-bre 1813.

Pourquoi votre esprit a-t-il voulu prescrire de certaines limites au sentiment que je vous porte? Il ne fallait pas le faire travailler à cela, et tout uniment vous bien persuader que je vous aime beaucoup et de la bonne manière. Ne jouez donc pas sur les mots, monsieur, et ne me forcez pas à vous expliquer ce qu'il vous plaira de tourner dans un sens opposé au mien; je ne saurai jamais vous bien répondre par la simple raison que je n'ai pas autant d'esprit que vous, et j'écrirois des volumes que je suis sûre qu'en deux mots vous me battriez toujours. Dans cette lettre du 29 que je viens de recevoir à l'instant, vous revenez encore sur le sujet qui vous a attiré ma gronderie. En vérité, il ne m'étoit guères possible de vous entendre autrement que je ne vous ai compris; la crainte que j'ai eu tout d'un coup d'être questionnée par m-r de Marcow et la certitude que j'avois de lui répondre gauchement, m'a peut-être donné de l'humeur plus qu'il ne convenait et, naturellement franche, j'ai eu le besoin de vous dire comment j'avois pris la chose. Si j'ai eu un peu trop d'humeur, daignez me le pardonner, et fessons de tout cela comme de *non advenu*. Vous êtes bien bon d'avoir pris l'alarme pour une petite incommodité qui n'a duré que quelques heures: je me porte à merveille et je suis installée dans mes mansardes qui, par parenthèse, sont très-jolies.

Mon appartement, composé de trois pièces, grâce à un parquet neuf, à une cheminée arrangée, à une draperie nouvellement teinte et à un meuble de casimir vert retourné, a pris un air de fraîcheur qui charme tous les yeux; ceux de mes compagnes surtout le voyent avec une véritable envie. L'extrême propreté qui y règne, un certain ordre dans tous mes effets, tous cela le présente sous un charmant aspect. Je me suis arrangée un certain petit coin dans lequel j'ai établi un Voltaire bien commode avec une petite table vis-à-vis, et une étagère à côté où sont posés mes livres; c'est quelque chose de très-confortable, comme disent les Anglois. Je passe toutes mes matinées dans ce coin et pour peu que vous voulussiez m'y chercher, vous seriez sûr de m'y trouver.

J'ai renoncé aux promenades: c'est fini, il n'est pas possible de grimper ces terribles escaliers à plusieurs reprises; il faut se borner aux galeries de l'Hermitage. De plus, voici l'emploi bien exact de toute une semaine. Je dîne le lundi chez moi avec une petite soupe, une

côtelette, des oeufs et un petit verre de vin de Porto; ensuite je m'occupe à écrire à peu près toute la journée; le soir, c'est à dire à 9 heures, je vais chez la p-sse Boris. Mardi, il n'y a rien d'arrêté pour le dîner: je puis l'aller chercher dans quelque maison où je ne vais pas souvent; le soir je rentre chez moi. Mercredi je dîne chez la c-sse Strogonow et soupe chez sa mère. Jeudi, dîner chez la p-sse Youssou-poff et la soirée chez mad. Gouriew. Vendredi dîner chez la p-sse Boris, et comme c'est encore un jour où elle reçoit du monde à souper, je l'esquive et rentre dans mon coin. Samedi je dîne chez la c-sse Litta, j'y joue au boston, et le soir je vais chez la p-sse Woldemar. Dimanche encore dîner chez la p-sse Boris et le soir chez mad. Gouriew. Vous voyez qu'il y a deux jours dans la semaine pour les personnes que j'aime à voir de préférence, c'est à dire pour ma bonne p-sse Boris, pour la c-sse Strogonow et pour la maison Gouriew; la maison, entendez-vous bien: car ce n'est pas tant pour madame elle-même que pour quelques bonnes âmes que j'y rencontre.

La matinée de Pétersbourg n'est pas celle de Moscou: on sort à 4 heures pour aller dîner, de sorte que qui se lève à 8 heures, comme je le fais, trouve suffisamment de tems pour lire, pour méditer, entendre l'office, s'instruire, satisfaire sa curiosité et broder au feston. Lorsqu'on a la bonté de me venir voir, j'en suis bien aise; si on ne vient pas, point de prétention.

Hier chez mad. Gouriew on disoit que le roi de Saxe, en quittant Dresde, avait été enveloppé par un détachement des armées combinées et conduit avec toute sa famille près de Khemnitz. Est-ce vrai? N'est ce pas vrai? C'est ce que je n'entreprendrai pas de vous assurer. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que de ce roi de Saxe on ne prendrait que la personne, car il est de fait que Bonaparte s'est emparé de son trésor; il s'est fait donner jusqu'à la dot de la princesse Augusta et s'est contenté d'inscrire le tout sur le grand livre. Dolgorouky le mande de Vienne à sa mère. J'imagine que c'est de l'argent perdu ou tout au moins bien hasardé.

On a enterré Moreau il y a quelques jours; je ne suis pas allée à la cérémonie. On critique beaucoup l'oraison funèbre, mais ce pauvre révérend avait si peu d'envie de la faire et étoit si certain de manquer, qu'il s'attendoit à cette critique. C'est un homme d'esprit que le père Rozavin, mais je ne suis pas étonné qu'il n'ait pas réussi, car le sujet étoit difficile à traiter. Le colonel Rapatel est venu me voir; il pleure, il dit des choses très-touchantes sur son attachement pour Moreau, mais en même tems des choses très-singulières sur ce qui se fait aux armées. Il paraît qu'il ne prévoit pas une fin prompte à tout cela.

## XIX.

St.-Pétersbourg, le 20 VIII-bre 1813.

Ce n'est plus le lundi que je reste à la maison, c'est mardi; ce changement est venu, parce que j'ai accepté une charge dans la société des Dames de Charité, je suis aide de mad. de Novossilzow (née Orlow); comme elle se trouve avoir deux quartiers de pauvres assez éloignés, elle m'en a donné un. Ces courses doivent se faire le lundi et mon rapport présenté le même jour à mad. Novossiltzow, qui le porte à son tour chaque mercredi au conseil. Je me suis arrangée de façon à avoir la voiture de mad. Novossilzow, qui m'a priée de venir dîner chez elle ces jours de courses. Elle est bonne personne, elle ne voit pas beaucoup de monde, elle loge aux Jésuites à cause de son fils et ne reçoit que quelques révérends avec des gens de même calibre, m-r de Maistre par exemple. J'y vais donc aujourd'hui, et le soir je rentrerai chez moi pour finir ma poste.

J'ai été hier chez m-r de Marcow que j'avais su un peu malade. Le comte M. avait dit chez mad Gouriew qu'il étoit au lit, nous y sommes bien vite allées. Il nous a reçues à merveille, il étoit à peu près deux heures, à peine sortoit-il de son lit. Ce n'étoit qu'un petit rhume, je lui ai trouvé d'ailleurs bon visage et surtout beaucoup d'amabilité; il a été charmant, s'est bien moqué de moi, m'a comparée à Ambroise de Laméla, mais le tout de manière à ne produire d'autre effet que le rire. J'ai demandé à voir sa fille, qui est arrivée tout de suite; je lui ai fait beaucoup d'amitiés, et le père m'en a su gré. Il a fini par nous inviter à dîner chez lui soit pour demain, soit pour mercredi. Il engage la société de mad. Gouriew. Dans tout cela je ne sais ce qu'il fera de mad. Hus, qui n'a pas paru hier et qui ne paroît plus chaque fois que mad. Gouriew y vient. Je vous parlerai de ce dîner quand il aura eu lieu, mais je vous dirai à présent comme toujours que j'aime beaucoup votre vieux et que je souhaite de tout mon coeur qu'il puisse croire en Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, qu'il est encore philosophe!

## XX.

Moscou, le 30 VIII-bre 1813.

Vous êtes donc bien dégoûtée de la société, princesse. Cela est affreux; c'est se complaire dans l'ingratitude, car ce dégoût est un mal que la société ne vous rendra jamais; c'est moi qui vous le dis avec connaissance de cause, en vous conjurant de vous laisser un peu aller à aimer qui vous aime. Je ne prends point le parti du grand monde tumultueux, où sous le rapport du coeur on est à peu près comme dans la solitude; mais bien de ces petits rassemblements d'amis ou de connaissances intimes avec lesquelles on cause librement le soir pendant une heure ou deux, à la suite d'une journée occupé et solitaire; c'est là où l'esprit se détend, où la gayeté se ranime, où les idées se renouvellent par la communication d'autres idées. Peut-être vos sorties à l'heure du dîner nuisent-elles au goût que vous auriez pour la société si elle ne commençait pour vous qu'à 9 heures du soir, peut-être alors deviendrait-elle un besoin et par conséquent un plaisir, selon l'adage:

Il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins.

Quand vous seriez demeurée toute une journée avec vous-même, avec vos livres et dans un grand silence, vous verriez que l'heure vous rapellerait à la fin du jour vers quelques amis. Vous êtes faite pour cela, vous avez beau dire, et c'est combattre la belle nature que de prétendre le contraire!

Quant à la civilisation, pour laquelle *vous n'êtes pas trop*, c'est encore un blasphème, une hérésie dont il faut vous confesser plus tôt que plus tard. Pensez donc que sans cette civilisation nous ne jouirions point de votre esprit et vous ne jouiriez pas de celui de tant d'hommes illustres et célèbres, dont les ouvrages font vos délices et les nôtres. Croyez-vous que Bossuet, Fénelon, Racine et les beaux génies du 17-me siècle eussent produit leurs chef-d'oeuvres s'ils ne fussent nés précisément à l'époque de la plus haute civilisation? Car elle a fort rétrogradé depuis eux, et nous nous en ressentons. Vous faut-il des preuves parlantes? Jetez les yeux sur les classes de la société, chez qui le défaut de l'éducation nuit à la civilisation: vous y rencontrerez sans doute des coeurs honnêtes et quelquefois de l'esprit naturel, mais combien cet esprit est retréci par les petits intérêts sur lesquels il se traîne; quelle masse d'idées dont nous avons le bonheur d'être en possession et qui ne seront jamais à leur portée et n'élèveront jamais leurs âmes

à une certaine hauteur! Mais si je comprends bien votre lettre, c'est précisément ce nombre d'idées qui vous embarrasse et c'est cette di-sette que vous enviez aux autres classes..... A cela je n'ai rien à répondre, sinon que les grandes richesses en tout genre blasent ceux qui en sont en possession. Oseriez-vous bien vous plaindre sérieusement de ce qui fait votre plus beau titre aux yeux de tous les gens de goût; je veux dire ces idées fines et lumineuses autant qu'abondantes et faciles qui vous distinguent éminemment! Ah, croyez moi: appréciez mieux vos talents, rendez grâce à la nature des dons que vous en avez reçus; ils sont rares et précieux; rendez grâce à l'éducation du vernis brillant et poli qu'elle a passé par-dessus tout cela, et jouissez de vous-même avec la satisfaction qu'on éprouve nécessairement lorsqu'on sent qu'on est apprécié et jugé comme on mérite de l'être. Tout le monde n'obtient pas cette justice; il faut rencontrer juste sa place pour jouir de cet avantage; il faut que les lieux et les circonstances cadrent et s'accordent, et cela est fort rare. Cependant il me semble que tant qu'on a la conscience d'être mal jugé, il doit manquer quelque chose au contentement intérieur, parce que l'injustice blesse toujours un peu, quelque dénué qu'on soit d'amour-propre et de vanité.

Vous voilà donc dame de charité; je suis sûr que cela vous sied à ravir. Je n'ai jamais lu le prospectus de cet établissement; quand il parut, cela me frappa d'une manière désagréable sous le rapport d'une imitation parisienne; mais je crois que j'ai eu tort, car pourvu que le bien se fasse, qu'importe où on en a pris l'idée?

La comtesse Tolstoï va se trouver dans des transes mortelles en lisant les bulletins où elle apprendra à quel point l'armée de Bening-sen a pris part à la grande bataille de Leipzik. Je lui écrivis avant-hier de façon à lui faire croire que c'est après cette bataille que le c-te Strogonow avait vu Alexis. Je disois: le quartier-général est à Leipzik, on en a déjà des lettres, et à propos des lettres du quartier-général il faut que je m'empresse de vous dire de la part de la p-sse Tourkestanow que le c-te Strogonow a vu Alexis et l'a trouvé très-gentil et qu'il en écrit beaucoup de bien à sa femme. Elle va me demander des explications précises et me gronder de n'avoir pas su les dates bien juste; mais pendant tout cela, la vérité arrivera, elle aura des lettres de son mari et n'aura, j'espère, aucun larme à verser. Je tremble en pensant au nombre de victimes qu'on va avoir à pleurer. Nous attendons d'une heure à l'autre les lettres du 24, qui pourront nous apprendre bien des choses, car nous touchons à la catastrophe, et chaque courrier peut nous apporter la fin du Monstre. Vandamme a cru d'abord qu'on lui en imposait sur nos victoires, mais en lisant la liste

des 24 généraux tués ou pris à Leipzick, il a dit que si tout cela est vrai, il ne doute point que Bonaparte ne se donne un coup de pistolet avant de regagner le Rhin. Puisse Vandamme être prophète! Les scélérats doivent se connoître et se deviner, et le propos de notre prisonnier m'a fait plaisir.

Il me tarde de savoir des nouvelles du dîner que vous avez fait chez le c-te Marcow. Mad. Hus s'y sera-t-elle trouvée? Je suis ravi que vous goûtiez la petite; quant au père, il a un excellent fond, de grandes qualités qui attachent à la longue, parce qu'en acquérant de l'expérience, on apprend qu'elles sont rares. Ce n'est pas que je n'aye eu à me plaindre de lui sous quelques rapports; mais il le sent et le répare en toute occasion avec suite et méthode, sans en jamais parler. Vous verrez tout cela si jamais j'arrive à rétablir le fatras que j'ai sottement laissé brûler; j'y veux travailler, mais cela sera long, car j'ai eu 20 ans de vie active, et dans quelle époque! Enfin je veux vaincre ma paresse, quelque chère qu'elle me soit.

Avez-vous vu sur la gazette que les princes françois ont assisté au service que mad. Moreau a fait célébrer à Londres pour son mari? Cette circonstance m'a fait plaisir comme une victoire. En reviendrait-on enfin aux principes véritables et fondamentaux, les seuls qui peuvent ramener une paix solide, parce qu'elle serait fondée sur la justice? Si les rois de la terre veulent régner en paix, il faut qu'ils cessent de consacrer l'usurpation et qu'ils saisissent le premier moment où ils recouvrent le libre exercice de leur puissance et de leur volonté, pour prouver que la force des choses a pu seule les obliger momentanément à abandonner la maison de Bourbon. Louis XVIII est aussi légitimement roi de France que Frédéric est roi de Prusse, et l'on ne peut sentir la nécessité de soutenir ce dernier sur son trône sans remonter à la cause qui a pensé le renverser. Si la sainte ligue des rois s'était formée en 1792 pour Louis Seize, la guerre se fût bornée à la France et n'aurait point ravagé l'Europe entière pendant 20 ans. On a perdu de vue le principe, et tout a croulé. Il a fallu la lassitude et le désespoir *des peuples* pour ramener les souverains sur le vrai chemin; cette vérité est bien remarquable et sera relevée dans l'histoire comme un des faits les plus extraordinaires dont le monde ait été témoin.

Voici la poste, avec la confirmation des superbes nouvelles qui assurent la liberté de l'Europe et du monde. Je regarde Bonaparte comme perdu sans ressource, et je suis trop pénétré de bonheur pour pouvoir me réjouir; il me semble que je fais un beau rêve. D'ailleurs au milieu de ce bonheur j'éprouve à votre sujet, chère princesse, une certaine inquiétude fondée sur la crainte que la visite que vous a faite

le c-te Marcow ne vous ait causé de l'embarras. Voici ce qu'il m'écrit à ce sujet le 24; je copie mot à mot: „J'ai été voir hier la p-esse Tur-  
 „kestanow chez elle, et l'ayant trouvée toute seule j'ai causé avec elle  
 „à loisir sur le sujet que vous m'avez indiqué dans une de vos lettres  
 „précédentes. Nous sommes encore bien éloignés entre toutes les par-  
 „ties intéressées à aborder la question que vous entendez. Quelque  
 „pressé que je sois vu mon âge, je ne crois pas qu'il soit sage de rien  
 „précipiter dans une occurrence qui peut tant influer sur le bien-être  
 „de quelqu'un qui m'intéresse autant que celle dont il s'agit. Cette p-sse  
 „Turkestanow est vraiment telle que vous la dépeignez, et on ne saurait  
 „la voir et la connoître sans l'aimer et sans prendre confiance en elle“.

## XXI.

Moscou, le 5 IX-bre 1813.

La victoire nous rend généreux tout-à-fait. Ce Vandamme que nous avons traité d'abord comme un brigand, est devenu tout-à-coup un homme fort aimable, qu'on voit, qu'on reçoit, qu'on invite et qu'on fête. Il n'est plus question que de ce qu'il a dit chez monsieur un tel, et le lendemain chez monsieur un autre; il parle comme un livre, mange comme un affamé et fait tous les plaisirs de nos bons Moscovites. J'ai été invité à dîner avec lui, j'ai refusé; et je vous avoue que je ne me sens pas le coeur aussi tendre que ceux qui pardonnent avec tant de facilité tous les maux et les désastres causés par cette horde maudite de Dieu, dont Vandamme fait partie. Que ferois-je près d'un tel homme? L'écouter vanter les exploits de son maître et garder le silence me seroit impossible; lui dire que ce maître et ceux qui le servent sont des gueux à pendre, seroit de ma part une lâcheté vis-à-vis d'un prisonnier qui ne peut pas répondre ou se venger. Il faut donc l'éviter, et c'est ce que je ferai soigneusement. Cependant j'écrivais hier à la comtesse Tolstoï que si à son retour elle lui donne à dîner, je serai de la partie; croyez-vous qu'il y ait grande apparence que je le voye là?



Jedy, 6 IX-bre.

J'ai soutenu hier au soir une grande thèse contre Vandamme avec des gens qui me blâment de me singulariser en refusant de le voir. Savez-vous, me disoit un richard que vous devinerez peut-être, qu'il a un demi-million de rente. Il en auroit bien davantage, ai-je répliqué, si on l'eût laissé faire en Russie ce qu'il a fait ailleurs; il n'a cette fortune qu'au moyen du crime et aux dépens des honnêtes gens, et cela le rend mille fois plus odieux à mes yeux. Удивительной человекъ, est tout ce qu'on m'a répondu en levant les épaules. Peut-on croire que la fortune d'un brigand en impose! Parce qu'un brigand a été heureux, en est-il moins un brigand? Pougatchew eût été fort riche aussi si on n'eût réussi à le prendre. Réellement la morale de certains gens est pitoyable; elle seroit révoltante dans la bouche d'hommes sensés et de poids, mais ici ce n'est pas le cas. J'ai de l'humeur, vous en êtes cause, et vous étiez au fond de ma diatribe contre Vandamme sans vous en douter.

## XXII.

St.-Pétersbourg, le 4 IX-bre 1813.

Je ne sais si mad. de Noiseville vous aura parlé de la sortie de St.-Cyr de Dresde. Tolstoï a dit-on eu le tort de le laisser échapper quand il aurait pu l'en empêcher.

La gazette de Berlin fournit seule quelqu'aliment à la curiosité. La dernière nous donne la position des armées et prétend que Bonaparte est parti pour Paris et que c'est sur la demande du Sénat. Je n'en crois rien, et une lettre interceptée sur laquelle on s'appuie pourroit bien être une ruse du Coquin. Au reste je parie qu'il se fera donner jusqu'au dernier homme et au dernier écu et continuera son diable de train. Les gazettes anglaises disent que Wellington a forcé les lignes de Soult et pénétré sur le territoire français à la tête de cent et dix mille hommes; mais jusqu'où a-t-il avancé? Voilà ce qu'on ne dit pas.

## XXIII.

Moscou, le 13 IX-bre 1813.

Les Anglais en France sont une grande nouvelle; cette entrée a eu lieu 14 jours avant Leipzik, et il est clair que Napoléon en étoit instruit le jour de sa déroute; je croirois assez aux troubles qui ont engagé le Sénat à le rappeler. Cette sotte Marie-Louise a péroré comme une cruche en présence de ce Sénat avili et vendu au tyran; mais que feront les 280 mille enfans qu'on lui sacrifie, si les alliés demeurent unis et qu'il n'y ait ni paix ni trêve partielle? Ils ne feront rien, soyez en sûre; il faut dans chaque corps un fond de vieux soldats, et cela manquera à la nouvelle armée; et puis voyons un peu comment on lèvera cette nouvelle conscription? Cette opération se fera-t-elle sans difficultés, sans troubles, sans révolte? Et les révoltés auront un appui à l'armée anglaise ou sur le Rhin, où les alliés seront incessamment. Il me semble que la situation des choses doit inspirer beaucoup de confiance. Les Anglais peuvent répandre force proclamations dans la France et ouvrir les yeux de ces millions de victimes dévouées! Nous verrons très-incessamment quelque chose de nouveau se développer à la confusion de Bonaparte, cela me paroît immanquable.

## XXIV.

Moscou, le 16 IX-bre 1813.

J'ai été hier et aujourd'hui dans de grands dîners qui m'ont fatigué. On les donne au prince Bariatinsky, qui nous a amené une assez jolie femme laquelle paraît douce, aimable et de fort bonne société. Pour lui que je n'avais pas vu depuis 18 ans, j'ai eu de la peine à le reconnoître, et comme je voyois que cela étoit réciproque, j'étois tenté de lui dire ce vers de Piron:

La Parque à la sourdine a diablement filé.

Mais à quoi bon rappeler aux gens qu'ils ont été plus jeunes et plus beaux qu'ils ne sont à présent? Il faut être pour les autres comme on est pour soi-même, se croire à 50 ans ce qu'on étoit à 30 et ne faire semblant de rien. Au vrai, le p-ce Bariatinsky a l'air du beau Cléon. Il passera l'hyver ici; sa femme est Allemande et nièce du c-te Wittgenstein.

Tout Moscou est ce soir au spectacle Pozniakow; je vous avois dit que j'irais aussi, mais je n'en ai plus l'envie, je n'ai plus besoin de me distraire, je reste chez moi ce soir, et je prends un bain pour réprimer cette fièvre d'ortie qui revient sans cesse; quand on a l'esprit content, on sent le désir de se porter tout-à-fait bien; voilà pourquoi je me baigne pendant qu'on chante l'Arbre de Diane à l'autre bout de la rue.

On nous parle d'une nouvelle victoire de Blucher, dont le bulletin est attendu par la poste de ce soir; mais le triomphe de la bonne cause est bien moins dans les victoires que dans les restitutions qu'on fait aux souverains légitimes dépossédés de leurs états par la violence. Le Hanovre et la Hesse rendus à leurs princes annoncent la fin de cette funeste guerre. Si les Anglais et les Autrichiens, en s'emparant en 1793 de Toulon et de Valenciennes, eussent proclamé Louis XVII au lieu de Georges III et de Léopold II, peut-être la France dès ce moment-là eût-elle aidé les souverains coalisés à rétablir les Bourbons; mais on étoit bien éloigné alors d'en être revenu aux principes; il a fallu 20 ans de malheurs toujours croissants pour ramener les esprits au point d'où l'on étoit parti en commençant à s'égarer.

## XXV.

St.-Pétersbourg, le 10 IX-bre 1813.

Dernièrement, comme j'accompagnais l'Impératrice Élisabeth à la promenade, nous passâmes devant la maison du comte Marcow, et à cette occasion j'eus la possibilité de glisser un mot sur la petite et de lui en dire du bien. L'Impératrice me demanda si elle étoit jolie, quelle étoit sa figure etc. etc.? Je répondis à tout d'une manière avantageuse pour l'enfant; ensuite nous parlâmes de la mère et je dis que je ne l'avais jamais vue. Je n'ai rien dit de tout cela au comte, tout bonnement parce que je l'ai oublié; mais un jour je me propose de lui en faire part comme d'une chose fort simple au reste, mais qui pourra lui faire plaisir, à ce que je suppose.

Tout ce que je vous ai mandé sur le comte Tolstoï est tombé à plat. St.-Cyr est revenu à Dresde justement, parce qu'il n'a pu se faire jour. Le jeune Gouriew écrit à ses parents que les troupes postées autour de la ville ont empêché cette sortie, qu'il a été contraint de revenir sur ses pas, qu'il est cerné et qu'on va faire le blocus de Dresde.

Nous avons eu un courrier du 20 qui apprend que notre quartier-général étoit ce jour-là à Meininguen, et hier la gazette de Berlin l'annonce déjà à Francfort. Quelques cosaques ont passé le Rhin et semé l'effroi. Le général Wrede s'est battu trois jours pour entrer à Francfort; Platow est venu à son secours, l'ennemi a été obligé de céder et la ville a été occupée. Lord Wellington est fort content des habitants du midy de la France; on en a eu le rapport à Londres, et m-r Bardaxi le conte à tout le monde. Enfin tout va bien, à ce qu'il paraît, et il semble qu'on peut se flatter de toucher à la fin de cette guerre terrible. J'ai reçu des nouvelles de mes soeurs de Vienne, elles me mandent la brillante réception qu'on y a faite au comte Ostermann. Le jour même de son arrivée il a eu la visite de l'archiduc Charles, ensuite celle de tous les autres princes. Le lendemain au Prater on se pressoit pour le voir, on le montrait au doigt, et on disoit tout haut: c'est ce comte Ostermann qui avec la garde impériale russe a sauvé la Bohême à Culm. Quelques jours après, il fut au spectacle, et dès qu'il parut dans sa loge, il fut applaudi pendant plus de dix minutes au point que la pièce ne pouvait pas continuer. Bref on lui a prodigué les témoignages les plus marquants de la considération qu'on lui accorde. Vous sentez combien cela le rend heureux, et comme il est consolé de se trouver sans bras. Il passera l'hiver à Vienne, et mes soeurs aussi.

## XXVI.

Moscou, le 20 IX-bre 1813.

On écrit d'Allemagne au prince Bariatinsky que le comte Ostermann y est regardé comme un second Léonidas. Il est très-positivement le sauveur de la Bohême, il l'est par une action héroïque, et la conséquence de cette journée est une chose incalculable: car si les débouchés de la Bohême eussent été occupés par l'ennemi, la bataille dans laquelle Vandamme fut pris et défait le lendemain n'aurait pas eu lieu ou auroit eu un succès tout différent. Ce point de Culm paraissait si important à Bonaparte qu'il est venu trois fois en personne l'attaquer après coup. Ceux qui prétendent diminuer le mérite d'Ostermann se rejettent sur la force de sa position locale; mais en a-t-il moins soutenu pendant 12 heures, à la tête de 8 mille hommes seulement, tout l'effort d'un ennemi cinq fois plus nombreux que lui? Pense-t-on que cela eût été possible en rase campagne, où l'ennemi eût

la facilité de manoeuvrer et de l'entourer? Il y a des jaloux et des envieux partout, mais dans des circonstances comme celle-ci combien la bassesse de ces vices en redouble la honte! J'aimais beaucoup Touchkoff, et cependant je ne l'ai presque point regretté quand j'ai su que pour nuire au p-cc Bagration il avait été une des causes des malheurs de Borodino. Je suis charmé que les médisances sur le comte Tolstoï soient tombées d'elles-mêmes par la rentrée de St.-Cyr.; mais comme vous êtes une femme qui n'entendez pas plus que moi aux opérations militaires, je vais vous adresser une question qui paraîtrait peut-être ridicule aux gens de l'art, mais qui me semble toute simple aux yeux du bon sens. Pourquoi, après que St.-Cyr est sorti de Dresde, Tolstoï n'y est-il pas entré, pour lui en fermer les portes en cas d'un retour que les dispositions militaires devaient lui faire prévoir on supposer? On aurait occupé la ville, et l'on se serait battu sous ses murs quand St.-Cyr serait revenu. Peut-être cette question est elle saugrenue, mais elle se présente tout naturellement.

J'ai lu une pièce fort curieuse arrivée d'Allemagne, et qu'on n'imprimera sûrement dans aucune de nos gazettes; c'est une épouvantable et virulente diatribe de Bonaparte contre le prince royal de Suède, dans laquelle il rappelle l'origine et la vie de Bernadotte depuis son entrée au service jusqu'à ce jour. Il y a une vingtaine de points posés en questions, qui sont de la dernière force. N'est-ce pas ce même Bernadotte qui dans telle et telle circonstance a fait.... je ne m'aviserai pas de vous dire quoi: il est notre fidèle allié, et dans cette qualité il faut le respecter; mais cette pièce est d'une belle force et ne laisse pas de renfermer de sanglantes vérités. Au reste, le ton indécent avec lequel elle est écrite prouve bien l'origine de tous ces Bonapartes et compagnie.

Nous touchons à un dénouement quelconque qui sera du plus grand intérêt; je crois très-fort que la France se refusera à soutenir Bonaparte; il n'a plus cette vieille armée qui donnoit le ton aux jeunes militaires; les conscrits demeureront attachés à leurs familles et en conserveront les sentiments dès qu'ils ne seront plus éblouis par ce prestige de gloire dont on leur fascinait les yeux pour leur faire oublier le toit paternel.

Il devient si évident qu'un conscrit est une victime dévouée à l'ambition du tyran sans profit pour la patrie, qu'enfin il faut croire que les François suivront l'exemple des Allemands et se détourneront contre l'opresseur de leur pays. Cela me paroît d'autant plus devoir être ainsi qu'on ne peut raisonnablement rien espérer de bon en France

d'un nouvel effort national. Les gens sensés comprendront cette extrémité et agiront en conséquence, ce qui perdra Bonaparte et ramènera les Bourbons. Si cette *restauration* a lieu, j'illuminerai l'hôtel Marcow avec splendeur, dussé-je faire comme le comte Kamensky à Orel à l'occasion de la victoire de Leipzig: ne trouvant pas assez de lampions à acheter, il s'est avisé de faire emplette de 1500 pots de pommade où l'on a fourré du coton pour faire mèche, en sorte que l'illumination a été à la fleur d'orange, au réséda, à la vanille etc. etc. Cela n'est-il pas magnifique?

## XXVII.

St-Pétersbourg, le 17 IX-bre 1813.

Je vous parlois dernièrement de la triste disposition dans laquelle je me trouvais; elle dure encore un peu, mais c'est moins fort; je ne puis vous cacher qu'une bonne messe entendue chez le prince Galitzine du Synode, Mercredi dernier, et une heure de conversation avec lui m'ont remontée. Si j'avois la possibilité de le voir plus souvent, mon abattement se dissiperoit plus tôt; mais il ne vient pas chez moi, et pour le voir, il me faut toujours l'aller chercher dans une société où j'ai quelquefois le désagrément de ne pas le rencontrer. Il est souvent bien dur de ne vivre qu'avec soi; c'est pourtant la situation dans laquelle je me suis mise, un peu par système, beaucoup par circonstance. Je me regarde absolument comme étant au nombre de ces coeurs dont parle Châteaubriand, condamnés à un veuvage éternel, à une viduité morale, et cela avec le sentiment interne d'avoir au plus haut degré la faculté d'aimer et même avec ardeur. Gardez-vous toutefois de me plaindre; gardez-vous surtout de m'attendrir là-dessus: vous me feriez du mal.

Je trouve votre conduite à l'égard de Vandamme très-bonne et très-belle; je suis fâchée de voir combien nos Russes pensent différemment. L'exemple d'un gouverneur, en pareil cas, ne peut ni ne doit influer; car il a peut-être ses raisons pour se conduire comme il le fait, les autres n'en peuvent avoir aucune. Ce n'est pas sur les cendres de Moscou qu'on doit fêter Vandamme; le voir est un mal, l'inviter est une horreur. J'ai été si contente de tout ce que vous me dites à ce sujet, que le soir, me trouvant chez la princesse Woldemar, j'y ai fait la lecture de votre lettre, à elle et à la c-sse Strogonow. Toutes les

deux en ont été dans l'admiration et exactement de mon avis sur les Moscovites.

Depuis hier on parle ici de la reddition de Dresde, mais sur de simples *on dit*, rien d'officiel n'est encore arrivé; on croit également que Danzig doit se rendre sous peu de tems. Nous supposons Bonaparte à Paris, et chacun attend la nouvelle de la réception qui lui sera faite. Le dernier courrier étoit du 22, d'une petite ville près de Francfort. Czernichow a passé le Rhin à la tête de quatre mille cosaques et a semé des proclamations dont on attend un bon effet.

Le petit Strogonow écrit à sa mère que la Suisse s'est déclarée pour les alliés; mais on l'a dit si souvent qu'on ne peut pas se fier à cette nouvelle. A propos de la Suisse, nous avons ici un m-r Galatin, originaire de ce pays-là, mais domicilié en Amérique avec le droit d'indigénat. Lui et m-r Bayard sont députés des États-Unis près de notre cour. Je les vois chez la princesse Boris; m-r Galatin a de l'esprit, des connoissances, mais son habit d'une espèce de satin noir, sa manière de le porter et quelques phrases que je lui ai entendu débiter, me le font regarder comme un membre de l'Assemblée des Notables qui eut lieu en France en 1787; je parierois presque d'avoir vu la figure et le costume de m-r Galatin dans les gravures que nous avons de la dite assemblée. Est-ce que mad. de Noiseville ne vous en parle pas? Le dernier Vendredy a été si terriblement nombreux chez la princesse Boris qu'en entrant dans son salon j'ai été toute *hébétée*; c'est au point qu'au lieu de dire bonjour, j'ai tourné les talons et suis partie sans pouvoir dire qui j'ai vu. Ah mon Dieu, quelle figure j'eusse fait si je m'étois avisée de rester.

## XXVIII.

St.-Pétersbourg, le 20 IX-bre 1813.

J'ai passé avant-hier la soirée avec m-r de Marcow, c'étoit chez mad. Gouriew, il n'y eut pas de boston, et bongré malgré il fut obligé de fournir à la conversation; je l'entrepris sur l'article qui me touche le plus et je lui soutins qu'il falloit croire en Jésus-Christ ou ne pas se dire chrétien. Il me fit des objections absurdes, mais cependant point de plaisanteries. Hélas! Il ne m'appartient pas à moi de le convertir, mais je désire ardemment qu'il puisse être touché de la vérité, parce que je me suis prise à l'aimer très-sincèrement et que je lui désire certaines consolations qu'il ne peut avoir dans ce monde avec sa manière de penser. Je ne puis vous dissimuler qu'il m'a demandé si jamais nous avons traité ce chapitre vous et moi, et si j'étois contente *de votre foy à vous?* Il m'a paru qu'en me faisant cette question, il voulait me dire que vous abondiez dans son sens; mais je lui ai répondu que je ne vous avois pas parlé et que nous ne traiterons le dit chapitre qu'alors que nous nous reverrons.

L'ordre de mes dîners est un peu dérangé; le Mercredi de mad. Strogonow est devenu trop nombreux, trop fatigant: j'y ai renoncé, me bornant à la voir le soir que je vais chez sa mère. La maison Gouriew me plaît beaucoup, on y a l'air de m'aimer, j'y rencontre des personnes qui me conviennent. Galitzine y étoit avant-hier à ma grande satisfaction. La princesse Boris est très-inquiète de la fièvre de Tatiana, qui paraît avoir changé de caractère; je commence à m'alarmer aussi à cause d'évacuations trop fortes et de certaines transpirations qui reviennent souvent; j'ai peur d'une fièvre lente. Cette Tatiana est des filles de la princesse Boris celle que j'aime le mieux, elle est charmante sous tous les rapports.



## XXIX.

St.-Pétersbourg, le 24 IX-bre 1813.

Vous m'avez fait la leçon sur l'imagination et le danger qu'il y a à s'en laisser maîtriser. Eh bien, j'aurais presque envie de vous la renvoyer, cette leçon, parce que à votre tour vous en avez besoin. Convenez que l'imagination est un funeste présent que nous fait la nature; voyez comme elle nous donne souvent plus de mauvais que de bons moments. Ah, je vous assure que je n'en fais pas plus de cas que de la civilisation. Croyez-moi, calmez la vôtre; moi, je tâche de tuer la mienne.

La dernière fois que je vous écrivis, j'avois de grandes inquiétudes sur Tatiana, on m'assure que sa fièvre n'est point dangereuse, et je veux bien le croire; mais tant que je ne la verrai pas debout et dans le salon de sa mère, je ne serai pas tout-à-fait rassurée. Son âge m'effraye extrêmement, et elle est si délicate! Depuis que vous ne l'avez vue, elle est prodigieusement embellie. J'estime la princesse Galitzine bien heureuse d'avoir auprès de ses filles une personne comme madame de Noiseville; elle connoît leur naturel à merveille et travaille sur toutes les trois de manière à les rendre heureuses. Si la princesse Kourakine avait eu le bonheur de passer par ses mains, elle ne seroit pas ce qu'elle est. Dans son éducation on a suivi une toute autre marche.... C'est bien à celle-ci qu'on a monté la tête; on en a fait une savante, une barbouilleuse de vers. Elle a eu l'esprit de traduire Horace et n'a pas celui de rendre heureux son mari.

J'ai eu des lettres de Vienne il y a quelques jours; mes soeurs me disent qu'Ostermann est très-souffrant de son bras et que les médecins le garderont longtems dans un climat plus doux que celui de la Russie. Sa femme est aussi malade, et mes princesses m'ont tout l'air de s'amuser médiocrement; cependant elles trouvent le séjour de Vienne charmant. Je ne puis pas vous cacher qu'elles m'apprennent d'assez mauvaises choses de notre milice de Nijnei, qui me pèse sur le coeur avec armes et bagages. Elle a bien mal débuté, les pauvres *мыжикъ* ont été repoussés jusque Péterswald; je suppose que c'est au moment où St.-Cyr a voulu sortir et qu'ils auront voulu l'en empêcher, on en a tué beaucoup. Titow est resté à Töplitz et n'a pas voulu faire le siège de Dresde, mais enfin cette ville a capitulé. Ne contez rien de tout ceci, je vous en conjure, pas même chez mes parents. Tout ce qui regarde Tolstoï m'intéresse trop pour que je puisse parler de ses re-

vers; je voudrais tant qu'il se tirât bien d'affaire, et lorsque je vois un si mauvais début, cela me fâche, et j'ai bien soin de le taire.

Soyez tranquille sur les fleurs de ma chambre, je n'en ai pas en hyver; lorsque je vous disois que j'en avois de jolies, j'entendois parler du printems; pour le moment je n'ai que quelques arbrisseaux.

Comment cette fièvre d'ortie ne veut-elle jamais vous quitter? Pourquoi vous baignez-vous quand vous l'avez? Cela convient-il? Je ne l'ai jamais oui dire.

### XXX.

Moscou, le 27 IX-bre 1813.

Vous me défendez de vous plaindre sur ce qui fait le sujet de vos peines secrètes; il est impossible que je vous obéisse; comment voulez-vous que je vous sache souffrante et que je n'y prenne nulle part! Par malheur je ne peux point vous consoler, parce que j'ignore le sujet de la peine et que je craindrais d'irriter le mal au lieu de l'apaiser, si je cherchais à sonder la playe. Je vous avoue que je ne comprends point ce que veut dire Châteaubriand par des coeurs condamnés à un veuvage éternel et à une viduité morale. Cela ne peut regarder qu'une femme qui passerait du séjour de la civilisation où elle aurait été élevée, parmi une peuplade de sauvages grossiers dont aucun ne pourrait l'apprécier ni lui inspirer un sentiment quelconque; alors ce veuvage du coeur aurait eu sens, et ce coeur, s'il était naturellement tendre et aimant, serait fort à plaindre. Mais lorsqu'on a le bonheur d'être parmi les siens, entouré d'amis véritables, prêts à partager vos peines et vos plaisirs, comment peut-on éprouver ce *vide moral* dont vous souffrez sans permettre qu'on vous plaigne? C'est ce qui passe ma conception. Livrez-vous à la tendre amitié: elle est un don de la Providence, qui ne veut point qu'on s'en prive. Ouvrez votre coeur à un ami et puisez dans le sien les consolations dont vous pouvez manquer dans la solitude: vous vous en trouverez sûrement bien. *Dieu seul* suffit pour calmer les remords d'une conscience agitée, et ce n'est pas votre cas; mais pour remplir un coeur honnête, aimant et tendre, croyez-moi, il faut *Dieu et les hommes*. C'est un tribut qu'il faut payer à la faible humanité. Sainte Thérèse seule a pu concevoir pour J. C. cette espèce d'amour qui tient lieu de tout; mais savez-vous qu'elle a attendu cette tendresse pendant 22 ans d'une sécheresse de coeur qui la rendait fort malheureuse, et quand enfin les visions l'ont

dédommagée de ces longues souffrances en remplissant tout son coeur, il n'est pas bien prouvé que sa tête fût saine. Ne croyez pas que je prêche ici contre la foy. Rien ne nous oblige à croire aux miracles sur le témoignage de quelques religieuses espagnoles exaltées par *St.-Jean de la Croix* et par deux ou trois confesseurs qui on vu ou cru voir ce qu'ils attestent au procès de canonisation. J'ai lu tout cela avec le plus grand désir de me persuader; mais j'ai fini par en revenir à l'Évangile et à sa morale, qui recommande de s'aimer les uns les autres, de s'aider, et qui ne prescrit nulle part l'isolement. Comme je vous écris fort en courant, chère princesse, peut-être dis-je très-mal ce que je voulais dire. Mon intention est bonne. Je suis charmé de vous voir de la dévotion, elle est le fond du bonheur présent et à venir; mais je crains l'exaltation de la tête, parce que j'en connais le danger. Ne vous laissez pas emporter trop loin, afin que vous n'ayez point à reculer. Étant forcée de vivre dans le monde, réglez-vous sur ses usages, ou tout au plus modifiez-les; mais ne les abandonnez point tout-à-fait. Vous voyez que je ne cherche pas à vous attendrir, car j'ai presque le ton grondeur; c'est une tendre amitié qui me dicte tout cela, prenez le bien ainsi, si même vous croyez devoir rejeter ma morale.

## XXXI.

Moscou, le 1-er X-bre 1818.

Je suis prersuadé que vous perdez vos peines et vos soins à convertir m-r de Marcow; mais je vous répons que vous l'avez mal compris à mon sujet et qu'il a voulu vous dire le contraire de ce qu'il a paru exprimer. Il sait très-bien que j'ai de la foi, et même que cette foi est ferme; nous avons eu jadis beaucoup de discussions à ce sujet, sans que cela menât à rien de part ni d'autre. Mais, vous le dirai-je, si cette foi a jamais couru quelque risque, c'est à la suite de l'exaltation que certaines personnes avaient trouvé le secret d'établir dans ma tête et même par moments dans mon coeur. J'espérais tout de la religion, j'en attendais des consolations et même des *satisfactions et des joyes sensibles* dont mon âme avait besoin; je croyais quelquefois les obtenir, je me montais l'imagination<sup>22</sup> au plus haut degré, et quand j'en étais là, j'éprouvais une agitation physique proportionnée à l'ébranlement moral, et malgré mes fermes propos, mes ardentés prières et le secours des amis qui me dirigeaient, je finissais par quelque lourde faute, qui me ramenait à terre en me prouvant que je n'étais qu'un homme

faible auquel il ne fallait qu'une occasion adroitement présentée pour le faire succomber. J'étais au désespoir; mais une chose m'étonnait infiniment: c'était l'indulgence complète de mes directeurs, qui traitaient de pécadilles ces rechutes et prétendaient qu'elles devaient être attribuées au diable et non pas à moi, m'assurant que je devais recommencer sur nouveaux frais, ce que je ne manquais pas de faire jusqu'à une nouvelle chute. Je vous avoue que ce fond inépuisable d'indulgence me porta à réfléchir, et je finis par me dire qu'on voulait faire de moi une espèce de sectaire dévoué, sans que je connusse bien le but de cette volonté; mais que, puisqu'au milieu de tant de pratiques de dévotion qui me fatiguaient la tête, on me permettait d'être aussi pécheur que mes mauvaises inclinations l'exigeaient de ma faiblesse, je pouvais en sûreté de conscience en revenir à la religion pure et simple et m'en tenir à ce qu'ordonne l'Évangile et à ce que prescrit l'Église, sans aller chercher une perfection idéale qui ne me rendait point parfait. Je vous crois, plus ou moins, sous le même charme où j'étais alors (aux chutes près, du moins de la nature des miennes), et vous verrez par la suite le peu de succès de certains efforts et de certaines tentatives. A présent vous ne me croirez sûrement point, mais je vous attends dans quelques années. Défiez-vous des gens qui, au nom du salut de la vie à venir, veulent tout diriger dans celle-ci. Faisons bien et laissons faire les autres. Toutefois respectons et tâchons d'imiter ceux qui joignent l'exemple au précepte; car pour ceux qui prêchent une morale sévère en caressant une vie commode, je n'en fais nul cas.

Parlez-moi, je vous en prie, plus en détail du prince Galitzine que vous avez nommé deux fois dans vos lettres. Qu'a donc son entretien de si édifiant et de si consolant que vous le recherchez avec tant de soin? Sa place au Synode en a-t-elle fait un saint? Ce seroit là une véritable grâce d'état. Je voudrois bien qu'il réussît à réunir les deux Églises, et surtout, par manière de préliminaire, à éclairer vos prêtres, et en faire des modèles à suivre pour leurs ouailles, ce qui est bien rare, à ce que je vois ici, surtout depuis que l'incendie de Moscou les a ruinés. Il n'ont pas le désintéressement apostolique, je vous assure.

Vous fuyez donc ces grandes soirées; j'ai pensé à vous avant-hier chez madame Abraham Pouchkine; tous les restes de Moscou étoient réunis dans son salon par invitation; 10 tables de boston, un macao de 17 femmes sans un seul homme. Il n'est resté à souper que 30 personnes, 27 femmes et 3 hommes, dont j'étois le plus *frais*. Cela étoit d'une gaieté à s'avaler la langue. Telle est cette pauvre ville de Moscou pendant que tous nos guerriers sont sur le Rhin!

Je suis fâché de ce qu'on vous mande de la milice de Nijnei; plus fâché encore de ce que Titow soit resté à Töplitz pour ne pas aller au siège de Dresde, car cela me prouve de la mésintelligence. N'ayez pas peur que je parle de tout cela à qui que ce soit; je ne me laisse pas même aborder là-dessus, et je réponds aux clabaudes qui s'évertuent sur les articles de la capitulation, que ce n'est pas de loin qu'on peut juger les opérations d'un général qui a probablement des ordres supérieurs. Cependant au fond je suis un peu de leur avis; cette capitulation m'a choqué vivement. Voici ce que je crois voir; vous me direz si cela rencontre vos idées. Tolstoï étoit fort mécontent de se voir à l'arrière-garde; il a eu un vrai chagrin que Moscou ait été prise sans lui, il se flattoit d'en être le libérateur, et pourtant son armée n'a été en état de marcher que trois grands mois après l'évacuation de cette ville. Dès lors son rôle le dégoûtoit, car il avait envie de faire parler de lui. Tout ce qui s'est passé depuis a dû augmenter ce dégoût: tant de succès obtenus par de jeunes gens ses cadets en grade et en âge, tant de récompenses et d'avancements, tandis qu'il étoit dans l'ombre, et toujours dans l'ombre, auront aigri son humeur et celle de Mouraview, qui est son faiseur. Enfin, on lui donne une opération à diriger qui peut le remettre sur le tapis; mais cette opération pourra être fort longue, St.-Cyr pourra tenir comme Rapp à Danzig, l'impatience s'en mêle, on veut voir son nom sur la gazette. Mouraview, passablement brouillon et intrigant, souffle sur ce feu, et l'on fait à St.-Cyr des propositions qui ne peuvent être refusées, puisqu'elles le reportent en France, mais qui enfin livrent Dresde entre nos mains et font parler de Tolstoï. Peut-être tout cela n'a pas le moindre fondement et ne gît que dans mon imagination; mais c'est ainsi que je crois connaître Tolstoï et Mouraview.

Je voudrais bien pouvoir accompagner mad. de Noiseville quand elle va passer les soirées chez vous. Ah mon Dieu, oui; c'est impossible que je fasse une course d'hiver à Pétersbourg; j'ai bien tout calculé: cela me coûteroit 1500 roubles pour le moins, et cela me dérangeroit. Il y a un mois que je fus fort tenté d'aller manger à Pétersbourg quelques dessétines de bois que je venois de vendre dans ma petite подъ-московна; mais la raison crioit à mes oreilles: tu as 50 ans, si tu manges tes fonds, tu mourras dans le besoin (chose que j'ai en horreur). J'ai cédé à la triste raison et j'ai acheté 9 bons laboureurs dont j'ai augmenté mon village, qui m'en donnera plus de revenus l'année prochaine. Deucalion fesoit des hommes avec des pierres, et moi j'en fais avec du bois; ce bois ne me donnoit rien, mes 9 hommes avec leur 11 femmes me feront des enfans, du foin, de l'avoine, et

l'année prochaine je répèterai la même opération, et mon village, qui est à présent de 35 paysans, sera de 45, et ainsi de suite, car j'ai beaucoup de terroir et peu de bras. Vous me direz: à quoi bon tous ces soins, vous êtes vieux et seul. Mais je vous répondrai que c'est précisément parce que je suis vieux et maladif, que je veux avoir une petite indépendance assurée pour ma caducité; cela m'aidera à supporter les maux qui viennent à la suite des années; je ne mourrai pas à charge aux autres; j'aurai quelques petites choses à laisser après moi, ce qui est la plus douce consolation de la mort: car le coeur veut se survivre, je le sens bien.

## XXXII.

St. Pétersbourg, le 1-er X-bre 1813.

Mon Dieu, que vous vous trompez quand vous croyez Bonaparte perdu sans ressources! Comme tout ce que vous me dites à ce sujet dans votre dernière lettre sent le baron de Milleville! Où allez-vous chercher ces Bourbons qui n'intéressent personne? Tout cela sont des rêves creux. Bonaparte, quoique refusé pour une levée en masse, se fait encore donner 300 mille conscrits et vient de décréter un nouvel impôt sur les capitaux; le 30 pour cent, dit-on. Enfin il paroît vouloir tenter de nouveaux efforts, mais il est assez vraisemblable qu'ils seront inutiles; car à tout prendre il ne fera bouger que ces seuls conscrits, tous le reste l'abandonne. On a ici la nouvelle de l'insurrection de toute la Hollande et celle de l'évacuation des François d'une grande partie de ce pays-là. L'ancien gouvernement y est rétabli, le général Bulow a occupé Amsterdam, on y a proclamé le prince d'Orange stathouder et on l'a fait chercher; plusieurs forteresses se sont rendues de manière que de ce côté-là tout va bien. Vos Suisses se sont neutralisés, mais on vient de leur envoyer m-r de Lebzelttern pour leur signifier qu'on ne veut pas de ces demi-mesures, qu'on leur demande un oui ou un non, ce qui fait supposer qu'ils se réuniront aussi à la bonne cause. Quand cela aura lieu, j'imagine que c'est par là qu'on entrera en France, parce que c'est la frontière la plus ouverte, il me semble même que jusqu'à Besançon il n'y a aucune forteresse. On dit que le Corse n'est plus à Paris, où il n'a fait que se montrer, et qu'il est de nouveau retourné à Metz.

La capitulation de Dresde est faite, mais les articles sont changés; St.-Cyr et toute la garnison demeurent prisonniers de guerre et sont envoyés en Bohême. Le petit Boutourline écrit à ses parents de Dresde

même. Personne ne parle plus de mon pauvre Tolstoï, au moins en ma présence; ma liaison avec sa femme est si connue, les relations que j'ai avec l'un et l'autre depuis dix ans sont si prouvées, qu'on me doit un peu de ménagement. Il est probable que la comtesse ignorera toujours ce qui s'est passé; d'ailleurs m-r de Kleinau, général autrichien, ayant signé avant Tolstoï, le blâme pourroit retomber sur lui seul. Je vous avoue que tout cela m'a cependant fait beaucoup de peine; je m'en suis soulagé le coeur dernièrement avec m-r de Marcow, et il m'a paru qu'il ne lui jetoit pas tout-à-fait la pierre.

Depuis que j'ai recommencé à sortir, je vais chaque jour chez la princesse Boris; l'état de sa fille m'inquiétoit jusqu'à hier que je l'ai trouvé mieux. J'ai eu des lettres de Vienne très-fraîches; mes voyageuses sont à Baden pour quelques jours. Ostermann est fort souffrant; il paroît que ni lui, ni sa femme, ni ma soeur Sophie ne se soucient pas beaucoup de se produire dans le monde. Catherine est la seule qui se soit lancée; elle me dit avoir été à une soirée chez la c-sse Protassow et puis chez la princesse Bagration. Il me paroît qu'on s'amuse beaucoup dans ce pays-là et tout différemment qu'ici. Ce n'est pas que la vielle princesse Wiazemsky ne fasse jouer la comédie chez elle, et que le prince Kourakine n'ait des mardys et des samedys très-nombreux; mais tout cela n'est pas fort séduisant.

### XXXIII.

Moscou, le 8 X-bre 1813.

Je crois plus que jamais que, malgré les 300 mille conscrits, Bonaparte touche à sa ruine, si même on lui accorde une paix qui le laisse maître de la France: car ce sera une France ruinée. Les maréchaux dépouillés de leurs apanages ne lui pardonneront jamais ces dernières guerres. M-r de Lacépède même n'a plus l'air de parler au maître du monde, et ce maître du monde répondant de dessus son trône ressemble à un enfant qui chante pour déguiser sa peur. Tout cela ne va pas mal. Le tiers des capitaux dont on prétend qu'il veut s'emparer est une opération impossible et dont le seul projet lui aliénera l'esprit des riches; et le pauvre, qui donne son dernier fils de 15 ans, fait hautement des voeux pour la fin d'un état de chose aussi tyrannique. Tous les esprits seront bientôt d'accord là-dessus, et l'opinion générale voulant un changement, on ne pourra l'exécuter avec calme et sans effusion de sang qu'au moyen des souverains légitimes qu'on rapellera, surtout s'ils

5\*

sont soutenus par les puissances belligérantes. J'en conclus que les Bourbons remonteront sur leur bête, et vous verrez si je me trompe.

Mais laissons—là Bonaparte. Pendant qu'il perd ses conquêtes, vous augmentez les vôtres de jour en jour, chère princesse, et vous en avez fait une dont vous vous doutez sans doute, mais que vous ne voulez pas me dire. Je la sais à merveille, et en voici la preuve, que je copie mot à mot dans une lettre de votre nouvel esclave, datée du 2 décembre. « Cette bonne et aimable princesse Turkestanow, dans une seconde visite que je lui ai faite, m'a confié en plein tout ce qu'elle vous a mandé à mon sujet. J'ai bien ri de ses vœux en ma faveur; mais je ne lui en sais pas moins gré, comme une nouvelle marque de l'intérêt que j'ai eu le bonheur de lui inspirer. Je ne saurais mieux vous donner la mesure du cas que j'en fais qu'en vous disant *que j'aurais bien voulu qu'elle fût la mère de ma fille*. J'aurais été la voir beaucoup plus souvent sans l'incommodité de son logement. Il y a de quoi devenir asthmatique pour le reste de ses jours en y grim pant souvent; j'en ai été tout essoufflé la dernière fois que j'ai monté son escalier ».

Comment trouvez-vous cette déclaration et ces vœux *rétrogradés*, dont me voici confident? Pour moi, toute jalousie à part, je lui en sais le meilleur gré du monde et je lui réponds que plutôt à Dieu qu'il en eût été ainsi.

Je n'envoie plus les gazettes à la comtesse Tolstoï à cause de ce malheureux changement de capitulation dans lequel cependant Kleinau est seul blâmé. Elle le lira dans les papiers russes et ignorera ce qu'on a dit.

Je vais dîner moi quarantième chez un nouveau restaurateur qui vient de s'établir au Pont des Maréchaux; c'est le prince George Dolgorouky qui est son protecteur et qui arrange ce dîner mêlé d'hommes et de femmes, à 10 roubles par tête; on dit que cela doit être délicieux, nous verrons. On se bâte les dimanches à la porte de m-r Pozniakow pour voir son opéra, qu'on dit bon et que je trouve détestable sans prévention, mais je me tais; car je passerois pour dénigrer Moscou où il est convenu que tout doit être excellent depuis qu'elle a passé par le feu. J'ai fait une erronerie épouvantable: j'ai loué la maison du comte Marcow pour le club de la noblesse sans stipuler aucune assurance en cas de feu, parce qu'il falloit la louer comme cela ou pas du tout. J'avois consulté le maître de la maison sur cette clause, sa réponse a tardé, et j'ai conclu la veille du jour où son refus est arrivé. Je viens de lui déduire mes raisons que je crois bonnes et valables; parlez-lui un peu de cela pour voir ce qu'il pense de ma témérité; mais priez Dieu surtout pour que la maison ne brûle pas: car il est certain que



chargé de cette responsabilité je me brûlerois avec plutôt que d'y survivre.

La Hollande est tout-à-fait aimable, et j'espère que sa soeur l'Helvétie ne lui cédera en rien; l'une avec son Océan, l'autre avec ses Alpes, forment un joli petit appui pour les opérations militaires.

### XXXIV.

St.-Pétersbourg, le 9 X-bre 1813.

Quant à ce que vous dites de S-te Thérèse, je n'ai malheureusement rien de commun avec elle! J'ai lu son histoire cet été à la campagne, j'ai vu comme l'amour de Dieu lui est venu après de longues années d'aridité et de sécheresse. Il me semble cependant que si on pouvait me dire bien positivement que pareil amour me viendrait un jour, je me soumettrais de tout mon coeur à 22 ans d'ennui. C'est une belle résolution, vous voyez, mais elle n'est pas constante chez moi, parce que je suis bien misérable. Au nom du Ciel ne vous imaginez donc pas que je passe ma vie prosternée au pied du Crucifix, ne me supposez pas davantage en oraisons de deux heures, ainsi que l'a conté le petit Duloup, enfin ne faites pas de moi ce que je ne suis pas. Ne croyez pas que je sois fâchée contre vous; je rends justice au motif qui vous a porté à m'écrire comme vous l'avez fait; je vois clairement que tout cela vient d'un coeur plein d'affection; mais malgré cela, gardez-vous de m'attendrir sur moi-même, car vous me feriez du mal.

Le jour de ma fête j'ai reçu quelques petits présents, mais un entre autres qui m'a procuré une surprise très-agréable. J'ai dans ma chambre de toilette une petite cloison, derrière laquelle j'ai posé mes images et où je vais prier. Les images étaient simplement sur une table avec mes livres de piété. Ce matin-là en y entrant à mon ordinaire je demeurai interdite: au lieu de ma table j'aperçus deux rayons en acajou sur lesquels se trouvaient mes images, aux deux côtés de ces rayons sont adaptées deux petites armoires pour les livres; au-dessous un prie-Dieu des plus élégants, fait en manière de bureau; on peut y poser un livre et y lire, on peut y écrire, car on trouve une écritoire d'un côté et de l'autre une planche pour mettre des bougies; au pied du prie-Dieu un tabouret en maroquin pour s'agenouiller. J'ai été enchantée de tout cela et je tiens ce cadeau de m-r Swistounow, que je vois beaucoup chez

la princesse Boris, qui est un très-bon homme et qui a un peu deviné la tournure de mon esprit. Vous pensez bien que je lui ai fait mille remerciements; il m'a conté comment il s'était arrangé avec mes femmes pour faire faire tout l'ouvrage et ensuite le placer.

## XXXV.

Moscou, le 15 X-bre 1813.

J'ai été fort malade la semaine dernière, cependant je suis allé à l'assemblée de la noblesse le 12; le bal était joli, j'ai éprouvé un vrai plaisir à voir que Moscou offrait encore un simulacre de lui-même. Cette musique, ces chants, ces fanfares quand à souper on a bu debout la santé de l'Empereur, tout cela m'a causé une émotion agréable. Je n'étais pas le seul ému: car la vieille madame Arkharow, en portant cette santé, a fait le signe de croix, et ses larmes coulaient. Pour moi j'aurais voulu l'embrasser, parce que je voyais que nous étions à l'unisson par le coeur.

Croyez-vous toujours que les Bourbons ne reviendront pas en France? Pour moi je regarde comme certain qu'ils touchent à leur réinstallation; parce que je ne vois absolument aucun moyen de finir avec ce coquin de Bonaparte par aucun espèce de paix, et qu'enfin la guerre ne peut pas toujours durer, même pour les Français, qui vont en sentir et en supporter presque tout le fardeau.

## XXXVI.

St.-Pétersbourg, le 14 X-bre 1813.

Le prince Galitzine est un homme admirable; je ne sais pas si vous l'avez beaucoup connu autrefois; mais il était bien différent de ce qu'il est à présent. Tout entier au monde et à tous les vices qu'on y trouve, il en a été véritablement l'esclave; depuis deux ans il a réformé son genre de vie du tout au tout, et à l'heure qu'il est rien n'est plus réglé que sa conduite. Il n'est ni morose, ni austère, ni intolérant; il censure peu, mais il exhorte avec douceur et encourage beaucoup à bien faire. D'ailleurs il ne parle sur certains sujets qu'avec gens qui l'entendent, et c'est sous ce rapport-là que j'aime à le rencontrer lors qu'il m'arrive des moments de tristesse, des souvenirs pénibles, un découragement intérieur, ce besoin de m'échapper en plaintes, comme

je le disais dans ma dernière lettre; il devine à ma contenance à peu près ce qui m'arrive et me donne quelques paroles de consolation. Il ne me renvoie pas à *des amis*, il m'adresse à Celui Qui ne peut jamais manquer et Qui restera toujours, quand les autres peuvent m'abandonner. Voilà donc comment est fait Galitzine, et voilà pourquoi je serais charmée de le voir plus souvent.

Le sentiment d'amitié que me porte m-r de Marcow, bien différent de celui dont je viens de parler, ne laisse pourtant pas que de me faire plaisir, et tout ce que vous avez la complaisance de me transcrire de sa lettre me pénètre de reconnaissance. Il est très-aimable pour moi: quelque part qu'il me trouve, il vient me chercher; dernièrement à travers toute la cour rassemblée il est venu me dire bonjour; depuis cette matinée qu'il passa chez moi et qu'il me parla le coeur sur la main, je lui ai reconnu quelque chose de bon qui m'a inspiré pour lui un véritable intérêt. Je crois que je n'eusse pas été fâchée de l'épouser, si l'envie lui en avait pris il y a quelques années; je n'en aurois pas été amoureuse, mais je suis sûre que je l'aurois aimé de tout mon coeur et qu'il se serait trouvé heureux de m'avoir pour femme par le soin que j'aurois eu de faire son bonheur. Nous nous sommes vus avant-hier soir chez mad. Gouriew et nous avons parlé de vous. Je crois qu'il sera bien aise que vous ayez loué sa maison pour l'assemblée de la noblesse, mais je vous plains sincèrement d'avoir sur la conscience cette responsabilité du feu, et si vous croyez qu'on peut prier pour qu'une maison ne brûle pas, je vous promets une oraison de plus à cet effet. Je vous remercie d'avoir été chez ma tante le jour de ma fête, elle me l'écrit et m'en parle avec une certaine satisfaction; je vous dis que cette bonne personne m'aime autant qu'il est possible d'aimer, elle me considère absolument comme son enfant, et rien ne lui fait plus de plaisir que de voir qu'on a quelque amitié pour moi. Elle est fâchée que vous n'ayez pas dîné chez elle ce jour-là; mais où donc avez-vous été, à quelle fête? Car mad. de Noiseville m'a positivement dit que c'était à une fête où l'on jouait la comédie. Je n'envie ni cette comédie, ni celle de Pozniakow, ni le souper de mad. Abraham Pouchkine; tout cela m'eût ennuyé à crever, et il n'y aurait eu que l'esprit de mortification qui eût pu me faire aller à un souper de 37 femmes; il me semble même que votre *fraîcheur* ne m'eût pas consolé de cette soirée. J'en aurais mieux senti le prix dans la rue du commerce.—Je crois Tatiana en pleine convalescence; elle n'a plus de fièvre et ne se plaint que d'une extrême faiblesse; elle se fatigue d'être au lit, d'être dans son fauteuil, de manger, de boire, enfin de tout; mais cela est assez simple après six semaines de maladie; les méde-

cins sont fort contents de la marche actuelle, tout en annonçant que la convalescence sera longue. J'y souscris des deux mains pourvu que Dieu nous fasse la grâce de la revoir un jour bien portante. Mad. de Noiseville vint hier passer la soirée chez-moi; nous avons beaucoup parlé de sa fille qui, je le crains bien, sera tôt ou tard aveugle, depuis sa dernière couche: le seul oeil quelle avait de bon commence à se troubler. Cet état cruel et en général tout l'avenir de cette jeune femme inquiète sa mère; une lettre qu'elle a reçue dernièrement d'elle et de Prescott l'a fait beaucoup pleurer; hier donc nous en avons reparlé, et elle a de nouveau été fort attendrie. Je voudrais qu'on pût la faire venir en Russie: elle serait au moins avec sa mère, et avec des personnes qu'elle connaît plus que toutes celles qu'elle voit à Paris; mais le moyen de la tirer de là à présent!

Oui, en vérité il m'eût été bien agréable de vous avoir en tiers chez moi, vous devez en être bien assuré; cependant je trouve très-raisonnable que vous ayez résisté à ce petit mouvement de venir manger vos dessétines de bois à Pétersbourg. C'est très-bien fait d'avoir acheté 9 hommes; mais comment se trouve-t-il qu'avec ces 9 hommes vous ayez aussi onze femmes? Il y a de la polygamie ici, ou je me trompe fort. Je vous prie, monsieur, de me calmer sur ces deux femelles de trop qui me troublent l'esprit. Vous me dites si positivement qu'elles vous feront des enfans qu'il est au moins permis de s'alarmer sur leur compte.—N'avez-vous pas été très-surpris du départ de l'Impératrice? Nous l'avons tous été ici, et en même tems très-charmés de l'invitation que lui a faite l'Empereur. Elle nous quitte le 20 et ne prend qu'une très-petite suite, je pense que ce sera un voyage de six mois. Mais quel bonheur pour elle de se retrouver avec tous les siens et dans un pays quelle a quitté depuis 21 ans, et quel bonheur plus grand encore si ce voyage rapprochait deux êtres si bien faits pour s'aimer! Adieu, vous serez content de cette lettre, elle est passablement longue. Portez-vous bien et croyez à toute mon amitié. Tout ce que vous dites de Tolstoï me paraît très-vraisemblable. Sa femme pourra, j'espère, ignorer tout ce qu'on a débité à son sujet. Je ne vous dis rien sur le passage du Rhin: madame de Noiseville vous en parle fort au long; il y a une proclamation qui nous semble un peu singulière, et je voudrais bien savoir de quelle plume elle est sortie.

## XXXVII.

Moscou, le 25 X-bre 1813.

Je suis ravi du voyage de l'Impératrice, il me paraît comme le gage du bonheur futur de la Russie. Quant à la proclamation, je vous répèterai à peu près ce que j'en ai écrit à mad. de Noiseville. Au premier coup d'oeil elle n'est point satisfaisante pour ceux qui, comme moi, désirent avec une sorte de passion le retour des Bourbons, et qui croient que ce retour peut seul finir à jamais la cruelle guerre qui afflige et accable l'Europe depuis 20 ans. Mais en y réfléchissant plus mûrement, je crois voir dans cette proclamation un moyen d'arriver au but par un chemin détourné, mais sûr. On est en force sur le Rhin, et le moment est venu de capter la nation française pour prévenir tout enthousiasme national qui pourrait nous être funeste; en conséquence on fait à Bonaparte des conditions de paix très honorables pour la France, quoiqu'absolument inadmissibles pour lui personnellement: sera-ce après avoir sacrifié d'innombrables armées et des trésors incalculables pour bloquer l'Angleterre et mettre ses frères sur des trônes, qu'il signera le dépouillement de ces mêmes frères et la liberté de la Hollande, qui ouvre 20 ports au commerce anglais? S'il avait cette faiblesse, ne tomberait-il pas dans le mépris public. Tiendrait-il sur un trône usurpé quand sa personne serait entachée d'ignominie et que ses sujets auraient à rougir de lui; quand les archives de la France et celles de l'Europe entière seraient des monuments éternels de sa honte, et quand le Moniteur, son journal officiel, deviendrait pour lui une satire plus sanglante que toutes celles que ses ennemis pourraient faire; quand toutes ses idées vastes, si exaltées, ses grandes conceptions si vantées, ne seraient plus aux yeux du monde que de ridicules fanfaronnades? Non, il est clair qu'il ne peut accepter cette paix, et qu'en la refusant tout l'odieux de la guerre dont le théâtre va se porter en France, retombera sur lui. Cette proclamation répondra aux cris et aux plaintes des Français. On vous offre la paix, on laisse la France indépendante et plus puissante qu'elle ne le fut jamais sous ses rois; votre chef seul refuse des conditions aussi avantageuses: ne vous en prenez qu'à lui des maux que vous souffrez et présentez-lui vos réclamations comme au seul auteur de vos souffrances. Il me semble que ce raisonnement frappera la France entière et qu'il établira une division entre les gouvernants et les gouvernés bien plus sûrement que ne pourrait le faire toute déclaration des puissances qui prétendraient

s'immiscer dans le gouvernement du pays et qui présenteraient un roi, qui tout légitime qu'il est servira cependant de point de ralliement autour de Bonaparte à tout le parti jacobin et à tous les acquéreurs de biens nationaux, ce qui fait la majeure partie des Français. Il faut éviter de fournir à Bonaparte des prétextes qui lui servent à se montrer encore à la nation comme le seul homme qui puisse la tirer de l'embarras présent; il faut le décréditer auprès de ses peuples, et de la division qui naîtra il faudra saisir les événements pour en venir enfin au vrai but qui, j'aime à le croire, est aux yeux de toutes les puissances Louis XVIII. Si je me trompe dans ma manière d'envisager la chose, alors je conviens que la proclamation est très peu satisfaisante; mais, je le répète, chacun sait que cette paix est inacceptable et que les usurpations précédentes de Bonaparte font de cette guerre-ci une guerre à mort entre les rois légitimes et lui. J'écris si fort à la hâte que je ne sais si je me fais comprendre, mais votre sagacité corrigera ce que j'aurai mal rédigé.

## XXXVIII.

St.-Petersbourg, le 22 X-bre 1813.

Je viens de faire mes courses, il y a 23 degrés de froid, un vent insupportable; on m'a conduit aux extrémités de la ville, j'ai barbotté dans la neige et je suis transie; malgré cela, je vais vous dire un mot pour ne pas vous causer le petit chagrin de n'avoir pas de mes nouvelles un jour que vous en attendez. Mad. de Noiseville m'a dit que vous étiez malade, que vous aviez eu un mouvement de fièvre, que vous avez passé une nuit blanche; j'en ai été peinée, je voudrais que cela fût passé bien vite et que vous vous portassiez toujours à merveille. N'oubliez pas que vous êtes la fleur des pois à Moscou, soutenez donc votre réputation et ne soyez pas cacochyme. Si vous avez les froids que nous ressentons ici, je vous plains; jé déteste ces fatales gelées et j'aime encore mieux le vilain tems humide; je ne puis pas vous rendre l'horreur des 113 marches par le tems qu'il fait, c'est à devenir folle lorsqu'il les faut descendre et remonter deux ou trois fois le jour: on pourrait en pleurer. Mais le moyen de s'épargner cette besogne! Il faut presque de nécessité aller chercher son dîner, souvent faire une seconde toilette pour sortir le soir. Enfin on a beau penser et repenser: il faut descendre, il faut monter, et je le fais. C'est surtout pendant ces froids cruels qu'il serait doux et agréable d'avoir à

l'Hermitage un autre voisin que Labensky, qui viendrait prendre une tasse de thé sur les 8 heures du soir et faire perdre toute idée et toute envie de voir de la société autre que celle de ce voisin. Mais les choses ne s'arrangent pas comme nous le voudrions, et il est à peu près certain que de vous à moi il existera toujours une distance bien plus longue que celle de quelques corridors et escaliers.

Je pense que la comtesse Tolstoï sera déjà à Moscou, j'en suis charmée et pour elle et pour ses enfans, qui perdent leur tems à la campagne, n'ayant pour toute ressource que Семенъ Ивановичъ. Les études et les talents doivent en souffrir prodigieusement. Quant à la comtesse, je suis sûr qu'elle n'en peut plus aussi, et je serai fort aise de la savoir arrivée, car du moins elle entendra parler de ce qui se fait dans le monde. Son mari est allé bloquer Magdebourg, je le sais de mad. Gouriew, qui a reçu des nouvelles de son fils. Celui-ci se désespère qu'on ne les employe qu'à ce blocus, il a l'air d'en avoir une certaine honte; mais je trouve qu'il a tort: un militaire doit faire ce qu'on lui commande, sans murmurer. Le général Kleinau va partir pour l'Italie, et je ne sais pas trop ce qui arrive, au reste, de la milice de Nijnei; personne ne nomme ni Mouromzow, ni Titow. Je doute cependant que celui-ci revienne, et il me semble que ce qu'on en dit est un fagot; toutefois je suis portée à croire à quelque petit mécontentement, car enfin il n'a pas été au siège de Dresde et est demeuré à Töplitz sous prétexte de maladie; il a écrit de là à ma soeur, qui à son tour l'a fort engagé à venir les joindre à Vienne. Je vous confesse que cet armement de Nijnei et la manière dont il a été fait m'ont donné bien du désagrément, j'aurois donné tout au monde pour n'y pas voir le nom de Tolstoï, et il m'eût été mille fois plus agréable de le savoir tout uniment à la tête d'un corps comme le commun des martyrs, que chef de toute cette soi-disante innombrable milice qui cependant s'est trouvée réduite à peu de chose. Enfin il est clair que la fortune ne sourit plus à cet homme-là et que depuis 5 ou 6 ans toute sa carrière a été bouleversée. Ostermann est revenu à Vienne, il a pris les bains de Baden pendant trois semaines, mes soeurs m'écrivent que cela lui a fait du bien. Les Ostermann ne savent encore s'il leur sera possible d'aller en Italie, ou s'ils devront rester à Vienne pour recommencer les bains au printemps prochain; mais de cette alternative je conclus que je ne reverrai mes princesses que dans une année. Je vous ai dit que mon intention avait été de venir sur la fin de l'hyver à Moscou, et le départ de l'Impératrice Élisabeth m'y avait presque déterminée; car je me trouvais libre de mes faits et gestes. Mais nous venons de recevoir l'ordre de l'Impératrice-mère de faire le service chez elle, tant pour

les promenades que pour les soirées qu'elle compte reprendre. Il me semble que ce serait lui manquer que de demander à partir dans ce moment, de sorte que je remets mon projet à l'été, ou même plus tôt s'il se présentait une bonne occasion. Dieu y pourvoira, je l'espère.

## XXXIX.

St.-Pétersbourg, le 30 X-bre 1813.

La gazette de Berlin nous apporte la prise de Torgau et de Bergopsoom; cela va à merveille en Hollande, on marche sur Anvers. Les Autrichiens avaient un petit brin négocié pendant ce tems-là; mais ces négociations qu'ils aiment à la rage n'ont rien produit. Bonaparte tout battu qu'il est n'acquiesce à rien, et voilà qu'on va recommencer, cela devient curieux et intéressant; quelle guerre cela va-t-il être! La nation française s'opposera t-elle aux alliés? Cela me semble fort incertain. On organisa en France cette nouvelle levée, et rien ne remue jusqu'à présent. L'autorité de Napoleon est encore dans toute sa force; il vient, dit-on, de reléguer à Vincennes quatre sénateurs qui osaient parler, et cette mesure a fait taire les autres, et les a rendu plus souples que jamais. Dieu seul sait ce qui arrivera, mais en attendant je suis prête à parier que pour toute l'année 1814 il ne sera pas plus question d'un Bourbon que de moi, pour le trône de France; il n'y a que vous, m-r de Milleville, et m-r Dubourg (un des prisonniers de mad. de Noiseville) qui y croyez; personne de plus, je vous assure. A propos de m-r Dubourg, il vient souvent chez la princesse Boris, il est assez agréable, très-intéressant à entendre sur la guerre de la Vendée; il a un peu la cranerie des Bretons, mais avec tout cela il pourrait bien finir par me déplaire. Il s'est avisé l'autre jour de me faire un compliment sur mon pied, qui m'a paru sôt et déplacé.



1814.

## I.

Moscou, le 1 janvier 1814.

Ah, combien je vous plains d'être perchée aux mansardes du palais, par un froid aussi excessif que celui que nous avons eu! Je sens toute l'horreur de 113 marches d'un escalier qui n'est pas chauffé. Si vous sortez deux fois par jour, cela fait un petit supplice de 452 degrés tout juste. Hélas! je crains bien en effet de n'être jamais votre voisin plus près que la distance de la Nikitzka à la rue du Commerce, et encore s'il en était ainsi! Mais cette circulaire aux demoiselles d'honneur, comme Napoléon en envoie à ses préfets, je vous demande à quel propos? A l'honneur de quel saint cette fantaisie d'assemblées? Comme cela va vous amuser et redoubler votre amour pour le monde! Au reste on meurt tant ici, que je suis plus en repos pour ceux qui sont à distance.

Voilà ce qui est arrivé à Vandamme. Il était l'autre jour dans un lieu que je ne saurais comment vous désigner; on dit aux enfans que c'est où le roi va à pied; c'était le soir, il y était avec une lumière. Tout à coup un bruit terrible se fait entendre, quelque chose d'affreux tombe avec grand fracas sur la tête du brave général, et ce quelque chose éteint sa bougie. Vandamme, hors de lui, se jette dans la chambre du commandant, plus pâle qu'un mort et dans un désordre de toilette avec lequel il n'est point d'usage de se montrer; il se plaint d'un guet-apens, veut qu'on lui rende compte de ce qui vient de lui arriver. Le commandant court avec une sentinelle et deux domestiques; on trouve que l'auteur de ce vacarme était une malheureuse poule qui s'était perchée sous le toit de ce beau lieu et qui, éblouie par la bougie, était tombée en se débattant et criant. On vient au général pour le rassurer en riant, et quand il se vit l'objet de la pitié des domestiques, sa fureur devint telle qu'il se fit apporter la poule sur le champ et *la déchira en pièces*, en jurant comme un damné. Le fait est parfaitement sûr; vous pouvez le conter comme une chose avérée, donnant le dernier coup de pinceau à un tel homme, qui à ce qu'on assure, a la fleur de lys sur l'épaule, ce qui l'a peut-être effacée de son coeur. Le Times, gazette anglaise, prétend qu'il était au nombre des galériens marseillois arrivés à Paris pour le 10 août 1792, et que sa fortune date de là. Cela n'empêche pas qu'il ne soit recherché ici plus que ne le serait peut être le duc de Polignac ou tel autre

Français de sa sorte. Tant il est vrai qu'aux yeux du vulgaire les richesses, quelle que soit leur source, font bientôt pardonner les forfaits les plus révoltants, comme le malheur fait disparaître à la longue tout mérite intrinsèque. Vandamme a reçu 50 mille roubles par son banquier; on ne parle que de ses terres, de ses châteaux, et l'on conclut en disant qu'un homme qui a 500 mille francs de rente ne doit cependant pas être traité comme un polisson. Ce pitoyable raisonnement me fait sauter en l'air toutes les fois que je l'entends. C'est faire l'éloge, et même l'apologie, du vol, de l'assassinat et de tous les crimes qui ont servi de degrés à Vandamme pour arriver à cette fortune honteuse dont ses amis (puisqu'il en a) devraient rougir.

J'oubliais parmi les morts un jeune Tarakanow, qui s'est marié il y a deux mois avec une d-elle Labkow. On disait à cette demoiselle: n'épousez pas cet homme-là; il est poitrinaire et ne peut pas vivre. Elle répondait: il vaut encore mieux être veuve que fille.

## II.

Moscou, le 8 janvier 1814.

Je profite d'une insomnie bien conditionnée pour causer avec vous. Il est 5 heures du matin; je me suis endormi à 3, réveillé à 4, et je sens que mes yeux ne se fermeront qu'au grand jour. Il y a des temps comme cela; il faut les prendre en patience. Si ma lettre est sotte, si mon style est lourd, vous saurez à quoi l'attribuer. Les savants qui font des livres, appellent leurs ouvrages *le fruit de leurs veilles*; je crois que c'est une manière de parler tout à fait fausse, car j'éprouve qu'on jouit à peine de l'exercice du sens commun quand on ne dort pas. Je suis à moitié hébété, et si j'écoutais mon amour-propre, je jetterais plume et papier; mais à la vie que je mène, Dieu sait si je trouverais le temps de reprendre ma lettre. Moscou est devenue un tourbillon, et ce tourbillon m'entraîne bon gré mal gré que j'en aye. Je ne m'amuse pas, je vous le garantis, mais je manque de prétexte pour refuser de faire ce que les autres font. L'Assemblée est la première cause de tout ce tumulte; j'y suis comme un accompagnement obligé, puisque c'est elle qui me vient chercher, et comme j'y porte un visage de circonstance bien ouvert et bien gay, on ne doute point que ce ne soit la foule qui m'inspire, et les amants de la foule me disent que je suis charmant et m'engagent pour le reste de la semaine. Or, j'ai un chien de caractère si enclin à l'exactitude, si esclave de ma parole, que lorsque j'ai dit

une fois *oui*, il me semble que je suis lié par un contract, et je m'exécute comme un traité de capitulation à mes risques et périls. Par exemple, je vous prie de me suivre depuis 48 heures. Mardy 6 il y en a ici un grand dîner de 50 couverts à l'Assemblée, où, quelque sobre qu'on soit, on mange toujours un peu plus qu'on n'aurait fait chez soi, on boit des santés, on excite l'humeur gotteuse qui demanderait qu'on se mît au lait plutôt qu'au vin. Dans ce dîner on est deux grandes heures à table, et jugez de l'agrément quand on s'y trouve placé entre le vieux Tatistchew, mari de la princesse Gagarine et un inconnu affamé qui ne sait pas dire *pain* en français. En sortant de table, 8 robbers de whist avec le grand-pastelnik Caliarchi, un diamant à chaque doigt, vêtu de châles turcs et la calotte de drap rouge sur le chef, et une longue barbe noire qu'il caresse à tout moment pour faire briller ses bagues. Son compatriote Warlam, habillé de martres zibelines et de satin ponceau, barbe grise et humeur joviale; enfin Boulgakow que vous connaissez. Ces 8 robbers finis, je descends chez moi, où je compte me reposer en attendant l'heure de l'Assemblée; mais ces deux boyards valaques n'imaginent-ils pas qu'il ne vaut plus la peine de rentrer dans leurs maisons et qu'ils se trouveront tout portés ici pour l'Assemblée s'ils viennent passer deux heures dans ma chambre. En conséquence ils m'amènent un m-r Zagriajsky pour quatrième, et voilà 8 nouveaux robbers qui se passent à petit bruit et à huis clos, au bout desquels on vient nous dire que les salons sont remplis et qu'il est temps de rentrer. Me voici au bal, et comme mes jambes sont engourdis d'une si longue séance au tapis vert, je me mets à arpenter cette maison à grands pas, une dame à la main et pendant une heure de suite: on appelle cela, je crois, danser des polonaises. Enfin viennent les écossaises, et je m'assieds pour un petit moment de conversation. Mais bon, voilà une dame debout, il faut bien vite lui offrir sa chaise; je continue à parler debout à ma voisine assise. Au milieu d'une phrase un étourneau qui galoppe une tempête me heurte à me faire faire dix pirouettes, et voilà le fil du discours perdu. A minuit on soupe, et à Moscou toutes les dames soupent comme si elles n'avaient pas mangé depuis 8 jours. Deux d'entre elles me prient de les escorter à table pour avoir un voisin de connaissance, et le voisin, qui n'en peut plus, fait cependant les choses de si bonne grâce qu'on le conjure d'aller après souper avec les voisines à la mascarade de Pozniakow. Eh, mesdames! J'y ai été le jour de l'an, c'est une foule, une bagarre horrible; je ne saurais vous conseiller de vous hasarder là-dedans.—Vraiment, il y a beaucoup de foule? Oh, que cela doit être délicieux! Allons-y, allons-y, vous redoublez notre envie; allons-y bien vite, car il est une heure. Je vais à la mascarade,

et je n'en reviens qu'après avoir rôdé des salons au théâtre, du parterre aux loges, qu'après avoir essuyé les insipides propos de 20 visages cartonnés. Quand je suis par la grâce de Dieu dans mon lit, j'ai beau y chercher le sommeil; j'ai la tête remplie de Valaques, de cartes, de danses, de masques, et je me dis: ce sont donc là les plaisirs de ce monde; ah, que j'aimerais mieux dormir! Cependant le lendemain, qui était hier, me trouve harassé. Mais quoi! N'ai-je pas promis de dîner chez le prince Bariatinsky; son monde est compté, on ne peut lui manquer, et puis il est si poli, si aimable; allons, je dormirai après! Mais le concert de m-r Apraxine, bon Dieu! Il est impossible de s'en dispenser: j'ai accepté un billet, j'ai promis d'y aller en société, et cette société ne me pardonnerait pas mon manque de parole; et puis, un concert, cela m'endort pour l'ordinaire, et j'ai besoin de somnifères. A 7 heures je suis au concert; à 10 heures j'en sors pour aller avec l'univers au bal de la princesse Troubetzkoï. Ce bal est joli et suivi d'un souper de 60 personnes qui finit à deux heures... Vous savez le reste... Je vais me remettre au lit; je finirai ma lettre, si je peux, avant d'aller à un grand dîner chez le prince Youssoupow... Priez pour moi, je vous en conjure, car j'en mourrai pour peu que ceci dure.

Me voici après une heure de repos; je ne vous parlerai plus de moi: il faut des bornes à tout. J'ai vraiment ri en lisant votre course nocturne avec m-r de Markow et la manière dont vous en parlez comme en vous excusant. Ce n'est pas moi qui vous accuserai, je vous le promets: personne n'est plus convaincu que moi qu'une femme n'a rien à craindre que d'elle-même et qu'elle ne sera jamais attaquée même par un homme qui aurait 40 ans de moins que m-r de Markow, à moins qu'elle ne le veuille bien! Quel homme s'exposerait à la colère *véritable* d'une femme? C'est la bienséance et non la nécessité qui a établi l'usage de n'être point tête à tête en voiture. Quant à m-r Dubourg, c'est un homme fort aimable peut-être, mais son éducation n'a pas été soignée, sans quoi, comme vous le dites fort bien, il n'eût pas hasardé un compliment familial avant d'être bien certain qu'on peut se familiariser. J'avais 18 ans et je croyais qu'il fallait dire quelque chose à toutes les femmes. Une parente éloignée arriva chez mon père avec sa fille assez fraîche et jolie que je ne connaissais point. Je lui dis dès le lendemain devant tout le monde que je la trouvais charmante; la demoiselle rougit, la mère dit sans se fâcher à mon père: „Si j'avais cru que votre fils fût si mal élevé, je n'aurais pas amené Henriette avec moi“. Je fus pétrifié et je sentis tout de suite l'inconvenance de ma conduite, sans autre explication. Je n'ai plus fait de sottise pareille dans ma jeunesse; mais j'avoue que les voyages, loin

de me former à cet égard, m'ont gâté, parce qu'on rencontre en voyageant beaucoup plus de femmes qui ne veulent pas être respectées que d'autres; et remarquez que dans toutes les capitales les maisons les premières ouvertes aux étrangers sont presque toujours celles des femmes les moins scrupuleuses; ce n'est qu'après quelque séjour qu'un voyageur pénètre dans la meilleure société avec quelque familiarité. Votre m-r Dubourg a sûrement rencontré beaucoup de princesses Santa Croce, et son compliment sur votre pied me rappelle cette dame Romaine chez laquelle débutaient tous les arrivants. J'y allai avec m-r de Calonne, qui la connaissait de réputation; elle nous reçut à sa toilette et fut dès la première visite d'une gayeté folle. M-r de Calonne, se conformant au ton de la dame, se mit à la louer sur ses charmes, ce qui paraissait lui faire grand plaisir et l'animer beaucoup. Quel joli pied! dit m-r de Calonne. *Ah ah, et la jambe*, répondit la princesse en la découvrant jusqu'à la jarretière. Ce n'est pas là ma modeste cousine, me disais-je tout bas. Et en lisant votre lettre je disais de Dubourg: *ce butor la prend-il pour une Santa Croce?* Vous avez toute raison d'être mécontente de lui; mais ne craignez pas que je l'imité. Personne ne connaît mieux que moi tout ce qui est louable en vous, mais personne ne vous en parlera moins, parce que la première de vos qualités est la modestie, et que la blesser le moins du monde serait se nuire à soi-même. D'ailleurs un homme n'a pas besoin de parler pour qu'une femme devine tout ce qu'il pense d'elle; cela se fait voir par un certain silence plus clairement que par les discours les plus éloquents.

On dit Titow fort malade à Rézan; j'espère qu'on exagère. *Семень Ивановичъ* est arrivé hier avec l'obose; il prétend que la comtesse sera ici demain. Je me trompais donc: tant mieux.

Voilà le Rhin passé, et notre Empereur en France. Hier on a illuminé la ville; le comte Rastoptchine avait fait poser devant sa maison un transparent où sous le nom d'Alexandre on lisait ces mots:

Добродѣтель—его законъ,  
Предъ нимъ палъ Наполеонъ.

Voici le moment d'une campagne décisive. Espérons que Dieu nous soutiendra jusqu'au bout.

## III.

St.-Pétersbourg, le 5 janvier 1814.

Avant d'avoir reçu votre lettre du 25, je savais votre histoire avec le prince Michel; m-r de Markow me l'avait contée, et je vous assure qu'il en a été beaucoup moins piqué que vous et que ces contretemps-là ne lui tiennent point à coeur. Quant à vous, je comprends votre humeur, parce que cela m'aurait produit le même effet, tant il est vrai que rien n'est plus difficile que de soigner les intérêts des autres: on croit toujours n'en pas faire assez. Je suis fâchée que ce ne soit pas Rounitch qui ait pris cet appartement; comme ce n'est pas très-loin de chez ma tante, ils auraient pu se voir assez souvent. Vous ne connaissez pas les parents du directeur de la poste: ils sont excellents, extrêmement de mes amis et la mère une véritable sainte. Apprenez-moi s'ils sont déjà à Moscou et quelle est cette maison Messayédow, où ils se logent. C'est toujours à cause de ma tante que je veux le savoir. A propos de m-me Arséniew, savez-vous qu'elle vous aime infiniment? Dans sa dernière lettre elle vous nomme *son cher Ch.*; elle me dit que vous allez la voir et que cela lui fait grand plaisir. Allez-y toujours, parce que cela m'en fait aussi et que cette bonne tante à son tour mérite bien d'être aimée. Je lui avais écrit au moment du départ de l'Impératrice que mon intention était d'aller cet hiver à Moscou et je l'aurais fait de suite, si l'Impératrice-mère n'avait ordonné le service chez elle; il ne serait pas convenable de partir après cet ordre. Nous avons commencé à servir, et avant-hier j'ai accompagné S. M. à l'infirmierie et j'ai été dans l'admiration en voyant l'intérieur de cette maison. Elle peut contenir deux cents malades, soignés à ravir. La propreté des chambres est comme celle des plus beaux salons; les malades jouissent de tout plein de commodités: des fauteuils pour les convalescents; auprès de chaque lit une table sur laquelle se trouve tout ce dont on peut avoir besoin. Enfin c'est quelque chose de merveilleux, et j'en ai bien dit mon sentiment à l'Impératrice; je n'imagine pas qu'il puisse exister ailleurs un établissement de ce genre mieux entretenu! En sortant de là ma tête s'est montée; j'ai pensé au bonheur qu'on aurait de se retirer dans quelque terre où l'on établirait un hôpital pour les malades, une école pour les enfants, enfin mille choses semblables qui feraient du bien à l'âme et donneraient de l'occupation à l'esprit! Mais hélas,

jamais cela ne pourra s'arranger pour moi qui ne possède pas un pouce de terrain sur le globe.

J'ai commencé mon année dans la maison Gouriew; il y a là une chapelle où l'on a dit des prières le soir; ensuite nous sommes rentrés au salon, où il est venu quelques personnes. M-r de Markow à onze heures; il arrivait de chez un m-r Хованько, une espèce de coupe-jarret, un homme qui a servi dans les vivres, où il a volé de toutes mains. Actuellement il a une fortune énorme, donne à dîner et joue très-gros jeu. Ce dernier article y a attiré notre vieux, qui meurt de rire en contant tout ce qui se passe chez le dit monsieur et qui convient que c'est pour l'amour des cartes qu'il se compromet dans une telle société. Il nous a vraiment fort amusés en nous parlant de ce dîner. Au reste nous nous sommes embrassés du meilleur coeur du monde et je ne puis vous rendre à quel point je suis dans ses bonnes grâces.

Depuis que le prince Boris est arrivé, il y a quelque chose de gauche dans la maison de sa femme. Il me semble qu'ils ne sont pas faits pour habiter sous le même toit. Je le crois très-bon homme, mais c'est quand il est seul; en ménage je le vois tracassier et pas mal désagréable. M-me de Noiseville est là pour maintenir la balance, cependant il y a eu déjà quelques échappées de la part de ce mari, qui m'ont étonnée. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'à l'exception du comte Tolstoï je n'ai pas vu un seul époux qui eût l'air de quelque chose; pour celui-là, c'est un mari parfait. Savez-vous que Titow revient; malheureusement rien n'est plus certain; j'ai eu des lettres de mes soeurs qui me l'apprennent. Il est toujours resté malade à Töplitz et puis la fantaisie lui a pris de s'en revenir en Russie. Ostermann l'a engagé à venir le joindre à Vienne, lui proposant l'Italie pour le printemps prochain. Ma soeur qu'il adore lui a aussi écrit; il n'a répondu à personne, et Catherine suppose qu'il est déjà parti. Ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont il a fait cette équipée. A-t-il quitté le service? Ne veut-il plus rester à cette milice? Dieu le sait. Je tremble de le voir arriver. Si c'est un mécontentement entre lui et Tolstoï qui l'a fait quitter, je frémis qu'il ne vienne nous jeter à la tête ses incartades accoutumées. Malheur à lui si je l'entends: nous nous brouillons à mort.

## IV.

Moscou, le 15 janvier 1814.

J'avais cru comprendre que l'Impératrice-mère demandait des demoiselles d'honneur pour tenir salon et non pour les mener à l'hôpital; toute fois je suis certain que cette visite vous a fait plus de plaisir qu'un gala de cour. Ces établissements seraient admirables s'il était possible de les multiplier au point que chaque pauvre malade pût y trouver une place; mais quand on pense qu'on n'y entre que par faveur et protection et que pour un admis il y a 50 refusés, cela ôte beaucoup du plaisir que le coeur éprouve en examinant ces échantillons de bienfaisance. La pièce entière ne se verra peut-être jamais; il paraît que cela est au-dessus des moyens des gouvernements ou de la volonté des gouvernants.

L'Hôtel-Dieu de Paris est une vaste maison, et j'y ai vu jusqu'à quatre malades dans un même lit, ce qui est peut-être plus nuisible qu'utile. L'hôpital de Milan était aussi un des plus beaux et des plus grands établissements de charité qui fût au monde, mais il était loin de suffire aux malades nécessiteux qui en sollicitaient l'entrée. A Rome de même. A Madrid les hôpitaux étaient richement dotés par différents rois; on avait cru devoir ajouter à cela encore les revenus des combats de taureaux, qui donnaient une somme prodigieuse, mais tout cela était loin de suffire aux besoins des pauvres malades. D'où je conclus que rien n'est plus difficile que de parvenir à des moyens suffisants. Je ne pretends pas blâmer par là les essais qu'on fait, bien au contraire: il est très-beau de faire ce qu'on peut et de s'en remettre pour le reste à la Providence. Les pauvres ont fait une perte irréparable par l'abolition des couvents dans toute l'Europe catholique. Les distributions de vivres qui s'y faisaient tous les jours de l'année alimentaient un nombre infini de vieillards, de femmes et d'enfants; les caisses militaires ont absorbé le fond de tous ces monastères, et l'on a cru faire un grand pas vers la civilisation en dispersant les moines et les religieuses, dont l'institution était aux yeux des philosophes si contraire à la population. Je voudrais demander à ces messieurs aujourd'hui ce qu'ils pensent des conscriptions, qui arrachent quatre ou cinq cent mille jeunes gens de leurs foyers pour les mener à une mort certaine? C'est pourtant là le résultat de leur amour pour l'humanité!

Je savais bien que le prince Boris n'était pas fort aimable en ménage; il est peu fait pour la bonne société; il aime *son monde*, et ce monde est un peu *subalterne*. Je crois que m-me de Noiseville le voit



trop en beau, du moins ceux qui croient connaître le fond de son caractère et les détails de sa conduite en font beaucoup moins de cas qu'elle. J'imagine aussi que l'article finance lui donne de l'humeur, mais je ne saurais plaindre un homme de cette qualité qui se trouve dans l'embarras pour s'être fait *fermier général*; cela est si peu noble, cela répond si mal à son nom et même à la fortune considérable qu'il a pour soutenir ce nom, qu'on ne peut plaindre que sa femme et ses enfants, et non lui prince Galitzine. Comment, avec treize mille paysans qui rapporteraient deux cent mille roubles de rente sans ces vilaines fermes d'eau-de-vie, on ne pourrait pas avoir une bonne maison à Pétersbourg, y établir sa famille, y vivre honorablement et ne pas faire de dettes? Cela me passe. Mais non, avec cette superbe fortune il faut s'enterrer dans le fond d'un village deux ou trois ans de suite et, au lieu de profiter de cette retraite pour payer ses dettes, il faut que m-r achète, comme un enfant, bientôt une compagnie de musiciens de 60 mille roubles, bientôt une meute de 50 mille, et qu'il ait un sérail et tout le train de confidents que cela entraîne!... Ah, cela n'est ni beau, ni sensé, ni estimable. Je plains cette pauvre princesse qui, après tout, n'a, selon moi, que les goûts et les prétentions de son état. Vouloir vivre dans une ville quand on est née pour cela, quand on a trois filles à établir et une fortune qui en donne les moyens, ne me semble point une chose répréhensible. Mais nous la verrons revenir à Cima pour deux ou trois ans, et cela ne payera pas un sou de dettes. La bonne société gêne le prince à la longue, soyez en sûre; de plus, c'est un homme qui se laisse monter la tête par des sots avec une facilité incroyable.

Vous avez raison, le comte Tolstoï est un mari parfait; il en est peu sur ce modèle, et peu de femmes plus heureuses sous ce rapport que la sienne. S'il pouvait revenir s'établir à Moscou l'hiver, à Troitzkoyé l'été, renoncer à toute ambition et marier leurs filles, il ne manquerait rien à leur bonheur. Eudoxie est encore grandie, c'est une très-belle personne; Sophie a beaucoup plus de sens et de maturité, mais je ne suis pas de l'avis de sa mère, qui la trouve plus belle que son aînée. Sachou est charmant. A propos, on prétend ici que le prince Boris s'est brouillé à Minsk avec le gouverneur et avec les chefs des régiments de sa milice, et que cela lui a causé plus d'une affaire désagréable. Si vous n'en avez pas entendu parler, gardez-vous d'en rien dire; car aussi bien cela peut être faux ou exagéré.

J'ai loué le second étage de cette maison-ci à m-r Bachmétiew et une des ailes à une m-me Gouriew; il y a encore une aile vacante et qui se placera; en attendant la maison rapporte à l'heure qu'il est 13,200 roubles, avec la seconde aile cela ira à peu près à 15,000; cela

ne va pas mal, et je suis fort aise d'avoir si bien réussi, puisque je me suis chargé de la chose.

L'Assemblée de Mardy était fort brillante, on dansait dans deux salles, on jouait dans cinq ou six chambres, grand souper dans la bibliothèque, c'est à dire dans la chambre destinée à l'être; et pour moi qui viens me reposer dans mon cabinet quand j'ai trop chaud, je trouve ces soirées-là assez agréables. Mais les Valaques ne m'ont pas rattrapé pour leur whist: j'ai passé cette fois-ci une journée raisonnable. Lundy il y a eu 620 personnes au spectacle chez m-r Apraxine, où m-r Какошкинъ, m-r Ilyine et la princesse Dolgorouky ont fort bien joué.

## V.

St.-Pétersbourg, le 12 janvier 1814.

Que dira l'aimable Christin de notre association avec le roi Murat? L'affaire est faite, l'Empereur l'écrit et ajoute que c'est bien à son corps défendant. C'est donc l'Autriche qui s'est mêlée de cela. Elle aura oublié que le roi de Naples ne peut être que le mari de la reine de Sicile, grande tante et belle-mère de l'empereur actuel. Enfin il paroît qu'on ne veut pas soigner cette cause-là et qu'on saute à pieds joints sur certaines illégitimités. Pour moi je n'aurais pas traité avec Murat, et les 40 mille hommes qu'il promet et qu'il n'aura peut-être pas, ne m'auraient pas déterminée à entacher ainsi une sainte et juste alliance, comme l'étoit jusqu'ici celle des trois souverains. Lord Castlereagh est parti pour le quartier-général, on ne sait trop à quelle fin. Nous attendons le premier courrier avec impatience: il doit apporter des nouvelles intéressantes; on sera en France sans aucun doute.

P. S. Il est arrivé un courrier du 23 décembre. Notre Empereur était encore à Fribourg; il parloit d'aller à Basle. On a pris Fort-Louis, et à Genève 108 canons. Il y a beaucoup de mouvement en France, on quitte sa province pour, se réfugier à Paris, où l'on prétend qu'il y a aussi quelque peu de consternation. Bonaparte, pour maintenir son monde tranquille, va au spectacle et se montre souvent dans les rues. Il a de nouveau péroré le corps législatif en disant que la trahison de tous ses alliés était la seule cause de ses revers; il leur a rappelé ses anciennes victoires dont l'Europe entière est restée étonnée.

## VI.

Moscou, le 22 janvier 1814.

Vandamme n'est plus ici, il court la poste sur le chemin de Sibérie; c'est l'Empereur lui-même qui l'a ordonné, en manifestant son mécontentement de ce qu'on l'admettait ici dans les sociétés. Wolkow, qui le menait, en a sur les oreilles, et sa belle-mère va s'ennuyer d'avoir perdu un convive aussi agréable. Il faut être prudent dans la conduite qu'on a avec ces prisonniers, et le mieux serait peut-être de ne les point voir du tout. Il ne faut point oublier que ceci n'est pas une guerre ordinaire entre deux nations civilisées: ce sont des brigands qui ont suivi un autre brigand pour piller et dépouiller; on peut les regarder comme les camarades d'un nouveau Pougatchew. Qu'importe que parmi eux il se trouve des noms illustres, ils n'en sont que plus coupables, ceux qui les portent, puisqu'ils ont oublié ce qu'ils devaient à leurs ancêtres et à leur souverain légitime pour se vendre à cet odieux usurpateur qui va périr, selon toute apparence, comme le dernier des misérables.

Le traité avec Murat est plus politique qu'honorable assurément; mais s'il peut servir à écraser le monstre, on fait bien de l'accepter. A la fin des comptes il trouvera le sort qu'il mérite aussi bien que son beau-frère; et je suis persuadé qu'une réaction d'opinion remettra bon gré mal gré chacun de ces messieurs à leur place. Le discours de Napoléon au corps législatif ressemble au chant du cygne; il voudrait se faire passer pour un Titus ou un Marc-Aurèle, tandis que c'est *Néron épouvanté* qui cherche à prolonger quelques instants sa malheureuse existence. Vous voyez que les alliés ne rencontrent jusqu'ici aucune résistance et que cette dernière levée de conscrits ne s'effectue pas aussi facilement qu'on aurait pu le craindre.

La contre-révolution est faite en Suisse; La Harpe doit en être furieux. Ferrier, Bouvat et le vieux Ornon ont pleuré de joye, quand je leur ai envoyé la gazette qui contenait la prise de Genève sans effusion de sang.

## VII.

St.-Pétersbourg, le 18 janvier 1814.

On nous a prêché ce matin un sermon magnifique chez Galitzine. C'est l'archimandrite nommé Philarète, qui a une éloquence admirable. L'auditoire était nombreux; on est sorti pénétré jusqu'à l'âme. Le comte Boutourline a déjà traduit plusieurs de ses sermons; mais la langue française est bien faible en comparaison du texte slavon si grand et onctueux! Le sermon d'aujourd'hui était sur la pénitence et commençait par ces mots: *Une voix crie dans le désert*. La matière a été bien développée, bien menée, et la fin admirable par quelque chose de nouveau; car il a terminé son sermon par une interrogation qui nécessitait à peu près une réponse au fond du coeur de chacun des assistants.

La gazette de Berlin nous apporte un discours de Fontanes au Sénat, bien astucieux, et ensuite un autre de Lacépède avec une réponse de Napoléon dans laquelle il dit tout bonnement qu'il n'est plus question de recouvrer les conquêtes anciennes, mais qu'il faut repousser l'étranger qui envahit le territoire français; il dit que le Brabant, l'Alsace, la Franche-Comté et le Béarn sont entamés, et il appelle les autres provinces au secours de sa famille, *qui est le peuple français*. Il a l'air de convenir de ses fautes; cependant il jette du trouble dans l'âme en appuyant sur la conduite des alliés, si fort, dit-il, en contradiction avec la profession qu'ils font d'être *modérés*. Enfin il a l'air d'être bien mal dans ses affaires. Cependant je répète encore mon refrain: point de Louis 18. Bonaparte fera la paix; une vilaine paix sans doute pour lui, mais je suis sûre qu'il y donnera les mains et que ce sera avec lui qu'on traitera et point avec un autre. *Parions!*

## VIII.

Moscou, le 29 janvier 1814.

La lâcheté du discours de Bonaparte à son Sénat m'a révolté plus encore que ses insolences ne faisaient ci-devant. Il m'inspirait de l'horreur, à présent c'est un profond mépris que je sens pour lui. Il a l'air de ces criminels arrogants jusqu'au moment de leur sentence et qui marchent à la mort en pleurant. Je ne puis croire qu'on fasse la paix avec ce vil scélérat démasqué. C'est à ses complices à l'anéantir bien vite comme un gage du pardon qu'ils devront chercher à obtenir de la France et de l'Europe, et de la postérité. Une autre considération me semble rendre la paix impossible: ce serait tromper la confiance des peuples qui ont fait de si grands efforts, des sacrifices si immenses pour secouer enfin le joug de ce tyran, que de le laisser régner au moment où l'on a toutes les facilités possibles de l'effacer de la liste des souverains. On assure ici que son frère Joseph a abdiqué; je m'attends à lui en voir faire autant à lui-même, car je commence à croire qu'il ne saura pas mourir sur son trône et qu'il aimera mieux imiter le roi Théodore, qui est mort à l'hôpital à Londres. Pour moi, je mourrai aux Quinze-Vingts, si mes yeux ne se guérissent pas bientôt: ils sont enflés, enfluxionnés, collés, pleurants depuis quatre ou cinq jours, et cela est fort incommode, car on me défend de lire et d'écrire, mais j'envoie promener l'oculiste sur cet article. Que peut-on faire sans livres et sans plumes? J'ai pensé devenir fou en prison pour cette privation pendant un secret de 18 mois sous ce cher Bonaparte, et à quelle époque encore: pendant le procès de Moreau, l'assassinat du duc d'Enghien, celui de Pichegru et tout ce tems d'exécrable mémoire!

Allons, chère princesse; j'accepte le pari que vous me proposez au sujet des Bourbons; c'est à dire que je gage une discrétion qu'ils remonteront sur leurs trônes; je ne sais trop à quelles conditions, mais ils y remonteront. Si vous perdez, vous me broderez un portefeuille tout en fleurs de lys d'or sur du beau satin blanc; si c'est moi qui perds, je vous donnerai ces mêmes fleurs de lys blanches sur un crêpe noir. Mais je gagnerai, vous verrez!

Je meurs d'envie d'aller remercier madame votre tante pour toutes les choses aimables qu'elle vous dit de moi; mais on ne veut point que je sorte avant que mes yeux ne soient guéris. Je monte pourtant chez m-r Bachmétiew; cela ne s'appelle pas sortir. Le connaissez-vous? Il se fait servir par des filles, on ne voit pas un homme autour de la table. Cela est extraordinaire en Russie; mais comme c'est l'usage général en Suisse, je ne me récrie point. On dit que ces filles (il y en a 12) étaient jolies il y a 10 ans; aujourd'hui elles sont un peu vieillottes. Il y a une qui a de fortes moustaches; c'est sans doute à force de faire le service d'homme que cela lui est venu.

## IX.

St.-Pétersbourg, le 26 janvier 1814.

Vous savez toutes les nouvelles apportées par un courrier parti le 5 de Montbéliard; nos avant-postes sont à Troyes; c'est bien près de Paris; mon Dieu, c'est comme rien d'aller jusqu'à cette capitale, et cependant....! En attendant on débite ici mille fagots: les uns veulent que Bonaparte ait été arrêté par le Sénat; les autres prétendent qu'il s'est sauvé aux États-Unis; d'autres encore assurent que Louis 18 a été invité à se rendre au quartier-général. Je ne crois à rien de tout cela; mais cependant la chose est si avancée qu'il faut s'attendre à une décision quelconque.

Vous faites à ravir les affaires du c-te Markow, et sa maison rapportant 15 mille roubles vaut une terre. Il doit être fort reconnaissant. Je l'ai vu avant-hier. Nous n'avons pas traité le sujet: il est resté dans un coin à faire une partie d'échecs avec le duc de Polignac, et moi, comme Cendrillon, dans un autre coin à la cheminée, la plus grande partie seule avec mon ouvrage et mes pensées. Un moment avant le souper j'ai été m'asseoir auprès de lui, et puis il a voulu me ramener chez moi, et nous sommes bravement partis ensemble.

Depuis la nouvelle année on ne cesse de danser à Pétersbourg; il semble qu'on soit piqué de la tarentule; des bals chaque jour, cette semaine ce sera comme une fureur, on dansera partout; vendredy ce sera chez la princesse Boris pour le jour de naissance de Tatiana, qui paraîtra au bal plus belle que tout ce qu'il y a ici de beautés. Moi qui ne danse pas, j'irai chercher une soirée paisible chez mad. Gouriew, peut-être chez lady Sarah Littleton, qui ne veille pas et qui pourrait bien rester chez elle ce soir-là.

## X.

Moscou, le 3 février 1814.

Cette semaine est un véritable supplice: bal, comédie et mascarade sans cesser. Jeudi on jouera chez m-r Apraxine le Misanthrope, traduit par Kakochkine, et Adolphe et Clara, aussi traduit; j'irai, parce que ce jour-là je dîne chez m-r Apraxine, mais une fois dans la salle du théâtre, on ne verra plus qui y est ou qui n'y est pas, et je m'esquiverai pour aller chez m-me Tolstoï. Alexis Pouchkine, qui n'a jamais assez de plaisir, ne s'est-il pas avisé de me faire demander par les dames de sa société du thé, au sortir de l'Assemblée. Il faut vous dire qu'on en sortira entre deux et trois heures et que cela me mènera à me coucher à quatre. Mon Dieu, que les vieux jeunes gens sont ridicules! Pouchkine est un ex-jeune homme qui ne mûrira jamais.

## XI.

St.-Pétersbourg, le 3 février 1814.

L'Empereur écrit de Langres, il dit à l'Impératrice que le peuple demande qu'on ne fasse pas la paix avec Napoléon, qu'il lui en coûte moins d'entretenir les armées étrangères que de fournir à toutes les réquisitions exigées par le gouvernement; enfin l'Empereur ajoute que s'il n'entendait pas de ses oreilles toutes ces choses, il refuserait d'y croire. Les lettres particulières sont dans le même sens, j'en ai lu cinq ou six. Dmitri Galitzine écrit qu'il croit rêver de se trouver en France dans un grand et beau château chez un prince de Beaufremont, qu'il avait connu autrefois à Paris, dans un vaste salon, à un joli feu de cheminée, avec des dames d'assez mauvais ton, le maître de la maison devenu chambellan de Bonaparte et légionnaire, tandis que dans ce même salon on voit le portrait de son père décoré du St.-Esprit et de la Toison d'Or. Galitzine prétend qu'on a bien tort d'imaginer qu'il y a un certain ordre de choses établi et suivi en France; il assure que tout y porte le type de la révolution et que la terreur est ce qui constitue ce soi-disant ordre. Mais il dit aussi qu'on se trompe sur l'article de la dépopulation: il a trouvé dans les villages une grande quantité de jeunes gens. En causant avec des gens du peuple, il leur a nommé Louis 18. On parle plus volontiers du duc d'Angoulême et l'on

dit que, s'il y avait seulement un noyau autour duquel on pût se rallier, dans très peu de tems on verrait une armée royaliste. Je n'entends pas grand chose au congrès de Fribourg; au nom de qui m-rs Talleyrand et Beurnonville traiteraient-ils?

## XII.

Pétersbourg, le 9 février 1814.

Nous avons eu de si grandes, de si parfaitement belles nouvelles, qu'il ne me reste pas autre chose à faire qu'à monter sur le métier le porte-feuille aux fleurs de lys d'or! Monsieur, vous avez presque gagné votre pari. Bonaparte a été battu en plein à Brienne le Château; il s'est mis à la tête de toutes les troupes qu'il avait à Châlons, il a attaqué le 19 le général Blucher, et le 21 il a été attaqué à son tour, défait et mis dans l'obligation de se retirer sur tous les points. Le général Sacken, qui est arrivé au secours de Blucher, a décidé de cette affaire, qui dans de certains moments s'est trouvée aussi chaude que celle de Borodino. Sacken s'est couvert de gloire et a reçu le cordon bleu sur le champ de bataille. Wassiltchikow a donné avec tout son régiment et a fait merveilles aussi. L'Empereur a vu de bien près les boulets, s'étant porté souvent aux endroits les plus dangereux. Que Dieu nous le conserve! Il fait l'admiration de tout ce qui le voit et l'approche! C'est bien l'Élu du Seigneur. Le comte d'Artois doit être au quartier-général depuis longtems, et peut-être les grands intérêts s'y sont-ils déjà traités. On l'a vu passer par Francfort le 23 du mois dernier, il allait en toute hâte. Hier on nous a menés en pompe à Casan pour y entendre le Te-Deum, tout le monde était dans la joye; la princesse de Tarente, que j'avais à mes côtés, pleurait à chaudes larmes; elle ne pouvait pas articuler une seule parole à qui venait la féliciter, mais serrait la main de manière à se faire comprendre. Les Polignac sont dans l'ivresse; avant-hier chez la princesse Boris, dès que nous apprîmes cette nouvelle, il fut question de les en informer; mad. de Noiseville écrivit un billet, nous nous mîmes à dîner, et pendant que nous étions à table le duc et la comtesse Diane arrivèrent dans le même état que madame de Tarente à l'église: on parlait, on s'embrassait, on pleurait tout à la fois. On marche sur Paris, on y est sans contredit. Que devient Bonaparte? Où est il?... «J'ai vu l'Impie au faite des grandeurs et aussi élevé que le cèdre du Liban, j'ai passé, il n'était déjà plus je l'ai cherché, et il ne restait de lui aucun vestige». Voilà ce qui va



être, et dans le moment où je vous écris il est possible que *cela soit*. Toutes les lettres apportées par le dernier courrier ne parlent que des députations qui arrivent pour demander un Bourbon. On reçoit les troupes russes avec transport, et nos messieurs disent tous qu'il croient faire un rêve. Ah, vous direz tout ce qu'il vous plaira, mais il y a bien le doigt de Dieu dans tout ce qui arrive, et qui a vécu ces deux mémorables années peut bien avouer hautement qu'il a été témoin d'un éclatant miracle. Oui, j'ai perdu mon pari, maintenant je le crois; il y aura en France un souverain légitime. Tous les Anglais que nous avons ici, entre autres les Sandford, ont couru chez tous les émigrés pour leur aller faire compliment; les glaces se sont fondues, et ils sont aussi chauds à ce moment pour cette cause, qu'ils ont été froids jusqu'ici. J'aurais mille choses à vous dire encore sur ce sujet, ainsi que sur les nouvelles de l'armée, mais j'ai une si grande confusion dans la tête que je ne saurais rien arranger. D'ailleurs m-r de Markow et m-me de Noiseville ou la princesse Boris vous écrivent certainement de leur côté... On dit que le prince royal de Suède a écrit une lettre charmante à Louis 18. On dit aussi que ce dernier est tombé en apoplexie. Si cela est vrai, il serait donc très-possible que cette intéressante duchesse d'Angoulême, que la Providence a si visiblement protégée, ne rentrât à Paris que comme reine de France, car le duc de Polignac assure que le comte d'Artois se désisterait de tous ses droits. Enfin nous sommes ici dans la plus grande impatience d'un nouveau courrier qui, suivant les probabilités, doit être encore plus intéressant. Le comte Schouvalow écrivait en date du 17, c'est à dire avant l'affaire de Brienne, que le duc de Vicence (Caulincourt) se trouvait à Châtillon, faisant des propositions de paix et acquiesçant à tout absolument, mais qu'on n'en voulait pas entendre parler. Comme la scène a changé: il y a deux ans et quelques mois que ce même Caulincourt, avec tout le faste d'un proconsul, donnait à peu près la loi à Pétersbourg! Quelles actions de grâce ne devons nous pas rendre à l'Empereur d'avoir montré tant de fermeté, tant de patience, dans la catastrophe de 1812! Ne devons nous pas être bien heureux que sa conduite ait été si différente de celle des autres souverains qui se sont trouvés dans la même position! C'est cependant le sacrifice de Moscou qui nous vaut tout ce grand changement.

## XIII.

Moscou, le 16 février 1814.

Votre lettre m'a fait un extrême plaisir; j'en ai pleuré comme m-me de Tarente; j'attends la fin d'un jour à l'autre: elle ne peut être éloignée, elle n'est plus douteuse, et aux incidents près nous pouvons en prévoir le résultat. Ce sera Louis 18 ou Charles 10, ou Louis 19 sur le trône de France, mais ce sera à coup sûr un Bourbon.

On pense tant, on sent si vivement qu'on ne peut exprimer ce qui se passe dans l'âme dans un moment aussi solennel que celui-ci. Les mots ordinaires ne suffisent plus pour rendre la grandeur des événements et leur importance. Je crois que la postérité en jugera mieux que nous, parce qu'elle verra de sens froid ce que nous ne pouvons voir sans passion. Cette époque me semble la plus mémorable de l'histoire du monde. Cromwell, qui a fait tant de bruit, n'a joué son rôle que sur une isle de l'Europe; Napoléon a bouleversé l'Europe entière, s'est allié à la première maison régnante et a marié les siens à des princesses souveraines. Ce colosse de puissance paraissait affermi pour le reste des siècles, mais cette tête d'airain, ce corps de fer, reposoit sur des pieds d'argile: le grain de sable a roulé de la montagne, et le colosse s'est écroulé. Vivrons-nous assez pour lire le Bossuet que cette époque va faire paraître? Car un Bossuet il y aura, n'en doutons point: chaque grand événement trouve un grand historien, et cette époque de la révolution sera sans contredit celle qui fournira le plus de matériaux à l'éloquence dès qu'on en pourra parler librement. Il faudra un auteur tout à la fois plein de sagacité et pénétré de l'esprit religieux qui persuade que Dieu conduit tout. Combien n'a-t-on pas murmuré contre la Providence depuis 25 ans? Elle marchait d'un pas égal et voyait le terme là où nous ne pouvions guères l'apercevoir; j'aime à croire que les mânes de Louis 16, de la reine, de m-me Elisabeth voyent ce qui se passe à ce moment. Tant de victimes immolées pour leur cause se réjouissent, je l'espère, de la fin de tant de maux, comme nous nous en réjouissons sur cette terre d'aveuglement où l'on voit si mal et si trouble. J'ai pleuré sur nouveaux frais cette famille royale massacrée il y a 21 ans. Je crois que Paris payera les crimes dont il s'est souillé, je ne puis penser qu'une ville si coupable ne se ressente pas de la justice divine. Je vous conjure de me tenir au courant: chaque jour amènera quelque chose de grand. Votre comparaison de l'Impic est très-juste. Quelles terribles réflexions doivent faire ces or-

gueuilleux satellites du Tyran, qui se voyent prêts à périr et à expier leurs crimes par le supplice ou tout au moins par le mépris et l'exécration publique! Qu'il serait intéressant de voir de près ce grand changement!

Oui, sans doute notre Empereur est le libérateur de la France et de l'Europe entière, et reçoit la plus glorieuse récompense de sa patience et de sa résignation pendant la terrible crise de 1812. Et j'ai vu des Russes désirer la paix pendant que l'ennemi était sur notre territoire! M-r Karamzine me disait en août de 1812: „Que ne cède-t-on à Napoléon la Lithuanie et les autres provinces polonaises dont nous pouvons nous passer? Ne voit-on pas que toute résistance est inutile contre cet homme-là, et la Prusse et l'Autriche ne se sont-elles pas garanties de leur ruine par des cessions de ce genre?“ Et c'est pourtant avec cette manière de penser, avec ce manque absolu de noblesse et d'énergie qu'un tel homme travaille à écrire l'histoire de son pays! Ah, quelle réforme intérieure Alexandre aura à entreprendre à son retour! J'espère qu'il n'éprouvera plus d'opposition et qu'il saura trancher les difficultés. Il reviendra tout-puissant et couvert de gloire; l'Europe le proclamera son bienfaiteur, et ses peuples auront à lui demander encore *non des lois*, mais l'exécution des lois, non des magistrats et des ministres, mais des hommes intègres et probes dans ces places d'où la sûreté publique dépend si éminemment. Alors, véritable image de la Providence, l'Oint du Seigneur pourra se dire: j'ai rempli ma tâche, elle était grande, pénible et glorieuse; j'ai donné la paix au monde, le bonheur à mes sujets, et je laisserai à la postérité un modèle qui sera béni d'âge en âge, et à qui on comparera les meilleurs souverains quand on voudra louer leur vertu et exciter leur émulation.

#### XIV.

St.-Pétersbourg, le 12 février 1814.

Des lettres d'Amsterdam qui méritent confirmation, annoncent que Louis 18 est arrivé à la Haye et que le duc d'Angoulême est allé à l'armée de Wellington; il n'est donc pas vrai que le premier ait eu un coup d'apoplexie. Vous avez bien raison de dire que les nouvelles sont intéressantes, elles le sont à en ôter le sommeil. Madame Gouriew, qui est d'un naturel agissant et inquiet, prétend qu'elle en a une véritable insomnie. Je n'en dis pas autant: ni les Bourbons, ni Bonaparte ne peuvent m'empêcher de dormir, et quand cela m'arrive, c'est autre chose qui en est cause.

## XV.

St.-Pétersbourg, le 17 février 1814.

J'ai accompagné hier l'Impératrice à l'Institut de Ste-Catherine, où il y eut examen. Nous y sommes allées à 4 heures et demie et nous en sommes sorties à dix et demie bien comptées: cela fait six heures d'horloge. Les petites filles s'en sont tirées avec honneur et gloire, la partie de l'Histoire surtout a été d'une manière admirable; la supérieure m'a dit que dans cette sortie il y avait des sujets fort distingués. C'est fort bien; mais qu'est-ce qu'on fera de ces historiennes prédestinées à passer leur vie dans le fin fond des provinces les plus reculées? Sur cinq ou six demoiselles d'un nom connu et appelées à vivre dans le monde, il s'en trouve cinquante qui iront à Tambow, Penza, Koursk ou Saratow. Croyez-vous qu'en y portant leur science seule, dénuées de toute connaissance relative au ménage de leurs pauvres parents et au genre de vie qu'ils ont, elles puissent se trouver très-heureuses? J'en doute fort, et je tiens, moi, qu'il eût autant valu ne pas sortir de leur nid et ignorer l'existence des Grecs et des Romains. La seule langue russe et des ouvrages de main eussent parfaitement suffi pour l'éducation de ces pauvres demoiselles. Je n'ai pas été fâchée d'être de service hier; car cet examen, tout long qu'il était, ne laissait pas que d'être fort intéressant. J'adore la jeunesse et l'enfance: il me semble qu'on s'épure avec elles.

J'ai vu le comte l'autre jour. Toute sa figure s'épanouit quand il m'aperçoit; il m'a fait mille plaisanteries sur le carême et a dit mille folies dans ce genre; entre autres, il me demandait si Démidow, qui jouait avec lui au piquet, seroit sauvé? Pour monsieur comme pour vous, lui ai-je répondu, c'est à peu près la même chose: vous savez qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il s'est fort amusé de cette réponse, mais très-certainement n'en aura pas senti un moment la vérité. Que le Ciel en ait pitié! Je voudrais tant que son esprit fût retourné; je l'aime trop pour ne pas souhaiter sa conversion.

## XVI.

Moscou, le 23 février 1814.

Je ne suis pas tout à fait de votre avis sur le compte des demoiselles qui porteront dans les provinces l'éducation de la capitale. Je crois l'instruction utile à la noblesse en tout pays; je la crois nécessaire au bonheur de la vie: elle agrandit les idées, elle prévient ce rétrécissement d'esprit qui choque si fort dans nos gentilshommes campagnards et qui les rend pires que les paysans. La rusticité dans un paysan est chose simple, on n'attend rien de plus de lui; mais dans un gentilhomme qui joint à cela le sot orgueil de sa noblesse, elle devient intolérable. Je n'ai vu autre chose dans l'intérieur de ce pays, et je crois fort convenable que des demoiselles destinées à devenir mères de famille sentent l'utilité de la civilisation et cherchent à la propager peu à peu. Les progrès ne seront pas rapides, j'en conviens; mais peut-on faire mieux? Ce que je redoute dans nos villes de gouvernement, ce sont les Lycées, Académies et Universités avec des professeurs martinistes, maçons, sectaires, en un mot, comme le sont les neuf dixièmes de ceux de Dorpat, de Kharkow etc. etc. Ah, par exemple, je crois que ces prétendues lumières-là font plus de mal que de bien.

Hélas, chère princesse, je vous préviens que vous perdrez vos peines à convertir m-r de Markow. Il pêche par le fondement: il ne croit pas. Il n'a pas un système décidé, il est déiste, et voilà tout. Quant à la révélation, il la met au rang des fables du paganisme, et vainement vous essayerez de le tirer de là, parce qu'il se révolte contre la nécessité de faire abnégation de ses sens pour croire un mystère. Démidow n'est point si avancé que cela, mais je ne sais s'il se sauvera mieux que l'autre, vu ses richesses qui, comme vous le dites fort bien d'après l'Évangile, sont un grand empêchement. Cependant Démidow pourrait bien prétendre à la béatitude promise aux pauvres d'esprit, ce me semble, ce qui ne sera pas le cas de m-r de Markow.

On vient de m'assurer que m-r Apraxine a reçu la nouvelle que le quartier-général russe est à Château-Thierry. Si cela est vrai, pas de doute qu'on ne soit entré à Paris 3 jours après.

Je suis un peu confondu de ce que l'exemple de Murat n'est pas suivi par les maréchaux. Peut-être attendent-ils de voir Louis 18 pour se rendre à lui. Mais je veux m'interdire de raisonner là-dessus jusqu'à l'arrivée du courrier définitif. Je me rends fou à force de me creuser la tête sur une chose à laquelle je ne peux rien changer du tout.

## XVII.

St.-Pétersbourg, le 24 février 1814.

Nous sommes réduits à quelques numéros de la gazette de Francfort, où l'on trouve une relation parfaitement détaillée de l'affaire de Brienne et tout le discours de Laisné au corps législatif, dont le Conservateur n'avait donné que des fragments. Ici il est tout au long. Laisné a été renvoyé à Bordeaux, où il pourrait fort bien *ne jamais arriver*; on a vu de ces sortes de choses. Il est bien à souhaiter que pareille scène se renouvelle, car les chamailleries dans l'intérieur vaudraient des batailles gagnées. Je serais bien aise que Bonaparte fit arrêter quelques membres pour donner le branle aux autres. Ce serait un moyen de faire parler des Bourbons, sur le compte desquels nous sommes obligées, mad. de Noiseville et moi, de vous reprendre plusieurs de nos nouvelles. Celle du débarquement du roi est absolument fausse: jamais il n'est sorti d'Angleterre. Le duc de Polignac a reçu une lettre de son fils qui lui mande que le roi a eu une paralysie au bras et qu'on l'a mené à Bath. Les jeunes princes sont partis pour l'armée de Wellington, ceci est positif. Le comte d'Artois doit se trouver au quartier-général. L'histoire du congrès de Châtillon intrigue beaucoup de monde; mais je crois au comte Litta, qui assure que cela ne produira rien. Il n'est pas possible d'imaginer que tous les princes se soyent réunis pour ne faire qu'une paix avec Napoléon. On est très-fâché ici contre lord Wellington, qui semble pétrifié; il est, dit-on, à se démener avec les Cortès; les Anglais que nous avons ici n'en conviennent pas et prétendent qu'il agira dès que le duc d'Angoulême sera arrivé. Dieu le veuille! Cette affaire de Brienne a été fort chaude; j'ai lu dans cette relation de Francfort que les mêmes villages ont été pris et repris plusieurs fois. Vous voyez comme les Français se battent encore. Ces provinces qu'on nous a dit avoir été occupées au nom de Louis 17, c'est encore faux: rien ne prouve la vérité de cette nouvelle.

## XVIII.

Moscou, le 2 mars 1814.

Le congrès de Châtillon et la paix d'Espagne sont des faits si inouis, si inconcevables, qu'il faut suspendre tout jugement. Peut-être rien de tout cela n'est vrai; en tout cas il ne faut pas trop s'en alarmer: nous n'avons aucune donnée assez fixe et assez certaine pour porter une opinion fondée.

Louis 18 malade à Londres ne m'étonne pas; entre nous, je le regarde comme Moïse, qui n'entra point dans la terre promise par punition d'une seule faute. Celui-ci en a commis de cruelles il y a 25 ans et n'a pas acquis de droits personnels sur le coeur des Français. Le sacrifice du marquis de Favras pèsera longtems sur la mémoire de ce prince, et tant que ses sujets s'en souviendront il leur sera difficile d'estimer un tel souverain. Quant à moi qui l'ai connu de près et dans son intérieur, je vous le donne pour le plus égoïste des hommes et pour le coeur le plus sec et le plus froid. Mais pour le comte d'Artois, ses fils et le duc de Bourbon, il en est tout autrement: ceux-là sont bien francs du collier et peuvent rentrer en France la tête haute. Je voudrais que Louis 18 cédât ses droits à son frère, mais soyez persuadée que c'est ce qu'il ne fera jamais. Dieu veuille donc que nous voyons Louis 18 sur le trône, puisqu'il en est le légitime possesseur et que, Dieu merci, il n'est pas éternel: c'est la seule porte à une restauration durable, et il en faut bien passer par là pour arriver à la paix et au bon ordre général, qu'on n'obtiendra jamais de Napoléon Bonaparte. Que dit on de Hambourg? Le Conservateur annonce que les assiégeants ont *brûlé un pont*. Voilà un pauvre exploit. Je ne puis vous dire comme je suis contrarié de ce que cette armée-là n'avance pas d'un pas. La pauvre comtesse en souffre aussi, mais en silence. On dit le comte Ostermann retombé dans ses tristesses et ses vapeurs; cela est bien affligeant. On assure qu'il veut aller se battre encore; il n'en aura assez que quand il sera tué. C'est une folie, mais elle est bien noble et bien belle celle-là! Le sort de vos soeurs ne doit pas être fort gay au milieu de ces agitations.

## XIX.

St.-Pétersbourg, le 2 mars 1814.

Je vous dirai une chose qui vous fera de la peine, c'est que je ne crois pas que le portefeuille aux lys d'or puisse être monté au métier de sitôt. Les choses commencent à aller autrement, nous n'avons plus de courriers, et la gazette de Berlin parle beaucoup du congrès. Caulincourt a donné un grand dîner à Châtillon à tous les ministres des puissances. Lord Castlereagh lui a rendu ce dîner, et puis les courriers que ce dernier envoie à Londres passent par Paris avec des passeports de Napoléon; l'intelligence qui règne entre les ministres anglais et françois paraît intime, et la gazette en fait grande mention. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je n'en sais rien, ni personne. Le dernier courrier du 4 n'a apporté que des lettres pour l'Impératrice; d'autres prétendent qu'il y en a eu, mais qu'on ne les a pas délivrées. L'Impératrice ne dit mot. On dit à présent que les princes se sont trop hâtés, qu'on ne les demandait pas; enfin, mille fagots que je vous épargne. La tête en tourne à un chacun. Pour moi, je demande comme dans Figaro: mais qui est-ce qu'on trompe ici?

Tout ce que vous me mandez sur l'éducation des Instituts peut faire suite à ce que vous m'avez dit un jour sur la civilisation. Je n'aime pas plus l'une que l'autre. Je ne sais comment ces historiennes et ces physiciennes tournent une fois qu'elles sont chez leurs parents pauvres et ignorants, mais je vous conterai simplement une histoire arrivée à une de celles de la dernière sortie il y a trois ans. Cette jeune personne, arrivée dans le fin fond d'un village, trouve chez ses parents neuf autres enfans et pour toute propriété sept paysans, les fils de la maison travaillant eux-mêmes à la terre, les filles lavant leur linge à la rivière comme les princesses d'Homère. Il fallut donner un emploi à la nouvelle arrivée, et on lui confia la garde des poules. Madame de Maintenon avait gardé des oyes, il est vrai; mais notre malheureuse ne se la rappelait que reine de France, et il arriva qu'un beau matin on la trouve pendue. C'était le désespoir le plus violent; oui, monsieur, pendue de désespoir, l'histoire n'est que trop vraie. N'eût-il pas mieux valu pour elle de ne jamais sortir de son village et de s'y occuper comme ses soeurs à laver ses haillons? Non, non, je n'aime pas cette éducation qui fait sortir de sa sphère; pas plus que les professeurs de Dorpat avec leurs principes démocratiques dans un pays essentiellement monarchique.



## XX.

Moscou, le 10 mars 1814.

Croyez-vous donc que la folie de votre gardeuse de poules qui s'est sottement pendue plutôt que de manger des oeufs frais en attendant un mari, soit le fruit de son éducation? Il se pourrait qu'elle se fût pendue sans cela, on voit partout des fous qui se tuent. Au reste cela ne prouve rien sur la quantité contre les avantages d'une bonne éducation. Les parents étaient insensés, ayant dix enfans et sept paysans, d'envoyer leur fille dans la capitale et surtout de l'en retirer; s'ils avaient eu le crédit de la placer à l'Institut, ils devaient avoir celui de représenter qu'ils n'étaient plus en état de la nourrir et vêtir, et la laisser aux soins de S. M. l'Impératrice-mère, qui est bonne et secourable.

Jedy 12.

La poste n'a rien apporté que l'évasion des Polignac, et c'est en vérité une nouvelle qui réjouit le coeur de tous ceux qui, comme moi, savent par expérience ce que c'est que d'être en prison sous les clefs de monsieur Bonaparte. Depuis 10 ans, ces malheureux jeunes gens languissent dans les fers. Je partage le bonheur de leurs parents et vous prie de le dire au duc et à la comtesse Diane. Il paraît qu'on avance tout doucement et que Bonaparte ne se sent pas de force à attaquer. Je persiste à le croire fini et je vois un Bourbon le remplacer. On m'écrit de Suisse qu'on m'y attend sans faute dans le courant de l'année; c'est comme qui dirait qu'on y voit la perte assurée de Napoléon. Mais on se trompe, et quoi qu'il arrive, je ne quitterai pas cette bonne Russie de sitôt. Je m'y établis avec peine et avec soin, ce n'est pas pour abandonner tout cela. Si jamais mes revenus me permettent de mettre de côté les frais d'un voyage, alors je le ferai avec délices, mais jamais je n'abandonnerai le fond au hasard. Vous ne sauriez croire à quel point je tiens au peu que j'ai. Je sens que si cela s'en va, il ne reviendra plus rien, et j'ai pour la misère une sainte horreur: je la redoute mille fois plus que la mort. C'est par fierté et non par avarice où égoïsme: dépendre sur ses vieux jours me paroît tout justement entrer dans le vestibule de l'enfer. J'arrange mon petit village. On y fait du fromage. Je vous en ferai manger. On dit qu'on m'en fera pour six mille roubles par an. Ainsi soit-il!

## XXI.

St.-Pétersbourg, le 17 mars 1814.

Que dites-vous de ce ménage K.? Ce mari qui s'en va d'un côté, cette femme qui vient d'un autre; cette dame Sué qu'on lui donne pour égide, qui est une folle s'évanouissant dix fois dans la journée, s'effrayant de tout et effrayant Lise; celle-ci qui se prépare à mourir dans 15 jours, qui fait ses adieux à son mari dans une lettre pathétique; ce mari qui ne s'émeut point et qui ne remue pas le bout du doigt pour aller chercher sa femme, et qui, trop heureux que m-e de Noiseville se charge de cette besogne, passe sa vie en attendant dans les salons de Pétersbourg! A la place de la princesse Boris je serais malade de chagrin. Bon Dieu, le triste mariage, et quel homme que ce K., malgré toutes ses richesses! Si j'étais de lui, je n'oserais pas montrer ma figure par le trou d'une serrure. J'avais bien prévu ses *cancans*: tout le monde lui jette la pierre. On s'étonne qu'il ne soit pas inquiet, qu'il n'ait pas été à Moscou. A tout cela il oppose un petit air fort dégagé et qui donne envie de le battre. Que le Ciel préserve ces trois jeunes princesses d'être mariées comme leur aînée! En revanche m-e de Noiseville est portée aux nues.

Mad. de Noiseville vous aura dit les nouvelles des armées; depuis son départ nous avons eu encore deux courriers, tous deux de Chaumont, l'un du 16 et l'autre du 20; ils ont apporté la confirmation de l'assaut de Troyes et de la belle affaire de Witgenstein à Bar-sur-Aube; le maréchal Blucher se trouve entre Soissons et Meaux, ses avant-postes à Claye, qui est tout près de Paris. Les fils de la princesse Boris écrivent qu'on ne peut dire précisément où on en est; un jour on leur fait espérer de voir les clochers de Notre-Dame, le lendemain on leur parle de retourner en Russie; aujourd'hui il est question de paix, et le lendemain on veut marcher en avant. Si ces messieurs sont dans cette ignorance, vous pouvez juger du reste du monde! André écrit que les Autrichiens sont détestables en tout, et partout généralement abhorrés; ils prennent des réquisitions exorbitantes et de toutes mains. Le comte d'Artois, qui était à Vesoul, a été sommé par le commandant autrichien de cette ville de s'en éloigner, attendu qu'il n'avait aucun ordre pour l'y garder. Enfin, dans mille circonstances ces gens donnent à voir bien clairement que la politique de leur cabinet ne tend pas à rompre avec Bonaparte et encore moins à rétablir Louis 18. Notre Empereur doit souffrir mort et passion avec cette vilaine engeance. Ils paralysent à eux seuls toutes les bonnes dispositions qu'on pourrait trouver dans l'inté-

rieur de la France. Je conclus de tout cela que si jamais Bonaparte a fait un coup de bonne politique, c'est en épousant cette sottise de Marie-Louise. Je suis pourtant dans l'idée que cela finira bien et que si on parvient à occuper Paris, cela changera en grande partie la face des choses.

J'ai eu de bien mauvaises nouvelles d'Ostermann; sa santé s'est dérangée comme par le passé. Vous savez qu'il était retourné à l'armée; sa femme était restée à Basle pour y attendre de ses nouvelles. Ne voyant pas arriver de lettres, cette malheureuse femme a couru au quartier-général pour en ramener son mari, et elle y est parvenue. Mais, comme je vous l'ai dit, sa tête est plus malade que jamais. On s'était aperçu au quartier-général de l'état de cet homme, et l'Empereur, pour éviter de lui confier le commandement d'un corps, l'a nommé son aide-de-camp général. Il a compris le motif et a quitté l'armée très-mécontent ainsi que très-souffrant, et avec la résolution de se séquestrer pour le reste de ses jours. Voilà ce que mad. Nesselrode écrit de Basle à mad. Gouriew. André écrit pis que cela: il dit qu'Ostermann n'a pas longtemps à vivre, qu'il le tient de son médecin.

## XXII.

Moscou, Dimanche, jour de Pâques, le 29 mars 1814.

Je veux vous parler de Titow, il vient me voir quelquefois. Il a entamé certaine matière; je ne sais s'il a dit vrai, mais puisque je ne lui ai fait aucune question, je ne vois pas pourquoi il aurait voulu me tromper. Le fait est qu'il m'a dit n'avoir eu aucune altercation avec le comte Tolstoï; qu'à la vérité ce dernier avait été fâché de le voir partir, mais que sa santé *et la parfaite inutilité de sa présence* l'avaient engagé à se retirer. Il m'a confié ensuite une chose que je ne répèterai qu'à vous seule: c'est que Tolstoï avait dans toutes ses lettres à l'Empereur annoncé son armée comme forte de 70 mille hommes. C'était un puissant renfort que l'Empereur attendait; mais quand on est arrivé à 10 verstes du quartier-général et que S. M. se disposait à aller inspecter cette armée, elle a appris qu'elle était réduite à moins de 8000 hommes, ce qui a tellement déplu au Souverain que non-seulement il n'a pas voulu faire cette inspection, mais qu'encore il a refusé de voir le comte Tolstoï. Celui-ci a écrit quatre fois pour demander une audience et n'a jamais obtenu qu'un refus *verbal*. Je crois que Titow exagère beaucoup, car il est un peu menteur de son métier, mais il se pourrait qu'une partie de cette épouvantable réduction fût vraie. Elle es

due, selon Titow, au mauvais régime, au manque d'hôpitaux et de médecines; les gens se déclaraient malades et restaient en arrière, sans qu'on pût vérifier s'ils feignoient ou s'ils étoient réellement ce qu'ils disoient. En un mot, cette armée s'est fondue du Volga à la frontière par manque de soins et par la négligence de je ne sais qui. Mais ces malheurs retombent toujours sur le chef, et cela est assez naturel, puisque dans le cas contraire il en retire tout l'honneur. Un véritable tort du comte Tolstoï, c'est que quand il fut réuni à l'armée de Beningsen, celui-ci lui écrivit pour lui demander s'il avait tout ce qu'il fallait pour ses soldats, et Tolstoï répondit *qu'il avait tout*, tandis qu'au fait *il n'avait rien*, pas même des fusils: car de ces 8000 hommes il n'y en avait pas 5000 armés. Titow prétend qu'il avait fait cette réponse pour ne pas s'expliquer avec Beningsen, qui ne l'aime pas, se réservant de tout dire à l'Empereur lui-même à sa première entrevue. Cette entrevue n'a jamais eu lieu, et sa lettre à Beningsen fait foi qu'il avait tout reçu, et le rend par conséquent fort coupable en apparence. A dire vrai, il y a là de quoi l'achever dans l'esprit de l'Empereur, et je ne sais comment il en reviendra s'il ne se présente quelque occasion bien favorable pour s'expliquer. Cela a donné au c-te Tolstoï des chagrins affreux, des dégoûts qui ont rejailli sur son état-major, et Titow m'a dit que cela finissait par n'avoir plus l'air de rien; quand on est arrivé en Saxe, on n'avait plus que 6000 hommes et l'on n'avait pas encore tiré un coup de fusil; et pour ces 6000 hommes on avait une douzaine de généraux, ce qui apprêtoit à rire aux autres corps de l'armée, surtout en voyant l'espèce de quelques-uns de ces généraux. Voilà ce qui a fait quitter Titow, qui peut-être aussi ne m'a pas dit toutes ses raisons. Après cela est arrivée la capitulation de Dresde, où Tolstoï a mis sa signature fort mal à propos, puisqu'il a partagé par là l'affront qu'a reçu Kleist du rejet de cette capitulation. Kleist, étant l'ancien, pouvoit signer seul, et même le devait. Titow assure que la comtesse ne sait qu'une très-petite partie de tout cela par les lettres de son mari, mais que pour lui il ne lui en a rien dit. Elle est extrêmement affectée, il le remarque comme moi; mais elle n'ouvre pas la bouche. Je la plains, puis qu'elle a de l'ambition, car sans cela des chagrins de cette sorte devraient glisser facilement: ils ne touchent pas au coeur.

## XXIII.

St.-Pétersbourg, le 2 avril 1814.

Le duc de Vicence a rassemblé tous les ministres du congrès pour leur communiquer l'ultimatum des prétentions de Bonaparte. Cet ultimatum a choqué tout le monde. Soult est sur le point de se réunir à l'armée de Napoléon. Wellington se remue pesamment; on dit pourtant qu'il a fait un mouvement sur Toulouse.

Ce qui se passe devant Hambourg est pitoyable! Les miliciens ont fait des ravages terribles sur les terres de Bloome dans le Hanovre. Sa soeur lui écrit qu'ils ont pillé tout ce qu'ils ont pu, qu'un certain Philimonow avait établi dans un des plus beaux salons du château une vingtaine de tailleurs qui l'ont bientôt converti en une espèce d'écurie. Si je ne me trompe, ce destructeur Philimonow est un parent de madame Tolstoï; vous sentez que je ne m'en suis pas vantée à Bloome: j'ai fait mine de ne pas connaître le personnage. Mais quelle fatale besogne a ce pauvre Tolstoï; mon Dieu, que cela me contrarie pour lui! J'ai eu ce matin des nouvelles de Vienne, mes soeurs s'y plaisent beaucoup, elles sont fort tranquilles en l'absence de mad. Ostermann et s'amuse tout doucement. On ne sait rien du mari, sinon qu'il est encore à Basle; j'ai l'espoir que les bains calmeront beaucoup ses agitations. Non, je ne veux pas qu'il meure; car sa femme en deviendrait folle à son tour, je la connais.

## XXIV.

Moscou, Samedi, 11 avril 1814, pour Lundy 13.

Vous allez me trouver bien méchant, mais je ne plains point le Bloome, que j'aime pourtant individuellement; si vous saviez comme moi ce que sont les agents du pays qu'il représente, vous diriez: bravo Philimonow! C'est de la boue qu'il faut à ces gens-là, ils en ont dans l'âme, mettez-en sur leurs meubles. Ah, si les maux de la guerre se bornaient à salir et même à piller un peu les châteaux de messieurs les Danois, il n'y aurait pas le plus petit mot à dire; ils ont fait tant de vilénies depuis 25 ans pour conserver leurs chères fortunes. Le sang de cet infortuné Louis 16 fumait encore dans le tems où j'ai vu l'infâme Grouvel, greffier de la Convention, le même qui, devant tout à la maison de Bourbon, avait cependant pu se résoudre à lire la sen-

tence de mort à son roi; je l'ai vu, dis-je, trois ans après cette affreuse époque reçu à Copenhague comme ambassadeur de la république française, fêté, caressé par le roi, la reine et toute la famille royale, faisant leur partie de whist tous les soirs, et alors m-r de Bloome était un courtisan fort assidu. N'est-ce pas leur faute encore aujourd'hui, si les malheureux Hambourgeois sont retombés sous le joug et périssent de misère et de maux!

Voici le bulletin du 14 mars, cela est magnifique. J'ai frémi en lisant combien notre Empereur s'expose, et voyant que Rapatel a été tué sous ses yeux. Mais je ne peux m'empêcher de faire une réflexion pour la dixième fois; c'est que tous ces révolutionnaires qui reviennent aux bons principes quand la fortune leur tourne le dos, ont beau changer d'opinion: aucun d'eux n'arrive à bon port. Pichegru a pris la Hollande, c'était faire faire un pas de géant à la révolution; plus tard il voulait remettre le roi sur le trône, la république l'exila, et il est mort étranglé au Temple. Moreau a fait triompher la révolution et n'est revenu aux bons principes qu'après avoir fait pendant sa faveur populaire tout le mal possible à la cause royale: il est tué le premier jour de bataille. Rapatel a suivi le sort de Moreau depuis 15 ans: il périt aux portes de Paris. On dirait que le doigt de Dieu est là qui leur trace ces mots: *Vous avez eu du talent, vous l'avez mal employé, vous n'êtes point dignes de voir la restauration d'un trône que vous avez travaillé à renverser!* Nous verrons si Bernadotte sera excepté de cette punition d'en haut; peut-être sa bonne foi le sauvera-t-elle, car on assure qu'il veut les Bourbons et rien que les Bourbons.

## XXV.

St.-Pétersbourg, le 9 avril 1814.

Nous sommes à Paris! Et je ne vous en dirai pas davantage, parce que ce serait vous faire lire deux fois la même chose. Mad. de Noiseville vous rend compte de tout ce qui s'est passé; il semble à présent qu'on est tout près d'achever le grand oeuvre. La déclaration de l'Empereur dit positivement qu'on ne traitera plus avec Napoléon, ni avec aucun des siens; partant de là on peut, on doit croire qu'il a fini son règne. Que Dieu assiste notre Souverain pour mettre le sceau à tout ce qu'il a déjà fait de grand et de beau! Cette nouvelle, qui nous est arrivée hier, est, comme vous l'imaginez bien, la seule et unique dont on s'occupe. Je l'ai apprise à la messe chez Galitzine. Un aide-de-camp du ministre de la guerre entra avec le papier en main. Madame Gouriéw, que tout agite, comme vous savez, fit tant de train, d'autres personnes tant d'exclamations qu'à travers toutes ces agitations je ne me suis pas trouvé la force de remuer le bout du doigt; je n'étais ni surprise, ni réjouie, ni ébahie, rien de tout cela, mais exactement dans le même état que j'étais une minute avant, parfaitement calme. On avait apporté la déclaration pour la lire seulement, chacun voulait en avoir une copie, personne ne pouvait écrire; moi, avec mon beau sang-froid, je me suis acquittée de cette besogne, j'ai copié cinq déclarations l'une après l'autre et les ai distribuées à tout ce qui en voulait, si bien qu'il ne m'en reste pas une pour envoyer à ma tante, mais vous y suppléerez, j'espère, en lui faisant lire celle que mad. de Noiseville vous envoie aujourd'hui même. Je dînai chez la princesse Boris, où je trouvai le petit La Tour dans l'ivresse, les yeux lui sortaient de la tête; le reste du monde plus ou moins réjoui, enfin il ne fut pas question d'autre chose. Cette affaire de Montmartre a été chaude à ce qu'il paraît, les régiments des gardes en ont encore décidé; on a pris à cette occasion 70 canons. L'Empereur est entré à Paris le 19 (31) mars, précédé des autorités de la ville et du Sénat en corps; bien autrement que ce coquin de Bonaparte n'est entré à Moscou. Le général Sacken est gouverneur militaire de Paris.

On m'a donné, par le plus grand hasard du monde, une commission pour vous: c'est de la part de m-lle de Sybourg, gouvernante de mad. la Grande-Duchesse. Elle me dit qu'elle venait de recevoir une lettre de Genève de son frère, qui lui contait tout ce qui s'était passé dans cette ville lors de l'entrée des troupes alliées; j'eus la curiosité de connaître ces détails, et mad-lle de Sybourg me lut sa lettre pres-

qu'en entier, mais je devins tout oreilles quand elle en fut à l'article suivant: „Tâche, je te prie, d'instruire m-r Ferdinand Christin de la „mort subite de son ami de Traz, de lui dire en même tems que son „frère aîné dirige la campagne du plan des ouattes près de St.-Julien „et que pour le moment je n'ai pas de ses nouvelles“. Elle me supplia de vous donner cette nouvelle.

## XXVI.

Moscou, le 17 avril 1814.

Je n'ai point eu votre beau sang-froid à la réception de la nouvelle si grande et si importante de la prise de Paris, je ne me suis point non plus agité comme madame Gouriew; mais j'ai fermé ma porte à clef et j'ai fondu en larmes comme le petit La Tour. J'ai vu tant de bien pour l'avenir dans cet événement, ma mémoire m'a retracé tant de souffrances passées, et j'ai envisagé un si grand changement dans la situation de la Russie depuis 18 mois, que ces sentiments, se pressant dans mon âme, ont oppressé ma poitrine et m'ont fait sangloter comme un enfant. Je ne suis pas le seul sur qui cela ait produit un effet à peu près semblable: le peuple s'embrassait dans les rues, les isvochiks jetaient leurs bonnets en l'air en criant hurra; les honnêtes gens couraient la ville pour se féliciter mutuellement avec bien plus d'empressement et d'ardeur que le jour de Pâques. Il me semble qu'il faut être sur les ruines de Moscou pour bien apprécier la prise de Paris! Mais, grand Dieu, avec quelle impatience on attend la suite des événements, la destruction prochaine de Bonaparte et le couronnement de Louis 18; car on ne peut en choisir un autre qu'autant que celui-ci abdiquera ses droits. Soyez-en bien persuadée; soyez-le aussi que jamais cet homme ne cèdera une couronne et le plaisir de régner; il aime trop l'autorité pour s'en dessaisir, et n'aime pas assez son frère pour s'en faire un maître; en conséquence je conclus que vous pouvez mettre mon portefeuille sur le métier: vous ne courez plus aucun risque.

M-elle de Sybourg me ramène à pleurer mon jeune âge, quand je ne devrais pleurer que sur le malheur de m-me de Traz, qui, étant beaucoup plus jeune que son mari, devait lui survivre, mais qui n'avait pas dû croire de le voir mourir avant ses 40 ans. Cette femme est une personne tout-à-fait extraordinaire. Sourde et muette de naissance, fille de parents fort riches, on lui a donné pour instituteur un m-r Ulrich,



coopérateur de l'abbé de l'Épée, qui s'est établi chez elle et qui a si bien réussi qu'il en a fait non-seulement une personne écrivant avec la dernière correction, mais encore une savante, une géomètre, mathématicienne et par dessus tout une astronome qui calcule les éclipses et la marche des corps célestes comme Lalande. La nature avait sans doute donné beaucoup d'aptitude à cette jeune personne; mais on ne sait pas à quel point d'application peut se porter un esprit qui n'est jamais distrait par aucune conversation, qui ne sait rien de rien de ce qui se passe autour d'elle et dans la société. Elle y apporte un air calme et serein, mais toujours sérieux, et je l'ai vue souvent, au milieu du bruit d'un salon, tirer un livre de son sac et se mettre à lire avec toute l'attention qu'un autre y mettrait au fond de son cabinet. On prétend qu'elle aimait son instituteur et que les parents, s'en étant aperçus, ont cherché à la marier et ont congédié m-r Ulrich. Cependant de Traz, d'une belle figure, se fit agréer par la demoiselle, et ils ont fait un très-bon ménage. Il m'a dit souvent, quand il eut le malheur de perdre les deux aînés de ses enfans: „Si je viens à mourir avant que mes enfans soient en âge de me remplacer auprès de leur mère, elle serait la femme du monde la plus à plaindre: qui pourrait lui tenir lieu de moi! Et je suis sûr que son coeur est si tendre et si aimant que si elle n'a pas sur qui l'épancher à sa manière, elle en mourra d'ennui et de chagrin“. Depuis son mariage elle avait négligé les hautes sciences; je voulais un jour la distraire d'un enfant malade qui absorbait toutes ses pensées, et je lui fis par écrit quelques questions astronomiques. Devinant mon but, elle écrivit: «Eh, laissons les astres, ce sont les dents de ce pauvre enfant qui m'occupent». Et elle me regardait avec des yeux si tendres et dont il coulait quelques grosses larmes qui m'allaient droit au coeur. Nous avons été en correspondance assez longtemps: elle m'écrivait des lettres remplies de sens et de sentiment et mêlées souvent de phrases à citer pour leur précision, leur concision et leur extrême clarté. Cependant ce style ne ressemblait point à celui qu'aurait eu une personne accoutumée à la conversation; jugez combien de tournures familières dans le langage ordinaire, qu'on ne trouve point dans les livres et qui par conséquent lui étaient tout-à-fait étrangères. Rien n'était plus difficile pour elle que de comprendre Molière dans les scènes les plus familières, comme le «Médecin malgré lui» ou «l'Avare»; j'ai barbouillé un cahier de papier un jour pour tâcher de lui faire comprendre le sel des morceaux les plus saillants sans y bien réussir; mais les vers du «Misantrophe» avaient l'air d'être sa langue maternelle: tant elle en sentait les beautés. Aussi chez elle tout avait une teinte de gravité qui était

la conséquence de ce qu'elle n'entendait jamais de fadaïses ni d'inepties, et qu'elle ignorait jusqu'à l'existence des pointes, jeux de mots, calembourgs et autres sottises pareilles... Elle n'a que des enfants de 7 à 8 ans, une mère qui ne vit point avec elle; elle n'a ni frères ni soeurs, et le frère de son mari s'est chargé du soin des terres, chose à laquelle la pauvre femme n'entend rien du tout. Je vous demande pardon de vous faire voyager en Suisse pendant une heure; mais la *cara patria* a toujours des charmes...

## XXVII.

St.-Pétersbourg, le 20 avril 1814.

C'est donc fini! La pièce est jouée, la toile est tombée; elle va se lever pour un autre sujet, et ce n'est donc plus Bonaparte qui va occuper l'univers! On croit rêver en récapitulant tout ce qui s'est fait, tout ce qui arrive à présent. Mais quel dénouement pour cet homme qui était si terrible! Quelle fin! Pouvait-on l'imaginer? Je ne la prévoyois pas assurément; sans avoir jamais été admiratrice de cet homme, j'avoue qu'il m'a souvent étonnée, et j'avais toujours supposé qu'il se ferait tuer à la tête de ses troupes. Je l'ai cru capable de ce courage, et il se trouve que c'est le plus lâche des humains; il se trouve qu'il *veut vivre*, qu'il le demande comme une grâce. Non, c'est à ne pas le concevoir! Il efface de sa propre main son nom de l'histoire et le replonge dans la boue d'où il étoit sorti. Si on en parle, ce ne sera plus que comme d'un brigand, d'un aventurier, semblable, comme vous le disiez, à Pougatchew. Enfin, il est jugé pour ce monde. J'ai cru que la déportation à l'isle d'Elbe étoit une fable de quelque gazetier, mais il paraît que cela devient certain, et que c'est un lieu de son choix. On est fort curieux de savoir comment il partira et avec qui? Pour son arrivée, on n'y compte pas infiniment, et cela se pourroit bien. Mais que deviendront les femmes et toute cette séquelle infernale? Je me flatte qu'on purgera les trônes de tous les individus tenant à cette famille et que la légitimité va se rétablir pour tous les pays en général. Vous nous devez alors un voyage à Pétersbourg, car vous l'avez promis au duc de Serra-Capriola; il me l'a dit.

Au reste, je ne vous somme de tenir votre parole qu'autant que j'y serai; sans moi n'y pensez seulement pas. Vous vous représentez sans peine comme on a été ici dans des jubilations. Le Te-Deum à Casan où

l'on nous a fait aller en grande parade, ensuite grand dîner à la cour de 180 couverts, des illuminations magnifiques trois jours de suite; plusieurs personnes disent n'en avoir pas vu de plus belles. Le corps des marchands a donné un magnifique dîner au général Koutouzow, qui est arrivé avec la nouvelle de la prise de Paris, et lui a présenté quatre mille ducats dans un beau vase d'argent; il a pris le vase et a donné les 50 mille roubles aux ruinés de Moscou: chose d'autant plus méritoire qu'il n'est pas riche du tout. J'ai passé la soirée avec lui chez la comtesse Strogonow; il est très-intéressant à entendre sur cette entrée à Paris, mais vous dire ce qu'il conte ce seroit à n'en pas finir. Je pense que nous devons avoir un courrier aujourd'hui, qui nous apportera l'adhésion des maréchaux à l'ordre de choses actuel, ainsi que l'histoire de l'isle d'Elbe. Nous avons eu avant-hier beaucoup de feuilles étrangères, entres autres *l'Oracle*, qui s'imprime à Bruxelles. On y trouve toutes les séances du corps législatif, les discours de différents membres du gouvernement provisoire et des détails sur ce que fait l'Empereur. Il y en aura une partie dans le *Conservateur*, que vous lirez. Les gazettes en général seront très-intéressantes. Koutouzow m'a dit que le c-te Ostermann n'est pas plus fou que lui, mais qu'il souffre beaucoup de ses blessures ainsi que de sa poitrine.

## XXVIII.

St.-Pétersbourg, le 25 avril 1814.

Je vois d'ici toute la joye que la prise de Paris aura produite à Moscou, et c'est tout simple: on y devoit apprécier davantage l'importance de cet événement; il semble que les ruines mêmes de cette ville devaient ce jour-là avoir un autre aspect. Au reste, nous avons été dans de très-grandes jubilations aussi, et les illuminations de trois jours avaient mis toute la ville dans les rues depuis 8 heures du soir jusqu'à une heure du matin, excepté moi, cependant, qui me suis bornée à la première soirée.

Nous avons beaucoup de lettres de Paris et très-fraîches, car elles sont du 3 avril. Tous ces jeunes gens sont fous de joye d'être là. Les fils de la princesse Boris écrivent des volumes et sont dans une véritable ivresse. Capoue a ses délices, absolument. André a envoyé une quantité de journaux, de vers et la brochure de Chateaubriand que vous aurez inmanquablement par ce même courrier; car mad. de Noi-

seville l'a fait réimprimer chez Pluchard, où on se l'arrache. Cela vous plaira, c'est bien éloquent et très bien senti. Quant à la constitution à faire, on voit que tous ces gens n'ont qu'une seule idée, un seul désir, une seule crainte, *c'est l'argent*. L'envie de conserver ce qu'ils ont, la frayeur de le perdre, ils ne pensent qu'à cela; pour tout le reste c'est le cadet de leurs soucis. C'est une plate nation qui cède à la force des choses, mais qui ne prouve par son caractère réel aucune espèce de consistance ou de valeur intrinsèque. Toutes ces adhésions qui pleuvent de toutes parts sont à faire pitié; les plus enragés, les plus scélérats se montrent à ce moment les plus ardents à secouer le joug de leur idole. Messieurs les Français, vous pouvez être très-aimables, brillants et spirituels, mais sous le rapport d'un caractère national vous n'êtes que de la drogue. Vous n'êtes braves que sur le champ de bataille; ailleurs vous faites assaut de bassesse et de lâcheté! Au reste, tout cela m'est bien indifférent, pourvu que la Russie redevienne tranquille par une bonne et solide paix. Les deux dernières années ont englouti des masses d'hommes: il est temps enfin qu'on se repose et qu'on respire librement. Je ne voudrais pas être à la place de Louis 18 pour tout au monde. Je trouve son rôle fort difficile, vu les gens qui s'emparent du timon. Il faudra qu'il se fasse le très-humble serviteur de Talleyrand, qui tient le haut bout dans cette affaire, ou bien qu'il l'écarte lui et les siens au risque de se voir bientôt accablé d'amertume et de contradictions. La besogne est bien forte pour son âge. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que tout cela s'arrange à l'avantage du roi? Dieu le veuille, car j'aime la monarchie et veux que les autorités soient respectées. On dit que l'empereur Alexandre n'attendra pas Louis 18 à Paris; on croit qu'il fera un voyage en Angleterre et reviendra pour le sacre du roi. Mais tout cela est-il positif, c'est ce que je ne peux vous dire. Peut-être ces nouvelles sont elles fabriquées ici.

A présent que la guerre est finie, tous nos braves vont revenir chamarrés de cordons et de croix qu'ils auront sans contredit bien mérités; le seul comte Tolstoï reviendra comme il était parti, sans avoir fait quoi que ce soit; mon Dieu, que cela me chagrine, et qu'il a fait une sottise campagne! Je n'attache pas à un rang et à un cordon plus de prix qu'il n'en faut, mais j'en attache beaucoup à un service réel et bien fait. C'est donc à ce titre que je plains Tolstoï. Avoir amené 6000 мужикъ pour rester devant une place qui sera tombée d'elle-même: vous direz ce qu'il vous plaira, c'est pitoyable! Et madame Tolsoï doit en avoir le coeur d'autant plus contrit que ses conseils ont beaucoup influencé la conduite de son mari. Ah, si elle l'avait laissé faire comme les autres!

J'ai vu hier un moment m-r de Markow, qui menace de partir bientôt pour ses terres de Podolie en passant par Moscou, comme de raison. Dites-moi, ce projet est-il bien arrêté, et que ferez-vous de votre personne? Je n'aimerais pas à vous voir confiné là pour deux ans, et je serais bien fâchée de ne vous plus retrouver à Moscou. Comptez-vous donc suivre le c-te Markow?

## XXIX.

Moscou, le 1-er may 1814.

J'ai fait absolument les mêmes réflexions que vous sur l'avilissement où est tombée cette nation française; elle en est dégoûtante au dernier degré. Elle adorait ses rois, elle a vu tranquillement une poignée de scélérats égorger le meilleur d'entre eux et traîner toute sa famille à l'échafaud, elle a applaudi à ces massacres, elle a envoyé des adresses de félicitations à la convention régicide, de tous les coins de la France. Quand Paris voulut faire un effort pour ses princes en 1795, Bonaparte fusilla 1500 jeunes gens dans les rues de Paris; cela lui valut le grade de général, et de ce jour il devint un héros aux yeux de cette nation frivole et avide de nouveautés. Pendant qu'il spoliait l'Italie, elle applaudissait au 17 fructidor, qui exilait dans les déserts de Cayenne un de ses directeurs et 24 membres du conseil des anciens, dont l'attachement pour les Bourbons était connu et faisait leur seul crime. Nouvelles adresses à cette occasion. Au 18 brumaire ce fut un délire d'avoir Bonaparte pour consul. On en fit un empereur, il opprima, il tyrannisa, on l'encensait toujours. La guerre de Russie en 1812 et la retraite de Moscou, qui coûtèrent tant de sang à la France, n'empêchèrent point les François de lui confier encore d'innombrables armées qui périrent en 1813. Enfin on le laisse jusqu'au dernier moment organiser une garde nationale, enlever les trésors, sans oser sourciller, et s'il fût demeuré pour défendre Paris, Paris se serait défendu jusqu'à la dernière extrémité. Le bonheur a voulu qu'il ait été coupé de sa capitale et qu'après la journée de Montmartre les Parisiens aient été convaincus que les alliés étaient en forces trop supérieures pour avoir plus rien à craindre du Corse. Alors ils ont bravement déchargé leur rage sur l'ennemi terrassé, sous lequel ils tremblaient 24 heures auparavant. Aucun acte de courage n'avait fait foi de leur oppression et du désir de secouer le joug; c'étaient de bas esclaves qui, grâce à l'excessive indulgence avec laquelle les alliés les ont

traités, sont devenus insolents dès le lendemain dans la rédaction des articles de la constitution insultante qu'ils osent prescrire à leur légitime roi. Cette constitution est même à mes yeux offensante pour les souverains alliés, et c'est une grande imprudence à eux que de permettre qu'on proclame, en leur présence et en quelque manière sous leur approbation, des principes subversifs de l'état monarchique, qui, s'ils prenaient racine en France, ne manqueraient pas d'ébranler bientôt l'autorité de tous les rois de l'Europe. Mais ils ne voyent pas le danger, ou ils veulent bien s'y exposer, sans doute. A ce moment la gloire de leurs succès les éblouit, les enivre, mais ils se réveilleront et sentiront tôt ou tard la faute qu'ils commettent aujourd'hui. Mais ils sont eux-mêmes étonnés de se voir à Paris et d'avoir vaincu Napoléon, et cet étonnement nuit beaucoup à leur prudence. Si notre excellent Empereur, sans se mêler de la constitution à donner à la France, se fût contenté de dire à Talleyrand et à ses coassociés: *J'espère que c'est aux pieds de Louis 18 que vous mettrez votre Sénat pour lui demander l'oubli et le pardon des crimes dont la France s'est couverte depuis 25 ans*, ce peu de mots eût suffi pour que le roi de France rentrât purement et simplement avec les droits de sa naissance, sans qu'on eût osé songer à lui prescrire aucune condition. Je suis sûr que cette constitution est impraticable et qu'elle ne durera pas. Le roi pourra, je pense, la renverser incessamment s'il sait profiter de l'opinion du peuple, qui est toute en sa faveur contre ces voleurs complices de Bonaparte. Mais s'il veut tergiverser, et (ce qui est assez dans son caractère), s'il veut feindre d'approuver ce qu'il haït de tout son coeur et donner le tems au nouvel ordre de choses de s'établir, alors (souvenez-vous de moi) nous verrons de nouveaux troubles en France.

Mais ainsi que vous, chère princesse, je prendrai bien peu de part à tout cela, pourvu que la Russie prospère et cicatrise ses nombreuses playes. Que ces François remuants se dévorent chez eux, je ferai des voeux pour leur prince, jamais pour cette abominable nation, et ces voeux ne troubleront point mon repos, tant que les évènements n'auront leur théâtre que sur le sol françois. L'arrangement politique de l'Europe est à ce moment le grand oeuvre sur lequel chacun aura les yeux ouverts. Ce ne sera pas l'affaire d'un jour comme les paix du Napoléon: il faudra un congrès qui fasse époque comme celui de Westphalie.

Je suis ravi de savoir enfin par vous-même que vous comptez toujours venir à Moscou cet été. J'aurai sûrement le bonheur de vous y voir si Dieu me prête vie, car je n'ai jamais eu le projet d'aller en

Podolie. Il me faut le séjour d'une ville ou d'une terre plus habitée que ne l'est celle du comte Markow, où l'on ne voit jamais un chat. J'ai besoin des secours qu'on trouve en livres et autres objets d'occupation dans une capitale (même brûlée). Je lis beaucoup, je sors très peu et j'aime mon chez-moi à la folie quand je peux m'y procurer ce qui me convient.

J'aurais fort voulu être à Pétersbourg pendant cette époque intéressante, mais cela ne s'est pas pu à cause de ma santé, et si même je me fusse bien porté, cela ne se serait pas fait davantage à cause de la dépense. Tout est devenu si cher ici, si extravagamment cher, qu'avec une fortune aussi minime que la mienne, on n'y peut mettre un rouble de côté; trop heureux de pouvoir y nouer les deux bouts. Or je ne me dérangerai pas dans mes affaires pour rien au monde, car cela deviendrait bien vite irréparable. J'espère dans une amélioration de change, dans un traité de commerce, dans une administration sage qui rétablira enfin quelque proportion entre la dépense et les revenus; mais si rien de cela n'arrive, je me vois cloué à Moscou pour le triste reste de mes pauvres jours.

Concevez-vous la commission de Schouvalow, et le voyez-vous dînant et soupant avec Bonaparte, Caulincourt, Savary, Maret et Bertrand? C'est un vivant parmi des morts, et il pourra dire à son retour qu'il est descendu aux enfers, où il s'est entretenu avec d'illustres ombres. Oh, s'il sait un peu ne les faire parler dans ce premier moment, que de choses intéressantes à en tirer!

### XXX.

St.-Pétersbourg, le 30 avril 1814.

Mandez-moi, je vous prie, toutes les fêtes de Moscou: cela me fera plaisir. Chez nous tout est fini, et maintenant chacun s'attend à voir revenir quelqu'un des siens. Le général Winzingerode doit nous arriver ce soir, et voilà qui va en conter de plus belles; je vous dirai tout ce que j'en recueillerai. On ne croit pas que l'Empereur revienne de sitôt; il a tout plein de voyages à faire: après celui de Londres il en fera un en Hollande, ensuite il retournera à Paris, après cela il ira à Vienne, puis à Dresde, puis à Berlin, et nous reviendra par les provinces du Midi. Voilà ce qu'on assure, et cela fait supposer qu'on ne le reverra à Pétersbourg que sur la fin de l'été. Bonaparte doit avoir quitté Fontainebleau le 18, il va en Provence pour y être embarqué pour son isle. Il a un m-r Drouet qui le suit par sentiment. Ce sera quelque

coquin fieffé, peut-être celui qui arrêta Louis 16 à Varennes et vota sa mort avec tant d'acharnement; ce doit être ce même personnage, et alors il est tout simple qu'il suivît Bonaparte. Enfin, le sol françois va en être purgé. Marie-Louise, redevenue demoiselle, va retourner avec monsieur son père, qui joue à ce moment un triste rôle, il faut en convenir; au reste, ni elle ni lui ne m'inspirent pas le moindre intérêt, car ce mariage a été bien plat. L'histoire de Murat ne se confirme pas, et on ne sait point encore ce qui en sera de la royauté de Naples; mais il est à espérer et surtout à désirer que rien de cette infernale séquelle ne souille encore un trône. Le Sénat a expédié au vice-roi d'Italie le décret de la destitution de Napoléon; cet article est dans la gazette de Berlin ainsi que celui du cordon bleu donné à La Harpe, qui paraît fort singulier et qu'ici tout le monde révoque en doute. On dit aussi que ce La Harpe va venir à Pétersbourg. Beaucoup de gens parlent déjà d'aller voyager, surtout d'aller à Paris; plusieurs de mes connaissances sont prêtes à graisser leurs roues; si je graisse les miennes, je vous promets que ce ne sera que pour aller à Moscou. Je n'ai pas la moindre curiosité de voir quoi que ce soit, mais au contraire une certaine indifférence qui me fâche quelquefois et qui dans d'autres moments me semble être un bienfait du Ciel. Quant à mes soeurs, je désire extrêmement que la santé d'Ostermann leur permette d'assister au sacre de Louis 18. C'est un évènement bien intéressant et qui leur fournirait de quoi conter à ma tante pour le reste de nos jours.

## XXXI.

Moscou, Samedi 9 may, pour Lundy 11. 1814.

Conçoit-on que le 9 (21) may il tombe de la neige, que tout gèle autour de soi, qu'on chauffe les poëles, qu'on n'ose ôter les doubles croisées, ni sortir sans pelisse! Telle est pourtant notre condition et probablement la vôtre aussi. Cela serre le coeur et me rappelle ce que disait un prisonnier françois à Nijnei en décembre 1812: „*Grand Dieu, quel horrible froid il fait dans ce pays-ci, et ces barbares appellent cela une patrie!*“ Il est certain qu'il faut qu'elle ait bien des avantages réels pour compenser les inconvénients d'un aussi affreux climat. Nous ne sortirons de ces vents glacés que pour passer sans intermédiaire à des chaleurs excessives; ce qu'on appelle printems et automne n'est point connu en Russie. La Providence, dans la répartition de ses bienfaits, nous a retranché ces deux belles saisons des fleurs et des fruits, et c'est en vérité grand dommage...



De deux choses l'une: ou Louis 18, profitant de l'enthousiasme du peuple, rejettera la constitution dès le premier moment, ou bien nous verrons de nouveaux troubles en France avant qu'il soit une année. Mais ceux-là seront, j'espère, purement intérieurs, et dans ce cas je n'y prendrai, je l'avoue, qu'un intérêt assez froid. Je suis devenu égoïste, et pourvu que notre Russie demeure paisible et heureuse, je souhaiterai de loin toute la prospérité possible aux autres nations, comme on souhaite le bon jour aux indifférents.

Je ne crois pas un mot du cordon bleu de La Harpe; cela ferait le pendant de Koutaïssow, et ces choses-là ne se voyent guère sous deux règnes consécutifs. D'ailleurs j'ai lieu de penser que La Harpe ne vise à rien de pareil; les honneurs, les dignités sont moins de son goût que les *systemes spéculatifs* des philosophes. Nivelier lui plaira plus que de s'élever; j'en juge par ses propres écrits. Dieu nous préserve de son influence. Que viendrait-il faire en Russie? Le bon et honnête paysan russe n'est pas mûr pour lui appliquer les principes par lesquels se gouvernent les cantons suisses. Si on veut le rendre heureux de cette manière, on perdra tout, et cela sera promptement fait. Je rejette à mille lieues une idée pareille, dont l'exécution me ferait fuir à l'instant de ce pays.

M—r Divow est mort presque sans maladie: il n'a été au lit que 48 heures et ne se doutait pas de son danger. La veille je le vis; il mangeait avec appétit, il plaisantait avec un peintre qui loge chez lui; il lui disait: «je vais, mon cher Ferrari, mettre une belle robe de chambre, un beau serre-tête, et vous me peindrez *fesant mon testament*». Et il riait de tout son coeur de celle belle plaisanterie. Il disait des choses galantes à sa Taniouchka: quand on a le bonheur d'être servi par m-elle Tatiana, on ne saurait mourir, et de rire encore de toutes ses forces. Et puis il me parlait de ses affaires: dans six ans j'aurai payé toutes mes dettes, alors j'irai passer quatre ans à Naples pour remettre ma santé, et j'en reviendrai parfaitement bien portant pour arranger mon Sokolowo et y planter des beaux arbres... Le lendemain il était mort. C'était avant-hier, 7 may.

Boulgakou écrit à son frère que le cordon bleu de La Harpe est *positif*. Dans ce cas gardez bien pour votre bonnet tout ce que je vous en dis. Cet homme ne m'aime pas et a persécuté ma famille pendant la révolution qu'il a faite en Suisse. *Motus*.

## XXXII.

St.-Pétersbourg, le 12 may 1814.

Je crois vous avoir déjà dit que j'ai pour vos lettres en général la coquetterie d'une mère pour le minois de sa fille. La dernière m'ayant fait un plaisir extrême, j'ai voulu la produire dans le monde et l'ai fait voir à gens qui s'y entendent. Vous devez à cette lettre une conversion véritable sur vous-même. Elle s'est opérée sur m-e Swetchine, femme charmante pour l'esprit, les connaissances, le goût. Cette personne avait été fortement prévenue contre vous, j'ignore le pourquoi.

*Les opinions* de je ne sais qui *sur la constitution* vous auront fait plaisir; cette brochure est remplie de sens, et vaut mieux à certains égards que celle de Chateaubriand, qui au milieu des meilleures choses est gâtée par un certain air de circonstances. Vous m'entendez? Ah, que c'est une vilaine nation! Seigneur, qu'ils sont dégoûtants à mes yeux! Et ce pauvre Louis 18, je ne voudrais pas être à sa place pour rien au monde!—Tous les prisonniers sont libres et ont reçu la permission de partir; aucun d'eux n'emporte mes regrets, mais m-r Dubourg (qui me fesait des compliments sur mon pied) emporte mon soulier pour m'en faire faire quelques paires à Paris. Je ne pense pas qu'en général ces messieurs se vantent beaucoup de l'accueil qui leur aura été fait en Russie, à moins qu'il ne plaise à Vandamme de prôner madame Korsakow.

Adieu, portez vous bien et faites mille compliments de ma part à Titow, qui est parfait avec ses *croisades*. Ces anachronismes lui sont assez communs; il m'assurait un jour avec le plus grand sérieux qu'il avait connu mad. de Sévigné à Riga, en liaison avec Toutchkow et faisant de mauvais romans... Il confondait m-me de Sévigné, dont il n'a jamais lu une page, avec madame Krudener.

## XXXIII.

Moscou, le 18 may 1814.

Comme je ne fais jamais ni brouillon ni copie de mes lettres, il se trouve le plus souvent que j'en ai oublié le contenu quand la réponse arrive. Je cherche en vain à me rappeler ce que je vous mandais dans cette épître qui m'a valu l'opinion favorable de m-e Swetchine... Je commence à croire que je vaud mieux de loin que de près. Chaque objet a un point de vue plus au moins favorable; l'adresse est de saisir le point juste, et je pense que celui qui me fait voir sous mon beau côté est à la distance de 728 verstes. Cela certes est très-fâcheux, très-mortifiant pour moi, mais il faut bien que j'en prenne mon parti. Vous savez que j'ai peu d'amis à Moscou, et pour ne pas profaner ce titre d'ami, je dirai que j'y éprouve peu de bienveillance de la part de mes connaissances. Hé bien, il en était à peu près de même jadis à Pétersbourg. Peut-être y avait-il beaucoup de ma faute dans mon premier séjour; mais il y a neuf ans, revenant de prison, toutes les portes m'y furent fermées, et Dieu sait pourtant que dans aucune époque de ma vie je ne méritais mieux d'être accueilli par les Russes et même par le gouvernement, qui alors donna le ton et l'exemple d'une injuste répulsion. Le comte Tolstoï, que je ne connaissais pas, vint seul à mon secours avec un courage et une loyauté d'autant plus louables que c'était lui, en sa qualité de gouverneur-général, qui était chargé de m'intimer les ordres de l'exil le plus rigoureux. Sur mon seul récit, dans une seule conversation avec ce galant homme, je réussis à lui faire toucher au doigt le sort qu'on me faisait. Il me dit: «revenez ce soir; j'aurai parlé à l'Empereur». Le soir tout fut changé. Non qu'on me rendît justice, cela n'est pas fait, même à l'heure qu'il est, mais toute persécution finit sur-le-champ, et je pus demeurer tranquille au moins dans un pays qui, je vous le dis franchement, me devait des récompenses et des dédommagements. Je ne regrette rien, je ne désire rien; je suis à peu près aussi heureux qu'on peut l'être à mon âge, où l'indépendance est le premier des biens.

## XXXIV.

Moscou, le 26 may 1814.

M-me Tolstoï est en pèlerinage; elle a un redoublement de ferveur qui ne ressemble plus à rien. C'est la comtesse Protassow qui l'excite; elles ne manquent pas un soir les vêpres et elles entendent deux messes tous les matins, sans préjudice des jeûnes, des maigres et de tout ce qui s'en suit. Pendant le grand carême le petit Protassow était malade, et les médecins avaient ordonné qu'il fît gras; la mère n'avait garde de s'y opposer, mais par un esprit de justice voulant que tout fût compensé, elle se retrancha le poisson pendant les sept semaines d'abstinence, et vécut de champignons, de gruaux et de poids secs. La c-sse Tolstoï porte cela aux nues; mais elle a beau prêcher d'exemple et de paroles: ses filles ne peuvent pas mordre à ce régime-là. «Imaginez, monsieur, me disait l'autre jour Eudoxie, que nous nous levons avec le jour pour aller à l'église, où nous arrivons toujours avant le prêtre; nous l'attendons, nous le voyons s'habiller et nous écoutons tant de prières inutiles avant la messe, que quand celle-ci commence, nous n'en pouvons déjà plus. Encore passe si c'était fini; mais tout aussitôt maman nous mène à une autre messe: elle n'en a jamais assez». La maman rit de tout cela et va son train. Cependant les demoiselles ne sont pas du pèlerinage: on n'y mène que Sachou, car c'est un voeu fait pendant sa maladie. La comtesse y mène aussi la femme de son confesseur et sa vieille Kalmouke; je pense que l'ennui de la route sera offert en sacrifice et ajoutera au mérite des prières. Le mari pourrait bien arriver pendant ce voyage, car je ne vois plus à quoi un lieutenant-général est nécessaire pour ramener six mille miliciens dans leurs foyers, et comme on n'a pas de lettres de lui depuis un certain tems, je suis persuadé qu'il est en route et tombera chez lui au premier jour. Il me tarde de le voir; il ne dira rien d'abord; mais ensuite le coeur parle, et puis Jeannot Narychkine, son adjudant, me contera les doléances du parti. Titow dit tout simplement qu'après avoir refusé longtems de croire à ceux qui accusaient le comte Tolstoï d'indolérance et de négligence dans le service, il avait fini par se convaincre que cette inculpation était par malheur très-fondée. C'est pour lui un supplice quand il faut lire et signer un papier ou se décider à une expédition de courrier; les secrétaires préparent tout et attendent deux, trois et quatre jours, avant qu'il soit disposé à lire leur travail, le corriger ou l'ap-

prouver. On sent que dans la carrière militaire il faut que les choses marchent avec célérité, et cette lenteur est toute propre à nuire à un chef d'armée. Et puis, il s'entoure de têtes à l'envers, comme Mouromzow, qui n'ont jamais vu une chose sous leur vrai point de vue, et de tout cela on lui fait une masse de griefs dont il aura peine à détruire l'impression.

On annonce l'Empereur pour le mois de juin, et nous imitons à Moscou le zèle de Pétersbourg: on parle de lever quinze millions sur la noblesse pour créer un monument. Sauf le respect que je dois à messieurs les maréchaux de la noblesse, je pense qu'il n'y aurait pas de plus beau monument à faire à Moscou, que d'y établir des maisons pour les malheureux qui n'ont ni feu ni lieu; car si on vous dit que Moscou se rebâtit, n'en croyez rien: à très peu de baraques près, elle est comme vous l'avez laissée; la police chicane tout le monde et fait aligner à tort et à travers tous ceux qui veulent relever leurs maisons; on alignera des rues et on n'aura pas de maisons. Elle ne permet pas le plus petit bâtiment en bois, même une remise ou dépendance quelconque sans cheminée, et la brique étant montée de 16 roubles à 44 le millier, vous jugez que ces matériaux ne sont pas à la portée des pauvres. Il est vrai qu'avec de l'argent on élude toutes les loix, mais ceux qu'on doit acheter sont si nombreux et si avides que cette ressource ne peut servir à tout le monde. Je crois fermement que sous ce rapport nous touchons au bien, car il n'y a nul doute que nous sommes arrivés à l'excès du mal et des abus, or c'est un axiome que les extrêmes se touchent. J'espère que l'Empereur visitera Moscou; il faut qu'il voye par ses yeux pour croire ce qu'est cette malheureuse ville; je crains bien que cette course n'ait pas lieu de sitôt.

Jeudy, 28 may.

Voilà le courrier du comte Markow qui m'assure qu'il sera ici dans une heure.

## XXXV.

St.-Pétersbourg, le 28 may 1814.

A mon retour de Tikhwine j'ai trouvé chez moi votre lettre du 18. Je n'ai pu vous répondre tout de suite: j'étais toute rompue de ce voyage; j'ai dû prendre un bain, me reposer pour reprendre des forces. Vous avez tort de me remercier pour tout ce qui s'est dit chez m-me Swetchine: j'ai satisfait à la vérité; il y a longtems que j'en cherchais l'occasion, qui ce jour-là s'est présentée d'elle-même, et j'ai été enchantée de mettre en évidence toute l'estime et l'amitié que je vous porte. Ne parlons jamais de votre passé; oubliez s'il se peut tous les désagrémens, les injustices et les chagrins que les hommes vous ont faits. Vivez pour le moment présent avec ceux dont vous vous croyez aimé, et de cette manière nous arriverons au tems prescrit par la Providence. Munissez-vous de matériaux pour recommencer une autre existence plus réelle que celle-ci. Ce n'est pas mon pèlerinage qui me fait vous tenir ce langage; je n'avais pas besoin d'aller à Tikhwine pour vous dire cela: je vous proteste que c'est ma pensée de tous les jours. Pour en revenir cependant au voyage, je vous dirai que nous l'eussions fait très-agréablement, si le tems ne se fût mis à la pluye. Le premier jour nous avons fait 190 verstes en 20 heures: on ne peut pas aller mieux. Voilà que des nuages bien bruns, bien épais, vinrent tout gêner; bientôt il plut à verse; les gens étaient à faire pitié; nous résolûmes d'arrêter à la première poste; on n'en était plus qu'à un quart de verste, lorsque la voiture se trouva prise dans une boue telle que les roues de devant s'y enfoncèrent tout-à-fait: plus moyen d'avancer. Il tombait des torrents; la princesse Boris imagina que nous allions verser et poussa des cris, comme si on l'assassinait. Dans ces cas-là je ne partage pas les frayeurs et je deviens d'un sérieux à glacer, en sentant que les raisonnemens n'y feront rien. Je l'engageai à se mettre dans la kibitka qui menait son cuisinier et, après l'avoir fait partir, je restai tranquillement en voiture pour attendre les gens et les chevaux qu'on devait envoyer du village pour me tirer de là. Au lieu de ce secours je vis revenir la kibitka pour me ramener seule de ma personne, et l'équipage resta dans la boue. Pas une âme ne voulait aller à son secours, ces coquins de paysans voulaient de l'argent et ne le disaient pas tout de suite. Enfin, après bien des paroles inutiles, on leur donna 25 roubles, et ils partirent. De cette affaire nous fûmes obligés de passer la nuit dans le village; la voiture arriva sur les 3 heures du matin, à six nous repartîmes, et toujours avec un peu de pluye nous arri-

vâmes à Tikhwine sur les huit heures du soir. Nous nous mîmes au lit de suite, fatiguées à mourir. Le lendemain il fit un tems superbe, et j'allai à la messe basse. Comme c'est pour la sixième fois que je fais ce pèlerinage, je suis connue de tout le couvent, et mes bons amis les religieux ont été fort contents de me revoir; mais à titre d'ancienne connaissance j'ai eu mille fagots à entendre. Je dois convenir que je ne me suis pas trouvée dans l'asyle de la paix et encore moins de la pénitence; tous mes moines étaient mécontents: les uns du père-économe, les autres du père-prieur; frère Paul se plaignait de frère Antoine, le père Bartholomé en voulait au père Philippe; enfin ils se mangeaient le blanc des yeux, et je reçus, comme je vous le dis, mille confidences, et tout en soupirant je les exhortais à se tenir en repos et à se supporter mutuellement avec patience et indulgence. Cependant il se trouve dans cette communauté des gens très-pieux, un surtout qui ne se mêle de rien, qui est étranger à tous les tripots et que j'aime depuis longtemps, parce qu'il est bon et simple de coeur. Nous sommes restées là depuis le Jeudy soir jusqu'au Dimanche matin que nous nous remîmes en route pour revenir ici, où nous arrivâmes Lundy à 9 heures du soir. Voilà le récit bien exact de mon pèlerinage. J'ai presque envie de vous avouer que je n'en ferai plus avec cette bonne princesse: ses peurs en voyage sont parfaitement désagréables pour quelqu'un qui n'en a pas. J'aime à voyager seule: c'est bien plus commode.

M-r de Vaudreuil est à Paris. Troubetzkoï, qui en arrive, nous dit qu'il n'a pas reconnu cette ville et que sa démoralisation portée au comble fait horreur. Ce qui est surprenant c'est qu'aucun de nos jeunes gens n'en est émerveillé. Rien n'est encore assis dans ce pays-là, et l'on s'attend à bien du grabuge encore. Ce pauvre roi aura du fil à retordre; cependant jusqu'à ce moment on est charmé de lui et de sa conduite. La duchesse d'Angoulême ne cesse de pleurer et a constamment les yeux rouges. On parle avec éloge du duc de Berry; il semble que c'est lui qu'on envisage comme le véritable héritier.

## XXXVI.

St.-Pétersbourg, le 5 juin 1814.

Mon sort pour cet été est décidé: je vais à Kamemnoï Ostrow le 15 de ce mois chez la princesse Youssoupow, qui ne veut pas me céder à sa soeur. J'aurai le plaisir d'être sur le bord de la Néva, près de l'église et à côté du beau jardin de m-me Laval.

Que dites-vous de Ferdinand 7, qui vient de jeter à bas les Cortès et la constitution? Il ne veut pas plus de l'une que des autres. Le 12 toute la puissance paraissait être entre les mains de ces gens-là; le 13 le roi arrive, et d'un coup de pied vous fait sauter tout cela; il déclare nuls les actes émanés de ce pouvoir, il proteste contre la constitution, contre ceux qui l'ont faite, et déclare qu'il veut régner à l'instar de ses prédécesseurs. Nous n'avons pas encore les détails de ce nouvel ordre de chose, mais le fait est que les Cortès ne sont plus rien et que Bardaxi en a reçu la nouvelle bien officielle. Voilà, j'imagine, ce qui fera tomber la mode des constitutions, et Louis 18 pourra s'appuyer de cet exemple s'il le veut. Remarquez, je vous prie, comme il semble donné à l'Espagne de faire du bien à la France.

## XXXVII.

St.-Pétersbourg, le 11 juin 1814.

J'aurais parié que j'avais répondu à l'article de La Harpe et que je vous avais écrit qu'il avait très positivement le cordon bleu, et le pourquoi. Si je ne l'ai pas fait, dispensez-moi de ce récit pour le moment, car c'est beaucoup trop long; qu'il vous suffise de savoir que c'est lui qui avec Talleyrand a fait aller les choses de la manière dont elles ont été; depuis longtemps il était en relation avec m-r de Bénévent, et vous comprenez qu'on doit lui savoir quelque gré pour ce service et qu'il fallait le récompenser d'une manière évidente Attache-t-il, ou n'attache-t-il pas de prix à ce qu'on lui a donné? Je n'en sais rien; mais le fait est que cette décoration le met au rang des lieutenants-généraux, avantage qui ne lui sert à rien s'il retourne en Suisse, mais qui en est un très-grand s'il vient en Russie. L'Empereur a quitté Paris le 18 may et, voulant éviter les cérémonies qu'on n'eût pas man-



qué de faire à son départ, il est parti sans dire gare. Il avait fait la veille ses adieux au roi; il ordonna pour le lendemain une grande parade, et tandis qu'on la faisait il s'est esquivé pour rentrer chez lui, se déshabiller et partir un moment après. Le grand-duc Constantin fit la même chose quelques jours après; il nous est arrivé avec le traité de paix conclu avec la France. Quoi qu'on nous en ait lu le contenu hier à l'église d'Isaac, je n'en ai pas entendu une parole; car le ministre de la justice le lut à l'oreille de l'Impératrice, et personne n'a été plus heureux que moi. On est bien fâché qu'il n'ait pas employé à cette lecture un secrétaire qui eût de la voix et des poumons. On sait seulement qu'il n'est question pour le moment d'aucune espèce de partage de territoire et que les démarcations des états alliés seront discutées dans un congrès. Il faudra voir comment ces messieurs partageront le gâteau; pourvu qu'on ne donne pas la fève à la maison d'Autriche, je serai contente. On nous a menés hier en très-grande pompe à l'église d'Isaac, parce qu'on fait quelques réparations à la cathédrale de Casan; il y avait une foule inimaginable; le grand-duc à cheval précédait le carrosse de l'Impératrice-mère, les grandes charges et nous autres faisant cortège; la chaleur était étouffante et dans l'église et hors de l'église.

### XXXVIII.

Moscou, le 22 juin 1814.

Votre lettre du 11 prouve que vous êtes dans une disposition d'esprit qui fait plus souffrir qu'une douleur corporelle. Je connais cet état et je sais y compatir. Il n'y a rien à faire qu'à chercher à se distraire. C'est la maladie des gens blasés sur tout et gâtés par la fortune et par les succès; c'est aussi celle des personnes qui voyent une impossibilité morale à obtenir l'objet quelconque de leurs vœux, quand ces vœux ont un certain degré de force. C'est sous ce dernier rapport que j'en ai souffert autrefois. L'âge m'en a guéri, parce qu'il m'a ôté la force des désirs. Mes désirs étaient il y a 15 ans comme les rayons d'un soleil ardent; ils ne sont plus que comme un clair de lune doux et tendre, et même un peu mélancolique, mais qui ne blesse jamais.

Je n'ai encore aucune nouvelle du c-te Markow; m-r Wassiltchikow, arrivé ici avec la paix, a dit à mes amis qu'il l'avait rencontré à Orel en bonne santé, d'où je conclus qu'il doit avoir passé Kiew. Je n'ai point vu m-r Wassiltchikow, que je ne connais pas; mais j'aurais

fort voulu l'entendre sur Paris d'où il est parti après l'Empereur. Nous voilà renvoyés pour notre paix après le congrès de Vienne, et nos espérances financières sont tombées. Il est bien étrange que dans le traité signé à Paris, la Russie ne soit pas désignée autrement que le Mecklembourg ou quelqu'autre petite principauté, c'est à dire que son nom ni celui de son Souverain ne s'y trouvent pas une seule fois et qu'elle soit simplement sous-entendue par le titre d'alliée de la cour de Vienne. J'aurais voulu que le traité se fit entre le roi de France, l'Empereur de Russie et ses alliés, et non entre s. m. très - chrétienne. l'empereur d'Autriche et ses alliés, comme cela est. Car, en vérité, la Russie a joué le premier rôle et devait demeurer au premier rang; c'est elle qui a entraîné l'Autriche, et il est extraordinaire qu'elle consente à passer ainsi modestement à sa suite. Ou je n'entends pas les affaires, ou bien les conseillers de S. M. I. ont fait une gaucherie. Je conçois que les jeunes têtes aient laissé échapper cette inadvertance, mais Razoumowsky, qui sent et qui a de la hauteur dans le caractère, m'étonne par cet oubli. Il y a cela de fâcheux dans nos traités depuis 10 ans que nous y oublions toujours quelques circonstances d'étiquette ou de rang. Et plutôt à Dieu qu'on n'eût oublié que cela dans la désastreuse paix de Tilsit dont nous venons de payer si cher la façon. Qui croirait, en lisant le traité de Paris du 18 (30) may, que l'armée russe soit entrée victorieuse dans cette capitale deux mois auparavant? Cependant ce sont les actes publics qui consacrent dans l'histoire la gloire des souverains et celle des nations, et si j'eusse eu l'honneur d'être ministre de l'Empereur, je n'aurais jamais consenti que la paix de Paris fût signée sans l'intervention d'un plénipotentiaire russe qui aurait pris le pas sur l'autrichien. Cela n'eût pas empêché qu'on eût remis la discussion de certains intérêts au congrès de Vienne, mais du moins le public, qui d'un bout de l'Europe à l'autre s'arrache le traité de paix de Paris, n'aurait pas été dans le cas de demander ce que sont devenus les Russes? Qu'en dit le prince Youssoupow? Je vous prie si vous êtes sous le même toit, comme je le présume, de me rappeler à son souvenir. Pourquoi ne sert-il pas? C'est une tête mûre, il aime son pays et lui serait utile. Mais le système du jour est de mettre la jeunesse en avant, c'est pourquoi il se fait tant d'étourderies, et le prince Youssoupow pourrait fort bien paraître trop grave aux yeux de nos jeunes gens. Un des faiseurs du jour disait dernièrement qu'un homme après 40 ans n'était bon qu'à mettre sous la remise. C'est précisément l'âge ou les hommes sont choisis pour les emplois de confiance dans d'autres pays. Aussi voyons nous souvent les choses aller un peu mieux chez nos voisins que chez nous.

## XXXIX.

Kamennof Ostrow, le 18 juin 1814.

Lundy soir je vins m'établir dans ma véritable résidence. Le logement que j'ai cette année-ci est bien plus agréable encore que celui de l'année dernière: c'est un appartement charmant composé de trois pièces, dont l'une fait ma chambre à coucher, la seconde un petit cabinet tout drapé en mousseline et la troisième un bain avec des divans tout autour; le jour y vient d'en haut et rend cette chambre d'autant plus agréable qu'on peut s'y baigner lorsque la fantaisie en vient. Le reste de la maison répond à ce que je vous dis de mon appartement, et en tout cette maison de campagne n'est pas à comparer à celle que nous avons l'année passée.

Je suis très-aise d'être à l'air, surtout le soir; le frais que je respire semble rafraîchir mes esprits, la tristesse se dissipe souvent, et je me trouve assez calme et contente de moi-même. Je suis dans le voisinage du madame Gouriew et de la comtesse Strogonow, et j'ai de la façon toutes mes connaissances sous la main; mais je ne serai pas fâchée de rester seule avec mes livres le plus souvent possible, car mon dégoût pour le monde semble redoubler de jour en jour. Ah si je pouvais vivre à ma fantaisie! Mais non, il faut causer, être agréable, aller, recevoir, et tant que je serai attachée à la cour, il en sera de même, et je vivrai pour les autres bien plus que pour moi.

L'Impératrice-mère a donné hier une très-belle fête à Pawlowsk pour le grand-duc Constantin. On dit que cela était charmant; il y a eu spectacle, puis des ballets en différents endroits du jardin; un pavillon de roses où l'on a dansé, un autre où le souper s'est trouvé servi; des arcs de triomphe, des chiffres; les femmes en toilettes très-élégantes; les hommes tous en fracs pour y être avec plus de liberté; une affabilité dans la maîtresse de la maison qui mettait tout le monde à l'aise, enfin un ensemble délicieux. C'est la princesse Youssoupow qui en revient et qui m'a conté tout cela, car j'ai refusé d'y aller: faire couper une robe, se faire coiffer et surtout rouler 25 verstes par 25 degrés de chaleur, cela m'a paru par trop pénible. Au lieu de cela je passai la matinée seule dans mon cabinet; je fus dîner avec m-lle Gouriew chez une princesse Gagarine, jeune femme que nous aimons beaucoup; après le dîner nous fîmes une promenade très-longue, et je passai la soirée avec la vieille comtesse Soltykow, mère de mad. Gouriew et qui se trouvait abso-

lument seule, parce que toute la famille était à la fête. Je n'ai jamais fui la société des vieilles femmes quand elles ne sont ni hargneuses ni revêches; celle-ci est de fort bonne composition. Nous avons parlé de choses passées depuis 50 ans, je ne me suis pas ennuyée un moment. Voilà donc comment j'ai passé cette journée qui, si j'eusse été à Pawlowsk, m'eût infailliblement fatiguée à mourir.

J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Théodore Galitzine, qui est plus gros que jamais. J'ai frémi en l'apercevant et ne me suis pas senti le courage de lui dire que je le trouvais encore engraisé. Il l'est tellement que si j'étais sa femme, je n'aurais de repos ni jour ni nuit, par l'idée affreuse qu'il peut mourir au moment où l'on s'y attend le moins. Il me semble que jamais on ne doit compter sur une longue vie avec un homme de cette taille; ce qu'il y a de certain, c'est que ni mon mari, ni mon amant n'en auront une semblable. Mais quelle folie je vous dis-là, bon Dieu!

## XL.

Kamennof Ostrow, le 21 juin 1814.

Si j'avais connu le c-te Markow il y a huit ou dix ans et qu'il eût eu l'âge qu'il a et moi dix ans de moins, je vous assure que s'il lui eût passé par la tête de m'épouser, je l'aurais fait de la meilleure grâce du monde, et bien certainement ce n'aurait pas été avec la seule idée de prendre son nom, de jouir de son rang et de sa fortune et d'en rester là. Point du tout! De la manière dont j'ai toujours pensé, je suis sûre que je l'aurais aimé beaucoup, que je serais restée très-sage et qu'il eût été heureux. Jamais je n'ai été ni coquette ni dissipée; les jeunes gens ne me plaisaient point; je cherchais bien des succès, j'avais bien le désir qu'on me trouvât aimable, mais non les écervelés et les mirliflores: il me fallait des gens d'une certaine réputation, d'une certaine valeur. Actuellement, c'est fini pour moi: je ne songe plus ni à me marier, ni à plaire ou être aimée. Quand cela se rencontre, j'ignore comment cela se fait, je voudrais s'il était possible me détacher de tout, ne tenir à rien ici-bas et n'exister que passivement. Peut-être me trompé-je, peut-être n'est ce qu'une illusion et l'effet d'une exaltation passagère!

Mad. de Noiseville vous a-t-elle écrit la nomination de Pozzo di Borgo pour ministre de Russie à Paris? C'est officiel, et toute la légation est nommée; à l'exception de Boutiaguine, il n'y a que des étrangers.

J'aurais désiré savoir l'opinion de mad. Tolstoï sur ce nouvel ordre de choses; autrefois elle n'aimoit pas Pozzo, ensuite ce fut tout le contraire; elle le vit beaucoup à Vienne et le trouva très-aimable et surtout homme d'esprit. Le Conservateur vous donnera connaissance de la séance du corps législatif; je trouve le discours du roi très-bon et j'aime assez qu'il date les actes émanés de lui de la *19-me année de son règne*. Quelques personnes l'ont trouvé plaisant, moi je pense que c'est très-sage. En général, tout ce que ce roi a fait jusqu'ici est marqué au coin de la sagesse. En attendant je vous prie de croire que mademoiselle d'Autriche Marie-Louise s'en va faire une visite à l'île d'Elbe, d'où elle ira voir ses domaines de Parme et de Plaisance. Je vous avoue que je ne comprends rien à cette visite à Elbe; si vous l'entendez mieux, expliquez-la moi.

## XLI.

Moscou, le 2 juillet 1814.

Je suis enchanté ainsi que vous du discours du roi comme de toute sa conduite. Je crois fermement que je ne dois ni ne peux juger ce qui me fait encore quelque peine, comme la présence de Talleyrand, et qu'il y a pour l'employer des raisons majeures que le temps expliquera. Quant à la 19-me année de son règne, rien n'est plus à propos que cette logique-là; s'il datait autrement, il aurait l'air de reconnaître tacitement la légitimité de la révolution, du gouvernement directorial consulaire et impérial, ce qui ne peut ni ne doit être; il aurait l'air de plus d'être un roi *élu*, tandis qu'il règne de son plein droit depuis la mort de Louis 17, quoique les circonstances l'ayent empêché d'exercer son autorité. Au reste, ceci n'est pas nouveau: Charles 2 remontant sur le trône d'Angleterre en 1660 data tous ses actes de la onzième année de son règne, se comptant roi du jour de la mort de son père et ne reconnaissant point le gouvernement de Cromwell, quoiqu'alors comme aujourd'hui en France, on fût obligé de laisser subsister plusieurs lois et plusieurs établissements faits par le protecteur.

J'envie votre joli appartement, votre bain et la fraîcheur de votre campagne: nous étouffons ici; mais cela ne sera pas long.

## XLII.

Moscou, le 6 juillet 1814.

Le porte-feuille est charmant; d'abord je n'en comprenais pas l'usage. Théodore m'a montré comment on s'en sert, et cela m'a paru magique et fort bien inventé. Il est à la mode, il a des fleurs de lys, il me vient de vous par-dessus le tout. Vous ne doutez point que je n'en fasse grand cas; mais s'il eût été brodé de votre main, il m'eût fait mille fois plus de plaisir encore. Je ferai un reproche à m-me Evers d'avoir négligé votre éducation sous le rapport de la broderie. Une princesse doit toujours savoir broder des fleurs de lys pour pouvoir faire présent de quelque écharpe ou autres parures aux héros qui ont droit de les porter. Combien de belles Parisiennes se seront évertuées dans cette circonstance.

Vous avez raison: le prince Théodore est monstrueusement engraisé; j'ai passé la soirée hier avec lui chez Nathalie Abramovna. Sa femme est charmante; ils ont quelque idée de passer l'hyver ici, et j'en serai ravi, car cela ferait une maison bien agréable, et nous en avons bon besoin.

## XLIII.

Kamennoi Ostrow, le 6 juillet 1814.

Hier il est arrivé un courrier de l'Empereur, expédié de Douvres, qui annonce le retour de S. M. pour la fin du mois. Mais vers le soir un autre courrier du roi de Wurtemberg arriva à Pawlowsk; ce roi écrit à l'Impératrice, que l'Empereur vient de changer la marche-route, qu'il part de Carlsruhe, ne s'arrête ni à Vienne ni à Berlin, passe un moment à Weimar, et arrive incessamment. Il n'en a pas fallu davantage pour mettre tout le monde en train; on s'est imaginé le voir déjà aujourd'hui, car la police a couru dans toutes les maisons avertir qu'on eût à illuminer. Je ne sais pas si l'ordre a été scrupuleusement observé en ville, mais dans mon isle tout s'est passé sans bruit, et on n'y voit pas une lumière de plus. Le fait est que l'Empereur peut arriver demain et n'arriver que dans 8 jours: cela dépendra du temps qu'il passera avec sa femme à Carlsruhe et chez sa soeur à Weimar. Le congrès de Vienne est remis au mois de Septembre ou d'Octobre, ce qui fait que l'Empereur pourra passer six semaines ici. Je ne sais s'il acceptera toutes les fêtes qu'on lui prépare. On lui érige un arc de

triomphe sur le chemin de Péterhoff, des Te-Deum sans fin, puis des bals, des feux d'artifice et surtout une superbe fête à la Bourse. Il me semble que sans l'impératrice Élisabeth cela n'ira point, et nous ignorons absolument quand elle reviendra. On dit qu'on donnera onze millions d'habitans à l'Autriche et qu'à nous on nous conteste la Pologne, c'est à dire la Galicie, que l'Empereur demande pour rétablir le royaume de Pologne dont il sera roi. Dieu sait ce qu'il y a de vrai dans tout cela. Mais j'ai peur que ce congrès ne se passe pas paisiblement et qu'on ne finisse par se brouiller aux comptes. Le duc de Serra-Capriola devait partir pour Vienne demain; il ajourne son voyage, et vient de partir pour sa campagne. Le retour de l'Empereur va nous amener beaucoup de bruit à Kamennoi Ostrow, où probablement il viendra loger. J'en suis contrariée: j'aime la tranquillité dont nous jouissons et que nous allons perdre; toutes les têtes seront à l'envers. Au reste, je suis parfaitement décidée à ne me montrer nulle part, à commencer par la cour. Le jour même de l'arrivée de l'Empereur je commence une cure pour fondre une glande enflée que j'ai au cou, et c'est une excellente raison pour rester chez moi. Concevez-vous la douceur de rester tranquillement en capote, dans son coin, un livre ou une plume à la main, dans une jolie chambre sur un beau jardin, lorsque les trois quarts de la ville seront à se tourmenter pour des frais de toilette ou pour courir au bal et aux feux d'artifice!

#### XLIV.

Moscou, le 20 juillet 1814.

Votre lettre du 6 n'est partie que le 10, de sorte que toutes vos nouvelles étaient renversées par le rescript arrivé le 7 pour défendre les réjouissances.

Je crois que personne n'aura pris cet ordre avec autant de sang-froid que vous, chère princesse; puisque vous vous disposiez à vous tenir dans votre jolie chambre pendant que les autres se trémousseraient. J'approuve et partage votre goût à cet égard; je ne connais rien de plus fatigant que les fêtes pour ceux qui y jouent un certain rôle, et rien au monde de plus ennuyeux pour ceux qui y sont confondus dans la foule. Nos députés des provinces ne pensent pas comme moi, ils sont au désespoir: nous en avons ici des quatre coins de l'Empire, et notre boulevard n'est peuplé que de ces messieurs; chacun comptait faire briller son éloquence, assister à des fêtes impériales, obtenir quel-

ques grâces et revenir triomphant dans sa province... Mais ils rencontrent ici le décret qui leur casse le nez et qui pourtant le leur allonge d'une aune. Il n'y a que le prince de Géorgie et son beau-frère le prince Troubetzkoï qui repartent avec plaisir pour leur foire, et je suis sûr qu'à Makariew on fera des feux de joye en apprenant que l'Empereur renvoie le roi du Volga dans ses états: on ne comprend pas qu'une foire de Makariew puisse avoir quelque éclat sans la présence de ce grand-juge de tous les différends qui s'élèvent entre les Tartares arrivant d'Astrakhan pour les soumettre à son arbitrage. En l'absence du prince, il y aurait une disette de coup de poings qui serait bien funeste aux honnêtes gens et par trop profitable aux coquins. Avez-vous jamais entendu parler de son jugement au sujet d'une pièce de toile dont un fripon accusait un marchand de lui avoir volé la moitié? Ce fripon, pour pièce de conviction, montrait sa toile et celle du marchand; la largeur était la même, la finesse aussi, et la coupure se rapportait parfaitement, en sorte que le cas était fort embarrassant. Cependant on ne pouvait rien décider sans preuves... Or, le prince, avec une sagacité et une patience admirables, s'avisa de compter les fils de la trame de l'une et de l'autre pièce. Il en trouva 7 de plus dans l'une que dans l'autre, et aussitôt le calomniateur reçut la punition de sa fraude: il plut sur lui une grêle de coups de poings qui le fit repentir de sa friponnerie. La police aurait fait payer les deux parties et n'aurait rien décidé. S'il y avait dans chaque district un prince de Géorgie, nous verrions bien des choses en aller mieux.

Je ne crois point à votre apathie sur tous les événements qui se sont passés depuis une année; elle est impossible, et j'ose même dire qu'elle serait coupable, si elle pouvait exister. Comment, vous ne vous sentez pas allégée d'un fardeau énorme par la disparition de Bonaparte? Cette puissance colossale, qui oppressait le monde et qui menaçait de nous écraser, ne vous semblait pas insupportable? Reportez-vous à ce que chaque individu russe éprouvait il y a deux ans; voyez cet horizon sombre et chargé de nuages qui imprimaient la terreur sur toutes les âmes, avant que la Providence et la valeur des armées russes les eussent dissipés. Ah, bon Dieu! Quelle différence de situation, et que je suis heureux d'en sentir tout le bonheur à chaque minute du jour.



## XLV.

Kammenoi Ostrow, le 13 juillet 1814.

Je vous annonce l'arrivée de l'Empereur, que je viens d'apprendre. Il descendit de voiture hier au soir à Pawlowsk, ce matin à sept heures il a été à l'église de Casan, et on l'attend à Kammenoi Ostrow; car tout l'état-major s'y trouve déjà, et je viens de voir passer m-r de Waismitinow avec un piquet de la garde impériale. Vous savez qu'il a refusé toutes les fêtes qu'on préparait; il ne veut ni arc de triomphe, ni cérémonie quelconque; on s'est donc hâté d'enlever tous les échafaudages construits tant pour l'illumination que pour les tribunes. Le train que cette arrivée va produire dans notre île m'effraye d'avance; cependant ma frayeur est bien moindre que celle de tout plein de gens dont le sort va peut-être changer; car on parle beaucoup de déplacements dans le ministère, il y a mille et une parties qui vont s'entrechoquer, nous verrons qui l'emportera; mais je vous assure que je plains bien les pauvres gens qui sont en jeu: ils en perdront le boire et le manger, pour quelques jours au moins. Ah bon Dieu, quelle misère que tout ce qui se passe sur cette ronde planète!

Mes voisins Gouriew ne sont pas les derniers alarmés de cette arrivée; un gros nuage se promène au-dessus de leurs têtes, il faudra voir quel sera le vent qui soufflera de ce côté. Si le gendre Nesselrode jouit d'une certaine faveur, on pourra éviter la bourrasque; sinon, adieu le ministère et le grand hôtel du quai; j'en serais fâchée, car je les ai pris en affection, et puis c'est que m-r Gouriew est un honnête homme, manquant peut-être de moyens suffisants pour remplir sa charge, mais ayant une droite conscience et ne partageant pas avec les prévaricateurs.

Madame de Noiseville vous aura sûrement appris le mariage de Tatiana avec Potemkine, fils du premier lit de la princesse Youssoupow. Ce n'est point un merveilleux que ce promis-là, mais un excellent sujet, qui a très bien servi, à la veille d'être colonel et seigneur de dix mille paysans, ce qui n'est pas à dédaigner dans le siècle où nous sommes; de plus, il est fort épris et promet de faire un excellent mari. La jeune personne est charmante. J'avais craint qu'elle ne fût un peu romanesque; mais elle prend cet époux sans avoir de l'amour pour lui, mais de fort bonne grâce. Actuellement il faut songer à établir Sophie

qui sera la plus difficile à marier, car elle n'est pas aussi jolie que ses soeurs. Je ne suis pas en peine de Lise Troubetzkoï. Elle a quelque chose de si heureux dans la physionomie qu'au premier coup d'oeil on peut pronostiquer qu'elle s'établira d'une manière brillante. Et la pauvre Eudoxie Tolstoï, à qui la donnerons-nous?

## LXVI.

Kammenoï Ostrow, le 20 juillet 1814.

Depuis huit jours que l'Empereur est ici, il ne s'est rien passé qui puisse être rapporté; il me semble que peu à peu on revient de l'émoi qu'avait occasionné son arrivée; les esprits sont à peu près remis, et les nuages dissipés. Mes voisins Gouriew ont très-bonne mine. A la première entrevue avec le chef de la famille, l'Empereur a fait un magnifique éloge du commandant de Dresde; il a répété plusieurs fois qu'il en était très-content, que son début avait été excellent, et qu'il était bien aise que le jeune homme eût choisi l'état militaire. Il vient d'y entrer entièrement avec le grade de général-major. Il n'en a pas fallu davantage pour dissiper les inquiétudes de la famille; le mari est venu dire tout à sa femme, et celle-ci, par un mouvement très-naturel, l'a répété à tout les échos de Kammenoï Ostrow. De plus on a vu revenir le cher ami Tolstoï (le grand-maréchal) et quelques jours après Nesselrode, qui me paraît être très bien auprès de l'Empereur. Enfin tout va d'une manière satisfaisante pour cette maison, et j'en suis charmée. J'avais arrêté le projet de n'y pas mettre le pied jusqu'à ce qu'on vînt à s'apercevoir du manque de mes visites. Je voulais mettre à l'épreuve mad. Gouriew, qui se mêle de m'adorer, et le quatrième jour elle est venue me faire mille tendres reproches de l'avoir abandonnée. Cela m'a fait retourner chez elle le même soir, et les petits bonheurs qu'elle avait eu les jours précédents n'ont point porté atteinte à son obligeance accoutumée. Je vous assure que je la regarde comme un très-bonne personne, et la petite Marcow serait bien heureuse de pouvoir un jour appartenir à cette famille; mais la chose me paraît bien difficile à arranger, malgré sa brillante fortune (ceci entre nous, je vous prie). Ah, pourquoi mad. Hus s'est elle mêlée d'être la mère de cette enfant, ou pourquoi m-r de Markow n'a-t'il pas renvoyé cette mère en France en lui faisant un pont d'or s'il le fallait!

J'ai dîné hier chez la princesse Boris avec toute la famille Michel: fils, filles, gendres; je ne sais si j'en ai eu la tête tournée, mais le fait

est que je me suis trouvée si mal sur la fin du repas que j'ai été obligée de quitter la table pour aller me coucher; les vinaigres, les sels et tous les alcalis que la princesse Michel porte avec elle m'ont été d'un grand secours; elle m'envoya toute sa pacotille, qui m'a fait revenir en moins d'un quart d'heure. Du reste je l'ai trouvée hier moins agitée que de coutume, très-occupée de Terzi et dans l'enchantement de ce mariage, que je regarde aussi comme fort heureux pour Lise; quoique petite-fille du maréchal qui a pris Narva, je ne pense pas qu'elle eût jamais trouvé parmi ses compatriotes un époux de cette façon-là; le Bergamasque vaut son trésor d'or, il faut en convenir.

Michel a beaucoup enlaidi, ayant perdu ses cheveux et gagné trop d'embonpoint. Cependant il est assez agréable et cause bien. Il m'a conté les derniers moments d'Emmanuel St.-Priest, et c'est un récit bien intéressant. Il a fini comme un véritable chrétien qu'il était. Ses soeurs qui avaient été instruites de sa blessure, arrivaient toutes pour le soigner et ne le trouvèrent plus. Le frère (le gouverneur de Podolie) est arrivé aussi trop tard; mais du moins a-t-il pu donner quelque consolation à son vieux père, qui a été dans un état affreux. Je crois que le troisième St.-Priest (Louis) reste en France et le jeune Damas aussi, de même que le prince de Broglie, qui ne revient en Russie que pour chercher sa mère.

Tous les messieurs de la suite de l'Empereur parlent de Louis 18 comme d'une perfection. Jusqu'ici il se conduit admirablement. On regrette Joséphine, qui était fort aimée et fort aimable; elle aurait pu vivre heureuse sous le nouveau régime. Personne ne s'intéresse à Marie-Louise, qui est d'une sottise et d'une fierté sans exemple. Vous ai-je conté une anecdote qu'on m'écrit de Vienne sur le roi de Rome? Je crois que non. Un jour on voulut qu'un des petits archiducs l'embrassât; celui-ci recula en disant: Fi, je n'embrasse pas les François; le petit Bonaparte devint tout rouge de colère et cria aussi haut qu'il put: *Vous n'êtes qu'un polisson*. On conte mille traits de sa vivacité, qui est extrême; sa gouvernante perd ses peines à le morigéner: il n'en fait aucun cas. Son mot favori est: *je le veux, il le faut*. Que deviendra-t-il un jour, Dieu seul le sait. Tous les maréchaux ont l'air fort dévoués au roi, pas un ne semble regretter Bonaparte. Caulincourt vient d'épouser une madame de Canesi, très-jolie femme, et va vivre dans le fin fond de ses terres.

Ainsi va le monde, ou pour mieux dire, les atomes qui montent et descendent à tour de rôle. Pozzo di Borgo me paraît établi à Paris, et l'histoire du c-te Tolstoï est un fagot; cependant on l'a fait général en chef, et si sa femme l'ignore, vous pouvez le lui apprendre et la

féliciter de ma part. L'insupportable M...zow a été fait lieutenant-général; il en eût été de même pour Titow, s'il se fût tenu tranquille. Demain tout l'univers partira pour Péterhoff, où l'on restera jusqu'au 23. La princesse Youssoupow, quoique très-peu allante de son naturel, se met en mouvement. Moi, je me promets mille joyes dans la solitude: trois matinées d'abord absolument seule dans ma chambre; ensuite nous irons dîner chez le baron Strogonow l'aveugle; quand je dis nous, je m'associe m-me de Noiseville; nous ferons cette course en drochky. Après cela j'irai promener avec elle dans un petit village qu'on appelle la Petite Suisse; elle me fera manger de bonnes fraises à la crème; je passerai une soirée calme et paisible chez m-elle Gouriew. Tout cela me sourit fort et vaut mille fois mieux qu'une robe à queue, un dîner à la cour et la vue de cent mille lampions. Ah, mon cher ami, si j'avais seulement 40 mille roubles de capital, je vous promets que dès demain je changerais ma vie; mais je n'en ai que 30, et il faut encore exister dans mes mansardes pour le moins trois ans.

## XLVII.

Moscou, le 27 juillet 1814.

En apprenant vos craintes pour vos voisins Gouriew, j'apprends aussi la visite que l'Impératrice a faite aux fleurs de la dame, et il me semble que cette visite est l'annonce d'un vent favorable qui dissipera le nuage planant sur leurs têtes. Non, on ne m'a fait aucun commérage sur m-me Gouriew, c'est bien elle-même qui s'est expliquée en mainte occasion et même par écrit; enfin, s'il faut tout vous dire, elle mandait au c-te Markow l'année 1812 encore: „je ne vous écris pas librement, parce que je sais que m-r C. peut lire mes lettres; or, je ne me fie pas à lui“. Et cependant elle était si peu au fait de ce qui me regardait que lorsqu'elle écrivait cela en Podolie, j'étais à Moscou depuis trois ans. Mais cela n'en prouve pas moins son opinion défavorable, et vous conviendrez qu'il n'y a dans ce ton-là rien d'engageant, rien qui m'autorise à la charger de mes lettres pour son fils. Je sais que m-r de Markow a cherché à redresser son jugement, et puisque vous avez eu la bonté d'y interposer aussi vos bons offices, il est possible que cela ait produit quelque effet; toutefois j'en attendrai les preuves avant de lui demander un service, quelque insignifiant qu'il soit. Si vous avez le tems un jour, je vous conterai toute cette tracasserie d'Alexandrowsky, qui a 18 ans de date, et qui est une perfidie qu'on me fit

en abusant de ma jeunesse. Je n'avais pas alors assez de connaissance des hommes pour apercevoir le piège qu'un grand seigneur (l'ambassadeur d'Autriche Cobenzl) me tendait; mais j'avais assez d'esprit pour sentir qu'ayant donné dans le panneau, il était fort dangereux pour moi de dire ce qui m'y avait conduit. Je me tus et me laissai accuser par tout le monde; mais je m'ouvris dès le lendemain matin au c-te Markow pour avoir un appui par la suite, et il m'en a servi toutes les fois qu'il a été question de cette tracasserie. Tout cela ne vaut plus la peine d'être écrit, mais je vous le conterai quelque jour.

Votre comparaison des atomes est fort juste et fort ingénieuse; je la comprends fort bien, et votre doute là-dessus est par trop modeste. Mais, bon Dieu, que vous êtes philosophe pour votre âge! On croirait que vous avez 60 ans pour le moins. On voit que vos lectures ne sont pas frivoles. Vos occupations sont aussi d'un genre bien grave, puisque vous songez à vous adonner à l'étude du latin. Je ne suis point à même de vous donner là-dessus un bon conseil, mais bien un mauvais exemple. J'ai étudié le latin dans mon enfance sans l'apprendre; j'avais en horreur ce genre d'application aride, qui ne donnait rien à l'imagination et qui gênait l'extrême légèreté de mon esprit à cette époque, où j'avais peine à le fixer sur les objets les plus récréatifs dès qu'il fallait y mettre de la suite. Plus âgé, j'ai vivement senti le malheur d'ignorer cette langue fondamentale et j'ai voulu très sérieusement m'y remettre à 40 ans. J'ai pris un maître habile; je me souvenais des rudiments, ce qui facilitait la besogne; mais je vous avoue qu'au bout de trois mois de travail assidu j'avais fait si peu de progrès et j'éprouvais un si violent dégoût et tant d'ennui, que j'y ai renoncé pour la vie. Rien n'est si difficile que la construction de cette langue; mais aussi rien n'est si énergique que l'éloquence des auteurs latins. J'en ai assez vu pour le comprendre en disséquant les morceaux choisis avec mon maître; mais j'ai senti que c'est dans l'enfance qu'on peut retenir tant de mots sans idées et tant de règles sans principes, telles que les exceptions très-nombreuses aux règles générales.

Si vous entreprenez cette étude, je vous plaindrai; si vous réussissez et que vous surmontiez les difficultés, je vous admirerai. Mais, au fond, pourquoi voulez-vous prendre cette peine? La littérature française est si riche qu'il y a de quoi passer sa vie à ne lire, pour ainsi dire, que des chefs-d'oeuvre; que désirez-vous de plus, vous, femme, qui n'êtes appelée à aucune vocation où le latin soit nécessaire? Les livres latins sont mal traduits, je le crois; Virgile n'est pas rendu avec sa grâce inimitable par Delille; Dureau de la Malle ne donne pas une idée juste de Tacite et ne rend que bien imparfaitement son énergique concision;

Salluste est faiblement traduit par le président Desbrosses; tout cela est vrai. Cependant, à l'élégance du style près, ils copient les faits d'après les historiens et ils donnent les idées gracieuses du poète. Le plaisir de lire tout cela en original équivaudra-t-il bien à la peine que vous prendrez pour en venir à bout? Et puis les livres latins, surtout ceux qu'une femme peut lire, ne sont pas fort nombreux; il y en a plusieurs de fort immodestes. Je vous engage à tout peser avant de faire cette grande entreprise. Mais surtout consultez le génie que la nature vous a donné pour l'étude des langues, car il y a des gens si heureusement nés à cet égard que ce genre de travail ne leur semble qu'une bagatelle.

Hélas, 10 mille roubles pourraient vous rendre heureuse ou du moins contribuer à arranger votre vie, et vous ne les trouvez pas tout de suite dans un pays, dans une cour, où cette somme est comme un grain de millet! La moindre protection auprès de S. M. vous ferait accorder la dot qu'on donne aux demoiselles d'honneur qui se marient; demandez-la ou faites la demander par vos amis dans un bon moment; je suis sûr que cela ne sera pas difficile à obtenir. Peut-être c'est-il sans exemple; eh bien, tant mieux: cela n'en passera que plus facilement. Ah, si j'étais l'Empereur, comme vous auriez un joli sort indépendant; mais bon Dieu, il n'y a que faire d'être souverain pour cela: vous êtes entourée de gens qui regorgent de bien, qui ne savent qu'en faire et qui ne songent jamais au bonheur d'autrui

#### XLVIII.

Kamennoi Ostrow, le 3 août 1814.

Eh bien, voilà que vous me dégoûtez du latin; le comte Maistre m'a parlé comme vous de l'énorme difficulté qu'il y avait à l'apprendre, si on ne le commençait dans l'enfance. Ses trois mots différents pour un seul verbe présentent quelque chose d'effrayant. Je vous dirai que j'ai une grande facilité d'apprendre; j'ai su l'italien en six mois, à le parler et l'écrire sans faute, à lire l'Arioste et le Tasse. J'avais quinze ans alors et j'ai cultivé cette langue jusqu'à 18 ans; depuis je n'ai eu aucune occasion de la pratiquer, malgré cela je ne l'ai point oubliée; je ne la parle pas aussi facilement que le français, parce que je n'en ai pas l'habitude, mais je la parle sans embarras, et dans ce moment je lis les Actes des Apôtres en italien. La Société Biblique de Londres a envoyé ici deux exemplaires du Nouveau Testament en cette langue,

mais du plus élégant toscan possible; Galitzine m'en a donné un, le second au comte de Maistre. C'est une lecture que je fais chaque matin sans avoir besoin de m'expliquer la moindre chose par le français. Il y a huit ans que l'envie de l'anglais m'est venue, j'ai également pris un maître avec lequel j'avais fort bien commencé; mais il lui prit la fantaisie de s'enfuir de Pétersbourg sans qu'on ait pu savoir en quel lieu ni par quel motif. M-r Collins, c'était son nom, m'avait laissé une grammaire dont je m'occupai encore quelque temps; mais vint un voyage à Moscou, ma nomination à la cour, mon établissement au palais, une vie toute dissipée, toute bruyante, des sorties sans fin, si bien que je ne pensai plus à l'anglais, et cependant je suis bien certaine que si je m'y remettais de nouveau j'avancerais beaucoup dans une année. Vous voyez donc que j'ai quelque peu de rapport avec votre docteur. Mais je parie qu'il a sur moi le très-grand avantage de la patience, qui ne fut jamais la vertu dominante de mon caractère. Depuis quelques années je me suis bien réformée sur cet article et encore me laissé-je aller à de fréquentes impatiences. Voilà ce qui m'a rebuté en grande partie; avec toute ma belle ardeur pour le latin il me faudrait prodigieusement de travail, et si la chose n'allait pas aussi vite que je le désirerais, je me dégoûterais et j'aurais enfin perdu beaucoup de temps qui aurait pu être mieux employé. Au reste, dans la consultation que je viens de faire là-dessus, la majorité des voix pour le *non* l'a emporté. Point de latin donc, et, comme vous dites, lisons du français. A propos de cela, je vous demanderai si vous avez déjà à Moscou l'ouvrage de madame de Staël sur l'Allemagne? On vient de me le prêter, et je le lis avec assez de plaisir. A mon avis, ce livre pris en gros est assez mauvais, sans plan, sans marche suivie, mais des détails charmants, des mots heureux, et on le lit sans ennui. Mad. de Staël a prodigieusement d'idées, dont quelques-unes aussi justes que profondes ont le mérite d'être rendues avec beaucoup de grâce, mais on ne peut contester qu'elle a fait de bien mauvais ouvrages. Tâchez de vous procurer ces lettres sur l'Allemagne et lisez la description de la fête d'Interlaken: c'est très-joli. Vous avez raison, je ne lis rien de frivole, cela ne m'amuse pas, quand même ce serait écrit de main de maître; c'est un genre qui ne me convient plus du tout; il y a deux ans que je n'ai pas ouvert un roman, quoiqu'il en ait paru qui ont de la vogue; ce n'est point une réforme que j'ai faite, cela est venu de soi-même avec quelques années de plus.

La comtesse Ostermann a trouvé trop cher de voyager avec une voiture de plus, et en conséquence a proposé à mes soeurs de retourner en Russie avec m-me Wassiltchikow, qui se trouvait à Egra. Elles se dirigent sur Moscou, et dès qu'elles y seront, je m'y rendrai aussi.

## XLIX.

Moscou, le 6 aoust 1814.

Le retour de l'Empereur occasionne bien des fêtes dont nous attendons la fin avec une grande impatience, dans l'espoir que les affaires succéderont aux plaisirs, et qu'on verra quelque commencement de réforme aux pillages où le public est exposé. Ce pillage est porté à son comble à Moscou, il faudra bien qu'il y ait remède tôt ou tard. Que faites-vous de notre gouverneur-général à Pétersbourg? L'avez vous vu? Lui pardonne-t-on l'an 1812? L'Empereur nous le renvoie-t-il? Dites moi ce que vous en savez.

## I.

Moscou, le 13 aoust 1814.

J'ai lu fort à la hâte et par morceaux seulement l'ouvrage de mad. de Staël sur l'Allemagne, pendant les quatre jours qu'elle a passés ici il y a deux ans. Elle me prêta le seul exemplaire qu'elle eût sauvé de la destruction de toute l'édition, ordonnée par Bonaparte, qui ne donnait d'autre raison de cet ordre que l'affectation de l'auteur à ne pas parler de lui. Je me procurerai ce livre incessamment. Je trouve comme vous que mad. de Staël a prodigieusement d'esprit et d'idées, mais que ses livres sont sans but. Son amour-propre insatiable la porte à écrire sans cesse pour occuper d'elle l'Europe *lisante*. Cette femme a eu de vifs éclats de bonheur, mais des époques entières de mortifications, comme il arrive à tous ceux qui n'existent que pour l'amour-propre. Elle était faite pour être heureuse dans la société par son amabilité, et ce bonheur y est constamment troublé par tout ce qu'elle recueille de fâcheux dans des critiques de ses ouvrages ainsi que de celles de ses opinions.

Voici une lettre du c-te Markow du 29. Il m'écrit: „Par quelle „fatalité la Providence, qui a opéré pour nous des choses aussi grandes, „aussi salutaires, permet-elle qu'on y associe d'aussi ridicules et d'aussi „scandaleuses que celles qui se sont passées à Londres entre le prince „et la princesse de Galles? Elle veut apparemment nous tenir en con- „tinuelle crainte sur notre avenir, afin que nous n'oublions jamais le „besoin que nous avons de son assistance dans toutes les circonstances „de notre vie! Faites part de cette réflexion à la p-esse Turkestanow, „pour qu'elle voye que je ne suis pas du tout aussi réprouvé qu'elle le „pense“.



Je fus hier me promener au Kremlin pour voir monter la nouvelle croix sur le clocher d'Ivan Weliki. A force de cabestans et de bras on en est venu très-lestement à bout; c'est le commencement des réparations de ce beau lieu si dégradé. Je n'avais jamais monté ce fameux clocher, je me suis avisé de le faire: j'en ai compté les marches et je suis bien aise de vous dire que la première plateforme en a tout juste 113. J'ai pensé à vous auprès de ces grosses cloches; j'ai dit: me voilà à la hauteur de son donjon; je cherchais vos fenêtres, j'en voyais cent mille de tous côtés, je n'ai pas aperçu les vôtres. J'ai doublé et triplé cette hauteur respectable; j'ai vu tout Moscou d'un coup d'œil, mais il faudrait la tour de Babel sans doute pour apercevoir l'habitation de ses amis à 700 verstes de distance.

## LI.

Kamennoi-Ostrow, le 10 aoust 1814.

Certainement que je ne puis avoir 40 mille roubles qu'en faisant des épargnes sur l'argent que je reçois de la cour. Je ne me soucierais même jamais d'augmenter mon petit capital. Il n'existe pas dans le monde une personne qui peut avoir le droit de me faire un cadeau en argent. M-me Arséniew seule pourrait me le donner sans que j'y eusse la moindre répugnance. Mais elle exceptée, il n'y a pas une âme dont je voulusse recevoir un sou, moins encore par fierté que par une délicatesse, qui ferait que je ne me croirais jamais assez reconnaissante, me rendrait la vie dure par ce sentiment et me mettrait dans une véritable dépendance. Je me gênerai, je m'imposerai encore pendant quelques années mes 113 marches et je finirai par amasser quelques mille roubles de plus. Je ne me décourage pas facilement; j'ai eu toute ma vie beaucoup de persévérance dans ce que j'ai entrepris; j'ai constamment suivi une certaine marche dont je ne me suis pas écarté. Dieu merci, cette suite de conduite m'a valu quelque chose jusqu'ici. Pourquoi donc ne pas se contraindre encore s'il le faut pour assurer son indépendance? Je suis entrée à la cour en 1808 avec un capital de 16 mille roubles; de ce moment j'ai dû augmenter beaucoup mes dépenses de toilette; l'année du séjour de la reine de Prusse à Pétersbourg fut prodigieusement coûteuse: pendant 17 jours consécutivement nous eûmes des fêtes, bals, mascarades, spectacles à l'Hermitage, soirées chez l'Impératrice, les fiançailles de m-me la grande-duchesse Catherine; enfin,

comme je vous dis, 17 jours de suite des parures différentes, et vous imaginez ce qu'il a fallu dépenser. Eh bien, sans donner dans une très-grande élégance, j'ai toujours été mise comme tout le monde, et avec tout cela cette année, qui était la première de mon entrée à la cour, je parvins à mettre mille roubles de côté. Les années suivantes je fis mieux encore, et enfin de 1808 à 1814 j'ai augmenté mon capital jusqu'à 30 mille roubles. Il est vrai qu'il entre dans cette augmentation cinq mille roubles du gain d'un procès; mais les neuf mille de surplus sont de ma pure économie. Et ne croyez pas que je me sois refusé le boire et le manger, pas du tout: outre les choses nécessaires à l'existence, je me suis passée plusieurs petites fantaisies, telles que celles de mes meubles fort agréablement et de faire à peu près chaque été le voyage de Moscou pour aller voir ma tante. Comment cela s'est-il arrangé? Je n'en sais rien. Mais comme cela m'a réussi, je ne désespère pas d'avoir dans trois ans d'ici dix mille roubles ajoutées à mes trente milles. Alors je quitterai la cour et, selon l'usage, je recevrai en prenant mon congé dix mille roubles encore, ce qui m'en fera 50 mille.

Je n'ai pu jusqu'à présent rencontrer votre gouverneur de Moscou, quoiqu'il soit logé tout près de chez nous, chez son ami Golowine; mais j'entends dire qu'il ne retournera plus à son poste et qu'il a le projet de voyager pour sa santé. On nomme à sa place le général Tormassow, d'autres disent le prince Gortchakow. Je ne crois pas que cela se décide avant le départ de l'Empereur.

## LII.

Kamennoi-Ostrow, le 17 août 1814.

Nous avons eu ces jours-ci des nouvelles qui me paraissent dénuées de toute vérité: il s'agissait d'une conspiration découverte à Paris, dont les chefs étaient Savary, Caulincourt et Cambacérés; d'autres nommaient Marie-Louise. La gazette d'Hambourg en fait mention, et cependant c'est un fagot: car les lettres de Paris disent au contraire que tout est calme. Ce n'est pas que je croye la chose impossible, car c'est une vraie Macédoine que ce Paris: il y a là des élémens pour toute sorte de tumulte. Je ne suis pas surprise que La Maisonfort soit un peu désappointé; il a du commun avec tous les émigrés la manie des illusions; il s'est imaginé que le roi n'aurait pas assez de la moitié de ses états pour payer ses brochures, et il se trouve lésé d'après ses grandes espérances. Autant en pend à l'oreille du marquis De La Ferté, qui est parti d'ici avec l'idée d'être lieutenant-général et de faire tous le

soirs la partie de Louis 18. Ils sont un petit brin fous ces messieurs, et il n'y a dans tout cela que le duc de Polignac qui soit raisonnable. Je sais aussi de fort bonne part que le duc de Richelieu ne retourne pas en France; l'abbé Nicole, qui arrive d'Odessa, le dit à qui veut l'entendre. Cela me fait plaisir en me donnant l'espoir de revoir encore une fois m-r de Richelieu que j'aime et estime infiniment.

## LIII.

Moscou, le 27 aoust 1814.

Je ne crois point aux conspirations de Paris: personne n'est assez fou, j'espère, pour vouloir sérieusement remettre Bonaparte sur le trône. Ou voudra tirer tout ce qu'on pourra de la situation embarrassante du roi, mais cela n'ira pas plus loin. J'ai une nouvelle lettre de La Maisonfort du 1-er aoust, dans laquelle il m'exhorte à ne point croire aux allarmistes et aux mécontents m'assurant que tout se calme miraculeusement.

Je suis charmé que le duc de Richelieu reste en Russie, puisque vous y prenez quelqu'intérêt; mais je ne peux m'empêcher d'être étonné qu'un homme dont la famille doit toute sa fortune aux Bourbons ainsi que toute son illustration, ne rejoigne pas son souverain au moment du besoin. Il y a 12 ans que m-r de Richelieu était à Paris, négociant les conditions auxquelles il était prêt à se soumettre pour s'y fixer et servir Bonaparte. Le consul lui tint la dragée trop haute, et le duc préféra revenir en Russie. Mais aujourd'hui je ne vois pas ce qui le retient, à moins qu'il n'envisage pas la position du roi comme solide; et si j'ose le dire, c'est, à mon avis, ce qui devrait le porter à son poste plus que tout avantage personnel. On aimerait à retrouver chez lui le noble caractère des chevaliers français, de ces chevaliers qui ne calculaient rien et ne voyaient que leur roi, leur honneur et leur dame. M-r de Richelieu aurait à la vérité, en rentrant en France, le désavantage de n'avoir point voulu porter les armes contre Bonaparte; c'était encore là un calcul... et je vous le dis: tout chevalier qui calcule n'a plus l'esprit de son état. Parlez-moi d'Emmanuel St.-Priest, de Langéron, des princes de Broglio et de quelques autres encore qui n'ont point varié et ne sont jamais sortis de la droite ligne! Au reste, n'ayant point l'avantage de connaître particulièrement m-r de Richelieu et ignorant les raisons qu'il peut avoir, il ne m'appartient point de le juger; aussi tout ce que je vous en dis est une simple réflexion, qui peut-être manque de justesse et que je ne donne que pour ce qu'elle vaut.

Madame Miatlew a passé 15 jours ici; elle part demain; la connaissez-vous beaucoup? Connaissez-vous m-me Meilian et son mari? Connaissez-vous m-me Tonci, m-me Guérard, m-me Hélène Pouschkine? Dites-moi, je vous prie, si vous connaissez ces dames. Le séjour de m-me de Miatlew m'a jeté momentanément au milieu d'elles; j'y ai trouvé du babil, du jargon, un peu d'esprit, beaucoup de prétention, pas un grain de sens commun, et c'est pourtant la seule chose dont je fasse cas. M-me de Miatlew a l'air de la reine au milieu de tout cela, et ces dames ont l'air de se frotter à elle pour prendre une teinture de bien des choses qui leur manquent et qu'elles n'attraperont point, parce que le naturel ne s'acquiert pas.

## LIV.

St.-Pétersbourg, le 27 août 1814.

La princesse Boris en rentrant en ville enverra les cartes d'annonce du mariage de Tatiana, et s'arrangera à recevoir du monde. Je ne sais pas ce que mad. de Noiseville vous aura dit de Potemkine, mais moi je le trouve par trop Grandisson; c'est une pudeur et une réserve qui ont quelque fois l'air de bêtise. Il se dit très-amoureux, très-heureux, et en le voyant on jurerait qu'il ne se marie que parce que sa chère mère lui dit: „épousez, mon fils, je le veux“. Enfin c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je voudrais que vous vissiez pour me l'expliquer. Mad. de Noiseville en est souvent impatientée, mais comme notre promis ne pêche que par trop de vertu, nous prenons le parti de nous taire. Le jeune Youssoupow, avec tout plein de travers et mille ridicules, est souvent plus agréable que son frère avec toutes ses perfections. Non, je n'aime pas les Grandissons. Cependant je n'aime pas davantage le petit Youssoupow.

Le comte Schouvalow serait intéressant à entendre sur son voyage avec Bonaparte, mais Dieu sait où je pourrai le voir; il arrive de Rome, il en apporte des vieilles pantoufles du pape avec beaucoup de chapelets bénis par sa sainteté. Nous avons aussi le général Koeler et m-r de Noailles, qui vient comme ministre et point comme ambassadeur, ce qui pourra faire rester Pozzo di Borgo à Paris. Un comte de Laizer, neveu de m-r de Briand, m'a dit hier que votre ami La Maisonfort est nommé secrétaire intime du roi et logé aux Thuilleries. Voilà qui va le régayer et lui rendre la santé. M-r de Richelieu a demandé un semestre de quelques mois pour aller en France, rien que pour

faire sa cour au roi; mais il paraît bien décidé à rester au service de Russie, ce qui est tout simple: car il est à peu près étranger dans son pays. Personne n'a encore aperçu m-r de Noailles, il est descendu dans un hôtel garni et s'y tient modestement; il a avec lui un jeune St.-Victor, propre neveu de St.-Priest et un comte de Lamoussellie, attachés à la légation. Quelle figure feront ces messieurs, nous allons le voir; mais on peut-être sûr que ce ne sera pas celle du proconsul Caulincourt, Dieu mercy!

Vous me demandez des nouvelles de votre chef de Moscou? Eh bien, il a son congé d'après la demande qu'il en a fait; il s'établira, dit-on, à Pétersbourg avec toute sa famille. Je l'ai enfin rencontré; nous avons passé une soirée ensemble chez madame Gouriew où il était fort gay et fort causant; tout le monde en a été content, et moi aussi. Il se plaint de sa santé, mais je ne lui trouve pas mauvais visage du tout; il est beaucoup moin jaune qu'autrefois. Vous aurez à sa place ou Tormassow ou Gortchakow. Lequel voulez vous? Nous vous l'enverrons.

## LV.

Moscou, le 3 VII-bre 1814.

Il y a longtems que j'ai remarqué que l'avarice rétrécit le coeur au point de rendre ridicule ceux qui s'en laissent dominer. Malgré cette remarque fréquente, je ne peux m'empêcher d'être étonné quand je vois les riches faire des vilénies *qui les démasquent*, et cela pour l'amour de quelques copeques! Comment n'a-t-on pas assez d'esprit pour résister à ces misérables tentations. Une sagène de bois de 10 à 15 roubles aurait suffi pour vous procurer un plaisir de 8 jours et pour paraître obligeante.... Non, la passion est là qui suggère cent mauvaises raisons pour cacher la véritable, et pourtant on ne la cache point. Et l'amour de ces 15 roubles se trouve dans le coeur d'une personne qui en a trois cent mille de rente et qui n'en dépense pas le quart. Que nous sommes de misérables créatures! Car ceux qui ne sont pas avares ont d'autres faibles qu'ils déguisent en vain, et tous, tant que nous sommes, nous portons le cachet de nos premiers pères. Les défauts d'autrui me rendent humble par la conscience que j'ai que les miens sont tout aussi frappants à leurs yeux, quoique l'amour-propre me fasse souvent illusion là-dessus. Je dis illusion, car ce n'est pas autre chose. Dites-moi: Potemkine tient-il de sa mère pour l'avarice? J'espère que non, puisque c'est un Grandisson. Je me reproche de ne vous avoir pas

parlé plutôt d'une idée qui m'est venue; c'est que ce jeune homme devrait, s'il a du coeur, faire quelque chose de solide pour m-me de Noiseville; je le taxe à cent paysans qu'il détacherait des dix mille que le Ciel lui confie. Grandisson eut fait mieux encore pour la gouvernante d'Henriette Byron; or, Tatiana vaut bien cette Anglaise-là. Mais souvent les gens les mieux intentionnés ne font pas ce qu'ils devraient faire, parce que personne ne leur en suggère l'idée. Ne pourriez vous pas glisser cela dans l'esprit du jeune homme en flattant son amour-propre. Je dis la lui glisser dans l'esprit, car si son coeur est susceptible de reconnaissance, la chose viendra de lui-même. M-me de Noiseville n'est pas une gouvernante ordinaire; ce ne sont pas des présents de noce en robes et en chals qui pourront reconnaître le bien qu'elle a fait à ses élèves; il lui faut une petite indépendance qui rende sa vieillesse douce et aisée, sans qu'elle ait besoin de recourir à personne, car c'est ainsi qu'on conserve tous ses amis. Il n'y a rien de tel pour être aimé que de n'avoir pas besoin des gens qui nous aiment. Voyez ce que vous pourriez insinuer à votre Grandisson à ce sujet. Vous feriez là une action digne de vous. Mais gardez-moi le secret sur la demande que je vous fais, parce que quelque bonne intention qu'on ait, il est ridicule de se mêler des affaires d'un homme qu'on n'a jamais vu. Tatiana pourrait lui demander la chose, cela serait fort à sa place.

Je ne suis point fâché de vous savoir en ville: vît le tems horrible qu'il fait, vous auriez gagné quelque rhume.

Je ne peux vous dissimuler que Moscou est enchantée du congé de Rastopchine. On répand qu'il a écrit à sa femme: «Enfin S. M. I. m'a accordé la grâce de n'être plus le gouverneur de cette *coquine* de «ville». Je ne garantis pas la vérité de cette phrase, mais en tout cas je vous assure que *la coquine* n'est pas en reste et qu'elle lui rend bien la monnaie de sa pièce.

## LVI.

St.-Pétersbourg, le 3 VII-bre 1814.

Quelle journée que celle du 30 aoust ici! Que de gens heureux, que de grâces accordées, que de physionomies éclaircies! On a fait des princes, des maréchaux, des dames de St.-Catherine, en un mot mille et une joye. D'un trait de plume on a fait dix altesses, car tous les Soltikows le deviennent; onze femmes décorées de la croix de St.-Catherine; une demi-douzaine de gentilshommes de chambre. Mes amis du quai ont eu pour leur part le grand cordon de St.-Vladimir dans un

moment où l'on croyait que tout croulait pour eux. Je suis ravie qu'ils surnagent, quoique bien des gens en sont désappointés. Je suis persuadée, toute prévention à part, qu'on ne trouverait pas mieux pour l'avenir. J'ai passé chez eux la soirée du 30; on était très en mesure pour le contentement, mais ce qui m'a amusé, c'est de voir la foule qui est venue féliciter pour ce ruban auquel on s'attendait si peu, mais qui remontait les actions de la famille, et dans cette foule tant de gens, qui, j'en suis certaine, enrageaient de tout leur coeur. Tout cela est pitoyable!

J'ai vu m-r de Noailles qui est ambassadeur en toute forme et je vous reprends tout ce que j'avais dit de contraire à ce sujet; c'est un homme de 35 ans, d'une extérieur agréable, l'air modeste. On dit qu'il n'a pas infiniment d'esprit; je n'en sais rien; dernièrement, passant la soirée avec lui chez la p-esse Boris, je le trouvai très-causant avec m-r de Maistre sur la littérature. Ce qu'il disait était fort bien, je n'en veux pas davantage. On lui a fait une réception très-magnifique dont il paraît fort satisfait. Il est toujours logé à l'hôtel de l'Europe; on croit qu'il occupera celui qu'avait Caulincourt. Pozzo a pris l'hôtel Thélusson, mais comme il n'a pas le caractère d'ambassadeur, il est probable qu'il le cédera à un autre. Le public d'ici lui donne pour successeur m-r de Kotchoubei, d'autres le baron Strogonow qui est en Suède.

## VII.

St.-Pétersbourg, le 14 VII-bre 1814.

Il me tarde d'apprendre enfin le retour de mes soeurs; le 3 elles n'étaient pas encore à Moscou. M-me Apraxine veut partir la semaine prochaine. Ne me répondez plus à cette lettre et pourtant ne dites encore rien chez ma tante. S'il survenait quelque retard, elle s'inquiéterait, et je ne veux pas qu'elle s'inquiète.

On voit bien que vous êtes à 728 verstes de Pétersbourg à vous entendre parler de ce que devrait faire Potemkine pour m-me de Noisville. Si vous étiez sur le lieu de la scène, vous trouveriez qu'il est difficile de suggérer de grandes choses à quelqu'un qui est tout apathique. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de la nonchalance de ce jeune homme qui n'a pas une attention de plus qu'il ne faut pour sa promesse même, à plus forte raison pour d'autres. Dans les commencements je le croyais abasourdi de son bonheur, mais à présent je vois que telle est sa nature; il est bien sûr d'épouser Tatiana, aussi se tient-il tranquille: rien ne l'émeut, ni ne l'agite; il n'a pas une mau-

vaise pensée, ne fera pas une vilaine action, mais on peut répondre que jamais un mouvement généreux ou quelque chose de vif et d'ardent ne trouvera d'accès dans son âme. Il a l'air de ne songer à rien, et cependant il n'est ni distrait, ni occupé. Dieu seul sait ce qu'il pense; quant à nous autres, nous n'y entendons goutte. Supposez que Tatiana se plaigne de quelque petit mal dans la soirée, le lendemain il n'envoie pas savoir de ses nouvelles, ne vient pas un moment plus tôt qu'à 3 heures qui est son heure accoutumée, et c'est beaucoup, si en revoyant sa jolie promesse, il se souvient qu'elle était incommodée la veille. Jusqu'ici il n'a pas de maison, n'a pas commandé ses équipages, et quand on lui en parle, il répond: *je verrai*, et tout est fini. Un jour il me pria de parler à la princesse Boris pour hâter le mariage; je lui observais qu'il n'avait pas où se loger. *Ah, oui, c'est vrai, nous verrons*; et pas un mouvement encore pour trouver un hôtel. Comprenez-vous cela? Eh bien, comment voulez-vous que cet homme ait une pensée, comme celle qui vous est venue! Jamais, et quand même on la lui suggérerait, ne croyez pas qu'elle fut saisie. Voilà ce qu'est notre promis en attendant qu'il soit mari. Après cela vous me permettrez de ne lui donner aucun avis.

### *Quelques billets de 1814.*

(Pendant le séjour de la princesse à Moscou).

Vous me faites un présent charmant, cher Christin, en me donnant des brosses: j'en fais le plus grand cas; mais vous pouviez tout aussi bien me les donner toutes simples et sans tout cet attirail d'argent. Je vous répète que vous êtes d'une magnificence étonnante et que vous vous ruinez pour l'amour des trois soeurs, car vous passez votre vie à nous faire des cadeaux. Je garderai votre billet tout exprès pour faire endêver Titow. Venez donc dîner, puisque cette fatale princesse Gortch... vous a engagé pour ce soir. La nuit a été bonne, et Catherine va bien ce matin.

\*

Je ne pense pas que ma soeur puisse sortir ce soir, mon cher Christin, quoique ce soit son bon jour. Elle a été hier chez le prince Théodore qui est arrivé enfin. Aujourd'hui m-me Pouschkine a un boston qui ne lui convient pas. M-me Apraxine est chez m-me Wolkow. Enfin je prévois qu'elle ne sortira pas, et comme je voudrais me recueil-



lir ne fut-ce que l'espace d'une heure, je vous supplie de venir chez nous et d'engager adroitement Catherine, quand ce ne serait que pour aller chez la pr. Théodore, qui sûrement serait aise de la voir. Arrangez cela, mon très-cher, et laissez-moi quelque tems pour remplir mes devoirs: vous me rendrez un grand service.

\*

Ma soeur a été parfaitement bien hier; nous avons passé la journée entière hors de la maison: le matin chez la princesse Théodore pour voir passer l'ambassadeur de Perse, dîné chez m-me Apraxine, le soir de nouveau chez Théodore, où nous sommes resté jusqu'à minuit. Ma soeur a bien dormi; le réveil a été moins mauvais que de coutume, mais l'ennui est revenu sur le midi, et elle a jusqu'à présent quelque peu d'agitation. Je la menerai cependant chez le prince Théodore, où elle fera sa partie de boston. Si vous voulez venir chez nous à présent, vous nous trouverez; si non, je vous avertis qu'à sept heures nous serons déjà sorties. Ce que vous me dites sur votre compte n'a pas le sens commun: vous ne m'ennuyerez jamais, mais vous m'intéresserez toujours. Je vous aime beaucoup; je crois que vous m'êtes attaché aussi, par conséquent vous devez être persuadé que dans tous les instants de ma vie je veux vous entendre. Quand vous me parleriez comme à votre confesseur, vous ne feriez rien de trop: cela doit être ainsi entre gens qui se comprennent et qui s'aiment; entendez-vous, monsieur?

---

(La princesse Tourkistanow repartit pour Pétersbourg le 3 janvier 1815, emmenant avec elle une de ses soeurs, qui avait à peu près perdu sa raison depuis quatre mois).

1815.

## I.

Moscou, le 11 janvier 1815.

J'espère que vous êtes à Pétersbourg à l'heure qu'il est, mais l'état de la princesse Catherine me fait mal, et je ne sais que penser de ce que nous espérons pour son arrivée. Que Dieu vous aide et vous console, je pense à vous constamment et j'attends avec impatience de vos nouvelles, qui hélas ne peuvent pas arriver avant Dimanche prochain.

Théodore s'est mis dans la tête de partir pour Vienne, Vendredy, en famille. C'est la roue d'un moulin qui n'est jamais en repos. J'espère qu'il changera d'avis. Est-il vrai, comme le dit mad. Tolstoï, que m-r Gouriew fils va en Volhynie? Tâchez de le savoir. Nicolas Galitzine n'est plus à Létichew, son escadron en est à 60 verstes; le comte me mande qu'il en est bien aise. Ses dernières lettres sont pleines de tendresses pour vous à l'occassion du jour de l'an. Moi je vous en dirois tous les jours de l'année si je suivais mon coeur; mais cela vous ennuyeroit avant Pâques, je pense; c'est pourquoi je me tais.

Ce soir grande assemblée chez Nathalie Abramowna, et Jeudy mascarade d'enfants chez la même; Paul et Virginie sont invités pour l'un et l'autre jour. Il me semble que Virginie vous doit un peu cela, j'aime à le croire du moins; mais elle prétend que c'est Melhian qui est son chevalier, parce que, dit-elle, les hommes savent mieux servir les femmes; je la laisse croire et ne lui dis point ce que j'en pense. Ah! Ce bel hôtel de Vienne du comte Rozoumowsky réduit en cendres! Quatre personnes brûlées dedans, lui sauvé avec peine....! On dit qu'il est au désespoir; je l'invite à venir à Moscou pour apprendre à se consoler de ces malheurs-là.

## II.

St.-Pétersbourg, le 10 janvier 1815.

Les deux derniers jours de notre voyage ont été excessivement pénibles; ma soeur a été horriblement agitée; à mesure que nous approchions de Pétersbourg, son dégoût ou plutôt sa crainte excessive croissoit visiblement. Enfin Vendredy je ne savais plus à quel saint me vouer: tant elle étoit mal à son aise; des mouvements nerveux survinrent, et en voiture elle souffrit le martyre. Malgré un froid de 12 degrés, nous l'en avons fait sortir deux fois pour marcher et lui donner de l'exercice; lorsqu'elle remontoit, elle ne se sentoit soulagée que pour une demi-heure, les terreurs revenaient; l'idée cruelle de n'avoir pas sa raison la lui troublait véritablement, et elle me disoit sans cesse: je ne veux point la princesse Boris, je ne veux pas mad. de Noiseville. Madame Apraxine faisait tout ce qu'elle pouvait pour la calmer, cela ne prenoit pas; vers le soir elle avoit l'air de s'endormir et se réveillait en sursaut pour demander: sommes-nous arrivées? On disoit: non. J'ai eu soin de monter les glaces pour qu'elle ne vît pas la barrière, et c'est ainsi que nous sommes entrées en ville. Elle s'est trouvée un peu plus calme et a demandé d'un air plus tranquille: y sommes-nous? Oui, ma soeur, lui dis-je, et j'espère que Dieu vous y fera recouvrer votre santé; elle a fait le signe de la croix et a demandé à voir par où nous passions. Peu après nous fûmes à la porte de madame Apraxine, nous y sommes entrées, elle a eu du plaisir à revoir la maison qu'elle avait connue autrefois; on a demandé de thé, elle en a pris le mieux du monde, et m-lle Combe, la gouvernante des jeunes Apraxine, l'a beaucoup rassurée sur la maladie en lui citant plusieurs exemples de personnes qui en ont été entièrement guéries; je vous assure que cette conversation lui a fait grand bien. A onze heures nous nous sommes rendues chez moi; j'avois eu soin d'expédier nos femmes de chambre en avant pour que tout fût préparé au château; on avait chauffé, parfumé, illuminé; les lits étoient faits; mon appartement lui parut charmant; elle se coucha, s'endormit tout de suite, et comme la journée avait été très-fatigante, elle s'endormit et eut la meilleure nuit possible, c'est à dire qu'elle ne se réveilla qu'à 9 heures. Pour moi, très-cher ami, je ne fermai pas l'oeil, parce que je voulais savoir comment serait toute la nuit. Le réveil a été bon et la journée excellente; d'abord j'étois un peu embarrassé pour les personnes qui viendraient pendant cette première journée; mais Dieu mercy cela s'est passé mieux que je n'osois

l'espérer. Elle a commencé par voir mad-lle Kotchétow, une de nos dames; ensuite est accouru Ribeaupierre; et après le dîné que nous fîmes tête-à-tête, arriva m-r Swistounow qui resta deux bonnes heures; puis la princesse Boris pour le reste de la soirée. On a causé, on était empressé de la distraire, elle écoutait volontiers, et cela a duré jusqu'à 10 heures. Lorsque nous nous retrouvâmes à nous deux, elle me dit qu'elle était ravie d'être ici et qu'elle était persuadée qu'elle se trouverait tout-à-fait bien. La nuit a été bonne jusqu'à cinq heures qu'elle s'est réveillée avec un accès de nerfs faible, à la vérité, mais qui l'a tenue éveillée jusqu'à sept. Elle s'est rendormie pour une heure de tems et la matinée elle n'était pas gaye. Cependant elle a été à la messe, elle a vu de nouveau la princesse Boris avec ses filles, mad-lle de Noiseville, André, m-lle Gouriew, et comme vous savez que les nouvelles figures l'ont toujours distraite en la désoccupant d'elle-même, elle a été assez à la conversation. Cependant elle a beaucoup pleuré. Mad. de Noiseville lui a fait tout plein d'amitié, lui a dit qu'elle guérirait infailliblement et qu'elle avait vu m-r de Vaudreuil avoir des vapeurs pis qu'une femme. M-lle Gouriew lui a dit les mêmes choses, citant je ne sais plus qui. Elle s'est trouvée mieux, quoiqu'elle pleurât toujours. Je l'ai menée dîner chez Ribeaupierre où elle a vu la princesse Yous-soupow, encore de nouvelles figures; elle y a été assez bien, et il y a une heure que nous sommes rentrées. Elle s'est couchée, et je profite de ce tems pour vous écrire. J'ai engagé Chreyton à la venir voir demain, je préfère le premier médecin de la ville et je veux que ce soit lui qui la traite. La *bancroche* de mad. Apraxine viendra aussi, je me propose de lui faire faire le gros ouvrage, tandis que Chreyton viendra 3 fois par semaine juger de l'effet des remèdes qu'il ordonnera, et moi de mon côté je ferai jour par jour mes observations sur son état. Il faut lui faire une cure suivie pour la débarasser de ces affections nerveuses qui la font souffrir infiniment. Approuvez-vous tout ce que j'ai décidé?

Il est certain que tant que je vivrai je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi pendant ce tems cruel, durant lequel je ne savois véritablement où j'en étois. Encore une fois, jamais je ne l'oublierai, et vous serez certainement toute ma vie un des hommes que j'aimerai de tout mon coeur: soyez en bien persuadé.

La manie de la danse est encore ici dans toute sa force; ce soir il y a bal chez le prince Alexandre Kourakine; l'Impératrice y va avec tout son monde. Le 13 nous en aurons un à la cour pour la fête de l'Impératrice régnante; je n'y assisterai pas ne voulant me faire pré-

senter que de Dimanche en huit qui sera le 17. J'arrange cela uniquement pour esquivier cette fête.

Ce sont les Jésuites, qui, je le prévois, se feront chasser un de ces jours. Je vous le disais à Moscou; un gros nuage est suspendu sur leurs têtes. Eh bien, il va crever, car on vient d'en écrire à l'Empereur. C'est le neveu de Galitzine qui est cause de tout ce train. Ce jeune homme, âgé de 15 ans, étant l'autre jour à la chapelle du général Koutousow, son parent, s'avisa de refuser de baiser le crucifix à la fin de l'office, prétendant que l'église où il se trouvait n'en était pas une pour lui; que Dieu l'avait éclairé de Sa lumière et qu'il était convaincu que la seule véritable religion était la Catholique Romaine. Koutousow courut chez l'oncle de l'enfant qui est précisément le ministre des cultes et l'ennemi le plus déclaré des Jésuites. Il fit chercher aussitôt le père-général et lui lava la tête de telle sorte que sa soutanne s'en soulevait. Il retira son neveu du pensionnat dès le jour même, et plusieurs personnes ont déjà suivi cet exemple. L'enfant, à mon avis, a fait une sottise de ne point baiser le crucifix, car on l'adore chez les Catholiques comme chez nous; mais il a expliqué sa croyance actuelle de manière à convaincre qu'on a cherché à la lui faire adopter, car de lui-même il n'eût pas pu dire ce qu'il a avancé. Tant y a que cette histoire fait grand bruit, et je ne comprends pas les Jésuites qui pour leur propre intérêt devraient se tenir tranquilles. Si le serment qu'on a exigé d'eux en ouvrant leur pensionnat est contraire à leur conscience, ils ne devaient donc pas le prêter. Ce serment les obligeait à ne chercher jamais à faire aucune conversion sous quelque prétexte que ce fût. Ils ont manqué à l'Empereur, à l'état qui les a recueillis, lorsque persécutés, chassés de partout ils n'avaient ni feu ni lieu. Je suis désolée de cette aventure et je répète qu'ils vont se perdre. Swistounow qui a son fils chez eux, y a couru de son côté, mais n'a point retiré l'enfant, et en cela je l'approuve, entre nous soit dit. Je serais curieuse de savoir ce que dans tout cela fait et dit madame Rostopchine.

## III.

Moscou, Lundy, 18 janvier 1815.

Parlons de ces Jésuites que j'aime et que j'honore et qui me font une peine cruelle par leur manie de convertir. N'avaient-ils pas assez d'ennemis qui les haïssent sans raison? Devaient-ils s'en attirer pour une cause légitime? Quelle que soit leur persuasion sur le dogme qu'il n'est point de salut hors de l'Église Romaine, ils ont assez d'esprit et de connaissance du monde et de l'histoire pour savoir qu'on ne touche jamais à la religion dominante d'un pays sans l'exposer à des troubles intérieures, et qu'un gouvernement sage et prudent doit veiller avec soin à prévenir tout évènement de ce genre. J'ai été étonné du silence gardé au sujet d'Alexandre Diwow dans le tems par le Synode; je doute que cette affaire-ci passe aussi doucement; mais, si c'était le cas, cela prouverait que les Jésuites ont des amis puissants. Je leur conseillerais toute fois de demeurer tranquilles et fidèles au serment qu'on a sagement exigé d'eux lors de leur admission à Pétersbourg. Il faut voir la chose en hommes d'état et non en fanatiques. Je ne conçois pas l'esprit du remuement qui a gagné l'Europe en matière de religion; c'est comme la réaction de l'esprit philosophique du siècle dernier, mais toute réaction a son danger, parce qu'elle passe ordinairement le but. L'idée me vient aussi que cette incartade du petit Galitzine est un coup monté par son oncle, qui, pour être ministre des cultes, est bien loin de garder l'impartialité qu'exige son département. Ce n'est pas qu'il protège l'Église Grecque aux dépens de la Romaine; cela serait au moins compréhensible et excusable; mais il y a toute apparence que lui et toute la clique des bibliques ont pour but d'attaquer le dogme catholique, la messe, la confession, la transsubstantiation et d'y substituer la religion Anglicaine ou même le puritanisme Écossais. L'Église Grecque est tellement la même que la Romaine qu'on ne peut pas attaquer le dogme de celle-ci sans que l'autre s'en ressente.

Le comte me mande qu'il a remis la tête de sa fille qui ne pense plus à rien (Dieu veuille qu'il ne se trompe pas). Voici ce qu'il ajoute encore: „La pauvre mère du jeune homme s'abuse sur sa conduite; „elle croit que son fils, par exemple, n'a touché que 700 roubles de „l'argent qu'elle m'a envoyé; mais il a fort bien pris le tout, c'est-à-„dire 5500 roubles, et j'ai bien peur qu'à tous les vices dont il s'est „rendu suspect, il ne joigne celui de l'hypocrisie. Il fait parade d'une

„grande piété et il en affecte trop le langage. Le jeune homme est „éloigné dans ce moment-ci, mais je pense qu'il me reviendra, et comme je me propose d'aller aux contrats de Kiew, je saisirai ce pré- „texte pour lui insinuer de ne pas revenir, et cela mettra fin à tout“. Demandez à mad. Rostopchine, je vous prie, ce qu'elle pense à l'affaire des Jésuites et dites-moi, s'il est vrai qu'ils ont fait payer 40 mille roubles pour le service de Louis XVI? Cela me semble impossible, et pourtant cela a été mandé ici.

Le comte Tolstoï est arrivé il y a 3 jours, il me l'a fait dire aussitôt, et j'y suis allé de suite. Je n'avais point été chez sa femme depuis votre départ, et elle m'avait parue embarrassée chez Théodore et chez Nathalie Abramovna en me rencontrant. J'aime fort son mari, j'irai souvent le voir le matin, mais je n'irai point chez sa femme; à moins qu'il ne lui plaise de menager mes amis qu'elle s'acharne à déchirer plus que jamais, parce qu'elle leur attribue mon changement de procédés à son égard. Elle a bien tort. Elle a vu tant que je n'ai pas eu les preuves de ce déchaînement public, que l'animosité particulière, que je connaissais fort bien, ne faisait aucun effet sur moi, et que je pouvais être ami de deux femmes qui ne s'aiment point, pourvu qu'elles ne parlent pas l'une de l'autre. Mais quand le fort abuse de sa force pour écraser le faible, il faudrait être lâche et sans coeur pour ne pas se tourner tout-à-fait du côté de l'opprimé!

Si je fais une course en Podolie, je vous indiquerai alors ce qu'il y aura à faire pour que je reçoive là-bas vos lettres, et moi je vous écrirai de la route et de Létichew. Ce sera dans 10 jours que j'aurai réponse du comte au sujet de ce voyage dont j'imagine qu'il acceptera l'offre. Déjà je sais qu'il a renoncée à aller à Pétersbourg où Baikow cherchait extrêmement à l'entraîner, parce qu'il y avait besoin de sa protection. Si vous voyez ce Baikow, parlez lui un peu de Létichew, mais sachez que c'est un mauvais sujet qui n'a ni foi. ni loi, et agissez en conséquence soit pour le crédit à donner à ses paroles, soit pour ce que vous pourriez avoir à lui dire. Croyez que je vous aime de toute la puissance de mon âme et que je vous aimerai jusqu'au tombeau.

## IV.

Moscou, Mercredi, 20 janvier 1815.

Je passai hier une heure chez le comte Tolstoï dans son appartement; sa femme est plus souffrante encore que Lundy, et toujours une peur de mourir qu'effraye le mari. Kibalcjsh ne laisse entrer personne chez la malade, pas même mad. Chérémetew. Il assure que cela ne sera rien; mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette maladie et cette reclusion inusitée. Ce matin j'ai envoyé savoir des nouvelles; la nuit a été mauvaise, et la malade souffre beaucoup. Je passerai encore ce soir chez le mari pour le prévenir de soustraire les lettres de Podolie qui lui apprendraient que le corps de la c-esse de St.-Priest est en route; il est inutile qu'elle entendé parler de cela pendant qu'elle est malade. Le c-te St.-Priest arrivera ici incessamment, mais il laisse ses enfans chez le comte Markow jusqu'à son départ pour l'Italie.

Jendy, 21 janvier.

Le corps de madame de St.-Priest est arrivé dans la cour pendant que j'étois chez m-r de Tolstoï; on l'a envoyé de suite au monastère de Donskoï, et demain matin, sans tambour ni trompette, m-r de Tolstoï ira assister à sa déposition dans le caveau de famille; toutes les autres cérémonies ont été faites pas l'évêque de Kamenetz avant la translation. Mad. Tolstoï ne saura pas un mot de tout cela avant son parfait rétablissement. M-r de St.-Priest arrivera ici sous peu de jours. M-r de Tolstoï sera à Pétersbourg, pour le retour de l'Empereur; son intention, m'a-t-il dit, est de demander un semestre jusqu'en Octobre, de passer fête à Troïtzkoé et de se transporter en automne à Pétersbourg avec armes et bagages. Je le regretterai lui personnellement, car c'est la perle des hommes pour la candeur, la loyauté et la droiture; mais je vous avoue que je serai ravi que sa femme ne soit plus à Moscou. Les commères perdront leur reine, et les commérages tomberont dans l'anarchie et le mépris quand ils seront privés de cet illustre appui.



## V.

St.-Pétersbourg, le 18 janvier 1815.

Je fis hier un dîner chez Walpole qui m'eût paru fort agréable autrefois, mais qui dans la disposition d'esprit où je me trouve n'a produit d'autre effet que de me fatiguer à l'excès. Kourakine y était avec sa femme; Ribeaupierre et la sienne et Aglaë Dawidow; c'étaient les seules femmes; en hommes la crème de ceux de Pétersbourg. On s'est battu les flancs pour être aimables; on a dit mille balivernes, je crois en vérité que j'en ai dit aussi pour mon compte, mais à travers tout ce verbiage je ne pouvais m'empêcher de frémir en pensant à toutes les niaiseries que plus ou moins nous débitons tous! S'il est vrai qu'on doive un jour rendre compte de chaque parole oiseuse, juste ciel, combien n'en ai-je pas sur ma conscience depuis le dîner de Walpole! Lise Kourakine s'en laisse conter par m-r de Noailles qui, je vous assure, m'a l'air de bien peu de chose; l'Anglais aussi lui décoche de tems en tems quelque douceur, et le mari pâle, l'oeil hagard, a l'air de je ne sais trop quoi. L'histoire de Gagarine lui a rabattu le caquet, et il me semble assez *capot*. Nous avons dîné à six heures, sorti de table à 7 passées; ces messieurs avaient joliment sablé de vin; on a chanté *le God save the King* en chorus, servi le café ensuite, et puis j'ai gagné la porte; il était huit heures et demie lorsque je rentraï au château, abîmée absolument et hors d'état de parler.

## VI.

Moscou, Mardy, 26 janvier 1815.

J'ai été ravi de ce que vous a dit l'Impératrice au sujet de Catherine, parce que cela prouve qu'on n'a pas fait une réflexion contraire à son séjour au château, et puisqu'il est toujours flatteur d'inspirer de l'intérêt aux maîtres du monde. Mad. de Noiseville me mande que quand le prince Boris sera venu et reparti, la princesse prendra votre soeur chez elle à demeure. J'espère bien que vous ne vous y opposerez point, quelque répugnance que vous puissiez avoir à vous en séparer; d'abord parce que vous recouvrirez par là une grande liberté et que Catherine elle-même, se trouvant sans cesse entourée du moment de son réveil à celui de son coucher, ne pourra qu'en éprouver beaucoup

de soulagement. Et quant au besoin perpétuel que la princesse Boris éprouve de parler à quelqu'un, votre soeur sera pour elle une vraie trouvaille. Je ne vois donc que du bien réel des deux parts et un soulagement pour vous.—Pourquoi donc vous reprochez-vous les paroles oiseuses dites chez Walpole? Eh bon Dieu, chez qui n'en dit-on pas! C'est prendre trop à la lettre l'esprit de l'Évangile. Les religieux ont leurs heures de récréations, et l'on remarque ordinairement que les plus aimables dans ce moment-là, sont précisément les plus exacts à leurs devoirs austères. Le dîner est pour tous les hommes une récréation permise comme un besoin ordonné; ne vous reprochez donc point d'y avoir été aimable, liyez-vous au contraire à cette amabilité qui vous est si naturelle, qui embellit tout, qui charme les ennuis de la vie. Bannissez la médisance qui peut nuire au prochain, mais la douce raillerie, la plaisanterie innocente doivent être accueillies et jamais repoussées par ceux qui, comme vous, ont le bonheur de les manier si bien.—Vous avez déjà perdu la moitié de votre réputation ici, chez Marie Alexiewna \*); son mari disait l'autre jour à Sophie: „Êtes-vous devenue aussi maussade, aussi triste, aussi ennuyeuse que votre soeur Barbe?“ Sophie répondit un peu étonnée: „Je ne sais ce que vous voulez dire; en vérité, ma soeur n'est rien de tout cela“. Tolstoï reprit: „Mais on assure que si; je sais bien qu'autrefois on serait venu de l'étranger pour avoir le plaisir de l'entendre causer deux ou trois heures, et voilà ma femme qui prétend qu'elle est à ne la plus reconnaître, qu'elle est dévote, mystique, sombre, taciturne, en un mot d'un changement à faire pleurer ses amis“.—Sophie repartit aussitot: „Mais madame Tolstoï n'est pas mal dévote non plus, trouvez-vous que cela la rende plus *taciturne*?“—„Oh“, dit le mari, „c'est un autre genre de dévotion“.—C'est Sophie qui m'a conté tout cela; si elle ne vous en dit rien, ne la lui écrivez pas. Elle était auprès du lit de la malade avec la princesse Théodore quand cette conversation eut lieu; la comtesse en eut l'air un peu embarrassée. Je voudrais bien que m-r de Tolstoï traitât ce chapitre avec moi: je lui prouverais au doigt et à l'oeil, qu'il ne sait ce qu'il dit et que sa femme n'a qu'une manière d'apprécier et juger les gens, c'est à dire, selon le parti qu'elle en tire pour amuser ou alimenter son commérage. Elle aime et porte aux nues Nathalie Abramovna et ses enfans: ce sont des saints, des anges, parce qu'en sortant de l'église, ils mettent en pièces le prochain et la font rire; mais les dévots scrupuleux sur l'article des caquets sont à ses yeux des mystiques ennuyeux. Il n'y a rien d'entier

---

\*) Comtesse Tolstoï.

comme madame Tolstoï: elle distribue les réputations avec un orgueil anti-chrétien, qui nous mettra un jour aux prises ensemble; cela ne saurait manquer. Je fus Dimanche chez elle, elle me reçut au lit; le mari me combla d'amitié; on annonça le dîner, je me levai.—„Dînez donc avec mon mari“, me dit la comtesse.—„Je ne le puis, madame, je suis engagé“.—„Chez qui donc?“—„Chez madame de Broglio“. Elle fit une grimace épouvantable, et je me retirai. Le soir je fis une apparition chez Théodore; votre oncle et deux autres joueurs de whist m'entraînèrent à faire 8 robbers, ce qui me mena au souper, où je me trouvai à côté d'Alexis Orlow que j'avais intérêt de connaître et dont je fus très-content. Après le souper on dansa une Matadoura, c'est la première fois que j'en avais entendu parler, cela m'amusa; ensuite une autre danse dont j'ai oublié le ridicule nom, je voulus la voir aussi.... Tant y a, que je rentrai à 4 heures; mon valet de chambre, qui ne dormait point, fit le signe de croix en me voyant paraître; je croyais, me dit-il, qu'il vous était arrivé un accident. Cela fait l'éloge de la régularité de ma vie.

Titow sort de chez moi; je lui ai dit que vous aviez fait un joli dîner chez Walpole.—„Qu'est-ce, que c'est que ce *Pole*?“ m'a t-il demandé.—„C'est le ministre d'Angleterre“. A ces mots il a fait des yeux furibonds.—„Que va-t-elle faire chez les ministres étrangers? Cela va lui faire beaucoup de tort“.—„Pourquoi donc, il y avait d'autres femmes encore“.—„Oui, mais une demoiselle d'honneur ne doit point se permettre ce que les autres font; les gens attachés à la cour doivent mettre beaucoup de prudence dans leur conduite avec les étrangers; dites-lui, je vous en prie, qu'elle se fera quelque fâcheuse affaire si elle fréquente les ambassadeurs“. J'ai eu beau lui représenter qu'une demoiselle d'honneur n'a pas ordinairement le secret de l'état et qu'elle peut fréquenter sans danger les étrangers comme les nationaux; il n'en a pas moins persisté dans sa façon de penser que vous ne devez plus aller dîner chez *le Pole* et qu'il me prie en grâce de vous l'observer. Pauvre Titow, il se croit un censeur et comme tel s'arroe une certaine importance; mais au fond il est farci de toutes les petitesesses de l'amour-propre et de la vanité tout comme un autre. Mais il a le coeur droit et bon: cela le soutiendra toujours.

## VII.

St.-Pétersbourg, le 25 janvier 1815.

J'espérais apprendre quelque chose du congrès, et je n'en sais pas un mot, personne n'en sait davantage, on n'en parle point, on a l'air d'avoir oublié qu'il existe, et les violons qui vont leur train avec une furie sans exemple, semblent avoir tourné toutes les têtes: il n'est plus question que de bals. Jeudy, au spectacle de l'Impératrice, le hasard m'ayant placé à côté du prince Alexandre Soltykow, je crus en tirer quelque chose de ce qui se passe à Vienne; il n'en sait pas plus qu'un autre et se borne à des conjectures appuyées sur rien et qui ne valent pas d'être relevées. Un jour nous saurons tout, et la lumière percera ces ténèbres. Il y avait quatre ans que je n'avais été au spectacle et j'étais curieuse de savoir l'effet qu'il produirait sur moi; il m'a fatiguée un peu moins que le dîner de Walpole; j'étais dans un certain vague d'idée qui probablement aurait effrayé ma soeur Catherine; mais moi, sans me croire folle, j'ai simplement jugé que j'étais morte pour ce genre de plaisirs et si j'y retourne ce ne sera sûrement que pour faire mon devoir de fille d'honneur et non pour m'amuser. Jeudy prochain on nous donnera Joconde, et c'est encore quelque chose que je verrai sans le voir à peu près. Au reste j'aime encore mieux une soirée de spectacle que celle d'un bal qui a lieu chaque Dimanche à la cour. Hier, au lieu d'y aller, je préfèrai un tête à tête avec la comtesse Strogonow; nous sommes restées depuis 9 heures jusqu'à minuit à nous deux. Elle m'a beaucoup demandé de vos nouvelles et ne peut assez admirer votre courage de rester à Moscou. Je lui ai dit que vos moyens ne vous permettaient pas de vous établir ici; je me suis vue obligé de lui présenter le compte exact de vos revenus; je lui ai parlé des veaux qu'on amenait chaque Samedi de la campagne, des fromages, de la vente des pommes de terre. Elle est entrée dans tous ces détails et a fini par trouver qu'avec 7 mille roubles de rente vous existeriez à Pétersbourg le plus joliment du monde; ensuite... faut-il vous tout dire?— Oui, oui, elle m'a parlé de Virginie, et j'ai été à peu près dans la nécessité de lui conter en partie votre position vis-à-vis de cette personne; nous avons fait là-dessus des réflexions qui certainement n'ont pas été à votre désavantage, mais mad. Strogonow est presque fâchée que les circonstances vous aient mis dans cette position, et vous savez que tout en vous rendant une parfaite justice, je suis un peu comme elle: je suis fâchée que les choses se soient arrangées ainsi. Quelle précieuse acquisition vous eussiez été ici pour les gens qui sauraient vous

comprendre et vous aimer! Cette comtesse Strogonow est assurément une personne qui vous entendrait et qui aurait un grand attrait pour vous. Mon Dieu, que de simplicité avec une judiciaire excellente! Que de naturel, que de gayeté, et avec tout cela que de vertus mises en pratique! Il n'y en a pas deux sur ce moule-là.—Je n'ai pas encore vu madame Swetchine, mais Ribeaupierre m'a dit qu'elle est noyée dans la littérature allemande; ses Mardys et Vendredys sont autant de séances littéraires, et Serge Ouvarow y tient chaire absolument. Avec tout cela c'est une femme très-aimable et que vous verriez aussi avec plaisir si jamais vous étiez établi à Pétersbourg.

Savez-vous que Tatiana, à la veille de se marier, fait peine à voir: elle est si faible qu'elle transpire pour peu qu'elle remue. C'est un fâcheux symptôme, et je ne comprends par comment elle supportera son nouvel état; la mère se fait illusion, elle prétend qu'aussitôt mariée sa fille se portera à merveille, mais je ne crois pas que mad. de Noiseville partage cette opinion: elle me paraît effrayée, et hier je l'ai surprise plusieurs fois fixant Tatiana avec des yeux pleins de larmes qu'elle avait soin d'essuyer en cachette. Elle m'a supplié d'engager la princesse Youssoupow à faire faire la noce Dimanche matin et sans beaucoup d'appareil pour ne pas fatiguer Tatiana; j'ai promis d'en parler aujourd'hui et je ne sais pas ce qui en résultera. Toutes les personnes qui s'intéressent à cette bonne Tatiana sont d'avis qu'elle parte au printemps pour Nice, et je crois que ce voyage et un séjour de quelques années dans un beau climat pourraient seuls remettre sa santé. Mais ici, avec le genre de vie actuel, la chose me semble bien difficile, et le mariage surtout bien hasardeux.—On ne me parle pas de Nicolas, et je ne fais non plus aucune question; cependant j'ai tout lieu de croire que votre lettre a produit un bon effet et qu'on est revenu de la sottise idée qui s'était fixée dans la tête de ces dames. Je ne suis pas fâché que le jeune homme soit retourné à son régiment: la petite l'en oubliera plus facilement. Adieu, portez-vous bien. Dites mille choses au prince Théodore et à sa femme. Les voyez-vous beaucoup? Vous savez que Serge qui s'était ouvertement déclaré protecteur du roi de Saxe, a eu ordre de quitter Berlin et de rejoindre la division dans laquelle il sert. On assure qu'il a fait tant de vacarme en plaidant la cause de son captif, qu'il n'y avait absolument d'autre mesure à prendre que de l'éloigner. Quelles têtes que tous ces Galitzine!

## VIII.

St.-Pétersbourg, le 28 janvier 1815.

Je vous dirai que je suis bien aise que madame Pouchkine ait invité la comtesse de B. \*). Je ne m'attribue pas du tout cette espèce d'emande honorable, car je ne pense pas que ma morale à la dite dame ait fait effet; j'aime tout autant en faire les honneurs à Meilhan qui aura pu parler peut-être plus ouvertement, malgré son air positif, en assurant que j'avais été députée par la Société Biblique pour recruter des membres; malgré même certaines railleries qu'il s'est permises sur mon compte, je ne suis pas éloignée de le croire un brave homme, et je l'estimerai tel, s'il avait pris la défense d'une personne contre laquelle on s'est acharné avec tant de véhémence. S'il a donc pris fait et cause pour Virginie, je suis prête à lui en savoir bon gré; mais je vous en sais un très-mauvais pour vos dispositions à l'égard de mad. Tolstoï. Je ne croirai jamais que de gayeté de coeur elle s'amuse à déchirer une femme qu'elle connaît à peine et qui ne l'a jamais offensée, et je vous répète que vous écoutez des rabâchages. Vous conviendrez qu'il eût été bien simple qu'elle m'en parlât sur tous les tons; eh bien, je puis vous jurer qu'elle ne m'a jamais dit autre chose que ce que je vous ai conté dans le tems. Je suis sûre qu'on l'a calomniée près de vous; et Virginie avec le bon coeur que vous lui accordez fait très-mal de vous en parler: sans vous en douter, vous prenez ses préventions, vous adoptez ses idées et vous chargez mad. Tolstoï de choses que peut-être elle n'a dit de sa vie. Dans tout cela il faut qu'il y ait quelque mal intentionné qui s'amuse à exaspérer mad. de B. contre mad. Tolstoï en lui rapportant des faits qui n'existent pas. Quelle raison aurait cette dernière de s'occuper si exclusivement de Virginie? Elle aura pu en parler à Nathalie Abramovna Pouchkine comme elle m'en a parlé à moi, mais s'attacher à la persécuter pour ainsi dire, cela n'est pas vraisemblable, et comme je vous le dis, il n'y a pas de raison pour cela. Soyez donc raisonnable et ne la chargez pas de crimes qu'elle n'aura pas commis. Allez la voir le soir, si vous donnez les matinées à son mari. Ce que vous dites de celui-ci est bien l'exacte vérité: c'est sans contredit la perle des hommes, on ne saurait voir plus de loyauté et de candeur; je l'ai connu assez tôt et je l'ai aimé de tout mon coeur avant même que la reconnaissance me liât à lui pour la vie. Je suis désolée de

---

\*) Comtesse de Broglie ou „Virginie“.

n'avoir pu l'attendre à Moscou; j'aurais eu un plaisir extrême à causer avec lui, je lui aurais appris des choses qu'il ignore peut-être et que je n'eusse pas été fâchée de lui faire connaître; mais vous savez combien mon départ a été indispensable et combien il s'est arrangé contre ma volonté. Ces choses-là, je ne pourrais même pas les lui écrire et je me réserve de lui en parler lorsqu'il sera ici; mais Dieu sait quand l'Empereur reviendra. Jusqu'à présent on est dans le vague pour tout ce qui regarde le congrès.—Je suis bien aise que vous n'ayez pas fermé votre N. 3 sans m'apprendre que mad. Tolstoï était mieux, j'en eusse été fort inquiète; elle aura eu une esquinancie qui est bien la chose du monde la plus affreuse, car moi qui vous parle j'en ai pensé mourir deux fois.

Quant à la consommation que vous craignez pour la comtesse de Bréglie, je crois que vous avez tort de vous en alarmer: à son âge ce genre de maladie n'est pas du tout dangereux, et dès qu'on a passé trente ans on peut vivre bien longtems avec un mal de poitrine, une toux et des transpirations. Au reste, il n'y aurait qu'un climat doux à opposer à la consommation, et si Virginie allait en France, elle y retrouverait la santé. N'allez pas imaginer que je veuille l'y faire aller pour vous faire venir ici. Non, en vérité; mais je crois que c'est ce qu'elle pourrait faire de plus convenable à sa santé.

Vous avez tort de croire que les Jésuites ont des amis à Pétersbourg et surtout des amis puissants: ce sont leurs ennemis qui le sont et qui finiront, si ce n'est par les expulser de Russie, du moins par les priver de leur pensionnat de Pétersbourg. Il est sûr que ces révérends ont jeté le trouble et l'alarme dans plusieurs familles, leur zèle a été indiscret, et cette dernière histoire leur jouera un mauvais tour; plusieurs enfans sont déjà retirés, et on attend la réponse de l'Empereur. Le ministre des cultes m'a conté tout ce qui s'est passé, et je dois lui rendre justice, c'était sans la moindre aigreur; il m'a répété les propos du père-général, et il faut convenir qu'ils n'avaient pas le sens commun; par exemple, il prétendait que le jeune Galitzine avait voulu convertir le père Balandri, qu'il avait employé à cet effet les arguments les plus forts, mais que Dieu avait fait la grâce au père de tenir ferme. Je vous demande si on peut dire rien de plus ridicule? Le père Balandri qui a 40 ans aurait pu être ébranlé dans sa foi par les arguments d'un enfant de 15 ans! On ne raconte pas de ces bêtises, car personne dans le monde ne peut y croire; aussi Galitzine lui a ri au nez. Je n'ai pas encore vu mad. Rostopchine et je ne sais rien de ce qu'elle dit; mais cela n'est pas facile à deviner, et je suis sûre d'avance qu'elle est prête à se faire crucifier pour les enfans de Loyola aussi

bien que madame Golowine; et si la soeur de Bariatinsky était ici, c'en serait encore une qui plaiderait leur cause. A propos de cette dernière, vous savez qu'elle voyage avec Vernégues; ils sont à Vienne dans ce moment, et Vernégues vient d'y recevoir le grade de conseiller d'état actuel avec le grand cordon de St.-Anne par-dessus le marché. Que dites-vous de la fortune de cet homme qui n'a pas fait plus qu'un autre? Il est de ces gens à qui tout vient en dormant; s'il a été enfermé au château St.-Ange, je crois que vous l'avez été joliment au Temple, et comment vous a-t-on traité! Ah mon Dieu, qu'il se commet d'injustices dans ce monde et qu'il mérite peu d'être aimé, comme nous avons coutume de le faire!

Je vous quitte pour faire ma toilette et aller au spectacle chez l'Impératrice.

Le 29 janvier.

Je n'avais pas fait attention hier que ma réflexion sur le monde avait été suivie de l'acte le plus frivole: je vous quittais pour me coiffer et j'oubliais que je me donnais cette peine pour ce même monde que je venais de dénigrer! Il faut convenir que nous sommes bien misérables! J'ai donc été au spectacle; on y donnait Joconde dont je ne connaissais même pas le sujet, n'ayant jamais lu les contes de La Fontaine. M-r de Litta dit que c'est tiré de l'Arioste et que c'est le conte du monde le plus scandaleux. On l'a gazé de façon qu'il n'est qu'immoral comme la plupart des opéras nouveaux, mais la musique qui est de Niccolo est ravissante et m'a fait passer sur les longueurs de la pièce qui a trois actes infinis. Au reste, ces spectacles de la cour sont très-commodes; on s'assemble à 7 heures, l'Impératrice paraît une demi-heure après, on cause peu, on va droit à la salle et au sortir de là tout de suite souper. A onze heures et quart la soirée est finie, pour être, si on veut, commencée ailleurs. Vous sentez que moi je vais droit dans mon lit.



## IX.

Moscou, Mardy soir, 2 février 1815.

Je suis dans des préparatifs de départ qui ne me laissent pas une minute de liberté. Ces préparatifs sont principalement quelques visites indispensables à faire et fort ennuyeuses pour la plus part. Il me tarde d'être sur le grand chemin pour me reposer, et j'y serai après demain matin, jour du départ de cette lettre. Je vous jure que ce kibitka sera pour moi comme une cellule pour un dévot altéré de prier Dieu. Je le suis de me trouver seul huit jours de suite; les maîtres de postes et les vieilles femmes que je trouverai dans les izbas reposeront agréablement mon esprit. La monotonie de Moscou l'use sans l'exercer; on passe sa vie ici à rendre des devoirs fatigants et à chercher qui vous entende et vous comprenne. Le prince Théodore est charmant, mais il est si occupé d'arranger ses soirées, d'avoir du monde, de ne pas ouvrir boutique pour rien, qu'au travers de son amabilité on voit percer l'inquiétude que cause la vanité de jouer un personnage, et on ne l'attrape jamais pour une heure de conversation. Il est toujours projetant, jouant ou courant. Sa femme a bien plus d'aplomb, quoique beaucoup moins massive. J'aime sa femme beaucoup. Je viens de les rencontrer courant les rues en traîneau. C'est une grande partie, il y avait 30 traîneaux au moins; on a déjeuné chez Marie Iwanowna Korsakow, de là la course, puis on va goûter chez Théodore et finir la journée à l'assemblée de la noblesse.

On a bien tort de marier Tatiana si sa poitrine est faible; une couche peut décider une consommation à l'âge où elle est. Que Dieu préserve cette pauvre mère du malheur de perdre cette seconde fille!

Je suis bien aise du succès de Vernégues, c'est un fort honnête homme, un homme fort bien pensant; il est sûr que si on l'a récompensé pour ses souffrances, j'ai des droits bien plus réels à des dédommagements. J'ai bien autrement souffert encore, et j'ai eu l'occasion, du fond de ma prison, de donner des preuves de zèle et de dévouement qui auraient mérité quelqu'attention; mais tout, ou à peu près tout, est hasard dans ce bas monde; faut-il s'en affliger....? Non, sans doute; car le bonheur est en nous, et quiconque ne l'y trouvera pas ne doit pas le chercher dans les rangs et les cordons. Pour la fortune c'est autre

chose; tout ce qui est superflu entre sans doute dans la classe des choses qui ne font pas le bonheur, mais le nécessaire, le nécessaire abondant y contribue beaucoup. L'esprit gagne de l'aisance, l'humeur se maintient joviale quand on n'a point de soucis pour l'existence physique, quand on peut rencontrer un malheureux sans être obligé de fermer l'oreille à ses plaintes, quand on peut supporter une petite perte sans en souffrir.... Mais en être toujours à son dernier billet de 25 roubles, n'attendre sa rente que pour apaiser des créanciers, calculer sans cesse comment on vivra le mois prochain: c'est une chose contraire à tout bonheur, à tout calme, à tout repos et à toute gayeté, et la gayeté selon moi, quand elle n'est pas bruyante, est un des ingrédients de la vie humaine qui sert le mieux à la faire passer agréablement.

Je me décide à partir ce soir. Rounitch m'a donné un homme de la poste pour commander mes chevaux, et dans deux heures je glisserai dans mon kibitka; je prends un laquais et un cuisinier, et le postillon fera mon troisième serviteur. Rounitch m'assure que c'est un excellent homme. Adieu, chère princesse. Je ne veux pas vous dire tout ce que je pense sur l'affaire des Jésuites, mais j'en demande pardon à votre ministre des cultes: il ne vous a pas dit la vérité, et s'il masque son aigreur ce n'est que pour cacher sa haine. Je connais beaucoup le père-général: il est absolument incapable d'avoir avancé une aussi plate raison que celle que Galitzine vous a contée, et cette seule circonstance me prouve mieux que tout qu'on cherche de faux prétextes pour les chasser. On veut leurs biens. On les aura. Adieu! Adieu!

## X.

St.-Pétersbourg, le 4 février 1815.

Je n'ai pas rencontré Baïkow, mais je sais qu'il a été chez la princesse Boris pour lui donner des nouvelles de Nicolas qu'il dit être superbe pour la figure et parfait pour la conduite; il prétend qu'il est fort aimé de m-r de Markow, chéri de toute la maison et fort heureux de s'y trouver. Vous concevez tout le plaisir que cela a fait à la princesse qui est pénétrée de reconnaissance pour le comte. Je ne serais pas surprise que Baïkow ne me parlât à moi sur un tout autre ton. On ne dit pas grand bien dans le monde de ce Baïkow, et il est fort taré dans la bonne société.

La noce de Tatiana est enfin fixée à Dimanche. J'ai été voir dernièrement la maison de Potemkine; elle est charmante. Un cabinet en levantine, couleur Marie-Louise, avec des ornements en or, est la chose du monde la plus jolie; ensuite une chambre à coucher en velours vert et une corniche en or, une toilette magnifique en vermeil; un bain avec des glaces de tous côtés; des salons brillamment meublés, en un mot rien n'y manque. Dieu veuille seulement que la santé de cette bonne Tatiana lui permette de jouir de tout ce que la fortune lui présente. Potemkine a beaucoup perdu de sa gaucherie, et il est à présent rempli d'attentions pour sa promise.

Je passais hier devant la maison Miatlew où je vis de nombreux équipages de voyage; je fis demander pour qui ils étaient destinés; on me dit que c'était la comtesse Catherine Soltykow qui partait pour Moscou. Je ne sais pas si son arrivée fera plaisir à quelqu'un, mais il me semble que Miatlew n'est jamais fâché de la voir ailleurs que chez lui. Ceci entre nous.

## XI.

Sémipolki, Mardy, 9 février 1815.

Sémipolki est un méchant village à 50 verstes de Kiew où j'avais espéré arriver hier et où je ne serai que demain. Je partis Mercredi à 10 heures du soir, chère et bonne princesse; j'ai fait d'abord une assez bonne route, mais au bout de deux jours un vilain vent d'ouest s'est élevé et ne m'a plus quitté, ce qui a rendu mon voyage fort désagréable à cause des tourbillons de neige dont je n'ai plus cessé un moment d'être enveloppé; c'est au point que les chemins en sont effacés net, et que souvent on est obligé d'aller à tâtons, c'est au point enfin qu'il serait dangereux d'aller la nuit malgré le clair de lune et que j'ai dû coucher hier à Néjine et aujourd'hui dans la misérable chambre d'où je vous écris. Ce tems a de plus l'inconvénient de rendre le k-bitka fort incommode; on a beau tout fermer et se trouver comme dans un tombeau: le vent pénètre par 36 mille petites ouvertures et vous apporte une neige fine qui vous humecte à la longue de façon qu'on ne sort de là que comme une poule mouillée. Vous savez si les gîtes dédommagent de ces petits malheurs; celui où je me trouve à ce moment a un poêle qui tient les deux tiers de la chambre et qui est chauffé tout rouge; j'ai fait ouvrir la cheminée, je fais tenir la porte et les deux lucarnes qui servent de fenêtres bien ouvertes, malgré les cris de la femme qui regrette son bois et qui prétend qu'elle avait chauffé pour toute la semaine, et certès il n'y a rien qui n'y paraisse. C'est donc exposé aux quatres vents que je vous écris, et j'ai à côté de moi un enfant de trois mois qui a quelque chagrin violent à en juger par les cris perçants qu'il pousse sans discontinuer; j'engage fort la mère à le porter chez quelque voisine où je payerai la pension pour cette nuit, mais elle ne se dispose pas à suivre mon conseil. Voilà mon postillon qui tranche la difficulté et qui emmene la mère et l'enfant. Sans ce postillon, que Rounitch m'a donné, je ne me tirerais pas d'affaire, je vous jure; il trouve tout ce dont j'ai besoin et ce qu'on ne lui donne pas de bonne grâce, il le prend d'autorité; il me ferait aimer le despotisme cet homme-là par l'agrément du résultat. Hier, à onze heure du soir, le traiteur de la petite ville de Néjine ne voulait point ouvrir sa porte; il disait au travers qu'il était trop tard et qu'il n'avait pas de place à donner; la péroration n'avait aucun effet sur lui; voilà que le

postillon s'avise de lui casser une vitre, et tout aussitôt toute la maison est en mouvement: ou ouvre toutes les portes, le maître courait et disait au domestique: «Ouvrez, ouvrez, ce sont sûrement des seigneurs!» J'ai eu la plus belle chambre de toute la maison et toute la baraque à mes ordres. Je vous demande un peu si ce bon peuple est mûr pour la liberté!

Je serai dans trois jours chez le comte de Markow; je déjeunerai demain à Kiew et je m'informerai s'il n'est point encore à Bielotzerkwa: j'ai rencontré l'autre jour m-r Dawidow, le mari d'Aglaë, qui m'a dit l'y avoir laissé chez sa tante Branitzka. C'est un jeune homme qui ne résiste à aucune occasion de s'amuser (je parle du c-te Markow) et qui n'a pas tenu à la tentation d'aller faire un tour aux contracts où il n'a pourtant aucune affaire si ce n'est quelques rendez-vous de boston. Ce qu'il y a de mal, c'est qu'au dire de Dawidow, il s'y est donné une indigestion. C'est la centième fois qu'il y est pris; ces grands dîners l'animent, il mange comme un homme de 20 ans, il a un de ces estomachs de la vieille roche qui résiste à tout cela.

Six jours de kibitka m'ont mis la tête un peu en compote; c'est une vilaine voiture, je ne peux pas vous le dissimuler; on a beau y être couché, j'aimerais mieux être assis dans ma dormeuse. J'ai cette sonnette de la poste dans les oreilles et je suis fatigué des cris du yemtschik qui dit cent mille choses à ses chevaux d'un bout de la station à l'autre, et avec une voix qui me reste dans la tête deux heures encore après que je ne l'entends plus; et puis ces pauvres domestiques transis et grelottants, tout cela ne me racomme pas avec les voyages en Russie pendant l'hyver surtout.

Je compte être de retour à ma Nikitska le 10 mars; c'est toujours là qu'il faut m'adresser.

## XII.

St.-Pétersbourg, le 10 février 1815.

J'ai vu ce Baïkow qui m'a donné plus de détails que je n'en voulais, car sans que je lui fisse de questions il m'a presque mis au fait de ce qui s'était passé à Létichew au sujet du prince Nicolas. Je n'ai pas eu l'air d'y prendre un grand intérêt; mais il m'a fait de la peine en voulant me persuader que madame Hus était l'intime amie de mad. de Noiseville et qu'elles se trouvaient en correspondance. J'ai répondu qu'il était dans la plus grande erreur, que ces deux personnes n'étaient nullement liées, mais que si mad. de Noiseville avait écrit, c'était pour recommander un fils de la p-sse Boris qui allait être en garnison dans le voisinage; que d'ailleurs j'étais bien sûre qu'il n'y avait aucune intimité. D'après l'opinion que me semble avoir Baïkow de mad. Hus, j'ai cru qu'il était de mon devoir de soutenir mad. de Noiseville. Il m'a dit beaucoup de bien de Nicolas, cependant a répété que la petite était trop jeune pour être mariée. Baïkow m'a fait part du renvoi de l'abbé et de la gouvernante; il regrette le premier qu'il croit être un brave homme, mais son opinion n'est pas une grande recommandation. Je vous avoue que je serais fâchée si mad. de Noiseville s'était mise en train d'écrire à mad. Hus et que la chose eût été autrement que je le suppose, c'est à dire qu'elle lui eût écrit plus d'une fois: elle se serait singulièrement compromise. Je l'aime, et cela me ferait de la peine. Quant à la princesse Boris, c'est autre chose: elle a suivi l'impulsion de son coeur maternel, elle était touchée de l'accueil qu'on a fait à son fils et aurait voulu remercier jusqu'au moindre des individus. D'ailleurs il y a telle personne à qui une inconséquence peut passer, et à d'autres pas du tout, et à mon avis c'est le cas de mad. de Noiseville qui s'est toujours montrée avec une excellente judiciaire. Elle aura fait là une fière école.

Tatiana est dans l'enchantement de se voir établie dans une délicieuse maison et Potemkine ravi de posséder enfin l'objet de ses feux. Au reste, on a eu tort de croire qu'elle n'épousait Alexandre que par obéissance; elle prouve qu'elle a accepté ce mari de la meilleure grâce du monde. La princesse Youssoupow est charmée de sa belle-fille et lui fait mille caresses. Le ménage Kourakine s'est aussi fort racommodé depuis l'histoire de Gagarine; la femme est sous la direction du comte Maistre et paraît avoir adopté ses idées, car chaque Dimanche elle est à la messe catholique. Je ne blâme ni ne loue la conduite de m-r de Maistre, je pense qu'il vaut toujours mieux avoir une religion

quelconque que de n'en pas avoir du tout; servir Dieu selon le rite latin ou le rite grec est tout un, et si Lise Kourakine n'était rien, ce que vient de faire m-r de Maistre est fort bon. Mais je vous réponds qu'avec moi il n'eût pas réussi, et je regarderai toujours comme une chose très-déplacée que le ministre du roi de Sardaigne fasse le rôle de St.-François Xavier. Ne le trouvez-vous pas? L'histoire des Jésuites en reste là; l'Empereur n'a rien écrit encore, et on ignore ce qui en résultera. Plusieurs parents se sont calmés; cependant leurs antagonistes la leur garde bonne. On dit le primat Sestrencievicz à la tête des ennemis de ces r. r. p. p.

### XIII.

St.-Pétersbourg, le 22 février 1815.

En attendant le carême on met à profit les derniers jours du carnaval, il y a un bal annoncé pour tous les jours de la semaine. Hier on a dansé chez la princesse Michel, c'était un bal masqué; Michel, son fils, surnommé Vestris, a du y paraître en Joconde; Tatiana Potemkine y est allée en paysanne de Transylvanie, Lise Troubetzkoï en Croate; Lise Kourakine en prêtresse du soleil; Lise Narichkine en Pçovenrale. C'étaient celles que j'ai vu partir. Aujourd'hui nous saurons ce qui s'est passé à ce bal et surtout, si la maîtresse de la maison s'est bien agitée; elle n'y aura pas manqué, je pense. Ce soir on dansera chez madame Lanskoï de Moscou qui a marié son fils Latchinow à la nièce du comte Pierre Tolstoï.

Le prince Alexandre, fils de la princesse Boris, est arrivé ici de Varsovie, envoyé par le grand-duc en courrier; il m'a conté que les Polonais sont assez découragés, que celui qui les exerce du matin au soir les mène *haut à la main* et qu'en général ils ont fort baissé leur ton. Cela prouverait contre le rétablissement du royaume, et Dieu en soit loué. D'un autre côté le prince Crartorysky est au congrès aussi, ce qui donne à penser qu'on projète ce rétablissement. Qu'en pensez vous, vous de votre personne?—Madame Apraxine a reçu hier la nouvelle que sa maison le Moscou est brûlée, et tout ce bel appartement que nous avons tant admiré cet hiver est réduit en cendres. Quel fatal sort! Deux fois en deux ans! Voilà encore une dépense imprévue de trois ou quatre cent mille roubles, et de nouveau tous les projets de madame Apraxine totalement renversés; il faudra qu'elle reste ici au moins jusqu'à l'été qu'elle pourra aller à Lgova.

## XIV.

Woitowci, Jedy, 25 février 1815.

De l'instant où je m'éveille jusqu'à celui où je m'en dors, je suis entouré de questionneurs. Je n'ai pas une place commode pour écrire un billet, et l'on me dit quand je réclame ce qu'il faut: „Êtes-vous donc venu ici pour écrire? Vous n'y êtes qu'en passant, donnez nous ce peu de tems“. Cela est obligeant et aimable, mais cela n'arrange nullement ma correspondance. Le c-te Markow est décidé à partir pour l'Italie dès qu'il aura reçu les passeports qu'il a demandé à l'Empereur. Je suis ravi de l'avoir vu avant ce long voyage; sa santé est bonne, meilleure assurément qu'à Pétersbourg, et la raison en est bien simple: il se lève à 9 heures et se couche à onze régulièrement; rien ne raffermir les nerfs comme un regime de ce genre. Sa fille est grandie et engraisée, et si on parvient à dissiper ce tremblement de mains qui lui reste encore, elle sera une fort jolie personne, tout comme une autre. Ce qu'on dit de la faiblesse de sa conception me semble une fable: elle saute, danse et rit toute la journée. Madame Hus est ce qu'elle a toujours été: un grand inconvénient placé là tout au travers sur le chemin de la pauvre Barbe; mais elle n'entendra pas raison, et la Providence arrangera peut-être cette affaire-là comme tant d'autres dont on la charge quand on n'y voit pas de remède!

Avez vous le comte St-Priest à Pétersbourg? Que dit-il de ses enfans? Je me flatte qu'il les a trouvés changés à leur avantage; à mon avis ils ne sont pas reconnaissables de ce que je les ai vus à Nijnei et à Moscou; ils se portent mieux, sont cent fois mieux élevés et prospèrent à ravir. L'aîné n'est pas un enfant ordinaire, il est plein d'esprit, et je me trompe fort ou il fera parler de lui. Le comte Markow est heureux comme un roi au milieu de cette petite famille, et il faut convenir qu'un peu de bruit et le babil d'aimables enfans sont des choses bien nécessaires pour couper la monotonie d'une vie de château entre deux vieilles gens qui depuis bien longtems se sont tout dit.

Dimanche passé nous avons eu une mascarade qui n'étoit point sans agrément, quoique composée d'individus de la maison et de deux seuls voisins. Je ne comprends pas ce que fera le comte Markow en Italie; il s'y trouvera bien isolé, et j'ai bien de regret de ne pouvoir l'y accompagner. Ce serait une oeuvre digne de l'attachement tendre et sincère que j'ai pour lui, mais la chose est impossible.



## XV.

St.-Pétersbourg, le 1 mars 1815.

Je recommence petit à petit à prendre mes anciennes habitudes; je m'occupe de mes livres depuis que le babil perpétuel de Catherine s'est ralenti et que je ne suis plus obligée de lui prêcher le silence ou la résignation. A propos de silence je l'aime au point qu'il m'arrive quelque fois de me réveiller avec un désir ardent de me taire tout le jour. Cela vient-il d'un bon ou mauvais mouvement, je l'ignore, mais le fait est que j'éprouve le besoin du silence comme ou éprouve celui de la faim ou de la soif. Dites-moi d'où vient ce désir; en ferez vous honneur au bon ou au mauvais principe? Il m'arrive aussi un grand désir de solitude. Tout cela ne prouverait-il pas quelque chose? Si mad. Tolstoï lisait ceci, elles crierait, je crois, au mysticisme. Tant qu'il lui plaira à cette chère comtesse, mais je ne puis vous dissimuler que j'y ai une certaine propension, mais sans en devenir ni morose ni sèche, je vous le jure; je crois même que je suis devenue plus gaye depuis que je vois ma soeur mieux. J'ai lu votre lettre au comte et à la comtesse Strogonow avec lesquels j'ai passé une soirée paisible avant-hier pendant que tout le monde était au bal de la cour. Votre description de l'izba de Semipolky nous a fort diverti, et la conduite hostile de votre postillon vous faisant presque aimer le despotisme à cause de ses résultats heureux nous a fait partager vos sentiments. Il est de fait qu'en voyage les idées libérales ne font pas avancer; c'est ce que j'ai eu l'occasion d'éprouver plusieurs fois dans mes courses. Pour en revenir à mad. Strogonow elle se désole de vous voir cloué à Moscou. Moi je ne dis plus rien, parce que je connais les circonstances, mais je désire bien qu'elles puissent un jour changer, sauf à faire venir ici Virginie. Est-ce possible jamais? Dites le moi.—Je ne vous dirai pas plus aujourd'hui ce qui se passe au congrès que je ne vous l'ai dit jusqu'ici; personne ne sait rien. On s'accorde à répéter que l'Empereur viendra directement à Pétersbourg sans s'arrêter à Berlin, ni à Varsovie et que le roi de Prusse a contremandé les fêtes qui devaient avoir lieu. Enfin on a l'air de croire que nous aurons l'Empereur pour Pâques. Comment se terminera ce congrès, Dieu seul en sait quelque chose; mais il est probable qu'il n'y aura point de royaume de Pologne, et c'est déjà fort bon.

II, 12.

РУССКІЙ АРХИВЪ 1882.

Vous allez avoir incessamment Alexandre Gouriew qui va auprès du comte Tolstoï attendre les ordres de Worontzow qui est son chef. Son cantonnement est en Volhynie, mais jusqu'à présent il ne sait pas encore ce qu'on fera de sa personne. C'est une perfection que ce jeune homme, je n'ai rien vu d'aussi loyal et d'aussi solide; quel mari c'eût été pour la petite Markow; et cependant il ne le sera jamais: la fortune ne le tente pas, et les entours lui déplaisent souverainement. Ceci entre nous, je vous prie, n'en dites rien au comte; il y a certaines choses qu'il vaut mieux ignorer toute la vie, parce qu'elles blessent l'amour-propre qui est la partie de nous la plus sensible. La manière de voir du jeune Gouriew, toute noble qu'elle est, choquerait le comte, et Dieu me garde de lui faire de la peine! C'est donc vous seul qui saurez que ce mariage ne peut jamais avoir lieu.

Vous verrez aussi Benkendorff à Moscou; celui-ci y va absolument pour le comte Tolstoï à qui il est fort attaché. C'est un brave garçon, mais que les plaisirs ont beaucoup vieilli; autrefois il avoit une figure charmante, aujourd'hui il est maigre comme un *coucou*. Le cadet Gouriew est à peu-pres dans la même cathégorie pour la santé, et on va l'envoyer au Caucase prendre les bains. Je ne puis pas me consoler de ce que vous avez manqué Walpole qui est resté six jours à Moscou; Sophe l'a trouvé affreux; moi je trouve qu'il ressemble à un poulet bouilli, mais il est très-aimable en vérité; je ne l'ai pas encore aperçu depuis son retour.

## XVI.

Moscou, le 15 mars 1815.

Enfin, chère et aimable princesse, je peux reprendre le fil d'une correspondance qui m'est aussi chère qu'agréable: je suis de retour depuis six jours. Mais je suis arrivé avec un refroidissement d'entrailles qui m'a causé pendant 3 jours de si vives douleurs, des souffrances si cruelles que j'ai pensé en perdre la raison; il me reste beaucoup de faiblesse, et je n'ai point encore pu sortir, mais j'espère qu'Oberg me donnera demain la clef des champs.

Baïkow a voulu faire une méchanceté à mad. de Noiseville pour plaire à mad. Gouriew qui ne l'aime point, en la représentant comme l'intime amie de madame Hus. Il est vrai que mad. de Noiseville a écrit une petite lettre pour recommander Nicolas, et ensuite un billet de 10 lignes pour accuser la réception de la volumineuse réponse de mad. Hus, et voilà à quoi s'est bornée cette correspondance que j'ai lue, et qui, vous pouvez m'en croire, était dans une juste mesure et ne pouvait prêter à aucune critique, si ce n'est aux yeux des Baïkows qui mordent sur tout ce qui peut servir de pâture à leur esprit dénigrant et sarcastique. Ce Baïkow qui fait profession d'être l'ami du comte Markow, en disait pis que pendre dans sa propre maison avec tous les sous-ordres qui, par un esprit de valetaille, se plaignent de leur maître, je veux dire les gouverneurs, gouvernantes et autres de même sorte. Le comte m'a pourtant dit avoir pris la peine de prouver à Baïkow que l'abbé était un malhonnête homme, et lui avoir confié les raisons pour lesquelles il était forcé de le chasser. Il faisait chorus avec le comte et passait de là chez l'abbé pour lui conter tout ce qu'on venait de lui dire et pour tourner le comte en ridicule. J'ai eu les preuves de cela dernièrement sur les lieux, et si je n'avais pas depuis 12 ans de graves raisons de plaintes personnelles contre Baïkow, j'aurais averti le comte; mais comme cela aurait pu être attribué à quelque animosité de ma part, je me suis tu. Baïkow n'en est pas moins à mes yeux un détestable sujet qui n'a rien de sacré et qui est d'autant plus dangereux qu'il a de l'esprit et de l'agrément dans la conversation.

Je blâme sûrement m-r de Maistre de faire le missionnaire au lieu de se borner à son rôle d'ambassadeur. J'ai vu une lettre d'un Jésuite qui prétend que l'Empereur a répondu au sujet de l'affaire du petit

12\*

Galitzine, qu'elle ne valait pas la peine de l'en importuner, et que c'était un enfantillage; dites-moi si cela est vrai?

Vous me demandez ce que je pense du congrès; je ne me donne plus la peine de conjecturer; j'attends patiemment la gazette qui tôt ou tard apportera les articles du traité, et alors je tâcherai de les trouver excellents et d'en être fort content; car à quoi servirait-il d'y trouver à redire! Au fond, depuis que Napoléon est à Elbe et depuis que la campagne de 1812 a prouvé que la Russie n'est pas attaquable impunément, je demeure tranquille sur le reste. Voulant vivre et mourir en Russie, je suis ravi de penser que je n'y reverrai jamais la guerre. Je serais bien aise d'y voir revenir l'aisance et l'abondance que j'y ai vu autrefois; je serais enchanté de croire qu'elle sera forte au dedans, respectée au dehors et redoutée comme elle pourrait l'être; mais si tout cela venait à manquer, je ferais en sorte de me contenter de l'assurance de la paix qui est bien certaine pour ce pays, et je prendrais mon parti sur la cherté du sucre, du café, du drap, des toiles et autres objets qui me sont nécessaires. Je ferai un frac de moins, mes chemises seront de perkale au lieu de toile d'Hollande, et les auteurs du 17-ème siècle me consoleront de ne pas recevoir les productions du 19-ème; car la prohibition des livres me semble devoir continuer, sans doute pour l'encouragement des manufactures de livres russes.

C'est certainement au mauvais principe que j'attribue l'envie que vous avez de vous taire, il n'y a pas de doute à cela: vous parlez trop bien pour que ce désir parte jamais du bon principe, aussi je vous engage à le combattre de toutes vos forces.

Je serai bien aise de revoir m-r Gouriew, mais vous ne m'apprenez rien en me disant que le mariage ne pourra jamais avoir lieu. Ce n'est que depuis l'année passée que mad. Gouriew pense comme elle le fait; auparavant elle semblait fort désirer cette alliance, mais grâce à l'abbé qui a fait ressortir les défauts de mad. Hus et monté toutes les têtes contre cette femme, il est assez simple que celle de mad. Gouriew, qui n'est pas de la première force, se soit laissée entraîner, quoique les choses n'eussent point changé depuis le tems où je vous assure que mad. Gouriew paraissait caresser cette idée. L'abbé a fait bien d'autres ravages et d'autres maux et s'est fait chasser enfin honteusement pour mille hypocrisies bien grandement coupables. Je ne doute pas que mad. Gouriew ne blâme le comte d'avoir voulu être le maître cher lui; plaise à Dieu qu'il veuille l'être toujours! Quant à la perte de m-r Alexandre Gouriew, elle est sûrement grande; c'eût été à mon gré le meilleur de tous les partis pour m-r de Markow. Espérons qu'on en trouvera un autre d'une bonne qualité aussi; deux ans don-

nent bien de la marge. Elle n'est pas même mariable à ce moment. Soyez bien sûr que je ne manderai mot de ce que vous me dites à ce sujet; au reste, le c-te a perdu tout espoir de ce côté-là. Je suis très-fâché d'avoir manqué votre poulet bouilli, sir Francis Walpole, mais cela se retrouvera peut-être. J'ai manqué madame de Choiseul aussi qui venait de partir de chez m-r de Markow quand j'y suis arrivé. Faites-moi le plaisir de me dire, entre nous, ce que vous pensez du caractère de cette femme. Je sais qu'elle est aimable, belle et galante, ainsi laissons tous ces points-là; je vous demande seulement ce que vous pensez de son caractère et j'ai mes raisons pour vous faire cette question.

## XVII.

St.-Pétersbourg, le 11 mars 1815.

Madame Apraxine part demain pour son cher Moscou, et je pense que vous irez la voir; faites la connaissance de sa fille Nathalie qui est une charmante personne; fréquentez cette maison, car j'ai le pressentiment qu'elle vous mènera à quelque chose sinon d'heureux, au moins d'agréable. Allez à la campagne de mad. Apraxine, simplement pour y faire une course, et comme cet été elle y aura probablement sa soeur Strogonow, ce vous sera une occasion de faire connaissance. La chose vous sera bien aisée, car la c-esse Strogonow vous reverra comme quelqu'un qu'elle connoît déjà beaucoup. Tandis que je m'occupe à arranger ainsi votre été, je suis dans la parfaite ignorance de ma destinée pour ce tems-là. Tous mes vœux se portent vers Kamennoi-Ostrow et si Tatiana y prenait une campagne, peut-être irions nous chez elle; autrement je ne sais pas trop où je pourrai me fourrer; avec le fardeau que j'ai sur les bras, la chose n'est pas si facile qu'elle le serait pour moi toute seule. Je n'ai pas encore de vos nouvelles de Létichew, mais la princesse Boris m'a dit que vous aviez écrit des merveilles de Nicolas, elle en est si ravie qu'elle m'en a parlé avec les larmes aux yeux. Je serais véritablement charmée que ce jeune homme se fût corrigé entièrement et que sa dévotion fût d'un bon aloi et sans hypocrisie; parlez m'en un peu et dites-moi si ce que vous avez vu ne vous aura pas fait changer d'opinion sur le résultat qui pourrait arriver de cette connaissance? Je vous le demande pour moi seule et point pour le transmettre à d'autres. Choulépow m'a demandé s'il était vrai que la petite Markow épousât Nicolas. J'ai répondu que

je n'en savais rien et que jamais on ne m'en avait parlé chez la p-sse Boris, ce qui est l'exacte vérité. Au reste, si le voyage d'Italie dure deux ans, il passera bien de l'eau sous le pont. Nous attendons l'Empereur pour Pâques, toutes les lettres s'accordent sur cette nouvelle; il ne s'arrêtera point à Berlin, mais quelques jours à Varsovie. L'impératrice Élisabeth arrivera après lui.

### XVIII.

Moscou, le 18 mars 1815.

Je vous assure, chère princesse, que vous gâtez votre soeur par trop de soins et de condescendance. Si elle se sentait moins appuyée, si on faisait moins d'attention à tout ce qui l'affecte, elle s'apercevrait elle-même qu'elle doit prendre sur elle de se livrer moins aux petites impressions de tristesse ou du malaise auxquels elle s'abandonne. Puisque sa maladie traîne en longueur, il faut penser à vous et à ce que vous pourrez soutenir à la longue, et se faire un plan suivi, qui embrasse à la fois les soins dûs à la malade et ceux qu'exige votre situation. Vous pouvez lui donner beaucoup de votre tems, mais il faut vous en réserver pour vos devoirs et même pour vos distractions. Vous pouvez lui consacrer de vos revenus, tout ce dont il est possible que vous vous passiez; mais gardez-vous bien de toucher au capital dans le chimérique espoir de la guérir en Allemagne. Une maladie qui tient autant à l'âme qu'au physique, ne se guérit point par l'effet de tel ou tel climat, mais bien par celui de telle ou telle circonstance, et les circonstances se trouvent ou manquent au gré du hasard dans tous les pays du monde. En faisant le possible pour la princesse Catherine, tâchez de demeurer fort calme et tranquille sur les résultats qui dépendent de la Providence à laquelle vous devez vous en remettre sur cela comme sur toute autre chose; ne vous tourmentez donc point à pure perte.

J'ai vu mad. Tolstoï et son mari, j'y ai trouvé m-r Benkendorff que je ne connaissais pas; j'ai été tenté de dire: *c'est donc là ce phénix!* Je ne parle que de la figure, car comme je n'ai point causé avec lui, je ne peux juger son esprit. On dit qu'il en a. Je n'ai point encore vu Gouriew, je le trouverai là ce soir. Je sais depuis quatre jours son mariage avec Eudoxie, mais comme on m'avait intimé le secret, je ne vous en disais rien, bien persuadé que de votre côté vous le savez par les parents de Pétersbourg. Le comte Tolstoï vient de me lâcher la

bride, ainsi je vous en parle sans vous rien apprendre assurément. La comtesse est dans une joye que j'approuve fort, car je le répète: le jeune Gouriew est, à mon avis, la perle de nos jeunes Russes.

Je ne sais que répondre à ce que vous me demandez sur Nicolas. Il est vrai que j'en ai écrit le bien que j'en pensais, il a de la candeur et de la franchise; mais vers la fin de mon séjour il a prouvé une si mauvaise tête, a fait une bêtise si absurde que j'ai eu lieu d'en être très-mécontent. Il faudrait écrire un volume pour vous mettre au fait de cette affaire, je vous la conterai en tems et lieu. L'abbé Macquart est chassé comme un fourbe, un Tartuffe dévoilé, et ce sot prince Nicolas a pris son parti en face du comte, avec tant de passion que ce vieillard n'a pu qu'en être offensé. Cependant je ne puis pas présumer quelle sera la fin de tout cela, car le comte devient bien faible de caractère et il est entouré de gens qui pourraient l'entraîner dans des démarches contraires à ce qu'il se doit à lui-même.

## XIX.

S.-Pétersbourg, le 18 mars 1815.

La conduite de l'abbé Macquart a été parfaitement inconséquente; il s'est embourbé dans tout cela d'une manière qui ne lui fait pas honneur, mais je ne suppose pas qu'il y ait été poussé par quelque espèce d'intérêt personnel. L'affection qu'il porte à cette petite est toute naturelle, il a à coeur son bonheur et peut-être la perspective qu'il envisage pour elle, si elle venait à perdre son père en Italie, lui a-t-elle inspiré le désir de la marier. Dans le même tems un jeune homme qui a quelqu'agrément et un extrême penchant pour la dévotion lui tombant sous sa main, il a cru faire merveille en l'attirant près de sa pupille; Nicolas l'aura séduit par des phrases qui ont une certaine valeur aux yeux d'un abbé. Il en aura peut-être fait un petit saint dans son esprit, et partant de-là il a tout approuvé. J'en reviens pourtant à dire que ce cher instituteur a très-mal fait de mener cette petite intrigue ainsi à la sourdine, mais je n'y vois pas de scélératesse. D'un autre côté je vois m-r de Markow avec sa méfiance accoutumée se faire des monstres de tout et de plus une indiscretion que je ne conçois pas: il recommande le silence à Nicolas et conte tout à St.-Priest, à Baïkow, à Langéron; cela n'a pas le sens commun. Mad. de Noiseville qui est venue me voir dans la soirée m'a apporté tout plein de lettres; il y en avait deux de vous,

une de l'amoureux et une du comte. J'ai trouvé celle de l'amoureux très-sotte, *le cloître ou la belle* est une grosse bêtise; celle de m. de Markow très-vague et très-sèche; les vôtres un mélange de raison et de plaisanterie. Je vous dirai aussi que je ne vois pas pourquoi vous entrez en correspondance avec un jeune garçon et que vous devenez à 50 ans le confident d'un amour qui ne paraît pas devoir se terminer par le mariage. Si vous trouvez que cette alliance puisse avoir lieu, à la bonne heure; si vous ne le croyez pas, à quoi bon en entretenir l'idée dans le coeur ou dans la tête de Nicolas? Ce sujet fera sûrement la base de sa correspondance; mais croyez-vous de bonne foi qu'il vous parlera toujours le coeur sur la main? Il n'aura garde; il est à parier qu'il ne se départira pas de son rôle d'Amadis; il en tiendra le langage, si même il n'en a pas le sentiment; il croira de son devoir de soutenir le grand caractère d'un amoureux de la Calprenède; et je vous demande ce que vous ferez de ces belles phrases et quelle sera l'utilité de toutes ces écritures. Je vois que vous ne vous corrigerez jamais, et que votre coeur que vous consultez toujours plus que votre tête, vous fera faire encore plus d'une école dans votre vie. Cher Christin, je n'ai communiqué ces réflexions à qui que ce soit, je n'en fais part qu'à vous seul en m'appuyant sur la très-sincère amitié que je vous porte. Ne le trouvez donc pas mauvais.

Vous savez ce qui fait maintenant la nouvelle du jour; c'est-à-dire la fuite de Bonaparte de l'isle d'Elbe. Mad. de Noiseville vous aura sûrement envoyé tous les papiers qui annoncent cette équipée. J'ai parcouru les Moniteurs, ils sont fort intéressants; le décret du roi est très-bien et dans une juste mesure; la conduite des maréchaux va mettre au jour leurs vrais sentiments; et il n'y a presque pas de doute qu'ils ne soient tous pour la bonne cause. La réception qu'on lui a faite au port d'Antibes semble prouver qu'il n'y avait aucune intelligence; on ne conçoit pas ce qui a motivé cette démarche; s'il avait débarqué à Naples, cela aurait eu le sens commun; mais venir se jeter en France sans avoir la certitude d'y être bien reçu, paraît une démence complète. Le comte Litta et le prince Alexandre Soltikow sont dans l'idée que la chose est bien plus sérieuse qu'on ne nous le fait croire. Mais je ne vois pas cependant comment il pourrait tenir, et peut-être qu'à l'heure qu'il est son affaire est faite; ainsi vive le roi plus que jamais!



## XX.

Moscou, le 25 mars 1815.

Voilà Bonaparte en campagne, et la princesse Tourkistanow retombée dans ses anciennes erreurs et qui se dit malgré l'expérience qu'on a tant à Moscou, quoiqu'on n'y reçoive rien du tout, et qu'il est superflu d'entrer dans aucun détail. Vous avez l'air de croire que je sais que le drôle a débarqué à Antibes, et c'est vous qui me l'apprenez. La réception qu'on lui a faite, dites vous, prouve qu'il n'y avait pas d'intelligence.... *Eh bon Dieu, quelle est donc cette réception?* Nous ne savons rien, mettez vous bien cela dans la tête, et pour l'amour de Dieu contez moi désormais par le menu tout ce qu'on apprendra de cet aventurier, soyez sûre que vous m'apprendrez tout.—Quant à votre remarque sur l'indiscrétion de m. de Markow, elle est parfaitement juste; mais que voulez vous! J'âge et l'oisiveté de la campagne causent tout cela, et sous ce rapport le mal est sans remède. Pour l'offre de la correspondance avec Nicolas, elle n'était que pour prévenir toute autre voye de communication, et ne point désespérer le jeune homme: puisqu'on n'avait pas refusé sa demande et qu'on s'était contenté de remettre l'affaire à deux ans, à supposer que les conditions prescrites pussent être remplies, et la première de ces conditions est sa réinstallation dans la garde de l'Empereur, seule chose qui puisse laver la tache qui pèse encore sur lui. Ce fut donc à la prière du comte que je lui dis: „Tout ce qui vous arrivera d'heureux, monsieur, faites m'en part, et vos lettres seront envoyées en nature au comte“. Il n'y a pas eu autre chose. Mais cela même n'aura pas lieu, car il a tout rompu comme un fou. Je ne crois point qu'il convienne pour être le mari d'une fille de 17 ans sans expérience. Lui-même avec de l'esprit ne donne aucune garantie pour sa conduite future; il est certain qu'il n'a eu aucun tort dans toute cette affaire jusqu'au moment où l'abbé a été chassé et qu'il a fait la folie de se déclarer son champion contre tout l'univers et avec des termes de fou enragé. Il a fait une algarade au comte de Markow en lui disant entre autres choses: *votre fille est morte*, si vous ne lui rendez pas ce digne instituteur, le seul homme en qui elle ait quelque conissance.

Ah! je viens de lire le Conservateur et les lettres arrivées, pleines de détails sur le grand événement; il paraît que toute passion portée à l'excès devient folie et que l'ambition du Corse a tourné sa cervelle;

sans cela, serait-il descendu en France avec mille hommes sans être bien assuré d'y trouver un parti puissant et prêt à le seconder? Je vois avec plaisir qu'on ne prend pas des demi-mesures et qu'on y va bon jeu, bon argent contre lui; le voilà *hors la loi* dans toute l'Europe par la décision du congrès. Je ne vois pas ce qu'il pourra devenir, ni quel prétexte on pourrait trouver pour le faire rentrer en grâce avec la civilisation! C'est un brigand déclaré, c'est Cartouche illustré; et supposant même que l'armée française toute entière se livre à lui, supposant qu'il arrive à Paris, qu'il en chasse la famille royale, qu'en arrivera-t-il pour la France, sinon de nouveaux malheurs pires que les premiers? L'Europe sait qu'en se réunissant contre la France elle en vient facilement à bout. Nous reverrions ce que nous avons vu il y a un an, et la guerre finirait aux dépens des Français desquels on exigera de plus sûres garanties que la première fois. Quant à Bonaparte, il sera pris et fusillé.

## XXI.

St.-Pétersbourg, le 30 mars 1815.

Cela valait-il la peine, cher Christin, de faire 2500 verstes, de vous briser les côtes, de vous rendre malade enfin, pour aller mettre votre nez dans un tas de tripotages dont les éclaboussures pourraient fort bien rejaillir sur vous. Je sais mieux que personne que vous êtes incapable de nuire et d'entrer activement dans aucun commérage, mais tout le monde ne le croira pas. L'expulsion de l'abbé n'est attribuée ici qu'à toute la clique de madame Hus qui a profité de la faiblesse du comte; mais si l'on vient à savoir que vous avez été là à cette époque, et surtout si l'abbé arrive à Pétersbourg, où il a beaucoup d'amies parmi nos dames, soyez persuadé qu'on vous attribuera son déplacement. Il parlera à madame Gouriew, à madame Toutoulmine, leur contera tout ce qu'il voudra, et on le croira; et moi j'aurai le chagrin de vous entendre accuser sans pouvoir vous disculper par suite de mon attachement à la princesse Boris, dont il faudrait compromettre le fils en contant la vérité des choses. Je donnerais beaucoup pour que vous n'eussiez pas quitté Moscou et que toute cette affaire se fût passée sans vous. Voilà Baïkow qui part pour la Podolie; le comte ne manquera pas, par faiblesse, de le mettre au fait de tout, et comme il vous a fait trop de mal jadis pour être jamais votre ami, il se tournera du côté de l'abbé, et écrira ici pour le rendre plus blanc que neige.

J'espère que toute cette histoire de Nicolas tombera dans l'eau, car le corps où il sert a l'ordre de marcher, et à l'heure qu'il est il ne doit plus être question de lui à Woïtowey; les esprits s'y calmeront, et le tems achèvera le reste. Je ne puis vous cacher que la p-sse Boris est extrêmement peinée et qu'elle en est à regretter que son fils ait jamais été dans cette maison. Je la console en lui disant la même chose qu'à vous: *Tout cela s'oubliera*. Mais le voyage du comte en Italie va être suspendu, car le moyen de voyager dans les circonstances présentes!

Tout le monde est consterné de ce qui se passe en France, et'on voit avec effroi recommencer une guerre terrible! Tout ce qui s'est fait en 1814 est actuellement réduit à rien; les tems de calamités semblent prêts à revenir, et toute l'Europe va de nouveau se trouver en combustion.

## XXII.

Moscou, Dimanche, 4 avril, pour Lundy 5. 1815.

Vous comprenez l'impatience mortelle dans laquelle on vit ici en attendant le résultat des affaires de France qui me donnent des idées bien noires depuis qu'on assure que Soult, ministre de la guerre, est à la tête de la conjuration....

Ce n'est point mon voyage qui a fait renvoyer l'abbé; ce renvoy était décidé avant mon départ, et vous devez vous souvenir que Baikow vous l'avait conté déjà. Mais mon séjour là bas a servi à prouver par les propres aveux de Nicolas, que l'abbé était le seul auteur de tout ce qui a eu lieu. Mad. Gouriew et mad. Toutoulmine en croiront et diront ce qu'il leur plaira, j'en prends mon parti bien galamment. Vous aurez bien raison de garder le silence quand vous m'entendrez blâmer: on ne vous croirait pas si vous entrepreniez de me justifier, et vous vous rendriez suspecte de partialité. Conservez-moi votre bonne volonté pour une autre occasion, ou même sans occasion, c'est toujours de par soi une bonne chose dont je sais faire tout le cas qu'elle mérite. Si mad. de Noiseville vous a montré, comme je l'espère, la lettre que Nicolas m'a écrite, vous apprendrez à connaître l'abbé et son joli petit caractère. Les gens peuvent penser ce qu'il leur plaît, la vérité est toujours la vérité. L'abbé Macquart est un fourbe affreux et capable des plus grands crimes sous le manteau de l'hypocrisie. Je sais bien que toucher à un dévot, quelque faux qu'il soit, c'est amener toute la troupe

même des véritables, c'est amasser un orage sur sa tête; mais il n'y a pas de raison pour dissimuler sa façon de penser quand la dire devient un devoir.

Je suis dans le plus vif chagrin des évènements de France, et je crois à tout ce qu'il y a de pire. La guerre va se rallumer, et Dieu sait les malheurs qui viendront à sa suite. Mais tenez vous pour dit que Bonaparte ne sera jamais ce qu'il a été et qu'en se réunissant contre lui on le battra; or, Bonaparte battu ce sera Bonaparte pendu, à moins qu'il ne trouve le moyen de se sauver en Amérique. Dans ce cas même une fuite le décréditerait dans son propre parti.

### XXIII.

St.-Pétersbourg, le 5 avril 1815.

Je sais très-bien que vous êtes dans le fin fond d'un puit, mais je ne croyais pas cependant que ce fut au point de ne pas vous douter de la fuite de Bonaparte; il me paraît qu'au moment où je vous parlais de la réception qu'on lui avait faite à Antibes, vous le croyiez encore à Elbe. Eh bon Dieu, s'il s'y trouvait encore, que ce serait heureux! Mais les choses ont bien avancé depuis.

Une lettre de Vienne du 19 (31) mars, arrivée hier au soir, porte les détails des préparatifs immenses que l'on fait de tous côtés, et l'espérance que cette seconde reprise des hostilités sera courte et vigoureuse. Le duc de Wellington est parti le 30 mars pour Bruxelles où il prendra le commandement de l'armée Anglo-Belge; l'Angleterre envoie beaucoup de troupes dans les Pays Bas, la garde Anglaise même va être embarquée. L'Espagne s'est engagée à faire entrer 80 mille hommes en France. Il n'y avait encore rien de décidé de la part de notre Empereur; il avait annoncé seulement qu'il se rendrait à Prague pour voir passer les corps d'armée Russe entre le 12 et le 15 avril. Tous ses aides-de-camp et généraux de la suite viennent de recevoir ici l'ordre de partir immédiatement et de se rendre à Ratisbonne. Nous avons fait en conséquence nos adieux à ces messieurs.

Dans la liste des suppôts de Bonaparte que les gazettes qualifient de ministres, il faut ajouter Caulincourt ayant de rechef le département des relations extérieures. Les ambassadeurs et ministres étrangers près Louis 18 sont presque tous restés à Paris faute de chevaux pour en partie. Mad. Ostermann mande de Rome que l'Italie est sens dessus dessous. Murat s'est prononcé et fait marcher son armée vers la haute

Italie. Il a demandé le passage par les états du St.-Père, il a été refusé. Le pape et les cardinaux sont partis de Rome de 22 mars. Les trois cardinaux Litta, de la Somaglia et Gabrielli sont restés chargés du gouvernement. On dit que jusqu'à présent il n'y a eu que deux maréchaux, Ney et Davou, qui se soient déclarés pour Bonaparte, le dernier est ministre de la guerre; tous les autres sont pour le roi; le tems et leur conduite nous apprendront jusqu'à quel point on peut compter sur eux. Le duc de Wellington aura donc son commandement dans la Belgique; l'armée des princes, les royalistes que je ne suppose pas en grand nombre, tâcheront de se maintenir sur la frontière du Nord de la France, entre les forteresses. Blucher commande les Prussiens et autres troupes d'Allemagne entre Mayence et Luxembourg. La grande armée du haut Rhin composée de 80 mille Autrichiens, de 160 mille Russes, de 30 mille Wurtembergeois et de 30 mille Bavaurois, sera sous les ordres du prince Schwartzenberg. 120 mille Autrichiens agiront en Italie avec l'armée du roi de Sardaigne. La gazette annonce que l'archiduc Charles en aura le commandement, mais cette nomination n'est point confirmée par les lettres de Vienne. Hier on disait qu'Augereau avait passé du côté de Napoléon, aujourd'hui les gazettes prétendent au contraire qu'il est avec des troupes royales à Fontainebleau et que Bonaparte a quitté Paris pour marcher contre lui; laquelle de ces deux versions est la véritable, c'est ce qu'on ignore. Le fait est que Paris en ce moment est divisé en trois partis prêts à s'égorger: les Bourbonnistes, les Jacobins et les Bonapartistes; il paraît que Napoléon cajole ce second parti et veut s'en servir comme d'instruments propres à ses fins, pour les écraser ensuite selon son système machiavélique. Que de sang va couler encore! Dans un des premiers décrets de Napoléon il abolit le système continental, et ce qu'il y a d'étrange c'est que nous le conservons encore ici sur les bords de la Néva aux grand profit des contrebandiers et des monopolistes: c'est sans doute pour prouver que nous voulons toujours différer d'opinion avec Bonaparte.

Dites moi à votre tour s'il est vrai qu'un certain *chat-huant* est allé se percher sur un des clochers du Kremlin, qu'il y crie nuit et jour, et que vous autres badauds de Moscou, allez l'écouter et le consulter comme un augure? Est-il vrai encore qu'une femme couverte de haillons et traînant de longues chaînes après elle, se promène dans la Tverskoï et y prophétise la désolation? En ce cas je plaindrais Natalie Abramovna Pouchkine qui est placée aux premières loges pour la voir et l'entendre. Plaisanterie à part, dites-moi si tout cela n'est pas un

fagot, et pour Dieu n'allez pas en parler chez madame Apraxine qui imaginerait peut-être que je me moque de Moscou, ce qu'à Dieu ne plaise!

#### XXIV.

Moscou, le 15 avril 1815.

Votre bulletin du 5, chère et bonne princesse, m'a fait tout à la fois peine et plaisir: il annonce des défections presque générales et des préparatifs immenses pour s'opposer d'un accord unanime à ce monstre déchaîné que l'enfer vient de vomir contre l'Europe qu'il va probablement couvrir de deuil et de larmes. Dieu maintienne la bonne intelligence entre les puissances alliées! Toutes ont un égal intérêt à terrasser l'homme envers lequel elles ont cru que la générosité était praticable. Mais à mes yeux Bonaparte n'est pas le seul individu que les souverains devraient mettre hors la loi; la nation française en masse vient de donner le coup de grâce à sa réputation et de se rayer de la liste des peuples avec lesquels l'Europe peut traiter. Cette nation qu'on a vaincue il y a une année et sur laquelle on pouvait exercer de si justes représailles, n'a éprouvé de la part de ses vainqueurs que clémence et générosité; cette armée à qui l'on a rendu sans rançon plus de 150 mille prisonniers; cette capitale aux dépens de laquelle on pouvait rebâtir Moscou tout au moins et qu'on a cajolée et caressée; toute cette France en un mot qui proclamait les rois alliés ses libérateurs et rejetait l'odieux de la guerre sur le seul Bonaparte... tout cela vient de repasser sous le joug du tyran sans faire ombre de résistance, sans qu'une voix s'élève pour le roi légitime, sans qu'un bras s'arme pour sa défense!... Ce n'est plus une nation, c'est une soldatesque effrénée qui veut vivre de pillage, c'est un peuple inerte, sans courage moral, soumis au premier chef que l'armée lui présente, tel qu'étaient les Romains quand la garde prétorienne disposait du sceptre! Voilà ce qu'on a cru une Grande Nation, voilà les gens qu'on a exalté et auxquels on a dit, il y a une année: Choisissez-vous un gouvernement, nous ne voulons point nous immiscer dans vos affaires intérieures. Au lieu de leur dire tout simplement: Rebelles, voilà votre roi, tombez à ses pieds et demandez lui grâce; quant à l'usurpateur auquel vous vous étiez soumis, nous en avons disposé d'après les règles de la justice et le droit de la guerre. Bien entendu qu'au même moment, Bonaparte eût été effacé de la liste des vivants. Il est vrai qu'en suivant cette

marche, la gazette y eût perdu bien des articles de phylantropie, mais le monde fût demeuré tranquille, les Bourbons eussent été à jamais paisibles possesseurs de leur héritage, et tous les souverains de l'Europe eussent assurés leurs droits avec une force toute autrement efficace que celle des belles phrases. Je vous assure que le hetmann Platow, à lui seul, eût fini la guerre de 1814 beaucoup mieux que les plénipotentiaires de Paris. Ce que je vous dis d'humeur aujourd'hui que je suis au désespoir, je le pensais il y a une année dans les moments de ma plus vive joye sur laquelle chaque mesure politique jettait un voile de craintes et d'appréhension pour l'avenir. Ce funeste avenir n'a pas tardé à se développer et d'une manière que personne n'aurait pu deviner. Cette nouvelle révolution ne ressemble à rien, elle est inconcevable! Vingt cinq millions d'hommes consentent froidement à devenir l'horreur et l'exécration du genre humain, à partager avec le tyran qui va les tourmenter la haine publique et particulière, en même tems qu'ils s'exposent à payer bien cher leur honte et leur profond avilissement, quant on se sera rendu maître une seconde fois de cette France odieuse, qui ne mérite plus aucun ménagement comme nation, puisqu'elle n'offre aucune garantie des traités les plus saints nationalement jurés entre elle et son roi légitime, comme entre elle et les souverains protecteurs qui l'ont sauvée. Il faut conserver pour la honte éternelle des Français les journaux des 18, 19 et 21 mars de cette année et comparer leur style: cela seul donnera la mesure de ce méprisable rassemblement qui ose s'appeler nation.... de cet amas de tous les crimes les plus honteux et les plus monstrueux recouvert d'un vernis de civilisation qui n'est après tout que de l'orgueil, de la vanité et de l'amour-propre.

## XXV.

St.-Pétersbourg, le 9 avril 1815.

Quoique je vous aye écrit par la dernière poste, voici encore un bulletin; car je veux vous dérouiller, coûte qui coûte. Un estafette arrivé hier de Riga au ministère de l'intérieur, apporte la nouvelle que le parti du roi de France augmente et semble prendre consistance; deux régiments ont quitté les hordes de Bonaparte et se sont rejoints aux royalistes. Le duc d'Angoulême se trouve en Provence où Massena tient pour le roi; tout le Midy est soulevé en faveur des Bourbons; Lyon et Grenoble sont réoccupés par les troupes du roi; enfin Bonaparte est obligé pour faire face à tout cela de disséminer ses soldats, et l'on va même jusqu'à espérer qu'il sera bientôt forcé de quitter Paris aussi promptement qu'il y est entré. Le roi a établi sa résidence au château de Lacken près de Bruxelles. Le duc de Berry a pensé être arrêté en partant de Lille et est arrivé avec peine à Menin; le Moniteur ne fait aucune mention de Masséna, de Miaulis et de Marchand qui commandent en Provence; les communications avec le Midy sont absolument interrompues; les maîtres de poste ont ordre de brûler toutes les lettres qui arrivent de ces provinces. Le silence du Moniteur et ces précautions semblent prouver que les affaires de Napoléon ne sont pas tout-à-fait couleur de rose, et que l'enthousiasme qu'il se vante d'exciter, pourrait bien n'être que dans les phrases du Moniteur. Le duc de Feltre est de retour d'Angleterre et se trouve de nouveau auprès du roi. Des troupes anglaises ont déjà débarqué en Hollande avec un parc d'artillerie très-considérable. Anvers est déclaré en état de siège. Plus de cent mille hommes, tant Anglais qu'Hanoveriens et Hollandais, sont rassemblés en Flandres, Wellington en a pris le commandement. On dit qu'il y a beaucoup d'arrestations à Paris; la grille des Thuilleries est fermée; des pelotons de soldats, avec des officiers en tête, parcourent les rues en chantant des airs révolutionnaires. Bonaparte a supprimé toute espèce de censure et s'est arrogé ce département: tout auteur ou imprimeur qui ne sera pas de son avis, aura le sort de l'infortuné Palm. S'il a fusillé celui-ci en Allemagne, vous comprenez qu'il ne se gênera pas avec les siens. Il a tenu, dit-on, une assemblée où les Jacobins les plus enragés ont figuré et brailé, on y a décrété la liberté et l'égalité; on va jusqu'à dire qu'il a pris le titre d'Empereur-Citoyen, ce qui malgré une apparente contradiction n'est pas impos-



sible. Il y a ici des visionnaires qui soutiennent que cette conspiration révolutionnaire date de Fontainebleau où le principal acteur aurait joué l'abdication, les entours la soumission et la fidélité. Qu'en pensez vous?

Nicolas est absolument fou; il serait heureux pour lui qu'il se fit tuer comme son père lui en donnait le conseil en l'envoyant à l'armée.

## XXVI.

Moscou, Lundy, 19 avril 1815.

Христосъ воскресе, chère et bonne princesse! Je n'ai qu'un moment entre les visites de Pâques, pour vous accuser la réception de votre N 14 du 9 et pour vous en remercier. Je suis honteux pour l'espèce humaine que Ney et autres de sa sorte en fassent partie. Voilà donc où est tombé en France l'esprit de loyauté dont cette nation se targuoit tant, voilà son amour pour ses rois, voilà *son honneur*! Grand Dieu, dans quel siècle vivons nous! Toutes les horreurs sanguinaires de la révolution n'ont pas souillés et avilis les Français à mes yeux, comme cette dernière défection générale de l'armée et du peuple. Que Dieu maintienne l'union entre les coalisés: c'est l'ancre de salut pour l'Europe, c'est le dernier espoir de la civilisation! Je frémis de tout ce que j'entends dire ici par des gens qui passent pour avoir du sens; les uns vont jusqu'à prétendre que les Bourbons ne peuvent plus régner et qu'il faut choisir un général pour fonder une nouvelle dynastie. Comme si depuis 25 ans on ne s'était pas trop écarté des principes et comme si la moitié du mal ne venait pas de cet oubli. Si les puissances eussent voulu reconnaître Louis 18 pour roi le jour de la mort de Louis 17, si elles eussent refusé de traiter avec une république et avec un usurpateur, qu'aurait-il pu arriver de pire, et quel bien n'en eût-il pas pu résulter! Mais quand on voit les maîtres légitimes des nations se plier aux loix que dictent les rebelles, on remplit ces derniers d'audace et d'espérance.

Quel souverain pourrait se flatter de transmettre le sceptre à sa postérité, si aujourd'hui ils plaçaient un étranger sur un trône. Un général français régnant en France, un autre à Naples, un troisième en Suède.... En voilà bien assez pour que les autres se flattent d'occuper des trônes aux mêmes titres et par les mêmes moyens: la force aidée de la séduction. Non, il faut les Bourbons plus que jamais; mais il faut leur donner les moyens de gouverner qu'ils n'ont point obtenu il y a

une année; il ne faut pas une constitution qui pardonne au régicide; il ne faut pas un Bonaparte à la porte de la France; il ne faut pas des traîtres autour du trône. Bon Dieu que de traîtres! Et quelles noires et profondes trahisons! Le général Bertrand, compagnon *découvert* du monstre, est à mes yeux l'honnête homme de la France, depuis que la conduite des autres est au grand jour.

## XXVII.

S.-Pétersbourg, le 16 avril 1815.

Nous n'avons rien de nouveau ni de bon à vous mander; toutes les gazettes semblent se contredire, et on ne sait aux quelles croire. Hier l'Invalide a publié une feuille extraordinaire pour nous apprendre que les Prussiens avaient battus à Metz un corps de troupes assez considérable, sans nous dire d'où il tient cette nouvelle. D'un autre côté on raconte que Napoléon est à Strassbourg; que Masséna tient pour le roi à Marseille, tandis que les lettres de Vienne annoncent qu'il est pour le parti contraire et qu'il est à Toulon où il a fait arborer le drapeau tricolore; c'est lui qui par le télégraphe instruisait Paris de tout ce qui se passait dans le Midy. Quelle est la vérité au milieu de ces contradictions? C'est ce qu'il est difficile de deviner à la distance où nous sommes. Je ne croirai qu'à ce que l'Empereur mandera aux Impératrices. On disait encore hier que Laines était arrivé à Bordeaux et y'avait ranimé l'esprit, qu'il travaillait beaucoup pour de roi, et que même il avait engagé madame d'Angoulême à faire la revue de deux régiments qui s'y trouvent, que la princesse y avait consenti et qu'en voyant les officiers elle leur avait dit: allons, messieurs, unissez vous à moi, *vive le roi!* Quelques officiers avaient répondu à ce cri, mais les soldats restèrent muets, et madame se retira en mettant la main sur ses yeux. Cela fait mal à entendre, et on se sent si fort indignée qu'on voudrait exterminer toute cette engeance détestable. Aglaé Davidow a reçu une lettre d'Ostende que je ne cite pas: tant elle me semble pitoyable; le duc de Grammont ainsi que tous les entours du roi vit dans un parfait délire d'espérance et se croye au moment de reprendre le chemin de Paris. Il n'y a plus qu'Aglaé et madame Golowine qui ajoutent foi à ces rêves.

## XXVIII.

S.-Pétersbourg, le 19 avril 1815.

L'aide-de-camp général prince Wolkonsky écrit ici à m-r Wiasminow que tout le Midy de la France est armé pour la cause du roi, que le rassemblement des royalistes se monte déjà à 150 mille hommes, que le duc d'Angoulême marche en force sur Grenoble et Lyon. D'autres lettres de Vienne, postérieures à celle-ci qui est du 5 avril vieux style, annoncent même l'occupation de cette ville; le duc d'Angoulême commande le centre, S-t Cyr et Damas deux corps de flanc. Masséna a été fusillé le 25, mais je ne sais trop par quel parti; le fait est qu'il n'est plus de ce monde. Il pourrait servir de modèle aux autres maréchaux parjures. Il y a aussi des détails très-intéressants sur madame d'Angoulême qui s'est conduite en héroïne. 80 mille Espagnols sont entrés en France et ont contribué plus que toute autre chose à faire prononcer les indécis. Ainsi la brave nation espagnole a encore une fois donné l'impulsion au soutien de la bonne cause. A Grenoble il y a trois partis bien prononcés qui se distinguent par la cocarde blanche, la cocarde tricolore et les bonnets rouges. A la tête de ces derniers se trouve le général Grouchy. Bonaparte se montre peu et ne quitte presque pas les Thuilleries; les arrestations continuent, toutes les prisons sont remplies, il a donné un décret qui éloigne à 30 lieues de Paris toutes les personnes qui ont servi le roi. Si le roi avait eu le bon esprit de prendre une mesure semblable contre les agents si connus de Bonaparte, peut-être n'en serions nous pas où nous en sommes.

Le manifeste autrichien contre Murat vient de paraître, tous les griefs sur sa conduite y sont exposés; je ne vois pas pourquoi on s'attendait de sa part à une conduite différente! On se bat en Toscane et sur le Po. On dit que Wellington, en prenant congé de l'Empereur, disait qu'il ignorait s'il aurait des succès dans la guerre offensive, mais qu'il était bien sûr que Bonaparte, avec toutes les forces et les moyens de la France, ne parviendrait pas à le déloger de la Hollande avant trois ans. Le terme est un peu éloigné, mais le propos est rassurant dans la bouche d'un Wellington. Le duc de Richelieu qui est à Vienne, fera la campagne à la suite de l'Empereur, et c'est la clôture de mes nouvelles.

## XXIX.

Moscou, le 26 avril 1815.

Que ne puis-je, chère princesse, ajouter foi aux nouvelles que le prince Wolkonsky mande à m-r Wiasmitinow! Elles me réjouiraient et me rempliraient d'espérance; mais hélas, ces mêmes nouvelles ne sont point confirmées par des lettres de Vienne, aussi et du 8 (20) avril arrivées par courrier; elles sont même démenties, et les gens les mieux instruits assuraient que tout le Sud de la France avait plié sous le joug du monstre et que le duc et la duchesse d'Angoulême avaient été obligés de s'embarquer. Or, je crois à cela bien plus qu'aux efforts énergiques d'une nation fatiguée et inerte, livrée à l'impulsion de l'armée et incapable par elle-même d'aucune action d'éclat. Je n'attends d'heureux succès que des armées alliées; il faut une croisade pour réduire ce brigand et ses capitaines qui comprennent fort bien qu'il n'y a plus pour eux de salut que dans la victoire, et qui se battront comme des gens qui veulent vaincre ou mourir. Cependant avec le maintien d'un accord unanime on viendra à bout de cette France, et l'on exigera, je pense, d'autres gages de sa tranquillité que ceux dont on a hasardé de se contenter en 1814. Mais croyez bien que le premier et le plus sûr de ces gages sera toujours le sceptre dans les mains du roi légitime; c'est sur ce principe-là que repose l'hérédité de tous les trônes dans les dynasties régnantes.

Le comte de Markow, ne pouvant aller à Nice, mène sa fille à Baden près de Vienne pour y prendre les bains, et il partira incessamment. Dites-moi si les gardes marcheront, oui ou non; car c'est un question qui se débat ici sur les différents avis qu'on reçoit.

Pradel et m-r Apraxine m'ont interrompu pour me conter les belles nouvelles de Wolkonsky aux quelles je ne crois pas, mais que la police fait imprimer et distribuer en manière de bulletin.

## XXX.

S.-Pétersbourg, le 29 avril 1815.

Je ne vous ai pas écrit la semaine passée n'ayant pas grand chose à vous apprendre sur les évènements. Réflexion faite je ne veux plus vous faire part des nouvelles qui circulent ici, car ce sont autant de faussetés, et il n'y a pas un mot de vrai à toutes les belles choses écrites à Wiasmitinow et qui nous arrivèrent la nuit de Pâques. Vous savez au contraire tout ce qui est arrivé au duc d'Angoulême et qu'il n'est plus resté un Bourbon en France. Louis 18 aura fait un rêve, et encore n'aura-t-il pas été fort beau. Le dernier Moniteur est fort curieux; vous y verrez un rapport de Caulincourt et un autre mémoire qui semble vouloir mettre au jour le traité conclu à Fontainebleau entre les alliés et Bonaparte.

Le renvoi de l'abbé a été annoncé ici par m-r de S-t Priest; il la appris à mad. Gouriew sans vous nommer, et à madame Toutoulmine, chez la princesse Voldemar en disant que le comte avait été très-mécontent de lui; qu'il les avait encore laissés ensemble, mais que m-r Christin avait fait cette expédition lors de son voyage en Podolie. Je l'interrompis pour ne pas prolonger cette conversation, et elle finit là. Vous auriez bien tort cependant de soupçonner S-t Priest, d'avoir voulu vous nuire; pas du tout: il a dit cela extrêmement en l'air, et mad. de Noiseville me semble avoir aggravé le délit. Ce que je vous dis est aussi vrai que j'existe; si bien que le lendemain j'en reparlai à S-t Priest, et la manière dont il s'exprime sur votre compte n'est assurément pas à votre désavantage; ainsi je vous prie de vous raccomoder mentalement avec lui. En attendant je vous dirai que ni moi, ni mad. de Noiseville, ni la princesse Boris, n'avons parlé de celle histoire dans le monde; personne que nous trois n'était au courant des tripotages de Létichew. Lundy dernier je fus dîner chez mad. Nowosilzow où je trouvai madame Toutoulmine qui, me prenant sous le bras, m'interpella sur le renvoi de l'abbé; elle avait remarqué que j'avais coupé court à S-t Priest lorsqu'il s'était mis en train de causer sur tout cela. Je répondis que depuis longtemps m-r de Markow se plaignait de l'abbé, mais que j'ignorais comment on s'était quitté. Elle me dit à son tour qu'il y avait eu des histoires dont je devais être informée. „Il est vrai que j'en sais quelque chose“, repris-je, „mais je ne puis satisfaire votre curiosité; car je ne me soucie pas de compromettre des personnes avec les quelles

je suis en relation". Ma réponse fut si concise que madame Toutoulmine abandonna sa question; mais elle me répéta qu'elle avait toujours eu bonne opinion de l'abbé et que c'était un sujet de dissention entre elle et sa belle-soeur la comtesse Panine qui ne pouvait pas le souffrir.— „Il faut bien que ce soit pour quelque raison, madame".— „Cela se peut", me dit-elle, „jamais ma belle-soeur ne m'en a parlé, mais il est de fait qu'elle ne peut entendre son nom". Notre conversation n'alla pas plus loin. Mais hier ma surprise fut bien autre, lorsque madame Gouriew me dit qu'elle avait reçu une grande lettre du comte Markow qui l'instruisait du renvoi de l'abbé et qui lui faisait part des raisons qui avaient nécessité cette séparation. Je ne sais pas si le comte est entré dans de certains détails; mais ce que je puis vous dire, c'est que mad. Gouriew a nommé Nicolas, a été indignée du procédé de l'abbé, et extrême, comme elle a coutume de l'être, elle est partie comme un éclair pour dire que les Jésuites et les abbés étaient tous gens à pendre. Je l'ai laissé dire, et saisissant l'occasion: „Eh bien, madame, puisque vous le prenez ainsi, je suis fâchée que vous n'avez pas été dans le cas de voir de près la conduite de Christin dans cette affaire-là; je suis très-certaine que toutes vos préventions contre lui, s'il vous en reste encore, eussent été effacées. Il s'est conduit comme un véritable ami de Markow, et n'a fait ce voyage en Podolie que pour faire plaisir au comte, car il n'avait pas plus envie d'y aller que moi". Mon discours n'a pas été perdu, j'en suis sûre; mais nous n'avons rien dit de plus, parce que m-r Gouriew survint.

### XXXI.

Moscou, le 6 may 1815.

Vous aurez vu par ma précédente lettre à mad. de Noiseville, que je savais la lettre du comte à mad. Gouriew. Je n'ai point songé à en faire un mystère à mad. de Noiseville, parce qu'elle me paraît avoir agi en tout ceci avec une entière confiance et bonne foi. Je suis bien sûr qu'elle ne dit rien à la princesse Boris de tout ce qui concerne les extravagances de son fils; mais je crois devoir prouver que ce fils ment quand il dit qu'il a fait sa paix avec m-r de Markow, et pour fournir cette preuve j'envoie les lettres originales du comte avec prière qu'elles ne passent pas les mains de madame de Noiseville et les vôtres, et qu'elles me soient renvoyées aussitôt. Celle que j'expédie aujourd'hui

vous instruira du genre de rélation que le comte a eu à Kaménetz avec Nicolas malade, et vous y verrez combien l'assertion du jeune homme est fausse quand il dit que sa paix est faite. C'est par les faits et non par les paroles qu'il faut juger les gens. Vous verrez aussi par la réponse du comte Markow à plusieurs lettres qu'il a recues de l'abbé, à quel excès de démençe s'est porté ce malheureux prêtre quand il a vu son hypocrisie exposée au grand jour. Je vous prie de conserver cette copie pour en faire usage quand et comment il vous plaira. Il n'y est fait aucune mention de Nicolas; si elle pouvait compromettre une autre personne que l'abbé ce serait moi assûrement vu l'accusation qu'elle renferme; mais je n'en ai pas peur. Il faut que l'indignation du comte soit portée au comble pour lui avoir dicté cette lettre. Depuis 20 ans que je le connais et que je l'ai suivi dans toutes les circonstances de sa vie publique et particulière, je ne l'ai jamais vu se servir d'un semblable langage, ni se permettre d'énoncer un mépris aussi marqué à qui que ce soit. Vous voyez qu'il ne m'abandonne pas, comme mad. de Noiseville le croyait; la lettre qu'il lui a adressé à elle prouve la même chose aussi, et je pense qu'elle vous l'a lue.

Je vous remercie des soins que vous prenez en ma faveur auprès de madame Gouriew, je vous souhaite un plein succès; mais je vous avoue que je ne tiens pas infiniment à son opinion, par la raison que celle qu'elle a adoptée sur mon compte n'étant fondée sur rien, me donne de sa façon de voir et de penser une idée peu solide. Je suis au contraire fort touché de la justice que vous me rendez et que je mérite; soyez sûre que l'avenir prouvera ce qu'est Nicolas; il a la tête fêlée, n'en doutez point; c'est un véritable instrument à fanatisme, on en aurait fait au besoin un Jaques Clément. J'espère que tout est dit aujourd'hui sur ce sujet. Mandez moi s'il part avec son corps, le comte ne m'en dit rien.

Vous allez voir les nouveaux mariés, avec leur père et mère, car madame Tolstoï est aussi du voyage; mais depuis 8 jours ils partent toujours dans 8 jours et peut-être resteront ils ici plus longtemps qu'ils ne le pensent. J'ai vu assez souvent Gouriew et j'en suis fort content, mais il est de mode dans une certaine société de l'appeler pédant; je ne suis point de cet avis, je vous assure. Il a beaucoup de bon sens et un jugement sain et droit; voilà bien les premières qualités d'un homme, je pense; avec cela il a de l'esprit, et s'il manque d'une certaine légéreté dans l'expression, cela ne prouve pas qu'il soit lourd dans ses conceptions, tant s'en faut. Je ne sais si je le juge bien. Je ne fais pas de doute qu'Eudoxie ne soit fort heureuse

avec lui; elle l'aime déjà, et elle a un tout autre ton depuis son mariage. J'ai dîné hier chez elle en famille; la comtesse arrivait avec un visage de jubilation et de la porte du salon elle me criait: „Ah cher Christin, si vous saviez quel est mon bonheur de venir dîner chez ma fille!“ Jamais mariage ne fit plus de plaisir aux parents, bien assurément. Vous devriez bien conseiller au comte Tolstoï d'aller droit au quartier-général: je vous assure qu'il ne saurait rien faire de mieux pour lui et pour la chose publique; mais il y répugne, et son indolence le pousse vers ses jardins de Troïtzkoé bien plus qu'au milieu des agitations d'une cour.

## XXXII.

St-Pétersbourg, le 4 may 1815.

J'étais presque décidée à ne point vous conter les nouvelles, mais les affaires d'Italie vont merveilleusement et on a là-dessus des données officielles. Murat a été battu sur tous les points; les généraux Frimont et Bianchi ont absolument rejeté les Napolitains sur Ancône, et tous les états du Pape ainsi que ceux du grand-duc de Toscane sont libres.

M-r de Litta a relevé la tête et commence à espérer; on avait dit que Murat avait été obligé de s'embarquer, que les Siciliens étaient entrés à Naples, mais cela n'est pas encore prouvé. Quant à la défaite complète de Murat, c'est aussi vrai que je vous écris: l'Impératrice nous l'a conté hier à son cercle. Pour ce qui se fait à Paris personne n'en sait rien, les communications avec ce pays me semblent interrompues; on dit que Lucien est retourné en Suisse, j'ignore si c'est vrai; mais en Suisse ou ailleurs c'est toujours un coquin qu'il faudrait surveiller de près.

J'ai fait deux courses à Kamemnoï-Ostrow, la campagne commence à verdier; le côté de la Néva est ma prédilection, j'y vais toujours avec un certain plaisir calme que je prise beaucoup. La journée hier était magnifique, mad. Gouriew m'a menée en bateau à sa campagne; moi j'ai mené Catherine à celle de Swistounow que j'espère d'habiter; nous avons été choisir nos chambres, et si rien ne vient à la traverse de ce projet, nous passerons un joli été, ce me semble. Les Gouriew attendent leur belle-fille avec impatience; je fais des vœux pour qu'elle leur convienne, on lui arrangera un charmant appartement pour l'hiver prochain, en attendant elle viendra occuper Kamemnoï-Ostrow. La tête



lui tournera lorsqu'elle s'y verra dans le grand monde. Je crains qu'elle ne soit bientôt distraite du chagrin qu'elle aura de quitter son mari.

### XXXIII.

St.-Pétersbourg, le 17 may 1815.

La nouvelle du départ des gardes a dissipé en fumée nos beaux projets de passer l'été chez mad. Potemkine; son mari s'éloignant, elle va dans 15 jours rejoindre sa mère à Sima; c'est cependant son mari qui l'y conduira, parce que comme aide-de-camp du baron Rosen il a un répit de deux mois dont il profite pour remettre Tatiana entre les mains de ses parents, rester quelques jours avec elle et rejoindre la garde à Kovno. Pétersbourg est sens dessus dessous, les gardes fourmillent partout et font leurs paquets, la ville va devenir déserte. Je ne pense qu'en frissonnant au désagrément de passer l'été au château; on y étouffe pendant les grandes chaleurs, c'est à n'y pas tenir à la lettre. Et puis pas la moindre distraction, toute la société va à la campagne et pour aller passer quelques soirées à Kamennoï-Ostrow il faudrait un équipage que nous n'avons pas. Vous pensez bien que si j'étais seule, j'aurais trouvé à me loger quand ce ne serait que chez madame de Litta, mais avec ma soeur et nos deux femmes de chambre la chose devient difficile et délicate. Dieu sait ce que nous deviendrons, mais je vous assure que je sens ce déplaisir plus vivement qu'il ne le faudrait; cela vient de ce que j'ai Catherine, dont la santé, quoique meilleure à ce moment, demande toujours à être soignée; l'air et l'exercice lui sont absolument nécessaires. Que fera-t-elle en ville où il n'y a nul moyen de se promener? En un mot, je suis fort embarrassée et je ne sais comment je m'en tirerai, à moins qu'il ne plaise au Ciel de venir à mon aide. Nous avons reçu la nouvelle de la mort de la princesse Galitzine, mère de Théodore; ses soeurs, Litta et Youssoupow, sont fort affligées, principalement cette dernière; je vois ces dames tous les jours depuis qu'on leur a annoncé cette perte. Théodore donne des détails édifiants sur la mort de sa mère, qui a été véritablement celle d'une prédestinée.

## XXXIV.

Moscou, le 24 may 1815.

Je partage sincèrement votre désappointement sur le depart des gardes qui vous prive de votre logement à Kamenni-Ostrow; et voilà Bonaparte qui vous atteint aussi personnellement; il n'y a pas un individu en Europe que ce scélérat-là ne dérange de manière ou d'autre. Qu'on le pendre, qu'on le pendre, c'est le cri général! Mais vous verrez qu'on ne le pendra pas. Cependant ne vous affligez point, vous trouverez à vous caser, et mad. Gouriew sera charmée de vous avoir pour le début d'Eudoxie, à moins que sa maison de campagne ne soit littéralement pas assez grande pour loger votre soeur et vous. On ne savait donc point ce départ des gardes quand la princesse Boris s'est mise en route, sans cela je vous aurais conseillé quatre mois de Sima: belle saison, grande économie, nombreuse société; puis en septembre retour au château et société de ville pour l'automne et l'hyver. Il est trop tard à présent, mais je le répète, vous trouverez votre affaire, et je la suppose arrangée à l'heure où j'écris. Madame de Litta, la p-sse Youssoupow ou mad. Gouriew, cela ne peut vous manquer. La seconde ne me rit pas, je me souviens du bois de chauffage de l'autre automne... Mais sa soeur Litta, si riche, doit être enchantée.

## XXXV.

Moscou, le 3 juin 1815.

Je m'intéresse beaucoup à la santé de m-r de Ribeaupierre, parce que vous me l'avez signalé comme votre ami et comme bien digne de l'être par son coeur et son esprit. Et puis il y a un peu d'Helvétie dans son affaire, je lui connais une tante (madame de Roveréa) parfaitement aimable, et quoique ces points de contacts ne tiennent qu'à des souvenirs bien éloignés, ce sont cependant des rapprochements.

Nous attendons avec la dernière impatience les nouvelles de la guerre et le commencement des hostilités. Je suis persuadé que tout ira fort bien, mais je désire encore que cela aille vite et que l'Empereur puisse enfin revenir dans ses états. C'est une chose si essentielle à mes yeux que la résidence d'un grand souverain dans sa capitale, que je ne puis me résigner à voir le nôtre prolonger son absence à l'infini. Cependant il est certain que sa présence aux armées est indispensable durant la guerre, et c'est ce qui me fait redoubler mes voeux pour une paix finale et solide qui nous ramène notre Souverain et lui permette de tourner ses soins paternels vers l'intérieur dont toutes les branches réclament plus ou moins *l'oeil du maître*.

## XXXVI.

St.-Pétersbourg, le 4 juin 1815.

J'ai dîné hier chez mon aimable lord Walpole avec l'ambassadeur de Perse qui d'abord m'a paru effrayant et auquel j'ai fini par trouver une fort bonne figure. Avant de se mettre à table, il est resté dans une autre chambre que celle où se tenaient les femmes; mais au sortir de table il est venu au salon avec nous; je crois que pendant le repas il s'était familiarisé avec nos figures. Il a fait un joli compliment à Lise Kourakine qui lui parlait des 500 femmes qu'avait son roi et qui en paraissait indignée. Notre courtois Persan répondit: „Si parmi ces dames il y en avait une qui vous ressemblât, je suis bien persuadé que les 499 autres seraient renvoyées“. Chateaubriand ne dirait pas mieux. Je n'aime pas son costume d'hier; il ne portait pas le doliman, il avait un habit d'une étoffe damassée couleur de rose, bien juste à la taille et serrant sur les bras; mais en revanche sa dragonne était magnifique, des plus grosses et belles perles du monde avec des pendeloques en émeraudes; cela est superbe et doit coûter bien cher. Mais il est coiffé d'un long bonnet pointu de laine d'agneau noir, ce qui sied fort mal. Le chevalier Ousley et sa femme dînaient aussi là; le Persan cause beaucoup avec Ousley qui à son tour ne tarit pas sur les louanges qu'il lui donne; il assure qu'il est rempli d'esprit et a prodigieusement d'instruction. Je lui en fais mon compliment, mais à moins que d'apprendre sa langue (qui est pourtant celle de mes ancêtres) on ne peut pas le mettre à l'épreuve. Si l'Empereur tarde à revenir, ce pauvre homme aura le tems de s'ennuyer joliment ici. Walpole nous a donné des nouvelles d'Italie; il est positif que tout y est fini; le royaume de Naples a capitulé, et le roi Ferdinand de Sicile doit y rentrer incessamment. Quant à Murat, personne ne sait ce qu'il est devenu; il me paraît qu'il n'a rien de mieux à faire qu'à aller en France. Ce monsieur s'est un peu trop pressé, il aurait dû s'entendre mieux avec son cher beau-frère. Il est très-certain que les mouvements dans le Midy et dans la Vendée vont leur train; à Paris on voit continuellement des fédérations qui se rendent sous les fenêtres des Thuilleries; on pérore, on demande à voir Bonaparte; il est obligé à chaque fois de paraître, d'écouter, de répondre; le parti Jacobin relève la tête, et les forces de Napoléon en troupes réglées ne se montent qu'à 200 mille hommes. On s'attend au commencement des hostilités; notre garde se met en route. Le 15 du mois il ne restera personne ici.

## XXXVII.

Moscou, le 10 juin 1815.

L'Italie libre est un point capital sans doute, mais l'ouverture des hostilités sur le Rhin, voilà ce que je demande et dont j'attends le résultat avec impatience. Les premiers coups sont donnés sans doute, et nous ne pouvons tarder à connaître la tournure que la campagne prendra. J'espère que s'il arrive quelque courrier, vous m'en direz les détails et que vous ne croirez plus que *tout le monde* l'écrivant, je ne peux manquer de l'apprendre. *Tout le monde* est un être de raison créé dans ce cas-ci pour favoriser la paresse de *tout le monde*.

Vous ne me dites plus rien de la santé de m-r de Ribeaupierre, ce qui me fait supposer qu'elle est meilleure, et je vous en félicite. Je le fais bien plus encore au sujet du rétablissement de la p-sse Catherine. Ne pensez pas à la faire voyager si vous ne voulez la voir au retour retomber dans ses anciennes vapeurs; tâchez de la fixer à Pétersbourg où les distractions sont plus multipliées qu'ici, et qu'elle oublie l'Allemagne, puisqu'elle n'est pas Allemande. Si l'autre écerelé veut absolument se faire tuer, il faut bien le laisser faire; chacun a sa marotte, et quelque tendresse que sa femme ait pour lui, vous verrez qu'elle se consolera plus vite qu'on ne le pense. Je connais ces caractères là dont l'inquiétude et la jalousie fait le fond; il y a plus d'égoïsme, d'orgueil et d'amour-propre que de tendresse véritable. Que faites vous de m-r de S-t Priest? L'avez vous encore dans vos climats, ou est il reparti pour la Podolie? J'ai reçu de Kaménetz une seconde épître de ce garnement de Nicolas, plus folle que la première. Mon premier mouvement, reconnaissant le cachet et l'écriture, fut de la renvoyer sans l'ouvrir; mais j'eus la bêtise de penser pendant la nuit, qu'il ne pouvait reprendre la correspondance après deux mois que pour reconnaître ses torts, et ayant nourri cette idée dans mon coeur plutôt que dans mon esprit, je l'adoptai tellement que le lendemain matin j'ouvris la lettre, et je me persuadai que dans ces sortes de cas les premiers mouvements sont les meilleurs et qu'il y a des êtres de la conversion desquels il ne faut rien attendre. C'est un jeune homme perdu sans ressource. Je ne lui répondrai plus, il ne mérite que le silence du mépris le plus profond.

Je n'ai point encore de nouvelles du voyageur depuis qu'il a passé la frontière; il est sûrement à Vienne depuis huit jours au moins, et la correspondance avec lui va devenir bien longue et bien difficile. Je ne

conçois pas pourquoi les gens qu'on aime quittent un pays où l'on est bien! Il me semble que plus je vieillis, moins je suis cosmopolite; je voudrais rassembler mes amis et mes connaissances tout autour de moi. Une poule qui rassemble tout ses petits poussins sous ses ailes au beau soleil d'été, me semble l'image la plus vraie de la félicité; elle aime, elle est aimée, tout les objets de son affection la touchent de très-près; le cercle est petit, mais bien rempli.

### XXXVIII.

Kammenoi-Ostrow, le 10 juin 1815.

Nous sommes à la campagne depuis avant-hier et parfaitement établies dans la plus jolie maison de Kammenoi-Ostrow, mais qui pue la peinture à l'huile à renverser; on nous promet de chasser cette odeur incessamment avec je ne sais quel lavage de vinaigre. Nous avons trois fort jolies chambres, ma soeur et moi. Mes fenêtres donnent sur la Néva, nous sommes en ligne parallèle avec mad. Gouriéw et en face de la princesse Dolgorouky. Le rez-de-chaussée occupé par Tatiana est vraiment délicieux, mais il manque de fleurs que Potemkine nous promet, mais qu'il n'achètera peut-être point. Savez-vous qu'il me vient quelque fois en tête qu'il pourrait bien devenir un jour trop économe, pour ne pas dire avare; je découvre certaines dispositions fort allarmantes là-dessus; je me propose d'en parler une fois à mad. de Noiseville, nous verrons si elle est de mon avis. Oui, sans doute, la princesse Boris nous revient, et je suis persuadée qu'elle en est enchantée; car malgré son amour soi-disant pour Sima, je ne la crois pas susceptible d'assez de raison pour y rester quelques mois. Elle est trop oisive pour aimer le séjour de la campagne; elle est étrangère à tout ce qui porte le caractère de l'occupation; elle n'entend rien à l'agriculture ni à la botanique, ni aux fabriques qui sont établies dans ses villages; enfin elle n'a l'idée de quoi que ce soit; il lui faut nécessairement le séjour de la capitale, un salon bien éclairé, lord Walpole pour y faire l'original, m-r de Noailles et une douzaine d'habités. Avec cela je vous promets qu'elle oublie entièrement l'existence de Sima comme de ses autres terres et de ses treize mille paysans, ainsi que le tendre intérêt qu'elle prétend leur porter. Au reste, ce peu de goût pour la vie champêtre ne fait de mal à personne, et si la bourse de cette excellente princesse n'en souffrait pas horriblement, je la tiendrais ici en véritable capture. Elle a une maison fort agréable et où

je suis comme chez moi; mais la certitude que j'ai, que le train qu'elle mène à Pétersbourg la ruine, fait que souvent je la désirerais autre part. Je viens de lui écrire pour l'engager à nous arriver à la légère, rien qu'avec Sophie; mais Dieu sait si mon avis y fera quelque chose; je ne serais pas étonnée de la voir arriver avec six ou sept voitures de suite.

## XXXIX.

Moscou, le 21 juin 1815.

Pas la moindre nouvelle politique! Nous vivons sur une lettre de mad. Balachow, qui mande que Blucher a battu les Français, mais cela ne se confirme par rien. Je vais au club Anglais avant de fermer ma lettre, pour savoir si l'on n'a reçu aucune nouvelle par cette poste-ci, car votre lettre est de l'avant-dernière poste, quoiqu'arrivée aujourd'hui. Il n'y avait pas une âme au club, et aucune gazette nouvelle, en sorte que je ne sais où nous en sommes. Le public est comme le parterre: il s'impatiente quand on lui fait trop attendre la levée du rideau. Pour moi je crois que les acteurs de cette grande tragédie savent bien ce qu'ils font et que nous devons attendre le résultat avec confiance, dans l'espoir que la petite erreur de 1814 montrera le chemin à suivre en 1815. Si on pouvait abandonner la mode des constitutions, j'espérerais bien plus encore; mais il y a une secte constitutionnelle qui seule a le secret du but où elle tend, et qui s'agite bien fort, je pense, pour masquer la faute qu'elle a fait faire il y a 15 mois, et pour chercher à faire donner encore dans le même piège sous des formes nouvelles. On était bien il y a 30 ans; pourquoi n'en reviendrait on pas à ce *bien-là*? Mais on n'y reviendra pas plus que la régence de Marie de Médicis n'en revint à Sully pour sauver les finances que ce grand homme avait fait fleurir. Elles périrent au milieu des intriguants qui tous semblaient travailler à les rétablir, et qui y employaient tous les moyens excepté le seul efficace. Sully survit 34 ans à Henri Quatre et vit tout crouler sous ses yeux sans jamais être consulté. Il pourrait bien en être de même ici.

## XL.

Kamennoi-Ostrow, le 17 juin 1815.

Vous êtes bien aimable de vous intéresser à Ribeaupierre; oui, surément c'est mon ami, et il serait le vôtre si vous le connaissiez. Puissé-je un jour être dans le cas de rapprocher deux âmes faites pour sympathiser sous bien des rapports. Il est de nouveau souffrant depuis quelques jours; il paraît que c'est une fièvre tierce; j'ai passé la journée d'hier chez lui, je n'en ai pas encore de nouvelles ce matin. J'ai vu chez lui quatre montagnards suisses du canton de Glaris qui sont venus en Russie depuis peu avec l'intention de faire du fromage; il en a arrêté deux pour sa terre de Smolensk, et j'ai conseillé aux deux autres de vous aller trouver à Moscou; le monsieur qui les recommande est fort connu de Fayod, et pourrait vous arranger cette affaire en un tour de main. Tenez-vous encore aux fromages? Les Suisses de Glaris en font d'excellent, à ce qu'ils disent. Le fromage me fait revenir en tête le prince de Neuchatel; comment trouvez-vous le genre de sa mort? Se jeter ainsi d'un quatrième étage! On en a la chair de poule, et pas un seul instant pour se reconnaître! J'avais cru que c'était une fable, mais toutes les gazettes l'affirment. Je pense que sous peu de tems nous aurons des nouvelles fort intéressantes.

## XLI.

Moscou, le 24 juin 1815.

Ah, mon Dieu, chère princesse, je comprends mieux que personne qu'on se rouille à Moscou, sans même faire la société de Nathalie Abramovna, de la cousine Chérémetev et de la bouffonne Smirnow. Tout tend à la rouille ici, je n'en excepte rien, et Théodore s'il y passait trois ans de suite, perdrait la routine de son esprit; il me semble que c'est tout dire. J'ai pensé à vous hier, dans une soirée passée chez le prince Dolgorouky surnommé *le balcon*; c'était la fête de sa femme, et il jouait la comédie avec ses enfans. Il serait aimable lui, s'il ne vivait pas ici depuis cent ans, et il a du talent pour le théâtre. Mais les figures de l'autre monde qui composaient sa société étaient une chose à voir, et j'aurais donné quelque chose de bon pour pouvoir les observer avec vous. Toutes les femmes étaient dans une chambre avant

le spectacle, et tous les hommes dans une autre. Les toilettes des dames étaient fort recherchées, et comme je ne connais pas le nom d'une seule d'entre elles, j'ose croire que leurs parures venaient de Casan, de Simbirsk ou tout au moins de Woronège; c'étaient des tuniques, des pardessus, des médocis, le tout si exagéré, si bouffant, si falbalassé, que moi qui ne m'y intéresse guères j'en étais honteux pour elles, et je songeais qu'elles auraient grand besoin de votre longue m-lle de Modène pour leur apprendre à s'habiller, et cela me ramenait à cette jolie toilette que je vis un certain Dimanche soir composée d'une robe faite avec un mouchoir blanc. Ah que vous étiez bien dans ce simple chal avec vos cheveux si joliment arrangés! Quand j'y pense et que je me rappelle votre langage, votre air et vos manières simples et élégantes, je ne puis me persuader que vous soyez du même pays que les dames de la soirée d'hier. On jouait *Une heure de mariage*, assez jolie pièce quand elle est bien rendue; ensuite venait la Comette, pièce russe traduite de l'allemand; je vous avoue qu'après le français je me suis glissée hors de la salle et que je suis parti pour aller souper chez Virginie et la consoler d'avoir manqué cette fête où sa santé ne lui permettait point d'assister. Elle prend le lait de jument qui lui fait quelque bien, et j'espère qu'elle pourra se remettre.

Ah mon Dieu, quelle surprise de trouver le nom de *Fayod* dans votre lettre; d'où diable connaissez vous ce Fayod? A peine osé-je avouer que je le connais, moi qui suis son compatriote. Je le connois cependant et si bien que je n'ai pas attendu votre lettre pour le prier de me faire venir les deux Suisses dont il m'avait parlé avant vous, et que je les attends. Mad. de Broglio en prend un et Korsakow prend l'autre. Pour moi, tout Suisse que je suis, j'ai un Livonien pour fermier et comme j'en suis content je ne le changerai point; il me donne deux mille roubles de mes fromages et il les fait et vend à son compte; cela ne diminue rien aux autres revenus du village. Je souhaite que mon homme y trouve son profit comme j'y trouve mon avantage, puisque l'achat du troupeau et les fraix de bâtimens de la ferme ne m'ont coûté que six mille roubles. Ce troupeau engraisse mon terrain, me donne par là de belles avoines, de belles pommes de terre et me donnera de l'orge l'année prochaine. Je suis devenu cultivateur sans avoir jamais vu ce village, cependant j'attends le premier jour chaud pour y aller faire un tour. Mais nous gelons à la lettre le jour de St.-Jean; il est vrai que les bains que je prends et qui me font du bien me rendent si frilleux que je ne peux pas sortir le soir sans une chinelle ouatée.

Nous avons pour toute nouvelle ici les détails de la farce du champ de May, où ce comédien de Napoléon en tunique romaine



pourpre, et ses comédiens de frères *ont fait leur embarras*, comme dit le peuple de Paris. Vous verrez que ces brigands là ne vont s'occuper qu'à piller la France avant d'en être expulsés; vous verrez que tous les trésors et les monuments des arts que les souverains victorieux ont dédaigné de reprendre, passeront en Amérique. Ils ne perdront pas leur tems pour faire leur bourse, soyez en certaine; et ces braves Américains qui aiment l'or par dessus la liberté même, accueilleront ces Crésus détrônés avec tout l'empressement et tous les égards qu'ils sont accoutumés d'accorder aux richesses. Mais les Bonaparte crèveront d'ennui à Philadelphie, et pourtant c'est là qu'ils passeront si on ne les massacre pas; car pour se laisser prendre une seconde fois il n'y a pas d'apparence.

J'ai reçu de marquis de La Maisonfort, malade à Londres, une lettre fort intéressante; il a passé aux Thuilleries les 15 derniers jours du règne de Louis 18 et il a vu tomber pièce à pièce, comme il dit, cette superbe monarchie. „Jamais on n'a filé la trahison d'une pareille „manière, le parjure est arrivé à sa perfection, et jusqu'au dernier moment, ces monstres nous ont couverts de leurs larmes; c'est leur pacte „en poche avec le tyran, qu'ils baisaient les mains du roi, pressaient „les nôtres, tiraient leurs sabres et juraient plus haut que nous“. Plus loin il dit: „L'Europe n'est point corrigée; je ne vois pas ceci en beau; „on gagnera des batailles et l'on ne fera que des sottises; nous sommes „placés entre la victoire et les idées libérales qui nous ont perdu. Le „roi pourra retourner à Paris, mais je doute qu'il puisse régner sur le „peuple le plus avili de la terre; il lui faudrait cent mille Russes au „tour de lui et le bâton de Pierre-le-Grand; ce vil peuple méprise „tout ce qui ne le fait pas trembler; jugez quel effet produit la clémence d'un petit fils d'Henry Quatre. Tout est rayonnant d'espérance „à Londres, comme à Vienne et Berlin; la victoire est à l'ordre du „jour, mais je n'entrevois au de là ni la paix ni la tranquillité“.

## XLII.

Kamennoi-Ostrow, le 21 juin 1815.

La santé de ma soeur supporte fort bien cette humidité et ce froid. Elle est gaye et allante; aujourd'hui même elle se propose d'aller dîner chez notre voisine la princesse Soltikow. Je suis loin de m'y opposer pour ne pas lui faire naître des appréhensions sur sa personne; tout au contraire, je l'encourage à sortir pour lui prouver que je la crois parfaitement guérie; au fait je commence à le croire sérieuse-

ment, et je me flatte qu'elle pourra revoir et l'automne et l'hiver sans courir en Allemagne dont elle ne parle presque plus depuis qu'elle se porte bien. En vérité je ne sais comment en remercier Dieu. Vous avez bien raison de dire que la Providence veille spécialement sur moi, je le sens parfaitement, et tout mon être en est pénétré. Si vous pouviez être instruit des moindres particularités de ma vie, vous le pourriez dire avec encore plus de justice. Si jamais j'acquiers la possibilité de parler de *moi* comme d'un autre, si en faisant le récit de plusieurs circonstances qui me touchent de très-près, je puis y apporter le sang-froid qui me manque encore, je vous ferai toucher du doigt cette vérité que la Providence s'est occupée de moi particulièrement.

Madame Tolstoï prétendait s'ennuyer ici et avait la plus grande impatience de partir. J'admire son courage de se condamner à l'ennuyeuse société qu'elle voit à Moscou et je ne m'en sens pas capable, non par un raffinement d'amour-propre, car je ne me crois ni meilleure ni plus aimable que toutes ces dames, je trouve simplement que nous ne pourrions nous convenir et que nous nous fatiguerions mutuellement; leur babil intarissable me paraîtrait comméragage, et ma paresse à parler pourrait leur paraître froideur et dédain. Quand à mad. Tolstoï, pourvu qu'on lui *raconte*, elle n'en demande pas davantage.

J'ai suffisamment de correspondance et depuis quelque tems j'en ai une nouvelle en Courlande avec un certain baron Schoëpping, que j'ai beaucoup vu dans la société, que j'ai toujours rencontré avec plaisir, qui avait de l'amitié pour moi et de l'amour pour une femme de ma connaissance; cet amour un peu contrarié lui a fait prendre la résolution d'aller se mettre en possession de son majorat, de vivre dans son château et s'occuper de la régie de ses terres. En partant d'ici il m'a supplié de lui écrire, et je le lui ai promis dans un moment d'attendrissement dont je suis devenu un peu l'esclave.

### XLIII.

Kamennoi-Ostrow, le 24 juin 1815.

M-r Saveliew, le cousin de Gouriew, est parti cette nuit pour Moscou, et il porte la gazette qui nous est arrivée par courrier de Königsberg. Si vous avez été chez le comte Tolstoï, vous y aurez tout appris, et ma lettre est nulle; mais n'importe, je vous ai promis de vous tenir au courant des évènements, et il ne serait pas juste de passer sous silence les succès d'une première affaire. Bonaparte a été battu par le duc de Wellington et le maréchal Blucher; une lettre de celui-ci en donne avis au général Kalkreith à Berlin. Il dit que Napoléon avait

attaqué sur le chemin qui mène à Bruxelles, près d'un endroit qu'on appelle la Belle Alliance; son intention était de se mettre entre l'armée Anglaise et celle de Blucher, mais son plan a manqué: on se donnait déjà la main lorsque l'affaire s'engagea; l'attaque de Bonaparte fût vivement repoussée, son centre percé, son aile droite sous les ordres de Vandamme entièrement coupée et l'aile gauche fort maltraitée. Bonaparte fuit sur Avesne, et les Anglais sont à sa poursuite. Blucher ne dit que cela, réservant les détails pour un autre moment; mais il ajoute que l'avantage est signalé. Le courrier qui nous a apporté cette gazette, parle de 192 pièces d'artillerie, d'une quantité de bagages, de munitions et de vivres; il prétend avoir vu des lettres de Berlin qui donnent ces détails. Enfin nous saurons le tout sous peu de jours. Mon petit lord Walpole est tout radieux de ce que les Anglais ont si bien commencé. Tout le monde est fort réjoui de ces premières nouvelles qui sont d'un si bon augure. Le ministre de la guerre a envoyé cette gazette à l'Impératrice; actuellement il faut en attendre la confirmation par un courrier de l'Empereur.

Le mauvais tems que nous avons eu pendant trois jours a changé hier matin. La vue du soleil a pensé nous rendre folles de joye; dès que nous avons eu les yeux ouverts nous avons couru; dès sept heures du matin j'étais à l'église d'où j'ai pu revenir à pied, car il faisait déjà passablement sec. Ensuite j'ai engagé Tatiana à se promener en landau, nous avons été voir mad. de Litta qui demeure à la ferme Anglaise près du jardin Strogonow, ensuite madame Swetchine qui est venue passer quelques jours chez sa soeur Gagarine; puis nous sommes rentrées pour faire une toilette et retourner dîner chez la comtesse Litta. Le soir j'ai été à l'office qui a duré plus de deux heures; en rentrant j'ai trouvé au salon m-r de Noailles et Boris Kourakine prenant le thé autour de la table ronde; nous avons bavardé, et je suis venu me coucher de bonne heure, car j'étois fatiguée. Demain soir je vais en ville pour voir un moment Ribeaupierre et pour aller ensuite à confesse. Je coucherai au château pour communier Samedy à la chapelle de la cour, et je reviendrai ici dans la journée.

Ma soeur de son côté est charmée de Kamennoi-Ostrow, elle va et vient chez les voisins, tantôt chez mad. Gouriew tantôt chez Cathiche Soltikow; ce soir elle va chez la princesse Dolgorouky où l'on joue des proverbes, parmi les acteurs on a enrôlé m-r Bordeaux, ministre de Hollande, homme fort aimable et de bonne compagnie; il a promis de fournir à la troupe deux sujets de plus, ce qui fait que chaque Jeudy ou pourra jouer la comédie, et ce genre de plaisir va donner de l'occupation à plusieurs personnes du canton. Je ne puis vous cacher que

tout cela vient de chez la Dolgorouky avec l'intention d'attirer la riche héritière Chékawskoï qu'elle couche en joue depuis longtemps pour son fils Nicolas. Je serais bien aise qu'elle pût en venir à bout, car le fils est un excellent garçon, mais on assure qu'il déplaît à l'héritière, qu comme bien vous pensez, ne manque pas d'admirateurs.

#### XIIV.

Moscou, le 1-er juillet 1815.

Voilà donc les Prussiens et les Anglais qui ont remporté une victoire sans même le secours des Autrichiens et celui bien autrement important des Russes! Qu'est ce que cela ne promet pas pour la suite! Je vous conjure de continuer à me tenir au courant; pensez que cloué dans mon fauteuil et privé des gazettes du club Anglais, je demeure avec le Conservateur pour toute ressource, et le Conservateur arrivant par la poste lourde est tout juste 10 jours en route; jugez comme les nouvelles sont fraîches. Je suis charmé que Kamemnoi-Ostrow s'anime et devienne amusant par les spectacles, et je souhaite de tout mon coeur que celle qui met tout cela en train, parvienne à son but. Nicolas Dolgorouky aurait dans ce cas un triste beau-père; je l'ai fort connu jadis, au tems de son mariage et surtout pendant son veuvage.... Ah mon Dieu, qu'il était plein de bisarreries pour ne rien dire de plus! Moi je suis plein de douleurs, car ma goutte est fort en colère depuis 24 heures. Je ne ferme pas les yeux, et rien au monde n'est plus tuant que de ne pas dormir. Je ne me fâche pas, je ne m'impatiente pas, parce que je sais trop que cela ne servirait à rien; mais je sens vivement que la douleur physique est le plus terrible des maux. De plus j'ai la tête fatiguée d'insomnie et à peine je peux suivre une lecture sérieuse. J'ai pris Molière, c'est ce qui me convient le mieux; Sosie me fait rire aussi bien que les Femmes Savantes, mais le Misanthrope est trop fort pour moi, jugez où en est ma pauvre tête. Narichkine part aujourd'hui pour sa terre; il m'annonce le comte Tolstoï qui viendra me voir avant d'aller à Troïtzkoe, j'en serai fort aise. Alexis a pensé se noyer par niaiserie, il se baignait avec un petit Bachmétiew et m-r Pradel; ce dernier conjurait Alexis de ne pas s'aventurer ne sachant pas nager, mais Alexis n'en tenait compte et ricanait en allant en avant; il tombe dans un trou et disparaît; le petit Bachmétiew se jette à son secours et disparaît aussi; Pradel veut les sauver, et ces jeunes gens le prennent aux jambes et l'entraînent; heureusement qu'un domestique gros

et robuste se jette tout habillé à la nage et les retire tous trois; le petit Bachmetiew était déjà sans connaissance, et Alexis fort malade: il a rendu beaucoup d'eau.

Où se tient le roi pendant qu'on se bat si près de Gand? Le comte d'Artois, le duc de Berry ne sont donc à aucune armée! Cela me fait une peine horrible. Ces fils d'Henry 4, ont ils donc oublié les belles journées de Coutras, d'Arques, d'Ivry, d'Aumale et de Fontaine Française? S'ils ne se trouvent nulle part, je leur souhaite ma goutte, elle leur ira aussi bien qu'à moi. Les Français les aimeront s'ils se montrent sur les champs de bataille, et c'est l'occasion de faire provision de renommée et de gloire.

Vous voyez bien qu'elle est mon écriture; c'est que j'ai mal au pied, et tellement mal que je ne gouverne pas ma main à ma fantaisie.

Le comte Tolstoï sort d'ici, il est arrivé pour me confirmer la bonne nouvelle, et d'un autre côté le comte Panine vient de la campagne passer quelques jours en ville et se loge chez moi; pour cela je voudrais bien n'avoir pas la goutte, car je suis un pauvre homme pour causer en souffrant.

## XLV.

Kamennoi-Ostrow, le 1-er juillet 1815.

Tout est fini en France, Bonaparte a abdiqué de nouveau, et comme cette fois c'est un acte volontaire, il faut croire que nous touchons au dénouement de sa merveilleuse histoire. Après la terrible bataille du 18 on l'a vu revenir à Paris où il a de suite assemblé les pairs et pour la première fois de sa vie peut-être a jugé à propos de leur dire la vérité en confessant la perte qu'il venait de faire tant en hommes qu'en artillerie. Il a jetté la faute de tout cela sur les généraux de corps, prétendant qu'il en avait été fort mal secondé, que ces messieurs avaient entravés tous ses projets et qu'il n'avait même pas reconnu dans ses soldats les vainqueurs de Marengo et d'Austerlitz. Il ajouta qu'en conséquence de ces découvertes il abdiquait sa couronne et qu'il leur proposait à sa place le roi de Rome sous la régence de Marie-Louise, Eugène Beauharnois ou le duc d'Orléans. Rien n'a été accepté; on a demandé un gouvernement provisoire. Alors il a nommé Carnot, Fouché et Cambacérès; ce dernier a été rejeté unanimement; il a proposé Caulincourt dont on n'a pas voulu davantage, et la

séance fut levée. A la suite de cette abdication le général Morand se rendit au quartier-général de Gneisenau pour demander un armistice et l'instruire de ce qui venait de se passer. Le général prussien exigea la reddition de toutes les forteresses et qu'on lui livrât la personne de Bonaparte; il se hata d'informer Blucher, mais ajoutant qu'il n'était pas diplomate, il donna ordre à ses troupes de marcher en avant, si bien que lorsqu'il fit son rapport officiel, ses avant-postes étaient à six lieues de Paris. L'armée Française qui était sur le Rhin, retrograde pour ne plus se battre, en sorte qu'à l'heure qu'il est tout doit être terminé. Ces détails nous sont arrivés avant-hier soir par une gazette d'Hambourg en date du 30 qu'un paquet-boat Anglais a apporté à lord Walpole. Celui-ci sans regarder à un tems detestable, une pluie affreuse, est venu à minuit nous la communiquer à la campagne chez mad. Gouriew. Vous pouvez juger comment il a été accueilli et tout le *remue-ménage* que cela a occasionné dans le salon. Les agitations de madame Gouriew ont été au nec plus ultra; le boston fût jetté de côté, la société de la table ronde se trouva spontanément, la grande-patience que je faisais fut toute brouillée, le petit lord entouré, pressé, questionné de telle façon qu'avant de nous dire une parole il fut obligé de nous calmer les unes et les autres; enfin il nous apprit ce que je vous transmets. On me fit faire une demi-douzaine de feuilles volants, pour les voisins dont quelques uns étaient couchés et qu'on alla réveiller. Tout ce train nous divertit beaucoup. C'est au duc de Wellington que nous devons tout ceci, il ne faut pas se le dissimuler. Sa conduite a été celle d'un héros; il est, sans contredit, celui du siècle, et gloire lui en soit rendue. Hier un courrier arrivé de Berlin a apporté la confirmation de toutes ces nouvelles et celle de l'arrestation de Bonaparte qui s'est faite *de par le roi*, par les maréchaux Oudinot et Macdonald. Le fils d'Oudinot a été envoyé à Louis 18 pour lui demander pour son père et pour Macdonald la permission de le ramener à Paris; en attendant ils se sont mis à la tête du gouvernement. Cela explique la conduite de Macdonald qui était demeuré en France pour y travailler pour le roi, et le discours de ce dernier à qui on parlait du maréchal et qui répondit: *celui-là me servira mieux où il est que partout ailleurs*. Ne trouvé vous pas que la personne du duc d'Orléans est en quelque façon compromise par cette offre de Bonaparte de le mettre à sa place? Cela me fait de la peine, car c'est le seul prince français auquel je m'intéresse, les autres ne m'inspirent rien du tout: ils sont comme de la bouillie, ils n'ont pas la plus petite énergie et sont exactement comme m-r de Briand et

le chevalier de la Coudraye; ce sont, finalement, des princes pour aller en carrosse et point du tout pour être à la tête des armées. A leur place je serais morte de honte de voir que toute cette besogne soit faite par des étrangers. Le duc de Brunswick tué, le prince d'Orange blessé, le duc de Weymar, le prince de Nassau-Weilbourg, et tant d'autre ont exposé leur vie pour cette cause, tandis que eux, qui y sont obligés pour ainsi dire, se contentent de demeurer spectateurs. Non, mon cher ami, ce sont de vraies poupées pour lesquelles je n'aurais pas rompu une épingle. Le roi, vu sa corpulence, ne pouvait pas monter à cheval, mais les princes le pouvaient et le devaient. Que va devenir Bonaparte? C'est une question que je fais à tout le monde. Le jugera-t-on? le pendra-t-on? Le laissera-t-on vivre encore? C'est très curieux à savoir, comment en parlera l'histoire? Il est certain que cet homme a eu l'étoile du monde la plus extraordinaire. Un peu de patience, et nous verrons.

Je ne vous ai pas écrit Mardy dernier parce que l'avais à faire. Je suis restée en ville pour voir une dame Kamensky qui me doit de l'argent et qui ne me paye pas. C'est une visite qui me répugnait et que j'ai été obligée de faire; en revenant delà je suis allé chez Ribeaupierre et le soir je suis retournée à la campagne. Tout cela a fait que je n'ai pas eu un moment à vous donner. J'ai été fort aise de de me retrouver au chteau toute fine seule; la circonstance qui m'y avait amené était de nature à me faire désirer la solitude. Le suis donc restée chez moi Vendredy et toute la matinée de Samedi; puis le tems est devenu mauvais, et je ne désirais pas même la promenade; puis cette affaire d'argens, puis le désir de voir Ribeaupierre, tout cela m'a fait rester quatre jours. Je commence à désespérer de notre été qui ne veut pas du tout s'établir; il y a contiunellement de la pluye; aujourd'hui il fait une petite journée grise assez agréable. C'est Jeudy, par conséquent soirée de la princesse Dolgorouky; ma soeur a le projet d'y aller, moi je ne sais ce que je ferai; le proverbe de l'autre jour a, dit-on, fort bien réussi. Aujourd'huy il n'y aura pas spectacle, mais un thé chez le prince Nicolas avec là musique de cors de Dmitri Narichkine, voilà de quoi on s'amuse. Nous allons avoir le voisinage de l'ambassadeur de France qui vient occuper une campagne à côté de la nôtre. Le bail de sa maison en ville finit, et il me paraît qu'il ne sait pas trop où se loger. Je crois qu'il vise toujours à l'hotel qu'avoit occupé Caulincourt; mais il faudra voir si on le lui donnera. *Altri tempi!* En attendant nous l'aurons côte à côte et nous le verrons plus souvent que jamais. Entre nous, c'est bien peu de chose que ce Noailles; il ne vaut pas le petit doigt de mon très-petit lord Walpole qui,

je vous assure, est très-aimable. Je ne sais plus si les gardes continueront leur marche; il est possible qu'on les fasse retrograder, et alors Potemkine ne partirait plus, et la princesse Boris resterait à Sima, ce qui ferait à merveille pour l'arrangement de ses finances.

## XLVI.

Moscou le 8 juillet 1815.

J'espère et je souhaite vivement que l'Empereur aille à Paris avec 50 mille hommes au moins pour garder quelques places fortes, quelques provinces frontières, en un mot quelque gage de la future tranquillité de cette turbulente nation. Je serai ravi que Louis 18 remonte sur son trône, mais il a trop prouvé qu'un roi constitutionnel en France n'est que le jouet des partis qui se disputent le pouvoir. Pour régner sur les Français, il faut tenir dans sa main tous les fils qui font marcher la machine, et les tenir bien fortement. Je ne pense pas qu'on lui permette d'être autre chose cependant qu'un roi constitutionnel, et partant de là je conclus qu'il a besoin du secours des alliés contre les Jacobins, comme les alliés ont besoin de s'assurer pour leur propre tranquillité que ces mêmes Jacobins ne recommenceront plus des facéties qui coûtent 80 mille hommes dans une campagne de quelques jours: cela devient trop cher et trop inhumain. J'en étais là, et l'on m'a apporté votre lettre 27 du 1 juillet. Grand merci, mille fois, et cent mille fois, chère princesse; le voilà donc arrêté et pour le coup fini je suppose, et complètement fini, car j'aime à croire qu'on ne le laissera pas échapper. Je bénis Dieu d'une fin aussi prompte et aussi heureuse; il est très-possible que la nouvelle, arrivée hier par estafette, de sa trans alion à Magdebourg soit véritable, cela n'a rien de contradictoire avec ce que vous me mandez. Je suis tout-à-fait de votre avis sur les princes, il est honteux que cela se soit passé sans qu'ils y aient pris part. Ne croyez pas cette famille bien tranquillement assise sur le trône après ce dernier évènement. Quant au duc d'Orléans il a la tache originelle de la révolution depuis 25 ans; il a tant voté contre le roi Louis 16, il s'est tant battu sous Dumourier que je crois qu'on ne redevient jamais net après de tels éclats. Il lui restera toujours la marque du bonnet rouge qu'il a porté. Il a fait sa paix avec le roi. Mais quand? Quand il a été banni de France par ses complices, quand il ne savait plus où donner de la tête et quand il avait besoin de rentrer en grâce auprès du chef de sa maison pour avoir part aux



bien faites que l'Angleterre répandait sur sa famille. Sans doute Wellington est le héros du siècle, mais il faut aussi une petite place, à Blucher: il l'a bien méritée. Mon Dieu, qu'il est curieux de savoir ce qui va se faire! Gare les fautes; il y a longtemps qu'elles sont à l'ordre du jour. Il paraît que le siècle est plus fécond en hommes de guerre qu'en hommes d'états, et voici le moment où on en aurait cependant grand besoin. Si l'on pouvait renoncer à ces idées libérales et à la manie des constitutions, j'espérerais encore... mais je crains tout si l'on ne se hâte de sortir de ce cercle vicieux. Votre épitome de lord crierait au meurtre s'il lisait ce que j'écris là; mais il n'en est pas moins vrai que la constitution qui se maintient en Angleterre, tout en marchant au milieu de mille abus, ne vaut rien pour d'autres pays. La France a fort bien été pendant quatorze siècles avec son ancien gouvernement et il faudra qu'elle y revienne par la force des choses ou qu'elle se batte jusqu'à ce qu'on la partage pour lui apprendre à se gouverner. Au fond, c'est une si infâme et si abominable nation qu'il n'y a rien de bon à en espérer dans aucun genre. Je riais quand je voyais certaines gens craindre que cette guerre ne devint une guerre nationale comme en Espagne et en Russie: c'est un peuple sans énergie et abruti par l'égoïsme qui est devenu sa seule passion. Le comte Tolstoy au moment de partir pour Troitzkoe, reçoit une lettre de la main de l'Empereur qui renferme ces mots: *Je vous attends avec impatience au quartier-general*. Il part demain avec Alexis, et la comtesse va à Troitzkoe avec les enfans. Il m'a envoyé Sachou pour me conter tout cela et me prier d'aller le voir à l'instant. Par malheur cela est impossible; j'ai le pied trop malade, mais je lui écris que c'est bon signe quand la puissance appelle la vérité à son secours. Remarquez que cette lettre est postérieure à la bataille et qu'on aura besoin de lui pour le conseil bien plus que pour l'armée. J'en suis ravi... Le comte m'a interrompu, il m'a lu la lettre de l'Empereur; il veut bien que je vous mande ceci, mais il vous prie de ne pas dire que le rescript est très-gracieux, parce que cela ferait jaser les jaloux. Il part demain, mais il reviendra me voir ce soir encore, et je vous dirai par la prochaine poste ce que je pense de cet appel qui ne me semble pas fait sans intention.

## XLVII.

Kamennof-Ostrow, le 7 juillet 1815.

Depuis ma dernière lettre le bruit avait couru que Bonaparte avait été fusillé à Vincenne; plusieurs maisons de commerce avoient eu ces nouvelles de Berlin. Léon Narichkine arrivant de Leipzig prétendait y avoir entendu dire la même nouvelle, et il n'en a pas fallu davantage pour mettre toute la ville en émoi. En moins de six heures tout Pétersbourg en parlait; lord Walpole, qui est ma grande autorité, s'était empressé de venir la conter chez mad. Gouriew, moi d'en informer mad. Litta et le baron Strogonow; enfin tout le monde bien content et bien curieux attendait les détails de l'évènement, mais jusqu'ici rien n'est venu le confirmer. Au contraire, depuis huit jours nous n'avons ni courrier de l'Empereur, ni quoique ce soit qui puisse nous donner quelque lumière. Et comme nous ne manquons pas d'allarmistes, les mauvaises nouvelles sont venues tout de suite remplacer les bonnes. Les uns disent que Bonaparte a fui, les autres vont j'usqu'à débiter que Blucher a été battu comme il s'avancait sur Paris; enfin, comme il faut nécessairement parler, on le fait à tort et à travers. M-r de Noailles avait justement reçu des lettres de la frontière de France pendant qu'on parlait ici de la fusillade du Corse; il m'en a lu quelques fragments; on lui mandait que le maréchal Macdonald s'était mis à la tête du gouvernement en se proclamant lieutenant du roi; qu'en vertu des pouvoirs dont il se trouvait muni, il avait fait arrêter Napoléon et plusieurs membres des deux chambres entre lesquels on citait Carnot, Fouché, Caulincourt et Renaud de S.-Jean d'Angely; qu'il avait fait enfermer les uns à Vincennes, les autres à Bicêtre et qu'ils y étaient sévèrement gardés. Ces lettres de m-r de Noailles étant du 27 juin, nous avions calculé que celle de la fusillade pouvait être vraie, la marche des choses paraissant l'amener tout naturellement. Mais le silence qui a suivi me fait douter à présent de toutes ces mesures de sévérité. La Maisonfort a bien raison de dire qu'il sera difficile au roi de conduire de nouveau ce ramas de brigands; s'il était possible d'en purger la terre, cela serait bien heureux, mais je crois la chose infaisable à moins que le feu du ciel ne tombe sur ce pays-là comme autrefois sur Sodome et Gomorre. Je regarde la France comme perdue absolument pour tout ce qui s'appelle *bien*. La démoralisation y est trop générale. Je ne comprends pas comment Maisonfort avec l'esprit qu'il a (car ce n'est pas un Blacas) ait pu croire à une certaine stabilité des choses. Ce n'est point une monarchie qu'il a vu tom-

ber, c'est un parti qu'un autre parti plus puissant a renversé. Je suis tenté de croire que le bonheur de se trouver à Paris et d'être quelque chose les a tous frappé d'aveuglement, et votre ami n'en a pas plus vu que les autres. Je désire de tout mon coeur que le roi revienne, parce que l'ordre, dont je fais tant de cas, le requiert; mais pour lui personnellement et pour les membres de sa famille, j'en demande pardon à Dieu: je ne me sens pas le moindre intérêt.

Savez vous, cher Christin, que je suis comme mad. de Noiseville: je me meurs de peur des fureurs de Nicolas Galitzine. Je vous assure que je le crois capable de tout; je serais très-fachée d'apprendre qu'il allât à Moscou: il peut vous y faire une scène épouvantable, et cela ne serait nullement plaisant. C'est un enragé qu'il faudrait enfermer aux petites maisons ou dans un cloître comme le jeune Rozoumowsky; sa pauvre mère me fait pitié, elle est si fort prévenue pour lui que tout ce qu'on pourrait lui dire ne la dissuaderait point; elle le croit un petit saint, et moi je crois que c'en est un de la trempe de Jaques Clément, ou fort en passe de le devenir. Eudoxie m'a donné des nouvelles de l'arrivée de ses parents, et je vois d'ici mad. Tolstoï avec toute son ennuyeuse société; s'il est possible de répondre pour ce qu'on fera ou ne fera pas, je vous garantie qu'on ne m'y reverra pas de sitôt; le souvenir de mon dernier séjour à Moscou me fait venir la chair de poule. Pourquoi faut-il que vous y soyez *si fort établi*? Pourquoi Virginie, votre terre, vos fromages ne sont ils pas à Pétersbourg ou dans ses environs? Ah, comme cela m'arrangerait! Mais sûrement je connais Fayod, et je le connais par vous; ne m'en avez vous donc pas parlé lors de sa détention à Macarie? Sauf cela je n'en ai aucune idée; je l'ai entendu nommer dernièrement par cet ami qui procure les faiseurs de fromage; je ne savais pas que vous aviez le Livonien, et voilà pourquoi j'avais pensé à vous donner ces habitants de Glaris. M-r de Ribeaupierre a expédié les deux siens à sa terre de Smolensk, ils y feront à merveille. A propos du Livonien, cela me rappelle vos questions sur mon correspondant de Courlande; je crois vous l'avoir nommé, c'est le baron Schoepping, un jeune homme de 32 ans que je connais depuis longtems, que je voyais beaucoup chez Ribeaupierre et dans la maison Gouriew où il était un des habitués; je vous ai dit ce qui lui a fait quitter Pétersbourg: c'est un amour contrarié. On ne saurait nier que cela ne soit intéressant, aussi vous ai-je avoué que j'avais eu beaucoup de peine à le voir partir, et tout en m'attendrissant je lui ai promis de lui écrire, mais de tems à autre et nullement de manière à faire tort à la poste de Moscou. Si vous connaissiez m-r de Schoepping, vous l'aimeriez, j'en suis certaine; car il a de l'esprit, il est aimable et tout-à-fait bon enfant. Je con-

nais depuis longtems ce prince Dolgorouky surnommé „le balcon“ à cause de son énorme lèvre; quelle rage a-t-il donc de faire ainsi le comédien depuis 40 ans! Il a eu tant de malheurs dans sa vie qu'à sa place je me tiendrais bien tranquillement dans mon coin et ne me soucierais pas d'amuser toutes ces tuniquees et ces pardessus qui remplissaient son salon. Je vois qu'il est un de ces hommes qui ne vieillissent que par la figure.

## XLVIII.

Moscou, le 15 juillet 1815.

Vous savez à présent le départ du comte Tolstoï, mandé expressément par un rescript du 16 (28) juin de Spire, par conséquent 10 jours après la grande victoire. J'infère de-là qu'on ne le demande point pour guerroyer, mais j'imagine qu'on laissera un corps russe en France pendant quelques années, et que tout à la fois il sera ambassadeur et général de cette armée, ce qui serait fort gracieux et agréable pour lui. Il est venu me voir souvent et encore au moment de son départ, et je lui en sais bien bon gré. Sa femme est venue aussi Dimanche matin me dire adieu en partant pour Troïtzkoe; je regarde cela comme un acte fort extraordinaire, car elle aurait très-bien pu rencontrer Virginie, et j'en eusse été passablement embarrassé. Toutefois je lui tiens compte de cette honnêteté que je dois à ma goutte. Cette lettre va par une occasion lente, et le porteur m-r Lentzi est un homme que je vous recommande particulièrement. On peut l'obliger en sûreté de conscience, car il est lui-même le plus obligeant et le plus serviable des hommes, il a fait ses preuves. Son sort est singulier, il a été attaché à la personne de l'Empereur quand il était grand-duc; l'Empereur et les Impératrices le protègent hautement; c'est à la recommandation expresse de l'Empereur que le comte Roumanzow le fit directeur des douanes il y a 14 ans; pendant qu'il a rempli cette place il s'est fait aimer et estimer généralement; la princesse Boris et toute sa famille a passé huit jours chez lui à Volotchiska où sa maison était vraiment le temple de l'hospitalité. Le comte Markow a eu infiniment à s'en louer en toute occasion, et moi personnellement encore plus. Quand m-r Gouriew arriva au ministère, tout ce que son prédécesseur avait fait fut changé, et il plaça son monde à lui, comme de coutume. Lentzi se trouva à la rue avec sa nombreuse famille, et ce qui lui fait honneur, il s'y trouva pauvre. Il fut à Pétersbourg et en l'absence de l'Empereur il réclama la pro-

tection de l'Impératrice-mère. Elle fit demander au ministre pourquoi il avait déplacé Lentzi, et celui-ci pour se tirer d'affaire avança assez inconsidérément qu'il se trouvait impliqué dans de mauvaises affaires des douanes, et la chose en demeura-là. Lentzi qui a de l'esprit et du tact, comprit que s'il criait à l'injustice il deviendrait le pot de terre luttant contre le pot de fer. Il s'applique au lieu de cela à rassembler les preuves les plus irrécusables de la parfaite honnêteté de sa gestion, et muni de ces preuves il retourne à Pétersbourg l'année passée et demande une audience au ministre pour le convaincre de son innocence. M-r Gouriew était déjà bien éclairé, mais la parole lâchée à l'Impératrice le gênait, il ne savait comment se tirer de-là et pour éviter certain embarras il refusa obstinement de recevoir Lentzi. Le comte Markow y perdit son latin et avoue à Lentzi que le tort du ministre lui nuisait plus que tous les torts que lui Lentzi aurait pu avoir. Markow obtint cependant par manière de dédommagement que le ministre lui donnerait une place de vice-gouverneur, et en effet tout en refusant de l'admettre à une audience, il le présente pour être vice-gouverneur de Tarnopol; vous savez que c'est un district de Galicie que l'Autriche céda à la Russie à la paix de 1809, mais peut-être ne savez vous pas que l'Empereur vient de le rendre à l'Autriche il y a un mois, et que de cette affaire mon Lentzi est de nouveau sur le pavé, avant même d'avoir été placé. Il est venu passer un mois à Moscou pour réclamer quelque argent qui lui est dû, et je l'ai logé chez moi; il m'a supplié de lui donner une recommandation pour vous, bonne et aimable princesse, et je l'ai fait à condition qu'il ne serait jamais indiscret' (ce dont le tact qu'il a me répond). D'abord il ira à Kamemnoï-Ostrow vous porter ma lettre et ce sera une simple présentation, et puis quand vous serez au château il vous demandera la permission de vous conter ses affaires et de vous consulter sur certaines probabilités; car tout en cherchant à obtenir une audience de Gouriew, il sent pourtant qu'il pourrait y avoir tel état de cause où il vaudrait mieux attendre. C'est un homme sûr et prudent, mais je dis d'une prudence consommée; on peut donc le voir; de plus il est Italien et vous parlerez toscan comme à Sienne.

La princesse Boris a passé ici sans mot dire à personne; j'en suis fort aise, car mad. de Noiseville m'avait prévenue qu'elle ne voudrait pas m'écouter. Son cher fils ne paraît point, et nous verrons ce qu'il voudra faire; à vous dire vrai, je crois qu'il ne se montrera pas à moi, et c'est ce qu'il pourra faire de mieux. Toute esclandre retomberait sur lui bien sûrement, et il aura peut-être assez de bon sens pour le sentir. Au reste soyez bien tranquille, il ne se passera rien de fâcheux

dans aucun cas, et je saurai le mettre à la raison sans dégâter. Quand on avertit sa chère maman d'un projet de ce genre, c'est qu'on n'a pas grande envie de le mettre à exécution.

### XLIX.

Kamennoi-Ostrow le 12 juillet 1815.

Les gazettes étrangères arrivées hier disent que capitulation de Paris a été signée par Davoust, que pendant qu'on traitait, le pavillon tricolore flottait sur les Tuilleries. Pas plus question du roi que de vous; il est vrai qu'on ne dit rien non plus de Bonaparte qui d'après les précédentes gazettes était à la Malmaison. Tout cela est assez singulier et obscur. M-r de Noailles n'en sait pas plus que la gazette, mais je l'ai vu très-content de la capitulation de Paris où il avait grand peur qu'on n'entrât à main armée. Sa femme et ses enfans étant là, ses craintes étaient fort naturelles. Hier tout s'est débrouillé il y a eu un courrier de l'Empereur du 23 juin vieux style; de quartier-général russe était à Nancy; la capitulation de Paris a été signée par Davoust, parce qu'étant resté ministre de la guerre, il se trouvait à la tête de la force armée. Cette capitulation est purement militaire, et il n'est encore question d'aucun changement pour l'intérieur. On ne parle point encore de Napoléon, et on ne sait où il se trouve. Le roi a renvoyé m-r de Blacas qui est arrivé à Londres; on dit aussi que Talleyrand s'est demis volontairement de ses emplois, cette dernière nouvelle est aussi dans la gazette. Je vous la dis, afin que tout en restant dans votre fauteuil vous ayez matière à réfléchir sur cet événement. Vous êtes bien bon de faire de la morale aux descendants d'Henry 4; il me semble que les journées d'Ivry et de Coutras existent plus dans votre mémoire et dans la mienne que dans la leur; ils les croient sans doute du règne de Pharamond. Le roi dans une proclamation qui vient de paraître veut les excuser de leur inertie en la motivant, mais il réussira difficilement à les racommoder avec l'opinion publique. Voyez quel héros que ce jeune prince d'Orange! Si j'étois la princesse de Galles j'irais lui faire une révérence pour qu'il eût à m'épouser, sauf à passer six mois de l'année en Hollande. Le spectacle de la princesse Dolgorouky a été très-joli; sa fille joue à merveille, elle est belle, gracieuse, charmante, une diction admirable, le seul défaut qu'on peut lui reprocher c'est de tomber un peu dans la drame. Si vous connaissez l'amant, auteur et valet, vous trouverez que Lucinde

tout en aimant l'Orange, osa à peine s'avouer un sentiment aussi singulier; elle le distingue beaucoup, mais ce n'est toujours à ses yeux qu'un domestique... Il me semble que ce rôle demande plus de dignité que de tendresse et la princesse Soltikow en montre peut-être qu'il n'en faudrait. Au reste l'ensemble était fort bon; Nicolas Dolgorouky très-bien dans l'amoureux, encore mieux dans le proverbe; sa belle soeur la jeune princesse Dolgorouky, soeur de Gagarine, a toute la tournure piquante d'une Lisette, et m-r Bordeaux qui fait Mondor dans la comédie et le père dans le proverbe, est un acteur consommé. On voit qu'il a souvent joué, car il a sur le théâtre une aisance parfaite. Le théâtre n'avait pas de coulisses; c'étaient des paravents arrangés avec beaucoup de fleurs; des lampions derrière ces fleurs et sur le devant de la scène donnaient un jour délicieux. Nous étions une soixantaine de personnes dans une chambre assez petite où l'on a un un peu chaud, mais tout le monde était fort bien placé. Le spectacle fini, on a dansé et je suis partie avant le souper pour ne pas veiller. Mad. de Nesselrode écrit de Vienne qu'elle y a vu m-r de Markow en fort bonne santé, très-gai et très-aimable; en parlant de son humeur elle souligne ces mots: *j'en suis parfaitement contente, il n'est ni aigre ni morose, bien, très bien*. Tant mieux, j'eusse été fâchée qu'il fût autrement. Je croie qu'il ira passer l'hyver en Italie. Où passerez-vous le vôtre et moi le mien? Où il plaira à Dieu, mon cher Christin, et c'est aussi alors qu'il Lui plaira que nous nous verrons.

Le 13 juillet.

Voici un petit supplément qui vous donnera des nouvelles positives arrivées à m-r de Bloome. On s'est battu avant la reddition de Paris, et même fortement, le 1 et le 2; il y a eu des affaires sanglantes à Versailles, à St.-Cloud, à la Malmaison, ces deux derniers lieux ont beaucoup souffert. Les hauteurs de Moutmartre et de Belleville étaient occupées par Grouchy, mais par une habile manoeuvre de Ziethen ces positions ont été tournées, et c'est pour lors qu'on a parlé de capitulation. Davoust qui commandait toute la force armée a envoyé trois députés. Le 3, la convention a été dressée, et le 4 signée par Davoust. Les troupes françaises se retirent derrière la Loire, mais avec les honneurs de la guerre et emmenant tout le matériel de l'armée. L'armistice ne regarde que cette armée; celle qui est au Midy de la France n'y est point comprise, et de ce côté les hostilités iront leur train, quoiqu'on soit à Paris. Bonaparte a eu l'idée un moment de se faire nom-

mer lieutenant-général de l'armée de Grouchy qui avait eu quelques petits avantages, mais sa proposition a été rejetée. On dit qu'il est parti de la Malmaison avec douze voitures bien chargées et qu'il a pris la route de Chartres. Savary, Bertrand et Labédoyère sont ses compagnons de voyage. Pendant qu'on se battait le 1 et le 2 juillet, le roi était à Senlis. Il a dû rentrer à Paris le 8. Les souverains alliés y sont attendus aussi, on assure qu'ils ne veulent pas s'immiscer dans les affaires du gouvernement, et qu'ils abandonnent tout à la volonté de Louis 18. Nous verrons ce qu'il va faire! Le renvoi de Talleyrand est faux, celui de Blacas est confirmé. Madame d'Angoulême va de nouveau à Bordeaux. Les princes suivent le roi. Quand je vous disais que ce sont des princes pour aller en carrosse n'avais-je pas raison! Fouché s'est déclaré royaliste et s'est mis à la tête du parti. La gendarmerie municipale et la garde nationale sont les seules troupes qui restent à Paris, sous les ordres d'Oudinot. Tout ce qu'on avait dit de Macdonald est faux; une des chambres l'avait proposé pour généralissime, cela n'a pas été accepté. Voici maintenant ce que je vous garde pour la clôture. On a vu sortir du Havre une frégate américaine à laquelle deux frégates Anglaises ont donné la chasse, mais on n'a pu l'attendre; un brouillard l'a dérobée à tous les yeux. Que portait cette frégate? Je n'en sais rien. Qu'en pensez vous?

## I.

Moscou, le 19 juillet 1815.

Votre lettre 29, chère princesse, est du plus grand intérêt. On s'est battu avant l'entrée à Paris; les Français se défendent et ce n'est plus pour Bonapart en fuite apres une abdication volontaire; c'est donc pour être les maîtres chez eux et se gouverner à leur fantaisie. Cela est bien dangereux pour les conséquences, et je me meurs de peur que cela ne paraisse *admirable* aux yeux de certains gens qui verront dans cette conduite *du nouveau* d'abord et ensuite quelque chose d'énergique qui les séduit toujours. Cette conduite pourroit bien intéresser en faveur des rebelles et détacher les coeurs de la cause du roi. Cependant le roi, fut-il mille fois plus faible et mille fois moins capable, c'est toujours à lui que les alliés devront en revenir, s'ils veulent en finir avec la guerre de révolution, une bonne fois pour toutes.

Je me flatte que maître de Paris, on songera à lever de bonnes contributions et à faire payer les pots cassés à cette abominable Babi-



lonne. Chaque courrier va devenir de plus en plus intéressant, et je me recommande à vous de toute la force de mon âme. On ne savait rien ici de ces combats de Versailles, S-t Cloud et Malmaison; on parlait vaguement de l'entrée à Paris, mais ce n'était point officiel. Sans vous je ne saurais rien du tout. J'ai cependant commencé à sortir hier, mais ce n'est que pour aller chez Virginie qui est malade, et pour tâcher qu'elle ignore la mort d'une femme de chambre étique, expirée hier après un mieux trompeur qui avait rendu de l'espoir. Virginie, frappée de l'idée qu'elle est poitrinaire elle-même, avait de cette fille, d'ailleurs excellent sujet, tous les soins imaginables et semblait lier son sort au sien. Sa mort sera un vif chagrin et sera prise comme un fâcheux pronostique. Je veux au moins qu'elle ne l'apprenne que quand le corps sera hors de la maison, et je vais y retourner pour cet effet. Mon Dieu, mon Dieu, qu'elle terrible maladie que la peur de la mort, et que cela demande de soins répétés et inutiles!

## LI.

Kamennoi-Ostrow, le 19 juillet 1815.

Si je ne vous ai point écrit la poste passée, c'est qu'il n'y avait rien de nouveau à vous apprendre, sinon que Whitebread s'est coupé la gorge et que lord Castlereagh a pensé se noyer. Aujourd'hui je vous dirai que m-r de Noailles a reçu un courrier avec la nouvelle de la rentrée du roi à Paris; ce retour a eu lieu le 8, ainsi que je vous l'avais annoncé; cet homme dit que tout était fort tranquille à son départ. Le roi est revenu avec m-r de Talleyrand; Fouché a été nommé ministre de la police; voilà tout ce que nous savons jusqu'ici. A présent je vous supplie de m'expliquer tout cela, car je n'y entends rien. Cette nomination de Fouché, la protection que lui accorde le roi, l'ordre intime, *dît-on*, aux princes de ne pas siéger au conseil, sont des choses si extraordinaires à mes yeux, que c'est à vous à m'en donner l'explication. Vous avez bien tort de croire que les diplomates avec lesquels je me trouve assez souvent, soient fort instruits de tout ce qui va se faire; je vous certifie qu'ils n'en savent pas plus long que vous et moi, et m-r de Noailles, que la chose intéresse particulièrement, n'est pas plus instruit que les autres. Au reste, vous conviendrez qu'à moins d'être sur les lieux il est difficile de prévoir l'avenir; tout ce qui s'est passé à Paris depuis le mois de mars est un véritable rêve. Comment fixera-t-on les idées des Français? Comment faire marcher de front la mo-

narchie, les idées libérales et le jacobinisme? On ne peut nier qu'il n'y ait un amalgame de tout cela, non - seulement en France, mais encore dans toute l'Europe. Le moyen d'accorder ces différentes opinions? Je suis bien éloignée de croire Louis 18 rétabli sur son trône; ce trône me semble être devenu un fauteuil que chacun peut occuper à tour de rôle. D'ailleurs tant que Bonaparte sera vivant, peut-il y avoir quelque chose d'assuré? Le ne sais si l'ambassadeur a connaissance du lieu où se trouve ce misérable et des moyens dont on s'est servi pour le faire évader ou cacher; mais le fait est que le public d'ici n'en sait pas un mot, et sauf ce bâtiment américain qui s'est sauvé du Havre rien n'a donné d'indice sur la personne de Napoléon. Le Conservateur a publié dernièrement une lettre du duc d'Orléans que j'ai trouvée fort bonne et qui était fort nécessaire pour la justification de ce prince. Vous l'avez lue sans doute, et je me dispense de vous en donner le contenu. Savez-vous que c'est pourtant le seul des princes français que je puisse aimer; du moins l'a-t-on vu se battre celui-là. Et puis les Veillées du Château me l'ont fait aimer dès mon enfance, en sorte que je le regarde comme une ancienne connaissance.

Je savais le départ de ce-tte Tolstoï par sa fille; je pense vous avoir dit qu'il a écrit d'ici à l'Empereur pour lui demander ses ordres; c'est donc la réponse à cette lettre qui lui est arrivée, et je suis bien aise qu'elle soit telle qu'il pouvait la désirer. Je ne sais pas ce qu'on se propose de faire de sa personne, mais je ne doute nullement qu'il ne donne de sages et bons conseils. Dieu veuille seulement qu'il puisse être écouté! Si par hasard les choses s'arrangeaient de manière à ce qu'il fût ambassadeur de nouveau, il serait joli à vous de le suivre. Qu'en pensez vous? Seriez-vous capable du grand effort de quitter Moscou; j'espère qu'oui, que vous iriez à Paris, que vous m'en donneriez des nouvelles et que vous m'enverriez du papier Joseph et des sachets à l'Iris de Florence. Eh bien donc, bon voyage, partez monsieur! Plaisanterie à part, la chose pourrait-elle avoir lieu si les choses étoient consolidées d'une manière stable? Je suis sûre que cette pauvre Eudoxie s'est fort trompée dans ses idées; elle aura cru en se mariant devenir libre comme l'air et maîtresse absolue de ses faits et gestes; au lieu de cela elle se trouva beaucoup plus dépendante qu'elle n'était, par la bonne raison que sa belle-mère ayant découvert sa légèreté veut la tenir très-serrée; légèreté qui dans l'esprit de mad. Gouriew ne porte que sur une grande envie de sortir, de se parer et de faire l'élégante: toute autre idée ne lui entre pas dans la tête, parce qu'elle croit, *ce que je crois aussi*, qu'Eudoxie aime beaucoup son mari. Au reste, nous verrons ce que tout cela deviendra. Quant à m-lle Sophie, elle s'est mise en tête

un amour pour Wladimir Apraxine et dans toutes ses lettres à sa soeur elle l'entretient des progrès de ce sentiment. Ce qu'il y a de fort bon, c'est que mad. Tolstoï en est également instruite; je ne sais si elle a en vue ce mariage pour sa fille, mais le fait est qu'elle connaît les dispositions de Sophie, et la laisse faire. Il faut convenir que c'est une éducation aussi mauvaise que possible et que l'indolence de la mère passe toute idée. C'est Eudoxie qui m'a appris tout ce qui regarde sa soeur, et sans que je me suis donné la peine de la questionner.

J'ai dîné hier en ville chez le grand Wassiltchikow et pris du thé chez Lise Kourakine. Aujourd'hui je retourne à Pétersbourg pour voir Ribeaupierre, qui part ce soir; je dînerai chez la princesse Youssoupow et je prendrai du thé chez la princesse Troubetzkoï, femme de l'aide-de-camp général, jeune personne charmante avec laquelle mad. de Ribeaupierre et moi sommes fort liées.

## LII.

Kammenoï-Ostrow, le 23 juillet 1815.

Je ne sais si nous touchons au dénouement du drame, mais il s'est passé bien des évènements depuis ma dernière lettre partie il y a trois jours. Le prince Troubetzkoï, aide-de-camp général, est arrivé précisément pendant le thé que nous donnait sa femme. Il venait de Paris avec la nouvelle que l'Empereur y était entré le 28 juin (10 juillet). Enchantés de le revoir, vous sentez que nous lui avons fait subir un véritable interrogatoire; il nous apprit que Bonaparte était à l'isle de Rhé où il avait passé sur un bâtiment américain et qu'il voulait s'y défendre contre la flotte anglaise croisant sur la côte. M-r de Noailles avait l'air de douter beaucoup que la chose fût ainsi, quoique plusieurs gazettes de Paris apportées par Troubetzkoï affirmassent la nouvelle. Ces gazettes assurent que Paris jouit d'une tranquillité parfaite depuis le retour du roi; elles parlent aussi de Carnot qui aux portes de Paris offrait le trône tantôt à l'un et tantôt à l'autre. Depuis Lundy nous vivons donc sur les propos et les gazettes de Troubetzkoï. Mais hier, 22, jour de fête de l'Impératrice que tout le monde comptait aller célébrer à Pawlowsky, Sa Majesté fit dire qu'elle viendrait en ville pour y chanter un Te-Deum à la cathédrale à cause de l'entrée de l'Empereur à Paris. Je mis ma paresse de côté et j'allai à la cour persuadée que pour cette fête il arriverait un courrier de Paris. Je trouvai les salons remplis de gens qui avaient la même espérance; cependant on se rend à l'église, et

personne n'arrive; on en était au milieu de la messe, et j'oubliais le courrier, quand tout à coup j'aperçois un peu de mouvement, on changeait de place, on se parlait bas, et aussitôt après l'élévation, le grand-maréchal Tolstoï s'approche de l'Impératrice pour lui annoncer l'arrivée du comte Schouvalow. Il entre, fait une belle révérence au beau milieu de l'église, baise la main de l'Impératrice, lui dit quelques mots tout bas, et en moins d'une seconde nous entendons de tous cotés: *Il est pris! On l'a pris! Bonaparte est prisonnier.* J'appelle m-r de Litta qui m'apprend que c'est fait. Napoléon, cerné de toutes parts dans l'isle de Rhé, a voulu composer avec le capitaine américain qui l'y avait conduit, et le persuader de mettre à la voile. Le capitaine répondit qu'il ne demandait pas mieux, mais que la chose était impossible, parce que les Anglais qui ne le perdaient pas de vue, tireraient sur lui à bout portant. Déjà les Anglais le sommaient de se rendre et menaçaient de prendre le fort d'assaut. Bonaparte alors, se trouvant forcé de traiter avec eux, propose de se rendre à bord de la frégate anglaise, si on lui promettait de respecter sa vie, ce que l'amiral lui garantit. Aussitôt il se rendit à bord. On le mène en Écosse où il sera détenu dans un château fort sous la surveillance de cinq commissaires dont chacun deux appartiendrait à l'une des puissances alliées. Après cela on a réglé le sort des frères, et nous avons pour notre part Joseph avec toute sa famille, infants et infantes, autant qu'il y en aura. Jérôme est au roi de Prusse, Murat à l'Autriche, madame Letitia est cédée au Pape pour les menus plaisirs de sa sainteté, Lucien sera en Angleterre; on dit que Savary et Bertrand sont avec le coquin et lui tiendront compagnie. Voilà tout ce que nous avons appris, je vous le transmets fidèlement en vous abandonnant le chapitre des réflexions. Je vous avoue que pour ma part je trouve fort extraordinaire qu'on traite, qu'on compose avec un homme déclaré hors la loi par l'Europe rassemblée en congrès à Vienne. Il y a du louche dans tout cela.

## LIII.

Moscou, Mardy 27, pour Jeudi 29 juillet 1815.

Oui, sans doute, je suis de votre avis. Le roi court le risque de ne pas régner longtemps sous la tutelle de Talleyrand et de Fouché. Le premier est un apostat qui passe pour avoir beaucoup de talents, parce qu'il a de l'esprit, ce qui certes n'est pas la même chose. Où l'avons nous vu développer ce talent prodigieux? Il a été révolutionnaire en 1789, du parti qu'on appelait constitutionnel et dont Louis 18, alors *Monsieur*, était aussi par système et contre ses intérêts. Talleyrand vota le 4 août un des premiers pour l'abolition de la noblesse et peu après pour la spoliation des biens du clergé. Quand l'Assemblée nationale décréta le serment constitutionnel des prêtres, il n'y eut, à l'honneur des ecclésiastiques français, qu'un très-petit nombre d'entre eux qui voulût s'y soumettre; la très-grande majorité préféra de perdre ses bénéfices et de conserver sa conscience. Deux ou trois évêques jurèrent seuls, et Talleyrand fut un d'eux; de ce jour il devint l'horreur des honnêtes gens. Les évêchés étant devenus vacants par le refus des titulaires de prêter le serment civique, il fallut consacrer de nouveaux prélats, et ceux-ci furent nécessairement choisis dans la tourbe des prêtres jureurs. L'assemblée elle-même rougissait d'un tel choix; on était embarrassé de proposer à un des évêques jureurs de faire la cérémonie de consécration pour les autres; Talleyrand se moqua du scrupule et s'offrit lui-même pour cet office. On-le vit, à la face de tout Paris, officier pontificalement pour sacrer les évêques intrus. Jamais, je m'en souviens, on n'avait entendu parler d'un tel scandale; sa famille le rejetta, ses amis l'abandonnèrent, il ne lui resta que ses complices en révolution, les Mirabeau, d'Orléans, Lafayette etc. Il a fallu tous les crimes Jacobins pour faire oublier ceux des constitutionnels, qui sont au reste leurs pères, puisque sans les constitutionnels il n'y eût jamais eu de Jacobins. Peu de temps après, Talleyrand jeta le froc aux orties, prit une maîtresse fort tarée et vécut sans pudeur comme sans honneur. Tout son prétendu talent, comme celui de tout son parti, ne servit qu'à renverser l'antique monarchie française pour mettre à sa place un fantôme de constitution, qui ne put marcher qu'une année et que le 10 août renversa à son tour. A cette époque les Jacobins ou républicains chassèrent les constitutionnels pour gouverner à leur place, et Talleyrand avec sa honte s'enfuit en Angleterre, où je fus le témoin que personne à Londres ne voulut le recevoir, si bien qu'il s'embarqua pour les États-Unis où il vécut dans le dénuement le plus complet

chez un négociant suisse nommé Casenove, qui lui donne asile et secours. Quelques années s'écoulèrent, et le règne de Roberspierre pesa sur la France, puis le Directoire ramena une ombre de pouvoir concentré qu'on se flatta de perpétuer. Madame de Staël, amie de Barras, l'un des directeurs, et toujours en mouvement pour créer des ministres et en tirer parti, intrigua alors pour faire choisir Talleyrand et le porter aux départements des affaires étrangères. Elle avait été son amie constitutionnellement, et lui avait même prêté beaucoup d'argent en 1790; elle lui en envoya encore, le fit venir à Paris et lui procura le ministère des relations extérieures. Serait-ce là, par hasard, que Talleyrand déploya ses talents extraordinaires? Le résultat en tout cas n'en fut pas heureux, car le Directoire fut renversé sans la moindre peine le 18 Brumaire, par Bonaparte revenant d'Égypte. Il eut l'adresse alors de saisir le caractère du nouveau chef et se fit confirmer par lui dans son poste. Dès lors il vola à une fortune rapide; les anciennes idées surannées de délicatesse et d'honneur ne devaient guères le gêner, comme vous pensez bien; aussi profita-t-il de toutes les occasions favorables pour acquérir de l'argent; le traité des indemnités d'Allemagne lui valut, dit-on, près de quarante millions, car les princes allemands, sachant que Talleyrand était à vendre, n'épargnèrent rien pour l'acheter. Il était l'humble créature de Bonaparte, qui lui fit avaler bien des couleuvres; le consul avait coutume de ne se fier aux gens qu'après les avoir traînés dans la boue: il ordonna à Talleyrand, sous prétexte de bonnes moeurs, d'épouser sa maîtresse, et l'ex-évêque obéit, attendu qu'au point où il en était, un scandale de plus ou de moins n'était pas une affaire. Quand cette maîtresse entretenue fut devenue sa femme, il réclama la promesse que Napoléon lui avait faite de l'admettre à la cour; le consul lui répondit: „il est vrai que je vous l'ai promis, mais alors je ne savais pas que madame de Talleyrand *fût une aussi grande coquine*“. Et il fit attendre la coquine deux longues années avant de l'admettre à l'honneur de faire la révérence à madame Josephine. Dieu sait pourtant que l'une n'avait rien à reprocher à l'autre. Voulez-vous un autre preuve du dévouement de Talleyrand aux vues de son maître? Napoléon voulut qu'on tenta Louis 18 à recevoir de lui une grosse pension, et ce fut Talleyrand qui imagina de proposer en 1802 à m-r de Markow de faire passer par la cour de Pétersbourg cette proposition à Louis 18. Le comte Markow refusa de se charger de la commission comme de raison; mais il dit à Talleyrand: „Comment pouvez-vous espérer que Louis 18 accepte une offre de cette nature? *Ce serait s'avilir*“. *C'est justement ce que nous voulons*, répondit Talleyrand qui alors ne pensait guères être un jour chef du conseil de ce même Louis 18.

Voyons à présent, si Talleyrand a donné pendant son ministère les preuves de ce talent transcendant qu'on se plaît à lui accorder? Napoléon est devenu maître de la moitié de l'Europe; mais sont-ce les négociations de son ministre qui lui ont valu ce résultat? Assurément non, et toute sa politique était dans la force gigantesque de ses armées, comme tous ses traités n'étaient que la conséquence de ses victoires. Partout il dictait la loi, et *malheur aux vaincus* semblait sa devise. Dès qu'on quittait l'épée pour la plume, il est vrai qu'avant chaque nouvelle déclaration de guerre Talleyrand était chargé de faire un rapport sur l'état de l'Europe et d'employer tout esprit à colorer les injustes agressions qu'on se proposait, à chercher une nouvelle expression au mensonge, un nouveau prétexte au parjure et quelques phrases neuves pour répéter toujours la même absurdité sur la politique de l'Angleterre qui armait le continent que Napoléon seul agitait et voulait achever de subjuguier... Mais est-ce là du talent, bon Dieu! Qu'on relise aujourd'hui tous ces rapports, monuments de honte de leur auteur par les basses flatteries dont ils étaient remplis pour l'opresseur du monde et par les injures arrogantes qu'il prodiguait à tous les cabinets. Je veux croire qu'il y était forcé par la volonté de Napoléon qui ne connut jamais aucune bienséance; mais un homme de talent qui eût eu la conscience de ses moyens, aurait-il pu consentir à prêter sa plume aux rapports qui précédèrent les décrets de Berlin en 1806, à ceux de Varsovie en 1807 et à tant d'autres du même genre; n'aurait-il pas abandonné sa place plutôt que de mettre son nom à des actes qui seront la preuve éternelle de son ignominie? Il est vrai qu'il a déconseillé la guerre d'Espagne et c'est ce que j'ai toujours entendu citer de sa part comme un trait de génie. J'avoue que je n'y vois que l'action du bon sens qui raisonne contre une passion aveugle et sans frein. L'Espagne sous son roi Charles 4 était plus à Bonaparte qu'elle ne pouvait l'être sous Joseph. Charles 4 donnait à la France ses armées, ses flottes et ses trésors, et la nation Espagnole devouée à ses maîtres souffrait en silence ce que sa fidélité ne lui permettait pas d'empêcher ou même de blâmer. Il n'était pas difficile de prévoir que l'amour-propre de mettre un Bonaparte à la place de Charles 4 exposerait à perdre tous ces avantages en révoltant le peuple et l'armée; il ne fallait pas un génie bien profond pour deviner que des revers un peu marquants ébranleraient la puissance de Bonaparte jusques dans ses fondements. Talleyrand tenait au maintien de cette puissance et donnait des conseils d'une prudence fort ordinaire. Ces conseils déplurent, il fut congédié, et dès lors Bonaparte l'abreuva d'humiliations: il l'obligea à vendre son hôtel à la reine d'Hollande, il le chargea de l'en-

tretien de Ferdinand 7 à Valence, en un mot il le traitait comme le grand seigneur traite les pachas qu'il a laissé s'enrichir: il lui faisait rendre gorge en toute occasion. Quand les désastres de la retraite de Moscou furent connus à Paris, Talleyrand prévint, ainsi que tout le monde, ce qui pouvait s'en suivre et mit tout son esprit à préparer les voyes d'une réconciliation avec le roi. Les circonstances le servirent à merveille en 1814, et en changeant de maître il conserva son crédit et se fit nommer ministre des affaires étrangères. Il y a beaucoup d'adresse, de souplesse, de bonheur à tout cela, j'en conviens; mais s'il y a du talent, ce n'est que celui de l'intrigue et celui de prendre tous les tons et toutes les couleurs au besoin. Il a été au congrès, et j'ignore ce qu'il y a fait, mais il n'a pas empêché le roi de succomber sous la trahison des Français, et surtout il ne s'est point empressé de le rejoindre avant que les choses eussent pris une tournure favorable à sa cause; et je suis très-porté à croire que si Napoléon eût eu des succès, au lieu de revers, Talleyrand aurait fait son possible pour rentrer en grâce avec lui, et que le roi n'en aurait jamais entendu parler. Nous verrons à présent ce que son génie et ses talents si vantés sauront faire; jamais il n'y eut de plus belle occasion pour déployer toutes ses ressources en faveur d'une nation dégradée, avilie et prête à être traitée enfin comme elle le mérite. Vous m'objecterez à cela l'opinion générale sur Talleyrand. Mais d'abord je vous dirai qu'elle n'est point générale et qu'elle souffre beaucoup d'exceptions chez les personnes qui ne se laissent pas entraîner d'une façon moutonnière et qui veulent prendre la peine d'observer et de juger sur des faits et non sur des bruits. Ensuite, ne savez-vous pas à quel point le succès et la réussite en imposent aux hommes qui, dès qu'un but est atteint, oublient les moyens qui ont servi pour y conduire? N'avons-nous pas vu toute cette racaille française éblouir l'Europe par le clinquant de ses décorations théâtrales? N'avons-nous pas dit: le duc de Vicence, le duc de Tarente, le duc de Dantzic, le prince de Vagram, le duc de Raguse, le duc d'Elchingen, le duc de Parme etc? N'avons-nous pas vu des gens faits pour les mépriser tous, oublier cependant leur poussière originelle pour les regarder comme de grands hommes et les traiter presque comme des égaux? Nous voyons aujourd'hui ce que c'est que cette grandeur, ce que sont ces généraux, ces ministres, ces hommes d'état. On a voulu les combattre, on les a battu; on a voulu renverser leur idole, et l'idole est tombée deux fois. L'éblouissement est dissipé, et il ne reste de toutes ces grandeurs illusoires que des malheureux intrigants qui se débattent dans la fange, calculant sans cesse ce qui leur sera plus lucratif d'une fidélité apparente ou l'une trahison dé-



hontée. Les grands hommes et la grande nation, tout est tombé à la fois! Puisse cette chute mémorable nous corriger du défaut de courir près la célébrité et de la mettre toujours à la place des vertus. Un homme a fait parler de lui, n'importe à quel prix, et aussitôt nous en voilà engoués; vient-il dans ce pays, on se jette à sa tête, on veut le voir, le connaître, lui parler et lui prouver qu'on l'admire; allons nous chez eux, c'est bien pis encore: nous ne savons aux quels entendre; telle femme fut une gourgandine qu'on ne regarderait pas sans sa fortune monstrueuse, mais elle est devenue reine ou princesse souveraine, et bien vite nous allons nous y faire présenter, et nous revenons tout fiers d'avoir vu la reine d'Hollande ou la princesse Borghese. Tel homme est un vrai brigand et a trempé dans mille crimes atroces qui l'auraient fait pendre en tout autre tems; mais il a un grand titre et un million ou deux de rente, il donne des dîners exquis, et l'on ne croirait pas avoir vu Paris et la France, si l'on n'avait pas été chez Cambacérés ou tel autre de sa trempe. Voilà pourtant comme nous sommes, et voilà un des penchants les plus dangereux pour les moeurs d'une nation. Quand on ne montre plus d'horreur pour les coupables, quand on prouve que le succès fait oublier le crime, quand on fréquente sans répugnance le scélérat heureux, on est bien près d'imiter sa conduite si l'occasion s'en présente!

Permettez que je vous ouvre encore mon coeur sur le mal que me fait la nomination de Fouché au conseil du roi. Fouché qui a voté avec tant d'ardeur la mort de Louis Seize, Fouché complice, compagnon et imitateur autant que serviteur de Robespierre, envoyé par ce dernier en qualité de représentant du peuple dans quelques départements en 1793 après la mort du roi, arriva à Nevers où l'aubergiste et dix témoins oculaires me contèrent, quelques années après, ce qui se passa dans ce jour d'exécrable mémoire. Fouché arriva à midy, commanda son dîner, et se fit apporter la liste des prisonniers renfermés pour cause d'opinion. Il envoya l'ordre au tribunal de juger et condamner, séance tenante, un riche gentilhomme du voisinage le plus marquant des détenus. Il se fit apporter en dînant la tête sanglante de sa victime, coupa de son couteau de table l'oreille de cette tête, et l'attacha à son bonnet rouge à côté de la cocarde nationale; partit de là pour se rendre à la cathédrale qui n'avait point encore été profanée, viola le sanctuaire, répandit à ses pieds et fit manger en sa présence les hosties consacrées par un pourceau amené à cet effet; revêtit un âne des ornements pontificaux, la mitre, la crosse, le manteau épiscopal, attacha à sa queue le livre de l'Évangile et le promena processionnellement dans les rues de Nevers, puis envoya ses dignes agents commettre les mê-

mes sacrilèges dans toutes les églises du département et partit enfin pour Nantes où il ordonna, de concert avec Carrier, les noyades qu'il appela par dérision des mariages républicains, parce qu'il faisait lier sur un bateau à soupape un garçon et une fille pour les faire périr ensemble par un raffinement de cruauté. Tel est l'homme que le roi très-chrétien croit devoir associer à un évêque apostat, pour soutenir sa couronne! Tel est le gage qu'il donne aux constitutionnels et aux Jacobins de leur impunité pour les crimes dont ils ont couvert la France, pour le sang dont ils l'ont inondée! Et Louis 18 ose se fier, ou faire semblant de se fier, à ce Fouché, ministre de Bonaparte depuis son retour, à ce Fouché qui a fait renouveler, qui a publié il y a trois mois les loix qui condamnent à mort tout individu de la famille de Bourbon qui rentrera sur le territoire français! Grand Dieu, j'eusse abdiqué cent fois plutôt que de me soumettre à une aussi épouvantable humiliation. Que peut-on espérer et attendre d'un roi qui doit être la source de toute justice et qui prend ses conseillers parmi des individus qui ont été les auteurs de tous les crimes! Il ne faut point alléguer la nécessité ni la disette d'hommes. Quoi, pendant un si long exil, le roi n'a pas cherché à étudier sa nation et à connaître les individus qui peuvent être demeurés purs et intacts, et avoir la force de caractère nécessaire pour se charger de l'administration! Celui qui a dit de Louis 18 que pendant 25 ans il n'a rien appris et rien oublié; le peint en deux mots. Quoi, c'est parmi les révolutionnaires et les assassins de Louis 16 qu'il est obligé de prendre des ministres; ce sont les ministres de Bonaparte qui deviennent les siens; des agens de destruction deviennent des instrumens réparateurs, et le roi se flatte d'inspirer quelque confiance pour le présent et quelque espérance pour l'avenir! Il se trompe, il prend la route de sa perte finale s'il soutient ce système!.... Où est le prophète qui viendra lui dire comme au roi d'Israël: „Voici l'Éternel, ton Dieu, est irrité, parce que tu as souffert le méchant parmi son peuple, et Israël périra. Que dois-je faire? dit le roi. „Retranche le perfide et le parjure, a dit le seigneur, ton Dieu, sanctifie Mon peuple par la mort du méchant, et tu seras agréable devant l'Éternel, et Israël trouvera grâce devant Lui“. Et le roi livra ceux qui avaient pris l'interdit consacré à Dieu, et le prophète les mena hors du camp, et le peuple les lapida, et Israël rentra en grâce devant le Seigneur son Dieu“. Le roi très-chrétien ne peut ni ne doit tergiverser avec des scélérats comme Talleyrand, Fouché et tant d'autres. Quel amalgame dans ce ministère! Fouché et le duc de Richelieu....!

J'ai vu avec plaisir qu'on lève des contributions sur Paris et qu'on a abandonné ces idées de fausse générosité envers des brigands qui ont

pillé l'Europe pendant 15 ans. On assure aussi qu'on leur reprend les monuments des arts qu'il avaient volés en tous lieux, et que l'Italie recouvre ses dépouilles; j'en suis ravi. Si on les resserrait un peu dans des limites plus étroites, je serais bien plus content encore.

La poste est arrivée, et l'on vient de me dire qu'il court un bulletin sur la prise de Bonaparte.

Jedy, 29 juillet.

Oui, Napoléon est pris, ainsi que ses trois frères et m-r Murat; j'ai lu le bulletin écrit d'après la nouvelle apportée par Schouvalow. Que Dieu soit béni mille fois! Cependant pourquoi ne permet-Il pas que nous ayons une joye pure, pourquoi cette forteresse d'Écosse nous laisse-t-elle encore quelqu'arrière-crainte, pourquoi la mort du monstre ne nous donne-t-elle point ce gage assuré de tranquillité dont nous avons tant de besoin? On assure que Lucien accompagnera Napoléon en Écosse, que Murat ira en Autriche, Jérôme en Prusse et Joseph viendra en Russie. Je ne sais si cette dislocation est véritable, ni d'où on la sait, car le bulletin n'en dit mot.

#### LIV.

Kammenoi-Ostrow, le 29 juillet 1815.

Il est arrivé à m-r Lentzi ce qui arrive à bien d'autres. Toutes les fois qu'il y a un changement de ministère, une foule d'individus en pâtit. Le suis persuadé que m-r Gouriew en déplaçant Lentzi a cru bien faire; prévenu contre tous ceux qui avaient eu des emplois par le c-te Roumanzow, il aura fait main basse sur *tutti quanti* sans se donner la peine de prendre d'exactes informations, il aura mis à leur place des gens à lui qui seront chassés à leur tour peut-être: c'est la marche ordinaire dont il faut s'affliger tout en perdant l'espoir de la faire changer. Le conseil que j'ai donné à m-r Lentzi c'est celui de patienter jusqu'à l'arrivée de l'Empereur qui ne doit pas être éloigné. Il y a longtemps qu'il est question de grands changements. Nous verrons de quoi il tournera. Si Gouriew se maintient, son humeur en sera plus coulante, et alors nous agirons. S'il en est autrement, la chose sera encore plus facile; en un mot, je suis loin de croire à l'impossibilité d'obtenir quelque emploi pour votre protégé, et un trait de lumière me fait pour ainsi dire trouver la personne qui pourrait lui rendre service; il est inutile

de vous en parler à présent, mais ce sera en tems et lieu.—Je suis charmé de vous avoir appris la première les évènements qui se sont passés. Orlow Denissov est arrivé après Schouvalow; il a apporté à l'Impératrice le portrait de l'Empereur en miniature, peint par Isabey et d'une très-grande ressemblance; il assure que S. M. sera ici dans six semaines ou deux mois. J'ai lu quelques feuilles du Journal des Débats; le roi s'attendrit à tout bout de champ. *Mes enfans et mes chers amis*, voilà ce qu'il répète à cette engeance détestable; il a nommé Talleyrand président du conseil et ministre des affaires étrangères, Pasquier ministre de la justice, Fouché celui de la haute police, S-t Cyr celui de la guerre, Jaucourt ministre de la marine; le duc de Richelieu a la place de Blacas, c'est-à-dire grand-maître de la maison du roi et ministre secrétaire d'état. Il est question de réorganiser les deux chambres et de les convoquer pour le mois d'octobre; il est à souhaiter que ce soit pour punir les scélérats qui ont fait tant de mal en dernier lieu, et non pour s'occuper de tout amalgamer; mais il faut compter sur des sottises plutôt que sur autre chose. L'ambassadeur de France nous a ménagé la surprise d'un départ; imaginez que sans en avoir prévenu personne il a fait ses adieux à l'Impératrice, après une soirée invitée Dimanche à Pawlowsky. Après le souper il demanda à mad. de Litta, si l'Impératrice allait se retirer, et comme la comtesse lui répondit qu'oui, ne voilà-t-il pas qu'il s'approche de S. M., lui baise la main et lui demande ses ordres pour Paris; l'Impératrice croit qu'il expédie un courrier et répond en conséquence; m-r de Noailles, fort embarrassé, annonce alors que c'est lui-même qui part, qu'il vient d'obtenir la permission d'aller chercher sa femme et qu'il sera de retour dans deux mois; l'Impératrice lui souhaite un bon voyage et en quittant le salon témoigne à mad. de Litta (qui la suit ordinairement) son étonnement de cette manière de prendre congé. Tout le monde est resté fort surpris d'une pareille incartade, car c'en est une complète. M-r de Noailles était tenu d'informer par une note officielle de son départ et de demander une audience de congé; il n'en a rien fait, et s'en est allé sans façon. Le pauvre homme est généralement blâmé, mais comme pourrait l'être un enfant qui aurait fait une école en société. Ce matin il est parti, et j'ai dans l'idée que c'est pour ne pas revenir et qu'on nous en enverra un autre. C'est un très-bon homme, fort doux, je le crois même fort moral, mais pas plus stylé au rôle d'ambassadeur qu'un enfant de 10 ans. Mon petit lord, tout chétif qu'il est, s'entend bien mieux au métier, et je voudrais bien qu'on nous le laissât pour longtems.

## EV.

Moscou, le 2 aoust 1815.

Nous avons eu hier 101 coups de canon pour la prise du Corse, et j'espère que ce seront les derniers qu'on tirera pour lui. Il me tarde infiniment de savoir les détails de cette capture et ce qu'on fera de ce monstre; mais nous sommes ici au fond d'un puit, et ce n'est qu'avec le tems et la patience qu'on parvient enfin à connaître la vérité toujours tardive et souvent défigurée.

On prétend ici que l'Empereur est attendu à Pétersbourg pour le 30 aoust; je voudrais que cela fût vrai, mais j'ai peine à croire la chose possible.

## EVI.

Kamennoi-Ostrow, le 5 aoust 1815.

Il ne se passe rien de bon en France; toutes les gazettes s'accordent pour nous apprendre que les mouvements continuent en province comme dans la capitale. Les Thuilleries seules ont changé de maîtres, le reste va son train maudit. Le signe de ralliement n'est plus la violette, c'est un oeillet rouge, il se produit en plein midy sur les boulevards; et lorsqu'on a voulu s'y opposer, il en est résulté un tumulte effrayant, et l'on s'est battu dans les rues. Fouché, tout ministre de la police qu'il est, n'y peut rien jusqu'ici. Le roi tient toujours le langage de la démence, et dans les circonstances présentes ce n'est ni celui qui touche, ni celui qui en impose; les esprits effrénés ne l'entendent seulement pas. Il a reparlé de la charte à laquelle il veut ajouter quelques articles; il veut aussi augmenter le nombre des représentans; un membre pourra siéger à 24 ans. L'armée de la Loire n'est point soumise comme on le croyait; Davoust, qui est à la tête, veut tenir tant qu'il pourra; on dit même qu'il s'est réuni à Suchet et que ces deux armées se montent à 70 mille hommes. D'un autre côté les forteresses résistent avec opiniâtreté aux alliés. Il est impossible que tout cela tienne contre des forces aussi supérieures que le sont les nôtres; mais que de sang répandu avant que cela finisse! Louis 18 ne paraît point désiré par la nation, mais seulement par un nombre d'individus intéressés et fort bornés. La gazette disait hier qu'il voulait abdiquer en faveur du duc de Berry, mais cela me paraît sans vraisemblance,

surtout d'après la connaissance que vous me donnez de son caractère.

Ce sera Stépanide qui est morte; il me semble que c'est ainsi que se nommait la femme de chambre étique; c'est une perte cruelle pour une maîtresse que celle d'une femme de confiance, et sous ce rapport je plains mad. de Broglie, mais je la plains aussi d'avoir des superstitions et de croire aux pronostiques. Quand on a de la religion telle que je l'entends, on est au dessus de ces idées qui ne proviennent que d'un manque de foi. J'en parle avec connaissance de cause; j'étais comme cela, j'avais peur de beaucoup de choses très-insignifiantes par elles-mêmes et que je m'expliquais comme très-graves; un rêve quelquefois me mettait au supplice, ma tête ruminait constamment quelque malheur; j'associais le sort des personnes que je chérissais le plus, à mille évènements qui leur étaient étrangers; enfin je me mettais à la torture et j'avais l'art de convertir tout sentiment de plaisir en sentiment d'amertume. Eh bien, depuis quelque tems, je vous assure que je n'ai peur de rien; je vis dans un si grand abandon de tout mon être à la volonté de Dieu que jamais ma pensée n'est en peine de ce qui peut m'arriver, mais absolument jamais. *Tout ce que Vous voulez et comme Vous le voulez*, dit St.-François de Sales dans son oraison universelle, et je le répète ainsi. C'est de tout mon coeur que je désire est acquiescement salutaire à votre amie qui ne connaît de la religion que les formes extérieures, du moins le pense-je ainsi.

## LVII.

Moscou, le 9 août 1815.

J'ai reçu une lettre du comte Tolstoï de Bialostok; il n'a mis que six jours à aller jusques là, et sa lettre en a mis dix huit à me parvenir. J'en reçois aussi exactement de sa femme; elle est comme moi et comme bien d'autres: elle ne digère pas facilement Fouché auprès du roi très-chrétien. Qu'en dit m-r de Noailles?—Nous avons ici mad. Labkow qui prétend avoir été témoin d'un phénomène bien extraordinaire en route près de Twer: 69 boeufs tués sur le grand chemin d'un seul coup de tonnerre. Jamais on n'entendit parler d'un pareil effet, mais elle les a vu et comptés, et cela quelques heures après l'orage qui en effet a été des plus épouvantables. Mad. Labkow parle fort de la princesse Boris et de sa famille, mais ne me semble plus liée au degré où je l'ai vue, et elle me paraît au contraire avoir pris des

almanachs de la princesse Michel sur bien des objets; elle porte cette dernière aux nues pour sa conduite, son économie et pour l'éducation de ses enfans. Il est vrai que quand aux garçons les *Michaëlowitch* l'emportent sur les *Borissowitch*, mais je crois que pour les filles c'est bien le contraire. Malgré le retour des gardes, la princesse Boris va en famille à Pétersbourg à la mi-septembre pour y passer l'hiver; je ne sais plus si elle logera chez Tatiana; mais cela me semblerait gênant pour tout le monde; quand on a une maison à soi, on y est bien mieux. Dites moi, *entre nous*, est-il vrai qu'elle ait fait signer toutes ses lettres de change par Potemkine?—Avez vous entendu dire que l'Empereur eût mandé le c-te Markow auprès de lui? Je n'en sais rien, mais je parierais ma main qu'il n'y a pas un mot de vrai. On a tué ici Bonaparte et Rostopchine, le même jour; je crois que l'un et l'autre ne s'en portent que mieux.

### LVIII.

Kamennoi-Ostrow, le 9 août 1815.

Il est arrivé un courrier de l'Empereur du 17 juillet; il paraît que les bruits qui avaient couru sur les mouvements de Paris ont été exagérés, car on assure que tout y est assez tranquille. Au reste, je vais tout exprès dîner chez le comte Litta revenu ce matin de Pawlowsky et qui me donnera des nouvelles que je vous rendrai à mon tour. Bonaparte ne va plus en Écosse; il sera transféré à l'isle S-t Hélène accompagné de quatre serviteurs seulement. Tout le reste est renvoyé en France; on dit que Savary, Bertrand et quelques autres y seront jugés immédiatement. L'armée de la Loire tient toujours; elle ne demande pas mieux, dit-elle, que de se soumettre au roi, mais à condition de voir les alliés quitter le sol de la France. Davoust est celui qui tient ce langage; il exhorte Louis 18 à mettre sa confiance dans son armée et point en celles des étrangers, qui d'après lui n'ont en vue que d'humilier une grande nation. Voilà à peu près le résumé d'un discours qu'il a adressé au roi.

Mais laissons ce sujet pour ce soir après que j'aurai vu m-r de Litta, et parlons de vous-même. Je suis tout-à-fait peiné de vous savoir du chagrin, et je crois deviner qu'il vient de la mauvaise santé de mad. de Broglio; mais dites moi ce que vous en pensez; est-elle vraiment poitrinaire? Je vous assure que cette maladie n'est point dangereuse pour une personne de son âge; elle peut vivre main-

tes années avec des ménagements; je vous renvoye toujours à la soeur de m-lle Bridel qui est étique depuis plus de 15 ans et qui vit pourtant grâces aux soins qu'on prend d'elle. Il en sera tout de même de Virginie; n'allez donc pas au devant d'un malheur qui peut fort bien ne point arriver, et faites usage de votre raison. Lorsque je vous sais triste et affligé, je suis à regretter de n'être pas à Moscou; il me semble que je saurais vous distraire et vous consoler; mon coeur comprend si fort tout ce qui peut se passer dans le vôtre qu'il n'est peut-être pas une personne qui vous entende davantage que moi. Dieu veuille vous donner de la patience, de la résignation et même l'amour de la croix; si vous saviez comme on va loin avec cet amour-là!

Nous avons ici depuis quelques jours mad. Swetchine, je fus la voir hier; j'y trouvai Lise Kourakine, m-r de Maistre et l'abbé Nicole; on causa fort agréablement, il ne fut pas question de controverse. L'abbé a eu des lettres du duc de Richelieu qui, à ce qu'il me semble, n'a rien accepté de ce qu'on lui a proposé; il n'est donc pas probable qu'il reste longtems en France; au fait, comment siégerait-il à côté de Fouché! On dit que c'est Macdonald qui prend la place qu'on avait offerte au duc.

J'arrive de chez m-r de Litta. Bonaparte va, comme je vous l'ai dit, à S-t-Hélène; en attendant il était encore, au départ du courrier, à la rade de Plymouth sur le „Bellérophon“. Ce vaisseau de guerre est flanqué de deux autres qui lui servent comme de garde, et plusieurs chaloupes canonières font comme une patrouille autour de lui. Personne n'a eu la permission de descendre du „Bellérophon“, et personne n'est reçu à son bord; il a l'air d'un bâtiment pestiféré. Tous les trésors tant en argent qu'en effet précieux que possédait Bonaparte lui ont été enlevés; on le sépare de tous ses affidés, et on ne lui laisse que les gens de service absolument nécessaires dont le nombre ne passera pas quatre; les autres sont renvoyés. Voilà donc un Empereur sans empire, un souverain sans trône, un millionnaire sans argent, un mari sans femme, un père sans enfans, un frère sans frères, ni soeurs... enfin il est seul avec lui-même et sans moyen de servir ce *moi* auquel il a tant sacrifié jusqu'ici. Sa position est effrayante au point de m'en faire venir la chair de poule. Vous figurez-vous ce que cet homme doit éprouver!...

On parle d'un congrès à Paris, où l'on espère qu'en deux mois tout sera réglé pour la France; il est question d'une contribution de huit cent millions que doit payer la France en quatre ans, et jusques là on lui laissera 150 mille hommes de troupes alliées pour occuper ses forteresses.



## 1878 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ** 1878. Воспоминанія принца Евгенія Виртембергскаго о послѣднихъ дняхъ Павловскаго царствованія и о событіи четырнадцатаго Декабря 1825 г. Политическія записки и письма графа Ф. В. Росточина.  
Записки Марьи Сергѣевны Мухановой о временахъ Екатерины Второй, Павла, Александра и Николая Павловичей.  
Записки Н. В. Ваталина, доктора К. К. Зейдлица и В. А. Еропкина.  
Приключенія Лифляндца въ Петербургѣ.  
Письма императрицы Елисаветы Петровны, Екатерины Второй, имп. Александра Перваго, князя Суворова и проч.  
**КНИГА ВТОРАЯ** 1878. Хивинскій и Акъ-Мечетскій походы графа В. А. Перовскаго, по его письмамъ.  
Бумаги С. П. Шевырева.

Воспоминанія генераль-адъютанта С. П. Шилова.  
Приключенія Лифляндца въ Петербургѣ.  
Воспоминанія о князѣ В. А. Черкасскомъ.  
Письма А. С. Хомякова къ Гильеердингу.  
Записка В. А. Жуковскаго объ Англійской полптикѣ.  
Похожденія монаха Палладія Лаврова.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ** 1878. Письма Екатерины Великой къ барону Гриму. 1774—1796.  
Исторія приобрѣтенія Амура и дипломатическія сношенія съ Китаемъ. Статья П. В. Шумахера (по новымъ документамъ).  
Письма А. С. Пушкина къ С. А. Соболевскому.  
Графъ Моцениго. Разсказъ графа С. Р. Воронцова.  
Бумаги графа П. И. Панина.  
Записки Саввы Текели.

## 1879 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ** 1879. Петръ Первый, соч. М. П. Погодина.  
Разсказъ графа П. И. Панина объ Екатерининскомъ востествіи.  
Биографія гр. С. Р. Воронцова съ его портретомъ.  
Письма Хомякова къ графинѣ Блудовой.  
**КНИГА ВТОРАЯ** 1879. Наши сношенія съ Китаемъ.—Биографія Зорича съ его портретомъ.  
Исторія Яицкаго войска.

Письма князя Вяземскаго къ Пушкину и Булгакову.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ** 1879. Памятныя Записки Ильинскаго, Андреева и Кольчугина.—Бумаги графа Румянцова-Задунайскаго, князя Потемкина и графа Перовскаго.—Уединенный Пошехонецъ.  
Воспоминанія графини Блудовой.— Письма Хомякова къ Кошелеву и Самарину, съ портретомъ Хомякова.

## 1880 годъ.

**КНИГА ПЕРВАЯ.** Путевыя Записки Стрюйса. — Павелъ Полуботокъ. — Переписка Екатерины съ Юсифомъ. — Кавказскія воспоминанія Венюкова.— Воспоминанія Московскаго кадета.

**КНИГА ВТОРАЯ.** Петръ Алексѣевъ.— Записки Эйзера.— Записки и бумаги Пушкина.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ.** Дидероть и Екатерина.— Исторія крестьянства, ст. князя Черкаскаго. — Княгиня Дашкова и ея подлинныя Записки.—Новая глава „Капитанской Дочки“.

## 1881 годъ.

ЦѢНА 8 Р СЪ ПЕРЕС. 9 Р.

**КНИГА ПЕРВАЯ.** Русскій паломникъ Барскій.— Воспоминанія Н. П. Шенига.— Александръ Полежаевъ. Бумаги А. С. Пушкина. Со снимками.  
**КНИГА ВТОРАЯ.** Воспоминанія графа М. В. Толстого.— Подымовское дѣло, А. М. Жемчужникова.— Письма Грибедова къ Ахвердо-

вой.— Бумаги А. С. Пушкина.— Воспоминанія барона Ф. Ф. Горьова.  
**КНИГА ТРЕТЬЯ.** Биографія графа А. П. Шувалова.— Воспоминанія А. С. Норова о 1812 годѣ.— Воспоминанія А. П. Бутенева.— Воспоминанія графа М. В. Толстого.— Бумаги А. С. Пушкина.

Каждая книга имѣетъ особый азбучный указатель.

# РУССКІЙ АРХИВЪ

ИЗДАЕТСЯ

въ 1882 году

(ГОДЪ ДВАДЦАТЫЙ)

ШЕСТЬЮ КНИЖКАМИ, ВЫХОДЯЩИМИ ПО МѢРѢ ОТПЕЧАТАНІЯ.

ЦѢНА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ

РУССКАГО АРХИВА

девять рублей

съ ПЕРЕСЫЛКОЮ.

АДРЕСЪ: Москва, Ермолаевская Садовая, домъ 175-й. Въ Петербургѣ: книжные магазины „Новаго Времени“ и И. И. Глазунова на Большой Садовой.

Цѣна каждой книжки: 1882 года въ отдѣльной продажѣ **два** рубля.

**РУССКІЙ АРХИВЪ** 1881 года, въ шести книгахъ съ приложеніемъ двухъ книгъ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“, со снимками и большою гравюрою, продается по 8 рублей (съ пересылкою по 9 рублей).